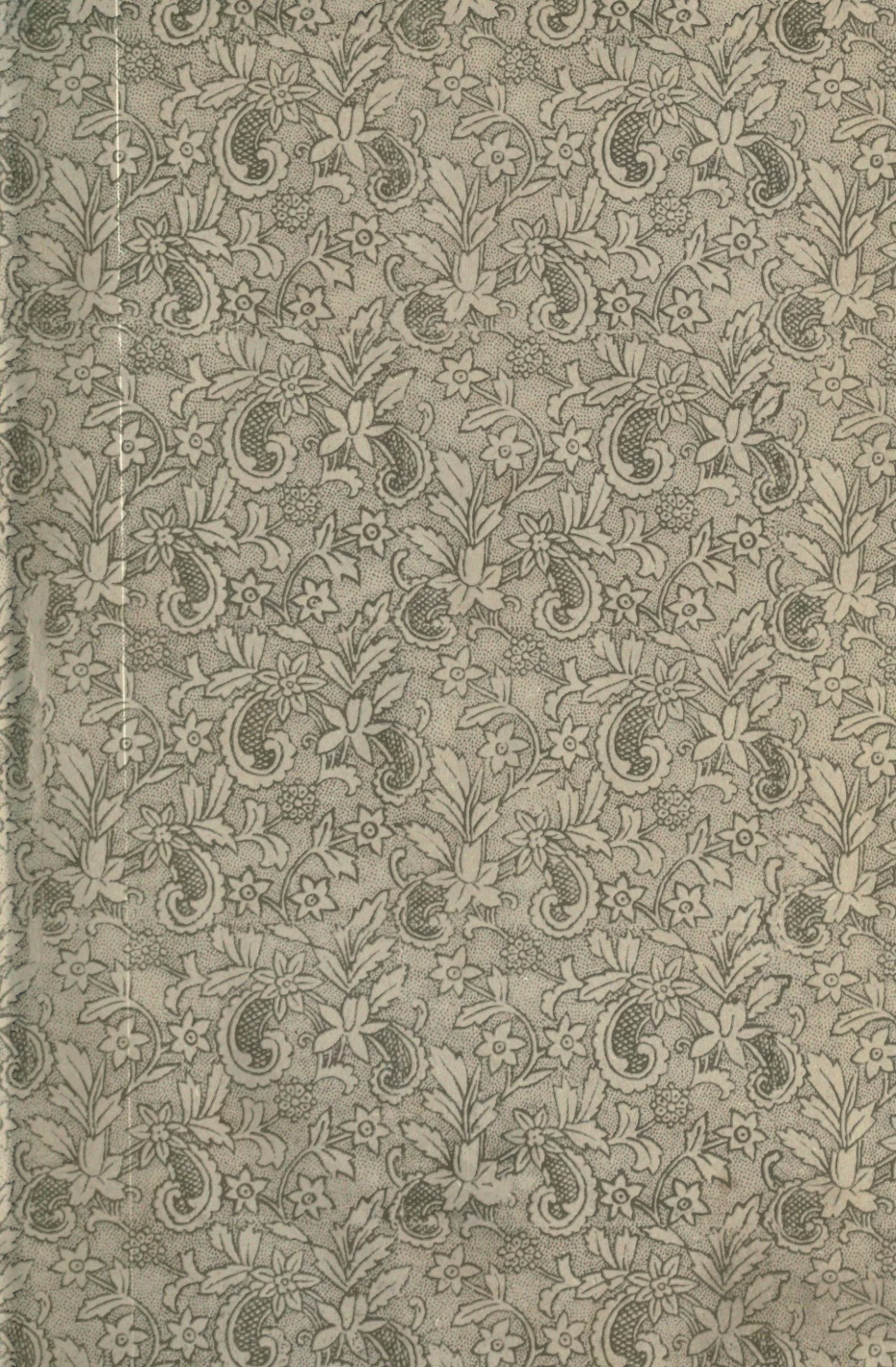
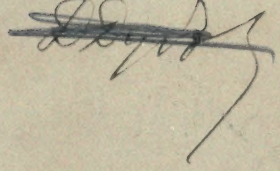
UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00324274 0

V. Turgenev.



m-
a 5 neg



Н. Гарязинъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. Н. КАРАЗИНА.

НА ДАЛЕКИХЪ ОКРАИНАХЪ.

Романъ въ 3-хъ частяхъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе П. П. Сойкина.

КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ Стремянная, 12, соб. домъ. | КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ Невскій, 96, уг. Надежд.

LIBRARY
APR 1 1976
UNIVERSITY OF TORONTO

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. СПБ., 7 ОКТЯБРЯ 1904 Г.

PG
3467
K33
1904
t.1

ТИПОГРАФІЯ П. П. СОЙКИНА, СПБ., СТРЕМЯННАЯ, 12.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

„Кара - Кумы“.

Четыре волка, гуськомъ другъ за другомъ, боязливо оглядываясь, спускались съ песчанаго бугра.

Если бы имъ предоставленъ былъ свободный выборъ, то они спустились бы совсѣмъ не съ этой стороны. Ихъ зоркое зрѣніе, несмотря на темноту ночи, упорно останавливалось на одномъ и томъ же предметѣ. Ихъ раздутыя ноздри жадно втягивали въ себя струю воздуха, несшуюся отъ этого предмета. Голодъ ворочалъ внутренности степныхъ хищниковъ, зубы скрипѣли и щелкали, налитые кровью глаза искрились во мракѣ.

Бандиты остановились въ лощинѣ, куда не проникали лучи луннаго свѣта, и сѣли. Они не рѣшились отступить совсѣмъ и выжидали. Они хорошо устроились: надо было прилечь къ самой землѣ,—я хотѣлъ сказать на песокъ, потому что земли давно уже не видно было въ этомъ песчаномъ, волнистомъ морѣ,—чтобы замѣтить четыре рядомъ торчащіе силуэта, съ острыми, настороженными ушами. А, между тѣмъ, сами волки хорошо видѣли кругомъ. Луна усердно помогала имъ въ этомъ обзорѣ, освѣщая своимъ мертвымъ свѣтомъ мертвую окрестность.

Лощина, гдѣ они сидѣли, замѣняла темную литерную ложу, пустыня—ярко освѣщенную сцену.

Голодные бродяги видѣли все, а ихъ не видѣлъ никто.

Они видѣли верблюда, который стоялъ на вершинѣ противоположнаго бугра; они видѣли, какъ безобразно, неловко привѣшены были къ бокамъ животнаго толстый тюкъ, обмотанный веревками, русскій чемоданъ, желѣзная складная кровать въ чехлѣ и мѣдный закопченый чайникъ. Все это висѣло кое-какъ, и, должно быть, сильно безпокоило верблюда; замѣтно было, что его вьючили неопытныя и неискусныя руки.

*

На самомъ верху, неловко растопыривъ ноги, сидѣла человѣческая фигура. Голова у этой фигуры была обвязана бѣлымъ платкомъ, одѣта она была въ бѣлую же, русскую рубаху, на длинныхъ смазныхъ ботфортахъ виднѣлись ржавыя шпоры, изъ-за плечъ торчала двухстволка. Фигура эта какъ-то странно колыхалась на вершинѣ вьюка: то она откидывалась назадъ, то вдругъ нагибалась впередъ; головной уборъ сбился на самое лицо. Не трудно было догадаться, что всадникъ спалъ,—и спалъ весьма крѣпко, несмотря на неловкость своего положенія.

У верблюда въ разорванныя ноздри продѣта была волосяная веревка; конецъ той веревки находился въ рукахъ другого путешественника, который шелъ пѣшкомъ.

Взобравшись на берегъ, вся группа остановилась. И верблюдъ, и шедшій пѣшкомъ—разомъ увидѣли то, что давно уже наблюдали волки. Первый смотрѣлъ равнодушными, полузакрытыми глазами, пережевывая вонючую, зеленую пѣну, второй кинулся будить своего товарища.

Внизу, гдѣ сыпучая, песчаная гряда переваливалась черезъ едва замѣтный слѣдъ караванной дороги, стоялъ безобразный ящикъ на трехъ колесахъ. Четвертое лежало около.

Какъ у трупа, около котораго повозились уже крылатые и четвероногіе хищники, изъ-подъ клочьевъ изорваннаго мяса и кожи торчатъ оголенныя ребра, такъ изъ-подъ клочьевъ холстины виднѣлись деревянныя ребра верхней части кузова.

Немного въ сторонѣ лежала куча стараго изодраннаго платья. У этой кучи виднѣлось что-то похожее на человѣческую ногу; у этой кучи были даже руки, судорожно искривленные пальцы которыхъ глубоко врылись въ окровавленный песокъ, и отъ этой кучи несло запахомъ разлагавшагося трупа.

Кругомъ было тихо, какъ въ могилѣ: ни звука, ни движенія.

— Падалью воняетъ,—произнесъ проснувшійся всадникъ.

— А вѣдь дѣло скверное, — замѣтилъ другой.—Не вернуться ли намъ назадъ, въ Аль-Кадукъ?

— Падалью воняетъ. Это сдѣлано давно: или сегодня, рано утромъ, или еще вчера. *Они* теперь далеко. Ну, тяни эту лѣнивую гадину и ѣдемъ дальше.

— Да, чортъ возьми, ѣдемъ... Я, вотъ уже цѣлую ночь иду пѣшкомъ.

— Если бы верблюдъ могъ идти безъ твоего содѣйствія, мы ѣхали бы оба; а я развѣ виноватъ, что у меня осталась въ распоряженіи только одна нога... Проклятое колѣно! какъ оно опять расходилось!

— А что, если съ нами *то же* будетъ? Если барантачи теперь на той станціи, куда мы ѣдемъ?

— А если они тамъ, откуда мы уже уѣхали? Шансы совершенно одинаковы. Продвинь еще немного впередъ этого подлеца... А! вотъ оно что... Вѣдь я узналъ, кто это.

— Я тоже догадываюсь.

— Это жидъ, помнишь, въ Уральскомъ укрѣпленіи, съ женою и нѣмцемъ-механикомъ... Ты это ихъ ищешь? Загляни въ фургонъ: тамъ, должно быть, и жена, и нѣмецъ.

Въ фургонѣ никого нѣтъ,—процѣдилъ сквозь зубы тотъ, который шелъ пѣшкомъ.

Онъ бросилъ верблюда и, взобравшись на колесо экипажа, рылся внутри его, погрузившись въ фургонъ всѣмъ корпусомъ.

— Ну, значитъ, у него украли жену и нѣмца, да, кажется, сколько я могу разглядѣть, и его собственную голову.

Морозъ подралъ по кожѣ обоихъ наблюдателей. Скверныя мысли заворочались въ мозгу. Одни, въ самомъ глухомъ мѣстѣ песчаной пустыни. Ждать помощи неоткуда. Кто поручится, что съ ними не будетъ, можетъ быть, даже очень скоро, того, что случилось съ этимъ жидомъ... Можетъ быть, за этимъ барханомъ сидятъ *они*... Сейчасъ вылетятъ на нихъ съ своими длинными пиками...

— Ты слышалъ!?..

— Ничего не слышалъ.

— Гдѣ-то гикаютъ.

— Это у тебя въ воображеніи гикаютъ или... постой-ка... нѣтъ это въ желудкѣ у нашей скотины,—бравировалъ тотъ, который сидѣлъ на верблюдѣ. Но голосъ его слегка дрожалъ, словно въ его горлѣ что-то задерживало звуки.—А *этотъ* собирался водку гнать въ Ташкентѣ... Заводы строить хотѣлъ, барыши наживать... Что это ты прячешь за пазуху?... Покажи-ко...

— Что прячу... Кто прячетъ?!... Ничего не прячу; это такъ... проклятыя вши развозились... Я только почесался...

— Въ синей бумагѣ. Я видѣлъ.

— Да что ты видѣлъ... что!?..

— Подожди, я сейчасъ слѣзу. Моей ногѣ какъ будто лучше... Посмотри, *онъ* упалъ около колеса: у тебя поясъ развязался, ты сунулъ, а *онъ* провалился.

Оба путешественника стояли на землѣ, одинъ сползъ съ верблюда, другой соскочилъ съ колеса.

Большой пакетъ, въ чемъ-то синемъ, не то въ бумагѣ, не то въ платкѣ, лежалъ на пескѣ. Этотъ темный четвероугольникъ, на свѣтломъ фонѣ, такъ и лѣзъ въ глаза. Четыре руки разомъ потянулись по одному направленію...

— Это деньги и даже очень много денегъ... Боже мой, какъ у меня затекли ноги... Я едва стою... киргизы плохо знаютъ толкъ въ русскихъ бумагахъ... Мы, братъ, съ тобою знаемъ его лучше...

— Пополамъ, я думаю.

— Да, уже на три части дѣлить не станемъ. Теперь *ему* ничего не нужно... Куда!.. держи!!. держи!.. проклятая скотина!

Освободившись отъ всадника, верблюдъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по дорогѣ. Вдругъ онъ фыркнулъ и вытянулъ шею. Въ темнотѣ сверкнули красноватыя точки. Испуганное животное поняло опасность и, со всѣхъ ногъ, пустилось бѣжать своею неуклюжей, по виду медленной, но на дѣлѣ чрезвычайно быстрой иноходью.

Раздался жалобный, хриплый вой и четыре тѣни, скользнувъ по желтоватой поверхности бугра, понеслись за убѣгающимъ животнымъ.

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе.

— Что же мы теперь будемъ дѣлать?—мрачно сказалъ одинъ изъ спутниковъ.

— И зачѣмъ ты его выпустилъ?..

— И кой чортъ тебя заставилъ слѣзть съ него!

— Что-жъ, надо идти пѣшкомъ, цѣлую ночь шли... Станція не должна быть далеко.

— Идти, такъ идти.

— Не знаю, добреду ли я?.. Попробуемъ.

— Идемъ! авось живы будемъ. Вотъ они, дешевые тарантасы...

— Ну, что ужъ тутъ, и дорогіе—ломаются... У Келлера, двѣсти пятьдесятъ заплаченъ въ Казани, а такъ же, какъ и нашъ, брошенъ на дорогѣ.

Съ бархана на бархапъ, взрывая сухой песокъ, съ отчаяннымъ, полнымъ смертельнаго ужаса ревомъ, неслось горбатое чудовище. Преслѣдователи не отставали: съ боковъ, спереди заскакивали голодные звѣри.

Растрепался вьюкъ и безобразно хлопалъ по взмыленнымъ бокамъ, стѣсняя бѣгъ верблюда. Войлочный тюкъ свалился и тащился по землѣ, путаясь между длинными ногами. Споткнулся бѣглецъ и со всего размаха брякнулся на песокъ, взбороздивъ его своею мордою. Отчаяніе придало силы несчастному животному и оно снова вскочило на ноги, но уже страшный всадникъ сидѣлъ у него на шеѣ, вцѣпившись зубами въ загривокъ. Другой волкъ высоко взлетѣлъ на воздухъ и, какъ мѣшокъ, брякнулся на дорогу: онъ попалъ подъ ударъ могучей ноги и поплатился за свою неловкость.

Вдругъ раздался выстрѣлъ.

Немного въ сторонѣ чернѣлась закопченая труба маленькой землянки. Только этою, искривленной колѣномъ, желѣзной трубою отличалась землянка отъ окружавшихъ ее песчаныхъ наносовъ. Кругомъ нея песокъ былъ сильно утоптанъ и покрытъ навозомъ. Неподалеку лежалъ разбитый ящикъ повозки, кое-гдѣ валялись остатки колесъ. Въ дверяхъ, болѣе похожихъ на отверстіе норы, виднѣлось испуганное лицо; бѣловатое облачко дыма медленно расползалось, исчезая въ лунномъ свѣтѣ.

Тяжело дыша, плашмя на боку, вытянувъ длинныя мускулистыя ноги, лежалъ верблюдъ, почти около самаго входа. Волковъ какъ не бывало.

Это была почтовая станція на большомъ Орско-Казалинскомъ трактѣ, въ самой серединѣ «Кара-Кумы».

Станція эта называлась «Джунгурлюкъ-Соръ».

II.

Перловичъ у себя на дачѣ.

Просторная, довольно высокая комната. Открытые, потолочные брусья расписаны яркими, цвѣтными узорами и украшены позолотою, стѣны, съ безчисленными хитро вырѣзанными углубленіями, покрыты мелкою рѣзной работою по алебастру. Въ одной изъ длинныхъ стѣнъ, такъ какъ комната не квадратная, продѣланы рядомъ одна съ другою четыре двери изъ темно-коричневаго карагача; двери эти также сплошь покрыты затѣйливою рѣзьбою. Надъ каждою дверью — полукруглое окно съ частымъ гипсовымъ переплетомъ, затянутымъ красною кисеею. Всѣ эти двери выходятъ на обширную террасу; надъ нею — тяжелый навѣсъ, составляющій продолженіе плоской крыши дома. Навѣсъ этотъ поддерживается рядомъ деревянныхъ, кувшинообразныхъ столбовъ. Справа и слѣва виднѣются узкія двери въ прочія помѣщенія дома.

Несмотря на сорокаградусный жаръ, несмотря на солнце, стоящее надъ самою головою, въ домѣ прохладно, и отрадный зеленоватый полусвѣтъ пріятно ласкаетъ глаза, утомленные яркимъ солнечнымъ свѣтомъ. Громадные столѣтніе карачаги раскинули свои густыя вѣтви надъ крышею дома; никакіе солнечные лучи не найдутъ себѣ дороги сквозь эту массу темной зелени. Передъ террасою—прудъ, обсаженный такими же гигантами-карагачами. Высокіе пирамидальные тополи, упираясь своими вершинами въ сѣроватое, раскаленное небо, двойными рядами окружали все пространство сада. Тщательно вычищенныя дорожки всѣ сходились къ пруду; по бокамъ этихъ дорожекъ тянулись неглубокія канавки (арыки) съ свѣжею проточной водой: однѣ канавки проводили воду къ центральному пруду—резервуару, другія — выводили ее вонъ, за предѣлы сада.

Всюду, куда могло только проникать солнце, виднѣлись деревянныя рѣшетки, которыя гнулись подъ тяжестью виноградныхъ лозъ; красивая, вырѣзная листва мѣшалась съ наливающимися гроздьями синяго винограда.

Подъ однимъ изъ карагачей, тѣхъ, что у пруда, навзничь, закинувъ мускулистыя руки за голову, лежала почти голая

темно-бронзовая фигура; бѣлая, старческая борода торчала кверху, шапочка (тюбетейка) сползла съ головы, обнаживъ гладко-выбритый, лоснящійся отъ пота черепъ. Къ дереву прислоненъ былъ садовый заступъ, указывавшій на должность спящаго.

Садовникъ спалъ крѣпко. Его ничто не безпокоило. Большой шмель мелодично басилъ, предполагая, вѣроятно, спуститься на кончикъ горбатаго, чисто-библейскаго носа.

За стѣною послышался топотъ лошадиныхъ ногъ; звуки двигались вдоль стѣны, приближаясь къ калиткѣ. Красивый желтый сетеръ шарахнулся съ террасы, гдѣ онъ спалъ и, прыгая черезъ арыки, понесся ко входу.

— Возьми лошадь, эй!.. Поводи ее здѣсь хорошенько... Ишь, какъ замылилась ..—отдавалъ отрывистыя приказанія пріятный, нѣсколько охриплый баритонъ.

— Прекрасный «карабаиръ» у васъ, полковникъ,—замѣтилъ довольно вкрадчиво другой голосъ.—Сюда, сюда пожалуйте, въ мои новыя владѣнія.

— Да, ничего, не дуренъ... Сюда?

Перешагнувъ черезъ высокій порогъ, вошли въ садъ два человѣка: одинъ, впереди, средняго роста, нѣсколько худощавый, съ подвижной и умной физіономіей, въ круглой соломенной шляпѣ, въ широкомъ парусинномъ пальто, въ кожаныхъ черныхъ штиблетахъ поверхъ лѣтнихъ панталонъ, въ перчаткахъ и съ хлыстомъ въ рукѣ. Другой высокаго роста, въ форменномъ кителѣ, съ щеголеватыми, нѣсколько изысканными манерами.

— Давно-бы пора, полковникъ, давно...

— Да я, знаете-ли, все собирался, но какъ-то все не могъ собраться, то то помѣшаетъ, то другое... А у васъ великолѣпно!

— Ну, полноте...

— Нѣтъ, право... Тѣнь, прохлада, виноградъ... Все это въ восточномъ вкусѣ... Превосходно...

— Что могъ, полковникъ, что могъ... Конечно, тутъ еще многаго недостаетъ...

— Ну, чего-же недостаетъ?—(полковникъ какъ-то растягивалъ слова и произносилъ ихъ нѣсколько въ носъ: онъ находилъ, что эта манера говорить весьма изящна).—Вы уже

слишкомъ требовательны, добрѣйшій Станиславъ Матвѣевичъ, конечно, человѣческой фантазіи нѣтъ границъ: она безбрежна; но, принимая въ разсчетъ...

— Извините, полковникъ, много, очень много обяжете.— (Тутъ Станиславъ Матвѣевичъ пріятно улыбнулся и согнулся всѣмъ корпусомъ, приложивъ къ сердцу правую руку).—Чаю, вина, сельтерской воды, льду...—все, что прикажете... безъ церемоніи.

— Если такъ, то я попрошу сельтерской воды и краснаго вина... Эта несносная жара...

— Извините... я сейчасъ распоряжусь.

Хозяинъ усадилъ гостя на ступенькахъ террасы, покрытыхъ пестрымъ ковромъ, и скрылся куда-то направо.

— Шарипъ! эй, Шарипъ!..— слышался хозяйскій голосъ.

Спящій у пруда сартъ приподнялся, посмотрѣлъ вокругъ себя мутными заспанными глазами, поправилъ шапочку, зѣвнулъ на весь садъ и поднялся на ноги. Лѣниво шагая, онъ пошелъ на зовъ хозяина.

Гость сперва посидѣлъ немного, потомъ его сманила чистая дорожка и густая тѣнь у пруда. Онъ всталъ и пошелъ, заложивъ за спину руки и волоча по песку свою саблю. Красивая собака лежала въ травѣ и, поднявъ свою умную морду, казалось, заигрывала.

— Ну, иси! иси! какъ тебя тамъ звать: Збогаръ, Мильтонъ, Трезоръ... все равно, ну, пойди, дуракъ, ну, иди-же...

Собака встала и подошла, виляя пушистымъ, мягкимъ, какъ шелкъ, хвостомъ.

— А ну, тебѣ должно быть жарко; надо покупаться, а, надо?..

Полковникъ поднялъ какую-то щепочку, поплевалъ на нее и бросилъ на самую середину пруда. Собака все время слѣдила глазами за щепкой, потомъ съ размаха бросилась въ воду, выловила брошенное и поплыла къ берегу; здѣсь она съ трудомъ, раза два обрываясь, выкарабкалась на сухое мѣсто, выпустила изо рта поноску и отряхнулась.

— Молодецъ, молодецъ... Ай, да водолазъ... Ну-ка еще...

— Вы, вѣрно, охотникъ, полковникъ?—раздался сзади голосъ хозяина.— Милости просимъ; все готово. У меня это дѣлается довольно скоро, потому что все подъ руками

— Да это манификъ; нѣчто въ родѣ «Шахеразады»; знаете, эти восточныя сказки... Разъ, два...

— Усаживайтесь покойнѣй... Ледъ изрубленъ недостаточно мелко, но это лучше: не такъ скоро таетъ... Возьмите эту подушку, вамъ будетъ удобнѣе...

На террасѣ поставленъ былъ низенькій столъ, не выше полуаршина, такъ что, лежа на коврѣ, можно было удобно доставать съ него все, что нужно. Столъ этотъ былъ покрытъ бѣлой скатертью; посерединѣ стояла туземная чашка изъ зеленой глины съ нарубленнымъ, сверкающимъ льдомъ, вокругъ нея лежали бутылочки съ сельтерской водою съ подрѣзанными проволоками, по бокамъ подымали свои чеканенные носики два высокихъ металлическихъ «кунгана» (кувшина) съ краснымъ виномъ и стояли стаканы съ чайными ложечками, тутъ-же распространяло ароматъ блюдо съ виноградомъ, персиками и гранатами; послѣдніе были разрѣзаны и сверкали своею кроваво-красною внутренностью въ массахъ блѣдно-восковой зелени винограда.

Въ углу, на послѣдней ступенькѣ, кипѣлъ ярко вычищенный самоваръ, и тотъ-же старикъ-садовникъ перетиралъ полотенцемъ плоскія, зеленыя чашечки съ китайскими буквами на донышкахъ.

— Ну что, полковникъ, слышно въ вашихъ, такъ сказать, высшихъ административныхъ сферахъ?..

— Особеннаго ничего, но предполагаютъ—(тутъ голосъ былъ значительно пониженъ),—предполагаютъ, что походъ неизбѣженъ.

— И, думаете, скоро?

— То-есть, какъ-бы вамъ это сказать... Пока все еще одни предположенія... Весьма недурное вино; *Первушинъ*, положительно, совершенствуется.

— Я, знаете-ли, предполагаю, на случай похода, тоже пристроиться къ войскамъ.

— Въ качествѣ воина?..

Полковникъ улыбнулся и скосилъ глаза на говорящаго.

— Нѣтъ, зачѣмъ? это не въ моемъ характерѣ. Я даже совсѣмъ оставилъ службу: съ часу на часъ жду приказа объ отставкѣ.

— Такъ въ качествѣ волонтера, любителя сильныхъ ощущеній?..

— Вы шутите... Конечно, безъ сильныхъ ощущеній не обойдется, но для этого только не стоитъ безпокоиться: это все я предоставляю натурамъ болѣе героическимъ, чѣмъ моя... Чаю, Шарипъ!.. Не прикажете-ли?..

Собесѣдники потянулись къ зеленымъ чашечкамъ.

— Нѣтъ, мой уважаемый полковникъ,—продолжалъ хозяинъ,—цѣль моя не та. Въ походахъ вамъ придется испытывать и голодъ, и холодъ, и жажду, и, тамъ, разныя лишенія... И на бивачномъ отдыхѣ вамъ весьма полезно будетъ выпить стаканчикъ глинтвейну, съѣсть кусочекъ настоящаго швейцарскаго сыру... А тамъ, знаете, побѣда; ожиданіе различныхъ благъ свыше... Вы понимаете; не лишнее будетъ выпить бутылку-другую шампанскаго... да мало-ли чего захочется? а взять не откуда. Свои запасы истощатся скоро (я имѣю основаніе предполагать это)... Некрасиво, неправда ли?.. Вотъ тутъ-то и явится съ своими услугами Станиславъ Матвѣевичъ Перловичъ, которому только и будетъ заботы, чтобы его арбы не отставали, чтобы его верблюды не запаздывали, чтобы его запасы не истощались... И въ палаткахъ Станислава Матвѣевича господинъ полковникъ и всѣ его товарищи по оружію найдутъ все то, что имъ будетъ угодно.

— Позвольте, я буду продолжать вашу картину,—перебилъ гость.

— А денегъ въ то время будетъ много, — (полковникъ подлаживался подъ тонъ Перловича),—поднимется игра, увеличится содержаніе; лишніе рубль-два на бутылку никому не покажутся обременительны... и мой уважаемый собесѣдникъ и хозяинъ, заботясь о нашемъ походномъ благосостояніи...

— О, нѣтъ, полковникъ, я вовсе не такъ корыстолюбивъ, какъ вы думаете. Конечно, безъ барыша нельзя же...

— Ну, само собою разумѣется...

— Да,—(Перловичъ вздохнулъ),—съ помощью Божьею, имѣя въ принципѣ честность и увѣренность,—(онъ вздохнулъ еще продолжительнѣй),—можно легко соединить общую пользу... Не прикажете-ли еще чашку, полковникъ, съ гранатнымъ сокомъ и виномъ... Эй, Шарипъ!..

— Благодарю васъ. Ай-ай-ай!—сказалъ полковникъ, посмотрѣвъ на свои массивные золотые часы.—Скоро три, а въ пять я долженъ обѣдать у губернатора.

— Не смѣю задерживать. Благодарю васъ, полковникъ, за ваше любезное посѣщеніе... Шарипъ! лошадь полковнику.

Они пошли вдоль сада къ выходной калиткѣ.

— А вѣдь я къ вамъ, собственно, за дѣломъ,—началъ полковникъ, едва они сдѣлали нѣсколько шаговъ.—Мнѣ очень нужно, конечно, на самый короткій срокъ...

Полковникъ съ ожесточеніемъ терзалъ кисть темляка на эфесѣ сабли...

Перловичъ со вниманіемъ подвязывалъ виноградную лозу, свѣсившуюся почти до самой земли.

— Тысячу?—спросилъ онъ и скорѣе не спросилъ, а прямо опредѣлилъ сумму, словно ему заранѣе извѣстны были требованія гостя.

— Да, почти около того, но для округлости...

— На тѣхъ-же условіяхъ, какъ и въ тотъ разъ?

— Послушайте, Перловичъ, вѣдь это почти что двадцать процентовъ въ мѣсяцъ...

— Ну, вотъ, такъ оно и вышло,—началъ Перловичъ.— Экая досада!.. Посмотрите, вотъ эта превосходная лоза положительно погибла; даже зелень начинаетъ блекнуть... Экая досада! Такой рѣдкій сортъ.

— Ну-съ... такъ какъ-же?..—перебилъ полковникъ.

— Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ досадно, что въ настоящую минуту я рѣшительно не могу быть вамъ полезнымъ; вѣдь надо-же было только вчера...

— Я сегодня вечеромъ буду у Хмурова. Я согласенъ. Привозите документъ и деньги... Пожалуйста, не опоздайте.

— Не безпокойтесь, полковникъ, вы знаете мою аккуратность—ровно въ десять...

— До свиданія пока.

Чрезъ минуту полковникъ, подпрыгивая по англійски, на англійскомъ-же сѣдлѣ, мелькалъ своимъ бѣлымъ, какъ снѣгъ, Кителемъ въ густомъ облакѣ пыли; за нимъ суетливо трепался Оренбургскій казакъ на своемъ приземистомъ клеперѣ.

Перловичъ распоряжался уборкою завтрака, тщательно провѣривъ число оставшихся бутылокъ.

По дорожкѣ шагала Богъ-вѣсть откуда появившаяся фигура. Грязная, когда-то бѣлая фуражка была сдвинута на гладко остриженный затылокъ; китель съ металлическими пу-

говицами обтягивалъ тощій, сутуловатый станъ; красныя кожаныя шаровары спущены были поверхъ сапогъ, порыжѣлыхъ отъ пыли и времени; онѣ неуклюже болтались на тонкихъ, длинныхъ ногахъ и, казалось, мѣшали имъ двигаться. Подъ кителемъ вовсе не было никакого бѣлья; по крайней мѣрѣ смуглая, морщинистая шея, и почти на четверть выдающіяся изъ-подъ короткихъ рукавовъ мохнатыя руки были совершенно голы.

— Ба! Господинъ Перловичъ, если я не ошибаюсь, занимается хозяйствомъ...

Остзейское происхожденіе ясно слышалось въ говорѣ новаго гостя.

— Какимъ образомъ вы изволили пожаловать?—спросилъ, не оставляя своего дѣла, хозяинъ. Въ голосѣ его слышалась досада: замѣтно было, что визитъ этотъ не доставляетъ ему никакого удовольствія.

— Странное привѣтствіе, господинъ Перловичъ! Несмотря на наше недавнее знакомство, вы, кажется, предубѣждены противъ меня?

— Нисколько, но...

— Нѣтъ, нѣтъ, пожалуйста! Я все понимаю... (гость уставился на Перловича своими большими, оловянными глазами).—Это видно по всему. Вотъ, напримѣръ, даже по тому, что вы убираете это вино, не спросивъ меня: пріятно-ли это моему пересохшему отъ этой дьявольской жары горлу.

Въ головѣ Перловича въ эту минуту перебирались способы отдѣлаться отъ этого гостя; онъ никакъ не могъ остановиться на удобнѣйшемъ.

— Если вамъ угодно, господинъ Блюменштантъ,—началъ хозяинъ,—то...

— Не думаете-ли вы, что я нуждаюсь въ вашемъ винѣ?!

Горбатый носъ гостя побагровѣлъ, изъ-подъ сѣдыхъ усовъ пахнуло спиртомъ.

— Вы ошибаетесь!

— Но, позвольте-же, однако...

— Дайте мнѣ высказать.

Блюменштантъ тяжело опустился на ступени террасы.

— Я къ вамъ пришелъ,—началъ онъ, роясь во фрук-

тахъ,—съ тѣмъ, чтобы предложить вамъ весьма выгодную для васъ, конечно, сдѣлку.

Перловичъ началъ заинтересовываться.

— Я долго обдумывалъ это, прежде чѣмъ рѣшился,— продолжалъ Блюменштантъ,—и вотъ результаты моихъ размышленій. Къ чорту служба!.. Тамъ меня оцѣнить не умѣли. Надо подумать о себѣ, о своей, такъ сказать, личной выгодѣ и, понятно, о выгодѣ общества; ибо, я въ этомъ убѣжденъ, изъ совокупности индивидуальныхъ выгодъ составляется выгода коллективная... Вы меня понимаете?...

Онъ положилъ въ стаканъ кусокъ льду и долилъ его до краевъ краснымъ виномъ.

— Но это все общія мѣста мы теперь перейдемъ къ частнымъ явленіямъ... Я, лично я, капитанъ Блюменштантъ, желаю заняться частнымъ, полезнымъ для себя и для другихъ дѣломъ.

— Это все прекрасно,—перебилъ Перловичъ,—но что-жъ тутъ можетъ касаться до меня?

— До васъ?! Все, т. е. не то, чтобы все, но, по моему разумѣнію, какъ разъ половина.

Перловичъ недоумѣвалъ.

— Я поясню мою мысль... Соединимъ наши усилія. У васъ—капиталъ, у меня—голова, руки (онъ сжалъ кулаки и поднесъ ихъ къ самому лицу хозяина; тотъ невольно отшатнулся) и необъятый запасъ житейской опытности.

Багровое лицо капитана разгорѣлось еще болѣе; онъ торжественно выпилъ свой стаканъ и снова долилъ его до краевъ.

Перловичъ не ожидалъ этого предложенія.

— Позвольте васъ просить, почтенный капитанъ, подождать меня нѣсколько минутъ.

— Пожалуйста, не стѣсняйтесь; велите только подать еще немного льду.

Перловичъ исчезъ.

Прошло минутъ пять—его еще не было; прошло четверть часа—Блюменштантъ все еще сидѣлъ одинъ надъ своимъ стаканомъ.

Наконецъ, ему надоѣло ждать; онъ порывисто всталъ, шагнулъ раза два и пошатнулся. Вершины тополей заколыхались у него въ глазахъ, песчаная дорожка показалась ему

ковромъ, который кто-то изъ шалости хотѣлъ вырвать у него изъ-подъ ногъ. Старикъ садовникъ подходилъ къ нему, прыгая, кувыркаясь и ухмыляясь своимъ беззубымъ ртомъ. «Экъ нарѣзался,—подумалъ про него Блюменштантъ,—вѣдь вотъ мусульманинъ, а не устоялъ отъ искушенія, выпилъ... да, выпилъ...»

Капитанъ сѣлъ на прежнее мѣсто и опустилъ усатое лицо на грудь. Долго онъ сидѣлъ въ такомъ положеніи; потомъ началъ шарить вокругъ себя руками, шарилъ долго, пока не схватился за кисти вышитой подушки; съ усиліемъ, словно въ ней было десять пудовъ, подтянулъ онъ ее къ себѣ, запрокинулся назадъ всѣмъ корпусомъ и вытянулъ ноги.

Старикъ-сартъ робко подошелъ къ нему и заглянулъ въ лицо. Глаза капитана были закрыты; изъ-подъ сѣдыхъ усовъ вырывалось тяжелое, порывистое дыханіе. Онъ спалъ.

— Хозяинъ уѣхалъ,—началъ садовникъ;—хозяинъ совсѣмъ уѣхалъ въ городъ,—произнесъ онъ громче, наклонившись къ самому уху спящаго.

— Карамболь по красному!.. Хлопъ!..

Сартъ въ испугѣ отскочилъ и сплюнулъ въ сторону.

— Заснулъ пьяный кабанъ,—произнесъ онъ потатарски, сплюнувъ еще разъ и выругался.

Въ воздухѣ стало прохладно. Тѣни въ саду стали синеватѣе и гуще; въ углахъ и внутри комнатъ совсѣмъ стемнѣло. Вершины тополей и карагачей ярко зарумянились; надъ прудомъ и арками подымался бѣлый паръ. Тучи комаровъ съ тихимъ звономъ заносились въ вечернемъ воздухѣ. Два длинноногихъ аиста, мелькнувъ красными пятнами на небѣ, пронеслись надъ садомъ. До слуха доносился жалобный, зазывающій крикъ: это муллы, стоя на крышахъ своихъ мечетей, зажавъ уши и обративъ свои лица къ востоку, призывали правовѣрныхъ творить вечерній намазъ (молитвы).

Садовникъ оставилъ надежду разбудить пьянаго гостя. Онъ убралъ все, что было на столѣ, тщательно подмелъ окурки папиросъ и гранатныя корки и побрелъ опять къ пруду. Здѣсь онъ зачерпнулъ въ кувшинчикъ воды, отвернулся въ сторону и сдѣлалъ омовеніе; потомъ разостлалъ на землѣ какую-то ветошь и сталъ на нее на колѣни.

Неподвижно, словно бронзовая статуя, находился онъ въ

такомъ положеніи почти полчаса времени; только сухія, старческія губы медленно шевелились, творя обычныя молитвы. Онъ все забылъ въ эти минуты; онъ ничего не чувствовалъ. Большой комаръ сѣлъ какъ-разъ на конецъ его носа, все болѣе и болѣе наливалось жадное насѣкомое, и безнаказанно улетѣло прочь, оставивъ на носу крупную каплю алой крови.

III.

На Минъ-Урюкѣ.

Перловичъ избавился отъ своего гостя, употребивъ уловку, хотя и слишкомъ незатѣйливую, но уже нѣсколько разъ удававшуюся ему прежде.

Онъ очень хорошо зналъ, что Блюменштантъ не долго будетъ его дожидаться: винные пары, съ помощью усыпляющей тишины и наступающаго мрака, возьмутъ свое; о дальнѣйшемъ Перловичъ не заботился: онъ также зналъ, что капитанъ проспитъ у него на террасѣ до утра, потомъ выкупается въ пруду и, освѣжившись, забудетъ, о чемъ шла рѣчь наканунѣ.

Подтянувъ подпруги у сѣдла, онъ сѣлъ на своего смирнаго коня и поѣхалъ въ *русскій городъ*.

Дорога шла, извиваясь по берегу крутого оврага, скалистые берега котораго почти отвѣсно спускались на зеленѣющее, густо заросшее кустарниками дно. Внизу шумѣлъ и пѣнился ручей Бо-су, перехваченный безчисленными мельницами самыхъ миніатюрныхъ размѣровъ; кое-гдѣ слышались звуки рожковъ, дающихъ знать, что та или другая мельница свободна и желающіе могутъ приносить свое зерно для перемола. По чуть замѣтнымъ тропинкамъ спускались и поднимались сѣренькіе *ишаки* съ тяжелыми мѣшками на своихъ костлявыхъ спинахъ. Вереницы закутанныхъ сартянокъ, спѣшившихъ куда-то съ узелочками въ рукахъ, стремительно кидались въ сторону и при приближеніи чуждаго всадника прижимались лицомъ къ стѣнкамъ. Откуда-то изъ чащи со свистомъ вылетѣлъ маленькій камешекъ, щелкнулся о дорогу передъ самыми ногами чалаго и поскакалъ дальше, рикошетируя по пыльной дорогѣ.

Перловичъ погналъ шибче.

— Экіе скоты,—подумалъ онъ,—вотъ этакъ попадись къ нимъ въ руки: живой не выскочишь.

Когда Перловичъ поравнялся съ развалинами *коканской башни* и стѣнъ *стараго* города, онъ увидѣлъ правильные кварталы *европейской части*.

Красивые, одноэтажные бѣлые домики окаймлялись аллеями молодыхъ, недавно насаженныхъ тополей. Почти всюду, куда только хватало зрѣніе, видны были безобразно перепутанные лѣса вновь созидающихся построекъ; на просторныхъ площадяхъ сложены были запасы строевыхъ матеріаловъ. Почти въ самомъ центрѣ, изъ-за громадной палатки съ крестомъ на верху, замѣнявшей временно церковь, виднѣлись ярко освѣщенныя окна магазиновъ. На шоссированныхъ, прямыхъ и широкихъ улицахъ кипѣла жизнь: сновали экипажи, всадники и пѣшеходы. Днемъ все живое пряталось отъ невыносимой жары, зато вечеромъ, когда зной смѣнялся оживительной, полной аромата прохладой, все, что только могло двигаться, выходило на улицы.

Просторно и широко раскинулся новый, словно изъ земли выросшій городъ, но все въ немъ, на что только вы ни обращали вниманіе, поражало своею недоконченностью. Казалось, каждая встрѣтившаяся личность, каждый предметъ, деревцо, вновь посаженное, узорный заборчикъ, кампи, заново отесанные,—короче, все говорило, «что съ насъ взять; мы еще пока на бивакахъ. Вотъ, погодите, послѣ что будетъ».

Это городъ-лагерь; и долго еще на немъ будетъ лежать эта своеобразная печать, несмотря на то, что уже много семействъ прочно основалось въ своемъ новомъ отечествѣ и ввело въ обыденную колею свою семейную и общественную жизнь.

Задумался Перловичъ, глядя на картину, раскинувшуюся у него передъ глазами. Онъ стоялъ на высокой горѣ, на поворотѣ большой чимкентской дороги, и могъ разсмотрѣть весь городъ, что называется, съ птичьяго полета.

Съ каждымъ днемъ,—думалъ онъ,—прибываетъ и прибываетъ населеніе новаго города; не по днямъ, а по часамъ увеличиваются новыя потребности... Слѣди за ними, Станиславъ Матвѣевичъ, изучай эти самыя потребности, изыскивай всѣ способы къ ихъ удовлетворенію ,предупреждай ихъ, если смо-

жешь... Въ этомъ-то и кроется вся сила, вся тайна науки обогащаться... Съ пустыми руками пріѣзжаютъ сюда люди, и, смотришь, черезъ годъ уже ворочаютъ изрядными рычагами, дѣйствуютъ; а вѣдь люди эти изъ той же глины сдѣланы,—не изъ золота... Расщедрилась судьба, послала тебѣ средства, и средства изрядныя; мозгами тоже не обидѣла,—ну, и орудуй...

Лошадь храпнула и шарахнулась въ сторону; всадникъ чуть не вылетѣлъ изъ сѣдла.

Длинная, худая, какъ скелетъ, почти черная фигура, вся обнаженная, за исключеніемъ только нижней части туловища, гдѣ болталась грязная рваная тряпка, въ двухъ шагахъ отъ Перловича, протягивала къ нему дрожащую руку.

Красные, воспаленные глаза гноились и усиленно моргали; вмѣсто носа зіяло отвратительное отверстіе; сѣдые клочья окаймляли беззубый ротъ.

— Амакъ, урусъ! силлау [1])!...—гнусило несчастное существо и потянулось къ поводьямъ уздечки.

— Прочь!—крикнулъ Перловичъ и замахнулся нагайкой.

— Акча, тюра; азракъ... акча [2])... Ой! ой-ой!..

Старикъ нищій схватился за голову руками и упалъ, опрокинутый лошадью.

Перловичъ поскакалъ дальше.

Тяжело приподнялось бронзовое тѣло съ пыльной дороги. Сквозь дряблыя, поблекшія десны глухо прорывались невнятныя проклятія вслѣдъ удаляющемуся всаднику.

Съ горы, подтормозивъ заднее колесо, медленно сползалъ дорожный тарантасъ съ фордекомъ. Густой слой пыли покрывалъ все: и растреснувшуюся кожу экипажа, не выдержавшую сорокаградусной жары, и сбрую, и лошадей съ потертыми плечами и спинами, и ямщика-татарина въ остроконечной войлочной шапкѣ, и цѣлую пирамиду сундуковъ и чемодановъ, хитро пристроенныхъ сзади на фальшивыхъ дрогахъ...

Много тысячъ верстъ катилось это произведеніе казанскихъ кузницъ: и на волахъ, и на лошадяхъ, и на верблюдахъ; расшаталось оно, словно расплюснулось, дребезжитъ своими

---

[1]) Здравствуй, русскій; силлау—непереводимая однимъ словомъ просьба о подачкѣ. [2]) Денегъ, начальникъ, хоть немного денегъ...

винтами и гайками и, глухо прогремѣвъ по мосту, скрывается въ остаткахъ тріумфальной арки, построенной для въѣзда губернатора услужливымъ, въ подобныхъ случаяхъ, купечествомъ.

Изъ окна тарантаса выглядывалъ красивый, почти античный, женскій профиль, изъ-за него виднѣлись полосатый чепецъ и зеленыя очки-наглазники, принадлежащія другой спутницѣ.

Какой-то всадникъ, въ красныхъ панталонахъ и бѣлой, шелковой рубахѣ съ офицерскими погонами, задержалъ свою лошадь у самаго экипажа, съ любопытствомъ посмотрѣлъ на проѣзжихъ, потянулъ носомъ тонкій запахъ пачули, распространявшійся отъ античнаго профиля, и поскакалъ дальше.

По дорогѣ, ведущей къ «*Минъ-Урюку*» [1]), подымались облака пыли: быстро неслась оживленная кавалькада...

Впереди всѣхъ бойко сѣменилъ ногами бѣлый иноходецъ; длинный шлейфъ черной амазонки развѣвался по вѣтру, открывъ стройныя ножки въ отороченныхъ кружевомъ панталончикахъ.

— Послушайте, барыня, не гоните такъ *моего Бѣльчика*,—говорилъ купецъ Хмуровъ, съ трудомъ догоняя бѣлаго иноходца.—Да дайте-жъ ему духъ перевести... фу, ты право!..

— Кажется, вы въ этомъ больше нуждаетесь, чѣмъ вашъ Бѣльчикъ, — замѣтила красивая наѣздница, сверкнувъ изъ-подъ густого вуаля глазами.

— Это почему-съ?..

— Да вольно-жъ вамъ наряжаться въ этотъ дурацкій кафтанъ. Вонъ тѣмъ, я думаю, и въ кителяхъ жарко.

Она указала назадъ своимъ хлыстикомъ.

Хмуровъ былъ въ суконномъ кафтанѣ русскаго покроя, перетянутомъ золотымъ поясомъ съ цвѣтными, эмалевыми бляхами.

— Ну, хоть и не потому,—возразилъ Хмуровъ...—Вонъ, поглядите-ко, видите—сюда спускается...

— Кто это?

— А это нашъ новый негоціантъ...

— Перловичъ?..

— Онъ самый.. Я, знаете, хочу его къ намъ пристроить:

---

[1]) Минъ—тысяча; урюкъ—абрикосовое дерево; составное собственное имя рощи въ одной верстѣ отъ Ташкента.

мы его придержимъ съ нами, а тамъ—ко мнѣ. Сведу его съ Спѣлохватовымъ; — пускай потягается...

Они поѣхали шагомъ. Остальные члены кавалькады стали понемногу догонять переднихъ.

— Станиславъ Матвѣевичъ! — кричалъ рыжій артиллеристъ.—Вы тамъ не переѣдете; возьмите немного поправѣе!— тамъ уже.

— Это онъ недавно купилъ чалаго,—замѣтилъ одинъ офицеръ другому и приподнялъ фуражку, отвѣчая на поклонъ издали Перловича.

— Недавно, должно быть; у него прежде былъ вороной съ лысиной.

— Васъ нигдѣ не видно, Станиславъ Матвѣевичъ,—сказала амазонка, когда Перловичъ неловко перескочилъ канаву, при чемъ чуть не вылетѣлъ изъ сѣдла, и подъѣхалъ къ обществу.—Вы совсѣмъ пропадаете на вашей дачѣ.

— Въ оборотахъ погрязъ,—вставилъ Хмуровъ;—такія дѣла заводитъ, что скоро всѣхъ насъ подорветъ.

— Ну, васъ-то не скоро подорвешь, — огрызнулся Перловичъ.

— Вы не повѣрите, Марфа Васильевна, времени свободнаго такъ мало, такъ мало... Мое почтеніе, капитанъ!.. Здравствуйте, господа... Да къ тому-же, я живу такъ далеко...

— Мы всѣ къ вамъ какъ-нибудь нагрянемъ гуртомъ,— перебилъ рыжій артиллеристъ.

— А ты,—(Хмуровъ имѣлъ привычку скоро сходиться на ты), — къ тому времени кое-что въ ледъ заруби, понимаешь... Ты куда это ѣхалъ-то?

— Поѣзжайте съ нами, — приглашала его амазонка. — Конечно, если вы не имѣете чего-нибудь болѣе интереснаго...

— Извините... Я собственно ѣхалъ къ вамъ... къ тебѣ,— поправился Перловичъ, обращаясь къ Хмурову;—а пока—въ городъ, — по одному дѣлу (Онъ наклонился къ Хмурову и понизилъ голосъ). Ну, такъ вотъ видишь-ли, надо повидать кое-кого.

— Кого, кого?—наступалъ Хмуровъ.

— Захо, да еще, вотъ, Федорова.

— Стой! этихъ жидовъ ты сегодня у меня увидишь... такой ансамбль соберется...

— Итакъ...—протянула Марфа Васильевна.

— Да что съ нимъ говорить! Не пускать его, да и только,—рѣшилъ Хмуровъ и заворотилъ коня Перловича.

Кавалькада тронулась.

— Вы, говорятъ, устроились не хуже бухарскаго эмира,—начала Марфа Васильевна, поравнявшись съ новымъ членомъ кавалькады.

— Ну, ужъ это слишкомъ.

— Помните—въ Самарѣ... Мы встрѣтились, если не ошибаюсь, на Самолетской пристани.

Перловичъ передернулъ поводья своей лошади, отчего та задрала морду кверху и засѣменила ногами.

— Вы, кажется, служить собрались здѣсь?—допрашивала наѣздница.

— А теперь нашелъ выгоднѣе бросить службу...

— Отчего выгоднѣе?

— У васъ вонъ шлейфъ разорвался,—круто повернулъ Перловичъ, и ни за что ни про что огрѣлъ чалаго хлыстомъ по боку.

Ихъ обогнала коляска парою, сопровождаемая неизбѣжными конвойными казаками. Въ экипажѣ сидѣлъ красивый, полный генералъ съ дамою суроваго вида.

Рыжій артиллеристъ и остальные офицеры приняли солидный видъ и приложили руки къ козырькамъ фуражекъ. Хмуровъ почтительно раскланялся и даже произнесъ съ гостинодворской вѣжливостью. «Мое почтеніе-съ, ваше превосходительство-съ»... хотя генералъ никакъ не могъ его слышать. Марфа Васильевна скромно опустила глазки; Перловичъ нагнулся къ стремени и что-то очень долго поправлялъ гайку на ремнѣ.

Коляска скрылась за поворотомъ...

Довольно большое пространство, усаженное правильными рядами старыхъ, раскидистыхъ абрикосовыхъ деревьевъ, кишѣло гуляющими. Разноцвѣтные фонари ясными точками искрились во мракѣ, въ глубинѣ рощи, и блѣднѣли по окраинамъ, гдѣ имъ приходилось еще побороться съ слабыми лучами угасающаго дневного свѣта. Сквозь деревья виднѣлись какія-то постройки, флюгера, полосатые навѣсы; въ этихъ пунктахъ освѣщеніе было ярче и гремѣла военная музыка.

Часть этого гульбища была огорожена рѣшеткою:—она предназначалась для привилегированной публики... Вдоль этой рѣшетки, по наружной сторонѣ, стояли десятка два длинныхъ приземистыхъ дрожекъ въ одну лошадь, такъ называемыхъ долгушъ, двѣ коляски и множество верховыхъ лошадей, осѣдланныхъ русскими и азіатскими сѣдлами. Группы оборванныхъ сартовъ, евреевъ, туземцевъ, преимущественно дѣтей, жались къ самой рѣшеткѣ, пытаясь разглядѣть, какъ забавляются «урусы».

— Эй, пошли прочь... Гайда! гайда!..—помахивая нагайкой, разгонялъ Хмуровъ толпу у воротъ, когда кавалькада прибыла на мѣсто.

Рыжій артиллеристъ почти свалился съ своей лошади и уже стоялъ у шлейфа Марфы Васильевны, готовый принять ее, хотя на одно мгновеніе, въ свои объятія.

— Позвольте,—сказала она, отстраняя эту услугу, и соскочила на землю безъ помощи протянутыхъ къ ней рукъ.

— Такіе прыжки не совсѣмъ безопасны,—произнесъ рыжій артиллеристъ, стараясь улыбнуться какъ только возможно язвительнѣй.

— Не безпокойтесь, я не беременна,—отвѣтила Марфа Васильевна, прикладывая свой шлейфъ къ поясу.

Хмуровъ усердно обчищалъ пыль съ чернаго платья амазонки, пустивъ въ ходъ свою мѣховую шапочку, что оказалось очень удобнымъ.

Все общество вошло въ садъ.

Впереди—Марфа Васильевна подъ руку съ Хмуровымъ; она сообщала что-то Перловичу, который шелъ рядомъ, съ другой стороны; за ними—рыжій артиллеристъ, все еще продолжая язвительно улыбаться. Далѣе—остальные члены кавалькады, которые и разбрелись тотчасъ-же по сторонамъ.

Ближе къ освѣщеннымъ ярче другихъ палаткамъ буфета разставлены были крашеные столики и деревянные стулья; между ними, по разнымъ направленіямъ, сновала прислуга; слышались громкія требованія, звонъ посуды, хлопанье пробокъ; и если-бы не чалмы и яркіе халаты, тамъ и сямъ виднѣвшіеся въ толпѣ, да этотъ теплый, мягкій, охватывающій, словно бархатомъ, воздухъ, то можно было-бы подумать, что находишься на одномъ изъ нашихъ загородныхъ гульбищъ.

Въ павильонѣ, задрапированномъ полосатымъ тикомъ, съ досчатымъ некрашеннымъ поломъ, два офицера-линейца степного происхожденія и статный адъютантъ съ ярко-краснымъ орденскимъ бантомъ на бѣломъ кителѣ отхватывали разухабистую польку.

У одного изъ столовъ, поближе къ проходной дорожкѣ, сидѣли двѣ личности въ неопредѣленныхъ костюмахъ: онѣ пили красное вино мѣстнаго первушинскаго приготовленія. Стаканы были почти допиты, бутылка, неубранная еще со стола, была совершенно пуста.

— Что, въ бутылкѣ ничего нѣтъ?—спросилъ одинъ.

— Пусто...—отвѣчалъ другой,приподнявъ и тряхнувъ бутылку.

— Ну, доливай свой стаканъ, да и мой кстати...

— Пусто, тебѣ говорятъ.

— Ничего, наливай...

— Я, братъ, не Боско...

— Нѣтъ, я это къ тому говорю, что если-бы ты изъ пустой бутылки началъ наливать и вино полилось бы...

— Это было-бы странно.

— Зато выгодно.

— Выгодно?

— Ну вотъ, намъ странно, а ему выгодно...

Онъ указалъ глазами на Перловича, который въ эту минуту подошелъ къ ближайшему фонарю закурить сигару.

Оба помолчали и стали насвистывать персидскій маршъ.

— Батоговъ съ передовой линіи пріѣхалъ.

— Ты его видѣлъ?

— Да, сегодня у Спѣлохватова. Пріѣхалъ, говоритъ, поправляться, а то совсѣмъ продулся.

— Еще-бы, дуракомъ игралъ: закладываетъ чистыя, а ему понтируютъ на мѣлокъ.

— Цѣны деньгамъ не знаетъ. Легко пришло, легко и ушло.

— У того не уходитъ.

— Тотъ, братъ, помѣсь жида съ ляхомъ, на нѣмецкой подкладкѣ,—порода, на сей предметъ приспособленная.

— Это точно, что приспособленная.

— А что, если-бы намъ какая-нибудь благодать съ

небеси—брякъ... Экъ ее заливается! а вѣдь барынька хоть куда... просто духъ захватываетъ.

Послѣднее было произнесено по поводу звонкаго смѣха Марфы Васильевны, пронесшагося изъ уютнаго уголка сада, гдѣ Хмуровъ угощалъ все общество замороженнымъ шампанскимъ.

— Кто это? — спросила Марфа Васильевна, пристально всматриваясь въ глубину аллеи. Тамъ шелъ человѣкъ средняго роста съ большою, темною бородою; на немъ были высокіе походные сапоги и вмѣсто кителя—бѣлая шелковая рубаха съ погонами; черезъ плечо, на тонкомъ ремнѣ висѣла кавказская шашка.

— Кто это? — повторила свой вопросъ Марфа Васильевна.— Я его никогда здѣсь не видѣла.

Перловичъ взглянулъ, поблѣднѣлъ и сдѣлалъ видъ, что не слышитъ вопроса. Хмуровъ занятъ былъ откручиваніемъ проволоки у новой бутылки; прочіе тоже никто не замѣтили новоприбывшаго, да и самъ онъ словно сквозь землю провалился, свернувъ въ боковую аллею.

— Какъ было-бы прекрасно, если-бы не эти проклятые комары,—произнесъ Перловичъ съ замѣтнымъ смущеніемъ, давъ разговору новое направленіе.

— Это еще что! — началъ одинъ изъ собесѣдниковъ;— это еще очень сносно; а то, вы представить себѣ не можете, разъ въ Кармакчахъ мнѣ пришлось ночевать на открытомъ воздухѣ: —тутъ, знаете, сейчасъ камыши—это ужасно! Пробовалъ курить—не помогаетъ, завернулся съ головою подъ простыню—дышать невозможно...

— Пью за ваше здоровье, Марфа Васильевна! — отчеканилъ рыжій артиллеристъ и приподнялъ стаканъ.

— Пейте, — произнесла она, слегка повернувъ свою голову.

— Чокнемтесь...

Марфа Васильевна протянула стаканъ. Рыжій артиллеристъ быстро наклонился черезъ столъ и чмокнулъ протянутую руку.

— Это еще что за глупости?—поправилась Марфа Васильевна и быстро отдернула руку. Стаканъ выскользнулъ изъ облитыхъ виномъ пальцевъ и покатился по столу.

Рыжій артиллеристъ вскочилъ, хотѣлъ что-то сказать,

заикнулся и, повернувшись, быстро вышелъ изъ павильончика.

— Ну, за что вы его обидѣли?—началъ Хмуровъ.

— Кто его обижалъ?.. Такъ комары въ Кармакчахъ сильно кусаются,—обратилась она къ тому, чей разсказъ былъ прерванъ тостомъ рыжаго артиллериста...

Неловко шагая въ своихъ широкихъ кожаныхъ шароварахъ, вовсе не приспособленныхъ къ пѣшей ходьбѣ, въ красномъ расшитомъ халатѣ, въ тюрбанѣ изъ краснаго-же куска шерстяной ткани, подходилъ къ столу молодой туземецъ, по типу—узбекъ, оставляя на пескѣ дорожки глубокіе слѣды острыхъ металлическихъ каблуковъ. Это былъ очень красивый парень съ яркими бѣлыми зубами, способными жевать свинцовыя пули, съ едва пробивающимися усами, съ веселой, хотя нѣсколько глуповатою улыбкой.

— А, здравствуй, пріятель!—произнесъ Хмуровъ, повидимому, узнавъ джигита.

— Амакъ,—отвѣчалъ тотъ и обратился къ Перловичу.

— Эй, тюра! Мой тюра зоветъ; вонъ тамъ.—(Джигитъ указалъ рукою къ воротамъ сада).—«Поди, Юсупъ, скажи Перловичъ-тюра, чтобъ сейчасъ пришелъ»,—говорилъ онъ ломанымъ русскимъ языкомъ.

— Это Батогова джигитъ,—объяснилъ Хмуровъ въ отвѣтъ на вопросительный взглядъ Марфы Васильевны.

Джигитъ пристально смотрѣлъ на русскую женщину; улыбка его росла все шире и шире.

— Эхъ! хорошъ марджа [1])... якши ой! ой!—бормоталъ наивный узбекъ.

— Вотъ и этотъ тоже,—произнесла Марфа Васильевна и расхохоталась.

Перловичъ всталъ и отвелъ джигита въ сторону. Онъ нѣсколько минутъ говорилъ съ нимъ вполголоса и закончилъ словами:

— Завтра утромъ... такъ и скажи... завтра.

Послѣ этого джигитъ пошелъ къ воротамъ, оглянувшись раза два на Марфу Васильевну.

Весь запыхавшись, бѣжалъ съ салфеткой въ рукѣ одинъ

---

[1]) Марджа—женщина.

изъ буфетныхъ прислужниковъ. Изъ боковой аллеи выскочилъ другой, тоже въ взволнованномъ видѣ, съ разорванною полою фрака:

— Поймалъ?!

— Пойди, поймай... Я къ воротамъ, а они—черезъ заборъ.

— Тоже чиновники прозываются... эхъ!..

— Много напили?

— На три съ четвертью... Ахъ, Господи!—Народу много,—прислуги мало: нѣшто за всѣми углядишь!

— Гдѣ углядѣть! Слышь! Федоръ Ивановичъ кличетъ.

— Однако, мнѣ пора и домой,—сказалъ Хмуровъ, поднимаясь со стула —Тоже вѣдь хозяйственныя распоряженія надо сдѣлать.

— Ну, что-же, поѣзжайте; мы еще посидимъ. Перловичъ, вы не откажетесь быть моимъ кавалеромъ?

— О, конечно, мнѣ будетъ это очень пріятно... Я вполнѣ... я...—бормоталъ Перловичъ.

Онъ совершенно растерялся. Съ той минуты, когда онъ поговорилъ съ джигитомъ Батогова, даже раньше, когда Марфа Васильевна замѣтила кого-то въ концѣ аллеи, онъ былъ совершенно не въ своей тарелкѣ.

— Что съ вами?—спросила она своего новаго кавалера.

Хмуровъ уже уѣхалъ и они остались вдвоемъ.

— Мнѣ что-то нездоровится...

— Вздоръ, вы просто смущены.

— Вотъ еще!

— Вы получили не хорошія вѣсти... этотъ джигитъ...

— Марфа Васильевна, что васъ такъ занимаютъ мои дѣла? Ну, пожаръ, разоренье, караваны мои ограбили, дачу сожгли—Господи Боже мой! Да вамъ-то что до этого?

Видно было, что Перловичъ былъ очень раздраженъ, когда произносилъ эту тираду.

— Ну, довольно, довольно; положимъ, что ничего подобнаго не случилось, но, во всякомъ случаѣ, волноваться нечего. Пойдемте; въ этой бесѣдкѣ страшно накурено и виномъ пахнетъ. Пройдемтесь по дорожкамъ. Э, да никакъ всѣ почти разъѣхались?

Они встали и пошли къ павильону для танцевъ, гдѣ уже никого не было и музыканты убирали пюпитры.

Нѣсколько разъ они прошлись по саду.

— Вотъ мой Бѣльчикъ,—указала Марфа Васильевна на бѣлую голову лошади, виднѣвшуюся сквозь рѣшетку.

Она начала откалывать шлейфъ и нечаянно уронила хлыстъ. Когда Перловичъ поднялъ его и подавалъ Марфѣ Васильевнѣ, то замѣтилъ, что она пристально всматривается въ кого-то. Ему показалось сначала, что на него, но потомъ онъ увидѣлъ, что взглядъ этотъ устремленъ на того, кто находился сзади Перловича, по одному съ нимъ направленію. Перловичъ невольно задрожалъ и обернулся.

Не болѣе какъ въ трехъ шагахъ отъ нихъ стоялъ тотъ самый бородачъ, который такъ смутилъ его своимъ появленіемъ, часъ тому назадъ.

— Тебя никакъ въ генералы произвели?—спросилъ онъ Перловича.

— Я, можетъ быть, стѣсняю васъ?—сказала Марфа Васильевна и отошла.

— О нѣтъ, сударыня, извините, я не имѣю чести знать ваше имя. Да, въ генералы произвели,—продолжалъ онъ, обратившись къ Перловичу.—Какъ-же, посылаю джигита, говоритъ: завтра,—совсѣмъ по-генеральски...

Бородастый незнакомецъ пошелъ въ глубину сада. Перловичъ машинально шагнулъ за нимъ.

Марфа Васильевна осталась одна. Несмотря на свою бойкость, она нѣсколько струсила, потому что, по мѣстнымъ правамъ, это было не совсѣмъ безопасно и она могла разсчитывать на всякую непріятность со стороны запоздавшихъ посѣтителей Минъ-Урюка. Уже раза два какія-то подозрительныя личности проходили близко отъ Марфы Васильевны, искоса поглядывая на красивую женщину.

Вдругъ, словно изъ-подъ земли, передъ нею очутился рыжій артиллеристъ. Марфа Васильевна вздрогнула, даже слегка вскрикнула.

— Чего-же вы испугались?..—началъ рыжій артиллеристъ. Онъ стоялъ передъ нею въ самой скромной, почтительной позѣ, даже шапки не было у него на головѣ, онъ ее снялъ и мялъ въ рукахъ, какъ провинившійся школьникъ передъ учителемъ.

— Я не могъ уѣхать изъ сада, не видавшись съ вами.

Я сдѣлалъ глупость. Простите... Будьте увѣрены, Марфа Васильевна, что подобной выходки не повторится...

Онъ говорилъ даже съ нѣкоторымъ жаромъ.

— Простите-же,—продолжалъ онъ;—я до тѣхъ поръ не успокоюсь, пока не увѣрюсь, что вы на меня не сердитесь.

Марфа Васильевна улыбнулась. Къ ней вернулась уже ея смѣлость; она успокоилась.

— Хоть вы и раскаяваетесь,—начала она, смѣясь,—но все-таки получите достойное наказаніе.

— Я на все согласенъ!

— Вы должны меня проводить въ городъ. Перловичъ исчезъ и, кажется, не скоро явится. Ѣдемте.

Рыжій артиллеристъ кинулся отвязывать Бѣльчика.

Когда они отъѣхали отъ воротъ сада, изъ-за другой стороны выѣхали еще два всадника, держа наискось, на перерѣзъ ихъ дороги. Потомъ они пріостановились, дали проѣхать Марфѣ Васильевнѣ съ своимъ кавалеромъ и тронулись вслѣдъ за ними въ почтительномъ отдаленіи.

Несмотря на темноту, можно было разсмотрѣть, что рыжій артиллеристъ размѣнялся съ однимъ изъ всадниковъ какимъ-то страннымъ сигналомъ.

Марфа Васильевна ничего не замѣчала и заигрывала съ своимъ Бѣльчикомъ, слегка щелкая хлыстикомъ по кончикамъ его ушей, отчего конь трясъ головой, мелодично гремя мелкими металлическими украшеніями кашгарской уздечки.

Перловичъ и человѣкъ съ большой бородой забрались въ самую глушь опустѣлаго «Минъ-Урюка». Перловичъ горячился.

— Батоговъ, я вамъ говорю:—это эксплоатація! Скажу болѣе:—это не совсѣмъ честная эксплоатація.

— Ну, честь тутъ не при чемъ,—вставилъ человѣкъ съ бородою, котораго Перловичъ назвалъ Батоговымъ.

— Мы съ вами—(Перловичъ все время говорилъ Батогову вы, несмотря на то, что послѣдній относительно его употреблялъ другое мѣстоименіе)—разошлись при совершенно равныхъ условіяхъ; я не виноватъ, что вы не умѣли воспользоваться тѣмъ, что вамъ попало прямо въ руки.

— Оставимъ и это...—проговорилъ Батоговъ.

— Нѣтъ, не оставимъ... Сотня по сотнѣ вы перебрали у меня болѣе пяти тысячъ.

— Да, а развѣ, чортъ возьми, не возвращалъ я тебѣ, когда выигрывалъ; я даже возвращалъ болѣе: я надбавлялъ также жидовскіе проценты, которые ты берешь съ другихъ...

— Когда выигрывалъ, когда выигрывалъ,—повторялъ Перловичъ.—Ну, а когда проигрывалъ... что было чаще, что было почти постоянно...

— Тогда, понятно, я не могъ заплатить...

— Да, не могъ; но согласитесь-же, Батоговъ, если подобный порядокъ вещей будетъ продолжаться, что же останется у меня? Вы высасываете у меня капля по каплѣ все, что я пріобрѣтаю трудомъ...

— Давая въ займы по двадцати процентовъ,—опять вставилъ Батоговъ...

— Это не ваше дѣло. Я веду торговые обороты, рискую; я отказываю себѣ почти во всемъ, имѣя одну цѣль впереди; я иду къ этой цѣли и на дорогѣ постоянно натыкаюсь на васъ; вы мнѣ отравляете все мое существованіе... Для чего я хлопочу, если все это идетъ въ бездонную яму?.. Я развѣ знаю границы вашихъ требованій, развѣ вы ихъ знаете сами?..

— Постой-ка; вотъ ты тутъ рѣчи произносишь, а время идетъ: ты, во-первыхъ, меня задерживаешь, а, во-вторыхъ, тебя дожидается барыня у воротъ и очень красивая барыня!..

— Я не могу вамъ болѣе ничего дать.

— Ну, и не давай...

— Да, не дамъ. Помните, что мнѣ нечего васъ бояться.

— Конечно, что-же во мнѣ страшнаго?

— Выдавая меня, вы и сами лѣзете въ петлю.

— Ну, понятно.

— Прощайте!

Перловичъ всталъ со скамьи, на которой они оба сидѣли, и сдѣлалъ нѣсколько шаговъ.

— Прощай, братъ,—спокойно произнесъ Батоговъ и не трогался съ мѣста.

Перловичъ быстро вернулся.

— Батоговъ, я вамъ завтра дамъ эти деньги...—(въ тонѣ Перловича зазвучали просительныя ноты).—Завтра, пріѣзжайте ко мнѣ на дачу...

— Завтра мнѣ не нужно будетъ. Ступай-же скорѣе! Вѣдь, говорятъ-же тебѣ, что тебя ждутъ.

— Сегодня со мною нѣтъ денегъ... я-бы радъ, но...

— Не ври, пожалуйста, они всегда при тебѣ...

— Ахъ, да идите.

Перловичъ сѣлъ на скамью и черкнулъ спичкой: загорѣлся синеватый огонекъ. Неловко придерживая спичку и въ то-же время доставъ изъ бокового кармана бумажникъ, онъ началъ отсчитывать деньги.

— Ну, вотъ, давно бы такъ,—произнесъ Батоговъ, принимая маленькую пачку бумажекъ.—Юсупъ! лошадей!..

Тутъ только Перловичъ замѣтилъ, что около нихъ, на травѣ сидѣлъ на корточкахъ туземецъ, джигитъ Батогова.

Непроницаемая темнота охватила всадника, когда Перловичъ, довѣрившись зоркости своего чалаго коня, рысилъ къ городу. Вдали почти на горизонтѣ мелькали красноватые огоньки. Густая пыль не успѣла еще улечься и почти неподвижно стояла въ воздухѣ.

IV.

Оргія у Хмурова.

Въ первой комнатѣ было пусто; у окна стояла только высокая конторка, на ней лежала большая счетная книга въ изношенномъ до нельзя переплетѣ, на книгѣ—казачья уздечка. Подъ конторкою стояла корзинка съ посудою, въ углу валялись шелковый халатъ и камеръ-обскура съ выбитыми стеклами. Все это освѣщалось висячею лампою подъ круглымъ металлическимъ абажуромъ.

Во второй комнатѣ—пили, въ третьей—играли, въ четвертой—опять пили, въ слѣдующей—опять играли.

Всѣмъ, должно быть, было весело.

Громкій говоръ и смѣхъ, вмѣстѣ съ клубами табачнаго дыма, носились изъ комнаты въ комнату. Словно маяки по берегу въ туманную погоду, мелькали нагорѣвшія свѣчи, кое-гдѣ мигали и теплились голубоватые огоньки на пуншевыхъ стаканахъ играющихъ.

Всѣ двери и окна большого дома Хмурова были растворены настежь, и въ нихъ заглядывали характерныя, узкоглазыя, скуластыя, то черныя, почти оливковыя, то мѣдно-красныя лица любопытныхъ туземцевъ.

Несмотря на позднее время ночи, всѣ хмуровскіе приказчики бойко шныряли по двору по разнымъ дѣламъ, ругаясь мимоходомъ съ киргизами, только что прибывшими съ большимъ оренбургскимъ караваномъ. Длинные ряды развьюченныхъ верблюдовъ, неподвижно, словно груды камня, лежали вдоль стѣнъ двора, пережевывая саманъ (мелко рубленую солому). Ручной тигръ «Маша» метался въ своей просторной клѣткѣ, сверкая разгорѣвшимися изумрудными глазами.

Шумъ и гулъ веселья далеко разносились по городу.

— У Хмурова нынче вечеръ,—говорилъ одинъ офицеръ-лицеецъ другому.

Оба они мѣрно, нога въ ногу, шагали по *«большому»* шоссе.

— Да, что-то гудятъ.

— А что, зайдемъ, братъ?

— Неловко: я совсѣмъ не знакомъ.

— Ничего, я представлю.

— А ты когда же познакомился?..

— Не помню, какъ-то на прошедшей недѣлѣ; гдѣ-то видѣлись, чуть-ли не подрались даже, а, впрочемъ, мы съ нимъ уже на *ты*.

— Ну, ладно, идемъ.

— Ты, братъ кажется, въ однихъ под....

— Нѣтъ, это—такъ: бѣлые панталоны въ сапоги,—по походному.

Оба свернули съ шоссе, перескочили чрезъ арыкъ и направились полемъ, куда предполагали.

Спѣловатовъ металъ, нѣсколько военныхъ и два господина въ штатскихъ костюмахъ понтировали. Банкомету, что называется, везло и около него лежала порядочная куча небрежно скомканныхъ ассигнацій.

Перловичъ только что поговорилъ съ полковникомъ, бывшимъ у него сегодня утромъ на дачѣ, и ощущалъ въ своемъ боковомъ карманѣ аккуратно сложенный документъ. Полковникъ походилъ еще по комнатамъ, больше для вида, перекинулся кое съ кѣмъ незначущими фразами и раскланялся съ хозяиномъ.

Хмуровъ, полулежа на турецкомъ диванѣ, разсказывалъ многочисленнымъ слушателямъ, какъ они въ бытность свою въ Бухарѣ, вдвоемъ съ приказчикомъ Громовымъ, вооруженные одною только бутылкою шампанскаго, тьфу—бишь,—револьверомъ въ триста шестьдесятъ пять выстрѣловъ (особенной американской системы) защищались отъ сорокатысячней арміи бухарскаго эмира.

— Я—бацъ! бацъ! бацъ!..—говорилъ Хмуровъ.—Передніе повалились,—задніе—тягу, потѣха, право! Громовъ въ догонку—хлопъ! я опять—бацъ!... Посылаютъ за артиллеріей и возобновляютъ атаку.

— Эка вретъ, эка вретъ,—ворчитъ сквозь зубы Спѣлохватовъ, до слуха котораго доносятся отдѣльныя фразы любопытнаго разсказа.

— Наконецъ, вступили въ переговоры... Что-же это Марфа Васильевна не ѣдетъ?—обратился разсказчикъ къ Перл вичу, который пробирался между игорными столами.

— Не знаю, право. Она уѣхала, не дожидаясь меня.

Кубокъ янтарный
Полонъ давно...

хватили хоромъ нѣсколько голосовъ.

— Семь верблюдовъ съ сахаромъ и четыре съ разною галантереею,—итого одиннадцать; а остальные девять—всѣ подъ вино...—говорилъ рябоватый господинъ съ сильнымъ еврейскимъ акцентомъ. — Ну, хорошо; я такъ и распорядился... Цто-зе?.. Проходитъ недѣля—нѣту... другая—нѣту... Пису къ коменданту...

— Прійдется зимовать въ фортахъ;—это случается.

— Да, но вѣдь теряется время, согласитесь сами... А все отчего?.. Эмбинскіе киргизы взялись доставить только до форта «перваго», а тамъ передать казалинскому караванъ-башѣ, а тѣ цѣну подняли вдвое и верблюдовъ не даютъ. Какіе-зе тутъ контракты?

— Стакнулись косоглазые мошенники и остановилось дѣло...

— Послушайте, Захо,—сказалъ Перловичъ, подойдя къ говорившему.—Не вы одни жалуетесь на эти неудобства. Вонъ и тотъ, и этотъ,—(Перловичъ ткнулъ пальцемъ по разнымъ направленіямъ)—все одна и та-же пѣсня; а между тѣмъ со-

вершенно отъ насъ зависитъ перемѣнить обстоятельства къ лучшему...

— Позвольте, какъ-же это отъ насъ?..

— У меня есть проектъ; если мы, негоціанты, обсудимъ его всѣ сообща, то, можетъ быть, и придемъ къ какимъ-либо результатамъ.

— Мы слусаемъ...

— Теперь не время распространяться, а вотъ вы заѣзжайте на-дняхъ ко мнѣ на дачу,—мы и потолкуемъ.

Хмуровъ, пошатываясь, подошелъ къ Перловичу.

— Пойти развѣ наказать его?—мигнулъ онъ глазами въ ту сторону, гдѣ Спѣлохватовъ обиралъ своихъ понтеровъ.—Идемъ въ долю... Да, пойдемъ-же...—Хмуровъ взялъ Перловича подъ руку и почти силою потащилъ къ столу.

— Сейчасъ банкъ затрещитъ,—провозгласилъ онъ, проталкиваясь къ столу.—Настоящіе игроки идутъ... Э, быкъ—алле...

— Я сказалъ, что не стану играть.

— Не мѣшайте, господа,—коротко обрѣзалъ Спѣлохватовъ, задержавъ талію и отмѣчая что-то мѣломъ.

— Алле,—чортъ побери, и жуэ, говорятъ тебѣ.

Хмуровъ не то, чтобы былъ пьянъ, а просто ломался.

— Михайло Ивановичъ, а Михайло Ивановичъ...—говорилъ почти шопотомъ высокій, плотный приказчикъ, почтительно дотрогиваясь до плеча своего хозяина.

— Что тамъ еще?!

— Пожалуйте-съ на крыльцо.

— Зачѣмъ?

— Пожалуйте—дѣло есть...

Хмуровъ пошелъ къ выходу, бормоча: что тамъ еще такое?.. пойти посмотрѣть...—Перловичъ тѣмъ временемъ стушевался въ толпѣ; онъ усѣлся въ скромномъ уголкѣ, заслоненный широкою спиною пѣвца, который, уткнувшись въ одну точку, тянулъ густымъ басомъ:

„Выпьемъ за славу
Славу друзья... я...
Брررванной забавы
Лю...бить нельзя.

Когда хоръ стихалъ, чтобы разразиться новымъ куплетомъ, слышны были иные, плачевные звуки: то продолговатая шка-

тулочка съ музыкою чуть не въ сотый разъ наигрывала арію изъ «Трубадура».

Тотъ самый адъютантъ, который такъ ловко полькировалъ на подмосткахъ минурюкской танцовальной бесѣдки, томно глядя въ открытое окно на чуть освѣщенные, запыленные листики росшаго у самой стѣны тополя, говорилъ какому-то интендантскому чиновнику:

— О, какъ я способенъ любить... и любить не тою пошлою, чувственною любовью.

— Ну, конечно,—соглашался собесѣдникъ.

— Когда судьба столкнетъ съ настоящею женщиною, близкою къ тому почти неуловимому идеалу, то тутъ уже вся жизнь сливается, такъ сказать, въ одинъ фокусъ... этотъ фокусъ...

Громадная датская собака Хмурова, спавшая на коврѣ, по близости, не обращая вниманія на разнообразный шумъ и движеніе, звонко зѣвнула и потянулась...

— Этотъ фокусъ... — продолжалъ адъютантъ. — Гекторъ, свинья, пошелъ вонъ!.. Жарко, дышать невозможно.

— Хотятъ къ ужину накрывать,—сказалъ интендантскій чиновникъ.—Мы тутъ, пожалуй, мѣшать будемъ. Пойдемте туда: посмотримъ, какъ Спѣлохватовъ капиталы огребаетъ... Ну, смотри, «фокусъ», не укуси меня,—отнесся онъ къ собакѣ, шагая черезъ животное.

А между тѣмъ Хмуровъ вышелъ на крыльцо и прежде всего увидѣлъ своего Бѣльчика, который такъ и лѣзъ въ глаза, громаднымъ бѣлымъ пятномъ рисуясь во мракѣ. Отъ него валилъ паръ, и конюхъ-киргизъ усердно обтиралъ шею лошади полою своего полосатаго халата.

— Я къ вамъ сегодня не зайду,—сказала Марфа Васильевна, стоя у столба крыльца,—(Хмуровъ съ перваго раза не замѣтилъ ея).—Уже поздно, да и къ тому-же... Я вотъ вамъ привезла вашего Бѣльчика, а отсюда пѣшкомъ дойду...

— Марфа Васильевна, а мы васъ ждали... Да къ чему-же пѣшкомъ? Я велю запрячь коляску...

— Это еще зачѣмъ?—тутъ близко, а вотъ вы лучше дайте мнѣ кого-нибудь проводить меня до дому, а то тутъ есть своего рода бандиты.

— Бѣдный Бѣльчикъ,—вздохнулъ комически Хмуровъ.

— Это почему?—удивилась наѣздница.

— А я вонъ гляжу на вашъ хлыстъ, и ни за что не захотѣлъ-бы быть въ ту минуту въ шкурѣ моего иноходца...

— Ха-ха-ха!..—расхохоталась Марфа Васильевна, поднявъ обломокъ своего хлыста и разсматривая его при свѣтѣ китайскаго бумажнаго фонаря, висѣвшаго на перекладинѣ крыльца.— Это досталось совсѣмъ не Бѣльчиковой шкурѣ, а другой..

— Другой?—озадачился Хмуровъ.—Кто-же это—кто? Скажите ради Бога, Марфа Васильевна!

— Теперь не время, послѣ какъ-нибудь узнаете,—уклонилась Марфа Васильевна.—Малайка, пойдемъ со мною,—сказала она конюху-киргизу.—Вы позволите?..

Хмуровъ засуетился.

— Малайка, Юсупъ, Асланъ-бай! Всѣ сюда! Фонарей побольше, да клынчи (шашки) надѣньте, болваны...

— Это еще что такое?—изумилась Марфа Васильевна.

— Почетный конвой. У меня нѣтъ въ распоряженіи казачьихъ сотенъ, какъ у губернатора, такъ я вамъ своихъ чумазыхъ джигитовъ. Ты что, скотина, нагишемъ пришелъ?— обратился онъ къ корявому Асланъ-баю:—красный халатъ надѣнь, чушка (свинья)!

— Ну, съ вами не сообразишь; прощайте,—сказала Марфа Васильевна, шмыгнувъ за ворота.

Нѣсколько туземцевъ, сопровождаемые подзатыльниками Хмурова, кинулись за ней слѣдомъ. Самъ хозяинъ вышелъ на улицу и слышенъ былъ его сиплый голосъ, кричавшій:—Да смотрите, собаки, если только барыня пожалуется... закатаю!..

— Ты, братецъ, пожалуйста извини, что я къ тебѣ не съ параднаго подъѣзда,—произнесъ Батоговъ, влѣзая въ окно той комнаты, гдѣ Спѣлохваговъ металъ банкъ.—Смотрю—освѣщеніе... Да гдѣ же Хмуровъ? Здравствуйте, господа!..

Батоговъ успѣлъ уже гдѣ-то, что называется, хватить и, не снимая своего бѣлаго кепи съ назатыльника, смотрѣлъ на все сборище своими въ полъ-пьяна веселыми сѣрыми глазами.

Это неожиданное появленіе сразу всѣхъ нѣсколько озадачило; потомъ раздались оглушающія привѣтствія, направленныя къ новоприбывшему.

— А, Батоговъ! Вотъ неожиданность!

— Откуда?

— Когда пріѣхалъ?

— На долго-ли?

— Ура!—крикнулъ интендантскій чиновникъ, наливъ себѣ рюмку и никакъ не попадая пробкой въ горлышко графина.

Одинъ Перловичъ замѣтно смутился и потому только не ушелъ, что видѣлъ прямо на него устремленный добродушный взглядъ бородатаго гостя. Онъ машинально подошелъ къ Батогову и протянулъ ему руку.

— Здравствуй, голубчикъ, здравствуй,—говорилъ Батоговъ:—давно не видались, а, впрочемъ, не очень давно... Да гдѣ-же Хмуровъ?

— Вотъ распотѣшилъ! Благодарю—не ожидалъ. Мерси боку, мерси,—произнесъ Хмуровъ, входя съ распростертыми объятіями.

И хозяинъ, и гость обнялись и громко чмокнулись.

— А мы думали, что ты уже сдохъ, право... Засѣлъ тамъ на передовой линіи...

Батоговъ подошелъ къ столу и покосился на деньги, лежавшія подъ рукой Спѣлохватова. Перловичъ порывисто всталъ и вышелъ въ другую комнату.

— Идетъ?—спросилъ онъ Спѣлохватова, вынимая изъ кармана пачку и накрывъ ее картою.

— Сколько?—спросилъ банкометъ.

— Не знаю.

— Да ну, не дури; ставь, какъ слѣдуетъ.

— Считай, мечи, и будь здоровъ, а я пойду туда къ столу и «того». Алонъ...

Онъ взялъ Хмурова подъ руку и отошелъ отъ стола, оставивъ тамъ деньги. Спѣлохватовъ тщательно пересчиталъ пачку Батогова, приложилъ столько-же своихъ и протянулъ колоду, говоря:

— Срѣжьте кто-нибудь...

Щеголеватый адъютантъ ловко вынулъ карту и подрѣзалъ, Спѣлохватовъ вскрылъ талію и открылъ карту Батогова.

— А, дама...—произнесъ онъ.

Онъ началъ метать медленно, съ выдержкою, тщательно просматривая каждый абцугъ.

Игра была интересна, не потому, что шелъ большой кушъ, превышавшій половину всего банка, но потому, что единственный въ данную минуту понтеръ закусывалъ съ Хмуровымъ въ другой комнатѣ, совершенно равнодушно относясь къ тому, что происходило на игорномъ столѣ.

Нѣсколько десятковъ глазъ жадно слѣдили за пальцами Спѣлохватова, унизанными сверкавшими перстнями.

— Смотрю,—говорилъ Батоговъ Хмурову, чокаясь съ нимъ стаканами,—факелы впереди, факелы сзади, болваны въ красныхъ халатахъ, твои, кажется; у одного такъ даже ружье никакъ было—только-бы еще флейту съ барабаномъ—совсѣмъ принцесса сіамская. Кто такая?

— Это, гмъ... это, братецъ ты мой, сама...

— Дама,—громко и совершенно покойно провозгласилъ Спѣлохватовъ.

— Вы имѣете вашу даму-съ,—подскочилъ къ Батогову совершенно ему незнакомый господинъ, сообщая эту пріятную новость.

— Я ее, кажется, сегодня въ Минъ-Урюкѣ видѣлъ,—говорилъ Батоговъ.—Много-ли тамъ у тебя въ банкѣ?—крикнулъ онъ Спѣлохватову.

— Позвольте, я сейчасъ сосчитаю,—предложилъ свои услуги все тотъ-же незнакомый господинъ.

— Убирайся къ чорту!—обрѣзалъ Батоговъ.

— Милостивый государь, вы... вы... вы...

— Хмуровъ, убери его, голубчикъ,—отнесся Батоговъ къ хозяину и пошелъ къ Спѣлохватову.

— Вотъ дикость нравовъ...—бормоталъ господинъ, посланный къ чорту, которому Хмуровъ говорилъ что-то вполголоса.—Да я, собственно, ничего, но къ чему-же такія рѣзкости...

— Да ну, ладно, ладно,—говорилъ Хмуровъ.—Этакъ на всякую бездѣлицу обижаться... помилуй...

— Да я и не обижаюсь... но все-таки, посуди самъ...

Батоговъ стоялъ передъ Спѣлохватовымъ и перебиралъ понтерки; Спѣлохватовъ распечатывалъ новую колоду. Оба были болѣе, нежели покойны. Послѣдній даже слегка улыбался. Со стороны можно было подумать, что они заняты простымъ пасьянсомъ. А между тѣмъ игра была громадная, такая, что у всѣхъ окружающихъ затаило дыханіе и въ комнатѣ совер-

шенно затихло; только и слышны были громкое сопѣніе Гектора и шелковистый шелестъ новой колоды.

— Ну, голубчикъ, ва-банкъ со входящими и со всѣмъ прочимъ; готово?

— Готово.

Батоговъ вскрылъ опять даму.

— Это кто-же?—ткнулъ Хмуровъ пальцемъ въ открытую карту.

— А вонъ та, съ факелами...

— Дана!—вскричали разомъ нѣсколько голосовъ.

— Ишь, вѣдь, какъ повезло,—произнесъ Батоговъ и придвинулъ къ себѣ все, что было на столѣ.

Спѣлохватовъ отошелъ отъ стола.

— Закладывай теперь ты, — сказалъ онъ Батогову.—Ты сегодня въ ударѣ.

— Ладно,—сказалъ Батоговъ:—послѣ ужина.

Трудно было опредѣлить, когда именно начался ужинъ. Уже давно ароматическія, дымящіяся мясныя блюда стояли на столѣ, и публика давно уже подходила и брала себѣ на тарелки, что кому по вкусу. Только игра Батогова отвлекла общее вниманіе отъ сервированнаго стола, и теперь снова всѣ хлынули въ большое зало и загремѣли оставленными тарелками.

Пріѣздъ Батогова внесъ новый элементъ въ разнообразную болтовню пирующихъ. Было шумно, ѣли много, пили еще больше и уже большинство, что называется, не вязало лыка.

Игра послѣ ужина возобновилась. Металъ теперь Батоговъ, понтировать ему нашлось много охотниковъ.

Босоногая, туземная прислуга Хмурова живо разобрала складной столъ, вынесла вонъ все лишнее и въ залѣ стало просторно.

А между тѣмъ Перловичъ ходилъ въ темнотѣ подъ окнами хмуровскаго дома, скрытый совершенно густою стѣнкою молодыхъ тополей.

— Вотъ онъ мечетъ...—смотрѣлъ онъ, какъ въ свѣтломъ четыреугольникѣ раскрытаго окна, въ синеватой мглѣ табачнаго дыма рисовалась темная окладистая борода Батогова. Чья-то спина заслонила его на минуту отъ глазъ невидимаго наблюдателя.

— Да, конечно, не можетъ-же везти цѣлый вечеръ...—сказалъ кто-то, стряхивая за окно пепелъ своей сигары.

— Сорвутъ... это непремѣнно...—добавилъ кто-то другой.

Перловичъ быстро отошелъ отъ окна и пошелъ отыскивать свою лошадь.

Вдоль стѣны двора, у врытыхъ въ землю точеныхъ столбиковъ съ кольцами, стояли разнокалиберныя лошади хмуровскихъ гостей, подъ самыми разнообразными сѣдлами. Человѣка три туземцевъ ходили около нихъ съ своими нагайками, присматривая за животными и не допуская драться сосѣднимъ жеребцамъ.

Перловичъ отыскалъ своего коня, вывелъ его, разобралъ поводья и занесъ ногу въ стремя. Занесъ и задумался.

— И связала-же судьба съ такимъ... Эй, Тамыръ, привяжи-ка ее опять,—сказалъ онъ туземцу, передавая ему поводья.

Онъ снялъ шапку, обтеръ платкомъ потъ и подошелъ опять къ окнамъ.

— Ну, что?—говорилъ кто-то.

— Прикончили,—отвѣчалъ другой,—аккуратно обработали.

— А Батоговъ, что?

— Да что Батоговъ: разсказываетъ, какъ докторъ въ Чиназѣ тифозныхъ больныхъ въ Дарьѣ мочить велѣлъ, а тѣ и отправились всѣ къ ночи...

— А молодецъ играть, право; нужно отдать справедливость.

— Играетъ хорошо.

— Другой какую-нибудь сотню проиграетъ—изъ себя выходитъ: зеленѣетъ, краснѣетъ, бѣсится, ну, такъ и лѣзетъ на непріятность, а этотъ и выигрывать мастеръ, за то и проигрываетъ тысячи—бровью не моргнетъ...

— Да, легко проигрывать, что легко досталось.

— Ну, мало-ли, что врутъ.

— Да, оно, положимъ, что врутъ, а все-таки подозрительно: знали, что ни у того, ни у другого ни гроша, а тутъ пріѣзжаютъ—Ротшильдъ со Штиглицемъ.

— Я слышалъ, будто хотѣли слѣдствіе произвести, да прицѣпиться не къ чему.

— Ну, ужъ и слѣдствіе?

— Да отчего не произвести: откуда, что и какъ... все досконально...

Перловичъ слышалъ все, что говорили въ комнатѣ у окна; онъ прикусилъ губу и судорожно сжалъ кулаки: ему вдругъ захотѣлось кинуться и исколотить обоихъ говорившихъ.

А Батоговъ искалъ кого-то глазами между хмуровскими гостями и какъ будто удивлялся, куда-же это онъ провалился?

Перловичъ инстинктивно чувствовалъ, кого ищетъ Батоговъ и даже зналъ зачѣмъ. Онъ плотно прижался въ своемъ темномъ углу и съ лихорадочнымъ, жгучимъ вниманіемъ наблюдалъ за всѣмъ происходившимъ.

Хмуровъ вышелъ и распоряжался чѣмъ-то на дворѣ. Слышенъ былъ сдержанный, тревожный говоръ и бряцанье желѣзной цѣпи.

— Эхъ, Михайло Ивановичъ, напрасно-съ, — говорилъ кто-то въ темнотѣ.

— Убирайся,—слышенъ былъ голосъ Хмурова.—Асланку позови; отодвигай засовъ. Постой, не сразу... Асланку, лѣшаго, сюда... Смотри, какъ-бы къ лошадямъ не рванулся. Эй, пошли прочь съ крыльца. Смотри, цѣпь изъ рукъ не пускать—ни, Боже мой... Ну, Господи благослови!

Послышался лязгъ желѣзной дверцы клѣтки, гдѣ сидѣла насторожившая уши полосатая «Маша».

— Гектора уберите, ради Бога, скорѣй, а то такая бѣда будетъ!..—стремительно вбѣжалъ блѣдный, растерянный приказчикъ, тотъ самый, что вызывалъ Хмурова къ Марфѣ Васильевнѣ. Онъ кинулся къ дверямъ спальни, растворилъ ихъ и сталъ манить туда собаку.

— Что случилось? Зачѣмъ?—послышались вопросы.

Встревоженный видъ приказчика смутилъ нѣсколько всѣхъ присутствующихъ, и даже Спѣлохватовъ, ничѣмъ никогда не смущавшійся, спросилъ:

— Да что-же тамъ такое, въ самомъ дѣлѣ?

— Михайло Ивановичъ, «Машку» ведутъ сюда,—отвѣчалъ приказчикъ.—Гекторъ, иси, сюда! ну, сюда, дурачокъ.—(И онъ, стоя на порогѣ спальни, перебиралъ всевозможныя междометія самаго манящаго свойства).—Да иди-же, иди,—говорилъ онъ чуть не со слезами,—иди, Гекторъ.. Экой ты упрямый... Да подгоните его кто-нибудь.

— Ладно. Какъ его подгонишь,—сказалъ кто-то изъ гостей, глядя на внушительныя формы лѣниваго животнаго.

Собака встала, наконецъ, оглянулась во всѣ стороны, зѣвнула, потянулась и шагнула на зовъ. Собака эта была съ добраго теленка ростомъ; краснокоричневое туловище, разрисованное черными, поперечными полосами и гигантскій ростъ дѣлали ее чрезвычайно похожей, съ перваго взгляда, на тигра. Это животное одарено было, при колоссальномъ ростѣ, могучею силою, одно ходило на медвѣдя и никогда не знало пораженія. Когда Гектору приходилось проходить по двору мимо клѣтки тигра, онъ всегда подходилъ къ самой клѣткѣ, пристально осматривалъ хищника и, не обращая никакого вниманія на бѣснованіе «Машки», спокойно проходилъ дальше. Иногда только, когда Машка просовывала свою лапу между желѣзныхъ прутьевъ, пытаясь задѣть собаку, Гекторъ внушительно рычалъ, какъ-бы говоря: постой, пріятельница, доберусь и до тебя при случаѣ.

Половицы дрогнули и зазвенѣла на столахъ неубранная посуда, когда собака однимъ прыжкомъ очутилась у дверей спальни.

— Ну, молодецъ, молодецъ; ну, ложись здѣсь... Кушъ!..

Приказчикъ выскочилъ, захлопнулъ дверь, повернулъ ключъ, прислушался одно мгновеніе и махнулъ за окно. Это было словно сигналомъ: разомъ нѣсколько спинъ мелькнуло въ отворенныхъ окнахъ и затрещали молодые тополевые сучья. Однако, большинство осталось на мѣстѣ, все еще не успѣвъ сообразить: что-же такое дѣлается?..

Послышались шаги нѣсколькихъ человѣкъ, дрогнула натянутая цѣпь, послышались и другіе шаги: мягкіе, эластичные, сопровождаемые сухимъ стукомъ когтей по плитному полу сосѣдней комнаты.

Въ отворенныхъ настежь дверяхъ показалась круглая голова съ торчащими, короткими ушами. Желтоватые, мигавшіе фосфорическимъ блескомъ глаза прищурились отъ потока непривычнаго свѣта.

Первое мгновеніе всѣмъ показалось, что тигрица проскользнула въ комнату одна, совершенно свободная, и холодный потъ заигралъ подъ рубашками у полупьяныхъ храбрецовъ; но потомъ всѣ ясно разсмотрѣли, какъ толстая цѣпь, продѣтая въ кольцо сыромятнаго ошейника, была намотана на сжатой въ кулакъ рукѣ Хмурова; кромѣ этой цѣпи, веревка, пропущенная сквозь то-же кольцо, была въ рукахъ здоровеннаго Асланъ-бая.

У послѣдняго за поясомъ засунутъ былъ слегка искривленный туземный ножъ въ оправѣ изъ змѣиной кожи, а высокій приказчикъ, обойдя вокругъ дома, высунулся изъ двери, робко протягивая Хмурову пару револьверовъ на всякій случай.

— Положи на столъ,—отрывисто произнесъ Хмуровъ.— Господа, позвольте васъ познакомить: сія дама прислана мнѣ отъ кашгарскаго бея...—бравировалъ онъ, скользнувъ рукою по цѣпи и гладя животное за пушистою щекою, какъ гладятъ кошекъ, если хотятъ заставить ихъ мурлыкать.

Тигрица, озадаченная такимъ большимъ обществомъ, выдрессированная съ молоду и неуспѣвшая еще окончательно одичать въ хмуровскихъ рукахъ, недовѣрчиво косилась по сторонамъ и вздергивала красными, словно раскаленные уголья, ноздрями. Полная дикой граціи, она припала на переднія лапы и легла на коверъ, какъ разъ посрединѣ залы.

Широкоплечій Асланъ сталъ у притолки, прислонившись къ дверному косяку и сложивъ на груди мохнатыя, мускулистыя руки; онъ выпустилъ веревку по приказанію Хмурова, который одинъ сѣлъ на полъ, рядомъ со своею тигрицею.

Началось совершенно неожиданное, оригинальное представленіе. Замоскворѣцкое *«нашему ндраву не препятствуй»* на этихъ далекихъ окраинахъ нашло себѣ новое примѣненіе.

Всѣ сидѣли и стояли совершенно неподвижно, какъ кого застало появленіе звѣря. И жутко, и пріятно было ощущать близость этой дикой, враждебной человѣку силы... Густой румянецъ совершенно исчезъ со щекъ щеголеватаго адъютанта, замѣненный цвѣтомъ, близко подходящимъ къ цвѣту его кителя, осовѣлые глаза жалобно моргали, нижняя губа отвисла и съ нея что-то капало.

Подъ вліяніемъ нервнаго напряженія, хмель испарялся изъ опьянѣлыхъ головъ; многіе уже протрезвѣли окончательно.

— Асланка, мяса принеси,—сказалъ Хмуровъ и легъ рядомъ съ тигрицею и положилъ на нее свою голову. Пушистая ткань ковра, цѣпляясь за острые когти звѣря, видимо безпокоила его, и эти крючковатые, вершковые когти, раздражительно ерзая, то выказывались во всемъ своемъ грозномъ величіи, то прятались въ мягкихъ, бархатистыхъ лапахъ. Хвостъ животнаго былъ вытянутъ совершенно прямо и только грязнобѣлый кончикъ его дрожалъ словно наэлектризованный.

Но тутъ случилось то, чего никто не могъ ожидать, чего не предвидѣлъ даже, всегда на все готовый, Хмуровъ.

Высокій офицеръ въ казачьемъ мундирѣ, въ широчайшихъ штанахъ съ синими лампасами, всталъ, пошатнулся, улыбнулся во весь ротъ, сдѣлалъ какую-то многозначительную гримасу: погоди, молъ, я удеру штуку, и направился къ тигру.

— Брандманъ, ты куда?—спросилъ его Спѣлохватовъ.

Казакъ глупо улыбнулся и вдругъ кинулся къ звѣрю и со всей силы дернулъ его за кольчатый хвостъ.

Въ первую минуту никто не могъ сообразить: что такое произошло.

Ошеломленный Хмуровъ кубаремъ пролетѣлъ по комнатѣ и съ размаха ударился объ ломберный столъ. Тигрица вскочила съ страшнымъ ревомъ и, прижавъ уши, дико озиралась по сторонамъ, какъ-бы раздумывая, на кого ей броситься. Цѣпь свободно волочилась по полу. Асланъ появился на порогѣ съ кускомъ мяса въ рукахъ.

Всѣ оцѣпенѣли. Всѣ боялись сдѣлать хотя какое-нибудь малѣйшее движеніе; казалось каждому, что налитые кровью глаза раздраженнаго, свободнаго звѣря устремлены именно на него и что если онъ пошевелитъ хотя бровью, то въ то же мгновеніе въ него вопьется эта темная пасть съ страшно бѣлѣвшими клыками, эти кривые, какъ ланцеты, острые когти.

Батоговъ сидѣлъ какъ разъ противъ тигра; ихъ отдѣляло не болѣе двухъ шаговъ; ни на немъ, ни около не было никакого оружія. Вѣроятно, густая борода Батогова на бѣломъ фонѣ его рубашки привлекла вниманіе звѣря.

Тигрица припала, вытянулась и приготовилась къ прыжку.

Въ окнѣ, словно прилипшее къ стеклу, показалось чье-то блѣдное лицо; два глаза горѣли ожиданіемъ и томительною радостью; узкія губы складывались въ отвратительную, конвульсивную улыбку.

Дверь въ спальню затряслась подъ напоромъ могучаго тѣла; глухое рычаніе Гектора слышалось за этою дверью; со звономъ отлетѣлъ плохо привинченный замокъ и, затрещавъ, распахнулись настежь обѣ половинки, повиснувъ на полуоторванныхъ косякахъ.

Двѣ полосатыя, живыя массы поднялись на дыбы, сцѣпились и съ какимъ-то страннымъ звукомъ (не то визгъ, не то

ревъ, не то задавленное хрипѣніе) покатились по полу, опрокидывая все встрѣчное своимъ стремленіемъ...

Въ углу, между каминомъ и столомъ, разыгрывалась въ эту минуту траги-комическая сцена:

Спѣлохватовъ схватилъ сзади за руки щеголеватаго адъютанта, поставилъ его передъ собой, и, какъ въ желѣзныхъ тискахъ, держалъ его въ этомъ положеніи. Онъ, на всякій случай, живымъ щитомъ закрылся отъ предстоящей опасности.

— Спѣлохватовъ, что за пошлости, что за неумѣстныя шутки,—захлебывался адъютантъ, силясь освободиться.

— Какія тутъ шутки,—спокойно, вполголоса утѣшалъ его Спѣлохватовъ:—это простое чувство самосохраненія... это вотъ видите-ли... Да не барахтайтесь-же; это, наконецъ, глупо, во-первыхъ безполезно, потому что изъ моихъ рукъ трудно вырваться, а во-вторыхъ,—вы этимъ скорѣе привлечете вниманіе тигра...

— Это подло... пустите...—лепетала жертва коснѣющимъ отъ ужаса языкомъ...

— Не пущу, хотя это съ моей стороны нѣсколько эгоистично, зато благоразумно: по крайней мѣрѣ,—если тигру вздумается броситься на *насъ*, то я предоставлю ему въ распоряженіе вашу особу, а самъ, тѣмъ временемъ, приму надлежащія мѣры... Да ну же, стойте же смирно!..

— Собаку... спасайте... Гектора!—кричалъ Хмуровъ, весь разбитый, подымаясь съ полу...

Асланъ, съ ножомъ въ рукахъ, согнувшись и стиснувъ зубы, стоялъ надъ борцами, выжидая мгновенія... еще секунда—и онъ согнулся еще ниже, почти легъ и погрузилъ куда-то свою вооруженную руку.

Закативъ потухающіе глаза, конвульсивно сгребая лапами изорванный коверъ, издыхала «Машка», брызгая во всѣ стороны своею горячею кровью... Гекторъ съ раздробленнымъ плечомъ, съ страшною раною на боку зарылся мордою въ горло тигра.

Соединенныя силы человѣка и собаки одержали побѣду надъ дикою мощью могучаго хищника.

— И за что, подумаешь, загубили звѣря!—произнесъ Батоговъ и направился къ выходу.

— Ну, баталія!..—протянулъ интендантскій чиновникъ и

глядѣлъ, гдѣ-же это водка дѣлась,—для подкрѣпленія силъ весьма не мѣшало-бы,—думалъ онъ.—Вѣроятно, въ той комнатѣ...

Щеголеватый адъютантъ нервно рыдалъ и пилъ холодную воду.

Спѣлохватовъ, держа въ рукахъ колоду, говорилъ:—Что-же, господа, напрасно терять золотое время.—Но онъ, очевидно, рисовался...

Хмуровъ у себя въ спальнѣ усердно клалъ земные поклоны и считалъ двадцать восьмой, двадцать девятый... Онъ непремѣнно хотѣлъ досчитать до сорока.

По большой чимкентской дорогѣ скакалъ всадникъ, машинально колотя несчастную лошадь нагайкою. Если-бы не было такъ темно, если-бы луна, по какимъ либо экстреннымъ причинамъ, появилась такъ несвоевременно, то она освѣтила-бы то самое блѣдное лицо, которое смотрѣло въ окно на тигра; только теперь эти глаза не искрились, какъ въ то время; теперь они были, какъ у помѣшаннаго, безсознательно устремлены вдаль и, казалось, ничего не видѣли. Всадникъ скакалъ и его пересохшія губы шептали: «и связала-же судьба съ...»

V.

Серенада.

Тихая, лѣтняя ночь стояла надъ спящимъ городомъ.

На темномъ небѣ ярко искрились звѣзды. Прохладный воздухъ врывался въ отворенное окно, внося съ собою смолистый запахъ тутовыхъ деревьевъ. Въ кустахъ, въ непроницаемомъ мракѣ сверкали свѣтляки-изумруды. Тамъ и сямъ, въ своемъ беззвучномъ полетѣ, проносились летучія мыши. Гдѣ-то—далеко-далеко—звенѣли подковы скачущаго коня.

Утомленная продолжительною прогулкою верхомъ, Марфа Васильевна жадно, всею грудью впивала ароматическій воздухъ.

Она стояла у окна. Волосы ея были распущены и длинными, темными прядями падали внизъ, скользили по плечамъ, прикрывая бѣлыя, словно точеныя, руки. Воротъ у рубахи разстегнулся и спустился: на тонкой, черной бархаткѣ колыхался вмѣстѣ съ упругою грудью не то медальонъ, не то крестикъ.

Давно она стояла въ такомъ положеніи. Полузакрытые глаза ея ничего не видали; она, казалось, забыла обо всемъ окружающемъ...

Она мечтала.

Маленькая тѣнь черкнула въ воздухѣ передъ самымъ окномъ и, испуганная встрѣченною тамъ бѣлою фигурою, отшатнулась назадъ, задѣвъ за кисейную занавѣску своими мягкими крыльями.

Марфа Васильевна вздрогнула и сѣла на подоконникъ, прислонясь спиной къ косяку и сложивъ на колѣняхъ свои обнаженныя тонкія руки.

Изъ-за тонкой перегородки доносилось всхрапываніе мужа и мѣрное чиканье лежащихъ на столикѣ карманныхъ часовъ

Былъ уже второй часъ пополуночи. Созвѣздіе Большой Медвѣдицы запрокинулось почти къ самому горизонту; усилившаяся темнота ночи напоминала о скоромъ разсвѣтѣ.

Три человѣка, держась подъ руки, волоча за собою распущенныя сабли, шли самою серединою улицы.

Если-бы кому-нибудь вздумалось наблюдать слѣды, оставленные ими на тонкомъ слоѣ уличной пыли, то наблюдатель замѣтилъ-бы, что эти шесть ногъ, вооруженныхъ шпорами, лавировали, какъ парусное судно лавируетъ противъ вѣтра: то они направлялись къ одной сторонѣ улицы, то вдругъ поворачивали въ другую.

— Слушай,—говорилъ одинъ изъ нихъ:—позволь мнѣ, какъ другу, какъ самому искреннему другу, сказать тебѣ: оставь, понимаешь, оставь.

— О нѣтъ, это невозможно,—говорилъ другой.—У него слишкомъ пылкій характеръ, у него...

— Да, чортъ возьми, я горячъ; и я докажу это!

— Оставь, ну—оставь. Я не говорю: совсѣмъ оставь;—это было бы невозможно, но теперь, въ настоящую минуту...

— Ни за что! Идемъ и я докажу! Я докажу!..

— О Боже! онъ сейчасъ упадетъ.

— Я пьянъ, да я пьянъ, но еще довольно твердъ на ногахъ, чтобъ идти туда, прямо къ ней, и сказать...

Онъ сильно пошатнулся; а такъ какъ, въ эту минуту, всѣ трое пролавировали къ сложеннымъ въ кучи кирпичамъ, приготовленнымъ для какой-то постройки, то тутъ же и опустились на отдыхъ, подобравъ свое оружіе.

— Меня хлыстомъ по рукѣ! Нѣтъ, это уже черезчуръ.

— Но, вѣдь, она женщина, пойми ты, существо слабое; ну, опять тамъ,—нервы...

— Хлыстомъ публично.

— Да нѣтъ-же, тебѣ говорятъ; видѣли это только мы двое. Значитъ, вовсе не публично.

— Другъ мой, это было, такъ сказать, наединѣ.

— Эхъ! какъ только вспомню,—все переворачиваетъ. Идемъ!..

— Ну, пожалуй, идемъ! Мнѣ что? мнѣ все равно.

— Идемъ, такъ идемъ!

Всѣ трое сидѣли. Тотъ, котораго уговаривали, ожесточенно чиркалъ спичкою о свое колѣно. Въ зубахъ онъ догрызалъ окурокъ потухшей сигары. Вспыхнулъ синеватый огонекъ и ярко освѣтилъ нижнюю часть лица, рыжіе усы, угреватыя щеки...

— Да подпимите-же меня, наконецъ.

Общество усиленно завозилось; при этомъ имъ сильно мѣшали ихъ сабли, путавшіяся между ногъ, когда ноги и безъ того путались между собою. Наконецъ, они справились, снова стояли на ногахъ и могли продолжать свое путешествіе.

Ночные путешественники прошли еще шаговъ полтораста, повернули въ короткій и довольно узкій переулокъ и вдругъ остановились, какъ вкопанные.

Ихъ слухъ былъ пораженъ стройными музыкальными звуками, ихъ опьянѣлые глаза остановились на одной точкѣ.

Эта точка была—отворенное настежь окно; въ окнѣ, едва очерченное во мракѣ, легкое, полувоздушное видѣніе.

Марфа Васильевна пѣла. Она пѣла безъ словъ, безъ опредѣленнаго мотива. Она не могла-бы повторить того, что уже разъ вылилось въ звукахъ. И эта чудная, чарующая пѣсня-импровизація, вырываясь прямо изъ переполненной души красавицы, росла и росла, расходилась въ ширь и въ высь, замирая далеко въ ночномъ воздухѣ.

Рыжій артиллеристъ и его товарищи, неподвижные, окаменѣлые, стояли, не спуская глазъ съ пѣвицы. Что-то хорошее, вовсе имъ незнакомое, закопошилось у нихъ въ груди; въ опьянѣлыхъ мозгахъ заворочалась свѣжая мысль.

Марфа Васильевна увлеклась: ея прекрасные, влажные

глаза изъ-подъ густыхъ, длинныхъ рѣсницъ смотрѣли куда-то въ даль, ничего не видя. Она не замѣчала, что на плоской крышѣ противоположнаго дома проснулся сторожъ-татаринъ и слушалъ, оперши свою голову на жилистыя руки. Она не замѣчала, какъ статный сѣрый конь, стоя на приколѣ, подъ навѣсомъ, поднялъ свою умную голову и навострилъ чуткія уши; какъ ея любимица—косматая кудлашка, до сихъ поръ спавшая спокойно на заваленкѣ, зарычала, пристально вглядываясь въ темноту... Она не замѣчала, что въ десяти шагахъ отъ нея, словно столбы, врытые поперекъ дороги, неподвижно стояли три человѣческія фигуры.

— Царица, богиня...—бормоталъ рыжій артиллеристъ.— Ангелъ, съ неба слетѣвшій...

Бѣлыя занавѣски у окна показались ему распущенными крыльями. Кровь прилила у него къ головѣ; онъ пошатнулся. Онъ вспомнилъ и закрылъ лицо руками.

— Хлыстомъ по рожѣ... по рожѣ, меня!—всхлипывалъ онъ и, вдругъ, неистово вскрикнулъ:—Браво!—браво!—бисъ!!. и кинулся къ окну, протянувъ впередъ свои руки.

— Урра!!!.. заоралъ, уже Богъ вѣсть по какому вдохновенію, одинъ изъ спутниковъ.

— Ату его!—подхватилъ другой. И оба, не понимая, что дѣлаютъ, безсознательно ринулись впередъ и вскочили на приступку у окна.

Марфа Васильевна пронзительно вскрикнула и закрыла окно.

— Назадъ, не выгорѣло!—командовалъ рыжій артиллеристъ.

Кудлашка бросилась на него, но съ визгомъ отлетѣла, подвернувшись подъ ударъ сабельныхъ ноженъ. Сторожъ-татаринъ сплюнулъ свою табачную жвачку и, не перемѣняя положенія, смотрѣлъ, чѣмъ это все кончится.

Глухой топотъ конскихъ копытъ, свернувъ съ шоссированной дороги, приближался къ мѣсту дѣйствія. За калиткою послышались торопливые шаги и брякнула щеколда.

— Господа, не отставать! Скандалъ, такъ скандалъ!..— бѣсновался рыжій артиллеристъ.—Начинай за мною... Марта, Марта, гдѣ ты скрылась?..—взвылъ онъ, поводя распаленными зрачками. Товарищи подхватили...

— О, явись къ намъ, ангелъ мой.

— А... ахъ куда-жъ ты провалилась?..—вопилъ импровизированный хоръ.

На сосѣднемъ дворикѣ, двѣ или три собаки, поднявъ кверху морды, затянули въ тонъ неожиданной серенады.

Калитка отворилась, и черезъ порогъ переступилъ худощавый человѣкъ въ одномъ бѣльѣ, блѣдный отъ внутренняго волненія, едва сдерживавшій подступающее къ горлу бѣшенство.

— Господа,—началъ онъ прерывающимся голосомъ,—вы не совсѣмъ удачно выбрали мѣсто для вашихъ музыкальныхъ упражненій. Я-бы вамъ совѣтывалъ, капитанъ...

— А я вамъ совѣтую,—оборвалъ капитанъ,—отправляться опять въ свою постель и не мѣшать намъ пѣть... Короче—убирайтесь къ чорту!

— Вѣдь мы не лѣземъ-же въ спальню къ вашей супругѣ,—нахально смѣясь, вставилъ тотъ изъ пѣвцовъ, на которомъ были докторскіе погоны.

Этой фразы было достаточно, чтобы терпѣніе худощаваго человѣка лопнуло. Онъ звѣремъ кинулся на доктора, тотъ увернулся; ударъ пришелся на долю рыжаго артиллериста. Они сцѣпились.

Не долго продолжалась борьба: силы были слишкомъ не равны. Худощавый человѣкъ застоналъ подъ силою шести рукъ нападавшихъ... Но тутъ подоспѣла неожиданная помощь.

Рыжій артиллеристъ вскрикнулъ и схватился за голову отъ страшнаго удара, сбившаго у него фуражку. Докторъ не устоялъ на ногахъ и растянулся: онъ не выдержалъ удара сильной конской груди; товарищъ его бросился бѣжать, хотѣлъ перескочить канаву, отдѣлявшую улицу отъ незастроеннаго пустыря, но запутался въ своей саблѣ и упалъ головою внизъ, на покрытое жидкою грязью дно. Между поверженными стоялъ всадникъ, спокойно глядя на дѣло рукъ своихъ. Онъ находился съ своимъ гнѣдымъ конемъ у самаго окна дома, такъ что правая рука его, вооруженная массивной киргизскою плетью, опиралась на подоконникъ.

— Идите домой и заприте за собою калитку,—говорилъ всадникъ худощавому человѣку.—Объ этой сволочи не заботьтесь: они не повторятъ своей атаки. Покойной ночи, хотя правильнѣе сказать: добраго утра!

Онъ показалъ рукою на золотистую полоску утренней зари,

на которой вырѣзывалась тонкая зубчатая линія хребта Акъ-тау.

— Вотъ такъ; заприте-же калитку... Ну, мой Орликъ, съ Богомъ!

Онъ хотѣлъ тронуть своего коня, но почувствовалъ, какъ чья-то нѣжная, горячая рука, просунутая въ щель слегка отворенпаго окна, сжала его грязную замшевую перчатку.

Марфа Васильевна наблюдала всю сцену сквозь кисейную занавѣску. Она узнала всадника, узнала его густую, окладистую бороду, его слегка охриплый отъ безсонныхъ ночей и попоекъ голосъ.

Оглушенные, озираясь мутными, безсмысленными глазами, поднялись на ноги несчастные, потерпѣвшіе такое полнѣйшее пораженіе.

Снова все было тихо.

Сторожъ на крышѣ, удовольствовавшись результатомъ схватки и разсчитывая, что, вѣроятно, ничего интереснаго дальше не будетъ, крякнулъ, переложилъ жвачку изъ-за одной щеки за другую и заснулъ, пожимаясь подъ своей кошмою отъ утренняго холодка. Окна, ворота, калитка были наглухо заперты; кудлашка куда-то исчезла, и не было даже слышно ея рычанья. Въ канавѣ, неподалеку, кто-то возился, силясь выбраться.

Разсвѣтало.

— Скверное дѣло,—задумчиво произнесъ рыжій артиллеристъ.

— Я говорилъ: оставь... говорилъ...

Оба они протрезвѣли и могли сообразить мало-по-малу всѣ обстоятельства дѣла.

— Скорѣе домой,—говорилъ докторъ.—Скорѣй, пока еще никого нѣтъ на улицахъ.

— Помогите мнѣ выбраться... О, Боже мой, въ какомъ я положеніи...—слышался голосъ изъ канавы.

Черезъ минуту они скрылись за поворотомъ длиннаго кирпичнаго забора.

На крѣпостномъ бастіонѣ зарокоталъ барабанъ. Гдѣ-то, далеко въ садахъ, прозвенѣла казачья труба. На базарахъ задымились огни и зашевелился народъ рабочій.

VI.

Сонъ Перловича.

Эге, никакъ тюра пьянъ,—подозрительно посмотрѣлъ Шарипъ, принимая лошадь Перловича.—Что-бы это такое значило? Прежде этого съ нимъ никогда не бывало... Да, а лошадь какъ отдѣлалъ,—думалъ онъ, глядя на уныло повѣсившаго уши, почти загнаннаго, чалаго.

Перловичъ, противъ обыкновенія, не обратилъ вниманія на ласки своего сетера, который выражалъ свою радость веселымъ лаемъ и усиленными прыжками. Поднимаясь на ступени террасы, онъ чуть не упалъ, споткнувшись на спящаго поперекъ дороги Блюменштандта; расходившаяся рука хотѣла и туть пустить въ ходъ нагайку, но почему-то остановилась на взмахѣ.

Перловичъ швырнулъ въ уголъ шляпу, почти посрывалъ съ себя платье и сапоги и бросился на складную кровать...

Въ саклѣ было душно и сильно пахло какими-то пряностями. Воспаленные мозги словно ворочались въ головѣ Перловича, въ ушахъ стоялъ непрерывный звонъ. Узорные гипсовые переплеты оконъ, сквозь которые искрились звѣзды, дрожали у него передъ глазами.

— Фу, какая мерзость!—произнесъ онъ и сѣлъ на постели, спустивъ на полъ босыя ноги.—Этакъ, пожалуй, и съ ума сойти не долго...

Длинная сороконожка показалась изъ-за рѣзного карниза и быстро поползла по стѣнѣ, надъ самою постелью. Разстроенное воображеніе Перловича представило ему это насѣкомое въ громадныхъ размѣрахъ: мохнатыя ноги страшно топорщились въ разныя стороны. Онъ слышалъ даже шелестъ ея движенія. Порывисто схватилъ онъ ближайшій сапогъ, размахнулся, какъ-будто хотѣлъ убить вола однимъ ударомъ, расплюснулъ ядовитую гадину и размазалъ ее по стѣнѣ. Онъ началъ пристально разсматривать эту отвратительную кляксу, въ которой еще дрожали и шевелились размозженныя части. «Эхъ, если-бы также...» прошепталъ онъ и вздрогнулъ. Сонный Блюменштандтъ заворочался во снѣ и глухо замычалъ; высокая тѣнь Шарипа на одно мгновеніе показалась въ дверяхъ и скрылась.

Собака, поджавъ хвостъ, прошмыгнула въ саклю и осторожно кралась съ намѣреніемъ занять свое обычное мѣсто подъ кроватью.

— Вотъ пытка,—думалъ Перловичъ.—И изъ-за чего я бьюсь?.. На кой чортъ мнѣ все это, когда я и минуты не имѣю покоя... На, на, бери все! играй, проигрывай, бросай, жги, проклятый! только оставь меня, дай мнѣ хоть дышать-то свободно...

Перловичъ сжалъ кулаки, вскочилъ на ноги и обращался въ темный уголъ, словно онъ видѣлъ тамъ кого-то, словно на этой, едва бѣлѣвшей стѣнѣ, чернѣла окладистая борода и спокойно, въ упоръ смотрѣли на него два сѣрыхъ глаза...

— А потомъ опять нищета, опять лямка, и всѣ эти мечты, все, что уже достигнуто... Да вѣдь это же все мое *по праву*... Мое!.. Онъ получилъ свою долю, даже больше, вѣдь это значитъ наступить на горло: подай, да и только, вѣдь это хуже разбоя; тамъ потеряешь разъ, другой разъ примешь мѣры, а здѣсь и мѣръ никакихъ принять невозможно...

Вдругъ почему-то вспомнились Перловичу фразы: «Все какъ-то подозрительно... Отчего не произвести? откуда, что и какъ; все досконально».

— Ну, пускай производятъ! Гдѣ доказательства? Да и что я сдѣлалъ? Развѣ *это* преступленіе? *Это* случайность, простая только случайность: не я, не онъ, другой, третій, всякій, да, да, всякій, безъ исключенія, люди не ангелы. У кого мы взяли? гдѣ? развѣ *тому* что-нибудь нужно?!. Руки врозь, ноги врозь, головы нѣтъ, падалью воняетъ...—вспомнилось Перловичу. Ему вдругъ стало невыносимо душно въ этой саклѣ, ему показалось даже, что отъ стѣнъ пахнуло и шибаетъ въ носъ тѣмъ самымъ запахомъ *падали*. Босой, въ одномъ бѣльѣ, онъ вышелъ въ садъ и началъ быстро ходить взадъ и впередъ по средней аллеѣ.

Долго онъ ходилъ такимъ образомъ; ночной воздухъ, сырость отъ пруда и отъ этой массы зелени одолѣли горячечный жаръ Перловича и пульсъ его сталъ биться ровнѣе. Вершины тополей и нарѣзанный зубцами гребень стѣны стали опредѣленнѣе; небо свѣтлѣло. Въ туземномъ городѣ перекликались пѣтухи; утренній вѣтеръ колыхнулъ слегка вѣтви фруктовыхъ деревьевъ и на дорожку со стукомъ упало нѣсколько перси-

ковъ. Перловичъ вошелъ опять въ саклю, легъ навзничь на кровать и закурилъ сигару. Всѣ контуры окружающихъ предметовъ начали сливаться у него передъ глазами; сетеръ завозился подъ кроватью и сталъ усиленно чесать заднею лапою за ухомъ. Стукъ этотъ показался Перловичу гдѣ-то далеко и едва доходилъ до его слуха.

Онъ задремалъ и дремота перешла въ тяжелый, болѣзненный сонъ...

Народу сколько на площади!.. Кругомъ, куда только ни достанетъ глазъ, все головы, головы, и конца нѣтъ этому морю головъ человѣческихъ. Волнуются, гудятъ и ревутъ эти живыя волны и глухой гулъ, словно отдаленные раскаты грома, стоитъ въ воздухѣ. Да это громъ и есть: что-то красное, яркое блеснуло въ очи и зубчатою стрѣлою прорѣзало темную тучу; загрохотало потемнѣвшее небо и въ этомъ грозномъ звукѣ слились милліоны голосовъ человѣческихъ.

Все чернѣе и чернѣе, ниже и ниже, со всѣхъ сторонъ свѣта надвигаются тяжелыя тучи, словно хотятъ раздавить все живое своимъ натискомъ... Мало воздуху, дышать тяжело и уйти некуда отъ страшной смерти...

А тамъ высоко-высоко виднѣется маленькій клочекъ голубого неба. Яркая звѣзда горитъ какъ разъ по срединѣ и прямой свѣтлый лучъ съ недосягаемой высоты спускается на мрачную землю... Туда, скорѣе къ этому лучу... это дорога къ спасенію!.. Массы народа рванулись и хлынули. Онъ бросился туда-же. Черезъ головы упавшихъ, расталкивая все встрѣчное, пустивъ въ ходъ кулаки, лобъ и зубы, прокладываетъ онъ себѣ дорогу. За нимъ слѣдомъ несется хриплая, пьяная ругань... дикія проклятія, стоны и вой раздавленныхъ... Онъ уже опередилъ всѣхъ... Онъ уже много отдѣлился отъ толпы... уже близко... Онъ добѣжалъ...

— Постойте, братцы, постойте, голубчики, не сразу...— суетится полицейскій чиновникъ въ мундирѣ при всѣхъ регаліяхъ и шпорахъ съ малиновымъ звономъ...—Городовые, чего смотрите?.. Ты куда,—обратился онъ къ Перловичу, да потомъ спохватился, замѣтивъ на немъ тоже свѣтлыя пуговицы и поправился:—Пожалуйте-съ... пожалуйте-съ... Здѣсь не приказано...

— Да отчего-же!—чуть не плачетъ Перловичъ.—Всякому дышать хочется...

— Для народа, только для народа,—внушаетъ чиновникъ и стремительно бросается въ сторону.

— Ахъ ты Господи, ахъ ты олухи царя небеснаго! Стоятъ, свиньи, и не видятъ, что пьянаго хлещетъ...

Нѣсколько городовыхъ, одинъ пожарный и два синихъ мундира пробѣгаютъ, запыхавшись, мимо Перловича; на него такъ и пахнуло махрою, лукомъ и ржавою селедкою. Онъ воспользовался минутою замѣшательства, ухватился и полѣзъ вверхъ... Усиленно работаетъ онъ и ногами и руками... «И зачѣмъ это *его* мыломъ намазали?», думаетъ онъ и крѣпче прижимается къ *нему* своею наболѣвшею грудью...

— То-есть прямо на красное сукно, каналья,—разсуждаетъ возвращающійся съ *распоряженія* чиновникъ.—Мѣры ни въ чемъ соблюдать не привыкли: трескаютъ, пока съ души не попретитъ...—Да-съ, господинъ, только для народа, а для дворянства и прочихъ сословій есть совсѣмъ особенное устройство... Да гдѣ-же онъ?!.

Чиновникъ обернулся,—нѣтъ, посмотрѣлъ вправо, влѣво,—нѣтъ, взглянулъ наверхъ и увидѣлъ высоко надъ собою усиленно дрыгающія ноги Перловича.

— Назадъ, назадъ!.. Вотъ народъ-то; да назадъ-же, говорятъ вамъ, назадъ слѣзайте...

Но Перловичъ не слушалъ и все лѣзъ и лѣзъ. Ужѐ высоко поднялся онъ надъ землею. Взглянулъ внизъ: словно муравейникъ кишѣлъ у него подъ ногами и не разберешь тамъ ни свѣтлыхъ, ни темныхъ пуговицъ, ни синихъ мундировъ, ни сѣрыхъ, заплатанныхъ чуекъ: все слилось тамъ въ одинъ неопредѣленный тонъ, въ одну грязную, ворочающуюся массу. Взглянулъ наверхъ: мягкимъ, манящимъ свѣтомъ серебрится свѣтлая точка и мечетъ во всѣ стороны радужные лучи; но далеко еще до нея, много дальше того, что осталось сзади, а силы слабѣютъ, порывистѣй становится горячее дыханіе и медленнѣе работаютъ усталыя руки... Доползу-ли? Господи!.. Онъ зажмурилъ глаза, чтобы не видать ни этого блеска отраднаго, ни этой ужасной тьмы подъ ногами, и все лѣзъ и лѣзъ. Долго онъ лѣзъ и снова открылъ глаза: внизу уже ничего не видно и не слышно, а сверху, прямо на него, такъ и стремится свѣтлая точка... Руки нѣмѣютъ, ноги готовы разжаться и повиснуть обезсиленныя... Еще-бы немного, еще-бы одно мгно-

веніе... Онъ протянулъ руку... Вотъ виситъ какая-то веревочка: только-бы за нее ухватиться... Вдругъ свѣтлая точка погасла: ее словно загородила какая-то массивная тѣнь—Батоговъ сидитъ верхомъ на перекладинѣ, въ рукахъ у него *дама съ надогнутымъ угломъ*.

— Эхъ, братецъ, говорятъ тебѣ: назадъ...—сообщаетъ онъ Перловичу.

Стремглавъ, съ быстротою молніи, летитъ внизъ несчастный, прямо въ эту темноту, вѣющую могильнымъ холодомъ... Полицейскій чиновникъ улыбается и потираетъ руки, глядя наверхъ; синіе мундиры усиленно забѣгали; какая-то кокарда вынимаетъ изъ портфеля листъ гербовой бумаги, надѣваетъ золотыя очки на свой ястребиный носъ и прокашливается. Тысячи голосовъ свистятъ, хохочутъ и гикаютъ, гдѣ-то реветъ тигръ и глухо рычитъ собака... и все это покрываетъ фраза: «отчего не произвести? все допросить: откуда, какъ и что,—все досконально...»

Перловичъ очнулся.

Лежитъ онъ уже не на кровати, а на коврѣ, на открытомъ воздухѣ. Шарипъ мочитъ ему голову холодною водою. Блюменштандтъ уже выкупался, сидитъ около него съ стаканомъ въ рукахъ и смотритъ.

—Ну, вы вчера должно быть хватили,—говоритъ онъ и хохочетъ.

Солнце высоко стоитъ, почти надъ головою, и стрѣлка солнечныхъ часовъ показываетъ полдень.

VII.

Марфа Васильевна хочетъ начать знакомство съ Батоговымъ.

Проводивъ, сквозь занавѣску окна, глазами удаляющагося всадника, Марфа Васильевна юркнула къ себѣ на постель. Она внутренно смѣялась, припоминая комическое положеніе трехъ несчастныхъ пѣвцовъ; и этотъ внутренній смѣхъ по временамъ вырывался наружу неудержимымъ фырканьемъ, которое она старалась заглушить, прижимаясь лицомъ къ подушкѣ.

— Однако, интересно, чѣмъ это все кончится,—подумала она.

— Удивительно смѣшно,—произнесъ мужъ и добавилъ:— нечего сказать, пріятныя событія.

— Вы, кажется, сердитесь?..—Марфа Васильевна немного приподнялась и посмотрѣла на мужа, который, стоя у комода, крутилъ себѣ папиросу. Насколько можно было разсмотрѣть при блѣдномъ, чуть пробивающемся свѣтѣ утренней зари, онъ былъ сильно взволнованъ; руки его дрожали и неловко ворочали клочекъ тонкой бумажки. Марфѣ Васильевнѣ показалось даже, что онъ слегка дрожалъ и неподвижно уставился въ небольшое туалетное зеркало, какъ-бы разсматривая тамъ свою тощую фигуру.

— Развѣ нельзя было постараться избѣгать повода къ подобнымъ дикимъ сценамъ?.. развѣ...

— Ты, наконецъ, просто невыносимъ! Или ты не хотѣлъ внимательно прослушать то, что я тебѣ разсказывала.

— Да, но подъ вліяніемъ пристрастія (невольно, конечно, совершенно невольно) къ своей особѣ многіе оттѣнки, повидимому, незначащіе, могли ускользнуть изъ твоего разсказа, а если-бы взглянуть на дѣло съ третьей, безпристрастной стороны...

— Въ такомъ случаѣ потрудитесь произвести строжайшее дознаніе, составьте протоколъ или—какъ тамъ оно называется?—постановленіе, что-ли, а пока ложитесь спать.

— Марта (мужъ иногда поэтизировалъ имя своей жены), я очень хотѣлъ-бы серьезно поговорить съ тобою.

— Поговоримъ завтра.

Марфа Васильевна притворно зѣвнула.

— Нѣтъ, не завтра, а теперь, когда у меня слишкомъ уже много накипѣло въ груди...

— Чего?—какъ-бы вскользъ спросила она. Тотъ не нашелся, что отвѣтить.

— Когда что-нибудь кипитъ,—продолжала Марфа Васильевна,—то на поверхности обыкновенно накипаетъ пѣна,— весьма грязная пѣна, которую надо снять ложкою и выплеснуть въ лахань. Такъ и теперь. Что въ васъ говоритъ? Что васъ бѣситъ? — Чувство фальшиво-оскорбленнаго самолюбія: васъ взяли за воротъ, васъ тряхнули и даже чуть не побили... Полноте! Вы забыли, гдѣ мы; развѣ можно считать оскорбленіемъ, если дикарь на какихъ-либо забытыхъ островкахъ ударитъ случайно заѣзжаго европейца, если оселъ лягнетъ своего во-

жака, если, наконецъ, васъ изъ-за рѣшетки обругаютъ въ домѣ сумасшедшихъ?.. Или, можетъ быть, васъ волнуетъ то, что вамъ приходится краснѣть за свою жену?..—(Марфа Васильевна приподнялась и пристально смотрѣла на мужа.)—Вы-бы прекрасно сдѣлали, избавивъ меня отъ этого непрошеннаго попечительства... Кстати—(она вдругъ совершенно перемѣнила тонъ),—статья четырнадцатая нашего добровольнаго взаимнаго договора гласитъ, что если жена хочетъ спать, то мужъ ничѣмъ не долженъ ей въ этомъ препятствовать. Итакъ, въ силу этой четырнадцатой статьи,—до свиданія.

Она протяжно зѣвнула и повернулась лицомъ къ стѣнѣ.

— Марта, мнѣ-бы хотѣлось въ данную минуту нарушить эту статью...—началъ опять мужъ.

Марфа Васильевна не отвѣчала и, казалось, крѣпко заснула, а вѣрнѣе—притворилась спящею...

Спокойный голосъ красавицы, когда она, отчеканивая каждую фразу, произносила свой монологъ, какъ-то успокоительно подѣйствовалъ на взволнованные нервы мужа. Отъ этого голоса вѣяло неотразимою силою; эта рѣчь пробудила въ немъ цѣлый рядъ воспоминаній. Этому успокоенію способствовали также и утренній холодокъ, и сильныя затяжки табачнаго дыма...

Онъ задумался.

Они сошлись подъ вліяніемъ сильнаго и, главное, взаимнаго чувства. Сошлись уже года три, еще въ Петербургѣ.

Ему нравилось это красивое личико съ строго очерченнымъ профилемъ, съ веселыми, темными глазками, эта стройная, словно выточенная фигурка... и много еще чего нравилось ему такого, что неудержимо влекло его къ этой прелестной дѣвушкѣ, склонившейся надъ швейною машиною и вскидывавшей глазами только для того, чтобы развеселить всю работающую братію. Когда ея нѣтъ, все тихо и скучно въ этой большой комнатѣ съ приземистыми сводами: монотонно жужжатъ машины, во весь ротъ зѣваютъ молчаливыя работницы; но она пришла и сѣла на свое мѣсто—все ожило, словно подъ вліяніемъ волшебной палочки, и не слышно стукотни машинъ, не слышно даже брюзгливаго ворчанія мадамы въ чепцѣ за этимъ серебристымъ смѣхомъ и бойкою болтовнею развеселившихся труженицъ.

Ей нравилось въ немъ... Онъ положительно не могъ дать себѣ отчета, что могло ей нравиться въ немъ.

Рядъ самыхъ розовыхъ дней потянулся за этою встрѣчею... Ну, и прекрасно.

— Завтра непремѣнно надо всю постель обсыпать персидскою ромашкою: эти проклятые земляные полы удивительно способствуютъ размноженію паразитовъ,—вдругъ прервалъ онъ свои мысли.

Гдѣ-то далеко на Востокѣ открылась какая-то страна. Туда нужны люди, туда ихъ ищутъ и зовутъ, льготы разныя обѣщаютъ: ужъ не махнуть-ли?..

— А что, тебѣ не страшно будетъ въ такую даль?

— Чего-же мнѣ бояться? Вѣдь ѣдутъ-же люди.

— Но все-таки, вѣдь, это такъ далеко: необозримыя степи, верблюды, тигры, скорпіоны, возвратныя горячки... тамъ головы рѣжутъ и выставляютъ на копья, тамъ...

— Вѣдь, я буду съ тобою!

— Ну, такъ я подамъ завтра-же, куда слѣдуетъ бумаги и—ѣдемъ.

Рядъ розовыхъ дней смѣняется рядомъ не менѣе интересныхъ приготовленій. Сборы, разспросы, закупки, прощанія, тысячи предположеній, одно другого грандіознѣе... Врапья-то сколько!.. Наконецъ, готовы къ отъѣзду.

— А что, не перевѣнчаться-ли намъ?—говоритъ онъ, вернувшись только-что изъ какой-то канцеляріи.

— А что?—спросила Марфа Васильевна и даже струхнула немного отъ такой непредвидѣнной неожиданности.

— Да тутъ есть одно обстоятельство, чисто матеріальное, впрочемъ, но все-таки... Видишь-ли, если мы обвѣнчаемся, то мнѣ, какъ человѣку семейному, выдадутъ годовое жалованье не въ зачетъ, двойные прогоны и тамъ есть еще другія льготы... всего составится тысячи полторы, если не больше, а это, по правдѣ, кушъ порядочный...

— Ну, пожалуй...—сказала она и задумалась.

Черезъ недѣлю они обвѣнчались.

За нѣсколько дней передъ отъѣздомъ оба они очень много хохотали, а еще больше писали чего-то на листахъ гербовой бумаги того достоинства, на которой обыкновенно пишутся контракты. Отъ души хохотали и двое господъ пріятелей, при-

глашенныхъ въ качествѣ свидѣтелей. Результатомъ этого веселаго вечера были два экземпляра брачнаго договора обѣихъ сторонъ... Вопросъ былъ до такой степени подробно разработанъ, что явились чуть не триста параграфовъ, да еще съ различными дополненіями. Основнымъ-же мотивомъ этого договора была полнѣйшая гарантія независимости той и другой стороны, главною и единственною связью которыхъ становилось ихъ взаимное чувство.

Онъ очень хорошо понималъ всю юридическую несостоятельность этого договора; она-же была глубоко увѣрена въ важности своего *документа*. И онъ скорѣе согласился-бы отрубить себѣ руку, чѣмъ хотя однимъ неосторожнымъ шагомъ разрушить или-же поколебать эту увѣренность.

Но случилось такъ, что чувство, связывающее ихъ, мало-по-малу испарялось и, наконецъ, приняло уже такіе микроскопическіе размѣры, что ни та, ни другая сторона порою не замѣчали его вовсе.

Если-бы Марфѣ Васильевнѣ пришлось столкнуться съ новою личностью, способною зажечь новую божественную искру, то она навѣрное оставила-бы своего мужа; но подобной личности не находилось, и наши супруги жили совмѣстно, покойно и даже, по ихъ взглядамъ на вещи, довольно счастливо.

У него всегда своевременно готово было безукоризненно чистое бѣлье и даже со всѣми прочнопришитыми пуговицами; у ней, также своевременно, являлись нужные по сезону костюмы. У него аккуратно ставился на столъ завтракъ, обѣдъ и все прочее; даже чай ему собственноручно наливала Марфа Васильевна. У ней всегда являлась возможность (конечно, въ предѣлахъ возможнаго) пользоваться всякими удовольствіями и исполнялись (конечно, въ тѣхъ-же предѣлахъ) всѣ ея прихоти.

Все у нихъ было мирно, тихо и покойно; случалось, положимъ, иногда перебраниваться, но до потасовокъ никогда не доходило.

Чего-же еще нужно?

Какъ Перловичу, такъ и Марфѣ Васильевнѣ не удалось покойно провести остатокъ этой ночи. Причина у обоихъ была одна и та-же.

Едва только Марфа Васильевна закрыла глаза и приготовилась заснуть, прислушиваясь, что бормочетъ ея мужъ, какъ

передъ нею, въ миріадахъ радужныхъ точекъ, показалась окладистая борода и она почувствовала въ крови какой-то безпокойный жаръ, совершенно разогнавшій всякую наклонность ко сну. Она повернулась на другой бокъ, подвинулась къ краю постели, гдѣ простыня не была еще такъ нагрѣта и давала пріятную свѣжесть, и снова попыталась заснуть. Опять та-же окладистая борода, но теперь еще съ прибавленіемъ руки въ замшевой перчаткѣ и ременной нагайки. «Что-же это такое»? подумала она. «Надо посыпать персидскою ромашкою», словно во снѣ, но довольно явственно бредитъ мужъ... «А, вотъ это отчего!» думаетъ Марфа Васильевна, но тутъ же чувствуетъ, что это совсѣмъ не то, и никакою персидскою ромашкою тутъ не поможешь. «Ужъ не порывы-ли это любви платонической»? подумала она и чуть-чуть не расхохоталась.

Такъ вплоть до самаго поздняго утра и провалялась она на постели, не успѣвъ отогнать отъ себя этого упорнаго призрака съ окладистой бородою и нагайкою въ замшевой перчаткѣ.

Сунувъ ноги въ туземныя туфли, она въ одномъ бѣльѣ подошла къ письменному столу и приготовилась писать.

— Ты куда это пишешь?—спросилъ ее мужъ.

— Сама еще не знаю, куда... тамъ разыщутъ, отвѣчала она.

— Къ кому, по крайней мѣрѣ?

— Къ Батогову.

— Да ты развѣ съ нимъ знакома?

— Нѣтъ; вотъ собираюсь начать знакомство.

— Ты, кажется, совсѣмъ съ ума сходишь...

— Послушай, въ статьѣ шестой сказано...

— Ну, хорошо, хорошо, пиши хоть къ самому бухарскому эмиру, хоть къ самому чорту!..

Онъ сильно хлопнулъ дверью. Марфа Васильевна удивленно посмотрѣла ему вслѣдъ.

— Ты, Марта, извини, пожалуйста: это я съ просонковъ,— произнесъ ея мужъ, пріотворивъ дверь на половину и начиная умываться.

— Ну то-то!—И она принялась писать.

«Милостивый государь», написала Марфа Васильевна,— написала и зачеркнула. Подумала немного и написала прямо, безъ всякаго заголовка:

«Мнѣ очень-бы хотѣлось поблагодарить васъ лично за ту рыцарскую помощь, которую вы оказали намъ прошедшею ночью, во время штурма моего окна тремя пьяными болванами. Я послѣзавтра рано утромъ, приблизительно часовъ въ шесть, поѣду кататься одна и нисколько не поразилась-бы неожиданностью, встрѣтивъ васъ у «Бешь-агача» [1]).

«Подписи моей вамъ совершенно не нужно. До свиданья».

Марфа Васильевна запечатала письмо въ конвертъ и надписала: «Батогову». «Куда-же»? подумала она и рѣшила послать письмо къ Перловичу, разсчитывая, что послѣдній долженъ знать мѣстопребываніе человѣка съ окладистою бородою.

— Ну, дѣло сдѣлано,—произнесла она вслухъ и принялась на спиртовой кострюлькѣ варить мужу кофе.

VIII.

Вызовъ и отказъ.

Пріѣзжая въ Ташкентъ, Батоговъ никогда не любилъ останавливаться въ русской части города и предпочиталъ туземный городъ, гдѣ онъ почему-то чувствовалъ себя гораздо свободнѣе. Такъ и теперь: пріѣхавъ съ передовой линіи, онъ расположился у сарта Саидъ-Азима, одного изъ вліятельнѣйшихъ и богатыхъ туземцевъ города и его стараго пріятеля.

Саидъ-Азимъ предназначилъ въ распоряженіе своего гостя одну изъ просторныхъ, чистыхъ и даже весьма роскошно отдѣланныхъ въ мѣстномъ вкусѣ сакель перваго двора, убѣдительно прося Батогова быть совсѣмъ какъ у себя дома и не заглядывать только *туда*,—при этомъ онъ кивалъ головою въ ту сторону, гдѣ были расположены внутреннія, сокровенныя помѣщенія его семейства и откуда, несмотря на массы навоза отъ десятка лошадей, стоявшихъ подъ навѣсомъ передняго двора, все-таки сильно несло запахомъ мускуса и розоваго масла.

Пригнувшись на высокомъ казачьемъ сѣдлѣ, чтобы не разбить себѣ головы объ низкія ворота, во дворъ въѣхалъ всадникъ,

---

[1]) Буквальный переводъ: пять деревьевъ,—пунктъ въ дальнихъ окрестностяхъ туземнаго города.

остановился, посмотрѣлъ направо, посмотрѣлъ налѣво и громко крикнулъ по татарски:

— Эй! кто тамъ есть?..

Всѣ лошади, жевавшія подъ навѣсомъ сушеную люцерну, повернули свои головы, посмотрѣли на рыжаго, запыленаго коня пріѣзжаго всадника, на его бѣлый китель съ докторскими погонами, вздрогнули, когда онъ еще разъ закричалъ: «да что, ни одного дьявола нѣтъ, что-ли?..» и громко заржали... Вороной аргамакъ самого хозяина загремѣлъ своими цѣпями, прижалъ уши, лягнулъ раза два въ воздухъ и завизжалъ отъ злости: ужъ очень ему хотѣлось вцѣпиться рыжему зубами въ загривокъ. Краснощекій джигитъ, босой, въ красномъ полиняломъ халатѣ, съ бараньимъ ребромъ въ рукахъ, которое онъ обгладывалъ своими волчьими зубами, высунулся изъ за навозной кучи, посмотрѣлъ на пріѣзжаго и спрятался...

— Ну, никакъ всѣ передохли,—заворчалъ всадникъ, слѣзъ съ лошади, выбралъ мѣсто подъ навѣсомъ посвободнѣе и сталъ привязывать своего коня...

— Саидъ-Азимъ-бая [1]) дома нѣтъ,—сказалъ тотъ-же самый джигитъ, вылѣзая изъ-за кучи. Онъ думалъ, что всадникъ такъ себѣ заѣхалъ, а увидитъ, что никого нѣтъ, и назадъ поѣдетъ; но увидавъ, что русскій привязываетъ коня и, повидимому, намѣренъ остаться, рѣшился вступить въ переговоры.

— Да, нѣту дома: поѣхалъ въ караванъ-сарай и раньше вечера не будетъ.

— Да, мнѣ его не нужно! —отвѣчалъ пріѣзжій,—огня подай, дурацкая морда.

Онъ вынулъ изъ кармана сигару, откусилъ кончикъ и сплюнулъ.

— Что Батоговъ дома? Офицеръ русскій, что здѣсь живетъ,—пояснилъ онъ джигиту.

— Тюра-Батоговъ?.. Тюра-Батоговъ тоже нѣтъ дома.

— Гдѣ-же онъ?

— Я почему знаю... Юсупъ знаетъ... Эй! Юсупъ-бай. Гей!..

Заспанный джигитъ Батогова показался на порогѣ одной изъ сакель.

---

[1]) Слово: „Бай“—добавляется изъ вѣжливости. Бай, бей или бій—господинъ.

— Вонъ твоего тюра спрашиваетъ,—сказалъ ему джигитъ съ бараньей костью.

Юсупъ пристально посмотрѣлъ на доктора, улыбнулся чему-то и сказалъ:

— Вонъ видишь—солнце: оно теперь на ту стѣну свѣтитъ, а тѣнь отъ него сюда падаетъ, а когда оно будетъ на эту стѣну свѣтить, а тѣнь туда пойдетъ, и Батоговъ-тюра пріѣдетъ.

— Тѣнь туда, тѣнь сюда... Пойми эту обезьяну,—ворчалъ докторъ,—а все-таки сообразить не трудно: тѣнь сюда... это значитъ по закату, часовъ въ восемь, а теперь... (онъ вынулъ свои часы). Да, часа три подождать придется...

На самой серединѣ двора росъ развѣсистый карагачъ, покрывавшій своею тѣнью почти весь дворъ и даже сосѣднія крыши. Вокругъ этого дерева сдѣлана была глинобитная насыпь въ видѣ заваленки, на которой могло лежать и сидѣть человѣкъ десять одновременно. Докторъ потребовалъ себѣ коверъ и сѣдельную подушку: ему принесли и то и другое. Онъ легъ подъ карагачемъ и началъ пускать кверху кольца, сжигая одну сигару за другою.

Старикъ съ сѣдою, подстриженною бородою принесъ ему дыню, нѣсколько пшеничныхъ лепешекъ и миску съ виноградомъ. Такимъ образомъ пріѣзжему представлялась полнѣйшая возможность съ комфортомъ прождать эти три часа.

Старикъ и краснощекій джигитъ съ бараньей костью скрылись; остался только Юсупъ, который, сидя на порогѣ сакли, занимаемой Батоговымъ, не спускалъ глазъ съ человѣка, лежавшаго подъ карагачемъ.

За воротами, на улицѣ, пронзительно заоралъ ишакъ, послышались тяжелые шаги навьюченныхъ верблюдовъ, арба завизжала немазанною осью, дробно, словно горохъ, просыпанный на натянутую кожу, протопали многочисленныя ноги бараньяго стада, которое мѣстный мясникъ, въ окровавленномъ закорузломъ халатѣ, скупилъ на базарѣ и гналъ къ себѣ, на зарѣзъ къ завтрашнему дню.

Тѣни стали сгущаться и принимать синеватый тонъ. Мелкія куры туземной породы, хлопая своими мягкими крыльями, взбирались съ вѣтки на вѣтку, все выше и выше, собираясь провести ночь на вершинѣ карагача.

Въ ворота вбѣжалъ Орликъ безъ всадника, за нимъ слѣдомъ вошелъ Батоговъ, крикнувъ кому-то за воротами:

— Ну прощай, тамыръ, иди себѣ домой!..

Юсупъ всталъ и пошелъ принимать лошадь.

— Милостивый государь!—началъ пріѣзжій, съ достоинствомъ поднявшись съ своего мѣста и идя навстрѣчу Батогову.

— Что такое?—слегка удивился Батоговъ.—Тамъ задняя подкова на лѣвой ногѣ переломилась,—говорилъ онъ своему джигиту;—сегодня-же своди его къ Каримкѣ... Ну-съ... Такъ вы ко мнѣ, а я думалъ къ Саидъ-Азиму.

— Вчерашнее происшествіе...

— Это какое? Вчерашній день довольно богатъ всякими приключеніями.

— Я говорю о случаѣ въ переулкѣ, на разсвѣтѣ.

— А!—произнесъ Батоговъ, посмотрѣлъ со вниманіемъ на доктора и вдругъ захохоталъ.

— Не знаю придется-ли вамъ, милостивый государь, смѣяться впослѣдствіи, а теперь намъ терять времени нечего.

— Э, да говорите короче, въ чемъ дѣло?

— Я пріѣхалъ къ вамъ въ качествѣ секунданта отъ капитана Брилло, котораго вы прошедшею ночью, на разсвѣтѣ, такъ жестоко и совершенно неумѣстно оскорбили.

— Это нагайкой-то?..

Докторъ кивнулъ головой въ знакъ согласія.

— Вы что пьете?—спросилъ его Батоговъ.

— Что за странный вопросъ?

— Чѣмъ-же странный? Вѣдь я не спросилъ васъ просто: пьете-ли вы? А дѣло въ томъ, что у меня есть красное ходжентское и есть еще бутылки двѣ коньяку, изъ того, что помните, недавно привезли Хмурову,.. а принимая въ разсчетъ вечернюю прохладу, не распорядиться-ли соорудить глинтвейнчикъ... а, неправда-ли?

— Гм...—промычалъ докторъ, который вполнѣ раздѣлялъ мнѣніе Батогова насчетъ глинтвейна и который очень-бы былъ не прочь принять любезное предложеніе хозяина, но эта проклятая важность порученія, которое ему приходилось исполнять, мѣшала ему прямо отвѣчать Батогову.

— Мнѣ кажется, что не совсѣмъ умѣстно...—началъ онъ.

— Ну, что за предразсудки... напротивъ, чрезвычайно

умѣстно: вѣдь намъ придется поговорить поподробнѣе обо многомъ. Условія, напримѣръ, разныя, мѣсто, ну, опять оружіе, тамъ то, се... разболтаемся и не замѣтимъ, какъ уйдетъ время; а мы это все съ комфортомъ. Юсупка у меня эту штуку отлично варитъ и какъ онъ, каналья, научился шашлыкъ парить; ну, это я вамъ скажу просто... Да вотъ вы сейчасъ увидите... Эй, Юсупъ!

— Эге!—отозвался Юсупъ изъ подъ навѣса.

— Погоди лошадь ковать, а сейчасъ вари намъ ту штуку, за которую я тебѣ вчера далъ по уху.

— Ой! ой!—ухмыльнулся джигитъ и, оскаливъ зубы, потеръ рукою лѣвую щеку, какъ-бы припоминая вчерашнее ощущеніе.

— Ну-съ, почтеннѣйшій секундантъ,—началъ Батоговъ,—пойдемте-ка ко мнѣ въ саклю; или я лучше велю сюда вынести большой коверъ. Тутъ, хоть и навозомъ пахнетъ, а всетаки будетъ удобнѣе...

— Запахъ навоза весьма полезенъ,—замѣтилъ докторъ;—особенно при страданіяхъ грудью... И, знаете-ли, до чего можно привыкнуть къ этому запаху...

— Ну-ка, берите за этотъ конецъ, тащите сюда...

Батоговъ принялъ отъ Юсупа большой хивинскій коверъ, и они, вдвоемъ съ докторомъ, принялись разворачивать его подъ карагачемъ.

Черезъ нѣсколько минутъ они оба, покойно лежа на мягкомъ коврѣ, спинами кверху, наблюдали, какъ Юсупъ варилъ въ кострюлѣ какую-то красную жидкость, распространявшую вокругъ себя самые пряные ароматы.

Джигитъ усѣлся неподалеку на корточкахъ и, вытянувъ свою черномазую физіономію, внимательно наблюдалъ за поверхностью начинавшей уже закипать жидкости... Тонкіе, красноватые язычки пламени, облизывая закоптѣлое дно кострюли, оригинально освѣщали снизу лицо Юсупа и искрились на шитомъ галунѣ его халата, на рукояткѣ кривого ножа, на металлическихъ побрякушкахъ, украшавшихъ поясъ джигита, и на большой серебряной ложкѣ, которою онъ тщательно снималъ накипавшую пѣну. По временамъ онъ, несмотря на то, что ложка была у него въ рукахъ, совалъ палецъ въ кострюлю, облизывалъ его, и бормоталъ при этомъ: «Ой-ой»,

при чемъ кривилъ свою рожу и обтиралъ палецъ объ полы халата.

— Тюра́, булды? (готово?)—спросилъ онъ Батогова.

— Кипяти еще,—отвѣчалъ Батоговъ,—да вылей туда все вонъ изъ той бутылки... Ну, ладно,—бѣги за чашками.

Черезъ нѣсколько минутъ гость и хозяинъ дружелюбно чокались плоскими, туземными чашками, осторожно прихлебывая ароматическій, бьющій въ носъ напитокъ.

— Ну-съ, докторъ, такъ вызываетъ?.. — говорилъ Батоговъ.

— Вызываетъ... —говорилъ докторъ и при этомъ пожималъ плечами, какъ-бы думая: «вотъ есть изъ-за чего».

— Ну, и какъ-же это? стрѣляться, или, можетъ быть, на ножахъ?.. а?

— Собственно эти подробности зависятъ отъ дальнѣйшихъ соображеній, но я полагаю—на револьверахъ.

— Не на Хмуровскихъ-ли, въ триста-шестьдесятъ-пять выстрѣловъ?.. пойдетъ такая, я вамъ доложу, стрѣльба, хлопъ, да хлопъ, часа, я думаю, четыре стрѣлять будемъ—это скучно. Нельзя-ли что нибудь покороче.

— Ну, эти револьверы существуютъ, положимъ, только въ воображеніи Хмурова, а мы на обыкновенныхъ...

Докторъ еще налилъ себѣ изъ кострюли.

— Ну, хорошо. Теперь еще одинъ вопросъ: когда я покончу съ Брилло, положимъ, что я буду такъ счастливъ, тогда мнѣ придется съ вами начинать—да?...

— Со мной?—удивился докторъ,—это съ какой стати?..

— Да вѣдь сколько я припоминаю, я и васъ тоже...

— Меня?—нѣтъ...

— Что-же это мнѣ показалось, будто вы тоже повалились.

— О да, я упалъ, но упалъ совершенно отъ другихъ причинъ: меня сбила съ ногъ ваша лошадь.

— Ну, вотъ видите-ли...

— Да, но развѣ это оскорбленіе... Я на это смотрю совершенно съ другой точки зрѣнія... Вотъ если-бы вы меня нагайкой такъ, какъ его... Ахъ, какъ вы его царапнули. Я цѣлый день прикладывалъ ему холодные компрессы: вотъ какъ вздулось.

И докторъ показалъ рукою, по крайней мѣрѣ, на полъаршина отъ головы...

— Ахъ, бѣдняга... —пожалѣлъ Батоговъ.— Ну, такъ значитъ, мнѣ придется имѣть дѣло съ однимъ Брилло...

— Да, только съ нимъ...

— Ну, и что-же, онъ очень сердится?

— Онъ рветъ и мечетъ, онъ впалъ въ положительное бѣшенство, и если принимать въ разсчетъ страшный приливъ крови къ мозгамъ...

— Это отъ этого-то?..

Батоговъ показалъ рукою.

— Ну да... то можно разсчитывать на весьма печальный исходъ.

— Скажите...

— Конечно, тутъ были еще событія, подѣйствовавшія нѣсколько раньше на его организмъ... (Докторъ налилъ еще чашку.)—Но, Боже мой, какъ онъ взбѣшенъ... Боже мой!.. Онъ говоритъ мнѣ: поѣзжай къ этому мерз... (Докторъ спохватился на полусловѣ. Батоговъ улыбнулся.)—Это онъ говоритъ, и если только Батоговъ откажется, то я его все равно изъ-за угла пришибу, какъ собаку, я ему горло перегрызу, я ему...

Докторъ вошелъ въ азартъ и сильно жестикулировалъ; онъ даже чуть не схватилъ руками Батогова за горло...

Нѣсколько чашекъ глинтвейна, сильно разбавленнаго коньякомъ, начинали дѣйствовать на голову доктора.

— Экъ его раскачиваетъ,—подумалъ Батоговъ, глядя на секунданта.

— Такъ значитъ, на револьверахъ?—произнесъ онъ вслухъ.

— На револьверахъ...

— Ну, а гдѣ?

— Объ этомъ еще не рѣшено, но вамъ дадутъ знать своевременно.

— Вы куда отсюда?—намекнулъ Батоговъ гостю: не порали, молъ, убираться.

— Прямо къ Брилло: онъ просилъ сообщить ему тотчасъ-же.

— Ну, поѣзжайте. Только что-же вы ему сообщите?

— Какъ что?—удивился докторъ.— То, что вы приняли вызовъ и ждете только подробностей въ условіяхъ.

— Напрасно вы ему это сообщите.

— Это почему?

— А потому, что я вызова не принимаю и стрѣляться съ капитаномъ не буду.

— Вотъ какъ!.. —протянулъ секундантъ. Какъ онъ ни былъ пьянъ, а все-таки этотъ отказъ, такъ спокойно произнесенный Батоговымъ, треснулъ его, какъ обухомъ въ голову.

— Но почему-же, вы боитесь, что-ли? Вѣдь это, наконецъ, не совсѣмъ чест...

— Тс... не говорите глупостей, пожалуйста... а то онѣ до добра рѣдко доводятъ.—О причинахъ отказа я не стану распространяться; допустите хоть то, напримѣръ, что я, положимъ, считаю дуэли глупостью—ну, на этомъ предположеніи и остановитесь...—Да наливайте себѣ еще чашку; пожалуйста, безъ церемоніи. Ну-съ, а Брилло скажите, что если онъ хочетъ, чтобы я еще разъ его поколотилъ, то это я могу, ибо физически я много его сильнѣе.

При этихъ словахъ докторъ невольно покосился на говорившаго, который, освѣщенный съ ногъ до головы свѣтомъ отъ костра, такъ покойно лежалъ на коврѣ, заложивъ за голову свои мускулистыя руки.

— Насчетъ аттакъ изъ-за угла,—продолжалъ Батоговъ—я принялъ давно уже приличныя мѣры, и аттаки подобнаго свойства не всегда удаются. Вѣдь вы вотъ не считаете оскорбленіемъ толчокъ моей лошади. Посовѣтуйте ему такъ же точно отнестись къ удару нагайкой, тѣмъ болѣе, что, дѣйствительно, не было оскорбленія, а была только весьма непріятная для него случайность и вдобавокъ вполнѣ имъ заслуженная. Когда трое нападаютъ на одного, тогда они не имѣютъ никакого права оскорбляться, если одинъ побьетъ ихъ троихъ... Сообразили, почтеннѣйшій докторъ?..

— Мнѣ что... мнѣ все равно—я такъ и передамъ,—бормоталъ докторъ, смущенный заключительною фразою; онъ невольно поддался заговорившему въ немъ чувству справедливости.

— Итакъ, покойной ночи. Юсупъ! Лошадь господину. Прощайте.

Темный четыреугольникъ растворенныхъ настежъ воротъ освѣтился пожарнымъ, краснымъ свѣтомъ; два всадника-туземца пригнувшись къ шеямъ лошадей, проскочили во дворъ съ смоляными факелами въ рукахъ. Длинныя палки, обмотанныя тряпками, пропитанными смолою и кунжутнымъ масломъ,

трещали, страшно чадили и разбрасывали вокругъ себя яркій, мигающій свѣтъ.

Вслѣдъ за факельщиками въѣхалъ самъ сановитый хозяинъ въ необъятной кашемировой чалмѣ, въ опушенномъ соболемъ халатѣ и зеленыхъ ичегахъ (родъ обуви) съ длинными, совершенно остроконечными каблуками. Аргамакъ его былъ покрытъ роскошною бархатною попоною, вышитою золотомъ и бахромою.

Нѣсколько пѣшихъ джигитовъ поспѣшно бросились къ Саидъ-Азиму, чтобы помочь ему сойти съ лошади.

Батоговъ пошелъ навстрѣчу своему пріятелю, а докторъ прошмыгнулъ за спиною прибывшаго и поѣхалъ рысцею по узкой улицѣ туземнаго города, осторожно пробираясь чрезъ никогда не просыхающія лужи съ густою, вонючею грязью.

— Правъ Батоговъ, правъ; съ которой стороны не заходи, правъ,—бормоталъ докторъ, разсуждая самъ съ собою.—Только опять тоже, если войти въ положеніе Брилло, такъ сказать, подыскать ему какой-либо исходъ... да, трудновато... То-есть оно собственно не трудно-бы: тамъ выпилъ, здѣсь закусилъ, разъ два, долго-ли помириться, только горячка эта подлѣйшая; пойди вотъ, уломай... Да, что ни говори, а безъ скандала, и даже очень не маловажнаго скандала, не обойдется.

Нѣсколько разношерстныхъ собакъ, прыгая по плоскимъ крышамъ сакель, съ лаемъ и визгомъ провожали русскаго всадника, голова котораго приходилась на одномъ уровнѣ съ ихъ мордами.

— Ишь! пристали, проклятыя...—крикнулъ докторъ, махнувъ нагайкою, и погналъ свою лошадь.

Проѣзжая мимо такъ называемыхъ Коканскихъ воротъ, гдѣ нѣсколько линейныхъ солдатъ въ бѣлыхъ рубахахъ прямо руками, по мѣстному обычаю, обработывали большую деревянную чашку съ какимъ-то мяснымъ варевомъ, докторъ еще разъ задумчиво произнесъ: «да, безъ скандала не обойдется»... и даже почесалъ у себя за ухомъ.

IX.

Что видѣлъ таджикъ Уллу-гай на разсвѣтѣ, когда отыскивалъ свою сѣрую ослицу.

Утренняя заря едва занималась и густой туманъ покрывалъ окрестности. Свѣтлымъ серпомъ стояла высоко на небѣ послѣдняя четверть луны, и ея слабый свѣтъ боролся еще съ наступающимъ утромъ.

На низовьяхъ было прохладно и сквозь камышъ тянулъ сырой, пронизывающій вѣтеръ.

У таджика Уллу-гая еще вчера вечеромъ пропала его сѣрая ослица, а ему непремѣнно надо было сегодня утромъ везти на русскій базаръ дыни съ своей бакши. Никакъ не могъ сообразить бѣдный Уллу-гай:—куда это могла дѣваться его сѣрая ослица? Еще послѣ обѣда возилъ онъ на ней ячмень въ Ногай-курганъ на мельницу; потомъ домой пріѣхалъ, по дорогѣ еще арканъ новый купилъ у Бабая въ лавкѣ, выпустилъ на траву и даже ноги спуталъ, чего прежде никогда не дѣлалъ. Вечеромъ хватился:—нѣтъ. Искалъ, искалъ, верстъ двадцать, можетъ быть, обѣгалъ, нѣтъ. Спрашивалъ у всѣхъ, кого только ни встрѣчалъ: не видалъ-ли кто его ослицы?—сѣрая такая, толстая, одно ухо до половины отрѣзано... Много сѣрыхъ ословъ видѣли, говорятъ,—можетъ, который изъ нихъ и твой. Просто бѣда, да и только!

Сегодня опять пошелъ искать; еще задолго до свѣта выползъ изъ своей землянки, что на самомъ краю бакши, около чиназской дороги, и побрелъ. Бродилъ, бродилъ и все ворчалъ про себя: «экая досада, что забылъ звонокъ подвязать, все, можетъ услышалъ-бы; а то ты вотъ тутъ идешь, а она вонъ тамъ въ канавѣ бурьянъ гложетъ, а тебѣ и не видно, и не слышно».

Осторожно раздвигая камыши, выбрался онъ на берегъ небольшого ручья, когда-то бывшаго арыка, но временемъ размывшаго себѣ болѣе просторное, привольное русло и пріобрѣтшаго видъ природнаго ручья, густо заросшаго камышомъ и осокою.

Утиный выводокъ съ шумомъ ринулся съ берега въ воду и поплылъ въ надводную чащу, оставляя за собою мелкія,

серебристыя струйки. Лупоглазыя лягушки, тяжело шлепая пузомъ, попрыгали прочь съ тропинки; кольчатая, сѣроватая змѣйка съ оранжевымъ брюшкомъ, тоже шипя, выпрямилась и поползла подъ мокрые корни красной, кустарной ивы. Все это испугалось приближенія таджика Уллу-гая, который, пристально осматриваясь по сторонамъ, крадучись, словно кошка, чуть слышно ступалъ своими босыми ногами.

Выбрался таджикъ на берегъ и присѣлъ на корточки.— «Дай, думаетъ, отдохну здѣсь немного». Досталъ онъ изъ-за пазухи маленькую тыкву-горлянку, ототкнулъ пробочку, насыпалъ себѣ на ладонь изрядную горстку темно-зеленаго, тертаго табаку, понюхалъ, потомъ все въ ротъ высыпалъ, поправилъ языкомъ и задумался.

Такъ просидѣлъ онъ съ полчаса времени и вдругъ ему показалось, что вправо словно кто-то верхомъ ѣдетъ, да и не одинъ, будто-бы ихъ много. Открылъ глаза испуганный Уллу-гай,—ничего; прислушался:—ничего не слышно...

— Однако нечего сидѣть, думаетъ, пора и въ дорогу. Засучилъ онъ свои холщевыя шаровары выше колѣнъ и полѣзъ въ воду.—Ухъ! какая холодная вода подъ утро бываетъ: словно ножемъ рѣзанула... Двѣ большія рыбы плеснули около самаго Уллу-гая, и по водѣ пошли въ разныя стороны широкіе круги.—Да и много-же рыбы водится въ этомъ ручьѣ,— подумалъ Уллу-гай,—то есть, если цѣлый годъ сидѣть на берегу, не сходя съ мѣста, и все ловить ее сѣткою съ крючьями, такъ, я думаю, и половины не выловишь. Да здѣсь что! здѣсь еще малая вода, а вотъ въ большой «Дарьѣ» сколько ея...

И вспомнилъ Уллу-гай, какъ ему разсказывали надняхъ въ Дзингатахъ пріѣзжіе киргизы-курома, что у нихъ въ «Дарьѣ» большая рыба утащила барана и дѣвочку. Дѣвочка-то еще ничего:—такая дрянненькая была, вся въ лишаяхъ, а баранъ былъ отличный: одного сала пуда два съ половиною было... Вспомнилъ все это Уллу-гай и взглянулъ въ ту сторону, гдѣ далеко, верстъ за сорокъ, протекаетъ большая «Дарья»...

Не побоялся Уллу-гай, что вода холодна подъ утро бываетъ; присѣлъ по самое горло и смотритъ сквозь частые, камышевые стебли испуганными глазами, что за люди такіе ѣдутъ почти-что по самому берегу, и того и гляди, что замѣтятъ надъ водою Уллу-гаеву красную тюбетейку.

Гуськомъ другъ за другомъ, тихонько, съ оглядкою, словно не за хорошимъ дѣломъ, ѣдутъ все чужіе, незнакомые всадники. За остролукими, тюркменскими сѣдлами переметныя сумки привязаны (видно издалека), за плечами ружья съ раструбами; заря искрится на мелкихъ кольчугахъ и сверкаютъ круглыя бляхи на поясахъ и кожаныхъ щитахъ всадниковъ. Халаты все старые, порванные и въ широкіе, кожаные чамбары засучены. А сколько ихъ! Аллахъ, Аллахъ!.. Бѣдному Уллу-гаю казалось, что и конца не будетъ этому страшному шествію.

Вотъ, наконецъ, ѣдетъ и послѣдній джигитъ. Онъ поотсталъ немного отъ своихъ товарищей: лошадь у него сильно припадаетъ на заднюю ногу, накололась, должно быть, въ камышахъ.

Слѣзъ онъ съ коня, поправилъ сѣдло, штаны себѣ подтянулъ покрѣпче и пристально посмотрѣлъ прямо въ глаза Уллу-гаю, такъ, по крайней мѣрѣ, ему показалось.—«Ну, думаетъ таджикъ,—пропалъ теперь совсѣмъ». Однако Аллахъ не безъ милости: всадникъ опять сѣлъ на свою хромую лошадь и поковылялъ дальше.

Долго сидѣлъ еще въ водѣ Уллу-гай; все ждалъ:—не поѣдутъ-ли еще?.. Просто уже и терпѣть стало не подъ силу, хоть умирай. Зубы такъ колотятся другъ о друга, что, должно быть, шаговъ за десять слышно... Ну, думаетъ, теперь можно.

Осторожно выползъ Уллу-гай изъ воды и бѣгомъ пустился напрямикъ, не разбирая дороги, въ ту сторону, гдѣ еле виднѣлись сквозь дымку утренняго тумана высокіе тополи, что растутъ на выѣздѣ изъ Дзингаты. Бѣжитъ таджикъ и думаетъ дорогою: какъ это онъ будетъ разсказывать тамошнимъ акъ-сакаламъ, что каракчи[1]) изъ-за Дарьи перебрались. Пожалуй, не повѣрятъ еще, да вздуютъ нагайками.—Не ври, молъ, вздору, не мути народъ. Это прежде бывало.

X.

Слухомъ земля полнится.

Ничто такъ быстро не разносится народною молвою, какъ различные скандалезные случаи, которые предоставляютъ такое

---

[1]) Каракчи —разбойники.

обширное поле для болѣе или менѣе остроумной изобрѣтательности, что скоро принимаютъ такіе размѣры и такую сказочную обстановку, что даже сами герои скандала не узнаютъ начальнаго эпизода.

Такъ случилось и въ настоящемъ случаѣ: о смерти «Машки» и о траги-комической серенадѣ подъ окномъ у Марфы Васильевны, со всѣми своими плачевными послѣдствіями, все населеніе русскаго города узнало еще задолго до обѣда; и когда въ единственномъ ресторанѣ города, у жида Тюльпаненфельда, собрались его завсегдатаи, какъ они сами себя называли, то только и было разговоровъ, что о происшествіи въ узкомъ переулкѣ.

Да и сама Марфа Васильевна вовсе не находила нужнымъ хранить все это въ тайнѣ. Она всякаго, кто только ни спрашивалъ у нея о случившемся, посвящала во всѣ подробности ночного событія.

По мѣстнымъ обычаямъ, здѣсь очень немногіе ѣздятъ въ экипажахъ, большинство же довольствуется верховыми лошадьми, и потому множество самыхъ разнообразныхъ всадниковъ проѣзжало мимо оконъ Марфы Васильевны: кто на службу, кто со службы, кто на проѣздку, а большинство—такъ только, для того, чтобы прогарцовать мимо этого уютнаго окна, въ тѣни шелковичнаго дерева, въ которомъ, словно въ рамкѣ, сидѣла улыбающаяся красавица съ чудными, влажными глазами и въ легкомъ, бѣломъ утреннемъ костюмѣ.

Свернувъ съ шоссе, цѣликомъ мимо мусорныхъ ямъ, черезъ задворокъ стараго полицейскаго двора, на красивомъ конѣ ѣдетъ тоже красивый офицеръ; оба горячатся и волнуются: одинъ—оттого, что вслѣдствіе того-же самаго получилъ подъ бока жестокій ударъ шпоръ съ репейками.

— Вы куда это, Набрюшниковъ?—спрашиваетъ Марфа Васильевна офицера, который десятый разъ дѣлаетъ видъ, что совершенно нечаянно увидѣлъ красивую барыню.

— Ахъ, это вы!—удивляется Набрюшниковъ, ловко осаживая коня и монументомъ останавливаясь передъ окномъ.— Ваше здоровье-съ?..

— Благодарю? Что это у васъ за лошадь?

— А что-съ?..

Всадникъ чувствуетъ, что его конь какъ-то подозрительно

начинаетъ поднимать хвостъ и даетъ ему предупредительный ударъ шпорами: дескать, веди себя прилично, когда разговариваешь съ дамами.

— Да прекрасивая.

— Это я недавно купилъ въ Ходжентѣ.

Незначительная пауза.

— Марфа Васильевна, правда-ли, я слышалъ, что...

— Правда, правда,—хохочетъ Марфа Васильевна.

— И какъ это онъ, почти въ упоръ, и промахнулся?..— удивляется всадникъ.

— Какъ промахнулся?! — удивляется въ свою очередь Марфа Васильевна.

— Да изъ револьвера...

— Изъ какого револьвера?.. Просто нагайкой.

— Съ побѣдою имѣемъ честь поздравить!—баситъ толстый генералъ и хохочетъ, хохочетъ всѣмъ своимъ ожирѣвшимъ существомъ, хохочетъ чуть не до апоплексическаго удара.

Два конвойные казака-уральца, которые трепались за генераломъ, не ожидая, что тотъ такъ внезапно остановится, натыкаются на крупъ его лошади.

— Чего рты разинули, скоты!..

— А мы хотимъ Батогова къ слѣдующему чину представить за его рыцарскую отвагу...

— У меня въ канцеляріи уже реляцію пишутъ о ночномъ дѣлѣ,—остритъ генералъ и плотоядно смотритъ на круглые локотки Марфы Васильевны.

И съ генераломъ поболтала немного Марфа Васильевна.

Вся словно развинченная, дребезжитъ оренбургская линейка въ одну лошадь; на козлахъ—солдатъ въ кумачной рубахѣ и ермолкѣ съ кистью. Въ линейкѣ сидятъ четыре дамы въ канаусовыхъ блузахъ и въ круглыхъ соломенныхъ шляпкахъ, на которыхъ раскинулись цѣлые цвѣтники и огороды.

— Марфа Васильевна,—пищатъ дамы, — мы къ вамъ...

— Заходите,—нехотя произноситъ Марфа Васильевна, которая вообще не долюбливала общества мѣстныхъ барынь.

. . . . . .

— Да нѣтъ же, я вамъ говорю, это совершенно не такъ было,—говоритъ интендантскій чиновникъ, тотъ самый, что былъ у Хмурова.—Кому-же и знать, какъ не мнѣ.

— Да вы-то откуда знаете?—спрашиваетъ его другой, тоже должно быть чиновникъ.

Оба они выпили у буфета по большой рюмкѣ полынной и тыкали вилками въ тарелку съ молодымъ редисомъ.

— Я откуда знаю, гм...

— Да, вы-то?..

— Мало-ли откуда: тотъ говорилъ, другой говорилъ, третій. Да вотъ даже, не больше какъ за четверть часа передъ этимъ, встрѣчаюсь я съ...

— Ну, вотъ то-то-же... другой, третій, а мнѣ самъ Батоговъ подробно разсказывалъ.

— Что-же это онъ вамъ говорилъ-то?—язвительно улыбаясь, спрашиваетъ интендантскій чиновникъ.

— Брилло схватилъ ее за талію, а докторъ за ноги и маршъ-маршъ въ кусты; знаете, тутъ сейчасъ кусты, такіе густые, ну, вотъ гдѣ новая стройка, большая яма тутъ еще такая...

Нѣсколько человѣкъ окружили разсказчика; какой-то высокій, лысый господинъ бросилъ обгладывать крыло поданнаго ему фазана, всталъ и подошелъ къ прилавку, обтирая усы салфеткою.

— Въ эту-то минуту является Батоговъ, а сидѣлъ онъ до той поры въ экипажномъ сараѣ. Бацъ въ одного, бацъ въ другого: натурально—оба наповалъ. Марфа Васильевна, говоритъ, вы свободны...

— Да тигра кто-же выпустилъ?..

— Какого тигра? Это совсѣмъ другая исторія...

— Да, да, ну, виноватъ, продолжайте.

— Вы говорите, оба наповалъ?—прерываетъ разсказчика лысый господинъ.

— Наповалъ; въ високъ на вылетъ...

— Да они оба живы...

— Какъ живы!.. ну, вѣроятно, скоро умрутъ, по крайней мѣрѣ, ранены смертельно...

Разсказчикъ нѣсколько смущенъ и сосредоточенно ловитъ вилкою новую редиску.

— Полноте, съ Батоговымъ даже и револьверовъ не было...

— Ну, батенька, это нѣтъ... Это вздоръ! Я, положимъ, не слыхалъ, но моя жена ясно слышала два выстрѣла.

— Ну, можетъ, то были совсѣмъ другіе выстрѣлы,—улыбается за прилавкомъ самъ Тюльпаненфельдъ, отсчитывая кому-то сдачу.

Публика хохочетъ?

— Сегодня вечеромъ дуэль!—объявляетъ новый посѣтитель появляясь на порогѣ ресторана.—Кто смотрѣть хочетъ?

— Гдѣ, гдѣ?—послышались вопросы со всѣхъ сторонъ. Никто уже не спрашиваетъ: кто? съ кѣмъ? Дѣло всѣмъ хорошо извѣстно. Изъ бильярдной выбѣгаютъ личности безъ сюртуковъ съ кіями въ рукахъ.

— А вотъ еще покуда не рѣшено. Докторъ поѣхалъ къ Батогову съ вызовомъ. Что-то привезетъ.

— Навѣрно черезъ платокъ.

— Помирятся.

— Нѣтъ, тутъ не помиришься; тутъ, братъ, кровью пахнетъ.

— Да, дѣло скверное, хоть изъ области уѣзжай. Какъ теперь ему глаза показать въ общество?

— Ничего, обтерпится.

— Охъ, трудновато.

— А на холодномъ оружіи, знаете-ли, много посущественнѣй будетъ; какъ-то къ дѣлу ближе...

— Ну, а Марфа Васильевна что?

— Да ей-то что-же?..

— Ну какъ же, все-таки...

— Она-то тутъ совсѣмъ уже не причемъ,—говоритъ какъ будто про себя стрѣлокъ, уткнувшись лицомъ въ обрывокъ газеты. — Всякій негодяй полѣзетъ безчинствовать, а женщина виновата, гм .. Странно!

— Ну, вы уже слишкомъ: «негодяй»... Эдакъ много негодяевъ скоро будетъ,—вступается сосѣдъ съ правой стороны. — Ежели человѣкъ пьянъ и самъ себя не помнитъ...

— Такъ это вы пьянствомъ всякую гадость оправдывать станете. Ну, не пей, если знаешь, что скотская натура наружу полѣзетъ.

— Ну, заспорили!—протянулъ интендантскій чиновникъ. —

А вѣдь если разсудить по чести, по справедливости: ну что такого особеннаго сдѣлалъ Брилло? То-есть ровнехонько ничего.

— Ну, какъ-же ничего...

— Да, конечно. Пѣли подъ окномъ, что за бѣда. Ну, въ окно полѣзли; Господи, Боже ты, мой! да что-же тутъ такого. Положимъ, бить не слѣдовало, но согласитесь-же сами, видитъ, что трое пьяныхъ, ну, чего лѣзть, ну, оставь его въ покоѣ. Не трудно было предвидѣть, что бить будутъ... Со стороны Батогова тоже несовсѣмъ честно. Къ чему это такія крайнія мѣры: нагайками по головѣ! Не по-товарищески, нѣтъ, не по-товарищески. Не слѣдовало-бы...

— Дайте еще бутылку бѣлаго!

— А это ты швырни въ рыло самому Тюльпаненфельду,— приказываетъ лысый господинъ слугѣ-туземцу, во фракѣ поверхъ полосатаго халата и безъ сапогъ.

— Тс!..—предостерегаетъ его сосѣдъ и косится въ ту сторону, гдѣ самъ Тюльпаненфельдъ дѣлаетъ видъ, что ничего не слышитъ.

Мимо террасы передъ ресторaномъ, по шоссе, слышится стукъ легкаго рессорнаго экипажа и топотъ многочисленныхъ конскихъ ногъ. Всѣ стремительно кидаются къ окнамъ и на террасу. Интендантскій чиновникъ пользуется случаемъ и перекладываетъ поспѣшно куски съ чужихъ тарелокъ на свою.

Впереди ѣдетъ конный патруль, человѣкъ изъ десяти уральскихъ казаковъ, за ними—коляска парою сѣрыхъ, въ коляскѣ сидитъ старичекъ съ сѣдыми усами, въ бѣлой фуражкѣ, съ длиннымъ, далеко выдающимся впередъ козырькомъ.

За коляскою ѣдетъ цѣлая сотня въ разнообразныхъ мундирахъ, съ голубымъ, распущеннымъ штандартомъ. По бокамъ коляски нѣсколько туземцевъ въ разнообразныхъ, пестрыхъ костюмахъ джигитуютъ на своихъ рьяныхъ аргамакахъ.

Густыя облака шоссейной пыли несутся слѣдомъ за блестящимъ кортежемъ.

XI.

Записка.

Рыжій артиллеристъ сидѣлъ у себя въ комнатѣ и ждалъ, что привезетъ ему докторъ.

Онъ былъ страшенъ.

Кто-то въ полу-туземномъ, полу-русскомъ костюмѣ показался на мгновеніе въ дверяхъ, увидѣлъ широкую спину Брилло, его голову, коротко остриженную, перевязанную полотенцами; мелькомъ замѣтилъ въ зеркалѣ два желтыхъ глаза, прямо въ упоръ на него смотрящіе, вздрогнулъ отъ испуга и скрылся. Идя поспѣшно черезъ дворъ къ своей лошади, которую оставилъ за воротами, посѣтитель ворчалъ про себя: «Ну, его! Пожалуй, еще такихъ непріятностей наживешь. Пшь какою гіеною смотритъ»...

Даже деньщикъ рыжаго артиллериста ходилъ на цыпочкахъ, осторожно обходя складное кресло, въ которомъ сидѣлъ больной; онъ даже говорилъ сдержаннымъ шопотомъ. Онъ по личному опыту зналъ уже, что баринъ его весьма опасенъ въ данную минуту.

Съ самой той минуты, какъ уѣхалъ докторъ, Брилло усѣлся въ креслѣ передъ столомъ и полубезсознательно уставился въ зеркало. Онъ видѣлъ тамъ желтое вытянутое лицо, словно у мертваго, заострившійся носъ, безобразно торчащіе усы и массу чего-то бѣлаго, намотаннаго вокругъ этого некрасиваго лица. Отъ разлившейся желчи у него было горько и сухо во рту и въ глазахъ прыгали зеленыя точки. Голова его болѣла, и эта несносная, тупая боль, словно тисками, охватывала его мозгъ, парализуя всякую другую мысль, кромѣ той, на которой сосредоточилась вся нервная система рыжаго артиллериста.

— Ну, такъ когда-же?..—Ему показалось, что вошелъ докторъ. Онъ обернулся, въ комнатѣ никого не было, и вокругъ не слышно было ни малѣйшаго звука.

— Что-же это, бредъ начинается, что-ли? — подумалъ Брилло.

Циновки, завѣшивающія окно отъ солнечнаго свѣта и жары, были сняты какою-то невидимою рукою, и въ комнату ворвался потокъ вечерняго свѣта. Крыша противоположнаго дома была яркокрасная; трубочистъ на этой крышѣ, съ метлою въ рукахъ, заглядывающій въ отверстіе трубы, былъ тоже красенъ, словно онъ не сажею былъ замаранъ съ ногъ до головы, а кровью; головы всадниковъ, проѣзжавшихъ мимо окна, мелькнули тоже словно раскаленныя, и густой дымъ, поднимавшійся изъ высокой трубы кирпичнаго завода багровыми клубами, расплывался по вечернему небу.

— Солнце заходитъ,—подумалъ больной.—Что-же это онъ, провалился, что-ли?.. Ящикъ подай, эй!—произнесъ онъ вслухъ и даже самъ озадачился, услышавъ этотъ дикій, совершенно ему незнакомый голосъ.

Испуганный денщикъ въ то-же мгновеніе показался въ дверяхъ и торопливо заметался по комнатѣ.

— Ящикъ, мерзавецъ; вонъ, красный, около кровати... — завылъ рыжій артиллеристъ.

Денщикъ осторожно подалъ ящикъ и поставилъ его на столъ.

— Отвори.

Въ ящикѣ лежалъ револьверъ и всѣ принадлежности къ нему.

— Пошелъ вонъ.

Послѣднее приказаніе было лишнее: денщикъ давно уже выскочилъ изъ комнаты, притворилъ дверь и внимательно наблюдалъ въ щель за всѣмъ происходившимъ.

Рыжій артиллеристъ вынулъ револьверъ и чуть не уронилъ оружіе. Его пальцы не хотѣли слушать своего хозяина и нервно дрожали, прикасаясь къ холодному металлу.

— Что-же это такое? Эдакъ я промахнусь,—почти простоналъ Брилло и съ тоскливымъ выраженіемъ поспѣшно приложился въ какую-то точку на противоположной стѣнѣ комнаты. Дуло револьвера съ граненою, острою мушкою, прыгало, описывало круги и упорно не останавливалось на этой точкѣ.

Брилло прихватилъ пистолетъ лѣвою рукою—еще хуже. Онъ опустилъ оружіе и швырнулъ его черезъ всю комнату; вскочилъ, прошелся раза два, ломая руки, потомъ остановился какъ разъ передъ печкою, прислонился лбомъ къ ея облупившейся штукатуркѣ и глухо зарыдалъ... если можно назвать рыданіями это дикое вытье, прерываемое какимъ-то хриплымъ собачьимъ лаемъ.

Нѣсколько испуганныхъ солдатскихъ лицъ показались въ полуотворенныхъ дверяхъ . . . . . .

. . . . . .

И вотъ эта печка стала словно уходить изъ-подъ его воспаленнаго, горячаго лба; какая-то длинная темная галлерея открылась передъ его глазами; изъ этой мрачной трубы несетъ холодомъ, какъ изъ погреба... Въ самой глубинѣ далеко-далеко

мерцаетъ какой-то неопредѣленный свѣтъ; это — бѣловатое облачко принимаетъ формы, оно складывается въ какой-то знакомый, смѣющійся образъ. Чудная нота дрогнула въ воздухѣ: голосъ, глубоко проникающій въ возмущенную душу, поетъ свою неземную пѣсню...

Другой образъ темнымъ пятномъ заслоняетъ свѣтлое видѣніе... Надменно смотрятъ сѣрые глаза и ротъ складывается въ холодную, презрительную улыбку... «А не хочешь-ли вотъ этого?» и призракъ взмахиваетъ своею татарскою нагайкою.

— Онъ, онъ! проклятый!—пронзительно вскрикнулъ рыжій артиллеристъ и безъ жизни, безъ движеній грянулся навзничь, широко раскинувъ свои руки.

На дворѣ послышался топотъ коня. Кто-то спрашивалъ: ну, что?.. Другой кто-то отвѣчалъ: да вонъ поглядите, ваше благородіе...

Взошелъ докторъ, остановился на одно мгновеніе и кинулся поднимать упавшаго.

— Воды, скорѣе, льду...—приказалъ онъ денщику.— Пошли вѣстового верхомъ въ крѣпость, чтобы сейчасъ фельдшера Мандельберга тащилъ... надо кровь бросить... Постой, скажи, чтобы инструменты перевязочные захватилъ... Да никакъ они со мною...

Докторъ поспѣшно сунулъ руку въ боковой карманъ, выдернулъ... въ разныя стороны посыпались карты съ надогнутыми углами; между ними мелькнули двѣ стереоскопныя карточки съ голыми барынями, въ самыхъ утрированныхъ ракурсахъ. . . . . .

А докторъ на возвратномъ пути отъ Батогова успѣлъ уже разсказать кое-кому изъ встрѣтившихся ему на пути о своемъ разговорѣ съ Батоговымъ... и даже сообщилъ мнѣніе свое, что Батоговъ «правъ, то-есть, съ какой стороны ни заходи,— правъ», и «что онъ не знаетъ, удастся-ли ему уломать этого пылкаго Брилло».

Всѣ выслушивали доктора, соглашались съ нимъ, что Батоговъ правъ, соглашались, что пылкаго Брилло уломать довольно трудно... и спѣшили подѣлиться съ другими свѣжими новостями.

Такимъ образомъ слухи объ отказѣ Батогова отъ дуэли, принявъ опять фантастическіе размѣры, разнеслись по всему городу прежде, чѣмъ на крѣпостной стѣнѣ дежурный артилле-

ристъ, раздавивъ у себя на шеѣ здоровеннаго клопа, приложилъ фитиль къ затравкѣ заревой пушки.

— Такъ онъ отказался,—говорилъ рыжій артиллеристъ, который пришелъ уже въ чувство и давно сидѣлъ опять въ своемъ креслѣ, а докторъ въ четвертый разъ передавалъ ему свою исторію.

— Онъ говоритъ,—убѣждалъ докторъ,—пускай его посмотритъ на дѣло совершенно съ другой стороны и тогда онъ увидитъ ясно, что тутъ не было никакого оскорбленія.

— Слушай ты!—Брилло отдѣлился отъ спинки креселъ.—Кто изъ насъ съ ума сошелъ? ты или я? Или онъ, наконецъ, или оба вы вмѣстѣ?

— Обыкновенная случайность...—бормоталъ докторъ.—Конечно, случайность не совсѣмъ пріятная...

— Лошадь сѣдлать!—крикнулъ Брилло и крикнулъ такъ, что спавшій на кучѣ клевера вѣстовой кубаремъ скатился внизъ и бросился въ конюшню.

— Что ты дѣлаешь, помилуй?—засуетился докторъ.—Да это совершенное безуміе. Ты хочешь ѣхать къ нему... Да ты на сѣдлѣ не усидишь... Вѣдь вотъ...

— А вотъ я ему покажу...

— Брилло, да не дури, ну, голубчикъ, ну, выслушай ты меня внимательно...

— Лошадь, проворнѣй!

Брилло стукнулъ кулакомъ по столу такъ, что на немъ зазвенѣли разныя бездѣлушки и полетѣла на полъ стоявшая у самаго края пепельница.

Докторъ поспѣшно и убѣдительнымъ тономъ началъ излагать рыжему артиллеристу свои доводы.

— Ну,—говорилъ онъ и даже всѣмъ корпусомъ впередъ наклонился,—положимъ, ты доѣдешь. Ну, что ты сдѣлаешь?.. Во-первыхъ, тебя во дворъ не пустятъ: тамъ этихъ косоглазыхъ чертей сколько; опять этотъ Юсупка, такая преданная сволочь... Да опять, развѣ ты съ нимъ сладишь?.. Ну, онъ тебя того... (докторъ сдѣлалъ выразительный жестъ)—и концы въ воду. Будетъ совершенно правъ: ночное нападеніе, онъ защищался... Развѣ тебѣ этого нужно? Пойми ты, я тебѣ добра

желаю. Погоди, выжди случая подходящаго, мы его еще заставимъ драться...

Докторъ за спиною у Брилло замахалъ рукою вѣстовому, явившемуся на порогѣ доложить, что лошадь готова.

— А тѣмъ временемъ ты нѣсколько поправишься,—продолжалъ убѣждать докторъ.—Общественное мнѣніе все на твоей сторонѣ (докторъ готовъ былъ приврать немного). Даже на что Марфа Васильевна (Брилло застоналъ), даже она говорила, что Батоговъ уже слишкомъ...

Докторъ, увлеченный краснорѣчіемъ, начиналъ портить дѣло.

— Эдакъ умрешь прежде, чѣмъ дождешься случая,—почти шопотомъ произнесъ Брилло и задумался.

Вспышка прошла; докторъ торжествовалъ.

Въ отворенное окно полѣзъ какой-то мальчишка-сартенокъ; въ рукахъ у него была бумажка.

— Ты чего, дьяволъ?—крикнулъ ему докторъ.

— Эй, тамыръ,—началъ сартенокъ, сидя на подоконникѣ.—Здѣсь живетъ тюра, котораго нагайками били?

Докторъ вырвалъ у него бумажку, и сартенокъ, получивъ звонкую затрещину, сбившую красную шапочку съ его гладко обритой головки, полетѣлъ кубаремъ за окно.

— Что тамъ?—спросилъ рыжій артиллеристъ и взялъ у доктора записку.

Если-бы докторъ только зналъ содержаніе этой записки, онъ навѣрно поспѣшилъ-бы ее уничтожить прежде, чѣмъ она попала въ руки Брилло.

«Батоговъ, вдвоемъ съ Марфою Васильевною, будутъ завтра въ шесть часовъ утра у «Бешь-агача». Затѣмъ онъ уѣзжаетъ на передовую линію, а, можетъ быть, и совсѣмъ изъ области.

«Случай представляется болѣе, нежели удобный.

Доброжелатель».

Вотъ все, что было сказано въ этой запискѣ.

Рыжій артиллеристъ внимательно прочелъ это анонимное посланіе, посмотрѣлъ на доктора и захохоталъ. Онъ хохоталъ такимъ смѣхомъ, отъ звука котораго что-то холодное пробѣжало по жиламъ доктора. Все лицо его конвульсивно передергивалось и становилось все блѣднѣе и блѣднѣе.

— Кто-бы это писалъ?—подумалъ докторъ, тщательно разсматривая записку.

Это былъ небрежно отодранный уголъ отъ цѣлаго листа бумаги. Фразы были написаны четко, умышленнымъ курсивомъ; видно было, что писавшій тщательно позаботился скрыть свой почеркъ.

Брилло посмотрѣлъ на часы. Стрѣлки показывали половину второго и время близилось къ разсвѣту.

XII.

Катастрофа.

Верстахъ въ двѣнадцати отъ города, подъ самою кручею высокаго обрыва, на берегу арыка «Кара-Су», стоитъ совершенно заброшенная мельница. Плотина ея, давно уже размытая, не удерживаетъ воды и она свободно стремится внизъ, прыгая съ камня на камень и постепенно подмывая глинистую массу обрыва, на самой вершинѣ котораго бѣлѣется гробница какого-то святого. Мѣдные, пустые внутри шары съ привязанными къ нимъ конскими хвостами, повѣшенные на тонкихъ жердяхъ, издаютъ унылый, металлическій звукъ, колеблемые налетѣвшимъ порывомъ вѣтра.

Надъ самою пропастью нависла эта заброшенная гробница, украшенная турьими рогами, и, кажется, вотъ-вотъ рухнетъ подмытая внизъ и запрудитъ шумящій арыкъ своими обломками.

Внизу, на противоположномъ берегу, пять громадныхъ столѣтнихъ карагачей раскинули свою густую, непроницаемую ни для какихъ лучей солнца тѣнь. У этихъ массивныхъ раскидистыхъ деревьевъ остатки жилого двора, принадлежащаго прежде кому-то изъ мѣстныхъ властей, но теперь давно уже никѣмъ не обитаемаго. Лѣсъ изъ крыши и штучные, разрисованные потолки сакель давно уже разобраны, и голыя стѣны съ остатками лѣпныхъ украшеній стоятъ, открытыя вліянію непогоды, и густо поросли кудреватою, зеленою плѣсенью.

За этимъ дворомъ узкая тропинка выводитъ зигзагами на старую ніазбекскую дорогу. Тутъ уже попадаются кое-какія жилыя сакли, на порогахъ которыхъ, подъ рогожными навѣсами, два-три старика торгуютъ, сидя за своими самоварами.

Марфа Васильевна на полныхъ рысяхъ подъѣхала къ краю обрыва и взглянула внизъ. Она остановилась какъ разъ около

гробницы, и ея Бѣльчикъ, вытянувъ свою умную голову, осторожно обнюхивалъ причудливо завитые рога горнаго барана.

Утренній туманъ еще не разошелся и внизу ничего не было видно, кромѣ неопредѣленно обрисованныхъ, косматыхъ вершинъ пяти карагачей.

Марфа Васильевна тронула хлыстомъ лошадь, подобрала поводья и осторожно стала спускаться по едва замѣтной обрывистой тропинкѣ.

Бѣльчикъ красиво переступалъ съ камня на камень, похрапывая и насторожив уши.

Наѣздница не рѣшилась воспользоваться подозрительными остатками моста и поѣхала вбродъ, выбравъ мѣсто, гдѣ вода не такъ уже бойко рвалась, стиснутая крутыми берегами.

Когда она выбралась на ту сторону, то увидѣла подъ однимъ изъ карагачей бѣлый китель Батогова, спокойно идущаго къ ней навстрѣчу.

— Ну, спасибо, что пріѣхали,—начала она первая и весело протянула ему руку.

— Пріѣхалъ...—началъ Батоговъ и запнулся. Онъ теперь только разглядѣлъ, что за красавица стояла передъ его глазами.

— Вы меня, пожалуйста, извините, что я такъ просто отнеслась къ вамъ. Хоть, впрочемъ, *тотъ* случай далъ мнѣ право, во-первыхъ, поблагодарить васъ, а во-вторыхъ, попытаться покороче съ вами познакомиться.

— Помилуйте, Марфа Васильевна, да это съ моей стороны совсѣмъ ничего,—онъ чуть было не сказалъ: наплевать, но спохватился и подумалъ:—вотъ гостинодворскую-то глупость отмочилъ, не хуже Хмурова.

— Нѣтъ, какъ-же ничего...—начала Марфа Васильевна и тоже подумала:—Фу, какая же я дура стала.

Оба стояли другъ противъ друга и молчали. Оба рѣшительно не знали, о чемъ говорить.

— Если-бы попрямѣе дѣло повести,—думалъ Батоговъ.—А то эти подступы, да обходы... Марфа Васильевна, да вы бы слѣзли съ лошади,—произнесъ онъ вслухъ.

— Бѣльчикъ не уйдетъ?—спросила Марфа Васильевна, а хотѣла сказать:—это съ какой стати?..

— Я его привяжу,—сказалъ Батоговъ и подставилъ руки, чтобы принять наѣздницу.

Марфа Васильевна слѣзла съ лошади.

Батоговъ, снимая съ сѣдла красавицу, слегка прижалъ ее и почувствовалъ, какъ подъ ея корсетомъ что-то усиленно толкалось.

— Какъ тутъ прохладно... —начала Марфа Васильевна и шагнула впередъ, не стараясь освободиться отъ услугъ Батогова, который все еще поддерживалъ ее, хотя она давно уже прочно стояла на землѣ. Это немного ободрило Батогова.

Въ такомъ положеніи они прошли нѣсколько шаговъ и остановились у самаго ствола ближайшаго карагача.

— Это я вырѣзала, давно уже какъ-то,—показала Марфа Васильевна на корявой поверхности дерева какія-то царапины.

— Гдѣ?—спросилъ Батоговъ и наклонился, чтобы разсмотрѣть поближе.

Она тоже наклонилась: и оба они, пристально, все болѣе и болѣе сближаясь, разсматривали одну точку, пока губы ихъ не сошлись окончательно вмѣстѣ.

Тогда они разглядѣли, въ чемъ дѣло.

— Тюра,—произнесъ Юсупка-джигитъ, высунувъ свою голову изъ-за стѣнки двора.

Марфа Васильевна вздрогнула отъ этой неожиданности и опомнилась.

— Что тебѣ нужно, чортова голова?—крикнулъ Батоговъ и взялся-было за нагайку.

— Гляди, нехорошій человѣкъ пришелъ,—сказалъ Юсупъ и показалъ рукою.

На томъ берегу, шагахъ въ двадцати не болѣе, стояли: докторъ и Брилло. Лошади ихъ были покрыты пѣной и отъ нихъ валилъ бѣловатый паръ.

— А, мерзавецъ! теперь ты мнѣ попался!.. —захрипѣлъ рыжій артиллеристъ и поднялъ револьверъ.

Пуля щелкнула объ кору дерева у самой головы Батогова, какъ разъ въ то мѣсто, которое съ такимъ вниманіемъ разглядывалось минуту тому назадъ.

— А, такъ вотъ ты какая гадина!—крикнулъ ему въ отвѣтъ Батоговъ и отбѣжалъ нѣсколько шаговъ отъ Марфы Васильевны.

Первая идея, мелькнувшая у него въ головѣ, была та, что вторая пуля, направленная въ него, можетъ попасть въ красавицу.

— Юсупъ, подай пистолеты,—крикнулъ Батоговъ и, сжавъ кулаки, сталъ дожидаться рыжаго артиллериста, который рванулся на своемъ конѣ къ Батогову и чуть не вылетѣлъ изъ сѣдла, перебираясь черезъ ручей.

Въ эту минуту страшный крикъ Юсупа покрылъ собою общую сумятицу.

— Каракъ, каракъ!—кричалъ онъ и бросился отвязывать лошадей.

Батоговъ оглянулся, и его привычный глазъ сразу увидѣлъ и оцѣнилъ опасность.

Прямо на нихъ, отъ ніазбекской дороги, неслись страшные всадники. Много ихъ было, и Батоговъ ясно видѣлъ, что о схваткѣ нечего и думать, а надо удирать и удирать поскорѣе.

— Юсупъ, спасай марджу,—сказалъ онъ своему джигиту спокойнымъ голосомъ и схватилъ Марфу Васильевну, словно въ ней было не болѣе десяти фунтовъ, приподнялъ ее и посадилъ на сѣдло.

Юсупъ схватилъ за поводья Бѣльчика, плотно прижался къ нему своею лошадью и пронзительно гикнулъ. Обѣ лошади съ мѣста ринулись въ карьеръ. У самаго арыка джигитъ повторилъ свой ужасный гикъ, и кони, сдѣлавъ громадный скачекъ, перенеслись черезъ ручей и поскакали дальше.

Докторъ прежде всѣхъ замѣтилъ опасность и, оставаясь на той сторонѣ, поспѣшилъ воспользоваться выгодами своего положенія. Онъ уже выскакалъ на обрывъ и несся по большой дорогѣ.

Какъ волкъ, окруженный стаею собакъ, оскаливъ зубы, поджавъ хвостъ, вертится во всѣ стороны, такъ Батоговъ крутился на своемъ Орликѣ, отыскивая себѣ путь къ отступленію. Собравъ все свое присутствіе духа, онъ озирался кругомъ, грозя револьверомъ.

Онъ видѣлъ, какъ окружили рыжаго артиллериста, какъ мелькнули въ воздухѣ его ноги со шпорами, тамъ, гдѣ за секунду была видна его рыжая голова. Онъ видѣлъ, какъ нѣсколько всадниковъ въ кольчугахъ пытались отрѣзать дорогу его Юсупу.

Батоговъ дико вскрикнулъ, опрокинулъ вмѣстѣ съ лошадью ближайшаго джигита и сталъ на роковой тропинкѣ.

Его окружили. На него навалились со всѣхъ сторонъ. Его схватили за руки, за ноги, за шею сзади.

Его сорвали съ сѣдла.

Какая-то страшная рожа съ беззубымъ ртомъ, съ бѣльмомъ на одномъ глазѣ, наклонилась надъ самымъ его лицомъ. Эта рожа рыгнула прямо въ него лукомъ и дохлятиной, костлявые пальцы сдавили ему горло.

Батоговъ потерялъ сознаніе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Первый перегонъ.

Странно, куда-жъ они всѣ подѣвались?—думалъ Батоговъ, глядя на широкую спину не то киргиза, не то китай-кипчака, ѣхавшаго впереди его на пѣгомъ аргамакѣ.—Вѣдь ихъ было много—человѣкъ двадцать, я думаю, а теперь: вотъ тутъ одинъ, вонъ еще два впереди, сзади... Плѣнникъ хотѣлъ обернуться и посмотрѣть назадъ, но не могъ: веревки, связывавшія за спиною его отекшія руки, прихватывали для вѣрности и за шею; малѣйшая попытка повернуть голову сопровождалась удушьемъ и рѣжущей болью...

— Ишь какъ стянули, черти,—проворчалъ онъ,—сзади тоже никакъ одинъ только... Онъ началъ прислушиваться къ топоту конскихъ ногъ.—Разъ два, разъ, два, разъ... да тамъ только одинъ; ишь, какъ отчеканиваетъ, должно быть, иноходецъ...

Бѣлая, вся въ гречкѣ, старая лошадь, которая была подъ Батоговымъ, тяжело сопѣла, раздувая ноздри; завязанныя узломъ на тонкой шеѣ коня замшевыя поводья запѣнились и взмокли. Нѣсколько большихъ, гудящихъ басомъ оводовъ провожали усталаго коня и скрученнаго всадника; по мокрой, лоснящейся шерсти животнаго кое-гдѣ тянулись темнокрасныя струйки крови, вытекавшей изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ жадному насѣкомому удалось пропустить свое жгучее жало. Одинъ оводъ пытался сѣсть на лицо Батогова: тотъ мотнулъ головою и отфыркнулся.

— Что, тамыръ, кусаютъ,—сказалъ ему ѣхавшій сзади всадникъ.—Ничего, терпи: тамъ хуже будетъ...

— Свинья!—огрызнулся по-русски Батоговъ и сосредоточилъ свое вниманіе на переднемъ джигитѣ.

Лошади подъ всѣми всадниками сильно притомились; только Орликъ Батогова, на которомъ сидѣлъ сутуловатый узбекъ, въ

красномъ халатѣ, съ вышитою золотомъ спиною, съ длиннымъ, раструбчатымъ мултукомъ за плечами, шелъ бойко, почти не поднимая пыли и ловко перескакивая черезъ безчисленныя канавки, пересѣкавшія узкую полевую дорожку, по которой пробиралась вся кавалькада.

Справа и слѣва тянулись обработанныя поля ташкентскихъ окрестностей; кое-гдѣ виднѣлись люди, но далеко, далеко, чуть только мелькали сине-сѣрые халаты полевыхъ работниковъ въ массахъ темно стрѣльчатой листвы китайскаго проса (джунгарры). А вотъ и у самой дорожки, шагахъ въ двадцати не больше, пара приземистыхъ темнобурыхъ воловъ, съ горбами на холкахъ, тянули медленно деревянный плугъ—сабанъ. Бронзовый, лоснящійся, полуголый сартъ идетъ сзади... Онъ обернулся на топотъ коней, изумленно глядитъ своими черными, широко раскрытыми глазами... Что, молъ, за джигиты?.. Связанная, оборванная фигура русскаго объяснила ему, въ чемъ дѣло. Сартъ согнулся почти къ самой землѣ и волчьею рысью побѣжалъ въ чащу засѣяннаго поля. Только живая борозда раздвигающихся и снова принимающихъ первоначальное положеніе стеблей выдавала оробѣвшаго бѣглеца. Волы такъ-же глупо смотрѣли на проѣзжавшихъ, какъ и ихъ хозяинъ, и замычали вслѣдъ быстро пронесшейся группѣ барантачей.

Во всю послѣднюю прыть измученныхъ коней проскакали они мимо небольшого кишлака (деревни). Деревня эта была знакома Батогову: онъ не разъ заѣзжалъ сюда съ охоты въ окрестностяхъ. Вотъ и навѣсъ, гдѣ онъ недавно пилъ чай, у сарта Мурза-бая, его хорошаго пріятеля... Вотъ и самъ хозяинъ: онъ, кажется, узналъ плѣнника, онъ даже руками всплеснулъ при этой неожиданной встрѣчѣ и, оторопѣлый, пригнулся надъ своимъ нечищеннымъ самоваромъ. Еще нѣсколько человѣкъ промелькнули передъ глазами Батогова. иные пугались и пытались скрыться, другіе-же, не мѣняя позы, равнодушно смотрѣли на чужихъ джигитовъ, на связаннаго русскаго, поворачивая языкомъ свои табачныя жвачки и сплевывая въ сторону. Одинъ изъ переднихъ джигитовъ, на всемъ ходу, сорвалъ съ перекладины висѣвшую въ камышевой плетенкѣ, большую желтую дыню и засунулъ ее въ переметную сумку, другой также завладѣлъ цѣлымъ бараньимъ курдюкомъ, висѣвшимъ у другого навѣса. Хозяинъ послѣдняго пытался было протестовать, крик-

нулъ что-то, даже за жердь, чѣмъ запираютъ на ночь ворота, схватился, да махнулъ рукою и юркнулъ въ глубину сакли, увидавъ, какъ джигитъ покосился на конецъ своего мултука.

Шайка барантачей, такъ неожиданно напавшая на нашихъ дуэлистовъ, состояла, дѣйствительно, человѣкъ изъ двадцати. Опытный взглядъ Батогова не ошибся въ опредѣленіи числа наѣздниковъ, но тотчасъ-же вся партія раздѣлилась на маленькія отдѣльныя группы.

Догонять бѣжавшихъ барантачи не рѣшились: это моглобы завлечь ихъ слишкомъ далеко, а они и такъ ужъ черезчуръ далеко забрались, и страхъ, что имъ отрѣжутъ отступленіе къ Сыръ-Дарьѣ, заставилъ ихъ, не теряя ни минуты времени, направиться къ берегамъ этой рѣки, съ такимъ разсчетомъ, чтобы къ вечеру пробраться на тотъ берегъ и тамъ уже, въ густой чащѣ прибрежныхъ камышей, дать отдыхъ себѣ и своимъ конямъ.

Бѣгство это было само по себѣ очень рискованно. Подъ покровительствомъ непроницаемой темноты южной ночи, имъ удалось пробраться къ Бешь-агачу, а теперь имъ приходилось удирать на виду у всѣхъ, при яркомъ свѣтѣ солнечнаго дня.

Отдѣльныя партіи разбойниковъ шли разными дорогами, чтобы сбить съ толку преслѣдователей, если погоня успѣетъ вовремя сформироваться. Партія, въ которой находился Батоговъ, шла на Чардары, развалины старой коканской крѣпостцы, давно заброшенной, расположенной на низменномъ противоположномъ берегу Сыра, верстахъ въ шестидесяти отъ нашего Чиказа.

Голое, деревянное, ничѣмъ не покрытое бухарское сѣдло страшно безпокоило Батогова; онъ не могъ даже привстать на стременахъ, потому что ноги его были туго стянуты распущенною чалмою подъ брюхомъ лошади. Острые края сѣдла глубоко вдавливались въ тѣло, давно уже протерли кожаные панталоны Батогова и натирали кровавыя ссадины; пальцы скрученныхъ рукъ совершенно налились и онѣмѣли. Вѣтеръ путалъ волосы и бороду плѣнника, и грязный потъ, смѣшанный съ пылью, струился по лицу несчастнаго.

У небольшого арыка, на днѣ котораго чуть пробиралась довольно чистая вода, всадники на минуту остановились. Одинъ за однимъ они спускались на дно арыка, черпали

своими малахаями (войлочными шапками) воду и жадно пили.

— Дайте и мнѣ,—хрипло простонал Батоговъ, видя, что бандиты, утоливъ свою жажду, не думаютъ вовсе о своемъ плѣнникѣ и садятся на лошадей.

— Да дайте же, дайте... разбойники, черти вы окаянные!

Батоговъ настолько еще владѣлъ собою, что бранныя слова произносилъ по-русски. Его не слушали и погнали лошадей дальше. Бѣлая лошадь, почему-то утомленная больше другихъ, начала замѣтно отставать,—ее подгоняли сзади ударами двухъ нагаекъ; по временамъ нагайки, словно нечаянно просвиставъ надъ крупомъ коня, врѣзывались въ спину Батогова. Отъ страшной боли, отъ невыносимой жажды, пробудившейся съ новою силою, при видѣ того, какъ другіе вдосталь пьютъ воду, у несчастнаго позеленѣло въ глазахъ, стиснутые зубы скрипѣли, глаза горѣли какимъ-то горячечнымъ блескомъ.

У всѣхъ полудикихъ народовъ есть общая страсть мучить своихъ плѣнныхъ, безъ всякой для себя надобности. Только корысть заставляетъ ихъ не доводить эти мученія до конца, до смерти измученнаго.

А всадники все неслись и неслись. Уже давно населенныя мѣста остались позади. Въ сторонѣ дымились кибитки кочевниковъ; нѣсколько двугорбыхъ, косматыхъ верблюдовъ паслись въ заросляхъ. Мѣстность была совершенно ровная; вдали синѣла туманная полоса Сыръ-Дарьи.

— Стой!—крикнулъ узбекъ въ красномъ кафтанѣ.

Вся партія остановилась.

— Это наши прошли,—указалъ онъ на частые слѣды подкованныхъ конскихъ ногъ, пересѣкавшіе дорогу.

— А можетъ, и не наши; развѣ тутъ мало народу ѣздитъ.

— Нѣтъ, наши,—произнесъ узбекъ.—Вонъ круглыя подковы чалаго... Они прошли туда,—(онъ указалъ рукой направо)—они здѣсь раньше нашего прошли, и, обглодай мои кости собака, если они не прошли много раньше насъ.

— У нихъ нѣтъ этого дурацкаго мѣшка.

Джигитъ кивнулъ на Батогова.

— Поспѣемъ и мы; чего стали?—вмѣшался третій.—Дарья не далеко,—къ ночи будемъ на мѣстѣ. Гайда, впередъ!

— Не дойдетъ, проклятая,—говорилъ узбекъ, когда вся

группа снова тронулась въ путь. Онъ со всего размаха вытянулъ по крупу бѣлаго коня; тотъ засуетился, рванулся, ноги усталаго животнаго заплелись, и оно, споткнувшись, грянулось на землю.

Упавшая лошадь придавила ногу Батогову; его колѣно словно хрустнуло. Задыхаясь отъ густой пыли, набившейся ему, при паденіи, въ носъ и въ ротъ, онъ стоналъ и судорожно рвался, безполезно пытаясь освободить свои руки.

Удары нагаекъ заставили бѣднаго коня скоро подняться на ноги. Батогова поправили на сѣдлѣ. Поѣхали дальше.

Солнце низко спустилось, когда прибыли на песчаный берегъ Сыръ-Дарьи. Было тихо кругомъ; только сыроватый вѣтеръ, подымаясь отъ рѣки, слегка рябилъ ея гладкую, желтоватую поверхность и шелестилъ въ камышевыхъ заросляхъ. На песчаныхъ отмеляхъ бродили чулатыя цапли; нѣсколько чаекъ, вскрикивая своимъ металлическимъ голосомъ, носились надъ водою. Вдали, на противоположномъ берегу, сквозь густые камыши, виднѣлись сѣрыя глиняныя массы развалинъ Чардары.

Поправили сѣдла, подтянули подпруги. Одинъ изъ всадниковъ отвязалъ длинный волосяной арканъ, который висѣлъ у него за сѣдломъ и, сложивъ его вдвое, продѣлъ подъ брюхомъ лошади Батогова. Два джигита стали по бокамъ и взяли концы веревки. Эта предосторожность была принята для того, чтобы измученная лошадь подъ плѣнникомъ, выбившись изъ силъ, не пошла-бы ко дну со своимъ всадникомъ. Впередъ поѣхалъ узбекъ на Орликѣ, за нимъ потянули Батогова, сзади, нѣсколько поотставъ, ѣхали остальные. Въ такомъ порядкѣ пустились въ воду.

Насторожив уши, отфыркиваясь, распространяя вокругъ себя цѣлые водопады брызгъ, вошли лошади въ рѣку, и скоро вода начала достигать имъ до самаго брюха. Орликъ, вытянувъ морду, на ослабленныхъ поводахъ, порывисто плылъ наискось противъ теченія; за нимъ поплыли и остальныя лошади. Конскій храпъ и ободрительные голоса джигитовъ неслись надъ водною поверхностью.

Въ камышахъ, на противоположномъ берегу, что-то закопошилось; медленно высунулась черная, щетинистая морда съ клыками, испуганно хрюкнула при видѣ плывущихъ и шарахнулась назадъ. Цѣлая стая дикихъ утокъ, съ крикомъ, хлопая

крыльями, пронеслась надъ головами барантачей. Сильнымъ теченіемъ воды относило въ сторону плывущихъ лошадей. Раза два онѣ чувствовали дно подъ своими ногами, инстинктивно поворачивались мордами противъ теченія и переводили духъ.

Скоро всѣ выбрались на противоположный берегъ. Всадники сошли съ лошадей, животныя съ шумомъ отряхивались, разбрасывая вокругъ себя мелкія брызги.

Вода, во время переправы черезъ рѣку, достигала почти до локтей связанныхъ рукъ Батогова; брызги обдавали его съ головы, и это купанье значительно освѣжило измученнаго офицера. Съ жадностью вдыхалъ онъ въ себя эти брызги, ему удалось даже нѣсколько разъ глотнуть, и какъ хороша показалась ему эта вода... Нестерпимая боль въ рукахъ, почти цѣлый день находившихся въ такомъ неестественномъ положеніи, словно утихла подъ вліяніемъ благодѣтельной свѣжести; даже мысль его стала немного свѣтлѣе, и затихло чувство тупого озлобленія, овладѣвшее имъ во время этой мучительной поѣздки.

Всадники, одинъ за однимъ, потянулись вдоль берега, почти у самой воды и шли такимъ образомъ довольно долго; потомъ они свернули влѣво по узкой тропѣ, протоптанной дикими кабанами, и углубились въ густые камыши. Высокіе стебли, перепутанные снизу вьющейся травою, сплошными стѣнами стояли по сторонамъ этой, едва замѣтной тропы. Длиннохвостые фазаны нѣсколько разъ съ шумомъ вылетали изъ-подъ самыхъ конскихъ ногъ. Кое-гдѣ, сквозь камышъ, сверкали небольшія водныя поверхности заливныхъ озерковъ.

Солнце сѣло, и темнота наступила быстро. Надъ камышами подымался бѣловатый туманъ. Рои комаровъ сѣроватыми облачками носились въ воздухѣ. Какой-то заунывный, странный звукъ пронесся надъ водою и замеръ; за нимъ слѣдомъ прозвучала другая, подобная-же, но вотъ еще... не то птица какая-то... не то вѣтеръ въ камышахъ... не то...

Вонъ внизъ по рѣкѣ плывутъ какіе-то черные предметы. Тихо, беззвучно скользятъ они по зеркальной верхности... Это «салы» [1]) киргизскіе спускаются внизъ съ запасомъ ка-

---

[1]) Небольшой плотъ, связанный изъ сноповъ камыша, на которомъ кочевники по берегу Дарьи сплавляютъ топливо, кормъ, а иногда и другія произведенія, даже мелкій скотъ, на ближніе береговые базары.

мыша или сѣна, а, можетъ быть, на нихъ и сочные арбузы и дыни... Беззаботно, предавшись теченію, плыветъ узкоглазый степнякъ, сидя на своемъ нехитромъ суднѣ, и поетъ свою нехитрую монотонную пѣсню.

Проплыли мимо эти лохматые, словно небольшія копны скошеннаго сѣна, плоты и скрылись въ густомъ туманѣ.

Наконецъ, передовой узбекъ остановился и сказалъ:

— Хорошо, тутъ и остановимся.

Ноги Батогову развязали и сняли его съ лошади, но едва только его поставили на ноги, какъ онъ тяжело рухнулъ на песокъ: совершенно отекшія ноги отказались служить Батогову.

— Ну, брось его; пускай тутъ и лежитъ,—сказалъ узбекъ.— Оставь, не вяжи,—обратился онъ къ джигиту, принявшемуся снова скручивать ноги плѣнника. — Не уйдетъ и такъ: видишь, онъ и стоять даже не можетъ.

— Они крѣпки .. эти русскія собаки.

— Ну, ну, брось!

— Смотри, мы заснемъ, а онъ уйдетъ.

— Ну, когда заснете, тогда опять свяжете, коли пятеро одного боитесь,—сказалъ Батоговъ, который слышалъ, что о немъ говорили.

— Э-э, ишь ты, очнулся.

— Да и говоритъ какъ, по нашему. Ты не изъ нугаевъ-ли[1])?

— Я-то? Я—русскій,—сказалъ Батоговъ. Онъ радъ былъ заговорить съ своими мучителями и надѣялся выговорить себѣ еще какую-нибудь льготу.

— А русскіе всѣ говорятъ по нашему,—замѣтилъ серьезнымъ тономъ узбекъ. — Я сколько ни видалъ русскихъ, всѣ говорятъ... кто хорошо, кто дурно, а всѣ говорятъ...

— Имъ шайтанъ помогаетъ.

— Они оттого и живучи очень... Я въ прошломъ году одного рѣзалъ-рѣзалъ, а онъ все не издыхаетъ; совсѣмъ голову отрѣзалъ, а онъ все кулаки сжимаетъ.

— Это что? Я одному отрѣзалъ голову, положилъ въ курджумы (переметныя сумки), привезъ въ аулъ, два дня въ дорогѣ былъ; вынимаю...

— Что же, вѣрно плюнула тебѣ въ бороду?

---

[1]) Изъ татаръ.

— Нѣтъ—куда: совсѣмъ протухла, даже позеленѣла вся...

Джигиты расхохотались.

Тѣмъ временемъ лошади были привязаны къ приколамъ и разнузданы. Барантачи расположились на небольшой, свободной отъ камыша полянѣ, у подножья наноснаго песчанаго бугра, съ высоты котораго можно было видѣть довольно далеко черезъ вершины окрестныхъ камышей. Одинъ изъ шайки взобрался на самый верхъ и легъ на животъ сторожить, легъ и тотчасъ-же задремалъ: сильная усталость брала-таки свое, да и сторожить-то было нечего: кто отыщетъ разбойниковъ въ этихъ глухихъ мѣстахъ, гдѣ раздолье только кабанамъ да тиграмъ?

А темнота ночи все усиливалась; небо все сплошь высыпало звѣздами; по темному фону проносились яркіе метеоры, оставляя послѣ себя на мгновеніе блестящія, сверкающія милліонами брильянтовыхъ искръ полосы; по всѣмъ направленіямъ чертили падающія звѣзды. Туманъ густѣлъ, и его бѣловатыя волны все ближе и ближе подступали къ бархану, на которомъ устроилась на ночь банда. Все кругомъ словно потонуло въ этихъ волнахъ, и эти четыре полудикихъ наѣздника въ своихъ характерныхъ костюмахъ, съ своимъ плѣнникомъ - гяуромъ, пріютились точно на небольшомъ островѣ; даже лошади ихъ, отъ которыхъ отдѣляло пространство не болѣе десяти шаговъ, чуть виднѣлись неясными силуэтами, и только громкое фырканье да брязгъ наборной сбруи, увѣшанной амулетами, изобличали присутствіе животныхъ.

Батогову было холодно, и его пронимала лихорадочная дрожь. Его шелковая бѣлая рубаха была вся изодрана во время борьбы, шапка потеряна, да и панталоны, намокшіе во время переправы, мало согрѣвали наболѣвшее тѣло...

— Хоть-бы огонь развели,—проворчалъ онъ.

— Чего тебѣ еще?—отозвался кто-то.

— Холодно; огонь разложите.

— А вотъ уйдемъ подальше отъ вашихъ казаковъ, тогда и будемъ грѣться.

— Погоди, завтра жарко будетъ.

— Да этакъ до завтра сдохнешь.

— Да, ну, не ной, собака!..

Джигитъ замахнулся на Батогова.

— Сейчасъ ударитъ,—подумалъ Батоговъ и совершенно

равнодушно смотрѣлъ на джигита: имъ начала овладѣвать какая-то непонятная апатія.—Ну, пускай бьютъ,—думалъ онъ,—а рѣзать захотятъ — пускай рѣжутъ.—И онъ даже не отодвинулся отъ нихъ подальше, даже глазъ не зажмурилъ, когда нагайка взмахнула надъ самой его головою... Его вниманіе вдругъ почему-то обратила на себя торчащая силуэтомъ фигура сторожевого на вершинѣ бархана.—Ишь, какъ торчитъ эта остроконечная шапка, отвороченныя, разрѣзныя поля торчатъ словно рога... ну, совсѣмъ, какъ у чорта... Должно быть, и хвостъ есть, да не видно въ потемкахъ.

Однако, киргизъ только взмахнулъ нагайкой, но не ударилъ. Онъ отрыгнулъ свою табачную жвачку, сплюнулъ и отвернулся отъ Батогова. Всѣ плотнѣе сдвинулись другъ къ другу, только плѣнный лежалъ нѣсколько въ сторонѣ, между общею группою и сторожевымъ барантачомъ.

— Эй, Сафаръ!

— Э, — отозвался Сафаръ, разстегивая ремни у своей кольчуги.

— Ты-бы разсказалъ сказку, а то, пожалуй, заснешь.

— Ну, Сафаръ, разсказывай, — сказалъ узбекъ и подвинулся поближе...

— Сафаръ мастеръ говорить,—замѣтилъ сторожевой, спускаясь понемногу.

Одинъ изъ нихъ тѣмъ временемъ досталъ изъ куржума бараній курдюкъ, добытый при проѣздѣ черезъ кишлакъ, вынулъ псякъ (ножъ съ загнутымъ кверху концомъ) изъ кожаныхъ зеленыхъ ноженъ и принялся рѣзать бѣлое, сырое сало...

— Вотъ и тебѣ, жри!—Онъ швырнулъ Батогову ломоть сала, который шлепнулся на песокъ у самой его головы.

— Да вы хоть-бы руки развязали; а то какъ-же я ѣсть буду?—сказалъ Батоговъ.

— Ладно, и такъ сожрешь, не подавишься...

— Поди, развяжи,—сказалъ Сафаръ, прожевывая, — а то и собака, когда ѣстъ, лапами придерживаетъ.

Батогова если и не развязали совсѣмъ, то, по крайней мѣрѣ значительно ослабили веревки, и онъ могъ, хотя сколько-нибудь, воспользоваться своими руками, но и тутъ повторилось то же, что было съ ногами; и долго еще, пока не возстано-

вилось задержанное тугою перевязкой кровообращеніе, плѣнный не могъ пошевелить ни однимъ пальцемъ.

Вдали, у самаго горизонта, замелькали по темному небу красныя пятна зарева.

— Ишь, это на русскомъ берегу, курама камыши палитъ,— замѣтилъ Сафаръ и откашлялся.

II.

Сказка Сафара.

— Это было давно,—началъ Сафаръ; началъ и замолчалъ, задумался. Всѣ затаили дыханіе и плотнѣе сжались въ кружокъ. Сторожъ совсѣмъ сползъ съ бархана и сѣлъ на корточки, рядомъ съ Батоговымъ.

— Да, это было очень давно,—продолжалъ разсказчикъ,— такъ давно, что если-бы прадѣдъ моего прадѣда прожилъ-бы двѣсти лѣтъ, то, все-таки, это было-бы много прежде, чѣмъ онъ родился. У большого озера, гдѣ двѣ рѣки сходятся вмѣстѣ, стояла большая кибитка изъ настоящей, самой лучшей бѣлой коимы, а подбита эта кибитка была золотымъ адрассомъ,—и въ кибиткѣ этой жилъ ханъ, и такой богатый ханъ, что если-бы собрать со всего свѣта самыхъ ученыхъ муллъ, то всѣ вмѣстѣ они во всю жизнь не сосчитали-бы и половины его богатства...

— Ой! ой, сколько!—прошепталъ одинъ изъ слушателей.

— Это больше, чѣмъ у эмира Мозофара,—замѣтилъ такъже шопотомъ другой.

— «Какъ Акъ-Тау—весь бѣлый отъ горнаго снѣга, такъ вся степь на востокѣ была бѣлая отъ овецъ ханскихъ; а если взойти на самую высокую гору и посмотрѣть на закатъ солнца, то и земли не было видно подъ ханскими верблюдами. Лошадей-же у хана было...» тс... ты слышалъ?..

— Ничего не слыхалъ.

— «Лошадей-же у хана»...

Протяжный, жалобный ревъ ясно донесся до ушей этихъ дѣтей природы... Лошади встрепенулись, подняли морды и стали безпокойно поводить ушами.

— Джулъ-барсъ на томъ берегу ходитъ.

— Ну, пускай его ходитъ.

— А сюда прійдетъ?

— Не прійдетъ.

— Ну, Сафаръ, разсказывай.

— «Всѣ люди,—продолжалъ Сафаръ,—сколько ихъ есть на землѣ, всѣ платили дань хану, и такая скука была ему, что воевать не съ кѣмъ, что и сказать нельзя. Ужъ онъ ко всѣмъ посылалъ пословъ сказать, чтобы перестали ему дань платить и самихъ пословъ-бы непремѣнно перерѣзали. Что онъ тогда опять пойдетъ ихъ наказывать войною, да никто не слушаетъ, а возьмутъ да нарочно еще больше пришлютъ ему парчи, хлѣба, дѣвокъ, меду, денегъ цѣлые куржумы, а пословъ напоятъ, накормятъ и на рукахъ принесутъ къ самой ханской ставкѣ»...

— Хитрые,—замѣтилъ узбекъ,—знаютъ тоже, что для нихъ лучше.

— «А тутъ еще другая бѣда пришла: сколько женъ ни было у хана, все родятъ однѣхъ дѣвочекъ»...

— Ишь ты, дрянь какая,—вставилъ кто-то и даже плюнулъ презрительно.

— «Ужъ ханъ совсѣмъ разсердился на своихъ женъ и велѣлъ, какъ только кто изъ нихъ родитъ дѣвку, сейчасъ рѣзать: и мать рѣзать, и приплодъ ея поганый; все не слушаютъ хана»...

— Да это не отъ нихъ... Онѣ-бы и рады,—замѣтилъ узбекъ.

— Мало-ли что, да ужъ какъ ханъ разсердился, такъ уже тутъ ничего не подѣлаешь.

— «Только разъ вечеромъ, какъ уже подоили кобылъ, приходитъ къ хану человѣкъ чужой. Пришелъ онъ съ самаго Востока, изъ-за большихъ горъ, самъ весь желтый, борода бѣлая до земли, на головѣ круглая шапка, на шапкѣ шарикъ, на шарикѣ птица съ зеленымъ хвостомъ... Приходитъ и говоритъ хану:—Здравствуй! — Здравствуй и самъ, — отвѣчаетъ ханъ,—откуда пришелъ и куда идешь, что принесъ новаго?—А вотъ что,—говоритъ человѣкъ съ птицею,—вели всѣмъ откочевать отъ твоей ставки на день пути, а самъ одинъ со мною останешься; а завтра къ вечеру, объ эту пору, вели опять всѣмъ сюда собираться, да вели зарѣзать тысячу барановъ, тысячу жеребятъ, тысячу верблюдовъ, чтобы всѣ ѣли—не на-

ѣлись и пировали-бы великую ханскую радость. Я имъ всѣмъ покажу такое диво, что, сколько бы они ни ѣли ганаши (вродѣ опіума), ни въ какомъ снѣ имъ этого не приснится.

«Ханъ послушался чужого человѣка и велѣлъ всѣмъ сниматься и идти въ степи, а къ завтрему, объ ту пору, какъ доить кобылъ пора будетъ, чтобы опять всѣ собирались.

«Поднялся весь народъ, сняли свои кибитки и разошлись въ разныя стороны; только одна ханская бѣлая ставка осталась на берегу, а въ ней только сидѣли два человѣка: самъ ханъ и желтый человѣкъ съ птицею.

«На другой день къ ночи, вокругъ ханской ставки собралось столько народу, что ханъ и не зналъ до сихъ поръ, сколько можетъ быть народу на свѣтѣ. Огней разложили столько, что не такъ какъ вонъ тамъ (онъ кивнулъ въ ту сторону, гдѣ теплилось далекое зарево), а все небо горѣло и звѣздъ на немъ не было. Сошлись всѣ, ждутъ, что будетъ»...

Ревъ тигра, сильно напоминающій издали мяуканье кошки, только увеличенное до несравненно большихъ размѣровъ, послышался снова въ томъ-же мѣстѣ. Ему отозвался другой, только значительно дальше;—этотъ второй звукъ едва-едва донесся по вѣтру, и только чуткое ухо киргиза могло безошибочно опредѣлить, въ чемъ дѣло.

— Ихъ двое.

— Да, перекликаются.

— Одинъ-то какъ будто на нашемъ берегу.

— Да, только за косымъ озеромъ.

Лошади начали безпокоиться и храпѣли почти непрерывно.

— Подойди кто-нибудь, осмотри приколы: какъ-бы не сорвались.

Одинъ изъ слушавшихъ интересную сказку Сафара всталъ, потянулся и, придерживая рукою широкіе шаровары, пошелъ къ лошадямъ.

— «Вдругъ выходитъ ханъ изъ кибитки», продолжалъ Сафаръ.

Киргизъ, шедшій было къ лошадямъ, махнулъ рукою и поспѣшилъ занять свое прежнее мѣсто.

— «Выходитъ ханъ и велитъ позвать одну изъ женъ своихъ, что недавно привезли ему изъ-за Яксарта. Жену

эту звали Акъ-алма [1]), и у ней были такія красныя щеки, такіе глаза свѣтлые, волосы черные, длинные, что всѣ, сколько ни было народу, глядятъ и слюни рукавами обтираютъ. Пришла Акъ-алма и сѣла на корточки передъ ханомъ. Тогда взялъ ханъ у желтаго человѣка золотую чашку, досталъ оттуда пальцами щепотку чего-то и сунулъ въ ротъ женѣ; та проглотила... и вдругъ, видятъ всѣ, что ее начало пучить... дулась, дулась она и стала уже толще ханской кибитки. Тогда ханъ велѣлъ точить ножи» . . . . . .

Словно по сигналу, всѣ пять лошадей рванулись разомъ, вырвали приколы и, съ трескомъ ломая камыши, понеслись въ разныя стороны. Не успѣли съ земли вскочить оторопѣлые барантачи и увидѣли, какъ какая-то длинная, полосатая масса съ хриплымъ ревомъ вылетѣла, словно вынырнула изъ тумана, и обрушилась на что-то большое, бѣлое, усиленно дрыгавшее своими четырьмя ногами;—обрушилась и поволокла въ чащу бѣдную, заморенную лошадь.

— Джулъ-барсъ!—крикнули всѣ въ одинъ голосъ. Только узбекъ бросился къ Батогову и насѣлъ на него, боясь, что онъ вздумаетъ бѣжать, воспользовавшись общею суматохою.

— Пропали наши лошади,—произнесъ, задумавшись, Сафаръ, — теперь онѣ далеко забѣгутъ со страху, и намъ, пѣшимъ, надо держать ухо востро...

III.

На волоскѣ.

Положеніе разбойничьей партіи были слишкомъ критическое. Они далеко еще не вышли изъ того района, въ которомъ могли съ часу на часъ ожидать, что на нихъ налетитъ русская погоня. Барантачи знали, что ихъ маневръ—удирать въ разсыпную—хотя и собьетъ нѣсколько съ толку недогадливыхъ казаковъ, но все-таки главное направленіе, по которому уходили партіи, не могло быть потеряно.

Въ настоящую минуту разбойники были пѣшими. Идти разыскивать лошадей, убѣжавшихъ съ перепугу, было невоз-

---

[1]) Бѣл е яблоко.

можно; только случайность могла натолкнуть ихъ на пропавшихъ животныхъ, да, наконецъ, ихъ пѣшихъ могла-бы замѣтить погоня, и тогда, какъ ни плохо бѣгаютъ раскормленные казачьи моштаки (такъ оренбургцы называютъ своихъ приземистыхъ лошадокъ), но уйти отъ нихъ пѣшему въ открытой степи было немыслимо даже для вороватаго, изворотливаго барантача. Кромѣ всего этого, ихъ страшно стѣснялъ Батоговъ, и они не разъ уже злобно и подозрительно поглядывали на эту помѣху.

— Ну, такъ какъ-же?—сказалъ узбекъ.

— Яманъ!—произнесъ тотъ, кто былъ въ сторожахъ, и даже свой малахай шваркнулъ объ землю.

— У, проклятая собака!—выругался тотъ, кто разсказывалъ о живучести русскихъ, и ткнулъ каблукомъ сапога въ спину плѣнника.

— Я-то чѣмъ виноватъ?—простоналъ Батоговъ. Острый окованный каблукъ угодилъ ему какъ разъ между лопатокъ, и заныла безъ того уже наболѣвшая спина несчастнаго.

— Ты чего же это бьешь-то его?—сказалъ Сафаръ.—А потомъ на себѣ что-ли потащишь?

— Была охота!..

— То-то; ну, такъ и не тронь: вѣдь не твой.

— А то чей же?

— Чей?—тамъ разберутъ, чей.

— Ну, да что спорить... Такъ «стали точить ножи...»—разсказывай, Сафаръ, все равно уже...

— Свѣтать начинаетъ,—сказалъ узбекъ.—Что же, какъ: мы тутъ, что-ли, просидимъ день-то или пойдемъ дальше?

— Какъ пойдешь-то пѣшкомъ: увидятъ не уйдешь.—А мы лучше ночью.

— Ничего, пока камышами и днемъ ладно.

— Много-ли камышами? тутъ сейчасъ и степь.

— А Аллахъ-то на что!..

— Ну, пожалуй, идемъ.

— Эй, ты!—крикнулъ узбекъ Батогову.—Можешь идти, что-ли?

— А вы бейте больше, тогда я совсѣмъ лягу,—отвѣчалъ Батоговъ все еще подъ вліяніемъ полученнаго толчка.

— Ляжешь—зарѣжемъ.

— Да рѣжьте, чортъ васъ дери! Мнѣ же лучше: по крайней мѣрѣ, конецъ разомъ.

— Да, говори, а до ножа дойдетъ—запоешь другое!..

Батоговъ поднялся съ земли и покачнулся; ближайшій джигитъ поддержалъ его за воротъ рубахи. Въ такомъ положеніи онъ спустился съ песчанаго бугра. Ноги, отдохнувшія за ночь отъ тугихъ перевязокъ подъ брюхомъ лошади, ступали не ровно, но уже хотя сколько-нибудь могли служить Батогову.

— Пойдетъ!—сказалъ узбекъ, оцѣнивъ однимъ взглядомъ шаткую походку плѣнника.

Барантачи подтянули свои шаровары, сняли сапоги и привѣсили ихъ сзади къ поясу. Босикомъ было много удобнѣе идти, чѣмъ на этихъ дурацкихъ каблукахъ, совсѣмъ ужъ къ ходьбѣ неприспособленныхъ. Батогову связали сзади руки покрѣпче, а конецъ этой веревки одинъ изъ барантачей привязалъ къ себѣ; онъ же высвободилъ свою плетеную нагайку съ точеной ручкой: можетъ, подогнать придется при случаѣ...

Партія тронулась, оставляя по лѣвую руку бѣловатую полосу разсвѣта.

Туманъ стлался низко, и когда бандиты поднимались на какое-либо возвышеніе, то головы ихъ виднѣлись довольно далеко и исчезали изъ вида, когда они снова спускались въ болѣе низменныя мѣста.

Эта вереница человѣческихъ головъ въ остроконечныхъ, рогатыхъ шапкахъ словно ныряла въ бѣловатыхъ, колеблющихся волнахъ утренняго тумана.

Темныя массы развалинъ Чардары остались сзади. Камыши все еще были очень густы. Мѣстами попадались выгорѣвшія пространства; они давно были выжжены и сквозь черные остатки обгорѣлыхъ стеблей уже пробивалась сочная, молодая зелень новыхъ побѣговъ.

Босыя ноги, непривычныя къ ходьбѣ, вязли въ сыпучемъ береговомъ пескѣ или скользили по жидкой солонцеватой грязи полувысохшихъ затоповъ. Путешественники ворчали и ругались, когда имъ приходилось, при неосторожномъ шагѣ, накалываться на острые камышевые стебли или путаться въ волокнистыхъ корняхъ прибрежной растительности.

Всѣ были въ самомъ скверномъ расположеніи духа.

Скоро стало совершенно свѣтло. Туманъ, покровительствую-

щій бѣглецамъ, разсѣялся подъ вліяніемъ косыхъ лучей восходящаго солнца; слегка волнистая линія горизонта, развертываясь все далѣе и далѣе, открывалась передъ глазами.

— Ну, теперь смотри въ оба,—предостерегъ сзади всѣхъ идущій узбекъ.

Сталъ и Батоговъ «смотрѣть въ оба», не увидитъ-ли чего-нибудь утѣшительнаго.

Проведенная на отдыхѣ ночь, во время вчерашняго бѣга измученныя большими переѣздами лошади барантачей, которыя не могли идти такъ скоро, какъ свѣжіе, застоявшіеся кони казаковъ, и ходьба пѣшкомъ—замедлили побѣгъ барантачей. Если бы даже погоня и замедлила въ городѣ съ неизбѣжною въ подобныхъ случаяхъ канцелярскою процедурою въ сборахъ, то она все-таки имѣла время «стать (какъ выражаются) на хвостъ» барантачамъ. Послѣдніе тоже хорошо знали всѣ эти обстоятелъства и игра становилась съ каждою минутою рискованнѣе. Да къ тому же и мѣстность, до сихъ поръ изрытая, холмистая, густо заросшая, стала замѣтно ровнѣе съ удаленіемъ отъ Дарьи, и камыши стали рѣже и рѣже, уступая мѣсто низкой, колючей степной растительности.

Вдругъ Батоговъ почувствовалъ, что его схватили за шею и повалили на землю.

«Ну, рѣзать хотятъ!»—подумалъ онъ и тоскливо сжался, предчувствуя, какъ сейчасъ холодное, кривое остріе ножа вопьется ему въ горло.

— Слышишь, собака, если ты дохнешь громко, тутъ тебѣ и конецъ,—шепнулъ ему на ухо джигитъ, лежавшій ничкомъ рядомъ съ нимъ.

Покосился Батоговъ на остальныхъ: лежатъ всѣ смирно, не пошевельнутся; казалось, что и дыханіе даже затаили; только чуть киваетъ бѣлая верхушка шапки Сафара, когда тотъ слегка приподнималъ свою темно-бронзовую голову, чтобы посмотрѣть, что дѣлается тамъ, какъ разъ между двумя опаленными кустами камыша, за этимъ солонцеватымъ гребешкомъ, поросшимъ колючкою и высокою полынью.

Двѣ маленькія степныя черепахи медленно ползли другъ за дружкою у самыхъ головъ лежащихъ, словно принимали ихъ не за живыя существа, а за груды неподвижнаго камня, но вдругъ увидѣли, какъ кивнула Сафарова шапка, и спрятались

въ свои сѣрыя скорлупки. Два дымчатыхъ ястреба носились въ воздухѣ, плавно кружа надъ лежащими. Эти крылатые хищники приняли за трупы неподвижно-лежавшихъ хищниковъ двурукой породы: жадныхъ птицъ особенно манили голыя части тѣла плѣнника, неприкрытыя рваным бѣльемъ и зіявшія кровавыми рубцами и ссадинами.

Вдали двигалась кучка всадниковъ. Не болѣе версты отдѣляло ихъ отъ того мѣста, гдѣ залегли барантачи. Въ этой медленно двигавшейся группѣ ничего не мелькало яркаго; это-то отсутствіе красныхъ точекъ и напугало такъ бѣглецовъ: они издали узнали сѣрыя рубашки казаковъ и неторопливую, медвѣжью походку ихъ коренастыхъ лошадокъ.

Узналъ ихъ и Батоговъ, и самая жгучая, самая порывистая радость охватила все его существо. Онъ задрожалъ даже, онъ хотѣлъ громко закричать: «сюда, сюда!» Онъ хотѣлъ вскочить.

— А этого хочешь?—шепнулъ ему на ухо кто-то и сильно надавилъ на затылокъ. Батоговъ зарылся лицомъ въ мелкую песчаную пыль.

— Зарѣжу прежде, чѣмъ ротъ розинешь,—шепнулъ ему тотъ же голосъ.

«Господи!—подумалъ Батоговъ:—ну, я буду лежать, я буду молчать... Вѣдь они сами увидятъ: они ѣдутъ такъ близко—вѣдь не слѣпые же они въ самомъ дѣлѣ... Они сюда повернули... они рысью поѣхали... они замѣтили» ..

— Великъ и единъ Аллахъ, великъ и силенъ Магометъ, пророкъ его!—шепталъ Сафаръ.

Прочіе тоже бормотали что-то, уткнувшись носами въ землю.

— Все равно зарѣжу: пропадемъ мы, пропадешь и ты вмѣстѣ съ нами,—шепталъ джигитъ прямо въ ухо Батогову.

«Эхъ, коли-бъ не связаны были руки!..»—подумалъ Батоговъ и крупная слеза, совсѣмъ помимо его воли, покатилась по грязной щекѣ и нестерпимо защекотала, пробираясь у него подъ носомъ...

Казаки были такъ близко, что можно было разсмотрѣть уже кое-какія подробности. Холщевый китель ѣхавшаго впереди офицера отличался своею относительною бѣлизною отъ казачьихъ рубахъ; мѣдный рожокъ трубача сверкнулъ нѣсколько разъ на солнцѣ. Рыжій меренокъ звонко заржалъ, вытянувъ горбоносую голову, и это ржаніе такъ ясно отдалось въ ушахъ притаив-

шихся барантачей, словно животное было не болѣе какъ въ двадцати шагахъ... Чу! говорятъ... смѣются...

— Великъ и единъ Аллахъ!..

— Сто-о-о-й!—доносится по вѣтру команда офицера.

Казаки остановились.

— Дальше—шабашъ!—слово въ слово доносится голосъ.

Въ мертвой, тихой, какъ могила, степи каждый малѣйшій звукъ слышенъ далеко и ясно.

Нѣсколько казаковъ, дребезжа оружіемъ, слѣзаютъ съ своихъ высоко навьюченныхъ сѣделъ; усталые кони фыркаютъ и отряхиваются.

— У кого, ребята, огонь есть?—спрашиваетъ офицеръ.

— Ишь мы сколько за Чардары проперли,—говоритъ кто-то и рукою показываетъ.

— Генералъ сказывалъ: за Чардары не переходить, какъ сейчасъ,—то и назадъ.

— Нешто ихъ теперь догонишь? Они чай уже за гнилыми колодцами дуютъ.

— О дву-конь безпремѣнно.

— Что же отдыхать, что-ли?

— Чего тутъ въ степи дѣлать? На Дарью погонимъ...

Барантачи лежали, слышали все отъ слова до слова и ничего не понимали.

Батоговъ тоже все слышалъ,—но онъ все понималъ.

— Глазомъ моргнуть не успѣешь,—прирѣжутъ,—лѣзетъ ему въ ухо, а у голой шеи ползетъ что-то холодное.

— Единъ Аллахъ и Магометъ пророкъ его...—шевелятся тонкія губы Сафара.

На горизонтѣ показались три точки. Эти точки быстро двигались по направленію къ рѣкѣ. Казаки суетились. Тѣ, кто слѣзли съ лошадей, стали поспѣшно садиться.

Погоня раздѣлилась: человѣкъ десять поскакали въ объѣздъ, остальные, рысью, пошли прямо къ Дарьѣ, быстро удаляясь отъ барантачей, свободно переводившихъ духъ и даже приподнявшихся немного, чтобы удобнѣе слѣдить за уходившими казаками.

— Это, значитъ, бита,—мелькнуло въ головѣ Батогова, и ему ясно представилась дама червей съ надогнутымъ угломъ и съ потертымъ крапомъ.—Ну, не судьба,—произнесъ онъ

громко, такъ, что Сафаръ обернулся къ нему и удивленно посмотрѣлъ на плѣнника.

— Эге,— началъ узбекъ,—это они за нашими лошадьми подрали.

Барантачи выждали, пока на горизонтѣ не было видно ничего сколько-нибудь подозрительнаго, и тронулись дальше.

Часа черезъ два ходьбы передъ ними раскинулась необозримая, гладкая, какъ морская поверхность, степь. Это было преддверье безконечной степи Кызымъ-Кумъ, которая отсюда, на юго-западъ тянется вплоть до самой Аму-Дарьи и до береговъ Аральскаго моря. Рѣдкій, остролистый рангъ (родъ степной осоки) нѣсколько связывалъ сыпучіе пески, кое-гдѣ торчали высокіе стебли прошлогодняго ревеня. По небу бѣжали маленькія дымчатыя облачка; далеко, на горизонтѣ, тянулась голубая, зубчатая линія Нурытанъ-тау.

IV.

Поцѣлуй.

По мѣрѣ того, какъ солнце подымалось все выше, жара становилась все невыносимѣе. Знойная мгла смѣнила прозрачность утренняго воздуха и горячій воздухъ дрожалъ, протягивая вдали колеблющіяся линіи миражныхъ озеръ. Сквозь эту дрожащую мглу всѣ предметы принимали значительно большіе размѣры: сухой стебель полыни, торчавшій въ тридцати шагахъ отъ путниковъ, казался росшимъ вдали раскидистымъ деревомъ; кучки стараго конскаго помета принимали видъ нагроможденныхъ въ груды камней; едва замѣтный бугоръ поднимался горою, а неподвижно сидящій на немъ степной воронъ, словно гигантское привидѣніе, медленно поворачивалъ направо и налѣво свою хищную голову. Вотъ онъ замѣтилъ приближеніе людей: медленно взмахнулъ своими сильными крыльями, медленно слетѣлъ, словно сползъ съ песчанаго бархана, мелькнулъ темнымъ пятномъ, стелясь надъ самою землею, и тяжело опустился на оголенныя верблюжьи ребра.

Тихо было въ воздухѣ: свѣжій, порывистый утренній вѣтеръ смѣнила полная неподвижность; только вдали одинокая струя вихря, встрѣтившись наискось съ другою подобною, блуждаю-

щею струею, подняла винтомъ вороха легкой пыли, высоко вытянула этотъ дымчатый столбъ и, перегнувъ, понесла его въ сторону, мелькая клубами оторваннаго перекати-поля.

Два волка выбѣжали изъ какой-то лощины, остановились, приподнявъ переднюю лапу; и, насторожив уши, потрусили собачьею рысью въ глубину безпредѣльной степи.

Тяжело идти пѣшкомъ въ этихъ ватныхъ халатахъ, заправленныхъ къ верховой посадкѣ. Сафаръ давно уже бросилъ свой мультукъ съ раструбомъ. Остальные поснимали съ себя клынчи и пояса и навьючили все это на спину Батогова.

Потъ струился по чумазымъ, лоснящимся лицамъ, липкая, густая слизь склеивала растрескавшіяся губы, и все чаще и чаще спотыкались усталыя ноги.

Жажда усилилась. До «гнилыхъ» колодцевъ было еще далеко, а солоноватые затоны давно уже остались сзади, и кругомъ, куда только ни хваталъ глазъ, все была мертвая сушь и даже вся зелень исчезла, выжженная почти отвѣсными лучами солнца.

— Кабы воды немного,—сказалъ кто-то.

— Эхъ, не напоминай,—крикнулъ узбекъ,—что, или приставать начинаешь?—замѣтилъ онъ Батогову, который сильно споткнулся и чуть не упалъ подъ своимъ тяжелымъ вьюкомъ.

— Дойду, небось,—отвѣтилъ Батоговъ. Онъ понималъ, что бѣда ему будетъ, если онъ ослабѣетъ прежде своихъ мучителей. Его не понесутъ на рукахъ, а просто на просто бросятъ посреди степи; да это еще-бы не бѣда, а то, что не всего бросятъ цѣликомъ, а голову унесутъ съ собою:—все-таки трофей; а за подобные трофеи, кромѣ славы батыря, бухарскій эмиръ Мозофаръ даетъ по цвѣтному халату (награда весьма почетная), да вдобавокъ по золотому тилля (также не бездѣлица).

Не жаль было разстаться съ жизнью, — она не больно красна была въ данную минуту,—но надежда на побѣгъ, на какое-бы то ни было избавленіе, поддерживала силы Батогова. Да кромѣ того крѣпкая натура плѣнника не скоро поддавалась всякимъ толчкамъ, моральнымъ и физическимъ; къ числу послѣднихъ относились и тѣ почти непрерывныя подхлестыванія нагайкой, которыми, отъ скуки, должно быть забавлялся сзади идущій барантачъ.

— Эй! Сафаръ!—крикнулъ впереди идущій.

— Ну,—отозвался Сафаръ.

— Ты что видишь?

— Гдѣ?

— Во впереди, прямо напротивъ... видишь?

— Камень, должно быть.

— Человѣкъ лежитъ.

— Нѣтъ, это халатъ верблюжій брошенъ,—сказалъ узбекъ.

— Нѣтъ, что-то очень велико... верблюдъ дохлый.

Путники, тѣмъ временемъ ближе подошли къ странному предмету. Обманчивая мгла сильно измѣнила какъ размѣры, такъ и самыя формы лежавшаго...

— Куржумъ (сумка),—крикнулъ узбекъ первымъ.

— А въ куржумѣ дыня, та, что я, помнишь, взялъ въ кишлакѣ,—сказалъ одинъ изъ джигитовъ.

— Экъ куда твоя лошадь забѣжала!

— Нѣтъ, передніе потеряли; сумка-то не твоя.

— Не моя;—что-же тамъ?

— Круглое что-то...

— Тащи.

Вытащили это круглое. Тотъ, кто тащилъ, ухватилъ это круглое за уши и поднялъ къ верху.

— Ишь ты,—сказалъ Сафаръ.

— А что, съ твоей будетъ пара?—обратился къ Батогову тотъ, который держалъ въ рукахъ круглое, и быстро поднесъ это къ самому лицу Батогова. Тотъ отшатнулся.

— Или не узналъ?—хрипло засмѣялся джигитъ.

Батоговъ отворотилъ свое лицо и сплюнулъ: въ него пахнуло протухлымъ мясомъ.

Онъ узналъ эту голову; узналъ эти глаза, полуприкрытые, мутные, словно застывшее сало; эти щеки угреватыя; эти усы, взъерошенные, рыжіе...

Рука, державшая голову Брилло, прихватила большимъ пальцемъ за лѣвую щеку и вздернула ее кверху; страшное лицо засмѣялось, наискось оскаливъ позеленѣлые зубы.

— Ну, не отворачивайся!—крикнулъ джигитъ Батогову.— Юнусъ, держи его; что онъ вертится?

Юнусъ схватилъ сзади Батогова за уши, такъ точно, какъ тотъ джигитъ держалъ голову Брилло.

— Цѣлуйтесь, собаки, цѣлуйтесь... Давно не видались...

Батоговъ чувствовалъ, какъ какая-то страшно вонючая, холодная масса плотно прижалась къ его лицу... у него зазвенѣло въ ушахъ, въ глазахъ стало темно: земля вдругъ стала уходить изъ-подъ ногъ. Онъ упалъ . . . . . .

— Постой, не рѣжь; можетъ, очнется, — чуть слышится Батогову.

— Зачѣмъ дурить было?

— Да ну, не тронь.

— Что-жъ тутъ съ нимъ стоять на мѣстѣ?

Батоговъ очнулся и открылъ глаза. Прямо передъ нимъ сидѣлъ на корточкахъ джигитъ; одною рукой нажалъ онъ ему лобъ, а въ другой держалъ ножъ и раздумывалъ о чемъ-то. Остальные стояли вокругъ.

Батоговъ судорожно рванулся и, несмотря на то, что руки его были связаны, быстро вскочилъ на ноги. Джигитъ отшатнулся и упалъ. Всѣ захохотали.

— Говорилъ—очнется,—произнесъ Сафаръ.

— Очнулась собака, — крикнулъ, поднимаясь на ноги, упавшій и вытянулъ Батогова плетью.

Пошли дальше. Это былъ день тяжелыхъ испытаній. Раза два совсѣмъ изнемогавшіе путники садились отдыхать, но какой это былъ отдыхъ? Подъ жгучимъ солнцемъ, безъ капли воды... Къ вечеру, наконецъ, завидѣли чуть чернѣвшуюся вдали точку, въ которой Сафаръ узналъ маленькую мулушку надъ степнымъ колодцемъ.

Видъ этой точки, мало-по-малу выраставшей передъ глазами, поднялъ немного духъ бѣглецовъ, и они даже шагу прибавили, приближаясь къ желанной цѣли.

V.

Гнилые Колодцы.

На всѣхъ караванныхъ путяхъ, пересѣкающихъ необозримыя степи Центральной Азіи, встрѣчаются мѣстами оригинальныя каменныя сооруженія, цѣль которыхъ обозначать степные колодцы и цистерны и предохранить ихъ отъ песчаныхъ заносовъ. Сооруженія эти достигаютъ колоссальныхъ размѣровъ, и тогда они служатъ пристанищемъ для путниковъ, которые,

свободно размѣщаясь подъ сводами строенія, защищены въ немъ и отъ дождя, и отъ снѣга въ зимнее время, и отъ порывовъ свободно разгуливающаго по степямъ холоднаго вѣтра. Эти послѣднія постройки называются аратабами, т. е. дворами, куда можно завести арбы (повозки), хотя чаще онѣ служатъ пріютомъ для четвероногихъ повозокъ—верблюдовъ и лошадей, такъ какъ на многихъ караванныхъ путяхъ двуколесная арба составляетъ болѣе чѣмъ рѣдкое явленіе.

Богъ вѣсть, когда и кѣмъ строились эти зданія. Современный туземецъ—бродячій кочевникъ или заѣзжій торгашъ при караванѣ—розинувъ ротъ, осматриваетъ это гигантское сооруженіе и недоумѣваетъ: человѣческими-ли руками возведены эти просторные своды, эти арки, въ которыхъ, не нагибаясь, можно проѣхать на самомъ высокомъ верблюдѣ, и, по простотѣ своей, относитъ все это ко времени и дѣятельности великаго Тимура—личности, давно уже принявшей гигантскій, сказочный образъ.

Какихъ усилій, какой массы рабочихъ рукъ потребовалось-бы, чтобы приготовить запасы этого темно-коричневаго квадратнаго кирпича, о который тупится и ломается желѣзо! Сколько верблюдовъ нужно, чтобы развезти его по безконечнымъ караваннымъ путямъ! Сколько времени нужно, чтобы изъ этого кирпича сложить стѣны и своды мулушекъ и арабатовъ. А къ тому-же всѣ они такъ давно строены, что никакихъ слѣдовъ не сохранилось, который раньше строенъ, который позже: разницы въ сотни лѣтъ слились въ общемъ итогѣ, и вотъ слагается легенда, что «герой хромоногій» [1]) въ одну ночь разбросалъ по безводнымъ степямъ эти спасительныя постройки.

На далекомъ разстояніи видны туманныя очертанія этихъ куполовъ и, какъ маяки, направляютъ они одинокихъ всадниковъ, рыскающихъ по волчьи безъ всякихъ дорогъ по степямъ; направляютъ и караванъ, когда первый снѣгъ ровнымъ покровомъ затруситъ широкій караванный путь. И въ темную ночь, далеко-далеко видно зарево надъ кострами, разложенными подъ сводами арабатовъ, и красными полукругами рисуются гигантскія, освѣщенныя арки, въ которыхъ, словно злые духи, мелькаютъ черныя тѣни.

И чтитъ азіятъ эти грандіозныя «тимуровы жилища».

---

[1]) Тимуръ-ленкъ (Тамерланъ) значитъ: «желѣзный хромой».

Та небольшая караванная дорога, на которую выбирались барантачи съ своею жертвою, давно уже утратила торговое значеніе и опустѣла. Рѣдко когда по ней тянулись небольшіе караваны, около десятка вьючныхъ животныхъ не болѣе,— и то больше или напрямикъ возвращавшіеся кочевники, уже сдавшіе товары въ торговыхъ пунктахъ, или-же корыстолюбивые контрабандисты, желавшіе избѣжать необходимости платить зякетъ (таможенныя пошлины); чаще-же всего, темныя, подозрительныя личности, шатающіяся по степи безъ какой-либо опредѣленной цѣли (эта цѣль сама набѣжитъ при случаѣ) и очень характерно отмѣченныя народнымъ названіемъ: каскыръ-адамъ, т. е. волкъ-человѣкъ.

На этомъ пути не было большихъ арабатовъ, какъ на дорогѣ между Чиназомъ и Джизакомъ, у Ирджара и т. д.,—и только сводчатыя, ульеобразныя мулушки обозначали водные резервуары. Да и эти мулушки, никогда не поддерживаемыя и, вѣроятно, строенныя съ меньшею тщательностью, потрескались, позавалились, засыпали ломанымъ кирпичемъ и мусоромъ колодцы; поросшія степною растительностью, онѣ стоятъ одинокія, по близости уже вновь вырытыхъ колодцевъ; путники не всегда рѣшаются подходить къ этимъ подозрительнымъ развалинамъ, изъ боязни наступить тамъ на одну изъ безчисленныхъ фалангъ, единственныхъ обитательницъ степныхъ руинъ. Эти ядовитые пауки гнѣздятся въ сырой тѣни развалинъ и выползаютъ на поверхность грѣться на раскаленныхъ солнечнымъ жаромъ камняхъ.

Колодцы здѣсь очень глубоки и узки; длинная веревка съ кожанымъ ведромъ на концѣ опускается въ эту черную дыру и вытягивается назадъ помощью верблюда или лошади. Водопой идетъ чрезвычайно медленно, почему всегда скопляется много народу и скота, дожидающихъ своей очереди.

Когда путники подходили къ гнилымъ колодцамъ, они замѣтили, что громадная атара овецъ окружила водопой, и густая пыль столбомъ стояла въ воздухѣ;—другой подобный же столбъ медленно приближался: это гнали новую атару; громкое блеяніе десятковъ тысячъ овецъ слилось въ какой-то непрерывный стонъ и далеко разносилось по степи; въ этомъ хаосѣ звуковъ рѣзко проносились свистъ и гиканье чабановъ (пастуховъ), которые, полуголые, съ длинными жердями съ крючкомъ

на концѣ, медленно шли, окруженные своими блеящими легіонами.

Высокій, тощій, словно ободранный, одногорбый наръ тянулъ веревку съ ведромъ; немазанный деревянный блокъ жалобно скрипѣлъ; крохотный, совершенно голый киргизенокъ, сидя на горбѣ верблюда, оралъ какую-то пѣсню.

Осторожно подходили барантачи; хотя они и видѣли, что, кромѣ пастуховъ, никого нѣтъ у колодцевъ, но все-таки на всякій случай не пренебрегали мѣрами, обезпечивающими имъ полную безопасность. Какъ ни велика была жажда, усилившаяся отъ вида воды, но они не сразу пошли къ мулушкѣ и, не доходя съ четверть версты, остановились и сѣли на корточки.

Такъ тигры, мучимые жаждою послѣ кроваваго пира, осторожно подходятъ къ водѣ и припадаютъ на землю, завидя красный свѣтъ костровъ, разложенныхъ на берегу человѣкомъ. Хищникъ злобно рычитъ, щурясь на огонь, но въ этомъ глухомъ рычаніи слышна другая, трусливая нота. Вода близка; вонъ она сверкаетъ чрезъ чашу; слышны прибрежные всплески, прохладная сырость щекочетъ горячія ноздри: такъ бы вотъ и сунулъ морду по самыя уши, полрѣки-бы вылакалъ, думаетъ полосатый разбойникъ, да вонъ эти... что у огня... вонъ одинъ привсталъ, осматривается, другой сидитъ и въ рукахъ что-то держитъ; вонъ третій лежитъ на брюхѣ; и нетерпѣливо дергая усами, припавъ на переднія лапы, совершенно вытянувшись на пескѣ, ждетъ умное животное, когда же ему очистить дорогу? А то развѣ попробовать нахрапомъ? думаетъ тигръ и начинаетъ медленно, осторожно подползать, разсчитывая свой прыжокъ смертоносный. Берегись, человѣкъ, не зѣвай, посмотри-ка назадъ, на эти кусты камыша; то не вѣтеръ колыхнулъ бѣлыя, пушистыя метелки...

И чабаны замѣтили приближеніе подозрительныхъ личностей и подняли тревогу. Ихъ набралось человѣкъ восемь; они собрались въ кучу и смотрѣли не спуская глазъ съ этихъ пяти человѣкъ, сидящихъ рядомъ, словно утки на отмели.

Сафаръ пошелъ одинъ для переговоровъ.

— Да пошлетъ вамъ Аллахъ здоровья! — началъ Сафаръ.

— Будьте здоровы и вы!—отвѣчалъ сѣдой пастухъ, у котораго у одного только и былъ въ рукахъ мултукъ съ подсошкою.

— А наша дорога тоже къ водѣ, — произнесъ Сафаръ.

— Вода для всѣхъ, — лаконически отвѣчалъ старикъ.

— Мы люди правовѣрные и зла вамъ не желаемъ.

— Аллахъ надъ всѣми нами.

Сафаръ махнулъ рукою оставшимся, тѣ встали и пошли впередъ.

— А гдѣ ваши лошади? — началъ, въ свою очередь, старый пастухъ. Онъ сообразилъ, что вооруженные люди и въ такихъ костюмахъ не могутъ ходить по степи пѣшкомъ.

— Лошадей нашихъ джулъ-барсъ угналъ съ ночлега.

— Да гдѣ вы были?

— На землѣ, гдѣ теперь Акъ-паша сидитъ [1]).

Старикъ покосился на Батогова, совершенно измученнаго, лежавшаго неподвижно на влажномъ пескѣ, и тоже сообразилъ, въ чемъ дѣло.

— Тюра или сорбазъ [2])? — спросилъ онъ, кивнувъ на плѣнника.

— Тюра, улькунъ тюра [3]), — многозначительно отвѣчалъ Сафаръ и добавилъ: — батырь.

— Къ чилекскому беку везете?

— Тамъ, какъ Аллахъ укажетъ, — уклончиво отвѣчалъ Сафаръ.

— Все въ его волѣ, — произнесъ старикъ и сталъ сбирать атару.

Между тѣмъ узбекъ и другой барантачъ вели переговоры совсѣмъ другого рода: результатомъ объясненій ихъ съ пастухами были кожаный мѣхъ съ прокислымъ молокомъ и деревянная чашка.

Батогова совсѣмъ развязали, и онъ почти подползъ къ кожаному ведру съ водою. Ведро было потрескавшееся, вода быстро просачивалась сквозь эти трещины и уходила въ песокъ. Батоговъ вцѣпился въ край ведра и пилъ; пилъ большими порывистыми глотками и жадно наблюдалъ за тѣмъ, какъ поверхность воды спускалась все ниже и ниже, и уже виднѣлся рубецъ, которымъ пришито было дно кожанаго сосуда.

---

[1]) Т. е. на землѣ, отошедшей во владѣніе бѣлаго царя (Акъ — бѣлый, паша — царь). Такъ называютъ въ Азіи русскаго императора.

[2]) Начальникъ или солдатъ?

[3]) Начальникъ, большой начальникъ, богатырь.

Ему казалось, что мало будетъ этого ведра, онъ боялся, что ему не дадутъ еще, а жажда все словно усиливалась и, казалось, цѣлаго колодца мало будетъ для ея удовлетворенія.

— Эй ты!—крикнулъ узбекъ.—Лопнешь, собака!

И онъ отбросилъ, ногою ведро, которое покатилось въ сторону.

Застоналъ Батоговъ и метнулся было за ведромъ, да почувствовалъ, что и взаправду—довольно: животъ его страшно вздулся, и жажда прекратилась тотчасъ-же, какъ у него отняли воду.

Онъ растянулся на пескѣ, съ наслажденіемъ раскинувъ свои измученныя руки;—холодный песокъ благодѣтельно дѣйствовалъ на его настеганную спину.

Пастухи угоняли своихъ овецъ, и дробная топотня безчисленныхъ ногъ становилась все глуше и глуше. Барантачи усѣлись вокругъ чашки съ молокомъ и прихлебывали изъ нея поочереди. Плѣннику тоже дали молока и потомъ снова связали на ночь. Черезъ четверть часа всѣ крѣпко спали, утомленные тяжелымъ переходомъ; не спалъ только Сафаръ, который сторожилъ, сидя на корточкахъ и положивъ около себя оружіе.

Старая мулушка, словно могильный курганъ, подымалась въ темнотѣ мрачною, давящею массою. Большая сова вылетѣла изъ чернаго отверстія, описала вокругъ колодцевъ кругъ своимъ беззвучнымъ полетомъ и тихо опустилась на вершину купола. Она повернула свою голову: двѣ изумрудныя, горячія точки заискрились на мгновеніе и погасли.

Непріятный, пронзительный крикъ, точно плачъ ребенка, внезапно нарушилъ тишину ночи; вздрогнули во снѣ суевѣрные дикари, и Сафаръ забормоталъ себѣ подъ носъ какое-то заклинаніе.

— Вѣдь эдакіе контрасты, — думалъ плѣнникъ, которому не спалось, несмотря на сильное утомленіе.—То передъ тобою красивое женское лицо: ты обнимаешь молодое, свѣжее, упругое тѣло...; черезъ минуту рожа косоглазая, вонючая схватила, душитъ за горло, вяжетъ руки... Тьфу!..

Сумка, гдѣ спрятана была голова рыжаго артиллериста, лежала неподалеку; круглыя очертанія рѣзко выпячивались наружу, заразительный трупный запахъ пробивался сквозь густую шерстяную ткань куржума.

— Ишь ты!—уставился на нее Батоговъ.—Насъ пятеро, а головъ шесть... Удовлетворенія требовалъ... на барьеръ...

Вспомнилъ Батоговъ окно въ узкомъ переулкѣ, вспомнилъ онъ громкій крикъ испуганной красавицы, дикіе вопли пьяныхъ пѣвцовъ... Записка Марфы Васильевны, вся какъ есть, съ своимъ тонкимъ, разгонистымъ почеркомъ, съ загнутыми строчками, съ чернильною кляксою посрединѣ, какъ-то особенно хитро сложенная, ясно представилась передъ его глазами... И какъ это все живо сварганилось: разъ, два и всякъ при своемъ мѣстѣ: я—вотъ тутъ; онъ—вотъ тамъ... Батоговъ опять взглянулъ на куржумъ.—Она... Господи, спаслась-ли она?.. Юсупка у меня молодецъ... Я помню, они уже на той сторонѣ были... кони добрые—унесутъ. Эхъ, Орликъ, Орликъ, и мы-бы съ тобой удрали, коли-бы только о своей шкурѣ заботились... Ну, значитъ, судьба!..

Далеко, въ сторонѣ, едва-едва слышались словно бубенчики; то затихали они, то снова мелодично звенѣли и, казалось, близились. Сафаръ прислушивался уже давно и даже раза два припадалъ на песокъ ухомъ.

— Да, положеніе скверное,—продолжалъ размышлять плѣнникъ.—Надежды на помощь, на спасеніе со стороны нѣтъ никакой. Въ степи не угоняешься за барантачами, а степь—вотъ она: широкая, тихая, стелется далеко во всѣ стороны: туда ни одна нога европейца не прокладывала слѣда; тамъ живутъ вольные люди, сами себѣ владыки... Да, сами-то вольны, а другимъ не дадутъ и понюхать этой воли. Все на привязи, какъ скотина вьючная: побои, проголодь, жажда и впереди все одно и то-же до самой той минуты, когда дохлаго оттащатъ куда-нибудь въ сторону отъ аула, чтобы не такъ уже въ воздухѣ разило; и что не догложутъ днемъ собаки, то ночью докончатъ поджарые степные волки...

— Выкупятъ нѣшто: кто? Да почему узнаютъ, гдѣ я, куда меня затащили? Если-бы еще въ Бухару, ну, пожалуй, тамъ узнали-бы, а какъ въ степи?.. «Къ чилекскому беку»,—спрашивалъ пастухъ,—это-бы не дурно; все можно-бы было какъ-нибудь подать вѣсточку... Надо ждать, можетъ, судьба и пошлетъ что-нибудь подходящее. Теперь на судьбу, а пуще всего на себя только и надежда: надо терпѣть да дожидаться... Чу! никакъ сюда?..

Сафаръ, на всякій случай, будилъ товарищей.

Все слышнѣе и слышнѣе звенѣли колокольчики; уже теперь ясно можно было различить по звуку, что это тѣ погремушки, которыя навязываютъ на шеи верблюдамъ въ караванахъ. Небо на горизонтѣ чуть отдѣлялось отъ земли тонкою свѣтлою полоскою, на этой полоскѣ выросли высокія черныя тѣни, эти тѣни все росли и росли, по мѣрѣ того, какъ звукъ усиливался.

Раскачивая своими длинными шеями, медленно подходили къ колодцамъ навьюченные верблюды; на высокихъ сѣдлахъ колыхались дремавшія фигуры въ ушастыхъ, остроконечныхъ шапкахъ.

Барантачи поднялись, подобрали свои пожитки и тихонько переползли за мулушку, перетащивъ за собою и Батогова.

Кто его знаетъ, что тамъ за люди съ караваномъ? Все на всякій случай не мѣшаетъ принять мѣры предосторожности.

По бокамъ каравана шло нѣсколько пѣшихъ; у нѣкоторыхъ замѣтно было что-то вродѣ оружія. Передній верблюдъ остановился почти у самаго колодца, опустился на переднія колѣна, опустился и на заднія, тяжело вздохнулъ и улегся совершенно неподвижно. Его начали развьючивать; за нимъ другого, а за тѣмъ третьяго, и черезъ полчаса весь караванъ уже былъ развьюченъ и расположился на отдыхъ. Эти черныя фигуры въ широчайшихъ шароварахъ, непрерывно ругавшіяся то другъ съ другомъ, то съ верблюдами, то даже съ веревками, цѣплявшимися своими многочисленными узлами, работали скоро свою привычную работу. Богъ-вѣсть, сколько тысячъ верстъ исходили онѣ по этимъ степямъ, сколько тысячъ разъ развьючивали и навьючивали онѣ снова своихъ терпѣливыхъ животныхъ.

Сафаръ съ узбекомъ пошли къ новоприбывшимъ. Появленіе этихъ двухъ вооруженныхъ фигуръ, такъ неожиданно появившихся изъ-за развалинъ мулушки, нѣсколько озадачило караванъ баша и его людей, и произошла суматоха.

Привѣтственная рѣчь Сафара успокоила нѣсколько подозрительныхъ караванщиковъ, и начались переговоры, которые и тянулись почти до самаго разсвѣта.

Караванъ-башъ пожелалъ удостовѣриться, дѣйствительно-ли ихъ только четверо. Онъ обыскалъ кругомъ развалины, заглядывалъ во внутрь мулушки, подробно разсматривалъ Батогова, и послѣ этого осмотра переговоры пошли значительно успѣшнѣе.

Въ результатѣ вышло то, что барантачамъ дали двухъ свободныхъ верблюдовъ, и они пристроились къ каравану, такъ какъ оказалось, что дорога ихъ была одна и та-же.

Съ какимъ удовольствіемъ Батоговъ полѣзъ на горбы высокаго стараго верблюда: въ эту степь, что раскинулась передъ ихъ глазами, подернутую косыми лучами восходящаго солнца, уже не приходилось пускаться пѣшкомъ; а всѣ ужасы подобнаго путешествія были имъ уже испытаны наканунѣ.

Караванъ собрался въ путь съ разсвѣтомъ.

VI.

Клоповникъ.

Томительнымъ жаромъ пышетъ сѣрое, раскаленное небо, по которому медленно ползетъ мутный, туманно-очерченный шаръ.

Этотъ шаръ—солнце. Не то солнце, животворное, свѣтлое, льющее свои лучи на зелень и воды, на крыши жилищъ человѣка, на его обработанныя нивы. Это другое солнце, злое, враждебное всему живому. Вода и ея испаренія не умѣряютъ его палящихъ лучей, и жгутъ они эти желтоватые, сыпучіе пески, эти острыя, скалистыя вершины.

Смерть царитъ надъ дикими скалами: онѣ охватили весь горизонтъ, высоко упираются въ небо, тѣснятъ, громоздятся другъ на друга и, сокрушенныя своею собственною тяжестью, подточенныя временемъ и горными вихрями, рушатся внизъ, въ эти зіяющія, бездонныя пропасти.

Съ суевѣрнымъ ужасомъ смотритъ наивный дикарь на ту черту, что отдѣляетъ горныя вершины отъ сѣраго неба, и кажется ему, что только гигантскіе зубы злого духа могли выгрызть эту мрачную, ломаную линію.

А внизу, на самомъ днѣ извилистаго ущелья, тонкою змѣйкою серебрится быстро бѣгущій ручей. Нѣсколько чахлыхъ, запыленныхъ деревьевъ тѣсно жмутся къ водѣ, словно спорятъ между собою за эти немногія, спасительныя капли. Узкая, обрывистая тропа идетъ по дну ущелья; то она лѣпится карнизомъ по зазубринамъ скалъ, то спускается къ самому руслу ручья, перебѣгаетъ на другой его берегъ, опять взбирается на какой-нибудь кремнистый выступъ, загородившій дорогу и водѣ,

и людямъ своими обломками, и снова направляется къ ручью, словно нарочно предоставляя возможность усталому верблюду помочить свои растрескавшіяся, покрытыя роговыми мозолями ноги.

Крохотныя, тѣсныя сакли, сложенныя изъ неотдѣланнаго, дикаго камня, кое-гдѣ лѣпятся по обрывамъ; на плоскихъ крышахъ бродятъ мелкорослыя куры, потягиваются поджарыя, вѣчно голодныя собаки, ползаютъ совершенно голыя, покрытыя коростою и лишаями, такія-же вѣчно голодныя дѣти.

Не люди,—тѣни въ лохмотьяхъ бродятъ между этими человѣческими жилищами, съ виду больше похожими на птичьи гнѣзда. Дремлетъ ишакъ, лѣниво развѣсивъ свои длинныя уши, жалобно блеетъ козленокъ, безплодно теребя выдоенные сосцы своей матери, во все горло реветъ ребенокъ, только что укушенный скорпіономъ, реветъ—и въ промежуткахъ по-собачьи лижетъ свою больную руку.

А на самой вершинѣ конусообразной горы, которая, словно сахарная голова, поднимается со дна котловины, виднѣются зубчатыя, полуразвалившіяся стѣны. Это остатки когда-то бывшей здѣсь крѣпости, защищавшей горный проходъ изъ степи въ долины бухарскаго ханства.

Спиралью поднимается дорога къ этой заброшенной цитадели, и, кажется, далеко-ли до этихъ чернѣющихъ воротъ, что, между двухъ обвалившихся башенъ, ведутъ во внутрь разбойничьяго гнѣзда,—но долго еще придется кружить по извилинамъ тропинки, пока взберетесь на эту остроконечную вершину, и тяжело водитъ запаленными боками измученный конь, пока его всадникъ, слѣзши съ сѣдла, откидываетъ сухую тополевую жердь—единственное препятствіе ко входу.

Караванъ, гуськомъ, верблюдъ за верблюдомъ, медленно тащился по ущелью; вьюки поминутно цѣплялись за острые выступы скалъ, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ съ одной стороны дорога висѣла надъ крутымъ обваломъ; робкія животныя жались къ противоположной сторонѣ и рвали о камни полосатые тюки. Верблюдовожатые перебѣгали отъ одного верблюда къ другому, выручая ихъ изъ бѣды; караванъ-башъ (глава каравана), совершенно черный въ мохнатомъ, бараньемъ малахаѣ, сидя на горбахъ передняго верблюда, пронзительно ругался и по временамъ издавалъ дикіе, громкіе, ободрительные

вопли, вѣроятно имѣвшіе на верблюдовъ магическое дѣйствіе, потому что, послѣ каждаго подобнаго возгласа, длинныя шеи подымались, головы, увѣшанныя цвѣтными кисточками и погремушками, глупо, вопросительно смотрѣли, ворочаясь по сторонамъ, и животныя поддавали ходу.

Не доходя подножія сахарной головы, караванъ остановился; началась обычная работа развьючиванья.

Батогова сняли съ верблюда. Сафаръ съ узбекомъ переговаривались о чемъ-то шопотомъ, поглядывая на плѣнника.

— Пускай лучше тутъ побудетъ пока,—говорилъ Сафаръ.

— Стеречь нужно,—говорилъ узбекъ.

— Ну, конечно.

— А *тамъ* лучше, *оттуда*, небось, не вылѣзетъ.

— Куда они еще меня хотятъ запрятать?—грустно подумалъ Батоговъ, которому слышна была большая часть совѣщанія.

— А какъ не выдержитъ?

— Этотъ крѣпокъ.

— Того, разъ, помнишь, всего на сутки спустили, а околѣлъ.

— Этотъ не околѣетъ, да вѣдь мы скоро вернемся.

— Смотри, чтобы не вышло по моему. Четвертыя сутки возимся съ нимъ; а сдохнетъ,—какіе барыши будутъ?

— Что-же, этимъ, что-ли, отдадимъ его?

Узбекъ покосился на киргизовъ, все еще возившихся около своихъ верблюдовъ.

— Хороши сторожа: тогда, только его и видѣли.

— Да ну, пожалуй спустимъ,—согласился Сафаръ.

— Спустимъ,—подумалъ Батоговъ и задрожалъ всѣмъ тѣломъ отъ невольнаго ужаса, охватившаго его при одной только догадкѣ, куда это собираются его засадить.

Онъ зналъ о существованіи особаго рода подземныхъ тюремъ, вырытыхъ въ видѣ грушевиднаго колодца съ узкимъ отверстіемъ на верху. Кто разъ попалъ туда, — оттуда, безъ посторонней помощи, не выберется: руками не прорыть эту кремнистую земную толщу, къ верху не выползешь по этимъ выгнутымъ, сыпучимъ стѣнкамъ; и воздухъ, и свѣтъ едва проникаютъ туда въ одну небольшую дыру. Гниль и нечистоты густымъ слоемъ накапливаются на вонючемъ днѣ, миріады паразитовъ кишатъ въ этомъ тѣсномъ пространствѣ, никогда, со времени начала своего существованія неочищавшемся.

Только азіятская лѣнь и крайнее пренебреженіе къ участи и даже жизни заключенныхъ могли изобрѣсти эти адскія тюрьмы. Да, въ нихъ, дѣйствительно, сторожить не надо. Можно совсѣмъ забыть о спущенномъ туда плѣнникѣ; можно даже забыть принести ему пищи и воды. Ну что за бѣда, если околѣетъ? развѣ ждутъ отъ него большихъ барышей,—ну, тогда, пожалуй, вспомнятъ и снова вытащатъ полумертваго на свѣтъ Божій.

Батоговъ вспомнилъ о страшныхъ *клоповникахъ*...

— Нѣтъ, лучше умереть; лучше пусть убьютъ теперь-же...

Онъ подумалъ, что если броситься на своихъ мучителей, то кто-нибудь изъ нихъ, въ азартѣ, пырнетъ его кривымъ ножомъ подъ ребра, и конецъ всѣмъ истязаніямъ.

Онъ сильно рванулся: глубоко врѣзались въ тѣло веревочныя петли; затрещало что-то, но волосяной, туго перевитый арканъ былъ крѣпокъ и выдержалъ это отчаянное усиліе.

Изумленно посмотрѣли барантачи на этотъ неожиданный порывъ.

— Не хочетъ,—произнесъ узбекъ и засмѣялся.

Батогова повели наверхъ къ остаткамъ цитадели.

Два или три старика, худые, какъ скелеты, въ грязныхъ бумажныхъ чалмахъ выползли изъ своихъ сакель и сѣли на корточки... Дѣти со всѣхъ концовъ кишлака сбѣжались и столпились у дороги; нѣсколько женскихъ закутанныхъ фигуръ мелькнули на ближайшихъ крышахъ, подползли къ самому краю и смотрятъ; но все это глядитъ совершенно равнодушно: какое имъ дѣло до этихъ верблюдовъ, что пришли Богъ вѣсть откуда, какое имъ дѣло до того, что спрятано въ этихъ полосатыхъ тюкахъ, какое имъ дѣло, что за люди такіе въ кольчугахъ, вооруженные, въ оборванныхъ красныхъ халатахъ, ведутъ наверхъ кого-то, совсѣмъ почти голаго, изнуреннаго, покрытаго кровью и грязью человѣка! Только и замѣтили они, что голова у этого человѣка не обрита, какъ у мусульманъ, и скомканные, взъерошенные волосы топорщатся во всѣ стороны; растрепалась и сбилась колтуномъ густая борода, и распухли отъ перевязокъ скрученныя за спиною руки.

— Русская собака... — только и прошепталъ одинъ изъ стариковъ, а другіе даже и того не сказали, слѣдя полусонными глазами, какъ четыре красныя и одна бѣлая фигуры все

выше и выше взбираются по тропинкѣ,—то исчезаютъ, когда дорога заворачиваетъ на другую сторону горы, то появляются снова, когда она огибаетъ эту сторону.

Вотъ и ворота старыя. Одна половина виситъ наискось, доски выломаны, косяки сгнили, и густымъ слоемъ бурой ржавчины покрылись желѣзныя петли. Другой половинки и вовсе нѣтъ: ее давно уже разобрали на разныя домашнія нужды.

Черныя, закоптѣлыя дымомъ пятна на стѣнахъ показываютъ мѣста, гдѣ когда-то стояли котлы для варки пищи. Перегорѣвшія, обратившіяся въ пыль кучи конскаго навоза лежатъ вдоль осѣвшей, вотъ-вотъ готовой рухнуть стѣны: тутъ, значитъ, стояли лошади небольшого гарнизона; вотъ даже и выдолблены ямки въ стѣнахъ, куда имъ разсыпали ячмень и рубленую солому. Дохлая собака лежитъ, оскаливъ зубы, словно рычитъ на тѣхъ, кто осмѣлился прійти въ это проклятое мѣсто. Тысячи ящерицъ, сѣрыхъ съ красными брюшками, быстро ползаютъ по стѣнамъ, по кучамъ мусора, перебѣгаютъ дорогу и прячутся въ безчисленныхъ трещинахъ, едва только заслышатъ тяжелые шаги уставшихъ отъ крутого подъема барантачей.

Два орла-стервятника высоко носятся и кружатъ надъ развалинами; съ глухимъ, перекатнымъ стукомъ катится внизъ сорвавшійся съ высоты обломокъ.

Въ самый задній уголъ цитадели забрались барантачи.

— Должно быть, здѣсь? — сказалъ узбекъ и внимательно осмотрѣлся кругомъ.

Высоко, почти подъ самыя облака, забралось это старое разбойничье гнѣздо. За окрестными горами, въ промежуткахъ зубчатыхъ вершинъ, можно было видѣть темно-синюю, холмистую даль, по ту сторону Нуратынъ-Тау. Тамъ было бухарское ханство.

Солнце спускалось и по низамъ ложились туманныя тѣни. Бѣлыя клочковатыя облака быстро неслись, цѣпляясь и дробясь въ этомъ лабиринтѣ торчащихъ, причудливыхъ скалъ.

— Вонъ и веревка брошена,—замѣтилъ одинъ изъ джигитовъ.

— Совсѣмъ гнилая,—сказалъ Сафаръ.—Ишь, какъ рвется: она и козленка не выдержитъ.

— Вдвое сложимъ, а то на юнусовой чалмѣ можно.

— Коротка.

— Ну, чего коротка? Распускай!..

Шагахъ въ четырехъ зіяла черная дыра. Синеватый паръ вился надъ нею, и въ носъ шибало ѣдкою вонью.

Батогова подвели къ отверстію. Ему развязали руки и продернули веревку подъ плечи.

Батоговъ пытался сопротивляться.

— Да ну, не упирайся!—крикнулъ узбекъ и сильно наддалъ въ задъ колѣномъ.

Онъ звалъ на помощь... Кого?..

У него въ мозгахъ помутилось.

— Спускай!

Батоговъ повисъ. Его спустили...

Онъ спустился на что-то мягкое; онъ ощупалъ это мягкое и метнулся къ стѣнѣ.

Въ непривычномъ мракѣ зрачки страшно расширились, вслѣдствіе сильнаго нервнаго возбужденія; они сверкали фосфорическимъ блескомъ.

Полу-голый, съ волосами, стоящими дыбомъ, съ всклокоченною бородою, плотно прижался Батоговъ къ стѣнѣ, словно хотѣлъ продавить ее этимъ нечеловѣческимъ усиліемъ.

Онъ былъ ужасенъ въ эту минуту.

Какъ разъ посрединѣ, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ на днѣ ямы рисовался свѣтлый кругъ верхняго отверстія, лежалъ совсѣмъ уже разложившійся трупъ. На этомъ трупѣ копошилась какая-то живая, бѣлая масса, словно онъ весь былъ обсыпанъ вареным рисомъ; но каждое зерно этого адскаго плова двигалось, каждое зерно имѣло маленькую, поворотливую головку, каждое зерно жрало то, по чему ползало.

Липкая, зеленоватая грязь стояла на днѣ: босыя ноги уходили въ нее почти по щиколодку.

Вверху длинноногіе пауки дружно затягивали отверстіе тонкими нитями: они спѣшили починить то, что Батоговъ прорвалъ своею тяжестью.

Они, казалось, говорили несчастному: вотъ мы задѣлаемъ снова эту дыру... Вѣдь тебѣ, другъ, тутъ и оставаться.

Сѣрыя стѣны начали покрываться красноватымъ налетомъ, словно безчисленныя капли крови просачивались сквозь трещины, приступая къ поверхности.

Солнце, должно быть, садится, потому что мракъ сгущается и уже чуть видны вверху очерки провала.

Батогову жгло всю спину, жгло затылокъ, жгло ноги, все ниже и ниже; казалось, что стѣны накаливались. Жидкій огонь быстро распространялся по всему тѣлу. Онъ махнулъ руками... Его обдалъ спиртуозный, типичный запахъ раздавленныхъ клоповъ.

Милліоны голодныхъ паразитовъ, вызванные изъ стѣнъ наступающею ночью и запахомъ живого тѣла, атаковали несчастнаго.

Батоговъ неистовствовалъ. Онъ судорожно скребъ ногтями тѣло, стараясь избавиться отъ нестерпимаго зуда; онъ терся о стѣны, валялся въ грязи, вылъ дикимъ, неестественнымъ голосомъ и съ размаха колотился головою о стѣны. Но податлива была мягкая земля, и съ каждымъ ударомъ обсыпалась мелкая пыль, набиваясь въ ротъ, носъ и уши бѣсновавшагося.

Его словно обливало горячимъ жиромъ; но каждая капля этого жира была воодушевлена, каждая капля дышала неистовою злобою.

Борьба немыслима: миріады отдѣльныхъ, ничтожныхъ силъ сокрушили могучую силу человѣка.

И слабѣло съ каждою минутою это изможденное тѣло; душилъ нестерпимый запахъ. Тише и тише становились раздирающіе вопли; повисли руки, несопротивлявшіяся болѣе этому живому, медленному огню...

— Смерть!..—чуть простоналъ Батоговъ и ничего уже не слышалъ, не чувствовалъ.

На днѣ клоповника лежало два трупа. Одинъ—пожирался могильными червями, другого—обсыпали клопы.

— На, жри!—крикнулъ сверху голосъ узбека.

Кусокъ какой-то снѣди шлепнулся на дно: Батогову дали ужинать.

Неумышленная, но злая иронія!

Трудно ѣсть тому, кто сталъ пищею.

VII.

Въ степи.

Караванъ спускался медленно, со всѣми предосторожностями. Этотъ скалистый, обрывистый путь, мѣстами промытый

горными водами, представлялъ вьючнымъ верблюдамъ гораздо болѣе затрудненій, чѣмъ относительно пологій подъемъ.

Дно ущелья становилось все виднѣе и виднѣе, по мѣрѣ того, какъ путешественники спускались ниже, лѣпясь и цѣпляясь по склонамъ, взбурованнымъ поперечными разсѣлинами.

Сквозь клубы пара, извивавшіеся на этомъ мрачномъ днѣ, сверкали блестящія струйки ручья и бѣлѣлись отдѣльно разбросанныя точки: то были обглоданныя на-чисто и вывѣтрившіяся кости верблюдовъ и лошадей, сорвавшихся съ крутого обрыва. Исковерканные, растрепанные остовы животныхъ виднѣлись и на склонахъ ущелья: эти зацѣпились налету за выдающіеся камни или-же засѣли плотно въ узкія трещины.

Сколько вѣковъ накоплялись на днѣ эти печальные останки, краснорѣчивыя свидѣтельства трудностей «ухумскаго» перевала!

Озабоченно брели киргизы около верблюдовъ и внимательно разсматривали, словно изучали, всякое препятствіе, которое попадалось имъ на пути.

Вотъ неожиданный поворотъ. Киргизъ съузился до послѣднихъ предѣловъ возможности. Слѣва поднимается нависшая, вотъ-вотъ, готовая рухнуть скала, справа—сыпучій скатъ, поросшій частымъ кустарникомъ горнаго миндаля.

Соразмѣряя каждый шагъ, словно ощупывая ногами невѣрную дорогу, ступаютъ тяжелыя животныя... Прошелъ одинъ верблюдъ, прошелъ другой. Вотъ еще изъ-за скалы показывается глупая лохматая голова, вся увѣшанная яркими кисточками. Мозолистая, длинная нога съ двойнымъ копытомъ осторожно ступаетъ, верблюду кажется, что камень, на который онъ хочетъ ступить, пошатнулся... Минута нерѣшительности. А между тѣмъ, переднее животное тянетъ; волосяной арканъ натянулся, какъ струна, костяной крючокъ, продѣтый въ ноздри верблюда, рѣжетъ и рветъ ему носъ, сзади одобрительно щелкаетъ нагайка, и щелкаетъ съ разборомъ, поражая самыя чувствительныя мѣста, неприкрытыя облѣзлою шерстью.

Крошечный камешекъ сорвался откуда-то и покатился внизъ; дорогою онъ зацѣпилъ еще нѣсколько такихъ-же голышей, и защелкали они, прыгая между кустами.

Съ шумомъ вылетѣла стая сѣрыхъ горныхъ куропатокъ, выгнанная изъ-подъ корней миндаля этимъ каменнымъ дождемъ.

Дрогнулъ верблюдъ и заревѣлъ съ перепугу; нога у него

сорвалась, онъ скользитъ... Вырвался изъ ноздрей окровавленный крючокъ... Нѣсколько голосовъ тревожно крикнули: берегись!..

Громадная масса, обрывая на своемъ пути камни и кусты, поднимая тучу пыли, быстро сползаетъ все ниже и ниже... Вотъ и край обрыва. Масса исчезла. Нѣсколько мгновеній,— глухой ударъ, словно далекій пушечный выстрѣлъ, доносится со дна ущелья.

— Э-эхъ!—крикнулъ киргизъ, прижавшись къ стѣнѣ, разинувъ ротъ, испуганно глядя внизъ сквозь эту пыльную тучу.

Жалобно ревутъ верблюды, обезкураженные участью своего товарища.

Мѣдный котелъ оторвался отъ вьюка во время паденія, зацѣпился и виситъ надъ обрывомъ. Ярко блестятъ въ глаза его полированные бока; онъ близко, а достать невозможно: подисунься и самъ туда-же оборвешься.

Жадными глазами смотритъ караванъ-башъ на эту яркую массу, драгоцѣнность кочевой жизни номада.

— Э, атапауззинсигейкъ!—произноситъ онъ свою характерную брань,—и караванъ трогается далѣе.

Сафаръ и узбекъ гдѣ-то, за эту ночь, раздобыли себѣ лошадей; у Сафара конь еще ничего — ѣздить можно: запаленъ немного и кривъ на одинъ глазъ,—а то-бы совсѣмъ была лошадь; а у узбека и смотрѣть не на что: чуть плетется на своихъ разбитыхъ ногахъ, и всю дорогу хозяинъ ведетъ ее въ поводу. Прочіе двое и такихъ себѣ не достали: идутъ пѣшкомъ по прежнему и все держатся около того верблюда, что идетъ сзади всѣхъ почти безъ вьюка, только продолговатый тюкъ покачивается у него съ боку и отъ этого кошемного тюка сильно пахнетъ кунжутнымъ масломъ.

Подъѣзжалъ и Сафаръ къ этому тюку, если дорога становилась шире и можно было подъѣхать съ боку; онъ заглядывалъ, приподнимая свободно висящій конецъ кошмы, и ободрительно произносилъ: «ничего, поправится...»

— Экъ, какъ всего вымазали,—думалъ про себя Батоговъ. Онъ уже съ часъ, какъ очнулся, и тѣло его страшно горѣло. Холодный горный воздухъ освѣжилъ его, и онъ висѣлъ, какъ въ люлькѣ, завернутый въ прокопченую кошму, захваченную въ селеніи Сафаромъ.

Горы оставались мало-по-малу сзади, и передъ ними развертывались холмистыя равнины; въ правой сторонѣ сверкала бѣлая, словно покрытая снѣгомъ, безконечная полоса «Тузъ-куль» (соленаго озера).

Едва только караванъ выбрался изъ горнаго ущелья, узбекъ, который и прежде еще выказывалъ сильное безпокойство, подъѣхавъ къ Сафару на своемъ безногомъ, сказалъ.

— То не джигитъ, то самъ шайтанъ былъ.

— Джигитъ,—лаконически отвѣчалъ Сафаръ.

— Куда онъ пропалъ? Онъ просто провалился...

— Туда поѣхалъ.

И Сафаръ показалъ рукою впередъ.

— А слѣды гдѣ?

— Тамъ на камняхъ не видно было...

— Онъ о дву-конь былъ, и рожи я не успѣлъ разглядѣть подъ шапкою...

— Я разглядѣлъ кое-что другое...

— Что?

— Эхъ, кабы не джулъ-барсъ, — началъ Сафаръ такимъ тономъ, какъ будто говорилъ не съ узбекомъ, а такъ, раздумывалъ вслухъ. — Эхъ, кабы не джулъ-барсъ! А я такой лошади давно уже не видывалъ, какъ тотъ гнѣдой, что мы у него взяли (Сафаръ тронулъ рукою поверхность тюка съ Батоговымъ, около котораго ѣхалъ все время). Онъ былъ много лучше нашихъ коней... Да, ну! спотыкайся, собака!

Джигитъ вытянулъ плетью свою жалкую лошаденку.

— Да ты къ чему все это говоришь?

— О конѣ-то?

— Ну, да.

— Тотъ былъ гнѣдой, на лбу лысинка, правая задняя бѣлоножка, тавро—кругъ, а въ кругу вилка...

— Ну?

— А у того джигита въ поводу былъ тоже конь гнѣдой, на лбу лысинка, правая нога задняя бѣлая, тавро...

— То-то мнѣ самому показалось...

— А вонъ и слѣды, видишь?

И Сафаръ указалъ на крѣпкомъ корообразномъ слоѣ солончака легкій отпечатокъ конскаго копыта съ русскою подковою.

— Онъ впередъ насъ проѣхалъ, — произнесъ задумчиво узбекъ,—вонъ къ озеру повернулъ, къ степямъ.

— Воды хочешь?—отнесся Сафаръ къ Батогову, который, высунувъ голову, глядѣлъ, прищурившись, въ даль.

— Дай воды,—сказалъ Батоговъ, — да чего-нибудь ѣсть дай...

Подъ вліяніемъ свѣжаго воздуха у него, истощеннаго страшными мученіями въ клоповникѣ, пробудился усиленный аппетитъ. При видѣ одного киргиза, жевавшаго что-то на ходу, у него заворочались внутренности. Онъ вчера весь день ничего не ѣлъ, сегодня тоже, несмотря на то, что время близилось къ полдню.

Сафаръ протянулъ ему русскую бутылку, обшитую войлокомъ, и вытащилъ изъ куржумовъ нѣсколько исковерканныхъ лепешекъ.

— Я вотъ смотрю на нашъ караванъ, — началъ опять узбекъ,—и думаю: всѣхъ съ киргизами четырнадцать человѣкъ, два ружья, четыре шашки... пронеси Аллахъ счастливо!

Джигитъ томительно, съ нескрываемой тревогою, приглядывался въ ту сторону, гдѣ сверкала бѣлая полоса, словно онъ оттуда ожидалъ чего-то враждебнаго, для чего придется пустить въ дѣло и эти два жалкія ружья, и ихъ шашки, и соединенную силу всѣхъ четырнадцати человѣкъ.

— Ничего, — произнесъ Сафаръ, — только-бы намъ до «Тюябурунъ-Тау» [1]) добраться, а тамъ мы все равно, что дома.

— Гмъ, дома! Ты ничего тамъ не видишь?

— Тузъ (соль) вижу, а дальше песокъ, а дальше...

— Вонъ тамъ между сѣрыми барханами?

— Конный стоитъ.

Зоркій глазъ барантача отыскалъ на вершинѣ далекаго песчанаго наноса, верстахъ, по крайней мѣрѣ, въ пяти по прямому направленію, небольшую, едва замѣтную точку. Мало того, въ этой точкѣ онъ узналъ всадника. Узбекъ и Сафаръ видали, какъ эта точка словно распадалась по временамъ; отъ нея отдѣлялась другая, нѣсколько меньшихъ размѣровъ.

— О дву-конь, — сказалъ Сафаръ,—это тотъ джигитъ.

— Дьяволъ!—прошепталъ узбекъ.

---

[1]) Небольшая горная цѣпь, отростокъ ближе къ Заровшанской долинѣ.

— Чего-же онъ стоитъ тамъ? Я его вотъ уже съ полчаса вижу.

— Я вотъ и самъ все думаю: чего онъ тамъ стоитъ? Эхъ, кабы намъ добраться благополучно...

Замѣтилъ и караванъ-башъ, замѣтили и всѣ киргизы эту подозрительную точку и столпились всѣ въ кучу около того верблюда, на которомъ важно засѣдалъ, раскачиваясь на ходу, черномазый караванъ-башъ.

— И чего *онъ* такъ все распрашивалъ, что везутъ?—говорилъ одинъ изъ нихъ, вспоминая о томъ всадникѣ, который ночью проѣзжалъ горнымъ селеніемъ и поилъ своихъ лошадей у ключа.—Ружье у этого джигита было какое-то особенное, въ два ствола (у русскихъ вотъ такія бываютъ), лошади обѣ хороши, особенно гнѣдой, что въ заводѣ былъ. Рожа такая воровская: такъ и бѣгаютъ волчьи глаза во всѣ стороны; кажется, ни одного тюка не пропустилъ, все переглядѣлъ...

— Пѣсню пѣлъ, когда поѣхалъ; я слышалъ,—замѣтилъ другой.—По ущелью далеко вѣтромъ доноситъ ночью-то.

— То-то всполошились чего-то: видно тоже недоброе чуютъ?—Онъ кивнулъ на Сафара съ узбекомъ.

Эта точка вдали, надѣлавшая столько тревоги, былъ дѣйствительно всадникъ. Этотъ всадникъ, давъ отдохнуть своимъ лошадямъ въ Ухумѣ, гдѣ онъ встрѣтился съ караваномъ, еще ночью выбрался изъ ущелья. Онъ свернулъ въ сторону, какъ только позволила мѣстность, и все время ѣхалъ въ сторонѣ, словно избѣгая торной караванной дороги.

Теперь онъ взобрался въ барханъ и, такъ же пристально, какъ его разсматривали всѣ члены каравана, наблюдалъ въ свою очередь за этою вереницею верблюдовъ, еле двигавшихся на горизонтѣ, за этими всадниками, что вертѣлись около, за этими киргизами, что брели пѣшкомъ, подгоняя своихъ верблюдовъ.

Особенно занималъ всадника послѣдній верблюдъ: съ особеннымъ вниманіемъ онъ слѣдилъ за всѣми движеніями Сафара и узбека. Онъ даже разъ очень близко подъѣхалъ къ каравану; его не замѣтили: кусты саксаула и глубокая водомойка, по которой пробирался джигитъ, совершенно его прятали отъ зоркихъ глазъ барантачей; а онъ видѣлъ много для себя интереснаго: онъ видѣлъ, какъ изъ того продолговатаго тюка высунулась человѣческая голова, и хорошо узналъ это исхудалое,

блѣдное лицо съ глубоко впалыми глазами; узналъ, несмотря на то, что оно было покрыто грязью, запекшейся кровью и совершенно сплошь исцарапано во время отчаянной, безсознательной борьбы съ миріадами паразитовъ.

Подъ этимъ всадникомъ былъ прочный, бодрый конь степной породы, незнающій устали подъ опытнымъ наѣздникомъ, въ поводу у него былъ другой конь, дѣйствительно, гнѣдой, съ лысиной, съ бѣлою ногою, съ тавромъ, такимъ точно, какъ его описалъ Сафаръ.

Коня этого таинственный джигитъ раздобылъ случайно: бѣгаетъ въ степи одинокая лошадь безъ всадника, сѣдло у нея сбилось, поводья оборваны.. Захрапѣлъ вольный конь, при видѣ наѣздника, шарахнулся и понесся въ безпредѣльное пространство, да вдругъ услышалъ свистъ, свистъ знакомый, свистъ, къ которому онъ давно уже привыкъ и который онъ слышалъ и при водопоѣ, и тогда, когда его сбирались сѣдлать, и тогда, когда ему навѣшивали полную ячменя торбу.

Даже заржалъ конь отъ радости и, сдѣлавъ два три козла, подбѣжалъ къ джигиту.

— Орликъ, Орликъ,—говорилъ джигитъ, лаская красивое животное,—что тутъ одинъ дѣлаешь? (У джигита голосъ дрогнулъ, словно ему заплакать хотѣлось). А гдѣ твой тюра? Гдѣ юсупкинъ тюра?..

Джигитъ гладилъ коня, ласкалъ его, оправляя исковерканное сѣдло, тщательно осматривая его исцарапанныя степною колючкою ноги, вытирая ему горячія ноздри полою своего халата.

Этотъ джигитъ, хотя и встревожилъ барантачей, возбудивъ ихъ азіатскую подозрительность, самъ лично не былъ опасенъ для каравана: что онъ одинъ могъ сдѣлать съ четырнадцатью человѣками? Настоящая опасность дѣйствительно была, только совсѣмъ не съ той стороны, откуда ее ожидали; и никакихъ признаковъ этой опасности опытный узбекъ и его товарищи даже и не замѣчали. Правда, Сафаръ замѣтилъ, что маленькое стадо сайгаковъ, далеко вотъ за тѣми солончаками, шло довольно спокойно и, должно быть, паслось по пути (эти быстроногія степныя антилопы всегда пасутся, что называется, походя); да вдругъ, какъ кинется въ сторону, и понеслось большими скачками, почти не поднимая пыли своими легкими ножками.

— Должно быть, волки бродятъ,—замѣтилъ Сафаръ вслухъ.

— А что?—спросилъ узбекъ.

— А вонъ, ишь, какъ удираютъ.

А тотъ джигитъ, что стоялъ на далекомъ барханѣ, видѣлъ тѣхъ волковъ, отъ которыхъ шарахнулись сайгаки.

Онъ видѣлъ, какъ человѣкъ десять всадниковъ, держа пики на-перевѣсъ, чтобъ ихъ не такъ было замѣтно издали, пробѣгали рысцою по берегу соленаго озера. Со стороны каравана ихъ отдѣляла гряда песку, нанесеннаго вѣтрами, и за этою грядою совершенно спрятались эти конные волки.

Джигита о дву-конь они давно замѣтили, да признали за своего, да и самъ джигитъ не очень-то ихъ боялся.—Воронъ ворону глазъ не выклевываетъ, — думалъ онъ.—А вонъ тѣхъ купцовъ они маленько пощипаютъ: къ тому и подбираются.

И съ нетерпѣніемъ джигитъ ожидалъ начала неизбѣжной схватки, подумывая: какъ-бы не досталось въ ней тому войлочному тюку, изъ котораго высовывалась знакомая голова.

А тутъ еще надо было остановить караванъ: передній верблюдъ развьючился, и сползли тяжелые тюки, не поддерживаемые лопнувшей веревкою. Началась обычная возня, ругань, ревъ верблюда, у котораго вся спина подъ сѣдломъ была общая ссадина... Сафаръ слѣзъ съ лошади и началъ возиться съ походнымъ кальяномъ: что, молъ, напрасно время терять?..

Стало припекать по вчерашнему, съ горъ тянуло освѣжающимъ вѣтромъ. Вдругъ что-то щелкнулось въ спину одного изъ купцовъ, который усердно, помогая зубами, натягивалъ вьючный арканъ. Киргизъ перегнулся, вскрикнулъ и присѣлъ на землю. Другой киргизъ молча упалъ навзничъ: этому какъ разъ въ середину лба угодило.

Въ песчаной степи слабо слышны ружейные выстрѣлы, зато гикъ, пронзительный, типичный, разбойничій гикъ такъ и рѣзнулъ по ушамъ оторопѣлыхъ караванщиковъ.

— Вы зачѣмъ народъ бьете?—говорилъ старый караванъ-башъ, сидя все еще на вершинѣ верблюжьяго вьюка.—Сила и такъ ваша: намъ съ вами не драться...

— Много васъ очень—такъ больше для страху,—отвѣчалъ налетѣвшій джигитъ, осаживая свою горячую, поджарую, словно борзая собака, лошадь.—Съ какимъ товаромъ?

— Всякаго довольно,—говорилъ караванъ-башъ апатично,

будто дѣло совсѣмъ не касалось его интересовъ, и полѣзъ съ верблюда.

Всѣхъ верблюдовъ сбили въ кучу и положили въ кругъ. Новые всадники спѣшились и пороли ножами вьюки. По костюму, по лицамъ они были совсѣмъ одинаковы съ нашими барантачами, и Сафаръ со своими товарищами развѣ только тѣмъ и отличались отъ нихъ, что спокойно стояли около верблюда съ Батоговымъ, между тѣмъ какъ тѣ поспѣшно шныряли между верблюдами и съ жадностью разворачивали надрѣзанные войлоки, вываливая безъ разбора на песокъ все, что ни попадалось подъ руку.

Киргизы сидѣли поодаль на корточкахъ и смотрѣли равнодушно на все, что происходило передъ ихъ глазами; раненый въ спину громко стоналъ и всхлипывалъ, корчась и ползая по песку: никто не сдѣлалъ къ нему ни малѣйшаго движенія; а тотъ, котораго въ лобъ хватило, такъ и лежалъ пластомъ, раскинувъ крестообразно ноги и руки, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ захватила его нежданная пуля.

Нѣсколько барантачей подошли къ Батогову, который съ тревожнымъ любопытствомъ ожидалъ, чѣмъ все это кончится.

— Что, боленъ, что-ли?—спросилъ высокій хивинецъ, обращаясь къ Сафару.

— А тебѣ какое дѣло?—отвѣчалъ за него узбекъ угрюмо, съ нескрываемымъ озлобленіемъ косясь на подошедшихъ.

Хивинецъ тоже взглянулъ на него изъ-подъ своей войлочной шапки и пробормоталъ:

— Ты никакъ изъ сердитыхъ... Гдѣ взяли?

— А тамъ, гдѣ имъ много заготовлено....

— За Дарьей?

— Изъ-подъ самаго Ташкента.

— Ой, ой! Куда везли?

— Туда, куда везли, туда и повеземъ.

— Теперь съ нами поѣдетъ.

— Онъ не вашъ!

— А то чей же?.. Ты вонъ спроси-ка у него (хивинецъ показалъ на Сафара); у него борода бѣлая: онъ умный.

— Наша сила была—нашъ былъ,—произнесъ Сафаръ. Онъ хорошо понялъ, что бороться невозможно, а надо покориться.

— Теперь ваша сила,—добавилъ онъ и отошелъ въ сторону.

— Вы всѣхъ верблюдовъ съ собой угоните или намъ что оставите?—спросилъ караванъ-башъ у всадника, который одинъ только былъ въ бѣлой чалмѣ, и хотя на немъ халатъ и остальныя части костюма были въ такомъ же видѣ, какъ и у остальныхъ членовъ шайки, зато аргамакъ его былъ покрытъ роскошной ковровой попоной съ золотою каймою и кистями.

— Тамъ, какъ Аллахъ укажетъ, — уклончиво отвѣчалъ всадникъ.

— А вы намъ хоть четырехъ оставьте; что мы тутъ одни въ степи пѣшіе дѣлать будемъ?

Все шло, повидимому, такъ покойно; разговаривали, казалось, такъ дружески, что со стороны можно было подумать, что дѣло идетъ не о самомъ нахальномъ степномъ грабежѣ, а просто о торговой сдѣлкѣ, заранѣе предвидѣнной и происходящей въ напередъ условленномъ пунктѣ. Только нѣкоторый безпорядокъ, въ которомъ находились распоротые тюки, всюду разбросанные куски канаусовъ, мѣдная посуда, штуки ситцевъ и краснаго кумачу русскихъ издѣлій, нѣсколько головъ сахару, одну изъ которыхъ старательно облизывалъ лежавшій въ растяжку верблюдъ, да этотъ неподвижный трупъ, эта лужа крови, всасывающаяся постепенно въ песокъ,—нѣсколько намекали на настоящее значеніе этого дикаго сборища.

— Ну, пойдемъ, что же тутъ намъ дѣлать?—сказалъ Сафаръ, обращаясь къ угрюмому узбеку.

— Что же, такъ и оставить его даромъ?—отвѣчалъ тотъ.

— А ты спроси у нихъ: можетъ они тебѣ заплатятъ?

Сафаръ усмѣхнулся.

— Я его зарѣжу,—шепнулъ узбекъ и шагнулъ къ Батогову.—Все легче, чѣмъ такъ, ни за что отдать.

— Оставь, что толку...

— Э, да что тутъ.

— Оставь, бѣды наживешь... не тронь!.. Эй тамъ, береги!..

Узбекъ кинулся къ тюку, сжавъ въ кулакѣ свой ножъ. Предупрежденный крикомъ Сафара, высокій хивинецъ загородилъ ему дорогу.

— Пусти—убью!—крикнулъ узбекъ и сильно толкнулъ хивинца. Онъ былъ въ изступленномъ состояніи и уже не понималъ, что ему не подъ силу борьба, которую онъ затѣялъ. Хивинецъ схватилъ его за горло, взвылъ и запрокинулся: онъ

почувствовалъ, какъ въ его кишки вползъ кривой ножъ противника. У узбека захрустѣло горло, раздавленное судорожно сжатыми пальцами хивинца.

Сафаръ махнулъ рукою, взялъ за узду свою лошадь и пошелъ. За нимъ тронулись и остальные два барантача его шайки.

Ихъ никто не задерживалъ. На нихъ никто не обращалъ вниманія.

Изъ всѣхъ тюковъ разграбленнаго каравана составили только шесть верблюжьихъ вьюковъ, четырехъ верблюдовъ оставили караванъ-башу и его работникамъ, уступивъ его просьбѣ, остальныхъ гнали кучей порожнякомъ. Всадники ѣхали въ разбродъ, гдѣ попало, только человѣкъ пять изъ нихъ составляли настоящій конвой около своей добычи.

Съ далекаго бархана, наискосокъ тому направленію, которое приняли разбойники, спустился джигитъ о дву-конь и ѣхалъ небольшой рысцою, повидимому совершенно равнодушно относясь къ приближавшемуся съ каждымъ шагомъ сборищу.

Онъ уже поровнялся съ крайними всадниками: тѣ поглядѣли на него,—онъ на нихъ, и поѣхали рядомъ. Подъѣхалъ къ нему человѣкъ въ большой чалмѣ... Джигитъ произнесъ обычное «аманъ» (будь здоровъ) и приложилъ руку ко лбу и сердцу.

— Счастливая дорога,—произнесъ человѣкъ въ бѣлой чалмѣ.

— Да будетъ и надъ вами милость пророка, — отвѣчалъ джигитъ.

— Ты что за человѣкъ?..

— Такой же, какъ и вы.

— Куда твои глаза смотрятъ? (вопросъ, равносильный вопросу: куда теперь ѣдешь?)

— Туда же, куда и ваши.

— Откуда?

— Бѣжалъ изъ-за Дарьи отъ русскихъ.

Джигитъ о дву-конь зналъ, что его оружіе и русское сѣдло на Орликѣ могутъ возбудить подозрѣніе въ барантачахъ, и своимъ отвѣтомъ предупредилъ нескромные разспросы. Разговаривая съ бѣлою чалмою, онъ все ближе и ближе подбирался къ Батогову, который ѣхалъ все на томъ же верблюдѣ, и наконецъ, сталъ совершенно съ нимъ рядомъ.

Озадаченные, радостные глаза плѣнника перебѣгали то съ

Орлика на Юсупа, то съ Юсупа на Орлика. Ему хотѣлось заговорить съ своимъ джигитомъ, хотѣлось разспросить его о многомъ, хотѣлось обнять его, хотѣлось вырваться изъ своего тѣснаго гнѣзда, но языкъ не поворачивался, мысль не складывалась въ опредѣленную фразу, порывъ радости, при такой неожиданной встрѣчѣ, парализовалъ физическія силы. Только одни глаза говорили, но густая тѣнь нависшаго конца закопченой кошмы скрывала этотъ краснорѣчивый взглядъ, который если бы былъ замѣченъ бандитами, могъ бы много повредить его вѣрному Юсупкѣ.

— Ты меня не знай, я тебя не знай, хорошо будетъ, протянулъ, словно пропѣлъ Юсупъ, глядя въ противоположную сторону.

— Ты тамъ по-русски пѣть научился,—замѣтила бѣлая чалма.

— Поживи съ этими собаками, не тому еще научишься,— отвѣчалъ Юсупъ.

— У тебя тапанча [1]) хорошій,—сказалъ начальникъ, указывая на револьверъ за поясомъ Юсупа.

Жаль было джигиту разставаться съ оружіемъ, да дѣлать было нечего. Надо было напередъ расположить къ себѣ бѣлую чалму, и Юсупъ не упустилъ случая задобрить начальника банды.

— Шесть разъ стрѣлятъ; вотъ и пули къ нему, совсѣмъ готовыя.

Онъ отстегнулъ поясъ съ револьверомъ.

— Я такой у самого Садыка видѣлъ,—замѣтилъ начальникъ, со вниманіемъ разсматривая оружіе. Нѣсколько человѣкъ подъѣхали къ нимъ, тоже подстрекаемые любопытствомъ.

Человѣкъ въ бѣлой чалмѣ снялъ съ себя верхній поясъ, украшенный двумя большими серебряными бляхами и какимъ-то свѣтло-синимъ камнемъ, и протянулъ его Юсупу. Тотъ почтительно поднесъ подарокъ къ глазамъ, къ губамъ и къ сердцу и тотчасъ же надѣлъ на себя.

Помѣнявшись подарками, Юсупъ перевелъ духъ: онъ теперь совершенно успокоился и зналъ, что ему уже нечего опасаться никакихъ случайностей, болѣе или менѣе непріятныхъ. Дружба его съ бѣлою чалмою была упрочена.

---

[1]) Тапанча—пистолетъ.

— А мы одну собаку съ собою веземъ, — сказалъ начальникъ.

— Этого, что-ли?

Юсупъ небрежно кивнулъ на Батогова.

— Только не знаемъ, что за человѣкъ,—стоитъ-ли съ нимъ возиться? Можетъ, дрянь какая-нибудь: простой сарбазъ...

— Я погляжу па ночлегѣ,—важно произнесъ Юсупъ;— я къ этимъ свиньямъ приглядѣлся таки, и скажу вамъ, на какую онъ цѣну.

— Такъ-то бы лучше,—отвѣчалъ человѣкъ въ бѣлой чалмѣ, прилаживая у себя на боку диковинное оружіе.

Верблюды, навьюченные вдвое легче, чѣмъ они были навьючены прежде, шли скоро, въ перевалку, и всадники рысили... Шайка подвигалась быстро, и все на юго-западъ, оставляя за собою синѣющіе холмы, окружавшіе заровшанскую долину.

— Въ степи погнали,—думалъ Батоговъ.—Да теперь хоть на край свѣта. Вдвоемъ съ Юсупомъ мы что-нибудь да придумаемъ.

Близость человѣка, расположеннаго къ нему дружески, человѣка, на все для него готоваго, успокоительно дѣйствовала на плѣнника. Надежда на избавленіе воскресла. Ему казалось, что это избавленіе близко.

VIII.

Лагерь на Аму-Дарьѣ.

Знойный, удушливый день. Въ воздухѣ никакого движенія. Ни одного облачка не скользитъ по небу, которое давно уже утратило свой весенній, темно-голубой цвѣтъ и, раскаленное, сѣрое, постепенно сливаясь съ горизонтомъ, пышетъ на землю тяжелымъ, разслабляющимъ жаромъ.

Желтые, песчаные барханы тянутся непрерывными грядами, какъ-будто наваливаются одинъ на другой, и незамѣтно исчезаютъ, сливаясь въ знойномъ туманѣ.

Тощая растительность, бурая, какъ верблюжья шерсть, клочками выбивается изъ-подъ зыбкаго песка; въ корняхъ еще есть замирающій остатокъ жизни, но давно уже погибли наружные отпрыски, обкусанные неприхотливыми верблюдами, сожженные лѣтнимъ солнцемъ.

Широкою бѣлою лентою стелется Аму-Дарья, эта мертвая рѣка далекаго неизвѣданнаго міра. Только куски камыша и бѣловатые пузыри грязной пѣны, быстро скользя вдоль береговъ, указываютъ на движеніе этой, съ виду неподвижной массы.

Не шелохнутся мягкія метелки пожелтѣвшихъ камышей, густыми чащами покрывшихъ плоскіе берега. Надъ гладкою водною поверхностью не носятся рѣчныя чайки, давно уже отлетѣвшія къ верховьямъ. Даже миріады комаровъ не шумятъ, какъ будто боясь нарушить общую тишину, и дымчатыми колоннами неподвижно стоятъ надъ водою.

Въ пескахъ шныряютъ плоскоголовыя ящерицы, но тоже безъ шума, воровски, прячась то подъ корнями колючки, то въ глубокомъ, широко-расползшемся двойномъ верблюжьемъ слѣду.

Все тихо и мертво.

А между тѣмъ тысячи живыхъ существъ раскинулись по берегу громаднымъ лагеремъ.

Съ береговъ Мургаба, отъ Мерва, отъ заливовъ Каспійскаго моря, изъ окрестностей Хивы и песковъ Кызылъ-Кума собрались полудикіе кочевники. Не мирная перекочевка пригнала ихъ къ бухарскому берегу Аму, а въ просторно раскинутыхъ ставкахъ, занявшихъ, насколько хваталъ глазъ, низменный берегъ, не было ничего похожаго на мирные степные аулы.

Грабежъ и ловля въ мутной водѣ рыбы—вотъ была цѣль этого сборища.

Смутное время стояло надъ бухарскимъ ханствомъ. Для завистливаго глаза русскихъ мало ихъ необъятнаго царства; они ворвались въ самое сердце средней Азіи, заняли Самаркандъ, прошли въ Ката-Курганъ и во всѣ стороны разослали свои отряды. Мозофаръ не хотѣлъ этой войны: онъ зналъ заранѣе гибельныя для него послѣдствія ея, но его втянули въ нее фанатики-муллы, которые пылкими рѣчами разожгли легко увлекавшійся народъ, и народъ потребовалъ битвы.

Русскихъ мало; кое-гдѣ между милліонами пестрыхъ мусульманскихъ головъ бѣлѣютъ ихъ небольшія группы; долго-ли раздавить эту горсть? Эта видимая возможность, даже легкость побѣды такъ и тянетъ, такъ и подмываетъ къ бою: но тяжело бороться палкѣ противъ оружія, которое бьетъ уже тогда, когда напряженный глазъ не можетъ еще различить вдали приближающагося врага. А крамолы у мусульманъ, а личные

ихъ счеты, а недовѣріе ихъ другъ къ другу, а желаніе подкопаться одному подъ другого — все это надежные союзники малочисленныхъ русскихъ, болѣе надежные, чѣмъ даже ихъ далеко-бьющія ружья.

Тамъ, изъ-за горъ, грозитъ Шегри-Сябзь съ своими вассалами; врагъ русскихъ, онъ также врагъ Мозофара.

Сынъ поднялся на отца и ищетъ поддержки въ народныхъ массахъ, недовольныхъ цѣлымъ рядомъ военныхъ неудачъ, потерявшихъ довѣріе къ самому правителю и видящихъ въ новомъ лицѣ надежду на новую, лучшую будущность.

Окрестные беки волнуются, не зная, чьей стороны держаться. Въ поляхъ остановилась работа, прекратилась и недвигаются караваны, боясь дорогъ, на которыхъ кишатъ необузданные разбои.

Вотъ эти-то событія и притянули съ разныхъ концовъ необъятныхъ степей неуловимыя, какъ степной ураганъ, разноплеменныя шайки барантачей, видящихъ въ грабежахъ и разбояхъ единственный исходъ своей дикой удали, единственную цѣль своего существованія.

Длинная песчаная коса крутымъ угломъ поворачивала противъ теченія и узкою полосою далеко тянулась вдоль берега. Съ другой стороны тоже тянулась широкая отмель. Отдѣльныя группы камыша забрались чуть не до половины рѣки, и даже посрединѣ она была свѣтло-желтаго цвѣта отъ сквозившаго песчанаго дна. Здѣсь былъ конный бродъ черезъ Аму-Дарью, которымъ можно было пользоваться большую часть года. Иногда только самая линія брода измѣняетъ свое направленіе, зыбкое дно двигается: оно то изгибается въ видѣ буквы S, то прямо направляется на густыя заросли противоположнаго берега, то на четверть версты тянется вдоль рѣки, а потомъ вдругъ круто поворачиваетъ на другую сторону,

Кочевники знаютъ прихоти этого брода да и съ берега хорошо можно различить подводную дорогу по цвѣту самой воды и по гладкости ея поверхности.

По косѣ, сквозь густой береговой камышъ, трудно было разсмотрѣть тонкія, прямыя черточки, на концахъ которыхъ висѣли пучки конскихъ волосъ: это были длинныя линіи воткнутыхъ тупымъ концомъ въ землю туркменскихъ пикъ. Издали онѣ казались высокими, одинокими стеблями камыша, а волосяныя навязки—его цвѣтовыми метелками.

Около пикъ на желѣзныхъ приколахъ стояли, понуривъ сухія, маленькія головки, высокіе, длинноногіе кони, покрытые, несмотря на страшную жару, теплыми ковровыми попонами. Это все были жеребцы, при каждомъ приближеніи чужого человѣка они жались и злобно прижимали свои красивыя уши. Они стояли просторно; нѣкоторые, кромѣ поводьевъ, привязаны были за щиколодку ноги тонкой волосяной веревкой.

Хозяева молча сидѣли въ кружкахъ около самой воды; неподалеку тлѣли большія кучи золы, у которыхъ шипѣли высокіе мѣдные чайники.

Почти никто не разговаривалъ. Изъ-подъ широкополыхъ, остроконечныхъ шляпъ изъ бѣлаго войлока едва замѣтны были смуглыя, скуластыя лица съ жидкими черными бородами. Большой тыквенный кальянъ съ желѣзною сѣткою и большимъ камышевымъ чубукомъ храпѣлъ и испускалъ густые клубы бѣлаго дыма, переходя изъ рукъ въ руки.

Изорванные, когда-то цвѣтные халаты у многихъ были спущены съ плечъ и драпировались у пояса, засунутые въ широкія кожаныя шаровары, вышитыя сплошь яркими шелковыми узорами. На поясахъ гремѣли, при всякомъ движеніи, навѣшанные на тоненькихъ ремешкахъ кремень, огниво, тонкій ножъ въ чехлѣ (ножакъ), квадратный кошелекъ для денегъ и нюхательнаго табаку и другія мелочи.

Оружіе и уздечки, богато отдѣланныя серебромъ съ бирюзою, висѣли на копьяхъ. Кое-гдѣ виднѣлись круглые щиты, выкрашенные синею краскою и отдѣланные золотыми монетами.

Это были черные туркмены изъ окрестностей Мерва. Лагерь ихъ стоялъ особнякомъ отъ прочихъ. Угрюмые по характеру, они не любятъ якшаться съ другими. Они не любятъ даже веселья, и къ вечеру, когда уймется жгучая жара, свободно вздохнетъ прохладнымъ воздухомъ все живое, у нихъ такъ-же тихо и угрюмо въ лагерѣ: не брякнетъ саазъ [1]), не загудитъ натянутая кожа, разукрашенная цвѣтными кистями бубна.

Убійцы для убійства, они въ то же время очень разборчивы въ грабежѣ.

Разметался по степи разграбленный караванъ. Караванъ-

---

[1]) Саазъ—круглая, дынеобразная балалайка съ длиннымъ, тонкимъ грифомъ и четырьмя струнами.

башъ конвульсивно ворочается на пескѣ съ перерѣзаннымъ горломъ. Тѣ изъ проводниковъ, которые сдались безъ сопротивленія, сидятъ въ одну линію на корточкахъ, связанные по рукамъ сзади своими-же чалмами. Всадники, сверкая кольчугами и оружіемъ, сбиваютъ въ кучи перепуганныхъ, разбѣжавшихся между песчаными буграми верблюдовъ. Кара-тюркмены рыщутъ между сброшенными на землю вьюками. Все разбито, разбросано и валяется въ безпорядочныхъ кучахъ. Выбирается только самое цѣнное. Все-же остальное бросается на произволъ судьбы. Впрочемъ, лошади и верблюды угоняются всѣ безъ разбора.

Кара-тюркмены отважны до самозабвенія. Ихъ сила въ этой безумной отвагѣ.

Случалось, что караванъ, въ которомъ было до сорока и болѣе проводниковъ, отдавался безъ боя пяти-шести страшнымъ наѣздникамъ, съ пронзительнымъ свистомъ налетавшимъ изъ-за поросшихъ саксауломъ барханов.

Подъ Зара-Булакомъ два черныхъ тюркмена изрубили нашихъ раненыхъ въ четырехъ шагахъ отъ батальона. Они поодиночкѣ подскакивали къ самому фронту и часто ударомъ штыка отбивалась тонкая, гибкая, какъ хлыстъ, бамбуковая пика.

Мозофаръ, начиная войну съ нами, посылалъ имъ всегда почетныя приглашенія, называя ихъ «любимымъ войскомъ великаго пророка» [1]).

Немного подальше отъ воды раскинулись киргизы, подвластные хивинскому хану. Нѣкоторые пришли даже съ своими семьями.

Между сдѣланными на-скоро тростниковыми шалашами виднѣются двѣ или три желомейки, покрытыя черными, прокопченными дымомъ кошмами. Слышенъ плачъ ребенка и женскіе голоса.

Тѣсною кучею лежатъ полусонные верблюды, лѣниво протянувъ на пескѣ свои косматыя запачканныя зеленоватою пѣною морды. Неуклюжія сѣдла и изодранныя кошемныя попоны никогда съ нихъ не снимаются. Спины подъ этими сѣдлами покрыты кровавыми ссадинами, и бѣдное животное тяжело стонетъ и пронзительно реветъ при каждой нагрузкѣ.

---

[1]) Посланія эмира къ аму-дарьинскимъ верхнимъ кочевымъ племенамъ, найденныя при занятіи города Карши нашими войсками въ 1868 году.

Малорослыя стреноженныя ремнями лошади бродятъ по близости, скусывая жалкіе остатки сгорѣвшей отъ солнца степной флоры. Большая половина лошадей тоже подъ сѣдлами.

Едва дымятся тамъ и сямъ разложенные костры; съ плоскихъ котловъ сбѣгаетъ бѣловатая пѣна и шипитъ, сползая по чугуннымъ ножкамъ треноги. Здѣсь варится баранья похлебка (шурпа).

На свѣже-содраной шкурѣ два широкоплечихъ киргиза потрошатъ только-что зарѣзанную овцу. Красная, подернутая жиромъ туша дымится.

Большинство спитъ въ шалашахъ, изъ-подъ которыхъ виднѣются ноги, обутыя въ желтые и зеленые сапоги съ острыми, обитыми желѣзомъ каблуками.

Въ тѣни отъ желомейки сидитъ еще не старая, смуглая, какъ дубленая кожа, киргизка, съ необыкновенно развитыми грудями, и чинитъ кожаныя панталоны; толстая, изогнутая игла проворно шевелится въ костлявыхъ пальцахъ. Два совершенно голыхъ ребенка, съ отвислыми животами и полуобритыми головками, общими усиліями гложутъ большую кость, повидимому, конскую.

Гдѣ-то по близости пахнетъ падалью.

Тощія, поджарыя борзыя собаки, пождавъ хвостъ и опустивъ свои острыя морды, высунувъ отъ жара языки, уныло бродятъ по лагерю.

На самомъ припекѣ, покрытый съ головою сѣрою кошмою, стонетъ кто-то, ежась и всхлипывая: это—киргизъ, котораго вчера раздавило упавшимъ верблюдомъ. Это одинъ изъ употребительнѣйшихъ способовъ леченія: больныхъ кладутъ на солнце и покрываютъ кошмами, гдѣ они потѣютъ, пока не отправятся къ предкамъ.

Собственно говоря, законъ Магомета воспрещаетъ присутствіе женщинъ въ военномъ лагерѣ; исключеніе допускается только для плѣнницъ. Но... гдѣ мы не встрѣчаемъ этого удивительно растяжимаго «но»? А вообще киргизы считаются не совсѣмъ хорошими мусульманами.

Раздвигая камышъ, показалась атлетическая фигура: она едва движется, тяжело ступая по солончаку босыми ногами; большой кожаный турсукъ, въ нѣсколько ведеръ объема, нагнулъ ей широкую спину; черезъ лобъ перетянутъ ремень, а на лбу крупною сѣткою вздулись багровыя жилы. Черная,

густая, вьющаяся, какъ барашекъ, борода доходитъ до половины груди, грязный потъ струится по обнаженному тѣлу. Это рабъ—шіитъ.

У самой желомейки онъ снялъ тяжелую ношу, тихонько опустилъ онъ ее на землю, а иначе можетъ лопнуть тонкая козлиная шкура—и тогда на бѣдную спину посыпется градъ ременныхъ нагаекъ.

Давно уже оторванъ онъ отъ далекой родины, онъ даже почти забылъ ее. Отъ своихъ хозяевъ онъ слышалъ впродолженіе тридцати лѣтъ одни только понуканія. Впрочемъ, его кормили почти ежедневно. Онъ уже совсѣмъ привыкъ къ этому и кажется ему, что иначе быть не можетъ. Никакой протестъ тутъ немыслимъ. Вѣдь онъ съ виду только человѣкъ, а на дѣлѣ онъ только вьючное животное. Жаль, что онъ не научился ржать, а упорно помнитъ свой звучный персидскій языкъ и даже выучилъ дикія нарѣчія своихъ хозяевъ. Вѣдь вотъ несообразность!

Раздался пронзительный крикъ: тюркменъ-чодоръ пырнулъ своимъ изогнутымъ ножомъ въ бокъ какого-то хивинца. Раненый съ крикомъ присѣлъ на землю и корчится, кровь брызнула сквозь прижатые пальцы. Его обступило нѣсколько товарищей по роду. Полное равнодушіе на ихъ плоскихъ, скуластыхъ, желтыхъ, какъ охра, лицахъ. Они собрались потому, что все-таки новость, хоть какое-нибудь развлеченіе.

Чодоръ обтеръ свой ножъ, оправилъ свое узорное сѣдло, съ острою, какъ шпилька, передней лукою, и садится на горбоносаго степняка. Одинъ изъ хивинцевъ поддержалъ ему стремя.

Можетъ-ли быть какой-нибудь судъ или разбирательство, когда всякій имѣетъ полное право самъ постоять за себя? Постороннее вмѣшательство въ этомъ случаѣ совершенно лишнее, да и кому какое дѣло до частныхъ «*недоразумѣній*»?

Въ лагерѣ, между прочимъ, были и бѣглые сарбазы [1]) бухарскаго эмира. Вольную хотя и исполненную лишеній жизнь они предпочли *коронной службѣ* у бухарскаго владыки, а при постоянныхъ пораженіяхъ, которыя терпѣли бухарскія войска

---

[1]) Сарбазъ — регулярный солдатъ, пѣхотинецъ по оружію. Преимущество имѣть постоянное регулярное войско остается за эмиромъ; и только очень немногіе изъ бековъ позволяютъ себѣ эту роскошь, и то въ очень ограниченномъ размѣрѣ.

такъ много представлялось случаевъ къ бѣгству, почти невозможному въ мирное время.

Вотъ, на разостланной узорной кошемкѣ сидятъ двое изъ этихъ сарбазовъ. На нихъ суконныя красныя куртки со стоячими широкими синими воротниками и обшлагами того-же цвѣта; они не бросили еще своего регулярнаго платья, да и какъ бросить, когда подъ куртками только своя собственная кожа! Они ѣдятъ изрѣзанную ломтиками дыню и запиваютъ чаемъ изъ одной маленькой, зеленой чашечки; тутъ-же стоитъ мѣдный кунганчикъ, закоптѣлый снизу.

Худая, изморенная до нельзя лошадь, одна на двухъ, стоитъ, понуря свою лысую голову; на сбитомъ, гноящемся крестцѣ роятся зеленыя мухи.

Много еще разнаго народа стоитъ на берегу. Далеко сквозь камыши виднѣются то люди, то лошади, то длинная верблюжья шея; даже на той сторонѣ Аму поднимаются высокіе столбы чернаго дыма, ясно говорящіе о присутствіи человѣка на этихъ въ обыкновенное время мертвыхъ, безжизненныхъ берегахъ.

Зной дня приходилъ къ концу. Багровый шаръ спустился къ горизонту. Спокойная поверхность Аму-Дарьи вспыхнула краснымъ заревомъ. Вся степь стала гораздо рельефнѣе: каждый барханъ, каждая незначительная возвышенность бросали отъ себя длинныя, синеватыя тѣни; размытыя водой трещины рѣзко обозначались на солонцеватой почвѣ; стебли камыша и его пушистыя метелки горѣли, какъ вызолоченные. Лошади, верблюды, сами владѣльцы ихъ какъ-то ожили. Воздухъ наполнялся всевозможными звуками.

Все, казавшееся мертвымъ, оживила вечерняя прохлада.

На пологомъ возвышеніи разостланы большіе, пестрые и полосатые ковры. Вокругъ тѣсно усѣлось многочисленное общество; тѣ, кому не удалось попасть въ первый рядъ, сидятъ сзади, глядя черезъ плечи переднихъ; остальные стоятъ позади, не спуская глазъ съ центра круга.

Тамъ стоитъ ребенокъ...

Ребенокъ-ли это? Большіе черные глаза смотрятъ слишкомъ выразительно; въ нихъ видно что-то далеко не дѣтское: нахальство и заискиваніе, чуть не царская гордость и собачье униженіе скользятъ и смѣняются въ этомъ пристальномъ взглядѣ. Это глаза тигренка, но въ то же время и публичной

женщины. Красиво очерченный ротъ улыбается, показывая яркіе бѣлые зубы. На этомъ ребенкѣ одна только, доходящая до земли, красная рубашка; ноги и руки до локтей обнажены. Онъ стоитъ совершенно неподвижно, опустивъ руки вдоль корпуса; изъ-подъ вышитой золотомъ красной шапочки спускаются почти до колѣнъ длинныя, черныя косы, скрашенныя золотыми погремушками и граненымъ стекломъ.

Заходящее солнце облило его краснымъ свѣтомъ, и вся фигура кажется огненною.

Этотъ ребенокъ—*батча*. Имя ему—*Суффи*. Это имя извѣстно за нѣсколько сотъ верстъ въ окружности.

Въ переднемъ углу, немного выдвинувшись впередъ, сидѣли четыре музыканта. Передъ ними стояли два чугунныхъ горшка, на которыхъ натянуты были бычачьи пузыри. Музыкантъ билъ по нимъ тонкими длинными палочками; это слегка напоминало наши литавры. У двоихъ были мѣдные рожки съ дырочками на кронахъ, по которымъ перебирали пальцами; эти рожки издавали рѣзкій, надтреснутый звукъ и, казалось, очень нравились слушателямъ. Трубачами оказались тѣ самые два сарбаза, о которыхъ мы уже говорили. Затѣмъ у четвертаго музыканта въ рукахъ былъ большой бубенъ, весь обвѣшанный цвѣтными лоскутками и крошечными металлическими бубенчиками.

Музыканты разомъ ударили въ свои инструменты. Суффи встрепенулся и медленно, какъ будто скользя, пошелъ по кругу.

Мотивъ пляски состоялъ изъ одного музыкальнаго такта, повторявшагося безконечное число разъ; иногда темпъ ускорялся, иногда замедлялся, и слышны были только мѣрные удары въ бубенъ и глухая дробь котловъ. Потомъ вдругъ раздался оглушительный ревъ рожковъ, которому вторили грубые голоса самихъ музыкантовъ.

Сначала танецъ заключался въ плавномъ движеніи рукъ и головы: босыя, стройныя ноги едва ступали по мягкимъ коврамъ; потомъ движенія стали все быстрѣе и быстрѣе, кругъ уменьшался спирально, и наконецъ, Суффи снова очутился въ центрѣ. Музыка затихла. Суффи, не сдвигая съ мѣста ногъ, сдѣлалъ всѣмъ корпусомъ полный оборотъ и, вдругъ перегнулся назадъ, почти касаясь земли своею головою. Все тѣло изогнулось дугою; черныя косы разсыпались по коврамъ; всѣ изгибы

груди, живота и бедеръ рѣзко обозначались сквозь тонкую ткань рубашки.

Вся толпа оглушительно заревѣла. Музыканты грянули дикую ерунду. Суффи медленно приподнялся и, слегка покачиваясь, отирая потъ рукавомъ, медленно вышелъ изъ круга. Когда онъ проходилъ сквозь толпу, на него со всѣхъ сторонъ сыпались самые цвѣтистые комплименты; десятки рукъ хватались за него, его руки ловили на ходу и цѣловали ихъ; цѣловали даже полы его рубашки.

Въ сторонѣ лежалъ небольшой коврикъ, на который и сѣлъ отдыхать торжествующій батча, едва переводя духъ и снявъ свои накладныя косы.

Усталаго плясуна смѣнили двое другихъ, звѣзды значительно меньшей величины. Потомъ Суффи снова появился на аренѣ, и снова раздались оглушительные крики восторженныхъ зрителей.

Когда совершенно стемнѣло, громадные костры изъ камыша, разложенные въ разныхъ мѣстахъ, вспыхнули высокими огненными столбами и освѣтили все вокругъ себя мерцающимъ пожарнымъ свѣтомъ. Быстро сгорѣлъ высохшій камышъ, пламя опадало, на нѣсколько мгновеній становилось темно, и потомъ все озарялось отъ подкинутыхъ на огонь свѣжихъ вязанокъ.

На темномъ небѣ высыпали миріады звѣздъ. Надъ рѣкою поднялся жидкій, словно кисель, туманъ. На водѣ расходились большіе круги, слышались звучные всплески: какія-то большія рыбы подходили къ самому берегу, привлеченныя яркимъ свѣтомъ разложенныхъ костровъ.

Вездѣ было шумно и, какъ кажется, весело, только на песчаной косѣ, гдѣ стояли кара-тюркмены, было по прежнему тихо: едва мерцали небольшіе огоньки, фыркали и жевали ячмень гордые жеребцы, и медленно двигались человѣческія тѣни.

Долго еще не утихало въ лагерѣ. Днемъ успѣли всѣ выспаться и пользовались прохладою ночи. Только къ разсвѣту заснули самые неугомонные и затихло уснувшее прибрежье.

Гайнула, хивинецъ, подложилъ себѣ подъ голову пукъ камышевыхъ стеблей, случайно не попавшихъ въ костеръ; въ этомъ пукѣ вдругъ что-то зашуршало и сильно завозилось,

отчего Гайнула проснулся и вышвырнулъ изъ-подъ головы безпокойный пучекъ.

Маленькая головка отдѣлилась отъ камышеваго снопа, длинное тонкое тѣло извилось спиралью, быстро поползло дальше и скрылось подъ сѣдло, валявшееся по близости.

— Ишь ты, змѣя,—подумалъ Гайнула и вдругъ показалось ему, что изъ степи словно донеслось далекое ржанье.

— Эй, Бабаджакъ!—крикнулъ хивинецъ сосѣду.

— Эге,—отозвался Бабаджакъ, не поднимая головы и лежа въ растяжку.

Яснѣе послышалось ржаніе коня, да и не одного. Вотъ протяжно заревѣлъ верблюдъ, другой, третій. Далеко, но все ближе и ближе раздавались эти звуки: усталыя, измученныя продолжительной жаждой животныя, видно, прибавили ходу, почуявъ близость воды, и ревомъ выражали свое удовольствіе. Вотъ и человѣкъ гикнулъ: пронзительный свистъ прорѣзался уже совсѣмъ близко.

— А вѣдь это наши, — сказалъ Гайнула Бабаджаку.

— Наши,—отвѣчалъ Бабаджакъ.—Это Кулдашъ свиститъ.

Оба хивинца встали, подтянули пояса и пошли навстрѣчу приближавшимся нашимъ.

— Эй! какого тамъ дьявола по ночамъ носитъ?—кричитъ кто-то, едва успѣвъ подобрать свои босыя ноги изъ-подъ копытъ наѣхавшаго коня.

— Осторожнѣй: видишь, человѣкъ лежитъ!—кричитъ другой.

— Заспались, кобыльи подхвостники [1]),—произнесъ всадникъ, пробираясь между спящими.

Мало-по-малу прибываютъ всадники, ѣхавшіе вразбродъ, поодиночкѣ. Вотъ на свѣтломъ фонѣ утренняго тумана приближаются сбитые въ кучу верблюды... Гдѣ-то костеръ раскладываютъ... Еще въ нѣсколькихъ мѣстахъ вспыхиваютъ яркіе огни. Растетъ и растетъ свѣтлая полоса на востокѣ...

— А Урумбай гдѣ?—спрашиваетъ Гайнула у одного изъ прибывшихъ.

— Зарѣзали твоего Урумбая.

— Ишь ты, собака, а лошадь его гдѣ?

---

[1]) Буквальный переводъ брани, считающейся у кочевниковъ выраженіемъ крайняго презрѣнія.

— Лошадь съ собою привели. А тебѣ что?

— Да онъ мнѣ сорокъ кокановъ долженъ...

— Это кто съ вами?—спрашиваетъ батча Суффи, подъѣзжая верхомъ на красивой лошадкѣ.

— Гдѣ?..

— А вотъ, я видѣлъ, лошадей проваживаетъ: одна лошадь изъ-подъ русскаго, должно быть?

— Это джигитъ-батырь; отъ русскихъ изъ-за Дарьи бѣжалъ.

— То-то я его прежде никогда не видалъ,—заключаетъ Бабаджакъ, приглядываясь сквозь дымъ костра къ Юсупу, тихонько и совершенно спокойно проваживающему своихъ коней. Казалось, что ему положительно ни до чего не было дѣла: онъ былъ самъ по себѣ; онъ пріѣхалъ какъ будто-бы къ себѣ домой; онъ только случайно держался по близости того верблюда, съ котораго снимали Батогова. Онъ говорилъ ближайшему джигиту:

— И что такое особеннаго въ этихъ русскихъ?.. Ишь какъ окружили, словно какую невидаль. Я довольно-таки наглядѣлся на эту дрянь.

— Ну, а другому и разу не пришлось видѣть,—резонно отвѣчалъ джигитъ.

— Да, кто любитъ сидѣть подъ кошмою, у себя въ кибиткѣ, тому, кромѣ своей бабы, ничего не видѣть.

— Какія новости?—спрашивалъ одинъ изъ прибывшихъ старика въ кольчугѣ, сѣдлавшаго лошадь.

— Да что, пока ничего не разберешь.

— Изъ Бухары не присылали?

— Присылали, да что толку: развѣ съ нашими сговоришь? Если-бы Садыкъ былъ съ ними, ну, тогда дѣло другое, а то каждый врозь.

— Вотъ нашъ подберетъ ихъ.

Джигитъ кивнулъ на бѣлую чалму, мелькнувшую вблизи.

— Кто... Аллаяръ-то?.. Не такого нужно...

— Кто хочетъ къ Казалѣ идти, кто къ Заравшану... Тюркмены сегодня хотѣли уйти, да у нихъ что-то тихо, тамъ, на косѣ-то.

Подошло еще человѣкъ пять: азіаты очень любятъ разговоры о политикѣ.

— Старикъ Османъ говорилъ, чтобы пока не смѣть русскихъ за Дарьей тревожить,—сообщилъ киргизъ изъ одаевцевъ.

— Кому это говорилъ Османъ?

— Кому? всѣмъ, когда уходилъ къ Каршамъ. Онъ-же еще говорилъ хивинскимъ: вы, молъ, если у васъ ужъ очень руки чешутся, у бухарцевъ по кишлакамъ пограбьте...

— Тоже добру училъ твой Османъ:—у своихъ грабить!

— Какіе-же они свои?

— Правовѣрные...

— А намъ чѣмъ жить-то?.. Вотъ весь прошедшій годъ у Мозофара служили, сколько народу у насъ перебили русскіе, а что получили?.. Наобѣщалъ горы, а не далъ ни чеки [1]).

— Ну, у васъ-то немного попало подъ русскія пули, тоже осторожность наблюдаете: близко-то не любите подъѣзжать.

— А подъ Зара-булакомъ?..

— То не вы, а тюркмены.

— Мы тоже съ ними были.

— Далеко ишаку до жеребца.

Два киргиза съ трудомъ волокли на веревкѣ большого сома, аршина въ два съ половиною; мокрое, лоснящееся тѣло громадной рыбы оставляло на пескѣ широкую полосу.

— Гдѣ вытащили?

— А тамъ за косою. Всю ночь сторожили крючья. Два раза срывался, отвѣчали рыболовы, едва переводя духъ.

Нѣсколько человѣкъ возились съ лошадью, у которой одну ногу раздуло, какъ бревно, и животное понурило голову и смотрѣло неподвижно мутными отъ боли глазами; изъ ноздрей тянулась зеленая матерія.

— Должно быть, змѣя укусила?

— Змѣя.

— Ну, сдохнетъ.

— Тамъ, на косѣ какихъ два жеребца вчера околѣло!

— Эй, сбирайся всѣ къ зеленой кибиткѣ: Аллаяръ говорить будетъ!—кричало по лагерю нѣсколько голосовъ.

Толпа хлынула въ ту сторону, гдѣ за верблюдами, уложенными въ ряды, виднѣлась верхушка зеленой азіатской палатки. Тамъ слышались литавры и рожекъ; маленькая мѣдная флейточка наигрывала бойкія трели.

---

[1]) Чека — мелкая мѣдная монета въ одну треть нашей копѣйки.

Когда взошло солнце, все было уже на ногахъ и на своемъ мѣстѣ; только на косѣ уже не видно было угрюмыхъ тюркменовъ. Кучки холодной золы, конскій пометъ и остатки корма пестрѣли на влажномъ отъ утренней росы пескѣ. Всадниковъ какъ-будто и не существовало.

Къ вечеру два пріѣхавшихъ въ лагерь киргиза говорили, что передъ восходомъ солнца они встрѣтили черныхъ тюркменовъ въ десяти ташахъ (восьмидесяти верстахъ) отъ береговой стоянки.

Кто угоняется за этими степными орлами, которые на своихъ вѣтрахъ-коняхъ не знаютъ, что такое разстояніе?

Я слышалъ, что передъ началомъ нашихъ войнъ съ Бухарою въ 1868 году партія черныхъ тюркменъ прошла отъ Дерегуша (на персидской границѣ) къ Чарджую (на Аму-Дарьѣ) въ двое сутокъ. Тюркмены шли, конечно, о дву-конь. Да они, впрочемъ, рѣдко ходятъ иначе.

IX.

Суматоха.

Дикій крикъ Юсупа, чужая лошадь, прижавшаяся вплотную, выстрѣлы сзади и гуканье наѣздниковъ придали откормленному, флегматическому по своей натурѣ Бѣльчику и энергіи и силы. Быстро влетѣла эта оригинальная пара на вершину обрыва и, словно сросшаяся, понеслась по дорогѣ къ городу.

Юсупъ успѣлъ только на одно мгновеніе обернуться и взглянуть внизъ; ему показалось, что Батоговъ прорвался изъ этого круга, а значитъ черезъ секунду будетъ внѣ всякой опасности, развѣ пуля догонитъ его Орлика, а ужъ никакъ не эти усталые кони барантачей (Юсупъ, еще въ первую минуту атаки, успѣлъ замѣтить, что лошади непріятеля были значительно изнурены). Это было то мгновеніе, когда Батоговъ, ринувшись на разбойниковъ, пытавшихся заскакать наперерѣзъ Марфѣ Васильевнѣ, опрокинулъ ударомъ своего коня одного изъ нихъ и, казалось, открылъ себѣ этимъ выходъ. Но это только казалось. Печальной развязки свалки подъ карагачами не видѣлъ уже вѣрный джигитъ и занятъ былъ исполненіемъ послѣдняго приказанія своего господина: спасай марджу!

Еще разъ оглянулся назадъ Юсупъ. Далеко позади тянулась

дорога; ничего на ней не было видно; только клубы пыли, поднятые ногами скачущихъ лошадей, расползались по вѣтру и медленно осѣдали на густую темно-зеленую листву тутовыхъ деревьевъ...

— Гдѣ-же тюря? — думалъ джигитъ и тоскливо оглядывался на пустую дорогу.

Марфа Васильевна, блѣдная, испуганная до-нельзя неожиданной развязкой своей утренней прогулки, въ первую минуту забыла обо всемъ: забыла о Батоговѣ, забыла о Брилло, такъ неожиданно и такъ некстати появившемся со своимъ спутникомъ, секундантомъ... Ей чудились только кругомъ страшныя, скуластыя рожи, длинныя пики, ей слышались сзади выстрѣлы и дикіе и яростные вопли, и ревъ преслѣдователей. А между тѣмъ преслѣдованія не было никакого.

Юсупъ схватилъ ее за талію (на всякій случай: «все крѣпче сидѣть будетъ» — думалъ джигитъ). Марфѣ Васильевнѣ показалось, что ее уже срываютъ съ сѣдла. Она взвизгнула и судорожно уцѣпилась за гриву Бѣльчика.

Вдали, много впереди ихъ, бѣлѣлся китель доктора, прежде всѣхъ позаботившагося о своемъ спасеніи.

Навстрѣчу, не спѣша, ѣхалъ всадникъ, повидимому, ничего не знавшій о происшедшемъ. Увидѣвъ бѣглецовъ, онъ остановилъ свою лошадь и озадаченно смотрѣлъ, стараясь сквозь пыль разглядѣть скачущихъ.

Перловичъ былъ у себя на дачѣ эту ночь; онъ сводилъ счеты и писалъ накладныя для отправки своего товара на передовую линію. Захо и другой какой-то купецъ изъ маловажныхъ только что вышли изъ сада и садились на лошадей; они пріѣзжали къ Перловичу посовѣтоваться о какомъ-то особенномъ торговомъ оборотѣ: имъ хотѣлось поприжать туземныхъ купцовъ, учинивъ одинъ изъ *замоскворѣцкихъ фортелей*, и они думали втянуть сюда Перловича, да только тотъ не могъ отвѣтить имъ ничего болѣе или менѣе опредѣленнаго, не потому, чтобы хотѣлъ уклониться отъ предложенія, а просто потому-же, почему у себя въ одной изъ накладныхъ онъ машинально написалъ вмѣсто: для отправки въ Яны-Курганъ — двѣсти коробокъ сардинъ малаго формата; четыре ящика ма-

деры №... и т. д., «вѣдь связала-же судьба съ...» Но тутъ-же спохватился, разорвалъ испорченную накладную и посмотрѣлъ на гостей такими глазами, въ которыхъ самый недогадливый могъ-бы ясно прочитать: «а не пора-ли вамъ по домамъ, гости почтенные? мнѣ теперь совсѣмъ не до торговыхъ оборотовъ и замоскворѣцкихъ фортелей».

— Ты ничего не замѣтилъ? — спрашивалъ Захо своего товарища, тяжело влѣзая на сѣдло и умащиваясь.

— Это насчетъ чаю-то?

— Нѣтъ, не то, а совсѣмъ другое... Мнѣ, вотъ уже второй день кажется, что, судя по нѣкоторымъ признакамъ, Перловичъ или рехнулся, или близокъ къ этому.

— Ну, вотъ!

— Да такъ. У Хмурова тогда: онъ думаетъ, что его не видѣли, а...

— Это подъ окошками-то?

— Да.

— Это дѣйствительно странно. Да вотъ и теперь: чай готовъ, посуда подана; Шарипъ и вина принесъ: потому, немного понатерся уже и знаетъ, что нужно; три часа сидѣли, а онъ и не предложилъ...

— Да ты-бы самъ налилъ.

— Неловко.

— А счетъ-то хмуровскій какъ подмахнулъ.

— Какъ?

— Вверхъ ногами.

— Гмъ, смотри, скоро подмахнетъ гдѣ-нибудь Фердинандъ восьмой—ну, и баста.

— Диковинное дѣло!

Едва только уѣхали купцы, Перловичъ бросилъ свою работу и посмотрѣлъ на часы.

— Половина третьяго, никакъ уже свѣтать начинаетъ,— подумалъ онъ.—Черномазый дьяволенокъ! —произнесъ онъ громко.

— Эге!—отозвался Шарипъ, показываясь до половины въ двери.

— Что тебѣ нужно?

— Тюра звалъ сейчасъ.

Перловичъ махнулъ отрицательно рукой и сталъ наливать себѣ чай въ стаканъ.

— Неужели они его задержали? — думалъ Перловичъ наполовину про себя, наполовину вслухъ:—это было-бы скверно; станутъ допытываться... не хотѣлось-бы...

— Тюра,—началъ опять Шарипъ у дверей.

— А?

— Самоваръ...—показалъ рукою сартъ.

Перловичъ забылъ завернуть кранъ; вода бѣжала на табуретъ, съ него лилась на ковры и по саклѣ распространился бѣловатый паръ.

— Эй, эй!—донесся изъ-за садовой стѣны сиплый дѣтскій крикъ.

Перловичъ быстро вышелъ изъ сакли, сбѣжалъ съ лѣстницы и направился къ калиткѣ.

Маленькая фигурка сидѣла на корточкахъ, какъ разъ у самаго порога, и скалила зубы.

— Отнесъ?—спросилъ его Перловичъ, придержавъ на всякій случай за воротъ.

— Отнесъ.

— Ну что?

— Бить хотѣли, да я убѣжалъ... Акча давай; ты говорилъ, много акча давать будешь...

Перловичу хотѣлось удостовѣриться, дошла-ли его записка, дѣйствительно, по назначенію.

— А какой тюра взялъ у тебя бумагу?—спросилъ онъ.

— Тамъ два тюра былъ: красный и черный; у краснаго голова завязана, черный—Малайку по мордѣ билъ...

Сартенокъ взялся за щеку и началъ жалобно хныкать.

— Акча давай, Малайка спать пойдетъ,—ревѣлъ онъ все громче и громче.

Перловичъ сунулъ ему что-то и выпустилъ воротъ рубашки, за который во время разговора придерживалъ сартенка; тотъ подралъ по дорогѣ, кувыркаясь по временамъ черезъ голову и засунувъ за щеку полученную мелочь.

— Они *его тамъ* накроютъ теперь,—думалъ Перловичъ.

— Тюра спать будетъ?—спрашивалъ его Шарипъ, когда Перловичъ шелъ обратно садомъ.

— Въ шесть часовъ утра...

— Что тюра говоритъ?

— Чѣмъ все это кончится?.. Господи!..

Изумленно глядѣлъ Шарипъ на Перловича, странно ему казалось, — съ кѣмъ разговариваетъ тюра? И зачѣмъ это онъ такъ руками дѣлаетъ?..

— Когда взойдетъ солнце, чуть только вонъ тамъ надъ стѣною покажется,—говорилъ Перловичъ, теперь уже глядя въ упоръ на своего слугу,—лошадь чтобы была готова, слышишь?

— А теперь Шарипъ спать пойдетъ?

— Ступай.

Черезъ минуту Перловичъ, загасивъ фонарь, висѣвшій надъ столомъ, легъ на свою кровать и закрылъ глаза. Прошло часа два не то сна, не то какого-то томительнаго забытья, въ которомъ больная фантазія смѣшивалась съ дѣйствительностью; посторонніе звуки, храпъ Шарипа, шелестъ насѣкомыхъ, паденіе на землю переспѣлыхъ плодовъ и тихое пѣніе погасавшаго самовара, ясно и отчетливо поражали слухъ; только значеніе этихъ звуковъ измѣнялось, и они принимали фантастическое участіе въ болѣзненныхъ грезахъ спавшаго. Яркій свѣтъ озарилъ сперва вершины деревьевъ, потомъ зубчатую вершину стѣнъ, легъ полосою на плоской крышѣ и свѣтлымъ лучомъ проникъ во внутренность сакли. Перловичъ проснулся.

Часы показывали пять. Пора было ѣхать. Шарипъ за стѣною шаркалъ скребницей, отскабливая отъ шерсти чалаго присохшую грязь.

— Куда это онъ такъ рано?—разсуждалъ Шарипъ, придерживая стремя, пока Перловичъ садился.

— Нагайку подай! Собаку держи, чтобы за мной не убѣжала.

Шарипъ прихватилъ за ошейникъ желтаго сетера, который началъ визжать и рваться: онъ привыкъ всегда сопутствовать своему господину и огрызался на удерживающаго, пытаясь куснуть его за руку. Перловичъ поѣхалъ шибкою рысью.

Бойко бѣжалъ чалый и скоро донесъ Перловича до тріумфальной арки. Здѣсь всадникъ повернулъ влѣво и поѣхалъ шагомъ. Онъ пробирался стороною, словно не хотѣлъ, чтобы его видѣли, и скоро выбрался на пустыри, лежавшіе близъ узкаго переулка.

Здѣсь онъ остановился и слѣзъ съ лошади. Большія груды кирпича и разнаго мусора совершенно закрывали его со стороны проѣзжей улицы, а сзади тянулись кусты, еще невырубленные для очистки мѣста. Перловичъ привязалъ чалаго и осто-

рожно пошелъ пѣшкомъ, направляясь къ стѣнѣ, за которою чернѣли двѣ закопченыя печныя трубы. Онъ отыскалъ сквозную трещину, приставилъ къ ней свой глазъ и увидѣлъ внутренность небольшого двора, въ которомъ, подъ навѣсомъ, стоялъ на привязи совсѣмъ осѣдланный дамскимъ сѣдломъ хмуровскій Бѣльчикъ.

Не болѣе, какъ черезъ пять минутъ послѣ того, какъ Перловичъ устроился въ своей обсерваторіи, входная дверь дома дрогнула, звонко щелкнулъ запертый извнутри замокъ, и на порогѣ показалась Марфа Васильевна, немного заспанная, протирая одною рукою глаза и придерживая другою несовсѣмъ аккуратно надѣтую длинную черную юбку. Выйдя на дворъ, она поправилась и привела въ порядокъ свой туалетъ, нисколько не подозрѣвая, что за нею наблюдаютъ два нескромныхъ глаза. Опытнымъ взглядомъ она окинула сѣдловку, растолкала спавшаго подъ яслями татарина и, съ его помощью, взобралась на сѣдло. Хрипло загудѣла половинка воротъ, пропуская наѣздницу; протяжно зѣвнулъ татаринъ, снова свертываясь клубкомъ, на своемъ прежнемъ мѣстѣ.

— Поѣхала!—произнесъ Перловичъ и началъ осторожное отступленіе къ своему чалому.

Когда онъ выбрался опять на проѣзжую улицу, то, на одно мгновеніе, замѣтилъ вдали, подъ самою кручею, надъ которой неясно виднѣлись громады новой крѣпости, — бѣлое пятно Бѣльчика, во всѣ лопатки дующаго иноходью, внизъ по Ніазбекской дорогѣ.

Тогда Перловичъ поѣхалъ совсѣмъ въ другую сторону, въ старое предмѣстье города. Проѣзжая мимо одного изъ дворовъ, онъ приподнялся на стременахъ и заглянулъ черезъ стѣнку; тамъ тоже стояли двѣ осѣдланныя лошади... Перловичъ узналъ обѣихъ и слышалъ за запертыми ставнями дома знакомые голоса.

— Оно, конечно,—говорилъ одинъ голосъ:—случай болѣе чѣмъ подходящій; но я, право, думаю, что тебѣ не усидѣть на сѣдлѣ.

— А вотъ увидишь!—говорилъ другой голосъ.

— Вѣдь это неблизко...

— Пистолеты подай!..

— И какая это шельма писала?.. Вотъ-бы узнать!

Перловичъ попятилъ чалаго и, не рѣшаясь ѣхать мимо

оконъ, хотя и запертыхъ войлочными ставнями, повернулъ въ боковой переулокъ и сталъ дожидаться.

— Поѣхали и эти! — сорвалось у него съ языка, и довольно громко, при видѣ двухъ всадниковъ, крупною рысью проскакавшихъ мимо него и повернувшихъ какъ разъ по той дорогѣ, по которой отчетливо виднѣлись еще никѣмъ незаѣзженные слѣды Бѣльчика.

Перловичъ рѣшилъ, что какъ Марфа Васильевна, такъ и рыжій артиллеристъ съ докторомъ не будутъ терять времени, и если онъ поѣдетъ туда-же не спѣша, то попадетъ, какъ-бы случайно, къ развязкѣ дѣла; а жгучее, болѣзненное любопытство не позволяло ему покойно, дома, дожидаться результатовъ, и ему большого труда стоило удерживать себя настолько, чтобы ѣхать шагомъ, не пускаясь вскачь за тѣми, которые уже давно скрылись изъ виду въ узкой, извилистой дорогѣ, проложенной между непрерывными стѣнами туземныхъ садовъ и огородовъ.

Первый всадникъ, котораго встрѣтилъ Перловичъ, былъ, какъ уже извѣстно, докторъ. Взглянувъ на лицо и всю фигуру бѣглеца, Перловичъ догадался, что случилось что-то необыкновенное, и у него мелькнули слѣдующія соображенія:— докторъ одинъ... Брилло остался.. Эти звуки, такъ похожіе на выстрѣлы (Перловичъ слышалъ за нѣсколько минутъ передъ встрѣчею съ докторомъ, слабый далекій звукъ пистолетнаго выстрѣла)... Гдѣ-же остальные?.. Батоговъ гдѣ?

— Докторъ, докторъ! — кричалъ Перловичъ. Но докторъ, казалось, ничего не слышалъ и не видѣлъ. Вытянутое блѣдное лицо его было искажено ужасомъ, онъ гналъ своего несчастнаго коня, машинально теребя поводья, колотя его каблуками въ бока, щелкая нагайкою куда попало: по ушамъ, по шеѣ, по крупу и даже, не чувствуя боли, по своимъ собственнымъ ногамъ, обутымъ въ походные сапоги.

Докторъ пронесся мимо, чуть не сваливъ Перловича своею лошадью. Вотъ еще клубится пыль; скачутъ двое. Ба! Марфа Васильевна, съ нею джигитъ. Наѣздница тоже, пожалуй, пронеслась-бы мимо, но Перловичъ повернулъ лошадь и поскакалъ рядомъ.

— Марфа Васильевна, ради Бога, что случилось?!.—гово-

рилъ Перловичъ, задыхаясь отъ страшнаго волненія, глотая густую пыль, въ которой они скакали.

— Онъ убитъ,—простонала Марфа Васильевна.—Татары!..

— Кто, кто, Батоговъ?—спрашивалъ Перловичъ, забывъ, что проговаривается.

— Онъ!.. Всѣ!..—Марфа Васильевна вдругъ зарыдала и на всемъ скаку припала къ гривѣ своего Бѣльчика.

Перловичу вдругъ стало необыкновенно весело.

— Юсупка назадъ... Юсупка тамъ надо,—заговорилъ джигитъ, смекнувъ, что теперь его можетъ смѣнить этотъ, другой тюра, что встрѣтился имъ на дорогѣ. Онъ выпустилъ поводья Бѣльчика и повернулъ назадъ.

Такъ же безсознательно, такъ же неистово погоняя своего коня, какъ погонялъ его докторъ, несся Юсупка назадъ, дико гикая, стиснувъ зубами вынутый изъ чехла ножъ, сжавъ въ правомъ кулакѣ желѣзную рукоять туземной шашки.

Два всадника неслись въ двѣ противоположныя стороны: въ одну скакалъ трусъ въ европейскомъ костюмѣ; въ другую—герой въ неуклюжемъ халатѣ и въ шапкѣ кочевого дикаря.

Перловичъ снималъ съ сѣдла Марфу Васильевну, совсѣмъ уже потерявшую сознаніе. Лошади, взмыленныя, тяжело переводя духъ, стояли посреди дороги.

Перловичъ, подхвативъ подъ мышки безчувственную Марфу Васильевну, оттащилъ ее немного въ сторону, гдѣ не было такъ пыльно и у самой стѣны зеленѣла довольно густая трава,—и усадилъ ее, придерживая руками эту хорошенькую головку съ растрепавшимися волосами, съ закрытыми глазами, съ нижней губою, хотя и отвисшей весьма некрасиво къ низу, но зато открывшей рядъ ровныхъ, бѣлыхъ зубовъ, судорожно стиснутыхъ, едва пропускавшихъ чуть замѣтное дыханіе. Перловичъ вспомнилъ, что надо растегнуть шнурки платья, — сунулся, сталъ шарить руками, шарилъ довольно усердно, но замѣтилъ, что его предупредили: платье было уже растегнуто, и амазонка сползала внизъ. Перловичъ запутался въ безчисленныхъ шнуркахъ и тесемкахъ, сгруппировавшихся у пояса, накололъ пальцы на какую-то скрытую булавку и ограничился тѣмъ, что тщательно принялся изслѣдовать, насколько сильно бьется еще сердце Марфы Васильевны.

Красавица вдругъ открыла глаза. Перловичъ быстро отдер-

нулъ руку. Она, казалось, только сію минуту узнала его. Она изумилась.

— Вы какъ здѣсь?..

Марфа Васильевна быстро отодвинулась и хотѣла встать, но запуталась. Перловичъ помогъ ей подняться на ноги.

— Я... случайно... — бормоталъ онъ, сильно смущенный этимъ вопросомъ. — Вижу: скачете... Тутъ Юсупъ, докторъ тоже. Что случилось?

Марфа Васильевна все вспомнила и сообразила.

— Скорѣй, скорѣй въ городъ,—произнесла она —тамъ на Бешъ-Агачѣ шайка барантачей... Они сейчасъ за нами...

Перловичъ понялъ и струсилъ. Онъ смекнулъ, въ чемъ дѣло, и даже задрожалъ весь, какъ вспомнилъ, что они нѣсколько минутъ потеряли даромъ; вотъ-вотъ, могутъ показаться барантачи, покончившіе уже, конечно, съ тѣми, кто остался сзади... Докторъ ускакалъ, Марфа Васильевна здѣсь, Батогова и Брилло нѣтъ,—они тамъ: они, значитъ, оба погибли! . .

. . . . . .

Въ городѣ, на старомъ коканскомъ дворѣ, длинными рядами стояли въ коновязахъ казачьи лошади. Два часовыхъ-казака лѣниво бродили у воротъ съ обнаженными шашками, по двору шлялись полусонныя фигуры; въ одномъ углу казакъ раздувалъ походный самоварчикъ; на плоскую крышу взобрался по лѣстницѣ трубачъ, прищурился на солнце, потянулся, подулъ свой рожокъ и приставилъ его къ губамъ: онъ собирался проиграть сигналъ къ водопою.

Оба часовыхъ едва успѣли отскочить и чуть не попали подъ ноги наскакавшихъ лошадей. На дворъ влетѣла Марфа Васильевна, за нею слѣдомъ Перловичъ.

— Сѣдлать! — пронзительно крикнула наѣздница, и крикнула такъ, что всѣ лошади шарахнулись и заметались на своихъ арканахъ, а во всѣхъ окнахъ показались озадаченныя-полупроснувшіяся рожи.

— Марфа Васильевна, они васъ не послушаютъ,—уговаривалъ ее Перловичъ. — Дежурный гдѣ? — началъ онъ кричать въ свою очередь. — Сотенный командиръ гдѣ? Голубчикъ,—обратился онъ къ казаку, подбѣжавшему было къ за-

бору, но, замѣтивъ прибывшихъ, принявшаго иную, болѣе приличную позу.—Послушай, голубчикъ, сотенный вашъ гдѣ?..

— Да вамъ чего надо?—протянулъ голубчикъ.

— Эй, господинъ! Вы тутъ что?—кричалъ кто-то, высунувшись изъ окна. Онъ былъ въ одномъ бѣльѣ, но на головѣ была фуражка съ кокардою, а въ рукахъ держалъ онъ китель съ офицерскими погонами, который, повидимому, собирался натягивать на свои широкія плечи.

Перловичъ понялъ, что это и есть самъ сотенный, и объяснилъ ему, въ чемъ дѣло.

— Безъ приказанія не могу-съ.

— Но, Боже мой!—вставила Марфа Васильевна.—Время уходитъ...

— Да вы пожалуйте въ горницу пока, — приглашалъ сотенный,—чаю не прикажете-ли?

— Послушайте, вы велите сѣдлать, а я привезу вамъ сію минуту приказаніе. Генералъ тутъ недалеко... все-таки время не пропадетъ даромъ... А вы, Марфа Васильевна, гдѣ-же вы?.. а?!.

Перловичъ оглянулся: на дворѣ не было Марфы Васильевны: она, догадавшись, что нужно, поскакала къ генералу сама, прежде чѣмъ Перловичъ высказалъ свое предложеніе.

— Эй, ребята, поить коней,—распорядился сотенный командиръ.—Да пожалуйте-же въ горницу... И какъ-съ далеко было это нападеніе-съ?

Перловичъ слѣзъ съ лошади.

— Въ третьемъ году-съ... Еще при генералѣ Романовскомъ-съ...—началъ сотенный.

Звонкая трель трубы прозвенѣла къ водопою и на дворъ высыпали, въ цвѣтныхъ ситцевыхъ рубахахъ, нѣсколько десятковъ оренбургскихъ казаковъ.

Лошади весело заржали и топтались на мѣстѣ.

Генералъ велъ жизнь регулярную: вставалъ рано утромъ и, пользуясь тѣмъ, что на улицахъ никого еще не было, выходилъ въ одномъ бѣльѣ на балконъ своего дома и прохаживался съ ароматною сигарою во рту. Такъ и теперь; онъ, отмѣривъ разъ пятнадцать длину и ширину своего балкона, присѣлъ на перила и сталъ соображать что-то, жестикулируя рукою отъ лѣваго плеча къ правому бедру, какъ-бы поглаживая невидимую ленту и поправляя таковую-же звѣзду.

Тучныя формы генерала рельефно рисовались подъ тонкимъ бѣльемъ, и, вѣроятно, генеральскія думы были самаго игриваго характера, потому что онъ раза два пришлепнулъ себя по этимъ формамъ, процѣдя сквозь зубы: Гмъ, недурно-бы и бриллiанты на шпагу.

Вдругъ, какъ изъ-подъ земли, предъ нимъ у самыхъ перилъ балкона явилась Марфа Васильевна. Взволнованная, съ яркимъ, пятнистымъ румянцемъ на щекахъ, верхомъ на взмыленномъ бѣломъ конѣ, она сразу показалась генералу какимъ-то видѣніемъ, но онъ тотчасъ-же узналъ ее. Съ ловкостью, свойственною всѣмъ военнымъ людямъ, онъ занесъ ногу черезъ перила, хотѣлъ прямо соскочить на землю (благо, было очень низко) и помочь дамѣ сойти съ лошади, но вспомнилъ, въ какомъ онъ костюмѣ, слегка скопфузился и произнесъ пріятнымъ баритономъ:

— Марфа Васильевна, pardon!.. Entrez, madame. Я сію минуту. Казакъ, прими лошадь. Мина, умываться!—и исчезъ въ дверяхъ, мелькнувъ въ нихъ на мгновеніе своею тучною, бѣлою фигурою.

Черезъ секунду эта фигура показалась на мгновеніе въ одномъ изъ оконъ. Марфа Васильевна, не слѣзая съ лошади, кинулась къ этому окну.

— Господи! все проволочки, а время идетъ. Генералъ! Ради Бога, да слушайте-же!..

Она наклонилась надъ окномъ и заглянула во внутрь комнаты. Невидимая рука задернула бѣлую штору. Передъ глазами Марфы Васильевны, вмѣсто генерала, появился китаецъ въ зеленомъ халатѣ, подъ золотымъ балдахиномъ, стрѣляющій изъ лука въ краснаго дракона. За этимъ китайцемъ что-то плескалось и фыркало, и генеральскій голосъ, захлебываясь, произносилъ по временамъ: Лей на голову, на самое темя, болванъ!.. Три губкою спину... Вотъ такъ... что-бы это тамъ могло случиться?.. Запри дверь...

Марфа Васильевна чуть не плюнула со злости въ этого китайца и рванулась къ подъѣзду. Часовой почему-то отсалютовалъ; два казака кинулись принимать лошадь.

Въ ворота въѣхалъ Перловичъ.

— Марфа Васильевна, — сказалъ онъ, — поѣзжайте-ка лучше домой и успокойтесь, вѣдь вы на себя не похожи.

Марфа Васильевна хотѣла что-то возражать...

— Да вѣдь совсѣмъ скандалъ выходитъ... Смотрите, вотъ ужъ на улицахъ народъ показался...

Она посмотрѣла вдоль улицы; длинныя извозчичьи дрожки въ одну лошадь дребезжали по новому шоссе; въ этихъ дрожкахъ сидѣли двѣ офицерскія шинели и клевали носами: онѣ, кажется, не изъ дому ѣхали, а скорѣе домой. Барыня въ розовомъ платьѣ, съ голубымъ зонтикомъ, шла съ солдатомъ позади; изъ окна сосѣдняго дома показалась рука съ какимъ-то сосудомъ и выплеснула что-то на улицу; гдѣ-то неподалеку скрипѣла туземная арба.

Марфа Васильевна вдругъ зѣвнула, совершенно неожиданно, даже для себя; экстазъ проходилъ. Она совершенно согласилась съ Перловичемъ, что онъ правъ, предлагая ей ѣхать домой.

— Такъ вы...—начала она.

— Непремѣнно, непремѣнно. — Перловичъ соскочилъ съ лошади и вошелъ въ генеральскій домъ.

Марфа Васильевна повернула Бѣльчика и поѣхала шагомъ къ себѣ въ узкій переулокъ.

Привѣтливый, весь олицетворенная любезность и предупредительность, появился генералъ изъ-за портьеры.

— Какъ мнѣ совѣстно, parole d'honneur,—началъ онъ, раскинувъ руки, словно для объятій, изумленно посмотрѣлъ кругомъ, выпрямился и отрывисто произнесъ:—Вамъ что угодно?

Перловичъ объяснилъ ему, въ чемъ дѣло.

— Гмъ...—промычалъ генералъ. — Послать за адъютантомъ, — крикнулъ онъ громко, пригласилъ Перловича сѣсть и подождать и пошелъ во внутренніе апартаменты.

X.

Погоня.

Несмотря на различныя формальности, значительно затягивавшія дѣло, небольшой кавалерійскій отрядъ собрался часамъ къ десяти утра въ базарномъ проходѣ, и ждали только Перловича, который почему-то взялся быть проводникомъ къ мѣсту катастрофы, а пока поскакалъ перемѣнить свою лошадь,

такъ какъ его чалый положительно былъ уже негоденъ къ такой далекой поѣздкѣ.

Быстро разнеслась по всему городу вѣсть о кровавомъ событіи у Бешь-Агача, и множество народу собралось провожать выступающій отрядъ: явились даже волонтеры, заявившіе свое намѣреніе идти вмѣстѣ съ отрядомъ. Въ числѣ послѣднихъ находился и Хмуровъ, который больше всѣхъ суетился рыская верхомъ на красивомъ караковомъ жеребцѣ и сообщая всѣмъ свои планы преслѣдованія.

— Надо ихъ перехватить, пока за Дарью не перевалились,—кричалъ онъ.—А то ихъ тамъ только и видали. Чего мѣшковъ съ собою набрали!—накинулся онъ на казаковъ.—Экъ навьючились, кошемники!.. Вѣдь верстъ пятьдесятъ скакать придется, свиньи полосатыя!

— Ладно, и рысцею будетъ въ самую пору, — ворчалъ урядникъ, прилаживая за сѣдломъ холщевыя торбы съ ячменемъ.

— Не мѣшало-бы взять съ собою хотя немного артиллеріи,—заявилъ щеголеватый адъютантъ. Онъ тоже пріѣхалъ, совсѣмъ по походному, и даже съ охотничьей двустволкой въ рукахъ и биноклемъ въ футлярѣ, висѣвшемъ на ремешкѣ чрезъ плечо.

— Бомбическія орудія повеземъ для васъ по арыкамъ, да буеракамъ!—накинулся на него Хмуровъ.

— Нѣтъ, все-бы, знаете, ракетные станки: это дѣйствуетъ морально.

Туземцы заняли пестрыми группами всѣ сосѣднія крыши и смотрѣли на долгіе сборы, шепотомъ передавая другъ другу разныя предположенія. Они не знали, въ чемъ дѣло, и рѣшили, что это, должно быть, подступаетъ самъ эмиръ къ ихъ городу.

Прискакалъ, наконецъ, и Перловичъ.

— Садись!..—протянулъ сотенный командиръ.

Дребезжа оружіемъ, неловко полѣзли казаки на своихъ маштаковъ и стали выстраиваться.

— Господи, благослови! Съ Богомъ, братцы!

Казаки начали набожно креститься. Тронулись.

— Сто-о-ой!—тянетъ снова командиръ.

— Ребята, скатай кто-нибудь ко мнѣ; тамъ въ горницѣ, на столѣ предписаніе генеральское лежитъ: какъ-бы вѣтромъ не сдуло.

Разомъ человѣкъ пять поскакали за генеральскимъ предписаніемъ.

— Ма-аршъ!—опять запѣлъ командиръ.

Опять двинулись впередъ.

Сгоряча погнали самою ходкою рысью. Перловичъ молча скакалъ впереди всѣхъ. Взяли напрямикъ, черезъ туземный городъ, для выигрыша времени.

Вонючіе, грязные торговые ряды подъ навѣсами, никогда непропускавшими лучей солнца, но нисколько не задерживающими проливныхъ осеннихъ и зимнихъ дождей, нѣсколько задержали бѣгъ лошадей. Казачьи кони провалились по брюхо, гнилые міазмы подымались изъ-подъ разворочепныхъ верхнихъ слоевъ вѣчной грязи, брызги летѣли во всѣ стороны и обдавали пестрый разнокалиберный товаръ, лежавшій открыто, на показъ, въ маленькихъ туземныхъ лавочкахъ. Торгаши глядѣли испуганно на эту кавалькаду; туземныя лошади, привязанныя у точеныхъ столбовъ, поддерживающихъ навѣсы, прижимали уши, визжали и били задомъ пробѣгавшихъ мимо казачьихъ лошадей.

— Стой!..

Передніе остановились; задніе стали догонять переднихъ.

— Да что-же: чортъ васъ возьми, стой да стой!—горячился Хмуровъ, наскакавъ на командира.

— Позвольте, нельзя. Ребята, купи кто лепешекъ: тамъ, неравно, закусить придется. Михѣевъ, бутыль съ тобой?

— У Павлова въ торбѣ,—отзывается изъ заднихъ рядовъ голосъ Михѣева.

— Не оттягивать—эй! Что разбрелись!—кричитъ командиръ.—Маршъ!..

— Слышь ты! — кричитъ Хмуровъ Перловичу.—Мы тамъ не проѣдемъ: тамъ мостъ разобранъ...

Перловичъ не слушаетъ и все погоняетъ лошадь.

— Смотри, назадъ придется вернуться...

— Назадъ,—говоритъ одинъ казакъ изъ переднихъ другому, запаливая на бѣгу трубочку.—Легко сказать — назадъ: этакъ мы верстъ шесть кругу должны сдѣлать.

— А кто понесъ насъ базарами; надоть было обыкновенной дорогой.

— Обыкновенной!

— Стой!.. — командуетъ сотенный и добавляетъ: — Вотъ тебѣ и разъ!

Перловичъ въ недоумѣніи ѣздитъ по крутому берегу оврага. Спуститься некуда и даже пѣшему невозможно; со дна этого оврага торчатъ полуразрушенные козлы разобраннаго моста; на противоположной сторонѣ уцѣлѣло еще одно прясло и виситъ въ видѣ балкона, а внизу, между таловыхъ кустовъ, сочится какая-то грязная струйка.

— Я говорилъ!—заоралъ Хмуровъ.—Я говорилъ! Назадъ, назадъ скорѣй!

Постояли минуту, другую—пораздумали. Всякій заглянулъ внизъ и всякій сказалъ:—Вѣдь, ишь-ты, разобранъ! Одинъ казакъ пробовалъ было спуститься, да чуть не оборвался и не полетѣлъ съ высоты, по крайней мѣрѣ, десяти саженъ.

— Чего лѣзешь ты! рыло киргизское!—крикнулъ на него сотенный командиръ. — Назадъ, такъ назадъ... Направо кругомъ!—запѣлъ онъ и тотчасъ же перевелъ на обыкновенный языкъ:—заворачивай, братцы!

Завернули.

— Теперь куда-же?—подумалъ вслухъ Хмуровъ.

— Извѣстно, опять черезъ базаръ и въ чиназскія ворота, а тамъ возьмемъ правѣе, ну и въ самый разъ,—отвѣчалъ ему командиръ.

Перловичъ уступилъ свое переднее мѣсто Хмурову, который, обгоняя его, произнесъ съ укоромъ:

— Что, братъ, ближе вышло? А времени-то сколько ушло!

Перловичъ промолчалъ. Быстрая ѣзда и жаркое утро всѣхъ разгорячило, лица были красны, словно пылали, одно только лицо его, Перловича, было желто и по немъ выступали какія-то пятна: конвульсивно стискивала поводья холодная рука, и во рту онъ чувствовалъ сильную горечь. Очень-очень некрасивъ онъ былъ въ эту минуту, а эта странная перемѣна потому только и не была замѣчена, что всѣ слишкомъ заняты были одною идеею—напасть поскорѣе на слѣдъ барантачей.

Наконецъ, спустя часа полтора послѣ выступленія, напали на настоящую дорогу, и вдали, на вершинѣ обрыва, показалась старая гробница.

— Тсс!.. — приподнялъ руку сотенный командиръ.—Теперь, голубчики мои, теперь осторожнѣй! Шестеро слѣзьте съ

коней, да ползкомъ, братцы, тихонько... чуть, чуть... ни Боже мой, и, значитъ, коли что, ежели какъ, то сейчасъ...

Казаки, казалось, поняли эту рѣчь, и человѣкъ шесть полѣзли на брюхѣ «тихонько, осторожнѣй, коли что, ежели какъ», а остальные начали осматривать винтовки, щелкая замками и продувая стволы.

— И какого тамъ чорта еще!—крикнулъ Хмуровъ, проскакалъ мимо ползущихъ на брюхѣ казаковъ, чуть не вытянулъ одного нагайкой, благо удобно было, и остановился на самомъ гребнѣ обрыва, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ виднѣлись еще слѣды Бѣльчика. Если-бы Хмуровъ не смотрѣлъ, вытаращивъ глаза, на что-то внизу, то навѣрное бы узналъ эти полукруглые зрачки, рѣзко отпечатавшіеся на красноватомъ грунтѣ вывѣтрившагося гранита.

Любопытство взяло верхъ надъ осторожностью. Да къ тому-же примѣръ Хмурова подѣйствовалъ заразительно. Мало-по-малу, всадникъ за всадникомъ, столпились всѣ надъ обрывомъ: подползли и тѣ шестеро, исполняя до конца приказъ начальства, доползли, встали, отряхнулись и пошли къ своимъ лошадямъ.

На ярко-зеленой полянѣ, въ тѣни развѣсистыхъ карагачей, валялось нѣсколько предметовъ: какая-то красная тряпка, ножны отъ туземной шашки и трупъ въ кителѣ, въ красныхъ шелковыхъ панталонахъ. Трудно было разобрать, какъ этотъ трупъ лежалъ: лицомъ вверхъ или затылкомъ?

У этого трупа не было ни лица, ни затылка.

— Батоговъ! — крикнулъ Хмуровъ. — Это его красныя шаровары.

Перловичъ покачнулся на сѣдлѣ и схватился за гриву. Ему показалось, что онъ вмѣстѣ съ конемъ оборвался съ кручи и летитъ внизъ.

Потихонько спустились внизъ по тропинкѣ и окружили тѣло.

— Погоны артиллерійскіе, золотые,—произнесъ щеголеватый адъютантъ.

— Ну, значитъ, Брилло,—рѣшилъ Хмуровъ.

— Коли ежели не имѣется головы,—заявилъ сотенный командиръ,—ужасно трудно признать, что за человѣкъ. Потому, ежели какъ все остальное...

— А тамъ, въ оврагѣ, никого нѣтъ? — доносился голосъ одного изъ казаковъ.

— Большое сходство между собою имѣютъ, — докончилъ начальникъ отряда.

— Ну какъ-же,—возразилъ кто-то,—ежели мусульманъ или тамъ жидъ и опять православный, — завсегда безъ головы узнать можно.

— Коли ежели безъ одежи...

— Да будетъ вамъ!—прервалъ споръ Хмуровъ.—Свалка была здѣсь; это вѣрно; вишь, крови вездѣ сколько! А отсюда слѣды пошли вонъ, позади этого двора на дорогу. Пускай подберутъ тѣло кто-нибудь и отвезутъ въ городъ, а мы дальше. Теперь мы на слѣду, дѣло вѣрное; можетъ, и догонимъ къ вечеру.

Распорядились насчетъ тѣла Брилло и тронулись дальше. Скоро выбрались на ніазбекскую дорогу. Здѣсь многочисленные слѣды конскихъ ногъ, ясно видные въ узкомъ, мало проѣзжемъ переулкѣ, исчезли, затертые слѣдами арбяныхъ колесъ только что проѣхавшаго обоза.

Пришлось обратиться къ разспросамъ, и сотенный командиръ подъѣхалъ къ маленькой чайной лавочкѣ, старикъ хозяинъ которой смотрѣлъ на подъѣхавшаго русскаго усиленно моргающими глазами. Начался допросъ съ помощью переводчика, казака-башкирца.

— Барантачи куда пошли?—началъ сотскій. Казакъ перевелъ.

— Кто?—переспросилъ сартъ.

— Барантачи, разбойники, каракчи,—пояснялъ командиръ и начиналъ горячиться. Казакъ-переводчикъ тоже начиналъ волноваться.

— Не знаю никакихъ барантачей,—говорилъ старикъ.— Я здѣсь сижу съ самоваромъ, зла никому не дѣлаю. У меня и кальяны есть... Вонъ изъ нихъ ваши казаки курятъ,— указалъ онъ на казаковъ, которые между тѣмъ не теряли дорогого времени.

— Да бросьте его! — говорилъ Хмуровъ: — вы все равно никакого толку не добьетесь. Да и чего разспрашивать? Куда они уйти могутъ, какъ не къ Дарьѣ.

— Конечно, къ Дарьѣ,—подтвердилъ щеголеватый адъютантъ.—А вы мнѣ, господинъ есаулъ,—обратился онъ къ со-

тенному командиру,—дайте человѣкъ четырехъ проводить меня до города: одному небезопасно...

— Кто васъ съѣстъ? Чего вы боитесь?—замѣтилъ Хмуровъ.

— По пустякамъ рисковать не желаю-съ, извините-съ.. А дальше ѣхать я не могу... я совершенно нездоровъ, да къ тому-же дѣла...

— Да убирайтесь къ чорту!

— Господинъ Хмуровъ!

— Проваливайте!

Адъютантъ уѣхалъ, процѣдивъ сквозь зубы:

— Я еще съ вами поговорю.

— Съ Богомъ, братцы!..

Поѣхали. Часа чрезъ полтора довольно скорой ѣзды погоня опять напала на слѣдъ: допросили встрѣчнаго погонщика, который везъ топливо въ городъ на четырехъ вьючныхъ ослахъ. Онъ далъ кое-какія болѣе опредѣленныя указанія. Въ кишлакѣ сартъ Мурза-бай, пріятель Батогова, далъ уже совершенно ясныя указанія: онъ сообщилъ и число барантачей, сколько могъ замѣтить, и то, что Юсупъ, джигитъ Батогова, часа за два только проскакалъ мимо его лавки и даже не остановился покурить кальяна, предложеннаго ему Мурза-баемъ. Тутъ-же сообщили другіе, проѣзжіе курамины, что видѣли барантачей въ другомъ мѣстѣ, верстахъ въ пяти правѣе... Это извѣстіе тоже было вѣрно. Ясно было, что партія раздѣлилась. Рѣшили раздѣлить и отрядъ, тѣмъ болѣе, что казаковъ была почти цѣлая сотня и каждый отрядъ все-таки былъ достаточно силенъ сравнительно съ партіей барантачей. Раздѣлились: съ однимъ отрядомъ поѣхалъ самъ сотенный командиръ, съ другимъ Хмуровъ и Перловичъ. Второй отрядъ сильно задалъ ходу, потому что Хмуровъ ругался не на животъ, а на смерть, а,—главное,—обѣщалъ казакамъ, если нагонять, по рублю на рыло и ведро водки на всѣхъ.

— Ваше скуловородіе! — обратился урядникъ, ровняясь своимъ конемъ съ хмуровскимъ жеребцомъ.—Позвольте коней напоить: задохнутся, гляди, какъ загорѣлись; жарко!

— Ну, пой поскорѣе, что-ли.

Остановились. Казаки протирали запыленныя ноздри лошадей полами своихъ рубахъ, поправляли сѣдловку и сами маленько поправлялись.

— Чуточку постоимъ, — говорилъ урядникъ,—зато ужъ какъ ахнемъ!

Постояли чуточку, сѣли на лошадей, и дѣйствительно ахнули!

— Братцы, вонъ они!..—крикнулъ кто-то.

Всѣ лошади разомъ поддали; хмуровскій жеребецъ даже взвился на дыбы. У Перловича замерло сердце.

Верстахъ въ трехъ, впереди, но нѣсколько правѣй, мелькнула межъ таловыхъ кустовъ красная точка; вотъ еще, еще... Эти точки, должно быть, замѣтили преслѣдователей и пошли скорѣй... Но не трудно было замѣтить, что разстояніе, отдѣлявшее преслѣдователей отъ преслѣдуемыхъ, становилось все меньше и меньше... Вотъ еще кусты, частые, густые... Красныя точки скрылись въ нихъ и пропали. Вѣроятно, эти заросли задержали бѣгъ лошадей, потому что когда бѣглецы показались снова, ихъ отдѣляло не болѣе полуверсты. Хмуровъ выхватилъ револьверъ, кинулъ поводья на шею коня и много опередилъ казачьихъ лошадей.

Вдругъ послѣдній непріятельскій всадникъ скрылся на мгновеніе въ маленькомъ бѣломъ облачкѣ... Что-то прогудѣло въ воздухѣ.

— Ишь, пальнулъ; нѣшто отвѣтить?—замѣтилъ урядникъ.

— Чего тамъ пустяками заниматься; сейчасъ насядемъ.

Хмуровъ уже налеталъ. Скулатая рожа обернулась, посмотрѣла на него черезъ плечо и погрозила ножомъ и вдругъ мелькнула полами краснаго халата: Хмуровъ почти въ упоръ выстрѣлилъ изъ своего револьвера. Барантачи, видя, что имъ не уйти, соскочили съ лошадей и бросились въ заросли. Раздалось нѣсколько выстрѣловъ. Казаки поскакали въ объѣздъ, человѣкъ десять спѣшились и полѣзли за бѣжавшими. Одинъ казакъ шатался на лошади, словно пьяный... Онъ затянулъ одинъ поводъ; лошадь его крутилась на одномъ мѣстѣ и упала на бокъ, оступившись въ канаву. Лошадь вскочила снова на ноги и отбѣжала въ сторону. Казакъ силился подняться, но не могъ.

Трое казаковъ тащили волокомъ какую-то фигуру съ гладко обритымъ, сверкавшимъ на солнцѣ черепомъ; красный халатъ на этой фигурѣ висѣлъ клочьями. Фигура эта усиленно барахталась.

— Вяжи его, подлеца, вяжи!—кричалъ урядникъ.

— Идите сюда!—кричалъ изъ кустовъ Хмуровъ.

— Братцы, одинъ никакъ убѣгъ?—слышенъ былъ чей-то сиплый голосъ.—Вотъ онъ, вотъ онъ. Насядь на него... Гляди, осторожнѣй,—можетъ, пырнетъ...

Восемь лошадей, принадлежавшихъ барантачамъ, усталыхъ, худыхъ до того, что можно было ощупать всѣ кости, были переловлены и сбиты въ кучу. Въ кустахъ мелькали кое-гдѣ казачьи рубахи, по временамъ слышались выстрѣлы.

Это весьма напоминало охоту. Да развѣ это и не была охота на самомъ дѣлѣ?

На дорогу выбрался Хмуровъ. Онъ былъ весь въ крови и безъ шапки. Онъ поправлялъ пальцами волоса, спутанные вѣтромъ, и размазывалъ по лицу кровавые узоры. Впрочемъ, это была не его кровь. Правда, его стукнули прикладомъ по головѣ, ударъ, который сбилъ съ него шапку, ударъ, отъ котораго раскололся прикладъ и отлетѣлъ въ сторону... Легкіе приклады азіатскихъ ружей чрезвычайно непрочны...

— Лошадей сколько?—спросилъ онъ урядника.

— Восемь. Больше не было.

— А тамъ семерыхъ уложили; одинъ удралъ-таки!

— Живьемъ одного поймали, ваше скуловородіе!—отрапортовалъ урядникъ.

— А, значитъ, всѣ. Значитъ, Батоговъ съ другими. Скверно! Зачерпни воды, вонъ въ канавѣ, рожу умыть.

На лицѣ Перловича, который все время, словно истуканъ, стоялъ верхомъ посреди всеобщей сумятицы, показалось что-то въ родѣ живого румянца.

XI.

Герой.

Мужъ Марфы Васильевны стоялъ надъ большой чертежной доской и отмѣчалъ что-то циркулемъ. Топотъ коня на дворѣ заставилъ его поднять голову. Дверь слегка стукнула, онъ обернулся.

— Ну, Марта, — спросилъ онъ, — какъ твое новое знакомство?

Марфа Васильевна не отвѣчала.

— Что такъ рано?..

Онъ взглянулъ на нее пристальнѣе, и тотъ слегка язвительный тонъ, который онъ хотѣлъ придать своему вопросу, замеръ у него въ горлѣ.

Передъ нимъ стояла не Марта, цвѣтущая, румяная, вѣчно веселая... Нѣтъ, это была только ея тѣнь.

Волосы и платье въ безпорядкѣ, лицо блѣдное, какъ полотно, подъ глазами темные, синіе круги, и сами глаза такіе тусклые, такъ неопредѣленно смотрящіе и какъ будто ничего не видящіе, грязныя полосы пыли на лицѣ...

— Марта, голубчикъ, да что-же случилось такое?

Въ пылу энергіи Марфа Васильевна выдержала всѣ нервныя потрясенія, испытанныя ею въ то утро, богатое событіями. Усиленная ѣзда верхомъ разбила ея тѣло, и только какое-то странное опьяненіе,—этотъ экстазъ, охватившій ее,— поддерживало ея физическія силы. Но наступила реакція, экстазъ прошелъ.

— Марта, да скажи-же хоть слово, — говорилъ ей мужъ и даже трясъ ее за плечи.

— Я спать хочу, — прошептала она чуть слышно и пошатнулась. Онъ подхватилъ ее. Если-бы онъ этого не сдѣлалъ, то Марфа Васильевна не устояла-бы на ногахъ. Онъ чувствовалъ, какъ все тяжелѣе и тяжелѣе становилось это тѣло, ноги подгибались, и оно словно выскальзывало изъ рукъ. Онъ крѣпко стиснулъ свою жену и потащилъ ее волокомъ къ кровати. Руки повисли, ноги поволоклись по плитному полу, голова, словно у трупа, перегнулась на безжизненной шеѣ, и волосы мели эти кирпичныя плиты.

Маленькій котенокъ Марфы Васильевны стремительно рванулся изъ-подъ дивана: ему хотѣлось поиграть этими длинными, стелящимися по полу волосами, но на него чуть не наступилъ мужъ Марфы Васильевны, и котенокъ жалобно мяукнулъ и свернулся въ клубокъ на прежнемъ мѣстѣ.

Кое-какъ, съ трудомъ уложилъ онъ на постель свою жену и сталъ надъ нею въ раздумьѣ. Онъ совсѣмъ потерялся и не зналъ, что дѣлать, къ чему приступить. Вдругъ глаза его упали на эти грязныя полосы, что шли вдоль всего лица, на эти тонкіе пальцы, выпачканные поводьями. Онъ схватилъ полотенце, намочилъ его и началъ отирать лицо и руки. Теръ долго, теръ усиленно; особенно возился онъ съ пальцами: чер-

ная маслянистая мазь не отставала; онъ даже мыломъ пробовалъ и вдругъ хватилъ кулакомъ по лбу и бросилъ полотенце.

— Доктора, доктора!—кричалъ онъ, выбѣжавъ на улицу. Онъ хорошо зналъ всѣ адреса здѣшнихъ докторовъ, но въ эту минуту совершенно забылъ ихъ. Въ головѣ у него стоялъ какой-то сумбуръ.

Красивый офицеръ на красивомъ конѣ опять ѣхалъ, гарцуя мимо оконъ. Онъ ничего еще не зналъ о случившемся и катался, по обыкновенію, мимо окна, въ которомъ разсчитывалъ видѣть Марфу Васильевну.

— Что, кто боленъ? Кому доктора?—спросилъ онъ, задержавъ коня у калитки дома.

— Ради Бога, скачите, какъ васъ, Набрюшниковъ, что-ли? везите доктора какого попало: всѣхъ... Да скорѣе!

— Марфа Васильевна?!

— Умираетъ. Умерла совсѣмъ! Да скорѣе-же, скорѣе!

Красивый офицеръ ловко повернулъ коня, пригнулся и щелкнулъ. Конь поддалъ задомъ, офицеръ очутился на шеѣ, однако, справился и поскакалъ.

Мужъ Марфы Васильевны вбѣжалъ опять въ комнаты. Она лежала такъ-же неподвижно; изъ раскрытыхъ губъ чуть вылетало слабое дыханіе: она спала, повидимому. Но этотъ сонъ такъ похожъ былъ на смерть! Даже глаза не были совсѣмъ закрыты и сквозь темныя, длинныя рѣсницы глядѣли безжизненно, тускло, неподвижно... Такъ именно смотрятъ незакрытые глаза покойника.

— Ну, чтожъ... я ничего, — говорилъ самъ съ собою мужъ Марфы Васильевны.—Надо ждать доктора; что я могу сдѣлать? А пока займусь дѣломъ...—(онъ самъ собою бравировалъ).—Зачѣмъ время терять: время—деньги.

Онъ подошелъ къ столу, взялъ линейку, наложилъ ее, черкнулъ сильно карандашомъ, такъ сильно, что въ рукѣ что-то треснуло. Швырнулъ на полъ и линейку, и обломки карандаша; тихонько, на цыпочкахъ, словно боялся разбудить больную, подошелъ онъ къ постели и сталъ въ ногахъ. Онъ задумался.

Въ комнатѣ была мертвая тишина, только и слышно было, какъ маленькій котенокъ каталъ по полу какую то пуговицу, и по стеклу стучала большая зеленая муха.

Это мы сейчасъ... это мы сразу... А гдѣ больная?.. А... вонъ оно какъ!..

Въ комнату вошелъ, слегка пошатываясь, толстый докторъ, не нашъ докторъ, а совсѣмъ другой, съ густыми темными бакенбардами, въ фуражкѣ, надѣтой совсѣмъ на затылокъ... Пахнуло сильно чѣмъ-то спиртуознымъ, не то ромомъ, не то водкой, сильно также давалъ себя чувствовать пряный ароматъ лимбургскаго сыра. Мужъ Марфы Васильевны поднялъ голову.

— А, докторъ... вотъ смотрите...

— Ничего, ничего; это мы сейчасъ...

Докторъ шагнулъ, пошатнулся и поспѣшилъ поскорѣй сѣсть на край постели. Кровать затрещала. Глаза больной раскрылись какъ будто-бы немного шире.

Изъ-за дверей высовывался Набрюшниковъ: онъ не рѣшался войти и силился издали, черезъ плечи доктора, взглянуть, что тамъ такое дѣлается...

— Докторъ, что это вы дѣлаете?

— А это я пульсъ щупаю...

— Да развѣ тамъ пульсъ!.. Набрюшниковъ, гдѣ вы эту свинью нашли?

— Эй вы, не слишкомъ! Я не позволю...—промычалъ докторъ, всталъ и чуть опять не упалъ на кровать.

— Въ бильярдной у Тюльпаненфельда... Да я сейчасъ другого... Я сейчасъ... Кто-же его зналъ?.. По мундиру докторъ... Я...

Набрюшниковъ заметался и скрылся.

— Вонъ отсюда!

— Кто,—я?

— Вонъ или пришибу на мѣстѣ!

Онъ схватилъ со стола тяжелый подсвѣчникъ и замахнулся... Пьяный докторъ струсилъ.

— Это я ничего, это я могу, все могу, а впрочемъ, я уйду, я уйду... Мнѣ что?..—(онъ направился къ двери).—Мнѣ что? Мнѣ все равно; — пускай умираетъ... Мертвые-бо сраму не... Эй, дружище!—(Докторъ замѣтилъ кого-то, ѣхавшаго мимо на извозчичьихъ дрожкахъ).—Подвези, мнѣ только до этого тюль... тюль... тюль...

— Ползи на всѣхъ четырехъ,—говорилъ чей-то голосъ, и дрожки задребезжали мимо.

Прошло часа два, томительныхъ, страшныхъ два часа.

Марфа Васильевна все находилась въ одномъ и томъ-же положеніи. Наконецъ послышались шаги на дворѣ. Вошелъ Набрюшниковъ, остановился на порогѣ и пропустилъ впередъ другого доктора. Этотъ былъ въ нормальномъ положеніи. Онъ протянулъ руку мужу Марфы Васильевны, слегка пожалъ его руку, проговорилъ многозначительное: гм, и сталъ считать пульсъ.

— Тс-тс-тс... дѣло-то скверно... За льдомъ пошлите...

Набрюшниковъ ринулся къ дверямъ.

Марфа Васильевна зашевелила губами.

— Тс...—произнесъ докторъ.

— Тс...—повторилъ мужъ.

Набрюшниковъ остановился въ дверяхъ и приподнялся на цыпочки.

— Воронѣ гдѣ-то Богъ послалъ кусочекъ сыру, — тихо проговорила Марфа Васильевна, проговорила и замолчала.

— Ну, и слава Богу,—также тихо проговорилъ докторъ.

Набрюшниковъ вдругъ фыркнулъ.

— Что-же это, докторъ?

— Бредъ начинается и весьма престранный бредъ. Холодные компрессы на голову, непрерывные компрессы. Ледъ къ вискамъ.

— Ледъ къ вискамъ,—машинально проговорилъ мужъ.

— Да-съ, горячка... и еще какая!.. Ну, да натура-то славная, здоровая, можетъ, и выдержитъ; а не выдержитъ... А—что такое?

Докторъ обернулся. Мужъ Марфы Васильевны тихо рыдалъ.

— Ну, Господь съ вами, я уйду,—говорилъ докторъ,—я вамъ лучше пришлю свою барыню.

Онъ на цыпочкахъ пошелъ къ дверямъ. Набрюшниковъ съ большою глыбою льда въ рукахъ попался ему навстрѣчу.

А въ тотъ-же вечеръ, въ ресторанѣ Тюльпаненфельда, рѣчь шла о событіяхъ дня. Говорили о болѣзни Марфы Васильевны, говорили объ ея мужѣ.

— То-есть, въ жизни не видалъ я такой тряпки,—говорилъ сановитый чиновникъ съ крестомъ на шеѣ.

— Кто это тряпка—кто?—повернулся къ нему отъ прилавка докторъ.

— Да все онъ-же, мужъ Мар...

— Онъ тряпка, онъ?!—Это—герой!

Гомерическій хохотъ раздался по всему залу ресторана. Докторъ вспылилъ. Онъ даже схватился за спинку стула.

— Да, герой!—кричалъ онъ.—Почище вашихъ всѣхъ хвалепыхъ храбрецовъ. Что они сдѣлали, что?.. Передушили десятка два безоружныхъ сартовъ... Глиняные горшки брали подъ видомъ крѣпостей! А онъ ради своей «Марты» самъ себя, безъ всякой пощады, душитъ за горло.

— Шампанскаго!—реветъ кто-то въ толпѣ...

— Да,—кричалъ докторъ, — герой!.. Почище самого Александра Мак...

Онъ сильно качнулся, выпитое вино ударило ему въ голову.

— Герой...—промычалъ онъ тихо и сталъ размазывать по прилавку пальцемъ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Тяжелые дни.

Прошло мѣсяца три со времени катастрофы у Бешь-Агача. Тревоги, лишенія и всѣ ужасы тяжелой дороги, когда плѣннику приходилось переходить изъ рукъ въ руки, рискуя каждую минуту попасть подъ мстительный ножъ обиженной стороны, все это было пройдено и окончено. Жизнь Батогова вошла уже въ болѣе или менѣе опредѣленныя рамки, въ грустныя рамки безысходнаго рабства.

Европеецъ въ плѣну у дикаря! Рабъ, въ умственномъ развитіи превышающій своего господина!

Рабство—самая страшная казнь, постигшая когда-либо человѣчество; но подобное рабство, это высшая степень этой казни.

Для Батогова настало время тяжелыхъ испытаній; не выдержалъ-бы онъ этой пытки и давно-бы покончилъ съ собою, благо случаевъ къ тому представлялось достаточно, но у него была надежда на исходъ; эта надежда поддерживала его въ самыя критическія минуты, эта надежда заставляла его не совсѣмъ уже хмуро глядѣть въ эту безпредѣльную даль, туда, къ сѣверу, туда, откуда вонъ летятъ вереницею длинноногіе журавли, вонъ, еще виднѣются какія-то отсталыя птицы. Ему было иногда даже очень весело, онъ громко хохоталъ, пѣлъ, на удивленіе кочевникамъ, русскія пѣсни и забавно переводилъ имъ сказки про лисицу и волка и про трехъ братьевъ, двухъ умныхъ и третьемъ дуракѣ. Разъ онъ даже показалъ, какъ

пляшутъ въ присядку, и ловко подладилъ на туземной балалайкѣ знакомый мотивъ «барыни».

И всѣ эти чудеса дѣлала надежда.

Вонъ она! Въ киргизской шапкѣ, полуголая, съ громкимъ удалымъ свистомъ и гикомъ, помахивая въ воздухѣ волосянымъ арканомъ, гонитъ вмѣстѣ съ другими киргизами хозяйскіе табуны на водопой къ тѣмъ колодцамъ, что чуть виднѣются между песчаными буграми, верстахъ въ трехъ отъ аула, и то потому только виднѣются, что около нихъ вѣчно толпятся либо люди, либо животныя, а чаще тѣ и другіе вмѣстѣ.

Вчера эта «надежда» тихонько подбросила ему славный кусокъ баранины, такой кусокъ, что только самому его хозяину, мирзѣ Кадргулу, такъ въ пору...

Эта надежда была его бывшій джигитъ—Юсупъ.

Онъ совсѣмъ въ своей тарелкѣ; онъ, положительно, чувствуетъ себя, какъ дома. Ишь какъ носится онъ на неосѣдланной лошади: его крикъ слышится громче всѣхъ, его арканъ выше другихъ взвивается въ пыльномъ воздухѣ. Это отъ него такъ шарахнулись кони, отбившіеся было въ сторону...

Юсупъ мастерски разыгрывалъ свою роль, лавируя между привязанностью и какою-то странною любовью къ своему господину и необходимою осторожностью, которую приходилось доводить до самыхъ утонченныхъ размѣровъ, принимая во вниманіе наблюдательность и живую подозрительность кочевниковъ, могущихъ въ одномъ неосторожномъ движеніи, въ одномъ неловко сказанномъ словѣ найти роковую развязку...

Разъ Батоговъ дурно вычистилъ лошадь мирзы Кадргула. Самъ мирза выругалъ его, Юсупъ, собиравшійся ѣхать вмѣстѣ съ мирзою, толкнулъ Батогова въ загривокъ и толкнулъ его такъ, что самъ мирза Кадргулъ сказалъ:

— Ну, за что?.. Это онъ въ первый разъ только.

Другой разъ Юсупъ, въ большомъ обществѣ, не стѣсняясь присутствіемъ Батогова, разсказывалъ про русскихъ такія небылицы и такъ краснорѣчиво описывалъ разныя нелѣпости ихъ обрядовъ и обычаевъ, что даже самъ увлекся своею бранью, ругался напропалую, подбиралъ для «бѣлыхъ рубахъ» самыя обидныя сравненія и, наконецъ, пустилъ въ Батогова дынною коркою, замѣтивъ въ заднихъ рядахъ слушателей его изумленную физіономію.

А потомъ ночью, проходя, словно нечаянно, мимо плѣнника, чистившаго хозяйскую сбрую, проговорилъ тихонько, глядя совсѣмъ въ другую сторону: «ты, тюра, не сердись: Юсупка знай, какой дѣло надо дѣлать!»

Недавно вернулись изъ небольшого набѣга на персидскую границу; приглашали съ собою и Юсупку. Такому джигиту не приходилось оставаться дома, у котораго и кони лучшіе по всему окрестному кочевью, и оружіе такое, что не всякъ еще его и видывалъ, а слышали, что у русскихъ только такіе, да вотъ еще сказывали проѣзжіе купцы-афганцы, что за тѣми далекими горами, что прямо на полдень, въ Индостанѣ у инглизовъ такія-же ружья дѣлаются.

Да и не разъ Юсупка заявлялъ уже о своей отвагѣ и наѣздничьей ловкости, и такимъ лихимъ джигитомъ, какъ мирза Юсупъ (его иначе и не величали въ аулахъ), брезгать не приходилось даже самому мирзѣ Кадргулу.

Батоговъ, конечно, оставался дома; въ эту минуту аулъ перекочевывалъ верстъ за полтораста на новое урочище, и плѣнникъ шелъ при верблюдахъ мирзы Кадргула вмѣстѣ съ другими рабами и рабынями бія.

Походъ на персидскую границу былъ довольно удачный (спасибо, еще «чодоры» подсобили). Сами потеряли трехъ джигитовъ да одну лошадь, а привезли съ собою двадцать два верблюда, семерыхъ персіянъ, пару ословъ крупныхъ, особенныхъ, не такихъ ишаковъ маленькихъ, что въ бухарскомъ ханствѣ, а съ добрую лошадь, только потому и узнаешь его, что уши длинныя... Еврея одного нашли еще при караванѣ... Двухъ бабъ везли съ собою, да не довезли: одна дорогою сдохла, а другую такъ живьемъ пришлось бросить, потому тоже чуть духъ переводила; только ныла, за сѣдломъ сидя, и тоску нагоняла, а барышей съ нея ни тѣмъ, ни другимъ не предвидѣлось: стара уже совсѣмъ была и зубовъ во рту столько, сколько колодцевъ отъ ихъ ауловъ къ хивинскому хану, всего только четыре.

Прирѣзать ее хотѣли, да мирза Юсупъ удержалъ: «Оставьте, говоритъ, зачѣмъ ножи пачкать; примѣта такая дурная есть. А коли надоѣло везти, то бросьте ее такъ, пускай сама своею смертью кончается!»

Ну, и бросили. Распустили поясъ, которымъ она была при-

вязана, она и сползла сама; такъ на пескѣ и осталась одна сидѣть среди степи.

Мирза Кадргулъ очень доволенъ былъ этимъ походомъ. Первымъ дѣломъ, двухъ верблюдовъ, да не персидскихъ,—тѣ были худы очень,—а изъ своихъ велѣлъ отобрать, послалъ съ подарками къ хану. Это всегда пригодится, на всякій случай, больше для того, чтобы лишнихъ разговоровъ не было. Послѣ этого мирза байгу устроилъ: шестерыхъ барановъ зажарилъ и кумысу выставилъ столько, что всякъ пилъ, сколько ему въ горло лѣзло. Выпили-таки достаточно. Сама старшая жена мирзы Кадргула, старая Хаззаватъ, даже разсердилась, глядя на пустые козьи мѣха и, придя на свою половину, произнесла, указывая на гостей, лежавшихъ въ растяжку.

— Вѣдь не лопнули-же, обжоры проклятые!

И къ Батогову мирза Кадргулъ сталъ немного милостивѣй, не толкнулъ его рукояткою нагайки, когда тотъ сегодня утромъ держалъ ему стремя, а прежде безъ этого рѣдко обходилось; а потомъ велѣлъ дать ему то баранье ребро, которое унесла-было изъ котла хозяйская собака, да, спасибо, бабы во-время замѣтили и отняли.

Дня два погуляли всѣмъ ауломъ, а потомъ и опять принялись за свое обычное дѣло.

Такимъ образомъ, изо-дня въ день, изъ недѣли въ другую, тянулось безконечное время; то небольшой набѣгъ, то ушлютъ въ степь съ хозяйскими овцами, то погонятъ верблюдовъ, забредшихъ Богъ знаетъ куда, отыскивать, да добробы одного погнали, а то всегда съ кѣмъ-нибудь еще: боятся, чтобы не ушелъ. А куда уйдешь одинъ, пѣшкомъ въ этой безводной степи? Пройдешь верстъ тридцать, да и ляжешь въ изнеможеніи, а это все равно, что смерть: безъ воды не проживешь и сутокъ при такой жарѣ, что отъ горячаго песка лопается кожа на босыхъ ногахъ, а на голыхъ плечахъ чуть не пузыри вскакиваютъ. А поймаютъ, тогда еще хуже: или всю жизнь проведешь, какъ собака, на привязи, или просто зарѣжутъ подъ горячую руку.

А на ту бѣду и Юсупка, вотъ уже скоро двѣ недѣли,

словно сквозь землю провалился, то, бывало, онъ, хоть мимоходомъ, взглянетъ ласково, а иногда и буркнетъ подъ носъ, такъ, чтобы слышалъ только тотъ, кому слѣдуетъ:

— Погоди, тюра, Юсупка хорошую думу думаетъ, и какъ кончитъ думать, тогда *за дѣло* оба примемся...

И хорошо зналъ Батоговъ, о какомъ дѣлѣ намекалъ ему его вѣрный джигитъ.

Эта дружеская рѣчь, какъ свѣжій вѣтеръ разгоняетъ тучу, разгоняла мрачныя думы плѣннаго, и капля по каплѣ подливала масла въ эту закопченную отъ слишкомъ частаго употребленія лампадку надежды, начинавшую уже чадить и тухнуть.

Раза два такъ тяжело приходилось бѣдному Батогову, что онъ былъ близокъ къ самоубійству, и каждый разъ Юсупъ своимъ появленіемъ удерживалъ его, и въ немъ снова воскресали твердость и готовность бороться до конца, благо крѣпкое тѣло выносило всякую невзгоду.

Работники-киргизы, теперешніе товарищи Батогова, относились къ нему презрительно, съ какимъ-то озлобленіемъ, словно онъ отнималъ у нихъ хлѣбъ или подрывался подъ ихъ благосостояніе... Они смотрѣли на «русскую собаку» свысока: это былъ рабъ и только, а они—работники. Хотя дѣйствительной разницы было очень мало. Также, какъ и Батогова, такъ и любого Каримку, Малайку и Шафирку мирза Кадргулъ могъ запороть нагайками до смерти, могъ просто зарѣзать и никому не держать отвѣта. А относительно работы они были уравнены совершенно: также таскали воду изъ колодцевъ, также цѣлые дни ничего не дѣлали, лежа на брюхѣ въ степи на какомъ-нибудь барханѣ и поглядывая, какъ-бы бродяга волкъ не подкрался къ необозримымъ атарамъ хозяйскихъ барановъ.

Но эти работники были мусульмане; правда, такіе, что смѣшивали Магомета съ самимъ Аллахомъ, не знали ни одного стиха изъ корана, не видывали никогда даже этого корана, не знали вовсе, чѣмъ именно ихъ вѣра отличается отъ какой-либо другой, но знали только, что они мусульмане, правовѣрные, а онъ, извѣстно, «русская собака». Ну, и довольно.

Они гораздо ревностнѣй стерегли плѣнника, чѣмъ самъ его хозяинъ; и если-бы Батогову удалось убѣжать, то они сочли-бы это самымъ тяжелымъ личнымъ оскорбленіемъ.

Находясь вѣчно глазъ на глазъ съ плѣнникомъ, они со-

ставляли такую бдительную стражу, провести которую было почти невозможно; я говорю почти, потому что дѣйствительно невозможнаго существуетъ весьма немного.

Это препятствіе болѣе всего затрудняло и Батогова, и его изобрѣтательнаго Юсупа. Вотъ главная причина, почему мирза Юсупъ такъ долго обдумывалъ свою думу.

Только два исхода могла-бы имѣть попытка къ бѣгству: или полную удачу, или-же смерть. Средины не было вовсе.

Юсупъ находилъ еще, что, принимая все это въ соображеніе, дѣло дѣлать еще было не время.

Разъ вечеромъ, когда солнце только что сѣло и въ воздухѣ стало свѣжѣть, Батоговъ, съ большимъ козьимъ мѣхомъ на спинѣ, шелъ отъ колодцевъ, направляясь къ большой ставкѣ своего хозяина. Тяжелый мѣхъ, наполненный водою, сильно нагнулъ ему спину, и его босыя ноги выше щиколодки уходили въ сыпучій, еще неуспѣвшій остынуть песокъ.

Рядомъ съ нимъ ѣхалъ, на одномъ изъ добытыхъ ословъ, другой работникъ-киргизъ, перекинувъ черезъ сѣдло еще два, полныхъ водою мѣха.

По близости колодцевъ песокъ былъ очень сыпучъ и на немъ трудно было прочно установить кибитки и желомейки: изрѣдка налетѣвшимъ вѣтромъ вырывало небольшіе колки, и эти переносныя жилища легко могли быть снесены съ занимаемаго ими мѣста. По этой причинѣ аулъ расположенъ былъ нѣсколько поодаль, тамъ, гдѣ грунтъ былъ тверже и можно было вбивать колья для коновязей, у которыхъ стояли на привязяхъ хозяйскіе верховые кони.

Подходя ближе, Батоговъ замѣтилъ, что близъ ставки мирзы Кадргула стоятъ два усталыхъ коня, видимо, пришедшихъ издалека. Въ одномъ изъ этихъ коней онъ узналъ своего Орлика. Онъ такъ обрадовался, что разомъ прибавилъ шагу и, несмотря на свою тяжелую ношу, чуть не бѣгомъ пустился къ заднимъ кибиткамъ, гдѣ помѣщались жены мирзы Кадргула, по требованію которыхъ онъ и ходилъ къ колодцамъ.

Ѣхавшій съ нимъ киргизъ тоже подогналъ своего осла, удивился, откуда взялась прыть у «русской собаки», и сказалъ:

— Ты что-же это? Другой разъ я тебѣ два мѣха навалю. Ты сильнѣй моего осла.

Батоговъ опомнился и пошелъ тише.

*

Въ кибиткѣ у мирзы Кадргула собралось довольно многочисленное общество. Джигитъ мирза Юсупъ пріѣхалъ издалека, онъ, вѣроятно, новости привезъ, будетъ чего послушать... А кочевники вообще страстные любители новостей всякаго рода.

Не успѣлъ мирза Юсупъ слѣзть съ лошади, не успѣлъ онъ произнести обычное «аманъ», не успѣлъ ему тѣмъ же отвѣтить мирза Кадргулъ, вышедшій къ нему на встрѣчу, а уже вѣсть о пріѣздѣ джигита разнеслась по всему кочевью...

— Юсупъ пріѣхалъ.

— Какой Юсупъ?

— Джигитъ, что бѣжалъ отъ русскихъ.

— Ну!..

— Мирза Юсупъ!.. Гдѣ онъ остановился?..

— Эй! поѣдешь мимо, скажи Осману: Юсупъ пріѣхалъ.

Вотъ говоръ, который, почти съ быстротой электрической искры, пробѣжалъ отъ кибитки къ кибиткѣ, отъ аула къ аулу.

И вотъ всѣ, кто только могли, по своему положенію, войти гостемъ въ кибитку мирзы Кадргула, собрались послушать разсказъ пріѣзжаго джигита.

Полы большой хозяйской кибитки, широко и просторно разставленной на возвышенномъ мѣстѣ, были приподняты и вѣтеръ свободно проникалъ во внутренность жилища, освѣжая его душную атмосферу. Верхняя кошма была тоже откинута, и ровный, мягкій свѣтъ вечерняго неба, проникая сквозь рѣшетчатыя ребра крыши, сверху освѣщалъ сидящія полукругомъ оригинальныя фигуры. На главномъ мѣстѣ, на мягкомъ слоѣ ватныхъ одѣялъ, прислонившись спиною къ кибиточнымъ рѣшеткамъ, сидѣлъ самъ сановитый хозяинъ; неподалеку отъ него сидѣлъ мирза Юсупъ, еще не успѣвшій отряхнуть пыль съ своего верблюжьяго халата. Лицо его было тоже все въ пыли и закопчено, надъ правымъ вискомъ виднѣлся довольно значительный шрамъ, шрамъ новый; и когда кто-то, замѣтивъ эту новую прибавку, спросилъ:—А гдѣ это пророкъ послалъ тебѣ новую милость? — Юсупъ уклончиво отвѣчалъ: — Такъ, случай тутъ былъ неподалеку.

Мирза Юсупъ и всѣ гости успѣли уже рыгнуть по второму разу.

Рыганіе выражаетъ то, что гость вполнѣ удовлетворенъ угощеніемъ хозяина и наѣлся до послѣдней степени. Позабыть

рыгнуть значитъ показать себя человѣкомъ, совершенно не знающимъ приличія. Рыгать слишкомъ часто, это тоже могутъ принять за слишкомъ уже усиленную лесть, и потому тутъ тоже должна быть своего рода сноровка, которую и изучаютъ вмѣстѣ съ остальными правилами азіатскаго этикета.

Итакъ, гости рыгнули уже по второму разу. Мирза Кадргулъ погладилъ свою сѣдую, клинообразную бороду и велѣлъ убирать большое глиняное блюдо съ остатками вареной баранины. Въ настоящую минуту изъ рукъ въ руки переходила чашка съ крѣпкимъ кумысомъ, мастерски приготовленнымъ самою старою Хаззаватъ. Кумысъ этотъ пили небольшими глотками, иные цѣдили сквозь зубы, ухватившись жирными губами за края чашки. Красивый мальчикъ, лѣтъ четырнадцати, возился у тагана съ кальяномъ, раздувая въ его сѣткѣ горячіе уголья.

Вокругъ кибитки собралась большая толпа и всѣ старались протиснуться какъ можно ближе къ рѣшеткамъ, чтобы лучше слышать, о чемъ идетъ рѣчь въ жилищѣ мирзы Кадргула.

— Такъ ты говоришь, что двѣ тысячи кибитокъ?—спрашивалъ мирза Кадргулъ.

— Пожалуй, что и за третью хватитъ,—отвѣчалъ Юсупъ.—Снялись, говорятъ, еще въ прошломъ мѣсяцѣ; теперь должны уже къ самой Сыръ-Дарьѣ подходить.

— Отступники! одно имъ слово, — замѣтилъ одинъ изъ гостей, старый мулла Ашикъ.—И что ихъ тянетъ къ русскимъ? давно-ли отъ нихъ къ Хивѣ перебрались, а теперь опять къ нимъ перекочевали.

— А тогда другое было дѣло; тогда у нихъ въ Казалѣ какой гусь начальникомъ сидѣлъ!..

— Какой такой?

— Да совсѣмъ бѣшеный.

— Это Соболь-тюра, что-ли?

— Да, онъ. Отъ него и дальше Хивы забѣжишь. Мы слышали, въ ту пору и русскіе купцы куда-то собирались откочевывать.

— Ну что же, ханъ какъ?—спросилъ опять мирза Кадргулъ.—Сердитъ очень; вѣдь ему это чистый убытокъ?

— Да, прибыли мало; да какъ ихъ остановишь? силой не возьмешь. Вѣдь почти три тысячи кибитокъ, тоже свою силу

имѣютъ. Да опять-же и съ русскими не хочетъ ссориться. Сказано—не тронь, ну, онъ и не трогаетъ.

— Да,—вздохнулъ мирза Кадргулъ на всю кибитку, икнулъ и протянулъ руку за кальяномъ.

— Въ Бухару послы русскіе пріѣхали, — сказалъ мирза Юсупъ.

— Что такое еще?

— Да миръ настоящій затѣяли. Мозафаръ совсѣмъ въ дружбу къ нимъ лѣзетъ. На прошлой недѣлѣ еще, говорятъ, два конскихъ вьюка золота отправилъ къ ихнему губернатору.

— Эхъ!—вздохнулъ старый мулла Ашикъ,—не по нашимъ дорогамъ это золото ѣздитъ.

— Ну что же? всего себѣ не захватишь. Міръ-то, вѣдь, великъ,—замѣтилъ мирза Кадргулъ.

Кальянъ усиленно хрипѣлъ, переходя изъ рукъ въ руки; угасающіе уголья на таганѣ слабо потрескивали. Въ кибиткѣ на нѣсколько минутъ воцарилось полное молчаніе. Только слышно было, какъ тяжело дышала и перешептывалась толпа, вплотную налегшая на наружныя рѣшетки кибитки.

— Ну что,—наклонился къ хозяину Юсупъ, — этотъ у васъ какъ, не балуется?

Онъ показалъ на Батогова, мелькнувшаго близко, почти у самыхъ стѣнъ.

— Ничего, работникъ хорошій.

— То-то, хорошій, а вы его поберегайте, выкупу за него никакого не будетъ: простой сарбазъ; объ немъ, чай, и думать позабыли русскіе, а онъ вамъ, ежели не слишкомъ налегать будете, еще лѣтъ тридцать, какъ добрая лошадь, прослужитъ.

— Вчера въ степь за верблюдами ѣздили,—началъ мулла Ашикъ, — его тоже съ собой брали; лихо на конѣ ѣздитъ, получше кое-кого изъ нашихъ.

— Гм,—подумалъ Юсупъ,—посади его на добрую лошадь, хоть на Орлика, да дай ему оружіе хорошее, да и выѣзжайте, хоть по два на одного, тогда и увидите, что это за наѣздникъ. — Жаль вотъ только, — произнесъ онъ вслухъ, — что вѣра у нихъ эта... Если-бы его какъ есть въ нашу перевести.

— А что?—спросилъ мирза Кадргулъ.

— Я говорю потому, — сказалъ Юсупъ, — что онъ самъ говорилъ мнѣ какъ-то: — я-бы совсѣмъ въ вашу вѣру пере-

шелъ, мнѣ уже теперь о своихъ и забыть-то надо, если-бы только бить меня ни зачто, ни прочто перестали, да работы было-бы поменьше, а то иногда не подъ силу приходится.

— Не подъ силу приходится,—проворчалъ за стѣною киргизъ-работникъ;—небось, нынче меня такъ объ земь ахнулъ, что до сихъ поръ бока ломитъ.

— На соленыхъ болотахъ, у сайгачьяго рога, болѣзнь какая-то на барановъ пришла.

— Вотъ уже это бѣда наша совсѣмъ.

— Въ Темиръ-каикскихъ аулахъ колдуна зарѣзали.

— Это не желтаго-ли иранца?..

— Его самаго. Всѣхъ четырехъ женъ Курбакъ-бія перепортилъ. Самъ бій почти цѣлый годъ въ отлучкѣ былъ; пріѣзжаетъ, а онѣ всѣ вотъ какія ходятъ... (Юсупъ показалъ рукою на аршинъ отъ своего желудка)... А тамъ и посыпало!.. Одна такъ даже двухъ сразу.

Одна изъ женъ мирзы Кадргула, красивая Наръ-беби доставала изъ сундука, что стоялъ у дверей, какую-то одежду; услышавъ разсказъ, она повернула свое толстое, краснощекое лицо и стала внимательно вслушиваться.

— Ну, а съ женами что сдѣлали?

— Да жены чѣмъ-же виноваты?—замѣтилъ кто-то изъ гостей:—вѣдь это на нихъ иранецъ вѣтромъ надулъ...

Наръ-беби улыбнулась во весь ротъ, вся словно вспыхнула, и низко нагнулась надъ сундукомъ, выпятивъ, на соблазнъ всей публики, свои массивныя формы.

— А что?—началъ мирза Юсупъ,—мы вотъ давно изъ аула не выходили. Перекочевывать прійдется еще не скоро. Намъ-бы хоть неподалеку куда проѣздиться.

— Да куда, развѣ опять на персидскую границу?..

— Далеко...

— Ну, на Заравшанъ къ русскимъ?

— Ну, ихъ!—поспѣшилъ замѣтить мирза Юсупъ.—Народу всегда перебьютъ много нашего, а барыша совсѣмъ никакого:—какую-нибудь пару казачьихъ лошадей, а то и совсѣмъ ничего, а по кишлакамъ тамъ не много достанешь.

— Нѣтъ, вотъ я слышалъ, Садыкъ съ Назаръ-куломъ хорошія дѣла дѣлаютъ...

— У нихъ совсѣмъ другое дѣло.

Разговоръ на минуту прекратился. Въ кибиткѣ стало совсѣмъ темно, и мирза Кадргулъ зѣвнулъ довольно громко, прикрывъ ротъ рукавомъ своего халата. Около кибитки, гдѣ собрались женщины, только-что подоившія кобылъ и перелившія молоко въ турсуки, слышалось что-то вродѣ пѣсни и тихо брянчали струны сааза.

Батоговъ снималъ на ночь попоны съ двухъ верховыхъ лошадей мирзы Кадргула и отчищалъ имъ копыта, усердно ковыряя тупымъ ножомъ засоренныя подковы.

— Здравствуй, тюра!—раздался сзади него тихій голосъ.

Батоговъ обернулся. Юсупъ стоялъ въ двухъ шагахъ и смотрѣлъ вовсе не на него, а на чолки лошадей, какъ-бы разсматривая хитро заплетенныя косички.

— Здравствуй, Юсупъ, что хорошаго?—сказалъ Батоговъ и сказалъ такъ тихо, что, казалось, только самъ себя могъ слышать, и еще усерднѣе принялся за свое дѣло.

— Ну, теперь нельзя, а скоро хорошо будетъ,—произнесъ Юсупъ, поглядывая небрежно вверхъ на звѣзды, и побрелъ дальше, сдѣлавъ видъ, что только такъ, мимоходомъ, завернулъ взглянуть на красивыхъ жеребцовъ мирзы Кадргула.

II.

Кого видѣлъ Батоговъ въ сосѣднемъ аулѣ, когда ѣздили за камышомъ.

Ночь была темная. Мало-по-малу говоръ и шумъ движенія затихли въ уснувшемъ аулѣ. Чуть краснѣлись во мракѣ верхи открытыхъ кибитокъ и у колодцевъ мелькала красная, мигающая точка небольшого костра.

Изъ степи доносились какіе-то неопредѣленные звуки: то будто-бы волчій вой, то будто-бы ревъ и кряхтѣнье верблюда, то словно далекое ржанье лошади, то что-то еще, чего даже привычное ухо киргиза понять было не въ состояніи. Что-то крылатое носилось въ воздухѣ, мелькая красною точкою въ то мгновеніе, когда оно налетало на тотъ чуть замѣтный столбъ красноватаго свѣта, который отбрасывали отъ себя еще неугасшіе уголья на таганахъ, внутри кибитокъ.

Верблюды тяжело вздыхали и, лежа другъ подлѣ друга,

терлись своими облѣзлыми боками; лошади жевали ячмень, отфыркиваясь въ торбы; кое-гдѣ слышенъ былъ человѣческій храпъ. Въ сосѣдней кибиткѣ тихо, но бойко перебранивались между собою неугомонныя киргизки.

Батоговъ сдѣлалъ все уже, что было нужно, работа его дневная, наконецъ-то, была покончена, и онъ свернулся на своемъ войлокѣ, около той кибитки, которая предназначена была для работниковъ. Около него, съ одной стороны, спалъ киргизъ-работникъ и бредилъ о чемъ-то во снѣ, съ другой стороны сидѣлъ тотъ работникъ, что испыталъ на себѣ силу русскаго плѣнника; онъ зѣвалъ во весь ротъ и усиленно скребъ себѣ ногтями давно не бритую голову, силясь отдѣлаться отъ несноснаго зуда. Въ этихъ слежавшихся, прѣлыхъ кошмахъ временемъ накопилось довольно-таки разныхъ паразитовъ, и нужна была сильная усталость, почти изнеможеніе, чтобы заснуть, пренебрегая этимъ неудобствомъ.

Батогову не спалось, несмотря на то, что онъ не сидѣлъ цѣлый день сложа руки. Нѣтъ, съ ранняго утра онъ пѣшкомъ ходилъ верстъ за десятъ въ степь: надобно было пригнать оттуда двухъ барановъ для хозяйскаго обихода, потомъ ѣздилъ онъ съ другими за камышомъ, на полувысохшія соляныя болота, что лежали на востокѣ верстъ за двадцать отъ стоянки. Вернулись почти къ вечеру, да и тутъ еще четыре турсука воды надо было принести, а колодцы были не близко. Лошадей надо было убрать въ свое время, а потомъ старая Хаззаватъ велѣла котелъ мыть, за которымъ вдвоемъ они провозились вплоть до самой темноты. Такъ послѣ всего этого, кажется, могъ-бы уснуть утомившійся плѣнникъ, и никакіе паразиты ему-бы не помѣшали, но тутъ была причина этой безсонницы. Юсупъ сказалъ ему: «скоро дѣло дѣлать будемъ». И эта короткая фраза вызвала у него цѣлый рядъ самыхъ жгучихъ, самыхъ лихорадочныхъ думъ. А тутъ еще другая причина оказалась. Когда ѣздили за камышомъ, пришлось проѣзжать мимо сосѣдняго аула, въ который Батогову до сихъ поръ не приходилось заглядывать... Проѣхали, останавливались у одной кибитки: одинъ изъ работниковъ мирзы Кадргула дѣло имѣлъ къ кому-то изъ здѣшнихъ. Постояли, поговорили и дальше поѣхали.

Ничего особеннаго въ этомъ аулѣ не было; аулъ, какъ аулъ, такой-же точно, какъ и ихній, тѣ-же кибитки, тѣ-же

загоны; развѣ только то, что этотъ совсѣмъ спрятался въ лощинѣ, а ихъ стоитъ на высокомъ мѣстѣ, верстъ за пятнадцать въ хорошую погоду видно. Но Батоговъ успѣлъ замѣтить въ этомъ аулѣ то, на что, казалось, не обратили вовсе вниманія его спутники.

У одной изъ кибитокъ, стоявшихъ нѣсколько поодаль отъ прочихъ, полы были совсѣмъ закинуты наверхъ; тростниковая загородка (такъ называемая «чіи») была снята и лежала въ сторонѣ. Она была сильно изломана вѣтромъ, налетѣвшимъ наканунѣ, и ее, должно быть, собирались чинить. Сквозь крупную рѣшетку видно было все, что дѣлается внутри этой кибитки. Тамъ сидѣло нѣсколько женщинъ; онѣ заняты были плетеніемъ громаднаго пестраго ковра. По ихъ костюмамъ, по довольно чистымъ, бѣлымъ тюрбанамъ, навороченнымъ на головахъ, по бусамъ, украшавшимъ ихъ потныя шеи, наконецъ, по мѣднымъ серьгамъ, вдѣтымъ, по туземной модѣ, въ ноздри, и по тому свободному говору и смѣху, который раздавался въ кибиткѣ, заглушая даже стукъ катушекъ, намотанныхъ цвѣтною шерстью, можно было видѣть, что тутъ были все госпожи, хозяйки; рабынь между ними не было. Женщины взапускъ, жевали изюмъ и щелкали фисташки и другія подобныя сласти, не давая отдыха ни своимъ языкамъ, ни своимъ бѣлымъ, ярко-сверкавшимъ при каждой улыбкѣ челюстямъ.

Ихъ говоръ и смѣхъ заставилъ Батогова повернуть голову, но не онѣ остановили и сосредоточили его вниманіе.

Снаружи, на самомъ припекѣ, въ сторонѣ отъ той тѣни, которую отбрасывала отъ себя кибитка, стояла женщина, еще молодая, должно быть, очень красивая, если можно было отыскать бывшую красоту въ этомъ блѣдномъ, истощенномъ лицѣ, въ этихъ впалыхъ глазахъ, окруженныхъ темною синевою... Грязная, изорванная холщевая рубаха до колѣнъ, — единственный костюмъ этой женщины, — едва прикрывала ея изнуренное тѣло. Это тѣло, худое, слабое, было совсѣмъ другого цвѣта, чѣмъ бронзовое, словно дубленая кожа киргизокъ. Несмотря на слой грязи, несмотря на сильный загаръ, можно было видѣть, что это было бѣлое тѣло.

Эту нельзя было назвать хозяйкой; эта была то-же, что и Батоговъ.

Не трудно было убѣдиться въ этомъ, глядя, какъ ея тонкія

руки устало, какъ-бы нехотя, приподнимали и опускали тяжелый деревянный пестъ, которымъ она толкла просо, засыпанное въ высокую деревянную ступу

Когда она пріостанавливалась и бросала на минуту свою тяжелую механическую работу для того, чтобы обтереть съ лица потъ рукавомъ своей рубахи, или-же поправить рукою свои растрепанныя, длинныя, черныя, какъ уголь, косы, изъ кибитки тотчасъ-же возвышался визгливый, злой голосъ, кричавшій:

— Ну, ты тамъ, дохлая кляча, не хочешь-ли лучше совсѣмъ бросить? Только-бы спать, лѣнивая сволочь.

А другой голосъ добавлялъ:

— Только и дѣло дѣлаютъ, пока ихъ колотишь. Я объ *свою* совсѣмъ всѣ руки обколотила...

Больно кольнуло въ сердце Батогова при взглядѣ на эту работницу, и эта новая боль совсѣмъ заглушила его прежнія страданія.

— Не я одинъ,—думалъ онъ:—можетъ быть, въ каждомъ аулѣ найдется такая-же, какъ она, такой-же, какъ я, горемыка.

Ему хотѣлось подъѣхать къ ней поближе, хотѣлось заговорить съ нею; «она, вѣрно, заговоритъ по-русски», думалъ онъ; хотѣлось разспросить ее о многомъ...

Онъ видѣлъ, какъ широко, изумленно взглянули глаза несчастной, когда топотъ проѣзжавшихъ лошадей заставилъ ее поднять голову. Ему показалось даже, что эти глаза узнали его; если не его лично, то, по крайней мѣрѣ, догадались, что видятъ передъ собою товарища, брата по одинаковымъ страданіямъ...

— Ну, ну, отставай!—крикнулъ на него киргизъ, ѣхавшій сзади, крикнулъ и чѣмъ-то замахнулся.

— На дѣвокъ заглядывается тоже, — замѣтилъ другой и засмѣялся сквозь зубы.

Когда пришлось возвращаться назадъ, Батоговъ пристально, съ сосредоточеннымъ вниманіемъ, присматривался кругомъ, ко всѣмъ группамъ, мелькавшимъ между кибитокъ, ко всѣмъ отдѣльнымъ фигурамъ, занятымъ каждая своимъ дѣломъ. Онъ думалъ опять увидѣть ту-же женщину, ему хотѣлось опять взглянуть на нее; но сколько онъ ни глядѣлъ, приподнимаясь на высокихъ стременахъ своего сѣдла, высовывая голову изъ-за гро-

мадныхъ споповъ камыша, привьюченныхъ съ обѣихъ сторонъ его лошади, онъ не видѣлъ никого, хотя сколько-нибудь похожаго на эту страдалицу.

Да видѣлъ-ли онъ ее? Можетъ быть, это воображеніе, больное, разстроенное, нарисовало ему этотъ призракъ?.. Нѣтъ, вотъ та самая кибитка, вотъ и ступка стоитъ на томъ-же самомъ мѣстѣ вотъ пестъ лежитъ... А вотъ и еще что-то лежитъ маленькое, скорченное, покрытое съ головою какою-то рваной конской попоной, лежитъ и тихо стонетъ...

Вотъ объ этой-то встрѣчѣ и думалъ теперь Батоговъ, лежа въ растяжку, навзничь, закинувъ руки за голову, неопредѣленно уставясь глазами въ темное ночное небо, по которому, изъ конца въ конецъ, безпрерывно черкали блестящія падающія звѣзды.

Кто она? откуда? Давно-ли томится здѣсь, оторванная отъ всего, что только было ей близко?.. Эти вопросы больше занимали голову Батогова, чѣмъ даже фраза его Юсупки, снова вызвавшая томительныя иллюзіи близкаго освобожденія.

Какъ узнать все это, какъ отыскать ее, у кого разспросить объ ней, если не придется ее увидѣть снова? А какъ хотѣлось ему опять увидѣть это страдальческое лицо!.. Если-бы Батогову предложили на выборъ—или бѣжать сейчасъ, или-же отложить побѣгъ еще на цѣлый годъ, но зато въ это время обѣщать ему возможность видѣть и говорить съ плѣнницей сосѣдняго аула,—онъ не задумываясь выбралъ-бы второе.

— Развѣ попросить Юсупа: онъ все узнаетъ, ему это такъ легко устроить; онъ мнѣ разскажетъ,—рѣшилъ, наконецъ, Батоговъ; и съ этимъ рѣшеніемъ онъ сталъ дожидаться утра.

Онъ отползъ подальше отъ общей кошмы, на которой спали работники.

— Ты куда это?—спросилъ его рядомъ лежащій, и спросилъ такимъ голосомъ, что Батоговъ сразу не догадался ему-ли это говорятъ, или-же онъ слышитъ безсознательный бредъ спящаго.

Онъ снялъ съ себя рубаху, сильно встряхнулъ ее и надѣлъ снова. Онъ легъ прямо на песокъ, потерся объ него немного сильно чесавшимся тѣломъ, и скоро его начала одолѣвать тяжелая дремота.

— Ты чего это ушелъ-то?—снова слышится тотъ же голосъ. Батоговъ не отвѣчалъ.

Темная фигура приподнялась, пристально на него посмотрѣла, приподнялась еще больше и разомъ запрокинулась навзничь.

— Экъ стерегутъ какъ, черти!—подумалъ про себя Батоговъ,—и что имъ за прибыль такая?.. Тоже, вѣдь, рабочая скотина, какъ и я... —И онъ началъ притворно храпѣть, чтобы избавиться отъ дальнѣйшихъ разспросовъ.

Чуть-чуть разсвѣтало, а уже половина аула была на ногахъ; даже самъ мирза Кадргулъ выглянулъ на минуту, заспанный, изъ дверей своей кибитки; выглянулъ больше для того, чтобы показать, кому слѣдуетъ знать о томъ, что хозяинъ уже проснулся. Заспанное, немного сердитое лицо мирзы снова скрылось за узорною кошмою и дверь плотно опустилась на свое мѣсто.

Батоговъ увелъ хозяйскихъ жеребцовъ къ колодцамъ, и опять не одинъ, а съ другими. Онъ захватилъ съ собою и лошадей мирзы Юсупа, который, не выходя изъ кибитки, закричалъ ему:

— Эй ты, захвати и моихъ съ собою, все равно за однимъ разомъ ходить къ колодцамъ...

Юсупъ выругался при этомъ, да такъ обидно выругался, что всѣ работники расхохотались, услышавъ такое хорошее слово.

— Ахъ ты, свинья эдакая,—подумалъ Батоговъ и пошелъ отвязывать лошадей мирзы Юсупа, погладивъ при этомъ своего Орлика, который весело заржалъ при приближеніи плѣннаго.

Умная лошадь всегда привѣтствовала Батогова ржаніемъ, привычка, которая весьма не нравилась мирзѣ Юсупу, привычка, на которую какъ-то подозрительно смотрѣли замѣтившіе это обстоятельство работники.

Спустя полчаса послѣ того, какъ угнали лошадей къ водопою, Юсупъ вышелъ совсѣмъ одѣтый и вооруженный словно въ дальнюю дорогу, сердито поглядѣлъ кругомъ, словно отыскивая кого-то глазами, и проговорилъ громко, такъ что во всѣхъ концахъ аула слышали:

— Ишь ты, собака паршивая, сколько времени у колодцевъ толчется!

— Да ты, мирза, куда собираешься, что-ли? — спросилъ Кадргулъ, не выходя изъ кибитки.

— Туъ неподалеку, въ аулъ къ Ахмету надо съѣздить,— отвѣчалъ Юсупъ. — Пойти развѣ навстрѣчу?—произнесъ онъ какъ-бы про себя и быстро зашагалъ къ колодцамъ, надъ которыми, несмотря на утреннюю росу, стояла густая пыль, и въ этой пыли смутно сливались: ревъ верблюдовъ, ржанье лошадей, унылое блеяніе овецъ и громкіе отдѣльные возгласы погонщиковъ.

Небольшая вереница всадниковъ выдѣлилась изъ этого пыльнаго облака; то были наши работники, которые маленькою рысцею вели лошадей съ водопоя.

Мирза Юсупъ шибче зашагалъ имъ навстрѣчу.

— Эй ты!—крикнулъ онъ Батогову, когда они поровнялись,—давай лошадей сюда!

Батоговъ свернулъ немного въ сторону; остальные работники поѣхали шагомъ, однако все-таки поѣхали, а не остановились вовсе, и на нѣсколько минутъ Батоговъ очутился совершенно наединѣ, глазъ на глазъ, съ своимъ преданнымъ джигитомъ.

— Поверни сюда лошадь! стремя подержи!—кричалъ онъ громко. — Слушай, тюра, — произнесъ онъ почти шопотомъ (Юсупъ весь разговоръ велъ довольно оригинально: то говорилъ тихо, едва слышно, то кричалъ такъ, что его за версту всѣ могли слышать; при этомъ онъ сильно жестикулировалъ руками и раза два, ни съ того, ни съ сего, замахивался нагайкою).— Слушай, тюра, черезъ три дня мирза Кадргулъ опять на персидскую границу выступаетъ; тебя хочетъ взять съ собою, не ѣзди... Да держи-же поводъ крѣпче, чортова голова... Скажи, что боленъ, ногу обрѣжь себѣ что-ли... Ахъ ты, собака паршивая!.. А я поѣду: мнѣ надо. Здѣсь меня дожидаться будешь... И какъ это тебя не бить, скота эдакаго!.. Новая луна какъ поднимется, тогда дѣло дѣлать будемъ; я все уже узналъ, что нужно, и дорогу нашелъ настоящую... А этого хочешь! — (Юсупъ съ размаха ударилъ нагайкою по сѣдлу). — Я этого и ѣздилъ эти двѣ недѣли,—добавилъ онъ тихо.

Джигитъ медленно, съ достоинствомъ, взбирался на сѣдло. Батоговъ, подавая ему поводья отъ другой лошади, успѣлъ сообщить ему въ это время о той женщинѣ, которую встрѣтилъ въ сосѣднемъ аулѣ, и просилъ Юсупа узнать объ ней все, что только было можно.

Подозрительно поглядѣлъ Юсупъ на своего тюра, сказалъ, что узнать можно, что узнать, пожалуй, не трудно, да только время-ли о чужой головѣ думать, когда свою поскорѣе уносить надо...—Выругалъ еще разъ громко Батогова, примѣрно ткнулъ въ загривокъ и съ мѣста въ карьеръ поскакалъ въ сторону, долго еще мелькая вдали своимъ краснымъ халатомъ. А Батоговъ побрелъ пѣшкомъ въ аулъ, гдѣ уже поднимались высокіе столбы дыма: тамъ варили баранью шурпу (родъ похлебки) на завтракъ проголодавшимся джигитамъ.

Днемъ Батоговъ не видалъ своего Юсупа; онъ цѣлый день пропадалъ гдѣ-то и только поздно ночью вернулся въ аулъ мирзы Кадргула.

Весь день нетерпѣніе мучило бѣднаго плѣнника. Недаромъ такъ болѣзненно отозвался на немъ тотъ страдальческій взглядъ, которымъ встрѣтила его работница въ сосѣднемъ аулѣ. У него сердце сжалось отъ какого-то страннаго предчувствія. Въ его мозгу копошилась страшная догадка.

Этотъ день также монотонно прошелъ, какъ и другіе, и когда ночью мирза Юсупъ, проходя мимо Батогова, сказалъ ему:—«Юсупка все узналъ. Будетъ завтра случай и тюра все узнаетъ»,—то Батоговъ, совершенно забывшись, рванулся къ нему съ распросами, но тотчасъ-же опомнился, увидя, какъ его Юсупка спокойно пошелъ дальше, не обращая никакого вниманія на волненіе Батогова.

III.

Наръ-Беби.

Въ это утро обычныя тревоги просыпающагося аула приняли какой-то особенный, оживленный характеръ.

Еще наканунѣ пастухи, пригнавшіе отары съ пастбищъ, и еще кое-кто изъ сосѣдей, что кочевали близъ соленыхъ озеръ, говорили, что на этихъ затонахъ, въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ вода несовсѣмъ еще испарилась во время жаркаго лѣта, слетѣлось много разной болотной и озерной дичи, прилетѣвшей съ далекаго сѣвера.

Подходило время осенняго перелета, и эти кое-гдѣ разбросанныя цѣпи солонцеватыхъ озеръ, почти затерявшіяся въ

громадныхъ степяхъ, выжженныхъ солнцемъ, обрамленныя непроходимыми трясинами, поросшія тростникомъ и осокою, служили станціями для безчисленныхъ птичьихъ стай, изнуренныхъ далекими перелетами надъ безводною, сухою равниной. Дальше, за этими озерами, опять безконечныя степи, тамъ за ними величавая, покойная Аму-Дарья, за нею благодатныя теплыя страны; а пока, въ ожиданіи этого раздолья, сойдутъ и эти полувысохшія лужи, дающія возможность поплескаться и понырять безчисленнымъ утинымъ стаямъ, и некому здѣсь тревожить этихъ кочевыхъ птицъ; развѣ какіе-либо сосѣдніе аулы вышлютъ своихъ джигитовъ порыскать съ соколами вокругъ соляныхъ озеръ, не слишкомъ близко, впрочемъ, подбираясь къ ихъ топкимъ берегамъ. А тотъ ущербъ, который нанесутъ несмѣтнымъ крылатымъ легіонамъ десятокъ другой узкоглазыхъ охотниковъ, не слишкомъ-то тревожитъ птицъ, и спокойно опускаются онѣ шумящими стаями на эти гладкія водныя поверхности, на эти илистыя, топкія трясины, богатыя всякою земноводною снѣдью.

Спокойно, чинно, съ достоинствомъ бродятъ между кочками длинные журавли; одинъ за другимъ погружаютъ они свои длинные носы въ илистую грязь, выхватываютъ оттуда что-то живое, сильно трепещущееся, глотаютъ пойманное, запрокинувъ кверху голову, снова суютъ носы въ грязь, пока не нажрутся до пресыщенія, до того, что равнодушно смотрятъ на какую-нибудь маленькую, бойкую, всю въ яркихъ крапинкахъ лягушку, прыгающую у нихъ чуть-чуть что не подъ самымъ носомъ: тогда они, совершенно успокоенные, станутъ на одной ногѣ длинными рядами на самомъ краю затоновъ и, словно ряды неподвижныхъ солдатиковъ, уставятся въ воду, созерцая тамъ свои собственныя отраженія.

Стаи утокъ, подвернувъ головы подъ крылья, плотно прижавшись другъ къ другу, дремлютъ на поверхности лужъ, и не видно воды подъ этою живою массою, испещренною золотисто-зелеными и ярко-бѣлыми пятнами.

Поднимая тысячи брызгъ, взмахивая громадными бѣлыми крыльями, вытянувъ тонкія красивыя шеи, взлетаютъ величавые лебеди и, пролетѣвъ нѣсколько десятковъ шаговъ, стелясь надъ самыми зарослями, задѣвая камни въ своемъ могучемъ размахѣ, съ шумомъ опускаются на воды сосѣдняго затона. И

долго еще надъ водою носится плескъ и гулъ, словно неподалеку дружно работаютъ невидимыя водяныя мельницы.

Привольно было-бы охотнику бродить по этимъ заповѣднымъ болотамъ, подкрадываться къ этимъ стаямъ, ненапуганнымъ еще ружейными выстрѣлами, но только прежде надо изучить тѣ немногія узкія, словно протянутыя жердочки, тропинки, которыя, пожалуй, еще могутъ выдержать незначительную тяжесть одинокаго охотника. Случайно сплетшіеся корни и стебли осоки, рѣдкаго тальника и камыша образовали эти опасные предательскіе пути, и горе тому, чья нога сорвется съ подобной тропинки. Горе тому, кто, обманувшись кажущейся прочностью сосѣдней кочки, прыгнетъ на нее, разсчитывая съ нея прыгнуть на другую, тамъ на третью и, такимъ образомъ, мало-по-малу, пробраться вонъ къ тому водному пространству, что свѣтлою чертою серебрится сквозь дальнія камышевыя заросли. Невѣрно ступившая нога уходитъ все глубже и глубже, ее словно засасываетъ какая-то странная подземная сила; бьется и барахтается неосторожный, хватаясь за окружающіе его стебли, эти стебли остаются у него въ рукахъ, вырванные съ корнями, быстрое движеніе еще болѣе разбиваетъ жидкую, бездонную грязь, и счастливъ, тысячу разъ счастливъ тотъ, кому удастся снова выкарабкаться на прежнюю тропу, и уже ни за-что не рѣшится онъ во второй разъ повторить такой, до нельзя рискованной попытки.

Случалось, что верблюдъ, испуганный волкомъ, неожиданно завывшимъ за тѣми барханами, охваченный паническимъ ужасомъ, забѣжитъ въ эти трясины. Долго бьется и пронзительно, чуть не на всю степь реветъ отъ страха несчастное животное, силясь вырваться изъ этой засасывающей топи, и чѣмъ сильнѣе бьется оно, тѣмъ быстрѣе погружается въ илистую массу пока она совершенно не поглотитъ и это горбатое туловище, и эту искаженную ужасомъ, мохнатую голову, которая, вытянувшись на длинной шеѣ, до послѣдняго мгновенія держится на предательской поверхности. А приди кто черезъ часъ взглянуть на это мѣсто страшной борьбы за жизнь, — и что онъ увидитъ? Ту-же слегка изрытую топь, тѣ-же кочки, мохнатыя, неподвижныя, тотъ-же камышъ, колеблющійся отъ вѣтра, и никакихъ признаковъ томительной, страшной катастрофы,— и недоумѣваетъ прискакавшій на помощь киргизъ, что-же

это ревѣло такъ, вотъ тутъ, словно какъ на этомъ самомъ мѣстѣ?..

Сколько джигитовъ потеряли своихъ коней на этихъ болотахъ! И эти безчисленныя птичьи стаи словно знаютъ, какія непроходимыя преграды отдѣляютъ ихъ отъ человѣка, и спокойно смотрятъ онѣ вдаль на этихъ немногихъ всадниковъ, что ярко-красными точками мелькаютъ по окраинамъ, между рѣдкихъ, полувыжженныхъ зарослей.

Временемъ осенняго перелета киргизы, страстные любители соколиной охоты, пользуются для того, чтобы попытать удаль своихъ ученыхъ, притравленныхъ птицъ, и поразнообразить хотя немного свой столъ, замѣнивъ дичью вѣчно одну и ту-же конину, да баранину.

И вотъ, сегодня, мирза Кадргулъ собирался, чуть не всѣмъ ауломъ, на охоту съ соколами и выѣзжалъ для того на соляныя озера. Предполагали уѣхать верстъ за сорокъ отъ мѣста стоянки, а потому мирза Кадргулъ, разсчитывая не одинъ день позабавиться этой охотой, велѣлъ перевезти на мѣсто охоты нѣсколько запасныхъ кибитокъ, съ которыми и возились женщины, сворачивая кошмы, увязывая въ пучки ребра телѣги (боковыя рѣшетки) и остальное дерево и навьючивая все это на верблюдовъ, еще наканунѣ приведенныхъ изъ степи.

Всѣхъ всадниковъ собралось человѣкъ около тридцати. Это было почти все населеніе просторно разбросаннаго аула. Всѣ выѣхали на своихъ лучшихъ лошадяхъ, одѣтые въ новые цвѣтные халаты. Лица у всѣхъ смотрѣли какъ-то весело, празднично. Оружія съ собою не забирали много,—что, молъ, оно только даромъ за спиною болтаться будетъ, однако, шашку на всякій случай и неизбѣжные ножи захватили съ собою. Только одинъ мирза Юсупъ, который даже изъ кибитки не выходилъ никогда иначе, какъ будто-бы на войну собирался, былъ и теперь вооруженъ отъ головы до самыхъ пятокъ; за спиною у него было ружье его диковинное, что по два раза сразу стрѣляетъ, а пистолеты съ нимъ были такіе, что, какъ начнутъ стрѣлять, и счета нѣтъ тѣмъ выстрѣламъ, а самъ мирза Юсупъ въ это время только пальцемъ пошевеливаетъ.

Борзыя собаки подняли вой, глядя на сбирающихся всад-

никовъ, и путались между лошадьми, съ веселымъ, заигрывающимъ лаемъ, прыгая чуть не на сѣдла къ своимъ хозяевамъ.

Ученыя птицы сидѣли на плечахъ джигитовъ или на крашеныхъ палкахъ, прилаженныхъ за плечами въ родѣ коромысла; соколы, беркуты и маленькіе охотничьи ястребки чуть слышно гремѣли металлическими бубенчиками, привязанными къ ихъ мохнатымъ лапкамъ. Всѣ они были на привязяхъ, отъ которыхъ освобождались только по волѣ джигита, завидѣвшаго подходящую добычу.

У самой ставки мирзы Кадргула красивый рыжій жеребецъ рылъ ногою землю отъ нетерпѣнія и, зажавъ уши, злобно косился на толпу, грызя желѣзныя удила своей разукрашенной уздечки. Батоговъ его оглаживалъ и внимательно осматривалъ сѣдловку, стараясь не пропустить чего-нибудь такого, за что могло-бы достаться отъ хозяина его спинѣ или затылку. Однако, все обошлось благополучно.

Мирза Кадргулъ вышелъ, степенно оглянулся по сторонамъ, оправилъ поясъ, увѣшанный безчисленными кошельками, подтянулъ штаны, не торопясь влѣзъ на сѣдло и сталъ разбирать поданные ему поводья.

Всадникъ за всадникомъ, маленькими группами, а чаще просто по-одиночкѣ, стали выбираться джигиты изъ аула. Солнце только-что еще взошло, въ воздухѣ было прохладно, застоявшіеся кони горячились.

Мало-по-малу всѣ всадники скрылись изъ вида, и аулъ опустѣлъ, только близъ ставки мирзы Кадргула возилась краснощекая Наръ-Беби, довьючивая съ работниками послѣдняго верблюда.

Черезъ полчаса небольшой караванъ съ тремя женщинами и четырьмя работниками, позванивая колокольчиками и погремушками, потянулся изъ аула вслѣдъ за уѣхавшими джигитами. Уздечки у всѣхъ верблюдовъ были украшены ярко-красными шерстяными султанчиками, которые торчали какъ разъ между ушей животныхъ. Это означало, что верблюды были не какого-нибудь простого киргиза, а принадлежали самому мирзѣ Кадргулу.

Въ этомъ караванѣ, въ числѣ четырехъ работниковъ, находился Батоговъ, котораго краснощекая Наръ-Беби выбрала себѣ сама на подмогу при разстановкѣ и уборкѣ кибитокъ.

---

*

Караванъ шелъ въ такомъ порядкѣ: на переднемъ верблюдѣ ѣхалъ работникъ, сидя на горбахъ, между двухъ громадныхъ свертковъ кибиточныхъ кошемъ. На второмъ верблюдѣ сѣдло было совсѣмъ особеннаго устройства; оно было въ видѣ четыреугольной, плоской корзинки, на углахъ которой поднимались аршина на полтора пучки камыша, а на верхушкахъ этихъ пучковъ прилажены были султаны изъ конскаго волоса и красной шерсти. Въ этой корзинкѣ сидѣла одна изъ женъ мирзы Кадргула; рядомъ ѣхала верхомъ на лошади другая женщина; за ними шли два верблюда, на которыхъ были навьючены телѣга и крыши кибитокъ; пучки крашенныхъ прутьевъ странно топорщились и гремѣли при каждомъ шагѣ животныхъ. На этихъ-же верблюдахъ были прилажены два большихъ, закопченныхъ котла и шерстяной мѣшокъ съ рисомъ и прочей провизіей. За верблюдами, нѣсколько поотставъ, шелъ пѣшкомъ Батоговъ, онъ только одинъ былъ пѣшій, между тѣмъ какъ остальные работники гарцовали верхомъ, держась по близости каравана. Батоговъ велъ въ поводу четвертаго приземистаго, мохнатаго двугорбаго верблюда, почти бѣлаго, покрытаго цвѣтнымъ ковромъ и украшеннаго большимъ, глухо-звонящимъ колоколомъ. На верблюдѣ этомъ сидѣла Наръ-Беби, просто верхомъ, широко раздвинувъ свои ноги и раскачивая на ходу всѣмъ своимъ жирнымъ туловищемъ. Однообразная, колеблющаяся походка верблюда, казалось, усыпляла ее; она сильно сопѣла носомъ, прихрапывала, только прищуренные, черезчуръ уже масляные глаза ея какъ-то странно посматривали на молодцоватую фигуру шагающаго передъ нею Батогова.

Онъ былъ въ однихъ только кожаныхъ шароварахъ, безъ рубашки, и его мускулистое, здоровое тѣло, несмотря на сильный загаръ и слой грязи, все-таки рѣзко отдѣлялось своею относительною бѣлизною отъ темно-бронзовой, словно дубленой кожи прочихъ работниковъ.

Вдругъ Батоговъ почувствовалъ, что объ его спину что-то очень легко щелкнуло, словно въ него бросили чѣмъ-то... Сперва онъ не обратилъ вниманія на это обстоятельство, но, вотъ, спина его опять ощутила на себѣ повтореніе того-же удара, удара мягкаго, такого, который ясно говорилъ, что бьющая рука вовсе не желала произвести болѣзненное ощущеніе, а просто требовала, чтобы на нее обратили вниманіе.

Батоговъ быстро обернулся. Широкій ротъ Наръ-Беби какъ-то особенно выразительно улыбался, она смотрѣла вдаль, немного отвернувшись въ сторону, и вытирала пальцами что-то подъ носомъ.

— Ишь ты,—подумалъ Батоговъ, — никакъ заигрываетъ?

Онъ пошелъ немного тише, такъ что очутился не впереди верблюда а рядомъ, у самаго плеча животнаго, которое вовсе не требовало, чтобы его тащили за поводъ, и бойко шло впередъ, пошлепывая отъ скуки своими отвислыми пѣнящимися губами.

Маневръ Батогова, вѣроятно, очень понравился Наръ-Беби, потому что онъ тотчасъ-же почувствовалъ, какъ острый носокъ краснаго сафьяноваго сапога уперся ему слегка въ плечо, а потомъ началъ легонько, по кошачьи, щекотать ему шею.

Батоговъ опять обернулся. Наръ-Беби быстро отдернула ногу, осклабилась, разстегнула воротъ своей рубахи и внимательно занялась какою-то охотой у себя за пазухой. Скоро она такъ увлеклась этой ловлей, что, казалось, вовсе не замѣчала, какъ, мало-по-малу, у ней обнажалась грудь, и ея красная кумачная рубаха сползла уже съ одного плеча, скользя по ожирѣлымъ, потнымъ формамъ степной красавицы.

Батоговъ искоса взглянулъ и отвернулся. Черезъ секунду онъ снова почувствовалъ на своей шеѣ прикосновеніе сапога.

— А что,—подумалъ онъ,—развѣ и въ самомъ дѣлѣ попробовать завести интригу, благо сама напрашивается?

И онъ, приноровившись, ловко поймалъ рукою эту шаловливую ногу и слегка притиснулъ ее.

Наръ-Беби тихо засмѣялась и произнесла вполголоса:

— Эге! Да ты знаешь, съ чего начинать нужно? (поговорка, равносильная нашей: «гдѣ раки зимуютъ»)...

— Тоже вѣдь не маленькій, — отвѣчалъ Батоговъ также тихо и шагнулъ немного впередъ. Ему показалось, что одинъ изъ работниковъ, кривой Каримка, проѣзжая мимо, какъ-то подозрительно посмотрѣлъ на нихъ своимъ одинокимъ глазомъ. Это былъ тотъ самый работникъ, который не разъ схватывался съ Батоговымъ, и схватки эти всегда для него невыгодно кончались; разъ даже чуть не дошло у нихъ до ножей, то есть, правильнѣе сказать, — до ножа, такъ какъ ножъ-то былъ у одного Каримки, и Батоговъ только тѣмъ и избавился отъ своего противника, что успѣлъ сбить его съ ногъ ударомъ тя-

желой конской попоны, а тутъ подоспѣлъ кто-то изъ джигитовъ и рознялъ драчуновъ, отвѣсивъ каждому изъ нихъ по нѣсколько ударовъ нагайкою. Батоговъ молча выдержалъ побои и принялся, чуть не въ десятый разъ, чистить и холить рыжаго жеребца, а кривой Каримка кричалъ и вылъ чуть не на весь аулъ, и клялся Аллахомъ и всѣми пророками, что когда-нибудь просто соннаго придушитъ эту проклятую русскую собаку.

Каримка поглядѣлъ и проѣхалъ мимо; еще разъ обернулся совсѣмъ неожиданно, но Батоговъ зорко слѣдилъ за всѣми движеніями своего подозрительнаго врага и потому во время принялъ мѣры осторожности.

— Ну, опять иди ближе,—произнесла Наръ-Беби.

— Это хорошо,—подумалъ Батоговъ:—рѣже голодать придется; другой разъ, все лишній кусокъ перепадетъ, а мнѣ этимъ брезгать не приходится.

Вдали, на небольшомъ возвышенномъ барханѣ, чуть виднѣлась группа всадниковъ; еще дальше, въ степи, мелькали нѣсколько отдѣльно двигающихся точекъ. То были джигиты изъ аула мирзы Кадргула. Оригинальная охота съ соколами, эта воздушная травля птицъ птицами-же, началась на потѣху разгулявшимся джигитамъ.

Караванъ остановился. Выбрали мѣсто, гдѣ песокъ былъ немного посырѣе и не такъ крутило пыль прихотливымъ вѣтромъ, и принялись ставить кибитки.

Наръ-Беби сама возилась съ работниками, опытною рукою обтягивала рѣшетки широкой тесьмою и волосяными арканами, и когда накидывали верхнюю кошму, то красавица, словно нечаянно, очутилась около самого Батогова и шепнула ему скороговоркою:

— Ты, слушай: какъ стемнѣетъ совсѣмъ, сюда приди; я тебѣ въ эту дыру мяса просуну, а ты и ѣшь потихоньку.

Она показала ему на прорѣху въ кошмѣ, приходившуюся какъ разъ у самаго низа кибитки.

— Вотъ и начало высокаго покровительства, — подумалъ Батоговъ. — Все-таки не кто-нибудь, а сама жена мирзы Кадргула!

Подскакало человѣка три джигитовъ, у каждаго на сѣдлахъ висѣли въ торокахъ по десятку разнокалиберныхъ утокъ, у одного даже висѣлъ, прихваченный за шею, большой сѣрый

гусь и чуть не по самой землѣ волочился своимъ полутора-аршиннымъ крыломъ, переломленнымъ во время паденія на землю.

Птицу сдали на руки Наръ-Беби: она тутъ была полной хозяйкой, за отсутствіемъ старой Хаззаватъ, оставшейся въ аулѣ. Кибитки установили, котлы поставили на таганы, стряпня началась, и работникамъ ничего болѣе не оставалось дѣлать, какъ сѣсть на корточки и спокойно дожидаться вечера, любуясь, какъ вдали охотятся чуть замѣтные всадники.

Такъ и сдѣлали.

IV.

Соколиная охота.

— А вонъ нашъ мирза ѣдетъ,—говорилъ одинъ изъ работниковъ, глядя вдаль по направленію озеръ.

— Гдѣ ты его видишь?—спрашивалъ другой.

— Да вонъ тамъ. Смотри, какъ-разъ между кустомъ и тѣмъ джигитомъ, что съ лошади слѣзъ.

— А, вижу. Можетъ, онъ, а можетъ, и другой кто. Далеко.

— Онъ.

— Смотри, смотри, какъ погнали! Ай-ай-ай! ухъ!

Работникъ привскочилъ на мѣстѣ, заметался, словно онъ самъ гналъ вмѣстѣ съ джигитами, и громко загикалъ. Другой работникъ свистнулъ, а Каримка произнесъ, съ презрѣніемъ глядя на Батогова:

— Видывалъ-ли ты тамъ, у васъ, что-нибудь лучше?

— Стоитъ дрянь такую смотрѣть! — сказалъ Батоговъ и даже сплюнулъ.

Каримка схватилъ какой-то комокъ и швырнулъ имъ въ русскаго.

— Ну, ты—тише: опять то-же будетъ; лучше не лѣзь!—сказалъ Батоговъ и отодвинулся подальше.

— А вонъ мирза Юсупъ полемъ прямо пошелъ. Экъ дуетъ!

— Эге! да это они волка выгнали; смотри, какъ пошли. Вонъ онъ, вонъ! . Удираетъ, чортовъ сынъ!

— Ой, уйдетъ!.. пропалъ... вонъ опять пошелъ... насѣдаютъ, насѣдаютъ!.. Прорѣзали!

— Берутъ, берутъ... Эхъ, кабы намъ туда-же!

— И что только за лошадь у этого Юсупа: просто самъ шайтанъ въ ней сидитъ!

— Да въ ней, и правда, чортъ сидитъ, да, можетъ, еще и не одинъ... Ты слышалъ, небойсь, какъ Юсупъ говорилъ, что онъ ее изъ-подъ русскаго батыря взялъ?

— Ну, такъ что-же?

— А то, что ежели у нихъ только въ рукахъ побываетъ—ну, и готово.

— Ну, а этотъ тоже?

Работникъ понизилъ голосъ и показалъ на Батогова.

— А ты думалъ—нѣтъ?

— То-то я замѣтилъ, что какъ онъ подойдетъ къ юсуповымъ лошадямъ, сейчасъ тѣ ржать начинаютъ, особенно этотъ гнѣдой, бѣлоногій.

— А я такъ думаю,—вставилъ Каримка,—какъ-бы тутъ совсѣмъ особеннаго чорта не было... Я еще кое-что замѣтилъ...

Работники начали о чемъ-то шептаться между собою. Батоговъ попытался-было вслушаться, да нѣтъ: очень ужъ тихо говорили. Только во время разговора Каримка раза два посмотрѣлъ туда, гдѣ краснощекая Нарт-Беби, растеревъ на ладоняхъ какую-то бѣлую мазь, умащивала ею свои и безъ того жирныя косы.

— Ну, а Юсупъ?—спросилъ одинъ изъ шептавшихъ уже громко.

— Да что Юсупъ,—отвѣчалъ кривой Каримка; — живетъ у насъ съ самаго похода въ Нуратынъ-Тау, а кто онъ — развѣ кто-нибудь знаетъ, что-ли?

— Эхъ, ѣсть что-то хочется!

Отъ котловъ потянуло варевомъ, и эта аппетитная струя раздражала голодные желудки работниковъ.

— А солнце-то уже низко,—замѣтилъ кто-то.

— Скоро кончатъ: вонъ четверо уже сюда ѣдутъ никакъ. Экъ лошадей-то замылили!

— Эй вы тамъ, иди кто-нибудь сюда! — раздался звонкій голосъ одной изъ женщинъ.

— Ну, иди, слышишь...

— Иди самъ—не меня зовутъ!

— Что-же ты, собака?—обратился Каримка къ Батогову,— слышишь, марджа зоветъ.

Батоговъ поднялся.

На усталыхъ, еле двигающихъ ногами, покрытыхъ пѣною лошадяхъ мало по-малу начали съѣзжаться джигиты къ кибиткамъ, по близости которыхъ поднимались столбы дыма отъ огней, разложенныхъ подъ котлами, и густой паръ валилъ клубами отъ самыхъ котловъ, особенно когда Наръ-Беби приподнимала крышку, чтобы поворочать тамъ деревянною лопаткою.

Кто проваживалъ лошадей, кто уже разсѣдлывалъ ихъ, отцѣпивъ отъ задней луки изрядныя вязанки съ дичью. Шумнѣй и шумнѣй становилось около кибитокъ, по мѣрѣ того, какъ прибывали охотники. Лица у всѣхъ были потныя, разгорѣвшіяся; говорили всѣ разомъ, говорили громко, хрипло смѣялись, припоминая разные эпизоды дня. Даже самъ мирза Кадргулъ громко кричалъ на всю стоянку, что кабы не эта проклятая топь, то на волка-бы онъ насѣлъ много прежде, чѣмъ поспѣлъ къ нему Юсупъ на своемъ бѣлоногомъ. А Юсупъ посмѣивался надъ мирзой, приговаривая: «ладно, топь—для всякаго топь, а каскыръ (волкъ)—вотъ онъ!» И джигитъ принялся отвязывать небольшого степного волка, подвѣшаннаго подъ сѣдломъ за заднія ноги. Тощій, не вылинявшій какъ слѣдуетъ, словно ощипанный, этотъ волкъ былъ очень похожъ на загнанную, забитую собаку; однако все-таки за нимъ надо было погоняться, на немъ можно было выказать свою прыть и считался онъ все-таки лучшимъ трофеемъ дня; травля за нимъ была самымъ веселымъ эпизодомъ охоты.

Скоро все устроилось; лошадей убрали и поставили на приколы, и джигиты усѣлись ужинать отдѣльными кружками, по близости кибитокъ. Самое многолюдное и оживленное общество собралось около мирзы Кадргула и Юсупа. Батоговъ неподалеку вытиралъ кускомъ войлока и скребницей засохшій потъ и пыль на золотистой шерсти рыжаго жеребца.

— Это еще что за охота! — говорилъ мирза Юсупъ. — Нѣтъ, вотъ я вамъ разскажу, какъ мы втроемъ въ кураминскихъ камышахъ на джуль-барса охотились.

— Втроемъ? кто да кто?—спросилъ мирза Кадргулъ.

— Двое нашихъ было да одинъ русскій казакъ, хорошій тоже охотникъ.

— Вы верхомъ были?

— Пѣшіе. Вырыли мы яму, засѣли туда, сверху камышемъ закрылись и сидимъ.

— А вѣдь страшно было, я думаю? — замѣтилъ кто-то изъ слушателей.

— Чего страшно?—(Юсупъ пріостановился)—намъ ничего не было страшно; а вотъ русскій—тотъ немного струсилъ.

— Ну, еще-бы!

— Около насъ, тутъ сейчасъ, шагахъ не больше, какъ въ десяти, — продолжалъ разсказчикъ, — лошадь дохлая лежала: вчера еще ее джуль-барсъ зарѣзалъ да не доѣлъ. Мы и думали, что придетъ доѣдать нынче. Вотъ сидимъ; слышимъ—заревѣлъ.

— Ой-ой! и близко?

— Тутъ вотъ сейчасъ, какъ этотъ котелъ. Мы ждемъ. Слышимъ, реветъ еще—другой...

— Тсс! даже слушать—страхъ беретъ...

— Ничего! слышимъ, опять реветъ—третій...

«Вотъ разоврался», думалъ про себя Батоговъ. Онъ слышалъ весь разговоръ и боялся проронить слово, потому что Юсупъ сказалъ ему сегодня рано утромъ мимоходомъ: «вечеромъ, можетъ, я говорить что буду, а ты слушай». Ну, теперь Батоговъ и слушалъ, догадываясь, что это какой-нибудь новый способъ, изобрѣтенный его джигитомъ, чтобы сообщить Батогову что-нибудь для него интересное.

— Русскій дрожитъ и трясется, будто его ледяная болѣзнь бьетъ; мы—ничего; думаемъ: какъ разъ по одному на брата. Поднялся по камышамъ трескъ—ну, цѣлый табунъ гонятъ да и только!

— Да вѣдь они больше тихо ходятъ?..—усумнился мирза Кадргулъ.

— На этотъ разъ шумѣли. Глядимъ, одинъ вылѣзъ. Зубы—вотъ!—(Юсупъ показалъ на рукѣ чуть не по локоть).—Глаза—вотъ!.. (Разсказчикъ хотѣлъ-было кивнуть на котелъ, да одумался и сложилъ кольцомъ пальцы). — Рыло какое — ухъ!.. Смотримъ: другой вышелъ, за нимъ — третій... остановились всѣ три да какъ заревутъ!..

— Я-бы непремѣнно удралъ!

— Давай стрѣлять,—говоритъ мнѣ потихоньку казакъ. Я говорю: погоди, неравно испугаемъ ихъ, они и уйдутъ—тогда ищи.

— Испугаешь!.. — мирза Кадргулъ расхохотался и толк-

пулъ разсказчика въ бокъ кулакомъ.—Я думаю, у самихъ душа изъ халата выскочила!

— Ничего-таки не выскочила! Вотъ звѣри подошли къ лошади, понюхали и принялись ее жрать. Ну, думаю, пора... какъ грохнемъ!—всѣ три и повалились.

— Сразу?

— Сразу. Да это что, слушай дальше. Вылѣзли мы изъ ямы къ нимъ, смотримъ... и теперь точно что струсили, да и было отчего... сидятъ три бабы: одна баба черная, другая рыжая, а третья совсѣмъ бѣлая, сѣдая такая; сидятъ и животы чешутъ...

— Вотъ тебѣ и разъ!—послышались отдѣльные возгласы.—Это вмѣсто джуль-барсовъ-то?

— Да, вмѣсто. Мы это опять всѣ трое въ яму.

— Чего такъ?

— Страшно стало. Глядимъ: гдѣ-же бабы? Нѣту бабъ, а вмѣсто нихъ-то сидятъ на падали три большихъ вороны; глаза у нихъ совсѣмъ какъ уголья; сидятъ и долбятъ носами конскія кости... Мы потихоньку, потихоньку, задомъ да задомъ, ползкомъ да ползкомъ, такъ-то мы вплоть до самой рѣки, безъ малаго четыре «чакрымъ» (версты), пролѣзли. Да, вотъ какая дьявольская сторона стала!—заключилъ Юсупъ и полѣзъ рукою въ блюдо съ бараниной.

— Все отъ русскихъ,—заявилъ мирза Кадргулъ и полѣзъ въ блюдо съ другой стороны. Нѣсколько рукъ послѣдовало ихъ примѣру.

— А-то разъ поѣхали мы рыбу ловить около Чипаза...—началъ опять Юсупъ.

— Погоди, послѣ разскажешь, — остановилъ его Кадргулъ,—а-то тебя начнутъ слушать—ѣсть перестанутъ.

Замолчали всѣ и началось усиленное пожираніе всего, что стояло передъ джигитами; челюсти грызли попадавшіеся хрящи и кости, губы и языки громко, на всю степь, всхлипывали, всасывали и подсмакивали, дыханіе переводилось тяжело и какъ-то наскоро, и съ грязныхъ, лоснящихся пальцевъ капало на кожаныя шаровары горячее сало.

Джигиты, должно быть, очень проголодались, да и было отчего.

— А въ какихъ бабъ джуль-барсы обратились,—въ русскихъ или въ нашихъ?—спросилъ вдругъ одинъ изъ джигитовъ, вытирая носъ и губы полою халата.

— Должно быть, въ русскихъ.

— Должно быть. Вѣдь онѣ всѣ немного съ дьявольщиной. Года три назадъ наши привели двухъ; такъ одна изъ нихъ бѣлая была такая, что, все равно, какъ-будто ее изъ соли сдѣлали, а волосы у ней были въ одну масть съ твоимъ жеребцомъ,—говорилъ джигитъ, обращаясь къ мирзѣ Кадргулу.— Такъ помнишь, какъ она Курбанъ-бія обошла. Бывало, не ѣстъ, не пьетъ, только сидитъ около нея, да руками держится.

— Совсѣмъ пропалъ человѣкъ,—произнесъ мирза Кадргулъ.

— Да и пропалъ-бы, если-бы бабы его не догадались придушить русскую... ну, и прошло.

— Да вѣдь ее не душили, а, говорятъ, дали съѣсть чего-то.

— Давали и ѣсть, да не беретъ, ну—они и того.

— Тамъ еще одна, кажется, есть,—началъ Юсупъ и закашлялся, отвернувшись въ ту сторону, гдѣ Батоговъ все еще теръ рыжаго жеребца.

— То другая, ту изъ Кара-кумъ привезли.

— Я знаю, изъ Кара-кумъ, мнѣ вчера тамъ, у нихъ въ аулѣ, говорили. Видѣлъ я ее какъ-то, ну, и разспросилъ...

Батоговъ весь сосредоточился въ слухѣ, только рука его, почти машинально, медленно проводила по глянцовитой, атласной шеѣ лошади.

— Привезли ихъ тогда двухъ,—говорилъ Юсупъ, и когда прокашлялся, то голосъ его сталъ гораздо громче.

— Да, двухъ; съ нею еще одного человѣка привезли, тощаго такого,—и странное дѣло, въ ту пору заѣзжалъ къ намъ одинъ изъ казалинскихъ киргизъ, хорошо такъ по-русски зналъ; началъ говорить, ни тотъ его не понимаетъ, ни онъ ничего не разберетъ.

Рука Батогова дрогнула, онъ наклонился немного; онъ съ большимъ вниманіемъ разсматривалъ ту маленькую трещину на копытѣ, что шла промежъ двухъ гвоздей; онъ даже пальцемъ ее слегка потрогалъ.

— А говорили наши, что ихъ трое въ арбѣ сидѣло, да одинъ барахтался очень,—его и того...

— Какъ-же, голову его привезли; она дорогою хоть и попортилась немного, да узнать можно было, что не русскій, а джюгутъ (еврей). Въ Бухарѣ я много такихъ видалъ.

— Ну, а тотъ, что живымъ привезли?

— Тотъ сдохъ, на другой-же недѣлѣ издохъ.

— Да вѣдь это когда было?

— Вотъ уже три года, пожалуй; я-же говорилъ.

— Да вѣдь это ту, что задушили, ну, а та, что въ аулѣ?

— Все тогда-же, только съ разныхъ мѣстъ.

— А ужъ очень плоха стала,—говорилъ Юсупъ,—я вчера видѣлъ; ну, совсѣмъ помираетъ: ходитъ будто не на своихъ ногахъ, а ее еще работать заставляютъ.

— А то что-же съ ней дѣлать?.. Выкупа за нее и тогда не было, а теперь кому она нужна?

— Была прежде хорошая баба, да слишкомъ уже на нее налегли, ну она и хирѣть начала.

Наръ-Беби въ эту минуту шла отъ котла къ кибиткѣ. Ей пришлось проходить какъ-разъ мимо Батогова. «Что это онъ дѣлаетъ?» подумала она и остановилась. Очень уже ее озадачило то, что она увидѣла.

Батоговъ стоялъ, упершись лбомъ въ плечо рыжаго жеребца; одна рука его судорожно уцѣпилась за гриву, словно онъ собирался вскочить на коня; другая — висѣла прямо внизъ; изъ этой руки выскользнула и скребница, и войлокъ, все это лежало на землѣ. Колѣна у Батогова тряслись и подгибались.

— Эй! Ты что это?—спросила Наръ-Беби.

Батоговъ словно не слышалъ этого вопроса.

— Да ну, заскучалъ, что-ли?—крикнула она громко.

— Что тамъ еще? — спросилъ мирза Кадргулъ и приподнялся.

Юсупъ быстро подошелъ къ Батогову и тронулъ его за плечо. Рыжій жеребецъ дрогнулъ и подался въ бокъ. Батоговъ упалъ. Нѣсколько джигитовъ встали и подошли тоже. Они окружили лежавшаго.

— Что такое съ нимъ сдѣлалось? — произнесъ Юсупъ и нагнулся.

Батоговъ приподнялся, посмотрѣлъ вокругъ себя какимъ-то мутнымъ, неопредѣленнымъ взглядомъ и снова легъ ничкомъ, подложивъ подъ лицо свои руки.

— Ауру... (боленъ),—произнесъ мирза Кадргулъ.—Оставьте его: къ утру отлежится.

— А какъ славно жеребца твоего вычистилъ! — замѣтилъ одинъ джигитъ и потрепалъ по шеѣ рыжаго.

— Хорошо около коней ходитъ,—сказалъ мирза Кадргулъ и пошелъ въ кибитку.

Около *больного* стоялъ Юсупъ и, какъ кажется, немного ошалѣлъ.

Батоговъ былъ въ однихъ шароварахъ, и его голая спина какъ-то странно вздрагивала. Юсупъ взялъ попону и накрылъ его. Наръ-Беби осторожно подходила съ какой-то чашкою. Ей, видимо, хотѣлось подойти, но не хватало рѣшимости.

Неподалеку лежалъ Каримка и еще одинъ изъ работниковъ.

— Ну, что, видѣлъ?—спросилъ онъ,—не моя правда?

— Да что?

— Юсупъ, вонъ, накрываетъ его, видѣлъ?

— Ну, видѣлъ?

— То-то... Я уже и не то еще замѣтилъ...

Работникъ громко зѣвнулъ, потянулъ себѣ на голову рваный полосатый халатъ и свернулся клубкомъ. Каримка тоже прилегъ, но съ расчетомъ, такъ, чтобы не проронить ни одного движенія Батогова и его Юсупа, все еще стоявшаго надъ нимъ въ недоумѣніи.

Послѣднее зарево вечерней зари быстро погасало; темнота сгущалась все болѣе и болѣе. Тамъ и сямъ послышалось звучное храпѣніе спящихъ.

Вдругъ Батоговъ приподнялся, опять сѣлъ, провелъ рукою по глазамъ и тяжело вздохнулъ.

— Тюра...—началъ чуть слышно Юсупъ.

— Вотъ она судьба,—проговорилъ Батоговъ, задумался и опустилъ голову на колѣна.

V.

„А Каримка все знаетъ“.

Къ разсвѣту Батоговъ дѣйствительно *отлежался*, какъ предсказывалъ мирза Кадргулъ.

Правда, онъ былъ какъ-будто не по себѣ, ходилъ, понуривъ голову, ѣлъ мало, совсѣмъ нехотя, отказался даже отъ того куска мяса, что просунула ему въ прорѣху кибиточной кошмы краснощекая Наръ-Беби. Лицо у него было осунувшееся, блѣдное,

но руки его работали хорошо, попрежнему, даже какъ-будто лучше, и кони мирзы Кадргула были вычищены такъ же блистательно, какъ и наканунѣ.

Ночью маленькая бѣда случилась, то-есть, оно смотря для кого, для какого-нибудь бѣдняка и очень большая, а для богатаго мирзы, конечно, бездѣлица.

Двухъ верблюдовъ укусили змѣи. Этихъ гадинъ много водится по близости соляныхъ болотъ. Маленькія онѣ, такія сверху сѣрыя, темно-зеленоватыя, какъ лежитъ въ илу, — ее и не замѣтишь, а чуть перевернется или свернется кольцомъ, такъ и блеснетъ въ глаза красноватымъ, словно обложеннымъ мѣдью брюшкомъ; ползаютъ онѣ страхъ какъ шибко, прячутся при самомъ легкомъ, сколько-нибудь подозрительномъ шумѣ, а укусятъ ежели, особенно въ жаркую пору, — бѣда; если только во-время не захватишь, то и конецъ. Такъ и теперь. Одинъ верблюдъ, помоложе, уже совсѣмъ издыхалъ; плашмя лежалъ на боку, вытянулъ ноги и только сопѣлъ своимъ надорваннымъ носомъ; другой еще держался на ногахъ, могъ даже идти потихоньку, только все смотрѣлъ налѣво, потому что за правою щекою у него вздулась опухоль, чуть не съ арбузъ величиною, и мало-по-малу душила несчастное животное.

— Оба околѣютъ, — рѣшилъ старый мулла Ашикъ. Онъ былъ знахарь по этой части, и приговоръ его остался безъ всякаго опроверженія.

Черезъ день хотѣли назадъ идти, а сегодня думали еще порыскать немного; а пока, чтобы не тратить времени, посланы были одинъ джигитъ и два работника за новыми верблюдами для подъема кибитокъ и прочаго скарба.

Изъ работниковъ поѣхали Батоговъ и Каримка. Хотя Наръ-Беби и успѣла шепнуть Батогову: «не ѣзди, — оставайся», но тотъ сдѣлалъ видъ, что не слышитъ, и пошелъ сѣдлать себѣ старую, хромую лошадь. Ему все еще боялись давать хорошую. «А ну, какъ уйдетъ?—думали они,—а на плохой много не разскачешься по степи».

— Ишь, собачій сынъ,—подумала красавица, улучшила еще удобную минуту и опять шепнула: — «не ѣзди-же, говорятъ тебѣ». И опять не получила отвѣта.

Въ головѣ у Батогова плотно засѣла какая-то дума, такая дума, что ее не могла даже выбить оттуда сама красно-

щекая Наръ-Беби, какъ-бы ни выставляла напоказъ свои полновѣсныя формы.

Даже Юсупъ замѣтилъ это обстоятельство и, передавая Батогову арканъ, сказалъ ему:

— Гляди, тюра, не надури чего такого, чего намъ вдвоемъ не распутать.

— Небось, не надуритъ,—сказалъ словно какъ про себя невѣсть откуда подвернувшійся Каримка.

Юсупъ вздрогнулъ, вытаращилъ глаза и за ножъ даже ухватился. Батоговъ тоже изумленно посмотрѣлъ на Каримку, который, какъ ни въ чемъ не бывало, садился на лошадь и проговорилъ:

— А, такъ ты и взаправду напалъ на слѣдъ; — ловокъ парень. Ну, что-же дѣлать, самъ виноватъ.

— Ѣдемъ, что-ли?! — крикнулъ джигитъ, и всѣ трое пошли перебоемъ, такъ называемой волчьей рысцою, придерживаясь окраинъ солонцовыхъ болотъ.

Впереди ѣхалъ джигитъ, за нимъ ковылялъ Батоговъ, сзади всѣхъ Каримка, ухмыляясь, посвистывая и напѣвая себѣ что-то подъ носъ.

— Погоди, запоешь иначе,—думалъ Батоговъ. Онъ чувствовалъ на себѣ взгляды Каримки и ему было какъ-то неловко, словно за спину заползла какая-то гадина и скользитъ своимъ холоднымъ тѣломъ какъ разъ между его лопатками.

Уже далеко сзади остались кибитки. Слѣва разстилалась волнистая степь, справа сквозь камыши тянулись свѣтлыя полосы болотинъ, проглядывали кое-гдѣ лужи, заржавѣвшія, покрытыя сѣро-краснымъ вонючимъ налетомъ. Мѣстами серебрилась соль, словно почва подернута была утреннимъ морозомъ. Гдѣ было совсѣмъ твердо—и копыта коней звякали на ходу, гдѣ же попадались мѣста помягче, и—лошади проваливались выше колѣнъ и вязли. Инстинктивно храпѣли кони, почуявъ подъ собою неровную почву, и фыркая, рвались или впередъ, или-же стремительно кидались въ бокъ, на болѣе надежную дорогу.

Джигитъ ѣхалъ молча, все сдерживая своего горячаго коня; по временамъ онъ оглядывался и останавливался совсѣмъ: лошади работниковъ не могли поспѣвать за его сѣро-пѣгимъ и безпрестанно отставали.

Батоговъ уткнулся глазами въ ощипанную гриву своей

клячи и, казалось, дремалъ, а Каримка всю дорогу пѣлъ-импровизировалъ какія-то пѣсни то громче, то тише, то впутывая въ слова пѣсни понуканія своей лошади.

А Батоговъ не дремалъ; онъ думалъ. Ему было о чемъ думать

— Ну, случилось все такъ, какъ и случилось... Средства въ рукахъ... А чьи они? Надо было разузнать, все сообразить... Не всѣ, вѣдь, убиты; одинъ только, и то потому, что *ужъ очень барахтался...* (Батоговъ припомнилъ это выраженіе). А, жена, а нѣмецъ-механикъ?.. скажешь, не зналъ?.. Нѣтъ, зналъ. Ты самъ еще *тогда* сказалъ объ этомъ... Гдѣ-же они, эти жена и нѣмецъ?.. Въ степи увезли, въ неволю... Ну, а какъ ихъ можно было опять оттуда вытянуть?.. Денегъ послать, сторговаться... Вся процедура подобныхъ выкуповъ извѣстна, она вовсе незамысловата; есть даже люди, что только занимаются этимъ посредничествомъ, и ты этихъ людей знавалъ. Твой-же пріятель Мурза-бай могъ это для тебя устроить.

— А Каримка все знаетъ...—пѣлъ сзади него сиповатый ненавистный голосъ.

— Не предполагаешь-ли ты, другъ мой, что теперь уже поздно поправить дѣло?.. Для нѣмца-механика оно точно что поздновато; ну, а для той, что просо толкла, для той, *на которую поналегли очень, она и захирѣла?..*

Батоговъ почувствовалъ, что если-бы подъ нимъ была не эта заморская кляча, а его Орликъ, онъ такъ-бы и рванулся туда, къ горамъ, за которыми бѣгаютъ русскія рубахи, туда, гдѣ есть *у кого* взять деньги и гдѣ можно было-бы отыскать пріятеля Мурза-бая... Но подъ несчастнымъ невольникомъ была жалкая лошаденка, которая давно уже разучилась скакать, которая теперь даже споткнулась и чуть не упала отъ одного только порывистаго, конвульсивнаго движенія Батогова.

— Вотъ ты бѣжать собираешься. Юсупка твой все дѣло уже подготовилъ; онъ самъ говорилъ тебѣ объ этомъ. Ну, а у той нѣтъ Юсупки; кто подготовлялъ той хоть что-нибудь? Развѣ у той нѣтъ, какъ у тебя, завѣтной мечты, нѣтъ томительнаго желанія, хотя на минуту, хотя передъ смертью, почувствовать себя свободною, чтобы испустить духъ не подъ плетью скуластой дикарки, а видѣть вокругъ себя сочувственныя, родныя лица...

— А Каримка все знаетъ...

— Сами на себя погибель накликаемъ, — тихо произнесъ Батоговъ и обернулся къ пѣвцу.

Даже Каримка вздрогнулъ и немного струсилъ: такіе страшные, блуждающіе глаза были у Батогова.

— Три года тяжелаго рабства!.. Господи! Вѣдь я три мѣсяца только, и то одна надежда поддерживала; безъ этой надежды, можетъ быть, давно уже... А она? Ее что поддерживало?..

— Гей! Гей! — завопилъ передній джигитъ какимъ-то неестественнымъ голосомъ и сорвалъ сразу, во весь карьеръ перелетѣлъ черезъ высокій кустъ камыша и понесся по степи.

Что-то маленькое юркнуло впереди, спряталось, опять показалось, и, словно шарикъ, покатилось близко, передъ самою лошадью джигита.

— Куянъ, куянъ (заяцъ)! — кричалъ Каримка и заерзалъ на сѣдлѣ.

Близко, вотъ-вотъ, насѣдалъ сѣро-пѣгій на удирающаго зайца; были мгновенія, что издали казалось, будто лошадь топтала передними ногами бѣглеца; но это только казалось. Нѣсколько разъ джигитъ высоко взмахивалъ плетью, быстро нагибался, словно валился съ сѣдла, но ударъ приходился просто по землѣ, поднималъ пыль, срѣзывалъ сухую степную колючку; а заяцъ, невредимый, заложивъ уши на спину, дралъ впереди, раззадоривая горячаго, въ это мгновеніе все забывшаго на свѣтѣ охотника.

Все дальше и дальше уносился джигитъ въ своей лихой скачкѣ. Уже чуть виднѣется вдали его верблюжій халатъ, уже ничего не видно, кромѣ пыли...

— Ну, что-же, ѣдемъ, что-ли, чего дожидаться? — сказалъ Батоговъ.

— Нѣтъ, Каримка одинъ съ тобою не поѣдетъ, — проговорилъ работникъ и попятилъ немного свою лошадь.

— Что, поросенокъ, струсилъ?

— Ну, ну, смотри, у меня ножъ есть.

— А мнѣ наплевать на тебя и съ ножомъ твоимъ, — произнесъ Батоговъ и поѣхалъ.

Каримка постоялъ, подумалъ немного и поѣхалъ осторожно сзади. Нѣсколько времени оба ѣхали молча; даже Ка-

римка оставилъ свою пѣсню съ припѣвомъ: «А Каримка все знаетъ». Батоговъ опять задумался.

— Развѣ захватить и ее съ собою. Гм?..

Несмотря на свое возбужденное состояніе, Батоговъ тотчасъ-же сообразилъ всю нелѣпость этой идеи. Успѣхъ побѣга и для нихъ былъ еще сомнителенъ. Вѣдь шутка-ли, нѣсколько сотъ верстъ безплодной степи отдѣляетъ ихъ отъ ближайшаго русскаго поста, сколько случайностей, и случайностей такихъ, что не могъ предвидѣть даже опытный Юсупъ, могло имъ встрѣтиться на этомъ продолжительномъ, тяжеломъ пути. Если *дѣло* и могло еще удаться имъ двоимъ, то, взявъ на себя такую обузу, какъ больная женщина, которую еще прежде надо было увезти изъ ея аула, они навѣрное потерпѣли бы полнѣйшее крушеніе еще въ самомъ началѣ *дѣла*, и тогда... Тогда уже конецъ. Тогда остается только зарѣзаться...

Опять затянулъ старую пѣсню ѣхавшій сзади работникъ, опять окончилъ ее тою-же фразою, но на этотъ разъ съ добавленіемъ...

— А Каримка все знаетъ... знаетъ, знаетъ... А сегодня будетъ знать и мирза Кадргулъ...

— Дьяволъ, чего ты отъ меня хочешь? — крикнулъ внѣ себя Батоговъ и круто повернулъ свою лошаденку. Каримка метнулся назадъ.

Дорога шла узкою тропою; справа и слѣва тянулись трясины. Всадники думали выгадать путь и взяли на-прямикъ.

Лошади только шагомъ могли идти по этой зыбкой, предательской тропѣ.

— Я тебя задушу, какъ козленка! — кричалъ Батоговъ. Онъ соскочилъ съ лошади и бѣгомъ ринулся на оторопѣвшаго Каримку.

— Оставь, что ты?.. Оставь!..

Лошадь подъ Каримкою заторопилась, оборвалась задомъ и засѣла.

— Попался...

Каримка шарилъ руками у пояса: онъ искалъ рукоятку ножа. Онъ задыхался и хрипѣлъ: могучія руки тянули его съ сѣдла, за воротникъ халата.

— Оставь, оставь!.. Собака... Ост...

Вдругъ лошадь подъ нимъ рванулась сильно, неожиданно. Воротникъ остался въ рукахъ у Батогова. Еще разъ рванулся

конь и уже по самое брюхо ввалился въ засасывающую, бездонную тину. Сильнѣй барахталась бѣдная лошадь и все дальше и дальше отбивалась отъ тропы, затягивая съ собою и своего всадника. Уже и спины не видно. Дико фыркаютъ кровавыя ноздри; глаза на выкатѣ... Только голова видна.

Дико, пронзительно завылъ Каримка и протянулъ руки по направленію къ Батогову.

А тотъ стоялъ шагахъ въ четырехъ на тропинкѣ и медленно распутывалъ намотанный у пояса арканъ.

Еще нѣсколько мгновеній и этого страшнаго, исковерканнаго ужасомъ лица, этихъ рукъ, протянутыхъ за помощью, не будетъ видно.

У кого просилъ помощи Каримка?

Батоговъ взмахнулъ арканомъ.

— А Каримка все знаетъ, но только мирза Кадргулъ знать ничего не будетъ, — сказалъ Батоговъ и началъ опять потихоньку сворачивать въ кольцо спасительную веревку.

Лошадь Батогова стояла спокойно, словно ничего необыкновеннаго не происходило передъ ея глазами. Она скусывала метелки съ ближайшихъ камышевыхъ стеблей, осторожно вытягивая шею.

Батоговъ сѣлъ и оглянулся.

Темно-бурая, развороченная масса медленно шевелилась все тише и тише; такъ успокаивается пѣна на котлѣ, въ которомъ перестаетъ кипѣніе. На поверхности вздувались и лопались зеленоватые пузыри. Зацѣпившись наискось, висѣла на какомъ-то тычкѣ остроконечная войлочная шапка.

Больше ничего не было видно на поверхности.

Батоговъ глубоко и тяжело вздохнулъ.

— Своя рубашка ближе къ тѣлу,—произнесъ онъ и поѣхалъ потихоньку.

Никакъ аулъ какой-то впереди?.. Вонъ дымъ столбомъ поднимается изъ лощины; вонъ словно чернѣется кибиточный верхъ. Вонъ и еще видно что-то... Да это камышевая изгородь. Совсѣмъ въ лощинѣ сидитъ притаившійся аулъ, но Батоговъ узналъ эти изгороди, эти кибитки. Онъ узналъ аулъ Курбанъ бія У него сердце сжалось.

Вонъ что-то мелькнуло въ кустахъ... Человѣкъ никакъ; да.

это женщина. Она сидитъ; около нея лежатъ двѣ вязанки камыша. Лица ея не видно: она сидитъ сюда спиною.

Батоговъ подъѣзжалъ все ближе и ближе. Аулъ былъ еще довольно далеко. Кругомъ не видно было, кромѣ ихъ, ни одного человѣка. Женщина, должно быть, услышала топотъ лошади. Она обернулась.

Батоговъ не соскочилъ: онъ свалился съ лошади.

Тотъ-же изумленный, запуганный взглядъ большихъ темныхъ глазъ встрѣтилъ Батогова.

— Здравствуй,—сказалъ онъ и больше не могъ произнести ни одного слова.

— Ты тоже *оттуда*,—произнесла она и шагнула немного впередъ.—Ты русскій?

Руки женщины протянулись впередъ, задрожали и снова опустились въ изнеможеніи. Она покачнулась и не то упала, не то сѣла на вязанки.

Неподалеку, въ кустахъ заревѣлъ ишакъ. Женщина вздрогнула и заметалась... Батоговъ подошелъ совсѣмъ близко...

— Отойди... ну... зачѣмъ?..

Боязливо, съ какой-то странной дрожью, смотрѣла она на него, и эти глаза дико бѣгали по сторонамъ, словно боялись появленія, вонъ оттуда, изъ-за кустовъ, чего-то уже очень страшнаго...

— Какъ зовутъ тебя?..

— Отойди... Ступай...

Она отодвинулась еще дальше, потомъ хотѣла встать, потянула за собою вязанку... Она, словно щитомъ, пыталась закрыться этимъ плохо связаннымъ, ползущимъ и топырившимся снопомъ.

Она вдругъ начала хныкать...

— Неужели?—подумалъ Батоговъ; и вдругъ почувствовалъ, что по его лицу скользитъ что-то мокрое, глаза застилаетъ словно туманомъ. Онъ вдругъ зарыдалъ, бросился впередъ, охватилъ то, что прежде всего попалось ему въ руки и повалился на землю. Онъ обнималъ, прижималъ къ своему мокрому лицу и цѣловалъ ногу, худую, судорожно дрыгающую, покрытую изрытыми, гноящимися, струпьями.

Оглушительный, визгливый хохотъ раздался словно надъ самымъ ухомъ. Батоговъ вскочилъ и оглянулся...

Толстая, безобразная, хотя и молодая еще, киргизка стояла

шагахъ въ трехъ отъ нихъ, подперла животъ обѣими руками и хохотала до изступленія; другая такая-же просто каталась по землѣ, и смѣхъ ея обратился уже во что-то очень похожее на собачье вытье, прерываемое обрывистымъ лаемъ.

Батоговъ ринулся на нихъ съ поднятыми кулаками. Должно быть, онъ былъ страшенъ, потому что хохотъ обѣихъ женщинъ обратился въ ужасный визгъ, и онѣ пустились бѣжать къ аулу, путаясь въ своихъ полуспустившихся шароварахъ, волоча за собою размотавшіеся тюрбаны...

— Рахиль.. Рахиль...—говорила шопотомъ невольница и прикладывала руку къ впалой груди.

Батоговъ обнялъ ее и, нагнувшись почти къ самому уху, покойно, твердо ударяя на каждое слово, произнесъ:

— Не дальше, какъ черезъ двѣ луны, жди оттуда (онъ указалъ на сѣверъ), прійдетъ къ тебѣ избавленіе...

Никакой замѣтной перемѣны не произвела эта фраза на лицѣ несчастной. Испугъ смѣнился покорной, немножко идіотической улыбкой, но это произошло еще прежде; глаза смотрѣли блуждающимъ взглядомъ по тому направленію, которое Батоговъ указалъ рукою. Только руки крѣпче уцѣпились за его шею и потянули къ себѣ, а тонкія губы начали складываться въ поцѣлуй и словно обожгли лобъ Батогова своимъ прикосновеніемъ.

Нѣсколько голосовъ грубыхъ, бойко и суетливо говорящихъ, приближались со стороны аула. Между ними слышались и голоса женщинъ. Батоговъ не безъ усилія отцѣпилъ отъ своей шеи руки бѣдной невольницы, взялъ лошадь свою за поводъ и быстро сталъ удаляться.

Отойдя шаговъ на двѣсти, онъ остановился, его здѣсь не могли видѣть за густою растительностью, а онъ видѣлъ то, что ему было нужно.

Человѣкъ пять киргизъ подошли къ несчастной Рахили и стали искать кого-то по сторонамъ.

— Онъ чуть не убилъ меня,—визжала вдали одна изъ женщинъ.

Киргизы постояли, посмѣялись, плюнули и пошли. Одинъ изъ нихъ далъ ни съ того, ни съ сего, звонкаго подзатыльника самой толстой киргизкѣ, а потомъ тотчасъ-же повторилъ свой подшлепникъ, и всѣ пошли обратно къ аулу, и смѣхъ

ихъ, и говоръ мало-по-малу затихли вдали, а другой звукъ, грустный, слабый, какъ шелестъ вѣтра въ камышахъ, пронесся и дрогнулъ въ воздухѣ...

Это пѣла Рахиль, опять сидя на своихъ снопахъ

Батоговъ пошелъ къ своему аулу, ведя въ поводу лошадь. Далеко онъ отошелъ отъ того мѣста, гдѣ встрѣтилъ Рахиль, развѣ выстрѣлъ пушки могъ-бы долетѣть до него на этомъ разстояніи, а между тѣмъ онъ ясно, отчетливо слышалъ каждый звукъ ея голоса, каждую ноту ея печальной пѣсни.

Эти звуки его преслѣдовали.

VI.

Не одинъ Каримка все знаетъ.

Вотъ уже третій день, какъ мирза Кадргулъ съ джигитами ушелъ на промыселъ къ персидской границѣ. Юсупъ, конечно, поѣхалъ съ нимъ. Батогова потому не взяли, что онъ очень заболѣлъ передъ самымъ походомъ. Каримку не взяли потому, что не могли его отыскать.

Въ аулѣ осталось не болѣе десяти джигитовъ, остались все бабы, работники, и надъ всѣмъ этимъ головою сталъ мулла Ашикъ, которому уже не подъ силу приходились труды и лишенія походной жизни: лѣта брали свое, и спина стодесятилѣтняго старика частенько напоминала своему хозяину о будущемъ раѣ съ сорока восемью гуріями, особеннымъ кумысомъ и небесной бараниной такого необыкновеннаго вкуса, что одинъ изъ мѣстныхъ святыхъ, Бѣлый Чабанъ-Ата, могила котораго находится на высотахъ его имени у Самарканда, во время своего перваго завтрака въ раю не замѣтилъ, какъ вмѣстѣ съ сочной бараньей лопаткой проглотилъ всѣ свои десять пальцевъ и половину собственнаго языка.

Итакъ, старый разбойникъ Ашикъ остался царить надъ всѣмъ ауломъ. Батоговъ попалъ пока подъ его полнѣйшее господство и сначала не замѣчалъ никакой перемѣны въ своемъ положеніи: все было одно и то же, ни хуже, ни лучше, только вмѣсто золотистаго жеребца прежняго хозяина пришлось чистить вороного аргамака теперешняго владыки и еще двухъ сивыхъ мериновъ-иноходцевъ.

Батоговъ волновался и метался по аулу, какъ тигръ въ

клѣткѣ звѣринца. Онъ работалъ за десятерыхъ, ѣлъ мало, почти не спалъ. Онъ чувствовалъ, что приближается минута, такая минута,—«либо панъ, либо пропалъ».

«Дѣла дѣлать» пора приспѣла.

Юсупъ, уходя въ походъ, имѣлъ возможность толково, ясно и опредѣленно сообщить ему весь планъ задуманнаго побѣга, планъ, который поразилъ Батогова своею обдуманностью и подготовкой. Сомнѣніе въ успѣхѣ быстро испарялось въ воспаленныхъ мозгахъ Батогова, имъ овладѣло мучительное, лихорадочное нетерпѣніе.

Подозрительный глазъ кривого Каримки, все знавшаго, не могъ больше ничего видѣть. Но плѣнникъ попалъ «изъ огня да въ полымя», съ него не спускала глазъ другая личность, и это было похуже наблюдательности озлобленнаго, мстительнаго работника. За Батоговымъ и день, и ночь смотрѣли два ревнивыхъ, любящихъ глаза.

За Батоговымъ слѣдила Наръ-Беби; и онъ это чувствовалъ, онъ этого боялся. Боялся болѣе, чѣмъ десяти кривыхъ Каримокъ.

Вчера вечеромъ Наръ-Беби доила кобылъ; кобылъ этихъ подогнали не очень близко къ кибиткамъ; стояли онѣ въ загонѣ, въ самомъ дальнемъ, совсѣмъ почти въ лощинѣ.

Бабы доили кобылъ по очереди, Батоговъ стоялъ да наблюдалъ, чтобы кобылы вели себя смирно, отгонялъ въ задній уголъ тѣхъ, которыхъ уже выпростали, и подгонялъ къ женщинамъ другихъ, еще не тронутыхъ. Всѣмъ бабамъ пришлось поровну работы; и всѣ онѣ уже подоили и собирались нести молоко къ кибиткамъ; только Наръ-Беби что-то запоздала и ей пришлось остаться одной додаивать чалую кобылу съ лысиной во всю голову.

— Ты и не думай!..

Наръ-Беби приподнялась и оглянулась кругомъ, бѣгло обшаривъ своими вороватыми, черными глазами всѣ уголки загороди.

— Чего не думать? — спросилъ Батоговъ, опершись на длинную жердь съ крюкомъ, которою обыкновенно вооружены всѣ степные пастухи.

— Самъ знаешь, чего.

— Не знаю.

— Поди сюда.

Въ свою очередь Батоговъ осмотрѣлся кругомъ, заглянулъ

даже черезъ изгородь и подошелъ къ женщинѣ. Наръ-Беби обвила его руками, оглянулась еще разъ, прижалась къ нему лицомъ и проговорила, словно прошипѣла:

— Ты отъ меня не уйдешь... слышишь? Всѣхъ джигитовъ проведешь, стараго осла Ашика проведешь, а меня—нѣтъ. Ну, такъ ты и не думай...

— Куда мнѣ уходить? — равнодушно говорилъ Батоговъ, а самъ подумалъ:—«эхъ, отчего мы не на болотѣ?..»

— Тс... идетъ кто-то...

Батоговъ высвободился изъ сжимавшихъ его объятій. Впрочемъ, это была фальшивая тревога.

— Не уйдешь... не уйдешь... не уйдешь...

Наръ-Беби принялась гладить руками по головѣ Батогова.

— Да куда?..

— Куда тебя Юсупъ твой поведетъ... Я все знаю.

Батогову стало страшно... Онъ, вѣроятно, вздрогнулъ, потому что Наръ-Беби тотчасъ же сказала:

— А, испугался?.. Ты Каримку зачѣмъ убилъ?

Она пристально посмотрѣла ему въ лицо. Батоговъ чувствовалъ, что эта женщина, дѣйствительно, все знаетъ.

— Я его не убивалъ—мнѣ зачѣмъ?..—шепталъ Батоговъ, а самъ думалъ:—развѣ и эту тоже?..

— Меня не убьешь,—говорила Наръ-Беби; она точно читала всѣ мысли своего любовника.

— Колдунья — одно слово, — подумалъ Батоговъ. — Надо хитрить.

— Мнѣ хорошо, тебѣ хорошо,—говорила Наръ-Беби.

Она сидѣла на опрокинутомъ разбитомъ котлѣ, онъ стоялъ около.

— Я все знаю, а никто этого знать не будетъ. Будетъ мнѣ дурно, тогда и другіе все знать будутъ... Да я тебя еще прежде сама зарѣжу...

— Ужъ будто и зарѣжешь?..

— Горло перегрызу зубами...

Батоговъ улыбнулся.

— Гм... Ну, коли такъ, коли ты все знаешь,—прервалъ ее Батоговъ,—такъ я тебѣ скажу... Думалъ я точно уйти, а теперь отъ тебя куда я пойду? Мнѣ и здѣсь хорошо.

— Ну, смотри...

Она быстро вскочила; ей почудилось, что кто-то идетъ за изгородью... Прислушалась —никого.

— Смотри же...—томно говорила Наръ-Беби.

— И зачѣмъ это она такъ саломъ этимъ вонючимъ намазалась?—ворчалъ Батоговъ.

Человѣка три конныхъ подъѣзжали къ загону. Батоговъ посвисталъ, щелкнулъ длиннымъ кнутомъ и совершенно скрылся въ этой массѣ пестрыхъ конскихъ туловищъ, устремившихся къ выходу. Наръ-Беби занялась перевязываніемъ кожанаго мѣха съ молокомъ, чтобы удобнѣе было взвалить его на спину.

— Экія тѐмныя ночи начинаются,—говорилъ одинъ изъ всадниковъ.

— Время къ тому идетъ,—резонно замѣтилъ другой.

— Вчера я ѣхалъ изъ Могуна. То есть, ничего не вижу; хоть совсѣмъ глаза закрывай, хоть пяль ихъ, что есть мочи,— все одно будетъ.

— Холодать стало очень.

— Особенно къ утру... Бѣда!..

— Хоть бы украсть ее что-ли, а то не продаетъ да и шабашъ.

— Это сѣрую, что-ли?

— Сѣрую. На-дняхъ на скачкѣ былъ. Вижу, славно идетъ, махъ совсѣмъ сайгачій. Продай, говорю... Что дашь? Двѣсти кокановъ или на мѣну пойду... А этого хочешь? — говоритъ Курбанъ. — Не продамъ, самому по сердцу. Такъ и отъѣхалъ я отъ него ни съ чѣмъ.

— Что жъ, украсть недолго...

— Теперь хорошо: темно.

— Къ Ахмету за его шестую дочь калымъ пригнали.

— Покуда овецъ только, а лошадей обѣщали на той недѣлѣ.

— А дѣвка совсѣмъ неважная,—я видѣлъ.

Всадники поѣхали дальше. Говоръ ихъ затихалъ въ сгущавшейся темнотѣ.

Ночь наступила темная, холодная. Въ аулѣ тамъ и сямъ поднималось высокое пламя отъ костровъ.

— Вѣдь это послѣдняя ночь! Господи, помоги мнѣ (Батоговъ упалъ на колѣна). Если не для меня, то хотя для *той*. Не дай ей умереть здѣсь. Доведи хотя разъ еще взглянуть ей на волю...

Что-то зашуршало и такъ близко, почти у самаго колѣна

молящагося. Батоговъ отпрянулъ. Какая-то искорка мигнула во мракѣ, мигнула, исчезла, мигнула ближе и послышалось знакомое шипѣніе.

Батоговъ едва успѣлъ отскочить и взмахнуть палкою. На пескѣ чуть виднѣлось быстрое извивавшееся черно-бронзовое тѣло мѣдянки.

— Вотъ бы во-время ужалила, проклятая! Нечего сказать, кстати...

У него закопошилась суевѣрная мысль: добро или зло предвѣщаетъ гадина.

Батоговъ улыбнулся.

— Неси молоко за мною...

Передъ нимъ выросла округленная фигура Наръ-Беби. Она не могла уйти одна: она не рѣшалась оставить Батогова.

— А я думалъ, что ты уже въ аулѣ, — произнесъ онъ, взваливая на плечи мѣхъ.

— Иди за мною,—отвѣчала ему Наръ-Беби и пошла впереди, переваливаясь на ходу и поглядывая черезъ плечо на идущаго за нею работника.

Эхъ, дубинушка, ухни...
Эхъ, зеленая, сама пойдетъ!..

Затянулъ Батоговъ, шагая слѣдомъ и поглядывая на яркую точку полярной звѣзды,—точку, которая въ эти темныя, непроглядныя ночи должна будетъ служить имъ единственнымъ путеводителемъ.

Батогову казалось, что эта звѣзда сегодня особенно ярко свѣтитъ, за этимъ манящимъ свѣтомъ не видно остальныхъ свѣтилъ, не видно даже поднявшейся довольно высоко семизвѣздной Большой Медвѣдицы.

Въ аулѣ какъ-то особенно жалостливо, уныло выли проголодавшіяся собаки и пронзительно ревѣлъ испуганный кѣмъ-то ишакъ, уставившись глазами на огонь ближайшаго костра.

VII.

Побѣгъ.

— Ну, мой-то плоховатъ,—говорилъ про себя Батоговъ разсматривая при свѣтѣ костра остатки своего верблюжьяго халата. Почти до послѣдней степени возможности носилъ этотъ

халатъ его хозяинъ, наконецъ, бросилъ: и рукава обтрепались, и полы висѣли зубцами, и заплатъ на немъ было больше чѣмъ цѣлыхъ мѣстъ; сала изъ него можно было бы вытопить добрую чашку, и несло отъ этого халата чуть не за десять саженъ. Батоговъ и надѣвать его не рѣшался, предпочиталъ ходить въ однихъ шароварахъ, пока было тепло, а теперь настали холода, да и къ тому же въ дорогу не мѣшало привести свой костюмъ хотя въ какой-нибудь порядокъ.

А Батоговъ собирался въ дорогу и, по его соображеніямъ, отправляться въ эту дорогу предстояло сегодня ночью.

— Вотъ мирза Кадргулъ вернется, онъ тебѣ новый дастъ къ зимѣ-то,—сказалъ кто-то, сидѣвшій по другую сторону костра. Густой дымъ, поднявшійся отъ новаго пучка сырого камыша, подброшеннаго на огонь, закрывалъ говорившаго.

— А то не дастъ, — отвѣчалъ Батоговъ. — Въ этомъ не проживешь...

— У Каримки хорошій былъ, крѣпкій...

Батоговъ сталъ присматриваться къ говорившему.

— Да, новый, крѣпкій; да пропалъ куда-то онъ, вмѣстѣ съ халатомъ,—говорилъ тотъ-же голосъ.

Батоговъ нагнулся, насколько позволялъ дымъ; онъ разсмотрѣлъ маленькаго, чернаго, словно закопченаго киргиза, сидѣвшаго на корточкахъ и грѣвшаго надъ огнемъ свои пальцы.

— Нѣтъ, этотъ, кажется, спроста говоритъ, — подумалъ Батоговъ... Онъ былъ въ такомъ настроеніи, что ему вездѣ, во всякомъ словѣ, чудились намеки.

Наръ-Беби, подлила масла въ огонь своею сценою въ загороди, и этой сцены было достаточно для того, чтобы ему со всѣхъ сторонъ казались блестящіе, дышащіе ревностью глаза женщины, уставившіеся на него изъ темноты. Онъ даже обернулся быстро, неожиданно даже для самого себя.

Какая-то искорка блеснула далеко, тамъ у самой лощины. Собаки усилили вой...

— Волки, должно быть,—замѣтилъ черномазый.

— Волки,—согласился съ нимъ Батоговъ и весь похолодѣлъ, несмотря на близость огня. Онъ зналъ, что это за волки... «Вонъ та звѣзда тамъ будетъ»,—говорилъ ему его Юсупъ, когда сообщалъ подробности.

Батоговъ взглянулъ наверхъ... Та звѣзда была тамъ.

А народъ въ аулѣ какъ нарочно не укладывался на покой. Батогову казалось, что это все дѣлается для того, чтобы помѣшать его побѣгу, ему казалось, что всѣ знаютъ, всѣ его стерегутъ, что вниманіе всякаго устремлено именно на тотъ чуть замѣтный свѣтлый треугольникъ, образовавшійся между двухъ скатовъ лощины, въ то самое мѣсто, гдѣ только что блеснулъ свѣтъ, куда повернули свои острыя морды развывшіяся на весь аулъ собаки.

— Давай на мой мѣняться,—приставалъ къ нему все тотъ же киргизъ и протягивалъ какую-то полосатую ветошь.

— Отстань...

— Я не много возьму придачи; ты смотри, мой совсѣмъ новый...

Подошло еще два джигита и сѣли рядомъ съ Батоговымъ.

— Что-то спать не хочется,—сказалъ одинъ изъ нихъ.

— Цѣлый день дрыхли и безъ того,—произнесъ другой и оба взглянули на Батогова.

— Это невыносимо... — чуть не вслухъ простоналъ Батоговъ. Онъ всталъ.

— Сиди!..

Его ухватили за шаровары.

— Оставь!.. пусти.

— Да ну, куда тебѣ спѣшить?

Двѣ руки сразу посадили, почти повалили его на землю.

— Все кончено,—подумалъ несчастный.

Оба киргиза засмѣялись.

— За полночь переходитъ—смотри.

Глаза Батогова тоже устремились невольно кверху

Та звѣзда переходила уже съ *того* мѣста.

Сердце несчастнаго стучало такъ сильно, что могли бы и другіе слышать эти учащенные, глухіе удары, такъ по крайней мѣрѣ казалось Батогову; голова его горѣла, а между тѣмъ всего его трясло какъ въ лихорадкѣ... «Развѣ силу пустить въ ходъ,—мелькнуло у него въ головѣ...» Все равно пропадать... А можетъ быть... Онъ рванулся.

Его никто не держалъ, на него только смотрѣли.

— Да что ты, опять заболѣлъ?—спросилъ у него джигитъ...

— Ну, куда идешь? — погоди, еще спать рано.

— Ты намъ сказку разскажи...

— Помнишь ту, что прошлый разъ не досказалъ... про царя съ длинною бородою...

— А, можетъ, и вправду они ничего не знаютъ?—подумалъ Батоговъ и началъ успокаиваться.

— Да ну,—разсказывай...

— Ахъ, чтобъ ихъ проклятыхъ... въ крюкъ свело! эка развылись...

Теперь уже вытье собакъ стало дѣйствительно невыносимо: оно, мало-по-малу, переходило въ яростный лай. Рыжій, тощій песъ, лежавшій неподалеку, рванулся съ мѣста, взвизгнулъ и понесся въ темноту.

— А ну ихъ къ самому дьяволу!—что-же сказку-то?

— Ну, во-время,—думалъ Батоговъ.

Человѣкъ пять быстро прошли мимо костра. Они шли за собаками, шли прямо къ лощинѣ.

— Такъ вотъ стали чесать царю бороду, — началъ Батоговъ дрожащимъ, задыхающимся голосомъ.

— Постой, ты не съ того началъ,—прервалъ его одинъ изъ слушателей.

— Ну, не мѣшай,—онъ знаетъ.

— Принесли большой золотой гребень...

— Загороди горятъ!—пронесся крикъ по аулу.

Въ противоположной сторонѣ вдругъ взвилось красное пламя. Огненные языки словно живымъ кольцомъ охватили огороженные камышомъ пространства. Запертые тамъ жеребята зашатались, ошеломленные, вытаращивъ глаза, поднявъ кверху свои короткіе хвотики... Все кинулось туда.

Рѣзкій свистъ послышался съ другой стороны. Батоговъ понялъ все. Онъ хотѣлъ бѣжать, ноги словно приросли къ землѣ; хотѣлъ крикнуть,—звукъ пропадалъ еще въ горлѣ, не вырываясь на свободу.

— Да, время уходитъ, Господи!.. Что-же это со мною?.

Новый свистъ пронесся въ воздухѣ...

Вдругъ въ него вцѣпились и крѣпко охватили его корпусъ женскія руки...

— А... ты уходить?.. — завизжала Наръ-Беби и повисла на немъ, чуть не поваливъ его на землю этимъ порывистымъ движеніемъ.

Сознаніе воротилось къ Батогову. Новая опасность воскресила въ немъ всѣ его силы.

Руки, сжимавшія его съ такою силою, мгновенно разомкнулись, и Наръ-Беби тяжело, почти безъ стона, не то упала, не то присѣла на песокъ и тихо запрокинулась навзничъ. Страшный ударъ кулака Батогова пришелся какъ разъ по ея виску.

Бѣгомъ, не разбирая препятствій, кинулся Батоговъ къ лощинѣ, ему подъ ноги подвернулась какая-то собака; онъ упалъ. Со стороны горѣвшихъ загоновъ доносились крики. Тонкія, камышевыя загороди сгорѣли быстро... и все погрузилось снова въ глубокій мракъ; даже костры почти потухли, потому что, въ минуту тревоги, некому было подкладывать топливо. Разбѣжавшіеся жеребята шныряли и путались между кибитками. Передъ Батоговымъ стояли двѣ совершенно одсѣдланныя лошади и фыркали, косясь на аульную тревогу. На одной сидѣлъ всадникъ, другая свободная, безъ привязи, съ закинутыми на сѣдло поводьями, била копытомъ сырой песокъ, вытянула свою красивую шею и втягивала дрожащими ноздрями пропитанный дымомъ и туманомъ ночной воздухъ.

— Садись, тюра, времени терять нечего,—говорилъ Юсупъ торопливымъ, радостнымъ и вмѣстѣ тревожнымъ полушопотомъ.

— Орликъ, мой Орликъ!..—всхлипывалъ Батоговъ, садясь поспѣшно на лошадь. Онъ не въ силахъ былъ удержать душившихъ его рыданій.—Господи! я думалъ было, что уже все пропало. Юсупъ, — родной мой!.. Наръ-Беби, — я убилъ ее... кажется... Пожаръ помогъ... сказку говорилъ... Юсупъ, да ты слушай!.. Вѣдь та звѣзда... помнишь, въ аулѣ? Я видѣлъ — она съ ума сошла... Дошли вы до границы, а?—да говори-же... Вѣдь это воля... свобода!..

Юсупъ на всемъ скаку снялъ съ себя верхній халатъ и накинулъ его на голыя, дрожащія плечи Батогова.

Они неслись во всю прыть своихъ лошадей...

Далеко сзади чуть мерцали аульные огни, шумъ и голоса замерли вдали; давно уже отстала преслѣдовавшая ихъ сначала собачья стая.

Передъ ними разстилался необозримый мракъ ночи. Этотъ мракъ словно проглатывалъ бѣглецовъ; казалось, по воздуху неслись кони въ своей отчаянной скачкѣ. Въ отуманенныхъ слезами глазахъ Батогова мерцала только одна *та* звѣзда.

А въ эту минуту въ аулѣ Курбанъ-бія на *ту*-же звѣзду пристально смотрѣли еще два глаза. Томительный вопросъ ви-

денъ былъ въ этомъ полуугасавшемъ взорѣ, словно отъ *этой* звѣзды ждали роковой вѣсти, способной или вновь воскресить, или-же совсѣмъ доканать эти слабые остатки жизненной силы.

VIII.

На привалѣ.

Однако теперь уже можно и потихоньку ѣхать,—говорилъ Юсупъ, сдерживая лошадь.

Они уже часа два скакали, предоставивъ лошадямъ самимъ разыскивать себѣ удобную дорогу. Юсупъ только берегъ главное направленіе. Нѣсколько разъ вѣрный джигитъ долженъ былъ нагибаться и придерживать за поводъ горячившагося Орлика. Батогову все казалось, что они слишкомъ тихо ѣдутъ, слишкомъ медленно удаляются отъ ненавистнаго аула. По временамъ ему чудились: топотъ сзади, приближающіеся крики и свистъ; лай собакъ все еще звенѣлъ у него въ ушахъ, и онъ, все сильнѣй и сильнѣй, сжималъ ногами взмыленные бока лошади, оглядываясь назадъ и прислушиваясь къ этимъ страшнымъ звукамъ... Разъ даже ему показалось, что его схватили и тащатъ съ сѣдла... Голосъ Наръ-Беби шепталъ: «Нѣтъ, не уйдешь... куда?..»

— Да ну, тюра, не бойся, — говоритъ Юсупъ, почти вплотную прижавшись къ Батогову. Онъ словно понималъ, что творится въ душѣ бѣглеца.

— Они гонятся... намъ не уйти... вотъ они!.. — шепталъ Батоговъ.

— Да никто не гонится... Имъ не до насъ теперь... У нихъ такой переполохъ... Вѣдь это я имъ запалилъ загороди... Они, можетъ быть, и не хватятся тебя сегодня ночью...

— Не хватятся?—нѣтъ, уже хватились... Тамъ, у самаго костра...

Батоговъ живо представлялъ себѣ, какъ озадачатся всѣ, найдя у самаго огня Наръ-Беби безъ всякаго признака жизни.

— Экъ я ее свистнулъ, — думалъ онъ и самъ чувствовалъ, какъ подъ его кулакомъ хрустнули, подаваясь, височные хрящи несчастной.

Мы уже верстъ двадцать ушли... надо поберечь лошадей,— говорилъ джигитъ.—Въ такую темь они и гнаться не станутъ. Почемъ имъ знать, куда? ни слѣда не видно, ничего... Да и

кому гнаться за нами? лучшіе кони съ мирзой Кадргуломъ, да и тѣмъ далеко до нашихъ. Вотъ золотистый, такъ тотъ былъ-бы хорошъ, да я ему, на всякій случай, ноги попортилъ...

Предусмотрительность Юсупа выказывалась въ полномъ блескѣ. На всемъ скаку обѣ лошади шарахнулись въ сторону. Это было такъ неожиданно, что даже такіе ѣздоки, какъ наши бѣглецы, чуть не вылетѣли изъ сѣделъ.

— А чортъ-бы васъ дралъ,—крикнулъ Батоговъ.

Крякнулъ и Юсупъ, уцѣпившись обѣими руками за гриву.

Нѣсколько шакаловъ, взвизгивая по собачьи и огрызаясь, теребили какую-то темную массу, должно быть, околѣвшаго верблюда; они разсыпались врозь, поджавъ хвосты, при видѣ двухъ всадниковъ, неожиданно налетѣвшихъ изъ мрака на ихъ пирушку.

— Ну, мы на хорошей дорогѣ, — произнесъ Юсупъ, разглядѣвшій, въ чемъ дѣло.—Это караванный путь къ Митану. Намъ теперь все правой стороны держаться надо.

Они поѣхали крупнымъ степнымъ шагомъ. Лошади потряхивали головами и отфыркивались. Шутя пронеслись они это пространство, и, казалось, по одному знаку всадниковъ, готовы были снова проскакать столько-же.

Несмотря на сильный холодъ осенней ночи, Батоговъ былъ весь въ поту, и его начинала мучить нестерпимая жажда.

— Съ тобой есть вода?—спросилъ онъ Юсупа.

— Еще чего захотѣлъ?..—ухмыльнулся джигитъ.

— Пить хочу... такъ и горитъ внутри,—говорилъ Батоговъ.

— Погоритъ, перестанетъ...

Юсупъ относился теперь къ своему «тюра» гораздо фамильярнѣе, чѣмъ до плѣна... Прежняя рабская, немного собачья покорность и подобострастіе исчезли; — все это замѣнилось другимъ, болѣе хорошимъ чувствомъ. Дикарь инстинктивно чувствовалъ, что теперь они оба «тюра», оба джигиты... Теперь они только товарищи... И если бы въ настоящую минуту Батоговъ далъ ему по уху, какъ прежде, за дурно сваренный глинтвейнъ, то, навѣрно, Юсупъ отвѣтилъ-бы тѣмъ-же.

— Ну, потерпи немного, потерпи... Къ утру мы будемъ у ключей; тамъ есть вода, хорошая вода есть; я двѣ недѣли тому назадъ былъ, видѣлъ; а народу тамъ нѣтъ; всѣ ушли къ озерамъ... я и это знаю. Я все знаю: кто куда откочевалъ, когда гдѣ будетъ,—все знаю. Я вѣдь за этимъ и ѣздилъ, помнишь

тогда. Это я дорогу искалъ настоящую, такую дорогу, чтобы, кромѣ насъ, никого людей на ней не было-бы въ эту пору...

— Сзади бояться нечего,—говорилъ джигитъ, съ оживленіемъ передавая Батогову свои соображенія.—За нами, что за вѣтромъ, не угонятся. А вотъ, чтобы насъ не перехватили на пути, вотъ тогда бѣда была-бы совсѣмъ. Особенно я одного мѣста боюсь; тамъ меня немножко замѣтили...

Юсупъ почесалъ у себя надъ бровью, какъ будто у него заболѣлъ, при этомъ воспоминаніи, старый шрамъ, что привезъ джигитъ изъ своей поѣздки.

— А лихой ты парень,—произнесъ Батоговъ и потрепалъ его по затылку.

— Эге, — засмѣялся Юсупъ. — Вотъ, погоди, пріѣдемъ къ намъ на Дарью... Тамъ въ походъ вмѣстѣ пойдемъ. Ты смотри, Юсупкѣ крестъ попроси у генерала, такой бѣлый, что Атамкулкѣ дали. Юсупка его на халатѣ носить будетъ; и «мендаль» съ птицею на красной лентѣ, непремѣнно чтобы, слышишь?..

У Юсупа начинали заигрывать честолюбивые замыслы.

— Стой!..

— Тише,—слушай!..

— Тс!.. да будетъ надъ нами милость Аллаха!

Близко, казалось, что не болѣе, какъ въ пятидесяти саженяхъ, проходилъ отрядъ конницы. Многочисленныя копыта дробно стучали по твердому грунту степи; кусты колючки шелестѣли, путаясь между ногами. Но какъ ни напрягали свои испуганные глаза Юсупъ съ Батоговымъ, они рѣшительно ничего не могли видѣть въ этой непроницаемой темнотѣ.

— Только-бы наши не заржали,—шепнулъ Батоговъ на ухо товарищу.

— Оглаживай,—говорилъ ему также тихо Юсупъ.

Орликъ фыркнулъ. Батоговъ похолодѣлъ.

Громкій хохотъ Юсупа покрылъ собою глухой топотъ быстро удалявшихся многочисленныхъ ногъ мнимаго отряда.

— Сайгаки!..—хохоталъ Юсупъ,—что, небось, струсилъ?.

И онъ раскачивался въ сѣдлѣ, ухватившись подъ бока руками.

— Я уже думалъ, что совсѣмъ пропали, — говорилъ Батоговъ, переводя духъ.

— Небось, не пропадемъ, живы будемъ. Четырехъ дней не пройдетъ, съ своими увидимся.

Еще не совсѣмъ хорошо разсвѣло, какъ Юсупъ, внимательно приглядываясь къ самымъ ничтожнымъ предметамъ, попадавшимся на пути, остановилъ свою лошадь и сказалъ:

— Ну, теперь мы можемъ и отдохнуть. Мы въ самой лощинѣ, у ключей...

— Вода гдѣ?..—спрашивалъ Батоговъ.

— Сейчасъ и воду отыщемъ;—тутъ она близко: немного только порыть и готово.

Батоговъ слѣзъ съ лошади. Онъ былъ безъ обуви, и его босыя ноги сразу ощутили холодную сырость влажнаго песка на днѣ лощины.

— А знаешь, — сообщилъ Юсупъ, — мы въ одну ночь слишкомъ восемь ташей сдѣлали (около шестидесяти верстъ).— Гоняйся за нами кто хочетъ! Здѣсь мы весь день простоимъ, если что не помѣшаетъ; а къ ночи опять въ походъ. Ну, давай убирать коней.

Лошадей не разсѣдлывали, только немного ослабили подпруги и вынули удила; ноздри, глаза, даже уши были тщательно протерты концемъ шерстяного пояса. Юсупъ досталъ изъ мѣшка приколы и привязалъ лошадей, спутавъ ихъ предварительно поводьями; это, обыкновенно, дѣлается такимъ образомъ, что поводья одной лошади перекидываются за сѣдло другой. Затѣмъ оба путешественника принялись разрывать песокъ, пуская въ ходъ ножи, а чаще руки.

Менѣе чѣмъ черезъ полчаса довольно легкой работы песокъ сталъ такъ влаженъ, что когда его сжимали между ладонями, то грязная вода струйками сбѣгала между пальцами. Тогда работа была пріостановлена: надо было имѣть терпѣніе дождаться, пока вода накопится въ этой воронкообразной ямкѣ и отстоится настолько, чтобы быть годной къ употребленію.

Свѣтлѣй и свѣтлѣй становилось небо, и ясно вырѣзывались кустарники колючки и между ними какіе-то угловатые черные камни, разбросанные по гребнямъ скатовъ лощины. Лощина эта шла извилиной, точно русло когда-то протекавшей рѣки; рыхлый, влажный темнокрасный песокъ покрывалъ ея дно и сквозь этотъ песокъ, словно щетина, пробивались красноватые стебельки степной осоки (ранга).

Юсупъ развязалъ свой куржумъ и досталъ оттуда кунганъ,

мѣшочекъ съ чаемъ, цѣлую баранью лопатку, не то вареную, не то пареную, не то просто сырую,—по виду разобрать было довольно трудно,—и принялся устраивать завтракъ.

— Тутъ если мы и огонь разведемъ,—говорилъ онъ Батолову,—такой маленькій, такъ насъ никто не увидитъ. Набери-ка сухой колючки, вонъ тамъ по окраинамъ. Да, смотри, не опейся... Ты немного, съ разу-то. .

Послѣднее замѣчаніе было произнесено по поводу того обстоятельства, что Батоговъ, припавъ на животъ у самаго края вырытаго родника, почти не отрывалъ рта отъ его поверхности...

Не болѣе, какъ черезъ четверть часа маленькій кунганчикъ закипалъ, поставленный къ самому огню, и мирза Юсупъ взвѣшивалъ у себя на рукѣ отсыпанную изъ мѣшечка порцію зеленаго бухарскаго чая.

Батогову сильно хотѣлось спать, да и самъ Юсупъ раза два клюнулъ носомъ.

Принялись завтракать.

— Теперь вотъ что,—говоритъ джигитъ, навязывая лошадямъ торбы съ ячменемъ.—Я полѣзу туда наверхъ, а ты спи. Съ того гребня далеко видно, и ежели что замѣчу... Да ну, ложись же...

И онъ полѣзъ наверхъ, гдѣ, выставивъ свою голову между двухъ большихъ камней, принялся, лежа на брюхѣ, наблюдать окрестности.

Цѣлый день просидѣли бѣглецы въ своей лощинѣ, поочередно вылѣзая на сторожку. Покуда одинъ спалъ, другой сидѣлъ, да поглядывалъ. Съ высоты гребня далеко видно было кругомъ, и всякая опасность могла-бы быть замѣчена во-время.

Для Юсупа время не тянулось, вѣроятно, слишкомъ долго; онъ все находилъ себѣ какую-нибудь работу: то у лошадей что-то возится, то во вьюкахъ копается, то оружіе сотый разъ сальною тряпкою смазываетъ... Все время онъ что-то говорилъ и напѣвалъ. Нельзя было разобрать, съ кѣмъ онъ разговариваетъ: съ Батоговымъ-ли, съ лошадьми-ли, такъ-ли просто самъ съ собою... но ни на одну секунду эта живая, впечатлительная, полудикая натура не могла успокоиться.

Для его русскаго товарища день казался безконечнымъ, и онъ нѣсколько разъ говорилъ:

— Э, да какой дьяволъ насъ увидитъ? Гнать и гнать поскорѣе.

А Юсупъ на это всякій разъ отвѣчалъ:

— Лучше одинъ день пропадетъ задаромъ, чѣмъ наши головы. А ужъ если попадемся, то наврядъ отвертимся.

Облачка пыли тамъ и сямъ носились по горизонту. Затаивъ дыханіе, присматривались бѣглецы къ этимъ клубамъ.

— Сайгаки,—говорилъ Юсупъ,—а можетъ быть, кулани.

— Тюркмены!—произносилъ, стиснувъ зубы, Батоговъ и припадалъ къ самой землѣ, плотно-плотно, словно хотѣлъ втискаться въ нее своимъ тѣломъ.

— А что, не моя правда?—тихо смѣялся Юсупъ.—Смотри, вонъ *они* къ барханамъ подрали—вонъ, отсталъ одинъ... А вонъ еще пара...

— Эхъ! то есть, кажется, одинъ-бы десятерыхъ уложилъ, еслибъ пришлось схватиться...

При одной мысли о погонѣ и возможности схватки, Батоговъ чувствовалъ, какъ конвульсивно сжимались мускулы, ногти сжатыхъ въ кулаки пальцевъ впивались въ горячія ладони, глаза горѣли лихорадочнымъ жаромъ... Силы удвоивались.

— Я только одного боюсь,—сообщалъ Юсупъ:—тамъ на Заравшанѣ не ладно. Если русскіе погонятъ Назаръ-Кула, то онъ, пожалуй, на нашу дорогу отойдетъ... Да вотъ и Садыкъ съ своими оборванцами въ той сторонѣ шатается.

— Ну, теперь уже больше на Аллаха налегать нужно,—заявлялъ Батоговъ.

— Не безъ него,—лаконически отвѣчалъ Юсупъ и что-то соображалъ, розыскивая у себя по швамъ халата бѣлыхъ паразитовъ.

— Я къ тому больше рѣчь веду,—началъ опять Юсупъ,—что это все-бы еще полбѣды...

— Это попасться-то?

— Нѣтъ, какъ бы мы попались?—Ты, смотри, тебя обрили вотъ, голова твоя совсѣмъ голая, какъ колѣно. Ну, и къ рожѣ твоей надо долго приглядываться, чтобы узнать, что ты за птица; подумаютъ:—такіе же шатуны, какъ и они... Ну, и обойдется...

— Такъ что-жъ тебѣ страшно, что на нашей дорогѣ они бродятъ?

— Человѣкъ такой есть тамъ.

— Какой?

— Нехорошій... Онъ-то, пожалуй, и хорошій человѣкъ, да для насъ съ тобой нехорошій. Ты его знаешь.

— Кто такой?

— Да помнишь, тотъ сѣдой, высокій такой, въ прежней шайкѣ что былъ?..

— Не помню.

— Сафаромъ его звать.

— А... сказочникъ! Да ты какъ же съ нимъ встрѣтился?..

— Привелъ Аллахъ... Онъ сперва не узналъ меня, да Орликъ твой выдалъ, эдакая лошадь примѣтная?..

— Ну, что же вышло изъ того?..

— Схватились немного... Я то не затрогивалъ. Мнѣ-бы только удрать... Ну, а они насѣдаютъ... Да хорошо, что я не слѣзалъ съ лошади, а то пропалъ бы. Сафаръ-то оретъ во все горло: бери его!.. Они ко мнѣ!.. Повозились немного... я, кажется, кого-то стукнулъ... и меня тоже зацѣпили... ну... а потомъ я ушелъ...

— Это все въ тотъ разъ, когда изъ аула отлучался?..

— Въ тотъ самый... Какъ вѣдь боялся, чтобы не выслѣдили!..

Обѣ лошади давно уже безпокоились и нетерпѣливо рыли ногами землю; особенно замѣтно волновался Орликъ.

— Что съ ними? — произнесъ Батоговъ, поднимаясь на ноги.—Онѣ что-то чуютъ?..

— Непогоду чуютъ, я уже давно за ними замѣчаю,— отвѣчалъ Юсупъ. — Да вотъ, гляди, какая туча съ востока поднимается. Да и холодомъ какъ потянуло! Смотри, какъ разъ буранъ разъиграется.

— А не пора ли намъ собираться? время-то къ ночи.

— А это!..

Юсупъ показалъ рукою на небо, которое все темнѣло и темнѣло, и въ этой медленно, неудержимо надвигающейся темнотѣ, словно пороховыя облака, неслись и стлались низко по землѣ пыльные вихри. Какой-то стройный, свистящій шумъ доносился до самой лощины, и сквозь верблюжьи халаты прохватывали рѣзкія струи холоднаго вѣтра.

— Съ градомъ идетъ. Теперь намъ и думать нельзя выходить изъ лощины,—сказалъ Юсупъ.

— Къ конямъ ближе держаться надо... Смотри, смотри!

Оба путника невольно обратили вниманіе на узкій спускъ въ лощину, въ одной изъ боковыхъ промоинъ. Тамъ, робко переступая, показалось животное, ну совсѣмъ маленькая лошадка,

съ торчащими, немного длинными ушами съ большою, испуганною, глупою головой, вся дрожащая отъ страха при видѣ людей, но, вѣрно, то, отчего спасалось животное, было страшнѣй того, что встрѣтило оно въ спасительной лощинѣ.

За передовымъ куланомъ показалась еще такая-же озадаченная голова, тамъ еще и еще, и все небольшое стадочко, штукъ восемь не больше, сбившись въ кучу, не рѣшаясь двинуться впередъ, сгруппировалось у спуска.

— Бѣдовый буранъ будетъ,—шепталъ Юсупъ.—Ужъ коли эти головастыя прячутся, значитъ, дѣло худо!..

Двѣ-три крупныя градины звонко щелкнули о песокъ, высоко подпрыгнули и зарекошетировали по дну лощины. Глухой дробный хохотъ слышался все ближе и ближе; сплошная, бѣловатая стѣна, охвативъ полгоризонта, по мѣрѣ своего приближенія, росла все выше и выше. Высоко надъ головою кружились два большихъ степныхъ орла. Сильныя птицы учащенно размахивали своими могучими крыльями, онѣ боролись съ силою вѣтра, онѣ хотѣли подняться выше, вырваться изъ этого вихря, но, кажется, и имъ не подъ силу была эта борьба, раза два онѣ, словно подстрѣленныя, перевертывались, мелькая бѣловатыми животами, и, уступая воздушному теченію, неслись словно распластанныя, рваныя тряпки, до новой попытки пробиться сквозь градовыя тучи.

Быстро бѣлѣло дно лощины, покрываясь прыгающими по всевозможнымъ направленіямъ градинами. Орликъ и сѣрый повернулись задами къ вѣтру, согнули свои спины, защищенныя вьюками, и опустили свои головы до самыхъ копытъ... Бѣдныя животныя вздрагивали и даже брыкались, когда какая нибудь градина, чуть не съ орѣхъ величиною, больно щелкала по непокрытому крупу. Батоговъ и Юсупъ скорчились и покрыли свои головы халатами.

Въ пяти шагахъ ничего нельзя было разсмотрѣть.

— Теперь, если у кого отара въ степи,—говорилъ Юсупъ, пожимая подъ халатомъ плечами,—сколько овецъ перебьетъ...

— Что-же, эдакъ мы всю ночь просидимъ изъ-за этого проклятаго бурана,—ворчалъ Батоговъ:—а тамъ опять утро, опять свѣтло, опять сидѣть придется въ этой берлогѣ.

— Противъ Аллаха не пойдешь!—вздохнулъ Юсупъ.

— Ну, совсѣмъ Ноевъ ковчегъ. Гляди!..

Двѣ ушастыя мордочки мелькнули близко-близко, сквозь бѣловатую мглу, взвизгнули и попятились. Юсупъ гикнулъ, морды спрятались.

Орликъ дико храпнулъ и поддалъ задомъ... Кованныя ноги ударили въ какое-то живое тѣло; къ завываніямъ градовой мятели прибавилось другое, почти схожее унылое вытье. Юсупъ и Батоговъ подползли вплотную къ лошадямъ и намотали наруки поводья.

— Все надежнѣе будетъ,—произнесъ Батоговъ и дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Рѣзкій холодъ усиливался, зубы выбивали дробь, руки и особенно ноги коченѣли.

— Еще счастье, что мы не въ открытой степи,—сообщалъ Юсупъ.—А то бы совсѣмъ смерть.

— Эхъ, коли-бы хоть глоточекъ водки...—вздыхалъ Батоговъ.—Давненько я ее не пробовалъ.

— Погоди, пріѣдемъ, я тебѣ опять ту красную штуку сварю, что у Саидъ-Азима, помнишь, пили,—утѣшалъ его Юсупъ.

— Сдохнемъ десять разъ прежде, чѣмъ доѣдемъ...

Батоговымъ начало овладѣвать уныніе.

— Ну, великъ Аллахъ и пророкъ!—Проноситъ, кажется?.. Виднѣе немного стало.

Оба они высунули свои носы изъ-подъ халатовъ и стали присматриваться.

Очертанія гребней начали слегка вырисовываться. Батогову показалось, что высоко мелькнули сквозь разряженныя тучи свѣтлыя точки.

— Звѣзды, еще ночь!—крикнулъ онъ.

Ему вдругъ стало ужасно весело... Онъ пустился въ присядку: онъ хотѣлъ согрѣться этимъ быстрымъ движеніемъ. Юсупъ смотрѣлъ и тоже заработалъ ногами. Лошади подняли головы и со вниманіемъ смотрѣли на плясуновъ.

— Ну, теперь въ путь,—перевелъ духъ Батоговъ и сталъ подтягивать подпруги.

Они сѣли на прозябшихъ коней и тронулись.

IX.

Въ шайкахъ Назара.

Весь кишлакъ (деревня) состоялъ не болѣе, какъ изъ десяти сакель. Крыши у всѣхъ этихъ сакель были разломаны

и чернѣли обугленныя балки, торча изъ-за закоптѣлыхъ, приземистыхъ стѣнъ. Запасы корма и топлива были сожжены, и тамъ, гдѣ прежде возвышались скирды клеверныхъ сноповъ, лежали груды бѣловатой золы, и каждый легкій порывъ вѣтра разрывалъ эту золу и разносилъ ее по узкой, единственной улицѣ кишлака, засыпалъ ею лужи почернѣлой, запекшейся крови, тонкимъ слоемъ покрывалъ искаженныя, позеленѣвшія лица мертвецовъ, тамъ и сямъ лежавшихъ въ самыхъ неестественныхъ, отвратительныхъ позахъ.

Десятка два воронъ и пара черныхъ, какъ уголь, грачей перелетали съ мѣста на мѣсто: клювы у этихъ хищниковъ были широко раскрыты, они лѣниво взмахивали крыльями, дышали тяжело, малѣйшее движеніе ихъ тяготило: ужъ очень они наѣлись... Эти птицы да еще рыжая съ черными пятнами кошка, на мгновеніе выглянувшая изъ-подъ разбитаго сундука, были единственными живыми существами во всемъ кишлакѣ.

Дорога, проходившая черезъ это селеніе, шла изъ бокового скалистаго ущелья, спускалась внизъ и, обогнувъ маленькій, заплѣсневѣлый прудокъ, надъ которымъ свѣсились оголенныя вѣтви тальника, шла дальше, теряясь между холмистыми пригорками. За этою волнообразною грядою начиналась заравшанская долина, густонаселенная, плодородная полоса, лежащая по обѣимъ сторонамъ рѣкъ Заравшана, Акъ-Дарьи и Нурупая.

Горное эхо принесло съ собою звукъ, весьма похожій на человѣческій голосъ. Большая, жирная ворона, долбившая носомъ гладко-обритый затылокъ старика, ничкомъ лежавшаго у самаго входа въ крайнюю саклю, приподняла голову, нагнула ее нѣсколько на бокъ, прислушалась и бочкомъ отпрыгнула немного въ сторону.

Звукъ повторился. Теперь ясно слышно, что это говоритъ человѣкъ; другой ему отвѣчаетъ; вотъ засмѣялись оба... Щелкаютъ подковы по каменистой дорогѣ. Всадники ѣдутъ вонъ по той лощинѣ; ихъ не видно пока за гранитнымъ откосомъ, а ѣдутъ они очень близко.

Съ шумомъ поднялась вся воронья стая, отлетѣла въ сторону и разсѣлась на сучьяхъ стараго, высохшаго карагача, жадно поглядывая на оставленную добычу.

Надъ гребнемъ откоса мелькнулъ сперва конецъ ружья, потомъ красный верхъ киргизскаго малахая.

— Вонъ оно какъ!—говоритъ одинъ всадникъ, шагомъ подъѣзжая къ саклямъ.

— Это Назаръ-Кулки слѣды,—отвѣчаетъ другой.—Теперь берегись! Вотъ онъ всегда такъ: пойдетъ съ русскими воевать, на *бѣлыхъ рубахъ* только издали посмотритъ, а по кишлакамъ пакоститъ.

— Вчера ночью мы слышали, помнишь?

— Это пальбу-то?

— Ну-да. Это здѣсь было.

— Нѣтъ, то русскія ружья были, а ты смотри, гдѣ ихъ слѣды. Русскіе всегда съ своими повозками ходятъ; кованный слѣдъ сразу виденъ; а онъ гдѣ?

— Можетъ, безъ повозокъ были?

— Да ужъ тамъ все равно: надо намъ теперь ухъ какъ поглядывать; если бы у насъ вмѣсто одной пары глазъ по десяти было, такъ и то всѣмъ достало-бы вволю работы.

— А слушай-ка, Юсупъ: кони наши вѣдь того...

— Да, притомились.

— Орликъ сегодня утромъ шестой разъ споткнулся.

— Да мы дальше не поѣдемъ сегодня; развѣ что ночь скажетъ, а пока надо переждать. Ты чего ищешь?

— Все пожгли, проклятые: хоть-бы одинъ снопъ оставили!

— Погоди! я по саклямъ пошарю: можетъ быть, ячменя найду, а то вѣдь бѣда: наши кони, шутка-ли, вотъ уже второй день только сухую колючку гложутъ.

— Эхъ, Орликъ, Орликъ!—говорилъ Батоговъ, слѣзая съ лошади и поглаживая ее;—подвело тебѣ бока, сердечному! Ну, потерпи, другъ, и для насъ съ тобою настанутъ красные деньки. А что,—обратился онъ къ Юсупу,—отсюда до Катакургана сколько верстъ, примѣрно, будетъ?

— Коли-бъ ѣхать прямо, безъ опаски, то на свѣжихъ коняхъ сегодня еще много до ночи поспѣть можно.

«Такъ близко! — подумалъ Батоговъ, и у него сердце сжалось отъ нетерпѣнія. — Такъ близко! Вѣдь тамъ русскіе, тамъ»...

Странное чувство вдругъ охватило Батогова: ему стало какъ-будто жалко того, что осталось сзади. Ему захотѣлось еще хотя

немного отдалить эту минуту, когда онъ увидитъ желто-сѣрую насыпь катакурганской цитадели и торчащую на ней фигуру часового въ русскомъ кепи съ назатыльникомъ.

— Эй, эй!—кричалъ Юсупъ, высовываясь изъ отверстія въ крышѣ одной изъ сакель.

— Эй!—отозвался Батоговъ.

— А я корму нашелъ и себѣ, и конямъ.

— Тащи!

— Иди, помогай: капъ (мѣшокъ) такой тяжелый! Хватай за конецъ, вотъ такъ!

Закинувъ поводья на шею лошади, Батоговъ взобрался по выдающимся камнямъ на стѣну сакли, ухватился обѣими руками за край мѣшка и потащилъ. Юсупъ поддавалъ снизу, острые края камней прорвали полосатую ткань капа, и по стѣнѣ побѣжала широкая желтоватая струя ячменныхъ зеренъ.

— Держи прорѣху!—кричалъ Юсупъ.

— Ничего: съ насъ хватитъ!—говорилъ Батоговъ, сваливая мѣшокъ на землю.

Глухо стукнулъ тяжелый капъ, и вслѣдъ за этимъ стукомъ послышался другой, болѣе легкій, отдаленный стукъ. Юсупъ пригнулся и сталъ прислушиваться. Батоговъ быстро соскочилъ со стѣны.

— Опять...—шепталъ Юсупъ.

— Да, это стрѣляютъ—ясно... Вонъ опять...

— Это недалеко... Бацъ!—это пушка...

— Нѣтъ, та глуше. Смотри на лошадей.

Орликъ, какъ добрая боевая лошадь, не оставался равнодушнымъ къ этимъ далекимъ, чуть слышнымъ выстрѣламъ, несмотря на крайнюю усталость и голодъ: онъ навострилъ уши, высоко поднялъ голову и подобрался.

— Намъ пока здѣсь, на виду, торчать не приходится,—говорилъ джигитъ:—заберемся-ка хоть на этотъ дворъ. Въ случаѣ бѣды, вонъ тою дорогою опять въ ущелье уйдемъ. Видишь, видишь?

Батоговъ еще прежде увидѣлъ то, на что указалъ Юсупъ. Обѣ лошади были торопливо уведены за стѣнки разграбленнаго дворика и поставлены въ темный уголъ полуразвалившейся сакли. Хозяева ихъ пріютились въ разсѣлинѣ стѣны, взобравшись на остовъ арбы съ обгорѣлыми колесами. Юсупъ полз-

комъ выбрался таки на улицу, подползъ къ тому мѣсту, гдѣ лежалъ разорванный капъ, и сталъ поспѣшно нагребать ячмень въ полы своего халата. Затѣмъ, нагруженный кормомъ для своихъ проголодавшихся коней, онъ отретировался обратно, говоря:

— А мы все-таки свое дѣло дѣлать будемъ. Давай-ка торбы.

— Гляди, сколько ихъ на той горѣ высыпало,—сообщалъ Батоговъ, приложивъ руку ко лбу въ видѣ козырька.

— Назарка, Назарка: это его красные!—шепнулъ Юсупъ.— Вонъ и пѣшіе видны.

На одномъ изъ самыхъ отдаленныхъ пригорковъ, по крайней мѣрѣ, верстахъ въ трехъ отъ кишлака, показалась сперва маленькая, черная точка. Въ этой точкѣ опытный глазъ наблюдателя сейчасъ-же узналъ бы всадника, мало того,—всадника, вооруженнаго длинною пикою. Рядомъ съ этою точкою черезъ нѣсколько секундъ показалась еще другая точка, тамъ еще и еще... Вся кучка тихонько спустилась съ прежняго пригорка и взобралась на другой. Маленькій клубочекъ бѣлаго дыма вспыхнулъ надъ этою группою, и, много спустя, въ воздухѣ что-то слегка треснуло. На сосѣднихъ курганахъ тоже показались отдѣльные всадники.

— Вотъ такъ и въ прошлый разъ: я чуть-чуть не наткнулся.

— Здѣсь-же?

— Нѣтъ; въ тотъ разъ я далеко не забирался.

— Сюда двигаются... А это слышишь? Это пушка.

— Тамъ, вонъ за тѣми курганами,—увѣренно говорилъ Юсупъ,—русскіе стоятъ. Я ужъ это вижу по Назаркинымъ уловкамъ. Какъ хитритъ, какъ хитритъ! Вотъ онъ въ обходъ идти собирается. А нашихъ, должно быть, мало.

— Какихъ это *нашихъ?*

Батоговъ искоса взглянулъ на своего товарища.

— Какихъ нашихъ?—конечно, русскихъ: а ты думалъ, я про эту орду?..

Юсупъ презрительно взглянулъ на конную толпу, въ которой уже можно было разсмотрѣть значки и бѣлые тюрбаны наѣздниковъ.

— Да, нашихъ, должно быть, немного.—Юсупъ сдѣлалъ удареніе на словѣ «нашихъ»: не придирайся, молъ. — Я это думаю потому, что *тѣ* больно храбрятся

Нѣсколько всадниковъ отдѣлились отъ толпы и рысью пошли къ кишлаку... Маневрируя, мало-по-малу, вся непріятельская партія подвигалась къ деревнѣ, и не трудно было догадаться, что черезъ десять минутъ отступленіе будетъ невозможно.

— Ну, намъ пора.

— Эхъ, пора!—вздохнулъ Батоговъ и сталъ взнуздывать Орлика, жевавшаго ячмень, съ такимъ усердіемъ, что бѣловатая пѣна выступила у него за щеками и во всѣ стороны летѣли мокрыя зерна, когда лошадь порывисто рылась мордою въ обильно-засыпанномъ кормѣ.

— Мы выведемъ лошадей вонъ въ тотъ проломъ, такъ и проберемся опять въ лощину за саклями, сообщалъ Юсупъ свои планы.

— Насъ не успѣютъ и замѣтить,—говорилъ онъ, торопливо пробираясь вдоль стѣны съ своимъ сѣрымъ.

Дѣйствительно, времени терять было нельзя: уже слышны были голоса скакавшихъ джигитовъ. Одинъ голосъ кричалъ громче всѣхъ, и Батоговъ слышалъ даже слова: «они пушки съ собою привезли, эти собаки!»

— Такъ вотъ она причина отступленія, да еще такого поспѣшнаго!—подумалъ Батоговъ, рысцою выбираясь по задворкамъ разграбленнаго кишлака и прижимаясь къ самой шеѣ Орлика тамъ, гдѣ въ промежуткѣ между двухъ сакель открывалась узкая щель, въ которую видна была даль, часть холма, мелькавшія конныя фигуры и сухія вѣтви тальника, росшаго надъ прудкомъ. Они выбрались изъ деревни и пустились удирать по той самой лощинѣ, по которой пріѣхали. Они совершенно скрылись за первымъ поворотомъ. Ихъ никто не замѣтилъ.

Юсупъ ѣхалъ впереди. Батоговъ за нимъ. Они скакали: имъ надо было, какъ можно скорѣе, добраться до какой-нибудь боковой вѣтви горнаго прохода, въ которую они могли-бы свернуть. Юсупъ хорошо зналъ одну, совершенно удобную для него лазейку и не унывалъ; онъ даже напѣвалъ на скаку: «Нѣтъ, Назаръ-Кулка васъ не поймаетъ!» Вдругъ онъ сталъ какъ вкопанный: Орликъ чуть не наткнулся на крупъ передней лошади.

— Что ты?..—испуганно спросилъ Батоговъ.

Юсупъ повернулся къ нему лицомъ. Его смуглая кожа не могла поблѣднѣть, но зато все лицо его сдѣлалось какое-то оливковое, ротъ широко раскрылся и глаза суетливо забѣгали,

какъ у волка, которому уже некуда дѣться отъ насѣвшей на него со всѣхъ сторонъ собачьей стаи.

— Что-ты?—повторилъ Батоговъ свой вопросъ.

— Тамъ, тамъ... (джигитъ указалъ рукою впередъ).— Люди ѣдутъ, чужіе люди!..

Справа и слѣва подымались крутые обрывистые скаты, развѣ коза могла-бы еще лѣпиться по этимъ почти отвѣснымъ крутизнамъ. Джигитъ глазами мѣрялъ эти высоты, онъ, словно, думалъ кинуться къ нимъ; онъ даже лошадь свою собралъ поводомъ и поднялъ плеть.

По ущелью ясно слышался топотъ конскихъ ногъ. Не одинъ, не два всадника ѣхали имъ навстрѣчу. Все ущелье стонало отъ приближавшейся конной массы.

— Ну, бѣда...—произнесъ Батоговъ и подумалъ:—значитъ не судьба; это, что называется, ни взадъ, ни впередъ.

Тупое ожесточеніе овладѣло всѣмъ его существомъ... Онъ вынулъ шашку изъ ноженъ и судорожно, словно хотѣлъ раздавить желѣзо, стиснулъ ея рукоятку.

— Назадъ, скорѣе назадъ!—крикнулъ Юсупъ, повернулъ своего сѣраго и, проскользнувъ мимо Батогова, понесся обратно къ кишлаку.

Нисколько не раздумывая: зачѣмъ, куда, привыкнувъ довѣряться находчивости своего испытаннаго джигита, Батоговъ поскакалъ въ ту-же сторону. Вся деревня была наполнена всадниками, когда наши бѣглецы выскакали изъ лощины. Тотчасъ-же они поѣхали шагомъ; Юсупъ принялъ совершенно спокойный видъ, Батоговъ подражалъ ему во всемъ.

— А онъ что-то затѣваетъ,—думалъ онъ,—поглядимъ.

Юсупъ перегнулся нѣсколько набокъ, принялъ самую небрежную позу, вольно помахивалъ нагайкою и затянулъ во все горло пѣсню:

„А было у меня четыре жены,
Одна другой жирнѣе...“

Появленіе двухъ всадниковъ не произвело никакого волненія между барантачами Назаръ-Кула. Одинъ изъ нихъ, тотъ, что поилъ лошадь у прудка, сказалъ что-то своему сосѣду и указалъ на Юсупа.

— Э-эй! Здравствуйте!—крикнулъ Юсупъ и, спокойно подъѣхавъ къ водѣ, слѣзъ съ лошади.

— Вы откуда?—спросилъ конный въ полосатомъ халатѣ.

— Съ разныхъ сторонъ... Теперь съ тѣми.

— Съ кѣмъ, съ тѣми?

— А что сзади ѣдутъ.

Къ Батогову подошли двое пѣшихъ и стали около, молча, въ упоръ глядя то на него, то на его лошадь, то на его оружіе.

— Вы чего уставились? пошли къ чорту! — окрысился на нихъ Батоговъ.

— Ишь ты какой сердитый. Ты чьего роду?

— Эй, Назаръ-Кулъ, мулла, гдѣ?..—громко спросилъ Юсупъ, чтобы отвлечь вниманіе отъ Батогова.

— Всѣ тамъ, гдѣ красный бунчукъ виденъ, вонъ на курганѣ.

— Русскихъ много?

— Развѣ ихъ когда бываетъ много?

— Они зачѣмъ пришли сюда?..

— Зачѣмъ? Мы вотъ у нихъ по всѣмъ кишлакамъ хераджные сборы *) пожгли, что съ собою не могли взять, а Кулдашъ пеншамбинскій въ Каттакурганъ далъ знать.

— Не въ Каттагурганъ, а въ самый Самаркандъ, Абрамъ-тюра... самому,—перебилъ другой.

— Ну, не ври; въ Самаркандъ не успѣлъ-бы, да и русскіе вонъ откуда пришли...

— Давно?..

Юсупъ спрашивалъ, а самъ все поглядывалъ по сторонамъ; онъ, казалось, отыскивалъ кого-то въ этой толпѣ всадниковъ, окружавшей ихъ все плотнѣе и плотнѣе. Взгляды эти были сначала тревожны; было мгновеніе, что хитрый джигитъ совсѣмъ было струсилъ, но потомъ оправился и понемногу успокоился окончательно. Батоговъ все время усердно, сосредоточенно копался у себя во вьючной сумкѣ, а потомъ слѣзъ и принялся тщательно отчищать подковы Орлика.

Скоро вниманіе всѣхъ было обращено на большую конную вереницу, выдвигавшуюся изъ ущелья. Въ этой новой толпѣ всадниковъ преимущественно виднѣлись верблюжьи халаты и киргизскіе малахаи, между тѣмъ, какъ въ шайкахъ Назаръ-Кула преобладалъ красный цвѣтъ.

---

*) Десятый процентъ произведеніями полей и садовъ.

Садыкъ съ своими оборванцами, какъ выражался на привалѣ Юсупъ, шелъ на подмогу муллѣ Назаръ-Кулу.

— Поѣзжай за мною,—шепнулъ Юсупъ Батогову.—Сафара здѣсь нѣтъ, Аллахъ не повернулся къ намъ затылкомъ...

„А у меня было четыре жены...“

— Смотри, пѣвунъ какой!—крикнулъ ему вслѣдъ джигитъ, у котораго половина лица была скрыта подъ грязною перевязкою и жидкая бородка совсѣмъ склеилась отъ запекшейся крови.—Тамъ берегись, русскія пчелы летаютъ; попадетъ, такъ про жирныхъ женъ пѣть перестанешь!

— Только-бы намъ теперь увидать русскихъ, а то-бы мы знали, что дѣлать,—говорилъ Юсупъ.

Вся волнообразная мѣстность была усѣяна небольшими конными партіями; по всѣмъ направленіямъ шныряли одиночки. Верблюжьи халаты мало-по-малу смѣшивались съ красными. Всадники растягивались вправо и влѣво; концы этой живой цѣпи загибались: они хотѣли охватить со всѣхъ сторонъ что-то невидимое.

Не больше какъ съ версту, совсѣмъ внизу, примыкая къ давно сжатому клеверному полю, виднѣлось нѣсколько сакель, надъ плоскими крышами торчали два или три тополя, подъ однимъ, изъ-за деревьевъ поднимался черный дымокъ и мигало небольшое пламя, одинокая фигурка торчала на самой высокой крышѣ, казалось даже, что то былъ не человѣкъ, а просто бѣлѣлъ колъ, вбитый для чего-то въ земляную крышу. Больше ничего не было видно.

А между тѣмъ глаза всѣхъ этихъ наѣздниковъ волновались, перебѣгая съ кургана на курганъ, и были устремлены на этотъ маленькій кишлакъ. Тамъ и сямъ вспыхивающіе выстрѣлы фитильныхъ мулкутовъ направлялись именно на тотъ колъ, что неподвижно торчалъ на крышѣ; а когда тонкая, ослабѣвающая струйка чернаго дыма вдругъ густѣла и поднималась даже выше того опаленнаго тополя, что происходило каждый разъ, когда невидимыя руки подкидывали въ огонь новую вязанку, то почти каждый изъ наѣздниковъ вскрикивалъ: эхъ! и тотчасъ-же бодрилъ свою лошаденку ударомъ нагайки.

Въ томъ страшномъ кишлакѣ, такъ поглотившемъ общее вниманіе тысячи наѣздниковъ, стоялъ отрядъ «акъ-кульмакъ»; стоялъ уже съ самаго утра; теперь онъ варилъ себѣ похлебку,

искрошивъ въ необъятный котелъ цѣлаго, благо ненокупного, барана; а часовой на крышѣ, прожевывая кусокъ черствой туземной лепешки своимъ усатымъ ртомъ, заломивъ кверху козырекъ своего кепи, равнодушно поглядывалъ на тѣ барханы, что пестрѣли на солнцѣ тысячами двигающихся точекъ.

Была минута, когда наѣздники слишкомъ уже близко подобрались къ кишлаку; передніе, тѣ, что хотѣли перескакнуть арыкъ, огибавшій клеверное поле, видѣли что-то ярко-зеленое, блеснувшее между двухъ сакель, другіе-же всадники, которые не рисковали такъ близко подбираться къ русскимъ, видѣли только большой клубъ дыма, вспыхнувшій какъ разъ надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ стояло *зеленое*, и въ разсыпную шарахнулись внизъ по откосамъ кургана.

Съ ревомъ и воемъ пронизало ядро морозный воздухъ, щелкнулось о гранитный гребень одного изъ бархановъ, высоко подпрыгнуло и поскакало дальше, рикошетируя между всполошившимися наѣздниками.

Около самаго Орлика ударилось русское ядро. Сѣрый, испуганный трескомъ разлетѣвшихся кремнистыхъ осколковъ, взвился на дыбы и брыкнулъ задомъ; подпруга лопнула, Юсупъ грохнулся вмѣстѣ съ сѣдломъ на землю.

— Господи! — крикнулъ Батоговъ; ему показалось, что Юсупъ убитъ,—этого еще не доставало.

— А, дьяволъ тебя побери! — кряхтѣлъ джигитъ, поднимаясь на ноги.

Въ нѣсколькихъ шагахъ, въ сторонѣ, наѣздникъ, въ красномъ халатѣ, громко стоналъ, силясь выбраться изъ-подъ убитой лошади. Сѣрый отбѣжалъ и храпѣлъ, поднявъ хвостъ трубою. Батоговъ поѣхалъ его ловить; Юсупъ, хромая и ругаясь, тащилъ волокомъ свое сѣдло.

Жалобно гикая, неслась большая конная толпа въ объѣздъ на пеншамбинскую дорогу; Назаръ-Кулъ пытался отрѣзать русскимъ путь къ отступленію. Въ кишлакѣ, занятомъ русскимъ отрядомъ, замѣчено было особое движеніе. Повозка, запряженная парою, выѣхала изъ-за крайней сакли и остановилась; показалось небольшое стадо коровъ и барановъ; это стадо было окружено пѣшими, которые, закинувъ штуцера за плечи, помахивали длинными жердями. Нѣсколько конныхъ выѣхали на чистое мѣсто; дребезжа колесами, выдвинулось орудіе, за орудіемъ, въ

разсыпную, десятка четыре въ бѣлыхъ рубахахъ, съ мѣшками на спинахъ, съ цвѣтными значками, воткнутыми въ дула ружей.

Красивый бородачъ, на вороном аргамакѣ, галопомъ скакалъ, окруженный наѣздниками. Онъ горячился и громко ругался. Онъ видѣлъ, что русскихъ мало, видѣлъ, что они уходятъ...

— Вотъ уже третьи сутки я такъ вожусь съ ними! — кричалъ онъ. Вѣтеръ растрепалъ концы его бѣлой чалмы, и они, словно крылья, трепались вокругъ его энергическаго, немного цыганскаго лица.

— Что мнѣ одному, что-ли, на нихъ броситься?.. Трусы, бабы!.. Отъ каждой русской пули бѣгутъ, какъ куры отъ ястреба...

— Кто это?—спросилъ Батоговъ.

— Самъ Назаръ...—говорилъ Юсупъ, пересѣдлывая сѣраго.

— Къ ночи всѣхъ на акъ-дарьинскій бродъ сбивай; мы еще прежде *ихъ* туда поспѣемъ! — кричалъ Назаръ старику въ кольчужной шапкѣ.

Юсупъ вдругъ присѣлъ и совершенно спрятался за лошадью.

— Отвернись, ради самого Аллаха,—шепнулъ онъ Батогову.

Тотъ не понималъ, что дѣлается съ его джигитомъ; онъ видѣлъ только, что случилось что-то важное, сильно озадачившее Юсупа. А тутъ на бѣду Орликъ, звонко, какъ мѣдная труба, заржалъ вслѣдъ кавалькадѣ; лошадь, казалось, убитая, лежавшая до сихъ поръ неподвижно, вздрогнувъ, вскочила разомъ на ноги, вытянулась, какъ струна и тяжело рухнула на бокъ. Топотъ коней и ржанье Орлика пробудили въ смертельно раненомъ конѣ послѣднюю жизненную искру.

— Вотъ гдѣ пришлось еще разъ увидѣться, — говорилъ старикъ, подъѣзжая ближе.

— Аллахъ знаетъ, гдѣ люди должны сходиться, — отвѣчалъ угрюмо Юсупъ.—Онъ знаетъ, на чью бѣду сошлись мы: на мою или на твою.

— Я и тебя узналъ,—говорилъ старикъ, присматриваясь къ Батогову.

— Чего не узнать? вмѣстѣ, чай, сколько дней маялись,— отвѣчалъ Батоговъ.

— Что-же, теперь къ мулла Назару перешли или съ садыковцами?

— Тамъ какъ придется.

— Къ тѣмъ пробираетесь?..

Старикъ кивнулъ на русскій отрядъ, медленно подвигавшійся по пеншабинской дорогѣ. Юсупъ подъѣхалъ вплотную къ старику.

— Слушай, мулла Сафаръ,—сказалъ онъ ему твердымъ, рѣшительнымъ голосомъ.—Тебѣ жить немного осталось; не дѣлай-же ты подъ конецъ дурного дѣла.. Онъ—(Юсупъ показалъ на Батогова),—не стоитъ на твоей дорогѣ. Понялъ?

Сафаръ оглянулся кругомъ. Только они трое стояли на склонѣ кургана, кругомъ близко никого не было видно... Русскіе отошли далеко, мирза Назаръ-Кулъ спѣшилъ стороною обойти маленькій отрядъ бѣлыхъ рубахъ; садыковцы жались по другую сторону: ихъ больше тянуло къ кишлакамъ, что на правомъ берегу Акъ-Дарьи: тамъ, по крайней мѣрѣ, можно было еще пограбить.

— Гм... ихъ двое, я одинъ,—подумалъ Сафаръ и сообразилъ вѣрно.

— Ну, прощайте, я вамъ не врагъ; пошли Аллахъ здоровья вамъ и конямъ вашимъ!..

— То же и тебѣ,—произнесъ Юсупъ.

— Хитритъ старый сказочникъ,—подумалъ Батоговъ, замѣтивъ лукавый взглядъ, брошенный на него изъ-подъ сѣдыхъ, нависшихъ бровей Сафара.

Звеня кольчугою, поскакалъ старикъ къ значкамъ Назаръ-Кула.

— Не хорошо,—сказалъ Юсупъ.

— Скоро стемнѣетъ, тогда будемъ знать, что дѣлать нужно,—произнесъ Батоговъ.

Нѣсколько всадниковъ отдѣлились отъ толпы, къ которой прискакалъ Сафаръ, и поѣхали назадъ, разъѣзжаясь вправо и влѣво; они ѣхали сами по себѣ, точно у нихъ не было опредѣленной цѣли; всадники ѣхали шагомъ, не спѣша.

— Смотри, это насъ ловятъ,—произнесъ Юсупъ.

— Ну, вотъ,—усомнился Батоговъ.

— Насъ ловятъ. Вонъ Сафаръ отъѣхалъ въ сторону, остановился, сюда смотритъ.

— Чтожъ—удирать, пока время?

— Погоди; они не спѣшатъ, — мы тоже... Теперь намъ надо къ прежнему кишлаку держаться.

Они повернули лошадей. Всадники по знаку Сафара погнали своихъ быстрѣе. Темнѣло. Ясное небо стало заволакивать жидкими тучами; костеръ, оставленный русскими, разгорался силь-

нѣе и сильнѣе, огонь побѣжалъ по сухимъ сучьямъ дерева, и надъ кишлакомъ росло красное зарево.

Юсупъ съ Батоговымъ пошли крупною рысью; разстояніе между ними и преслѣдователями было довольно значительно, да къ тому-же послѣдніе еще не рѣшились вполнѣ выяснить свои намѣренія; а темнѣло быстро, уже дальняя линія холмовъ слилась съ горизонтомъ, туманъ поднимался по низкимъ мѣстамъ, и, словно громадный факелъ, пылалъ вдали стволъ смолистаго тополя.

— Теперь гайда во всю прыть! — крикнулъ Юсупъ.

— Пускай!—крикнулъ Батоговъ и пригнулся къ шеѣ Орлика.

Они понеслись. Нѣсколько голосовъ уныло загикали сзади.

— Слышишь, погнали, собаки; ну, погоди-жъ ты, старый шайтанъ, ты мнѣ еще попадешься...

На минуту продолговатый курганъ совершенно скрылъ бѣглецовъ. Они круто повернули вправо.

Преслѣдовавшіе ихъ всадники видѣли, гдѣ пропали оба джигита; они стали стягивать кругъ. Черезъ нѣсколько минутъ курганъ былъ окруженъ; спустились внизъ.—Гей! гей!—перекликались въ темнотѣ голоса.—Гей! гей!—отзывались имъ другіе... Пристально всматривался Сафаръ въ темноту, каждый камень казался ему всадникомъ, въ воѣ вѣтра слышался ему насмѣшливый голосъ Юсупа.

— Поймали, что-ли? — подъѣхалъ къ нему джигитъ.

— Ну что?..—подъѣхали съ другой стороны двое.

— Надо было сразу, а то долго очень хитрили, — замѣтилъ съ досадою высокій всадникъ, чуть рисующійся во мракѣ.

— Нечистое дѣло,—глубокомысленно произнесъ Сафаръ и махнулъ рукою.

Всадники съѣхались мало-по-малу въ кучу.

— Это не джигитъ былъ,—говорилъ Сафаръ торжественнымъ голосомъ. — Тотъ, другой, былъ русскій, это правда, я его хорошо знаю; а съ нимъ былъ самъ шайтанъ, я даже видѣлъ огонь на томъ мѣстѣ, гдѣ они подъ землю ушли. Да бережетъ насъ пророкъ отъ темной силы!..

Наѣздники благоговѣйно слушали старика и вздрагивали каждый разъ, когда вѣтеръ доносилъ изъ горъ заунывную ноту Имъ всѣмъ грезилась теперь чертовщина.

Чуть тлѣющіе уголья кухоннаго костра, расположеннаго на самомъ берегу Акъ-Дарьи, распространяли вокругъ себя слабый красноватый свѣтъ. Черный закопченый котелъ, втиснутый въ наскоро вырытую яму, нависъ надъ этою грудою золы и угля, и по ея раскаленнымъ бокамъ, шипя, сползала грязная пѣна. Кругомъ была непроницаемая темнота, только по близости огня можно было разсмотрѣть кое-какіе предметы: ближе всего виднѣлись подошвы массивныхъ подкованныхъ солдатскихъ сапогъ, за ними не ясно рисовались бедро и часть спины спящаго солдата, съ головою завернувшагося въ свою шинель; рядомъ видны были только лобъ и рука другого солдата; бѣлая косматая собака положила свою морду на щеку спавшаго и дрыгала ногами во снѣ, глухо взвизгивая по временамъ. Немного подальше блестѣла шина телѣжнаго колеса; тамъ слышно было, какъ фыркали и ворочались мордами въ соломѣ ротныя лошади; чуть-чуть, словно иголки, сверкали штыки ближайшихъ ружейныхъ козелъ и мелькала тряпка ротнаго значка, хлопавшая отъ вѣтра по своему тонкому древку.

Съ шумомъ и брызгами пѣнилась Акъ-Дарья, пробираясь по каменистому руслу, и сквозь этотъ шумъ неясно слышались храпъ и бредъ спавшихъ, чьи-то тяжелые вздохи, жалобный стонъ раненаго солдата, разметавшагося въ горячечномъ бреду въ телѣгѣ, и тихій говоръ молодого солдата, разсказывавшаго сосѣду что-то про свою деревню.

— Ты, слышь, у насъ церковь стояла на горѣ...

— Мины-мученика-то?

— Нѣтъ, Мины въ Карбовѣ-селѣ, а наша Егорья-то, бишь, Козьмы и Демьяна.

— Ну?..

— Попъ-то и говоритъ:—вы-бы, православные...

— Братцы,—стонетъ раненый,—водицы-бы мнѣ ковшикъ; такъ-то все нутро палитъ.

— Помретъ,—шепчетъ на ухо тотъ, что про попа разсказывалъ.

— Можетъ, и отдохнетъ...

— Фетисовъ, тотъ, фершалъ сказывалъ, уже померъ.

— Вы бы меня, братцы, къ самой рѣкѣ положили, мечется раненый,—то-есть всю-бы вылакалъ... Охъ, батюшки, ой, смерть моя пришла... слышишь, дядя, тамъ у меня ладонка... въ жилеткѣ рупь зашитъ...

— Ершовъ, буди смѣну въ цѣпь, — мычитъ въ просоньи кто-то, приподнявшись на локтѣ.

— Потому, какъ на новый престолъ ризу требовается.

— Это попъ-то говоритъ?

— Ну, да.

— Ротный сказывалъ: выступать еще до свѣту будемъ.

— Чего спѣшите: поспѣемъ...

— Ему лучше знать.—Цыцъ, куцый! Что-то онъ, братцы, нынче чуетъ что-то,—словно не доброе.

— А что?

— Возится все очень; опять блохъ что напускалъ мнѣ подъ шинель.

— Это къ морозу...

— Эй, скажи Андрей Іонычу,—кричитъ ротный конюхъ съ телѣги,—Богдановъ кончился, ужъ не дышитъ.

— А Назарка нынче что-то больно шибко напкралъ. Особливо съ четвертаго часу.

— Это когда къ нему подмога пришла...

— Ну, завыли!..

Дѣйствительно, нѣсколько ротныхъ собакъ повыскочили изъ-подъ телѣги и громко завыли... Далеко, въ цѣпи часовыхъ поднялся яростный непрерывный лай... Нѣсколько голосовъ кричали что-то: одни близко,—такъ что можно было разслышать слова оклика, другіе голоса чуть слышно отвѣчали... Стукнулъ отдѣльный выстрѣлъ, и лай собакъ затихъ на одно мгновеніе, чтобъ сейчасъ-же разразиться съ новою силою... По отсырѣлой барабанной кожѣ глухо зарокотала дробь тревоги.

Сонный отрядъ суетливо поднимался на ноги.

X.

Смерть Юсупа.

Маневръ Юсупа, сбившій съ толку преслѣдователей, былъ болѣе, чѣмъ простъ, только темнота помогла имъ въ бѣгствѣ. Днемъ положеніе ихъ было-бы безвыходно: къ горамъ имъ нельзя было уйти: тамъ рыскали садыковцы; скакать прямо къ отступающему русскому отряду было-бы чистымъ безуміемъ: большинство Назаръ-куловыхъ джигитовъ, благодаря Сафару, знали уже, что за птицы затесались въ ихъ шайки. Дѣло

было-бы совсѣмъ дрянь, если-бы не стемнѣло и не затуманилось между буграми.

— Никто какъ Богъ,—шепталъ Юсупъ.

— Опять ва-банкъ со входящими,—бравировалъ Батоговъ.

Оба всадника, выбравшись изъ лощинки, видѣли, какъ скакали по кургану джигиты муллы Сафара. То обстоятельство, что они такъ скоро прекратили дальнѣйшіе розыски, очень озадачило Юсупа и его товарища.

— Вонъ они въ кучу сбились, стоятъ.

— Ничего не вижу.

— Да вонъ чернѣютъ, смотри между ушей лошади видишь?

— Ну, то, кажись, пригорокъ.

— Назадъ поѣхали.

— А мы что стоимъ?

— Погоди. Въ случаѣ чего, намъ, пожалуй, придется лошадей бросить, пѣшихъ-то насъ не увидятъ въ такую темь, а къ утру мы, можетъ, доберемся къ русскимъ.

— Только-бы намъ за Акъ-Дарью перебраться.

— И чего жгутъ задаромъ, смотри.

Надъ оставленными кишлаками поднимался густой красный дымъ и по вѣтру летѣли огненные хлопья. Всадники пробирались шагомъ, держась одного направленія, далеко впереди слышался шумъ, похожій на плескъ водяной мельницы.

— Вотъ теперь холода настанутъ, — говорилъ Юсупъ, — прійдутъ люди въ свои сакли: — крыши нѣтъ, корму нѣтъ, барановъ угнали, ѣсть нечего.

— Да кому прійти? чай, почти всѣ перебиты.

— Ну, не всѣ. Да, прогнѣвался на нихъ пророкъ. Русскіе бьютъ ихъ за то, что Назаркѣ служатъ, Назарка бьетъ, что къ русскимъ льнутъ. Куда тутъ кинешься?

— На то, братецъ ты мой, война. Это что бѣлѣетъ?

Батоговъ указалъ на какую-то бѣловатую, дымчатую массу, чуть виднѣвшуюся вдали.

— Скоро очень что-то,—а, кажется, Акъ-Дарья.

Раза два они перебирались вбродъ черезъ отдѣльные ручьи, пересѣкли вспаханное поле съ торчащими стеблями прошлогодней джугары (родъ проса), наткнулись на глиняный заборъ, отыскали лазейку, перебрались. Въ сторонѣ поднимались высокія стѣны какого-то двора, за запертыми воротами глухо лаяла собака.

— Мы теперь совсѣмъ спустились въ долину,— говорилъ Юсупъ,—мы идемъ какъ разъ на перерѣзъ русскимъ, если они будутъ на Дарьѣ ночевать. Э, да вонъ и огни *наши*, видишь?

— Ты ничего не слышишь?

— Словно топочутъ.

Два парныхъ часовыхъ стали приглядываться къ темнотѣ.

— Смотри, какъ-бы поганая орда не подобралась. Валетка, молчи!

— Науськай собакъ, вонъ, на тѣ кусты, словно въ той сторонѣ что-то...

Послышалось злое рычаніе.

— Вотъ, лѣто-сь, также къ Морозову въ цѣпи подобрались:—и не слыхалъ, какъ голову отрѣзали.

— Ну, не пугай,—и такъ страшно.

Солдатъ вскинулъ ружье и взвелъ курокъ.

— Погоди, не пали: можетъ, это такъ.

— А, что его ждать-то?

Разомъ, съ яростнымъ лаемъ, ринулись нѣсколько собакъ, до этой минуты совершенно неподвижныхъ, и понеслись какъ разъ къ тому мѣсту, гдѣ солдаты услышали подозрительный шумъ. Теперь ясно было видно, какъ двѣ конныя фигуры метнулись въ сторону.

— А, чортъ-бы васъ дралъ! — донеслось изъ темноты.

Фраза эта была произнесена по-русски.

— Никакъ *наши*, что за лѣшій—засуетился часовой! — Постой, не пали; кто идетъ?

Блеснулъ выстрѣлъ и освѣтилъ испуганное, безусое лицо молодого солдата, наудалую пустившаго свою пулю.

Человѣкъ пять солдатъ, лежавшихъ въ сторонѣ, въ такъ называемомъ секретѣ, бросились бѣгомъ къ кустамъ, поднялась возня. Въ шумѣ свалки слышны были стонъ и русская ругань; голосъ Батогова, хриплый, взбѣшеный, кричалъ:

— Да что вы, дьяволы (слѣдовала характерная русская фраза), говорятъ вамъ—свои. Да ну, не душите! А, ты вязать!

— Навались на нихъ сразу, — командовалъ запыхавшійся голосъ.

— Я вотъ тебѣ навалюсь; къ начальнику ведите!

Весь бивуакъ поднялся и сталъ въ ружье.

Было солнечное, морозное утро, лужицы по колеямъ пеншамбинской дороги затянуло тонкою коркою льда; колеса повозокъ звенѣли по кремнистому грунту, и солдаты, потирая на ходу руки, бойко шли въ тактъ маршевой пѣсни.

Батоговъ ѣхалъ верхомъ на своемъ Орликѣ; онъ былъ еще въ томъ-же верблюжьемъ халатѣ, въ которомъ бѣжалъ изъ аула, только на головѣ его надѣта была теперь круглая офицерская фуражка, и изъ-подъ нея виднѣлась полоса краснаго бумажнаго платка, которымъ обернутъ былъ лобъ всадника; кромѣ этой раны, рука Батогова была перевязана полотенцемъ выше локтя, и, судя по блѣдности его, можно было судить о томъ, что эти поврежденія были довольно значительны. Все это были слѣды ночной схватки, которую бѣглецы должны были «выдержать по печальному недоразумѣнію», какъ выразился въ своемъ донесеніи начальникъ отряда, толстенькій капитанъ, степенно раскачивавшійся въ покойномъ сѣдлѣ, рядомъ съ Батоговымъ. Около нихъ ѣхали верхомъ еще два офицера и горнистъ на выпряженной изъ повозки хромой лошади. На походныхъ носилкахъ два здоровыхъ, коренастыхъ пѣхотинца несли тѣло, завернутое въ нѣсколько солдатскихъ шинелей; изъ-подъ сѣраго сукна виднѣлись красные лоскуты туземнаго халата и худощавая, смуглая рука, безжизненно свисшая съ края носилокъ. Когда солдаты сбивались съ ноги и носилки сотрясались отъ невѣрнаго шага несущихъ, то ближайшіе могли слышать слабый стонъ и жалобный, тихій лепетъ раненаго. Фельдшеръ-жидокъ шелъ, спотыкаясь, рядомъ съ носилками, грызя въ зубахъ окурокъ папироски и роясь на ходу въ кожаной сумкѣ съ медикаментами. На верху большой ротной телѣги, поперекъ мѣшковъ съ провіантомъ, лежало нѣсколько тѣлъ, прикрученныхъ веревками къ грядкамъ повозки.

Съ жалобнымъ мычаніемъ, вытягивая шеи и бодаясь на ходу другъ съ другомъ, шло нѣсколько штукъ рогатаго скота; между быками сѣменили ножками десятка два козловъ и барановъ; далѣе тянулись привязанные другъ къ другу вьючные верблюды, подъ присмотромъ конныхъ казаковъ и черномазаго пѣхотинца, унтеръ-офицера, забравшагося на самую вершину вьюка передняго верблюда.

Всадники муллы Назаръ-Кула отстали отъ отряда и чуть виднѣлись далеко назади, изрѣдка пуская, вслѣдъ удаляющимся

русскимъ, безвредныя, не долетающія до половины разстоянія пульки.

Пеншамбинскій минаретъ и зубчатая стѣна цитадели поднимались изъ массы окрестныхъ садовъ, по мѣрѣ приближенія отряда. Отрядъ остановился для привала, въ виду предмѣстій селенія.

— Плохъ?—произнесъ Батоговъ, слѣзая съ лошади и подойдя къ носилкамъ, положеннымъ въ тѣни отъ повозки.

Жидокъ-фельдшеръ взглянулъ на него и немного струсилъ; онъ заморгалъ рѣсницами и принялся поспѣшно скатывать свѣжій бинтъ. Глаза Батогова словно уперлись въ бѣднаго жидка; въ нихъ не было замѣтно ни грусти, ни злобы, въ нихъ даже не было жизни. Тусклые, неподвижные,—они были страшны.

— Да, голубчикъ, ну, что тутъ, да перестань,—говорилъ толстенькій капитанъ, трогая Батогова за плечо.

— А!—отозвался тотъ и даже не обернулся.

— Никитка пуншу сварилъ. Вотъ сейчасъ.

— Да онъ даже не дышитъ! Я ничего не слышу.

Батоговъ быстро сбросилъ шинели съ тѣла Юсупа, нагнулся низко, низко къ самымъ носилкамъ и приложился ухомъ къ какой-то массѣ рваного бѣлья, забрызганнаго, залитаго кровью и еще чѣмъ-то зелено-желтымъ, сильно вонявшимъ на свѣжемъ утреннемъ воздухѣ. Темно-желтое лицо умирающаго какъ-то странно съежилось, ротъ искривился и сухія, горячія губы чуть замѣтно вздрагивали.

— Юсупъ, Юсупъ! — громко говорилъ Батоговъ и сильно трясъ за плечи своего друга.

— Тамъ у меня уже приготовлено, — бормоталъ капитанъ.—Вонъ, видишь, самоварчикъ дымится.

— Да возьмите его силою, — говорилъ другой офицеръ, подходя къ носилкамъ, — видите, человѣкъ совсѣмъ ошалѣлъ.

— Да, поди—возьми,—огрызался капитанъ.

— Юсупъ, да ну, вставай, вѣдь ты крѣпокъ, тебя самъ чортъ не сломитъ, Юсупъ! — Батоговъ припалъ на колѣни и схватилъ руками носилки.

— Отходитъ, — степенно, съ нѣкоторою торжественностью, произнесъ жидокъ-фельдшеръ и вдругъ повалился на землю и откатился на нѣсколько шаговъ, къ самымъ колесамъ ротной повозки.

— Отходитъ?! — зарычалъ Батоговъ, готовясь повторить свою могучую затрещину.

— Голубчикъ, можетъ, я тебѣ сюда принесу чаю?—ухаживалъ толстенькій капитанъ!—Никитка!

Грязныя тряпки всѣ разомъ вздрогнули, зашевелились, вытянулись и замерли, стиснутые зубы заскрипѣли.

— Готово,—произнесъ Батоговъ и поднялся на ноги.

А въ сторонѣ, присѣвши на корточки около небольшого огонька, на которомъ прилажены были маленькіе походные котелки, расположилась кучка солдатъ. Заваренный на завтракъ кирпичный чай давно уже кипѣлъ и бѣжалъ по краямъ, потому что общее вниманіе болѣе было обращено на сцену у носилокъ, чѣмъ на котелки. Всѣ говорили шопотомъ, сдержанно; нѣкоторые даже крестились, приподнимая кепи съ назатыльниками.

— Кто же его зналъ!—вздохнулъ угреватый унтеръ-офицеръ и потрогалъ пальцемъ то мѣсто на подошвѣ сапога, гдѣ совсѣмъ отстала закорузлая подметка и виднѣлись грязныя онучи.

— Извѣстно,—согласился рыжій, весноватый солдатъ, растирая на ладони табачные корешки.

— Теперь ежели сразу: Куцый, Валетка, опять Кудлай—песъ здоровенный, Налетъ, Полкашка, твоя Венерка...

— Врешь, моя Венерка спала на кухнѣ...

— На кухнѣ?!. А задъ у ней кто отшибъ?.. На кухнѣ!

— А пуще всѣхъ Колпикъ, такъ звѣремъ и рветъ...

— Какъ тутъ сообразить; теребятъ и шабашъ.

— А тутъ Петровъ съ дуру ахнулъ; говорю: постой, не пали, а онъ—«бацъ!..»

— Фершалъ сказывалъ: въ самое пузо, на четверть пониже ложечки, въ эвто самое мѣсто.

— Ну, и шабашъ.

— Оторопѣлъ я больно, братцы; мнѣ, вѣдь, въ первой,—слезливо оправдывался Петровъ, совсѣмъ еще рекрутъ съ немного глуповатымъ, почти дѣтскимъ лицомъ и худою, плоскою, недоразвитою грудью.

— Оторопѣлъ!—упрекнулъ его угреватый унтеръ-офицеръ.

— А силенъ же онъ, братцы,—началъ рыжій.

— Кто? этотъ-то?

Солдатъ взглянулъ на Батогова.

— Н-да. Меня, это, такъ тряханулъ,—думалъ, смерть пришла.

— А Миронова какъ шваркнулъ.

— Бей подъемъ!..—запѣлъ тенoромъ толстенькій капитанъ, выглядывая изъ-подъ какой-то холстины, съ недопитымъ стаканомъ въ рукахъ.

XI.

Первый караванъ.

На большомъ дворѣ, примыкавшемъ къ дачамъ Перловича, работа, что называется, кипѣла. Штукъ восемьдесятъ верблюдовъ, все больше одногорбыхъ наровъ, съ темно-коричневою, гладко остриженною шерстью, крѣпкихъ и выносливыхъ, бродили на свободѣ или же валялись группами, держась къ той сторонѣ, куда достигали теплые лучи осенняго солнца; человѣкъ десять киргизовъ прихлебывали и присмактовали около котла; два приказчика изъ русскихъ, въ полутуземныхъ, полугостинодворскихъ костюмахъ, ставили масляною краскою клейма и мѣтки на объемистыхъ тюкахъ, расположенныхъ правильными рядами, связанныхъ попарно и приготовленныхъ къ нагрузкѣ. Сартъ, въ лисьемъ халатѣ и въ бѣлой громадной чалмѣ, отмѣчалъ на лоскуткахъ прозрачной бумаги мѣстнаго производства какія-то каракули и горячо спорилъ съ однимъ изъ приказчиковъ; однимъ словомъ, всѣ что-нибудь да дѣлали.

Дѣла Перловича шли очень хорошо. Онъ теперь отправлялъ въ Коканъ свой караванъ, и верблюды были его собственные, не наемные, такъ что онъ нисколько не былъ въ зависимости отъ лѣни и недобросовѣстности кочевниковъ. Хозяинъ былъ въ отличнѣйшемъ расположеніи духа; онъ давно уже чувствовалъ себя морально, а слѣдовательно и физически очень хорошо.

Онъ сидѣлъ въ комнатѣ, красиво обставленной въ полу-азіатскомъ, полу-европейскомъ вкусѣ. Тутъ же находились Захо, Ѳедоровъ; ждали Хмурова, да онъ почему-то не пріѣхалъ. Еще человѣкъ пять гостей собрались къ Перловичу побесѣдовать. Все общество завтракало.

Завтракъ былъ болѣе, чѣмъ обильный, завтракъ былъ парадный. Весь столъ былъ заставленъ различными европейскими консервами: жестянки съ омарами, баночки съ страсбургскимъ пирогомъ, трюфели, разная привозная рыба, все вещи весьма дорогія, особенно, принимая въ разсчетъ возвышеніе цѣнъ отъ

дальности провоза. Горячій глинтвейнъ и шампанское дополняли столъ, и большинство собесѣдниковъ было навеселѣ.

— А вѣдь пошелъ въ гору,—подмигивалъ глазами на хозяина Захо, отведя зачѣмъ-то въ сторону одного изъ гостей, во фракѣ и военныхъ панталонахъ съ краснымъ кантикомъ.

— Расторговался,—согласился фракъ и добавилъ, вздохнувъ:

— Что же, людямъ счастье...

— Не одно счастье, тутъ безъ сноровки тоже не обойдешься.

— Опять капиталъ—сила.

— А у Хмурова нѣтъ развѣ этой силы? А все врозь идетъ.

— У того больше для вида; опять же «эти широкія цѣли»; помнишь рѣчь у Глуповскаго за обѣдомъ?

— Это когда о шелководствѣ говорить собирались?

Капитанъ съ бѣлыми погонами и академическимъ аксельбантомъ, услышавъ слово: шелководство, всталъ со стула и, прожевывая кусокъ какой-то красной рыбы, подошелъ къ говорящимъ.

— Я еще разъ повторяю,—началъ онъ,—что пока не установятся правильныя сношенія...

— Это что тамъ на дворѣ шумятъ такъ?—перебилъ капитанскую рѣчь голосъ за столомъ...

Перловичъ, который сидѣлъ у камина съ мѣстнымъ богачемъ, сартомъ Саидъ-Азимомъ, поднялъ голову.

— Вьючить начали,—сообщалъ Захо, нагибаясь надъ окномъ.

— Ну-съ, господа,—произнесъ Перловичъ.—Вы меня извините, я пойду распоряжаться... я скоро вернусь... Надѣюсь, вы не будете стѣсняться...

— Э, помилуйте...

— Что за церемоніи!

— Я назначилъ въ четыре часа выступленіе моего каравана; теперь три. Ровно черезъ часъ мы поднимемъ бокалы.— Въ голосѣ Перловича чувствовалась какая-то необыкновенная торжественность. — Мы поднимемъ бокалы съ пожеланіемъ успѣха первому русскому каравану...

— Ну, занесъ!..—послышался чей-то голосъ.

Перловичъ остановился...

— Нѣтъ, это я про другое,—смутился прервавшій хозяйскую рѣчь, вытирая усы салфеткою.

— А тамъ, къ тому времени соберутся остальные,—пере-

мѣнилъ тонъ Перловичъ.—Хмуровъ вотъ подъѣдетъ, генералъ собирался...

Перловичъ кончилъ свою рѣчь пригласительнымъ жестомъ,—кушайте, молъ, пока,—и вышелъ изъ комнаты.

— Этого гуся кормятъ сначала все грецкими орѣхами,—объяснялъ капитанъ, держа въ рукахъ банку.

— Пойдемъ слушать, Дрянетъ исторію страсбургскаго пирога разсказываетъ.

— Я бы этого и ѣсть не сталъ,—сплюнулъ на сторону Саидъ-Азимъ, косясь на банку.

— А что же... Вашъ пловъ лучше, что-ли?

— На каждаго гуся нужно орѣховъ столько, сколько вѣситъ самъ гусь,—пояснялъ Дрянетъ.

— Каковъ гусь,—кивнулъ толстый чайный торговецъ, пріѣхавшій прямо изъ Кяхты для своихъ операцій по торговлѣ.—Ну, а это изъ чего приготовляется?

Онъ подвинулъ къ капитану ящикъ съ сардинами.

— Какой случай былъ вчера въ клубѣ,—началъ фракъ.—Вы слышали?

— Это въ читальной?—Знаю: газеты всѣ, чортъ знаетъ, зачѣмъ растаскали...

— Вовсе нѣтъ.—Подходитъ этотъ, какъ бишь его, ну, да... онъ...

— Все равно,—дальше.

— Подходитъ къ мадамъ Красноперовой и говоритъ: позвольте на одинъ туръ; та, знаете, барыня такая полная, въ сокахъ...

— Особа съ вѣсомъ.

— Встаетъ это она со стула, а на стулѣ...

— Я и по-англійски, и по-нѣмецки, и по-итальянски веду свои мемуары,—разсказывалъ капитанъ Дрянетъ,—я даже написалъ по-арабски трактатъ о значеніи шелководства, какъ орудія... или, правильнѣе сказать, ступени въ разливѣ цивилизующихъ началъ.

— Для кого же это вы писали по-арабски-то?—спрашивалъ Захо, недовѣрчиво улыбаясь.

— Еще во время экспедиціи моей,—перескочилъ капитанъ, пропуская мимо ушей вопросъ Захо.

— Это про какую экспедицію вы изволите говорить?

— А про мой походъ или, правильнѣе сказать, военно-ученую экскурсію на перевалъ «Объ-Офъ Аллахъ-бу», помните мою реляцію, она еще надѣлала такого шума?

— Да, толковали не мало...

Пронзительный ревъ верблюдовъ на дворѣ давалъ знать, что ихъ, уже навьюченныхъ окончательно, начали поднимать на ноги, разнокалиберные бубенчики звенѣли, голосъ Перловича кричалъ:

— Тутъ и оставаться пока; тронуться по моему знаку!..

— Хлопочетъ, чтобы все съ эффектомъ,—замѣтилъ кяхтинскій купецъ.

— Съ большимъ разсчетомъ дѣйствуетъ. Вы думаете, онъ спроста? Онъ и этотъ завтракъ съ разсчетомъ устроилъ, подъѣдутъ все люди нужные... Ну, тосты пойдутъ...

— Шампанскаго не мало выйдетъ.

— То-то не мало... Этотъ не Хмуровъ, этотъ зря тратиться не станетъ...

За стѣною сада послышался стукъ экипажныхъ колесъ и топотъ верховыхъ. Шелестя шлейфами по желто-краснымъ, сухимъ листьямъ, густо усѣявшимъ садовую дорожку, шли двѣ дамы; ихъ сопровождали интендантскій чиновникъ, докторъ, что былъ секундантомъ у Брилло, и еще человѣка три въ военныхъ мундирахъ.

— Съѣзжаются,—замѣтилъ господинъ во фракѣ.

— А Хмурова все нѣтъ,—вздохнулъ кяхтинскій купецъ.

Саидъ-Азимъ окинулъ любопытнымъ взглядомъ обѣихъ дамъ и приложилъ свои руки къ желудку, въ знакъ самаго глубокаго уваженія.

Генералъ подъѣхалъ съ другого двора верхомъ, въ сопровожденіи казаковъ и адъютанта. Перловичъ встрѣтилъ его на нижней ступенькѣ крыльца и съ чувствомъ самой глубокой признательности пожалъ обѣими руками генеральскую перчатку.

— Я былъ въ отчаяніи... я думалъ...—съ особенной нѣжностью въ голосѣ говорилъ хозяинъ.

— Кажется, я не опоздалъ?

— Прошу пожаловать.

Генералъ тяжело шагалъ со ступеньки на ступеньку, согнувшись словно подъ тяжелою ношею (онъ былъ въ эполетахъ). Перловичъ бочкомъ, шагая черезъ двѣ ступеньки, слегка

поддерживалъ генеральскій локоть и кивалъ головою на дверь, давая этимъ понять, что не мѣшало бы распахнуть ее на обѣ половинки. Невидимыя руки тотчасъ же исполнили его сигналы. Всѣ гости стояли на ногахъ, на всѣхъ лицахъ сіяла улыбка, тѣ, которые были въ партикулярныхъ костюмахъ, держались одною рукою за спинки своихъ стульевъ, съ нѣкоторою независимостью въ позѣ; всѣ же военные держали руки по швамъ и почтительно согнулись въ поясницахъ. Сартъ Саидъ-Азимъ и другой туземецъ, жирный Шарофей, только что появившійся изъ сада, одновременно произнесли: «хопъ» и взялись за желудки.

— Благодарю,—произнесъ генералъ и добавилъ:—холодновато.

— Утромъ морозъ большой былъ, ваше превосходительство,—поспѣшилъ донести капитанъ Дрянетъ.

— Вотъ и осень на дворѣ,—вздохнулъ купецъ изъ Кяхты.

— Въ видахъ чисто гигіеническихъ...—началъ докторъ, но его прервалъ купецъ изъ Кяхты, сообщивъ, что ему доставлены новые чаи отличнаго качества.

— Если позволите, генералъ,—начала одна изъ дамъ и протянула свою руку въ свѣтло-зеленой перчаткѣ. Она замѣтила, что генералъ вытащилъ изъ кармана большой портсигаръ изъ желтой кожи.

— Въ видахъ чисто гигіеническихъ...—еще разъ попытался докторъ.

— А зачѣмъ, слушай,—протискался жирный Шарофей къ самому креслу, на которомъ возсѣдалъ генералъ.—Зачѣмъ такъ дѣлать?.. Русскій купецъ не платитъ, сартовскій купецъ платитъ... русскій куп...

— Всѣ, всѣ платить будутъ...—засмѣлся генералъ и потрепалъ Шарофея по животу.

— Русскій купецъ...

Капитанъ Дрянетъ, проскользнувъ какъ-то очень ловко подъ локтемъ сарта, оттѣснилъ его этимъ движеніемъ и прервалъ протестъ.

— Новыя машины приспособлены мною для размотки шелка, ваше превосходительство,—я объ этомъ пишу трактатъ на ит...

— Въ видахъ чисто гигіеническихъ...

— Это вы насчетъ чего?—обратился къ доктору генералъ.

— Это я насчетъ пользы теплыхъ набрюшниковъ въ войскахъ. Предохраняя отъ простуды, они вмѣстѣ съ тѣмъ...

Генералъ подвинулъ къ себѣ жестянку съ омаромъ.

Перловичъ ходилъ озабоченно, поглядывалъ въ окна, совсѣмъ выходилъ куда-то на нѣсколько минутъ, смотрѣлъ на часы и вообще выказывалъ нетерпѣніе.

— Я думаю теперь пора?..—шепнулъ онъ кому-то.

— А Хмуровъ?

Перловичъ пожалъ плечами, выражая этимъ, что, молъ и, какъ же дожидаться одного, когда самъ... и т. д. Капитанъ раза два вынималъ изъ обшлага рукава какую-то бумагу, заглядывалъ въ нее и откашливался. Захо считалъ стаканы на столѣ и соображалъ:—всѣмъ-ли хватитъ? Голосъ въ сосѣдней комнатѣ говорилъ:—погоди, веревокъ не подрѣзай, открути только проволоку.

— Милостивые государи...—началъ Дрянетъ, посмотрѣлъ кругомъ, остановился, вспыхнулъ до ушей и сталъ откашливаться.

Другой офицеръ въ уланскомъ мундирѣ насторожилъ уши, даже приподнялся со стула и, по всѣмъ признакамъ, приготовился возражать.

— Погоди, Дербентьевъ, не перебивай,—шепталъ ему купецъ изъ Кяхты. — Вѣдь уже такъ условились: сперва его рѣчь (онъ кивнулъ на Дрянета),—потомъ твоя...

Въ комнатѣ настала мертвая тишина. Одна изъ дамъ почему-то фыркнула, другая заскрипѣла вилкою по тарелкѣ, тыкая въ маринованный грибокъ; а грибокъ былъ такой скользкій и никакъ не поддавался ея усиліямъ; генералъ помогъ.

— Милостивые государи...—повторилъ Дрянетъ.

— Стань на стулъ,—шепнулъ кто-то сзади.

Ораторъ было полѣзъ.

— Не надо,—сказалъ генералъ и сталъ чего-то искать подъ столомъ ногою.

Та дама, которая не могла справиться съ грибкомъ, подвинулась и слегка дотронулась носкомъ своего башмака до генеральскаго сапога.

— Благодарю,—шопотомъ произнесъ генералъ.

— Въ настоящее время, когда...

— Какое избитое начало! — язвительно нагнувшись къ сосѣду, тихо говорилъ Дербентьевъ.

— Умственныя силы цивилизованнаго запада двинулись на Дальній Востокъ...

— Получивъ двойные прогоны...—вставлялъ Дербентьевъ.

— Нельзя не видѣть въ этомъ новомъ потокѣ блистательнаго репоста, которымъ отвѣтилъ нашъ вѣкъ тому удару, который былъ нанесенъ изъ Азіи, въ далекомъ прошломъ...

— Ничего не понимаю...—шепталъ генералъ.

— Не трудно понять,—продолжалъ ораторъ,—что я намекаю на то время, когда движенія необразованныхъ, варварскихъ племенъ, вышедшихъ изъ центральной Азіи, пользуясь одной только физическою силою, шаржировало или, правильнѣе сказать, атаковало зародыши европейской цивилизаціи... Прошли года...

— Прикажите наливать...—распорядился Перловичъ.

— И вотъ мы видимъ новое явленіе, явленіе отрадное. Европа отплатила Азіи прошлое зло, но отплатила какъ? Пославъ отъ себя потокъ умственныхъ силъ—взамѣнъ грубыхъ физическихъ...

Генералъ зѣвнулъ, Перловичъ почесалъ затылокъ, кое-кто передернулъ плечами, Дербентьевъ говорилъ въ полголоса:

— Что, я развѣ не предупреждалъ?

— Наука, искусство, торговля,—воодушевлялся капитанъ, обращаясь при словѣ «торговля» къ Перловичу, купцу изъ Кяхты и господину во фракѣ... Ораторъ искалъ глазами Захо, но тотъ стоялъ къ нему спиною и набивалъ табакомъ носъ.—Все явилось къ услугамъ народа дикаго, невышедшаго еще изъ ребяческаго состоянія...

Ораторъ замолчалъ и сталъ отыскивать что-то въ своей бумагѣ, вынутой изъ обшлага... Этою паузою воспользовался Дербентьевъ, онъ поспѣшилъ встать.

— Позвольте это я сейчасъ...

— Торговые обороты наши...—справился съ рукописью Дрянетъ...

— Торговые обороты наши,—перебилъ Дербентьевъ,—благодаря просвѣщенному вниманію и распорядительности начальства...

— Я буду имѣть съ вами дѣло послѣ...—холодно произнесъ капитанъ, обращаясь къ новому оратору, и отошелъ отъ стола.

— Обороты наши, благодаря вышесказаннымъ обстоятель-

ствамъ, разрослись до невѣроятныхъ, скажу болѣе, колоссальныхъ размѣровъ; предѣлы областей, занятыхъ нашимъ побѣдоноснымъ оружіемъ, стали тѣсны...

— Урра!!.—послышалось съ другого конца стола.

— Несвоевременно, господа, — замѣтилъ Дербентьевъ;—а наши смѣлые предприниматели...

Перловичъ выдвинулся впередъ.

— Простираютъ свои руки даже за эти предѣлы... Туда, въ Коканъ, помимо посредства туземныхъ купцовъ...

Нѣсколько глазъ съ презрѣніемъ покосились на Саидъ-Азима, а тотъ, ничего не понимая, спокойно выгребалъ пальцами сардины изъ жестянки.

— И вотъ собранъ и снаряженъ большой караванъ, онъ здѣсь, его всѣ видѣли, вы можете даже слышать эти дикіе звуки...

Дѣйствительно, верблюды на дворѣ ревѣли почти непрерывно и на всѣ лады гудѣли бубенчики. Въ дверяхъ показались оба приказчика, назначенные сопровождать караванъ. Это были здоровые ребята съ красными, полупьяными лицами, вооруженные съ ногъ до головы, больше для эффекта, и съ ременными нагайками черезъ плечо.

— Здорово, ребята!—сказалъ имъ генералъ.

— Наше вамъ-съ...—галантерейно поклонился одинъ изъ приказчиковъ.

— Караванъ этотъ собранъ средствами и усиліями блестящаго представителя нашей торговли...

— Разноси,—распорядился Перловичъ.

— Вотъ онъ!—Дербентьевъ съ жаромъ указалъ на Перловича.

— Я такъ тронутъ... эта честь...—бормоталъ хозяинъ.

— Благодарю,—съ достоинствомъ произнесъ генералъ.— Вы этого вполнѣ заслуживаете.

— Ваше превосходительство!..

— Урра! урра!—ревѣли всѣ остальные; только Дрянетъ, подойдя къ окну и уставившись въ стекло, репетировалъ: неумѣніе диспутировать, доходящее до наглости, служитъ признакомъ умственнаго убожества...

— Качать!..—кричалъ купецъ изъ Кяхты.—Ребята, берись!—командовалъ онъ вооруженнымъ приказчикамъ. — Тѣ приступили тотчасъ-же.

— Эта честь...

Перловичъ болтнулъ ногами въ воздухѣ.

— Музыкантовъ!—кричалъ Захо.

Скрытые въ саду трубачи грянули тушъ.

Вытягиваясь въ одну линію, степенно двинулись навьюченные верблюды и потянулись мимо оконъ къ воротамъ... Всѣ бросились къ окнамъ.

Проталкиваясь сквозь толпу, вошелъ Хмуровъ. По его лицу видно было, что онъ имѣетъ сообщить весьма пріятное.

— Наконецъ-то!—послышались голоса.

— Mieux tard que jamais...—выгнулась всѣмъ корпусомъ одна изъ дамъ.

— Ну, новость!—протянулъ Хмуровъ, разводя руками.

— Что? что такое?!

— Да не томите,—пѣли дамы.

— Однако, что-же, въ самомъ дѣлѣ?—нетерпѣливо спросилъ генералъ.

— Батоговъ...

— Ну?!

— Здѣсь, вернулся... я его самъ видѣлъ.

— Урра!..—загремѣло въ комнатѣ.

Послышался странный стукъ и дребезгъ посуды на столѣ, словно на полъ упало тяжелое тѣло.

Перловичъ лежалъ ничкомъ, безъ всякаго признака жизни. Извѣстіе это было для него уже слишкомъ неожиданно.

XII.

Сигары Перловича.

Ночь была ненастная, холодная; мокрый снѣгъ, пополамъ съ дождемъ, билъ въ стекла, въ щеляхъ оконныхъ рамъ вылъ осенній вѣтеръ, и глухо шумѣли, сплетаясь между собою, оголенныя вѣтви деревьевъ.

Все живое пряталось подъ крыши, и ближе жались къ огню туземцы, загородивъ досками широкіе входы своихъ сакель. Въ непроницаемой темнотѣ чуть-чуть мигали вдали окна европейскаго квартала, и кое-гдѣ двигались свѣтлыя точки бумажныхъ фонарей, съ помощью которыхъ пытались пробраться неподалеку кое-кто изъ не любящихъ сидѣть дома. Вонъ тамъ

внизу, не разберешь гдѣ, чуть движется свѣтлый кружокъ, вонъ онъ остановился, пригнулся къ самой землѣ... никакъ канава... вонъ тронулся онъ немного вправо, опять пріостановился: въ сжатомъ пространствѣ освѣщенной мглы протянулись, словно оленьи рога, сухія вѣтви, забѣлѣлся уголъ забора, опять все исчезло во мракѣ, и съ другой стороны топорщатся кое-какъ связанныя перила мостика... Туда двинулся фонарь; помигалъ еще нѣсколько секундъ и пропалъ за какою-то темною массою, не то крышею, не то кустами, не то...

Ярко пылаютъ сухія яблоновыя дрова въ просторномъ бѣломъ каминѣ; вся печь разукрашена въ мѣстномъ вкусѣ, и красный свѣтъ, отражаясь отъ большого зеркала, играетъ по позолоченнымъ выступамъ рѣзныхъ украшеній. Назябшая нога съ нѣгою утопаетъ въ тепломъ, мягкомъ коврѣ, въ продрогшій желудокъ, глотокъ за глоткомъ, пробирается горячій, ароматическій пуншъ...

— И ты не повѣришь, что я благословляю судьбу, пославшую мнѣ это тяжелое испытаніе,—говоритъ Батоговъ и нагибается къ самому камину, чтобы поправить развалившіяся полѣнья...

— Вотъ, на, щипцы,—говоритъ Перловичъ и смотритъ внизъ на хитрые, причудливые разводы персидскаго ковра.

— Не попадись я къ этимъ чертямъ, могъ-ли я ее встрѣтить... ну, могъ-ли?..

— Конечно!—глубоко вздохнулъ Перловичъ.

— Съ той минуты я рвался на волю... я спѣшилъ сюда. Вѣдь есть еще время, ее можно спасти.

— Ее должно спасти!—серьезно говоритъ Перловичъ и быстро исподлобья взглядываетъ на гостя.

Батоговъ всталъ, потянулся и принялся ходить изъ угла въ уголъ по комнатѣ; каждый разъ, проходя мимо стола, на которомъ стоялъ чайный приборъ, онъ останавливался и прихлебывалъ изъ стакана. Перловичъ полулежалъ на низенькомъ диванѣ и сосредоточенно чистилъ ножичкомъ ногти. А вѣтеръ все унылѣе и унылѣе напѣвалъ свою тоскливую пѣсню, и со стукомъ вздрагивали оконныя ставни подъ его ударами.

— Блѣдная, худая, ну, кожа да кости, изнуренная до послѣдней возможности, она казалась живымъ трупомъ... Если бы ты только могъ ее видѣть...

— Это ужасно,—ровнымъ голосомъ говорилъ Перловичъ и тѣмъ-же тономъ добавилъ:—ромъ вонъ въ томъ графинѣ, вонъ, съ рѣзной пробкою.

— Этотъ?

Батоговъ подлилъ въ стаканъ.

Перловичъ кивнулъ головою и сталъ рыться въ ящикѣ съ сигарами.

— Но эта послѣдняя встрѣча, помнишь, я разсказывалъ, въ камышахъ... Да, я тогда видѣлъ, что ей немного жить осталось; она скоро умретъ...

— Можетъ быть, она и умерла?

— Нѣтъ, этого быть не можетъ.

— Да почему? Вотъ прошло уже около мѣсяца, судя по твоему разсказу,—и при той ужасной обстановкѣ.

— Нѣтъ, ты этого не говори, не говори, мнѣ кажется, я убѣжденъ въ этомъ, у меня есть какое-то предчувствіе, что я еще увижу ее. Надо только поспѣшить...

— Да, терять времени нельзя, во всякомъ случаѣ.

— У меня уже весь планъ составленъ... вотъ видишь, мы пошлемъ деньги черезъ Мурза-бая, я съ нимъ говорилъ объ этомъ и онъ берется...

Перловичъ наклонился, въ свою очередь, къ самому камину. Если бы кто-нибудь могъ изъ этого раскаленнаго, пышущаго жерла взглянуть въ его лицо, то онъ навѣрное бы отвернулся, такъ оно было некрасиво.

— Что такое, ты нездоровъ?—остановился на полусловѣ Батоговъ.

— Я... нѣтъ, ничего, я слушаю... Ты говоришь, въ камышахъ?..

— Пять тысячъ,—говоритъ Мурза-бай,—и онъ положительно берется это устроить... Онъ сдѣлаетъ такъ: во-первыхъ, поѣдетъ самъ, денегъ же отнюдь не повезетъ съ собою, а возьметъ только задатокъ...

— Пять тысячъ?..—произноситъ Перловичъ, не то спрашиваетъ, не то подтверждаетъ только.

— Да, пять. Потомъ, конечно, мы должны обезпечить ее. Плечи Перловича слегка вздрогнули.

— Вѣдь согласись самъ, все *это принадлежитъ ей.* Ну, положимъ, всего ей не нужно; она даже знать не должна объ этихъ деньгахъ.

— Она знать объ этомъ и не будетъ...

— Что-ты? Или это ты отъ огня такой желтый?

— Отъ огня... такъ кажется...

— Въ четырнадцать дней Мурза-бай берется туда доѣхать; столько-же назадъ, ну да тамъ нѣсколько дней. Я говорю, пройдетъ не больше, какъ мѣсяцъ. Сегодня которое число?

— Одиннадцатое. Что ты не куришь?

— Господи! Я готовъ, кажется, самъ туда ѣхать!

— А за тебя тогда сколько попадобится—тоже пять тысячъ или больше?—произнесъ Перловичъ, улыбнувшись.

— Экъ тебя подергиваетъ!..—замѣтилъ Батоговъ.

Дѣйствительно, улыбка Перловича была болѣе похожа на болѣзненное подергиваніе.

— Ха, ха! жаль денегъ стало!..—похлопалъ его по плечу Батоговъ.—Ничего, раскошеливайся: вѣдь у тебя, братъ, все еще много останется.

— Ты считалъ?

— Чего считать—караваны какіе отправляешь! Самъ видѣлъ, какъ къ тебѣ ѣхалъ. Да, опять, Хмуровъ говорилъ... Это у тебя какія сигары?

— Эти?—Это—дрянь: не стоитъ.—Перловичъ отодвинулъ ящикъ.—Вотъ, если хочешь.

— Благодарю.

Батоговъ взялъ изъ рукъ хозяина сигару, которую тотъ все время вертѣлъ у себя въ рукахъ.

— Недурна по виду.—Онъ сталъ закуривать.—Что-то сыровата...

— Лежалая...

Батоговъ затянулся раза два и потянулъ носомъ дымъ...

— Что это?..

Перловичъ всталъ и вышелъ, притворивъ за собою дверь.

— Что-то пахнетъ макомъ...—проговорилъ про себя Батоговъ, легъ на диванъ и сталъ курить...

Комната, гдѣ сидѣли друзья, освѣщалась только однимъ каминомъ; покуда ярко горѣли дрова, было свѣтло; теперь-же мало-по-малу прогорали сухія полѣнья и съ трескомъ обваливались красные уголья, покрываясь темнымъ налетомъ пепла. Все темнѣе и темнѣе становилось кругомъ, только на яркой поверхности самовара, на окраинахъ стакановъ, на металличе-

скихъ головкахъ пробокъ играли красноватые блестки. Синеватый дымъ застилалъ зеркало, чуть слышно чикали гдѣ-то часы.

Батоговъ лежалъ навзничъ и курилъ...

Ему хорошо, тепло; онъ чувствуетъ, какъ медленно перебирается, будто капля за каплею, кровь въ его жилахъ; вотъ подходитъ къ вискамъ, толкнулась тамъ и въ ушахъ зазвенѣла мелодичными переливами... «Это ромъ дѣйствуетъ: отвыкъ за *это* время, ну, и разобрало». Попробовалъ слегка отдѣлить голову отъ подушки—нельзя: тяжела слишкомъ стала, словно приросла къ изголовью. Безжизненно свисла на полъ рука, и чуть-чуть перебираютъ пальцы волнистую шерсть тигровой шкуры, разостланной передъ диваномъ... А кто-то подползъ подъ диванъ, приподнимаетъ его своею спиною, слегка раскачиваетъ... Колеблется каминъ, ныряя въ облакахъ дыма, киваетъ изъ-за шкафа голова глинянаго, эмальированнаго китайскаго божка... Словно поверхность поспѣвающей нивы, колеблемая вѣтромъ, заходили въ перебой пестрые узоры ковра... Все въ движеніи...

Чуть пріотворилась дверь, высунулось оттуда желтое лицо, потянуло носомъ накуренный воздухъ и спряталось...

Что это какъ жарко стало? свѣтло какъ! А, это солнце восходитъ. Медленно ползетъ изъ-за туманной дали огненный шаръ, и отъ него бѣгутъ по темному небу, развертываясь шире и шире, свѣтлыя полосы... Вѣтеръ гудитъ въ камышахъ и плещутся гдѣ-то волны... Храпитъ конь, склонивши къ водѣ свою голову... Гей! гей! чуть доносится съ того берега... «Стой, бери!.. вотъ онъ!..» слышны торопливые голоса... бѣгутъ! Кусты трещатъ отъ движенія какого-то тяжелаго тѣла... Выстрѣлъ! Все застлало дымомъ... Острые когти впиваются въ голыя плечи... душатъ... Два глаза-угля сверкнули у самаго лица... рука ищетъ ножа... вотъ онъ, вотъ его шаршавыя ножны, вотъ каемка бирюзовая, вотъ ремень, украшенный кистью... ручка, гдѣ ручка?.. Пальцы не хотятъ отыскать того, что нужно... А скоро будетъ поздно... еще мгновеніе... да помогите же, помогите!..

Еще разъ медленно пріотворилась дверь и опять показалось то-же лицо... Перловичъ шагнулъ впередъ и на цыпочкахъ, неслышно подошелъ къ дивану... Онъ наклонился. Глаза Батогова были закрыты и онъ тихо стоналъ, вздрагивая ноздрями... Маленькій окурокъ сигары лежалъ на полу и дымился.

Перловичъ поднялъ его, раздулъ и поднесъ къ носу спящаго... Минуты три онъ находился въ такомъ положеніи; наконецъ, бросилъ окурокъ въ каминъ, пошатнулся, взялся за голову и неровными шагами выбрался изъ комнаты. Онъ даже въ дверь не попалъ сразу: толкнулся къ письменному столу, чуть не опрокинулъ стоявшую на немъ лампу и, ощупывая вдоль стѣны руками, нашелъ-таки ручку пріотворенной двери.

На дворѣ зашлепали по жидкой грязи конскія ноги, рысью подбѣжавшія къ крыльцу. Ключъ въ дверяхъ два раза щелкнулъ и слышно было, какъ его совсѣмъ вытащили изъ замка.

— Ну, братъ, погода!—говоритъ гость, отряхивая отъ снѣга свою мѣховую шапку.

— Такъ поздно?..

— Да... Дѣло такое важное... Просто едва доѣхалъ: темно, какъ у арабовъ... Я уже и поводья бросилъ; думаю, ну ты, сивый, отыскивай самъ дорогу, какъ знаешь, а я, братъ, ничего не разберу... Сверху, снизу, съ боковъ, отовсюду хлещетъ; грязище по брюхо... У Хмурова былъ: крыши промокли, съ потолковъ льетъ, полна зала воды, тазы подставляютъ... у этой, какъ бишь ее, тоже течетъ... Да дай хоть водки, что ли, прости...

— А, сейчасъ... я велю... садись тутъ...

— Да что ты растерялся; на себя не похожъ?

— Я сейчасъ распоряжусь; вотъ сюда садись.

— Въ сапоги налилось... А, ушелъ...

Перловичъ вышелъ изъ комнаты и оставилъ гостя одного. Тотъ сбросилъ съ себя намокшую шинель, перекинулъ ее черезъ спинку стула и сталъ мѣрять комнату изъ угла въ уголъ, потирая окоченѣвшія руки. Походилъ, походилъ, подошелъ къ двери, задернутой тяжелымъ ковромъ, приподнялъ коверъ, потрогалъ ручку: заперта.

— Ну, вотъ вино,—произнесъ Перловичъ, входя съ бутылкою и стаканомъ въ рукахъ;—онъ вдругъ остановился напорогѣ, замѣтивъ, что гость наклонился къ замку завѣшанной двери.

— А что ты, братъ, тамъ не сидишь?—(гость указалъ на запертую комнату).—Тамъ у тебя лучше: каминъ и все такое...

— Все равно, тамъ теперь заставлено все... Ну, въ чемъ же дѣло?

— Какое?

— Въ такую пору пріѣхалъ, что-нибудь важное; иначе...

— А да, да— (гость налилъ стаканъ и залпомъ выпилъ).— Эхъ, если-бы самоварчикъ!

Перловичъ стиснулъ рукою мундштукъ пѣнковой трубки, та хрустнула.

— Раздавилъ? Жаль,—произнесъ гость, замѣтивъ движеніе хозяина.—Вотъ видишь-ли, пріѣзжаетъ ко мнѣ Хмуровъ и говоритъ... исторія эта немножко длинновата, я, впрочемъ, буду тебѣ ее немного сокращать...

У Перловича захватило дыханіе: ему послышался шумъ въ сосѣдней комнатѣ...

Совсѣмъ разсвѣло, и въ той комнатѣ, которая была *заставлена*, потому только было темно, что сквозь войлочныя ставни, которыми были закрыты окна, не могъ проникать грязноватый свѣтъ сѣраго, ненастнаго дня. Когда Перловичъ вошелъ въ комнату и ставни были сняты, онъ увидѣлъ Батогова, лежащаго совершенно неподвижно, на спинѣ, съ открытыми, тусклыми глазами, съ окоченѣвшими пальцами, стиснутыми около горла: должно быть, онъ хотѣлъ разорвать душившій его воротъ рубахи.

Перловичъ наклонился къ лежавшему, положилъ ему руку на лобъ и тотчасъ же отдернулъ ее отъ непріятнаго ощущенія холодной, лоснящейся массы Долго стоялъ онъ надъ тѣломъ, потомъ подошелъ къ окнамъ, съ трудомъ отворилъ одно изъ нихъ, и въ комнату пахнуло сыростью.

Перловичъ подошелъ къ столу и сѣлъ писать. Холодный вѣтеръ, врываясь въ открытое окно, пронизывалъ его насквозь, и дрожащая рука судорожно прыгала по бумагѣ...

XIII.

„Хотя, впрочемъ, сомнѣваюсь“.

Сидя еще въ комнатѣ, съ стаканомъ утренняго чая въ рукахъ, докторъ зѣвалъ во весь ротъ и провѣрялъ счеты преферанса, сохранившіеся еще на зеленомъ, порыжѣломъ сукнѣ раскрытаго ломбернаго стола. Докторъ еще не умывался и на его бакенбардахъ присохли кое-какіе остатки вечерней подзакуски

— А надулъ, мерзавецъ, надулъ!..

Докторъ наклонился надъ сукномъ.

— Вотъ и тутъ приписалъ лишнее къ висту, а тутъ вотъ стеръ... Ну, жулики... Ты чего?..

— Верховой отъ Перловича пріѣхалъ, гналъ шибко, инда калитку у насъ свернулъ колѣнкомъ,—докладывалъ деньщикъ, высунувшись изъ-за двери.

— Ну, чего тамъ?

— Письмо привезъ.

— А, давай...

Докторъ взялъ письмо, посмотрѣлъ на печать, поковырялъ ее пальцемъ, посмотрѣлъ на свѣтъ и сталъ искать на столѣ перочиннаго ножичка.

— Подай очки... не тамъ, въ брюкахъ поищи, ну?!

Докторъ пересѣлъ къ окну поближе, подрѣзалъ письмо, развернулъ его и началъ читать.

— На цѣломъ листѣ накаталъ, сообщилъ онъ и добавилъ:—эка нацарапалъ, должно быть, съ перепою руки ходили.

По мѣрѣ чтенія, лицо доктора принимало все болѣе и болѣе серьезное выраженіе, и губы многозначительно сжимались.

— Да-съ, вонъ оно какъ, понимаемъ,—произнесъ докторъ, окончивъ чтеніе и громко крикнулъ: Умываться давай, лошадь сѣдлать!..

— Случай подходящій... и можно разсчитывать... Н-да... человѣкъ со средствами... положимъ, не безъ подозрѣнія,— соображалъ докторъ, намыливая руки.

Письмо, полученное докторомъ, было слѣдующаго содержанія:

«Любезнѣйшій и уважаемый докторъ!

«У меня въ домѣ случилось большое несчастіе, такъ сильно меня поразившее, что съ большимъ трудомъ и тяжелымъ чувствомъ принимаюсь за это письмо.

«Нашъ общій знакомый и хорошій мой пріятель, скажу болѣе, другъ, Батоговъ, пріѣхалъ ко мнѣ еще вчера вечеромъ и, послѣ дружески проведеннаго вечера, остался ночевать у меня въ угловой комнатѣ.

«Придя на другой день, то-есть сегодня утромъ, къ нему, засталъ его безъ всякихъ признаковъ жизни. По нѣкоторымъ даннымъ, я смѣю предполагать, что онъ отравился опіумомъ, который курилъ даже при мнѣ вечеромъ, несмотря на мои совѣты бросить...

«Можетъ быть, есть *еще надежда* спасти его, хотя, впрочемъ, сомнѣваюсь...

«Пріѣзжайте какъ можно скорѣе—жду.

«Весь вашъ Ф. Перловичъ».

— «Хотя, впрочемъ, сомнѣваюсь»...—цитировалъ докторъ окончаніе письма, садясь на свою лошадь.

Прошло три дня. По шоссированной улицѣ, мимо мѣстнаго клуба, подвигалась подъ звуки похороннаго марша пестрая процессія: священникъ въ новыхъ золотыхъ ризахъ, поддерживая полы шелковаго подрясника, шелъ по краю дороги, гдѣ посуше, безпрестанно обходя кучи запасного шоссейнаго камня. Человѣкъ десять безъ шапокъ и въ мундирахъ, поверхъ которыхъ, на всякій случай, накинуты были шинели, несли большой гробъ, покрытый парчевымъ покровомъ.

Перловичъ съ Хмуровымъ придерживали гробъ спереди; первый шелъ молча, потупивъ глаза въ землю, и поминутно прикладывалъ платокъ къ глазамъ; второй подтягивалъ басомъ хору солдатъ-пѣвчихъ.

На балконъ клубной залы вышли человѣкъ пять, завтракавшихъ до этой минуты и оставившихъ свои приборы при звукахъ барабановъ.

— Ну-съ, государи мои, вотъ и покончилъ нашъ авантюристъ свое существованіе!—говорилъ интендантскій чиновникъ, присаживаясь на перила.

— А дѣло нечисто...—замѣтилъ стрѣлокъ, вытирая ротъ салфеткой.

— Чего нечисто?—Вздоръ: все аккуратно обработано.

— Однако вы говорите: «обработано»...

— Говорю; и добавляю, что пока не найдется личности, заинтересованной...

— Чѣмъ?

— Да хоть-бы удаленіемъ *его* съ мѣста дѣйствія, такъ сказать, сокращеніемъ сего барина до нуля, дѣло будетъ находиться въ томъ-же положеніи, какъ и теперь, то-есть будетъ почивать въ архивѣ, преданное волѣ Божіей.

— Господа! оттуда всѣ на дачу Перловича, на поминальный обѣдъ!—вбѣжалъ на балконъ молодой офицерикъ, отдѣлившійся отъ процессіи

— Царство ему небесное!—вздохнулъ интендантскій чиновникъ.—Что-же котлетку съ горошкомъ?—крикнулъ онъ пробѣжавшему лакею.

— Сію минуту-съ.

— То-то—«сію минуту-съ»: цѣлый часъ заказано. Свиньи!

Бой барабановъ затихалъ вдали, когда процессія завернула за уголъ ближайшей улицы.

— Краснаго въ уголъ и по желтому карамболь!—возглашалъ голосъ изъ билліардной...

XIV.

Почему перестала Рахиль смотрѣть на сѣверъ.

Киргизы Гайнула и Гассанъ гнали большое стадо овецъ по зарослямъ близъ ауловъ Курбанъ-бія. Оба пастуха ѣхали верхомъ, и сколько ни поднимались на стременахъ, пытаясь разглядѣть переднихъ барановъ, все не удавалось имъ замѣтить сквозь камышъ вожаковъ стада,—такое оно было большое. Тальникъ и камышъ трещали кругомъ и глухо топотали по замерзлой землѣ тысячи копытчатыхъ ножекъ.—Гей гей!—кричалъ Гайнула.—Гей гей!—отзывался ему съ другого конца Гассанъ, и громко хлопали длинные кнуты, сбивая высохшія вершинки кустарниковъ.

Сплошными волнами двигалась эта атара (стадо) и, казалось, негдѣ было больше просунуть кулака между плотно прижавшимися на ходу другъ къ другу, курчавыми, живыми тѣлами барановъ. Къ вечеру становилось дѣло и аулы дымились въ синѣющей лощинѣ.

Въ одномъ только мѣстѣ, далеко еще впереди, раздѣлялись надвое живыя волны, огибая какое-то, словно волшебное пространство, и снова смыкались вплотную, мало-по-малу подвигаясь впередъ.

— Что тамъ за диковина?—думалъ Гайнула, и началъ всматриваться.

— А тамъ что-нибудь да есть,—думалъ Гассанъ и даже руку приложилъ къ глазамъ, чтобы разглядѣть получше.

Обоимъ имъ хотѣлось узнать, въ чемъ дѣло, и оба они повернули лошадей въ ту сторону. Ближе и ближе съѣзжались

они, врѣзываясь въ самую гущу атары и, наконецъ, съѣхались вмѣстѣ. Съѣхались какъ разъ около того диковиннаго мѣста и переглянулись.

— Видишь что?—сказалъ Гайнула и сплюнулъ.

— Дохлятина,—произнесъ Гассанъ и, засунувъ руку подъ малахай, сталъ чесать всею пятернею свой бритый затылокъ.

— И какъ это ее до сихъ поръ волки не съѣли?

— Не нашли должно быть.

— А вороны трогали, видишь?

— Воронамъ сверху виднѣй.

Гассанъ поскребъ себѣ еще затылокъ и поѣхалъ дальше.

То, что видѣли киргизы-пастухи, то, что такъ пугало овецъ и заставляло ихъ бросаться въ стороны, была Рахиль.

Она все время ждала избавленія... Она слѣпо повѣрила тому полуголому, косматому человѣку, который заговорилъ съ нею по-русски, который указалъ ей на сѣверъ, откуда должна была прійти вѣсть о свободѣ.

Рахиль ждала этой вѣсти и не спускала глазъ съ завѣтной стороны; она, во время своей послѣдней болѣзни, все выглядывала, по временамъ, изъ-подъ кошмы, подъ которую заползала грѣться отъ нестерпимаго, смертельнаго озноба. Рахиль не выползала уже болѣе сама изъ-подъ этой грязной, закопченой, населенной миріадами насѣкомыхъ кошмы.

Ее вытащили оттуда, когда трупная вонь дала знать о томъ, что для нея уже все кончилось. Ее оттащили подальше отъ аула, въ самыя заросли, и бросили... Бросили случайно, конечно, такъ что полураскрытые, мертвые глаза несчастной обращены были опять на сѣверъ.

И долго бы еще смотрѣла въ одну сторону бѣдная Рахиль, да вороны, замѣтивъ межъ черными кочками бѣлѣющееся тѣло умершей, слетѣлись, сѣли поближе, поглядѣли направо и налѣво, подскочили еще ближе, совсѣмъ ободрились и, прыгая по худымъ бокамъ Рахили, принялись за похоронную трапезу.

Птицы начали съ глазъ, и черезъ минуту, подъ нависшими выступами бровей, чернѣли двѣ зіяющія дырки.

Рахиль перестала смотрѣть на сѣверъ.

КОНЕЦЪ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Глава. стр.

I. Кара-Кумы 3
II. Перловичъ у себя на дачѣ 8
III. На Минъ-Урюкѣ 17
IV. Оргія у Хмурова 31
V. Серенада 46
VI. Сонъ Перловича 52
VII. Марфа Васильевна хочетъ начать знакомство съ Батоговымъ 56
VIII. Вызовъ и отказъ 62
IX. Что видѣлъ таджикъ Уллу-гай на разсвѣтѣ, когда отыскивалъ свою сѣрую ослицу 71
X. Слухомъ земля полнится 73
XI. Записка 78
XII. Катастрофа 84

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Глава.

I. Первый перегонъ 89
II. Сказка Сафара 98
III. На волоскѣ 101
IV. Поцѣлуй 107
V. Гнилые Колодцы 110
VI. Клоповникъ 118
VII. Въ степи 124
VIII. Лагерь на Аму-Дарьѣ 136
IX. Суматоха 149
X. Погоня 160
XI. Герой 168

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Глава. стр.

I. Тяжелые дни 174
II. Кого видѣлъ Батоговъ въ сосѣднемъ аулѣ, когда ѣздили за камышомъ 184
III. Наръ-Беби 191
IV. Соколиная охота 199
V. „А Каримка все знаетъ“ 206
VI. Не одинъ Каримка все знаетъ 215
VII. Побѣгъ 219
VIII. На привалѣ 224
IX. Въ шайкахъ Назара. 232
X. Смерть Юсупа 247
XI. Первый караванъ 252
XII. Сигары Перловича 260
XIII. „Хотя, впрочемъ, сомнѣваюсь“ 266
XIV. Почему перестала Рахиль смотрѣть на сѣверъ 269

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. Н. КАРАЗИНА.

ПОГОНЯ ЗА НАЖИВОЙ.

Романъ въ 3-хъ частяхъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе П. П. Сойкина.
КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ
Стремянная, 12, соб. домъ.
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
Невскій, 96, уг. Надежд.

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 14 ОКТЯБРЯ 1904 ГОДА

ТИПОГРАФІЯ П. П. СОЙКИНА, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, СТРЕМЯННАЯ, 12.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Чуть-чуть не застрѣлился.

Дмитрій Ледоколовъ, опершись локтями о письменный столъ, сидѣлъ въ покойныхъ креслахъ и пристально разсматривалъ окурокъ сигары, дымившійся въ одной изъ бронзовыхъ пепельницъ. Этотъ окурокъ, должно быть, не очень занималъ его, хотя вотъ уже съ полчаса, какъ онъ не спускалъ съ него глазъ; окурокъ пересталъ уже тлѣть, уже похолодѣлъ совсѣмъ, а Ледоколовъ все на него смотрѣлъ и смотрѣлъ, онъ даже пальцемъ его потрогалъ, отнялъ руку, вздохнулъ тяжело, болѣзненно и снова уставился въ ту-же точку какимъ-то апатичнымъ, почти безсмысленнымъ взглядомъ.

Воротъ рубахи его былъ надорванъ; видно было, что его разстегивала нетерпѣливая, озлобленная рука; галстухъ валялся на ручкѣ кресла, а смятый сюртукъ лежалъ на полу, и холодный вѣтеръ, врываясь въ отворенную форточку окна, шевелилъ рукава его рубашки. Впрочемъ, Ледоколову не было холодно, несмотря на то, что вмѣстѣ съ вѣтромъ въ комнату влетали мелкія снѣжинки и бѣлыми блестками осѣдали на широкихъ, вырѣзныхъ листьяхъ какого-то экзотическаго растенія.

На большомъ письменномъ столѣ и внутри его царствовалъ полнѣйшій безпорядокъ: письменный приборъ разбросанъ, подсвѣчники сдвинуты къ одной сторонѣ, двѣ фарфоровыхъ статуэтки игриваго свойства лежали на полу, и у одной изъ нихъ недоставало уже головы, отбитой упавшей на нее крышкой отъ чернильницы; бумага писанная и неписанная разбросана была

по всей поверхности стола, ящики выдвинуты на половину, и все, что тамъ находилось, было взрыто и исковеркано. Изъ одного ящика торчала рукоятка револьвера, и надъ всѣмъ этимъ возвышался большой фотографическій портретъ красивой женщины съ роскошными пепельными волосами, освѣщенный мигающимъ свѣтомъ пылавшей лампы, пламя которой давно уже облизывало треснувшее стекло, покрывая его черною, густою копотью.

Тоску наводящій полу-мракъ царствовалъ въ дальнихъ углахъ комнаты, откуда выдвигались только массивные карнизы шкаповъ, и виднѣлись на стѣнахъ неясныя очертанія какого-то оружія, развѣшаннаго въ симметричныхъ группахъ.

Стрѣлки на циферблатѣ большихъ стѣнныхъ часовъ показывали половину перваго; на тротуарѣ противоположной стороны улицы давно уже стоялъ, должно быть, чрезвычайно любопытный городовой, которому совершенно ясно было видно все, что дѣлалось въ комнатѣ Ледоколова.

Этотъ городовой положительно недоумѣвалъ:—что такое дѣлается съ этимъ чуднымъ бариномъ? То онъ прежде неистово рылся и разбрасывалъ все, что ни попадалось подъ руку; пистолетъ вынималъ зачѣмъ-то, разглядывалъ его долго, опять спряталъ въ ящикъ, — сигару закурилъ-было, сломалъ и на полъ бросилъ, закурилъ опять и почти сгрызъ ее зубами; а вотъ уже съ часъ, какъ сидитъ и не шелохнется, не погладитъ даже большого сѣраго кота, что взобрался на спинку креселъ, оттуда къ нему на плечо и, мурлыча на ухо, трется у него за щекою мягкимъ, усатымъ рыльцемъ.

— Гляди, пожару какъ-бы не надѣлалъ! — думаетъ городовой вслухъ. — Ишь, ты, полымя какъ изъ лампы претъ!..

— Выпимши, можетъ, али такъ блажитъ! — замѣчаетъ дворникъ, ежась отъ холода и зѣвая во весь ротъ, плотно кутаясь въ свой овчинный тулупъ, отъ котораго за версту несетъ кислымъ запахомъ дубленой кожи.

— О, Боже мой!—не то простоналъ, не то тяжело вздохнулъ Ледоколовъ, быстро поднялся, загремѣлъ креслами и взглянулъ на портретъ.

И вотъ ротъ его скривился, какъ-будто подъ вліяніемъ невыносимыхъ внутреннихъ страданій, на лбу у него протянулись болѣзненныя складки, сухимъ, горячечнымъ жаромъ сверк-

нули глаза, и со звономъ полетѣла на полъ какая-то бездѣлушка, опрокинутая конвульсивнымъ движеніемъ руки, протянувшейся къ портрету.

Фыркнулъ котъ, далеко отпрыгнулъ назадъ и исчезъ гдѣ-то между шкапами.

— Важно! — произнесъ дворникъ и подтолкнулъ локтемъ городового.

— Погоди, что дальше будетъ! — отвѣчалъ городовой. — Проѣзжай ты, желтоглазый! — крикнулъ онъ извозчику, загородившему было своею лошадью окно, надъ которымъ производились наблюденія.

Неровною, шатающейся походкою принялся Ледоколовъ ходить по своему кабинету, натыкаясь на этажерки и отдѣльные столики; ходилъ долго и снова остановился передъ портретомъ, ероша ожесточенно волосы. Потомъ онъ схватилъ портретъ обѣими руками, поднесъ его къ самому лицу и жадно впился въ стекло своими сухими, горячими губами... Послышалось глухое, прерывистое рыданіе, — рыданіе страшное, безъ слезъ, — рыданіе, отъ котораго болитъ и ноетъ грудь, и замираетъ сердце, стиснутое словно желѣзными щипцами.

Медленно опустилъ Ледоколовъ портретъ, поставилъ его на прежнее мѣсто и легъ ничкомъ на кушетку. Передъ его закрытыми глазами съ адскою точностью, со всѣми мелочными подробностями стали проходить мучительныя картины. Тихонько выползъ сѣрый котъ изъ своего темнаго угла, вспрыгнулъ на спину Ледоколова и свернулся клубкомъ, какъ разъ между его лопатками.

Два года тому назадъ онъ встрѣтился въ первый разъ съ нею. Его охватило какое-то странное чувство: ему казалось, что они давно уже знакомы, что они давно уже такъ хорошо знаютъ, такъ понимаютъ другъ друга; тепло, дружески отнесся онъ къ ней съ первыхъ минутъ знакомства. Она такъ близко подходила къ тому идеалу, который давно уже сформировался въ его сердцѣ.

Онъ полюбилъ ее. Это была почти не любовь, это было тихое, благоговѣйное боготвореніе...

Яркіе потоки свѣта льются сверху, охватываютъ со всѣхъ сторонъ, уничтожая, скрадывая тѣни. Вся въ бѣломъ, съ длиннымъ шлейфомъ, стоитъ она посреди церкви; чудные, золотк-

сто - дымчатые волосы чуть прикрыты цвѣтами и прозрачнымъ газомъ; матовою бѣлизною сверкаетъ упругое, молодое тѣло... Она вся кажется лучезарною, прозрачною... У него духъ захватываетъ при одномъ взглядѣ на это чудное видѣніе... Онъ подойти не рѣшается... Ему кажется, что всякій шагъ къ ней— святотатство. Однако, онъ подходитъ. На него такъ ласково, такъ привѣтливо смотрятъ дивные глаза...

— Пожалуйте-съ!—пріятнымъ старческимъ тепоромъ приглашаетъ его священникъ въ новой парчевой ризѣ съ разводами, прихватываетъ ихъ за руки и подводитъ къ аналою.

Свѣчи имъ сунули въ руки, къ горячему лбу прикасается какой-то металлическій обручъ...

— Дмитрій, милый мой Дмитрій,—лепечутъ ему на ухо дорогія губки.—Какъ мы будемъ счастливы...

Сидя въ каретѣ, они плотно прижались другъ къ другу, они словно срослись вмѣстѣ.

— Вѣдь ты меня очень любишь?

Его шею охватываютъ нѣжныя руки.

— Люби меня,—я стою этого. Ну, скажи, будешь любить меня, да?..

— Люблю-ли я тебя!

Слезы перехватываютъ звуки въ его горлѣ. Онъ задыхается отъ наплыва страстныхъ, томительныхъ иллюзій..

— Дмитрій, милый мой, я счастлива, я точно въ раю,— ты плачешь?..

— Ангелъ, радость моя!..

— Налѣво къ подъѣзду... стой! — командуетъ кто-то на козлахъ.

— Пошли, пошли прочь!—распоряжается у воротъ хриплый, начальническій басъ...

Музыка, шампанское, говоръ, фраки, мундиры, шлейфы шиньоны... все такъ свѣтло и торжественно... Затѣмъ туманъ, туманъ...

И вотъ, день за днемъ, недѣля за недѣлею, мѣсяцъ за мѣсяцемъ, свѣтлою полосою потянулась жизнь. Огорченій, скуки, грусти, какъ будто и не существовало.

Одинъ взглядъ дорогихъ глазъ разгонялъ надвигающіяся тучи.

Въ мозгу такъ ясно, онъ такъ славно работаетъ, онъ, казалось, не знаетъ устали; то, передъ чѣмъ задумался-бы Ледо-

коловъ въ прежнее время, теперь одолѣвается шутя, подъ живымъ вліяніемъ электризующей, чудотворной силы участія любящей женщины.

Трудъ получилъ двойное, тройное, увеличенное до безконечности значеніе. Результаты этого труда такъ необходимы для нея...

— Дмитрій, помнишь брошь звѣздочками, что мы видѣли въ окнѣ у Зефтигена на Морской?..

— Помню, моя крошка, помню... Въ серединѣ розетка, въ шесть лучей, кажется...

Онъ кладетъ на столъ циркуль, которымъ работалъ, оборачивается и цѣлуетъ тонкіе розовые пальчики, особенно тотъ изъ нихъ, на которомъ виднѣется золотой обручекъ.

— Ну-да,—говоритъ она,—эта брошь стоитъ только сто-двадцатью рублями дороже моей, только сто-двадцатью рублями; и если обмѣнять мою...

— Ребенокъ милый, игрушечку тебѣ нужно... Ну, это мы устроимъ...

— Это расходъ лишній, дорогой мой, мнѣ такъ совѣстно; мы и такъ уже въ этомъ мѣсяцѣ...

— Тсс!..

Прелестный ротикъ умолкаетъ, зажатый самымъ страстнымъ, самымъ жгучимъ поцѣлуемъ.

— Ты и такъ много работаешь!—лепечетъ она, и наскоро вытираетъ украдкою свои розовыя губки.

— Пойдемъ гулять сегодня, ну, и зайдемъ...

Она становится у него за кресломъ, гладитъ его по головѣ, расправляетъ волосы, особенно заботясь о томъ мѣстѣ, гдѣ довольно ясно видны зачатки будущей лысины. Онъ погружается въ какое-то вычисленіе...

— Ты, кажется, ревнуешь меня?..—спросила она его какъ-то разъ на одномъ изъ вечеровъ, оставивъ, наконецъ, своего мундирнаго кавалера, съ которымъ проходила чуть не весь вечеръ.

— Ну, что за вздоръ!..

— Что-же ты такой пасмурный? Пойдем

Она повисла у него на рукѣ, — ему стало необыкновенно весело: онъ сразу забылъ то мучительное чувство, съ которымъ онъ слѣдилъ глазами за ними, бѣснуясь, когда кавалеръ слиш-

комъ ужъ близко наклонялся къ своей дамѣ, и въ жестахъ его проявлялась воинственно-страстная энергія.

— Я люблю тебя, я вѣрю тебѣ; ревность тутъ неумѣстна..

Онъ самъ хочетъ увѣрить себя, что онъ не ревнуетъ.

— Смотри!..

Она прижимается къ нему еще плотнѣе и грозитъ пальчикомъ.

— Ревновать ту, которую любишь, это значитъ потерять къ ней уваженіе, перестать ей вѣрить... Я сейчасъ, Дмитрій...

Она быстро вырываетъ руку изъ-подъ его локтя; передъ нею стоитъ джентльменъ высокаго роста, въ самой почтительной и скромной позѣ. Въ выраженіи его лица, въ движеніи его рукъ видно не простое желаніе вальсировать — нѣтъ, это молчаливая мольба о жизни...

— Гм... — кряхтитъ Ледоколовъ, натянуто улыбается и чувствуетъ, что въ его сердцѣ опять ворочается что-то весьма нехорошее...

Иногда ему казалось, что она становится холоднѣе, безучастнѣе къ его ласкамъ.

«Пустяки, — думаетъ онъ, — нельзя-же, въ самомъ дѣлѣ, вѣчно лизаться: это не въ порядкѣ вещей».

А разъ, когда они шли вмѣстѣ по Невскому, онъ до крови укусилъ свою губу въ досадѣ на то, что она все время глядѣла на окна магазиновъ, отвернувшись отъ него и едва касаясь своею перчаткою рукава его боброваго пальто.

— И что ты тамъ находишь занимательнаго...

— Ну, это еще что!

— Кто это тебѣ поклонился сейчасъ?

— Не помню фамиліи... какъ-то *мекъ* или *декъ*, что-то въ этомъ родѣ начинается...

— А теперь это съ кѣмъ ты раскланиваешься?

— Что это тебя такъ интересуетъ?..

Она подозрительно смотритъ на него и холодно улыбается.

— Да почему же не сказать?..

— Ужъ ты опять не вздумалъ-ли ревновать меня?

— Гмъ, что это значитъ «опять»? Наконецъ, я-же говорилъ тебѣ, что ревновать—это недостойно... всякаго...

Онъ почувствовалъ, что становится смѣшонъ, и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, поклонился какой-то пестро одѣтой,

совершенно ему незнакомой дамѣ... Та улыбнулась и отвѣтила ему.

— Ну, вотъ видишь,—говоритъ ему она,—я-же не спрашиваю тебя: кто это?..

Она готова расхохотаться; Ледоколовъ покраснѣлъ до ушей.

— Поѣдемъ домой лучше, кстати пора и обѣдать, —зѣваетъ она, прикрывшись муфтою. — Мнѣ такъ ѣсть хочется!

Дорогою она немного приласкала его, и опять у него хорошо стало на сердцѣ.

«Но это все такія мелочи, такой ничтожный вздоръ, — бравировалъ Ледоколовъ, перебирая въ своей памяти всѣ малѣйшіе эпизоды прошедшаго дня. — Это все такіе булавочные уколы, за которые нельзя даже и посердиться». Однако, онъ чувствуетъ, что хотя эти булавочные уколы и очень ничтожны, каждый отдѣльно, но зачѣмъ ихъ такъ много?..

«Вотъ опять, ну, чего этотъ баринъ такъ отъ нея шарахнулся, когда я вошелъ? Я его спрашиваю, въ которомъ часу поѣздъ отходитъ, а онъ отвѣчаетъ совсѣмъ неподходящее, я даже не понялъ ничего,—видимо, человѣкъ потерялся...»

— Дмитрій, можно къ тебѣ?..—слышенъ за дверью ея голосъ.

— Конечно, конечно, войди... что за вопросъ!..

— Я хочу посидѣть около тебя; будь увѣренъ, я тебѣ мѣшать не буду!..

Она поцѣловала его въ лобъ и сѣла рядомъ въ другія кресла.

— Можешь-ли ты когда-нибудь мѣшать мнѣ?.. Жизнь моя... Дай я тебѣ подложу подушку за спину... Васька, пошелъ, барыню безпокоишь!..—гонитъ онъ сѣраго кота, который тоже взобрался на кресло.

— Нѣтъ, оставь его. Ну, работай, работай...

Она еще разъ цѣлуетъ его и треплетъ по плечу. Всѣ сомнѣнія разлетаются прахомъ, о булавочныхъ уколахъ нѣтъ и помину...

«Не вѣрить этому свѣтлому ангелу—Господи! Да это надо совсѣмъ съума сойти, — это болѣе, чѣмъ святотатство», — думаетъ онъ и начинаетъ подводить какіе-то безконечно-длинные итоги.

Цѣлыхъ три недѣли пришлось ему не видать своей жены,— ему надо было уѣхать по дѣлу. Эти недѣли тянулись безко-

нечно. Развѣ телеграфировать о выѣздѣ? — подумалъ онъ, садясь въ вагонъ по окончаніи своихъ дѣлъ, но тутъ-же рѣшилъ не увѣдомлять объ этомъ, разсчитывая на сладкія минуты неожиданнаго пріѣзда.

«Какъ она обрадуется, дорогая моя,—думалъ онъ, поглядывая въ окно. — Вотъ озадачится; вѣдь она не ждетъ меня раньше десятаго, а тутъ вдругъ тремя днями раньше—бацъ! А что, развѣ...»

Онъ вырвалъ изъ бумажника листикъ, написалъ карандашемъ нѣсколько словъ и на первой-же станціи подошелъ къ конторкѣ телеграфиста.

«А, нѣтъ, не надо», — рѣшилъ онъ, направился къ буфету и выпилъ водки.

Въ одномъ изъ вагоновъ что-то лопнуло,—поправляли съ часъ,—тамъ снѣгъ задержалъ на два часа, еще что-то случилось. Поѣздъ опоздалъ. Поздно ночью, почти передъ разсвѣтомъ, слѣзъ Ледоколовъ съ извозчика и постучался въ ворота; быстро взбѣжалъ онъ по лѣстницѣ, чуть не разбилъ себѣ носа въ потемкахъ, и остановился передъ своею дверью.

«Она спитъ...» — подумалъ онъ и, затаивъ дыханіе, чуть дотронулся до ручки звонка.

Все тихо, ничего не слышно.

Онъ позвонилъ еще разъ, громче.

— Кто тамъ?—послышался за дверью испуганный голосъ горничной.

— Отвори, это я...—тихо произнесъ онъ.

Но, вѣроятно, горничная приняла его за другого.

— Ты что-же звонишь, Ванька-дьяволъ... входи тише, — барыню разбудишь...

Ледоколовъ началъ раздѣваться, дѣвушка торопливо зажигала свѣчу; она догадалась, что это не ея Ванька.

Ярко вспыхнулъ огонь и освѣтилъ испуганное лицо горничной; глаза ея широко раскрылись, она вскрикнула и выронила свѣчку изъ рукъ.

Ледоколова какъ обухомъ ударило въ голову. Какъ ни мгновенно блеснулъ свѣтъ, но онъ успѣлъ увидать, онъ видѣлъ... Да, то, что онъ видѣлъ, было ужасно!

Онъ видѣлъ на вѣшалкѣ чужую шинель, онъ ясно ее разглядѣлъ, съ капюшономъ, съ военнымъ воротникомъ; металли-

ческія пуговицы такъ ярко, такъ отчетливо блестѣли на синесѣромъ сукнѣ.

— Огонь зажги!—прохрипѣлъ онъ.

Послышалась торопливая возня и шорохъ; спички не загорались; наконецъ, снова была зажжена свѣча... Шинели не было...

— Что-же это, я самъ видѣлъ, вотъ тутъ—гдѣ она? Или это мнѣ почудилось?..

Ледоколовъ быстро прошелъ черезъ всѣ комнаты и остановился передъ дверью спальни,—дверь была заперта.

— Это ты, Дмитрій?—раздался голосъ жены. Что-то холодное, сухое звучало въ этомъ вопросѣ; Ледоколову даже показалось, что это говоритъ другая женщина, вовсе ему незнакомая.

— Отвори, отвори, отворите!

Онъ въ изступленіи принялся трясти дверную ручку.

— Послушай, Дмитрій, — говорила она ему, подойдя къ самой двери, — иди въ свой кабинетъ, затворись тамъ и не дѣлай глупѣйшаго скандала; это самое лучшее, что я могу тебѣ посовѣтовать!

Опустивъ голову, схватившись за сердце обѣими руками, онъ пошелъ въ кабинетъ; у него силъ не хватило дотащиться до своей двери, — онъ прислонился къ стѣнѣ и судорожно вцѣпился въ какую-то драпировку.

Замокъ щелкнулъ. Чьи-то шаги, гремя шпорами быстро прошли къ передней.

Съ этой ночи онъ уже не видалъ болѣе своего *ангела*.

Вотъ уже нѣсколько дней прошло,—страшныхъ дней. Онъ уже думалъ, что мозгъ его не выдержитъ страшнаго удара,—однако, выдержалъ: онъ не сошелъ съума. На него нашло какое-то странное опьяненіе. Онъ ничего не ѣлъ, а, можетъ быть, и ѣлъ,—онъ ничего не помнилъ; это былъ тяжелый кошмаръ, который, мало-по-малу, проходилъ, уступая мѣсто другому, худшему состоянію.

Жизнь потеряла для него всякое значеніе, она ему была противна. Онъ ощущалъ тупую пустоту въ сердцѣ, въ головѣ, во всемъ организмѣ.

Для него все было потеряно.

А сѣрому коту Васькѣ, вѣроятно, надоѣло лежать на спинѣ

хозяина: онъ спрыгнулъ на полъ, выгнулъ спину горбомъ, поднялъ хвостъ коломъ и зашагалъ къ письменному столу; потомъ онъ забрался на кресло, оттуда на ящикъ съ револьверомъ, затѣмъ на самый столъ. Здѣсь онъ покойно усѣлся, насторожилъ уши и углубился въ созерцаніе нѣсколькихъ исписанныхъ листковъ.

Если-бы Васька умѣлъ читать, то онъ прочелъ-бы слѣдущее:

«Я прошу никого не обвинять въ моей смерти...»

Строка эта была зачеркнута; вѣроятно, начало показалось слишкомъ избитымъ; затѣмъ разгонистымъ, крупнымъ почеркомъ значилось:

«Прошу исполнить мое предсмертное желаніе; оно слишкомъ просто и удобоисполнимо и заключается только въ томъ, чтобы не доискивались причинъ моего самоубійства».

«Мнѣ просто надоѣло жить: а такъ какъ никто ничего не теряетъ оттого, что меня не будетъ состоять между живыми, то я и прибѣгаю къ услугамъ моего револьвера».

«Прощайте».

Чернила давно уже высохли, и даже поверхъ письма карандашемъ начерчены какіе-то зигзаги. Видно было, что исполненіемъ самоприговора не торопились, хотя револьверъ былъ въ полнѣйшей готовности, и подъ взведеннымъ куркомъ краснѣла головка металлическаго патрона.

Вдругъ въ углу, подъ ворохомъ газетъ, на нижней полкѣ этажерки заскреблась мышь. Васька кинулся со стола, опрокинулъ подсвѣчникъ, перелетѣлъ черезъ лежавшаго Ледоколова и зарылся въ газетахъ.

Ледоколовъ вздрогнулъ, вскочилъ, испуганно осмотрѣлся кругомъ, точно онъ спалъ до этой минуты и внезапно былъ разбуженъ непонятнымъ шумомъ; онъ началъ прислушиваться.

Мелодично, серебристо звякали и гудѣли безчисленные бубенчики разукрашенной ямской тройки. Усталые кони, покрытые пѣною, шли шагомъ, окруженные парнымъ облакомъ. Въ саняхъ сидѣло четверо катающихся: три кавалера и одна дама. Двое изъ нихъ были совершенно пьяны, и ихъ цилиндры глупо кивали изъ-за поднятыхъ воротниковъ. Дама положила свою голову на плечо третьяго, трезваго кавалера, а тотъ, приложивъ два пальца къ козырьку своей форменной фуражки

весьма вѣжливо раскланивался по направленію, гдѣ, какъ поясной портретъ въ рамѣ, видна была фигура Ледоколова.

Между портретомъ, стоявшимъ на столѣ, и дамою въ саняхъ было поразительное сходство: тѣ же пепельно-золотистые волосы, тѣ же глаза, выразительные, смѣющіеся, оттѣненные длинными рѣсницами, тотъ же ротикъ, сочный, задорно-улыбающійся... Не было, не могло быть никакого сомнѣнія: въ саняхъ сидѣлъ оригиналъ того портрета, на стеклѣ котораго ясно видны были слѣды поцѣлуевъ Ледоколова.

Имъ овладѣло неудержимое бѣшенство... онъ схватилъ револьверъ.

«Вамъ весело, вы наслаждаетесь!.. Я вамъ испорчу вашу прогулку...» мелькнуло у него въ головѣ. Ему сейчасъ же представилось, какой эфектъ произведетъ выстрѣлъ въ эту минуту... Какъ вздрогнетъ она, какъ зашевелится раскаяніе въ ея сердцѣ, когда она увидитъ результаты своей злой шутки... Всю жизнь ея можно отравить одною этою минутою; во снѣ, на яву, вѣчно будетъ носиться передъ ея глазами кровавый образъ; этотъ страшный призракъ съ простреленнымъ черепомъ не дастъ ей ни минуты покоя... И *онъ* тоже... Ну, господа, любуйтесь!..

Ледоколовъ приложилъ дуло револьвера къ своему виску.

На улицѣ послышался слабый женскій крикъ. Ямщикъ почувствовалъ у себя на шеѣ изрядный побудительный толчекъ.

— Эй, вы, други!.. — махнулъ кнутъ ямщика по всѣмъ тремъ конскимъ спинамъ.

Тройка унеслась. Ледоколовъ не успѣлъ выстрѣлить. Оно не успѣлъ потому... потому что... спусковой крючекъ какъ-то особенно туго спускался, вѣроятно, былъ плохо смазанъ, или... вообще что-то случилось съ оружіемъ.

— Да, положительно тебѣ надо уѣхать куда-нибудь отсюда; это самое лучшее!—говорилъ Ледоколову на другой день одинъ изъ его друзей, складывая лодочку изъ его предсмертнаго письма.

Онъ сидѣлъ у стола, а Ледоколовъ, закутанный въ халатъ и съ компресомъ на лбу, лежалъ на диванѣ; котъ-Васька переходилъ отъ одного къ другому; то потрется бокомъ около ноги друга, то поиграетъ кисточками хозяйскаго халата.

Подъ вліяніемъ свѣжихъ впечатлѣній все разсѣется мало-

по-малу, пройдетъ хандра... (изъ лодочки началъ формироваться корабликъ) ну, и все прочее...

— Да куда поѣхать? Я бы готовъ,—говорилъ Ледоколовъ слабымъ, болѣзненнымъ голосомъ.

— Поѣзжай въ Африку... Тропическое солнце, негры, истоки Нила, новыя открытія...

— Для этого нужны большія средства...

— Ну, конечно... А то въ Эмсъ валяй, въ Висбаденъ, тамъ рулетка, Гретхены, Минхены, Каролинхены, воды разныя цѣлительныя!

Предсмертное письмо окончательно сформировалось въ пѣтуха; пѣтухъ былъ поставленъ на видномъ мѣстѣ, лицомъ къ портрету красавицы.

— Да, дѣйствительно, дальше отсюда,—Ледоколовъ приподнялся на локоть,—тутъ невыносимо, тутъ каждый предметъ такъ живо напоминаетъ мнѣ о ней... Слухи доходятъ; вонъ, вчера еще письмо анонимное получилъ, — нашлись непрошенные агенты!

— Свиньи... — пробормоталъ другъ, — и кто бы это могъ быть? Ты по почерку не узналъ?

— Вотъ портретъ этотъ... каждый разъ, какъ я взгляну на него...

— А вотъ мы его уберемъ...

Другъ началъ завертывать портретъ въ газетную бумагу.

— Конечно, я убѣжденъ, что время возьметъ свое, оно излечитъ...

— А у тебя нѣтъ еще... тамъ этихъ медальоновъ, группъ, отдѣльныхъ карточекъ?..

— Много есть!

— То-то, я помню; вы вѣдь частенько заходили въ фотографію...

Другъ принялся рыться по ящикамъ.

— Европа не манитъ меня вовсе, — продолжалъ Ледоколовъ.—Мнѣ надоѣли люди, мнѣ...

— «Мнѣ душно здѣсь, я въ лѣсъ хочу»...—продекламировалъ другъ.

— Старшій дворникъ пришелъ! — доложилъ черезъ нѣсколько комнатъ женскій голосъ.

— Пусть войдетъ.—Что тебѣ?..

— Насчетъ квартиры; хозяинъ спрашивалъ: такъ какъ ежели, какъ, значитъ, по условію, впередъ по-третно... Прикажете получить?

— Скажи хозяину, что можетъ наклеивать на окна билеты. Такъ, что-ли? — обратился другъ къ Ледоколову.

Тотъ кивнулъ головою.

— Въ отъѣздъ изволите-съ?—полюбопытствовалъ старшій дворникъ.

— Въ отъѣздъ!

На другой же день на всѣхъ окнахъ квартиры Ледоколова красовались бѣлые четырехугольники.

— Если бы ты зналъ, какъ меня самого *туда* тянетъ!— говорилъ другъ, помогая Ледоколову укладываться.

— Что же тебѣ мѣшаетъ?

— Какъ что? Ну, это, какъ бишь его,—дѣла!

— Ну, какія у тебя дѣла?

— Всякія, а ты вотъ что: какъ пріѣдешь, пиши, обо всемъ пиши: все, что какъ тамъ есть, насчетъ жизненныхъ удобствъ и все прочее. Не можетъ же быть, въ самомъ дѣлѣ, чтобы *тамъ* только одна баранина?

Ледоколовъ улыбнулся.

— А я, какъ съ дѣлами покончу, сейчасъ же и самъ къ тебѣ. Это возьмешь съ собой?

Другъ протянулъ какой-то свертокъ.

Во всѣхъ комнатахъ пыль стояла густымъ туманомъ, въ этомъ туманѣ копошились, покрикивали и пыхтѣли нѣсколько полосатыхъ-фуфаекъ, надсаживаясь надъ какимъ-то комодомъ. Черный длиннополый сюртукъ купеческаго покроя повѣрялъ мебель по штучкѣ, просматривая по реестру.

— Диванъ-угольникъ, обитъ голубымъ репсомъ въ стежку!..—произносилъ онъ отчетливо и съ нѣкоторою внушительностью.

— Есть!—вскрикивалъ кто-то изъ другой комнаты.

Ледоколовъ съ своимъ другомъ оставили большой чемоданъ, надъ укладкою котораго хлопотали, и принялись завтракать.

— Повѣришь-ли,—говорилъ Ледоколовъ, разрѣзывая сочную, красную, какъ кровь, котлету,—сегодня въ первый разъ я чувствую что-то похожее на аппетитъ!

— И прекрасно. Итакъ,—другъ налилъ въ стаканъ краснаго вина,—скатертью дорога!

— Благодарю...

Ледоколовъ пожалъ дружескую руку и чокнулся своимъ стаканомъ.

— Дюжина стульевъ гнутыхъ, два ломберныхъ стола, шифоньеръ рококо... буфетъ!—доносились возгласы изъ дальнихъ комнатъ.

II.

Письма издалека.

Вдова генералъ-маіора Фридерика Казиміровна Брозе и дочь ея Адель получили каждая по письму. Оба эти письма принесены были въ одно время, однимъ почтальономъ, въ одной и той же сумкѣ; оба были съ адресами, написанными однимъ и тѣмъ же почеркомъ, и оба конверта носили на себѣ слѣды далекой и многотрудной дороги. Видно было, что письма эти и подмокали, и высыхали не одинъ разъ; пожелтѣли они, кое-гдѣ расплылись побурѣвшія чернила, протерлись мѣстами углы конвертовъ, и растрескались смятыя сургучныя печати.

Рыженькая горничная въ веснушкахъ, принявшая письма отъ почтальона, положила ихъ на подносикъ и поднесла барынѣ, которая въ эту минуту сидѣла въ гостиной и, положивъ на диванѣ обѣ ноги, наблюдала, на-сколько рельефно обрисовываются подъ бѣлымъ кружевнымъ пеньюаромъ ея пышныя, округленныя формы.

— Вотъ письма-съ!—доложила горничная.

— Это отнеси къ барышнѣ въ комнату! — распорядилась Фридерика Казиміровна, посмотрѣвъ адресы и изобразивъ на своемъ, весьма еще красивомъ, хотя и сильно реставрированномъ лицѣ сперва нѣкоторое удивленіе, потомъ нескрываемую радость.

Она распечатала торопливо конвертъ и перешла на кресло, поближе къ окну, такъ какъ было уже около трехъ часовъ, и въ комнатѣ начинало темнѣть, особенно благодаря жардиньеркамъ и массивнымъ драпировкамъ на окнахъ.

— Ну, можешь и отправляться!—отнеслась вдова къ горничной, все чего-то дожидавшейся, и принялась читать.

— Я такъ и ожидала, я такъ и ожидала,—произносила она по временамъ и снова погружалась въ чтеніе. — Да, это было видно по всему, повсем-м-му,—протянула она, перевертывая страницу.—Какъ неразборчиво... Что это? Гмъ! Однако, въ такую даль, въ такую глушь!..

Еще разъ перечитала Фридерика Казиміровна письмо, положила его въ карманъ, подняла конвертъ, разорванный на двое, спрятала его и подошла къ зеркалу. Долго присматривалась она къ какому-то прыщику надъ бровью, повернулась потомъ, посмотрѣла назадъ черезъ плечо, граціозно передернула лопатками, вздохнула глубоко-глубоко, позвонила и велѣла зажигать лампы.

— Благодарю васъ за прогулку со мною!—говорила красивая, стройная брюнетка, раскланиваясь у подъѣзда дома съ молодымъ человѣкомъ въ соболяхъ, стоявшимъ передъ нею съ приподнятымъ цилиндромъ.

— Мнѣ было такъ пріятно... Маменькѣ прошу передать мой поклонъ!

— Mercі, до свиданья!

Дѣвушка побѣжала вверхъ по лѣстницѣ, а молодой человѣкъ посмотрѣлъ направо, посмотрѣлъ налѣво и сталъ осторожно переходить улицу.

Адель была дѣйствительно очень красивая дѣвушка, особенно въ эту минуту, когда морозъ такъ усердно подрумянилъ ея щечки. Черная бархатная кофточка съ мѣховой опушкою и хвостиками и кокетливо приподнятое платьице такъ кокетливо обрисовывали ея молодую фигурку, она такъ граціозно перепрыгивала съ ступеньки на ступеньку, засунувъ ручки въ муфту, изображавшую какого-то звѣрька, такъ симпатично, весело напѣвала при этомъ, что старикъ швейцаръ, наблюдавшій за нею снизу, крякнулъ, обошелся безъ помощи платка и произнесъ:

— Ну, коза-барышня!

«Молодой другъ мой, Адель Богдановна,—читала дѣвушка, запершись у себя въ комнатѣ.—Надѣюсь, вы простите старику эту маленькую фамильярность; положимъ, что хотя я и не совсѣмъ еще старикъ, но... да, впрочемъ, это вовсе нейдетъ къ дѣлу».

«Захотѣлось мнѣ шибко побесѣдовать съ вами письменно, разсчитывая, что если у васъ и не хватало терпѣнія поговорить со мною хоть полчаса лично, то, можетъ быть, вы будете снисходительнѣе къ моему письмецу и дочитаете его до конца».

«Вотъ уже полгода, какъ я разстался съ вами. Я теперь поселился въ совершенно новомъ краю, при самой оригинальной и новой обстановкѣ, и успѣлъ уже на-столько приглядѣться и привыкнуть къ моему новому положенію, что рѣшился даже поселиться здѣсь надолго, если не навсегда. Одно только, съ чѣмъ я не въ состояніи примириться, это невозможность видѣть моего молодого, хорошенькаго друга... Ну, ну, не сердитесь, я уже вижу, какъ вы надули ваши розовыя губки и собираетесь рвать на клочки мое бѣдное посланіе... ну, больше не буду; на меня грѣхъ сердиться; я такой добрый, и постараюсь доказать это сейчасъ же на дѣлѣ».

«Говорили вы мнѣ какъ-то, что хотите жить независимо, своимъ трудомъ, хотите работать, да только въ одномъ находили затрудненіе, а именно: куда вы ни обращались, вамъ нигдѣ не давали никакой работы, а если и давали, то съ такимъ ничтожнымъ вознагражденіемъ, что не стоило и ручекъ вашихъ марать, какъ вы выражались сами, помните, въ клубѣ, когда вы весь вечеръ бѣгали отъ меня, и только за ужиномъ удалось мнѣ поболтать съ вами, и то благодаря посредничеству вашей уважаемой мамаши. Ну-съ, такъ вотъ видите-ли, теперь я вамъ нашелъ работу. Извольте слушать и соображать внимательнѣе. Здѣсь очень нуждаются въ гувернанткахъ, и я вамъ подыщу такое мѣстечко, что чудо. Что, вотъ вы опять лобикъ наморщили, думаете, что за невидаль въ гувернантки, какія-нибудь пять-шесть сотъ рублей въ годъ, а вамъ вѣдь надо много, очень много надо, я знаю,—нѣтъ, найдемъ такое мѣстечко, что хоть пять, хоть шесть тысячъ, а не сотенъ, приподнесутъ вамъ за ваши труды, — довольно-съ или мало? А то можно и больше, вы только не церемоньтесь, говорите прямо».

«Но такія выгодныя мѣста находятся только здѣсь, и потому вамъ надо собираться въ дорогу. Что, испугались? Шуткали: пять тысячъ верстъ, киргизы, тигры, тарантулы, разбойники... Не бойтесь,—довезутъ васъ бережно и сохранно, какъ

царину сказочную. Объ этихъ подробностяхъ я уже писал вашей маменькѣ, и вамъ надо во всемъ на нее положиться»

«Пріѣдете къ намъ, остановитесь пока прямо у меня, к всемъ готовомъ; лошадки къ вашимъ услугамъ: и верховыя и всякія; вѣдь вы, я знаю, любите кататься; комната ваш вся въ цвѣточкахъ, персики и виноградъ прямо въ окошечки сами лѣзутъ; фонтанъ, купальни въ самомъ восточномъ вкусѣ, и будете вы купаться и нѣжиться».

«А я буду васъ нѣжить да холить, и будете вы кататься, какъ сыръ въ маслѣ, а то и лучше».

«Дѣлишки ваши, я знаю, теперь совсѣмъ плоховаты, да это, впрочемъ, вамъ подробно разскажетъ сама Фридерика Казиміровна, я-же только предупрежу васъ, что кромѣ долговъ, и довольно крупныхъ, у васъ съ маменькою ничего нѣтъ, а этого очень и очень мало, особенно для васъ, моя пичужечка, — виноватъ, тысячу разъ виноватъ; чтоже дѣлать, — прямо отъ сердца идетъ. Захотите вы, напримѣръ, покататься въ коляскѣ по Невскому, а у васъ и гривенника нѣтъ на простого извощика; захотите куда-нибудь потанцовать поѣхать—хвать! Ни платьица, ни вѣера, ни перчаточекъ,—эхъ, совсѣмъ скверно; да что, кушать захотите, и то нѣту. Ну, не плачьте, не портите вашихъ прелестныхъ глазокъ, пріѣзжайте ко мнѣ, и все устроится: будете вы жить, какъ хотѣли, своимъ трудомъ, и всего у васъ будетъ вдоволь».

«Пока высылаю вамъ по почтѣ двѣ тысячи на кое-какія дорожныя приготовленія, а тамъ на пути встрѣтитъ васъ довѣренный мой, хорошій человѣкъ, Иванъ Демьянычъ Катушкинъ, и докатитъ васъ этотъ самый Катушкинъ съ полнѣйшимъ комфортомъ».

«Съ нетерпѣніемъ буду ожидать вашего пріѣзда и, стоя на крышѣ моего дома (у насъ тутъ все плоскія крыши, какъ полъ, и на нихъ палатки поставлены, цвѣты посажены, кустарнички, какъ у Семирамиды въ Вавилонѣ, —чай, учили въ институтѣ объ этомъ), буду день и ночь поглядывать на дорогу: не покажется-ли пыль, поднятая колесами вашего экипажа?»

«Крѣпко, крѣпко цѣлую ваши ручки и ножки, мамаши вашей тоже, и остаюсь

безпредѣльно и пламенно любящій васъ,

Иванъ Лопатинъ».

— Вотъ ужъ чего я никакъ не ожидала! — произнесла Адель, прочтя это длинное посланіе, и вдругъ расплакалась. Она не поняла и половины письма, не поняла, то-есть, его настоящаго значенія, но инстинктивно почувствовала, что дѣло какъ-то неладно, что ей-бы не слѣдовало получать такихъ писемъ, что въ этомъ письмѣ есть что-то обидное, болѣе того— оскорбительное, вызвавшее изъ ея глазъ эти невольныя слезы

«Зачѣмъ тутъ такъ часто онъ о маменькѣ говоритъ? — подумала она. — Развѣ пойти показать ей это письмо, поговорить съ нею — пусть она объяснитъ мнѣ, что-же это такое!

И съ этимъ рѣшеніемъ Адель утерла глаза и вошла въ гостиную къ Фридерикѣ Казиміровнѣ.

Маменька сидѣла за книгою и сдѣлала видъ, что не замѣтила, какъ вошла Адель; она даже отвернулась немного отъ двери, какъ только услышала шаги дочери.

— Мама...—начала Адель и остановилась.

— Ахъ, Адочка, ты уже вернулась?—удивилась и обрадовалась Фридерика Казиміровна.

— Вотъ, мама, я письмо получила, и письмо такое странное...

Вдова бѣгло взглянула въ глаза дочери.

«Заплаканы,—подумала она,—это ничего»...—Письмо, отъ кого?—спросила она вслухъ.

— Отъ Лопатина!

— Скажите! — Что-же это онъ тебѣ пишетъ? Это интересно... Покажи!

Адель протянула ей письмо.

— Онъ такой славный, такой добрый и честный человѣкъ,— говорила маменька какъ-бы про себя.—Это очень мило, очень мило съ его стороны: не забывать своихъ хорошихъ друзей!

— Однако, мама, мы вовсе не такъ коротко знакомы съ нимъ. Онъ былъ у насъ всего три или четыре раза; положимъ, что въ обществѣ мы встрѣчались довольно часто...

— Ахъ, какой шутникъ, ахъ, какой шутникъ! — произнесла вслухъ Фридерика Казиміровна, прочитывая письмо. — Ба, ба, ба, да это прелестно... гмъ... Какъ, только двѣ тысячи на дорожныя приготовленія!.. Что-же ты стоишь, Адочка? Садись вотъ тутъ, поближе ко мнѣ... «Катушкинъ докатитъ!»..— Ха, ха, ха! Какой балагуръ... Ну, сказочная царица, — она

взглянула на Адель нѣжно, нѣжно и даже пожала ей руку,— тебѣ это нравится?

— Мама, ты довольна, ты не шутишь?—удивилась Адель.

— Конечно, нѣтъ; чего-же тебѣ еще желать лучшаго? Да это просто находка, кладъ, особенно въ такое время, когда дѣла наши такъ плохи!

— Значитъ, это правда, что пишетъ Иванъ Илларіоновичъ о нашихъ дѣлахъ?

— Правда, болѣе, чѣмъ правда! — вздохнула Фридерика Казиміровна и поднесла къ глазамъ платокъ съ кружевнымъ угломъ.

Задумалась Адель и замолчала; замолчала и маменька, наблюдая изъ-подъ платка за тѣми складочками, которыя то набѣгали, то расплывались снова на высокомъ, красивомъ лбу задумавшейся дѣвушки.

— Мама, да скажите мнѣ, наконецъ: что это за гувернантки, которымъ платятъ по шести тысячъ въ годъ и обставляютъ, какъ сказочныхъ царицъ? Я объ этомъ прежде никогда и не слыхала, это что-то очень странно!

— Есть такія гувернантки, есть!—рѣшительнымъ авторитетнымъ тономъ произнесла Фридерика Казиміровна.—Особенно тамъ, гдѣ такъ мало женщинъ... воспитательницъ-женщинъ, поправилась она.—Притомъ и другія условія: трудность путешествія, нѣкоторыя лишенія... Все это оцѣнивается...

— Это что-то подозрительно!

— Ты, наконецъ, начинаешь мнѣ надоѣдать!

— Мама, да скажи-же ты мнѣ: о чемъ-же хлопочетъ тутъ Лопатинъ, изъ-за чего? Ну, положимъ, кому нужна гувернантка, тотъ и пиши, и приглашай, а Лопатинъ?..

— По дружбѣ ко мнѣ и по любви къ тебѣ!

— По любви?

— Да!

— Мама...

— Ты развѣ не замѣтила, скажите! А я такъ давно, давно все замѣтила... Прекрасный человѣкъ, милліонеръ... Конечно, одна бѣда, что женатъ, но если-бы, ахъ, если-бы!..

— Такъ онъ женатъ?.. Я этого не знала!

— Но это такой вздоръ... — Фридерика Казиміровна немного смутилась. — Жена его совсѣмъ умирающая, больная

женщина, она живетъ гдѣ-то на югѣ въ провинціи, и часъ-отъ-часу Лопатинъ ждетъ извѣстія о ея смерти... Они разошлись уже лѣтъ десять; это почти забытая, старая исторія. Развѣ онъ не говорилъ тебѣ объ этомъ?

— Нѣтъ, мама!

— Ахъ, какъ онъ тебя любитъ! Нѣжно, сильно, какъ дочь, какъ... Когда онъ раскрылъ передо мною свое сердце, я не могла удержаться отъ слезъ, я и теперь готова заплакать, какъ только вспомню его трогательное прощаніе!

Адель передернула плечами.

— Ты просто камень, просто камень! Я уже сто разъ говорила тебѣ это. Молодая дѣвушка, только что изъ института, а такое черствое сердце!

— Да вѣдь онъ не къ себѣ-же приглашаетъ меня въ гувернантки; у него нѣтъ вѣдь дѣтей?

— Это все равно; можетъ быть, онъ хлопочетъ для какого-нибудь тамъ семейства, а самъ разсчитываетъ только на счастіе тебя видѣть, быть къ тебѣ поближе. Это очень просто!

— Просто... Нѣтъ, мама, я отсюда не поѣду!

— Что?

— Я отсюда не поѣду: я не хочу ѣхать, я не могу...

Адель приготовилась-было плакать.

— А,—протянула Фридерика Казиміровна.—Вотъ какъ... Ну-съ, такъ извольте слушать!

Фридерика Казиміровна встала и начала порывисто ходить по комнатѣ.

— Сегодня утромъ, когда тебя не было дома, приходилъ сюда приставъ описывать все, что только у насъ есть... Еще вчера я размѣняла послѣдніе десять рублей; пойми ты: послѣдніе; у насъ съ тобою ничего нѣтъ, ничего, кромѣ нашихъ гардеробовъ, и на тѣхъ, пойди, посмотри, — ты, вѣрно, не успѣла замѣтить, — этотъ скверный приставъ понаклеивалъ красныя печати!

— А мое платье, черное, новое? Мнѣ оно такъ сегодня нужно!—испуганно спросила Адель.

— Твое черное платье тоже подъ печатью!

— Это ужасно! Это ужасно!

— Болѣе, чѣмъ ужасно. Но этого мало. Векселя поданы ко взысканію, и меня хотятъ посадить въ тюрьму!

— Мама, да не шути такъ страшно

— Я не шучу, дитя мое!

— Что-же намъ дѣлать? Что-же намъ дѣлать?..

— Сегодня утромъ я тоже получила письмо отъ Лопатина; оно воскресило меня, оно такъ много дало мнѣ надеждъ... Я его покажу тебѣ послѣ, пока надо приготовляться къ отъѣзду. Тутъ остается одинъ, адвокатъ, что-ли, я не знаю, ему Иванъ Илларіоновичъ поручилъ хлопотать по моимъ векселямъ, а мы черезъ недѣлю, много черезъ двѣ, должны выѣхать изъ Петербурга!

— Я, мама, не могу ѣхать!

— Да ты съума сошла!

— Поѣзжай одна, если хочешь...

Адель рѣшительно взглянула на свою мать; та принялась что-то соображать.

— Ахъ да,—произнесла она,—вчера былъ у меня Хлопушинъ; онъ встрѣтилъ Жоржа...

Адель вдругъ покраснѣла до ушей; маменька лукаво улыбнулась.

— И, представь себѣ, Хлопушинъ говорилъ мнѣ, что Жоржъ тоже *туда* ѣдетъ, и не позже, какъ этою-же весною!

— Мама, вѣдь *это* очень далеко!

— Нѣтъ, не такъ чтобы очень...

— Мы поѣдемъ въ коляскѣ или все по желѣзной дорогѣ?..

— Это, дорогое дитя мое, не наша забота. У насъ будетъ господинъ Катушкинъ, который насъ отлично докатитъ прямо на крышу къ Ивану Илларіоновичу!

Фридерика Казиміровна засмѣялась и нѣжно прижала свою Адель къ материнскому сердцу.

III.

Грузъ баржи № 9, подъ литерами И. Л.

Былъ прекрасный весенній день. Все кругомъ смотрѣло какъ-то особенно весело и празднично. Все казалось не тѣмъ, что есть на самомъ дѣлѣ. Все, до сихъ поръ сѣрое, безцвѣтное, однообразное, играло и пестрѣло, залитое яркими лучами апрѣльскаго солнца, самыми блестящими красками; даже казенные

пакгаузы и склады соли, глинистый обрывъ, круто спускающійся въ рѣку, топкая грязь у пристани, черезъ которую вели досчатыя настилки для проходовъ, черная дорога, поднимающаяся извилиною на гору, съ засѣвшими по ступицу тяжелыми возами,—все было такое красивое съ виду, чистенькое... Сѣрые суконные армяки, заплатанные до послѣдней возможности, бараньи полушубки, засаленные купеческіе кафтаны казались какими-то театральными костюмами. А Волга, широкая, голубая, съ золотистыми песчаными отмелями, была чудно хороша!.. Золотыя верхушки церквей, выглядывающія изъ-за обрыва, красныя и зеленыя крыши домовъ, пожарная каланча съ вилообразнымъ шестомъ и съ десяткомъ воронъ, помѣстившихся на его вершинѣ, прозрачныя кружевныя группы деревьевъ, едва только покрытыхъ нераспустившимися почками,—все это такъ отчетливо, рѣзко рисовалось на синемъ фонѣ весенняго неба, точно ловко написанная театральная декорація, освѣщенная и съ боковъ, и снизу, и сверху, и сзади, и спереди...

— Оченно прекрасно!—произнесъ парень въ одной рубахѣ, приноравливаясь, какъ-бы присѣсть половчѣе на опрокинутый боченокъ съ выбитымъ донцемъ.

— Особливо съ устатку, на вольномъ воздухѣ!—согласился другой парень. Этотъ совсѣмъ былъ безъ рубахи, а въ какой-то синей курткѣ, надѣтой прямо на голое тѣло.

— Подрядчикъ сказывалъ, что ежели къ ночи все перетаскаемъ съ баржи, еще четверть на нашу артель пожертвуетъ!—сообщилъ третій.

— Перетаскаемъ! Нешто мы лошади!

— Отчего не перетаскать: коли ежели путемъ взяться...

— Гляди: до свѣту таскали, а все не видать убыли; самый махонькій уголокъ отобрали...

— Кому наливать... Дядя Кондратій гдѣ?

— Побѣжалъ за селедками!

— Садись, ребята, сюда на кули...

— Желаемъ здравствовать. Господи, благослови!

— ...Какъ я, значитъ, колѣнкой да объ уголъ... ну, и шабашъ!

— А дядю Павла краномъ по лбу-то... инда загудѣло!..

Рабочая артель принялась завтракать.

Пароходъ «Соликамецъ» вчера вечеромъ пришелъ на самарскую пристань; онъ привелъ на буксирѣ двѣ баржи съ грузомъ. Едва только начало разсвѣтать, какъ на палубахъ обѣихъ баржъ собрались заранѣе нанятыя артели для выгрузки товаровъ, и началась кипучая работа. Сперва все бочки таскали какія-то; на поворотныхъ кранахъ вытягивали ихъ снизу и скатывали по наклоннымъ подмосткамъ; потомъ за ящики принялись; а больше всего возни было съ паровымъ котломъ и еще какими-то машинами, разобранными по частямъ и тщательно завернутыми въ рогожи.

— Ну, еще, ну, разомъ!..—кричалъ одинъ изъ десятниковъ артели.

— Навались, ребята, навались!—вопилъ другой.

— Маленечко-бы еще, онъ-бы сейчасъ и пошелъ!—убѣждалъ третій.

Но, несмотря на эти возгласы, паровикъ только покачивался подъ натискомъ нѣсколькихъ десятковъ рукъ и никакъ не хотѣлъ удержаться на толстыхъ каткахъ, по которымъ ему предстояло опуститься на платформу пристани.

— Вотъ съ этимъ самымъ дьяволомъ мы въ Нижнемъ какъ возились: двоимъ ноги отдавило совсѣмъ, а у одного внутри лопнула жила съ надсаду!—сообщалъ матросъ, сидя на канатномъ сверткѣ и равнодушно поглядывая на толпящихся вокругъ паровика работниковъ.

— Э, послушайте, это надо такъ!—подошелъ къ пристани господинъ въ костюмѣ туриста, съ сумочкою черезъ плечо и съ пледомъ, небрежно перекинутымъ черезъ руку.

— Чего-съ?..—остановился одинъ изъ десятниковъ.

— Я самъ немного механикъ и понимаю... Вы веревками опутайте такъ, потомъ перетяните эдакъ и потомъ тащите сюда!

— Ребята, слышь, нѣмецъ сказываетъ: путай такъ, тяни эдакъ, а опосля вытягивай сюда...

— Ну, его къ дьяволу!

— Это нѣмца-то?

— А ну-ка вдругъ...

Эхъ, дубинушка, ухни,
Эхъ, зеленая сама пойдетъ, сама пойдетъ. Ухъ!

— Стой!

— То-есть, ни Боже мой, ни на пол-пальца!

— Взопрѣли страсть, ребята, шабашъ! Гляди, меркуловскіе водку лопаютъ!

— Ты вотъ гляди, какія такія слова?

— Гдѣ?

— Вотъ на боку, красною краскою обозначены!

Рабочіе принялись разсматривать значки и буквы, начерченные бойкими мазками на паровикѣ и на тюкахъ съ машинами.

— Одно слово будетъ тебѣ «иже»,—прочелъ отставной солдатъ, водя пальцемъ,—другое, значитъ, «люди»!

— Клеймо!—сообщилъ матросъ.

— Иже и люди!—въ раздумьи повторялъ солдатъ.

— И на всякомъ-то тюку это клеймо обозначено!—произнесъ одинъ изъ работниковъ, надѣвая въ рукава какую-то синюю ветошь.

— Позвольте-ка, другъ любезный, мнѣ пройти, посторонись, голубчикъ, землячекъ, подайся маленько вправо... ну-ка, ты!..—пробирался сквозь толпу пожилой человѣкъ, одѣтый, какъ ходятъ средней руки торговцы изъ казанскихъ татаръ.

— Вчерашняго числа прибыть изволили?..—обратился онъ къ матросу.

— Чего-съ?—отозвался тотъ.

— Пароходъ «Соликамецъ» прибылъ вчерашняго числа?—повторилъ вопросъ пожилой человѣкъ.

— Вчера вечеромъ...

— Такъ, а ежели... Да позвольте спросить, вы при баржѣ-съ состояли, или гдѣ въ другомъ мѣстѣ?

— При баржѣ № 9. Вотъ при этой самой!

— Желательно бы мнѣ знать было... Вотъ я вижу, тутъ машины идутъ, опять и другой товаръ—все одной фирмы; и такъ какъ фирма эта мнѣ доподлинно извѣстна, то позвольте спросить, кто при машинахъ и прочемъ приставленъ былъ, и гдѣ мнѣ ихъ можно видѣть?

— А я почемъ знаю...

Матросъ сплюнулъ, перемѣнилъ позу, надавилъ пальцемъ табакъ въ своей трубочкѣ и отвернулся.

— Какъ-же вамъ не знать: столько дней вмѣстѣ шли; вѣрно, видѣли-съ?

— Мое дѣло особенное, мнѣ что!

— Совсѣмъ я не такой человѣкъ, чтобъ не знать своего дѣла, и ежели вамъ можно отлучиться на полчасика, то мы-бы...

— Давай просто двугривенный, я ужо вечеромъ самъ забѣгу!

— И самое лучшее; на-ка, братецъ, да говори проворнѣй; мнѣ отыскать его нужно: дѣло есть!

— Вотъ ежели палубу вымыть, опять когда на якорь становимся, воду выкачивать, а до всего прочаго... Въ синей чуйкѣ нѣмецкаго покроя, надо полагать, не изъ русскихъ, однако, говоритъ понятно, Богданъ Карлычемъ кликали, съ капитанскимъ помощникомъ вонъ по той дорогѣ на гору пошли; когда будутъ назадъ, ничего не сказали!

— Гмъ...—произнесъ любопытный господинъ въ татарскомъ бешметѣ и принялся разсматривать клейма.

Эти клейма и его заняли такъ-же, какъ и рабочихъ, но только тѣ посмотрѣли, пальцами потрогали, узнали отъ солдата, что эти слова означаютъ, и пошли завтракать, а онъ долго и внимательно осмотрѣлъ всѣ тюки, на которыхъ только краснѣли буквы И. и Л., обратилъ вниманіе на количество пудовъ, выставленное на паровикѣ и машинныхъ частяхъ, вынулъ записную книжечку и карандашемъ что-то намѣтилъ, еще разъ обошелъ вокругъ паровика, кивнулъ головою матросу, поглядывавшему на него искоса, и медленно, степенно сталъ переходить по доскамъ съ палубы баржи на пристань.

А на мостикѣ парохода «Соликамецъ», сидя верхомъ на складномъ стулѣ и положивъ на колѣни газету, которую только-что читалъ такъ усердно, капитанъ съ англійской рыжей бородкою, въ купемъ пиджакѣ и ботфортахъ, наблюдалъ въ бинокль бѣлую струю дыма, чуть поднимавшуюся надъ горизонтомъ.

— «Самолетскій»! — произнесъ другой господинъ, поднимаясь на мостикъ и тоже присматриваясь въ даль.

— «Царевичъ»; идетъ ходко, однако по разсчету опоздаетъ на два съ половиною!—произнесъ капитанъ.

— Какъ даль обманываетъ глазъ: вѣдь вотъ, кажется, и близко, а поди-жь ты!

— Оптическій обманъ!

— Я думаю, въ открытомъ морѣ... Вы тамъ плавали, капитанъ?

— Нѣтъ, я изъ рѣчныхъ

Чуть слышно донесся по вѣтру гулъ парового свистка. На пассажирской пристани поднялась суматоха. Десятка два извозчичьихъ дрожекъ, такъ-называемыхъ долгушекъ, которыя только и можно встрѣтить въ степныхъ мѣстахъ и въ поволжскихъ городахъ, разбрызгивая колесами дорожную грязь, во весь карьеръ катили съ горы, обгоняя другъ друга и стараясь занять мѣста поближе къ пристани.

Надъ самымъ обрывомъ, обнесенный тесовымъ желтымъ заборомъ, стоялъ одно-этажный старый домъ съ покосившимся мезониномъ; надъ всѣми окнами этого дома тянулась надпись, по красному фону бѣлыми буквами: «трактиръ златокрылаго лебедя», а на фронтонѣ мезонина изображенъ былъ и самый лебедь, кольцомъ перегнувшій длинную, тонкую шею. Въ первой комнатѣ этого трактира, въ такъ-называемой «общей», всѣ столы были заняты рабочими, матросами и всякимъ сѣренькимъ людомъ; въ чистой-же половинѣ, у самыхъ окошекъ, сидѣли только двѣ группы: одна, состоящая изъ четырехъ татаръ-купцовъ въ лисьихъ бешметахъ и шитыхъ золотомъ шапочкахъ, другая—изъ двухъ только собесѣдниковъ: капитанскаго помощника съ парохода «Соликамецъ» и другого господина, весьма близко подходящаго къ описанію матроса на баржѣ № 9. Татары, всѣ въ поту, разстегнувши широкіе вороты шелковыхъ рубахъ, засучивъ длинные рукава бешметовъ, пили чай, доканчивая шестой чайникъ солидной вмѣстимости; тѣ-же двое дожидались селянки изъ живыхъ стерлядей, а пока пили англійскую-померанцевую, закусывая солеными грибами.

— И отсюда сухимъ путемъ!—произнесъ господинъ, описанный матросомъ съ баржи № 9.

— Далеко, — ухъ, далеко! — вздохнулъ капитанскій помощникъ.

— Очень далеко!—согласился его собесѣдникъ.

Дѣйствительно, иностранный акцентъ ясно слышался въ говорѣ этого господина, хотя видно было также, что онъ хорошо усвоилъ себѣ русскій языкъ и даже знакомъ былъ съ нѣкоторыми особенностями народной рѣчи.

— Я полагаю, что везти этакую тяжесть на колесахъ чуть не четыре тысячи верстъ придется не менѣе года?

— По нашимъ разсчетамъ, въ укрѣпленіе «Уральское» транспортъ прибудетъ около половины іюля; а тамъ...

— Ты, родной, пожалуй-ка мнѣ сюда порцію ветчины съ хрѣнкомъ и полынной графинчикъ; вотъ къ этому столику!

Въ комнату вошелъ новый посѣтитель, въ гороховомъ пальто, въ картузѣ съ наушниками, съ дорожнымъ мѣшкомъ въ рукахъ и съ большимъ дождевымъ зонтикомъ. Господинъ этотъ, не обращая никакого вниманія на своихъ сосѣдей, усѣлся за столикъ, поставилъ около себя мѣшокъ, отдалъ трактирному мальчику зонтикъ съ картузомъ и, потирая руки, крякнулъ въ ожиданіи ветчины съ хрѣнкомъ.

— Слышь, Павлуха,—шепнулъ одинъ изъ рабочихъ другому, когда господинъ этотъ проходилъ черезъ общую комнату,— чтобы мнѣ съ этого мѣста не встать, если я его не видалъ нонче у насъ на баржѣ!

— Можетъ, и онъ; намъ што...

— Нѣтъ, только чудно, что съ рожи какъ есть онъ, одежа не та!

— Да тебѣ-то што?

— А мнѣ наплевать! Кипяточку-бы... парень!

— Огурцовъ соленыхъ кто требовалъ? — звонко кричалъ мальчишка въ красной рубашкѣ, помахивая надъ головою тарелкою съ огурцами.

— Ну, а изъ «Уральскаго»? — спрашивалъ капитанскій помощникъ.

— Тамъ уже подряжены киргизы везти до Казалы на верблюдахъ; а тамъ по Сыръ-Дарьѣ на пароходѣ. Въ первыхъ числахъ сентября должны быть на мѣстѣ!

— Должно-быть, богатый человѣкъ этотъ господинъ Лопатинъ?

— Не знаю; я съ нимъ незнакомъ вовсе; нанятъ я по перепискѣ, черезъ наше агентство; долженъ доставить машины, установить ихъ на мѣстѣ, а затѣмъ, ежели не захочу оставаться у него на службѣ, обратный проѣздъ мнѣ гарантированъ. Деньги, впрочемъ, господинъ Лопатинъ пока платитъ очень хорошо!

— Извините, если я позволю васъ перебить...

Господинъ въ гороховомъ пальто пододвинулъ свой стулъ поближе.

— Такъ-какъ я самъ оттуда, и мнѣ господинъ Лопатинъ весьма извѣстенъ...

— Вы изъ Ташкента?

— Такъ точно... Позвольте представиться: Сладковъ, Филиппъ Петровичъ!

— Эдвардъ Симсонъ! — приподнялся со стула господинъ съ иностраннымъ акцентомъ.

— Весьма любопытная сторона! — произнесъ капитанскій помощникъ.

— Еще-бы-съ! — съ нѣкоторымъ умиленіемъ произнесъ Сладковъ, Филиппъ Петровичъ.

— Такъ вы господина Лопатина хорошо знаете? — спросилъ Эдвардъ Симсонъ.

— Господи Боже мой! Да вы спросите, кто изъ тамошнихъ его не знаетъ? Мальчишка какой-нибудь, сартенокъ, отъ земли не видать, а спросите его: гдѣ живетъ Иванъ Илларіоновичъ? Сейчасъ, бестія, васъ за полу и къ самимъ воротамъ ихняго дома предоставитъ. Человѣкъ оборотистый, торговый; дѣловой человѣкъ, голова!

— Съ капиталомъ? — полюбопытствовалъ капитанскій помощникъ.

— Сила, а со временемъ милліонами будетъ ворочать!

Сладковъ совсѣмъ пододвинулся къ столу и даже перенесъ съ собою тарелку съ ветчиною. Трактирный мальчикъ переставилъ полынную по сосѣдству съ англійской-померанцевой.

— Ну, да и край-же, я вамъ доложу, золотой край для всякихъ торговыхъ предпріятій; то-есть, за что ни возьмись; и ежели при этомъ еще деньги—ффа! Все это вновѣ, нетронутое, запускай руки по самые локти, греби знай... ну, да вотъ вы сами увидите...

— Меня, признаться, это все очень интересуетъ!

— Ну, понятно. Тутъ вамъ на встрѣчу еще высланъ отъ Ивана Илларіоновича Катушкинъ, не видались еще?

— А вы знаете и господина Катушкина?

— Ивана Демьяныча-то? Ха, ха... Еще-бы,—друзья: водою не разольешь. Бывало, вмѣстѣ...

— Вотъ не ѣдетъ что-то. Долженъ былъ еще вчера быть въ Самарѣ,—нѣтъ; что-нибудь задержало, видно, въ дорогѣ!

— Ничего-съ, это случается; настоящихъ почтовыхъ трактовъ нѣтъ пока, то-есть, они и есть, но, знаете, еще въ такомъ сыромъ видѣ.—А этотъ Катушкинъ съ транспортомъ тоже пойдетъ черезъ степи?

— Не знаю; наемъ киргизовъ въ «Уральскомъ» и разсчетъ съ казаками, что взяли доставку до «Уральскаго», поручены ему!

— Такъ-съ; человѣкъ бывалый: онъ все это знаетъ!

— Прикажете?

Эдуардъ Симсонъ поднесъ Сладкову портъ-сигаръ изъ желтой кожи.

— Сигарочку-съ? Позвольте-съ.—Много-съ у васъ грузу, много-съ!

— Да, порядочно; особенно этотъ паровикъ. На пристаняхъ у васъ все какъ-то не приспособлено!

— Ну, а эти вотъ, что въ рогожахъ... досками обдѣланы?

— Это новая машина для размотки шелка, тоже съ паровымъ приводомъ; очень полезное примѣненіе!

— До всего доходитъ человѣкъ!—еще разъ умилился Филиппъ Петровичъ.

— Ящики вотъ опять у васъ, штукъ двѣсти будетъ; ну тѣ не такъ чтобъ тяжелы!

— Это товары: галантерейный и ткани—не по моей части; при нихъ особо есть приказчикъ!

— Въ одномъ караванѣ пойдете или порознь?

— Въ одномъ, если паровикъ не очень затруднять будетъ!

— И прекрасно сдѣлаете; вѣрьте моей опытности: исходилъ я эту степь вдоль и поперекъ, знаю я ее, все одно вотъ какъ свои ладони! — Сладковъ вытянулъ обѣ руки ладонями къ верху. — Да-съ, самое лучшее не разбиваться: нѣсколькими днями позже, за то вѣрнѣе!

— Впрочемъ, это будетъ зависѣть отъ господина Катушкина!

— Еще-бы: «Катушкинъ туда, Катушкинъ сюда»—довѣренное лицо, первый агентъ у Ивана Илларіоновича!

— Я слышалъ, — началъ капитанскій помощникъ, — что у васъ въ степи не совсѣмъ покойно нынче?

— Пустяки-съ, «косоглазые» пошаливаютъ, однако, все это при должныхъ мѣрахъ, одни пустые страхи!

— Но однако?—вставилъ Эдуардъ Симсонъ.

— Мнѣ-ли не знать... Весьма-съ, весьма-съ пріятно познакомиться; позвольте для такого случая бутылочку «тенерифцу» а то шипучаго. Эй, мальчикъ!

— Кромѣ водки и пива ничего...

— И прекрасно... Любезный, портеру лекоковскаго четыре бутылки!—скомандовалъ Филиппъ Петровичъ.

Капитанскій помощникъ вытеръ усы салфеткой; Эдуардъ Симсонъ слегка пожалъ плечами. Мальчишка въ красной рубашкѣ, заложивъ между ногъ бутылку, неистовствовалъ ломанымъ штопоромъ надъ осмоленной пробкою.

— Здравія желаемъ-съ... Извините, господа, ежели я теперь немного выпивши!

На порогѣ показался тотъ самый матросъ, что сидѣлъ на канатахъ баржи № 9.

— Ну, ступай, ступай! — вцѣпился въ него трактирный мальчишка.—Сюда нельзя!

— Нѣтъ, ты оставь, потому я говорю съ бариномъ, съ господиномъ то-есть. Такъ какъ...

Матросъ сильно качнулся въ сторону, гдѣ сидѣлъ Сладковъ.

— Лѣво на бортъ!—кричалъ изъ сосѣдней комнаты товарищъ его, тоже матросъ съ «Соликамца».

— Потрафлю! — огрызнулся первый. — Ежели я, сударь, былъ супротивъ вашей милости свиньей, то потому больше, что по одеждѣ...

— Ну, однако, ступай, любезный, тебѣ здѣсь не мѣсто!

— А вотъ я его, подлеца!

Капитанскій помощникъ, сжавъ кулаки, поднялся со стула.

— Виноватъ, я, значитъ, больше... я уйду, — смутился матросъ: онъ только сейчасъ замѣтилъ присутствіе начальства.

— Ваше здоровье! — провозгласилъ Филиппъ Петровичъ, поспѣшивъ замять непріятную сцену.

Всѣ трое слегка чокнулись стаканами.

IV.

Обитательницы 26 № гостинницы подъ фирмою «Отель Европа».

Большой двух-этажный домъ, съ надписью подъ самою крышею «Отель Европа», замѣтнѣе всего красовался на городской площади, бросаясь въ глаза своею свѣтложелтою массою. Домъ этотъ смотрѣлъ на площадь сорока-шестью окнами, и въ каждомъ почти окнѣ поминутно показывались и исчезали

столько-же, если не больше, самыхъ разнообразныхъ лицъ, населявшихъ «номера отеля».

Да, это было хорошее время для мѣщанина Антошкина, хозяина «Отель Европа»; давно онъ не помнитъ такого времени. Прежде, бывало, по цѣлымъ недѣлямъ, даже мѣсяцамъ, пустуютъ заново отдѣланные номера; ключи успѣютъ приржавѣть къ замкамъ, пыль накопится вершковая на клеенчатой мебели, пауки заплетутъ всѣ углы, протянутъ нити отъ зеркала къ камину, отъ камина черезъ канделябръ на ширмы, съ ширмъ на шляпу алебастроваго рыцаря на угольной тумбѣ, оттуда опять куда-нибудь въ темный уголъ, а теперь...

— Ну, времена... — вздыхаетъ самъ хозяинъ, мѣщанинъ Антошкинъ, сидя у воротъ на крашеной лавочкѣ; не грустно вздыхаетъ, а этакъ полною грудью, съ нѣкоторымъ довольствомъ; такъ вздыхаютъ послѣ очень сытнаго обѣда, какъ-бы сожалѣя, что уже больше «некуда».—Да-съ, ну, времена, что дѣлать, и радъ-бы, да все, все, то-есть, занято до послѣдней конуры; ну, и не взыщите!..

И, прищуривъ глаза отъ яркихъ лучей весенняго солнышка, смотритъ онъ вслѣдъ отъѣзжающему, тяжелому, какъ верблюдъ навьюченному, тарантасу казанской работы, увозящему какого-нибудь самарскаго землевладѣльца, пріѣхавшаго въ городъ по тяжебному дѣлу.

— Наплывъ?—произноситъ господинъ въ военной шинели, показываясь на крыльцѣ.

— Такъ точно-съ! — приподнимаетъ картузикъ мѣщанинъ Антошкинъ.

— Да, много наѣхало,—говоритъ военная шинель. —Вотъ я вчера прямо съ парохода въ «Миланъ»—занято, въ «Москву»—биткомъ набито, въ «Арзамасъ» къ Малинину—тоже; фу, ты, думаю, положеніе; пріѣзжаю сюда — только-только одинъ свободный...

— Минуточку опоздали-бы, и того не нашли-бы. Генералъ спрашивалъ съ парохода «Царевичъ»...

— Извозчикъ!

Нѣсколько долгушекъ и двѣ пролетки подлетаютъ къ подъѣзду.

— Куда-бы?! Вези по городу! — произноситъ военная шинель и садится верхомъ на ближайшія дрожки.

— Обозрѣвать ѣдете - съ? — раскланивается мѣщанинъ Антошкинъ.

— Да, посмотрѣть поѣхать: какъ, что тутъ у васъ!

— Номерокъ не дороже двухъ съ полтиною, — подходитъ матросъ съ парохода. — Барыня просила приказать...

— А этого хочешь?

Мѣщанинъ Антошкинъ придаетъ своему протянутому кулаку нѣсколько оскорбительно-игривую форму.

— Что такъ?—удивляется матросъ.

— Занято!—коротко отвѣчаетъ хозяинъ и даже отворачивается.

На лѣстницѣ, уставленной чахлыми растеніями, по коридорамъ, устланнымъ полосатыми ковриками, во всѣхъ номерахъ, двери которыхъ большею частью были растворены, то до половины, то совсѣмъ уже настежъ, царствовали самые разнообразные шумъ и движеніе. Только дверь съ цифрою «26» была заперта изнутри, и тамъ было такъ тихо, что можно было подумать, что или спятъ по цѣлымъ днямъ обитатели номера «26», или-же тамъ совсѣмъ нѣтъ никакихъ обитателей.

Номеръ этотъ былъ занятъ по письменному увѣдомленію и долго стоялъ пустымъ въ ожиданіи пріѣзда нанявшихъ. Дня четыре тому назадъ пріѣхали двѣ дамы, показали въ конторѣ какую-то карточку, и ихъ провели въ этотъ номеръ, который былъ самый парадный и комфортабельный во всей гостиницѣ. За номеръ этотъ было заплачено столько, сколько запросилъ мѣщанинъ Антошкинъ, а запросилъ онъ такъ, не руководствуясь никакими соображеніями, по наитію свыше, должно быть, и потомъ весьма жалѣлъ, что запросилъ мало.

Нѣсколько разъ въ день въ 26-й номеръ приносились подносы съ чаемъ, завтракомъ, обѣдомъ, ужиномъ; судя по пустой посудѣ, выносимой обратно, видно было, что дамы обладали здоровыми желудками и очень хорошимъ аппетитомъ. Багажъ обѣихъ путешественницъ былъ уважительныхъ размѣровъ, и все, начиная отъ массивныхъ вѣнскихъ сундуковъ, оклеенныхъ суровымъ полотномъ, до самыхъ миніатюрныхъ нессесеровъ съ ногтевымъ и туалетнымъ приборами, было крайне изящно и цѣнно.

Дамы эти были очень чистоплотны, потому что умывались по нѣскольку разъ въ день, и нарочно приставленная къ ихъ

номеру горничная то-и-дѣло приносила въ кувшинахъ свѣжую воду и выносила обратно все, что оказывалось лишнимъ.

Дамы эти были крайне нелюбопытны, потому что рѣшительно не хотѣли высунуть носа изъ своего номера, не подходили слишкомъ близко къ окнамъ; и когда отворялась дверь, чтобы пропустить человѣка съ подносомъ или горничную, то случайно мимопроходящіе (а ихъ каждый разъ было по нѣскольку человѣкъ разомъ) никакъ не могли видѣть въ комнатахъ ничего, кромѣ чего-то шелковаго, свѣтло-лиловаго, перекинутаго черезъ спинку одного изъ креселъ, да угла плетеныхъ ширмъ, на которомъ висѣла маленькая дорожная сумочка.

А между тѣмъ въ номерѣ 26-мъ, въ антрактахъ между завтраками, обѣдами, ужинами и чаями, велись слѣдующіе разговоры:

— Мама, да вѣдь это, наконецъ, ужасно скучно... — чуть не плакала хорошенькая Адель, тоскливо бродя изъ угла въ уголъ и щелкая по паркету каблучками своихъ изящныхъ шелковыхъ туфель.

— Что-же дѣлать? Надо ждать! — спокойно произносила Фридерика Казиміровна, сидя съ ногами на диванѣ, что было любимою ея позою.

— Эти четыре дня тянулись для меня безконечно. Мнѣ кажется, что это было такъ давно, давно, какъ мы оставили каюту парохода. Шутка-ли: четыре дня!..

— Терпѣніе,—это все, что я могу посовѣтовать!

— Я умру со скуки!

— Не умрешь!

— Ахъ, Боже мой, Боже мой! Этотъ проклятый Катушкинъ не ѣдетъ... свинья, дуракъ, рябая рожа!..

— Почему ты думаешь, что у него рябая рожа; вѣдь ты его никогда не видала?..

— Я сама не знаю; мнѣ такъ кажется...

Нѣсколько минутъ молчаніе. Фридерика Казиміровна сидитъ, не мѣняя позы; Адель ложится на кровать.

— Мама!

— Что, дитя мое?

— Развѣ мы не можемъ сами ѣхать дальше?..

— Нѣтъ!

— Это почему?

— Ты знаешь, что у насъ нѣтъ почти ни копейки; если заплатить по тому счету, что сегодня прислалъ нашъ хозяинъ, то у насъ... впрочемъ, что-же я говорю, даже и половины счета мы заплатить не въ состояніи!

— А если Катушкинъ не пріѣдетъ?.. — понизивъ голосъ, спрашиваетъ Адель и даже на локтѣ приподнимается.

— Тогда... Ахъ, Ада, какія ты глупости говоришь!

— А если Катушкинъ не пріѣдетъ?.. — настойчиво повторяетъ Адель.

Фридерика Казиміровна, въ свою очередь, начинаетъ тоскливо пожиматься на диванѣ.

— Не съѣсть-ли намъ чего-нибудь? — спрашиваетъ она и протягиваетъ руку къ столовой картѣ.

— Нѣтъ, ты мнѣ скажи: что, если Катушкинъ не пріѣдетъ?

— Этого быть не можетъ, не можетъ, не можетъ! Ахъ, да не разстраивай меня, Ада: мнѣ и безъ того...

— Что?..

— Конечно, сомнѣнія быть не можетъ никакого. Иванъ Илларіоновичъ не такой человѣкъ; ну, что-нибудь задержало... вотъ и все. Надо ждать и ждать...

— Развѣ котлетку изъ телячьихъ мозговъ?.. — говоритъ Адель.

— Позвони! — говоритъ Фридерика Казиміровна.

— И что мы все сидимъ взаперти, что мы прячемся? — опять начинаетъ волноваться Адель.

— Вѣроятно, такъ нужно!

— Странно: мы ѣдемъ по приглашенію Ивана Илларіоновича въ Ташкентъ; мнѣ тамъ предлагаютъ мѣсто... Развѣ въ этомъ есть что-нибудь предосудительное?..

— О, помилуй, что за глупости. Но вотъ видишь: Лопатинъ писалъ мнѣ (вѣдь я показывала тебѣ это письмо), онъ писалъ мнѣ, чтобы мы... какъ это онъ выразился такъ, очень эдакъ...

Фридерика Казиміровна сдѣлала какой-то округленный жестъ своею пухлою рукою.

— Чтобы мы «дорогою не очень кидались всѣмъ въ глаза!» — напомнила Адель.

— Да, вотъ ты сама видишь. Я не знаю, почему это нужно Ивану Илларіоновичу, но отчего-же въ угоду ему не

соблюсти этого инкогнито... Это даже довольно интересно; знаешь, въ романахъ это случается довольно часто: какая-нибудь герцогиня или...

— Удивительно интересно: тоска эдакая!

— Ты просто хандришь!

— Да, да, да, да...—расходилась Адель.

— Да тише-же!

— Мама, пойдемъ внизъ къ общему столу!

— Что ты! Ни за что!..

— Тамъ такъ весело; шумятъ такъ, разговариваютъ!

— Но ты забыла, что тамъ неудобно быть дамамъ?

— Неправда: сосѣдки наши обѣдаютъ тамъ, изъ номера напротивъ тоже, изъ нижняго этажа цѣлое семейство, только мы однѣ...

— Инкогнито! — протянула Фридерика Казиміровна.

— Ну, ты, мама, и сиди съ своимъ «инкогнито», а я пойду одна...

— Адель, ты ужасно можешь напортить!

— Это еще почему?

— Ахъ, Адель, какъ я могу объяснить тебѣ это понятно? Ну, вотъ видишь-ли... Да что-же это, въ самомъ дѣлѣ, Катушкинъ не ѣдетъ?

Фридерика Казиміровна чуть не заплакала.

— Знаешь, мама, каждый разъ, какъ отворяютъ нашу дверь, я смотрю въ щелку, сквозь ширмы, и вижу всегда одного и того-же господина... Онъ меня начинаетъ немного занимать...

— Удивительно интересно торчать передъ дверью: должно быть, дѣлать больше нечего...

— Василій-ли входитъ, Дуняша-ли, каждый разъ, чуть пріотворится дверь, онъ уже тутъ!

— Шалопай какой-нибудь. Ихъ иного теперь *туда* ѣдетъ!

— Онъ немного похожъ на Жоржа, только значительно старше!

— Ого, ты успѣла разсмотрѣть!

— Тутъ еще одного я замѣтила, блондинъ съ длинными усами: у него четыре собаки, и онъ ихъ все дрессируетъ въ корридорѣ.

— Ахъ, этотъ Катушкинъ, эта неизвѣстность!..

— Терпѣніе—это все, что я могу посовѣтовать!—передразнила свою мать Адель.

Василій, трактирный слуга, внесъ подносъ съ порціей мозговыхъ котлетъ. Адель кинулась къ ширмамъ и приложила глаза къ щелкѣ.

— Адель, mais finissez donc!—крикнула Фридерика Казиміровна.—Дверь зачѣмъ оставляешь открытою?—обратилась она къ Василію.

— Потому съ подносомъ, никакъ невозможно; я было толкнулъ ногою..

— Мама, смотри, онъ опять тамъ стоитъ!

Ледоколовъ стоялъ почти въ самыхъ дверяхъ; его отлично видѣла Адель съ своего наблюдательнаго поста; его успѣла замѣтить Фридерика Казиміровна, выглянувъ изъ-за высокой спинки дивана; только онъ ничего не могъ видѣть, кромѣ угла ширмъ съ висѣвшимъ на немъ сакъ-вояжемъ и шелковаго капота г-жи Брозе, все еще неубраннаго со спинки креселъ.

Положеніе Фридерики Казиміровны съ дочерью было дѣйствительно нѣсколько затруднительно. До сихъ поръ все шло превосходно. Изъ Петербурга выѣхала она, не очень безпокоясь о состояніи своего бумажника, и вынимала оттуда столько, сколько ей нужно было въ данную минуту, не справляясь, сколько тамъ оставалось. Семейный, спокойный вагонъ, отдѣльная, прекрасная, комфортабельная каюта на пароходѣ, предупредительность и вниманіе кондукторовъ, капитана и пароходной прислуги; это почтительное любопытство, которое видно было въ глазахъ всѣхъ спутниковъ, когда ей приходилось выходить изъ каюты и показываться на палубѣ парохода, что, впрочемъ, дѣлалось только въ виду крайней необходимости; наконецъ, то обстоятельство, что едва только пароходъ присталъ къ берегу, какъ явился слуга изъ гостиницы Антошкина сообщить, что комната для г-жи Брозе съ дочерью готова,—все это сильно тѣшило воображеніе Фридерики Казиміровны, и если дочь ея довольно безучастно относилась къ этимъ явленіямъ, за-то маменька ея строила самые фантастическіе планы, и въ головѣ ея бродили, безпрерывно смѣняясь, всѣ эффектнѣйшія страницы прочитанныхъ ею романовъ, въ героиняхъ которыхъ она видѣла то себя, то свою прелестную Аду. Но вдругъ какъ-то пришлось заглянуть въ бумажникъ, и... Фридерика Казиміровна

даже похолодѣла вся, и въ глазахъ у нея заплясали фарфоровые божки, спокойно стоявшіе на каминной полкѣ.

— Ада, у насъ такъ мало денегъ!—тихо, съ нѣкоторымъ дрожаніемъ въ голосѣ произнесла Фридерика Казиміровна.

— Ну, такъ что-же?

— У насъ почти нѣтъ вовсе денегъ!

Адель слегка вздохнула и ничего не отвѣчала, а Фридерика Казиміровна поплакала немного, позвонила, спросила чего-то поѣсть и успокоилась.

Теперь вся надежда ея была на Катушкина, который, по послѣднему письму Лопатина, долженъ былъ встрѣтить ихъ въ Самарѣ; а между тѣмъ вотъ уже четыре дня прошло, а его нѣтъ, какъ нѣтъ. Вчера хозяинъ счетъ прислалъ,—вотъ онъ лежитъ на столикѣ; счетъ этотъ весьма солидный; послѣ завтра надо ждать еще такого-же. А если Катушкинъ еще нѣсколько дней не пріѣдетъ,—если онъ совсѣмъ не пріѣдетъ? Развѣ она знаетъ, что его задерживаетъ? Да и существуетъ-ли еще этотъ Катушкинъ, о которомъ она и знала только изъ писемъ Ивана Илларіоновича? Можетъ быть, это просто мифъ? А если хозяинъ потребуетъ денегъ и скажетъ, что онъ ждать не хочетъ и что онъ знать не знаетъ никакого Катушкина... Фу!.. Опять холодный потъ обдалъ ожирѣвшія формы Фридерики Казиміровны; она даже ѣсть перестала и отодвинула отъ себя тарелку со стерлядкою, залитой какимъ-то лимоннымъ соусомъ съ грибками, каперсами и всякою всячиною.

Когда Фридерика Казиміровна показывала своей дочери письма Лопатина, она многое успѣла скрыть отъ нея, что, по ея мнѣнію, касалось только ея одной; она, напримѣръ, скрыла слѣдующее мѣсто письма: «Зная впечатлительность Адели, мнѣ весьма пріятно было-бы, если-бы дорогою *случаи къ развлеченію* представлялись какъ можно рѣже («случаи къ развлеченію» было подчеркнуто). Говорю съ вами откровенно, уважаемая Фридерика Казиміровна, ибо вы женщина опытная и поймете сами, въ чемъ дѣло. Много теперь ѣдетъ къ намъ всякаго народа, и молодого, и стараго; найдутся непрошенные провожатые, попутчики; дорогою знакомство сводится быстро: люди въ день, много два, становятся на короткую ногу; въ дружбу лѣзутъ, а тамъ... эхъ! Да вы, какъ я уже сказалъ, сами понимаете... не велика мнѣ радость будетъ, если Адочка пріѣдетъ ко мнѣ съ

занятымъ сердчишкомъ, а то, пожалуй, и еще того хуже. Вы не можете представить себѣ, что со мною дѣлается; сплю и во снѣ вижу ее, на яву въ глазахъ представляется... Эхъ, кабы я связанъ не былъ!.. Катушкину приказано отъ меня...»

Дальше уже шло все такое, что читала и Адель, а когда Адель занималась перечитываніемъ дозволенныхъ материнскою цензурою мѣстъ, то Фридерика Казиміровна въ это время обыкновенно глубоко вздыхала и произносила съ особеннымъ чувствомъ:

— Ахъ, что это за человѣкъ, что это за удивительная душа, и какъ красивъ еще, несмотря на свои лѣта; впрочемъ, что-же это и за лѣта въ самомъ дѣлѣ: какихъ-нибудь... и т. д.

А въ бель-этажѣ за общимъ столомъ собралось большое общество; Адель была права, когда говорила: «тамъ такъ весело. шумятъ, разговариваютъ» Тамъ, дѣйствительно, очень много шумѣли и разговаривали.

— Трезоръ, иси, подлецъ! Діана, сюда. — О-го-го-го! Э, послушайте: тамъ внизу, турните кто-нибудь Минерву; вонъ она, шельма, подъ ларь забилась: ну, иси, ну, иси, на, на!..— кричалъ, стоя на площадкѣ лѣстницы, блондинъ съ длинными усами.

— Съ цѣлою псарней вояжируете... — обратился къ нему весьма пожилой чиновникъ, только что собственноручно выбравшій изъ сада пару живыхъ и вертлявыхъ стерлядокъ.

— Со всей семьей!

— Такъ-съ!

— Нельзя-же: *тамъ*, говорятъ, фазановъ и разной дичи столько, сколько у насъ въ Рязани воронъ. А та-та-та! Такъ ее, такъ ее! Да берите прямо за ошейникъ: она не кусается!

— Породистыя?

— Настоящіе аристократы собачьей породы... Ну, ну, ты что! Теперь лизаться? То-то!

— Господа обижаются, что собакъ съ тарелокъ кормите; а потомъ энти самыя тарелки.. — началъ одинъ изъ прислуживающихъ за столомъ лакеевъ.

— А ну ихъ, твоихъ господъ!..

— Тсъ!.. Тсъ!..—послышалось въ разныхъ мѣстахъ.

— Мнѣ небольшую рюмку простой водки! — подошелъ къ буфету мальчикъ въ кучерской поддевкѣ и въ лакированныхъ

сапожкахъ. У этого мальчика были необыкновенно развиты бедра, и высокая грудь волновалась и сильно вытягивалась изъ-подъ красной кумачной рубашки.

— Манюся, ты это уже третью?—предупреждалъ кучеренка тощій зеленолицый господинъ въ полувоенномъ костюмѣ, около котораго, рядомъ съ приборомъ, лежалъ туго-набитый портфель съ мѣдными оковами.

— Я маленькую!—пропищалъ кучеренокъ.

— Костюмъ для путешествія, особенно продолжительнаго, весьма удобный!—замѣтилъ сосѣдъ зеленоватаго господина.— Знаете-ли: изъ экипажа-ли вылѣзть, въ экипажъ-ли вскочить; опять пройти пѣшкомъ прекрасно... съ юбками это все не такъ способно!

— Если-бы она была еще хорошо сложена, ну, это я понимаю,—наклоняется къ уху своего супруга худенькая дама,— а то этотъ противный жиръ, фи, даже смотрѣть неприлично!

— Э, гмъ!—соглашается супругъ, откашливая рыбью косточку и впиваясь глазами въ этотъ противный жиръ.

— Смотри лучше себѣ въ тарелку, тогда не будешь давиться костями!—язвительно замѣчаетъ ему супруга.

А на другомъ концѣ длиннаго стола самое видное мѣсто занималъ господинъ съ громадными русыми бакенбардами съ просѣдью. Онъ громко и энергично разсказывалъ; сосѣди внимательно слушали.

— Я туда вотъ уже третій разъ ѣду, и мнѣ эта дорога вотъ какъ извѣстна!

Господинъ съ бакенбардами вытянулъ кулакъ и разомъ распустилъ всѣ пять пальцевъ.

— Эхъ, какъ-бы пріятно было имѣть васъ своимъ попутчикомъ! — вздохнулъ тотъ самый старичокъ, что справлялся о породѣ собакъ на лѣстницѣ.

— И эти всѣ фаланги, тарантулы и скорпіоны дѣйствительно очень опасны?—спрашивалъ сосѣдъ справа.

— Ну-да, смотря, какъ придется,—многозначительно произнесъ ораторъ,—какъ придется!

— Это неутѣшительно!

— Надо привыкать: меня вотъ разъ двѣсти кусали; ничего, обтерпѣлся!

— Самое ужасное, говорятъ, это когда придется проѣзжать черезъ Кара-Кумы? — спрашиваетъ сосѣдъ слѣва.

— Да, да, вотъ я вамъ разскажу. Пріѣзжаете вы на станцію. Стой — гдѣ станція?.. Ни слѣда; тамъ колеса кусокъ валяется; тутъ головешка какая-то чернѣетъ, и лежатъ только одиноко на раскаленномъ пескѣ, въ рамкѣ съ выбитымъ стекломъ, почтовыя правила о взиманіи прогоновъ и непричиненіи никакихъ обидъ и увѣчій ямщикамъ и смотрителю!

— Только-то? — удивляются со всѣхъ сторонъ.

— Только. Ямщикъ, этотъ косоглазый дьяволъ, сейчасъ лошадей выпрягаетъ и маршъ-маршъ въ степи, только вы его и видѣли; и остаетесь вы одни на произволъ судьбѣ, пескамъ и всѣмъ четыремъ вѣтрамъ, и сидите день, сидите ночь, еще день, еще ночь, тамъ недѣля за недѣлей, мѣсяцъ за мѣсяцемъ...

— Ну, что вы говорите!.. Это невѣроятно!

— Отчего невѣроятно? Понятно, кто-нибудь поопытнѣй подъѣдетъ и выручитъ, а тамъ вы и сами наберетесь ума-разума и другихъ будете выручать въ свою очередь!

— Ну, вотъ видите-ли, все-таки есть исходъ!

— А позвольте полюбопытствовать: въ чемъ собственно состоитъ эта спасительная опытность?

— В чемъ?

— Да-съ?

— А вотъ въ чемъ-съ!

Господинъ съ бакенбардами всталъ, подошелъ къ столу, гдѣ лежала его фуражка и еще что-то, взялъ это «что-то» и положилъ его на столъ передъ своимъ приборомъ.

— Нагайка?

— Она самая. Вотъ вамъ альфа и омега путевой премудрости!

Господинъ съ собаками подошелъ къ столу и сталъ за стуломъ: его очень заинтересовалъ разсказъ опытнаго путешественника.

— Я дѣлаю такъ, — началъ разсказчикъ: — пріѣзжаю на станцію или, правильнѣе сказать, въ мѣсто, гдѣ предполагается станція, и съ ямщика глазъ не спускаю, сторожу его, какъ котъ сторожитъ мышь, что высунула въ щель свою голову. Ну-съ, тотъ, конечно, сейчасъ лошадей выпрягать торопится, бестія, такъ-что сбрую рветъ зубами, а я тѣмъ временемъ изъ тарантаса вонъ; киргизъ на лошадь, а я на него; сгребъ за шиворотъ: стой! «Эй, тюра, кой!» —значитъ: оставь, пусти! — «Нѣтъ, врешь, не уйдешь: лошадей!» «Атъ берды», каналья! —

«Гдѣ я лошадей возьму?—плачетъ мошенникъ:—Мои совсѣмъ пристали, дальше не пойдутъ, а другихъ нѣтъ; гдѣ онѣ—я не знаю, я съ той станціи, не мое дѣло!» А я сейчасъ бацъ! Вотъ этимъ самымъ инструментомъ!—Ораторъ приподнялъ нагайку.—Вой, вой! Я сейчасъ опять бацъ! А за воротникъ крѣпко держу: не вырвется. Благимъ матомъ визжитъ киргизъ, на всю степь заливается, а тутъ сейчасъ и благіе результаты этого концерта: изъ-за одного бугра лошадей ведутъ, изъ-за другого хомуты несутъ; колеса у вашего тарантаса снимаютъ, саломъ мажутъ, лошадей вамъ запрягаютъ, прогоновъ не берутъ, развѣ сами что-нибудь дадите, и съ поклонами васъ провожаютъ. На слѣдующей станціи опять та-же исторія...

— Но я не понимаю одного только, позвольте васъ перебить—обращается къ разказчику усатый блондинъ,—вѣдь дѣло происходитъ въ степи—ихъ много?

— Много; человѣкъ десять набѣжитъ, а то и больше!

— Вы одни?

— Одинъ!

— Не понимаю, воля ваша, не понимаю!

— А вотъ поймете, если испытаете. Такихъ трусовъ, какъ эта поганая орда, вы и во снѣ не видали!

— Да, полно, трусость-ли это?

— А-то что же?

— За послѣдствія боятся, вотъ что!

— Гмъ, за послѣдствія... какія тамъ послѣдствія!.. А вотъ еще одинъ случай: пріѣзжаю я на станцію «Джалавлы»—тутъ сейчасъ передъ Кара-Кумами станція такая есть. Ну-съ, пріѣзжаю я въ Джалавлы...

Въ залъ быстро входятъ, почти вбѣгаютъ, два молодыхъ офицера въ линейныхъ мундирахъ: подпоручикъ Душкинъ и поручикъ Милашкинъ.

— А я увидалъ!—возглашаетъ поручикъ Душкинъ.

— Я тоже видѣлъ! — сообщаетъ также во всеуслышаніе поручикъ Милашкинъ.

— Кого, кого?—послышались вопросы.

— Обитательницъ двадцать шестого номера! — въ одинъ голосъ произнесли вбѣжавшіе.—Онѣ теперь обѣ ходятъ по коридору: одна по своей охотѣ прогуливается, а другая уговариваетъ ее опять уйти въ комнату,—потѣха!

Нѣсколько человѣкъ быстро встали изъ-за стола, задвигавъ стульями.

— Ты постой, братецъ, не убирай, — обратился къ слугѣ зеленоватый господинъ, подхватывая портфель подъ мышку.— Ты, Манюся, подожди меня здѣсь!

Но его Манюся уже давно выскочила въ корридоръ, дружески кивнувъ головою подпоручику Душкину и толкая слегка подъ локоть поручика Милашкина.

— Такъ вотъ пріѣзжаю я въ Джалавлы... — говорилъ гооподинъ съ бакенбардами. — Э, да что тамъ такое?

Его уже никто не слушалъ.

— Адель, mais finissez... это скандалъ! Посмотри, сколько ихъ набралось...—уговаривала свою дочь Фридерика Казиміровна, стоя въ отворенныхъ дверяхъ своего номера.

Дѣйствительно, цѣлая толпа, плотно притиснувшись другъ къ другу, заняла весь выходъ изъ корридора. Передніе, нѣсколько смущенные, мяли въ рукахъ захваченныя со стола салфетки, задніе напирали на переднихъ. Каждый хотѣлъ, будто-бы нечаянно, пройти по корридору мимо нашихъ барынь, но маневръ этотъ положительно не удался вслѣдствіе многочисленности маневрирующихъ.

— Ахъ, мама, да мнѣ-то что за дѣло!—огрызалась Адель.

— Но это скандалъ!—шептала Фридерика Казиміровна.

— Ай! — невольно вскрикнула Адель, обернувшись: она только-что сейчасъ замѣтила сборище при входѣ въ корридоръ.

— Ну, что я говорила!.. Ты забываешь, что мы не въ Петербургѣ, гдѣ никому нѣтъ ни до кого дѣла! — язвительно упрекнула ее г-жа Брозе, захлопывая дверь.

— Да это звѣри какіе-то: я даже перепугалась,—говорила Адель.—А этотъ, что похожъ на Жоржа, онъ живетъ какъ-разъ напротивъ, дверь въ дверь. Я видѣла, онъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ и что-то писалъ, а когда я вышла, онъ подошелъ къ двери и все время стоялъ на порогѣ!

— Какія глупости тебя занимаютъ!

— Онъ мнѣ даже поклонился слегка!

— Ахъ, Ада, вотъ видишь, до чего доводятъ твои шалости!

— Я ему поклонилась тоже!

— Проклятый Катушкинъ!

— Господинъ тутъ васъ одинъ спрашиваетъ! — доложилъ

корридорный Василій, входя въ номеръ и протягивая г-жѣ Брозе маленькую бумажку.

— Кто такой?—спросила Фридерика Казиміровна и сердце у ней ёкнуло.

— Господинъ, пріѣзжій изъ степи; они тамъ-съ, въ конторѣ; приказали записку отдать и отвѣтъ чтобы сейчасъ!

— Мама, это Катушкинъ! — произнесла Адель, пробѣжавъ записку и передавая ее матери.

— Проси! — произнесла Фридерика Казиміровна, сѣла на диванъ и приняла позу.

Коридорный Василій скрылся за дверью, и слышны были его торопливые шаги, когда онъ пробѣжалъ по коридору и началъ спускаться по лѣстницѣ.

Адель встала спиною къ окну и не спускала глазъ съ двери. И мать, и дочь сосредоточились на ожиданіи.

V.

Въ Губерляхъ.

— Какая гроза нынче ночью будетъ, страсть!—произнесъ ямщикъ изъ мѣстныхъ казаковъ и сталъ тянуть изъ-подъ себя запасной халатъ.

— Да, что-то подозрительно солнце садится! — замѣтилъ Ледоколовъ.—Чу! Громъ никакъ?!

— Вѣтеръ изъ Чумнаго ущелья рвется; вотъ оно и гремитъ по горамъ; завсегда такъ, — объяснилъ казакъ происхожденіе глухого грохота, доносившагося до слуха путешественниковъ.— Эй, вы, дьяволы, пошевеливайтесь, что-ли!..

Онъ подобралъ возжи и подхлестнулъ пристяжную; та наддала задомъ и шарахнулась въ бокъ, нажавши на оглобли; какой-то угловатый черный камень торчалъ у самой дороги и встревожилъ подозрительнаго коня.

— Испужалась!.. Намъ - бы только до станціи добраться, а тамъ ночевать будете, потому — въ эту пору никто васъ Губерлями не повезетъ!

— Опасно, что-ли?

— Косогоры, обрывы, дорога чистый камень — скользко; опять не видать ничего. Долго-ли до грѣха!

Сильный порывъ вѣтра, налетѣвшій совершенно неожиданно, чуть было не сорвалъ шапку съ головы Лодоколова; тотъ уже почти на-лету прихватилъ ее рукою.

— Надо верхъ поднять. Подержи лошадей!

Звонъ колокольчика и стукъ колесъ по каменистой дорогѣ замолкли, когда ямщикъ остановилъ лошадей. Глухой, заунывный вой доносился снизу изъ ущелій, затянутыхъ темносизымъ туманомъ. Солнце сѣло за громадную черную тучу, медленно поднимавшуюся изъ-за горизонта. Ярко-красный, багровый свѣтъ пылалъ изъ-за этой тучи, и, словно раскаленныя, рисовались на вечернемъ небѣ отдѣльно разбросанныя, скалистыя вершины. Дорога шла по уступамъ каменистыхъ холмовъ, безпрестанно поднимаясь и опускаясь. Направо и налѣво чернѣли мѣстами глубокія трещины; жалкіе кустарники цѣплялись кое-гдѣ по откосамъ.

Въ сторонѣ, на высокомъ косогорѣ, наискось торчала одинокая полувысохшая сосна; вершина дерева, расщепленная громовымъ ударомъ, высоко поднималась, упираясь въ самое небо своимъ занозистымъ, обуглившимся остріемъ, и вотъ-вотъ собиралась прорвать грозно надвигавшуюся тучу.

— Видѣли?..—таинственно произнесъ ямщикъ.

— Что?

— Сосну. Вонъ на энтой-то самой соснѣ въ ину пору, ночью, огонь стоитъ на самой вершинѣ. Словно свѣчка теплится...

— Ты самъ видѣлъ?—спросилъ Ледоколовъ, поглядывая на оригинальное, такъ высоко забравшееся, изуродованное дерево.

— Нѣтъ, самому не приходилось; наши сказывали. Урядникъ станціонный въ прошломъ году видалъ; говорилъ: страсть! Пылаетъ, ровно пакелъ (факелъ), а это, около, словно кто въ колоколъ бьетъ, таково протяжно. Подъѣхалъ ближе: ничего, все, какъ слѣдоваетъ!

— Можетъ, онъ пьянъ былъ?

— У березинскаго старшины на крестинахъ былъ, точно!

— Ну, вотъ!

— Казначей тутъ, сказываютъ, ѣхалъ, — давно это было, еще о ту пору, какъ наши казаки отъ царицы первыя льготы получали... Ну, вотъ, ѣхалъ казначей... Эй вы, что-ли!..

— Легче подъ гору!

— Ничего, кони привычные. Ѣхалъ это казначей и около

самаго этаго мѣста остановился; надобность, можетъ, какая была; хвать-похвать—сумки нѣту. А въ сумкѣ-то у него деньжищъ казенныхъ было... Тп-р-ру!..

— Что тамъ?

— Развозжалась!

— Ну, намъ отъ грозы не уйти!

— Можетъ, поспѣемъ. Эй, вы, потрогивай!..

Крупныя капли дождя съ глухимъ стукомъ забарабанили по туго натянутой кожѣ экипажнаго верха. Стемнѣло. Тучи заволокли послѣдніе отблески вечерней зари, и только въ одномъ мѣстѣ, около рѣзко очерченнаго края, сверкала одинокая звѣзда. Вотъ и она исчезла. Исчезли очертанія скалистыхъ кряжей; исчезло все, поглощенное густымъ мракомъ; и только на нѣсколько шаговъ отъ экипажа чуть-чуть блестѣла мокрая отъ дождя кремнистая дорога.

Вдругъ полъ-неба вспыхнуло разомъ... Въ этомъ красномъ, пожарномъ свѣтѣ промелькнула змѣеобразная, голубоватая, ослѣпительная борозда. Громовой ударъ треснулъ, словно пушечный выстрѣлъ, у самаго уха... На секунду все затихло... и глухо зарокотали по горамъ и ущельямъ громовые перекаты, то затихая, то раздаваясь съ новою силою, то гдѣ-то далеко, далеко, то почти надъ самыми головами путешественниковъ.

— Гляди, баринъ, съ нами крестная сила!—наклонился съ козелъ ямщикъ.—Вотъ *оно*, вотъ!..

— Что тамъ?

— Назадъ гляди: *оно* самое. Да воскреснетъ Богъ и расточатся...

Ледоколовъ выглянулъ. Онъ высунулся изъ экипажа, его обдало холоднымъ дождемъ; онъ закрылся полою непромокаемаго плаща и повторилъ попытку взглянуть по указанію ямщика.

Высоко, въ томъ мѣстѣ, гдѣ стояла сосна, теплилась небольшая огненная точка, и этотъ фосфорическій, мигающій свѣтъ, казалось, находился въ постоянномъ движеніи. Онъ прыгалъ по вѣтвямъ дерева, взбирался на самую верхушку и тамъ исчезалъ на мгновеніе, и снова показывался, и снова исчезалъ...

— Это душа казначейская томится,—шепталъ ямщикъ.— Удавился онъ въ ту пору, сердечный...

— Поосторожнѣй!

Тарантасъ сильно качнуло. Снизу доносился шумъ воды и всплески; какая-то громадная черная масса загромоздила дорогу.

— Что это, станція?—спросилъ Ледоколовъ.

— Какая станція...—Что за диковина?! До станціи еще верстъ пять будетъ!

— Окно свѣтится... Да это дормезъ, кажется, на боку лежитъ. Придержи лошадей!

Еще разъ освѣтилось грозное небо; опять зарокотали горы. При блескѣ молніи ясно можно было разобрать внизу на дорогѣ большой дормезъ, стоящій наклонно на трехъ только колесахъ. Внутри этого дормеза было освѣщено, и слышались голоса. Лошади съ отстегнутыми постромками стояли около экипажа и, опустивъ головы, повернулись задами къ вѣтру, жались и вздрагивали при каждомъ громовомъ ударѣ. Ямщика не было: онъ, вѣроятно, уѣхалъ на уносныхъ лошадяхъ, и намокшіе веревочные уносы вмѣстѣ съ вальками висѣли на концѣ экипажнаго дышла.

— Боже мой! Я готова умереть, я не выдержу болѣе!..— взвизгнула Фридерика Казиміровна, когда молнія ярко освѣтила экипажное окно, и жалкою, грязноватою точкою показалось въ это мгновеніе крохотное пламя внутренняго фонаря.—Это ужасно...

Она уткнулась носомъ въ подушку и тяжело дышала, такъ какъ въ наглухо, со всѣхъ сторонъ закрытомъ экипажѣ было душно и невыносимо жарко.

— Мама, я отворю окна. Это невыносимо, я задыхаюсь!— говорила Адель и рванулась привести въ исполненіе свое намѣреніе.

— Ада... пощади. Ты знаешь, какъ это опасно,—стонала маменька.—Ты отворишь, молнія влетитъ, и всѣ мы погибнемъ!

— Но мнѣ дышать нечѣмъ... Мнѣ дурно...

— Лучше перетерпѣть...

— Это насчетъ молніи вы, Фридерика Казиміровна, напрасно безпокоитесь,—началъ Катушкинъ.—Вотъ развѣ дождемъ помочитъ, это точно!

Онъ сидѣлъ на передней лавочкѣ, подобравъ подъ себя ноги и боясь пошевелиться. Ему было страшно неловко, ноги у него затекли, и въ колѣняхъ бѣгали мурашки, но онъ стоически выносилъ свое стѣсненное положеніе, боясь потревожить дамъ.

— Какую ужасную ночь мы должны будемъ провести!— стонала Фридерика Казиміровна.

— Ничего-съ; можетъ, скоро ямщикъ подъѣдетъ!—утѣшалъ ее Катушкинъ.

— Иванъ Демьяновичъ...

— Что прикажете-съ?

— У васъ есть пистолеты?

— Какже-съ; мы въ степь безъ оружія никогда не ѣздимъ, только теперь пока не требуется, они въ чемоданѣ уложены...

— А что, здѣсь есть бандиты?..

— Нѣтъ, бандитовъ не водится!

— Да вѣдь это горы; мы вѣдь въ горахъ?

— Такъ точно, Губерли прозываются, отрогъ Уральскаго хребта, а тамъ дальше пойдетъ...

— Мама, какъ хочешь, а я отворю!

Адель взялась за тесьму.

Опять вспыхнула яркая молнія, опять взвизгнула на всѣ Губерли Фридерика Казиміровна. На этотъ разъ струсила и сама Адель; она быстро отодвинулась отъ окна и смотрѣла въ него широко раскрытыми, испуганными глазами.

Чье-то блѣдное, бородатое лицо мелькнуло за напотѣвшими стеклами окна. Свѣтъ молніи словно голубоватымъ бенгальскимъ огнемъ освѣтилъ высокую фигуру въ плащѣ, въ башлыкѣ, стоявшую у самой экипажной подножки.

— Что я видѣла...—шептала Адель.

— Ада, не пугай!—волновалась госпожа Брозе.

— Ямщикъ, ты, что-ли?—громко окликнулъ Катушкинъ.— Фридерика Казиміровна, позвольте, я выйду: можетъ, помочь что нужно..

— Ахъ, нѣтъ, сидите; не пущу, въ такую критическую минуту мы будетъ однѣ!

Рука безъ перчатки показалась у самаго стекла и легко постучала въ окно. Адель замѣтила блестящій перстень на одномъ изъ пальцевъ таинственной руки.

— Я—проѣзжающій. Съ вами случилась одна изъ дорожныхъ непріятностей. Не могу-ли я быть вамъ чѣмъ-нибудь полезенъ?

— Это *онъ*, мама, — тихо произнесла Адель, — нашъ самарскій vis-à-vis!

— До станціи не далеко: вы, вѣроятно, скоро доѣдете. Нельзя-ли вамъ поторопить нашего ямщика?—поспѣшилъ произнести Катушкинъ.

— Ради Бога. Мы здѣсь задыхаемся!—крикнула Адель.

— Отворите окно...

— Ни за что... Ахъ!..—крикнула въ свою очередь Фридерика Казиміровна.

Даже Ледоколовъ вздрогнулъ отъ страшнаго громового удара, прервавшаго переговоры.

— Это гдѣ-нибудь близко въ скалу ударило! — говорилъ ямщикъ съ козелъ ледоколовскаго тарантаса.

— Мой экипажъ къ вашимъ услугамъ, и я довезу васъ до станціи, если вамъ угодно!—предложилъ Ледоколовъ.

— Ахъ, какъ это хорошо; маменька, дайте мнѣ мой большой платокъ!—обрадовалась Адель.

— Э, гмъ...—замялся Иванъ Демьяновичъ.

— Я не поѣду ни за что, я не рѣшусь! — говорила госпожа Брозе.

— Въ такомъ случаѣ я поѣду одна!—объявила Адель.

— Ада...

— Тяните къ себѣ дверцу, у меня не хватаетъ силы!—крикнула дѣвушка Ледоколову.

— Ада... Ада...

Сильный порывъ вѣтра обдалъ мелкими брызгами дождя всѣхъ пассажировъ, когда Ледоколовъ распахнулъ дверцу дормеза.

— Я васъ перенесу на рукахъ!

Онъ протянулъ руки.

— Ада, Ада, дитя мое!..

— Какъ хорошо, какъ свѣжо!

Тарантасъ Ледоколова стоялъ шагахъ въ трехъ, не болѣе, отъ дормеза; на одно только мгновеніе почувствовала Адель, какъ двѣ сильныя руки подняли ее на воздухъ; затѣмъ она уже сидѣла въ тарантасѣ, прижавшись въ уголъ и смѣясь во все горло: ей вдругъ стало почему-то необыкновенно весело.

— Мама, мама, скорѣе!—кричала Адель.

— Пожалуйте!—протягивалъ вторично руки Ледоколовъ.

— Ни за что!

— Мама, да идите!

— Что-же, Фридерика Казиміровна, теперь ужъ все одно-съ: пожалуйте! — вздохнулъ Катушкинъ и добавилъ какъ-бы про себя:—Своенравная барышня!

— Ай! — ступила-было на подножку г-жа Брозе и опять попятилась назадъ.

— Смѣлѣе!—ободрительно говорилъ Ледоколовъ.

— Я ужъ при экипажѣ останусь; такъ вы ужъ похлопочите тамъ на станціи, чтобы насчетъ колеса... станціонному скажите: отъ Лопатина, Ивана Илларіоновича, онъ знаетъ! — обратился Катушкинъ къ Ледоколову.

— Непремѣнно. Пошелъ!

Черезъ минуту звонъ колокольчика подъ дугою ледоколовской тройки чуть слышался въ воѣ вѣтра и глухомъ шумѣ проливного дождя.

Иванъ Демьяновичъ завернулся въ шинель, вытянулся во всю длину дормеза, подсунулъ себѣ подъ голову подушку, подъ бокъ другую, закурилъ папиросу и стоически принялся ожидать результатовъ своего порученія.

«Гувернантка — ха, ха! Не сдобровать Ивану Илларіоновичу съ этакой гувернанткой, да-съ!— началъ онъ свои размышленія. — При такомъ, такъ сказать, оживленіи нашего тракта народу ѣдетъ всякаго много... гмъ! Глаза молодые, разбѣгутся... услужливость эта проклятая, — ну, и шабашъ! Да мнѣ-то что?—Только-бы довести да сдать»...

Онъ опустилъ стекло и выбросилъ окурокъ.

«Симсонъ сказывалъ, — продолжалъ думать вслухъ Иванъ Демьяновичъ, — что за лѣшій такой? Меня знаетъ, Лопатина знаетъ, всѣхъ знаетъ. Разспрашивалъ, что и какъ,—подозрительно! Да вѣдь примѣты какія—ничего не разберешь! Всѣхъ перебралъ—подходящаго нѣтъ... Что за чортъ, право, въ самомъ дѣлѣ?—Тсъ! Ѣдутъ никакъ»...

Ему послышался какъ-будто топотъ конскихъ ногъ по дорогѣ; прислушался—ничего не слыхать.

Ивовый пень, подмытый дождевыми потоками, сползъ съ своего мѣста, нависъ надъ обрывомъ и — рухнулъ въ воду. Кони, привязанные къ дышлу, шарахнулись и стали рваться; тяжелый дормезъ заскрипѣлъ и покачнулся.

— Тпру, вы, дьяволы! — крикнулъ Катушкинъ, высунулся изъ окна и посвисталъ успокоительнымъ образомъ, какъ обык-

новенно свистятъ ямщики во время водопоя. Лошади перестали биться. Катушкинъ началъ дремать.

На просторномъ дворѣ станціоннаго дома уже стояло нѣсколько экипажей, задвинутыхъ до половины подъ окружающіе дворъ навѣсы. Подслѣповатый фонарь со стеклами, заклеенными бумагою, мигалъ у столба, въ воротахъ двора. Другой фонарь, поменьше, чуть-чуть освѣщалъ покосившееся крыльцо. Если свѣтъ этихъ двухъ фонарей не былъ достаточенъ для того, чтобы въѣхавшій въ отворенныя ворота тарантасъ Ледоколова не наткнулся-бы на другіе экипажи, зато яркія, широкія свѣтовыя полосы, направляясь изъ оконъ, тянулись черезъ весь дворъ и достигали даже самой глубины навѣсовъ, гдѣ виднѣлись сѣрыя, вороныя, рыжія, гнѣдыя, пѣгія и всѣхъ прочихъ мастей почтовыя лошади, стоявшія тѣсными рядами у кормовой колоды.

Окна станціоннаго дома были отворены, и оттуда неслись самые разнообразные звуки: брякала посуда, слышались возгласы: «ну, шельма, иси, подлецъ, ну, иси!»—«На пе... дана... уголъ отъ трехъ красныхъ!» — «Тубо, Трезоръ, тубо, каналья!» — «Манюся, ты ужъ шестую никакъ?» и т. п.

— Боже мой, сколько народу! — испугалась Фридерика Казиміровна.

— Да, съѣздъ большой!—говорилъ Ледоколовъ, слѣзая съ козелъ.

Онъ сидѣлъ вмѣстѣ съ ямщикомъ и съ его непромокаемаго плаща вода текла, какъ съ крыши.

— Дальше дорога очень опасна въ горахъ, и въ такую погоду до утра никого не повезутъ! — сообщалъ онъ, помогая дамамъ поочередно выбраться изъ экипажа.

— Что-то дѣлаетъ теперь нашъ Иванъ Демьяновичъ? — произнесла Адель, взбираясь на ступеньки крыльца. — Мама, осторожнѣй!

— Ничего, идите смѣлѣе!—говорила сверху толстая, краснощекая баба-казачка, вышедшая въ сѣни посвѣтить пріѣзжимъ, загораживая отъ вѣтра своею пухлою рукою сильно колеблющееся пламя сальнаго огарка.

— Самовары доливай, Авдотья!—кричалъ голосъ изъ вторыхъ сѣней. — Скажи Борькѣ, чтобы еще двѣ бутылки водки спросилъ у дьячка: проѣзжіе требованотъ!

— Ахъ, чортъ меня съѣшь и назадъ не верни!—долетѣло изъ открытаго окна.

— Мама...—немного струсила Адель.

— Какъ-же мы, что-же мы: здѣсь и такъ уже много!—замялась на порогѣ Фридерика Казиміровна.

Дверь отворилась. Десятки глазъ смотрѣли на новыхъ пріѣзжихъ. Кучеренокъ съ сильно развитыми бедрами не донесъ рюмки до своихъ свѣженькихъ, розовыхъ губокъ да такъ и остановился на полдорогѣ. Усатый блондинъ собирался положить кусочекъ колбасы на носъ Трезору и держалъ этотъ кусочекъ двумя пальцами. Спѣлохватовъ пріостановился метать и, на всякій случай, прикрылъ кучку скомканныхъ ассигнацій своею широкою ладонью; около него сидѣла довольно красивая блондинка съ громаднѣйшимъ, почти вертикально укрѣпленнымъ шиньономъ, несмотря на дорожный костюмъ, сильно напудреннымъ, и грызла ногти на своихъ пальчикахъ, сверкавшихъ чуть не полдюжиною разнообразныхъ перстеньковъ. За ними виднѣлись: плечо въ кителѣ съ штабъ-офицерскимъ погономъ, спина въ казачьемъ мундирѣ и пара ботфортовъ со шпорами, принадлежащая кому-то, должно быть, лежащему на диванѣ и, несмотря на шумъ, похрапывающему съ носовымъ присвистомъ.

Для пріѣзжихъ дамъ отвели слѣдующую комнату, поменьше, отдѣленную отъ первой только тоненькою перегородкой, недоходящею даже до потолка. Г-жа Брозе и ея дочка, потупивъ глаза и подобравъ свои шлейфы, прошмыгнули черезъ первую комнату подъ перекрестными взглядами всего общества; даже Трезоръ, не спускавшій сначала глазъ съ куска колбасы, и тотъ обратилъ вниманіе на Фридерику Казиміровну, обнюхавъ полу ея щегольского бурнуса.

Ледоколовъ притворилъ дверь за дамами и остался въ первой комнатѣ, всѣ проѣзжіе оказались болѣе или менѣе знакомыми ему: со всѣми приходилось встрѣчаться на пути. то на пароходѣ, то въ Самарѣ, то въ Оренбургѣ, или-же просто на станціяхъ.

— Господа, мы продолжаемъ?—объявилъ Спѣлохватовъ.

— Э-э, позвольте!—протянула спина въ казачьемъ мундирѣ.—Это все на смарку, и это тоже, и это тоже!

— Просто духъ захватываетъ!—произнесъ штабъ-офицеръ и разобралъ пальцами свои густыя, черныя бакенбарды.

— Что такъ?—спросилъ зеленоватый чиновникъ, сидѣвшій въ углу и упрекавшій передъ этимъ «Манюсю» въ неумѣренности.

— Барыня хороша!

— Дочка?

— Маменька, то-есть — фахъ! Шикъ-особа. Глазами такъ и работаетъ. Вы съ ними знакомы?—обратился онъ къ Ледоколову.

— Почти нѣтъ!—отвѣчалъ тотъ.

— Э, да это все равно: отрекомендуйте меня, представьте .. ну, пожалуйста!

— Отрекомендуйтесь сами, коли хотите. Нельзя-ли чаю или чего-нибудь горячаго?—спросилъ онъ казака-смотрителя.

— Сію минуту закипаетъ. Авдотья, скоро, что-ли?

— Что-же вы?—говорила спина въ казачьемъ мундирѣ, опершись обѣими руками на столъ для поддержанія равновѣсія и пытливо глядя на банкомета.

— У меня готово,—произнесъ тотъ.—Вѣрочка, отойди подальше: дышетъ въ самое ухо...

— Eh bien! — Понтеръ сдѣлалъ нетерпѣливый жестъ рукою.—Мечите, что-же вы?

— Деньги на столъ!

— Что?

— Деньги. Ваша ставка такъ велика. Вы хотите отыграться на одной картѣ...

— Что-же, вы мнѣ не вѣрите, вы мнѣ не вѣрите?..

— Это мое правило!

Блондинъ съ усами оставилъ въ покоѣ своихъ собакъ и подсѣлъ къ столу; подошелъ и штабъ-офицеръ-бакенбардистъ и началъ рыться и пересчитывать въ своемъ бумажникѣ.

— У меня денегъ много... Я не знаю, выдержитъ-ли вашъ банкъ, а денегъ у меня много... Мироновъ... Мироновъ, чортъ... скотина!

Въ двери стремительно ворвался молодой казакъ-драбантъ, по всѣмъ признакамъ только-что проснувшійся.

— Шкатулку мою сюда... живо! Денегъ у меня нѣтъ, ха, ха, ха!

— Это мое правило! — пожалъ плечами Спѣлохватовъ.

Мироновъ принесъ шкатулку. Шкатулку отперли. У Вѣрочки заблистали глазки, заблистали ярче, чѣмъ розетки на ея паль-

чикахъ, она даже покраснѣла немножко и нѣжно взглянула на обладателя такой цѣнной шкатулки.

— Мечите...

Спина въ казачьемъ мундирѣ была, что-называется, далеко на второмъ взводѣ, и потому въ ея манерахъ проявлялась необыкновенная размашистость и развязность, между тѣмъ какъ языкъ словно распухъ и съ трудомъ ворочался во рту.

— Вы въ Ташкентъ ѣдете?—спросилъ кто-то у Ледоколова, скромно пріютившагося у другого столика въ сторонѣ и разбиравшаго чайный погребецъ.

— Вы меня спрашиваете?—онъ поднялъ голову.

Къ его столу подошелъ господинъ, котораго онъ не замѣтилъ съ перваго раза. Вѣроятно, его скрывала громадная, изразцовая печь, выдвинувшаяся чуть не на средину комнаты. Это былъ худощавый брюнетъ довольно высокаго роста, съ длинными усами, съ добрыми, веселыми глазами, нѣсколько рябоватый, и въ голосѣ его ясно слышался малороссійскій акцентъ.

— Да, въ Ташкентъ! — отвѣчалъ Ледоколовъ и невольно подвинулся, какъ-бы предлагая подлѣ себя мѣсто подошедшему.

Есть натуры, которыя располагаютъ къ себѣ съ перваго взгляда. Это была одна изъ тѣхъ симпатичныхъ натуръ, и Ледоколову вдругъ очень захотѣлось разговориться и познакомиться покороче съ малороссомъ.

— Скука такая, право, сидишь здѣсь всю ночь,—пробовалъ заснуть, не могъ: шумятъ очень... Вы въ первый разъ ѣдете?

— Въ первый!

— А я такъ вотъ уже третій. Каждый разъ давалъ себѣ слово не возвращаться болѣе, а поживешь годикъ въ Россіи и опять потянетъ...

— Вы служить ѣдете?

— Нѣтъ, я уже послужилъ довольно тамъ, будетъ съ меня. Такъ собираюсь поработать частнымъ человѣкомъ... Я, знаете, немного горное дѣло маракую, такъ вотъ хочу попытать счастья!

— Въ самомъ дѣлѣ?—обрадовался Ледоколовъ.—Такъ мы по спеціальности товарищи: я тоже горный инженеръ!

— Вотъ и прекрасно, можетъ, вмѣстѣ работать будемъ!

Минутъ черезъ пять они совершенно сошлись и разговаривали, какъ самые старые знакомые, почти пріятели.

Доски тонкой перегородки не совсѣмъ плотно приходились

одна къ другой. Фридерика Казиміровна смотрѣла въ одну щелку, Адель въ другую. Усатый блондинъ, пробравшись по заваленкѣ къ окну изъ комнаты, смотрѣлъ въ стекло, хотя и сильно затаявшее изнутри, но все-таки позволявшее разсмотрѣть все, что происходило въ комнатѣ. Впрочемъ, онъ ничего не видѣлъ, кромѣ широкихъ формъ госпожи Брозе и менѣе широкихъ, но менѣе граціозныхъ формъ ея дочери.

— Смотрителя березинской станціи видѣли?—спрашивалъ бакенбардистъ зеленоватаго чиновника.

— Видѣлъ, это пятая станція отъ города, кажется?

— Ужъ тамъ какая она счетомъ, не знаю. А глазъ у него лѣвый видѣли? Хорошъ?

— Подбитъ сильно!

— Моихъ рукъ работа... Пріѣзжаю, — лошадей не даетъ: кромѣ курьерскихъ, всѣ въ разгонѣ... Ну, понятно, результаты извѣстные: онъ получилъ въ рыло, а я, вслѣдствіе этого, получилъ лошадей. Позвольте-съ!

Онъ сложилъ въ четверо бумажку, прикрылъ ее девяткой и протянулъ къ банкомету.

— Вотъ этотъ тоже второй разъ ѣдетъ,—малороссъ кивнулъ головою на Спѣлохватова.—Барыню его я не знаю; это онъ въ Петербургѣ себѣ раздобылъ, я съ нимъ прежде встрѣчался; онъ тамъ пообчистилъ публику... Съ Батоговымъ, покойникомъ, пріятели были. Вы не слыхали про Батогова?

— Нѣтъ, не слыхалъ!

Ледоколовъ съ любопытствомъ наблюдалъ изящныя манеры Спѣлохватова.

— Хорошо играетъ. Смотрите: рукава немного засучены, какъ у фокусниковъ, колода словно святымъ духомъ вертится между пальцами; а пальцы то, пальцы также играютъ... Музыкальныя руки. Что это за барыни съ вами ѣдутъ?

— А, право, не могу вамъ сказать опредѣлительно; я ихъ захватилъ по дорогѣ; у нихъ экипажъ сломался въ оврагѣ, верстъ пять отсюда... Ѣдутъ въ Ташкентъ. Обстановка роскошная, по всѣмъ признакамъ—авантюристки!

— Хлѣбныя персоны; коли не глупы, въ убыткѣ не останутся. Эки пальцы... эки пальцы!.. Смотрите-ка, въ Петербургѣ случалось мнѣ наблюдать подобныя манеры въ домахъ у Неплюйцына и Брулева, тамъ у нихъ собираются въ ночки темныя,

осенія этого ремесла художники... Вотъ и этотъ баринъ той-же школы... Ловко!..

Малороссъ замѣтилъ что-то уже очень замысловатое въ движеніи рукъ игрока и даже крякнулъ отъ удовольствія.

— Однако, это вы бьете подъ рядъ уже пятую карту!— протянула спина въ казачьемъ мундирѣ.

Спѣлохватовъ пожалъ плечами.

— Вы имѣете!—онъ пододвинулъ ставку къ бакенбардисту.

— Ага, заполучилъ малую толику. А ну-ко уголокъ опять...

— Ахъ, чортъ меня съѣшь.. опять!

— Одиннадцатую тысячу пропираетъ!—шепталъ кучеренокъ зеленоватому чиновнику.

— И не оставитъ... хоть-бы его попридержать; а то, что толку Вотъ ты съ нимъ съ самаго Бузулука возишься... и останешься съ носомъ!

— Вѣдь я-же тебѣ уже передала шестьсотъ!

— Гм! Шестьсотъ,—тутъ большимъ пахнетъ...

— Ва-банкъ со всякимъ чортомъ... идетъ...—горячилась спина въ казачьемъ мундирѣ.

— Позвольте, я сочту!—остановился Спѣлохватовъ.

— Пойти поглядѣть, это интересно. Пойдемте!—пригласилъ малороссъ Ледоколова.

Пріятели встали и подошли къ столу.

— Ипполитъ Карловичъ...—нѣжно произнесъ кучеренокъ.

— Madame?..—отозвался казакъ.

— На два слова...

Спина въ казачьемъ мундирѣ, шатаясь подошла къ кучеренку; тотъ сталъ шептать ему что-то на ухо.

— Гм!.. Буду глядѣть въ оба!—произнесъ Ипполитъ Карловичъ и вернулся къ столу.

Ледоколовъ и его новый знакомый не спускали глазъ пальцевъ банкомета; Вѣрочка незамѣтно толкнула его въ бокъ. Брови Спѣлохватова немного сдвинулись.

Карта была весьма крупная. Цѣлая гора бумажекъ лежала у банкомета подъ локтемъ; такая-же гора лежала прикрытая сверху надорванною двойкою.

Медленно, съ разстановкою ложились карты направо и на-лѣво.

Вѣрочка вышла изъ за стола и начала прохаживаться по комнатѣ.

— Теперь онъ готовъ-бы послать къ самому сатанѣ всѣхъ трезвыхъ наблюдателей!—шепнулъ малороссъ Ледоколову.

— Ай!—во все горло завизжала Вѣрочка.

Всѣ обернулись.

— Какой большой паукъ, какой страшный... — хныкала блондинка, указывая со страхомъ на крохотнаго паука, мирно притаившагося въ трещинѣ стѣнной штукатурки.

— Бита!—отчетливо произнесъ Спѣлохватовъ.

Малороссъ расхохотался, махнулъ рукою и пошелъ на свое прежнее мѣсто, Ледоколовъ пошелъ за нимъ.

— Ахъ, сколько онъ денегъ потянулъ къ себѣ. Ахъ, сколько денегъ! — томно шептала Фридерика Казиміровна и вдругъ воспылала непримиримою злобою къ обладательницѣ напудреннаго шиньона.

— Кокотка какая-нибудь, — ядовито прошептала госпожа Брозе и добавила:—чего-бы намъ поѣсть, Адочка?

Въ воротахъ блеснулъ неожиданно знакомый рефлекторъ лопатинскаго дормеза. Иванъ Демьяновичъ дождался-таки ямщиковъ съ колесомъ и прибылъ, наконецъ, благополучно на станцію.

Гроза понемногу стихала. На прочистившемся небѣ кое-гдѣ замигали звѣздочки, и только вдали чуть слышались въ горахъ громовые перекаты, да на самомъ почти горизонтѣ вспыхивали по временамъ отблески молніи.

Съ прибытіемъ Катушкина все оживилось за перегородкою. Явились разнообразные спиртовые приборы, всевозможные консервы и закуски, запахло свѣже-заваренымъ чаемъ, и жесткіе станціонные диваны покрыты были ковромъ и чистыми простынями, да какъ покрыты! Все ехидное населеніе безчисленныхъ трещинъ старой мебели могло цѣлую ночь безуспѣшно блуждать подъ полотномъ, и самый маленькій клопикъ, будь онъ самыхъ микроскопическихъ размѣровъ, не нашелъ-бы себѣ лазейки, чтобы выбраться на поверхность и попробовать прогуляться по жирному, розовому тѣлу Фридерики Казиміровны или по стройнымъ формамъ ея прелестной дочки.

Мало-по-малу разошлось и остальное общество по своимъ экипажамъ. Въ большой комнатѣ остались только: Катушкинъ, Церберомъ расположившійся на диванѣ, у самыхъ дверей дамской комнаты, Ледоколовъ съ малороссомъ, нашедшіе себѣ без-

конечныя темы для разговора, и пара ботфортъ, такъ и непросыпавшаяся съ тѣхъ поръ, какъ завалилась съ вечера, только теперь эти ботфорты были согнуты подъ прямымъ угломъ, грозя всѣмъ близко проходившимъ своими ржавыми шпорами, и виднѣлись еще широко натянутые, вытертые отъ давняго употребленія кавалерійскіе рейтузы и развороченныя полы таковаго-же сюртука, изъ кармана котораго висѣлъ конецъ бумажнаго цвѣтного платка и блестѣла стальная окова портсигара.

— Да, капитальныя залежи, такія, что стоитъ надъ ними повозиться,—разсказывалъ малороссъ.—А въ каменномъ углѣ нужда предстоитъ великая, такая, что безъ него, пожалуй, ничего не пойдетъ...

— Лѣсовъ мало?

— Какіе лѣса, все сады... не станетъ-же сартъ рубить на дрова деревья, которыя разсаживалъ поштучно, ну, валитъ онъ только тѣ, что попорчены, ихъ на небольшой обиходъ хватаетъ... Ну, а заводская дѣятельность—это совсѣмъ другая статья...

— Мы съ вами, кажется, уже имѣемъ удовольствіе быть знакомыми?—приподнялся Катушкинъ съ своего дивана.

Онъ присмотрѣлся къ говорившему и узналъ его.

— Да-съ, припоминаю. Вы у Хмурова прежде служили, потомъ у Перловича, потомъ у... кого, бишь, это еще?...

— Да мало-ли у кого, вотъ у Федорова, потомъ самъ по себѣ пробовалъ; къ Перловичу опять перешелъ, да мы не поладили... Во многихъ мѣстахъ...

— Теперь у кого?

— У Лопатина, Ивана Илларіоновича; вы еще ихъ не изволите знать? Изъ новыхъ негоціантовъ!

— Слыхалъ проѣздомъ въ Самарѣ, потомъ въ Оренбургѣ!

— Помогите, помогите!—раздался вопль за перегородкою. Это былъ голосъ госпожи Брозе. Катушкинъ рванулся на призывъ.

— Что случилось, что?..—спрашивалъ онъ.

Холодный, предразсвѣтный вѣтеръ врывался въ открытое окно. Фридерика Казиміровна закрылась съ головою подъ одѣяло и оттуда только слышалось сперва громко, потомъ все тише и тише:—«Помогите... ахъ, помогите... помогите»... Адель приподнялась и испуганно смотрѣла на открытое окно; рука ее

держалась за мѣдный подсвѣчникъ, готовая къ защитѣ. Въ комнатѣ было почти темно, потому что вѣтеръ затушилъ свѣчу.

— Что случилось?—спрашивалъ Катушкинъ, цѣломудренно отворачиваясь отъ полуоткрытаго бюста Адели.

— Я сама не понимаю, — говорила дѣвушка. — Окно распахнулось, кто-то ввалился, упалъ, опрокинулъ вонъ тотъ столъ и опять ушелъ черезъ окно. Я не понимаю, что это такое?..

— Разбойники, это разбойники.. —стонала госпожа Брозе.

Катушкинъ сообразилъ кое-что. Онъ подошелъ къ окну заглянулъ въ него,—захлопнулъ и заперъ задвижки, улыбнулся и собирался уходить.

— Ну, спите спокойно; теперь къ вамъ никто больше не ввалится, я принялъ мѣры!

— Иванъ Демьяновичъ!—Фридерика Казиміровна выглянула немного изъ-подъ одѣяла.

— Что прикажете?

— Спите здѣсь съ нами...

— Мама, это что за глупости?..—произнесла Адель.

— Ада, молчи:—Ну, или вотъ что, возьмите пистолетъ и ходите подъ окномъ...

— Не безпокойтесь больше; я за вашу безопасность ручаюсь. Прощенья просимъ-съ, пріятнаго сна-съ. Ну, народъ!—вздохнулъ Иванъ Демьяновичъ, выходя опять въ общую комнату.

Ледоколовъ и малороссъ вышли на крыльцо, намѣреваясь тоже провести остатокъ ночи въ экипажахъ.

Всѣ тарантасы, не смотря на то, что лошади, привезшія ихъ, спокойно и совершенно отдѣльно отъ нихъ жевали овесъ у колоды, поскрипывали и покачивались; это въ нихъ возились, укладываясь на покой, ихъ владѣльцы. Вездѣ слышались шопотъ вздохи, сопѣніе и даже иногда легкое чмоканье...

У одного тарантаса, засунувши голову подъ экипажный фартукъ и привставъ на подножку, виднѣлась спина въ казачьемъ мундирѣ.

— Маня...—шептала спина.

— Тсъ! Мужъ можетъ проснуться!—чуть слышно говорилъ изъ тарантаса голосъ кучеренка.

— Ты придешь ко мнѣ, не правда-ли?.. Вонъ стоитъ моя коляска. Ангелъ мой, я буду ждать...

— Убирайся, продулся весь въ пухъ, а туда-же лѣзетъ съ нѣжностями!

— Маня, вѣдь не въ деньгахъ счастіе... жизнь моя...

— Тише!

Въ тарантасѣ послышалось откашливаніе... Спина въ казачьемъ мундирѣ отскочила.

— Ты, Манюся, однако, очень не заходи!—шепталъ зеленоватый чиновникъ.

— Безъ тебя знаю!—отвѣчала его «Манюся».

Невдалекѣ блеснулъ огонекъ сигары. Тамъ, закутавшись въ туземный халатъ, сидѣлъ Спѣлохватовъ. Ему не спалось, и онъ разсчитывалъ что-то, то загибая, то разгибая вновь свои изящные пальцы.

— Вотъ, батенька, попался было, — говорилъ сидящій на водопойной колодѣ блондинъ съ длинными усами.—Задвижку-то *онъ* не заперли, я прислонился, понажалъ: окно бацъ! и распахнулось, а я стоялъ въ это время на одной ногѣ... что-то опрокинулось у нихъ, зазвенѣло сильно...

Онъ потеръ себѣ рукою колѣно, и прихрамывая немного, пошелъ куда-то въ темный уголъ.

— Вотъ вамъ причина тревоги, слышали?—замѣтилъ малороссъ.—Ну, прощайте пока!

Скоро все успокоились окончательно.

Съ солнечнымъ восходомъ все уѣхало со станціи. Дормезъ раньше всѣхъ выбрался на дорогу, благодаря предусмотрительности Ивана Демьяновича и его знакомству съ смотрителемъ.

Уже на двадцатой верстѣ обогналъ его тарантасикъ Ледоколова, и когда ямщикъ свернулъ лошадей немного на косогоръ, чтобы объѣхать дормезъ, то Ледоколовъ замѣтилъ, какъ изъ окна дормеза весело улыбалось и кивало ему хорошенькое, молодое личико.

— Адель, ты ведешь себя непозволительно!—укоряла дочку Фридерика Казиміровна.

— Только-бы довезти да сдать благополучно, а тамъ не наше дѣло!—бормоталъ Катушкинъ, сидя на козлахъ и пуская дымокъ изъ своей трубочки.

— Эй вы, други!—покрикивалъ ямщикъ.

Бурченко, — такъ звали малоросса, — сидѣлъ рядомъ съ

Ледоколовымъ и приподнялъ свою фуражку, замѣтивъ дѣвушку въ окнѣ дормеза.

Пріятели уговорились продолжать путь дальше вмѣстѣ, на половинныхъ издержкахъ, что оказалось весьма удобнымъ и для того, и для другого.

Звонко гудѣли колокольчики; весело смотрѣло солнце, поднявшееся надъ зубчатою линіею губерлинскихъ горъ; еще не просохшія послѣ ночного ливня скалы сверкали миріадами блестокъ, и серебристыми нитями тянулись по дорогѣ наполненныя водою колеи.

Начинало пригрѣвать. Свѣжій горный воздухъ такъ животворно дѣйствовалъ на нервы путешественниковъ, возбуждая аппетитъ и заставляя ихъ пристально всматриваться въ даль, въ то мѣсто, гдѣ изъ-за густой зелени, въ лощинѣ, краснѣла крыша новой почтовой станціи.

VI.

„Энергическія мѣры".

— Вотъ это, видите, вправо, кустики чуть чернѣютъ за тѣмъ бугромъ,—это уже послѣдніе; и не встрѣтите вы долго теперь ни одного путника... потому началась степь...

Бурченко, произнося эту фразу, пустилъ кольцомъ дымокъ изъ своей маленькой трубочки и задумчиво сталъ вглядываться въ безпредѣльную равнину, разстилавшуюся передъ глазами путешественниковъ.

— Вонъ и церковь орская почти пропала изъглазъ; прощай, Русь! На долго-ли?—вздохнулъ Ледоколовъ, привставъ въ тарантасѣ, и оглянулся назадъ.

— А что загадывать, — обживетесь; придется по душѣ — можетъ, и на всю жизнь останетесь; а нѣтъ — что же, вы къ тому краю не пришиты: въ томъ-же тарантасикѣ и назадъ пріѣдете! — говорилъ спутникъ и сталъ напѣвать сквозь зубы какой-то характерный малороссійскій напѣвъ.

Маленькій, легкій, прочный, словно выкованный изъ литой стали тарантасъ казанской работы тихонько катился по мягкой степной дорогѣ. Ямщикъ киргизъ, спустивъ совсѣмъ съ плечъ грязную рубаху и подставивъ свою темно-бронзовую, закопче-

ную дымомъ и покрытую толстымъ слоемъ жирной грязи спину подъ жаркіе лучи полуденнаго солнца, дремалъ на козлахъ, распустивъ веревочныя возжи. Лошаденки киргизскія, заморенныя усиленною гоньбою, чуть плелись, что называется, собачьею рысцою, обмахивая хвостами степныхъ оводовъ, цѣлыми роями налетавшихъ на ихъ наболѣвшія, покрытыя ссадинами спины.

Давно миновали кое-какіе поля и огороды, разведенные орскими жителями, миновали бакшу съ арбузами, что, на десятой верстѣ отъ городка, въ самой степи засѣялъ казакъ-переселенецъ, миновали и сторожевой шалашъ его, долго еще чернѣвшій вдали, какъ только кому-нибудь изъ путешественниковъ приходила охота взглянуть назадъ; и съ обѣихъ сторонъ дороги теперь только колыхались подъ легкимъ вѣтромъ сѣдыя верхушки степного ковыля и тощіе, полувысохшіе стебельки какой-то травки; кое-гдѣ зеленѣлись отдѣльныя небольшія пространства; тамъ, словно вставленные кусочки зеркалъ, сверкали стоячія мелководныя лужи. Какія-то бурыя, горбатыя массы медленно двигались, то опуская къ самой землѣ, то поднимая кверху длинныя, мохнатыя шеи; это паслись двугорбые верблюды, принадлежащіе ближайшимъ кочевникамъ. По дорогѣ навстрѣчу попадались киргизы, то верхомъ на маленькихъ лошадкахъ, то на верблюдахъ, ѣдущіе въ Орскъ на тамошній базаръ пріобрѣсти себѣ промѣномъ на свой товаръ что-нибудь необходимое для своего несложнаго хозяйства. Равнодушно смотрѣли они на русскій тарантасъ; Ледоколову показалось даже, что изъ-подъ густой тѣни бараньихъ малахаевъ сверкаютъ далеко не ласковые взгляды. Киргизы неохотно давали дорогу экипажу, хотя въ степи мѣста для разъѣзда было не мало.

— Ишь, волками какими смотрятъ! — замѣтилъ Ледоколовъ.

— Не съ чего имъ барашками прикидываться, — произнесъ Бурченко. — Вонъ женщины ихъ ѣдутъ. Вы еще не видали, чай, такихъ амазонокъ?

Онъ указалъ на двѣ оригинальныя фигуры въ красныхъ архалукахъ и въ высокихъ бѣлыхъ тюрбанахъ, карьеромъ пронесшіяся мимо тарантаса.

— Гмъ, наѣздницы...

— А вонъ кибитки стоятъ. Видите? Вонъ правѣе, верстахъ въ трехъ, словно улья торчатъ!

— Вижу!

— Вотъ погодите, поближе ихъ разсмотрите. Долго намъ не видать теперь другого жилья, кромѣ этихъ кошемныхъ дворцовъ!

Помолчали съ полчасика.

— А мы вѣдь уже черезчуръ тихо ѣдемъ!—началъ Ледоколовъ.

— Да, не торопимся!—отвѣчалъ Бурченко.

— Что-же, мы всю дорогу будемъ такъ тащиться?

— Надо полагать!

— Эй, ты, какъ тебя звать, погоняй, что-ли!

Ледоколовъ, приподнявшись, толкнулъ легонько въ спину дремавшаго ямщика:

— Гей, гей!—сипло прикрикнулъ киргизъ, махнулъ лѣниво рукою и опять задремалъ; только теперь спустился съ козелъ на самыя дроги, вѣроятно, во избѣжаніе повторенія побудительныхъ толчковъ Ледоколова.

— Оставьте, толку никакого не будетъ, повѣрьте,—говорилъ Бурченко, — клячи ихъ совсѣмъ заморены. Вѣдь раза два въ день гоняютъ, а станція безъ малаго полсотни верстъ... Доѣдемъ какъ-нибудь!

Пришлось переѣзжать черезъ широкую водомоину, на днѣ которой стояла сгустившаяся отъ лѣтнихъ жаровъ, черная, илистая грязь. Тихонько спустились туда лошади, завязили тарантасъ по самыя ступицы и стали.

А по дорогѣ навстрѣчу ѣхалъ конный киргизъ, въ поводу велъ онъ другую лошадь, тоже осѣдланную. Увидѣлъ онъ тарантасъ, остановился въ сторонѣ и сталъ равнодушно поглядывать: чѣмъ, молъ, все это кончится?

Побился немного съ усталыми лошадьми проснувшійся ямщикъ; вылѣзли пассажиры, даже сами приняли участіе, ухватившись за какія-то веревочки; покричали, пошумѣли, похлестали лошадей по бокамъ и подъ брюхо... Тарантасъ съ мѣста не двигался.

А тѣмъ временемъ къ киргизу, безучастному зрителю, подъѣхали еще человѣка три верховыхъ и тоже остановились неподалеку, молча наблюдая за всѣмъ происходившимъ.

— Ну, что-же мы будемъ дѣлать? — спросилъ ямщика Бурченко по-киргизски.

— А ничего, видишь, не берутъ; устали очень и не берутъ!—отвѣчалъ спокойно киргизъ; сплюнулъ, почесалъ спину и отошелъ въ сторону.

— Отдохнутъ — возьмутъ! — хладнокровно произнесъ онъ въ отвѣтъ на недоумѣвающіе взгляды Ледоколова.

— Подсобите, вы, эй! — крикнулъ Бурченко киргизамъ-зрителямъ.

Тѣ переглянулись, усмѣхнулись и не трогались съ мѣста.

— Что-же вы?!

— А намъ что!—отвѣчалъ одинъ изъ нихъ.—Почемъ барановъ продалъ, Гассанъ, вчера въ Орскѣ?—обратился онъ къ товарищу, слѣзшему съ лошади.

— Дешево. Мясники тамъ сбились; цѣны настоящей не даютъ, а назадъ въ степь гнать не хотѣлось!

— Да помогите-же! Что вамъ трудно, что-ли?

— Лошади къ вашимъ арбамъ непривычны!

— Я заплачу вамъ, коли хотите!—велъ Бурченко переговоры.

— А что дашь?

— А вотъ это дамъ!

Бурченко показалъ двугривенный.

— Мало!

— Два дамъ!

Киргизъ отрицательно покачалъ головою.

— Ну, больше не дамъ.

Киргизы еще разъ переглянулись и тронулись своею дорогою.

— Дайте, сколько хотятъ. Не сидѣть-же намъ, въ самомъ дѣлѣ, пока отдохнутъ эти клячи! — обратился Ледоколовъ къ своему товарищу.

— Погодите, я ихъ натуру знаю! — произнесъ Бурченко, полѣзъ въ тарантасъ и принялъ тамъ самую спокойную позу, словно дѣйствительно намѣренъ былъ хоть цѣлыя сутки провести въ такомъ положеніи.

— Ну, хорошо! — неожиданно подъѣхалъ сзади вернувшійся киргизъ.—Мы тебѣ поможемъ... Гайда, берись!

Два всадника заскакали съ обѣихъ сторонъ тарантаса, подхватили его веревочными арканами, гикнули и вынеслись на противоположный берегъ водомоины. Только комья грязи полетѣли изъ-подъ колесъ, и испуганныя почтовыя лошади еще

съ добрую четверть версты пронеслись вскачь, путаясь въ оборвавшихся постромкахъ.

— Ну, давай деньги!—подъѣхалъ вплотную къ тарантасу одинъ изъ помогавшихъ киргизъ.

Бурченко расплатился.

— Мы смотрѣли: будешь ты бить ямщика или не будешь?

— За что-же бить-то его?

— Ваши вѣдь все бьютъ нашихъ. Ну, такъ вотъ мы и смотрѣли. За то и помогли, что не билъ, а сталъ-бы бить, мы-бы...

Киргизъ замялся немного, пряча деньги въ плоскій кожаный кошелекъ, висѣвшій у пояса.

— А если-бы мы его стали бить?..—спросилъ Бурченко.

— Ну, мы тогда-бы уѣхали. Вылѣзай самъ изъ грязи, какъ знаешь!

— Резонно!—замѣтилъ Бурченко и перевелъ весь разговоръ Ледоколову.

— Вотъ какъ! Вотъ тутъ и примѣняй къ дѣлу тѣ нагаечныя теоріи, что предлагалъ штабъ-офицеръ съ бакенбардами, помните, что тремя днями выѣхалъ раньше нашего!

— Погодите, еще не то увидите!

Кромѣ этого небольшого эпизода, другихъ развлеченій не предстояло болѣе нашимъ путешественникамъ. Скучная, ровная, словно по шнуру вытянутая линія степного горизонта утомительно дѣйствовала на зрѣніе; глаза слипались; одолѣвала сильная дремота, голова невольно отыскивала мягкій уголъ кожаной дорожной подушки.

Бурченко затянулъ теноромъ какую-то пѣсню: ямщикъ оглянулся, оскалилъ зубы и затянулъ что-то свое.

Лѣнивое бряканье разбитаго колокольчика все слабѣе и слабѣе слышалось въ ушахъ Ледоколова, словно лошади вмѣстѣ съ дугою и колокольчикомъ уходили куда-то далеко-далеко отъ тарантаса... Пѣсня Бурченко о томъ, какъ орелъ сидѣлъ на курганѣ, нѣсколько разъ прерывалась носовымъ свистомъ и даже похрапываніемъ и, наконецъ, замолкла... Тихо, спокойно покачивался тарантасъ на своихъ эластическихъ дрогахъ. Откинувшись въ одинъ уголъ, полураскрывъ ротъ, спалъ Ледоколовъ, и теплый степной вѣтеръ скользилъ по его лицу, путая его густую бороду Бурченко спалъ въ другомъ углу, уткнувшись

лицомъ въ подушку и стиснувъ зубами давно уже потухшую трубочку.

— Заснули, дьяволы!—проговорилъ про себя ямщикъ, присмотрѣвшись къ обоимъ пассажирамъ, и самъ поспѣшилъ свернуться клубкомъ на козлахъ, привязавъ возжи за какую-то скобку.

А привычныя лошади шли да шли себѣ ровною, тихою рысцою и только немного надбавили ходу, когда завидѣли вдали бѣловатую точку почтовой землянки.

Солнце садилось, когда тарантасъ подъѣхалъ къ станціи и остановился передъ входомъ въ низенькую саклю-землянку съ провалившейся крышею, изъ-за которой торчало колѣно трубы отъ желѣзной печки. Повѣшенная на деревянныхъ колкахъ кошма замѣняла дверь. Поломанный столъ и два табурета,—единственная мебель «станціоннаго дома»,—были вынесены на свѣжій воздухъ и стояли у глинобитной стѣнки дворика, предназначеннаго для лошадей.

Теперь только груды перегорѣвшаго навоза и клочья коекакой упряжи свидѣтельствовали о его назначеніи. Въ углу этого дворика стояла старая желомейка, около нея лежалъ ящикъ повозки и приставлена была сломанная ось. Красный, ощипанный пѣтухъ забрался на самую верхушку желомейки и усаживался поспокойнѣе, вѣроятно, разсчитывая тамъ провести наступающую ночь.

Нѣсколько поодаль лежала на боку совершенно потерявшая силы, загнанная лошадь и только чуть-чуть отдѣлила отъ земли свою страдальческую голову и пошевелила ушами, когда послѣдній разъ звякнулъ колокольчикъ остановившейся тройки.

— Ге! Ге! Урумбай! — крикнулъ ямщикъ, прислушался и сталъ неторопливо слѣзать съ козелъ.

Отвѣта не послѣдовало.

— Ге! Ге!—повторился призывный крикъ.

— А, пріѣхали?—очнулся Ледоколовъ, приподнялся и сталъ удивленно озираться кругомъ.

— Чего вскочили? Спите; еще долго придется ждать,— не безъ ироніи произнесъ Бурченко.—Видите, ни одной лошади нѣтъ, да и ямщиковъ не видать. Должно быть, всѣ въ разгонѣ!

— Что-же мы будемъ дѣлать?

— Ждать, пока вернутся. Ночевать здѣсь придется. Что-же, переночуемъ. Дѣло бывалое. «Субаръ-ма» *)? — обратился Бурченко къ ямщику.

— Кудукъ-баръ **)! — отвѣчалъ тотъ, махнувъ въ сторону рукою.

— Что это вы? — спросилъ Ледоколовъ.

— А вотъ насчетъ чаю справки навожу. Пойди, принеси ведро воды и огонь разложи, вотъ тутъ у стѣнки. Чаю дамъ тебѣ за это! — говорилъ онъ ямщику.

— Чаю? — ухмыльнулся тотъ. — , жаксы! (хорошо) И баранковъ дашь?

Киргизъ слово *баранковъ* произнесъ по-русски. Онъ приглядѣлся къ этого рода хлѣбу, которымъ обыкновенно запасаются путешественники по степи.

— И баранковъ дамъ!

Ямщикъ отпрегъ лошадей и пустилъ ихъ прямо въ степь. Тѣ отошли шаговъ полтораста, мимоходомъ обнюхали лежащую лошадь и принялись щипать сухую травку и валяться на спинѣ, дрыгая во всѣ стороны своими разбитыми ногами.

Черезъ четверть часа огонь весело горѣлъ, облизывая и коптя шероховатую поверхность стѣнки, въ которую вколоченъ былъ желѣзный крюкъ, а къ крюку подвѣшенъ былъ объемистый мѣдный чайникъ, налитый мутною, нѣсколько солоноватою на вкусъ водою.

Быстро стемнѣло въ степи. Послѣдніе отблески вечерней зари давно уже потухли, и со степи потянуло сыроватымъ холодомъ. Тарантасъ, землянка, верхушка желомейки съ неподвижно, словно какой-то буроватый комокъ, сидящимъ пѣтухомъ, околѣвающая лошадь... все исчезло, поглощенное густымъ мракомъ. Только черные силуэты нашихъ путешественниковъ да оригинальная фигура ямщика-киргиза, сидѣвшаго на корточкахъ въ ожиданіи обѣщаннаго чая, отчетливо рисовались на ярко освѣщенной части стѣнки.

Дорожный погребецъ поставленъ былъ вмѣсто столика; хозяйничать взялся Бурченко, и въ настоящую минуту онъ, вооруженный полотенцемъ, усердно перетиралъ стаканы и прочія принадлежности чаепитія.

) Вода есть?
) Колодезь есть.

— Много народу вашего ѣдетъ въ степь нынче!—произнесъ киргизъ и сталъ ощупывать рукою хитрыя металлическія оковки дорожнаго несессера.

— Это еще что за много! Вотъ, погоди, скоро еще больше поѣдутъ!—угрожающимъ тономъ отвѣчалъ Бурченко.

— Вой-вой!—покачалъ головою ямщикъ.—И скоро поѣдутъ?

Онъ поближе придвинулся къ огню и внимательно слѣдилъ глазами, какъ Ледоколовъ отвинчивалъ пробку-стаканчикъ у своей оплетенной фляги.

— Скоро!

— Цсъ... Бѣда! — Киргизъ вздохнулъ.—Отчего они все такіе сердитые?

— Чѣмъ?

— Извѣстно, чѣмъ!—Онъ почесалъ спину.—Дерутся больно.

— А какъ-же васъ не бить?

Бурченко засмѣялся и хлопнулъ киргиза по плечу.

— Хе-хе,—осклабился ямщикъ.—Что-же, это все начальники ѣдутъ?

— Начальники.

— Большіе?

— Нѣтъ, маленькіе, большіе послѣ поѣдутъ

— Вотъ бѣда будетъ!

— Это почему?

— Какъ почему? Вотъ съ четвертой станціи всѣ ямщики разбѣжались; насилу послѣ собрали. А ты спрашиваешь: почему?

Изъ степи донеслись какія-то дикія завыванія. Пасущіяся лошади, впрочемъ, нисколько не выражая безпокойства, не обращали никакого вниманія на эти звуки.

— Что это, волки?—поднялъ голову Ледоколовъ и потянулся за своимъ ружьемъ.

— Нѣтъ, верблюды,—отвѣчалъ Бурченко.—Тутъ аулъ, можетъ, гдѣ-нибудь неподалеку, а то такъ караванные пасутся!

— Аулъ близко; десять кибитокъ!—сказалъ киргизъ, понявшій, о чемъ идетъ рѣчь.

Чай поспѣлъ, и Бурченко началъ разливать его по стаканамъ. Ямщику онъ налилъ въ тыквенный ковшъ, который тотъ принесъ изъ желомейки. Когда онъ туда ходилъ, то путешественникамъ показалось, что ямщикъ съ кѣмъ-то тихо разговаривалъ.

Бурченко и Ледоколовъ переглянулись.

— Вы слышали?

— Можетъ, это онъ самъ съ собою!

— Нѣтъ, другой голосъ. Развѣ тамъ кто есть? — спросилъ Бурченко ямщика.

— Никого нѣтъ тамъ, всѣ уѣхали... кому тамъ быть...

Киргизъ, видимо, смущенъ былъ этимъ вопросомъ.

— А вотъ я погляжу!

Бурченко всталъ и шагнулъ по направленію къ желомейкѣ.

— Не надо ходить, зачѣмъ? Тамъ больной ауру... Человѣкъ совсѣмъ никуда не годится! — ухватилъ его за полы киргизъ.

— Ну, чортъ съ нимъ, коли никуда не годится!

— Можетъ быть, помочь ему чѣмъ-нибудь можно. Со мною всякія средства есть, — замѣтилъ Ледоколовъ. — Зажгите-ка фонарь!

— Не надо ходить! — бормоталъ ямщикъ.

— Ладно!

Всѣ трое пошли черезъ дворикъ. Впереди Ледоколовъ съ фонаремъ, за нимъ Бурченко; сзади всѣхъ ямщикъ, значительно поодаль, запрятывая на ходу что-то къ себѣ въ шаровары. Онъ успѣлъ воспользоваться удобнымъ случаемъ и стащилъ цѣлую связку баранокъ.

Какой-то странный шорохъ послышался внутри жилища, когда Ледоколовъ взялся за кошму, служащую вмѣсто двери

Вошли, подняли высоко фонарь и освѣтили внутренность желомейки. Мятая, грязная до-нельзя солома валялась на полу; тутъ-же лежали два рваныхъ хомута и сломанная дуга. Старый чугунный котелъ, весь проржавѣвшій, стоялъ на треногѣ посрединѣ. Никакого живого существа, кромѣ прыгающихъ по всѣмъ направленіямъ блохъ, не было въ желомейкѣ.

— Что за чортъ? — пожалъ плечами Бурченко.

— Никого нѣтъ! — удивился Ледоколовъ. — Но я самъ слышалъ. Я не могъ до такой степени ошибиться!

— Стой! Я видѣлъ босую ногу въ этой прорѣхѣ, — говорилъ Бурченко. — Какъ только мы вошли, она прежде всего попалась мнѣ на глаза; теперь ея нѣтъ. Онъ выползъ подъ кошмою, съ противоположной стороны. Тсъ!..

Оба замолчали и стали прислушиваться.

— Да не бойся, это добрые! — тихо говорилъ кому-то ямщикъ, не входившій въ кибитку.

— Бить будутъ...—чуть слышно стоналъ другой голосъ.— Урумбайку бить будутъ!

Путешественники поспѣшили выйти на свѣжій воздухъ. Да и пора было: грудь сжималась отъ нестерпимой вони, наполнявшей все тѣсное помѣщеніе ульеобразнаго жилища.

Вся голая, съ сине-багровыми полосами, тянувшимися крестообразно по плечамъ, спинѣ и худымъ, выдающимся ребрамъ, съ распухшимъ колѣномъ, обмотаннымъ грязными тряпками, полусидѣла жалкая фигура еще не стараго киргиза и пугливо глядѣла на русскихъ учащенно моргающими, слезящимися глазами. Но кромѣ безотчетнаго страха, въ этомъ дикомъ взглядѣ чудилось что-то недоброе.

Такъ смотритъ волкъ, пойманный въ капканъ, когда къ нему подходитъ охотникъ-промышленникъ и, поплевывая на рукавицы, стискиваетъ рукоять топора, обухомъ котораго намѣренъ прикончить пойманнаго. лишеннаго возможности защищаться разбойника.

— Зачѣмъ Урумбайку бить.. Урумбайку бить не надо... Его уже много-много били... — хрипло бормоталъ киргизъ и все плотнѣе и плотнѣе жался къ кибиточной кошмѣ, словно хотѣлъ продавить ее этимъ движеніемъ.

— Не будутъ тебя бить; это не такіе!—уговаривалъ его ямщикъ.

— Лошадей нѣтъ... ямщиковъ нѣтъ, Урумбайка ходить не можетъ...

— Не тронемъ тебя, не бойся... Хочешь, чаю дадимъ тебѣ, хлѣба?—ласково нагнулся къ нему Бурченко.—Экъ исполосовали его, сердечнаго!

— Но это звѣрство!—возмутился Ледоколовъ.—Я думалъ, что разсказы всѣ преувеличены... Это ужасно!

— Самыя обыкновенныя явленія; не то еще увидите. Эй, ты, бери его подъ мышки, тащи къ огню!—распорядился Бурченко.

Ямщикъ подхватилъ избитаго подъ мышки и поволокъ къ огню; несчастный еще кое-какъ дѣйствовалъ лѣвою ногою, за то правая, совершенно парализованная, безпомощно тащилась, бороздя густой слой пыли.

— Урумбайка ѣсть хочетъ... Изъ аула никто не приходилъ, а туда не могъ дойти: больно...

— И ѣсть тебѣ дадутъ... Ахъ, ты, проклятая

Бурченко бѣгомъ кинулся къ оставленному безъ наблюденія бивуаку

Какая-то тощая, облѣзлая собака, ни вѣсть откуда появившаяся, пробилась по самомъ стѣнкѣ, поджавъ хвостъ между ногъ и боязливо оглядываясь. Нѣсколько шаговъ отдѣляло ее отъ соблазнительно пахнувшихъ путевыхъ припасовъ, и только голосъ Бурченко заставилъ ее мгновенно исчезнуть въ той самой темнотѣ, изъ которой она такъ неожиданно появилась.

— Кто же это тебя билъ?—разспрашивалъ Бурченко киргиза, когда всѣ четверо усѣлись у огня.

— Проѣзжій вчера билъ!—хрипѣлъ и захлебывался Урумбай жадно теребя зубами поданый ему большой кусокъ холоднаго мяса.

Не прошло и десяти минутъ, какъ несчастный совсѣмъ ободрился, подползъ къ самому огню, съ видимымъ наслажденіемъ отогрѣвалъ свои избитые члены и пересталъ вздрагивать при каждомъ неожиданномъ движеніи кого-нибудь изъ русскихъ, что безпрестанно дѣлалъ сначала.

— Вотъ оно, что значитъ пуганая ворона! — замѣтилъ Бурченко, выгребая прутикомъ уголекъ для своей трубочки.

— Рано утромъ вчера,—разсказывалъ Урумбай,—пріѣхалъ большой тарантасъ, фонари по бокамъ, фонарь на верху, кругомъ стекла, какъ въ комендантскомъ домѣ, въ Орскѣ; я такого еще и не видалъ... Въ прошломъ году вотъ самый большой генералъ проѣзжалъ, такъ у того былъ хуже... А тяжелый какой—бѣда! Одной тройки мало было, а на станціи было всего двѣ тройки да вонъ эта...—киргизъ кивнулъ въ ту сторону, гдѣ лежала околѣвающая лошадь.—Ну, та уже больше не годится. Въ тарантасѣ этомъ двѣ женщины и мужчина ѣхали очень ужъ они хорошо деньги платили.

— Это лопатинскія... помните? — обратился Бурченко къ Ледоколову.

Тотъ кивнулъ головою.

— Ямщикъ, что привезъ ихъ, говорилъ: на водку цѣлую горсть копеекъ дали; считалъ, считалъ онъ ихъ, да надоѣло, такъ и запряталъ въ шаровары, до другого раза... А тутъ слухъ былъ, изъ ауловъ приходили и сказали: будетъ курьеръ скоро изъ Орска... Какъ я отдамъ всѣхъ лошадей?! Однако, отдалъ... всѣхъ отдалъ. Ну, не успѣли они еще совсѣмъ отъѣхать, смотрю, еще бѣжитъ маленькій тарантасъ, сидитъ въ

немъ такой толстый, высокій, борода черная... кричитъ, еще вонъ съ того мѣста кричитъ: лошадей скорѣй! Бить буду!.. Вылѣзъ онъ, глазами во всѣ стороны ворочаетъ; цапъ меня за воротникъ... Гдѣ я возьму лошадей, всѣ уѣхали, большой тарантасъ тоже уѣхалъ. Никого нѣтъ кругомъ, только мальчикъ у меня былъ, такой баранчукъ маленькій,—Урумбай показалъ на аршинъ отъ земли,—спрятался онъ за трубу, на крышу, и оттуда выглядываетъ... Я и самъ хотѣлъ спрятаться, да не успѣлъ... а вырваться не могу, держитъ крѣпко. «Подожди, тюра»,—говорю, а тотъ-то меня бацъ! прямо въ глазъ кулакомъ, вонъ подбилъ какъ! Сталъ я рваться, и кричать, и уже ничего не помню. Можетъ, я его самъ какъ-нибудь нечаянно ударилъ, можетъ быть, и не трогалъ. Прижалъ онъ меня къ самой землѣ, подтащилъ къ своему тарантасу, вынулъ нагайку и принялся дуть... билъ, билъ онъ меня... Я сперва считалъ, думалъ послѣ жаловаться бію, такъ чтобы счетъ знать... Да гдѣ ужъ тутъ... говоритъ: покуда лошадей не приведешь, до тѣхъ поръ бить не перестану. А сильный какой — десяти нашихъ мало, чтобы съ нимъ справиться... Кричу я баранчуку: бѣги въ аулъ, проси, кланяйся, можетъ, кто дастъ лошадей хоть пару... Побѣжалъ мальчишка. Ну, самъ знаешь, пока добѣжалъ, пока что; изъ степи тоже не скоро приведутъ, найти ихъ сперва надо, степь-то велика. А тотъ-то все говоритъ: пока не приведутъ, не перестану... Привязалъ онъ меня къ колесу, да и лупитъ; перестанетъ на минуту, отдохнетъ, табаку покуритъ и опять... Ужъ мнѣ потомъ и не больно было... Ничего не помню. Какъ лошадей привели, какъ уѣхалъ проклятый медвѣдь... ничего не помню. Очнулся я, когда темнѣть уже стало. Такъ вотъ всю ночь и сегодняшній день и провалялся въ желомейкѣ. Слышу, вы пріѣхали, страхъ на меня такой напалъ, думаю опять бить будутъ, притаился я и Богу молюсь.. А ужъ какъ сюда вы ко мнѣ шли, такъ ужъ думалъ, что совсѣмъ мой конецъ пришелъ: добьютъ меня теперь ужъ совсѣмъ до смерти, потому теперь до завтра привести лошадей не откуда. А тотъ-то меня сильно билъ,—я бы еще не выдержалъ; немного бы ничего, а много не выдержалъ...

Киргизъ наивно посмотрѣлъ на проѣзжихъ и еще разъ повторилъ:

— Нѣтъ, Урумбайка больше бы не выдержалъ. Вотъ тутъ

больно, — онъ взялся за лѣвый бокъ. — На ноги встать не могу: спина не позволяетъ...

— Араку хочешь? Это хорошо, помогаетъ скоро!—предложилъ ему Бурченко.—Будешь пить?

— Давай аракъ!

Киргизъ жадно, сквозь зубы, прихвативъ обѣими руками поданную ему чарку, вытянулъ водку.

— Любишь?

— Аракъ джаксы, копъ джаксы аракъ! Я поползу въ аулъ, къ утру, можетъ, тамъ буду, и пришлю вамъ лошадей!

— Я самъ съѣзжу,—вызвался привезшій путешественниковъ киргизъ.—Гдѣ ужъ тебѣ! Еще волки сгложутъ дорогою... На водку дашь? — обратился онъ къ Бурченко.

— А вотъ приведешь лошадей—дамъ. Посмотримъ, такъ ли подѣйствуютъ деньги, какъ нагайки этого бородача!

— А вѣдь это тотъ самый, что ораторствовалъ тогда. Я его еще въ Самарѣ видѣлъ,—сказалъ Ледоколовъ,—онъ еще все наставленія дорожныя читалъ всѣмъ вновь ѣдущимъ!

— Кромѣ него кому же быть больше! — согласился Бурченко.

— Ну, прощай, я поѣду! — сказалъ киргизъ и пошелъ отыскивать своихъ лошадей.

Несмотря на темноту, онъ справился скоро. Онъ припалъ къ самой землѣ, присмотрѣлся и тотчасъ же замѣтилъ на болѣе свѣтломъ фонѣ ночного горизонта темные силуэты пасущихся клячъ. Черезъ минуту топотъ конскихъ ногъ далъ знать о томъ, что ямщикъ отправился по своему назначенію.

— Ну, такъ какъ же: я полагаю, теперь спать надо. Уберемъ все, какъ слѣдуетъ, и завалимся въ тарантасъ; это самое лучшее! — предложилъ Бурченко.—Да что это вы опять задумались? Хандрить опять начинаете? Стыдно!

— Грустно что-то стало, да и этотъ разсказъ такъ на меня скверно подѣйствовалъ!

— Полноте, на всякое чиханье не наздравствуетесь. Вы много еще услышите и увидите такого, да что я говорю: «такого»,—гораздо почище. И повѣрьте моей опытности, спрячьте вашу чувствительность въ карманъ: мы ѣдемъ въ такую сторону, гдѣ она вовсе неумѣстна!

Они убрали дорожный приборъ и полѣзли въ экипажъ. По-

возились немного, умащиваясь, и успокоились, закурилъ Ледоколовъ сигару, а Бурченко свою носогрѣйку.

— Вотъ въ прошломъ году, напримѣръ,—занималъ своего товарища на сонъ грядущій словоохотливый Бурченко, — я самъ видѣлъ. Барыня тутъ одна проѣзжала, и прехорошенькая, молодая еще совсѣмъ, такое нѣжное, юное созданіи,—съ мужемъ она ѣхала... Вышла она изъ сакли, а киргизъ, скотина, и сыграй надъ нею какую-то шутку, гикнулъ, кажется, на нее изъ-за забора; извѣстно, дикарь нецивилизованный, что съ него взять? Такъ вѣдь что же бы вы думали? Мужъ держитъ за локти сзади киргиза-то, а жена пустою бутылкою изъ-подъ водки по зубамъ его дуетъ... Зубы выбила, бутылку разбила, рожу всю стекломъ изрѣзала... Даже смотрѣть было противно!

— Да чего же вы смотрѣли?

— А что? Что я могъ одинъ сдѣлать? Рѣчи имъ гуманныя читать — не поймутъ, дуракомъ еще назовутъ, а то, пожалуй, тоже бутылкою; съ ними, вѣдь, еще человѣка три было,—по мировымъ учрежденіямъ на службу туда ѣхали,—и посуды съ собою много пустой было!

— И это цивилизаторы?

— Цивилизаторы... Ѣдутъ всякъ по своему дѣлу... Покойной ночи...

— Тсъ?..—приподнялся Ледоколовъ на локтѣ.

— Кто-то возится у насъ подъ тарантасомъ!—сталъ прислушиваться Бурченко.—Кто тамъ?—наклонился онъ, перевѣсившись черезъ облучекъ.

Шорохъ усилился немного; то, что заползло подъ тарантасъ, слегка застонало.

— Это ты, Урумбай, что-ли?

— Гге, Урумбай есть тамъ, Урумбайка!

— Что ты?

— Тюра спать будутъ... Собака придетъ, нехорошій человѣкъ придетъ. Урумбайка стеречь будетъ... Урумбайка не будетъ спать!

— Ну, вотъ мы и подъ охраной!—расхохотался Бурченко.—Итакъ, постараемся заснуть!

— Но этого нельзя допустить. Больной, искалѣченный, почти голый, валяется въ пыли подъ тарантасомъ!

— Ихъ натуру не передѣлаете; это, по-ихнему, въ порядкѣ

вещей. Вы напоили и накормили его, а главное—не били; за это онъ считаетъ себя обязаннымъ отблагодарить васъ, чѣмъ можетъ. Прогоните его изъ-подъ тарантаса, онъ отползетъ два шага и ляжетъ на дорогѣ. А коли ужъ хотите что-нибудь сдѣлать, такъ это вотъ самое лучшее...

Бурченко вытащилъ изъ-подъ ногъ коверъ и сбросилъ его на землю.

— На, вотъ, завернись: все теплѣе будетъ! — крикнулъ онъ Урумбайкѣ.

Затихла возня въ тарантасѣ, заснули, наконецъ, путешественники. Не затихла, не засыпала только вѣчно неугомонная степь... И если замолкли тамъ дневные звуки, то теперь каждый легкій порывъ вѣтра доносилъ съ собою что-то неопредѣленное, то словно звонъ отдаленнаго колокольчика, то тихій, продолжительный свистъ, то слабый крикъ, внезапно оборвавшійся, то шелестъ какого-то ползущаго тѣла, а то и такое, что и самое опытное, самое привычное ухо косоглазаго степняка не разберетъ, что оно такое, и вздрогнетъ во снѣ полудикій конь, навостривъ свои надрѣзанныя уши, и вскочитъ на ноги разоспавшійся верблюдъ, и призоветъ на помощь покровительство пророка наивный номадъ, и шепотомъ скажетъ своему товарищу:

— Слышишь, это проклятый шайтанъ гоняетъ по степи свои атары (стада)!

VII.

Всадникъ, хорошо знающій свое дѣло.

Длиннымъ серебристымъ столбомъ отражалась луна, поднявшись надъ горизонтомъ, въ водахъ Соленогорькаго озера. Этотъ столбъ тянулся черезъ всю водную поверхность, дрожалъ, искрился и былъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ перерѣзанъ черными отмелями. Ни кусточка, ни стебелька не виднѣлось на плоскихъ, пустынныхъ берегахъ; трудно было даже опредѣлить ту черту, что отдѣляла воду отъ сѣроватыхъ песковъ, покрытыхъ кое-гдѣ иломъ и солонцоватымъ налетомъ; казалось, что пески незамѣтно переходили въ воду,—такъ все кругомъ было гладко, ровно.

Темная группа какихъ-то живыхъ существъ виднѣлась въ полуверстѣ отъ озера. Отъ этой группы по временамъ отдѣлялось что-то, двигалось, опять сливалось въ общую массу, да

и вся-то масса, несмотря на то, что находилась на одномъ и томъ-же мѣстѣ, какъ-то странно колебалась, двигалась, и не могло быть сомнѣнія въ томъ, что это были живыя существа, забредшія сюда, чтобы хотя сколько нибудь оживить эту мертвую пустыню.

Это былъ небольшой табунъ дикихъ лошадокъ-кулановъ. Эти животныя любятъ посѣщать подобные солончаки и лизать сѣрый песокъ, пропитанный горьковатою солью.

Нѣсколько кобылокъ дремали, то стоя и опустивъ книзу свои немного ослиныя головы, то лежа плашмя на боку и вытянувъ ноги, какъ лежатъ обыкновенно павшія лошади. Жеребята копошились около своихъ матокъ, вскакивали поминутно на свои тонкія, высокія ножки, прислушивались, подбрыкивали иногда, безъ всякихъ видимыхъ причинъ, задомъ и снова примащивались къ кобыламъ, теребя губами припухшіе, обильные молокомъ сосцы. Десятокъ подростковъ стоялъ плотною кучею и тоже дремалъ. Не дремалъ только одинъ сторожевой, косячный жеребецъ и, держась поодаль, зорко присматривался къ окрестностямъ, тянулъ носомъ воздухъ, настораживалъ уши и, понемногу успокоившись, принимался потихоньку бродить вокругъ косяка, обнюхивая кучки помета и отфыркиваясь.

Тихо и покойно было кругомъ, и робкія животныя, казалось, были совершенно довольны своимъ положеніемъ. Вдругъ жеребецъ вздрогнулъ и даже прискакнулъ на одномъ мѣстѣ. Рысью пробѣжалъ онъ нѣсколько шаговъ по направленію къ водѣ, храпнулъ и замеръ, весь обратившись въ одно, самое напряженное вниманіе. Даже въ табунѣ замѣтно было какое-то безпокойство, и лежавшія кобылки лѣниво поднимались на ноги.

Изъ степи чуть доносился мѣрный, однообразный топотъ. Эти звуки неслись съ противоположнаго берега Соленаго озера. Широко оно въ этомъ мѣстѣ; только въ совершенно ясную погоду можно замѣтить желтоватую береговую полосу. Но по водѣ да еще тихою ночью доходятъ отчетливо и не для такого чуткаго уха, какимъ обладаетъ дикая лошадь.

Успокоился было жеребчикъ, но подозрительные звуки не затихали, не удалялись, а, напротивъ, все яснѣе и яснѣе поражали слухъ. Чу, вотъ еще что-то прибавилось, будто металлъ звякнулъ о металлъ, или кованое копыто наступило на камень

Съ легкимъ ржаніемъ жеребецъ объѣжалъ вокругъ своего косяка, и всѣ куланы сбились въ кучу. Вся куча шагомъ потянулась въ степи, дальше отъ озера, и долго еще виднѣлась темная масса, постепенно уменьшаясь въ своемъ размѣрѣ и сливаясь въ общей линіи темнаго горизонта.

А между-тѣмъ звуки, всполошившіе чуткихъ дикарей, теперь уже опредѣленно достигали до слуха; нельзя было сомнѣваться въ ихъ происхожденіи. То былъ конскій топотъ. Лошадей было двѣ; обѣ онѣ шли собачьей рысью, «тротомъ»; одна ступала тяжелѣе, значитъ, она была подъ всадникомъ, другая—легче, значитъ, ее вели въ поводу. Металлическое стремя звякало по временамъ, можетъ быть, оно задѣвало за оковку какого-нибудь оружія.

Нота какой-то заунывной пѣсни пронеслась надъ озеромъ, усталый конь фыркнулъ и споткнулся. Яснѣе и яснѣе слышалось все это, но только не видно было ни коней, ни всадника. Мглистое туманное отраженіе луннаго свѣта отъ сѣрыхъ песковъ скрывало путника; но вотъ, на самомъ почти берегу, показались темные силуэты, отразились въ озерѣ кверху ногами, исчезли, еще разъ отразились на другомъ мѣстѣ и выдвинулись изъ этого луннаго столба, протянувъ отъ себя по степи длинныя тѣни.

Эхъ, да не одна... то во полѣ дороженька
Пролегала...

Уныло тяпулъ всадникъ и, словно въ дремотѣ, согнулся надъ шеею своего коня, лѣниво помахивая нагайкою.

Если онъ и воспѣвалъ поле, по которому пролегало много дорогъ, то по тому полю, по которому онъ самъ ѣхалъ, не пролегало ни одной. Всадникъ держалъ путь цѣликомъ степью, руководясь ему одному извѣстными соображеніями. Этотъ всадникъ не заблудился. Онъ былъ слишкомъ опытенъ для того, чтобы заблудиться. Онъ хорошо зналъ пустыню, зналъ всѣ ея капризы и особенности. Ему не надо было дорогъ, онъ самъ ихъ прокладывалъ вездѣ, гдѣ только къ тому не представлялось положительно непреоборимыхъ препятствій. Довольно было только взглянуть на этого всадника, на его лошадей, на его вьюки, на то, какъ все это предусмотрительно, съ знаніемъ дѣла, прилажено, чтобы узнать въ немъ травленнаго степного волка, видавшаго на своемъ вѣку разные виды.

Всадникъ былъ одѣтъ въ полосатый сине-сѣрый халатъ туркменскаго покроя, въ кожаныя желтыя шаровары, поверхъ халата, и на головѣ у него былъ ушастый лисій малахай съ краснымъ суконнымъ верхомъ; за плечами висѣлъ одноствольный штуцеръ, таперовскій казачій, за кушакомъ, подтягивающимъ шаровары, торчала рукоять револьвера, шнурокъ котораго былъ накинутъ на шею, ножъ съ утопленною (т. е. входящею въ ножны) костяною ручкою, и висѣлъ на ремняхъ кожаный кошель съ патронами и другой, поменьше, съ табакомъ и курительными принадлежностями. За сѣдломъ ловко переброшены были переметныя сумки, куржумы, туго набитыя и перехваченныя поверхъ волосянымъ арканомъ, такъ-что висѣли спокойно даже на самомъ быстромъ аллюрѣ и не толкали въ бока лошади; поверхъ сумокъ прилаженъ былъ небольшой мѣдный котелочекъ и складной таганъ. На передней лукѣ висѣлъ теркешь съ чашками и кунганъ для чаю. Все сѣдло и вьюкъ плотно прикрыты были сверху полосатою, тканною изъ верблюжьей шерсти попоною, такъ-что вещи и не пылились, и были предохранены отъ вліянія непогоды; кромѣ того, эта-же попона служила ковромъ во время отдыха. Вторая лошадь была тоже осѣдлана остролукимъ хивинскимъ сѣдломъ съ подушкою, и за сѣдломъ свернуто было сѣрое байковое одѣяло. На этомъ конѣ висѣлъ мордою книзу, притороченный за всѣ четыре ноги, молодой сайгаченокъ, добытый сегодня утромъ мѣткимъ выстрѣломъ таперовской винтовки. На эту лошадь, какъ на осѣдланную легче первой, вьючилась постоянно случайно во время пути добытая провизія. Оба коня были казачьей оренбургской породы, крѣпкіе, выносливые, имѣющіе много сходства съ обыкновенными киргизскими лошадьми средней орды, но только нѣсколько плотнѣе на видъ и шире въ костяхъ; они были вороной масти, оба со звѣздочками на лбу, съ надрѣзанными ушами, на прямыхъ низкихъ бабкахъ и съ длинными волнистыми хвостами, закрученными въ хитрый узелъ по туркменскому обычаю. Трудно было разсмотрѣть лицо наѣздника, такъ оно было запачкано, вымазано и до половины прикрыто густою тканью малахая.

Потихоньку, медленнымъ ходомъ подвигался терпѣливый всадникъ. Онъ ѣхалъ такъ, какъ слѣдуетъ: ни тише, ни скорѣе; все у него было разсчитано, да и ходъ лошадей былъ такъ

вѣренъ, что, прослѣдивъ по часамъ хотя одну версту, можно было навѣрное, съ математическою точностью опредѣлить часъ и даже минуты прибытія его на данное мѣсто.

Такимъ размѣреннымъ ходомъ путешествуютъ только опытные степные бродяги, и только тогда, когда имѣютъ въ виду очень продолжительное путешествіе.

Всадникъ, повидимому, избралъ ночь для движенія и день для отдыха. Это было для него очень выгодно: во-первыхъ, ночью не жарко, и кони менѣе утомляются, а во-вторыхъ, не такъ замѣтно; а это тоже входило въ разсчетъ путешественника.

Давно онъ уже въ дорогѣ; подобравшіе животы кони похудѣли и перестали горячиться, втянувшись въ мѣрную побѣжку. Подъ ремнями уздечекъ и подпругъ бѣлѣлась мыльная пѣна.

Русская пѣсня смолкла. Другой мотивъ, болѣе веселый, плясовой, смѣнилъ монотонные звуки «Дороженьки». Ба! Да это краковякъ. Вотъ ясно слышны польскія слова припѣва.

Всю ночь ѣхалъ всадникъ, давно онъ уже миновалъ берега Солено-горькаго озера Миновалъ песчаные наносы, бѣлѣвшіеся въ сторонѣ, пересѣкъ какую-то торную тропу. . и завидѣлъ на свѣтлой полосѣ утренней зари темный силуэтъ отдаленнаго кургана.

Впереди и вправо разстилалась безконечная степь, лѣвѣе виднѣлась волнистая линія песковъ Тальды Кумъ; всадникъ направлялся наискось къ этимъ пескамъ, и не успѣло еще хорошо разсвѣсть, какъ ноги его лошадей вязли по щиколотки въ сыпучемъ пескѣ, прокладывая себѣ дорогу между барканами незначительной высоты. Всадникъ зорко приглядывался по сторонамъ и впередъ, привставая на стременахъ, и вообще принялъ видъ человѣка, что-то отыскивающаго. Онъ уже бывалъ здѣсь и зналъ, что искалъ, только его немного смутили конскіе слѣды, еще не занесенные пескомъ, которые раза три попались ему на его дорогѣ.

Въ одномъ мѣстѣ песокъ былъ темнѣе цвѣтомъ, чѣмъ окружающіе барханы, онъ былъ влаженъ и лежалъ плотнымъ слоемъ. Это была небольшая котловина, обрамленная песчанымъ кольцеобразнымъ валуномъ, и въ центрѣ этой котловины виднѣлся оригинальный родникъ, одно изъ чудесъ степи. Представьте себѣ небольшой песчаный конусъ, вершина котораго ссѣчена и

углублена; въ этой природной чашкѣ стоитъ прозрачная холодная вода, и сколько вы ни выбирайте ее оттуда, чашка будетъ полна. Эта волшебная, неисчерпаемая чашка, словно нарочно поставленная въ глухомъ безводномъ пространствѣ, внушаетъ кочевому дикарю суевѣрное боготвореніе, и чтитъ номадъ эти спасительные родники, съ молитвой подходя къ нимъ для удовлетворенія своей жажды. Вода въ родникѣ постоянно какъ будто кипитъ; это происходитъ оттого, что со дна ея пробивается струйка водяной жилы, а песокъ, окружающій родникъ, всасываетъ излишекъ воды и не даетъ ей переливаться черезъ край; вода, вслѣдствіе этого, находится въ постоянномъ движеніи и, несмотря на время дня, сохраняетъ одну и ту-же, довольно низкую, температуру.

Въ кочевьяхъ средней орды родники довольно часты, но здѣсь они составляютъ одно изъ самыхъ рѣдкихъ степныхъ явленій и, скрытые въ сторонѣ отъ караванныхъ путей, между безплодныхъ песковъ, становятся секретомъ, которымъ обладаютъ далеко не многіе изъ окрестныхъ кочевниковъ. Вотъ къ такому-то роднику пріѣхалъ путешественникъ о двуконь и намѣревался здѣсь провести день и дать отдохнуть своимъ усталымъ конямъ, пробѣжавшимъ въ одну ночь около восьмидесяти верстъ, т. е. сдѣлавшимъ за одинъ разъ два большихъ караванныхъ перехода.

Всадникъ слѣзъ съ лошади и привязалъ ее за ногу къ приколу; другую лошадь онъ пустилъ по волѣ (онъ зналъ, что никакой степной конь не уйдетъ далеко отъ своего товарища), а самъ, расправивъ онѣмѣвшія немного ноги, пошелъ на барканъ взглянуть, нѣтъ-ли чего кругомъ подозрительнаго, да кстати нарвать бурьяну и колючки для того, чтобы было чѣмъ развесть огонь и поджарить на немъ кусокъ жирной сайгачины.

Скоро маленькій синеватый дымокъ тонкою струею поднялся изъ котловины, и весело затрещало пламя, пробѣгая по сухимъ стебелькамъ скуднаго топлива и накаливая желѣзныя ножки тагана и тонкія стѣнки мѣднаго чайника.

Выстоявъ въ этомъ мѣстѣ самую жару, путешественникъ опять привелъ въ порядокъ свои вьюки и поѣхалъ дальше. Выбравшись изъ Тальды-Кумъ, онъ взялъ направленіе на юго-западъ Опять степь потянулась ровная, какъ скатерть, и только правѣе синѣла полоса озера Челкара. Эта синяя полоса словно

отдѣлилась отъ горизонта и облакомъ висѣла на воздухѣ; въ одномъ мѣстѣ эта черта переломилась и уступомъ шла далѣе, словно отраженіе въ составленномъ изъ двухъ кусковъ зеркалѣ. Длинная вереница верблюдовъ тянулась еще выше; два, три животныхъ рисовались отчетливо, можно было даже замѣтить вьюки, остальныя легкими, голубоватыми тѣнями чуть обозначались, поднимаясь изъ водъ озера-миража и, мало-по-малу, расползаясь въ колеблющемся отъ зноя воздухѣ. Всѣ эти отраженія дрожали и волновались, особенно тѣ, которыя находились ближе къ горизонту.

Проѣхалъ всадникъ съ версту—и явленіе исчезло, уступивъ мѣсто новому: какіе-то странные предметы медленно двигались, извиваясь отлогою дугою. Внимательно изучалъ всадникъ этотъ новый миражъ и даже засмѣялся отъ удовольствія. Онъ узналъ большія воловьи повозки, пары рогатыхъ оренбургскихъ воловъ, верблюдовъ, перемѣшавшихся между повозокъ. Густой, пепельно-сѣрый степной смерчъ высокимъ крутящимся столбомъ закрылъ видѣніе, покружился на одномъ мѣстѣ и понесся къ югу. Миражъ исчезъ, словно вихрь закрутилъ его вмѣстѣ съ вырванными кустами бурьяна, двумя птицами, несмогшими вырваться изъ этого воздушнаго водоворота, и увлекъ его въ пески, гдѣ онъ и разсыпался, налетѣвъ на высокіе барканы.

— Они, — произнесъ всадникъ; — идутъ хорошо, этотъ проклятый казакъ водить умѣетъ....

Нѣсколько разъ подносилъ онъ къ глазамъ большой бинокль, присматривался къ горизонту и снова пряталъ трубку въ кожаный футляръ, висѣвшій черезъ плечо на ремешкѣ.

Нѣсколько черныхъ точекъ виднѣлось впереди; всадникъ не догонялъ ихъ, а ѣхалъ на встрѣчу, потому что эти точки быстро росли, формируясь въ нѣчто опредѣленное. То былъ верблюдъ и два всадника; на верблюдѣ былъ всадникъ, и сверху сидѣла женщина въ киргизскомъ бѣломъ тюрбанѣ, съ открытымъ лицомъ, и погоняла длинною нагайкою усталое животное, тянувшееся на поводу, конецъ, котораго былъ привязанъ къ сѣдлу передняго всадника.

Оба всадника, по костюмамъ, были мирные киргизы челкарскихъ ауловъ, расположенныхъ на южномъ берегу этого озера.

Опытнымъ взглядомъ всадникъ оцѣнилъ встрѣтившихся

кочевниковъ и спокойно поѣхалъ къ нимъ на встрѣчу, держась поближе къ сторонѣ, чтобы съѣхаться вмѣстѣ.

— Да будетъ гладка дорога передъ твоею лошадью! — привѣтствовалъ его передній киргизъ.

— И надъ тобою да будетъ рука Аллаха!

— Спасибо; куда глаза твои смотрятъ?

— На Малые Барсуки, къ Вію-кашикъ-ходжа... Какъ степь живетъ?

Всадникъ остановилъ своихъ лошадей, остановился и маленькій караванъ.

— Народу много гуляетъ у святого мѣста Аулье, у Девлетъ-Яра нехорошіе люди стоятъ. Коли ты не къ нимъ, обходи дальше!

— Много?

— Лошадей сорокъ!

— Туркмены?

— Бузачинцы съ Усть-Юрта, есть курома *)!

— Ну, прощайте!

— Прощай... Да, караванъ русскій прошелъ вчера, передъ вечеромъ (арбинной караванъ), да остановился!

— Что такъ?

— Узналъ, что у Девлетъ-Яра нечисто; пережидаетъ, повозки базаромъ поставили, воловъ близко пасутъ, стерегутъ въ оба; на курганъ сторожевика поставили...

«Проклятый казакъ, эдакъ онъ все дѣло испортитъ», — подумалъ всадникъ и добавилъ громко:

— Далеко стоятъ?

— Съ пути влѣво, на забитыхъ колодцахъ, въ саксаулѣ!

— Ну, прощайте!—повторилъ нашъ наѣздникъ, и повторилъ такимъ тономъ, будто бы говорилъ: «ахъ чортъ-бы васъ подралъ съ вашими вѣстями».

Киргизы поѣхали въ одну сторону, всадникъ въ другую. Раза два оглянулся послѣдній, раза два оглянулись и тѣ.

«Эдакъ не разпроси вотъ путемъ, какъ разъ нарѣжешься думалъ всадникъ; — спасибо, народъ словоохотливый».

«Что за чортъ,—думали киргизы, — по виду совсѣмъ изъ

*) Здѣсь слово „курома“ употреблено, какъ общее выраженіе—сбродъ, потому и цѣлый уѣздъ куроминскій получилъ свое названіе, что населеніе его составилось изъ сбродныхъ киргизскихъ племенъ выходцевъ изъ разныхъ мѣстъ.

нашихъ, а не нашъ», а баба, что сидѣла на верху, та съ разу порѣшила: яу *), такой-же, какъ и тѣ, что стоятъ у могилы.

И снова все было гладко да ровно кругомъ, снова не видно было нигдѣ ни одного живого существа, даже миражи исчезли, потому-что солнце давно уже перешло за полдень, и весь колоритъ степи измѣнился изъ сѣроватаго, знойнаго, въ красноватый съ лиловымъ, туманнымъ горизонтомъ.

VIII.

Вагенбургъ въ саксаулѣ

Въ сторонѣ отъ караванной дороги, въ рѣдкихъ заросляхъ саксаула, на небольшой возвышенности расположился оригинальный лагерь. Оренбургскія воловьи повозки, длинныя, на широкихъ колесахъ, стояли четвероугольникомъ, связанныя попарно задними колесами; скрещенныя дышла были приподняты и образовали ворота, въ которыя могъ проѣхать даже всадникъ, пригнувшись предварительно къ шеѣ своего коня. Повозки были тяжело нагружены, и ихъ прикрытые войлокомъ верхи далеко виднѣлись сквозь саксаульную чащу; издали казалось, что это слоны забрались въ саксаулъ и выстроились рядами; громадный паровикъ, установленный на восьми парахъ здоровыхъ бычьихъ колесъ, занималъ цѣлый фасъ импровизированнаго укрѣпленія. Человѣкъ десять погонщиковъ, казаковъ и киргизъ, возились у повозокъ, улаживая на досугѣ всѣ дорожныя поврежденія. Въ сторонѣ, въ четверти версты отъ лагеря, кусты саксаула трещали и колыхались, оттуда по временамъ показывались: то пѣгій бокъ, то рогатая, широколобая голова, то махалъ хвостъ, сбивающій со спины назойливаго, кровожаднаго овода; иногда слышалось хриплое мычаніе, и взлетали кверху комки земли и пыль, взбитые ногою разсердившагося на что-нибудь животнаго. Тамъ паслись упряжные обозные волы, обгладывая молодые побѣги саксаула и сгрызая верхушки полыни и степной колючки. За ними, на небольшомъ курганѣ, лысая вершина котораго далеко виднѣлась надъ саксаульною чащею,

*) Яу—разбойникъ.

поднимался столбъ чернаго дыма, и мигало красноватое пламя. Тамъ сидѣли сторожевые и варили себѣ что-то отъ скуки, сжигая даровое, обильное топливо.

Въ центрѣ укрѣпленнаго лагеря была поставлена круглая татарская палатка, возвышавшаяся надо всѣмъ своимъ ярко-зеленымъ конусомъ; тамъ на коврѣ лежали три человѣка и прихлебывали чай изъ стакановъ. Одинъ изъ нихъ былъ въ бѣломъ парусинномъ пальто, въ фуражкѣ, въ высокихъ щеголеватыхъ сапогахъ и обладалъ всѣми признаками цивилизованнаго европейца; двое другихъ были въ рубахахъ, засунутыхъ въ киргизскія штаны, вымазанные дегтемъ, заскорузлые до того, что согнулось-бы лезвіе ножа, если-бы пришлось ихъ рѣзать. Корявые, мозолистые, черные, какъ сажа, пальцы неуклюже придерживали стаканы и кусочки сахара; босыя ноги обладали такими прочными, неуязвимыми подошвами, что никакой въ свѣтѣ тарантулъ или скорпіонъ не могъ-бы прокусить эту мозолистую кожу. Одинъ изъ нихъ былъ совсѣмъ старикъ съ сѣдыми длинными усами, съ обритой щетинистой бородой и гладко остриженною головою, другой былъ еще молодой парень и, судя по сходству, сынъ старика. Европеецъ былъ Симсонъ, сопровождавшій транспортъ Лопатина, двое другихъ были казакъ Ефимъ Мякенькій съ сыномъ, взявшіе на себя воловью доставку до Казалинска. Этотъ старикъ и былъ тотъ самый «проклятый казакъ», раздосадовавшій такъ таинственнаго всадника.

— Насъ немного и мы-бы не устояли на пути, т.-е. оно, можетъ быть, сами-то и отбились-бы, но скотину нашу не отстояли-бы ни за что, — говорилъ старикъ. — Ты говоришь, сколько этихъ собакъ было? — обратился онъ къ своему сыну Прокопу.

— Человѣкъ двадцать пять, о дву-конь всѣ, я хорошо разглядѣлъ! — отвѣчалъ молодой казакъ, осторожно кладя на дно опрокинутаго стакана недогрызенный кусочекъ сахара.

— Да ты близко-ли подъѣзжалъ? — пытливо посмотрѣлъ Ефимъ Мякенькій въ глаза своему сыну.

— А то нѣтъ?! — Прокопъ тряхнулъ головою. — Одежду я взялъ у Девлетки-работника и малахай его надѣлъ, чтобы не такъ въ глаза бросилось съ перваго разу; а поѣхалъ на саврасомъ; тотъ лихо скачетъ, такъ чтобы, не ровенъ часъ, удрать

можно было... Ну, подобрался я къ нимъ сзаду, отъ могилы ѣду эдакъ себѣ сторонкою, словно самъ по себѣ; мнѣ-то все видно, а имъ за мазарками не видать... Кони всѣ на приколахъ, важные кони; у стѣны пики поставлены; ружья у всякаго, снарядъ въ порядкѣ, извѣстно барантачи. Я было еще ближе подъѣхалъ, да «саврасый», — прострѣли-те брюхо,—какъ заржетъ, тѣ и встрепенулись. Не успѣлъ я съ бархана спуститься, а мнѣ наперерѣзъ двое, сзаду четверо, а одинъ, какъ-есть, около самаго меня, лѣшій его знаетъ, откуда выскочилъ; гикнули; я ходу, безъ памяти-гналъ. Мосула на дорогѣ встрѣтилъ, кричу: бѣги, чортъ, трухмены! Заметался онъ, сердечный, лошаденка подъ нимъ хромая была (соловой, что у балдуевцевъ дорогою купили). Ну, его и накрыли...

— Убили, что-ль?

— А не знаю; взвылъ онъ волкомъ; должно, ножомъ куда пырнули, не видалъ. Ужъ у самаго саксаула отстали проклятые. Кабы не савраска, гдѣ удрать, то-есть, ни въ жисть...

— Но вѣдь и насъ человѣкъ пятнадцать,—замѣтилъ Симсонъ,—силы почти равны; можно было-бы идти!

— А тебѣ, купецъ, хозяйскаго добра не жалко, что-ли? Коли не жалко, такъ мы свою скотину бережемъ. Они на нее больше и зарятся!—произнесъ Ефимъ.

— Извѣстно, до воловъ нашихъ добираются, а то, что имъ еще? Нѣтъ, надо погодить!

— Да долго-ли ждать придется? — нетерпѣливо перебилъ Симсонъ и всталъ на ноги.

— А сколько придется. Благо, спасибо Владычицѣ Небесной, мѣсто привольное Богъ послалъ: топливо, вода, припасу у насъ всякаго много, кормъ есть, чего не ждать? Вотъ коли-бы гдѣ на пескахъ довелось, али вотъ середь голаго мѣста, ну, тогда все одно пропадай. Отсидимся!

— Надысь Калашниковы эдакъ тоже отсидѣлись!—вставилъ, съ своей стороны, Прокопъ.

— Долго ждать насъ не станутъ; имъ тоже кормиться надо, откроютъ намъ дорогу, это вѣрно!—утѣшалъ нетерпѣливаго англичанина старый казакъ.

— Я долженъ къ сроку!..

— Какіе тутъ въ степи сроки!.. Мы еще такихъ и не

слыхали,—улыбнулся Прокопъ.—Вечеряетъ, батька, пора воловъ поить. Я пойду!

— Время. Скажи тамъ на курганѣ,—больно огонь широко распустили, балуются со скуки, какъ-бы чащу не запалили; бѣды наживемъ!

— Ладно, скажу. За угощеніе благодаримъ покорно! — протянулъ Прокопъ Симсону свою руку и вышелъ изъ палатки.

— Будемъ ждать! — вздохнулъ англичанинъ.

— Выждемъ... — какъ-бы про себя произнесъ Ефимъ.

— Батька, всполохъ на курганѣ! — крикнулъ Прокопъ, вбѣгая въ палатку.

Симсонъ поблѣдѣлъ, закусилъ губу и, захвативъ въ охапку револьверъ и свою двустволку, кинулся къ выходу.

— Всѣхъ къ воламъ... загонять живо!.. — ревѣлъ Ефимъ Мякенькій и полѣзъ на верхъ паровика, чтобы осмотрѣться кругомъ и сообразить степень опасности.

На сторожевомъ курганѣ темная фигура махала жердью съ навязанною на концѣ тряпкою. По саксаулу шелъ гулъ и трескъ: волы ревѣли и, сгоняемые всѣми погонщиками, приближались къ вагенбургу. Нѣсколько верблюдовъ, задравъ хвосты и пугливо поглядывая по сторонамъ, метались, натыкаясь на повозки; саврасый жеребецъ ржалъ и рвался на приколѣ. Четыре киргиза вмѣстѣ съ Прокопомъ раздвигали возы, чтобы пропустить скотину внутрь лагеря.

Кругомъ-же все было спокойно; ничего подозрительнаго не было замѣтно, и Эдуардъ Симсонъ взмостился на паровикъ, гдѣ стоялъ уже старый Ефимъ и внимательно осматривалъ замокъ своей ружницы.

Сторожевые оставили курганъ, и между саксауломъ мелькали ихъ шапки, быстро приближающіяся къ лагерю.

— Что за чортъ,—произнесъ Ефимъ,—какая такая бѣда?..

— Кажется, насъ потревожили даромъ эти трусы... — началъ Эдуардъ Симсонъ.

— Погоди, — остановилъ его старикъ. — У тебя ружье далеко стрѣляетъ?

— А что?

— Вонъ до того кургана хватитъ?

Онъ указалъ на курганъ, гдѣ стоялъ передъ этимъ сторожевой пикетъ. Огонь, не поддерживаемый болѣе, сталъ гаснуть

дымъ опалъ и расползался по низу, клубясь между кустами На красноватомъ фонѣ вечернаго неба мелькнула тонкая черточка, рядомъ съ ней другая...

— Видѣлъ?

— Что такое?

— Пики трухменскія. Берегись!..

Симсонъ чуть не полетѣлъ съ своего возвышеннаго поста, такъ онъ порывисто отшатнулся и ухватился рукою за веревки ближайшаго закрутка.

Старикъ снялъ шапку и набожно перекрестился.

О выпуклый, металлическій бокъ паровика, испещренный закругленными головками болтовъ, что-то звонко щелкнуло, расплюснулось и, оставивъ чуть замѣтный знакъ, отскочило. Клубъ дыма вспыхнулъ на курганѣ, донесся звукъ выстрѣла. У подножья кургана мелькнули красные халаты, и блеснула кольчуга. Силуэтъ всадника показался еще разъ, къ нему прибавилось еще двое...

— Отвѣчай, — шепнулъ Ефимъ Симсону. — Мое ружье не достанетъ!

Симсонъ приложился.

— Задирать-ли ихъ? — приподнялъ онъ голову и вопросительно смотрѣлъ на стараго казака.

— Стрѣляй. Надо ихъ постращать, а то очень расходятся... Я ихъ натуру знаю!

— Есть! — крикнулъ съ угла Прокопъ, наблюдавшій за результатомъ выстрѣла англійской двустволки.

Симсонъ ничего не видѣлъ за дымомъ. Когда дымъ разсѣялся, то вершина кургана оказалась пуста.

— Можетъ, теперь отстанутъ! — произнесъ Ефимъ.

Атаки барантачей болѣе не повторялись; съ ихъ стороны это была только простая рекогносцировка.

Однако, эта попытка заставила обозниковъ удвоить свою осторожность. Воловъ на ночь такъ и не выгоняли изъ-за возовъ. Прокопъ самъ залегъ въ саксаулѣ, невдалекѣ отъ вагенбурга, и отъ его чуткаго уха не ускользнулъ-бы ни одинъ, сколько нибудь внушающій подозрѣніе, звукъ. На паровикѣ, какъ на самомъ высокомъ пунктѣ, сидѣлъ смѣнный сторожевой. Эдуардъ Симсонъ былъ въ тревожномъ состояніи и волновался.

«Вотъ пріятная перспектива,—думалъ онъ.—Пожалуй, еще одолѣютъ они насъ, въ плѣнъ попадемся, увезутъ, чортъ знаетъ куда»...

Онъ немного трусилъ. Ему представились всѣ ужасы плѣна въ степи у дикарей, онъ припомнилъ все, что читалъ до сихъ поръ объ этомъ, начиная съ разсказовъ Мунго-Парка до послѣднихъ газетныхъ извѣстій.

— И отчего это конвоя не даютъ торговымъ караванамъ? Что за безпечность такая относительно нашихъ интересовъ? Ну, вотъ, возможна-ли правильная торговля.. А, что такое? Кажется, шумятъ въ той сторонѣ?

— Нѣтъ, ничего,—спокойно отвѣчалъ Ефимъ,—это вѣтеръ въ саксаулѣ; ну, оно и гудитъ!

— А что, они обыкновенно убиваютъ тѣхъ, кто при караванахъ, или въ плѣнъ берутъ?—спросилъ Эдуардъ Симсонъ у старика.

— Коли очень барахтаться кто будетъ, ну, съ тѣмъ покончатъ; а то имъ въ полонъ таскать много прибыльнѣе!

— Я думаю, легче умереть, чѣмъ къ нимъ попасться?

— Что такъ? Отъ нихъ уйти можно. Оно точно, что спервоначалу трудно, а потомъ обтерпишься и ничего; я два раза былъ у нихъ въ полону!

— Не можетъ быть!

— Да, два раза, — спокойно говорилъ старый казакъ. — Разъ еще мальчикомъ, по девятому году; ну, тогда былъ недолго. Съ отцомъ это я попался, — отецъ покойникъ тоже ходилъ въ степь съ волами; возили крупу, муку и еще коечто по торговой части. Былъ у отца пріятель, купецъ-бухарецъ Саидъ-ходжа; узналъ это онъ о нашей бѣдѣ и у хана хлопоталъ черезъ муллу ихняго, самаго важнаго; насъ съ отцомъ и выкупили. А второй разъ... Тсъ!..

Изъ чащи донесся рѣзкій свистокъ; сторожевой на пароходикѣ щелкнулъ курком своего ружья.

Луна поднялась уже довольно высоко, и солнцеватая степь за саксауломъ бѣлѣлась, словно покрытая снѣгомъ; тамъ, тихимъ шагомъ, ѣхалъ всадникъ на вороной лошади и велъ другую въ поводу. Всадникъ, повидимому, даже и не замѣчалъ лагеря, хотя ѣхалъ отъ него не болѣе, какъ въ трехстахъ шагахъ.

— Что за дьяволъ?—пожалъ плечами Ефимъ Мякенькій, выглядывая изъ-за воза. — Погоди, Егоръ...

Онъ остановилъ сторожевого казака, который было прицѣлился въ проѣзжающаго.

Всадникъ остановился и повернулся лицомъ къ повозкамъ. Онъ стоялъ нѣсколько минутъ въ такомъ положеніи и, казалось, не рѣшался, подъѣзжать-ли ему къ обозу или нѣтъ. Наконецъ, онъ рѣшился и тронулъ впередъ своихъ лошадей.

— Кого Богъ посылаетъ? — окликнулъ старикъ, когда всадникъ подъѣхалъ ближе.

Ефимъ окликнулъ по-киргизски.

— Свой... торговый человѣкъ. Ѣду въ Казалу,—отвѣчалъ всадникъ по-русски.—Что стоите на дорогѣ?

— А то, что и тебѣ совѣтуемъ остановиться, коли бережешь свою голову! — говорилъ Прокопъ, неожиданно поднявшись почти около самаго всадника.

Вороные кони шарахнулись, такъ неожиданно увидѣвъ бѣлую фигуру, словно изъ-подъ земли вынырнувшую.

— Въ степи, что-ли, не чисто? — спрашивалъ проѣзжій.

— У могилъ барантачи; на насъ нападали, да мы отбились!

— Ну, такъ я съ вами переночую, коли пустите!

— Милости просимъ, коли добрый человѣкъ! — произнесъ старикъ.

— А коли худой,—подозрительно взглянулъ Прокопъ, — такъ у насъ тоже глаза есть, небойсь, не проглядимъ!

— Экій ты не ласковый! — усмѣхнулся всадникъ, слѣзая съ лошади.

— Не могу припомнить, а голосъ положительно знакомый!— шепнулъ Симсонъ старому казаку.

— Усталъ я страсть и спать хочется! — говорилъ незнакомецъ, убирая лошадей и привязывая ихъ къ дышлу повозки.

— Ужинать будешь?

— Поѣмъ, коли дадите. И долго-ли это стоите такимъ манеромъ?

— Вотъ ужъ цѣлые сутки... Издали *ихъ* замѣтили, а то бы на дорогѣ влопались...

— Кони у тебя хороши больно!—замѣтилъ Прокопъ.

— Ничего, годятся. Это у васъ лапша?

— Съ бараниною; вотъ на, возьми ложку!

— А что, теперь съ нами поѣдете? — обратился Эдуардъ Симсонъ къ гостю.

— Да, ужъ придется, въ обществѣ все веселѣе и не опасно!

— И намъ выгодно, хорошо вооруженный человѣкъ не будетъ лишнимъ!

— Слышь ты, батько, пойди сюда, — толкнулъ въ бокъ отца молодой казакъ,—дѣло есть!

— Что тамъ еще?—лѣниво поднялся Ефимъ.

— Тамъ въ возу колесо. Да пойди самъ, погляди!

Отецъ съ сыномъ отошли къ одному изъ возовъ.

— Ну, что ты?

— Да что, больно у меня сердце не лежитъ къ этому!— Онъ кивнулъ въ ту сторону, гдѣ сидѣлъ гость и съ апетитомъ ѣлъ лапшу изъ большой деревянной чашки. — Какъ бы худа какого не было, — кто его знаетъ? Ѣдетъ одинъ, ровно волкъ; къ намъ вотъ подъѣхалъ совсѣмъ не по дорогѣ, нивѣсть откуда. Можетъ, онъ одной масти съ тѣми...

— Поглядимъ — увидимъ; не гнать же его теперь!

— Гнать не слѣдуетъ, а я бы его скрутилъ да и шабашъ!

— Поспѣемъ, коли надо будетъ: насъ много,—онъ одинъ!

— Не могу припомнить, гдѣ это я васъ видѣлъ? — говорилъ громко Симсонъ, обращаясь къ сосѣду.

— Не встрѣчался я съ вами никогда, — у меня память хорошая, — это вѣрно! — отвѣчалъ тотъ.

— Можетъ быть, но вашъ голосъ... голосъ...

— Сходство всякое бываетъ... Ко сну такъ клонитъ, что страсть. Лошадей своихъ напою ужо, съ разсвѣтомъ!

— Вотъ вамъ коверъ, если хотите!

— Благодарю покорно. Спокойной ночи!

— Ты, батько, ложись, а я не лягу—спа нѣту!—говорилъ Прокопъ.

— Что жъ, посторожи—дѣло хорошее!

Старикъ снялъ шапку, повернулся лицомъ къ востоку и началъ молиться. Набожно склонилась на грудь сѣдая, усатая голова, рука размашисто, отчетливо переходила отъ лба на животъ, съ одного плеча на другое. Казакъ былъ старовѣръ и крестился всею ладонью.

Тяжело дышали, сопѣли и пережевывали кормъ лежащіе тѣсною кучею волы. Подъ телѣгами слышался тихій говоръ

погонщиковъ; гость давно уже храпѣлъ, безпечно свернувшись подъ своимъ одѣяломъ; улегся и старикъ, кряхтя и почесываясь; не спалъ только сторожъ на паровикѣ — Эдуардъ Симсонъ, ходившій по вагенбургу въ какомъ-то ажитированномъ состояніи, и казакъ Прокопъ, подозрительно поглядывавшій на вороныхъ лошадей, спокойно стоявшихъ у дышла.

Луна стояла высоко, почти надъ самою головою, и обливала сонную степь своимъ серебристымъ свѣтомъ. Кругомъ было спокойно и тихо, но въ этой тишинѣ невольно чуялось что-то недоброе, сжимавшее сердце англичанина и отразившееся даже на состояніи духа всѣхъ погонщиковъ. Всѣ спали, что называется, однимъ глазомъ и готовы были вскочить и взяться за оружіе при малѣйшемъ намекѣ на опасность.

Когда разсвѣло, Прокопъ еще разъ сдѣлалъ развѣдку въ ту сторону, гдѣ стояли гробницы «Девлетъ-Яръ». Въ степи никого не было видно; приглядывался-приглядывался казакъ вдаль — ничего подозрительнаго. «Что за дьяволъ, неужели ушли?—подумалъ Прокопъ и подъѣхалъ ближе.—Золу издалека видно, пометъ конскій виденъ; вонъ то самое мѣсто, гдѣ стояли ихъ кони. Не въ гробницы-ли забрались?—Такъ нѣтъ, лошадей много, — шутка-ли: штукъ полсотни! — Всѣхъ въ мазарку не попрячешь. Должно быть, и въ самомъ дѣлѣ ушли».

Еще ближе подъѣхалъ, на курганъ взобрался, обогнулъ кругомъ — никого. А отсюда далеко видно кругомъ — мѣсто высокое, выше нѣтъ во всей этой степи. Вонъ ихъ воза стоятъ, вонъ даже воловъ можно разглядѣть; поятъ ихъ, должно быть, ребята: всѣ у колодца столпились. Вонъ и это чудище—паровикъ стоитъ. «Да, ушли... въ ночь ушли. Это передъ вечеромъ они послѣднюю попытку дѣлали»,—окончательно рѣшилъ Прокопъ и поѣхалъ рысью къ вагенбургу.

Не успѣлъ онъ подъѣхать къ зарослямъ, какъ услышалъ, что въ лагерѣ какая-то суматоха. Погналъ коня казакъ, вскачь пошелъ по чащѣ, раздвигая кусты грудью своего саврасаго.

Столпились всѣ погонщики въ кучу, въ серединѣ кругъ оставили, въ кругу стоитъ кто-то; всѣ наперерывъ его разспрашиваютъ; громче всѣхъ слышны голоса англичанина и того «гуся», что на вороныхъ пріѣхалъ.

Голый, въ однихъ только совершенно изодранныхъ штанахъ, съ окровавленными боками, то всхлипывая, словно плача,

то хрипло смѣясь, стоялъ киргизъ Мосолъ, попавшійся было въ плѣнъ къ барантачамъ. Онъ разсказывалъ исторію своего освобожденія.

— Сперва я все ползкомъ да ползкомъ: по верху-то свѣтло, а въ ложбинѣ темно; а тутъ, на мое счастіе, жеребцы подрались, — одинъ съ прикола сорвался!

— Какъ же ты ноги развязалъ?—спросилъ кто-то изъ толпы.

— Перетеръ о камень, — самъ ужъ пророкъ помогалъ, не иначе!

— Что-же, тебя били много? Это они тебѣ лобъ разсѣкли?— говорилъ «гусь».

— Рѣзать было совсѣмъ хотѣли, да потомъ бросили...

— Такъ они при тебѣ еще собирались уходить?—перебилъ Симсонъ.

— Какъ же, при мнѣ. Старшій ихъ, черный такой, весь чапанъ на немъ кольчужный, говорилъ: «Что же мы ждать-то будемъ? Здѣсь, видимое дѣло, плоха пожива, а въ другомъ мѣстѣ упустимъ что получше».

— Да вѣрно-ли?—усомнился Ефимъ Мякенькій.

— Вотъ высохни я, какъ этотъ прутъ, если самъ не слышалъ!—Мосолъ поднялъ съ земли какую-то былинку.

— Тамъ, говорятъ, у нихъ народу столько же, какъ и насъ, и ружья хорошія. Вчера-то—ха, ха! Вечеромъ-то одного ихняго убили,—важнаго батыря ухлопали: я видѣлъ, какъ привезли!

— Это я стрѣлялъ!—похвастался Симсонъ.

— Да само собою разумѣется, уйдутъ, если уже не ушли— произнесъ всадникъ, пріѣхавшій вчера ночью.—Въ невѣрную схватку вступать имъ нѣтъ никакого разсчета. Мы можемъ выступать смѣло!

— Вы полагаете?—не безъ оживленія произнесъ Симсонъ.

— Понятное дѣло!

— Эге, да это нашъ Мосолъ!—вскрикнулъ Прокопъ, протискиваясь впередъ.

— Ну, что, сынку? Что новаго привезъ?

— Да что: курганы чисты, былъ у самыхъ могилъ: на души нѣту!

— А, что я говорилъ?—обратился Симсонъ.

— Такъ ушли?—переспросилъ обладатель вороныхъ лошадей у Прокопа.

Тотъ взглянулъ на него искоса и произнесъ:

— Ушли... да ты, можетъ, это лучше нашего знаешь? — Онъ понизилъ голосъ и не спускалъ глазъ съ того, кто стоялъ передъ нимъ, спокойно набивая себѣ трубочку.

— Ты, братъ, никакъ умомъ повихнулся?

— Всяко бываетъ... Я вѣдь не въ обиду!

Прокопъ отвернулся и пошелъ къ воламъ.

— Ну, вотъ, жару переждемъ маленько, а тамъ и воловъ запрягать будемъ! — рѣшилъ Ефимъ Мякенькій.

— Наконецъ-то! — вздохнулъ Симсонъ.

— Еще бы денекъ-другой переждать...—ворчалъ Прокопъ, заслышавшій распоряженіе своего отца.

Какъ рѣшилъ старый Ефимъ, такъ и сдѣлали. Часамъ къ четыремъ пополудни караванъ выбрался изъ саксаула, и возы длинною вереницею потянулись по степной дорогѣ. Верблюды вьючные шли стороною. Прокопъ уѣхалъ много впередъ и далеко виднѣлся его «саврасый», особенно когда ему приходилось повернуться къ солнцу своимъ широкимъ, на диво вычищеннымъ крупомъ.

IX.

Ренегаты.

Въ полуперегонѣ отъ «Малыхъ Барсуковъ», правѣе караванной дороги, тянется гряда песчаныхъ холмовъ, то подступая почти къ самому пути, то отходя назадъ, къ обширнымъ пространствамъ, когда-то бывшимъ озерамъ, теперь же покрытымъ топкою, соленою грязью. Берега этихъ грязей поросли мелкими сортами кустарниковъ, рангомъ и разными видами степной колючки. Это превосходныя пастбища для овецъ, которыя любятъ бродить по солончакамъ и лизать вонючую грязь. Киргизы, пользуясь обильными колодцами и родниками, разсѣянными по всѣмъ «Барсукамъ», сгоняютъ сюда безчисленныя атары овецъ, и берега этихъ затоновъ оживляются пасущимися стадами и кое-гдѣ чернѣющими кибитками кочевниковъ.

Теперь же ни одной овцы не было видно кругомъ, ни изъ одной лощины не показывался привѣтливый дымокъ жилья... Быстро свернулись и собрали свои стада подвижные степняки и ушли отсюда дальше на западъ, въ глубь песковъ, подальше

отъ опаснаго сосѣдства, а сосѣдство это, такъ всполошившее мирныхъ киргизъ, было не постоянное: сегодня здѣсь, а завтра, можетъ, Аллахъ вѣдаетъ гдѣ. Киргизы знали это и поставили по высокимъ постамъ конныхъ сторожей, которые должны были извѣстить аулы, когда минетъ опасность.

Всю эту тревогу надѣлала вереница всадниковъ, двигающаяся отдѣльными маленькими отрядами позади холмовъ, ближе къ соленымъ грязямъ. Шайки эти пришли отъ Девлетъ-Яра, заняли мѣсто за большимъ холмомъ, въ неглубокой балкѣ, и стали на отдыхъ. Только теперь они стали осторожно: огня не разводили, лошадей поставили тѣснѣе и сами зря не бродили по степи и въ глаза никому не кидались, какъ прежде, когда они занимали возвышенную площадку у святыхъ могилъ. Тѣ, кто шли караваннымъ путемъ, какъ бы ни присматривались вправо, ничего не видали бы, кромѣ песчаныхъ, желтѣющихъ на солнцѣ холмовъ, и навѣрное могли быть далеки отъ подозрѣнія, что за этими-то, мирными на видъ, холмами скрывается грозная опасность.

Немного было счетомъ этихъ наѣздниковъ, но за то нельзя было и трехъ насчитать одинаковыхъ. Со всѣхъ концовъ степи сбрелись искатели легкой наживы; тутъ были и тюркмены, и киргизы-адаевцы, и бузачинцы, и безымянный сбродъ, нивѣсть откуда появившійся. Группировалось же все это около трехъ джигитовъ, отличавшихся отъ остальныхъ развѣ только тѣмъ, что у двухъ были бороды съ просѣдью, а третій былъ рыжій и съ лица шибко смахивалъ на бѣглаго русскаго солдата; у него даже борода раздваивалась по срединѣ, гдѣ въ прежнее время пробивалась дорожка, неуспѣвшая еще сравняться съ бакенбардами, да и ухватки его были совсѣмъ не татарскія, хотя по одеждѣ его никто бы не отличилъ отъ природнаго хивинца.

Большинство всадниковъ было въ кольчугахъ и въ лисьихъ малахаяхъ; на одномъ только тюркменѣ Ата-Назарѣ была круглая бѣлая чалма, издали отличавшая его отъ прочихъ всадниковъ.

Барантачи сидѣли въ кругу и держали совѣтъ. Говорилъ сѣдой Чабыкъ, адаевецъ; кто слушалъ, а кто только видъ дѣлалъ, что слушаетъ, а на самомъ дѣлѣ дремалъ, пережевывая табачную жвачку и машинально сплевывая по временамъ слюну.

И кони ихъ, высокіе, подобранные, стояли, понуривъ головы. Барантачи сдѣлали большой крюкъ, верстъ въ сотню, чтобы

попасть отъ могилъ Девлетъ-Яръ къ преддверьямъ «Малыхъ Барсуковъ». Прямо же, близъ дороги, они идти не рѣшились изъ боязни, что русскій обозъ наткнется на ихъ слѣды и опять приметъ оборонительныя мѣры.

— Вѣрить-ли намъ твоему тамыру (пріятелю) или нѣтъ? Ты ужъ лучше скажи прямо; по крайней мѣрѣ, мы время терять не станемъ и пойдемъ туда, гдѣ намъ будетъ повыгоднѣе...— говорилъ Чабыкъ и смотрѣлъ въ глаза рыжему, котораго всѣ звали Иванъ-баемъ, добавляя къ его русскому имени киргизское окончаніе.

— А какъ знаешь, мнѣ все равно! — нахально усмѣхнувшись, отвѣчалъ рыжій.

— Ты, можетъ, опять надъ нами свои штуки играешь; вѣдь у тебя на концѣ языка правда не поставила своей кибитки... Она даже въ гостяхъ тамъ не бывала!

— Не вѣришь—уходи; я тебя развѣ держу? Останусь я съ своими, да вотъ, можетъ, Рахимъ-Берды съ своими останется, Ата-Назаръ... тотъ меня не броситъ... Мы и одни управимся!

— А правда,—началъ тюркменъ Ата-Назаръ,—*тотъ*, когда пріѣзжалъ къ намъ, выругалъ насъ, говорилъ: «воронами на виду сидятъ, воробьевъ пугаютъ... Развѣ это не правда, что мы двое сутокъ у Девлета стояли? За что джигита у насъ убили?.. Кто хотѣлъ прямо возы брать, нахрапомъ, не ты, что-ли, старый ишакъ?..

Онъ злобно взглянулъ на Чабыка; тотъ пожалъ плечами.

— Все по волѣ пророка: не попустилъ,—ну, и не взяли. А отчего онъ на насъ прогнѣвался, не отъ тебя, что-ли?

— Какъ отъ меня?—удивленно спросилъ тюркменъ.

— Зачѣмъ своихъ жеребцовъ въ «аулы» поставилъ? Все святое мѣсто испакостили...

— Ну, ужъ и ты хорошъ тоже, — вмѣшался рыжій. — Лошадь что, лошадь—животъ чистый: отъ нея ничего не сдѣлается; а въ прошедшемъ году, когда почту въ Кара-Кумахъ грабили, кто въ божьемъ котлѣ*) собакъ борзыхъ поилъ? Эге, братъ, чужіе грѣхи считать умѣешь...

---

*) Въ нѣкоторыхъ степныхъ пунктахъ — у святыхъ мѣстъ — устраиваютъ каменный таганъ и въ него вмазываютъ плоскій чугунный котелъ съ прикованною на цѣпи ложкою. Котломъ этимъ можетъ пользоваться всякій проходящій и проѣзжающій, и котлы эти называются божьими котлами. Это одинъ изъ видовъ степной благотворительности.

Всѣ расхохотались.

— Тогда ничего отъ этого не было. Мы свое дѣло благополучно окончили; самъ знаешь!—оправдывался Чабыкъ.

— Скоро было очень; Аллахъ-то, можетъ, еще не успѣлъ узнать; такъ вотъ теперь за прошедшее тебѣ бока пощупалъ. Это вѣрно!

— Слушай, Иванъ-бай, ты *его* гдѣ зналъ прежде? — спросилъ Рахимъ-Берды;—Ты намъ не сказалъ про то...

— Это про кого ты спрашиваешь?

— А вотъ про того, что къ намъ ночью на вороныхъ коняхъ пріѣхалъ!

— Случалось, видались и прежде. Да тебѣ что?

— Не проведетъ онъ насъ?

— Какой ему барышъ проводить... Онъ тоже подъ хозяиномъ состоитъ; не свою, чужую волю правитъ!

— Зачѣмъ онъ опять къ нимъ въ обозъ поѣхалъ?

— Значитъ, нужно!

— Вотъ еще что мутитъ у меня на сердцѣ... — вставилъ Рахимъ-Берды.—Это какъ-бы насъ киргизъ-батракъ не выдалъ, вѣдь они, собаки, къ своимъ привязчивы!

— Не выдастъ; я ему такое шепнулъ, что побоится. Тамъ, говорю, *тотъ* будетъ, что отъ насъ поѣхалъ. Ежели чуть что замѣтитъ, тутъ тебѣ и конецъ; а обдѣлаемъ дѣло, тебѣ-же барышъ: коня, говорю, получишь, халатъ и съ нами поѣдешь вольною птицею. Онъ не дуракъ, пойметъ, «гдѣ мясо, гдѣ камень». Ну, что-жъ, Чабыкъ-бай, уйдешь, что-ли, отъ насъ или, можетъ, раздумалъ?

Рыжій Иванъ-бай засмѣялся и нахально глядѣлъ на старика, оскаливъ свои клыкастые волчьи зубы.

— Отстань!—угрюмо произнесъ Чабыкъ и затянулся изъ походнаго кальяна.

— Вонъ и наши ѣдутъ! — крикнулъ кто-то.

— Эге! Ну, никакъ пусто...—сказалъ Рахимъ, всматриваясь въ четырехъ всадниковъ, медленно приближавшихся со стороны соленыхъ грязей.

Ближе подъѣхали всадники; теперь можно было видѣть, что у одного только изъ нихъ перекинутъ былъ поперекъ сѣдла баранъ и бился о стремя своею рогатою головою.

— Плохо?!—крикнулъ имъ Ата-Назаръ.

— Яманъ (дурно)!—отвѣчалъ передній.—Всѣ ушли, какъ куяны (зайцы) отъ орловъ, по норамъ попрятались. Кибитки сняты, по всѣмъ грязямъ пусто. Ужъ очень они стали пугливы!

— Вотъ только одного этого и нашли,—говорилъ другой, приподнимая барана и сбрасывая его на песокъ. — Да и то каскыръ *) прежде насъ его тронулъ!

Дѣйствительно, часть бараньяго зада была до костей обнажена отъ мяса и по рваным краямъ раны можно было безъ труда узнать волчью хватку.

— Потерпимъ — немного, усмѣхнулся Иванъ-бай, искоса поглядывая на недовѣрчиваго Чабыка; – вонъ обозъ русскій заберемъ, тамъ, сказывали, всякой снѣди вволю припасено.

— Не пей кумыса, пока кобылъ не подоилъ!—огрызнулся Чабыкъ.

— Ладно. На крайній барханъ ступай кто-нибудь двое. Лежите на брюхѣ,—кольями не торчать на виду. Какъ что—знать дайте... Кто пойдетъ: твои, Ата, что-ли?

— Своихъ посылай, они у тебя ползуны!

— Ну, хороши-же вы «яу», какъ погляжу... Ни твоихъ не пошлю, ни своимъ не прикажу. Самъ пойду. Эдакое дѣло да чужому глазу довѣрить—вороны!..

И Иванъ-бай поднялся на ноги.

Это былъ мужчина небольшого роста, коренастый, немного хромой, съ необыкновенно развитыми, длинными руками, могучія кисти которыхъ достигали почти до колѣнъ. Силу этихъ рукъ, словно отнятыхъ у какого-нибудь гориллы и приставленныхъ къ человѣку, хорошо знали по всѣмъ кочевьямъ между Аральскимъ и Каспійскимъ морями, да, пожалуй, и дальше...

Лѣтъ двадцать пять жилъ онъ въ степи и зналъ ее такъ, какъ не знали коренные номады. А въ степь онъ попалъ еще мальчикомъ, слѣдующимъ образомъ: отецъ его служилъ въ

---

*) Волкъ

багрильщикахъ у одного изъ астраханскихъ рыбныхъ торговцевъ. Разъ какъ-то, вмѣстѣ съ сыномъ, двѣнадцати-лѣтнимъ мальчишкою, и человѣками десятью работниковъ, отправились они къ восточному берегу Каспійскаго моря, къ Мангишлаку, на рыбную ловлю. Шхуна ихъ бросила якорь у песчанаго мыска, недалеко отъ озера «Батырь», и часть экипажа высадилась на берегъ, кто говоритъ, что пострѣлять сайгаковъ, а кто говоритъ—за другимъ дѣломъ, менѣе благонамѣреннымъ. Хозяинъ шхуны былъ вмѣстѣ съ послѣдними, а на суднѣ остался отецъ рыжаго Ваньки и человѣка три рабочихъ. Къ солнечному закату подошли къ судну четыре каика (узкія, длинныя туземныя лодки); хотѣли подойти поближе, да астраханцы не подпустили, не безъ основанія подозрительно глядя на оборванныхъ тюркменъ, припрятавшихъ свое оружіе на дно каиковъ, подъ сѣти... Пираты боялись двуствольныхъ ружей экипажа, подъ выстрѣлами которыхъ не совсѣмъ было удобно брать штурмомъ скользкіе, высокіе борта судна...

Наступила ночь... Полѣзъ одинъ изъ матросовъ на рею сторожить, остальные заснули и, должно быть, заснули крѣпко... Страшный вопль часового поднялъ всѣхъ сразу на ноги... Вся палуба затряслась, когда съ высоты трехъ саженъ, какъ мѣшокъ, набитый костями, свалился матросъ и брызгалъ во всѣ стороны своей кровью... Луна взошла уже на небѣ, и ясно было видно, какъ корчился и изгибался насчастный, какъ двѣ какихъ-то свѣтлыхъ черточки впились въ его тѣло и дрожали при каждомъ его движеніи... Это были хивинскія стрѣлы, тонкія камышины съ зубчатымъ, тонкимъ, какъ шило, остріемъ и красиво оперенныя съ другого конца цвѣтными обрѣзками кожи и конскими волосами... Кинулись къ ружьямъ оторопѣлые рыбаки... Заметались... Куда-же это запропастились ихъ двустволки? Багры съ насаженными топорами тоже пропали!.. А изъ-за бортовъ, со всѣхъ сторонъ, глядятъ скуластыя, узкоглазыя рожи, со всѣхъ сторонъ растутъ темныя тѣла, и заходили доски палубы подъ топотомъ нѣсколькихъ десятковъ босыхъ ногъ; по гладкой водной поверхности пронеслось гиканье и вой торжествующихъ пиратовъ.

Отецъ Ваньки долго отбивался, вооружившись какой-то снастью; его убили, остальныхъ двоихъ скрутили и спустили

въ каикъ. Все, что было на суднѣ цѣннаго и удобнаго для перевозки, забрали, шхуну сожгли.

Красное зарево пожара, отразившись и на водѣ, и на темномъ небѣ, далеко было видно въ степи... Видѣли его и тѣ, что были на берегу, у озера, впослѣдствіи тоже попавшіеся въ недобрыя руки.

— Когда-же ты мнѣ дашь тѣ деньги, что обѣщалъ? — сказалъ рыжій Ванька старому хивинцу, когда каики далеко отошли отъ горѣвшей шкуны и тянулись камышами, придерживаясь берега...

— Когда... Ахъ ты, волченокъ проклятый! — засмѣялся старикъ.—Тогда,—добавилъ онъ, положивъ свою руку на стриженую голову мальчика,—тогда, когда будешь большимъ волкомъ и съумѣешь добыть себѣ самъ...

— Ладно,—согласился рыжій,—другой разъ не надуете...

Это былъ первый подвигъ ренегата Иванъ-бая, «кызылъ-каскыра» (красный волкъ).

Въ двадцать лѣтъ онъ уже далъ знать о себѣ по всей степи. Въ пограничныхъ фортахъ нашихъ узнали о его подвигахъ. Голова его была оцѣнена, но, вѣрно, дешево, потому что не находилось охотниковъ позариться на посулы русскихъ властей.

Онъ женился на дочери одного изъ кочевыхъ султановъ, красивой хивинкѣ, потомъ еще взялъ себѣ одну жену изъ другого рода. Онъ могъ позволить себѣ эту роскошь, потому что разбои и грабежи каравановъ давали ему на это средства.

Онъ былъ отваженъ и дерзокъ въ своихъ предпріятіяхъ до того, что появлялся даже въ русскихъ укрѣпленіяхъ и развѣдывалъ тамъ обо всемъ, что ему надлежало знать... Въ какомъ-нибудь жалкомъ «лаучѣ» (погонщикѣ верблюдовъ), оборванномъ, грязномъ, пріютившемся на базарѣ, въ ожиданіи нанимателя, или въ киргизѣ, пригнавшемъ въ фортъ на продажу десятокъ курдючныхъ барановъ, никто не могъ узнать извѣстнаго степного разбойника...

Онъ появлялся даже въ Оренбургѣ, а потомъ въ Нижнемъ-Новгородѣ, одѣтый бухарскимъ торговцемъ, ходилъ по караванъ-сераю, перевидался со всѣми своими пріятелями (а у него ихъ было не мало) и уѣхалъ оттуда на почтовыхъ подъ

видомъ Саидъ-Абасса, бухарскаго уроженца, торговца хлопкомъ и бараньими шкурами.

Разъ только попался онъ. Бурею разбило лодку, на которой онъ съ двумя хивинцами переплывалъ заливъ «Мертвый культукъ». Его спасло одно изъ рыболовныхъ судовъ изъ Астрахани-же. Все обошлось-бы, пожалуй, благополучно, но одинъ изъ башкиръ, работниковъ на этомъ суднѣ, узналъ въ этомъ безжизненномъ тѣлѣ, распростертомъ на палубѣ, грозу степей — «рыжаго Ивана».

Разбойникъ очнулся связаннымъ; нисколько не удивившись этому, онъ попросилъ ѣсть; ему дали. Разговорился онъ, разспрашивалъ о томъ, о семъ, куда его везутъ и т. д., и кончилъ тѣмъ, что вздохнулъ и произнесъ: «Ну, значитъ, воля Господня. Погрѣшилъ довольно, пора и поплатиться». Хозяинъ судна былъ старовѣръ и замѣтилъ, что Иванъ перекрестился по ихнему обряду...

Черезъ мѣсяцъ «рыжій» опять появился въ степи. Какъ онъ вырвался, никто не зналъ. Самъ-же онъ разсказывалъ о своемъ освобожденіи такія небылицы, что даже легковѣрные до всего фантастическаго и таинственнаго дикари, и тѣ пожимали плечами и приговаривали потихоньку: «что только за языкъ Богъ далъ человѣку, чего только онъ не стерпитъ?»

Началъ Иванъ-бай свои новые подвиги тѣмъ, что собственноручно зарѣзалъ свою первую жену: онъ узналъ, что та, въ его отсутствіи, пошалила съ однимъ изъ молодыхъ батырей сосѣдняго кочевья. Султанъ, отецъ зарѣзанной, сперва обидѣлся и разсердился на своего зятя, но потомъ, убѣдясь въ правотѣ оскорбленнаго мужа, помирился съ нимъ и далъ ему, взамѣнъ первой, вторую свою дочь.

Скоро дѣла пошли по-старому, да, должно быть, еще лучше, потому что изъ Астрахани прислали сказать, что за голову Ивана плату удвоили, и что тому, кто привезетъ ее, будь онъ самъ разбойникъ, простятся всѣ его грѣхи, и на свободу опять его отпустятъ...

Посмѣялся рыжій надъ послѣднимъ обѣщаніемъ. Хотѣлъ-было самъ отвезти свою голову, получить за нее деньги и опять вернуться въ степь, да раздумалъ.

Не прошло и четырехъ часовъ, какъ ушелъ Иванъ-бай сторожить на барханъ, какъ онъ уже назадъ возвращался. Конь подъ всадникомъ стлался по песку, и издали было слышно, какъ храпѣли и фыркали раздутыя отъ быстраго бѣга ноздри.

— Гонитъ шибко!— поднялся Ата-Назаръ.

— Къ лошадямъ!—крикнулъ Рахимъ-Берды.

Вся баранта всполошилась.

— Дождались!—подскакалъ Иванъ и коня своего осадилъ такъ, что тотъ вспахалъ песокъ передними ногами.—Колесная пыль видна отъ Девлета... Это наши крестники!

— Пошли, Аллахъ, милости дѣтямъ своимъ!— со вздохомъ произнесъ старый Чабыкъ и пошелъ къ своимъ аргамакамъ, что стояли у самаго края и, прижавъ уши, такъ вотъ и норовили брыкнуть того, кто къ нимъ неосторожно подберется.

Съ сѣвера тянулось большое пыльное облако, что-то неясное мелькало въ этомъ облакѣ... Ближе и ближе подвигалось оно къ холмамъ, вотъ уже можно различить воловъ, возы, всадниковъ, верблюдовъ, идущихъ стороною, и надъ всѣмъ этимъ чернѣющую массу паровика, медленно подвигающуюся на своихъ двѣнадцати колесахъ. Восемь паръ здоровыхъ воловъ и четыре верблюда тащили эту махину, и глубокій двойной слѣдъ прокладывался по степной дорогѣ.

Барантачи, затаивъ дыханіе, сидѣли на своихъ лошадяхъ. Они пригнули пики почти до самой земли, согнулись сами, впились глазами въ обозъ и, какъ борзые на натянутыхъ сворахъ, ждали только сигнала къ атакѣ. А сигналъ этотъ долженъ быть поданъ оттуда, изъ этого самаго обоза, и даже самъ Иванъ-бай поблѣднѣлъ немного, отыскивая глазами между возовъ всадника на вороной лошади.

Тяжелые возы скрипѣли; волы, опустивъ подъ ярмомъ свои рогатыя головы, шли мѣрнымъ шагомъ, помахивая хвостами и вперивъ въ песокъ свои мутные, слезящіеся глаза. Работники шли пѣшкомъ, заложивъ за спины руки, и также, какъ и волы, глазами созерцали дорогу; кое-кто спалъ на возахъ, лежа на брюхѣ, подставивъ свою спину подъ палящіе лучи солнца. Уныло визжало какое-то плохо подмазанное колесо, монотонно гремѣли бубенчиками стороною идущіе верблюды...

Однообразное, мѣрное движеніе, такое-же медленное, какъ и движеніе вонъ тѣхъ черепахъ, что парами ползаютъ по степи, трячась подъ тѣнь сухихъ стеблей прошлогодняго ревеня, скучное, безконечное, нагоняетъ тяжелую дремоту...

Дремлютъ и тѣ немногіе всадники, съѣхавшіеся вмѣстѣ подъ тѣнь паровика... Клюетъ носомъ старый Ефимъ Мякенькій и чуть было не выронилъ изъ зубовъ свою коротенькую трубку, чуть-чуть не свалился съ сѣдла и Скоблякъ, башкиръ, да во время проснулся, вздрогнулъ, оглянулся кругомъ мутными, сонными глазами и протеръ ихъ рукавомъ свой грязной рубахи... Прокопъ уѣхалъ впередъ; хотѣлъ было развѣдать, все-ли спокойно у родника, за холмами, да въ одномъ изъ переднихъ возовъ ось загорѣлась, дымъ повалилъ изъ-подъ воза, и Прокопъ остался мѣнять негодную ось и своротилъ возъ въ сторону, чтобы не мѣшать движенію остальнаго обоза. Киргизъ Мосолъ, что изъ плѣна вырвался, возился вмѣстѣ съ Прокопомъ, поднимая на крюку одну сторону воза, пока казакъ стаскивалъ поврежденное колесо.

— Вотъ дойдемъ къ ночи до родничка, у песковъ, — «чиликомъ» его орда прозываетъ... хорошій родникъ, вода чудесная... — говорилъ старый Ефимъ.

— Тамъ и ночевать будемъ?—спрашивалъ всадникъ на вороной лошади, держась тотчасъ-же за крупомъ казачьяго коня...

— Тамъ будемъ!

— Это первый переходъ такой длинный,—замѣтилъ Симсонъ.—Вѣдь мы тронулись почти за часъ до разсвѣта...

— Тамъ дневку сдѣлаемъ...—произнесъ Ефимъ.

Перекинулись двумя-тремя словами и опять замолчали; опять задремалъ Ефимъ; англичанинъ тоже сдѣлалъ какое-то странное движеніе на сѣдлѣ и открылъ глаза нѣсколько шире, чѣмъ-бы слѣдовало...

Эхъ, да не одна-то... эхъ, да не одна...

затянулъ всадникъ на вороной лошади и пытливо взглянулъ вправо.

А тамъ все было спокойно и тихо; словно вытянутые въ рядъ, виднѣлись конусы желтоватыхъ песчаныхъ холмовъ, синею полосою проглядывали въ промежуткахъ соленыя грязи.

«Надули, черти!..» — подумалъ всадникъ, снялъ изъ-за плеча

свою двухстволку, поглядѣлъ на замки, снова закинулъ оружіе на прежнее мѣсто.

— Эй... хозяинъ...—толкнулъ локтемъ башкиръ Скоблякъ стараго Ефима.

Тотъ встрепенулся.

— Чего ты?..

— Тамъ, хозяинъ, что-то не ладно, — кивнулъ башкиръ на холмы;—какъ бы чего не было...

— Посмотрите,—говорилъ Симсонъ своему сосѣду,—вонъ, на холмѣ, видите... орелъ сидитъ, кажется?..

— Шапка трухменская...—сказалъ Скоблякъ.

— Прокопъ гдѣ?..—спросилъ Ефимъ.

— У переднихъ возовъ...

— Падаль лежитъ какая-то!— равнодушно замѣтилъ всадникъ на вороной лошади.

Во по-лѣ дороженька... да пролегала...

Онъ отвязалъ поводъ своего заводскаго коня, намоталъ его ему на шею и пустилъ на волю... Эта лошадь могла-бы ему помѣшать.

— Я начинаю припоминать,—говорилъ Эдуардъ Симсонъ.— Послушайте, не были-ли вы въ Самарѣ?.. Въ трактирѣ, у пристани; мы вмѣстѣ, кажется... Ой!..

Несчастный англичанинъ захлебнулся дымомъ въ упоръ, прямо ему въ лицо направленнаго выстрѣла. Лошадь его взвилась на дыбы и, затянутая судорожно стиснутой рукою убитаго, рухнулась на песокъ, вмѣстѣ съ своимъ всадникомъ.

Раскинулъ руками Ефимъ Мякенькій, нагнулся къ шеѣ коня; тотъ поддалъ задомъ и отскочилъ. Свалился «старый волкъ» и легъ ничкомъ, поперекъ англичанина, прямо къ солнцу своимъ пробитымъ, развороченнымъ затылкомъ...

— А, ты за-одно съ ними, собака! — заревѣлъ Скоблякъ и навалился на убійцу.

Тотъ встрѣтилъ нападеніе прикладомъ своего разряженнаго ружья... пошатнулся въ сѣдлѣ, и они схватились въ рукопашь, вцѣпившись другъ въ друга руками, силясь сорвать съ сѣдла одинъ другого.

Отъ холмовъ, лавою, пригнувъ пики, погоняя дикимъ гиканьемъ своихъ аргамаковъ, неслись барантачи и обхватывали всю переднюю половину растянувшагося обоза.

— Сбивай въ кучу!.. — покрывалъ все отчаянный голосъ Прокопа...

Весь окровавленный, спотыкаясь и зажимая бокъ рукою, онъ бѣжалъ пѣшкомъ къ паровику... Онъ не видѣлъ, что тамъ произошло... Кровь проступала межъ его пальцами... Все кружилось передъ глазами и путалось: и возы, и волы, испуганные, задравшіе кверху хвосты, и верблюды, мечущіеся во всѣ стороны, и дикіе наѣздники, мелькающіе тамъ и сямъ... Вдругъ все это исчезло разомъ... Помертвѣлые глаза ничего не видѣли, уши ничего не слышали...

— Сбивай въ кучу... Батько!..—чуть слышно прошептали губы Прокопа.

Онъ упалъ.

— Эко сцѣпились, точно вьюны!—наскакалъ рыжій Иванъ и осадилъ коня передъ борцами.—Нѣшто помочь тебѣ, землякъ...

Онъ вынулъ изъ-за своего широкаго пояса длинный пистолетъ турецкой работы, подобралъ коня и поднялъ вооруженную руку...

Два тѣла сплелись, словно прилипли другъ къ другу... Сдавленныя груди тяжело дышали, осоловѣлые глаза въ упоръ смотрѣли другъ на друга... Скоблякъ пытался зубами вцѣпиться въ горло своего противника и жевалъ воротъ его халата, грызъ шнурокъ отъ складного образка, выбившагося наружу...

— Какъ-бы того не попортить!—ворчалъ Иванъ бай и, нагнувшись почти къ самымъ борцамъ, выжидалъ удобное мгновеніе.

X.

Новыя лица.

— Вотъ мы и вторыя сутки сидимъ здѣсь, на одномъ мѣстѣ!—произнесъ Ледоколовъ съ досадою, закрывая книгу, которую читалъ, и засовывая ее подъ подушку.

— Что-же дѣлать? Нѣкоторымъ приходилось по недѣлямъ просиживать на станціяхъ или, вѣрнѣе сказать, на мѣстахъ, гдѣ предполагаются станціи; вотъ какъ здѣсь, напримѣръ!

— Что вы тамъ дѣлаете?

— Наблюдаю горизонтъ съ помощью вашего превосходнаго полевого бинокля и изыскиваю средства къ дальнѣйшему нашему движенію!

Малороссъ сидѣлъ на козлахъ и почти не отрывалъ бинокля отъ своихъ глазъ, щурясь и всматриваясь въ прозрачныя линіи миражныхъ озеръ, въ безконечную даль безлюдной степи.

— Школа терпѣнія,—вздохнулъ Ледоколовъ, помолчавъ немного.—Сигару хотите?

— Вонъ что-то чернѣетъ; не то всадникъ, не то... не разберешь, что...

— Хотите сигару?

— Верблюдъ... или, постойте-ка... Что-же это, въ самомъ дѣлѣ? Позвольте...

Бурченко, не оставляя своихъ наблюденій, протянулъ руку.

— Вотъ кого-то еще судьба посылаетъ. По дорогѣ пыль!

— Экипажъ?

— Не видать за пылью. Что-то большое, кажется...

— Ужъ не дормезъ-ли съ нашими дамами?

— Можетъ быть. Далеко еще, верстъ пять, пожалуй, будетъ: не скоро дотащутся. Вы, кажется, оживились немного?.. Не хотите-ли бинокль?

— Нѣтъ, пользуйтесь имъ; меня *это* нисколько не интересуетъ!

— Будто?.. А мнѣ показалось...

— Какъ ни симпатична *она*, но, наученный горькимъ жизненнымъ опытомъ, я смотрю иначе на эти явленія!

— Я тоже вотъ смотрю... (Бурченко даже всталъ на ноги) и вижу дормезъ... Теперь это ясно видно!

— Близко?...

Ледоколовъ сдѣлалъ движеніе, будто тоже хотѣлъ лѣзть на козлы.

— Гмъ!

Бурченко улыбнулся и подвинулся немного. Ледоколовъ, впрочемъ, остался на мѣстѣ.

— Грустную роль беретъ на себя эта дѣвушка. Судя по намекамъ, по разсказамъ, которые мнѣ приходилось слышать...— началъ Ледоколовъ.

— Нисколько не грустную. Коли она такъ-же умна, какъ красива, то въ накладѣ не будетъ.... Вѣрочка эта, бѣлобрысенькая, та тоже молодецъ, скоро разыщетъ, гдѣ раки зимуютъ. Кучеренокъ — ну, тотъ мелко будетъ плавать, натуришка небогатая. Да на что вотъ сама маменька: вы думаете, устарѣла барыня... нѣтъ, еще посмотрите, какъ поработаетъ...

— Вы все смотрите съ точки зрѣнія наживы... барыша...

— А то какъ-же?.. Вѣдь это все тоже своего рода горные инженеры, вотъ какъ и мы съ вами. Мы будемъ рыскать по горамъ и запускать въ ихъ нѣдра свои буравы и щупы, онѣ тоже, т. е. оно, положимъ... впрочемъ, это рѣшительно все равно, дѣло въ результатахъ!

— Но, послушайте, продавать такъ свою молодость, дѣвственность, сердце, душу — все за деньги, не согрѣть себя ни разу истиннымъ чувствомъ, оскорблять такъ свою духовную природу...

— Чего-съ?

— Это не можетъ пройти безнаказанно. Рано или поздно человѣкъ остановится, оглянется назадъ, на свою молодость... Это будетъ ужасная минута...

— Вотъ вы опять въ крайности ударились... Вотъ вы изволили видѣть, какъ Спѣлохватовъ металъ?

— Ну, это къ чему?

— Вы, я думаю, замѣтили, что онъ, бивши чуть не каждую карту, нѣтъ-нѣтъ, да и дастъ что-нибудь и понтеру... Такъ вотъ и въ этомъ дѣлѣ. Вотъ вы все говорите «продавать да продавать», а иныя такъ ухитряются, что, повидимому, и продаютъ товаръ, да изъ лавки его не выпускаютъ. Все зависитъ только отъ умѣнья и ловкости, а это все достигается рядомъ опытовъ, а чтобы сдѣлать опытъ, надо сдѣлать рѣшительный шагъ. Вотъ эти барыни и шагнули, да какъ, чуть не пять тысячъ верстъ сразу. Да напуститъ на васъ Аллахъ премудрости, храбрыя барыни! Нѣтъ, это не дормезъ, а, впрочемъ, ничего не разберешь; пыль поднялась такая!..

Бурченко протеръ стекла бинокля и опять приставилъ его къ глазамъ.

— Онѣ самыя!..

— Брозе?!.

Ледоколовъ вскочилъ тоже на козлы и взялъ бинокль изъ рукъ своего путевого товарища.

Оригинальный видъ представлялъ распряженный тарантасъ, стоящій посреди необозримой, гладкой, какъ море, степи, и эти двѣ бородатыя фигуры, въ парусинныхъ пальто, взобравшіяся на козлы, наблюдавшія съ сосредоточеннымъ вниманіемъ что-то такое, что опять скрылось изъ глазъ, заслоненное густымъ пыльнымъ облакомъ.

Чуть слышно доносился свистъ ямщиковъ-киргизовъ. Темная, тяжелая масса, поскрипывая и позванивая разболтавшимися гайками, медленно ползла по дорогѣ.

Ледоколовъ поправилъ рукою свою бороду и стряхнулъ съ нея завязшую соломинку; Бурченко справился, все-ли у него застегнуто.

Ближе и ближе подвигался чудовищный экипажъ. Теперь ясно уже было видно, что это такое; всякое сомнѣніе исчезло: это не былъ дормезъ госпожи Брозе и ея дочери.

Легкая досада промелькнула на лицѣ Ледоколова.

— Однако, слѣземъ съ козелъ на всякій случай!—предложилъ Бурченко.

Большая колымага, вродѣ тѣхъ еврейскихъ фуръ, которыя попадаются частенько въ нашихъ западныхъ губерніяхъ, на деревянныхъ осяхъ и бычьихъ колесахъ, запряженная четверкою верблюдовъ, приближалась къ станціи. Верблюды были запряжены по-парно: пара въ дышлѣ и пара впереди. Передняя пара, должно быть, сильно притомилась и начала приставать, потому что «лаучи» слѣзъ съ горбовъ одного изъ верблюдовъ этой пары и, перекинувъ поводья черезъ плечо, шелъ впереди пѣшкомъ и тащилъ усталыхъ животныхъ. На задней парѣ сидѣлъ другой «лаучи» и дремалъ. Плоская крыша этой колымаги была завалена узлами, перехваченными накрестъ веревками; изъ боковыхъ отверстій, служащихъ для входа и выхода или, вѣрнѣе, для влазу и вылазу, торчали углы подушекъ въ ситцевыхъ наволочкахъ, торчала даже женская нога, бутая въ полосатый синій чулокъ и красную туфлю безъ задка.

— Это что за явленіе?—удивился Ледоколовъ.

— А вотъ узнаемъ... Во-первыхъ, это верблюды не почтовые; видимое дѣло, они ѣдутъ на долгихъ. Гдѣ-же это мы ихъ обогнали и не видѣли?

— Ночью какъ-нибудь, должно быть!

Колымага, дотащившись до станціи, остановилась. Лаучи, молча, не обращая никакого вниманія на тарантасъ и двухъ русскихъ путешественниковъ, словно ихъ тутъ и не было, принялись отцѣплять постромки и выводить верблюдовъ. Внутри колымаги незамѣтно было никакого движенія; оттуда только слышался храпъ и тяжелое, носовое дыханіе спящихъ.

«Пойти, поглядѣть», —подумалъ Бурченко и подошелъ къ колымагѣ. Надо было встать на подножку, чтобы заглянуть внутрь. Такъ онъ и сдѣлалъ. Съ противоположной стороны въ это время лѣзъ Ледоколовъ.

Шесть женщинъ, пять молодыхъ и одна преклоннаго возраста, необыкновенно развитыхъ, ожирѣлыхъ до того, что всѣ формы лоснились, спали на перинахъ. Между жирнымъ затылкомъ въ чепцѣ и угломъ кованнаго сундучка торчали тараканьи усики и длинный красный носъ чистѣйшаго кавказскаго типа.

— Наблюдаете?—произнесъ Бурченко, замѣтивъ, съ какимъ вниманіемъ созерцалъ его vis-à-vis интересную картину.

— Что-же это такое?..

— Я полагаю, это тоже горные инженеры. Однако, это ужъ слишкомъ! Какъ ни интересно все это, но наблюдать на такомъ близкомъ разстояніи...

Бурченко соскочилъ съ подножки, Ледоколовъ тоже опустился на землю. Въ колымагѣ послышалась возня; нога въ туфлѣ спряталась, вмѣсто нея высунулась черномазая голова восточнаго человѣка, оглянулась, щуря на солнцѣ заспанные, маслянистые глаза, и стала вылѣзать.

— Уфъ... какъ-же жарко!.. — послышался женскій голосъ. — Ой, какъ мне хочется пить!—говорилъ другой женскій голосъ.

— Амалатъ Богдановичъ, у васъ бутилка?..

— А я-же почему знаю .. — отвѣчалъ Амалатъ Богдановичъ и, замѣтивъ постороннихъ, поспѣшилъ оправить свой архалукъ съ нашитыми на груди патронами и закрутилъ усъ.—Мое почтеніе... Мы тоже проѣзжаемъ въ Ташкентъ... Здѣсь можно пить чай?..—почему-то обратился онъ къ Ледоколову.

— Отчего-же нельзя,—отвѣчалъ за него Бурченко.—Въ степи просторно, и чай пить никому не возбраняется!

— Очень это хорошо... Боже мой, Боже мой! И отчего это только такъ жарко?.. У насъ, въ Шемахѣ, тоже очень жарко; въ Варшавѣ не такъ чтобы совсѣмъ; въ Петербургѣ тоже очень хорошо, тамъ не жарко...

— Не можетъ быть?—удивился Бурченко.

— Нѣтъ, не жарко. Вотъ въ Ревелѣ и въ Кенигсбергѣ...

— Не случалось!

— Прекрасный городъ... Вы бывали въ Ташкентѣ?

— Въ Ташкентѣ былъ.

— Вотъ и мы ѣдемъ въ Ташкентъ... Да что-же вы спите все? Вставайте, вылѣзайте; здѣсь будемъ пить чай и гулять будемъ немножко!

Изъ колымаги выбросили большой коверъ. Амалатъ Богдановичъ ухватилъ его за уголъ и поволокъ на то мѣсто, гдѣ ложилась тѣнь отъ ихъ экипажа. За ковромъ послѣдовало нѣсколько подушекъ, наволочка съ булками. За всѣмъ этимъ полѣзли дѣвицы, за дѣвицами пожилая дама съ самоваромъ подъмышкою и двумя металлическими чайниками. Кавказецъ почтительно принялъ отъ нея посуду и помогъ ей спуститься на землю.

— Ставь самоваръ, Амалатъ... Пусти меня тутъ сѣсть, Каролина!— произнесла почтенная дама и лѣниво, съ самой сладкою миною, раскланялась съ нашими пріятелями.

Амалатъ засуетился надъ самоваромъ, пыхтя и раздувая его трубу, и осторожно закупоривалъ боченокъ, изъ котораго наливалъ воду.

— А нельзя будетъ полюбопытствовать,—обратился Бурченко къ восточному человѣку, — что именно вы предполагаете устроить въ Ташкентѣ?!.

— Новый ресторанъ!

— Ну, а вотъ эти барыни, что-же онѣ будутъ дѣлать?

— Будутъ подавать господамъ кушанье и играть на арфѣ!— серьезно отвѣтила за своего мужа Августа Ивановна.

— А что, позвольте теперь васъ спросить...— обратился, въ свою очередь, восточный человѣкъ къ малороссу.

— Что прикажете?

— Когда вы изволили быть въ Ташкентѣ, не было тамъ еще ресторановъ?

— Такихъ, какъ вашъ, еще не было, да и теперь нѣтъ. Вы первый!

— Ой, какъ-же это хорошо! Слышите, Августа Ивановна; мы первые!

— О!..— осклабилась почтенная дама.— Вы, господа, къ намъ, пожалуйста, заходите, когда мы устроимся...

— Непремѣнно...

— А близко здѣсь аулы? — спросилъ киргиза Бурченко.

— Должно быть, недалеко. Вонъ, видишь, солнце? Оно теперь уже на низъ пошло, какъ дойдетъ совсѣмъ до земли, можно назадъ успѣть вернуться!

— Ну, поѣзжай въ аулъ!

— Зачѣмъ-же ты въ аулъ посылаешь?

— А по своему дѣлу. Сдѣлаешь—цѣлковый дамъ!

— Что-же тебѣ тамъ надо?

— Скажи тамъ бію, или кто тамъ есть постарше, чтобы прислалъ сюда лошадей или верблюдовъ отвезти нашъ тарантасъ въ аулъ. Скажи молъ, купцы ѣдутъ; хотятъ у нихъ погостить!

— Купцы? — киргизъ подозрительно посмотрѣлъ на проѣзжихъ.

— Извѣстно, купцы, а ты думалъ: чиновники?

— То-то. Ну, я тамъ скажу. Давай цѣлковый!

— Половину на, а остальную—когда приведешь лошадей. Ты скажи имъ, что я за лошадей тоже заплачу, слышишь?

— Слышу-у... Эхъ!.. Далеко какъ аулъ, очень далеко, и такъ далеко, что не хочется ѣхать!

Киргизъ лѣниво потянулся и сдѣлалъ видъ, будто собирается прилечь.

— Вѣдь, экая хитрая свинья: ты-же вѣдь, говорилъ, что близко, что къ солнечному закату назадъ вернуться можно?

— Да какъ ѣхать; если ужь очень гнать... Да нѣтъ, у меня верблюды очень устали. Не поѣду!

— А, ну, хорошо-же, такъ я самъ поѣду!

Бурченко выбиралъ глазами между лежащими верблюдами, котораго-бы взять. Темно-бурый наръ, недавно только остриженный, почему-то ему приглянулся больше прочихъ. Онъ по-

дошелъ и взялъ за волосяной арканчикъ, продѣтый въ надорванныя ноздри животнаго.

— Кой (оставь), не твой верблюдъ! — крикнулъ киргизъ.

— Ладно, испорчу — заплачу!

Малороссъ дернулъ за поводъ и издалъ гортанный хриплый звукъ, которымъ обыкновенно поднимаютъ верблюдовъ на ноги. Въ ту минуту, когда животное подобрало задъ, чтобы подняться, Бурченко вскочилъ на сѣдло, и верблюдъ поднялся вмѣстѣ съ всадникомъ.

— Ну, прощай, до свиданья, товарищъ! — крикнулъ Бурченко и тронулся.

— Вѣдь вы не знаете дороги? — крикнулъ ему вслѣдъ Ледоколовъ.

— Въ степи надо знать только, въ какую сторону ѣхать; а это я знаю!

— Смотри, Маллыкъ, какъ-бы тебѣ не вышло чего, — остерегъ пожилой лауча молодого товарища. — Пожалуется тамъ бію, что ты его не послушалъ!

— Эй, шайтанъ! Я его догоню!

— Садись вотъ на этого да догоняй. Поѣзжайте лучше вмѣстѣ.

Киргизъ поднялъ другого верблюда, сѣлъ и пустился тяжелою, развалистою иноходью догонять Бурченко. А тотъ далеко уже виднѣлся въ степи, безпрестанно погонялъ своего верблюда ударами нагайки и уже чуть мелькалъ въ пыли бѣлою спиною своего парусиннаго балахона. Ледоколовъ взялъ бинокль и наблюдалъ обоихъ всадниковъ. Разстояніе между заднимъ и переднимъ становилось все меньше и меньше, наконецъ, они сошлись; поспорили, должно быть, помахали руками. Бурченко вернулся, а киргизъ исчезъ совершенно изъ глазъ, погнавъ своего верблюда туда, гдѣ были аулы.

— Фу, какъ раскачало... отвыкъ! — произнесъ Бурченко, слѣзая съ верблюда.

Амалатъ Богдановичъ со всею своею компаніей съ недоумѣніемъ и подозрительно смотрѣли на происходившіе передъ ихъ глазами маневры. Они положительно не понимали, что это такое дѣлается. Даже самъ Ледоколовъ недоумѣвалъ немного.

— Вотъ мой планъ, — говорилъ Бурченко. — Намъ приведутъ лошадей; мы поѣдемъ въ аулы. Оттуда мы договоримъ

кого-нибудь везти насъ степью, мимо почтоваго тракта, отъ аула къ аулу и т. д. Если мы будемъ и медленнѣе двигаться, то, по крайней мѣрѣ, путешествіе наше будетъ интереснѣй. Да еще это вопросъ, медленнѣе-ли?

— Позвольте васъ попросить съ нами чай кушать!— подошелъ къ нимъ Амалатъ Богдановичъ.

— Пожалуйте, господа!—съ пріятнѣйшей улыбкою протянула Августа Ивановна.

— Помилуйте, въ такомъ пріятномъ обществѣ...

Бурченко подставилъ локоть Ледоколову, тотъ взялъ его подъ руку. Они подошли къ ковру. Эмма, Матильда, Розалія и Каролина пораздвинулись и дали мѣсто гостямъ.

XI.

Грозныя вѣсти.

Какъ только начало заходить солнце, и въ степи посвѣжѣло, какъ съ той стороны, куда поѣхалъ лауча, посланный опытнымъ степнякомъ, показалась довольно большая группа верблюдовъ, рѣзкимъ пятномъ обозначаясь на красномъ фонѣ заката. Верблюды шли скоро, рысцою; ясно, что они были налегкѣ, безъ вьюковъ; виднѣлись два или три всадника; впереди-же всѣхъ катилъ посланный лауча, издали еще давая знать рѣзкимъ крикомъ о своемъ приближеніи.

Дамы хотя и были предупреждены Ледоколовымъ о томъ, что послано въ аулы за верблюдами, и что, вѣроятно, ихъ скоро приведутъ, все-таки перетрусили при видѣ быстро приближающейся кавалькады и съ визгомъ полѣзли въ свою фуру. Даже храбрый кавказецъ пожелтѣлъ и оттопырилъ губу; онъ всталъ на подножку фуры и нѣсколько разъ повторилъ: «ахъ, Амалія Ивановна, я не знаю, что это... пожалуйста, поищите мой кинжалъ: онъ тамъ гдѣ-то, между подушками...»

Съ верблюдами пріѣхало еще человѣкъ пять любопытныхъ киргизъ; всѣ они похаживали мимо фуры, полы которой были спущены на всякій случай... Амалатъ Богдановичъ глядѣлъ испуганнымъ зайцемъ и вздрагивалъ каждый разъ, когда кто-нибудь изъ прибывшихъ черезчуръ ужъ близко подходилъ къ

экипажу или-же обнаруживалъ свое намѣреніе заглянуть: да что-же тамъ внутри, о чемъ такъ хорошо разсказывалъ лауча, что вызвалъ ихъ изъ аула?

Долго спорилъ и убѣждалъ пріѣхавшихъ Бурченко, стараясь доказать, что до ихъ ауловъ близко и что довезти ихъ туда не можетъ стоить по пяти цѣлковыхъ съ верблюда, какъ заломили киргизы. Тѣ настаивали на своемъ, уступали понемногу и потомъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, возвращались къ прежнему требованію. Наконецъ, сладились, и то потому только, что малороссъ обѣщалъ самъ поѣхать въ аулы и нажаловаться на нихъ бію, а то такъ и самому губернатору, какъ доѣдетъ до «большого города».

Порѣшили по рублю за каждаго верблюда и принялись запрягать ихъ въ легонькій тарантасъ Ледоколова.

— Тутъ и одному везти нечего, а вы мнѣ шестерыхъ напутываете; только повозку поломаете!— убѣждалъ Бурченко.

— Тяжелая арба! — лаконически отвѣчалъ коренастый, полуголый киргизъ и, какъ-бы въ доказательство своихъ словъ, однимъ плечомъ приподнималъ на полъ-аршина отъ земли задокъ экипажа со всѣми привязанными тамъ чемоданами.

Долго возились, спорили, шумѣли, наконецъ, тронулись. Верблюды оказались никогда неходившими въ упряжкѣ и чуть не разнесли по кускамъ тарантасъ. Дѣлать было нечего—пришлось ограничиться только двумя верблюдами и отпречь четырехъ; деньги, впрочемъ, получены были за всѣхъ, да еще впередъ, на томъ основаніи, что, какъ заявилъ одинъ изъ киргизовъ, ведшій переговоры, «вашему брату, русскому, нельзя вѣрить ни на вотъ столько», причемъ онъ показалъ на своемъ пальцѣ, насколько именно нельзя вѣрить русскому.

— И обидѣться не смѣешь, ибо они резонъ имѣютъ!— замѣтилъ Бурченко.

Товарищи подошли къ фурѣ, пожелали дамамъ счастливаго пути и благополучнаго прибытія на мѣсто дѣйствія, расклагнись и сѣли въ тарантасъ. На каждаго изъ верблюдовъ сѣло по киргизу; конные тоже прихватили ихъ своими арканами. Верблюды пугливо озирались, ежились и вотъ-вотъ норовили шарахнуться въ разныя стороны.

Тронулись.

— Съ этой минуты мы начинаемъ путешествовать по новому методу,—произнесъ Бурченко,—и, повѣрьте, въ накладѣ отъ этого не будемъ!

— Я отдаюсь въ полнѣйшее ваше распоряженіе и преклоняюсь передъ вашею опытностью!—отвѣчалъ ему Ледоколовъ.

— Путевою, только путевою,—поскромничалъ малороссъ.— Однако, они подхватываютъ! Смотрите, если мы часа черезъ два не будемъ въ аулахъ!

Было темно, и тарантасъ прыгалъ по кочкамъ, скрипѣлъ и сильно покачивался. Ѣхали безъ дороги, цѣликомъ, степью; кусты колючки и бурьяна шуршали и потрескивали, попадая подъ экипажныя колеса; упряжные верблюды вздыхали, пыхтѣли и подбрыкивали на-ходу, когда тарантасъ набѣгалъ на нихъ и свободно подвязанныя оглобли задѣвали по цыбатымъ ногамъ животныхъ. Раза два верблюды распрягались или-же обрывали постромки; тогда приходилось останавливаться; начиналась опять возня съ упрямыми животными; для того, чтобы запречь ихъ, надо было класть ихъ на землю и надвигать къ нимъ тарантасъ руками. При усилившейся темнотѣ эта операція занимала много времени. Раза два тарантасъ крякнулъ чрезвычайно подозрительно.

— Я боюсь, какъ-бы намъ не пришлось бросить нашъ тарантасъ за негодностью и продолжать путь на вьюкахъ!— заявилъ свое опасеніе Ледоколовъ.

— Все случается...—утѣшилъ его Бурченко.

— Что это: аулы?

Впереди что-то чернѣло, и слышались голоса.

— Аулы ваши, что-ли, вонъ виднѣются?—переспросилъ у ближайшаго киргиза Бурченко.

— Какіе аулы?—Нѣтъ, то не аулы; аулы еще далеко!— отвѣчалъ киргизъ, приглядываясь впередъ.

— Что-же это тамъ?

— Это?—Караванъ!

— Да развѣ здѣсь дорога?

— Нѣтъ дороги. Это изъ нашихъ ауловъ чиновниковъ выпроваживаютъ!

— Какихъ чиновниковъ?

— А развѣ мы знаемъ, какихъ? Вы лучше знаете!

*

— Ничего не понимаю!..

Караванъ приближался. Можно было разсмотрѣть, что это тоже были какіе-то экипажи, запряженные лошадьми и верблюдами; ихъ конвоировали человѣкъ двадцать конныхъ. Всадники были вооружены, и на болѣе свѣтломъ фонѣ неба чернѣлись тонкія черточки киргизскихъ пикъ. Колокольчики бренчали подъ дугами тѣхъ тарантасовъ, которые были запряжены лошадьми; слышалась протяжная, монотонная киргизская пѣсня; слышался какой-то подвыпившій, хриплый теноровъ, отхватывающій:

„Ой, барыня, барыня,
Сударыня-барыня!“

— Что такое за чиновники? — сталъ приглядываться Ледоколовъ.

— Комиссія какая-нибудь спеціальная; теперь онѣ въ ходу, эти комиссіи-то! — высказалъ свое предположеніе Бурченко.

Поѣзды поравнялись.

— Стой! Что за люди? — крикнулъ съ козелъ передняго тарантаса казакъ-оренбуржецъ.

Должно быть, онъ сдѣлалъ этотъ окликъ по приказанію сидящаго въ экипажѣ, потому что передъ этимъ онъ нагибался съ козелъ назадъ и выслушивалъ почтительно чей-то полушопотъ.

— Эй, придержи своихъ верблюдовъ, тамыръ! — остановилъ своего возницу Бурченко. — Купцы по своимъ дѣламъ! — крикнулъ онъ въ отвѣтъ на окликъ.

— Стой, стой! — кричалъ казакъ.

— Стой, стой! Да остановитесь-же вы, дьяволы! — послышались голоса изъ другихъ экипажей.

— Это еще что за нахальство? — чуть не вскрикнулъ Ледоколовъ и поднялся на ноги.

— Успокойтесь, это не къ намъ относится, — удержалъ его товарищъ: — это они на своихъ возницъ кричатъ!

— Чего стой? — Гайда, гайда! Не надо «стой», гайда дальше! — подскакалъ къ переднему тарантасу конный киргизъ.

— Я стрѣлять буду, каналья! Стой, тебѣ говорятъ! — высунулась изъ экипажа темная фигура въ шинели и въ фуражкѣ съ кокардою.

— Не можешь ты стрѣлять! Гайда, ступай впередъ!

Казакъ на козлахъ вырывалъ возжи изъ рукъ киргиза-ямщика, тотъ не давалъ и нахлестывалъ лошадей. Лошади бились и рвались изъ упряжи. Изъ другихъ тарантасовъ повыскакали пассажиры и подбѣжали къ переднему экипажу. Подвыпившій теноръ дотянулъ до конца свою «Барыню». Два сильно шатающихся кителя подошли къ тарантасу Ледоколова.

Оба поѣзда остановились.

— Ничего не понимаю... — какъ-бы про себя шепталъ Ледоколовъ.

— Догадываюсь, догадываюсь... — такъ-же точно бормоталъ Бурченко.

— Господа купцы, вы это куда?— произнесъ одинъ изъ шатающихся кителей.

— Въ аулы!—отвѣчалъ малороссъ.

— На свою погибель?

— Какъ такъ?

— Назадъ, назадъ скорѣе, если вамъ жаль вашихъ головъ!

— Бунтъ... да какой!..—таинственно предупреждалъ другой китель, пытаясь стать на подножку экипажа, но никакъ не попадая ногою, куда слѣдуетъ.

— Гдѣ, кто?

— Однако, это новость! — удивился Ледоколовъ и, признаться, немного струсилъ.— Вотъ штука!

— Господа, я долженъ васъ предупредить, — вѣжливымъ, пріятнымъ, самымъ, впрочемъ, оффиціальнымъ баритономъ заговорила изъ своего экипажа фуражка съ кокардой: — вся степь въ возстаніи, и вы не въ безопасности. Мой совѣтъ...

— Удирайте скорѣе, да и все тутъ! — перебилъ одинъ изъ кителей.

— Знаете, пока это еще не разошлось... пока что...— подвернулся сбоку не то мундиръ, не то охотничій кафтанъ (въ потемкахъ нельзя было разобрать).

— Да гдѣ-же возстаніе? Мы положительно ничего не слыхали!—удивлялся Бурченко.—Тамъ все такъ спокойно...

— Я вамъ это сообщаю, я предупреждаю васъ, а впрочемъ, какъ угодно!—обидѣлась немного фуражка.

— Поворачивайте оглобли и утекайте съ нами! — шепталъ китель.

— Я не знаю, впрочемъ, съ какими цѣлями вы ѣдете...— не безъ двусмысленности говорила фуражка.

— Послушайте, а, можетъ, и въ самомъ дѣлѣ опасность серьезная?—тихо говорилъ Ледоколовъ.

— Пустяки! Это повтореніе стараго. Я уже понялъ, въ чемъ дѣло!

— Мы арестованы!— заявилъ одинъ изъ кителей.

— Да-съ, въ плѣну!—пояснилъ неопредѣленный костюмъ.

— Куда-же это васъ везутъ—въ Хиву, что-ли?—улыбнулся Бурченко.

— А не знаемъ, право...

— Выведемъ на большой трактъ и пустимъ!—объяснилъ, наконецъ, конный киргизъ ломанымъ русскимъ языкомъ.

Онъ понималъ, о чемъ говорили между собою встрѣтившіеся, и все время переводилъ содержаніе разговора своимъ товарищамъ. Въ это-же время онъ допрашивалъ киргизовъ, везшихъ Ледоколова и Бурченко, и, повидимому, остался доволенъ результатами своего допроса.

— Странный плѣнъ!—удивился Ледоколовъ.

— Ну, господа, счастливаго вамъ пути! Каждый ѣдетъ разною дорогою: вы—въ плѣнъ, мы — въ возставшія степи! — раскланялся Бурченко.

— Ваша фамилія?—строго и холодно полюбопытствовала фуражка.

— Бурченко,— къ вашимъ услугамъ; а товарищъ мой...— Вы позволите назвать себя?

— Ледоколовъ!—поспѣшилъ предупредить его товарищъ.

— Гмъ, понимаю...—произнесла фуражка и откинулась внутрь экипажа.

«Шла барыня по мосту,
Полна шляпка хворосту...»

опять началъ теноръ.

— А что, господа, не можете-ли вы подѣлиться табакомъ: у меня весь вышелъ, а въ степи, вы сами понимаете...—попросилъ неопредѣленный костюмъ.

— Съ удовольствіемъ!—произнесъ Ледоколовъ и вытащилъ ящикъ съ сигарами.

«Ай, барыня на печи,
Суетъ въ карманъ кирпичи...»

— Развеселые плѣнники!

— Эй, лучше-бы вернуться!

— Гайда, гайда! — опять начались понуканія конвоирующихъ киргизовъ.

— Прощайте!

— Счастливой дороги!

Поѣзды разъѣхались, и долго еще слышались въ степи звонъ колокольчиковъ и крики: «гайда, гайда!» — и сквозь все это прорѣзывались по временамъ забористые куплеты «Барыни».

— Все-таки я рѣшительно не понимаю, въ чемъ дѣло! — говорилъ Ледоколовъ, прислушиваясь къ этимъ удаляющимся звукамъ.

— Въ аулѣ все узнаемъ подробно!

— Но, послушайте, все это такъ странно... Ну, если и въ самомъ дѣлѣ?

— Старыя пѣсни!..

— Жаль, что вы не разспросили хорошенько этихъ киргизовъ!

— Они вамъ то же бы сказали, что и я сейчасъ говорилъ: пріѣдете, молъ, въ аулы, все-сами узнаете. А что, тамыръ, далеко еще до вашихъ ауловъ?

— Вонъ они!..

Киргизъ, сидящій на козлахъ, протянулъ руку съ нагайкою и указалъ вдали, на самомъ горизонтѣ, красныя пятна костроваго зарева.

— Ха-ха-ха!.. — вдругъ расхохотался Бурченко.

— Чего вы?

— А вспомнилъ я о нашихъ барыняхъ, что сидятъ теперь на станціи. Теперь онѣ нашли себѣ надежную охрану. Вѣдь вся эта комиссія поѣхала въ ту сторону!

— Вотъ банкетъ зададутъ, на трактѣ-то!

— «Гранъ плезиръ!» — вспомнилъ Бурченко. — Тише вы подъ горку-то!

Тарантасъ перебирался черезъ некрутую степную балку. Темныя горбатыя массы паслись по сторонамъ. Неподалеку заржала лошадь... другая, третья... Доносились голоса... Тарантасъ поднялся на противоположный высокій берегъ балки.

Громадные, широко-раскинувшіеся аулы, освѣщенные сотнями костровъ, оживленные, шумные, открылись передъ глазами путешественниковъ. Густые столбы дыма, снизу красные, сверху освѣщенные только-что поднявшейся луною, клубились надъ аулами. Пестрая толпа,—преимущественно женщины въ высокихъ бѣлыхъ тюрбанахъ,—стояла на дорогѣ и дожидалась прибытія тарантаса. Черныя, закопченыя, пузатыя, совершенно голыя дѣти, съ торчащими на бритыхъ головахъ косичками, кричали, кувыркались и орали по обѣимъ сторонамъ экипажа.

— Гей! Гей!—весело кричали киргизы-конвой.

Рѣзкій свистъ и отвѣтные крики: гей, гей! неслись имъ на встрѣчу.

— Ну, вотъ мы и въ центрѣ возставшихъ ауловъ!—произнесъ Бурченко.

Тарантасъ остановился.

XII.

Курьезный документъ.

Выйти не успѣли пріѣзжіе изъ экипажа, какъ ихъ со всѣхъ сторонъ окружили любопытные, жадные до всякихъ новостей кочевники.

— Откуда Богъ принесъ?

— Что привезли?

— Чего вамъ у насъ надо?

— Проваливайте, откуда пріѣхали!

— Къ намъ идите, гости божьи будете!

— Намъ, дѣвкамъ, подарковъ наготовили много?

— Гдѣ-жъ товары ваши?

Посыпались со всѣхъ сторонъ самые разнообразные вопросы и заявленія.

— Вотъ такъ атака! — произнесъ Ледоколовъ, пятясь назадъ къ тарантасу.

— Да дайте-же дорогу, чего пристали... Ну, здорово, здорово. А ты щипаться, жирная эдакая! Ой! Да ну васъ, черти!.. Пусти, что-ли!..— слышался голосъ Бурченко. — Что, братъ, заревѣлъ?.. Не лѣзь подъ ноги, босоногій!.. — нагнулся онъ куда-то внизъ. — Ну, дорогу-же, говорятъ вамъ...

Нѣсколько женщинъ полѣзли въ тарантасъ и начали тамъ рыться. Бурченко замѣтилъ это обстоятельство.

— Эй, эй, вы, тамъ, не трогать!—крикнулъ онъ любопытнымъ красавицамъ.— Слышь ты, тамыръ,— обратился онъ къ одному изъ киргизовъ, пріѣхавшихъ съ ними; — посторожи, братъ, поблагодарю послѣ... Разгони ихъ, пока я къ бію схожу!..

— Ладно!—согласился киргизъ и принялся разгонять женщинъ, пустивъ въ ходъ брань, кулаки и даже неизбѣжную нагайку—«камчу». Впрочемъ, все это дѣлалось безъ всякаго озлобленія съ той и другой стороны.

Молодой джигитъ, весь въ красномъ, съ шашкою—«клынчемъ», засунутою за поясомъ, протолкался къ нашимъ пріятелямъ.

— Аманъ исенъ сызъ? (здоровы-ли вы?)—привѣтствовалъ онъ пріѣзжихъ.

— Здравствуй, братъ,—отнесся къ нему Бурченко.—Выручи ты насъ, ради Аллаха, видишь, какъ пристали эти сороки... просто не даютъ ходу!..

— Бабы! — презрительно пожалъ плечами красный джигитъ.—Ну, идите за мною. Султанъ Забыкъ въ свою кибитку зоветъ васъ!

— Пойдемте къ султану Забыку!—пригласилъ своего товарища Бурченко, и они тронулись сквозь толпу, раздавшуюся при появленіи «краснаго» и еще человѣкъ трехъ вооруженныхъ джигитовъ.

Мягкая, словно кошачья лапка, нѣжная рука ласково тронула за плечо Ледоколова, — тотъ обернулся. Красивая, смуглая, какъ дубленая кожа, дѣвушка прижималась къ нему и хотѣла что-то шепнуть ему на ухо...

— Ты мнѣ платокъ подари пестрый и нитку красныхъ шариковъ на голову. Подаришь?..—И она нѣжно смотрѣла на русскаго изъ-подъ своего бѣлаго джавлука (головного убора).

Ледоколовъ ничего не понялъ и недоумѣвалъ.

— Я къ тебѣ за это приду постель твою оправить и спину чесать ночью. Подаришь?

— Послушайте, Бурченко... вотъ тутъ она говоритъ... я ничего не понимаю...

— Что такое?..—остановился малороссъ.

Дѣвушка фыркнула и спряталась въ толпѣ.

Сопровождаемые конвоемъ изъ четырехъ джигитовъ, путешественники выбрались, наконецъ, изъ толпы, прошли мимо кибитокъ, изъ-подъ приподнятыхъ кошемъ которыхъ выглядывали мужскія и женскія лица, провожая русскихъ не совсѣмъ ласковыми взглядами, прошли между двумя обширными загонами для мелкаго скота; косматыя собаки злобно рычали и лаяли, глядя на непривычные костюмы; перебрались черезъ небольшой ручей по вязанкамъ камыша и хворосту и направились къ большой бѣлой кибиткѣ, стоявшей особнякомъ отъ прочихъ, около которой собралось довольно-таки народу, и на длинномъ шестѣ развѣвался трехугольный бѣлый значекъ, украшенный наверху конскимъ хвостомъ и увѣшанный суконными кромками. Это и была ставка Рахима-Берды, бія, и султана Забыка, его брата. За бѣлою кибиткою виднѣлись верхушки другихъ желомеекъ и кибитокъ, гдѣ помѣщались ихъ семейства. Неподалеку нѣсколько женщинъ ставили еще одну желомейку, и въ то время, когда однѣ изъ нихъ устанавливали ребра крыши, другія разворачивали широкіе сшитые войлоки и прилаживали къ нимъ тесьму для обвязки всей желомейки снаружи.

Луна поднялась уже высоко и ровнымъ, молочнымъ свѣтомъ заливала все волнующееся кочевье; свѣтъ костровъ оказался теперь излишнимъ; внутри же кибитокъ ярко пылали очаги, и багровые лучи высоко поднимались изъ рѣшетчатыхъ тендюковъ (верхнихъ отверстій, предназначенныхъ для выхода дыма).

Послѣ размѣна привѣтствіями и обычныхъ переговоровъ, Ледоколова и Бурченко ввели въ кибитку, на порогѣ которой встрѣтилъ ихъ высокій, плотный старикъ съ просѣдью въ клинообразной бородѣ и съ лукавымъ, словно подсмѣивающимся взглядомъ темно-карихъ косыхъ глазъ... На старикѣ былъ надѣтъ въ накидку простой верблюжій халатъ, изъ-подъ котораго виднѣлся разстегнутый воротъ шелковой лиловой рубахи и узорные концы шитаго пояса; на головѣ его плотно сидѣла крошечная парчевая тюбетейка съ острымъ верхомъ, вся зашитая блестками и ярко сверкавшая при каждомъ движеніи старика. Это былъ хозяинъ кибитки и бій здѣшнихъ ауловъ, Рахимъ-Берды, человѣкъ, пользующійся уваженіемъ и довѣріемъ чуть не всей степи.

За очагомъ, на почетномъ мѣстѣ, сидѣлъ другой киргизъ, помоложе, тоже въ золотой шапочкѣ, одѣтый довольно оригинально: поверхъ длиннаго халата изъ какой-то полосатой бухарской ткани накинутъ былъ темнозеленый казакинъ, выложенный по бортамъ галунами, а на плечахъ киргиза красовались русскіе кованые эполеты съ прапорщичьей одинокой звѣздочкою.

— Мы гостямъ всегда рады: гость—божій человѣкъ и посылается къ намъ всегда, какъ особенная милость Аллаха...—закончилъ свое привѣтствіе Рахимъ-Берды и посторонился, какъ - бы приглашая вошедшихъ пройти за очагъ.

— Благословеніе всему дому вашему, семейству и всему скоту!—отвѣчалъ Бурченко, протягивая хозяину руку.

— Если только въ головѣ у васъ нѣтъ черной мысли, и на языкѣ вашемъ не кочуетъ обманъ... Миръ вамъ и счастливый конецъ вашему пути!

— Благодарю и за себя, и за товарища своего!—поклонился малороссъ.

— Милости просимъ; пожалуйста, садитесь!—приподнялся и подвинулся влѣво обладатель золотыхъ эполетъ. Онъ произнесъ эту фразу по-русски и самодовольно улыбнулся, замѣтивъ изумленіе на лицѣ Ледоколова.

Это былъ султанъ Забыкъ, имѣющій русскій чинъ прапорщика и бывавшій по дѣламъ службы въ Оренбургѣ, Уральскѣ и даже разъ какъ-то въ Нижнемъ Новгородѣ. По случаю своего офиціальнаго званія онъ и носилъ, поверхъ туземнаго костюма, форменный казакинъ съ эполетами.

— Садитесь съ нами!—еще разъ повторилъ Забыкъ и поправилъ на шеѣ красную анненскую ленту съ подвѣшеной на ней медалью.

Послѣдній жестъ онъ тоже сдѣлалъ съ разсчетомъ.

Не успѣли всѣ усѣсться по мѣстамъ, какъ кругомъ послышались глухіе голоса, ропотъ; слышно было, какъ толпа вокругъ кибитки все прибывала и прибывала... Въ открытыхъ дверяхъ мелькали фигуры, и поминутно заглядывали все разныя и разныя лица.

— Однако, въ этомъ шумѣ я не замѣчаю ничего утѣшительнаго!—шепнулъ Ледоколовъ на ухо своему товарищу.—Вы слышите?

— Слышу, странно что-то... — отвѣчалъ тотъ такъ-же тихо.—Не добре—гудитъ громада... Чу-кось!..

Шумъ усиливался.

— Ата, выйди къ нимъ... Они мнѣ не вѣрятъ!..— заглянулъ въ кибитку красный джигитъ.—Тебя опять зовутъ!

— Безпокойные... — проворчалъ старый Рахимъ-Берды, кряхтя, поднялся съ мѣста и вышелъ.

На дворѣ затихло. Слышенъ былъ только ровный голосъ бія и по временамъ отдѣльные недовѣрчивые возгласы.

Бурченко стремительно всталъ, перешагнулъ прямо черезъ очагъ, помимо всякаго этикета, и вышелъ изъ кибитки.

— Куда вы?

— Я понялъ,—я это уйму сейчасъ...—скороговоркою произнесъ онъ.

— Зачѣмъ тебѣ ходить? — попытался было остановить его Забыкъ, но самъ поднялся съ мѣста. Его такъ и подмывало выскочить вслѣдъ за Рахимъ-Берды.

Въ кибиткѣ остался одинъ только Ледоколовъ.

— Говорятъ вамъ, что мы совсѣмъ не такіе люди... Стали-бы мы иначе пріѣзжать сюда къ вамъ безъ казаковъ да съ голыми руками!.. — слышенъ былъ голосъ Бурченко. — А ну, не вѣрите, такъ сторожите, коли не скучно... Чего? Что такое?.. Ладно... завтра уѣдемъ, коли верблюдовъ дадите... Нѣтъ съ нами; товары караваномъ идутъ, мы особнякомъ...

— Я въ томъ порукою... Я!..—кричалъ Рахимъ Берды.

— Все-бы вѣрнѣе было, еслибы уѣхали... — возвысился сильный молодой голосъ.

Еще пошумѣли, еще нѣсколько разъ принимался говорить Бурченко; говорилъ Рахимъ-Берды, начальнически кричалъ Забыкъ... Толпа затихала мало-по малу... Наконецъ, затихла совсѣмъ. Слышно было, какъ народъ расходился по своимъ кибиткамъ, и, словно послѣдніе перекаты грома пролетѣвшей бури, глухо рокоталъ удаляющійся говоръ.

— Вотъ такъ митингъ... — весело произнесъ Бурченко, входя снова въ кибитку. — Горячія головы, чортъ ихъ дери!

— Если-бы еще немного, я ихъ унялъ-бы! Я ихъ унялъ-бы! — сжималъ кулакъ и грозилъ въ пространство султанъ Забыкъ.

Онъ гордо поднималъ плечи съ эполетами и внушительно жестикулировалъ правою рукою. Вмѣстѣ съ чиномъ прапорщика онъ пріобрѣлъ и совершенно начальническую осанку, хоть-бы и нѣсколькими чинами выше, такъ впору.

— Ну, ужъ ты молчалъ бы; только дѣло чуть не испортилъ!—презрительно взглянулъ на него Рахимъ-Берды и, улыбаясь во весь ротъ, добавилъ:—Ну, теперь, кажется, они повѣрили...

— Въ чемъ дѣло? Разскажите мнѣ, Бога ради!..—обратился Ледоколовъ къ Бурченко.

— Да что, пустяки совсѣмъ. Они не хотѣли вѣрить, что мы не изъ той шайки, что дорогою встрѣтили. Хотѣли и насъ выпроваживать изъ аула. Ну, да теперь, никакъ, повѣрили!

— Повѣрили!—согласился Рахимъ-Берды.—Да, вотъ, успокаивай народъ тутъ, какъ знаешь,—продолжалъ онъ.—Пріѣхали вчера утромъ рано, только солнце всходить начало.. Ну, мы ихъ приняли; думали: гости хорошіе. Не знаю я, большіе или маленькіе они люди...

— Одинъ большой, а то маленькіе... Я знаю!— вставилъ отъ себя Забыкъ, знакомый уже немного съ градаціей оффиціальныхъ чиновъ.

— Ну, вотъ, пріѣхали они, требуютъ себѣ отдѣльныхъ кибитокъ, барановъ, молока... Все это мы имъ дали. Потомъ велѣли народъ сбирать!

— Это интересно!—пододвинулся поближе Бурченко.

Онъ подстрочно переводилъ все своему товарищу. Султанъ тоже, насколько могъ, до-нельзя коверкая русскій языкъ, помогалъ ему въ этомъ.

— Я было не хотѣлъ народъ сбирать; догадывался уже, что ничего путнаго изъ этого не выйдетъ, да вѣдь нашихъ знаете? До всякихъ новостей какіе охотники! Ну, смотрю я, а уже весь аулъ на ногахъ; собрались сами. Тутъ и началось!.. А что-же намъ кумысу не даютъ? Да пора бы и ужинать!—обратился разсказчикъ къ двумъ женщинамъ, еще молодымъ, очень полнымъ, заглянувшимъ было въ дверь кибитки.

— Что-же дальше-то?

— Да что, дальше говорили такія рѣчи, что и слушать нельзя было...

— Говорили, что кочевать довольно — больше нельзя... кочевать-то,—вмѣшался красный джигитъ;- - что всѣ кибитки они казенною печатью къ степи припечатаютъ, а кто печать сорветъ, тому...

— Ну, ты не говори этого; я не слыхалъ ничего про печати!—остановилъ его Рахимъ-Берды.

— Да онъ не здѣсь, а тамъ, около загоновъ, говорилъ... наши всѣ слышали!

— Говорили, что пахать землю будутъ всѣ киргизы съ будущаго года, это точно; ну, вотъ, что судъ у насъ и начальство будетъ совсѣмъ другое. Онъ пояснилъ мнѣ, какое именно; да я, признаться, не понялъ... Вѣдь, вотъ, и не дуракъ родился, прислушивался, прислушивался, — ничего не понялъ. Двое пошли кибитки считать, а сами уже ничего не видятъ, на ногахъ шатаются и все бумагу изъ рукъ роняютъ. Такъ ничего и не сосчитали!

— Сколько дѣвокъ въ аулѣ, принялись считать; наши джигиты вступились; насилу розняли!—опять вмѣшался красный джигитъ.

— Ну, я потихоньку собралъ стариковъ на совѣтъ: обдумать надо было, что дѣлать. Поговорили мы и порѣшили выпроводить ихъ изъ аула туда, откуда пріѣхали... А тутъ еще гроза поднялась: джигиты переполошились... какъ ихъ унять? Вѣдь вотъ ты самъ видѣлъ только-что; опять было гудѣть начали. Долго-ли бѣду новую на степь накликать!.. Что мы передъ вами? Все равно, что вошь передъ верблюдомъ... Пришелъ я къ ихъ старшему и говорю ему, что я ему по душѣ совѣтую сейчасъ уѣхать и всѣхъ, что привезъ, опять съ собою забирать. Тотъ на меня какъ крикнетъ: «А, ты бунтовать!..» И... эхъ, нехорошо... совсѣмъ нехорошо!..

— Ударилъ Рахимъ-Берды, кулакомъ по лицу ударилъ!— съ таинственнымъ ужасомъ, понизивъ голосъ, произнесъ Забыкъ.

— Ловко!—крякнулъ Бурченко.

— Ну, я и распорядился... Посадили ихъ силой въ ихъ повозки, джигитовъ снарядили въ конвой и отправили... Вы ихъ, я думаю, встрѣтили дорогою?

— Встрѣтили... Что-же, неужели безъ драки обошлось? Вѣдь ихъ много было, опять казаки съ ними были!—удивился Бурченко.

— Нѣтъ, Аллахъ не допустилъ... Они сильно оробѣли, когда къ нимъ подступили наши!

— Одинъ такъ все плакалъ, просилъ, чтобы его въ Хиву не везли только!—засмѣялся Забыкъ.

— Я говорилъ ихнему старшему, что если имъ что нужно отъ насъ, чтобы сами не ѣздили, а за мною прислали или за кѣмъ-нибудь изъ старшихъ. Мы ужъ знаемъ, какъ говорить съ своими. А то долго-ли до бѣды!.. Ну, да теперь они больше не пріѣдутъ!—самодовольно вздохнулъ старикъ.

— Пріѣдутъ!—пророчески произнесъ Бурченко.

— Не пріѣдутъ!.. У меня бумага такая есть, что не пріѣдутъ...

— Какая такая бумага?

— А вотъ я тебѣ ее покажу!

Рахимъ-Берды отперъ сундучокъ, стоящій у его постели, вынулъ оттуда кошель изъ красной кожи и началъ его разворачивать. Онъ дѣлалъ это медленно, обдуманно, тщательно раскладывая лопасти кошеля у себя на колѣняхъ.

— Вотъ она—эта бумага. Смотри!

Онъ показалъ восьмушку сѣрой бумаги, тщательно исписанную узорными татарскими письменами.

— На, читай!..—протянулъ онъ бумагу малороссу.

— Читай самъ, я по-вашему не умѣю!—отвѣчалъ тотъ.—Читай громко, а я ужъ пойму все!

— Ну, хорошо, слушай:

«Мы, имена которыхъ стоятъ внизу, обѣщаемъ и клянемся нашими головами, душами и самимъ Богомъ, что впередъ въ аулы «Будугай Сабулъ Урунаръ» пріѣзжать не будемъ и никакихъ неразумныхъ словъ тамъ говорить тоже не будемъ, ибо отъ неразумныхъ словъ и неразумныя дѣла дѣлаются. Если же мы слова своего не сдержимъ, то да низойдетъ проклятіе Аллаха на наши лживыя головы...»

За этою курьезною подпискою слѣдовали подписи уже по-русски. Не трудно было догадаться, что всѣ фамиліи были вымышленныя. Внизу-же красовалась большая форменная печать, оттиснутая черною копотью. Печать эта была приложена по настоянію Рахимъ-Берды, и уклониться отъ этого, вѣроятно, не было никакой возможности.

— Вотъ такъ документъ!—развелъ руками Бурченко и расхохотался, да какъ! На всю кибитку и даже за ея предѣлы, потому что вслѣдъ за этимъ неудержимымъ взрывомъ самаго веселаго хохота за кошмами послышалась возня, и въ той широкой щели, гдѣ соединяется крыша со стѣнками, замелькали десятки блестящихъ глазъ, и послышались отдѣльные вспрыски такого-же веселаго, добродушнаго смѣха.

Подали ужинать. Цѣлый баранъ, зажаренный въ котлѣ, былъ поставленъ на треногѣ передъ гостями. Султанъ Забыкъ взялъ ножъ, обтеръ его объ голенище своего сапога и очень ловко отдѣлилъ голову животнаго. Это считается самымъ почетнымъ кускомъ и предлагается только гостю. Затѣмъ, согласно степному этикету, баранъ поступаетъ въ полное распоряженіе гостя, который уже самъ отъ себя распредѣляетъ блюдо между присутствующими. Бурченко, положивъ себѣ и Ледоколову мяса въ отдѣльную миску изъ желтой глины, попросилъ хозяина избавить его отъ обязанности, налагаемой на него этикетомъ, и распорядиться ужиномъ самому. Такъ и сдѣлали.

— Какой-же товаръ вы везете?—спросилъ хозяинъ своихъ гостей.

— А всякій, больше красный... Онъ другими дорогами идетъ, въ караванѣ!

— Гмъ!.. Что-же, хорошо торговля идетъ?

— Ничего... торговать можно!

— Плохо!—неожиданно обрѣзалъ Рахимъ-Берды.

— Какъ такъ?—совсѣмъ уже удивился Бурченко.

— А такъ. Это мы лучше вашего знаемъ. Вотъ ты смотри: десять лѣтъ тому назадъ, когда вы еще за Акъ-Мечеть*) не переходили, у насъ въ кочевьяхъ, въ трехъ родахъ, четыре тысячи верблюдовъ считалось и никогда ихъ при аулахъ не было. Еще за годъ всѣхъ нанимали подъ караваны. Пріѣзжали караванъ-баши, задатки давали, и все лѣто ты бы не увидѣлъ около ауловъ ни одного верблюда, кромѣ матокъ да тѣхъ, что для своего обихода нужны: всѣ въ разгонъ уходили, и денегъ у насъ было много. Одинъ только нашъ родъ пятнадцать тысячъ рублей въ лѣто выручалъ за наемъ верблюдовъ. Не хватало

---

*) Нынѣшній фортъ Перовскій.

верблюдовъ здѣсь — къ Каратовскимъ горамъ, — вонъ, вишь, куда,—ѣздили нанимать. Ну, а теперь не то!

— Что-же, меньше требуется?

— А вотъ завтра увидишь... На степи сколько ихъ даромъ пасется,—лишніе остались. А держимъ мы ихъ теперь меньше, чѣмъ держали прежде. Опять вотъ весною моръ на нихъ былъ; у одного меня тридцать двѣ головы пало. А все остались ненанятые... Сколько, бишь, у насъ на нынѣшнее лѣто подъ русскіе товары ушло?—обратился Рахимъ Берды къ султану Забыку.

— Немного. Сотъ пять ушло; больше не ушло!

— Ну, вотъ оно и есть. А ужъ коли вы мало своихъ товаровъ къ Бухарѣ везете, такъ и къ вамъ повезутъ ихъ немного... это вѣрно... что за торговля противъ прежняго! — Кумысу, чарагымъ *), изъ старыхъ турсуковъ налей!—обратился онъ къ прислуживающей женщинѣ.

— Да отчего же это? Какъ по вашему?..

— По нашему?.. Гмъ!.. Отчего!.. Конечно, все отъ воли Аллаха. Безъ его воли ничего не бываетъ: ни худого, ни хорошаго. Все отъ Аллаха!..

Говоря это, Рахимъ-Берды такъ плутовски улыбался, что-называется, себѣ-на-умѣ, и эти умные, смѣющіеся глаза ясно говорили: «да, какъ же, отъ Аллаха! Есть, когда Аллаху въ такія дрязги вмѣшиваться. Знаемъ мы, отчего, а ты самъ догадайся, коли знать тоже хочешь».

— Ну, коли хотите спать, я вамъ велѣлъ постели постлать въ особой кибиткѣ. Васъ джигитъ проводитъ!—произнесъ Рахимъ-Берды.

— Тонкій намекъ! — замѣтилъ Бурченко. — Пойдемте!— обратился онъ къ своему компаньону.

— Да пошлетъ вамъ пророкъ самыхъ сладкихъ сновъ,— напутствовалъ ихъ хозяинъ.—Досщакъ, проводи купцовъ!— кивнулъ онъ красному джигиту.

Пріятели поднялись, простились съ гостепріимными старшинами и вышли. Они тотчасъ же замѣтили около одной изъ кибитокъ свой экипажъ, охраняемый сидящимъ на козлахъ

*) Ласкательное слово, относится только къ женщинамъ.

джигитомъ; около этой кибитки толпилось нѣсколько женщинъ, хихикавшихъ и подталкивавшихъ другъ друга при приближеніи русскихъ купцовъ.

— Это онѣ кибитку для васъ ставили; теперь подарка ждутъ!—объяснилъ имъ джигитъ Досщакъ, заигрывая на ходу съ степными красавицами.

— Тутъ одинъ очень странный обычай есть,—предупредилъ Бурченко Ледоколова. — Вы, пожалуйста, не озадачьтесь очень и будьте вѣжливымъ кавалеромъ!

— Въ чемъ дѣло?.. Въ чемъ?

— А вотъ увидите!

Гости прошли въ дверь кибитки и начали осматриваться. Луна стояла прямо надъ головами и сквозь верхнее отверстіе ярко освѣщала всю внутренность переноснаго жилища. На войлокѣ, застилавшемъ все пространство, обнесенное телѣгами, положены были одно на другое нѣсколько ватныхъ одѣялъ и двѣ цилиндрическихъ полосатыхъ подушки. Больше ничего въ кибиткѣ не было.

— Хорошо, что они на новомъ мѣстѣ кибитку поставили: по крайней мѣрѣ, блохъ меньше будетъ!—замѣтилъ малороссъ.— Ну съ, раздѣваемся и ложимся спать!

И онъ началъ немедленно приводить въ исполненіе свое предложеніе.

— А пріятно, послѣ всѣхъ этихъ тревогъ, вытянуться эдакъ во всю длину!—зѣвнулъ Ледоколовъ.—Не то, что скорчившись въ тарантасѣ!

— Весьма пріятно; да вы скиньте сапоги-то!

Въ кибитку, словно тѣни, неслышно прошмыгнули двѣ женщины и, крадучись, какъ кошки, подошли къ постелямъ. Въ одной изъ нихъ Ледоколовъ узналъ ту самую, что просила у него подарка, когда тотъ только-что вылѣзъ изъ экипажа.

— Что это онѣ?

Ледоколовъ вскочилъ и удивленно смотрѣлъ на своего товарища. Тотъ хохоталъ, глядя на его изумленную фигуру.

— Ничего, успокойтесь и ложитесь, а эти красавицы будутъ чесать вамъ спину и пятки. Это самая утонченная любезность относительно гостя. Да чего-же тутъ удивляться? Вѣд-

Коробочка предлагала-же Чичикову послать ему дѣвочку почесать пятки!

— Ну, ложись, тамыръ, ложись!—нѣжно ласкалась къ Ледоколову смуглянка.

— Эхъ, хорошо, право! Это, знаете, дѣйствуетъ довольно успокоительно,—лѣниво говорилъ Бурченко.—Выше немного... вотъ такъ!.. Пониже теперь, — славно!

— Хи-хи...—подсмѣивалась киргизка;—а что подаришь?

— А вотъ увидишь!

Онъ зѣвнулъ во весь ротъ, такъ, что чуть челюсти не вывихнулъ, и сталъ засыпать.

Ледоколовъ тоже рѣшилъ «въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не соваться».

На другой день Бурченко, съ помощью султана Забыка, нанялъ верблюдовъ вплоть до Сыръ-дарьинскихъ фортовъ, и путешественники оставили «взбунтовавшіеся» аулы. Рахимъ-Берды оказалъ своимъ случайнымъ гостямъ послѣднюю вѣжливость: онъ проводилъ ихъ верхомъ съ своими джигитами верстъ за десять отъ кочевья и дорогою, показывая направо и налѣво, все говорилъ: «Вонъ еще пасутся наши верблюды; а вонъ еще, видите, вонъ тамъ, за этою лощиною? Это все остались свободные, ненанятые...»

У кургана, вершина котораго занята была старою могилою какого-то давно скончавшагося степного батыря, хозяинъ и гости разстались, и каждый поѣхалъ своею дорогою: одинъ назадъ, къ себѣ въ аулы, другіе прямо въ степь, всю изжелта сѣрую, знойную, съ безконечнымъ горизонтомъ, вѣчно дрожащимъ однообразно-монотоннымъ миражемъ

XIII.

Образцы самаго точнаго перевода съ киргизскаго языка на русскій.

Дикая пустынная страна. Кругомъ, куда только ни достигаетъ глазъ утомленнаго путешественника, все одни пески, пески. То словно окаменѣвшія въ минуту бури морскія волны, то словно покойныя, гладкія поверхности озеръ, обрамлен-

*

ныя плоскими, низменными берегами, однообразно желтые, накаленные такъ, что едва выдерживаетъ привычная босая нога полудикаго киргиза, и трескается пересохшій рогъ конскаго копыта,—почти лишенные всякой растительности, мертвые пески...

Кое-гдѣ, сквозь песчаную кору, пробивается что-то буроватое, сухое, выгорѣвшее: это жалкіе остатки жалкой степной флоры. Тамъ и сямъ шмыгаютъ, бороздя сыпучую почву, такія-же безцвѣтно - желтоватыя, головастыя ящерицы, и только быстрое движеніе да легкій шелестъ выдаютъ ихъ присутствіе...

И воздухъ неподвижный, мглистый, пышащій разслабляющимъ жаромъ, словно замеръ надъ мертвою мѣстностью, и не видно въ немъ ни одного облачка, ни одной летящей птицы, словно все живое бѣжитъ отсюда и далеко обходитъ и облетаетъ это проклятое мѣсто, пробираясь въ другія болѣе счастливыя страны.

Только человѣкъ проложилъ себѣ путь черезъ эту пустыню, и тянется узкою полосою почтовая дорога, взбираясь на наносные барханы, спускаясь въ ложбины, огибая сыпучіе откосы...

Вершины двухъ закопченыхъ, темно-бурыхъ кибитокъ виднѣлись изъ-за гряды песка, пересѣкающей наискось дорогу. Песокъ здѣсь былъ сильно утоптанъ, на немъ виднѣлись слѣды колесъ, конскій и верблюжій пометъ, кучки золы, остатки костровъ, на которыхъ прохожіе варили себѣ чай, разсохшаяся ступица телѣжнаго колеса, оглоданныя кости и многое тому подобное, свидѣтельствующее о томъ, что здѣсь иногда собирается довольно многочисленно общество.

Въ одной изъ кибитокъ жили четыре казака уральца, другая предназначалась для проѣзжающихъ—это была почтовая станція, одна изъ тѣхъ, о которыхъ съ таинственнымъ ужасомъ говорятъ, еще въ Самарѣ и Оренбургѣ, ѣдущіе въ степь семейные и не семейные переселенцы...

Одинъ изъ казаковъ, въ одной рубахѣ, сидѣлъ у входа въ желомейку и чинилъ сѣдельный потникъ другой варилъ что-то въ котлѣ, мѣшая щепкою, двое остальныхъ спали въ желомейкѣ, разметавшись крестообразно подъ вліяніемъ удушливаго жара. Лошади, осѣдланныя и стреноженныя, бродили около, подбирая своими губами какія-то былинки и обнюхивая остатки костровъ; и прислушивались онѣ по временамъ,—

что за непривычный гулъ и говоръ несется оттуда, вонъ изъ-за тѣхъ барханов, гдѣ, въ глубокой ложбинѣ, вырыты два степныхъ колодца, къ которымъ ихъ водятъ поить, и откуда на ихъ спинахъ привозятся тяжелые турсуки съ соленоватою водою на разную хозяйскую потребу. А тамъ вотъ уже четвертый день, собралось большое и шумное общество и расположилось лагеремъ по дну ложбины, окруживъ кольцомъ зіяющія отверстія колодцевъ.

Слухъ прошелъ по степи, и отъ начальника, что живетъ въ Казалѣ, тоже пришли вѣсти—и взбудоражились аулы, ближніе и дальніе, выслушавъ присланныхъ изъ уѣзда гонцевъ.

Какое-то очень важное лицо должно было проѣзжать черезъ Кара-Кумы; и вотъ представители ауловъ и разныхъ кочевьевъ, кто за сто, кто за полтораста верстъ, а кто и далѣе, собрались къ почтовой станціи заявить проѣзжему свое сочувствіе и благодарить за разныя льготы и милости.

Въ рогатыхъ войлочныхъ шапкахъ, въ мѣховыхъ малахаяхъ, угрюмо сидѣли они на пескѣ, подостлавъ подъ себя конскія попоны и верблюжьи халаты. Отощалые кони ихъ стояли на приколахъ и дремали; штукъ десять верблюдовъ бродили между барханами, неподалеку дымился полупотухшій костеръ изъ высохшаго помета, надъ костромъ прилаженъ былъ плоскій котелъ, и шевелилась въ немъ, закипая, какая-то бѣловатая масса. Кальянъ дымился кое-гдѣ, и слышалось его хрипѣніе; на темноватомъ фонѣ сырого песка сверкали мѣдные кунганы-чайники, и одиноко стояли два оловянныхъ блюда и круглый мѣдный подносъ съ черствыми, совершенно высохшими лепешками и нѣсколькими пригоршнями заплесневѣлаго изюму и кусками наколотаго сахара,—это были приношенія высокому проѣзжему, мѣстная хлѣбъ-соль, которую должны были поднести старѣйшіе изъ представителей; сѣдобородый Измаилъ-бай, высокій, тощій высохшій, словно мумія, и такой-же черный Ибрагимъ-мулла, дюжій Гайкула, съ лицомъ, изборожденнымъ злою оспою, и ученый Ахматъ, знающій не только, что десять стиховъ корана, но даже умѣющій подписать свое имя цѣликомъ, тамъ, гдѣ его товарищамъ приходится по неграмотности прикладывать только свои сердцеобразныя родовыя печати. Этому самому Ахмату поручено было и говорить съ начальникомъ,

давать ему отвѣты за себя и всѣхъ остальныхъ представителей.

Вотъ уже четвертый день сидятъ здѣсь кочевые депутаты; скука ихъ одолѣла страшная, тоска... голодъ начинаетъ ворочаться въ ихъ выносливыхъ желудкахъ: провизія на исходѣ; изъ четырехъ барановъ, приведенныхъ для подарка проѣзжему, только два остались: одинъ сдохъ, должно быть, гадина какая укусила, а другого вчера зарѣзали... Никакъ не ожидали киргизы, что имъ придется ждать такъ долго... и въ крайности уже покусились на жизнь пешкешнаго (обреченнаго въ даръ) животнаго.

Угрюмо, тоскливо глядѣли загорѣлыя, типичныя лица. То поглядывали они на вершину бархана, гдѣ неподвижнымъ силуэтомъ рисовался сторожевой киргизъ, то прислушивались они, затаивъ дыханіе, не звенитъ-ли гдѣ далекій колокольчикъ, не слышится-ли стукъ экипажныхъ колесъ по твердой, улежавшейся степной дорогѣ.

Спокойно сидитъ, даже дремлетъ сторожъ: видно, ничего онъ не видитъ, кромѣ песка да знойнаго неба, ничего не слышитъ привычное ухо, кромѣ фырканья лошадей да чахоточнаго чиханія овецъ, косматыми комками свернувшихся около блюдъ съ *хлѣбомъ-солью.*

И снова погружались въ нѣмое созерцательное состояніе угрюмые киргизы, пока какой-нибудь подозрительный звукъ не выводилъ ихъ изъ этой томительной неподвижности.

— Пыль поднялась на дорогѣ. Русская арба ѣдетъ!— крикнулъ сторожевой, и разомъ всполошился весь лагерь.

— А, ну слава Аллаху; дождались-таки!—вздохнулъ Измаилъ-бай.

— Пророкъ еще не совсѣмъ прогнѣвался на насъ! — произнесъ грамотѣй Ахматъ.

— Ге! Шайтанъ! — выругался не безъ удовольствія корявый Гайкула, надѣвая, поверхъ своего верблюжьяго, красный суконный халатъ, обложенный по бортамъ позументомъ.

Всѣ остальные тоже поспѣшили надѣть цвѣтные халаты.

— Стой, слушайте, что я говорить буду, слушайте! — кричалъ, размахивая руками, грамотѣй Ахматъ. — Сперва всѣ кругомъ становитесь, вотъ такъ: ты, мулла, здѣсь, ты,

Байтакъ, сюда... Назаръ-бай правѣе, вы всѣ сзади. А ты, Измаилъ бай, ты старше всѣхъ,—спереди съ блюдомъ; я около тебя, Ибрагимъ-мулла слѣва... ну, такъ, хорошо...

Ахматъ окинулъ глазомъ всю картину и, повидимому, остался совершенно доволенъ.

— Какъ только начну я,—продолжалъ онъ,—а начну я такъ: «Высокопоставленный, многомудрый, извергающій разумъ и благочестіе...» Вы сейчасъ большой «хопъ» (поклонъ) и головы внизъ, такъ и держите...

— Барановъ кто держать будетъ? — спросилъ кто-то изъ молодыхъ киргизъ.

— Барановъ сюда; барановъ впередъ тащи, чтобы сразу видно было,—сюда тащи...

— Господи! Пронеси грозу и пошли намъ всякія милости. . Пророкъ великій, напусти мягкодушіе въ сердце большого начальника!

— *Прежній* былъ сердитъ, а про *этого* бѣда, что говорили въ городѣ!—тихо шепталъ кто-то сзади.

— Аллахъ не безъ милости...

— Никто, какъ онъ!

— Такъ всѣ и пойдемъ на станцію. И какъ только тюра полѣзетъ изъ арбы...

— Сюда идутъ! — крикнулъ испуганный, тревожный голосъ...

Холодный потъ выступилъ подъ теплыми халатами представителей. Сѣдобородый Измаилъ-бай чуть было блюдо изъ рукъ не выпустилъ и съ недоумѣніемъ смотрѣлъ на заправлявшаго встрѣчею Ахмата, а тотъ, совсѣмъ растерявшись, глядѣлъ впередъ, въ ту сторону, гдѣ чернѣли верхушки станціонныхъ желомеекъ.

Ахматъ думалъ въ эту минуту: «что-же это такое? Гдѣ-же это слыхано, чтобы самъ начальникъ, самъ великом....»

Два наносныхъ бархана сошлись почти вмѣстѣ, образовавъ между собою узкую, извилистую лощину, по дну которой шла дорожка, соединяющая станцію съ колодцами. По этой дорогѣ шли двѣ фигуры: обѣ въ простыхъ парусинныхъ пальто, въ бѣлыхъ фуражкахъ, въ высокихъ охотничьихъ сапогахъ и дорожными сумочками черезъ плечо.

— Великій, многомилостивый, извергающій раз...

Бурченко фыркнулъ, Ледоколовъ долго крѣпился и, наконецъ, разразился неудержимымъ смѣхомъ.

Представители смутились и начали переглядываться. Подозрительные киргизы догадались, что дѣло не совсѣмъ ладно, и инстинктивно почувствовали, что промахнулись.

А дѣло вышло очень просто. Тарантасъ Ледоколова принятъ былъ сторожемъ за экипажъ ожидаемаго лица.

— А что, лошадей не дадутъ намъ?—спросилъ Бурченко казака, чинившаго потникъ.

Тотъ поглядѣлъ на спрашивающаго; видитъ—не военный, церемониться нечего.

— Извѣстно, не дадутъ, да и взять-то не откуда!

— Что-же такъ?

— Не велѣно,—генерала ждутъ!

— Вотъ какъ! Что-жъ, долго ждать будутъ?

— Неизвѣстно. Вонъ тамъ, у колодцевъ, давно уже ждутъ, четыре дня пятый; можетъ, еще прождутъ недѣлю!

— Это долго!

— Ничего не подѣлаешь. Приказаніе такое есть, чтобы пока генералъ не проѣдетъ...

— Я предупреждалъ васъ,—обратился Бурченко къ своему путевому товарищу.—Надо было по ауламъ ѣхать: долго, за то вѣрнѣе. Ну, да это для кого другого, для насъ дѣло поправимое... Кто-же это ждетъ тамъ у колодцевъ?

— Епутаты!

— Какіе депутаты?

— Отъ орды, со всякаго кочевья старшины собраны... велѣно имъ ждать и хлѣбъ-соль поднести. Вотъ они, сердечные, теперь и маются!

— Знакомые порядки... Вы видали когда степныхъ депутатовъ?

— Нѣтъ, не случалось!—отвѣчалъ Ледоколовъ.

— Пойдемъ смотрѣть... это очень интересно. Я постараюсь устроить дѣло такъ, что эти депутаты помогутъ намъ въ дальнѣйшемъ нашемъ движеніи!

Спутники вылѣзли изъ тарантаса, отряхнулись, попросили казака тѣмъ временемъ вскипятить чайникъ, за что уралецъ

принялся съ видимымъ удовольствіемъ: онъ сообразилъ, что тутъ представится возможность и ему напиться чаю, да, можетъ быть, еще и чего другого,—и пошли по дорогѣ къ колодцамъ.

— Однако, ихъ не мало!—удивился Ледоколовъ, замѣтивъ еще издали волнующуюся толпу.

— Знакомые порядки. Вотъ посмотрите, сегодня или завтра переводчикъ съ казаками пріѣдетъ... Ахъ, шуты, они насъ за генерала приняли. Вотъ комедія!

— Не можетъ быть!

— Чего, не можетъ быть: выстроились въ порядокъ...

Въ эту минуту грамотѣй Ахматъ началъ свою привѣтственную рѣчь.

— Будьте здоровы, да пошлетъ вамъ Аллахъ всякихъ благъ!—произнесъ Бурченко оратору.

— Будь здоровъ и ты...—сказалъ тотъ.

Киргизы окружили пріѣзжихъ.

— Ты кто-же такой? Ты вѣдь не большой тюра?—спрашивалъ Измаилъ-бай.—Ты передовой отъ него, что-ли?

— Нѣтъ, мы такъ, сами по себѣ.—Кто мы такіе, спрашиваютъ!—замѣтилъ Бурченко товарищу.

— Понимаю!

— Мы простые люди, маленькіе, ѣдемъ по своему дѣлу...

— Савдагуръ (купцы)?

— Купцы...

— А мы васъ за *того* приняли. Что-же, онъ скоро пріѣдетъ? Вы изъ той стороны?

— Нѣтъ, мы изъ степи, да, впрочемъ, слышали, что скоро: дня черезъ два!

— Вой-вой! Что-же мы ѣсть будемъ?—воскликнулъ Ибрагимъ.

— Осторожнѣй,—шепнулъ ему на ухо Ахматъ:—кто ихъ знаетъ, что за люди; можетъ...

Онъ шепнулъ ему что-то такое, отъ чего Ибрагимъ вдругъ замолчалъ и сталъ прятаться въ толпѣ.

— Это ты напрасно его пугаешь,—замѣтилъ движеніе Ахмата Бурченко:—мы не лазутчики, а люди хорошіе, вотъ спроси, Батуйка съ нами пріѣхалъ, онъ знаетъ!

Грязный, лоснящійся отъ сала молодой киргизъ подошелъ къ толпѣ, едва передвигая ногами въ спущенныхъ шароварахъ.

— Да кто васъ тутъ разберетъ!..—недовѣрчиво произнесъ Ахматъ. — А вѣдь намъ уже не разъ доставалось; мы тоже народъ травленый!

— Осторожность не мѣшаетъ. Что-же, долго вы тутъ ждете-то эдакъ, всѣмъ обществомъ? Да что-же мы стоимъ,—мы сядемъ!

Онъ сѣлъ на песокъ, Ледоколовъ тоже, киргизъ Батуйка легъ на брюхо, у самаго колодца, гдѣ песокъ былъ сыроватѣй и прохладнѣе; подумали, помялись киргизы и тоже усѣлись въ кружокъ.

— Долго ждемъ!—лаконически отвѣтилъ корявый Гайкула.

— Такъ, а скучно, надоѣло, думаю?..

— Нѣтъ, такая великая особа, ждать нужно...

— Да полно грязь глодать (лгать). Вотъ намъ самимъ ждать приходится—бѣда!..

— А намъ не бѣда?—проговорился Ибрагимъ бай.

— Смерть!—подхватилъ кто-то сзади всѣхъ.

— Ну, вотъ такъ-то!

— Эхъ,—воодушевился разомъ Ибрагимъ-бай.—Вотъ я изъ своего аула пять дней ѣхалъ, да здѣсь пятый сижу, да, можетъ, ждать сколько буду, да назадъ пять дней, а дома, безъ хозяина, что будутъ жены дѣлать съ одними работниками... Лошади мои отощали; развѣ на этомъ кормѣ можетъ прожить скотина?—Ибрагимъ указалъ на барханы.—А съ собою взять много нельзя было, то-есть, оно можно, да развѣ мы знали, что насъ за тѣмъ требуютъ, чтобы мы здѣсь на пескѣ даромъ сидѣли?

— Конечно!

— А вотъ какъ я выѣхалъ, слухъ такой прошелъ,—перебилъ Измаилъ-бай,—что на «Барсуки» пришли барантачи хивинскіе. Мой аулъ въ той сторонѣ; я ничего теперь не знаю, что тамъ дѣлается? Можетъ, что такое, что... Эхъ, какъ подумаю...

Слезы зазвучали въ дрогнувшемъ голосѣ старика.

— У меня перекочевка началась,—говорилъ Гайкула,—а тутъ сюда вытребовали, просто бѣда. Да и безъ бабъ скучно...

Одинъ только осторожный Ахматъ не высказывалъ никакихъ жалобъ и все еще подозрительно смотрѣлъ на русскихъ, особенно на Ледоколова, лицо котораго почему-то казалось ему болѣе офиціальнымъ.

— А вотъ вы возьмите да и пожалуйтесь начальнику, когда тотъ пріѣдетъ. .

— Что ты!.. Мы тоже свои головы бережемъ; *этотъ* проѣдетъ въ Ташкентъ, а нашъ съ нами останется. Мы вотъ тутъ сидимъ, у себя по ауламъ, а головы наши *тамъ!*

— Какъ знаете, а мой совѣтъ: пожалуйтесь; все, что знаете дурного, все и разскажите...

— Не поможетъ; только себѣ бѣду наживемъ!

— Слушайте вы. Я вотъ вамъ говорить буду... Можетъ-ли быть такая сторона, чтобы только одни хорошіе люди жили? Вездѣ бываютъ и худые, и хорошіе, и пожалуй, что худыхъ больше. Вы вотъ жалуетесь, что васъ жмутъ, а самому большому начальнику сказать боитесь. Откуда-же онъ узнаетъ? А вы все разскажите: этотъ, что ѣдетъ,—я знаю его, — человѣкъ добрый и вамъ худа не желаетъ; онъ васъ выслушаетъ, дѣло разберетъ, и тотъ, кто правъ, — правымъ и останется, а виноватаго, можетъ, по шапкѣ погонятъ. Это вѣрно!

— Да, вѣрно; вѣрно-то оно вѣрно, да страшно!

— Да, по мнѣ, какъ хотите; я говорю для вашей-же пользы. А только случая вамъ упускать не слѣдуетъ: другого такого не скоро дождетесь. Я вамъ говорю. Эти бараны у васъ для чего?

— На поклонъ привели...

— Вотъ вы жалуетесь, что провизія вышла у васъ, а это что? Зарѣзали-бы ихъ обоихъ и съѣли!

— А генералу?

— Ему этого не надо. Онъ только правду любитъ, а барановъ у него, пожалуй, больше вашего...

— Мы и такъ хотѣли-было одного прирѣзать сегодня, да страшно было!

— Катайте безъ страха. Насъ вотъ угостите. Батуйка, кати арбу нашу сюда: все равно, тамъ толку никакого не будетъ!

Батуйка позвалъ съ собою еще одного киргиза и потащился на станцію.

Не прошло и часу, какъ Бурченко спискалъ себѣ полнѣйшее расположеніе всего общества. Бивуакъ у колодцевъ оживился, тарантасъ былъ привезенъ, баранъ зарѣзанъ, и Бурченко собственноручно принялся жарить шашлыкъ, распространявшій во-

кругъ себя самый гастрономическій, апетитъ возбуждающій запахъ.

Даже подозрительный Ахматъ разговорился и принялся разспрашивать Бурченко о всѣхъ подробностяхъ ихъ степного путешествія.

— Вотъ видите,—говорилъ малороссъ Ледоколову,—другіе скучаютъ на станціяхъ, а мы вотъ окружены самымъ аристократическимъ киргизскимъ обществомъ, банкетъ вотъ собираемся учинить. Что, кипитъвода?—отнесся онъ къ киргизу Байтукѣ.

— А у васъ тутъ важно, господа поштенные!—подъѣхалъ верхомъ уралецъ со станціи. Онъ гналъ передъ собою остальныхъ лошадей къ колодцамъ, для вечерняго водопоя.

— Ничего, къ намъ милости просимъ!—пригласилъ его Ледоколовъ.

— А мы-было тамъ чайничекъ вашему степенству приготовили,—замялся казакъ,—тамъ, вотъ, и товарищи...

— Зови всѣхъ сюда!

— А станція какъ-же?

— Кто ее украдетъ?

— Ну, ладно, я тамъ одного на всякій случай оставлю, все надежнѣе будетъ!

Казакъ—напоилъ лошадей и погналъ ихъ къ желомейкамъ.

— Вѣдь вотъ между вами много хорошаго народу есть!—наивно произнесъ старикъ Измаилъ-бай.

— А что-же вы думали, что только киргизы люди хорошіе?

— Нѣтъ, не то. За то и худые есть у васъ, такіе, что его волкомъ назвать только можно; да что, хуже всякаго волка: отъ того палкою отбиться можно, да онъ и робокъ...

— А эти не робки? — Бурченко усмѣхнулся, припоминая схватку на станціи «Сары-су».

— Эхъ, да что и говорить!

— Солдатъ вашихъ много очень шло въ прошломъ году...—замѣтилъ Ибрагимъ; — съ эмиромъ бухарскимъ воюете?

— Это не по нашей части, наше дѣло торговое!—уклонился Бурченко.

— Нѣтъ, вотъ какъ наша сотня, съ эсауломъ Сѣровымъ, подъ Иканомъ въ передѣлъ попала... — началъ уралецъ съ георгіевскою петличкою на армячинной рубахѣ.

Онъ воспользовался случаемъ, чтобы похвастаться передъ проѣзжими.

— А ты былъ подъ Иканомъ?

— Какъ-же. Окружили насъ со всѣхъ сторонъ... ни взадъ, ни впередъ

— Да ты говори по-киргизски; вѣдь умѣешь? И они послушаютъ!—Бурченко указалъ на киргизъ.

— По-киргизски не такъ складно выйдетъ, а я могу!

Послушали уральца, какъ онъ разсказывалъ про иканское дѣло. Оказалось, что киргизскіе старшины знаютъ всѣ подробности лучше самого очевидца и участника.

— У нихъ изустная передача всякихъ вѣстей такъ устроена, что вся степь узнаетъ о происшествіи прежде, чѣмъ дойдутъ почтовыя свѣдѣнія, — пояснилъ Бурченко Ледоколову.— Лучше всякихъ газетъ, просто телеграммы, да и шабашъ!

У кого-то нашлась киргизская балалайка—саазъ; это разнообразило импровизированный вечеръ. Только жаль, что темно было совсѣмъ: огня такого, чтобы распространялъ свѣтъ на значительное разстояніе, нельзя было разложить, по недостатку горючихъ матеріаловъ, а сухой пометъ только тлѣетъ и хотя даетъ значительный жаръ, за то не даетъ свѣту. Верблюдовъ собрали и уложили рядами, подсыпавъ имъ подъ морды саману (рубленой соломы), и начали укладываться спать. Ледоколовъ съ своимъ товарищемъ опять забрались въ тарантасъ.

Весь лагерь погрузился въ глубокій сонъ: заснули люди, заснули верблюды, тяжело вздыхая во снѣ и пережевывая свою вонючую жвачку, заснули и лошади, растянувшись на пескѣ... А изъ-за бархана, въ глубокой темнотѣ, мелькнула пара огненныхъ точекъ, мелькнула еще одна, еще... То поджарые степные волки, почуявъ мясной запахъ, подобрались потихоньку къ лагерю и поглядывали издали на уцѣлѣвшую, единственную овцу, не рѣшаясь очень ужъ близко подходить къ такому многолюдному сборищу.

Къ разсвѣту поднялась тревога на станціи: пріѣхалъ переводчикъ изъ Казалы, съ нимъ пришла полу-сотня казаковъ и привели упряжныхъ казачьихъ лошадей для подъема генеральскихъ экипажей,—роскошь, которую позволяли себѣ только самые крупные сановники; остальные-же должны были доволь-

ствоваться загнанными и все еще полудикими киргизскими лошадьми и верблюдами.

Въ этомъ краѣ создался совершенно оригинальный административный типъ переводчика, лица, повидимому, самаго незначительнаго, по роду своей служебной дѣятельности, но на самомъ дѣлѣ не такого маловажнаго, какъ это кажется сначала. Тамъ, гдѣ власть находится въ рукахъ лицъ, незнакомыхъ съ мѣстнымъ языкомъ, переводчикъ-толмачъ—все: онъ не только передатчикъ воли и распоряженій начальства; онъ безконтрольный истолкователь того и другого, онъ неизбѣжный посредникъ между жалующимся и лицомъ, которому приносится жалоба, онъ докладчикъ по всякому дѣлу, возникшему между туземцами. Киргизъ, вовсе незнающій русскаго языка, русскій, незнающій киргизскаго, — переводчикъ между ними, и ему открывается обширное поприще эксплуатировать и того, и другого. Сами они всѣ безъ исключенія азіаты, получившіе свое образованіе въ Россіи. Хитрые и пронырливые, они, съ арабской покорностью и предупредительностью, почти пресмыкаются предъ представителями русской власти и надменно, съ самымъ наглымъ презрѣніемъ, относятся къ зависящимъ отъ нихъ туземцамъ...

Понятно, что всякій туземецъ, имѣющій хотя какое-нибудь дѣло до представителя русской власти, спѣшитъ снискать расположеніе и покровительство толмача; въ этомъ покровительствѣ залогъ къ успѣху, и ничего не жалѣетъ степной кочевникъ, чтобы только задобрить какого-нибудь тюра-толмача Бей-Булатова или тюра-толмача Султанъ-Кучукова и братію...

Сопровождая всюду своего начальника, который безъ переводчика не можетъ ступить шагу, онъ замѣняетъ для него все: и домашняго секретаря, и письмоводителя, и адъютанта, и ближайшаго наперсника во всѣхъ интимныхъ сдѣлкахъ, и мало-по-малу, переводчикъ, забирая въ свои руки концы отъ разныхъ запутанныхъ узелковъ, крѣпко держитъ эти концы въ своихъ цѣпкихъ рукахъ, зная, что этимъ самымъ онъ держитъ въ рукахъ своего патрона, а значитъ, становится лицомъ, на дѣлѣ первенствующимъ, хотя, при разныхъ офиціальныхъ выходахъ, занимающимъ самую пассивную роль.

Вотъ такой-то переводчикъ и пріѣхалъ на разсвѣтѣ на станцію и, пригрѣвшись подъ теплою шинелью военнаго покроя, зѣвалъ и потягивался, лежа въ своемъ тарантасѣ.

Конвойные казаки вываживали усталыхъ, замыленныхъ лошадей, станціонные казаки возились у огня, кипятя для пріѣзжаго воду; урядникъ,—онъ же и временный смотритель почтовой станціи, — почтительно стоялъ у подножки экипажа, неловко приложивъ кисть правой руки къ надорванному козырьку своей фуражки.

— Кто такіе?—слышался изъ тарантаса охрипшій отъ сна и выпивки голосъ.

— А не можемъ знать,—говорятъ, купцы!

— Гмъ, изъ Оренбурга, что-ли?

— Не сказывали!

— Что-же, раньше генерала, что-ли, выѣхали или обогнали на пути?

— Изъ степи пріѣхали, не по тракту; на вольныхъ!

— Что за чортъ! Гдѣ-же они теперь?

— Тамъ, съ депутатами у колодцевъ; прикажете позвать?

— Позови...

— Эй, Мироновъ, бѣги къ колодцамъ, скажи купцамъ начальникъ, молъ, требуетъ, чтобы живо!

Одинъ изъ казаковъ побѣжалъ къ колодцамъ.

— Гмъ, что-то подозрительно, что такіе за купцы?

— Одежда нѣмецкая, съ лица словно какъ не изъ простыхъ...

— Помыться приготовь...

— Пожалуйте-съ!

Худенькая черномазая фигура, съ азіатскимъ типомъ лица, съ заспанными, оплывшими глазами, прорѣзанными нѣсколько наискось, въ форменномъ грязномъ кителѣ съ оберъ-офицерскими погонами и въ шароварахъ туземнаго покроя, приподнялась въ тарантасѣ, осмотрѣлась и занесла ногу черезъ облучекъ, ощупывая экипажную ступеньку.

— Подмести хорошенько вокругъ кибитокъ; золу убрать! Это что тамъ за падаль валяется? Оттащить подальше, чтобы не видно было! — распоряжался переводчикъ, сидя на облучкѣ.—Баулинъ, чай завари, водку достань изъ погребца...

Распоряженія черномазаго человѣчка исполнялись быстро.

— Къ полудню районный начальникъ пріѣдетъ генерала встрѣчать. Самъ генералъ къ ночи быть долженъ, по нашему разсчету. Тамъ ковры привезены; постлать ихъ въ желомейкѣ и стулья поставить складные. Да что-же купцы не идутъ?

— Мироновъ, что-жъ ты: что-же купцы? — засуетился урядникъ, замѣтивъ вернувшагося посыльнаго.

— Да не идутъ!—замялся тотъ.

— Какъ не идутъ?—кинулся на него переводчикъ.

— Такъ точно; говорятъ, намъ нужды нѣтъ никакой, а коли ему нужно, пусть самъ придетъ!

— Гмъ... Такъ и сказали?

— Въ самый разъ!

«Подозрительно... купцы-ли?» — подумалъ переводчикъ; у него уже начали созрѣвать кое-какія соображенія.

— Вся орда сюда валитъ, ваше благородіе!

— А ну, хорошо, хорошо... шапку подай изъ тарантаса... шапка моя гдѣ? Погляди, тамъ, должно быть, завалилась...

Онъ занялъ мѣсто на коврѣ, разостланномъ передъ входомъ въ желомейку, и важно развалился, приготовясь встрѣтить подходящую толпу.

Яркими, цвѣтными пятнами рисовались халаты представителей на блѣдно-желтомъ фонѣ песковъ. Этотъ красивый контрастъ еще болѣе усиливался отъ сравненія съ скромною, сѣренькою одеждою казаковъ. Верхушки вышитыхъ золотомъ, высокихъ, остроконечныхъ шапокъ, широкіе галуны и шитье халатовъ сверкали и искрились, залитые лучами восходящаго солнца, суровыя лица смотрѣли важно. Киргизы шли, не торопясь, спокойною, степенною походкою, и, подойдя шаговъ на десять къ желомейкѣ, поклонились, положивъ руки на желудокъ, произнесли короткое привѣтствіе и сѣли.

— А, здорово, знакомые все!—весело говорилъ переводчикъ. — Ну что, пришлось ждать долго? Что дѣлать, служба. Я вотъ тоже жду; ну, да сегодня вечеромъ пріѣдетъ.—Эй, тамъ, пошлите казаковъ бурьяну и колючки нарвать по барханамъ побольше, чтобы было чѣмъ огонь поддержать; неравно подъѣдетъ къ ночи, чтобы свѣтло было...

— Да ты вотъ пять часовъ ждать будешь, а насъ пять дней заставилъ. Все мы должны были бросить...—началъ Ибрагимъ-бай.

— Что?.. Еще скажи спасибо, что только пять. За мѣсяцъ притяну—все ждать будете...

— Твоя сила!

— То-то моя. Заранѣе не собрать васъ, такъ потомъ, когда надо, никого не розыщешь. У тебя сорокъ кибитокъ перекочевали къ хивинцамъ, на ту сторону. Чего смотрѣлъ?

— А я что могу сдѣлать?—оправдывался старикъ Измаилъ-бай.—Нашъ народъ все равно, что птицы: гдѣ ему лучше, туда и идутъ!

— А ты за всѣхъ платить будешь. Эту подать на остальныхъ разложу; такъ и скажи!

— И остальные, пожалуй, уйдутъ!

— Да ты что-то разговаривать сталъ много! Я вѣдь кое-что слышалъ. Гляди, старый, не сдобровать тебѣ... пришлемъ казаковъ въ аулы — хуже будетъ!

— Твоя сила!—лаконически отвѣтилъ и этотъ.

— За верблюдовъ кто въ крѣпость присылалъ деньги спрашивать?—пытливо посмотрѣлъ переводчикъ прямо въ глаза ученаго Ахмата.

— Я не отъ себя, я за своихъ не требую, другіе съ меня спрашиваютъ. Ты, говорятъ, собиралъ съ насъ верблюдовъ казенную крупу перевозить... ты и поди, получай деньги...

— Я имъ такія деньги заплачу!.. Прошлогодняго захотѣли? —намекнулъ переводчикъ на какое-то событіе.

— Сохрани и помилуй Аллахъ!

— Да вотъ еще что: изъ какого это аула.. э... гмъ...

Переводчикъ замялся; онъ замѣтилъ Ледоколова и Бурченко, подходящихъ къ общей группѣ.

— Эти?—шепнулъ онъ уряднику.

— Они самые!—отвѣтилъ тотъ, также шопотомъ.

— Э, здравствуйте, господа! — раскланялся переводчикъ, не мѣняя позы.—Мое почтеніе...

Ледоколовъ и Бурченко приподняли фуражки.

— Позвольте отрекомендоваться: переводчикъ районнаго начальника, хорунжій Маслакъ-Бутузовъ!

Наши пріятели назвали свои фамиліи.

— Очень пріятно. По своимъ дѣламъ ѣдете или имѣете какое порученіе?

— По своимъ!

— Интересную страну посѣтить вздумали; впрочемъ, съ вами, если не ошибаюсь, имѣлъ уже случай встрѣчаться въ этомъ краѣ?

Хорунжій Маслакъ-Бутузовъ обратился къ Бурченко.

— Да, я уже здѣсь бывалъ; можетъ, и видѣлись гдѣ... Генерала поджидаете? Встрѣчу на рубежѣ, такъ-сказать, устраиваете? Это хорошо!

— Представители туземнаго населенія заявили свое желаніе видѣть его превосходительство. Вотъ за сколько верстъ собрались, руководимые единственно... Народъ, знаете, признательный, чувствуютъ... Чаемъ позвольте просить...

— Благодарю васъ, пили, а впрочемъ...

Всѣ трое усѣлись на коврѣ. Казакъ-уралецъ приготовлялъ посуду; туземцы сидѣли поодаль, полукругомъ, и молча наблюдали за русскими. Казаки возились, приводя въ порядокъ по близости станціонныхъ кибитокъ... Синеватыя тѣни въ лощинахъ исчезали мало-по-малу, по мѣрѣ того, какъ выше и выше подымалось солнце. Начинало сильно припекать. Вся компанія перебралась подъ спасительную тѣнь желомейки.

Было далеко за полдень. Жара стояла невыносимая. Шестерикъ казачьихъ лошадей, дружно натянувъ веревочныя постромки и уносы, тащилъ по глубокому, сыпучему песку тяжелый дормезъ, сверкавшій на солнцѣ своими стеклами. Впереди тихонько, чуть-чуть рысцою, шелъ небольшой казачій конвой; на длинной палкѣ у одного изъ рыжебородыхъ уральцевъ трепался красный значекъ съ вышитымъ наискось бѣлымъ крестомъ; казачій офицеръ, а за нимъ трубачъ на прихрамывающей сѣрой лошади ѣхали у самой дверцы дормеза. Въ экипажѣ полулежалъ старикъ съ сѣдыми усами, въ бѣлой фуражкѣ съ большимъ козырькомъ, и дремалъ надъ какою-то нѣмецкою книгою; на передней лавочкѣ сидѣлъ молодой офицеръ-адъютантъ; судя по его слипающимся глазамъ и конвульсивной зѣвотѣ, отъ которой онъ, впрочемъ, удерживался, его одолѣвала самая сильная сонливость, но онъ боролся съ нею довольно успѣшно и ограничивался только тѣмъ, что почтительно клевалъ носомъ.

За этимъ дормезомъ тянулся четверикомъ еще большой тарантасъ съ фордекомъ, за нимъ еще нѣсколько троекъ и

въ заключеніе большая русская повозка форменно-казеннаго образца съ походною кухнею. Поѣздъ замыкался еще конною группою казаковъ, растянувшейся длинною вереницею по пустынной дорогѣ.

Медленно тянулся этотъ поѣздъ, уныло брякали разнообразные колокольчики, лѣниво покрикивали казаки-погонщики на своихъ усталыхъ лошадей. На всѣхъ лицахъ было написано только одно: «Эхъ, да когда-же мы наконецъ, доберемся».

— А что скоро, братъ, станція?—спрашивалъ генеральскій деньщикъ, сидѣвшій на козлахъ, казака-кучера.

— Не скоро... Вотъ видите эти мазарки? — Онъ указалъ на чуть желтѣющія вдали, на высокомъ барханѣ, могилы номадовъ.—Мы мимо нихъ поѣдемъ; такъ когда поравняемся съ ними, двадцать три версты еще останется...

— Занесла нелегкая въ проклятую сторону! То-ли дѣло у насъ въ Питербурхѣ или даже въ Польшѣ... прекрасно!

— Извѣстно, степь...

— Степь!—вздохнулъ деньщикъ.—Прикажете?

Онъ вытащилъ изъ кармана двѣ папиросы; одну закурилъ самъ, другую предложилъ казаку.

— Мы старой вѣры... табаку не куримъ!

— Напрасно; отъ скуки—первый сортъ!

Въ слѣдующемъ экипажѣ двѣ какія-то весьма солидныя по виду личности, положивъ къ себѣ на колѣни кожаную подушку, играли въ штоссъ. Во всѣхъ остальныхъ тарантасахъ поголовно спали.

Долго ѣхали такимъ образомъ. Солнце начало садиться, и красный кровавый свѣтъ скользнулъ по вершинамъ барханов и яркимъ пятномъ отразился на стѣнахъ старыхъ гробницъ. Поѣздъ проѣзжалъ почти у подножья бархана, занятаго могилами, и на лиловомъ фонѣ вечерняго неба рѣзко очерчивались ярко освѣщенные фронтоны, зубцы и куполы своеобразныхъ сооруженій.

— Необыкновенно оригинально и эффектно! — замѣтилъ старикъ, выглядывая въ окно дормеза.

— Поразительно, ваше п—во! — поспѣшилъ согласиться встрепенувшійся адъютантъ.

— Позвольте... вы ставите уголъ отъ дамы, все это на смарку и по рублю очко?

— Да-съ, и по рублю очко-съ...—доносилось изъ второго экипажа.

. . . . . .

Наступила ночь, зажгли фонари, освѣтилось внутри экипажей. Громадный дормезъ съ яркимъ рефлекторомъ-фонаремъ наверху казался въ темнотѣ какимъ то одноглазымъ чудовищемъ.

Лошади, освѣженныя немного ночною прохладою, пошли бодрѣе и скоро вдали заалѣлись на горизонтѣ красноватыя пятна. Это было зарево костровъ, зажженныхъ по распоряженію хорунжаго Маслакъ Бутузова.

Оригинальная, живая картина представилась глазамъ путешественниковъ, когда усталыя лошади остановились на дорогѣ противъ станціонныхъ кибитокъ.

Шесть громадныхъ костровъ окаймляли ярко освѣщенное довольно большое пространство. Посрединѣ стояла желомейка, полы которой были откинуты, и тамъ пестрѣли полосатые и узорные ковры, тянувшіеся полосою вплоть до самаго генеральскаго экипажа; по одной сторонѣ, вытянувшись въ рядъ, стояли представители кочевого населенія; Измаилъ бай и Ибрагимъ держали въ рукахъ блюда, Ахматъ стоялъ, выдвинувшись немного впередъ, готовый разразиться рѣчью. Районный начальникъ и переводчикъ, оба въ мундирахъ, стояли съ другой стороны; за бортомъ перваго торчала аккуратно сложенная бумага. Казаки, сидя на коняхъ, выстроились фронтомъ по дорогѣ и въ третій разъ повторяли какое-то привѣтствіе, въ которомъ ничего нельзя было разобрать, кромѣ возгласовъ: разъ, два и еще чего-то, кончавшагося протяжнымъ ...ствомъ.

Старикъ вылѣзъ изъ дормеза, коснулся рукою козырька своей фуражки и подошелъ къ туземцамъ усталою, неловкою походкою, расправляя на ходу онѣмѣвшія ноги. Адъютантъ запутался въ дверцахъ своею саблею и освобождался съ помощью деньщика.

— Ну, здравствуйте!—произнесъ старикъ и ласково взглянулъ на суровыя лица представителей.

Хорунжій Маслакъ-Бутузовъ сталъ около генерала.

— Скажите имъ, что я привѣтствую ихъ и желаю имъ всякаго благополучія!

Хорунжій перевелъ.

— Великомудрый, высокопоставленный, извергающій разумъ и благочестіе... Мы всѣ, униженные рабы твои...—началъ Ахматъ, замялся, потупился и замолчалъ.

— Дуракъ!—шепнулъ ему по-киргизки переводчикъ.

Вдругъ быстро выдвинулся Ибрагимъ, взглянулъ на переводчика, и глаза его сверкнули недобрымъ огнемъ.

— Мы ждали тебя, мы слышали, что ты добрый человѣкъ и не дашь въ обиду тѣхъ, надъ кѣмъ ты поставленъ!—началъ Ибрагимъ.

— Что онъ говоритъ?

— Рады пріѣзду вашего п—ства... — заикаясь перевелъ хорунжій.

— Прижали насъ такъ, что намъ и солнце не въ радость,—продолжалъ Ибрагимъ, воодушевляясь все болѣе и болѣе.—Съ насъ берутъ все, что взять только можно, намъ-же не даютъ, чего слѣдуетъ; и не допросимся, а поѣдешь просить—бѣды наживешь и на себя, и на весь родъ свой...

— Цѣлую недѣлю мы ждемъ твоего пріѣзда; согнали насъ издалека; а дома безъ хозяевъ, самъ знаешь, какъ идетъ дѣло,—выдвинулся, въ свою очередь, сѣдобородый Измаилъ-бай. —Голодали мы здѣсь, лошадей своихъ поморили...

— Говоритъ, что живется имъ хорошо, благодаря начальству,—перебилъ Маслакъ-Бутузовъ, загородивъ оратора.—Обѣщаютъ молиться Богу за долгоденствіе вашего п—ства и всего семейства вашего..

Изъ темноты выдвинулся Бурченко и сталъ шагахъ въ трехъ отъ генерала; за нимъ чернѣлась борода Ледоколова.

— Хивинскіе барантачи наѣдутъ, бѣду какую нибудь на дорогѣ сдѣлаютъ, а мы отвѣчаемъ, на насъ все свалятъ, мы, говорятъ, въ степи неспокойно сидимъ, а мы отъ тѣхъ барантачей больше сами терпимъ, чѣмъ русскіе караваны!—говорилъ Измаилъ-бай.

— Ну, будетъ же вамъ бѣда, погодите! — шепталъ переводчикъ.

Районный начальникъ видѣлъ и догадывался, что дѣло идетъ скверно, совсѣмъ не такъ, какъ онъ предполагалъ, и стоялъ весь блѣдный, съ отвислою нижнею губою; колѣни его тряслись и колотились одно о другое. Рапортъ о благосостояніи

района выскользнулъ изъ-за борта и лежалъ на пескѣ, рисуясь бѣлымъ четырехугольникомъ.

— Они говорятъ... говорятъ, что такъ довольны, что и сказать не могутъ,—пустился напропалую хорунжій Маслакъ-Бутузовъ. — Они просятъ только объ одномъ: чтобы милость начальства и впередъ была надъ ними, и что лучше того, что теперь, они и не желаютъ...

— Ну, что вы врете?—неожиданно, какъ бомба, пробившая потолокъ, раздался голосъ Бурченко.

Пристально посмотрѣлъ генералъ въ ту сторону, улыбнулся и произнесъ:

— Подите сюда!

— Я хорошо знаю туземный языкъ, такъ-же, какъ и свой; я слышалъ все, что говорили вотъ эти... — Бурченко указалъ на киргизовъ.—Они приносили вамъ самыя возмутительныя жалобы, они говорили не красно, половины, какое! десятой доли не высказали того, что хотѣли! Позвольте мнѣ замѣнить теперь мѣсто переводчика!

— Кто вы такой?

— Отставной поручикъ Бурченко, ѣду по своимъ дѣламъ. Сюда попалъ случайно!

— Передайте имъ, что могутъ ѣхать съ Богомъ по своимъ ауламъ; чтобы ничего не боялись, чтобы впредь все говорили, что имъ нужно; скажите имъ, что я пришлю своего чиновника, который разберетъ всѣ ихъ жалобы и который имъ никакого зла не сдѣлаетъ!

Бурченко передалъ депутатамъ слова генерала. Всѣ просіяли и вдругъ всѣ разомъ повалились въ ноги.

Одинъ изъ тѣхъ чиновниковъ, что ставилъ по рублю очко, притащилъ изъ тарантаса довольно тяжелую шкатулку и началъ ее отпирать. Два казака принесли изъ другого экипажа большой чемоданъ съ почетными халатами.

Каждому изъ киргизовъ надѣтъ былъ на плечи цвѣтной халатъ съ галунами и дана медаль на красной лентѣ. Халаты оказались малы и висѣли на дюжихъ плечахъ представителей словно гусарскіе ментики; бронзовыя медали такъ ярко, такъ привѣтливо блестѣли, и блескъ этихъ медалей, казалось, отражался на просвѣтлѣвшихъ лицахъ наивныхъ кочевниковъ.

Они были счастливы совершенно, они забыли о всѣхъ своихъ невзгодахъ и дѣйствительно съ какимъ-то благоговѣніемъ смотрѣли на старика генерала.

— Лошади готовы, ваше п — ство! — гаркнулъ сзади начальникъ конвоя.

— Я надѣюсь еще видѣть васъ!—отнесся старикъ къ Бурченко.—Передайте-же имъ, чтобы ѣхали себѣ съ Богомъ!—еще разъ повторилъ онъ и, не обращая вниманія на районнаго начальника и его толмача, сѣлъ въ дормезъ.

Поѣздъ тронулся и, мало-по-малу, исчезъ во мракѣ, мигая изрѣдка вдали красноватыми точками фонарей.

Киргизы быстро отошли къ колодцамъ; вслѣдъ за ними пошли Ледоколовъ и Бурченко... Нѣкоторое время раздавалась хриплая ругань начальника района.

Всю ночь ликовали на колодцахъ обнадеженные депутаты. Брянчали струны сааза, гудѣлъ нивѣсть откуда явившійся бубенъ, и слышались громкіе торжествующіе возгласы.

Послѣдняя царственная овца была зарѣзана, и два киргиза, засучивъ рукава халатовъ, возились около дымящейся туши, выгребая на песокъ окровавленныя внутренности животнаго.

— Эхъ, кумысъ весь вышелъ, бѣда!—пожалѣлъ корявый Гайнула.—Ты вотъ къ намъ въ аулы пріѣзжай, такого кумысу тебѣ дадимъ, что во всей степи не найдешь лучшаго!—приглашалъ онъ Ледоколова.

— Да вамъ, все равно, по пути. Мы васъ на своихъ верблюдахъ повеземъ отсюда!—говорилъ Ибрагимъ.—Скорѣй, чѣмъ по русской дорогѣ пріѣдете!..

— А вы отъ крѣпости подальше: въ прирѣчномъ курганѣ какъ-бы вамъ худа какого не сдѣлали!—заботливо предупреждалъ Ахматъ.

— Сами не дадимся въ обиду!—похвастался Бурченко.

— А мы было боялись жаловаться... Особенно, какъ вы съ толмачемъ чай пили вмѣстѣ... Ахматъ говорилъ намъ: смотрите, берегите ваши головы!..

— Мы думали, ты подосланъ къ намъ!—вставилъ Измаилъ-бай.

— А ужъ какъ толмачъ обругалъ нашего Ахмата, злость меня разобрала такая, за горло готовъ былъ ухватить его!—говорилъ Ибрагимъ.

— Ну, теперь, да будетъ надъ *нимъ* милость пророка, для насъ настало хорошее время!

— Я полагаю, они правы, ожидая лучшаго будущаго! — сказалъ Ледоколовъ.

— Вашими-бы устами да медъ пить, а за неимѣніемъ меда хватимъ чайку съ ромкомъ. Эй, тамыръ, ставь-ка къ огню поближе наши чайники!

На разсвѣтѣ только угомонился бивуакъ, и то ненадолго: надо было вьючить верблюдовъ и готовиться къ отъѣзду по своимъ роднымъ ауламъ.

И къ полудню опять все мертво и тихо было въ пескахъ, даже казаки станціонные уѣхали вмѣстѣ съ переводчикомъ. Только киргизенокъ, лѣтъ четырнадцати, сидѣлъ на корточкахъ въ тѣни желомейки и глядѣлъ вдаль, гдѣ на вершинѣ песчанаго наноса взвился кверху винтообразный столбъ мелкаго песку, перенесся на другой, сосѣдній наносъ, оттуда еще ближе, затихъ было, потомъ опять взвился, переползъ къ самой станціи и, подхвативъ клочокъ какой-то бумаги да нѣсколько папиросныхъ окурковъ, покружился немного на мѣстѣ и распался, обдавъ киргизенка мелкою песчаною пылью.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Негоціанты.

Въ комнатѣ былъ пріятный зеленоватый полусвѣтъ: солнечные лучи, врываясь въ открытое итальянское окно, должны были пройти сперва сквозь кисею, намоченную водою, пробраться между вырѣзными листьями экзотическихъ растеній и, вслѣдствіе этихъ преградъ, вмѣсто жары вносили съ собою самую живительную, ароматическую прохладу.

Завтракъ былъ сервированъ роскошно. Стеклянный кувшинъ, налитый до краевъ шампанскимъ, стоялъ во льду; сквозь грани стекла краснѣлись ломти нарѣзанныхъ апельсиновъ. Голубоватое пламя спиртовой лампы чуть-чуть облизывало дно другого серебрянаго кувшина съ краснымъ виномъ,—не мѣстнымъ, первушинскимъ, а настоящимъ лафитомъ, выписаннымъ изъ Нижняго-Новгорода. Такія-же спиртовыя комфорки подогрѣвали блюда съ превосходными котлетами изъ мяса горныхъ куропатокъ и фазановъ; надъ разнообразнѣйшимъ и самымъ пикантнымъ hors d'oevre-омъ возвышались графинчики съ водками и ликерами всевозможныхъ цвѣтовъ и наименованій.

Завтракающихъ было двое: гость, Станиславъ Матвѣевичъ Перловичъ, весь на сторожѣ, весь олицетворенное «берегись», немного постарѣвшій съ тѣхъ поръ, какъ мы его видѣли послѣдній разъ на похоронахъ Батогова, запустившій себѣ американскую бородку, изжелта-рыжеватую, съ просѣдью, весь въ бѣлой парусинѣ... Даже его англійскія ботинки были сшиты не изъ кожи, а изъ чего-то бѣловатаго, мягкаго, эластическаго, такъ что когда онъ всталъ и прошелъ за чѣмъ-

то черезъ всю комнату, его шаговъ не было слышно, даже тамъ, гдѣ бархатистый тюркменскій коверъ не покрывалъ квадратныхъ плитокъ кирпичнаго пола.

Станиславъ Матвѣевичъ держалъ себя очень развязно, нѣсколько фамильярно, что называется потоварищески... по крайней мѣрѣ, ему очень хотѣлось такъ себя держать.

Хозяинъ, Иванъ Илларіоновичъ Лопатинъ, нѣсколько обрюзглый, плотный господинъ, лѣтъ, что-называется, «за сорокъ пять», гладко обритый, въ синихъ очкахъ въ золотой массивной оправѣ, сидѣлъ лѣниво, говорилъ сквозь зубы, протягивая слова и не выпуская сигары, жестикулировалъ округленно, мягко, относился къ своему гостю съ самою изысканною предупредительностью и вообще имѣлъ видъ человѣка, совершенно довольнаго своимъ положеніемъ, ничего не желающаго лучшаго.

Маленькій скорпіонъ, выползшій, вѣроятно, изъ-подъ корзины съ виноградомъ, быстро побѣжалъ по столу, наткнулся на банку съ анчоусами, бросился вправо и погибъ, приплюснутый тяжелымъ портсигаромъ Лопатина.

Это было единственное энергическое движеніе Ивана Илларіоновича во время всего завтрака.

— Только при полной, честной поддержкѣ другъ друга возможно здѣсь развитіе нашихъ торговыхъ интересовъ!—докончилъ что-то Перловичъ и немного покраснѣлъ.

Ему показалось, что губа хозяина какъ-то странно улыбнулась. Впрочемъ, это, можетъ быть, былъ случайный отблескъ отъ графина, придававшій физіономіи Лопатина нѣсколько насмѣшливое выраженіе, потому что, когда Перловичъ вторично взглянулъ на своего собесѣдника, то онъ уже смотрѣлъ совершенно спокойно, почти сонливо, и, замѣтивъ, что Перловичъ протянулся за честеромъ, предупредительно пододвинулъ ему тарелку.

— Только при полной поддержкѣ...—повторилъ Станиславъ Матвѣевичъ.

— Ну, конечно, только при полной поддержкѣ!—согласился Иванъ Илларіоновичъ.

— Каждое дѣло тогда только можетъ достигнуть серьезныхъ результатовъ, когда его детали разработаны спеціалистами. Сжаться, сконцентрироваться въ однѣхъ рукахъ все не можетъ!

— Еще-бы, это совершенно понятно!

— Да, а вотъ подите-же: всѣ эти наши Захо, Федоровы, Тюльпаненфельды, Филатовы и компанія не могутъ понять этого...

— Ну, это такая все мелочь, маркитанты какіе-то!

— Одинъ другого подрываютъ, портятъ другъ другу каждое предпріятіе, интригуютъ, искусственно сбиваютъ и повышаютъ цѣны!

— Э... хмъ!..

Опять что-то странное скользнуло по лицу Лопатина.

— Ну, результаты очевидны,—продолжалъ Перловичъ, почему-то вдругъ понизившій тонъ.—Всеобщій торговый застой, пустота нашихъ рынковъ...

— Да, вотъ, напримѣръ, крупная фирма Хмурова (она рушилась еще до моего пріѣзда): я увѣренъ, что главнымъ образомъ тутъ повліяли тѣ причины, которыя вы сейчасъ высказали!

— Между прочимъ онѣ... но...

— Вы позволите?

Лопатинъ снялъ кувшинъ съ виномъ и налилъ стаканъ своего гостя...

— Да, я вамъ, кстати, хотѣлъ сообщить, такъ-сказать, объясниться по поводу той послѣдней непріятности, невольной, впрочемъ, совершенно невольной... это я говорю насчетъ подряда на крупу и перевозку тяжестей караваннымъ путемъ. Вы на меня, вѣроятно, не будете въ претензіи, если узнаете, въ чемъ дѣло!

— Я уже знаю,—произнесъ Перловичъ,—и вы видите, я теперь у васъ,—значитъ, о неудовольствіи моемъ не можетъ быть и рѣчи!

— Я такъ и думалъ. Я ничего рѣшительно не зналъ... Присылаютъ ко мнѣ спросить цѣны, по какимъ-бы я могъ взяться за то и другое; я сказалъ; вдругъ—бацъ! Узнаю, что вы еще прежде меня назначили большія. Я хотѣлъ отказаться, но нельзя было: губернаторъ настаивалъ... вы понимаете сами...

— Понимаю. Я здѣсь потерялъ около десяти тысячъ, это самое меньшее!

— Мнѣ предлагали другой подрядъ еще, но я ни за что не возьму его и предоставляю его вполнѣ и нераздѣльно вамъ. Остальные конкуренты вамъ не страшны... вотъ развѣ...

— Я назначилъ цѣны крайнія, какія только возможны; за предѣлами этихъ цѣнъ—убытокъ... Вѣрьте вы моей пятилѣтней опытности...

— Удивительно, я былъ даже пораженъ, прочитавъ въ интендантствѣ ваше заявленіе. Такая дешевизна!

— А вы его развѣ читали?

Перловичъ вздрогнулъ и задвигалъ креслами.

— Случайно!

— Я вотъ именно по поводу этого и хотѣлъ переговорить въ вами... Мы составляемъ здѣсь главную силу... Подорвать эту силу можемъ только мы сами-же. Отъ насъ-же зависитъ, чтобы эти силы удвоились, удесятерились... даже болѣе того...

— Я понимаю; вы мнѣ предлагаете союзъ?

— Не совсѣмъ, а добросовѣстное, братское раздѣленіе по спеціальностямъ,—именно то раздѣленіе, о которомъ я вамъ говорилъ какъ-то на прошедшей недѣлѣ въ караванъ-сараѣ и сегодня, при началѣ завтрака!

— Я вполнѣ соглашаюсь съ вами и принимаю ваше предложеніе...

Лопатинъ протянулъ черезъ столъ свою широкую ладонь, Перловичъ протянулъ свою. Надъ остатками блюда съ котлетами совершилось дружественное рукопожатіе.

— Вотъ, напримѣръ, вы затѣваете въ обширныхъ размѣрахъ улучшеніе мѣстнаго шелководства...

Лопатинъ приподнялъ брови и отдѣлилъ нѣсколько свою спину отъ задка креселъ.

— Выписываете машины, спеціалистовъ...

— Вы это почему знаете?

— Случайно!

— Гмъ...

— Наконецъ, дѣло само такъ велико, что приготовленій къ нему скрыть невозможно...

— Особенно, принимая въ разсчетъ вашу пятилѣтнюю опытность!

— Хотя-бы и такъ. Я сейчасъ-же поставилъ себѣ непремѣннымъ долгомъ не мѣшать вамъ въ этомъ ни прямымъ путемъ, ни косвеннымъ... Я даже прекратилъ работы на своихъ ходжентскихъ шелкомотальняхъ!

— Но, кажется, онѣ и безъ того не пошли-бы у васъ, по другимъ причинамъ?

— Могли-бы пойти; но я прекратилъ, и прекратилъ ихъ съ единственною цѣлью предоставить эту промышленную отрасль безраздѣльно вамъ!

— Это очень любезно и великодушно!

Обѣ руки опять соединились, только ниже, такъ что парусинный рукавъ Перловича запачкался въ красноватомъ соусѣ котлетъ.

— Это только выгодно для меня, потому что я разсчитываю на подобную же услугу съ вашей стороны!

— Весьма практично. Мнѣ остается только позаботиться, чтобы ваши разсчеты сбылись!

— Съ такими средствами, какъ у васъ, и съ вашимъ знаніемъ дѣла...—началъ Перловичъ.

— Съ такою предпріимчивостью и опытностью, какъ ваша,— перебилъ его Лопатинъ,—дѣла каждаго изъ насъ могутъ пойти блистательно!

— Конечно; и отъ насъ-же зависитъ, чтобы дѣла наши лопнули окончательно (видите, какъ я откровененъ): стоитъ только намъ придерживаться той подрывательной системы, которой держатся всѣ эти Захо и прочіе...

— Итакъ...

— Итакъ, я очень даже радъ, что случилось это недоразумѣніе: я говорю о перехваченномъ вами моемъ подрядѣ!

— Перехваченномъ... гмъ! Это выраженіе не совсѣмъ вѣрно!

— Какъ-бы то ни было, но это подало поводъ къ теперешному нашему объясненію, результатомъ котораго я болѣе, чѣмъ доволенъ!

— Я тоже!

Собесѣдники помолчали нѣсколько минутъ. Лопатинъ по временамъ исподлобья взглядывалъ на своего гостя. Перловичъ наблюдалъ за хозяиномъ, выглядывая изъ-за корзины съ фруктами.

Синій дымъ отъ сигаръ тянулся надъ столомъ и слегка колебался, поднимаясь все выше и выше къ штучному потолку въ туземномъ вкусѣ. Съ улицы доносился стукъ экипажей, топотъ верховыхъ, выкрикиваніе мальчиковъ - таджиковъ, торговцевъ фруктами и разными сластями. Перловичу показалось, что хозяинъ началъ дремать, по крайней мѣрѣ, онъ замѣтилъ чрез-

вычайно продолжительный кивокъ его головы. Онъ поднялся со стула.

— Надѣюсь, мой уважаемый Иванъ Илларіоновичъ, что какъ-нибудь и вы соберетесь ко мнѣ запросто позавтракать. Я всегда дома отъ трехъ часовъ до шести!

— Непремѣнно, непремѣнно,—поднялся тоже Лопатинъ,— буду... вѣроятнѣе всего, завтра-же буду; мнѣ тоже хотѣлось-бы присмотрѣть себѣ мѣсто для дачи въ вашей сторонѣ. Вы мнѣ дадите кое-какія указанія?

— Съ удовольствіемъ... Итакъ, до завтра!

— Я велю сейчасъ подать вашу лошадь... Эй! Федотъ! Максимъ! Кто тамъ?

Приказчикъ въ длинномъ сюртукѣ, остриженный въ скобку, вынырнулъ изъ боковой двери.

— Лошадь господина Перловича... Вы верхомъ? Какъ это хорошо! Какъ это полезно! А вотъ я, такъ нѣтъ; пробовалъ: тяжело, знаете, въ мои лѣта...

— Ничего, привыкните; здѣсь это въ обыкновеніи, да во многихъ случаяхъ и нельзя иначе... Прощайте!

— До свиданья, до свиданья!

Лопатинъ проводилъ своего гостя на крыльцо, посмотрѣлъ, какъ тотъ садился на лошадь, похвалилъ эту лошадь, раскланялся еще разъ, даже послалъ воздушный поцѣлуй отъѣзжающему Перловичу и вернулся въ свой кабинетъ.

«Ишь, подъѣзжалъ какъ, а, должно быть, большой руки мошенникъ!»—подумалъ онъ, глядя на кресло, гдѣ только что сидѣлъ Станиславъ Матвѣевичъ.

«Хитритъ, собака!» — думалъ Перловичъ, рысью переѣзжая городскую площадь и взглянувъ издали на высокія трубы лопатинскаго дома.

II.

Въ пріемной у губернатора.

— Если вы, господа, не боитесь сквозного вѣтра, то я распоряжусь сейчасъ, чтобы отворили окна!—произнесъ дежурный адъютантъ, сдѣлавъ общій поклонъ и вытирая себѣ лобъ и шею носовымъ платкомъ.

Онъ былъ въ мундирѣ, застегнутомъ на всѣ пуговицы, что

въ такую жаркую погоду было очень и очень неудобно. «Господа», стоявшіе по угламъ и у круглаго стола, занимавшаго середину залы, тоже были въ мундирахъ и тоже страдали отъ жары. Они находились въ нескрываемомъ волненіи: они ждали, и это ожиданіе такъ и высказывалось въ ихъ взглядахъ, хотя и перебѣгавшихъ для виду съ одного предмета на другой, но все-таки упорно останавливавшихся на одной и той же точкѣ. Этой точкой была головка бронзовой дверной ручки, въ видѣ орлиной лапки, державшей полированный шарикъ.

Было мгновеніе, что этотъ шарикъ дрогнулъ и запрыгалъ. Все затихло мгновенно и словно вросло въ квадраты и треугольники дубоваго паркета; но тревога оказалась напрасною: дверная ручка перестала прыгать, и все опять погрузилось въ томительное, тоскливое ожиданіе.

— Я полагаю —отворить; знаете, это очиститъ воздухъ!— вкрадчивымъ полушопотомъ отвѣтилъ массивный штабъ-офицеръ, комендантъ какой-то отдаленной крѣпостцы, вызванный для объясненій изъ своей трущобы.

Три молодыхъ офицера ловко поклонились, что означало ихъ полное согласіе. Старичокъ въ мундирѣ гражданскаго вѣдомства поежился и отошелъ въ сторону, гдѣ, по его разсчету, не могъ коснуться до его подвязанной щеки предательскій сквозной вѣтеръ. Прочіе сдѣлали видъ, что не слышали вовсе адъютантскаго предложенія; только угреватый интендантскій чиновникъ значительно произнесъ:

— Будетъ-ли это пріятно его превосходительству?

Адъютантъ распорядился.

Въ пріемную губернаторскаго дворца въ отворенныя окна ворвался цѣлый потокъ ароматическаго воздуха; изъ сада несло смолистымъ запахомъ молодыхъ почекъ, свѣже-взрытой земли, свѣжестью арыка Бо-су, бойко бѣгущаго по дну оврага.

— Ухъ, хорошо!—послышался чей-то довольный возгласъ.

— Тсъ, тсъ!

Адъютантъ приложилъ ухо къ таинственнымъ дверямъ, пожалъ плечами и отошелъ.

— Долгонько изволятъ бесѣдовать съ этимъ господиномъ!—такимъ же полушопотомъ обратился къ нему массивный комендантъ.

— Да, уже часъ скоро!—не глядя на послѣдняго, проворчалъ адъютантъ.

— Кто такіе-съ?

— Новый купецъ, Лопатинъ, Иванъ Илларіоновичъ! — выдвинулся поближе интендантскій чиновникъ.

Легкій стукъ колесъ рессорнаго экипажа ровно и плавно катился по шоссе, повернулъ направо, прогремѣлъ по мостику, зашуршалъ по крупному песку, которымъ была усыпана площадка передъ подъѣздомъ дворца, и остановился. Слышно было, какъ фыркали лошади, какъ чьи-то шаги вбѣжали на крыльцо.

— Перловичъ! — сообщилъ одинъ изъ присутствующихъ, узнавшій коляску, шагомъ отъѣзжающую отъ подъѣзда.

— Что бы это значило, какъ вы полагаете? — обратился къ своему сосѣду интендантскій чиновникъ.

— Вызвали, можетъ быть?

— Ну, нѣтъ! Я списокъ на сегодняшній день видѣлъ: его нѣтъ!

— Такъ, можетъ, какое дѣло есть!

— Гмъ, дѣло... нѣтъ-съ, не то!

— Я вамъ доложу, — осторожно подобрался къ разговаривающимъ старичокъ въ гражданскомъ мундирѣ. — Совсѣмъ тутъ другая причина. Э... хмъ... Станиславъ Матвѣичъ, мое почтеніе, какъ ваше здоровье?

— Здравствуйте, здравствуйте! — говорилъ скороговоркою Перловичъ. — Что, его превосходительство можетъ меня принять? — обратился онъ къ дежурному адъютанту.

— Подождите, я доложу. Тамъ теперь...

— Кто тамъ, кто?

Станиславъ Матвѣевичъ отлично зналъ кто, потому что успѣлъ уже осмотрѣть всѣхъ присутствующихъ и зналъ, кого недостаетъ.

— Разбираетъ! Хе-хе,—шепталъ старичокъ интендантскому чиновнику,—страшно стало!

— Вы не знаете, по какому дѣлу приглашенъ былъ Лопатинъ?—спрашивалъ Перловичъ адъютанта, отведя его нѣсколько въ сторону.

— А, право, не знаю!

— Ну, ну-же... говорите, баронъ... ну!?

— Да ей-Богу же!

— Давно онъ тамъ?

— Уже съ часъ скоро. Сейчасъ я пойду доложу объ васъ...

— Ахъ, пожалуйста!

Станиславъ Матвѣевичъ отошелъ къ окну и сталъ смотрѣть въ садъ... Онъ былъ во фракѣ, съ складною шляпою въ рукахъ. Онъ былъ нѣсколько взволнованъ, узкія брови его нервно подергивались, пальцы коверкали лайковую перчатку.

— И вотъ они теперь все другъ подъ друга подкапываются!— шепталъ старичокъ, косясь то на спину Перловича, то на дверь, ведущую во внутренніе апартаменты.

— А съ виду-то какіе пріятели... Я вчера слышалъ, подъ руку прогуливаются по балкону и разговариваютъ, комплименты такъ и сыпятъ, такъ и сыпятъ!

— А сами такъ и норовятъ пакость какую-нибудь сдѣлать другъ другу!

— Да, вотъ *тотъ* теперь, то-есть, готовъ душу прозакладывать, тамъ мины подводитъ, а этотъ контръ-мины обдумываетъ!

Перловичъ быстро обернулся, прошелся по залѣ, остановился передъ дверью, переложилъ шляпу изъ подъ одной мышки подъ другую, сѣлъ на стулъ, но тотчасъ же опять вскочилъ и начала прохаживаться.

— Ну, что?—бросился онъ къ адъютанту, вернувшемуся въ пріемную.

— Ничего не сказалъ. Я подождалъ, сколько могъ, и ушелъ!

— Э-эхъ!

— Генералъ самъ сейчасъ выйдетъ... Да вотъ, кажется, идетъ уже. Господа, прошу по мѣстамъ!

Все задвигалось, прокашлялось и затихло. Перловичъ выдвинулся впередъ и заслонилъ собою старичка въ мундирѣ.

— Э-э-э, позвольте...

— У васъ шарфъ разстегнулся!—шепнулъ адъютантъ одному изъ молодыхъ офицеровъ.

Всѣ руки сразу начали ощупывать свои шарфы.

Въ отворенныхъ дверяхъ показалась сперва широкая спина Лопатина и фалды его фрака съ торчащимъ кончикомъ платка, а за этой фигурою блеснулъ шитый воротникъ и красный лампасъ.

— Благодарю васъ, очень благодарю!—говорилъ генералъ.

— Помилуйте, ваше превосходительство!

— Очень, очень вамъ благодаренъ!

— Вы слишкомъ добры, ваше превосходительство!

— Не ко всѣмъ, нѣтъ, не ко всѣмъ. Да, наконецъ, тутъ личность совершенно не причемъ; главное—польза края, успѣхъ нашего дѣла. А я, съ своей стороны, все, что могу, что только въ предѣлахъ моей власти!

— Конечно, ваше превосходительство, всегда найдутся люди, готовые, такъ сказать, подставлять ногу всякому благому начинанію!

— Я васъ понимаю!

— Итакъ, ваше превосходительство...

— Все, что я вамъ уже обѣщалъ. До свиданья!

Генералъ протянулъ руку Лопатину, тотъ подержалъ ее нѣсколько мгновеній между своими ладонями, еще немного попятился и, весь сіяющій, прошелъ черезъ пріемную.

Онъ хорошо замѣтилъ Перловича, но сдѣлалъ видъ, что не замѣтилъ его вовсе.

Дверь во внутренніе апартаменты снова закрылась, къ недоумѣнію всѣхъ присутствующихъ.

— Могу я теперь войти? Мнѣ такъ надо!—говорилъ Перловичъ адъютанту.

— Пойду, еще разъ спрошу!

— Завтракъ накрываютъ на террасѣ!..—сообщилъ кто-то, заглядывая въ окно, выходящее въ садъ.

— Генералъ благодаритъ и проситъ записаться,—появился въ дверяхъ адъютантъ.—А васъ, Станиславъ Матвѣевичъ, онъ принять сегодня не можетъ!

— Но почему же?!

— Не знаю, онъ сказалъ только: Перловичу скажите, что я его принять сегодня не могу; больше ничего!

— Прощайте, баронъ!

Перловичъ быстро повернулся, закусилъ губу и вышелъ.

— А подрядецъ за нимъ-то, пожалуй, не состоится!—подмигнулъ вслѣдъ отъѣзжающей коляскѣ Перловича интендантскій чиновникъ.

— Вчера пріѣзжалъ—тоже не принялъ. Въ совѣтъ подавалъ—придержали, а тотъ цѣны сбавилъ... немного, а сбавилъ!—сообщалъ старичокъ, садясь въ свои дрожки.

— Провалится...

— Вотъ это ужъ второе дѣло у него перебиваютъ; да какое дѣло!.. Вы куда теперь?

— Къ Лазоркину: у него Манюся его имянинница, звалъ на пирогъ!

— Довезите и меня!

Интендантскій чиновникъ забѣжалъ съ другой стороны и полѣзъ въ экипажъ.

— Такая, я вамъ доложу, баталія открывается между нашими комерсантами —бѣда!

— Ну, тотъ тоже себя за горло взять не позволитъ. Эй, налѣво въ переулокъ!

Свернувъ налѣво, дрожки съ двумя сѣдоками скрылись за узломъ большого сараеподобнаго зданія, надъ входною дверью котораго красовалась надпись:

«Вновь открытыя московскія бани, съ отдѣльными номерами, съ мужскою и женскою прислугою».

III.

Розовыя мечты.

Возвращаясь домой отъ губернатора, Лопатинъ находился въ самомъ оживленномъ настроеніи. Присуствіе Перловича въ пріемной его нѣсколько смутило, но онъ скоро оправился и, развалившись въ своей коляскѣ, насвистывалъ какой-то веселенькій мотивчикъ.

«Вотъ и второй подрядъ у него изъ зубовъ, такъ сказать, выхватываю», думалъ онъ и нѣжно поглаживалъ серебряный набалдашникъ своей палки, голову бульдога въ треугольной шляпѣ.

«Вѣрьте моей пятилѣтней опытности... хе-хе! —усмѣхнулся онъ, припоминая недавнее посѣщеніе Станислава Матвѣевича;— Опытности... Нѣтъ, братъ, намъ дѣлить съ тобою нечего, не съ руки, не приходится. Или я все заберу въ свои руки, или ты попробуй утопить меня, коли сможешь. Да-съ! Потягайся-ка!»

Плавно катилась покойная коляска по новому городскому шоссе. Ряды тополей, окаймляющіе улицы, шелестѣли своею серебристою листвою, пріятный вѣтерокъ ласкалъ и нѣжилъ нѣсколько вспотѣвшую лысину Ивана Илларіоновича.

Онъ держалъ шляпу въ рукахъ и прикрылъ голову тонкимъ бѣлымъ фуляромъ. Онъ уже успѣлъ освоиться съ нѣкоторыми мѣстными пріемами и привычками.

— Повернешь вокругъ крѣпости, проѣдешь на Бешь-агачъ, оттуда мимо губернаторскихъ дачъ къ Салару!—приказалъ онъ своему кучеру изъ безсрочноотпускныхъ стрѣлковъ.

Иванъ Илларіоновичъ снова погрузился въ размышленія и воспоминанія:

«Ну, что-бы онъ теперь дѣлалъ въ Москвѣ, въ Петербургѣ или тамъ, въ Нижнемъ, гдѣ онъ заканчивалъ свои послѣднія торговыя операціи?.. Кто говоритъ, состояніе, которымъ онъ обладалъ, довольно крупныхъ размѣровъ, дѣла его были не маловажныя, но все это терялось какъ-то, стушевывалось въ массѣ еще болѣе крупныхъ оборотовъ... никому въ глаза не бросалось... ну, положимъ, знали на биржѣ, на рынкахъ тамъ, что-ли, что есть, молъ, Лопатинъ купецъ... ну, и только! А тутъ... ха-ха! Звѣзда первѣйшихъ размѣровъ; обширнѣйшія палестины для всякихъ торговыхъ оборотовъ. Дѣйствуй только! А что главное: это извѣстность. У губернатора принятъ».

И вотъ передъ Лопатинымъ, въ клубахъ шоссейной пыли, стали проходить всѣ мельчайшія подробности аудіенціи.

«Вотъ Хмуровъ, напримѣръ, человѣкъ уже совершенно пустѣйшій: авантюристъ и больше ничего, а каково пошелъ, каково! Европейская извѣстность. Отъ иностранныхъ державъ орденскія украшенія получалъ. Портретъ вонъ во «Всемірной Иллюстраціи» напечатанъ былъ: сидитъ это въ русскомъ кафтанѣ, тигръ лежитъ у самыхъ ногъ, значитъ, въ полномъ повиновеніи».

Иванъ Илларіоновичъ приложилъ палецъ ко лбу и почесалъ за ухомъ. Онъ соображалъ: какого и ему-бы завести звѣря. Развѣ опять тигра,—страшно!

«Непремѣнно,—подумалъ онъ,—какъ увижу Скворцова, спрошу у него, что онъ посовѣтуетъ».

Вотъ придутъ его караваны, машины привезутъ. Перекупитъ онъ у Перловича его остановленную фабрику, увеличитъ ее, настроитъ того и сего... Шелководство заведетъ такое, что ухъ!.. Тутъ выводятъ червей, тамъ собираютъ коконы, морятъ ихъ, разматываютъ, моютъ, сушатъ, красятъ... Паровой двигатель такъ и работаетъ... матеріалу не хватаетъ—собирай, ищи, стаскивай отовсюду, у всѣхъ отнимай, души эту торговую мелочь... все въ однѣ руки...

У него даже началась легкая одышка. Онъ разстегнулъ жилетъ и ослабилъ узелъ бѣлаго галстуха.

Открываются непосредственныя сношенія съ Ліономъ, съ Италіей... туда онъ отправляетъ шелкъ въ сырьѣ... Непрерывныя цѣпи верблюдовъ тянулись отъ Ходжента чуть не до самаго Оренбурга. Отсюда ему шлютъ готовыя ткани. Въ Петербургѣ, въ Москвѣ, во всѣхъ городахъ россійскихъ обширнѣйшіе склады... Цѣны понижаются, иностранныя фирмы трещатъ, не выдерживаютъ конкуренціи, лопаются одна за другой...

«Иванъ Илларіоновичъ Лопатинъ!» гремитъ во всѣхъ углахъ его имя. Онъ ѣдетъ по Европѣ —пріемъ, почетъ, удивленіе. «Legion d'honneur», «Льва и солнца», «Honni soit, qui mal y pense», постой, какіе еще есть ордена?! И все это на шеѣ, отъ одного плеча до другого, звенитъ, блеститъ, колышется...

— Возьми вправо, коляска, вправо, скорѣй!—кричитъ молодой, сильный голосъ.

Глухой грохотъ, оглушительное шипящее шуршаніе шоссейнаго камня несется навстрѣчу. Штукъ пятнадцать разномастныхъ лошадей, перепутанныхъ по всѣмъ направленіямъ веревками, тащатъ какую-то чудовищную, дробящую машину — катокъ. Молодой офицеръ-саперъ, верхомъ на высокой бѣлой лошади, чортомъ вертится въ клубахъ шоссейной пыли, заскакиваетъ справа, слѣва, сзади, спереди...

— Нахлестывай, нахлестывай! Чубараго жарь!.. Передняя тройка, чего замялась?.. Ай-ай-ай-ай!.. Гайда, гайда! Ухъ-ухъ!.. Ну, еще, ну, разомъ!

Щелкаютъ нагайки по крупамъ выбивающихся изъ силъ лошадей, свистятъ и гикаютъ осипшіе голоса саперныхъ солдатъ.

— Гей, гей! Гони, гони!.. Ахъ, чортъ тебя дери!..

Катокъ остановился.

Чуть-чуть стороною объѣхала коляска Лопатина всю эту оживленную массу.

— Здравствуйте!—любезно расклапялся Иванъ Илларіоновичъ, узнавъ знакомаго ему офицера.—Работаете?

— Укатываю... идетъ отлично!

— Скоро кончится постройка шоссе?

— О, да; раньше назначеннаго срока, гораздо раньше. Этотъ катокъ я самъ устроилъ. Онъ ужасно тяжелъ, за то дѣйствуетъ отлично... И какъ все это мнѣ дешево стало!

— Будто-бы?

— Да какъ-бы вы думали? Эта вотъ линія шоссе до самаго того угла...

Саперъ указалъ концомъ нагайки, до какого именно угла.

— ...обойдется мнѣ на четыре съ половиною тысячи дешевле ассигнованной суммы. Какова экономія!

— Превосходная! Для начала это очень недурно. Что-же вы думаете дѣлать съ этою экономіею?

— Какъ что? Представить ее по назначенію!

— Чего-съ?

— Или предложить устройство плитнаго тротуара, хоть по главной линіи...

«Вотъ оригиналъ!»—подумалъ Лопатинъ.—Да вы-бы лучше ее сюда... эту экономію-то...

Иванъ Илларіоновичъ сдѣлалъ выразительный жестъ рукою.

— Ну-ну-ну! Нечего брови хмурить, вы видите, я шучу... Ко мнѣ заѣзжайте почаще... безъ всякой церемоніи...

Легкій кабріолетъ, запряженный кругленькимъ бѣлымъ иноходцемъ, подъѣхалъ съ другой стороны; въ немъ сидѣла красивая барыня и, привставъ немного, высматривала: гдѣ-бы ей удобнѣе было пробраться. Остановившійся катокъ со всѣми своими лошадьми и лопатинская коляска совершенно загородили дорогу.

Изъ-подъ полей овальной соломенной шляпки выбивались пряди темныхъ, вьющихся волосъ, слегка напудренныхъ шоссейною пылью, и сверкали веселые, оживленные глазки; на ея щекахъ такъ и пылалъ бархатистый румянецъ, который чрезвычайно шелъ къ темноватому цвѣту ея смуглой кожи. Впрочемъ, эта смуглость была слѣдствіемъ загара, потому что когда вѣтеръ колыхнулъ и откинулъ ея кружевную косынку, то округленное, обнаженное плечико наѣздницы такъ и кинулось въ глаза Ивана Илларіоновича своею матовою бѣлизною.

— Господа, вы совершенно заняли весь проѣздъ! Я не могу выбраться!—произнесла красавица, придерживая свою лошадку и вглядываясь сквозь пыль: Кто это такой сидитъ въ коляскѣ?

«Ай да барынька!»—мелькнуло въ головѣ Лопатина.

— Марфа Васильевна! Я сейчасъ вамъ очищу дорогу, сію минуту! Эй! Продвинь вправо! Осади лошадей! Вотъ такъ!—распоряжался саперъ, ринувшись на выручку барыни въ кабріолетѣ.—За мной, Марфа Васильевна!

Наѣздница тронула своего иноходца концомъ бича и поровнялась съ коляскою Ивана Илларіоновича.

Лопатинъ поклонился.

— Bonjour!—кивнула головкою Марфа Васильевна.

— Катаетесь?—вторично раскланялся Иванъ Илларіоновичъ.

Онъ познакомился уже съ нею какъ-то недавно, на балу въ Минъ-Урюкѣ, и даже заплатилъ за ужинъ, за которымъ предсѣдательствовала красавица, окруженная своими поклонниками.

— И вы тоже, кажется?—улыбнулась она и очень ловко, совершенно, впрочемъ, нечаянно, выставила свою ножку, обутую въ маленькую красную туземную туфлю съ острымъ, нѣсколько загнутымъ носкомъ.

Вѣтерокъ и тутъ оказалъ помощь невинному кокетству Марфы Васильевны, колыхнувъ ея юбки. Красивая округлость ея ногъ, нѣсколько повыше щиколотки, выказалась въ полнѣйшемъ блескѣ.

— Что-же это вы не верхомъ? Вы такая любительница, сколько я знаю!—замѣтилъ Лопатинъ.

— Прокофьевъ! Ты, кажется, куришь? Давай огня... живо! — крикнулъ саперъ, замѣтивъ, что Марфа Васильевна вынула портъ-сигаръ.

— Ахъ, съ моимъ сѣдломъ случилось несчастіе. Оно такое старое и все развалилось. Я посылала чинить, говорятъ: не стоитъ!

— Надо новое выписать!

— Это такъ долго. Я видѣла одно въ магазинѣ у Захо, но онъ проситъ такъ дорого.

— Э!.. Хмъ!..—замялся было Лопатинъ.

— Какая у васъ славная коляска, лучше, чѣмъ у самого губернатора. — Mercі!..—обратилась она къ саперу, слѣзшему съ лошади и подошедшему къ ея кабріолету съ дымящейся солдатской трубкой.

— Я къ вамъ сегодня чай пріѣду пить вечеромъ... можно?—спросилъ тотъ, смахивая платкомъ какого-то мохнатаго червяка, взобравшагося на платье Марфы Васильевны.

— Конечно, можно; даже должно... Только смотрите, если вы собираетесь ухаживать за мною, то берегитесь: я знаю вѣдь, кому надо на васъ насплетничать... До свиданья!

Дорога передъ кабріолетомъ была расчищена. Наѣздница

щелкнула возжами и промелькнула, скрывшись за поворотомъ. Коляска тоже поѣхала дальше; массивный катокъ снова завизжалъ, загремѣлъ и зашуршалъ, дробя шоссейный камень.

И вспомнилась Ивану Илларіоновичу другая пара такихъже чудныхъ глазокъ, такихъ-же стройныхъ ножекъ, мелькавшихъ въ вальсѣ изъ-подъ длиннаго газоваго шлейфа... Вспомнился голосокъ *ея*, звонкій, нѣжный, такъ и проникающій въ душу; ея ротикъ, складывающійся въ капризную, своенравную гримаску.

— Пошелъ домой!—глубоко вздохнулъ онъ.

— Чего-съ?—обернулось къ нему обрамленное бакенбардами лицо отставного стрѣлка-кучера.

— Домой!—крикнулъ онъ громко, откинулся въ глубину экипажа, вынулъ изъ бокового кармана бумажникъ, отыскалъ тамъ какое-то письмо, развернулъ его и сталъ перечитывать.

Письмо это получено было еще наканунѣ. Оно было отъ Катушкина. Иванъ Демьяновичъ извѣщалъ своего патрона о томъ, что г-жа Брозе и «ихъ дочка» благополучно и въ добромъ здоровьѣ прибыли въ Казалу и тамъ сѣли на пароходъ «Аралъ», гдѣ онъ нанялъ имъ отдѣльную каюту. Самъ-же онъ лично остался въ Казалѣ и даже предполагаетъ проѣхать назадъ до Уральскаго укрѣпленія, такъ какъ никакихъ свѣдѣній о движеніи каравана съ машинами и товаромъ онъ еще не имѣетъ, и это повергаетъ его въ немалое сомнѣніе. Если-же что узнаетъ опредѣленнаго, то увѣдомитъ тотчасъ-же. Г-жа Брозе, по его разсчету, должна прибыть въ Чиназъ къ двѣнадцатому іюля, даже, можетъ быть, раньше, если ничто не задержитъ плаванія парохода.

— Это значитъ,—разсчитывалъ Иванъ Илларіоновичъ,—дней черезъ пять надо послать въ Чиназъ экипажъ, или-же, что самое лучшее, поѣхать самому и тамъ дожидаться прибытія парохода... Однако, это хорошо, что я поспѣшилъ отдѣлкою комнатъ...

Далѣе сообщалъ Катушкинъ, что Перловичъ, черезъ своихъ агентовъ, скупилъ весь спиртъ, находившійся въ фортовыхъ складахъ, и грузитъ его на баржи... Цѣну на крупу и муку поднялъ на двадцать процентовъ, а пшеницу въ Казалѣ законтрактовалъ еще на корню; и какъ-бы, вслѣдствіе сихъ его дѣйствій, не причинилось-бы какого вреда относительно послѣд-

няго подряда, ибо агенты его, то-есть Перловича, дѣйствуютъ крайне быстро и небезуспѣшно.

«Погоди, братъ, я тебѣ крылья-то пообломаю!—думалъ Иванъ Илларіоновичъ.—Ишь, ты, гусь каковъ, какъ я погляжу!»

Онъ вспомнилъ дружескія рукопожатія надъ остывшимъ блюдомъ съ котлетами.

Затѣмъ Катушкинъ просилъ выслать въ Казалу денегъ и, сколь возможно, не замедлить высылкою. Заканчивалось письмо всякими добрыми пожеланіями, кои шлетъ ему по гробъ вѣрный, вѣчно обязанный слуга его, Иванъ Катушкинъ.

. . . . . .

— Лошадей выводи хорошенько, хомуты оботри насухо и смажь!—распорядился Лопатинъ, вылѣзая изъ коляски.

Онъ прошелъ черезъ дворъ, поднялся на террасу, задрапированную полосатымъ тикомъ, вынулъ ключъ изъ кармана и отперъ дверь, украшенную мелкою азіатскою рѣзьбою по темному карагачу.

Онъ вошелъ въ помѣщеніе, предназначенное для г-жи Брозе и Адели. Все здѣсь было обдумано и приспособлено къ своему назначенію. Полъ пріемной былъ устланъ ковромъ, вдоль стѣнъ тянулись упругіе низенькіе диваны съ подушками-валиками въ турецкомъ вкусѣ; въ углахъ и передъ диванами стояли столики, на нихъ китайскія вазочки съ цвѣтами, курительницы, пепельницы и разныя бездѣлушки; по стѣнамъ были развѣшены картинки довольно пикантнаго свойства; фигурныя, золоченыя рамы такъ красиво обрисовывались на шелковистомъ фонѣ узорнаго адрасса *), которымъ были обиты стѣны комнаты. Большой матовый фонарь спускался съ потолка какъ разъ надъ серединою круглаго стола. Прямо была широкая стеклянная дверь, ведущая на террасу, въ садъ, направо дверь въ спальню Фридерики Казиміровны, налѣво—въ спальню Адели. Изъ этой послѣдней спальни еще вела куда-то небольшая дверь; она была заперта и даже заставлена большимъ трюмо, такъ что съ перваго раза ее даже невозможно было замѣтить.

Въ комнатахъ было немного душно и пахло розами, горькимъ миндалемъ и мускусомъ. Иванъ Илларіоновичъ открылъ

*) Ярко-цвѣтная, полушелковая ткань мѣстнаго производства.

окна, велѣлъ подать себѣ платье и переодѣлся изъ фрака въ лѣтній костюмъ, весьма напоминающій тѣ балахоны, что носятъ американскіе плантаторы. Затѣмъ онъ развалился въ покойномъ качающемся креслѣ и опять принялся мечтать. Иванъ Илларіоновичъ сегодня находился въ какомъ-то особенномъ, мечтательномъ настроеніи.

На письменномъ столѣ, въ темной бархатной рамѣ, стоялъ превосходный акварельный портретъ будущей обитательницы этой комнаты. Лопатинъ не спускалъ глазъ съ этого портрета.

И вдругъ вспомнилась ему сегодняшняя встрѣча на шоссе. Сходства много, очень много: тѣ-же насмѣшливые, задорные глазки, та-же улыбка, даже голосъ...

— Кушанье на столѣ. Господинъ тамъ какой-то дожидается!—показался въ дверяхъ кудреватый парень въ поддевкѣ.

— А, что такое?

Лопатинъ точно проснулся, протеръ кулакомъ глаза и даже потянулся.

— Кто тамъ такой?

— Не могу знать: впервой вижу; одежа невоенная!

— Ну, сейчасъ выйду. Попроси въ гостиную... или нѣтъ, постой, зови лучше наверхъ!

Парень скрылся за дверью, а Лопатинъ сталъ поправлять передъ трюмо свой костюмъ, пришедшій немного въ безпорядокъ. Потомъ онъ зашелъ за трюмо, щелкнулъ тамъ чѣмъ-то и болѣе оттуда не показывался.

Онъ теперь находился уже въ своемъ кабинетѣ и оттуда слышенъ былъ только его голосъ, отдававшій какія-то приказанія.

Въ ту-же ночь Марфа Васильевна, вернувшись довольно поздно, почти передъ разсвѣтомъ, къ себѣ домой, нашла посреди комнаты ящикъ довольно большихъ размѣровъ, на крышкѣ котораго ясно значилось, что посылка эта предназначалась именно ей, а не кому другому.

Въ ящикѣ оказалось прекрасное новое дамское сѣдло со всѣми принадлежностями.

Марфа Васильевна улыбнулась и подумала:

«Хорошо-бы, если-бы за сѣдломъ послѣдовала лошадь, а тамъ...»

— Набрюшниковъ, вы можете теперь ѣхать домой!—обратилась она къ казачьему офицеру, сопровождавшему ее и принимавшему самое дѣятельное участіе въ раскупоркѣ ящика. Теперь онъ стоялъ посреди комнаты въ выжидательной позѣ.

— Марфа Васильевна!—захлебнулся было Набрюшниковъ.

— Что вы?

— Здѣсь, на порогѣ вашей двери, я готовъ провести всю ночь...

— Хорошо, только выйдите прежде и позвольте мнѣ запереть дверь на ключъ!

И она хлопнула дверью какъ разъ передъ носомъ опечаленнаго кавалера.

Марфа Васильевна начала раздѣваться, а Набрюшниковъ сѣлъ на свою лошадь и шагомъ поѣхалъ по узкому переулку.

IV.

Бурченко и его предложеніе.

— Кто тамъ такой — взглянуть развѣ, кого это Господь посылаетъ?

Лопатинъ отдернулъ немного дверную драпировку и посмотрѣлъ въ образовавшуюся щель.

Тамъ стоялъ Бурченко и, заложивъ руки за спину, разсматривалъ арматуры изъ азіатской сбруи и оружія, развѣшанныя по стѣнамъ комнаты.

«Личность новая, не видалъ никогда!—подумалъ Иванъ Илларіоновичъ.—По какому бы это дѣлу?»

— Здравствуйте! Чему обязанъ вашимъ посѣщеніемъ?—громко произнесъ онъ, выходя изъ своего кабинета.

Бурченко обернулся.

— Отставной капитанъ Бурченко, позвольте отрекомендоваться,—произнесъ онъ,—а пришелъ къ вамъ по дѣлу, и если вы можете удѣлить мнѣ часокъ времени, то съ позволенія вашего...

— Вы обѣдали?

— Позавтракалъ довольно плотно и очень даже недавно

— Ну, жаль!—пожалъ плечами Иванъ Илларіоновичъ.—Я, видите-ли, очень проголодался и намѣренъ сѣсть сейчасъ обѣдать; если это васъ не стѣснитъ...

*

— Нѣтъ, отчего же: вы себѣ обѣдайте, а я вамъ буду разсказывать. Къ концу обѣда, можетъ быть, до чего-нибудь и договоримся!

— Ну, вотъ и прекрасно. Итакъ, милости просимъ!

Лопатинъ вышелъ на терассу, гдѣ былъ накрытъ обѣденный столъ. Бурченко пошелъ за нимъ, прихвативъ съ собою какой-то сверточекъ, лежавшій на стулѣ вмѣстѣ съ его бѣлою, холщевою фуражкою.

Посѣтитель какъ-то сразу понравился Ивану Илларіоновичу, хотя его немного потертый костюмъ и пыльные, высокіе сапоги произвели на него сначала не совсѣмъ выгодное впечатлѣніе.

— Ну-съ... Да вы, можетъ быть, скушаете чего нибудь?— Эй, подайте еще приборъ!

— Не безпокойтесь, пожалуйста!

Лопатинъ усѣлся въ кресло и подвязалъ салфетку подъ горло.

«Любитъ, должно быть, покушать», — смекнулъ Бурченко, глядя на эти приготовленія.

Хозяинъ улыбнулся и кивнулъ головою, какъ бы приглашая Бурченко приступить къ дѣлу.

— Не безъизвѣстна вамъ, хотя вы, сколько я знаю, въ этомъ краѣ еще недавно,—началъ гость, когда Лопатинъ покончилъ съ тарелкою зеленыхъ щей съ яйцами,—та нужда, которую мы здѣсь терпимъ отъ недостатка топлива...

— Гмъ...—прокашлялся Лопатинъ.

— Лѣсовъ нѣтъ, то-есть, они есть, да далеко въ горахъ, чуть не за облаками; садовъ рубить не приходится, развѣ что ужъ совсѣмъ пришло въ негодность. Потребность въ топливѣ увеличивается съ каждымъ днемъ, цѣны на дрова вслѣдствіе этого страшно поднимаются, особенно теперь, когда начали строить заводы разные!

— Вѣрно, вѣрно!

— Ну-съ, принялись изыскивать всякіе способы поправить это невыгодное положеніе дѣлъ, уменьшить зло, такъ сказать,— каменный уголь добывать начали; отыскали что-то, много шумѣли, опыты дѣлали, но... но все это были однѣ только попытки, попытками онѣ и остались. Я уже давно здѣсь, и все это происходило на моихъ глазахъ, а потому я знаю, что говорю!

— Ну, а эти копи, что разрабатываетъ Алмазниковъ или вотъ этотъ ходжентскій винодѣлъ, какъ, бишь, его?..

— А что въ нихъ толку? Да и кромѣ ихъ были, и все это какъ-то не клеилось: то залежи оказывались до того бѣдны, что не стоило ихъ разрабатывать, то вывоза изъ горъ не было, то другое что-нибудь мѣшало!

— Да отчего же это?

— А не знаю. Я, по крайней мѣрѣ, предполагаю, оттого, что ни у кого не хватало ни смѣлости, ни предпріимчивости проникнуть въ самую глубь этихъ горъ, поразвѣдать тамъ всѣ закоулки, узнать, что такое скрыто подъ этими громадами, пожить тамъ подольше, порыскать, изучить каждую тропинку; надо было порисковать своею персоною, а не щупать эти горы по краешкамъ, боясь хоть на одинъ шагъ отойти отъ казачьяго или солдатскаго конвоя, чтобы не попасться какъ-нибудь подъ арканъ или ножъ одичалаго горца... Вы знаете пословицу. «Чѣмъ дальше въ лѣсъ»...

— Вы меня крайне заинтересовываете. Позволите?

Лопатинъ налилъ вина въ стаканъ и подвинулъ его гостю.

— Въ концѣ-концовъ, вышло, что мы все-таки не добились ничего путнаго!

— Да была-ли возможность добиться какихъ либо лучшихъ результатовъ?

— Была; я въ этомъ ни одной минуты не сомнѣвался и поступилъ такъ: прежде всего, я вышелъ въ отставку, такъ какъ служба мнѣ, само собою разумѣется, мѣшала; затѣмъ я отправился на розыски. Болѣе года рыскалъ я по горамъ, возвращался по временамъ въ ближайшіе русскіе посты, запасался тамъ, чѣмъ слѣдовало, и опять отправлялся на розыски. Раза три чуть не попался было въ руки коканцевъ; совсѣмъ было погибъ разъ, да вывернулся уже почти что чудомъ,—теперь не время, а послѣ какъ-нибудь я вамъ поразскажу довольно интересныя подробности.—Дѣло окончилось тѣмъ, что у меня вотъ въ этомъ самомъ сверткѣ заключаются такія свѣдѣнія, которыя могутъ не только обогатить отдѣльную личность, но упрочить благосостояніе цѣлаго края!

Иванъ Илларіоновичъ пристально посмотрѣлъ въ глаза своему гостю, покосился на свертокъ и приготовился-было что-то произнести.

— Что? Конечно, не вѣрите? Это весьма понятно; другіе вотъ тоже не вѣрятъ, ну, да я и увѣрять никого не на-

мѣренъ: само дѣло выскажется за себя со временемъ. Я вамъ только сообщу, что я открылъ каменноугольные пласты, взломанные и вывороченные почти на поверхность скатовъ вслѣдствіе вулканическихъ причинъ. Разработка ихъ не представляетъ никакихъ затрудненій да и вывозъ удобенъ. Да если-бы только вы видѣли, каковъ уголь... Вы знаете толкъ въ углѣ?

— Очень мало!

— Ну, я вамъ покажу; у меня есть образцы... Что за уголь! Англичане-бы его зубами изъ земли выгрызли... чудо!..

Глаза Бурченко разгорѣлись, онъ всталъ даже со стула, прошелся по терассѣ и опять сѣлъ.

— Гдѣ-же это?—началъ было Лопатинъ.

— Да что уголь! Руды: свинцовыя, мѣдныя, серебряныя... Какія жилы!.. Лежатъ онѣ, тянутся, какъ змѣи, во всѣ стороны и ждутъ только смѣлаго удара киркою и ломомъ, чтобъ показаться на свѣтъ божій... Разъ какъ-то, вотъ слушайте, что я вамъ разскажу: страшная гроза свирѣпствовала въ горахъ. Я успѣлъ укрыться, вмѣстѣ съ своею лошадью, въ затишьѣ за скалою, то-есть, въ относительномъ затишьѣ: меня и било градомъ, и хлестало дождемъ, но, по крайней мѣрѣ, здѣсь я могъ держаться на ногахъ, въ другомъ мѣстѣ меня-бы давно сорвало бурею. Прямо противъ меня, по ту сторону ущелья, горы затянуло тучами, и я только слышалъ гулъ обвала, такой, что до сихъ поръ еще звенитъ у меня въ ушахъ при одномъ только воспоминаніи... Подмыло-ли ихъ, или это было послѣдствіе подземныхъ ударовъ, вѣрнѣе послѣднее, но только въ пропасть, глубиною безъ малаго полверсты, рухнули цѣлыя скалы и загромоздили своими обломками «Караколъ»...

— Какъ вы назвали?

— Чего-съ?.. Да ручей, что тянулся по дну лощины. Дѣло не въ названіи. Двѣ недѣли я не отходилъ отъ слѣдовъ, оставшихся послѣ обвала: я изучилъ напластованія, сдѣлалъ рисунки, опредѣлилъ мѣстность... Какіе широкіе пути къ обогащенію я видѣлъ въ этихъ темно-сѣрыхъ, красноватыхъ, зеленоватыхъ, съ металлическими отблесками жилахъ! И, судя по видимымъ образцамъ, не трудно было догадаться, что можно было найти дальше, роясь по ихъ направленіямъ...

— Вы никому объ этомъ не говорили до сихъ поръ?

— Нѣтъ, говорилъ, только картъ своихъ не показывалъ и

мѣстности не опредѣлялъ. Денегъ просилъ... Безъ денегъ какъ приступить!

— Ну, и не дали?

— Не дали. Въ Петербургѣ былъ, говорятъ: «далеко», да, можетъ быть, все это еще преувеличено мною, а на дѣлѣ, пожалуй, окажется, что игра не стоитъ свѣчъ... Одинъ было обѣщалъ... да тамъ оспа свирѣпствовала въ то время и свалила его, а наслѣдниковъ дожидаться было некогда. Въ Нижнемъ посовѣтовали къ вамъ обратиться, да и самъ я думаю, что здѣсь скорѣе можно что-нибудь сдѣлать, виднѣе какъ-то. Вотъ я къ вамъ и обращаюсь!

— А вы не обращались-ли къ Перловичу? У него такая предпріимчивая натура, онъ за все хватается!

— Нѣтъ, къ нему не обращался!

— Почему-же?

— У меня на то свои причины!

Брови малоросса сдвинулись, и на его лицѣ промелькнуло нѣсколько злое выраженіе при имени Станислава Матвѣевича. Это обстоятельство не скрылось отъ Лопатина.

— Ну, и хорошо сдѣлали!—произнесъ онъ.—Что-же вамъ именно нужно?

— Во-первыхъ, мнѣ нужно немного пока—тысячи двѣ, не больше... Я поѣду вдвоемъ съ своимъ товарищемъ по ремеслу, которому я отчасти довѣрилъ свое открытіе!

— Кто это?

— Ледоколовъ. Вы его не знаете, онъ изъ Петербурга и я познакомился съ нимъ дорогою!

— Онъ здѣсь теперь?

— Нѣтъ, въ Казалѣ онъ сѣлъ на пароходъ и теперь скоро долженъ пріѣхать, я-же пробрался сухимъ путемъ, на почтовыхъ...

— Гмъ...—замялся было Лопатинъ.

— Ну-съ, такъ вотъ, изволите-ли видѣть, если вы мнѣ дадите сперва эти деньги на рискъ, разсчитывая ихъ и получить обратно, и не получить, то я снова отправлюсь въ горы, подготовлю все, сдѣлаю еще тѣ розысканія, которыя нахожу необходимыми, и тогда уже устроимъ все по порядку, юридическимъ путемъ... Вы лично все увидите, находка моя перестанетъ быть секретомъ; вы, можетъ быть, найдете возможнымъ

затратить болѣе значительный капиталъ, навербуемъ рабочихъ,— не солдатъ, нѣтъ, а непремѣнно мѣстныхъ, туземныхъ рабочихъ,—выпишемъ нужныя машины и откроемъ такое производство, что на-вѣки-вѣковъ хватитъ и намъ, и дѣтямъ нашимъ, и внукамъ, и правнукамъ... Ну-съ, такъ какъ-же?

Бурченко вопросительно взглянулъ на хозяина.

— Вашъ товарищъ ѣдетъ на пароходѣ «Аралъ?»—спросилъ тотъ его и сталъ вытирать салфеткою свои толстыя губы.

— Что такое!?.

Малороссъ озадачился довольно сильно. Лопатинъ повторилъ вопросъ.

— А не знаю, можетъ, и «Аралъ»; я не справлялся!—холодно отвѣтилъ онъ, взялъ свой свертокъ и поднялся со стула.

— Сидите; куда вы? Я вотъ васъ хотѣлъ спросить, не видали-ли вы двухъ дамъ, которыя тоже должны ѣхать на этомъ пароходѣ?

Злая усмѣшка вторично пробѣжала по лицу Бурченко.

— Какъ-же, видѣлъ; да вы объ нихъ не безпокойтесь: онѣ окружены самымъ изысканнымъ и утонченнымъ попеченіемъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?

Лопатинъ сталъ комкать салфетку, потомъ швырнулъ ее въ сторону и принялся за другую.

— Тамъ, около нихъ, такъ много услужливыхъ кавалеровъ... Мнѣ-бы хотѣлось знать, чѣмъ вы рѣшите насчетъ моего предложенія?..

Лопатинъ взглянулъ на него словно спросонья и залпомъ выпилъ стаканъ воды.

— Вы извините,—произнесъ онъ,—я былъ причиною, что мы нѣсколько уклонились отъ нашего первоначальнаго разговора!

— И очень даже уклонились...

— Я вамъ эти деньги дамъ; я болѣе дамъ, я вамъ могу сейчасъ-же дать пять тысячъ...

— Сейчасъ мнѣ не нужно. Мнѣ деньги нужны будутъ черезъ десять дней. Пріѣдетъ мой товарищъ, мы вмѣстѣ отправимся въ горы, и тогда...

— Вы получите деньги, какъ только онѣ вамъ понадобятся. Считайте, что онѣ въ вашемъ карманѣ!

— Спасибо!..

Бурченко протянулъ Лопатину свою руку.

— А то, что въ этомъ сверткѣ?..

— Вы сейчасъ увидите: здѣсь рисунки профилей и разныя замѣтки. Я съ удовольствіемъ готовъ васъ посвятить въ нѣкоторыя подробности!

— Сегодня вечеромъ я совершенно свободенъ и надѣюсь васъ видѣть у себя!

— Хорошо, буду!

Бурченко раскланялся и вышелъ, а Иванъ Илларіоновичъ отправился къ себѣ въ кабинетъ и долго прохаживался по комнатѣ, обдумывая что-то и жестикулируя. Потомъ онъ опять пошелъ въ комнату Адели, остановился передъ ея портретомъ, поскребъ себѣ затылокъ всею пятернею и процѣдилъ сквозь зубы:

— Донъ-Жуаны проклятые!

V.

«Бѣдный, наивный ребенокъ».

Въ своей жизни многимъ приходилось путешествовать по русскимъ рѣкамъ, но едва-ли кто-нибудь изъ нихъ можетъ составить себѣ и приблизительное понятіе о плаваніи пароходовъ аральской флотиліи по главной артеріи всего среднеазіатскаго края—Сыръ-Дарьѣ.

Медленно, съ безконечными препятствіями самаго разнообразнаго свойства, чуть-чуть вспѣнивая мутную воду своими высокоустановленными колесами, шагъ за шагомъ подвигается неуклюжій, плоскодонный пароходъ и тянетъ на буксирѣ за собою такую-же неуклюжую баржу, а иногда и двѣ.

Наступаетъ ночь; быстро темнѣютъ печальныя окрестности; послѣдній красноватый отблескъ исчезъ съ вершины мачты и окраинъ пароходныхъ трубъ. Линія плоскаго берега, то изжелта-песчаная, волнистая, то заросшая безконечными, непроходимыми камышами, теряется, сливаясь въ темнотѣ въ сплошную массу тумана, встающаго надъ мертвою рѣкою.

Пароходъ причаливаетъ къ берегу и останавливается. Большинство пассажировъ высаживаются, разводятъ огни, ставятъ шалаши, разстилаютъ войлоки; всякій устраивается по-возможности комфортабельнѣе.

Проводится ночь. Съ разсвѣтомъ опять всѣ спѣшатъ занять

свои мѣста на пароходѣ, на баржѣ, въ каютахъ, подъ парусиннымъ навѣсомъ, растянутымъ надъ всею палубою. Разводятся пары; опять начинается и тянется на цѣлый день утомительное, невыносимо-скучное, черепашье движеніе. И такъ подвигаются къ далекой цѣли плаванія, дѣлая не болѣе шестидесяти-семидесяти верстъ въ сутки, особенно вверхъ по теченію, когда рейсъ отъ Казалы до Чиназа дѣлается не менѣе, какъ въ двадцать пять дней, а чаще въ цѣлый мѣсяцъ.

Мнѣ кажется, что финикіяне путешествовали именно подобнымъ образомъ и приблизительно съ такою-же скоростью, когда имъ пришлось исполнить просьбу египетскаго царя Нехао.

Пароходъ «Аралъ» уже часа три какъ остановился на ночлегѣ близъ урочища «Баюзакъ на Джаманъ-Дарьѣ». Оригинальный бивуакъ раскинулся по берегу, занимая небольшую песчаную отмель, единственную, незаросшую камышами; кругомъ-же сплошь тянулись густыя заросли, то неподвижно-тихія, таинственныя, то внезапно всколыхнувшіяся и глухо шумящія отъ легкихъ порывовъ влажнаго, пропитаннаго туманомъ рѣчного вѣтра.

Ночь была темная, безлунная, мглистая; ни одной звѣзды не было видно на небѣ; какъ привидѣнія, подымались и бѣлѣли во мракѣ высокія пароходныя трубы; между ними, на мостикѣ, медленно двигалась взадъ и впередъ такая-же неопредѣленная, бѣловатая фигура часового.

Вотъ еще кто-то поднялся на мостикъ; легкія ступеньки трапа заскрипѣли подъ ногами взошедшаго, мелькнула бѣлая фуражка, заискрилась красная точка закуренной сигары.

Дмитрію Ледоколову не спалось въ душной, тѣсной каютѣ: тамъ было такъ жарко, тамъ такъ невыносимо мучили и словно огнемъ жгли кожу какіе-то пренесносные паразиты, а тутъ еще вдобавокъ забрались въ голову черныя думы, печальныя воспоминанія, другое что-то, неясное, въ чемъ еще Ледоколовъ не могъ отдать себѣ отчета.

«Эхъ!»—вздохнулъ онъ, надѣлъ сапоги, надѣлъ свое парусинное пальто, шапку, захватилъ съ собою буйволовый хвостъ на деревянной ручкѣ для отмахиванія миріадъ назойливыхъ комаровъ, забивающихся въ носъ, ротъ, уши, не дающихъ ни промолвить слова, ни даже свободно вздохнуть безъ этого

спасительнаго хвоста—необходимой принадлежности каждаго, временного и постояннаго обитателя этой мѣстности,—закурилъ сигару и выбрался на палубу.

Прежде, чѣмъ попасть на мостикъ, ему надо было пройти мимо небольшой двери, ведущей въ каюту у праваго колеса. У этой двери, до половины стеклянной, завѣшенной извнутри зеленою шторкою, Ледоколовъ на минуту пріостановился и вздохнулъ протяжнѣе обыкновеннаго. Въ этой каютѣ горѣлъ огонь; спущенная шторка свѣтилась яркозеленымъ, изумруднымъ транспарантомъ. На этомъ свѣтломъ фонѣ мелькнулъ неясный силуетъ. Ледоколовъ замеръ, какъ лягавая собака на стойкѣ. Силуэтъ исчезъ. Ледоколовъ вздохнулъ еще разъ и пошелъ дальше, осторожно шагая черезъ свертки канатовъ, черезъ головы двухъ спящихъ кочегаровъ, пробираясь къ трапу.

Яркіе огни пылали у самой воды на берегу; около нихъ двигались темныя фигуры кашеваровъ. Сырой камышъ тлѣлъ въ той сторонѣ, откуда потягивалъ вѣтеръ, и густой бѣлый дымъ стлался надъ бивуакомъ. Тамъ и сямъ бѣлѣлись конусы наскоро поставленныхъ палатокъ; злобно ворчала собака, насторожив уши и косясь на туманъ, будто чуяла тамъ невидимаго врага; кто-то тихимъ, ровнымъ голосомъ разсказывалъ какую-то безконечную сказку; кто-то бредилъ во снѣ и метался; отовсюду несся храпъ спящихъ и уныло, монотонно звенѣли миріады комаровъ, легкими, туманными облачками носившихся надъ водною поверхностью.

— Мама, ты не спишь?—тихо спросила Адель, приподнимаясь съ кушетки и отыскивая ногою туфлю.

— Охъ, что-то нѣтъ сна, такъ душно, жарко!—простонала Фридерика Казиміровна, тяжело ворочаясь на раскинутомъ складномъ креслѣ-кровати.

— Развѣ отворить дверь?

— Что ты, что ты! Налетятъ комары, и тогда что мы будемъ дѣлать? Пододвинь ко мнѣ арбузъ! Ты его опять не прикрыла салфеткой!

Рой мухъ загудѣлъ по каютѣ, когда Адель тронула блюдо, на которомъ лежала половина сочнаго, темно-розоваго арбуза.

— *Онъ* тоже, мама, не спитъ!—произнесла дѣвушка, минуту помолчавъ.

— Ты почему знаешь?

— Онъ сейчасъ мимо прошелъ!

— Ты видѣла?

— Да. Я слышу, кто-то идетъ, — Адель отодвинула немного шторку, — гляжу—онъ! Такой грустный, задумчивый: идетъ, подъ ноги не смотритъ, чуть не упалъ, наступилъ на кого-то...

— Хочешь? — Фридерика Казиміровна отрѣзала большой ломоть арбуза и пододвинула блюдо къ дочери.

— Нѣтъ, я сейчасъ пила воду съ виномъ... Такъ вздохнулъ глубоко-глубоко и на нашу дверь посмотрѣлъ!

— Очень нужно!

— Знаешь, мама, онъ мнѣ разсказывалъ про свою жизнь въ Петербургѣ... Теперь я знаю, почему онъ такой всегда грустный!

— Особенно, когда видитъ, что ты на него смотришь?

— Нѣтъ, это у него не притворство!

— Отчего-же это онъ груститъ все?

— Его обманула любимая женщина и предпочла другого. Онъ говорилъ мнѣ, что теперь не можетъ вѣрить больше ни одной женщинѣ... Онъ потерялъ вѣру во все человѣчество. Онъ говорилъ мнѣ, что даже въ моихъ глазахъ, въ моей улыбкѣ...

— Ада, когда это ты изволила такъ съ нимъ распространяться?

Фридерика Казиміровна приподнялась на локтѣ и пытливо посмотрѣла на свою дочь.

— Когда?.. А, помнишь, на прошедшемъ ночлегѣ, когда мы выходили гулять на берегъ...

Адель немного смутилась и потупила глазки.

— Это когда вы изволили съ нимъ вдвоемъ подъ ручку уйти отъ насъ впередъ? Очень хорошо!—не безъ язвительности произнесла госпожа Брозе.

— Нѣтъ, это было тогда, когда вы, маменька, такъ отстали отъ насъ, идя подъ руку съ капитаномъ парохода!

Адель вспыхнула; ея брови задвигались, предвѣщая грозу въ каютѣ.

— Въ эти вентиляторы совершенно не тянетъ!—поспѣшила Фридерика Казиміровна перемѣнить тонъ и тему разговора.

Адель сунула, наконецъ, свои ножки въ туфли и накинула на плечи кружевную тальму.

— Ты это куда, Адочка?

— На палубу; тамъ такъ хорошо, прохладно!

— Ахъ, Ада, ангелъ мой, не ходи!

— Это почему?

— Потому что... ну, мало-ли почему! Ну, вотъ, напримѣръ, тамъ близко спятъ матросы, могутъ въ бреду глупость какую-нибудь сказать... Сонный человѣкъ...

— Вотъ еще глупости!

Адель пріотворила дверь.

— Я тоже пойду съ тобою!

— Идите, кто-же вамъ мѣшаетъ!

„Amis! La nuit est belle,
„La lune va briller".

тихо, вполголоса напѣвалъ Ледоколовъ, облокотившись о перила мостика.

— Я не знала, что вы такъ мило поете!—услышалъ онъ сзади себя и быстро обернулся.

— Адель Александровна, это вы?!

Ему вдругъ захотѣлось ринуться къ ней и принять ее въ свои объятія; Адель тоже почувствовала желаніе, нѣсколько на это похожее. Оба, впрочемъ, ограничились однимъ только желаніемъ и остались на прежнихъ мѣстахъ: онъ—у перилъ, она — посрединѣ площадки, стройная, граціозная, потупивъ глазки и пощипывая пальцами кружева своего легкаго костюма.

— Вы не спите?—начала Адель.

— Могу-ли я спать!—глубоко вздохнулъ Ледоколовъ.

— Комары мѣшаютъ?—лукаво улыбнулась Адель.

— О, если-бы только комары!..

Она подошла къ перилам, заглянула за бортъ, покосилась на часового и передернула плечикомъ.

«И зачѣмъ торчитъ здѣсь этотъ болванъ?»—промелькнуло у нея въ головѣ.

— ...Нельзя, другъ ты мой любезный: служба!—говорилъ внизу чей-то голосъ.

— Извѣстно, служба. Макарова за что вчера линьками лупили?—отвѣчалъ кто-то другой.

— А за то-же самое: служба!

— ...И всталъ салтанъ съ своего золотого трона, и взялъ

ее за бѣлы руки, чмокнулъ три раза въ сахарныя уста...— слышалось откуда-то продолженіе сказки.

— Адель Александровна...—началъ Ледоколовъ и немного пододвинулся къ дѣвушкѣ.

Въ отвѣтъ на это Адель тоже чуть-чуть шагнула въ его сторону и, приложивъ пальчикъ къ губамъ, стала прислушиваться. Ей показалось, что скрипнула дверь ихъ каюты.

— Это можетъ показаться страннымъ: я вообще не довѣряю никакимъ предчувствіямъ, но—что вы на это скажете?— выходя сюда ночью — теперь уже около часу пополуночи — я былъ убѣжденъ, что увижусь съ вами, что буду говорить съ вами... Не имѣя никакого права, никакого повода, я ждалъ васъ. Вы пришли. Конечно, это только случайность, не болѣе, какъ случайность, но...

— Это, дѣйствительно, только случайность! — замѣтила серьезнымъ тономъ Адель.

Если-бы было не такъ темно, то Ледоколовъ могъ-бы замѣтить насмѣшливую улыбку, скользнувшую на губахъ дѣвушки.

— Я иначе и не смѣлъ думать. Но не сердитесь на меня, если я воспользуюсь этой случайностью. Я давно собирался поговорить съ вами, высказать вамъ то, что почти съ первой встрѣчи стало моею господствующею мыслью... Я хочу предостеречь васъ, спасти васъ... вы на краю...

— Дмитрій Николаевичъ, вы меня ужасно пугаете!—чуть не вскрикнула Адель, и въ ту-же минуту почувствовала, что ея рука очутилась между ладонями Ледоколова.

— Не бойтесь! Я чуть было не назвалъ васъ: «мой дорогой другъ». Отвѣчайте мнѣ откровенно, просто: знаете-ли вы, куда вы ѣдете?

— Въ Ташкентъ!—наивно глядя ему въ лицо, отвѣтила Адель.

— Знаю, знаю! Мой вопросъ былъ направленъ совсѣмъ не къ этому; дѣло не въ городѣ, не въ названіи мѣстности... Но зачѣмъ? Что вы думаете найти тамъ? Знаете-ли вы это?

— Конечно, знаю; мнѣ кажется, что я знаю!

— Ну, такъ говорите мнѣ: зачѣмъ-же?

— Господинъ Лопатинъ, нашъ старый знакомый, то-есть, болѣе знакомый моей маменьки, предлагаетъ мнѣ тамъ мѣсто гувернантки съ хорошимъ, обезпеченнымъ содержаніемъ. Я

буду трудиться, учить маленькихъ дѣтей, я буду заниматься дѣломъ, не то, что прежде въ Петербургѣ, когда мы съ маменькой съ утра и до ночи не знали рѣшительно, какъ-бы убить невыносимую скуку!

— Вы убѣждены въ томъ, что вы оживете именно въ Ташкентѣ?

— А какъ-же?!

— Бѣдный, наивный ребенокъ!

— Пожалуйста, не плачьте обо мнѣ! — надулась Адель, однако руки своей не отняла и даже отвѣтила легкимъ пожатіемъ на энергичныя рукопожатія Ледоколова.

— Слушайте-же!

Ледоколовъ говорилъ торжественнымъ тономъ, подчеркивая и оттѣняя каждую фразу.

— Слушайте: Лопатинъ зналъ васъ прежде. Вы ему нравились, даже болѣе, чѣмъ нравились. Онъ уѣхалъ. Вы очутились въ самомъ безвыходномъ положеніи: безъ денегъ, съ одними долгами, ждать помощи не откуда. Замѣтьте, я говорю только то, что слышалъ отъ васъ самихъ и вашей маменьки. Я не основываюсь на тѣхъ оскорбительныхъ слухахъ, которые движутся вмѣстѣ съ вами, вокругъ васъ, опережаютъ васъ и навѣрное теперь облетѣли уже весь Ташкентъ!

Глубоко вздохнула Адель; сердце ея билось сильно и такъ близко отъ локтя Ледоколова, что тотъ чувствовалъ эти лихорадочныя, учащенныя пульсаціи.

— Въ такую скверную минуту къ вамъ, какъ съ облаковъ, слетаетъ предложеніе Лопатина. Вамъ предлагаютъ мѣсто гувернантки, которое, впрочемъ, только обѣщаютъ найти, такъ-какъ у самого Лопатина дѣтей нѣтъ. Жалованья шесть тысячъ. Везутъ, какъ царицу, отрываютъ васъ отъ общества, къ которому вы привыкли, съ которымъ вы освоились...

— Мнѣ страшно, вы говорите зловѣще. Господи! Что-же со мною будетъ?—чуть не заплакала Адель.

— Видимое дѣло, васъ продаютъ. Васъ губятъ!—воодушевился Дмитрій Николаевичъ.

— Губятъ!—тихо, чуть слышно повторила Адель.

— Я не рѣшаюсь даже назвать настоящимъ именемъ то, что хотятъ изъ васъ сдѣлать. Но не плачьте, дитя мое, не плачьте. Еще не поздно, еще не все потеряно!

Адель стояла передъ нимъ, закрывъ лицо руками. Ледоколовъ внутренно торжествовалъ. Онъ сіялъ!

— Меня обманываютъ? Обманываютъ? Да?

— Да, да!—И я рѣшился помѣшать этому, открыть вамъ глаза... Что вы, что съ вами?

Ошеломленный Ледоколовъ отшатнулся назадъ и смотрѣлъ на Адель широко раскрытыми глазами.

Она смѣялась ровно, почти беззвучно, глазенки ея искрились въ темнотѣ.

— Неужели вы думаете, что вы мнѣ сказали хотя что-нибудь новаго? Кто-же изъ насъ теперь «бѣдный, наивный ребенокъ»?

— Адочка, Ада!—послышался снизу голосъ Фридерики Казиміровны.

— Иду, мама, сейчасъ! Ну, до свиданья! Уже разсвѣтаетъ!

— Ада!

— Да погоди, мама, какая ты несносная!—Ну, слушайте же теперь: вы мнѣ очень нравитесь; надѣюсь, что, по пріѣздѣ въ Ташкентъ, вы не прекратите нашего знакомства, завязавшагося въ дорогѣ. Прощайте!

Адель сбѣжала съ лѣстницы и черезъ секунду щелкнула дверная задвижка ихъ каюты.

— Ахъ, Ада, я такъ боюсь за тебя!—говорила Фридерика Казиміровна въ каютѣ.

— Это еще что?—не переставала смѣяться Адель.

— Ты такая увлекающаяся, влюбчивая!

— Вся въ тебя, maman!

Адель покосилась въ ту сторону, гдѣ была капитанская каюта.

— Ты права, и поэтому, по собственному опыту, я желаю тебя предостеречь, такъ-сказать, открыть тебѣ глаза!

На всю каюту разразилась Адель громкимъ, неудержимымъ хохотомъ. Фразы были такъ похожи.

— Pas de danger! Pas de danger!—хохотала она, и ея веселый смѣхъ доходилъ до ушей растерявшагося, пораженнаго, все въ одной и той-же позѣ стоявшаго Ледоколова.

Разсвѣтало. Зашевелился народъ, затрещалъ смолистый саксаулъ въ пароходныхъ топкахъ. Боцманскій свистокъ прокатился развеселою, лихою трелью.

— Разводить пары!—хрипло пробасилъ сонный голосъ въ капитанской каютѣ.

VI.

„Отъ скуки больше“.

Капитанъ Сипаковъ, завѣдующій почтою въ «Забытомъ» фортѣ, произнесъ: «пики!», почесалъ колѣно и зѣвнулъ такъ, что у него даже хрустнуло за ушами.

— Стоитъ вистовать изъ за такой дряни!—замѣтилъ юнкеръ Подковкинъ, малый лѣтъ за сорокъ, никакъ неосилившій до сего преклоннаго возраста русской грамоты и четырехъ правилъ ариѳметики и потому неудостоенный офицерскаго ранга.

— Нѣтъ, отчего-же? Потрудитесь открыть!—заявилъ маркитантъ Моисей Касимовъ, не то изъ литовскихъ жидовъ, не то изъ казанскихъ татаръ.

— Поразсмотримъ... Эге! Ну-ка! Такъ! Еще, пожалуй, ремизецъ будетъ!

— Ну, те къ чорту! Только пульку затягиваешь!

— Позвольте-же, нельзя-же!

Сипаковъ дремлетъ, пока Касимовъ разбираетъ его игру. Подковкинъ косится на графинъ и тарелку съ остатками какой-то соленой снѣди.

— Еще-бы немножко рыбки-то подкрошили, Анфиса Петровна!—сладкимъ голосомъ обращается онъ къ перегородкѣ.

— Не довольно-ли?—слышится пріятный, нѣсколько ожирѣлый женскій голосъ.

— Соснуть передъ вечернимъ-то чаемъ. Эка скука, прости, Господи! — произноситъ Сипаковъ, онъ-же хозяинъ дома.

— Тоска такая, страсть!—вздыхаетъ за перегородкою Анфиса Петровна, его половина.

— Скоро почту ждать надо; вы ужь не забудьте газетку или книжечку какую!—проситъ маркитантъ и отмѣчаетъ мѣломъ на истертомъ, порыжѣломъ сукнѣ карточнаго стола.

— Э-эхъ!—зѣваетъ Сипаковъ.

— А-ахъ!—зѣваетъ Анфиса Петровна.

— И то идти спать!—рѣшаетъ юнкеръ Подковкинъ, поднимаясь со стула.

Выпили гости, выпилъ хозяинъ; разошлись, залегли каждый на своемъ мѣстѣ, и понесся храпъ по всему форту Забытому.

Мертвая тишина, тоска, скука!

Сѣрое, знойное небо, сѣрая даль, сѣрыя, безконечныя чащи джиды, колючаго терновника, сѣрые сыпучіе пески, сѣрая лента дороги, на которой давно уже не видно ни одного живого существа, и покойнымъ, мягкимъ, двухвершковымъ слоемъ лежитъ солонцеватая пыль, бережно храня полукруглые слѣды верховой лошади, расползшійся слѣдъ верблюдовъ, прошедшихъ здѣсь чуть не трое сутокъ тому назадъ. Сѣрыя, однообразныя линіи крѣпостного вала, скучный казенный фасадъ одноэтажной казармы, покривившійся полосатый флагштокъ и безжизненно висящая на немъ запылившаяся тряпка.

А неподалеку, сквозь рѣдѣющую чащу, — мутная, лѣнивая рѣка, словно дремлющая въ своихъ печальныхъ берегахъ, словно втихомолку прокрадывающаяся мимо Забытаго форта, боясь какъ-нибудь потревожить безконечный сонъ его обитателей.

Жаръ, зной, духота. Не шелохнется воздухъ, не провѣетъ въ немъ ни одна живая струйка и не разнесетъ по безпредѣльной степи ни этого смрада помойныхъ ямъ, поднимающагося изъ-за угла полуразрушенной башни—остатка прежнихъ коканскихъ укрѣпленій, ни кислаго, капустнаго запаха солдатскихъ кухонь, пріютившихся рядомъ съ башнею, ни даже спиртуознаго запаха отъ маркитантскихъ бочекъ, выставленныхъ на солнце для просушки.

Все живое дремлетъ и спитъ, забившись отъ этой мертвящей жары всюду, гдѣ только есть хотя какой-нибудь намекъ на тѣнь и прохладу. Ни одной собаки не видно на улицѣ; даже около навѣса мясника, гдѣ ихъ собираются всегда цѣлыя стаи, и здѣсь дремлетъ только одна паршивая, рыжая собаченка и зализываетъ во снѣ свою искалѣченную лапу.

Большая, жирная свинья, съ полудюжиною поросятъ, одна только бродитъ по опустѣлымъ улицамъ и, глухо, внушительно хрюкая, тычетъ своимъ рыломъ во все, что только не найдетъ для себя любопытнаго. Перешла она улицу, подобрала мимоходомъ дынную корку, захватила кстати подошву солдатскаго сапога, да наколола рыло на гвоздь и бросила.

У опрокинутаго телѣжнаго ящика, правѣе дегтярнаго боченка, лежитъ старое солдатское кэпи, рядомъ виднѣется стриженый затылокъ, корявая рука, сжатая въ кулакъ; закушен-

ный пучекъ зеленаго лука стиснуть въ этомъ кулакѣ; рой мухъ гудитъ надъ спящимъ, и слышно тяжелое, носовое прихрапыванье.

Ткнула свинья рыломъ въ этотъ загорѣлый, мясистый затылокъ; одинъ поросенокъ принялс теребить лукъ изъ кулака, другой сталъ обнюхивать кэпи, третій навѣдался, нѣтъ-ли чего въ дегтярномъ боченкѣ, четвертый еще полѣзъ куда-то.

— Отстань, землякъ! Не могу больше!—глухо мычитъ во снѣ кузнецъ Малышка, унтеръ.—Сказано, шабашъ, да и полно! Тетка Дарья, отваливай. Ишь, ты, каторжная, а я было...

Воспаленные глаза на минуту открываются.

— Комендантская! — бормочетъ кузнецъ и, повернувшись на другой бокъ, снова предается своему сладкому far niente.

Свинья со всѣмъ семействомъ путешествуетъ далѣе.

А по дорогѣ, мелькая въ заросляхъ, шажкомъ плетется верблюдъ; онъ тащитъ за собою что-то вродѣ телѣжки на трехъ колесахъ, вмѣсто четвертаго подвязана гибкая жердь; на этой повозкѣ большой кожаный чемоданъ съ желѣзною цѣпью, нѣсколько зашитыхъ въ холстъ ящиковъ, два-три узла; поверхъ всего сидитъ казакъ-оренбуржецъ въ сѣрой армячинной рубахѣ, съ винтовкою за плечами. Совсѣмъ почти голый киргизенокъ сидитъ на горбахъ верблюда и всматривается въ даль: не завидитъ-ли надъ этою безконечною чащею тонкую черточку крѣпостного флагштока.

Это идетъ давно ожидаемая, желанная почта въ фортъ Забытый, а отсюда она пойдетъ уже далѣе, по остальнымъ фортамъ, вплоть до самаго Ташкента.

Проснулся передъ вечеромъ капитанъ Сипаковъ и подошелъ къ окошку.

— А, вотъ оно, вотъ!—улыбнувшись крякнулъ онъ, завидѣвъ въѣзжающую въ ворота почтовую повозку, и потеръ себѣ руки.

— Шляпку вотъ эту отправь, не забудь, въ Чемкентъ; вотъ и укупорка вся цѣла прежняя, только адресъ я маленько залила саломъ; ну, да тамъ разберутъ!—говорила Анфиса Петровна, принеся изъ-за своей перегородки шляпку съ цвѣтами и бантами, надколотый ящикъ, тряпку и веревочки съ припечатанными концами.

— Экъ, ты ее потрепала! Какъ я ее теперь отправлю?

— Извѣстно, носится, не желѣзная она; матерьялъ, ишь ты какой дрянной!..

Анфиса Петровна потянула за банты.

— Говорила—на одинъ разъ, въ церковь только сходить а вотъ какъ заносила чужую вещь!..

— Ничего, не впервой; мантилью, что въ Ташкентъ купчихѣ Федоровой изъ Петербурга высылали, я, почитай, два мѣсяца носила, а ничего, сошло!

— Да, пока жалобъ не было, Богъ миловалъ!

— Была-бы укупорка въ порядкѣ, а тамъ не наше дѣло!

— Поди, чай готовъ?

— Тутъ, что-ли, пить будешь?

— На дворѣ, за сараемъ. Ну, поди, не мѣшай! Постой! Тамъ у тебя еще что-то есть? Душегрея никакъ?

— Пардесю, да ты ее погоди до слѣдующей почты; послѣ завтра надѣть надо!

— Ну, проваливай.

Анфиса Петровна вышла, захвативъ изъ почтоваго чемодана какую-то газету въ оберткѣ. Сипаковъ принялся за разборку.

Пришелъ юнкеръ Подковкинъ, забѣжалъ маркитантъ Моисей Касимовъ, заглянула въ окно еще какая-то физіономія бакенбардами.

— Вы, братцы, идите-ка за сарай, къ Анфисѣ Петровнѣ, а я пока займусь по службѣ!—пригласилъ ихъ Сипаковъ.

— Служба прежде всего! — согласился Подковкинъ.—А-а, поглядѣть, что это за книжица?—полюбопытствовалъ онъ и захвативъ съ собою «книжицу», вышелъ.

— Газеточекъ парочку можно?—освѣдомился Моисей Касимовъ и, не дожидаясь отвѣта, направился за сарай, тщательно освобождая на ходу «Сынъ Отечества» изъ его оболочки съ печатнымъ адресомъ.

— Смотри, назадъ въ порядкѣ вернуть!—крикнулъ имъ вслѣдъ капитанъ. — Эхъ, служба! — вздохнулъ онъ. — А частной-то переписки ныньче что-то немного!

«Вотъ такъ-то оно, думалъ онъ, занимаясь «разборкою»,— другой заоретъ: незаконно, молъ, подло! А поди-ка самъ, по-

живи здѣсь, въ Забытомъ, шестой годъ, какъ я, не то еще со скуки сдѣлаешь».—Анфиса, ножичекъ мой перочинный пришли и свѣчку!—«Кому какой отъ того вредъ можетъ быть? А никакого; другой и не замѣтитъ вовсе, что въ его писульку заглядывали, а мнѣ польза и назиданіе. Эхъ, подумаешь, другой разъ какія только письма бываютъ занятныя, никакихъ романовъ не надо. «Петру Максимовичу Пустопорожнему, въ собственныя руки», ну, это по боку.—Что-же ножичекъ-то?—«Его превосходительству»... гмъ, печать частная, безъ орла... Эхъ! Подмываетъ, а страшно... а въ этакихъ-то настоящій смакъ и сидитъ... Нѣшто Подковкина позвать, онъ мастеръ? Въ прошломъ году эдакъ-то большое бѣдствіе для друга своего закадычнаго предупредилъ: доносъ это на него шелъ, куда слѣдуетъ, шелъ-то онъ, шелъ, да не дошелъ... хе, хе... «Господину Перловичу въ Ташкентъ»... ну, это значитъ въ карманъ; ужо поглядимъ!

— Герася, нонче изъ нарядовъ ничего нѣтъ?—появилась въ дверяхъ Анфиса Петровна со свѣчкою и ножичкомъ.

— Погоди, послѣ, еще не глядѣлъ по тюкамъ!

— Маланья Ивановна забѣгала, сказывала: можетъ, для ней пары ботинковъ какихъ-нибудь не будетъ-ли, или тамъ что-нибудь изъ другой обуви?

— Такъ вотъ я для твоей Маланьи Ивановны службою рисковать стану. На-кось!

Сипаковъ сложилъ свои персты весьма непочтительно и протянулъ ихъ къ своей супругѣ.

— Только на невѣжество и способенъ, потому—мужикъ!

— Чаю пришли, ступай, графинчикъ тоже!

Часа два «разбиралъ» капитанъ почту. Анфиса было сунулась къ нему, да дверь была на крючкѣ.

— Что, занятъ еще?-освѣдомился Моисей Касимовъ.

— Заперся!—со злостью отрѣзала Анфиса Петровна.—Все, чтобы только отъ жены сдѣлать тайно!

— Нельзя-же, можетъ, какой секретъ государственный!

— Окна извнутри завѣшаны,—сообщилъ юнкеръ Подковкинъ,—я было заглянулъ, анъ нѣтъ!

— Графинъ я ему туда снесла; не скоро теперь выйдетъ!

— А мы пока своимъ дѣломъ заняться можемъ... сдавай-ка,

— Засядемъ...—согласился Подковкинъ,

Анфиса Петровна занялась по хозяйству.

Совсѣмъ стемнѣло, и давно уже пробили вечернюю зорю на фортовой гауптвахтѣ. Засвѣтились ряды красноватыхъ четырехугольниковъ—казарменныхъ оконъ; мутная луна поднялась надъ рѣкою. Окончилъ Сипаковъ свои служебныя занятія.

— Ты что, словно какъ не по себѣ?—замѣтила ему заботливая супруга.

— Ничего, что-же, я въ порядкѣ. Все какъ слѣдуетъ. А что?

— Важное есть что-либо, надо полагать?—спросилъ Моисей Касимовъ.—Вѣрно-съ?

— Пустяки все... Что-же, господа, преферансикъ?

— Не поздно-ли?

— Что за поздно, самое время. Днемъ-то выспались, небойсь?

Усѣлись за преферансъ.

Невнимательно игралъ Сипаковъ, не замѣчалъ ходовъ своего партнера, не замѣчалъ даже сигналовъ, которые дѣлала ему Анфиса Петровна, успѣвшая какъ-то подглядѣть прикупку. Семь въ червяхъ безъ четырехъ остался.

— Фю-фю!—подсвиснулъ юнкеръ Подковкинъ и подозрительно поглядѣлъ на хозяина.

— Такъ, молъ, и такъ, Иванъ Илларіоновичъ, вотъ, молъ, какія дѣла подъ васъ подвод...

— Что такое?—озадачился юнкеръ.

— Чего-съ?—даже со стула вскочилъ Моисей Касимовъ.

— А? Какъ? Кто съ чего ходилъ?—опомнился Сипаковъ и, выхвативъ какую-то карту, поспѣшилъ прихлопнуть ею пройденнаго Касимовымъ козырнаго туза.

— Нѣтъ, шалить изволите, такъ не полагается!—засмѣялся маркитантъ.

— Не лучше-ли бросить?—посовѣтовала Анфиса Петровна, предвидя для своего супруга плохіе результаты пульки.

— Доиграемъ, отчего-же?

— Ужинъ простынетъ!

— Ну, побережемъ записи до завтра!—предложилъ сорокалѣтній юнкеръ.

Покончили, поужинали, разошлись.

— Что-бы такое было? Не догадываетесь?—спрашивалъ у

Подковкина Моисей Касимовъ, когда они оба пробирались домой.

— Завтра проврется; много-много, если послѣ завтра узнаемъ. Дѣло бывалое, особенно, ежели выпьетъ!

— Кто идетъ?—протяжно доносилось съ гребня крѣпостного вала.

— Свои!—пробасилъ юнкеръ Подковкинъ.

— Свои, голубчикъ, свои!—поспѣшилъ Касимовъ удовлетворить любопытнаго часового.

А Сипаковъ, передъ тѣмъ, какъ лечь въ постель, прошелъ къ себѣ въ комнату, вынулъ изъ кармана письмо, адресованное къ Перловичу, и прочелъ его внимательно, останавливаясь, потирая себѣ лобъ и вдумываясь въ каждую фразу письма, въ каждое его слово. Это было уже вторичное чтеніе, и по мѣрѣ того, какъ оно приходило къ концу, подъ нависшими усами читавшаго разросталась все болѣе и болѣе самая самодовольная улыбка.

— Голубчикъ, Герася, родной ты мой, что такое?—приставала супруга, ласкаясь къ нему.

— Отстань! Спать ложись! — рѣшительно объявилъ ей Герася.

— Ну, ужъ будто-бы мнѣ нельзя сказать? А-а, нельзя? Ну, хорошо-же!

Анфиса Петровна сердито отвернулась. Сипаковъ принялся разоблачаться.

— Послѣдній разъ говорю—не скажешь?—поднялась на постели супруга.—Ну, что-же?

— Не вашего, бабьяго, ума дѣло!—произнесъ капитанъ и завернулся съ головою въ одѣяло.

VII.

какого рода вьюки привезены были въ Большой фортъ киргизами ауловъ Термекъ-бесъ.

Въ самой срединѣ Большого форта на Сыръ Дарьѣ стояла очень большая палатка. Человѣкъ до ста могло-бы помѣститься въ ней безъ особенной тѣсноты; парусина, изъ которой она

была сдѣлана, выкрашенная ярко-зеленою краскою, такъ и горѣла на солнцѣ; особенно сверкали и искрились, отражая отъ себя безчисленные лучи, мѣдный крестъ на гребнѣ шатра и такіе-же мѣдные шарики на верхушкахъ палаточныхъ кольевъ. Это была временная церковь и помѣщалась она посрединѣ громадной площади, покрытой сплошною пылью. Кругомъ, по окраинамъ этой площади, виднѣлись приземистые мазанки-домики фортовыхъ обитателей и подслѣповато глядѣли на площадь своими крохотными окошками, заклеенными большею частью промасленной бумагою.

Несмотря на сильный полуденный жаръ, большая толпа собралась передъ церковью. Кромѣ того, со всѣхъ сторонъ шли и даже бѣжали обыватели форта, направляясь къ толпѣ, и на лицѣ каждаго написано было тревожное, даже нѣсколько боязливое любопытство.

Нѣсколько верблюдовъ, ободранныхъ, усталыхъ, запыленныхъ, стояли немного въ сторонѣ; лаучи сидѣли около нихъ на корточкахъ; только одинъ, стоя, сворачивалъ въ пучки волосяные арканы, которыми подвѣшивались вьюки. Вьюковъ самыхъ не было при верблюдахъ, они были сложены у входа въ церковь. Вьюковъ этихъ не было видно, потому что они были совершенно окружены народомъ.

Да, это былъ довольно интересный грузъ, который давно уже не привозился въ Большой фортъ въ такомъ количествѣ,— настолько интересный, что комендантъ форта заблагоразсудилъ приставить даже часовыхъ къ тюкамъ, и штыки этихъ часовыхъ, столбами стоявшихъ другъ противъ друга, виднѣлись надъ толпою и еще болѣе подстрекали любопытство отставшихъ обывателей, запыхавшихся и силящихся пробраться впередъ, гдѣ было повиднѣе.

Всѣхъ тюковъ было четыре, они лежали рядомъ и, несмотря на то, что были прикрыты общею кошмою, можно было замѣтить по складкамъ войлока, что каждый изъ нихъ имѣлъ удлиненную форму—форму, чрезвычайно похожую на человѣческое тѣло; одно только обстоятельство разрушало это сходство, это то, что тамъ, гдѣ по всѣмъ соображеніямъ должны были-бы вытягиваться округленныя формы головъ, тамъ войлокъ плотно прилегалъ къ землѣ, не образуя рѣшительно никакихъ складокъ.

— Оставь! Слышь ты! — остановилъ одинъ изъ часовыхъ любопытнаго молодца въ халатѣ и въ туфляхъ на босую ногу.

— Нельзя развѣ посмотрѣть? Что за важность!..

— Отойди!

— Я только уголочекъ приподниму!

— Фу, разитъ какъ, страсть! Авдотья, пойдемъ домой. Чего тутъ дѣлать?—обратился отставной матросъ-рыбакъ къ бѣлокурой солдаткѣ въ яркокрасномъ кумачномъ платьѣ.

— Погоди, Кузьмичъ; сватъ, погоди; куда спѣшить?— останавливаетъ его подгулявшій приказчикъ изъ хлѣбнаго магазина.—Постой!

— Вонища, ишь, ты какая!

— Извѣстно, жарко, *они-то*, чай, всѣ прокисли!

— Теперь скоро комендантъ явится съ докторомъ: вскрывать будутъ,—сообщилъ щеголеватый писарь въ кителѣ и съ папироскою въ зубахъ.

— Это, значитъ, потрошить? Ахъ, страсти какія! Для чего-же это?

— Для дѣлопроизводства по всей формѣ... Фу, ты, чортъ, папироска погасла! У кого огонь?.. Чтобы доподлинно узнать, отъ какихъ причинъ и почему, для занесенія всего въ протоколъ, при надлежащемъ постановленіи. Спасибо, братъ. Ну, и все прочее!

Писарь пріостановился и сталъ закуривать потихоньку папироску.

— Пакость какая! Да я теперь цѣлую недѣлю ѣсть ничего не стану мягкаго: все это мерещиться будетъ, право... ей-богу!.. Пойдемъ домой, Кузьмичъ!

— А, пойдемъ. Авдотья, чортъ, лѣшій, ты опять съ этимъ рыжимъ?

— Въ выраженіяхъ нельзя-ли осторожнѣй!—окрысился обруганный халатъ въ туфляхъ на босую ногу.

— Ладно, братъ, сочтемся послѣ. Возьми весла, сватъ, греби въ «прохладу»!

— Охъ, Господи! Помяни души усопшихъ рабъ твоихъ!

— Позвольте, господинъ писарь, позвольте, почтеннѣйшій! Конечно, мы по своей малограмотности, однако, при всемъ прочемъ... Для чего-же ихъ теперь рѣзать, когда доподлинно видно, что головъ нѣту. Какія-же тутъ еще причины требуются?

— Гмъ! Какія! А хоть-бы для того, напримѣръ, чтобы точно опредѣлить: по смерти-ли произошло отдѣленіе отъ туловища сего необходимаго члена, или же до оной!

— Какъ-съ?

— Лопатинскій караванъ ограбленъ весь дочиста, и народъ, что при немъ былъ, въ Хиву уведенъ, кромѣ вотъ *этихъ*,—это вѣрно!

Сѣдой старикъ въ плисовыхъ шароварахъ, въ красной шелковой рубахѣ и офицерскомъ сюртукѣ безъ погоновъ, произнося эту фразу, сдѣлалъ жестъ рукою, такой, какъ-будто только-что скрѣпилъ своею подписью самый важный документъ, затѣмъ вынулъ изъ кармана цвѣтной фуляръ и сталъ его медленно разворачивать.

— Почему-же это вы изволите полагать?—подвернулся къ нему рыжій халатъ.

Старикъ уставился на него своими слезящимися глазами, высморкался и, тщательно отершись, произнесъ:

— По нѣкоторымъ соображеніямъ!

— Такъ-съ; да и къ тому-же ужъ это, повѣрьте, не даромъ. Отойдемте-съ сюда: вѣтерокъ отъ насъ будетъ, все дышать легче!

Они отошли.

— Слухъ не даромъ по всему форту идетъ, не даромъ. Одного господина проѣзжаго, съ рыжею бородою, словно изъ иностранцевъ, изволили видѣть?

— Кто такой?

— Гмъ! Кто такой-съ? А кто его знаетъ, кто онъ такой-съ! Вчера-съ былъ день святыя великомученицы Евпраксіи; супруга моя, покойница, имянинница, и я завсегда...

Слезы зазвучали въ голосѣ рыжаго халата, и онъ протеръ кулакомъ, а потомъ полою халата свои охмѣлѣвшіе глаза.

— И я завсегда не то, чтобы очень, но праздную и ликую... то бишь... Ну, да это все единственно. Прихожу я къ другу своему, пріятелю Маркычу, что на станціи состоитъ... Ну, тутъ рябиновая пошла, осетрина въ уксусѣ на закуску, и эта борода рыжая, мы ее никогда допрежь не видали, а тутъ бацъ: «здравствуйте, говоритъ, миръ честной компаніи!..» Садись, говоримъ, милости просимъ!

— Откудова?

— Чего-съ?

— Господинъ этотъ откудова и что за человѣкъ?

— А Христосъ его вѣдаетъ... Сѣли, выпили. «Что это, молъ, у васъ по городу»... замѣтьте, *по городу*,—какой-же у насъ городъ?—Фортъ! И завсегда, коли что говорятъ: «по форту»... Да-съ, вотъ оно какъ, а онъ это «по городу». Ну, ладно, по городу, такъ по городу, думаемъ мы съ Маркычемъ. «Что это у васъ по городу, говоритъ, слухъ идетъ...» и это разсказываетъ. Про все, какъ слѣдуетъ, насчетъ убійства и разграбленія. А у насъ, сами знаете, до сего никакихъ слуховъ не было, это вѣрно; потому, коли что, мы съ Маркычемъ первые... а *онъ* знаетъ; откуда-же онъ знаетъ? Обидно-съ!

— Ближе былъ, надо полагать!

— То-то, ближе!—Я говорю Маркычу:—прислушайся, а онъ шепчетъ: запри дверь на крючокъ! Какъ же это возможно?

— Рискованное дѣло!

— А послѣ всего этого пришли мы съ Маркычемъ въ безпамятное состояніе!

— Это перемахнули, значитъ?

— Воля Божья! Пришли мы это въ безпамятство и проснулись уже сегодня утромъ; думаемъ: какъ, что, а *онъ* купаться идетъ; полотенце подъ мышкою, зонтикомъ покрылся; валитъ прямо къ пристани, на насъ и не глядитъ, какъ съ Маркычемъ квасомъ прохлаждаемся!

— Замѣтилъ и я. На комендантскомъ дворѣ, въ канцеляріи, освѣдомился, кто такой? Сказывали, еще не былъ!

— Какъ вотъ *этихъ* привезли, все тутъ стоялъ; при немъ и разгружали. Съ косоглазыми говорилъ по-ихнему бойко. Я подошелъ—замолчалъ и прочь пошелъ опять на пристань!

— Посторонись, посторонись, дорогу дайте!

Толпа заволновалась, подалась немного то вправо, то влѣво; образовался довольно свободный проходъ. Часовые перемигнулись и отхватили ружьями подходящій къ случаю пріемецъ.

— Капитана Шиломордина нѣтъ еще?! А, каково вамъ это покажется?!—послышался внушительный, видимо, начальническій голосъ.

— Я далъ ему знать уже давно!—какимъ-то боковымъ поклономъ согнулся на ходу адъютантъ съ портфелемъ подъ мышкою.

— Послать!

— Я, позвольте вамъ сообщить, думаю, что онъ не боленъ-ли!

— Опять?

— Теперь его недѣля. Онъ всегда цѣлую недѣлю, а потомъ ничего; сходитъ въ баню и опять мѣсяца на два подрядъ исправенъ, если не случится какого-либо особеннаго случая: годовой праздникъ или-же чье тезоименитство!

— Ну, за Горошкинымъ послать. Ежели на охотѣ, то Викторову дать повѣстку!

— Слушаю-съ!

— Войлокъ откинуть! Брръ! Какая гадость!

— Полнѣйшее разложеніе, и къ вскрытію никакой возможности приступить не представляется!—сообщилъ худощавый докторъ съ чахоточнымъ, пятнистымъ румянцемъ, въ теплой шинели, несмотря на жару, и безпрестанно что-то нюхающій изъ стекляннаго флакона съ цѣпочкою.

— Ну, для формы нужно-же, нельзя безъ этого!

— Что-же, взрѣжу!—язвительно вздернувъ плечами, вздохнулъ докторъ.

— Но, во всякомъ случаѣ, придется подождать до пріѣзда этого господина Катушкина. Онъ мнѣ пишетъ... Что такое онъ мнѣ пишетъ?

— Судя по его письму, онъ долженъ быть сегодня къ вечеру...

Адъютантъ сталъ поспѣшно рыться въ портфелѣ и вытащилъ оттуда смятый полулистъ исписанной бумаги.

— Вотъ извольте видѣть!

— Прочтите еще разъ!

— Онъ пишетъ... э... гмъ! «Вслѣдъ за отсылкою тѣлъ, подобранныхъ на мѣстѣ нападенія, съ киргизами аула Термекъ-бесъ, я выѣзжаю самъ. Остановлюсь въ аулахъ «Бугатъ-тысай» для снятія необходимыхъ допросовъ и для отобранія показаній отъ старшинъ. Аур...

— Точно слѣдователь какой офиціальный!

— Чего-съ?

Комендантъ обернулся, адъютантъ остановился перечитывать письма. За нимъ стоялъ человѣкъ средняго роста, нѣсколько полный, съ окладистою рыже-красною бородою и въ

крупныхъ синихъ очкахъ съ боковыми сѣтками отъ пыли въ золотой массивной оправѣ. Онъ-то и сдѣлалъ это замѣчаніе.

— Извините! Я, кажется, помѣшалъ. Вы здѣшній комендантъ?

— Къ вашимъ услугамъ!

Чистенькій, весьма приличный дорожный костюмъ незнакомца и его солидная физіономія внушали нѣкоторое почтеніе и заставили коменданта взяться за козырекъ своей фуражки съ назатыльникомъ. Адъютантъ тоже откозырялъ, докторъ холодно раскланялся.

— Нигебауэръ, аптекарь. Ѣду въ Ташкентъ; заходилъ къ вамъ, но мнѣ сказали, что вы здѣсь, на площади. Такое необыкновенное происшествіе!

— Что тутъ необыкновеннаго, просто оказія!—замѣтилъ комендантъ.—Ну-ка, дальше что?—«Аптекарь—не велика птица!»—подумалъ онъ.—Извините; вотъ мы тутъ по службѣ, кончимъ сейчасъ и тогда...—добавилъ онъ вслухъ.

— Сдѣлайте одолженіе!—поклонился аптекарь, отошелъ къ тѣламъ и началъ ихъ довольно внимательно осматривать.

— Онъ самый!—шепнулъ рыжій халатъ на ухо старику.

— Дураки вы оба съ Маркычемъ!—такъ-же тихо отвѣтилъ ему старикъ.

— Гмъ, гмъ!—откашлялся адъютантъ.—По разсчету, изложенному въ письмѣ господиномъ Катушкинымъ, онъ долженъ быть какъ-разъ сегодня вечеромъ!

Нигебауэръ приподнялъ голову.

— Тутъ присланныя тѣла?

Адъютантъ кивнулъ головою куда слѣдуетъ.

— Ефима Мякенькаго съ сыномъ, англичанина Эдуарда Симсона и одного изъ работниковъ?

— Голые и безъ головъ; какъ тутъ ихъ разбирать: кто и кто?—пожалъ плечами комендантъ.—Да, я полагаю, этого и не надо. Какъ вы, докторъ, думаете?

— А, что такое? Вы меня спрашиваете?

— Васъ!

— Да, конечно. Господинъ Нигебауэръ, вы какъ-будто, поблѣднѣли, вы взволнованы?

Докторъ пристально посмотрѣлъ на рыжебородаго аптекаря.

— О, это ничего. Дорожная усталость, этотъ запахъ, видъ

изуродованныхъ труповъ—все это не можетъ дѣйствовать благопріятно!

— Ну, понятно!

— Вотъ еще на оборотѣ,—перевернулъ адъютантъ исписанный листокъ,—господинъ Катушкинъ проситъ о задержаніи въ фортѣ, если, конечно, таковой окажется, одного человѣка, примѣты: средняго роста, полноватъ, небольшая черная борода и таковые-же усы, одѣтъ по-киргизски, лошади вороныя, безъ отмѣтинъ!

— А, ну, примите мѣры: осмотрѣть постоялые дворы, почтовую станцію, а главное, на базарѣ, у Бузуева въ трактирѣ тоже...

— У заставы не мѣшаетъ поставить человѣкъ четырехъ для наблюденія!—шепнулъ докторъ на ухо коменданту.

— У заставы? У заставы непремѣнно!

— Да вы-бы не такъ громко...

— Мое почтеніе!—откланялась рыжая борода.

— Зайдите въ правленіе, тамъ вамъ поставятъ отмѣтку на паспортѣ!—крикнулъ адъютантъ.

— Непремѣнно!

Нигебауэръ медленно зашагалъ черезъ площадь, распустивъ свой парусинный зонтикъ.

— Чего это вы такъ смотрите?—замѣтилъ комендантъ доктору, все время слѣдившему за удаляющейся фигурою аптекаря.

— Хорошая борода, густая, ровная!—произнесъ докторъ какъ-бы про себя.—Куда это онъ повернулъ? А, въ слободку!

— Ну, такъ что-же?

— Справьтесь, пожалуйста, на какихъ лошадяхъ пріѣхалъ этотъ Нигебауэръ!

— Это для чего?

— Я видѣлъ, вчера еще видѣлъ, — выставился рыжій халатъ, все время прислушивавшійся къ разговору начальства, — на почтовыхъ; рыжая съ лысиной въ корню, сѣрая на пристяжкѣ; ямщикъ Каримка, тотъ самый, что въ прошломъ году пальцы на ногахъ отнимали—отморозилъ зимою я помню...

— Гмъ! Странно!—нервно скривилъ ротъ чахоточный докторъ.—Я готовъ прозакладывать все, что угодно, ежели бъ оказалось, что этотъ аптекарь пріѣхалъ на вороныхъ лошадяхъ, верхомъ, что борода у него накладная!

— Ну, что за вздоръ!

— Не вздоръ, позвольте вамъ замѣтить!

— Да чушь!

— Это удивительно! Вѣроятно, я на чемъ-бы то ни было да основываюсь. Эти крючки за ушами...

— Это отъ очковъ крючки!—поспѣшилъ заявить адъютантъ.

— Нѣтъ, то золотые; а стальные, стальные зачѣмъ?Я ихъ довольно ясно замѣтилъ. Они, положимъ, отлично были замаскированы волосами, но я ихъ видѣлъ... видѣлъ, какъ вотъ вижу васъ, какъ этихъ... Фу! Просто нѣтъ никакой возможности дышать! И чего мы здѣсь стоимъ?

— Прикрой!—распорядился адъютантъ.

Рыжій халатъ и человѣка три изъ толпы ринулись исполнять приказаніе адъютанта.

— Потомъ я замѣтилъ еще одну вещь, чрезвычайно подозрительную. Конечно, при другихъ обстоятельствахъ это пустяки...

— Знаете-ли что?—остановилъ его комендантъ.—Идемте домой, пора обѣдать. Моя барыня приготовила удивительную ботвинью!

— Изъ раковъ?

— Да еще изъ какихъ! Вотъ...

Комендантъ показалъ на ножнахъ своей сабли приблизительные размѣры раковъ.

— Ну-съ, и въ ожиданіи пріѣзда этого Катушкина, поднявшаго всю тревогу, мы будемъ выслушивать всѣ ваши подозрѣнія. Allons!

Онъ согнулъ руку калачикомъ, докторъ сунулъ туда свою, освободивъ ее предварительно изъ-подъ шинели, и они, не спѣша, отправились по направленію къ комендантскому домику, побѣленныя трубы котораго виднѣлись надъ группою чахоточныхъ, запыленныхъ кустиковъ. Адъютантъ зашагалъ за ними, переложивъ портфель изъ-подъ одной мышки подъ другую.

— И по частнымъ домамъ посмотрѣть не мѣшаетъ!—доносился уже издали начальническій голосъ.

Толпа тоже стала понемногу расходиться.

„Я вечоръ въ лужкахъ гуляла!“

доносился съ базара развеселый пьяный голосъ.

— Ребята, слышь, не видали-ли гдѣ тетки Бородихи?—

спрашивалъ запыхавшійся денщикъ, обращаясь больше ко всѣмъ и ни къ кому въ особенности.

— Тебѣ зачѣмъ эта вострука понадобилась? — спросилъ кто-то изъ толпы.

— Поручикъ требуетъ, чтобы безпремѣнно. Допросъ снять слѣдуетъ по дѣлу!

— Ладно, братъ!

„Гру-у-сть хотѣла разогнать."

доносилось съ базара, но уже нѣсколько ближе.

Рѣзкій звонъ колокола на пристани и барабанъ на площадкѣ, передъ казармами мѣстнаго батальона звали «на работу».

Дневная жара начала спадать.

VIII.

Улики накопляются.

Когда солнце сѣло, къ сѣверной заставѣ Большого форта подъѣхала довольно оригинальная кавалькада. Впереди всѣхъ ѣхалъ Иванъ Демьяновичъ Катушкинъ, верхомъ на иноходцѣ своего пріятеля, одного изъ старшинъ аула Бугатъ-ты-сай; всадникъ былъ, видимо, измученъ, запыленъ съ ногъ до головы и почти качался въ сѣдлѣ отъ усталости. За нимъ рысилъ высокій, тощій киргизъ, вооруженный длинною пикою и какимъ-то допотопнымъ огнестрѣльнымъ оружіемъ. Два ободранныхъ, почти голыхъ киргиза, тоже верхомъ, вели между своими лошадьми третьяго пѣшаго, руки котораго были привязаны къ заднимъ сѣдельнымъ лукамъ; босыя ноги плѣнника были покрыты кровью и грязью, колѣни ссажены и стерты почти до костей: видно было, что несчастный нѣсколько разъ падалъ отъ изнеможенія, а такъ-какъ привязанныя у сѣделъ руки не давали ему упасть на землю, то ему приходилось тащиться волокомъ на колѣняхъ, пока всадники не останавливались и не поднимали его ударами нагаекъ. Сзади всѣхъ еще ѣхала группа вооруженныхъ киргизовъ, и вели двухъ лошадей, осѣдланныхъ по-походному... Свободно болтающіеся по бокамъ сѣделъ вьючные мѣшки, коржуны, были пусты, размотавшійся арканъ тащился по землѣ... Обѣ лошади были сплошь покрыты пылью, обратившеюся въ грязь тамъ, гдѣ ремни

сѣдловки натирали мыльную пѣну... Трудно было распознать масть лошадей, развѣ только очень опытный глазъ могъ опредѣлить, что обѣ были чисто вороныя, безъ всякихъ отмѣтинъ.

Когда Иванъ Демьяновичъ въѣхалъ въ ворота Большого форта, почти никого не было на опустѣлыхъ улицахъ. Эта часть больше торговая, тутъ все были временные навѣсы и ятки для товара, убираемаго на ночь, и потому, кромѣ двухъ-трехъ туземцевъ-сторожей, дремавшихъ вдоль забора, гдѣ осталось еще немного нестоптанной, свѣжей травки, и не было такъ пыльно, какъ посреди улицы и площади, Иванъ Демьяновичъ не замѣтилъ никого, какъ ни приглядывался направо и налѣво.

Если бы не было такъ темно, то онъ, пожалуй, замѣтилъ-бы въ окно разломанной сакли худощавое женское лицо, выглянувшее на мгновеніе и спрятавшееся снова такъ-же быстро, какъ и показалось,—замѣтилъ бы, пожалуй, и всю женщину, промелькнувшую въ свѣтломъ промежуткѣ между саклею и угломъ хлѣбнаго лабаза... Если-бъ онъ потомъ обернулся, то навѣрное увидѣлъ-бы, какъ эта женщина перебѣжала улицу позади кавалькады; но онъ ничего этого не видѣлъ, а прямо направился къ свѣтлымъ четырехугольникамъ комендантскихъ оконъ, періодически заслоняемыхъ тѣнью шагающаго взадъ и впередъ линейца-часового.

Черезъ полчаса Иванъ Демьяновичъ сидѣлъ уже у коменданта за ломбернымъ столомъ, на этотъ разъ раскрытымъ вовсе не для картъ. Самъ хозяинъ ходилъ по комнатѣ и пыхтѣлъ изъ длиннаго черешневаго чубука; докторъ полулежалъ на диванѣ; адъютантъ сидѣлъ на стулѣ у дверей и, съ позволенія начальства, крутилъ папиросу. Супруга коменданта, бойкая старушка, находилась въ сосѣдней комнатѣ и, упершись лбомъ въ мѣдную планку замочной доски, внимательно наблюдала за всѣмъ, что ей было видно въ замочную скважину

— Я самъ согласенъ съ предположеніемъ господина Катушкина, что тутъ совсѣмъ не обыкновенный случай простого грабежа, — тутъ, очевидно, другія цѣли!—произнесъ докторъ.

— Не предположеніе это мое, — прервалъ его Иванъ Демьяновичъ—какое тутъ, помилуйте, Бога ради, предположеніе! а просто такъ оно и есть!

— Ну, понятно!—пыхнулъ комендантъ.

— Я по слѣду добрался до Кара-ташъ. Вы бывали тамъ?

— Не случалось!

— Весь берегъ плоскій, кромѣ только этого мѣста; здѣсь же камень чистый, надъ водою стоитъ кручею, и глубина тутъ, я вамъ доложу, страсть. Опять-же иломъ все затягиваетъ. Какъ туда ихъ затащило?

— Такъ, вы говорите, слѣды привели васъ къ самому Кара-ташъ?..

Докторъ поднялся съ дивана, подошелъ къ стѣнѣ, гдѣ была развѣшена мѣстная карта, и началъ по ней водить пальцемъ.

— Къ самому. Машины и все громоздкое было свалено туда. Это вѣрно! Куда имъ было тащить ихъ?!

— Здѣсь!—произнесъ докторъ.—Дайте-ка, родной, свѣчку—темновато!

— Если-бы это простой грабежъ, ну, забрали бы бакалею, красный товаръ, скотину-бы увели, а то на кой имъ чортъ? Паровикъ-бы и всѣ машины остались-бы на мѣстѣ, и потеря была-бы, не Богъ вѣсть, какая!

— Однако...—пожалъ плечами комендантъ и тоже началъ разсматривать карту.

— Это-то Кара-ташъ?—пригнулся онъ къ самой бумагѣ, такъ что чуть не дотронулся до листа носомъ.—А, вонъ оно что... тсъ... такъ!

Небольшая звѣздочка, начерченная на картѣ, приняла для него теперь особенное значеніе; онъ ее разсматривалъ съ такимъ вниманіемъ, что невольно думалось, не отыскиваетъ-ли онъ тамъ слѣдовъ погибшаго паровика и дорогихъ машинъ разграбленнаго каравана?

— Далѣе, позвольте вамъ доложить, по разспросамъ киргизовъ оказалось, что въ разныхъ пунктахъ видѣли человѣка весьма подозрительнаго виду-съ; на вороныхъ лошадяхъ, тѣхъ самыхъ, что, изволили видѣть, я привелъ съ собою!

— Хорошія лошади!

— Таперича этотъ, человѣкъ,—не тотъ значитъ,а Мосолъ-киргизъ, что работникомъ состоялъ у Ефима Мякенькаго; мы его поймали въ кочевьяхъ, и очень онъ мнѣ подозрителенъ показался!

— Вы ему уши обрѣзали?—замѣтилъ докторъ.

— Нельзя-же; маленько попытали его, иначе нѣшто отъ нихъ чего допросишься? Опять-же только одно ухо!

— Что-же онъ показываетъ?

— А то, что состоялъ съ ними въ заговорѣ и хотя положительно не знаетъ, кто такой этотъ былъ, что на вороныхъ лошадяхъ, однако, въ лицо узнать можетъ!

Докторъ сталъ шептать что-то на ухо коменданту.

— Почему-жъ не заарестовать?—отвѣтилъ тотъ уже вслухъ.

— Человѣкъ, о которомъ я вамъ писалъ...

Катушкинъ всталъ; на лицѣ его мелькнуло какое-то выраженіе таинственности, даже голосъ его сталъ тише, доходя почти до полушопота.

— Это насчетъ задержанія-то? — остановился посреди комнаты комендантъ.

Иванъ Демьяновичъ вздрогнулъ и боязливо оглянулся.

— Такъ точно-съ. Онъ теперь здѣсь!—произнесъ онъ еще тише, какъ-бы намекая этимъ коменданту на необходимость понизить голосъ, когда рѣчь коснулась этого предмета.

— Ага!—обернулся докторъ, все еще разсматривавшій карту.

— Ну-съ...

Комендантъ пальцемъ подманилъ вѣстового, взглянувшаго было въ дверь, и, Богъ-вѣсть, по какимъ соображеніямъ также шопотомъ произнесъ:

— Трубку набей и раскури!

— Негдѣ ему быть, окромя какъ здѣсь. Выѣхать онъ еще не успѣлъ. Пароходъ еще не отходилъ, на станціи тоже надо прописаться — когда успѣть? Я его прослѣдилъ до почтовой станціи Алты-кудукъ, откуда онъ поѣхалъ уже на почтовыхъ, смѣнныхъ, своихъ же лошадей бросилъ онъ въ табунъ Ибрагимъ-бея. Мы нагнали въ скорости, потому кони еще были горячіе. Я ихъ забралъ изъ табуна...

— На почтовыхъ...—соображалъ про себя докторъ.

— Только теперь, надо полагать, этотъ человѣкъ совсѣмъ въ другой одежѣ!

— Пожалуй, изъ чернаго рыжимъ сдѣлался! — перебилъ докторъ.

— Вы все на своемъ стоите? А вы, любезнѣйшій, не подозрѣваете-ли кого-нибудь, а?—обратился комендантъ къ Катушкину.

— Какъ не подозрѣвать? Да что толку въ подозрѣніи-то?

Вотъ когда-бы намъ его захватить здѣсь какъ ни на есть, ну, тогда другое дѣло!..

— Узнайте, гдѣ остановился этотъ аптекарь Ниге... какъ-бишь его? И попросите его сейчасъ-же ко мнѣ!—распорядился комендантъ самымъ рѣшительнымъ, безапелляціоннымъ тономъ.

Адъютантъ поспѣшно поднялся со стула. Дверь во внутренніе апартаменты распахнулась настежь, комендантша влетѣла, какъ бомба, и, подбоченясь обѣими руками, остановилась посрединѣ комнаты.

— Ну, не колпакъ-ли ты? Ну не дубина-ли?—отчеканивала она, глядя въ упоръ на своего ошалѣвшаго супруга.

Иванъ Демьяновичъ поспѣшилъ отвѣсить самый почтительный поклонъ; докторъ началъ язвительно хихикать; писарь и два вѣстовыхъ зафыркали въ сосѣдней комнатѣ.

— Что-же это ты, въ самомъ дѣлѣ, мать моя?—развелъ руками комендантъ.—За что-же это ты такъ сразу?

— Исподволь, потихоньку, узнать, разнюхать, окружить, сцапать и съ глазу на глазъ къ допросу... Вотъ что нужно сдѣлать, понимаешь? А ужинать я дамъ послѣ!

— Аграфена Павловна, ручку вашу поцѣловать позволите?—подошелъ къ ней докторъ.

— Господинъ комендантъ, явите такую божескую милость, помогите, чтобы, значитъ, такъ точно, какъ вотъ онѣ сказать изволили!

Иванъ Демьяновичъ указалъ на комендантшу.

— Да я готовъ, я сейчасъ. Эй! Казаковъ десять человѣкъ сюда живо!

— А ужъ, Иванъ Илларіоновичъ, ежели что, будьте благонадежны, васъ не забудемъ!

— Что, что такое?

Густыя брови коменданта сдвинулись, глаза выкатились, ноздри запрыгали; онъ сложилъ руки на груди по-наполеоновски и шагнулъ къ озадаченному Катушкину.

— Да что-же, помилуйте, господ... Ваше...

Докторъ поспѣшилъ на помощь къ оторопѣвшему Ивану Демьяновичу.

— Не теряйте времени, если хотите, чтобы вышло что-нибудь путное, а главное—послушайте вы моего совѣта. Вы

отъ этого ничего не потеряете, вы уже не разъ были въ выигрышѣ отъ этого!

— Благодарю!

Онъ протянулъ доктору свою широкую ладонь.

— Самое лучшее—предоставьте это самому господину Катушкину. Онъ, какъ лицо, болѣе всего заинтересованное...

— Будьте милостивы, господинъ комендантъ!

На дворѣ затопотали лошади, забрякало что-то металическое, гнѣдая морда съ лысиною заглянула въ окно.

— Команда готова!—доложилъ вѣстовой.

— Однако, сбирайтесь! А послѣ всѣ ко мнѣ ужинать!—рѣшила Аграфена Павловна и сама собственноручно надѣла на голову мужа его холщевую фуражку.

IX.

На базарѣ.

Скрипя и завывая немазанными осями, толкаясь концами этихъ осей обо всѣ выдающіеся углы плоскокрышихъ домовъ-сакель, по одной изъ очень узкихъ и кривыхъ улицъ азіятскаго Ташкента пробирались четыре арбы, нагруженныя головами сахару всѣхъ существующихъ размѣровъ и фирмъ; арбы эти были прикрыты войлоками и перевязаны веревками, для того, чтобы этотъ сладкій товаръ не разсыпался отъ скачковъ и толчковъ, которыми награждала дорога, грубо вымощенная крупнымъ, неровнымъ камнемъ... Вообще-же укладка сахара была самая небрежная; видно было, что его, во-первыхъ, собирали изъ разныхъ пунктовъ по десяткамъ и даже менѣе головъ, а во-вторыхъ, и везли не особенно далеко.

Арбакеши сидѣли верхомъ на тѣхъ-же лошадяхъ, что были запряжены въ арбы; весь транспортъ, нѣсколько растянувшись по дорогѣ, сопровождали два русскіе приказчика—русскіе только по тому признаку, что изъ-подъ ихъ бараньихъ шапокъ торчали рыжеватыя пряди волосъ, всѣмъ-же остальнымъ они мало чѣмъ отличались отъ таджиковъ-арбакешей.

Различныя препятствія поминутно загораживали движеніе арбъ: то на встрѣчу лѣниво шагали мохнатые верблюды съ тюками табаку и хлопка, то попадалась такая-же арба, то

верховые, туземцы и русскіе, пробирающіеся на центральный туземный базаръ, смѣшанный гулъ котораго, расходясь изъ-подъ сплошныхъ навѣсовъ, достигалъ уже слуха проѣзжихъ.

— Вой, вой!—покачивали головами въ чалмахъ всадники туземцы, подбирали ноги почти на сѣдло и, осторожно прижимаясь къ стѣнамъ и обтирая ихъ своими полосатыми халатами, пропускали арбы...

— Держи въ сторону, дьяволы!—еще издали кричали и грозно взмахивали нагайками всадники русскіе, и развѣ только крайняя необходимость заставляла ихъ взять вправо или влѣво.

— А куда намъ держать? Жми самъ въ сторону!—отвѣчали конвоирующіе приказчики.

— Да что-же вы, братцы, не той дорогою идете? Вы-бы на «медрессе» взяли, а то вамъ все на встрѣчу будетъ!—понижали тонъ и вступали въ разговоры всадники, узнавъ своихъ.

— Ладно; намъ вездѣ дорога! Эй, ты, тамъ, чортова голова, сворачивай верблюдовъ во дворъ... А ты, песъ, съ ишаками куда лѣзешь?!

— Что везете?

— Сахаръ!

— Чей?

— Перловича...

— Эй, эй, тамыръ!—робко окликаетъ одного изъ приказчиковъ передній арбакешъ.

— Чего тебѣ?

— Вонъ «казы» ѣдетъ, самъ «казы» *)... какъ-же быть?

— Гайда! Чего стали?! Гайда, гайда!

— Дорогу, дорогу, дорогу!—кричатъ пѣшіе, босоногіе скороходы сѣдобородаго казы, размахивая своими бѣлыми палками.

Угрюмо глядитъ изъ-подъ нависшихъ бровей маститый старикъ, сдерживаетъ своего аргамака, покрытаго бархатною попоною, сверкающею шитьемъ и блестками, и сворачиваетъ, избѣгая скандала, въ первый дворъ, досчатые ворота котораго мгновенно распахиваются передъ нимъ, при одномъ только движеніи поводьевъ въ ихъ сторону...

---

*) „Казы"—высшее лицо, „сартовскій митрополитъ", какъ его называютъ наши солдаты.

Дорога становится шире: вдали видны темные входы базара. Смѣхъ, говоръ, визгъ точильныхъ колесъ, ржаніе лошадей, хриплый ревъ верблюдовъ, бряцаніе чего-то металическаго сливается въ сплошной гулъ... Тамъ и сямъ вьются голубоватые дымки, шипитъ поджаренное масло и заражаетъ спертый воздухъ; во всѣхъ углахъ сверкаютъ мѣдные бока массивныхъ самоваровъ, мелькаютъ красные халатики мальчиковъ, прислужниковъ въ чайныхъ лавкахъ. Гремя въ бубны и уныло распѣвая стихи корана, бродятъ странствующіе нищіе монахи, «дивона», и выбираютъ мѣсто посуше и полюднѣй, гдѣ-бы удобно было начать свои проповѣди.

Въ одной изъ чайныхъ лавокъ, нѣсколько большихъ размѣровъ, чѣмъ остальныя, собралось довольно много посѣтителей. Полъ этой лавки поверхъ циновокъ былъ устланъ полосатымъ ковромъ, «шлямомъ»; по стѣнамъ, на полкахъ стояли ряды самыхъ разнообразныхъ кунганчиковъ, мѣдныхъ и даже посеребренныхъ, сверкающихъ мелкимъ чеканомъ и рѣзьбою. Громадный самоваръ, ведеръ въ десять, свистѣлъ и пыхтѣлъ, выпуская изъ своей трубы клубы чернаго дыма; закопченый покрытый каплями грязнаго пота сартъ, согнувшись на корточкахъ, раздувалъ его снизу кожаными мѣхами. Хозяинъ, чернобородый таджикъ Исса-Богузъ, какъ-будто предвидѣлъ такое многочисленное собраніе гостей въ своей лавкѣ,—онъ успѣлъ надѣть, поверхъ своего сѣраго, замасленнаго халата, новый адрасный, такъ и шумящій при каждомъ движеніи таджика.

«Точно шелковый!» самодовольно думалъ Исса-Богузъ и проворно перетиралъ краснымъ кумачнымъ платкомъ яркозеленыя чашечки, настоящія китайскія, съ замысловатыми знаками на ихъ плоскихъ донышкахъ.

Мальчики прислужники, самые толстенькіе, самые красивые по всей чайной линіи, бойко сновали по лавкѣ, едва успѣвая складывать въ хозяйскій кошель мѣдныя чеки *) и даже серебряные коканы **); два водоноса, полуголыхъ атлета, сваливъ съ своихъ плечъ одиннадцатый турсукъ (кожаный мѣхъ) съ водою, подобострастно ухмыляясь и сверкая своими зубами,

---

*) Чека—треть копейки.
**) Коканъ—двадцать копеекъ.

просили за свои труды, не въ счетъ платы (по кокану въ сутки), по чашкѣ горячаго и зеленаго чая.

Богатый купецъ Шарипъ-бай выпилъ уже очень много чашекъ чая, такъ много, что уже отрыгнулъ раза три и безпрестанно вытиралъ потъ на лбу и шеѣ полою своего нижняго халата; верхній-же, шелковый, прошитый мѣстами золотомъ и блестками, былъ спущенъ съ одного рукава, и полы его были раскинуты такъ ловко, что невольно кидались въ глаза всякому. Не безъ разсчета это было сдѣлано, и не одинъ уже проходящій мимо лавки съ скрытою завистью полюбовался блестящей матеріею.

Важно поглядывалъ спѣсивый Шарипъ-бай, какъ-бы раздумывая: кого-бы удостоить своимъ разговоромъ?

— Хорошъ кишмишъ? Я думаю, одинъ соръ и навозъ?— презрительно скрививъ ротъ, спросилъ онъ своего сосѣда, купца изъ кожевеннаго ряда, Машуна-Али, скромно отбиравшаго у себя на колѣняхъ ягодки изюма посвѣжѣе и почище.

— Пить чай можно. Конечно, тому, кто не старается возвеличиться питьемъ чая съ сахаромъ, когда нечѣмъ другимъ гордиться!—отпарировалъ тотъ и взглянулъ на него такъ, какъ будто говорилъ: «что, братъ, не на беззубаго напалъ!»

— Сколько съ меня за чай?—обратился сконфуженный задира къ мальчику-прислужнику, сдѣлавъ видъ, что не слышалъ отвѣта Мушана.

— А что-же, право,—началъ кто-то изъ самаго дальняго угла лавки,—нынче сахаръ такъ дорогъ сталъ, такъ дорогъ, что не всякому, охъ, далеко не всякому можно имъ пользоваться!

— Ужасная дороговизна!—повернулся отъ самовара хозяинъ Исса-Богузъ.—Двѣнадцать русскихъ рублей за пудъ, а было только десять!

— Да теперь нѣтъ его совсѣмъ у насъ на базарѣ. Послѣдній, что привезли изъ Бухары, купцы русскіе у насъ закупили!

— Словно сами не могутъ выписывать! Имъ выгоднѣе; и мы-бы у нихъ покупали, а то, шутка-ли, мы беремъ изъ Бухары, изъ вторыхъ рукъ; они у насъ и своимъ-то по тройной цѣнѣ продаютъ въ русскомъ городѣ!

— Караваны у нихъ не пришли, я знаю!—поднялся на ноги и шагнулъ къ выходу Мушанъ-Али.

Ему тамъ было ужь очень жарко, и онъ выбрался на передъ, гдѣ и сѣлъ снова на корточки, облокотившись спиною о рѣзную колонку навѣса.

— Теперь въ русскихъ лавкахъ и нѣтъ сахара. Откуда его взять? Перловичъ купецъ, что на чимкентской дорогѣ сидитъ... вотъ тотъ самый, что еще здѣсь съ Саидъ-Азимомъ рядомъ караванъ-серай съ краснымъ товаромъ держитъ...

— Знаю!

— Видалъ его не разъ и я!

— Ну, такъ вотъ онъ и скупилъ весь сахаръ изъ нашихъ лавокъ; а наши дураки его продали, себѣ даже ничего не оставили!

— Потому хорошую цѣну далъ, ну, и продали. По пяти копеекъ на кадакъ (фунтъ) набавилъ—какъ не продать?!

— А вѣрно ты, бай, самъ тоже свой продалъ, что вступился? Такъ, что-ли?—засмѣялся Исса-Богузъ.

— До моихъ торговъ нѣтъ тебѣ дѣла!—огрызнулся Шарипъ.

— Такъ вотъ,—продолжалъ Мушанъ-Али,—караваны ихніе придутъ еще, пожалуй, черезъ мѣсяцъ, а то и больше; сахаръ-то весь въ его рукахъ. Какую цѣну захочетъ, такую и запроситъ.Его воля!

— Хорошую цѣну возьметъ!—почесалъ затылокъ сосѣдъ...

— Ярмъ-цѣлковый (полтинникъ) за фунтъ... Мнѣ говорили сегодня утромъ!—вмѣшался еврей, торговецъ крашеннымъ шелкомъ, все время прислушивавшійся изъ-подъ своего навѣса напротивъ къ разговору въ чайной лавкѣ.

— Слышите, что джюгудъ (еврей, жидъ) говоритъ: ярмъ-цѣлковый!

— Ой, ой, какія деньги загребетъ!—покачалъ головой сѣдой мулла и понюхалъ табаку изъ своей тыквяной бутылочки.

— Будто наши не могли сами продавать свой сахаръ въ русскій городъ!—пожалъ плечами Исса-Богузъ.

— А ты спроси вонъ у него, онъ возилъ на прошлой недѣлѣ, десять пудовъ возилъ,—хорошо-ли продалъ?

Мушанъ-Али указалъ на таджика въ розовомъ ситцевомъ халатѣ, прятавшаго въ эту минуту себѣ за пазуху остатки недоѣденной лепешки.

— И не спрашивай!—махнулъ тотъ рукою.

— Что, или плохи барыши были?—засмѣялся Исса-Богузъ.

Только вздохнулъ въ отвѣтъ розовый халатъ и, шагая черезъ ноги гостей, началъ пробираться къ выходу.

— А не пора-ли и мнѣ въ свой караванъ-серай?—поднялся тоже на ноги Шарипъ-бай и началъ отыскивать свои туфли, «ичеги», между цѣлыми рядами верхней обуви, стоявшей на ступеняхъ лавочнаго возвышенія.

— Слышалъ: «караванъ-серай»! — подтолкнулъ локтемъ Мушанъ-Али одного изъ сосѣдей.—Только успѣлъ завести лавку побольше, чѣмъ у другихъ, уже караванъ-сераемъ величаетъ...

— Таджикъ — хвастунъ, сартъ!—презрительно сплюнулъ въ сторону сосѣдъ.

— «Сартъ»! Да ты-то кто самъ?—остановился въ вызывающей позѣ Шарипъ-бай и пристально посмотрѣлъ черезъ плечо на говорившаго.

— Я... я кто? Я узбекъ, природный узбекъ, а не...

— Э, э, э! Зачѣмъ ссору заводить? Не надо ссоры заводить... Эй, бай, не хорошо!—вмѣшался хозяинъ лавки.

— Великъ Аллахъ, и гроза, и солнце въ рукахъ его!—бормоталъ мулла одинъ изъ стиховъ корана.

Звуки бубна и погремушекъ медленно приближались съ правой стороны, изъ-за угла мечети, выдвинувшейся къ самому базару. Толпа быстро густѣла; въ сосѣднихъ лавкахъ замѣтно было особенное движеніе: торговцы запахивали свои халаты и выбирались изъ-за сундуковъ съ товарами на пороги лавокъ... десятка два мальчишекъ скакали и бѣсновались по улицѣ, ловко увертываясь между лошадиныхъ ногъ, прыгая по камнямъ, положеннымъ, какъ переходы, черезъ топкую, черную грязь улицы.

— Святые идутъ!—пронесся крикъ изъ толпы.

— Дорогу, дорогу дайте!..

Посѣтители лавки Исса-Богуза тоже поспѣшили перебраться къ порогу.

Серединою улицы шла группа «дивона» изъ шести человѣкъ.

Грязные, покрытые саломъ, присохшими объѣдками, на нѣсколько шаговъ вокругъ заражающіе воздухъ халаты не доставали до колѣнъ и рваною бахромою трепались по голымъ, костлявымъ ногамъ монаховъ. Эти халаты пестрѣли самыми разнообразными цвѣтами; казалось, они были сшиты изъ все-

возможныхъ образчиковъ матерій, такъ они были покрыты заплатами. У каждаго черезъ плечо висѣла холщевая сума на веревкѣ. Поясы у всѣхъ были обвѣшаны кисточками, звонками и разными путевыми предметами; главную роль тутъ играли ножи, сверкавшіе, несмотря на грязь и нищету всего костюма, серебряными бляшками и бѣлыми костяными головками черенковъ. На головахъ, небритыхъ, какъ у всѣхъ мусульманъ центральной Азіи, надѣты были высокія, конусообразныя шапки, клѣтчатыя—черное съ зеленымъ; края этихъ шапокъ оторочены были бахромою, совершенно сливающеюся съ грязными, сбитыми въ колтунъ волосами.

Эти шапки «дивона» почти никогда не снимаютъ. Что должно быть тамъ, подъ этими тяжелыми, теплыми колпаками?

Полосы грязнаго пота струились по исхудалымъ, фанатическимъ лицамъ. Босыя ноги тяжело, безъ разбору дороги ступали и мѣсили уличную грязь, никогда непросыхающую подъ навѣсами базаровъ.

За спинами этихъ юродивыхъ висѣли большіе бубны, затянутые бычачьимъ пузыремъ и обвѣшанные бубенчиками и побрякушками. Странный, чрезвычайно непріятный, раздражающій нервы, сухой металлическій звукъ издавали эти инструменты при каждомъ движеніи дивона.

Въ рукахъ у нихъ были тяжелыя, точеныя палицы изъ темнаго орѣха, окованныя желѣзомъ, снабженныя на концахъ остріемъ въ видѣ пики.

Шли эти монахи всѣ пятеро въ рядъ, занявъ почти всю ширину улицы. Одинъ, шестой, шелъ впереди, мѣрно, черезъ шагъ ударяя въ бубенъ кусочкомъ толстой подошвенной кожи.

Это былъ совсѣмъ уже одряхлѣвшій старикъ. Онъ шелъ, согнувшись въ поясницѣ и ковыляя на своихъ кривыхъ ногахъ, тощихъ, какъ ноги скелета, чуть обтянутыя кожею. Беззубый ротъ шевелился, причитая что-то непонятное. Изъ подъ косматыхъ, совершенно сѣдыхъ бровей тупо смотрѣли желтоватыя бѣльма и придавали всему лицу что-то страшное, отталкивающее.

— Самъ «Магома-Тузай», слѣпой «Магома!»—тихо, шопотомъ пробѣжало въ толпѣ.

— Здѣсь!—остановился одинъ изъ дивона, чернобородый атлетъ, и съ размаха воткнулъ въ землю свою палицу.

«Благословеніе и миръ мѣсту, гдѣ остановятся, о, Аллахъ, твои служители!» пробормоталъ Магома-Тузай и тяжело опустился сперва на колѣни, потомъ, откачнувшись, какъ верблюдъ, съ котораго хотятъ снять вьюки, сѣлъ на свои мозолистыя, корявыя пятки.

Всѣ остальные дивона сѣли сзади него, полукругомъ.

Передъ старикомъ поставлена была деревянная чашка для сбора приношеній.

— Аллахъ отобралъ отъ стада своихъ любимыхъ овецъ и далъ имъ то, чего лишены были остальныя. Онъ далъ имъ способность видѣть то, чего не видятъ другія. Смотрѣть впередъ и знать все, что встрѣтится на дорогѣ, когда другія могутъ только знать то, что пройдено ими!

— Что онъ говоритъ? Ничего не слышно! — произнесъ довольно громко хозяинъ чайной лавки, Исса-Богузъ.

— Тише ты, горластый! — крикнулъ кто-то изъ толпы.

— Да когда и вправду не слышно, что толку. Говори, старикъ, громче! — поддержалъ Богуза акъ-сакалъ Годдай-Агал-лыкъ, остановившись верхомъ на своемъ конѣ передъ его лавкою.

— Не перебивайте вы!

— Да тише-же!.. Эй, перестаньте тамъ посудою брякать! Да уйми-же, собака, своего осла!

— Шевелитъ только своими дохлыми губами; ничего не разберешь... — проворчалъ Шарипъ-бай, не ушедшій только потому въ свой караванъ-серай, что хотѣлось тоже послушать проповѣдь.

— Да скорчитъ пророкъ твою спину и пошлетъ нѣмоту на поганый языкъ твой за эти слова! — прошипѣлъ сѣдобородый мулла.

— Ну, гляди, самъ на себя не накликай!

На ноги поднялся тотъ самый чернобородый дивона-атлетъ и потрясъ надъ головою своимъ бубномъ.

— Гмъ, гмъ... — откашлялся онъ, и это громовое откашливаніе, покрывшее собою гулъ толпы, обѣщало могучій голосъ, такой, что не заглушатъ его ни говоръ, ни бряканіе посуды, ни даже завыванія безпокойнаго осла, длинныя уши котораго шевелились между двухъ рогастыхъ вязанокъ топлива.

— Вотъ это такъ!

— Эко рявкнулъ!

Послышались одобрительные возгласы.

— Тринадцатый десятокъ лѣтъ лежитъ на плечахъ праведника!—началъ чернобородый, указавъ рукою, сжатою въ кулакъ, на замолчавшаго Магома-Тузая.

— Ой, ой, какой старый!—покачалъ головою одинъ изъ зрителей.

— Что за старый,—презрительно пожалъ плечами хвастунъ Шарипъ-бай, — моему отцу, еслибъ онъ остался живъ, теперь было-бы пятнадцать десятковъ!

— Попался-бы ты мнѣ три года тому назадъ *)!—шепталъ сѣдобородый мулла.

— Торба съ ячменемъ не всегда виситъ у коня на мордѣ **)!—усмѣхнулся Шарипъ-бай.

— Время отняло у него силу голоса,—ревѣлъ чернобородый,—но прибавило ему ума... Умъ его, голосъ мой... я начинаю!..

Онъ сѣлъ на корточки рядомъ съ Магома-Тузаемъ, который шепталъ ему что-то на ухо, другой дивона сѣлъ передъ нимъ, шагахъ въ четырехъ, да такъ и уставился глазами на проповѣдника.

Его обязанность была вторить проповѣднику и умѣстно поставленными вопросами и перерывами оттѣнять извѣстныя мѣста проповѣди.

Глухо забренчали, разомъ поднятые надъ головами, бубны. Дивона учащенно закивали своими колпаками. Магома-Тузай поднялъ глаза къ небу, которое, впрочемъ, скрыто было отъ него, какъ его слѣпотою, такъ и закоптѣлымъ навѣсомъ базара, и сильно три раза ударилъ себя кулакомъ въ грудь.

Дивона-атлетъ началъ:

О бѣломъ верблюдѣ ***).

Была земля. На этой землѣ стояло вѣчное лѣто, потому что деревья, трава, кусты были вѣчно зелены... На этой землѣ

---

*) Намекъ на бухарское владычество, когда вся сила была въ рукахъ духовенства.

**) Мѣстная пословица, по смыслу подходящая къ нашей: „не все коту масляница“.

***) Одна изъ проповѣдей, записанныхъ докторомъ Авдіевымъ въ 1867 году; мусульманское духовенство, возбуждая народъ къ поголовному возстанію противъ русскихъ, къ „хазаватъ“ (священной войнѣ), разсылало по городамъ своихъ агентовъ—„дивона“ съ подобными подстрекательными рѣчами.

была вѣчная весна, потому что вѣчно все цвѣло, и никогда не вяли красныя махровыя розы... и какъ-же эти розы хорошо пахли!.. На этой землѣ былъ вѣчный день, потому что солнце стояло на одномъ мѣстѣ, какъ-разъ посрединѣ неба...

— О, Аллахъ, какая это была хорошая земля!..—удивился другой дивона.—Слушайте, слушайте, правовѣрные!

— На землѣ этой былъ вѣчный отдыхъ, потому что зачѣмъ было трудиться и работать, когда все было готово, все подъ руками. Всѣ деревья были снизу до верху покрыты плодами, и если ты сорвалъ одинъ, на томъ-же мѣстѣ сейчасъ выросталъ другой. Бараны паслись уже совсѣмъ готовые, вареные и жареные... молоко текло по всѣмъ арыкамъ!

— И даже вездѣ были зарыты колодцы съ бузою! *)—провозгласилъ дивона, сидѣвшій напротивъ.

— Нѣтъ, колодцевъ съ бузою не было!—кротко остановилъ его чернобородый.

— Какъ не было?! Я самъ...

— Не перебивай не кстати!

— И на этой-то счастливой землѣ жили вѣчно счастливые люди!

Снова загудѣли бубны. Разсказчикъ перевелъ духъ и запилъ изъ поданной имъ чашки. Магома-Тузай снова принялся ему шептать на ухо.

— Земля эта принадлежала бѣлому верблюду... Чистый, самимъ Аллахомъ посланный на землю, онъ жилъ на этихъ блаженныхъ лугахъ, ѣлъ однѣ розы, пилъ чистое молоко, спалъ на шелковыхъ халатахъ и одѣялахъ!

— Что за житье было этому верблюду!—вскрикнулъ другой дивона.

— А развѣ людямъ было хуже?—замѣтилъ проповѣдникъ.

— Кто говорилъ, что худо, и людямъ хорошо, только за что-же людямъ все это давалось, мнѣ кажется, что они этого не стоили!

— Нѣтъ, стоили, потому что были очень хорошіе мусульмане, не то, что нынѣшніе!

— Ну, гдѣ теперешнимъ!—согласился другой дивона.

---

*) Хмѣльный напитокъ—первобытное пиво.

— Люди должны были знать только одно дѣло—это ходить за бѣлымъ верблюдомъ, они должны были рвать ему розы, подавать молоко и подстилать на ночь одѣяло. Они должны были чистить его, мыть и обливать розовымъ масломъ. Вотъ все, что они должны были дѣлать!

— И какъ, подумаешь, мало было дѣла!.. И за такую малость жить на такой блаженной землѣ!

— Великъ и многомилостивъ Аллахъ: онъ не хотѣлъ налагать на плечи человѣка тяжелаго груза!

— И долго жили на этой счастливой землѣ счастливые люди; жили-бы и теперь, но...

Чернобородый вдругъ зарыдалъ, вцѣпился себѣ руками въ бороду и ожесточенно принялся теребить грязные волосы. Грустно опустилъ голову на грудь Магома-Тузай, остальные дивона затянули протяжную, плачевную ноту.

Въ этихъ заунывныхъ звукахъ, въ этихъ всхлипываніяхъ, прорывающихся въ монотонномъ дребезжаніи бубенъ, въ этой мертвой тишинѣ, охватившей всю толпу, было что-то странное, тоскливо сжимающее сердце, тяжелое, отъ чего свѣжему человѣку хотѣлось-бы, во что-бы то ни стало, отдѣлаться, какъ отъ давящаго кошмара.

И Шарипъ-бай пересталъ язвительно улыбаться, и Иссa-Богузъ потупилъ глаза въ землю, и большинство слушателей занялось упорнымъ созерцаніемъ почвы у себя подъ ногами. Только сѣдобородый мулла торжествовалъ и смѣло глядѣлъ на толпу какимъ-то вызывающимъ взглядомъ.

— Но эти люди стали забывать служить бѣлому верблюду!— прорвался сквозь общее рыданіе всего хора дивона голосъ чернобородаго.

И все разомъ затихло.

— Разъ они не принесли ему розъ. «Зачѣмъ, думаютъ, когда онъ самъ можетъ нарвать себѣ, сколько угодно»; другой разъ они забыли поднести молоко къ его мордѣ. «Зачѣмъ, думаютъ, когда оно течетъ у него подъ ногами». А разъ такъ даже забыли подостлать ему для спанья одѣяло!

— О, неблагодарные, о, нарцивыя собаки, они только не забывали думать о своихъ животахъ!

— Нахмурилъ Аллахъ свои грозныя брови—и потемнѣло вѣчно сверкающее солнце. Холодомъ пронесло надъ землею, и

надвинулись съ сѣвера, изъ-за ледяныхъ горъ, черныя, тяжелыя тучи.

— У-ухъ!—разомъ произнесли всѣ дивона и затряслись подъ своими халатами.

— Не унялись дурные люди, не поклонились они бѣлому верблюду, не стали просить его умилостивить грознаго Аллаха, а еще сами разсердились на святое животное. «Изъ-за твоей лѣни все Богъ посылаетъ намъ бѣды», сказали они и со злостью отвернулись.

— Несчастные, они сами на себя накликали свою погибель!

— По ледянымъ горамъ загремѣлъ громъ... Ярче прежняго солнца загорѣлась въ тучахъ кровавая молнія. Завылъ вѣтеръ съ сѣвера, и въ этомъ вѣтрѣ завыло еще что то страшное, чего люди еще и не слыхивали. То выли проклятые сѣверные волки. Черезъ ледяныя горы, изъ ледяной страны, безчисленными стаями шли голодные звѣри. Изъ ихъ открытыхъ пастей валилъ смрадный дымъ, изъ гортаней вылеталъ расплавленный свинецъ и чугунъ, и поражалъ смертью все встрѣчное. У этихъ волковъ были стальные зубы—острые, крѣпкіе, и никакая кольчуга не могла защитить тѣло отъ этихъ страшныхъ клыковъ. Волки эти были всѣ бѣлые, и шли они рядами, и, казалось, конца не будетъ этимъ рядамъ, такъ ихъ было много. Дорога передъ ними была зеленая, сзади-же красная Красная потому, что вся земля покрывалась кровью. И цѣпенѣли отъ ужаса всѣ люди!

— Еще-бы не оцѣпенѣть! Этакія страсти!—ввернулъ другой дивона.

— Ринулись волки на бѣлаго верблюда, принялись жечь его своими раскаленными языками, рвать стальными зубами, и полилась святая кровь на землю, и подогнулись крѣпкія колѣна бѣднаго животнаго. Упалъ бѣлый верблюдъ. Разомъ потухло солнце; холодъ и смерть стали на землѣ, замерзли рѣки, высохли деревья, и погибшая земля покрылась бѣлымъ снѣгомъ. Такъ настало волчье царство! Залился слезами умирающій верблюдъ и громко вскрикнулъ: Аллахъ многомилостивый, пощади свой народъ, онъ еще исправится и будетъ помнить твою грозную волю! И отвѣчалъ Аллахъ: Ну, хорошо, еще не все потеряно, я прогоню отъ васъ этихъ волковъ, только...

— Пойдемъ-ка, братъ, къ начальнику; тамъ вашего брата уже одиннадцать человѣкъ забрано! — вывернулся изъ толпы уральскій казакъ въ армячинной рубахѣ и схватилъ чернобородаго за воротъ.

— Кой! (оставь),—заревѣлъ тотъ и сильно толкнулъ казака.

Тотъ упалъ отъ этого могучаго толчка, способнаго сбить съ ногъ даже дюжую лошадь.

Всѣ дивона вскочили на ноги. Стараго Магома-Тузая окружила заволновавшаяся толпа. Глухой ропотъ пробѣжалъ подъ базарными сводами.

— Ну, васъ къ чорту!—заворчалъ Исса-Богузъ и поспѣшно сталъ задвигать досками входъ въ свою лавку.

— Уйти, пока чего не вышло!—попятился задомъ Шарипъ-бай.

— Бей его!—крикнулъ кто-то въ толпѣ.

Человѣка четыре накинулись на казака, только-что успѣвшаго подняться на ноги.

— Брось, брось! Не трогать!—ринулся въ толпу акъ-сакалъ Годдай-Агаллыкъ и раздвинулъ ее своею лошадью.

Сзади, въ базарномъ выѣздѣ, показались силуэты горбоносыхъ конскихъ мордъ и замелькали темныя фигуры съ торчащими за плечами концами винтовокъ.

Въ кулакѣ чернобородаго сверкнулъ ножъ, тяжелыя палицы дивона взмахнули высоко въ воздухѣ.

— Въ ножи ихъ!—громко крикнулъ сѣдобородый мулла и, махая рукою, съ пѣною у рта, ничего не видя, не сознавая, ринулся на казаковъ въ какомъ-то изступленномъ азартѣ.

— Свяжи его, дурака стараго, кушакомъ! — распорядился казачій офицеръ, командовавшій коннымъ патрулемъ.

Толпа быстро стала расходиться.

— Предатели! Второй разъ предали волкамъ бѣлаго верблюда! — задыхаясь, кричалъ сѣдобородый мулла, барахтаясь въ казачьихъ рукахъ.

Ему на голову накинули башлыкъ и закрутили концы его на шеѣ.

— Что-же меня вязать? Я и такъ пойду!—кротко, слезливо глядя по сторонамъ, бормоталъ Магома-Тузай.

— А гдѣ еще одинъ, самый-то разсказчикъ

— Чернобородый? Онъ сюда побѣжалъ вотъ въ этотъ переулокъ!—кричалъ Исса-Богузъ, указывая налѣво.

— Я тоже видѣлъ: сюда!—указалъ нагайкою акъ-сакалъ Годдай-Агаллыкъ.

— Здѣсь, здѣсь!—кричалъ таджикъ Хакимъ, мясникъ.— У меня, за бурьяномъ, на задворкѣ спрятался!

Кинулись на крикъ три казака и изъ народа человѣка четыре и вытащили со двора на улицу «чернобородаго», волкомъ озиравшагося на толпу и на-скоро шарившаго у себя на поясѣ рукою.

Онъ ножа искалъ; думалъ, что виситъ у него на своемъ мѣстѣ, и забылъ совсѣмъ, что обронилъ его, когда прыгалъ черезъ сундуки джюгуда Иссака, пробираясь къ Хакимову задворку.

И поволокли конные казаки злополучныхъ дивона къ коканскимъ воротамъ, на русскую половину, къ допросу, въ канцелярію начальника города.

И снова закипѣла встревоженная этимъ эпизодомъ базарная жизнь, и снова повалилъ народъ въ чайную лавку Исса-Богуза. Зашуршали пріостановившіяся на время точильныя колеса, застучали молотки въ лавкахъ мѣдныхъ и серебряныхъ дѣлъ мастеровъ, и зашипѣлъ кипятокъ, полившись изъ самоварныхъ крановъ въ мѣдные чеканенные кунганчики.

Богузъ громко крикнулъ:

— Эй, вы, батча, подавай живѣе! Гляди, тамъ въ углѣ «бай» чаю спрашиваетъ!

X.

Купцы изъ «Кэрмине».

Въ разстояніи полуверсты отъ центральнаго базара, перебравшись черезъ довольно плохой деревянный мостъ, перекинутый черезъ оврагъ Бо-су, дорога раздваивается: одна идетъ нѣсколько лѣвѣе, къ базару, другая же круто поворачиваетъ направо и, лѣпясь по обрывистому берегу, безчисленными зигзагами выводитъ въ жилую часть города, занятую преимущественно домами мѣстной аристократіи и только крупными торговыми дѣятелями, имѣющими здѣсь свои обширные караванъ-сераи.

Наружный видъ этой части города, несмотря на отборность ея населенія, мало чѣмъ отличается отъ остальныхъ частей, заселенныхъ болѣе скромными обитателями: тѣ же узкія улицы, тѣ же приземистыя сакли съ плоскими крышами, та же грязь по колѣна въ дождливое время, а въ сухое—мелкая, сѣрая пыль, полуаршиннымъ слоемъ лежащая на дорогѣ. Ни одного окна, ни одной двери не ведетъ прямо на улицу; все это смотритъ во внутрь, сосредоточивая замкнутую жизнь въ своихъ «хане» (дворахъ), скрытыхъ отъ глазъ посторонняго наблюдателя.

Мертвая тишина стоитъ здѣсь; пусты улицы, лежащія въ сторонѣ базарныхъ, проѣздныхъ линій; только въ извѣстные промежутки времени важно проѣзжаютъ по нимъ верхомъ на аргамакахъ сановные обитатели, сопровождаемые пѣшею прислугою. Да на крышахъ, между зеленью выглядывающихъ изъ-за нихъ фруктовыхъ деревьевъ и стройныхъ, пирамидальныхъ тополей, мелькнетъ иногда цвѣтной рукавъ шелковой рубахи, сверкнутъ два живые глаза изъ-подъ накинутаго на голову халата, прозвенитъ колокольчикомъ голосъ ребенка или послышится веселый женскій смѣхъ, внезапно оборвавшійся, будто-бы затворница вó-время спохватилась, сама испугавшись своей смѣлости.

Немного дальше, почти на рубежѣ этой мертвой части города съ живою базарною, виднѣются высокія ворота караванъ-сераевъ и приплюснутые куполы мечетей. Темно-зеленыя группы развѣсистыхъ карагачей бросаютъ густую тѣнь на поверхность заплѣсневѣлыхъ прудовъ—водныхъ резервуаровъ города. Вздѣ, гдѣ только улица становится шире, образуя небольшія площадки, лежатъ ряды отдыхающихъ верблюдовъ, стоятъ распряженныя арбы, снуютъ и суетятся лаучи и арбакеши. Новые, еще неразгруженные караваны тянутся по улицамъ и сворачиваютъ въ ворота караванъ-сераевъ. Полукруглыя, заостренныя кверху арки словно всасываютъ въ себя эти цѣпи верблюдовъ, проглатывая одного за другимъ вмѣстѣ съ ихъ вьюками, качающимися по бокамъ, съ ихъ всадниками, кивающими съ высоты сѣдла своими мѣховыми малахаями.

Здѣсь уже шумъ, оживленіе,—не тотъ нестройный, неопредѣленный шумъ базара, а что-то совсѣмъ особенное, опредѣленное; наблюдатель только по слуху еще издали можетъ ра-

зобрать, гдѣ что дѣлается, чѣмъ тотъ или другой караванъ-серай занятъ.

— У Шарофея чай и табакъ вьючатъ!—говоритъ караванъ-башъ Мангитъ, отбирая верблюдовъ, черезчуръ ужъ потершихъ себѣ спину.

— У русскаго купца опять собрался народъ: все съ желѣзомъ не можетъ покончить!—говоритъ другой. — Смотри, Ахматъ промѣнялъ-таки своихъ двухъ «наровъ» (одногорбый верблюдъ изъ Андкуи): взялъ четырехъ «тюя» (двугорбыхъ) и ишака авганскаго,—здоровая скотина: я видѣлъ, больше лошади поднимаетъ!

Въ этой-то части города и находился новый караванъ Перловича, передѣланный имъ недавно изъ остатковъ индійскаго караванъ-серая, сгорѣвшаго во время недавняго землетрясенія.

Этотъ караванъ-серай былъ отдѣланъ очень роскошно, сообразно съ мѣстными условіями. Недаромъ пріѣзжіе изъ Бухары и Кокана купцы считали первымъ долгомъ завернуть къ «богатому русскому купцу Станиславу-баю-Перловичу»,—его имя безъ частицы «бай» теперь уже не произносилось,—и полюбоваться его просторными навѣсами для отдыха прислуги, крытыми, чистыми складами для товара, тѣнистыми галлереями вокругъ всего двора и почти единственнымъ прудомъ—«хаузъ», непокрытымъ зеленою плѣсенью и незаражающимъ воздухъ, какъ большинство остальныхъ городскихъ резервуаровъ.

Едва только посѣтитель въѣзжалъ въ ворота, ему не приходилось привязывать свою лошадь, гдѣ попало, на солнопекѣ: для этого ему тотчасъ указывали на сараи вдоль стѣнъ, съ правой стороны воротъ, гдѣ все было уже заранѣе прилажено для своего назначенія. Пройдя черезъ первый дворъ, посѣтитель уже пѣшкомъ попадалъ на второй, нѣсколько меньшихъ размѣровъ. Часть этого двора была занята «хаузомъ», къ которому вели арыки, вводя въ него чистую воду и выводя ее потомъ другими путями далѣе. Посреди другой части находилось довольно большое, четырехугольное возвышеніе, глинобитное, расположенное такъ, что какъ-разъ приходилось подъ густою тѣнью карагачей, роскошною группою поднимающихся посрединѣ двора. Здѣсь помѣщены были большіе вѣсы, съ поднятыхъ лотковъ которыхъ товарные тюки можно было прямо

накатывать на арбяныя платформы. Цѣлый рядъ полуворотъ велъ въ просторные пакгаузы, а лѣвѣе, подъ навѣсомъ, поддерживаемымъ точеными колонками въ мѣстномъ вкусѣ, расписанными яркими красками и позолотою, находилась рѣзная дверь, ведущая въ помѣщеніе самого хозяина и пріемныя для его гостей.

Перловичу часто приходилось, по своимъ торговымъ дѣламъ, по цѣлымъ днямъ проводить въ караванъ-сераѣ, и потому все здѣсь было имъ приспособлено для жизни такъ-же, какъ и въ его городскомъ домѣ.

— Хорошо обстроился, очень хорошо!—говорилъ его сосѣдъ Саидъ-Азимъ-бай, побывавъ въ новомъ помѣщеніи Перловича и вернувшись домой.

— Гмъ, хорошо; я думаю, у эмира въ Бухарѣ хуже!—соглашался съ нимъ его тамыръ (пріятель) Шарофей и, взявшись за луку своего краснаго, раззолоченнаго сѣдла (онъ собирался уѣзжать), остановился, взглянулъ въ ту сторону, гдѣ изъ-за стѣны виднѣлись вершины карагачей въ русскомъ караванъ-сераѣ, и добавилъ, улыбнувшись:

— Хорошій человѣкъ этотъ Станиславъ-бай-Перловичъ!

— Хорошій хозяинъ!—поправилъ его Саидъ-Азимъ, сдѣлавъ особенное удареніе на словѣ «хозяинъ».

Станиславъ Матвѣевичъ только-что вернулся изъ города. Онъ слѣзъ съ лошади, бросилъ поводья черномазому татарину-конюху, расправилъ колѣна, щелкнулъ нагайкой по лакированному раструбу сапога и тихонько поднялся на ступеньки крыльца.

Четыре бѣлыхъ чалмы разомъ произнесли «хопъ» и «аманъ», нагнулись въ поясъ и показали ему верхушки красныхъ тюбетеекъ, вокругъ которыхъ намотано было полотно чалмъ.

— Кто такіе?—обернулся Перловичъ къ Шарипу, встрѣтившему его на порогѣ.

— Купцы изъ Кэрмине, по вчерашнему дѣлу!—отвѣчалъ старый Шаринъ, съ почтеніемъ принимая отъ своего хозяина шапку, перчатки и нагайку.

— Будьте здоровы! Милости просимъ въ домъ! Давно здѣсь?

Четыре чалмы поднялись такъ-же одновременно, какъ и опустились, и открыли четыре бородатыхъ лица узбекскаго типа.

— Пришли вотъ опять къ тебѣ; были у сосѣда твоего, почтеннаго, достославнаго Саида-Азима-бая; обѣщалъ тоже придти сегодня сюда, чтобы ужъ все кончить!—произнесъ одинъ изъ купцовъ и, предупредительно рванувшись впередъ, сжалъ легонько обѣими ладонями протянутую ему руку.

— Придетъ, Саидъ придетъ; онъ мнѣ говорилъ утромъ. Ну, подождите, пока Шарипъ дастарханъ *) приготовитъ!— распорядился Перловичъ, здороваясь поочередно съ купцами.— Ну, хорошъ путь былъ?

— Твоимъ благочестіемъ доѣхали благополучно! Въ Кызылъ-Купыръ на границѣ взяли съ насъ одинъ разъ зякетъ со всего товара, а потомъ въ Дюзакѣ еще разъ, вдвое противъ прежняго. Это такъ и слѣдуетъ?

— Стало быть, слѣдуетъ, когда берутъ. Прошу пожаловать!

Перловичъ прошелъ въ дверь и жестомъ пригласилъ узбековъ слѣдовать за собою. У самаго порога купцы сняли верхнюю обувь, остались только въ однихъ мягкихъ кожаныхъ сапогахъ, въ видѣ чулокъ, «мусса», и другъ за другомъ, пригнувъ головы, хотя дверь была настолько высока, что самый высокій человѣкъ не могъ бы достать до притолки верхушкою своей шапки, взошли въ прохладную пріемную, устланную полосатыми коврами, съ мягкимъ, нѣсколько возвышеннымъ сидѣньемъ вдоль стѣнъ комнаты.

Усѣлись. Перловичъ сѣлъ тоже, по туземному образцу, на коверъ. Два мальчика-батчи принесли кальянъ и подносы съ дастарханомъ.

Гости Станислава Матвѣевича въ первый разъ только находились въ Ташкентѣ. Они пришли съ караваномъ бухарскаго хлопка и табаку, который разсчитывали сбыть здѣсь и закупить партію русскихъ товаровъ, преимущественно ситцу и коленкору. Перловичъ черезъ своихъ агентовъ предложилъ имъ не дожидаться, пока распродастся товаръ, а промѣнять имъ ихъ грузъ на готовый товаръ изъ своихъ складовъ, конечно, съ нѣкоторою уступкою.

Дѣло было очень выгодно для Станислава Матвѣевича и небезвыгодно для купцовъ изъ Кэрмине, и сегодня эта сдѣлка

---

*) Угощеніе изъ разныхъ сластей, настолько-же неизбѣжное, какъ угощеніе чаемъ въ Москвѣ.

должна была оформиться и скрѣпиться; ждали только Саидъ-Азима, который тоже участвовалъ въ сдѣлкѣ, такъ какъ у Перловича въ настоящее время не оказалось всего количества нужнаго товара.

Свѣтлый четырехугольникъ отворенной настежь двери разомъ загородился массивною фигурою Саидъ-Азима.

— А, ну, теперь мы всѣ въ сборѣ!—произнесъ Перловичъ; онъ не здоровался съ вошедшимъ, потому что уже видался съ нимъ сегодня утромъ.

— Какъ же жарко!—вздохнулъ Саидъ и, приподнявъ свою кашемировую чалму, отеръ съ лица и головы потъ концомъ шелковаго пояса.

— У насъ еще жарче!—замѣтилъ одинъ изъ купцовъ.—Арыки пересохли; на Чапакъ-аша заперли воду и не даютъ на низы. Боятся наши, какъ бы рисъ не выгорѣлъ!

— Отчего же не даютъ?—спросилъ Перловичъ.

— Плотина, говорятъ, неисправна; отъ нашихъ народу въ Самаркандъ требуютъ для земляныхъ работъ!

— Послали?

— По человѣку съ каждаго десятка выслали. Много народу пошло; мы обогнали дорогою. Бекъ Заадинскій съ ними!

— Рахмедъ-инакъ?

— А то кто же. Онъ сидитъ пока крѣпко. Эмиръ ему халатъ прислалъ недавно!

— Халатъ!—презрительно скорчилъ губы Саидъ-Азимъ.—У васъ тамъ еще все халаты! Халатъ что... халатъ вздоръ, а вотъ это...

Онъ раздвинулъ руками свою густую, черную бороду и показалъ большую золотую медаль на владимірской лентѣ.

Не менѣе презрительно пожали плечами купцы изъ Кэрмине и только вскользь взглянули на этотъ яркій металлическій кружокъ, такъ и сверкавшій на лиловомъ бархатѣ Саидъ-Азимова халата.

— Всякому по заслугамъ,—равнодушно произнесъ одинъ изъ нихъ.

— А что-же твой муфти, пріятель? Пора-бы ему придти!—замѣтилъ Станиславъ Матвѣевичъ и поглядѣлъ на часы.

— Придетъ, черезъ полчаса придетъ!—отвѣчалъ Саидъ, прижавъ указательнымъ пальцемъ дырочку кальяна и собираясь

втянуть дымъ. — Я ему все велѣлъ приготовить; какъ придетъ, этимъ, — онъ кивнулъ головою на купцовъ,—придется только подписать, и дѣло сдѣлано!

— Да, надо-бы кончать,—заявилъ ближайшій узбекъ.— И мы-бы даромъ не теряли времени; нагрузились-бы и пошли!

— Поспѣете. Лопатинскихъ приказчиковъ видѣлъ: муку у Шарофея торгуютъ для послѣдняго подряда!

— Что-же, сторговали?—процѣдилъ сквозь зубы Перловичъ.

— Цѣну хорошую даютъ, отчего не продать!

— Дуракъ твой Шарофей!

— Что такъ?

— Сядетъ этотъ подлецъ у васъ у всѣхъ на шеѣ, помяните мое слово; все къ себѣ заберетъ; увидите тогда, спохватитесь—поздно будетъ!

— Всѣмъ дѣла хватитъ и намъ останется!—задумчиво произнесъ Саидъ-Азимъ.

— О комъ это онъ говоритъ?—спросилъ купецъ изъ Кэрмине.

Остальные переглянулись и стали тихо переговариваться.

— Вчера, я знаю,—шепнулъ Саидъ-Азимъ хозяину,—отъ него къ этимъ все-таки присылали, надбавку противъ нашего дѣлалъ...

— Какъ-же, дѣлалъ!—подтвердилъ купецъ, разслышавшій о чемъ идетъ рѣчь.

— И Аллахъ васъ спаси съ нимъ связываться: этотъ человѣкъ—ходячая ложь и обманъ!

— Да мы не потому, а какъ-же, когда мы тебѣ уже обѣщали?

— И хорошо сдѣлали; вышли бы иначе изъ Ташкента пѣшкомъ, въ однихъ халатахъ!

— Оборони пророкъ!

— Что-же ты такъ его чернишь сильно,—лукаво улыбнулся Саидъ-Азимъ,—или все за послѣдній подрядъ сердишься? Вѣдь, ишь, ты сколько грязи накидалъ на его голову!

— И Шарофей твой на всю жизнь мнѣ врагомъ сдѣлается, если продастъ ему муку. Лопнетъ онъ съ своимъ подрядомъ!

— То его дѣло, мнѣ что!

— Слушай. Скажи ему,—ты его сегодня увидишь еще,— скажи ему, что я сверхъ послѣдней Лопатинской цѣны по пяти копѣекъ на пудъ надбавки во всякомъ случаѣ дѣлаю!

— Въ убыткахъ будешь!—мотнулъ головою Саидъ-Азимъ, какъ-бы думая: «вѣдь вотъ чудакъ-то!»—Ужъ больно ты золъ на него. И чего это только вы не подѣлите? Отчего-же теперь наши купцы...

Быстро поднялся на ноги Станиславъ Матвѣевичъ и шагнулъ къ дверямъ. Ему послышались голоса на переднемъ дворѣ.

Собственно одинъ голосъ такъ поразилъ его...

— Коняку моего ты, краснощекій чурбанъ, привяжи гдѣ-нибудь. Сюда, что-ли? — говорилъ этотъ голосъ въ воротахъ.

— Лопатинъ пріѣхалъ!—произнесъ Саидъ-Азимъ, узнавъ голосъ.—Вонъ съ своего инохдоца слѣзаетъ!—говорилъ онъ, выглядывая за дверь.—Какой-же онъ, право, толстый!

Перловичъ быстро вышелъ изъ сакли.

Видимо, озадаченные, въ полнѣйшемъ недоумѣніи переглядывались между собою оставшіеся купцы. Уже изъ одного только того обстоятельства, что вчера вечеромъ, видимо, тайкомъ, были къ нимъ отъ Лопатина подсыльные, чтобы отбить отъ Перловича выгодную сдѣлку, пользуясь тѣмъ, что сдѣлка эта существовала пока только на словахъ, они догадались о враждѣ этихъ двухъ торговыхъ дѣятелей. Нѣсколько фразъ, вскользь брошенныхъ Перловичемъ, и послѣдній разговоръ его съ Саидъ-Азимомъ окончательно убѣдили ихъ въ этомъ. А тутъ вдругъ самъ къ нему пріѣхалъ! Что за диковина? Не могли наивные узбеки переварить этого обстоятельства.

— Смотри, подерутся сейчасъ!—шепнулъ одинъ другому.

— Онъ безъ ножа пошелъ? Ты не замѣтилъ?—спросилъ другой.

— Нѣтъ, что-то было въ рукахъ. «Жизнь человѣка и всякаго звѣря, большого и малаго, и птицы, и рыбы—все въ волѣ Аллаха!»

Пронзительный, раздирающій душу вопль пронесся по двору.

— Зарѣзалъ!—крикнулъ узбекъ и вскочилъ на ноги.

Поднялись и остальные трое, сильно поблѣднѣвшіе, смущенные, и поспѣшили къ порогу.

— Чему я обязанъ, дорогой мой Иванъ Илларіоновичъ... Вотъ неожиданность! Благодарю, тысячу разъ благодарю!

— Нѣтъ, что-же, я давно собирался...—Экъ онъ его ожегъ! И это часто случается?

Станиславъ Матвѣевичъ обнялъ Лопатина правою рукою за

талію, лѣвою же поддерживалъ его подъ локоть. Такимъ образомъ они взошли на крыльцо и остановились передъ дверью въ позахъ Чичикова и Манилова.

— Въ старыхъ постройкахъ ихъ попадается довольно много. Поди, скажи Шарипу, чтобы масломъ деревяннымъ тебя намазалъ скорѣе!—обернулся Перловичъ къ одному изъ мальчиковъ-конюховъ, присѣвшему на землю и скорчившемуся отъ невыносимой боли.

— Какіе эти скорпіоны ядовитые... Онъ, вѣрно, наступилъ на него! Что, это не очень опасно? — спрашивалъ Лопатинъ.

— Пустяки, сегодня-же къ вечеру здоровъ будетъ,—отвѣчалъ Перловичъ;—но что это больно — то, дѣйствительно, ужасно! Я сейчасъ велю подать стулья... Эй, Шаринъ! Мы, знаете, обжились здѣсь, привыкли ужъ просто на коврахъ!

— Въ повалку-то?..

— А то пойдемте, пожалуй, на другую половину, на европейскую,—я ее называю европейской потому, что она меблирована по-нашему. Туда намъ подадутъ кое-чего со льдомъ, vous comprenez?

— Отчего-же не здѣсь? Тутъ такъ прохладно. А, Саидъ-Азимъ, пріятель, здорово! А я было къ тебѣ тоже заѣзжалъ, да говорятъ, изъ дому уѣхалъ. Ахъ, ты, старый грѣховодникъ!

Лопатинъ потрепалъ Саидъ-Азима по животу.

— Ну, экъ!—икнулъ тотъ, однако улыбнулся и произнесъ:—Другой разъ придешь, дома буду!

— Мы пойдемъ! — робко подступилъ одинъ изъ купцовъ.

Перловичъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— А вотъ и мой мулла муфтій пришелъ,—сказалъ Саидъ-Азимъ.—Мы сейчасъ и къ дѣлу можемъ прис...

Онъ разомъ остановился, почувствовавъ, какъ Перловичъ дернулъ его за полу халата.

— Да я, можетъ быть, мѣшаю? Вы, пожалуйста, не стѣсняйтесь!—поспѣшилъ заявить Лопатинъ.

— Выведи ихъ на второй дворъ; я сейчасъ приду!—шепнулъ Перловичъ Саиду.

Маленькая, старческая фигурка въ необъятной чалмѣ, въ полосатомъ зеленомъ халатѣ, съ длиннымъ футляромъ подъ мышкою и сверточкомъ проклеенной прозрачной бумаги, сунулась

было въ дверь, но, замѣтивъ жестъ Саидъ-Азима, быстро юркнула назадъ и скрылась.

— Хорошо, хорошо, съ большимъ вкусомъ!—разсматривалъ Лопатинъ штучный потолокъ и алебастровыя украшенія стѣнъ, дѣлая видъ, что совершенно не замѣчаетъ ничего происходящаго.

Перловичъ проводилъ купцовъ за порогъ, Саидъ-Азимъ помедлилъ съ минуту, побарабанилъ пальцами по своему колѣну, съ видомъ человѣка, которому положительно спѣшить некуда, спросилъ Лопатина о состояніи его здоровья и здоровья его домашнихъ, порылся въ фисташкахъ, одномъ изъ основныхъ блюдъ дастархана, и потомъ уже вышелъ изъ сакли. Онъ переступилъ порогъ медленно, верхніе сапоги надѣлъ еще медленнѣе, за то, шагнувъ за дверь, сразу поддалъ ходу и почти бѣгомъ перешелъ дворовую площадку.

Въ саклѣ, гдѣ Саидъ разсчитывалъ найти купцовъ, ихъ не было... «Куда-же это они дѣлись?»—подумалъ онъ и сталъ оглядываться.

Крикливый голосъ муллы несся съ перваго двора... Грамотѣй горячился и что-то доказывалъ, тамъ-же слышны были и голоса купцовъ изъ Кэрмине.

— Ротъ, Саидъ-бай, они отъ дѣла отказываются!—кинулся на-встрѣчу Саидъ-Азиму его писецъ.

Вопросительно взглянулъ тотъ на купцовъ... Всѣ четверо стояли кучкою подъ карагачами и пощипывали бахрому своихъ поясовъ.

— Что-же это вы?—спокойно спросилъ ихъ Саидъ.

— Мнѣ что-же, я, пожалуй...—началъ одинъ изъ нихъ.—Да мой товаръ вмѣстѣ съ другими, какъ его выдѣлишь?

— И ты не хочешь?—улыбнувшись, обратился Саидъ къ другому.

— Я одинъ что? Какъ другіе. Вотъ они не хотятъ!

— А ты?

— Я ужъ вмѣстѣ со всѣми, какъ они, такъ и я.

— Ну, мулла, пиши договоръ. Печати съ вами?

— Мы печатей класть не будемъ и договора вашего не хотимъ. Мы ужъ лучше по-прежнему на базарѣ сдавать будемъ!

— Да вы чего это вѣтеръ перемѣнили: то съ одной стороны былъ, а теперь вонъ ужъ откуда дуть начало!

— Слушай, бай, ты одинъ съ нами дѣлай, а «того» не надо, Богъ съ нимъ. А то мы, пожалуй, съ другимъ, что вчера присылалъ къ намъ; у него въ глазахъ все-таки немного больше правды!

— А лучше всего, если мы по-прежнему, на базарѣ, хоть долго, а вѣрнѣе, а то съ вами связываться—еще бѣды наживешь!—выступилъ изъ группы другой купецъ.

— Ложь у васъ на языкѣ, ложь и въ глазахъ,—началъ третій, борода съ просѣдью, и съ укоромъ взглянулъ на Саидъ-Азима.—А вѣдь съ тобою, бай, прежде можно было дѣло дѣлать!

И, не сказавъ прощальнаго привѣтствія, купцы повернулись и, не спѣша, пошли къ воротамъ, мелькая изъ-подъ халатовъ зелеными задками своихъ туфель.

Вопросительно посмотрѣлъ мулла-муфтій на Саидъ-Азима и сталъ укладывать въ футляръ свои письменныя принадлежности: камышиныя перья, кривыя ножницы для обрѣзки этихъ камышинокъ, мѣдную ложечку для восковыхъ чернилъ, кисточку для намазыванія печатей и самыя печати, сердцеобразныя металлическія пластинки съ вычурными вырѣзными знаками.

Исподлобья смотрѣлъ Саидъ-Азимъ на удаляющихся купцовъ, и когда послѣдняя чалма скрылась за воротами, съ досадою плюнулъ въ сторону, прямо на отпечатокъ на пескѣ ноги одного изъ ушедшихъ.

Сильно бросившаяся въ глаза двуличность Станислава Матвѣевича разомъ пробудила все недовѣріе и подозрительность азіатской натуры.

А Перловичъ, сидя, какъ на иголкахъ, съ глазу на глазъ съ Иваномъ Илларіоновичемъ и давясь глотками холоднаго шампанскаго, ждалъ, когда-же это его позовутъ скрѣпить своею подписью ихъ выгодную сдѣлку.

— Какъ посмотрю я на васъ, на вашу предпріимчивость, на все это вокругъ васъ, какъ это все растетъ, обставляется, такъ мнѣ даже немного завидно становится, право!—говорилъ Лопатинъ и дружески, нѣсколько даже фамильярно, притиснулъ слегка къ столу холодную, сухую руку хозяина.

Саидъ-Азиму-баю въ эту минуту подавали его аргамака, и онъ, съ помощью конюховъ, лѣниво взбирался на свое высокое сѣдло. Неловко ему было, да и не хотѣлось какъ-то идти къ Перловичу объявить о несостоявшейся сдѣлкѣ, и онъ пре-

доставилъ это своему муфтію, который уже переминался на порогѣ съ ноги на ногу, придумывая оборотъ рѣчи, могущій менѣе всего обидѣть русскаго купца Станиславъ-бая.

Должно быть, на его языкъ навернулись, наконецъ, подходящія фразы, потому что мулла рѣшительно крякнулъ, оправился, сложилъ руки на желудкѣ и смѣло переступилъ порогъ комнаты.

XI.

На пристани.

Крещеный еврей Зимборгъ, отставной каптенармусъ одного изъ мѣстныхъ батальоновъ, пріѣхавъ изъ Ташкента домой въ Чиназъ, первымъ долгомъ распорядился, чтобы его супруга Амелія сама таскала въ погребъ изъ повозки боченки съ водкою и ящики съ бутылками. Лично онъ не могъ ей помочь въ этомъ, потому что ему надо было по очень спѣшному дѣлу тотчасъ же навѣстить товарища своего, отставного горниста Александра Вульфзона, тоже изъ евреевъ, содержателя единственной въ Чиназѣ гостинницы съ номерами для пріѣзжающихъ.

— Иди, иди, ужъ я безъ тебя управлюсь!—говорила ему супруга, тщательно заслоняя своею вертлявою особою темный промежутокъ между угломъ широкой двуспальной кровати и покосившимся шкафомъ съ посудою.

— Только смотри,—предостерегалъ ее супругъ,—чтобы у меня ни одна бутылка не оказалась разбитою: всѣ должны быть цѣлы; самъ укладывалъ и ѣхалъ потихоньку. Смотри!

Слово «разбитою» было произнесено съ какимъ-то особеннымъ удареніемъ; очевидно, что это былъ намекъ на какое-нибудь извѣстное обстоятельство; къ тому-же и худощавое, бойкое лицо Амеліи вспыхнуло при этомъ словѣ, и она съ досадою произнесла:

— Стану-ли я еще эдакую скверность пить! Не найду будто лучшаго!

А выждавъ, когда мужъ ея скрылся за поворотомъ въ переулокъ, произнесла болѣе ласково:

— Ну, ступай теперь, Ваня, да скорѣе, а то встрѣтитесь съ мужемъ, опять раздеретесь на всю улицу, какъ въ прошлый разъ... что хорошаго!

— Конечно, что хорошаго!—согласился щеголь фельдшеръ Ваня и, чмокнувъ на ходу хозяйку въ ея потную щеку, юркнулъ за дверь, оттуда въ калитку на задворокъ, перелѣзъ черезъ заборъ и пошелъ себѣ вольготно по базарной улицѣ, закуривая смятую папиросу.

Александръ Вульфзонъ былъ занятъ наклеиваніемъ заплатъ на бильярдное сукно, прорванное вчера подвыпившими юнкерами, когда къ нему пришелъ его пріятель.

— Здорово, что новаго?—произнесъ онъ, завидя входящаго Зимборга.

— А поди сюда!—подманилъ его пальцемъ тотъ.

И между ними началось оживленное совѣщаніе.

— Амелія! — крикнулъ эксъ-горнистъ своей супругѣ (у него тоже была супруга Амелія).—Поди, скажи, чтобы ту комнату съ передней, что въ три окна на дворъ, вымели чисто-начисто, коверъ постлали и клоповъ изъ дивана кипяткомъ выпарили!

Это распоряженіе было результатомъ совѣщанія.

— Кого такое ждешь?—протянула откуда-то супруга.

— А тебѣ что?—такъ-же протянулъ супругъ.

— А зачѣмъ мнѣ не сказать?

— А затѣмъ, что не надо, — отвѣтилъ сначала Вульфзонъ, но потомъ подумалъ и произнесъ: — Лопатина, вотъ кого. Ну, теперь ты знаешь? Иди же, выпаривай клоповъ!

Амелія Вульфзонъ пошла исполнять возложенное на нее порученіе, а Александръ Вульфзонъ прогладилъ еще разъ горячимъ утюгомъ по заплатѣ и сказалъ мальчику Пашкѣ, маркеру:

— Ты, дьяволенокъ, смотри, не смѣй шаровъ гонять, пока совсѣмъ не просохнетъ; и господамъ офицерамъ скажи, что просятъ немного подождать,—слышишь?

— Слышу!—отозвался мальчикъ Пашка и сталъ изъ сжатаго кулака выпускать мухъ по одной, пришептывая: «первая, вторая, третья...»

Его интересовало, сколько это онъ захватилъ ихъ за разъ, махнувъ рукою надъ столомъ, пыльная поверхность котораго была покрыта остатками обѣда и пивными лужами, размазанными пальцемъ

Въ ночь пріѣхалъ изъ Ташкента Иванъ Илларіоновичъ Лопатинъ, въ коляскѣ четверткою, и тотчасъ-же получилъ приглашеніе остановиться въ собственномъ комендантскомъ домѣ. Онъ поспѣшилъ отклонить отъ себя это любезное приглашеніе и предпочелъ расположиться на диванѣ въ гостиницѣ Александра Вульфзона.

— Заѣдятъ, подлецы! — сомнительно покачалъ головою Иванъ Илларіоновичъ, нагибаясь со свѣчою къ подозрительнымъ щелямъ мебели.

— Ни Боже мой! — протестовалъ эксъ-горнистъ. — То-есть, дай Богъ, не сойти съ мѣста. Моя жена собственноручно ихъ ошпаривала — такъ ошпаривала, такъ ошпаривала...

— Разбудить меня пораньше завтра. Пароходъ придетъ въ восемь, такъ будите эдакъ часовъ въ семь или даже въ половинѣ седьмого. Своихъ лошадей я вышлю за ночь въ Дзингаты на подставу, а мнѣ послать за почтовыми! — распорядился Лопатинъ и грузно заворочался на диванѣ, отъ котораго еще до сихъ поръ струился легонькій паръ, и попахивало чѣмъ-то вродѣ лазаретнаго бульона.

— Желаю вамъ самыхъ хорошихъ, самыхъ превосходныхъ сновъ! — на цыпочкахъ попятился къ дверямъ Вульфзонъ.

— Туши свѣчу! — промычалъ Иванъ Илларіоновичъ и повернулся носомъ къ стѣнѣ.

Ему хотѣлось спать, ему казалось, что онъ вотъ-вотъ такъ и погрузится въ сонъ, едва только почувствуетъ подъ головою свѣжую наволочку пухлой подушки. Однако, это только казалось.

Свистъ парового свистка, пыхтѣніе паровика и глухой шумъ работающихъ колесъ такъ и поражали его слухъ, хотя пароходъ этотъ, въ данную минуту, находился, по крайней мѣрѣ, въ сорока верстахъ ниже по теченію Сыръ-Дарьи, и никто въ Чиназѣ, кромѣ Лопатина, не могъ слышать его приближенія. Мало того, сквозь закрытыя вѣки онъ видѣлъ даже, что дѣлается на этомъ пароходѣ, на его палубѣ, на мостикѣ, подъ мостикомъ и даже въ каютахъ, несмотря на ихъ запертыя двери...

«И какъ это хорошо устроено: ты вотъ тутъ лежишь себѣ покойно и рулемъ правишь... клопы тебя не кусаютъ... Да, хорошо быть капитаномъ!» — «По заслугамъ, всякому по за-

слугамъ», — раздается внушительный генеральскій голосъ.— «Ваше превосходительство!» — захлебывается отъ умиленія Иванъ Илларіоновичъ.—«По заслугамъ!» — еще внушительнѣе говоритъ генералъ.—«Владиміра» получили, «Анну» на шею получили, въ капитаны парохода произвели, — мало!?. Еще чего хотите?»

— «Адель» въ петлицу, если позволите-съ...—«Чего?»— грозно хмурится генералъ.—«Конечно, ваше превосходительство, я приложу всѣ старанія, чтобы заслужить; и такъ-какъ при всемъ своемъ капиталѣ...»

«Льва и Солнца пожалуйте!»—вывертывается откуда-то, словно изъ-подъ ногъ, Перловичъ и загораживаетъ генерала своею спиною. — «Нѣтъ. позвольте»! — энергично протестуетъ Иванъ Илларіоновичъ и тянетъ его за полы парусиннаго пальто. И эта бѣлая спина съ своими тремя продольными швами, съ двойными прорѣзами кармановъ пониже, съ перламутровыми пуговицами, такъ акуратно, прочно пришитыми, никакъ не поддается его усиліямъ. «Что-же это? Вѣдь это не то совсѣмъ: мукою пахнетъ!.. Ха-ха-ха! Вѣдь вотъ не узналъ-то мѣшка съ мукою не узналъ... хорошъ лабазникъ!»

«Право на бортъ! Стопъ машина! Вали все въ кучу, въ бунты складывай!»—громко въ длиннѣйшій рупоръ командуетъ Лопатинъ... И вотъ тысячи невидимыхъ рукъ со всѣхъ сторонъ надвигаютъ безконечныя вереницы бѣлыхъ, пыльныхъ, тугонабитыхъ мукою мѣшковъ. Вотъ эти пузатые мѣшки такъ и смотрятъ въ глаза Лопатина своими красными клеймами «С. П.». «Что-же это такое? Почему-же все «С. П.», когда я велѣлъ клеймить «И. Л.»? Позвать Катушкина, живо!... Однако, эй, вы тамъ, сзади, легче, стойте, задавите!.. Да стойте-же, черти! Стойте, дьяволы!.. Не слышутъ!.. Ой, матушки!.. Господи!..»

Со всѣхъ сторонъ надвигаются цѣлыя мучныя стѣны; выше и выше ростутъ онѣ. Вотъ уже чуть виденъ высоко вверху маленькій кружочекъ голубого неба. Все затихло кругомъ и потемнѣло, словно въ могилѣ; и только за стѣнами этого хлѣбнаго колодца глухо, чуть слышно шумятъ пароходныя колеса.

«Да клюнетъ-ли?»—спрашиваетъ знакомый голосъ.—«Клюнетъ, мама, вотъ смотри!»--говоритъ другой голосъ, тоже знакомый, – нѣтъ, болѣе чѣмъ знакомый: чудный, дорогой, отъ звука

котораго такъ и полилось теплое масло по сердцу Лопатина. Голоса эти несутся сверху. Тамъ, на самыхъ верхнихъ мѣшкахъ сидитъ Адель и граціозно держитъ въ рукѣ длинную удочку; около нея сидитъ Фридерика Казиміровна и держитъ на колѣняхъ коробочку съ червями...

Сильно подскокнулъ къ верху Иванъ Илларіоновичъ. «Эхъ, высоко!» «Клюнуло!» — торжественно произноситъ Адель... И вотъ чувствуетъ онъ, какъ острый холодный магнитъ притягиваетъ желѣзо, такъ этотъ крючекъ тянетъ его все кверху, все кверху. Вытащили.

«Ахъ, мама, не то, совсѣмъ не то; мнѣ «его» не надо; я думала...»—говоритъ капризница Адель. — «Бери, Адочка, бери, дитя мое»,—уговариваетъ ее Фридерика Казиміровна.— «Не надо! — рѣшительно произноситъ Адель. — У него есть жена въ черниговской губерніи». — «Помилуйте, она совсѣмъ умирающая женщина. Да притомъ, черниговская губернія такъ далеко отсюда», лепечетъ сквозь слезы Иванъ Илларіоновичъ и ловитъ ноги красавицы, впивается своими толстыми губами въ банты ея туфель.—«А это что?!»—грозно хмуритъ брови Адель и указываетъ впередъ рукою.

И видитъ Лопатинъ, что снова стоитъ на рулѣ, передъ нимъ высокія, бѣлыя пароходныя трубы, за ними тянутся какія-то веревки, очень много веревокъ; и за этими-то веревками, поверхъ палубнаго навѣса, на облитомъ кипяткомъ диванѣ, лежитъ, какъ на ладони, вся черниговская губернія.

«Я вамъ совѣтовала еще прежде убрать «ее» куда нибудь подальше!—шепчетъ ему на ухо Фридерика Казиміровна.— Вотъ если-бы вы слушались моихъ совѣтовъ, этого-бы и не случилось. Смотрите, какъ важно развалилась!»

«Въ воду ее, за бортъ! — кричитъ взбѣшенный капитанъ.—За бортъ ее, подлую, живо!»

Всѣ матросы, они-же и приказчики, съ гамомъ и свистомъ кидаются на несчастную черниговскую губернію, хватаютъ ее вмѣстѣ съ диваномъ, раскачиваютъ... Ухъ!

Какъ хорошо, какъ легко! Словно гора свалилась съ усталыхъ, разбитыхъ плечъ. Даже пароходъ пошелъ шибче, избавившись отъ лишняго груза.

«Ну, теперь другое дѣло!—ласково произноситъ Адель и

гладитъ Лопатина по его кругленькой лысинѣ.—Теперь мы можемъ и къ налою...»

«Догонитъ, догонитъ, берегитесь!» — шепчетъ ему на ухо madame Брозе. Обернулся Иванъ Илларіоновичъ, и вотъ видитъ онъ надъ вспѣненною колесами водою, какъ-разъ посрединѣ этой волнующейся борозды, блѣдное, исхудалое лицо. Худыя, голыя руки съ угрозою подняты изъ воды; свѣтлый обручекъ сверкаетъ на одномъ изъ этихъ крючковатыхъ пальцевъ; на этомъ обручкѣ онъ ясно читаетъ свое имя...

«Полный ходъ, полный ходъ!» — кричитъ онъ, нагнувшись къ слуховой трубѣ. Онъ боится, что этотъ страшный призракъ догонитъ пароходъ, уцѣпится за него и снова влѣзетъ на бортъ... «Полный ходъ!»—отчаянно вопитъ Лопатинъ. «Полный ходъ!» визжитъ сбоку Фридерика Казимировна... «Какъ хорошо, какъ скоро!»—хлопаетъ въ ладоши и звонко смѣется Адель.

Кракъ! Пароходъ затрещалъ и разомъ остановился.

Холодный потъ проступилъ подъ бѣльемъ Ивана Илларіоновича, и мурашки забѣгали у него по спинѣ.

«На мель сѣли!»—«Нѣтъ, на камень напоролись!.. Важно! Какъ есть во всемъ акуратѣ! Ссаживай, ссаживай!» со всѣхъ сторонъ кричатъ голоса.

«А пойти посмотрѣть, въ самомъ дѣлѣ, на какого чорта мы это нарѣзались», прошелъ мимо Бурченко, фамильярно хлопнулъ Лопатина по плечу, даже по животу потрепалъ и со смѣхомъ добавилъ: «ишь, ты, тоже въ капитаны суешься...»

Вотъ онъ перегнулся за бортъ, пристально разсматриваетъ что-то. «Ха-ха! Ледоколовъ, это ты? Чего это ты на самой дорогѣ разсѣлся, пароходы на полномъ ходу останавливаешь?»

«Золото, братъ, здѣсь промываю», слышится внизу чей-то голосъ.

«Золото!» томно стонетъ Фридерика Казиміровна и хватается за сердце.

«Мама, удочку дай скорѣе, мою удочку!—торопится Адель, прислушиваясь къ звуку этого голоса.—Его-то мнѣ и надо, а этого...» Она презрительно смотритъ черезъ плечо на Лопатина и лихо, какъ наѣздница на сѣдло, бочкомъ садится на бортъ парохода, распутывая поспѣшно леску своей удочки. Она вся сіяетъ, вся въ восторгѣ; она такъ хищно улыбается и широкимъ размахомъ кидаетъ крючокъ за наживою.

«А, если такъ, то пропадай все... пропадай моя голова! Проп... проп... проп...» захлебывается отъ бѣшенства Лопатинъ и ищетъ глазами чего-нибудь такого... какъ бишь его?.. А, вотъ оно, вотъ...

Желѣзный багоръ торчитъ откуда-то изъ за бочекъ; остріе у него такое длинное, блестящее; его-то и нужно! Обѣими руками схватываетъ онъ это оружіе, лѣзетъ на бортъ, замахивается что есть мочи...

«Иванъ Илларіоновичъ!» испуганно говоритъ Адель.

«Иванъ Илларіоновичъ!» визжитъ Фридерика Казиміровна.

«Иванъ Илларіоновичъ!» урезониваетъ его Бурченко.

— Иванъ Илларіоновичъ! Уже семь часовъ скоро!—отчетливѣе прочихъ произноситъ эксъ-горнистъ Вульфзонъ; и такъ какъ первые три оклика его остались безъ результата, то теперь уже онъ рѣшается дотронуться до этого пухлаго, потнаго плеча, выставленнаго изъ-подъ узорнаго, ярко цвѣтного халата туземнаго покроя.

— А?..—поднялся Лопатинъ, обвелъ вокругъ воспаленными, красноватыми бѣлками и тотчасъ-же потребовалъ себѣ графинъ квасу похолоднѣе, «да нельзя-ли съ ледкомъ?»

— За косою отмелью дымъ виденъ; такъ разсмотрѣть нельзя, а господинъ поручикъ Скобликовъ въ трубу смотрѣли, такъ, говорятъ, очень явственно замѣтно!—доложилъ эксъ-горнистъ, собственноручно устанавливая на табуретѣ большую мѣдную лохань для умыванья.

Всѣ полуплоскія крыши домиковъ чиназской слободки были заняты любопытными чиназцами, съ большимъ нетерпѣніемъ ожидавшими прибытія «съ низу» каждаго парохода. Это прибытіе—эпоха въ жизни маленькаго городка. Сколько новостей привезетъ пароходъ, сколько новыхъ лицъ появится въ Чиназѣ, населеніе котораго, хотя на нѣсколько дней (время стоянки парохода), значительно увеличится! Особенно ждутъ этого времени содержатели разныхъ питейныхъ лавочекъ, а ихъ въ Чиназѣ тридцать восемь, и съ каждымъ днемъ открываются все новыя и новыя. Если обратить вниманіе на то, что число домовъ въ Чиназѣ не превышаетъ ста двадцати, то будетъ ясно, что всѣ кабатчики разсчитываютъ больше на пріѣзжихъ и проѣзжихъ, чѣмъ на своихъ мѣстныхъ обитате-

лей. Не одинъ Зимборгъ ѣздилъ наканунѣ въ Ташкентъ за подкрѣпленіемъ своихъ складовъ: и Ицко Скуратовъ, и Гамамединъ Истанбуловъ, и даже отставной маіоръ Шампиньончиковъ,—всѣ позаботились о томъ, чтобы матросы и пассажиры парохода могли вполнѣ вознаградить себя за свое полуторамѣсячное воздержаніе во время плаванія.

Кромѣ группъ на крышахъ, по пыльной прямой дорогѣ, соединяющей слободку съ мѣстомъ пристани, тянулись группы линейныхъ солдатъ, бѣлыхъ съ головы до ногъ, женщинъ, обитательницъ слободки, такъ и горящихъ на солнцѣ своими яркими, преимущественно красными, платьями, прокатилъ, обдавая всѣхъ пылью, комендантскій тарантасъ со всѣмъ его семействомъ; проскакало нѣсколько офицеровъ, и даже пронеслась просто бѣгомъ, подобравъ юбки, вертлявая Амелія Зимборгъ, которой казалось, что именно только одна она опоздаетъ къ интересному моменту прибытія парохода.

Пароходъ «Аралъ» подходилъ уже близко; онъ подвигался почти у самаго берега. Вся палуба судна была покрыта народомъ; даже двѣ баржи съ мукою и бочками, казеннымъ грузомъ, идущія за пароходомъ на буксирѣ, кишѣли пассажирами.

Пестрая, разнохарактерная толпа, толкаясь, обгоняя другъ друга, подвигалась по берегу, провожая «Аралъ», когда онъ, поравнявшись съ базаромъ, замедлилъ ходъ. Съ палубы на берегъ, съ берега на палубу давно уже завязались самые оживленные разговоры. Общее вниманіе привлекала особенно послѣдняя баржа, между тюками которой виднѣлись десятка два веселыхъ, смѣющихся женскихъ лицъ и раздавались плачъ маленькихъ ребятъ и убаюкиванье ихъ матерей.

— Бабъ-то, бабъ что везутъ,—страсть!—горячился молодой солдатъ-линеецъ, цѣпляясь по самой окраинѣ песчанаго берега рѣки и рискуя каждую минуту оборваться съ кручи прямо въ пѣнистую борозду за колесами.

— Это опять женъ солдатскихъ на передовую линію вытребовали.—Котораго батальону, тетка? Эй, ты, слышь, курносая!—сложивъ руки у рта, кричитъ другой солдатъ, изъ фурштатскихъ.

— Тише́ ты!

— Чего тише? Хочу—кричу, хочу—нѣтъ. Тетка-а!

— Смотри, смотри, вонъ на кулѣ сидитъ, толстая такая, въ лаптяхъ: право, какъ есть дѣревня!

— Пооперятся маленько, погоди: господамъ офицерамъ бѣлье мыть станутъ, живо пріодѣнутся!

— Да вотъ такъ какъ-разъ съ вашего мытья и пріодѣнешься! — откликается изъ толпы зрителей молодая бабенка въ шелковомъ платкѣ и кумачномъ платьѣ—значитъ, уже изъ оперившихся.

— Охъ, ты, пава косоглазая!

— Отстань!

— Чего отстань? Я съ лаской!

— Прокофьевъ, легче: капитанъ сюда глядитъ; ишь, усомъ какъ повелъ!

— Да вотъ онъ тѣ шкуру вздеретъ! — понизивъ голосъ, замѣчаетъ «косоглазая» и перемигивается съ усатымъ капитаномъ.

— А нѣтъ лучше матросовъ!—тихонько замѣчаетъ одна женщина другой, тоже изъ «оперившихся».

— Странный вкусъ!—подернувъ плечомъ, замѣчаетъ та.

— Извѣстно, народъ съ деньгами, не то, что наши голыши!

— Конечно, если кто изъ одного антересу!

— Дура!

„Развеселые ребята энти самые матросы!"

заливается самымъ высокимъ, тамберликовскимъ теноромъ тотъ самый «фурштатъ», что заявлялъ о своемъ правѣ кричать или не кричать.

— А вотъ у этого самаго дерева привязываютъ канатъ; видите, какъ это просто у насъ устроено: съ парохода подадутъ трапъ, сходцы такіе съ перильцами—ну, и все готово. И какъ это удачно, что высота берега совершенно подходитъ къ высотѣ парохода. Хотѣли было прежде строить пристань, да зачѣмъ?—Вы сами видите, что это совершенно лишнее. Вотъ извольте посмотрѣть. Эй, ты, красный халатъ, подвинься влѣво!

Угреватый адъютантъ мѣстнаго батальона принялся было усердно показывать Лопатину, какъ незатѣйливо, просто пристаютъ пароходы «у нихъ въ Чинаѣ».

— Да, да, конечно, очень хорошо... Не можетъ быть!..

Вы думаете?—больше изъ вѣжливости, вовсе не слушая адъютантскаго разсказа, невпопадъ отвѣчалъ Иванъ Илларіоновичъ.

Онъ теперь уже не спускалъ глазъ съ пароходнаго мостика. Онъ видѣлъ тамъ... онъ ничего тамъ не видѣлъ, потому что проклятый вѣтеръ, какъ будто нарочно, на зло ему, потянулъ въ его сторону и окуталъ чернымъ, вонючимъ дымомъ всю середину судна. И эти горластыя трубы такъ и пыхтятъ, выбрасывая все новые и новые густые клубы. Все затянуло, ничего не видно. А, слава Богу, вѣтеръ мѣняется, дымъ отнесло назадъ. Вотъ мелькнула у самой трубы бѣлая фуражка... вотъ зеленое что-то показалось... Это? Нѣтъ, это ведро виситъ на крючкѣ и сверкаетъ на солнцѣ своимъ полированнымъ бокомъ. А, вотъ оно, вотъ!

— Въ прошедшемъ году, представьте... — жужжитъ на ухо адъютантъ.

Какой-то бородатый стоитъ у перилъ и лорнируетъ берегъ. При взглядѣ на эту фигуру у Лопатина сильно заскребло на сердцѣ, и въ его мягкую ладонь впились острые углы фигурнаго серебрянаго набалдашника. Ему вдругъ захотѣлось, что-бы капитанъ (а его высокую фигуру съ рупоромъ въ рукѣ было видно теперь совершенно отчетливо) поддалъ колѣномъ сзади этого бородача, — эхъ, какъ хотѣлось!

Лопатинъ былъ почему-то увѣренъ, что это именно и есть *онъ*—самъ Ледоколовъ или кто-бы то ни было, но только...

У него захватило духъ, и начали подкашиваться колѣни. Говоръ и шумъ толпы словно затихли, словно невидимыя руки разомъ зажали ему уши, и только глухой, неопредѣленный гулъ стоялъ въ помутившейся, ошалѣлой головѣ.

Около мачты мелькнулъ вуаль, закивали звѣздообразные кружки зонтиковъ; между бѣлыми фигурами матросовъ, кинувшихся устанавливать трапъ, отчетливо колыхнулись два женскихъ платья.

— Легче, ваше степенство, въ угольную яму попадете!— предостерегаетъ его какой-то пестрый халатникъ.

— Какія лошадки у васъ, почтеннѣйшій Иванъ Илларіоновичъ!—кричитъ ему комендантъ, пробираясь впередъ.

— Адочка, дитя мое, смотри, вонъ онъ, вонъ!—указываетъ зонтикомъ Фридерика Казиміровна и порывисто устремляется по зыбкимъ доскамъ трапа.

— Я васъ сейчасъ познакомлю съ Лопатинымъ!—говоритъ, обращаясь къ Ледоколову, Адель и, опираясь на его руку, граціозно пробуетъ кончикомъ ноги, на-сколько удобно будетъ ступить ей на доски.

— Кто такія, кто такія?—шепчутъ кругомъ.

— Эхъ, хороши барыни!—замѣчаетъ громко кто-то сзади.

Сойдя на берегъ, Адель тотчасъ-же освободила свою руку и поспѣшила на выручку мамаши.

Почти безъ чувствъ, испуская изступленныя, истерическія рыданія, Фридерика Казиміровна такъ и замерла на шеѣ Ивана Илларіоновича, обвивъ ее своими руками.

— Должно, хозяйка пріѣхала. То-то обрадовалась!—шептали въ толпѣ.

— Сдобная баба. Экъ, ее встряхиваетъ!

— А это, надо полагать, дочка; красивая дѣвка!

— Не дѣвка, а барышня. Дѣвки вонъ Дашка съ Пашкою, а это, вишь ты...

— Конечно, уважаемая Фридерика Казиміровна, это я вполнѣ чувствую...—задыхаясь и силясь освободиться изъ этихъ пламенныхъ объятій, пыхтѣлъ Лопатинъ.

Ему такъ хотѣлось ринуться къ Адели, разцѣловать ея руки, разцѣловать ее всю, не обращая вовсе вниманія на эти сотни постороннихъ глазъ. Какое ему было дѣло до другихъ, когда...

— Ну, вотъ, мы и пріѣхали!—спокойно, даже нѣсколько холодно, произнесла Адель и церемонно протянула ему кончики пальцевъ.

— Ахъ, чего мы только не натерпѣлись за эту ужасную дорогу!—простонала Фридерика Казиміровна, какъ-то особенно выразительно обдернувъ платье на своей дочери.

— Что ты, мама? Напротивъ, мнѣ было ужасно весело!—начала Адель.

— Моя коляска ждетъ васъ. За багажемъ я пришлю изъ гостиницы. Сюда, сюда, за мною! — заторопился Лопатинъ, теперь только замѣтивъ, что общее вниманіе было обращено на ихъ группу.

Онъ предложилъ руку Фридерикѣ Казиміровнѣ и хотѣлъ предложить другую Адели, даже уже согнулъ ее въ надлежащее положеніе...

— Проклятый! —промелькнуло у него въ головѣ.

Адель опять уже стояла подъ руку съ Ледоколовымъ.

— Ахъ, кстати, Иванъ Илларіоновичъ, — поспѣшила красавица, —позвольте вамъ представить: monsieur Ледоколовъ, нашъ дорожный знакомый. Онъ во время пути такъ много оказывалъ намъ услугъ!

— Очень пріятно! — пробормоталъ Лопатинъ и вдругъ разсвирѣпѣлъ на своего кучера, неподвижно сидѣвшаго на козлахъ коляски, шагахъ въ двадцати отъ пристани.

— Кузьма! — какъ-то захлебываясь крикнулъ Иванъ Илларіоновичъ,—Кузьма! Подавай-же, скот...

— Славныя лошадки, особенно пара дышловыхъ!—протянулъ ему руку старичекъ-комендантъ, масляные глазки котораго въ эту минуту разсматривали гораздо внимательнѣе дамъ Лопатина, чѣмъ его лошадей.

Сѣла Фридерика Казиміровна; почти не касаясь подножекъ, на рукахъ Лопатина, вспорхнула Адель. Четверка гнѣдыхъ загорячилась и заплясала на мѣстѣ.

— Ледоколовъ, какъ только пріѣдете въ Ташкентъ, пожалуйста къ...—начала-было Адель.

— Пошелъ!—крикнулъ Иванъ Илларіоновичъ.

— У-ухъ!—отшатнулся адъютантъ, протирая глаза, залѣпленные пылью, поднятою колесами экипажа.

— Однако! — произнесъ старичекъ-комендантъ, тоже вытаскивая цвѣтной фуляръ изъ задняго кармана.

— Видѣли?—язвительно произнесла дама въ ситцевомъ капотѣ, здѣшняя казначейша.

— Видѣла! — тѣмъ-же тономъ отвѣтила другая дама, здѣшняя попадья.

Запыхавшаяся, покрытая пѣною четверка остановилась передъ воротами почтовой станціи. Лопатинъ вылѣзъ изъ экипажа и пошелъ распорядиться насчетъ лошадей.

— Ты хоть-бы немного теплоты, хоть немного...—шептала на ухо Фридерика Казиміровна, когда онѣ остались однѣ въ коляскѣ.

— Отстань, мама!—задумчиво произнесла Адель, апатично смотря на суматоху передъ станціонными воротами.

— Жестокое сердце, безжалостная! Въ твои лѣта такая холодность!

— Мама!

— Не замолчу, не замолчу. Наконецъ, ты должна же понять, что просто изъ одного такта не мѣшало-бы...

— Мама!

Адель сдвинула брови и рванула пуговку у перчатки.

— Ну, не буду, не буду. Адочка, ангелъ мой, войди-же въ наше положеніе. Вѣдь я для тебя-же...

— Иванъ Илларіоновичъ, я пить хочу!—крикнула Адель.

— Сію минуту, сейчасъ. Эй, Кузьма! Тамъ, подъ козлами, погребецъ... проворнѣе, да не копайся-же.

— Если бы кусочекъ льду!..—кокетливо улыбнулась дѣвушка.

—Льду, послушайте! — ринулся Лопатинъ къ казаку-смотрителю станціи. — Ради Бога, все, что хотите, льду нельзя-ли, хоть немного?

— Льду?—улыбнулся казакъ.—Ишь, ты! Да у насъ льду и зимою не скоро отыщешь.

— Э-эхъ!—тоскливо посмотрѣлъ кругомъ Иванъ Илларіоновичъ.

Въ эту минуту онъ за одинъ кусочекъ льду готовъ-бы дать отрубить себѣ если не руку, то, по крайней мѣрѣ, половину пальца.

— Подите сюда! — поманила его пальчикомъ Адель.— Я вовсе не такая капризная и могу легко обойтись безъ льду, если его невозможно найти. Вы все хлопочете, вы устали?

Она почти ласково взглянула на потное, красное лицо Ивана Илларіоновича. Фридерика Казиміровна даже заерзала отъ удовольствія; рука Лопатина задрожала, наливая изъ бутылки въ стаканъ красное вино.

— Готово!—заявилъ казакъ-смотритель.

И снова загудѣли на разные лады голосистые бубенчики почтовой четверки.

А въ тотъ-же вечеръ, сидя на террасѣ ташкентскаго дома Ивана Илларіоновича, Фридерика Казиміровна самымъ убѣдительнымъ тономъ говорила хозяину:

— Хотите—вѣрьте мнѣ, хотите—нѣтъ, но только эта холодность, по-моему, одно притворство. Зачѣмъ-бы ей, въ противномъ случаѣ, всю дорогу твердить только одно и то-же: «Ахъ, мама, да скоро-ли мы пріѣдемъ? Скоро-ли я увижу добраго, славнаго Ивана Илларіоновича?» Ну, честное-же слово, клянусь

вамъ моей материнской любовью! — поспѣшила съ увѣреніями госпожа Брозе, замѣтивъ у своего собесѣдника недовѣрчивое подергиванье плечъ.

— Дай Богъ вашими-бы устами... — глубоко вздохнулъ Лопатинъ.

— Терпѣніе и терпѣніе! Однако, какъ вы еще молоды сердцемъ! — протекторскимъ тономъ произнесла Фридерика Казиміровна и поцѣловала въ голову Ивана Илларіоновича.

XII.

За дверями.

Вѣсть о пріѣздѣ госпожи Брозе съ дочерью быстро разнеслась по всему Ташкенту. Въ первый-же день, по шоссе, мимо оконъ лопатинскаго дома, устроилось что-то вродѣ гулянья. Всѣ проходящіе и проѣзжающіе считали своею непремѣнною обязанностью задержать шагъ и не спускали глазъ съ этого длиннаго ряда оконъ, выжидая, не мелькнетъ-ли хотя въ одномъ изъ нихъ головка необыкновенной, почти сказочной красавицы.

Только-что пріѣхавшій изъ Чиназа поручикъ Скобликовъ говорилъ въ ресторанѣ у Тюльпаненфельда, что онъ и во снѣ не могъ-бы представить себѣ такой красавицы; что это что-то такое, что просто духъ захватываетъ при одномъ только взглядѣ. А товарищъ его, капитанъ Пуговицынъ, завѣрялъ, «какъ честный офицеръ», что онъ, придя домой съ пристани, долженъ былъ выпить цѣлую столовую ложку камфарнаго спирта, чтобы только успокоить свои расходившіеся нервы.

Марфа Васильевна, взволнованная, смѣющаяся и веселая на видъ, но замѣтно обезкураженная, ровно восемь разъ проѣхала по шоссе въ своемъ кабріолетѣ и два раза верхомъ.

— Наша-то, говорятъ, и въ подметки не годится той...— ясно донеслось до ея слуха изъ одной группы гуляющихъ.

Она очень хорошо знала, кто эта *наша*, и ее даже въ жаръ кинуло отъ этого замѣчанія.

Кто-то сообщилъ, что сегодня вечеромъ Лопатинъ и его дамы будутъ на Минурюкѣ, и у рѣшетки этихъ ташкентскихъ «минерашекъ» столпилось столько экипажей и верховыхъ лошадей, что распорядились прислать десятка полтора

конныхъ казаковъ для водворенія хотя-бы какого-нибудь порядка.

Кое-кто пытался, просто подъ видомъ обыкновеннаго посѣщенія или-же по какому-либо дѣловому предлогу, проникнуть въ домъ Ивана Илларіоновича, но и эти маневры не удались окончательно. Однимъ было сказано, что, молъ, господинъ Лопатинъ не здоровы и принять не могутъ, просятъ, молъ, извинить до другого раза; другимъ было напросто отказано: «дома нѣтъ», хотя это было слишкомъ ужъ безцеремонное уклоненіе отъ истины. Одного только отца іерея Громовержцева принялъ Иванъ Илларіоновичъ, и то потому, что когда тотъ, пройдя съ другого подъѣзда, очутился въ столовой, то Лопатинъ, закусывавшій цыпленкомъ въ этой-же комнатѣ, не успѣлъ принять никакихъ мѣръ и съ самою кислою улыбкою произнесъ:

— А, батюшка, здравствуйте! Вотъ спасибо, что посѣтили. Не прикажете-ли?

Иванъ Илларіоновичъ одной рукою сдѣлалъ пригласительный жестъ къ столу, а другою помахалъ какъ-то у себя за спиною, что, по мнѣнію прислуживающаго парня, означало: убирай со стола проворнѣй!

— Отчего-же,—согласился отецъ іерей, — много нельзя, но единую можно; къ тому-же, у насъ теперь разрѣшеніе вин... Постой, братецъ, погоди-же!—придержалъ онъ за рукавъ молодца въ поддевкѣ, поспѣшившаго было исполнить мимическое приказаніе своего хозяина.

— Жарко!? — не то спросилъ, не то заявилъ Илларіоновичъ, пройдя по комнатѣ и мимоходомъ опустивъ портьеры въ сосѣдніе апартаменты.

— По мнѣнію господина Реомюра, тридцать два—въ тѣни; на солнцѣ-же тридцать восемь и доходило даже до сорока... Тропическая температура! Великій жаръ!—погладилъ себя по желудку отецъ іерей.

— О-охъ!—вздохнулъ Лопатинъ и тоскливо посмотрѣлъ на ярко-зеленую шелковую рясу гостя.

— Здоровье ваше въ какомъ положеніи находится?—освѣдомился тотъ.

— Сегодня плоховато. Голова что-то болитъ, и такъ вообще не хорошо себя чувствую; я даже думаю сейчасъ прилечь.

Какъ утопающій за соломенку, такъ Лопатинъ ухватился за этотъ вопросъ о его здоровьѣ.

— Хорошее дѣло!—произнесъ отецъ іерей, усаживаясь въ кресло попокойнѣе и, повидимому, вовсе не понимая намека.

— О-охъ!—еще разъ, значительно протяжнѣе, вздохнулъ Лопатинъ.

— Задумали мы...—началъ гость и подвинулъ свое кресло немного вправо.

Портьера, опущенная рукою Ивана Илларіоновича, задѣла аграмантомъ за боковую розетку и образовала щель, довольно значительную для того, чтобы можно было видѣть большую часть сосѣдней комнаты. Отецъ іерей замѣтилъ это обстоятельство и двинулъ кресло единственно съ цѣлью воспользоваться своимъ открытіемъ.

— Задумали мы,—продолжалъ онъ,—выписать для новостроющагося храма живописной работы икону святаго великомученика Георгія, копіемъ змія прободающаго, и пару паникадилъ серебрянныхъ—либо изъ Москвы отъ господина Овчинникова, либо изъ Нижняго отъ купца Блиноѣдова; средства-же наши на сіи предметы въ должный размѣръ не скомплектовались... э... гмъ!..

— Конечно, я съ своей стороны могу...—поспѣшилъ Лопатинъ. «Авось,—подумалъ онъ,—уберется, какъ получитъ радужную; все равно, не отдѣлаешься меньшимъ». Онъ полѣзъ въ карманъ за бумажникомъ.

— Не спѣшите,—придержалъ его руку отецъ іерей.— По заведенному мною порядку, вамъ пришлется шнуровая книга, гдѣ вы собственноручно и отмѣтите ваше приношеніе, выразивъ въ цифрахъ размѣры онаго!

— Да, да, хорошо, я готовъ!—говорилъ хозяинъ и поднялся со стула.

— Да-съ, мы не то, что другіе: мы не имѣемъ привычки преграждать путь контролю, мы все на чистоту!—спокойно разглагольствовалъ отецъ іерей, не понимая или не желая понимать и этого намека.

Лопатинъ опять сѣлъ.

— Съ пріѣздомъ родственниковъ вашихъ можно васъ поздравить?—произнесъ гость, немного помолчавъ.

— Пріѣхали, благодарю васъ. «Фу, какъ надоѣлъ, ка-

палья!»—отвѣчалъ Иванъ Илларіоновичъ,—послѣднюю половину фразы, впрочемъ, онъ сказалъ про себя.

— Пріятно и радостно должно быть свиданіе съ дорогими сердцу, особенно изъ такого отдаленнаго далека!

— Вы меня ужь извините, батюшка: я ужь пойду!—не выдержалъ, наконецъ, Лопатинъ.

— Пожалуйста не стѣсняйтесь: что за церемоніи!—нехотя поднялся-таки съ креселъ отецъ іерей.

«Жаль, не видалъ, а весьма было-бы интересно»,—подосадовалъ онъ, выходя изъ комнаты и пріятно шелестя своимъ шелковымъ костюмомъ.

— Ну, что, видѣли?

— Какова?

— Ну, что, правда, что говорятъ?..

Посыпались на него со всѣхъ сторонъ вопросы, едва онъ только спустился со ступеней крыльца.

— Особы весьма благовоспитанныя и красотою отъ природы щедро награжденныя!—совралъ отецъ іерей, плотно усаживаясь въ свой желтенькій тарантасикъ.

Едва только «не въ пору гость» вышелъ изъ комнаты, Иванъ Илларіоновичъ юркнулъ на дамскую половину. По дорогѣ онъ завернулъ въ свой кабинетъ, вытеръ тщательно руки и лицо одеколономъ съ водою, попрыскалъ чѣмъ-то на бортъ сюртука и взялъ въ ротъ мятную лепешку.

«Хорошо-ли это, что я въ клѣтчатыхъ брюкахъ при свѣтлосѣромъ остальномъ?»—подумалъ онъ,—подумалъ и перемѣнилъ эти клѣтчатые на безукоризненно бѣлые.

— Я никакъ не ожидала, чтобы въ такой глуши, въ такой дикой сторонѣ можно было такъ комфортабельно устроиться!—ясно слышенъ былъ голосъ Фридерики Казиміровны.

Вѣроятно, она находилась въ спальнѣ своей дочери, потому что слышно было, какъ переставляли и звякали стклянночками и баночками на ея туалетѣ, а вѣдь эта спальня была такъ близко отъ кабинета Ивана Илларіоновича!

— Ахъ, мама, скучно... эта проклятая стѣна!—доносился голосъ Адели, только не отчетливо, значительно глуше.

Лопатинъ сообразилъ, что красавица находилась на террасѣ. Онъ весь сосредоточился въ слухѣ.

— Мама, я готова, а ты?

— Какъ готова, къ чему это?

— Да вѣдь мы собирались кататься! Я-же просила тебя послать спросить о коляскѣ!

— Видишь, дитя мое, экипажъ не совсѣмъ исправленъ... развѣ завтра?—соврала Фридерика Казиміровна.

Она еще утромъ говорила Ивану Илларіоновичу о желаніи Адели сегодня-же ознакомиться съ наружностью Ташкента, но Лопатинъ посовѣтовалъ ей отклонить пока Адель отъ этого желанія, находя это необходимымъ по нѣкоторымъ соображеніямъ.

— А, вотъ какъ! —холодно произнесла Адель.—Хорошо, мы подождемъ до завтра!

— А ты не замѣчаешь, Адочка, какъ интересенъ Иванъ Илларіоновичъ; какъ онъ помолодѣлъ за это время... кто-бы могъ подумать, что ему уже сорокъ два!

У Лопатина сердце запрыгало отъ удовольствія.

«Молодецъ-баба,—подумалъ онъ,—непремѣнно подарю пару «внутренняго», сегодня-же подарю!»

— Какъ, мама, да вѣдь ему уже за пятьдесятъ!—ясно послышался голосъ Адели. Вѣроятно, она теперь тоже вошла въ свою комнату.

— Какія глупости! Но что я узнала, Ада! Представь, мнѣ говорилъ Павелъ сегодня, что Иванъ Илларіоновичъ по цѣлымъ днямъ и ночамъ просиживалъ здѣсь и не спускалъ глазъ съ твоего портрета! Даже во снѣ онъ бредилъ только твоимъ именемъ!—врала госпожа Брозе. — Ахъ, какъ онъ тебя любитъ, ахъ какъ любитъ!

«Пересаливаетъ»!—поскребъ въ затылкѣ Лопатинъ.

— Воображаю, какая эта блистательная фигура!—захохотала Адель.—Вотъ онъ сидитъ тутъ, вѣроятно, на этомъ стулѣ, смотритъ сюда, руки у сердца, вздохи на всю комнату... вотъ такъ!

Должно быть, Адель изобразила въ эту минуту Ивана Илларіоновича, потому что задвигались кресла, и послышалось что-то вродѣ пыхтѣнія.

— Ты, Ада, вѣчно съ дурачествами!—упрекнула ее Фридерика Казиміровна.

— А-ахъ!—во весь ротъ зѣвнула Адель и щелкнула дверцею шкапика.

Лопатинъ почему-то осклабился.

— А что, мама, «онъ» пріѣдетъ сегодня?—опять начала Адель.

— Не думаю!

— Но вѣдь я его просила навѣщать насъ, онъ обѣщалъ мнѣ быть на другой-же день по пріѣздѣ!

— Ты видѣла сама, какъ Лопатинъ съ нимъ холодно обошелся: онъ даже не протянулъ ему руки, когда ты вздумала представить его на пристани!

— Если онъ будетъ такъ обходиться съ моими друзьями...

— Тсъ!..

— Что ты?

— Я слышала за этою дверью... посмотри, Адочка, тамъ, за трюмо...

Иванъ Илларіоновичъ схватилъ свою фуражку и повѣсилъ ее на ручку двери. Онъ поспѣшилъ на всякій случай замаскировать замочную скважину. Этотъ маневръ оказался какъ нельзя болѣе кстати, потому что Адель шмыгнула за трюмо, прислушалась и приложила глазъ къ скважинѣ.

— Темно...—произнесла она,—и я ровно ничего не слышу!

«Друзья... эге... вотъ какъ!—бормоталъ Иванъ Илларіоновичъ, на цыпочкахъ отходя отъ двери. — Значитъ, не одинъ этотъ бородатый...»

Сердце у него защемило, и во рту стало какъ-то скверно, горько; не помогала даже мятная лепешка, почти истаявшая на горячемъ языкѣ Лопатина.

— Тамъ господинъ васъ спрашиваетъ! — остановилъ его на полдорогѣ парень въ поддевкѣ.

— Кто?

— Тотъ самый, что у васъ намедни былъ... Бурченко, сказывалъ; да онъ не одинъ: ихъ двое!

— А!..—протянулъ Иванъ Илларіоновичъ, подумалъ, сообразилъ и сказалъ:—Ну, проси... въ зеленую комнату проси; я сейчасъ къ нимъ выйду!

— Вотъ этихъ сейчасъ потурятъ!—говорилъ Набрюшниковъ, наблюдая съ высоты своего гнѣдого аргамака за входною дверью лопатинскаго дома.

— Нынче ужь сколько народу толкалось, всѣмъ отказъ,

одного Громовержцева принялъ, а то никого больше! — говорилъ другой офицеръ, сидя безъ сюртука на подоконникѣ противоположнаго дома.

— Кто такіе, ты не знаешь?

— Одного знаю, онъ уже недѣли двѣ какъ въ Ташкентѣ, у Тюльпаненфельда встрѣчались; да онъ изъ старыхъ, еще изъ черняевскихъ; а другого никогда не встрѣчалъ... лицо что-то знакомое!

— На покойника Батогова смахиваетъ сильно!

— Да, есть большое сходство, только ростомъ повыше. Назадъ пойдутъ, ближе разсмотримъ!

Предположеніе разсмотрѣть поближе новопріѣзжаго такъ и осталось однимъ предположеніемъ. Прошло десять минутъ, четверть часа, полчаса, наконецъ, часъ—Бурченко и его товарища не «протурили».

— Что бы это значило?—удивился немного офицеръ на подоконникѣ.

— Стало быть, такъ надо,—совершенно резонно замѣтилъ Набрюшниковъ и нагнулся съ сѣдла, заглядывая во внутренность комнаты.

— Что это, вы закусывать?—спросилъ онъ.

— Да, собираемся; не хочешь-ли?

— А пожалуй!—поспѣшилъ Набрюшниковъ и ловко соскочилъ на землю съ своего цыбатаго гнѣдого.

XIII.

Соперники.

— Если этотъ баринъ не попятится, сегодня-же порѣшимъ; а тамъ, не откладывая въ долгій ящикъ, и за дѣло. Ну, заждался-же я васъ! Что такъ долго?—говорилъ Бурченко своему товарищу въ лопатинской пріемной.

— Шли очень тихо—безконечныя остановки. Зналъ-бы, не поѣхалъ!—отвѣчалъ Ледоколовъ и — совралъ: онъ былъ очень доволенъ своимъ путешествіемъ на пароходѣ и нисколько не раскаивался, что предпочелъ его сухопутному тракту.

— Ну, конечно, — согласился Бурченко, — тащились, какъ черепахи! Что, хорошо? Ну, а *то* какъ: благополучно?

— Что такое?

Ледоколовъ слегка покраснѣлъ.

— Да вотъ насчетъ вашего сердца, окончательно разбитаго? Залечили, что-ли?

— А здѣсь живутъ все-таки довольно сносно!—уклонился Ледоколовъ, оглядывая обстановку комнаты. — Я составилъ себѣ, признаться, совсѣмъ другое понятіе!

— Съ деньгами вездѣ можно. Вотъ мы съ вами нароемъ ихъ, денегъ-то,—не то заведемъ!

Бурченко посмотрѣлъ на часы и свѣрилъ ихъ съ бронзовыми часами на каминѣ. Ледоколовъ отворилъ дверь на террасу и заглянулъ въ новоразбитый садикъ въ полу-англійскомъ, полу-китайскомъ вкусѣ.

Густые кусты тутовика и бѣлой сирени разрослись почти у самой стѣны дома; на ярко-зеленыхъ клумбахъ виднѣлись вертикальныя черточки цвѣточныхъ штампиковъ; красныя и бѣлыя мальвы яркими группами разнообразили темную зелень кустарниковъ; вдоль наружной стѣны тянулась легкая рѣшетка, по которой ползли завитками молодыя, послѣдней посадки, виноградныя лозы.

— Каково!—удивился Ледоколовъ.

— Недурно,—произнесъ Бурченко, тоже выйдя на террасу;—особенно, принимая въ разсчетъ, что года два тому назадъ, я помню, тутъ былъ заброшенный пустырь да нѣсколько кустовъ...

— А тебѣ что нужно? — обратился онъ къ вошедшему.

— Хозяинъ васъ къ себѣ, на ту половину, проситъ-съ,— пожалуйте! — говорилъ парень въ поддевкѣ.

— Хорошо, пойдемъ къ нему, на его половину. Пойдемте, Ледоколовъ!

— Пожалуйте-съ, сударь... господинъ... — настаивалъ парень въ поддевкѣ.

— Чѣмъ это вы тамъ занялись? А, вотъ оно что!

Бурченко пожалъ плечами и улыбнулся.

— А, куда?

— Пожалуйте-съ...

— Я сейчасъ видѣлъ... Бурченко, вы не замѣтили тамъ, на томъ концѣ сада...

— Видѣлъ, видѣлъ!—расхохотался Бурченко и взялъ Ледоколова подъ руку.

Парень въ поддевкѣ проводилъ гостей съ террасы, оглянулся и заперъ дверь на ключъ; онъ даже проводилъ ихъ черезъ комнату и такъ же аккуратно заперъ за ними слѣдующую дверь.

— Вы ужъ, господа, извините, что заставилъ себя такъ долго дожидаться! Милости просимъ, милости просимъ!—вывернулся откуда-то съ боку Иванъ Илларіоновичъ.

— Ну-съ, господинъ Лопатинъ, — началъ Бурченко, когда всѣ трое расположились на креслахъ въ одной изъ комнатъ на другой половинѣ,—если вы не перемѣнили вашего рѣшенія помочь мнѣ въ извѣстномъ вамъ дѣлѣ...

— Я своихъ словъ никогда не беру назадъ и рѣшеній своихъ никогда не мѣняю! — съ достоинствомъ перебилъ хозяинъ, приглядываясь довольно пристально къ фигурѣ Ледоколова.

— Очень хорошо-съ, съ такими людьми и дѣло вести пріятно... Вы знакомы уже? Мнѣ вотъ они говорили, что третьяго дня на пристани чиназской...

— Познакомились, познакомились!

— Господинъ Лопатинъ тогда былъ такъ взволнованъ своею семейною радостью, что, весьма естественно, не удостоилъ меня своимъ вниманіемъ!—заявилъ Ледоколовъ.

— Тысячу извиненій!

Иванъ Илларіоновичъ протянулъ Ледоколову свою руку, тотъ свою; рукопожатіе совершилось весьма холодно; пальцы какъ-то не сжимались.

«Соперники тоже, умора!» подумалъ Бурченко. — Такъ вотъ-съ,—началъ онъ громко,—мы съ нимъ съ завтрашняго дня начнемъ готовить нашу, такъ-сказать, экспедицію. Лошади у меня приторгованы; людей я нанялъ,—трехъ человѣкъ пока, изъ здѣшнихъ, а тамъ будемъ довольствоваться мѣстными средствами. Надо вамъ затѣтить, что я всѣ эти приготовленія дѣлалъ не то чтобы по секрету, а просто безъ лишняго шума—эдакъ-то лучше; и вы не очень пока распространяйтесь!

— Съ какой-же стати! Я только и говорилъ объ этомъ съ однимъ губернаторомъ, но если бъ вы меня предупредили...

— У... эхъ!—почесалъ за ухомъ Бурченко.

— Вы находите, что и это напрасно?

— Какъ-бы вамъ это сказать? По-моему... Ну, а что же вамъ говорилъ губернаторъ-то?

— Весьма одобрительно отнесся, весьма одобрительно, и, знаете-ли?

Лопатинъ съ торжествующимъ видомъ посмотрѣлъ на малоросса и приподнялъ палецъ къ верху.

— Обѣщалъ даже, въ случаѣ надобности, вооруженное содѣйствіе!

— Вотъ этого-то я и боялся! — вторично принялся чесать за ухомъ Бурченко.

— Но, согласитесь сами,—вмѣшался Ледоколовъ, — дѣло можетъ повернуться такъ, что мы будемъ имѣть надобность въ вооруженной силѣ, и это обѣщаніе...

— Цѣль моя такова, что мы должны стараться избѣжать этой надобности, во чтобы то ни стало. Только одинъ путь къ успѣху—это убѣдить туземцевъ въ очевидной выгодѣ для нихъ быть нашими союзниками, заставить ихъ свыкнуться съ тою мыслью, что ихъ денежные интересы, — а они до нихъ крайне падки,—совершенно зависятъ отъ насъ; тогда они, кромѣ той помощи, которую окажутъ намъ, предложивъ въ наше распоряженіе свои рабочія руки, такъ усердно будутъ оберегать цѣлость нашихъ головъ, что намъ никакого вооруженнаго содѣйствія и не понадобится. Вотъ положеніе, въ которомъ мы должны находиться; иначе и эта наша попытка подойдетъ подъ категорію всѣхъ прежнихъ, такъ-называемыхъ казенныхъ, окончившихся большимъ или меньшимъ фіаско!

Бурченко говорилъ рѣзко, съ какимъ-то озлобленіемъ. Ужъ очень его взбудоражило это «вооруженное содѣйствіе!»

— Какъ хотите, батюшка, какъ хотите! — развелъ руками Иванъ Илларіоновичъ.—Я все уже предоставлю вамъ; съ моей же стороны только полнѣйшая готовность содѣйствовать вамъ деньгами, и для начала...

Онъ поднялся со стула и направился-было къ дверямъ

— Вотъ тутъ подробный счетъ, что мнѣ надо на первый разъ!—подалъ ему Бурченко сложенный листокъ бумаги

— Прекрасно-съ!

*

Лопатинъ бѣгло просмотрѣлъ счетъ. «Умѣренно», подумалъ онъ.

— А какъ скоро полагаете отъѣхать?

— Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше; я полагаю, дня черезъ три!

— Они тоже ѣдутъ вмѣстѣ съ вами? Господинъ Ледоколовъ, вы тоже?..

— Вмѣстѣ!—произнесъ Бурченко.

— Если что-нибудь не задержитъ!—почти одновременно произнесъ Ледоколовъ.

— Что же можетъ задержать?—Я полагаю, ничего задержать не можетъ!

Лопатинъ подозрительно взглянулъ на гостя.

Тотъ прислушивался къ чему-то, къ какому-то странному шелесту въ сосѣдней комнатѣ; Бурченко молча копался въ своемъ портфелѣ.

— Ну-съ, каково вамъ въ дорогѣ показалось? Вы еще въ первый разъ были въ такомъ продолжительномъ пути-съ?—ни съ того, ни съ сего спросилъ Лопатинъ, а самъ подумалъ: «дай-ка я поразговорюсь съ нимъ: можетъ быть, еще и нѣтъ особенной опасности».

— Благодарю васъ! Путешествіемъ своимъ я остался какъ нельзя болѣе доволенъ; оно было такъ интересно и разнообразно, благодаря его спутничеству (Ледоколовъ указалъ на своего товарища). Я видѣлъ такъ много новаго...

— Ну, это, впрочемъ, первая половина дороги,—вмѣшался Бурченко, — а вторая половина, та, я думаю, была еще интереснѣе?

— Что же такъ-съ?—спросилъ Лопатинъ и почувствовалъ себя какъ-то неловко.

— На пароходѣ я тоже встрѣтилъ, случайно, такое прекрасное общество: госпожа Брозе съ дочерью...

— Родственницы мои, очень близкія родственницы!—перебилъ Иванъ Илларіоновичъ.—Такъ вы все время находились съ ними?

— Да, всю остальную дорогу!

Ледоколовъ чувствовалъ, какъ краска ударила ему въ лицо.

— Фридерика Казиміровна много говорила мнѣ объ васъ... и, я съ своей стороны, долженъ поблагодарить васъ за все,—да-съ, за все-съ...

Лопатинъ никакъ не могъ подобрать подходящее слово, за что это ему слѣдовало поблагодарить своего гостя.

«Ишь, какъ покраснѣлъ, бестія!—подумалъ онъ, пристально глядя ему въ глаза. — Э-эхъ, нечисто, кажется, дѣло»...

— Madame Брозе женщина весьма достойная...—окончательно смутился Ледоколовъ, и со злостью, которая слишкомъ ужъ замѣтна была въ каждомъ его движеніи, поднялся со стула.

— Ну-съ, такъ не будемъ напрасно отнимать у васъ времени!—тоже поспѣшилъ подняться Бурьченко.

— Мое почтеніе-съ...—началъ-было Лопатинъ, но вдругъ вздрогнулъ и остановился.

— Они уходятъ! — ясно послышался за дверями голосъ Адели.

— Адочка!—также послышался умоляющій голосъ Фридерики Казиміровны.

«Здѣсь! Да какимъ же это образомъ? Что же это такое?» — пробѣгало у него въ головѣ.

Онъ совсѣмъ растерялся и не замѣтилъ протянутой къ нему руки Бурченко, которую тотъ, подержавъ минуту на воздухѣ, улыбнувшись, спряталъ въ боковой карманъ. Онъ видѣлъ только Ледоколова, стремительно бросившагося къ дверямъ.

Движеніе это, впрочемъ, было весьма естественное: аудіенція кончилась, они попрощались и должны были уходить; другой двери изъ комнаты, гдѣ они сидѣли, не было...

— Иванъ Илларіоновичъ, мы вамъ не мѣшаемъ?—кокетливо произнесла Адель, появившись въ отворенныхъ настежь дверяхъ.

За нею виднѣлось полное, слегка смущенное лицо Фридерики Казиміровны и ея пухлая рука, бойко дѣлавшая Лопатину какіе-то знаки.

— Мы уже кончили!—раскланялся Бурченко и хотѣлъ пройти мимо.

Адель, кошечкою, самою шаловливою, ласковою кошечкою, подбѣжала къ Лопатину и наивно принялась теребить бортъ его парусиннаго пальто.

— А мы въ саду гуляли! — говорила она. — Мы прошли черезъ дворъ, оттуда въ маленькую калиточку, — тамъ есть такая маленькая-маленькая калиточка; — я проскочила легко, а мама—ха-ха-ха! Мама чуть-чуть не завязла!

— Какая ты болтушка, Ада!—бормотала Фридерика Казиміровна.—Въ твои лѣта и такъ шалить!..

— Какъ въ мои лѣта?—удивилась Адель.—Вѣдь ты-же говорила, что тебѣ тридцать пять;—ты вышла замужъ двадцати—значитъ, мнѣ только... ха-ха-ха!—колокольчикомъ залилась Адель, сообразивъ результатъ своего вычисленія.

— Ребенокъ!—томно произнесла маменька.

— А мы видѣли васъ въ саду,—обратилась Адель къ Бурченко;—ну, какъ вы доѣхали? Вы прежде насъ пріѣхали въ Козалы? И охота вамъ была ѣхать въ этомъ поганомъ экипажѣ—ахъ, какъ онъ надоѣлъ намъ! За то на пароходѣ какъ было весело!.. Здравствуйте, Ледоколовъ; мы васъ тоже видѣли... я даже вамъ махнула платкомъ. А вы посмотрѣли, постояли на террасѣ и ушли... Мы вѣдь съ вами уже три дня какъ не видались...

— И эти три долгіе дня...—началъ-было Ледоколовъ,—но Адель не дала ему кончить.

— Вы уже наговорились о дѣлахъ; мы такъ и думали, когда шли сюда. Вечеръ такой прекрасный! Мы будемъ пить чай вмѣстѣ, у насъ. Надѣюсь, что я имѣю на это право?

Она посмотрѣла черезъ плечо на Лопатина такимъ задорнымъ, вызывающимъ взглядомъ.

— Гмъ, гмъ... и прекрасно! — впору спохватился Иванъ Илларіоновичъ.—Послѣ сядемъ въ преферансъ или ералашъ. Васъ двое, я и Фридерика Казиміровна...

— Этотъ вечеръ у меня можетъ быть свободнымъ!—равнодушно произнесъ Бурченко.

— Мнѣ такъ пріятно...—согнулся по направленію къ Адели Ледоколовъ.

— Шалунья!—наладила все одно и то-же Фридерика Казиміровна.

— Извините, я распоряжусь! — какъ-то глухо произнесъ Лопатинъ, пошатнулся немного, поблѣднѣлъ и быстро вышелъ изъ комнаты.

— О, чтобъ *его* черти взяли! Чтобъ *его* тамъ, въ этихъ горахъ, первою глыбою придавило! Чтобъ *ему* шею свернуть на первой кручѣ!—причиталъ Иванъ Илларіоновичъ кому-то *ему* всякія благія желанія, допивая третій стаканъ воды со льдомъ.—Скорѣе, скорѣе отправить ихъ въ горы, подальше,

куда-нибудь подальше! Ухъ!..—вздохнулъ онъ, наконецъ, и сталъ натирать себѣ виски губкою, намоченною въ туалетный уксусъ.

— Барыня къ себѣ чай пить просятъ... Тамъ уже и гости!—доложилъ парень въ поддевкѣ.

— Къ дьяволу убирайся!—захрипѣлъ Лопатинъ и закашлялся.—Скажи, что иду сейчасъ!—добавилъ онъ нѣсколько покойнѣе, когда тотъ, изумленно вытаращивъ глаза, задомъ сталъ пятиться къ двери, не понимая, за что это такъ осерчалъ его смирный въ обыкновенное время хозяинъ.

Общество расположилось на террасѣ «дамской половины». Солнце садилось, и густая синеватая тѣнь расползлась по саду. Чай разливать взялась Фридерика Казиміровна, которая и заняла мѣсто за серебрянымъ самоваромъ.

— А вы сюда, поближе ко мнѣ!—пригласила она малоросса, указавъ на ближайшій стулъ.—Адочка!

— Что, мама?..

— Поди сюда... Вы извините, если я на одинъ мигъ отниму у васъ собесѣдницу!

Ледоколовъ, къ которому относилась эта фраза, хотѣлъ что-то сказать, да, должно быть, раздумалъ.

— Ну, что тебѣ, мама?

Адель оживленно разсказывала что-то Ледоколову; она остановилась на полусловѣ и, нехотя, подошла къ матери.

— Нагнись сюда. Хотя, господа, и не слѣдуетъ секретничать въ обществѣ, однако я позволю себѣ эту неловкость...

Фридерика Казиміровна принялась шептать дочери на ухо, показывая рукою то на столъ, то на ея костюмъ. Она этими жестами маскировала настоящее содержаніе рѣчи...

— Это негодится,—горячилась она,—это совсѣмъ безтактно!.. Ты хоть при Иванѣ Иларіоновичѣ не очень-то съ нимъ того—понимаешь? Ты не знаешь Лопатина: онъ мягокъ, какъ воскъ, но если злоупотреблять этою мягкостью, то дѣло можетъ разыграться довольно непріятно и для насъ, да, пожалуй, и для него!

Адель прикусила губы.

— А вотъ я посмотрю, чѣмъ это можетъ кончиться!—И брови ея задвигались.

— Адочка, ангелъ мой! Но благоразуміе, благоразуміе!—

перемѣнила мгновенно тонъ Фридерика Казиміровна. Она очень боялась этой скверной складочки надъ бровями.

— Я знаю, что дѣлаю!—отчеканила Адель.

— Тысячу извиненій, что заставилъ себя ждать!—развязно вошелъ на террасу Лопатинъ.

— Садитесь!—важно показала ему на стулъ красавица.

Она входила въ роль «полновластной хозяйки этого гнѣздышка».

— Самый крѣпкій и побольше сахару... видите, Иванъ Илларіоновичъ, я помню хорошо вашъ вкусъ!—привѣтливо улыбалась Фридерика Казиміровна, протягивая Лопатину стаканъ чаю...

Адель молча пододвинула ему корзинку съ хлѣбомъ. Это небольшое вниманіе очень благотворно подѣйствовало на Лопатина, но только на одно мгновеніе: эта-же хорошенькая ручка подвинула корзинку и Бурченко, и Ледоколову; послѣднее даже сопровождалось улыбкою, не менѣе привѣтливой, чѣмъ улыбка мадамъ Брозе.

— ... Въ которомъ, вы говорите, году?—неожиданно спросилъ Лопатинъ, рѣзко повернувшись къ Бурченко.

— Я ничего не говорилъ!

— Виноватъ, мнѣ послышалось...

Нѣсколько минутъ тянулось тяжелое, невыносимое молчаніе: всѣ чувствовали себя какъ-то неловко. Даже Бурченко былъ вовсе недоволенъ этимъ чаепитіемъ на свѣжемъ воздухѣ: онъ досадовалъ на себя, что принялъ приглашеніе.

«Чортъ его знаетъ, еще взбѣсится совсѣмъ этотъ самодуръ... дѣло, пожалуй, расклеится», — подумалъ онъ и подыскивалъ тему для разговора болѣе удобнаго, имѣющаго болѣе общій, умиротворяющій характеръ.

Ледоколовымъ овладѣло какое-то странное смущеніе; эта тяжелая, неуклюжая фигура Лопатина какъ-то давила его; этотъ упорный, стеклянный взглядъ, почти все время устремленный на него, начиналъ его сердить не на шутку; по временамъ онъ испытывалъ то ощущеніе, которое долженъ-бы былъ испытывать человѣкъ, сознательно усѣвшійся въ партерѣ на чужое кресло: а ну, какъ подойдутъ сейчасъ и скажутъ: «а позвольте, милостивый государь...»

Фридерика Казиміровна все еще продолжала улыбаться, но

эта улыбка становилась все кислѣе и кислѣе... Она тоскливо смотрѣла на свое растянутое изображеніе въ самоварѣ; она боялась чего-то, и эта боязнь формулировалась такъ: а что, если у ней отнимутъ вдругъ этотъ хорошенькій, такъ изящно выгнутый, на диво полированный серебряный самоваръ,—мало того, вдругъ скажутъ: а убирайся-ка, матушка, опять туда, откуда пріѣхала, коли не умѣла повліять на дочку, какъ слѣдовало»... «А какъ повліяешь на этого дьявола?!» — рѣшила Фридерика Казиміровна и со злостью взглянула на «дьявола», съ самою невинною миною прихлебывавшаго изъ маленькой китайской чашечки.

— Ахъ, какой ужасный случай былъ съ нами въ дорогѣ! — начала Фридерика Казиміровна. — Представьте себѣ, Иванъ Илларіоновичъ... У насъ сломался дормезъ...

— Представляю! — буркнулъ Лопатинъ.

Изъ этого тона Фридерика Казиміровна заключила, что ея разсказъ не доставляетъ особаго удовольствія, и отлавировала назадъ.

— Адочка, подвинь мнѣ стаканъ Ивана Илларіоновича: онъ, кажется, кончилъ!

— Нѣтъ, мама, ты налила ему первый, а этотъ я налью сама; посмотримъ, кто лучше... Вы будете безпристрастнымъ судьей, да?

— Я, Адель Александровна, какъ всегда... — запутался Лопатинъ, а такъ-какъ ручка Адели, протянутая за стаканомъ, очутилась около него такъ близко, то удержаться и не поцѣловать ее было уже не подъ силу.

— Э-хмъ!—поперхнулся Ледоколовъ глоткомъ горячаго чая.

— Вѣдь это «родственный», не болѣе, какъ «родственный»!—утѣшалъ его втихомолку Бурченко.

Фридерика Казиміровна бросила на свою дочь взглядъ, исполненный благодарности и признательности.

Стало быстро темнѣть. Зажгли большой китайскій фонарь, висѣвшій какъ-разъ надъ серединою стола. Прозрачная, разрисованная яркими арабесками бумага пропускала самый нѣжный, пріятный свѣтъ, и въ этихъ матовыхъ лучахъ дрогнули тысячи свѣтлыхъ точекъ, замелькали безчисленныя крылышки ночныхъ бабочекъ, налетавшихъ на огонь изъ окружающей тьмы, изъ всѣхъ уголковъ и закоулковъ обширнаго сада.

Адель разболталась одна за все молчаливое общество. Она доставила Лопатину еще два раза случай приложиться къ ея ручкѣ; она даже не отдернула сразу своей ноги, когда почувствовала подъ столомъ прикосновеніе мужского тяжелаго сапога. Положимъ, что она заподозрѣла въ этой неловкости своего vis-a vis — Ледоколова, и подумала даже: «экій длинноногій!» но вѣдь Иванъ Илларіоновичъ не могъ-же слышать того, что только подумалось, и почувствовалъ себя необыкновенно хорошо послѣ этого электризующаго прикосновенія.

Предполагаемый вистъ или преферансъ не состоялся: Адель прямо заявила, что не допуститъ «этой противной, скучной игры», приличной только дождливому, сѣрому Петербургу.

— Ахъ, какъ хорошо!.. Какъ темно!.. Такъ вотъ и тянетъ туда, въ эту глушь!

Она стала на крайнюю ступеньку террасы и жадно смотрѣла въ этотъ густой мракъ южной лѣтней ночи.

— Я гулять хочу.—Ай!..

Летучая мышь черкнула въ воздухѣ такъ близко, почти у самаго ея лица; въ сырой, росистой травѣ слышался почти непрерывный тихій шелестъ.

Адель спустилась съ террасы. Ледоколовъ поспѣшилъ предложить ей руку, но Адель не замѣтила этого предупредительнаго движенія и повисла уже на локтѣ Ивана Илларіоновича.

Фридерика Казиміровна поспѣшила овладѣть рукою Ледоколова, Бурченко пошелъ «solo».

«Что-то ужь онъ очень наклонился къ ней, говоритъ какъ то эдакъ...»—волновался Ледоколовъ, глядя на едва обрисовывающуюся въ темнотѣ массивную спину Лопатина и болѣе замѣтное пятно—бѣлую кружевную косынку его дамы...

Онъ поддалъ ходу, — ему такъ хотѣлось уменьшить это разстояніе, образовавшееся между первою и второю парами.

— Ахъ, какъ, дѣйствительно, ночь прекрасна!—вздыхала Фридерика Казиміровна, задерживая шагъ и этимъ осаживая порывы своего кавалера.

— Вотъ такъ полонезъ закатываемъ! — выступалъ сзади Бурченко, шагая осмотрительно, дабы не наступить на этотъ безконечный шлейфъ госпожи Брозе, загребающій на ходу все, что только ни попадалось на садовой дорожкѣ.

XIV. XV.

. . . . . .

XVI.

Гроза на горизонтѣ.

— Высохъ, какъ спичка, желтъ, какъ лимонъ, и смотритъ гіепою...

— Да, перемѣнился страшно. Эй, что-же салатъ? Вѣчно по цѣлому часу ждать приходится! Котлета стынетъ!

— Вчера я былъ у генерала; завтракали... онъ тоже былъ; то-есть, до такой степени раздражителенъ сталъ, что даже со стороны смотрѣть страшно—шесть сигаръ исковеркалъ прежде, чѣмъ закурилъ одну. Въ вистъ сѣли, такъ генералъ говоритъ: «ну, нѣтъ, батенька, съ вами играть невозможно: вы, говоритъ, не въ своемъ...» и это рукою на лобъ указалъ.

— Гмъ!..

— Вспылилъ страшно, понятное дѣло, бросилъ карты и говоритъ: «Вы, ваше превосходительство, гарантированы вполнѣ отъ этого (онъ тоже показалъ на лобъ): для того, говоритъ, чтобы сойти съума, надо его имѣть»,—каковъ! Такъ и отрѣзалъ.

— Чу-у-дакъ!

— Ну, натурально, вистъ разстроился. Хорошо еще, что сейчасъ раковъ подали—вотъ какіе раки! Страсть! Ну, генералъ занялся и не обидѣлся!

— Онъ у насъ добрый.

— Смотри!

Одинъ изъ собесѣдниковъ покосился немного вправо, другой удержалъ вилку съ кускомъ котлеты на полу-дорогѣ и тоже метнулъ глазами въ ту-же сторону.

Перловичъ скомкалъ газету, которую читалъ, судорожно отбросился въ сторону и, сильно отодвинувъ стулъ, поднялся на ноги.

Проходя мимо буфета, изъ-за котораго усердно кивалъ ему Тюльпаненфельдъ, Станиславъ Матвѣевичъ остановился на минуту, хотѣлъ что-то сказать, да махнулъ рукою и быстро вышелъ изъ ресторана.

— Дѣйствительно, что-то не ладно! пожалъ плечами одинъ изъ собесѣдниковъ.

— Что-нибудь по части торговыхъ фортелей не выгораетъ!

— Какъ-бы чего хуже не было!..

— Видѣли?—говорилъ старичекъ въ мундирѣ, въ другомъ углу залы.

— Видѣлъ!—отвѣчалъ другой старичекъ, тоже въ мундирѣ.

Они вдвоемъ ѣли одну порцію ботвиньи, тщательно оберегая свои разноцвѣтныя регаліи, украшавшія промежутокъ между бортами.

— Да-съ!

— Охъ-охъ! Капнули никакъ, Мартынъ Захарычъ!

— Гдѣ, гдѣ?

— На «Станиславчика»...

— Вы-то свою «Анну» поберегите!

— А я ее салфеточкою прикрою, вотъ оно и хорошо будетъ!

— Повѣрьте вы мнѣ, — говорилъ внушительно докторъ (нашъ старый знакомый),—что въ немъ совѣсть шевельнулась: угрызеніе чувствуетъ, ужь это вѣрно; всѣ признаки, и къ тому-же...

— Провидѣніе простираетъ свою десницу!—изрекъ отецъ-іерей Громовержцевъ, которому, по его сану, и не подобало-бы заходить въ рестораны, но... «на сихъ отдаленныхъ окраинахъ, къ тому-же на единое мгновеніе, для пропущенія малаго стакана допелю и закушенія онаго бутеромъ»...—Да-съ, Провидѣніе!—отрыгнулъ отецъ-іерей и потянулся въ уголъ, гдѣ стояла его палица съ массивнымъ серебрянымъ наболдашникомъ, а на ней висѣла широкополая шляпа, покрытая тоже бѣлымъ чехломъ, какъ и форменныя офицерскія фуражки.

Дорогою Станиславъ Матвѣевичъ встрѣтилъ двухъ знакомыхъ офицеровъ, проѣзжавшихъ по городскимъ улицамъ своихъ новопріобрѣтенныхъ иноходцевъ. Проносясь по обѣимъ сторонамъ коляски Перловича, офицеры усердно раскланялись. Они, словно по командѣ, одновременно приподняли свои фуражки и вслѣдъ за этимъ такъ-же одновременно произнесли:

— Свинья!..

Ихъ ужь очень обидѣло то обстоятельство, что Перловичъ даже и не замѣтилъ ихъ салюта. А какъ-же онъ могъ за-

мѣтить это, когда все его вниманіе обращено было на листокъ почтовой бумаги, дрожавшій въ его худыхъ, цѣпкихъ пальцахъ.

Проѣхали улицы, выбрались изъ-подъ остатковъ тріумфальной арки хмуровской архитектуры; сады по чимкентской дорогѣ остались сзади. Коляска въѣхала въ ворота дачи и остановилась передъ подъѣздомъ.

Перловичъ все читалъ или, по крайней мѣрѣ, казалось, что читалъ, не замѣчая и остановки экипажа, и намекающаго покашливанія кучера, и вопросительной позы его стараго Шарипа, распахнувшаго входную дверь на ея обѣ рѣзныя половинки.

— А!—словно проснулся Станиславъ Матвѣевичъ, встряхнулъ головою, потеръ рукою виски и полѣзъ изъ экипажа.

«Въ первомъ моемъ письмѣ я увѣдомилъ васъ...» вотъ фраза письма, не выходившая у него изъ головы, притянувшая къ себѣ все его вниманіе.

«Въ первомъ письмѣ?. думалъ онъ.—Но вѣдь это и есть первое письмо, другого я не получалъ».—Онъ хорошо помнилъ это,—онъ такъ сердился на *него* за медленность—и вотъ... Гмъ, такъ, значитъ, было еще первое письмо; это ясно видно изъ содержанія того, что находилось у него въ рукахъ. Въ *томъ* письмѣ, должно быть, всѣ подробности — это тоже ясно,— иначе зачѣмъ-бы эти фразы: «какъ вамъ уже извѣстно... такъ-же, какъ и тотъ разъ». Значитъ, онъ не получилъ этого *перваго* письма, значитъ, оно пропало... Куда-же оно могло пропасть? И какая непростительная неосторожность съ *его* стороны послать *это* письмо по почтѣ!...

Холодный потъ выступилъ на лбу Станислава Матвѣевича. Онъ даже вздрогнулъ и залпомъ выпилъ стаканъ воды съ какимъ-то сиропомъ.

— А что, если *это первое* письмо не пропало, если оно теперь находится въ другихъ рукахъ?

У него въ глазахъ потемнѣло, и онъ тяжело опустился на диванъ, поспѣшно разстегнувъ жилетъ и развязавъ, почти разорвавъ, бантъ бѣлаго галстука.

— Э, да вздоръ! Все пустяки. Ну, что-жь такое? Во-первыхъ, это письмо могло пропасть окончательно, не попадаясь вовсе не въ чьи руки, и тогда... во-вторыхъ...

Маленькій приливъ бодрости такъ-же быстро исчезъ, какъ и появился.

— Во-вторыхъ... нѣтъ, этого «во-вторыхъ» быть не можетъ! Это письмо—улика, страшная улика, отдающая его цѣликомъ въ руки... ухъ, какія скверныя, ненавистныя руки!

И вспомнилъ онъ, какъ подозрительно всѣ косились на него, какъ на приговореннаго, когда онъ заѣзжалъ въ ресторанъ. Они уже знали все. Да, это ясно. Сомнѣнія тутъ не могло быть никакого.

— Ну, что тебѣ надо; что?

Со злостью и страхомъ Перловичъ взглянулъ на Шарипа и даже попятился въ уголъ, инстинктивно протягивая руку къ стулу.

Старикъ-сартъ стоялъ въ дверяхъ и молча, вопросительно глядѣлъ на своего господина.

— Тюра звалъ?—произнесъ онъ наконецъ.

— Нѣтъ, вовсе не звалъ, зачѣмъ мнѣ звать тебя?.. Не надо... Ступай отсюда... ну, ступай! Да иди-же!.. «А, сторожитъ, слѣдитъ тоже»,—подумалъ Станиславъ Матвѣевичъ, съ ненавистью глядя на этотъ красный, морщинистый затылокъ, скрывшійся за драпировкою.

Солнце склонялось къ западу; въ большія, выходящія во дворъ окна ворвались косые лучи свѣта, разомъ озарившіе всю внутренность комнаты; все металлическое засверкало, по потолку и столамъ забѣгали свѣтлыя пятнышки.

Перловичъ взглянулъ въ окно.

— Сколько народу тамъ! Чего это они собрались? Что дѣлаютъ? Вонъ арбы пріѣхали съ клеверомъ; полу-голые арбакеши сваливаютъ зеленые снопы на крыши дворовыхъ навѣсовъ и нѣтъ-нѣтъ все сюда поглядываютъ, въ это окно, въ которомъ должна быть такъ ясно видна вся его фигура... Вонъ два приказчика прошли черезъ дворъ и тоже сюда покосились, шепчутся... А вонъ тотъ стоитъ на крышѣ, такъ и уставился, глазъ не спускаетъ, тоже сюда смотритъ... Подлецы, предатели!

Перловичъ, подъ вліяніемъ какого-то инстинкта самосохраненія, поспѣшно откинулся назадъ, въ другой уголъ дивана, куда не достигалъ этотъ выдающій, все на показъ выставляющій лучъ свѣта...

Сѣрый, осенній день. Кругомъ чахлые кустарники, желтый, полувысохшій бурьянъ, кучи бурелома и валежника, оставшіяся послѣ вырубленнаго лѣса... Подъ вывороченнымъ пень-

комъ, совершенно прикрытый вырѣзными, перистыми листьями папоротника, весь зарывшись въ мягкій, сѣдой мохъ, залегъ притаившійся заяцъ и чуть-чуть поводитъ своимъ настороженнымъ ухомъ: онъ прислушивается. Страшные звуки несутся со всѣхъ сторонъ, трещатъ сучья подъ десятками собачьихъ лапъ, фыркаетъ конь гдѣ-то неподалеку. Ухъ, какъ близко, чуть не вдоль его вытянутой струною спины, щелкаетъ охотничій арапникъ. И тамъ, и тутъ, и отсюда, и оттуда грозитъ смертельная опасность... «Бѣжать?.. Куда? Со всѣхъ сторонъ враги... Онъ окруженъ. Вонъ между этимъ кустомъ и бѣловатымъ стволомъ покривившейся березы еще есть, кажется, свободное пространство. Развѣ туда?» И тамъ словно изъ-подъ земли выросъ и грозно киваетъ косматый бѣлый хвостъ... Слышно тяжелое дыханіе; красный, покрытый пѣною языкъ, бѣлые, острые клыки мелькнули такъ близко... Сильно, учащенно колотится сердчишко несчастнаго звѣрька... Онъ весь замеръ: ни одна шерстинка не тронется, даже косые глаза прикрыты, и чуть-чуть дергаются вѣки въ смертельномъ, безъисходномъ ужасѣ... Сопящій, фыркающій носъ раздвигаетъ желтые листья—послѣднюю преграду.

Вотъ въ такомъ точно или, по крайней мѣрѣ, чрезвычайно близкомъ къ этому положеніи чувствовалъ себя Станиславъ Матвѣевичъ, только съ тою разницею, что хлопанье арапника, фырканье коня, собачьи хвосты и языки,—все это было пока только въ одномъ его воображеніи.

«Развѣ бѣжать? Какъ и заяцъ подъ кустомъ, подумалъ Станиславъ Матвѣевичъ.—Но куда?—Къ этимъ дикарямъ, въ Бухару, въ Хиву, что-ли? Это—та-же смерть, та-же погибель; назадъ въ Россію? А какъ? — Черезъ всю эту степь черезъ рядъ форговъ и крѣпостей, въ каждой изъ которыхъ его могутъ захватить, скрутить, и тогда все пропало? А это все? Развѣ это унесешь съ собою?»

Онъ съ невыразимою тоскою поглядѣлъ кругомъ.

Прямо передъ нимъ, въ простѣнкѣ между двумя глубокими нишами, плотно, словно прилипши къ плитному полу, стоялъ металлическій несгораемый шкапъ; этотъ шкапъ присланъ былъ ему еще въ прошедшемъ году,—и тогда уже было что въ него прятать, а теперь... А это, что на дворахъ, въ его караванъ-сераяхъ, на пути, въ караванныхъ вьюкахъ, на рынкахъ Ко-

кана и Бухары, наконецъ, въ его грандіозныхъ проектахъ, въ одномъ воображеніи его воспламененнаго мозга?.. Все это придется бросить и спасать... что-же?—Одну только разбитую, исковерканную жизнь! А, вотъ оно что! Значитъ, поздно, значитъ, все кончено!..

На дворѣ послышался торопливый топотъ коня и звяканье оружія: два казака показались въ отворенныхъ воротахъ; за плечами торчатъ стволы винтовокъ, шашка путается и мѣшаетъ слѣзть съ лошади. Бѣлый четырехугольникъ сложенной бумаги затиснутъ подъ ременную портупею. Казакъ идетъ сюда; онъ ступилъ на крыльцо. Эхъ, какъ звякаютъ шпоры по его ступенямъ! Кто-то пробѣжалъ за стѣною портьера колышется.

— Къ вашему высокородію! — реветъ медвѣжій голосъ. Какая-то горилла загородила трехугольный просвѣтъ распахнувшейся драпировки.

— Что такое?.. Зачѣмъ-же это?.. Я и самъ могу...Здравствуй, голубчикъ!—самъ не понимая что, несвязно произнесъ Перловичъ и взялъ машинально протянутую ему бумагу.

Больше онъ ничего не слышалъ и не видѣлъ.

— Диковина,—говорилъ своему товарищу казакъ, садясь на лошадь,—взялъ это онъ «повѣстку», поглядѣлъ, губами что-то пошамкалъ, да какъ хлопнется на бокъ,—благо, еще у него на полу-то мягко—вершка на полтора ковровъ настлано!

— Можетъ, хмѣленъ былъ?

— Нѣтъ, посуды около не видать было. Такъ на водку и не получилъ ничего, а надо-бы. Да ну, не вертись, «пошстрѣли тѣ пузо» *)!—вытянулъ онъ нагайкой своего чубараго.

А между тѣмъ содержаніе бумаги, полученной Станиславомъ Матвѣевичемъ, было самаго невиннаго свойства. Печатный бланкъ со вставнымъ только именемъ и даже за нумеромъ, приглашалъ пожаловать на балъ, имѣющій быть такого-то числа, у его превосходительства, и проч., и проч. Въ концѣ-же значилось предувѣдомленіе, что господамъ военнымъ нужно быть въ мундирахъ, а неслужащимъ и купечеству не иначе, какъ во фракахъ; пояснено было даже, что туземные именитые жители, получившіе это приглашеніе, избавлены отъ необходимости

*) Характерная брань уральскихъ казаковъ.

надѣвать фракъ, а могутъ явиться въ своихъ парчевыхъ, шелковыхъ, бархатныхъ и всякихъ другихъ халатахъ.

Затѣмъ добавлялось, что балъ этотъ имѣетъ между прочимъ цѣлью сліяніе національностей, побѣдителей и побѣжденныхъ, а посему первые приглашались по-возможности способствовать достиженію этой благой цѣли, занимая туземныхъ гостей и объясняя имъ главнѣйшія преимущества цивилизованной общественной жизни передъ ихъ полудикимъ, варварскимъ бытомъ.

Послѣднее добавленіе принадлежало соединеннымъ перьямъ офицеровъ мѣстнаго генеральнаго штаба и явилось результатомъ двухъ ночей усиленной умственной дѣятельности.

Бумага эта не то что была-бы запечатана, а такъ, подклеена немножко, только чтобы не развертывалась. Такъ, по крайней мѣрѣ, самъ себя увѣрялъ докторъ, приводившій Перловича въ чувство и не утерпѣвшій, чтобы не освѣдомиться насчетъ содержанія этого «пакетца».

Потомъ докторъ весьма досадовалъ на себя, какъ это онъ сразу, по одному наружному виду, не узналъ, въ чемъ дѣло? Вѣдь и самъ онъ, да и не одинъ онъ, еще съ утра получилъ подобную-же повѣстку.

И помусоливъ языкомъ окраину листка, онъ поспѣшилъ привести пакетъ въ его первобытное состояніе.

XVII.

„Гидальго“.

Случай помогъ Ледоколову провести вечеръ въ домѣ Ивана Илларіоновича; разъ попавъ туда, онъ рѣшился, во что-бы то ни стало, поддержать это знакомство. Это входило въ его разсчеты.

На другой-же день, часовъ въ одиннадцать утра, «въ самый визитный часъ», какъ увѣрилъ его бѣлобрысый баронъ, авторитетъ по части знанія мѣстныхъ свѣтскихъ обычаевъ, Ледоколовъ надѣлъ фракъ, досталъ изъ дорожнаго футляра цилиндръ, совершившій вмѣстѣ съ нимъ далекое путешествіе, и направился къ лопатинскому дому.

«Посижу подольше, поразговорюсь,—мечталъ онъ дорогою:—

надо усыпить эту подозрительную, дурацкую ревность. Къ маменькѣ приласкаться не худо: это тоже можетъ быть весьма полезно; пригласятъ завтракать—останусь».

Ледоколовъ слѣзъ съ дрожекъ и разсчиталъ извозчика.

— Дома нѣтъ!—заявили ему въ полуотворенную дверь.

— Какъ дома нѣтъ?—озадачился Ледоколовъ.

— Да ужь такъ-съ!—говорилъ голосъ за дверями.

— Гмъ... А госпожа Брозе и ихъ дочь?

— Мадамъ-то? Сейчасъ... Тоже дома нѣтъ! Должно, что такъ-съ!

Голосъ за дверями заговорилъ менѣе рѣшительнымъ тономъ. Очевидно, онъ справлялся въ эту минуту: какого рода отвѣтъ надо держать относительно этого непредвидѣннаго пункта? Тотъ, кто могъ надоумить его, вѣроятно, говорилъ одною пантомимою, потому что какъ ни прислушивался Ледоколовъ, другого голоса было не слышно.

— Слушаю-съ, чего-съ? Какъ-съ? Только одни они съ...— шепталъ голосъ за дверями.

— Барынь тоже нѣтъ дома. Никого дома нѣтъ: уѣхавши!— отчеканилъ онъ уже довольно опредѣлительно.

— Вѣдь ты, братецъ, врешь...—началъ-было Ледоколовъ, и не могъ докончить возраженія,—не могъ уже только потому, что вслѣдъ за отвѣтомъ захлопнулась дверь передъ самымъ его носомъ. Мало того, кромѣ визга дверного засова, въ массивномъ мѣдномъ замкѣ что то внушительно щелкнуло, даже не одинъ, а цѣлыхъ два раза.

— Однако!—пожалъ плечами визитеръ и пожалѣлъ, зачѣмъ такъ поторопился отпустить свою долгушку.

Еще раза два пытался Ледоколовъ проникнуть, наконецъ, туда, гдѣ... и т. д., но каждый разъ его встрѣчали неудачи, подобныя первой его попыткѣ.

Встрѣтился онъ разъ, случайно, съ Лопатинымъ на улицѣ: что за странность? Иванъ Илларіоновичъ разсыпался въ любезностяхъ.

— Загордились, батенька, что не заглядываете? Грѣхъ!— мялъ ему руку Лопатинъ и смотрѣлъ на него такъ ласково, такъ дружелюбно. — И барыни вотъ все освѣдомляются объ васъ. Что, молъ, да какъ, молъ? Заходите-же, право-ну!

«Зайду завтра!» — рѣшилъ Ледоколовъ и зашелъ.

— Только вотъ передъ вами уѣхали, и барыни съ ними!— съ соболѣзнованіемъ въ голосѣ сообщилъ ему тотъ-же голосъ за дверями.

— Да вѣдь я сейчасъ приказчика ихъ встрѣтилъ: онъ говорилъ...—разсердился-было Ледоколовъ и тотчасъ-же услышалъ знакомый визгъ и щелканье.

Какъ нарочно, случилось такъ, что первое время госпожа Брозе и ея Ада положительно никуда не выѣзжали. Слѣдовательно, разсчитывать на встрѣчу внѣ дома Лопатина было безполезно. А этотъ проклятый, ненавистный домъ, такой тяжелый, словно приплюснутый сверху, обнесенный скучными стѣнами, былъ, очевидно, для него запертъ.

Припомнилъ Ледоколовъ, что какъ-то вечеромъ, ужиная у Тюльпанснфельда, онъ слышалъ, какъ въ общей комнатѣ интендантскій чиновникъ распространялся объ удивительныхъ свойствахъ здѣшняго климата.

— То-есть, вы не повѣрите, -- говорилъ онъ, — дѣвочка скромненькая, пятнадцати лѣтъ, ничего не знала, не понимала, пріѣхала сюда и... что-бы вы думали? Вотъ!

Ораторъ сдѣлалъ округленный жестъ передъ своимъ жилетомъ.

— Ну, батюшка, тутъ совсѣмъ особыя причины!—докторально заявлялъ другой собесѣдникъ.—Согласитесь сами, прикиньте хоть на счетахъ, на сто пятьдесятъ мужчинъ приходится всего только одна съ третью женщина! Спросите хоть у самого Глуховскаго: онъ собиралъ эти статистическія данныя!

— Ну, конечно! Теперь вотъ опять,—дребезжалъ козлиный голосокъ, вытирая ротъ салфеткою,—наши барыни: тамъ были вѣрныя, благочестивыя жены, пріѣхали сюда — и что-же?.. Вы сами знаете, господа, вѣдь это ни на что не похоже! Это ужь какая-то поголовная эпидемія!

— Ну, вотъ, вотъ, вотъ—обрадовался интендантскій чиновникъ. — Скажите — не климатъ, не его вліяніе? Конечно, на нашемъ братѣ, мужчинѣ, это вліяніе не такъ въ глаза бросается, а есть... охъ, есть! По себѣ знаю!

— Конечно!—соглашается тотъ, кто сначала пытался отыскать другую причину.—Южный климатъ, жаръ; опять пряности и горячительные напитки, но все-таки если-бы пропорція была нормальнѣй...

*

— Да гдѣ ее взять, эту пропорцію-то,—гдѣ? Вонъ Щелколериха горничную съ собою привезла,—рыло такое, что и не взглянулъ-бы другой разъ, а тутъ бацъ! За чиновника замужъ вышла. Дѣло у мирового вчера разбиралось...

— Всяко бываетъ... Мы вотъ въ джюзакскомъ походѣ изъ гнилой лужи хлебали, да слаще меду казалось,—нужда!

— Вліяніе климата!—настаивалъ интендантскій чиновникъ.

«Должно быть, что это вліяніе климата!» припоминалъ Ледоколовъ, отправляясь на продолжительныя ночныя прогулки подъ окнами лопатинскаго дома, особенно съ той стороны, гдѣ, по его соображеніямъ, приходилась дамская половина. Черезъ стѣну онъ узнавалъ вершины тѣхъ самыхъ тополей и тутовника, подъ которыми они бродили впотьмахъ, всѣмъ обществомъ, и, глядя на эти темныя, кудряватыя группы зелени, у Ледоколова быстрѣе обращалась кровь, и усиленнѣе толкалось что-то подъ жилетомъ, заглушая даже отчетливое чиканье его хронометра.

Прогулки эти онъ начиналъ, обыкновенно, вечеромъ, когда южныя сумерки густѣли настолько, что не такъ рѣзко бросалась въ глаза проходящимъ и проѣзжающимъ его печальная фигура. Прогулки эти тянулись частехонько вплоть до разсвѣта.

А ночи были такія чудныя, темныя, ласкающія, такъ возбудительно дѣйствовавшія на безъ того до-нельзя возбужденные нервы Ледоколова. Подолгу стоялъ онъ передъ садовою стѣною, и передъ его глазами, въ въ этомъ густомъ мракѣ. проходили самыя томительныя, волнующія кровь картины. То чудилось ему, что эта ровная линія стѣнного гребня тянется вверхъ, заостряется въ какія-то готическія башни древнихъ замковъ; свѣтятся краснымъ свѣтомъ узкія окна бойницы, визгъ цѣпей слышится за этими мрачными стѣнами, надрывается плачъ заключенныхъ красавицъ. Онѣ ждутъ избавителя, визгъ его призывнаго рога.

«Развѣ махнуть черезъ?» — мелькала не разъ у него въ головѣ отважная мысль. — Стѣна не такъ чтобы ужь очень высока. Вотъ съ этой стороны, если-бъ только кто подсадилъ.

И если-бъ въ подобную минуту дѣйствительно нашелся этотъ кто-нибудь, Ледоколовъ не задумался-бы привести въ исполненіе свое намѣреніе.

«О, моя радость! Звѣздочка моя милая!..» — ощущалъ онъ

на себѣ *вліяніе климата* и, опершись разгоряченнымъ лбомъ о шероховатую поверхность стѣны, припоминалъ всѣ мельчайшія обстоятельства ихъ путешествія вмѣстѣ на пароходѣ «Аралъ», припоминалъ онъ всѣ эти чудныя, блаженныя минуты.

— Жуликъ, надо полагать!

— А чортъ его знаетъ! Нѣшто забрать?

— Ну, его къ лѣшему!

Темныя конныя фигуры объѣздныхъ казаковъ топочутъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Ледоколова, нагибаются съ сѣделъ, подозрительно всматриваются въ темноту и проѣзжаютъ мимо.

— Боже!..

Ледоколовъ отскочилъ и началъ прислушиваться: за стѣною слышится голосъ! Это ея голосъ! Нѣтъ; все тихо; слышно только, какъ шелестятъ вѣтви деревьевъ, какъ храпитъ кто-то пьянымъ, носовымъ храпомъ.

—. Вы-бы серенаду спѣли понѣжнѣе! Гдѣ ваша гитара, mio gidalgo?—говоритъ сзади граціозный женскій голосокъ.—Бѣдняжка!.. Ха-ха-ха-ха!—звонко хохочетъ Марфа Васильевна, и вотъ уже далеко, постепенно замирая, слышится мягкій стукъ колесъ ея шарабана.

— Смѣшно! И чего это онъ хлопочетъ, простаивая ночи подъ стѣнами?—хохочетъ Набрюшниковъ, поталкивая шпорами гнѣдого, чтобы тотъ не отставалъ ни на полшага отъ подножки экипажа.

«Смѣшно! — думаетъ, но не высказываетъ вслухъ Марфа Васильевна, косясь на своего кавалера.—И чего это онъ хлопочетъ, рыская по ночамъ за моимъ шарабаномъ?»

— Ну, до свиданья!—остановила она на перекресткѣ своего иноходца.

— Марфа Васильевна!—началъ-было Набрюшниковъ.

— Вамъ надо ѣхать направо, потому что мнѣ надо налѣво. Вы поняли?

Фраза эта произносится тономъ, недопускающимъ никакого возраженія. Набрюшниковъ покоряется безъ явнаго ропота.

— Еще, пожалуй, столкнешься съ кѣмъ-нибудь; ну ее, непріятности наживешь по службѣ!—вздыхаетъ онъ и унылымъ шагомъ направляется къ, своимъ казармамъ, въ коканское предмѣстье.

———

А тутъ и Бурченко все пристаетъ, и пристаетъ, какъ нарочно, все въ такія минуты, когда Ледоколову вовсе не до тѣхъ *неизмѣримыхъ богатствъ, скрытыхъ въ нѣдрахъ дикихъ горъ, куда нога человѣческая еще не проникала.*

— Да послушайте-же,— говоритъ ему малороссъ,—вѣдь вотъ отправляться скоро надо будетъ,а у насъ съ вами не Богъ-знаетъ сколько сдѣлано насчетъ приготовленій. Тутъ столько хлопотъ, возни, а вы все гдѣ-то пропадаете!

Въ отвѣтъ на подобное замѣчаніе Ледоколовъ обыкновенно краснѣлъ и говорилъ, что онъ «собственно готовъ каждую минуту, что съ его стороны...» и т. д., что-нибудь въ этомъ родѣ.

— Буръ подержанный купилъ у Алмазникова: плохъ, но съ нѣкоторыми приспособленіями пойдетъ въ дѣло!

Ледоколовъ машинально выводилъ карандашомъ по маршрутной картѣ какія-то линіи.

— Вчера вотъ у Лопатина былъ; обѣщалъ ему непремѣнно отправиться въ горы въ слѣдующую среду!

— Вы тамъ были? Что-же вы мнѣ не сказали, что идете? Я-бы съ...

— А гдѣ васъ искать? Я вотъ и на прошлой недѣлѣ былъ. Сижу, разговариваю съ нашимъ капиталистомъ, смотрю— вы по той сторонѣ идете, улицу переходите, я думалъ...

— Я шелъ туда-же, но мнѣ сказали, что дома нѣтъ. Это, наконецъ, подлость!

— Какой вы чудакъ! Словно всякій не имѣетъ права пускать въ свой домъ, кого онъ хочетъ, и не пускать также, кого хочетъ. Эхъ, знаете-ли что, благо къ случаю пришлось: и охота вамъ лѣзть, какъ посмотрю я на васъ? Мало вамъ одного раза? Нѣтъ, вамъ надо поскорѣе да подальше убираться отъ этихъ глазокъ, такъ ревниво оберегаемыхъ отъ васъ нашимъ барбосомъ... то-бишь, церберомъ Лопатинымъ. Мнѣ, конечно, васъ не учить, но все-таки отчего не дать добраго совѣта? Да, кстати, къ губернатору насчетъ того дѣла съѣздили?

— Я еще не успѣлъ...— замялся Ледоколовъ. — Я, впрочемъ, сейчасъ...

— Ну, вотъ видите... жаль! Теперь уже поздно: четвертый на исходѣ. Завтра хоть не забудьте!—остановилъ онъ своего товарища, замѣтивъ, что тотъ метнулся въ уголъ за шляпою.

— О, конечно!

Помолчали немного.

— Чортъ его знаетъ! — началъ Бурченко, посматривая на продолговатый рогожный тюкъ, перехваченный по всѣмъ направленіямъ крѣпкою, смоленою веревкою. — Какъ мы его потащимъ въ горы? На вьюкахъ тяжело, ежели на колесахъ— есть тамъ одно мѣсто скверное, не проѣдемъ на арбѣ; развѣ вотъ что...

— Когда вы прошлый разъ были у Лопатина, вы ихъ видѣли?—спросилъ, словно очнувшись отъ сна, Ледоколовъ.

— Экъ вы!—озадаченно взглянулъ на него Бурченко.— Кого это *ихъ?*

— Да вѣдь вы понимаете, о комъ я спрашиваю! — началъ было сердиться Ледоколовъ.

— Ахъ, да! Ну, видѣлъ!

— Что-же, говорили что-нибудь обо мнѣ?..

— Кажется, говорили... а впрочемъ... да, да, говорили, какъ-же! Я имъ разсказывалъ, какъ вы все у дверей стучитесь, а вамъ все говорятъ: дома нѣтъ. Представьте, онѣ объ этомъ ничего и не подозрѣвали!

— Подлецъ, да я ему!.. Я покажу, что мы не въ Азіи, гдѣ можно запирать женщинъ и не пускать къ нимъ тѣхъ, кто...

— А гдѣ-же мы?—расхохотался Бурченко.—Въ Азіи, батюшка, въ настоящей Азіи, въ самомъ центрѣ оной. Да ну, сядьте-же и не горячитесь, да осторожнѣе: вѣдь вы чуть барометръ не свалили—вещь, сами знаете, хрупкая!

— При первой-же встрѣчѣ съ этимъ скотомъ...

— Послушайте, однако, ну, что хорошаго?—Разсердится и денегъ не дастъ—это вѣрно; онъ потому только и даетъ ихъ такъ охотно, что хочетъ поскорѣе насъ съ вами отсюда выпроводить. Иначе чего-бы ему такъ торопить!

— А если я совсѣмъ не поѣду, на зло ему не поѣду, а останусь здѣсь?

— Это будетъ уже совсѣмъ глупо... то бишь—неостроумно. Положимъ, я не связывалъ васъ никакимъ договоромъ на бумагѣ, но...—Бурченко серьезно взглянулъ на своего товарища; улыбка исчезла съ его лица, онъ передернулъ плечами и сухо произнесъ:—Какъ хотите...

— Во-первыхъ, я этого не сдѣлаю, и вашъ холодный тонъ

въ данномъ случаѣ, совершенно не кстати! — спохватился Ледоколовъ.

— Да, я и забылъ: Адель Александровна просила вамъ передать, что... да такъ, это именно придется сегодня вечеромъ... такъ вотъ, сегодня вечеромъ онѣ ѣдутъ кататься по чимкентской дорогѣ...

— Ну?

— Больше ничего. Только и сказала всего: что, молъ ѣдутъ кататься по чимкентской дорогѣ. Развѣ вамъ этого мало?

— И вы могли это забыть? Вы могли-бы, пожалуй, вспомнить объ этомъ завтра и тогда сказать мнѣ?—укорительно взглянулъ на своего друга Ледоколовъ.

— Признаться, забылъ, да вотъ вспомнилъ еще пока своевременно, ну, и слава-Богу! Куда-же это вы?

— Завтра я буду у губернатора и сообщу вамъ результаты! — уклонился отъ отвѣта Ледоколовъ, шагая черезъ рогожный тюкъ и пробираясь къ двери.

— Гулять на чимкентскую дорогу?— варьировалъ вопросъ Бурченко.

— Гулять на чимкентскую дорогу! — произнесъ Ледоколовъ, позабывъ даже притворить за собою двери.

VIII.

Нравственная сдѣлка.

А между тѣмъ на дамской половинѣ лопатинскаго дома жизнь складывалась далеко не такъ привлекательно, какъ предполагала даже Адель, увлекавшаяся иногда розовыми мечтами своей маменьки, и какъ предполагалъ самъ Иванъ Илларіоновичъ, такъ предусмотрительно распланировавшій комнаты своего дома.

Во-первыхъ, Адель начинала скучать. Фридерика Казиміровна пыталась развлекать ее въ подобныя минуты, и сама едва успѣвала прикрывать рукою ротъ, растягиваемый конвульсивною зѣвотою.

— Тоска!—вздыхала Адель.

— Э, полно, Адочка! Ну, пойди, погуляй по саду; тамъ, я видѣла, распустились новые колокольчики...

— А чортъ съ ними! А-а-а!—зѣвала Адель.

— Они такіе оригинальные: свѣтло-лиловые съ красными жилка-а-ами! — зѣвала еще громче Фридерика Казиміровна.

Аделъ вставала и уходила къ себѣ; маменька придвигала поближе столикъ съ фруктами... Проходили томительные, безконечные часы.

— Боже, сколько дней никуда ни шагу!—врывалась Адель снова въ общую комнату. — Кромѣ этого несноснаго сада, въ которомъ все, все пріѣлось и приглядѣлось до тошноты,— я не вижу ничего. Это невыносимо!

И она порывисто бѣгала изъ угла въ уголъ и, наконецъ, вопросительно останавливалась передъ Фридерикою Казиміровною.

— Что дѣлать? Ты сама виновата, сама!—холодно говорила madame Брозе, лѣниво ощипывая самыя спѣлыя, самыя отборныя ягодки винограда.

— *Онъ* думаетъ, что этимъ путемъ можно чего-нибудь добиться! Да я скорѣе умру! — взвизгивала Адель, бросалась на диванъ и принималась рыдать судорожно, истерически, теребя и коверкая цилиндрическія диванныя подушки въ мѣстномъ вкусѣ.

Фридерика Казиміровна, обыкновенно, относилась весьма спокойно къ этимъ явленіямъ. Она не боялась слезливыхъ припадковъ своей Ады; ее скорѣе могли-бы напугать, да и пугали не на шутку, такія минуты, когда ея красавица-дочь задумывалась молча, вся сосредоточившись въ себѣ самой, словно улитка, ушедшая въ свою раковину, когда на ея лбу набѣгали грозныя, не добро предвѣщающія морщинки... Вотъ такія-то минуты тревожили madame Брозе и заставляли ее изыскивать всевозможныя средства разсѣять эти грозовыя тучи и вызвать на лицѣ Ады хотя что-нибудь похожее на улыбку.

— Да, ты сама виновата! — повторяла Фридерика Казиміровна и начинала напѣвать «Dites-lui» изъ «Герольштейнской герцогини» — свои любимые мотивы. — Ты очень хорошо знаешь,—продолжала она, протянувъ руку и ласково погладивъ Аду по ея вздрагивающимъ отъ рыданій лопаткамъ (Ада лежала ничкомъ, уткнувъ лицо въ подушки).— Ты очень хорошо знаешь, что мы находимся совершенно въ рукахъ Ивана Илларіоновича: безъ всякихъ средствъ, въ дикой сторонѣ, ли-

шенныя возможности возвратиться въ Петербургъ,—мы совершенно зависимъ отъ Лопатина. Помни, Иванъ Илларіоновичъ для насъ все! Безъ него все погибло, все! Спасенья нѣтъ. Ты это очень хорошо должна понимать!

Фридерика Казиміровна умышленно представляла свое положеніе въ такомъ видѣ.

«А вотъ я ее припугну!—думала она.—Можетъ, это лучше подѣйствуетъ!»

— Боже мой! — вздыхала Ада, поднималась, вытирала глазки и также, какъ и маменька, только совершенно машинально, тянулась къ корзинкѣ съ фруктами.

Фридерика Казиміровна чавкала и звучно жевала, Адель высасывала ягодки съ какимъ-то весьма граціознымъ всхлипываніемъ. Опять наступало молчаніе, только не надолго.

— Скажи, пожалуйста, Ада, неужели ты думаешь, что все это намъ предлагалось и дается теперь или, по крайней мѣрѣ, обѣщается,—даромъ?

— Мама, да если онъ мнѣ противенъ. Мнѣ гадко, мнѣ даже страшно, когда онъ только дотрогивается до моей руки... Ты знаешь-ли, какъ трудно мнѣ бываетъ скрыть это отъ...

— Да ты этого и не скрываешь. Гмъ!.. Но какое, однако, институтство! Не быть даже настолько актрисою! Впрочемъ, какъ знаешь! Сама послѣ и пеняй на себя, если ему тоже надоѣстъ переносить однѣ только непріятности, и онъ повнимательнѣй отнесется ко всему окружающему!

— Я тебя не понимаю...

— Нѣтъ, это я вообще... эта архитекторша... Мавра или Марфа, такъ, кажется? Помнишь, мы съ терасы видѣли ее въ шарабанѣ?

— Ну?

— Она очень, очень красивая женщина. И я даже кое-что уже слышала. Я, конечно, не хочу тебя тревожить пустыми слухами: мало-ли что болтаютъ... но...

Madame Брозе многозначительно умолкла и, граціозно раскинувшись въ позѣ стереотипныхъ сулганшъ на театральныхъ подмосткахъ, плавно опахивала себя настоящимъ, привезеннымъ изъ Кульджи, китайскимъ вѣеромъ.

— Но вѣдь онъ держитъ меня взаперти, какъ рабу какую-нибудь. Если мнѣ удается завоевать себѣ прогулку въ эки-

пажѣ, то это дѣлается, какъ нарочно, поздно вечеромъ, когда все темно, когда я никого и ничего не могу видѣть!

— И когда тебя тоже никто не можетъ видѣть, добавь!— прерывала Фридерика Казиміровна.— Вотъ въ этомъ-то и все дѣло. Пока онъ не будетъ увѣренъ въ тебѣ, до тѣхъ поръ ты положительно не будешь пользоваться свободно всѣми удовольствіями здѣшней свѣтской жизни. А ихъ такъ много, такъ много! Самъ Иванъ Илларіоновичъ говорилъ мнѣ, что пока...

Маменька приготовилась соврать, и соврать капитально, потому что Иванъ Илларіоновичъ никогда не рѣшился-бы высказать ей того, что теперь ему навязывали.

— Я не способна привязаться къ нему, не могу!—горячилась Адель.— А при этой обстановкѣ достаточно только простого сравненія, чтобы первый встрѣчный...

— Напримѣръ, Ледоколовъ?

Фридерика Казиміровна язвительно улыбнулась и покосилась на свою дочь.

— Да, да, онъ!—вспыхнула Адель.

— Однако, этотъ баринъ не очень-то о тебѣ думаетъ. Вотъ уже сколько времени даже и носа не показываетъ! — опять соврала Фридерика Казиміровна. Она очень хорошо знала, что Ледоколову постоянно отказывали, что, впрочемъ, не удерживало его отъ повторенія своихъ попытокъ проникнуть въ домъ Ивана Илларіоновича.

— Неправда!—оборвала ее Адель.—Я уже говорила вчера о немъ съ его пріятелемъ. Я нарочно вошла въ кабинетъ къ Лопатину, когда узнала, что тамъ Бурченко... Его этотъ уродъ не велѣлъ принимать. Нѣтъ, я подобной ревности не въ состояніи больше переносить!

— Ада, но вѣдь это такъ естественно!

— Это невыносимо!

Плечи Адели начинали подергиваться; она, вотъ-вотъ, готова была разрыдаться снова.

— Какой ты, въ самомъ дѣлѣ, ребенокъ, какъ посмотрю я на тебя!—мягко начала Фридерика Казиміровна.—Ты знаешь пословицу: «за двумя зайцами» и т. д., эта пословица— вздоръ. Можно гоняться не только за двумя зайцами — гораздо больше. Я говорю тебѣ потому, что знаю по личному опыту. Я больше тебя жила на свѣтѣ, и ты должна вѣрить, что мать

не захочетъ зла своей дочери... Ты должна слушать мои совѣты, и если ужъ тебѣ такъ нравится этотъ слюнявый Ледоколовъ...

— Мама, я тебѣ не говорила этого...

— Все равно: я очень хорошо вижу, не хитри!

— Мнѣ скучно. Мнѣ, вообще, нужно общество!

— Все, все будетъ! И если ты будешь настолько умна, что съумѣешь замаскировать это непонятное отвращеніе къ Ивану Илларіоновичу, приласкаешь его, будешь сама терпѣливо и безъ разныхъ неумѣстныхъ выходокъ выносить его ласки, не такъ, какъ вчера за чаемъ, то не только одинъ Ледоколовъ... ха, ха, ха! Ну, да ты умница: ты сама очень хорошо понимаешь, что можно сдѣлать изъ такого колпака, какъ Лопатинъ!

— Колпака?—расхохоталась Адель.

— Ну-да!—смутилась немного Фридерика Казиміровна.— Онъ вѣдь такой добрый, мягкій...

— Добрый, мягкій! — тихо повторила Адель и вздумалась. — Знаешь, мама, — начала она, немного помолчавъ, — замѣть ему какъ-нибудь половчѣе, чтобы онъ не такъ ужъ часто приставалъ съ своими ласками. Знаешь, эта отвратительная привычка брать меня за талію своими потными лапищами... и потомъ зачѣмъ онъ душится бергамотнымъ масломъ?

— О, это все такія мелочи, которыя легко улаживаются, особенно при содѣйствіи такой посредницы, какъ я! — весело засмѣялась Фридерика Казиміровна.

— Посредницы!—такъ-же тихо, какъ и первый разъ, повторила Адель, и на ея лбу опять задвигались какія-то нехорошія складочки.

Фридерика Казиміровна быстро перемѣнила тему разговора.

— А ну-ка, тащи ихъ сюда изъ коляски,— сюда неси, за мною!—слышался голосъ Лопатина на подъѣздѣ.

— Мама, я уйду къ себѣ и запрусь! — быстро вскочила Адель.—Скажи тамъ ему что-нибудь, выдумай.

— Адочка! — поймала ее за платье Фридерика Казиміровна. —Да ну, что за ребячество, ну какъ не стыдно!

— Не могу! Пусти! Скажи, что я ночь не спала и теперь сплю, крѣпко сплю!

— Хорошо, дѣлать нечего! Къ чаю я тебя вызову не-

премѣнно, слышишь?.. Ишь, вѣдь на ключъ заперлась! Своенравная, скверная, упрямая дѣвчонка!.. Ахъ, Иванъ Илларіоновичъ, какъ это мило! А мы васъ раньше вечера не ждали!

— Здравствуйте, матушка, здравствуйте!—Сюда, братецъ, клади, на столъ; ну, ступай!—вертѣлся въ дверяхъ Лопатинъ, пропуская впередъ приказчика съ продолговатыми свертками матерій, завернутыхъ въ китайскую бумагу. — Ну, замаялся я, страсть! Здоровье ваше какъ?

Иванъ Илларіоновичъ съ перевальцемъ, солидно подошелъ къ Фридерикѣ Казиміровнѣ и приложился къ ручкѣ. Потомъ посмотрѣлъ направо, посмотрѣлъ налѣво, прислушался и, понизивъ голосъ почти до шопота, произнесъ.

— Гдѣ-же Адель-съ? Адочка гдѣ же?

— Ахъ, она, бѣдная, спитъ теперь. Только-что заснула. Представьте себѣ, какъ началась у ней зубная боль, такъ всю ночь напролетъ!

— Тсъ! Простудилась, должно быть?

— Какъ страдала, ахъ, какъ страдала!

— Какже вы мнѣ это съ утра не прислали сказать? Ай-ай-ай! Я бы Авдіева съ собою привезъ — лучшій здѣшній докторъ!

— Ну, вѣдь это не опасно!

— Однако, не говорите!

Иванъ Илларіоновичъ на цыпочкахъ подошелъ къ дверямъ спальни Адели, нагнулся и приложилъ ухо къ замочной скважинѣ. Его толстая, массивная фигура была въ эту минуту чрезвычайно комична. Madame Брозе не могла удержаться отъ улыбки.

— Спитъ, кажется, крѣпко! — рѣшилъ Лопатинъ и осторожно, также на цыпочкахъ, поддерживая руками балансъ, перебрался обратно на диванъ къ Фридерикѣ Казиміровнѣ.

— Она просила меня разбудить ее, какъ только вы пріѣдете!

— Будто?!— встрепенулся всѣмъ тѣломъ Лопатинъ.

— Да; только я не рѣшаюсь. Такъ жалко тревожить ея сонъ!

— Оборони Господь!

— Что это? — кивнула Фридерика Казиміровна на принесенные свертки матерій.

— А это-съ, помните, Адочка видѣла образчики китайскихъ атласовъ: по черному полю птицы, цвѣты и драконы

золотомъ и цвѣтными шелками—ей понравилось тогда, такъ я ужъ на всю ея комнату и обои, и драпировки, и на обивку мебели выписалъ; дорогонько, ну, да что!—Деньги дѣло наживное-съ, хе-хе! Такъ, что-ли-съ?

— Какой вы добрый; вы мнѣ совсѣмъ избалуете мою Аду!

— Хотѣлъ бы, ухъ, какъ хотѣлъ бы! Ничего бы не пожалѣлъ, только бы... — глубоко вздохнулъ Иванъ Илларіоновичъ и грустно покачалъ головою.

— Ca viendra! — не безъ намека произнесла Фридерика Казиміровна.

— Вашими бы устами... Вы не повѣрите, вѣдь я самъ себя не узнаю, что со мною дѣлается! Вѣдь вотъ пятый десятокъ, облысѣлъ, расползся, а хуже всякаго шестнадцатилѣтняго мальчишки врѣзался!

— Ну, вы еще вовсе не такъ стары!—сунулась было съ утѣшеніемъ Фридерика Казировна.

— Гдѣ ужъ тутъ-съ! Самъ я понимаю, что какая я ей пара? Не можетъ она любить меня,—это естественно. Дуракъ бы я былъ, если бы добивался этого; но вѣдь привязаться можно, привыкнуть, приласкать когда-нибудь. Сердце вѣдь у меня доброе! Да я бы, кажется, за эту привязанность... Вѣль я ее одну только въ головѣ держу. Осовѣлъ даже совсѣмъ: сегодня вотъ счетъ перепуталъ,—бросилъ до пріѣзда Катушкина; онъ ужо выручитъ... Эхъ, судьба!

— Знаете, что я вамъ скажу?—Я хорошо знаю натуру моей Ады и могу дать вамъ дѣльный совѣтъ; хотите меня слушать?

— Говорите, матушка, говорите!

— Во-первыхъ, она слишкомъ увѣрена въ вашей любви, а потому не очень дорожитъ ею; во-вторыхъ, вы вовсе ошибаетесь, если думаете, что Ада къ вамъ не привязана. Иначе зачѣмъ бы ей такъ скучать вчера весь день и сегодня, и только и спрашивать меня: «ахъ, маменька, да чего же онъ не ѣдетъ?»

— Такъ ли съ?

Подозрительно, какъ-то искоса взглянулъ Лопатинъ на свою утѣшительницу и насторожилъ слухъ. Ему послышался шорохъ за дверями справа. Замочная скважина, которая до сихъ поръ свѣтилась, вдругъ потемнѣла.

— Какъ здѣсь жарко! — поднялась съ дивана Фридерика

Казиміровна.—Пойдемте въ садъ или на террасу; кстати, мы не рискуемъ разбудить Аду своимъ разговоромъ!

Она замѣтила тоже послѣднее обстоятельство, а, по ея соображеніямъ, Адѣ не слѣдовало бы слышать всего, что предполагалось сообщить Лопатину.

— Поменьше ласкайте ее, поменьше балуйте, не обращайте, если можно, вниманія на нее, вообще относитесь къ ней поравнодушнѣе, — конечно, это для васъ трудно, но васъ вознаградятъ послѣдствія! — говорила Фридерика Казиміровна, спускаясь со ступенекъ террасы и повиснувъ на рукѣ своего кавалера.

— Ахъ-ха-ха!—вздыхалъ Иванъ Илларіоновичъ, отстраняя слегка рукою мѣшавшія пройти, наклонившіяся подъ тяжестью поспѣвающихъ плодовъ, вѣтви имбирной сливы.

Тихонько отворилась дверь изъ спальни Адели. Красавица шмыгнула къ столу, бѣгло осмотрѣла китайскія ткани и, заслоненная со стороны сада откинутою дверною драпировкою, принялась наблюдать за гуляющими.

— Но если бы я только зналъ, что между мною и ею сталъ кто-нибудь другой...— доносилось изъ сада, и слышно было, какъ злость и бѣшенство задерживали дыханіе говорящаго, стискивая горло, пропуская только отрывистыя, короткія фразы.

— Mais calmez vous, mon ami! Успокойтесь! Даже и тѣни нѣтъ ничего подобнаго!—плавно пѣла Фридерика Казиміровна.

— Ого! А вотъ я посмотрю! — сдвинула брови Адель.

Должно быть, вѣтеръ подулъ въ другую сторону или разговаривающіе стали осторожнѣй, потому что больше ничего не слыхала Адель, кромѣ того только, какъ поминутно на усыпанныя желтымъ пескомъ дорожки падали съ легкимъ стукомъ и расплюскивались подточенные червями сливы и персики.

— Если у васъ есть карточка этой барыни...—вдругъ донеслось съ той стороны, откуда Адель совершенно не ожидала.

— Достать можно!—говорилъ Лопатинъ.

— Положите ее на видномъ мѣстѣ, въ кабинетѣ на столѣ, или, лучше, такъ бросьте въ ящикъ, а ящикъ не плотно притворите, — это будетъ натуральнѣе!

— Попробую!

— Это возбудитъ ревность, а тамъ...

Разговаривающіе слишкомъ ужъ близко подошли къ террасѣ и даже обнаружили намѣреніе подняться по лѣстницѣ. Адель поспѣшила шмыгнуть къ себѣ въ комнату и опять притворила за собою дверь.

XIX.

Случайная встрѣча.

Солнце спустилось къ самымъ горамъ, въ воздухѣ посвѣжѣло, и на всѣхъ ташкентскихъ улицахъ стало люднѣе и оживленнѣе. Показались группы пѣшеходовъ, не идущихъ за какимъ-либо дѣломъ или съ опредѣленною цѣлью, а, видимо, прогуливающихся; показались всадники, шажкомъ гарцующіе на своихъ горячихъ аргамакахъ и карабаирахъ; замелькали бѣлые и цвѣтные шлейфы амазонокъ, окруженныхъ, обыкновенно, со всѣхъ сторонъ многочисленною свитою кителей и рубашекъ, темно-красныхъ шароваръ туземнаго покроя и синихъ форменныхъ рейтузъ въ обтяжку. Покатились коляски съ начальствомъ, производя по гладко-укатанному шоссе тотъ пріятный, цивилизованный стукъ, свойственный только благороднымъ ресорнымъ экипажамъ.

Изъ воротъ лопатинскаго дома тоже выѣхала изящная коляска, пронеслась по главному шоссе и тотчасъ же свернула въ первый попавшійся на пути переулокъ. Самъ Иванъ Илларіоновичъ, въ желтой шелковой рубахѣ и бархатной безрукавкѣ, ловко правилъ парою сытыхъ, кругленькихъ, какъ дыньки, гнѣдыхъ лошадокъ. Онъ былъ такъ занятъ своимъ дѣломъ, что даже и не замѣтилъ громко и не безъ энергіи заявленнаго протеста по поводу неожиданнаго сворота съ главнаго шоссе—ташкентскаго Невскаго проспекта.

— Иванъ Илларіоновичъ, да куда же вы? Слышите, я не хочу!—кричала Адель и даже зонтикомъ толкала въ широкую спину кучера аматера.

— Ахъ, Ада, ты такъ кричишь, что обращаешь на себя общее вниманіе!—замѣтила ей маменька.

— Шали-пошаливай! Эй! Я тебя!..—отнесся Иванъ Илларіоновичъ къ правому гнѣдому и прищелкнулъ его по спинѣ возжей.

— Онѣ, онѣ! — пронеслось по шоссе отъ одной группы гуляющихъ къ другой.

— Вотъ такъ-то лучше, а то тамъ пылища такая!— придержалъ Лопатинъ лошадей передъ спускомъ въ Бо-су и съ громомъ въѣхалъ на новый деревянный мостъ на чимкентской дорогѣ.

— Тамъ такъ весело: гуляютъ, катаются!—надулась Адель.

— Какой чудный, полный аромата и нѣги воздухъ!—раскинулась въ своемъ углу Фридерика Казиміровна. — Смотри сюда: вонъ старичекъ на осликѣ!

— Смотрите, смотрите! Ахъ, какъ это красиво!— вскрикнула Адель, оглядываясь назадъ черезъ откинутый верхъ коляски.

Оглянулся Лопатинъ, оглянулась Фридерика Казиміровна,— то-есть, попыталась оглянуться, но ея попытка не удалась: толчки и подскакиванья коляски, понесшейся во всю прыть, положительно мѣшали ей приподняться.

— Ахъ, да что-же тамъ, Ада?—произнесла она съ досадой.

— Должно быть, бандиты, — хохотала Ада, — иначе чего бы Ивану Илларіоновичу гнать такъ лошадей... Да тише вы!

— То-есть, это чортъ знаетъ, что такое!—ворчалъ Лопатинъ,—и сталъ сдерживать свою пару; онъ опомнился и сообразилъ, что удирать и безполезно, и комично.

Человѣкъ десять всадниковъ, замѣтивъ еще съ шоссе экипажъ Лопатина и цвѣтные зонтики его дамъ, свернули съ шоссе и понеслись наперерѣзъ коляскѣ. Любопытныхъ было бы не такъ много, если бы всадниковъ не подстрекнулъ примѣръ красивой наѣздницы въ красной амазонкѣ, лихо перескочившей шоссейную канаву и понесшейся въ карьеръ прямо черезъ церковную площадь, черезъ груды строительнаго мусора, раздвигая на скаку, грудью своего коня, кусты и молодые, новопосаженные тополи аллеекъ будущаго городского сада. Всѣ эти всадники красиво скакали, спускаясь по боковымъ тропинкамъ въ Бо-су, и обнаруживали видимое намѣреніе догнать экипажъ.

— La bourse ou la vie!—звонко хохотала Марфа Васильевна, и этотъ веселый крикъ ясно доносился до ушей пассажировъ лопатинской коляски.

— Архитекторша!—шептала на ухо Адели Фридерика Казиміровна; она-таки обернулась и удовлетворила свое любопытство.

— Иванъ Илларіоновичъ, придержите лошадей!—холодно произнесла Адель.—Слышите-же, или я васъ совсѣмъ попрошу остановиться и выйду!

Коляска поѣхала шагомъ. Фридерика Казиміровна, Богъ-вѣсть отчего, начала волноваться и ерзать по пружиннымъ подушкамъ коляски. Широкій затылокъ Лопатина побагровѣлъ. Его почему-то особенно заняла одна изъ этихъ бляшекъ на сбруѣ; все вниманіе его обращено было именно на эту бляху; ему такъ хотѣлось дотронуться до нея кончикомъ своего бича, а бичъ не слушался, прыгалъ и дрожалъ въ его рукѣ, выдѣлывая самые непредвидѣнные скачки и взмахи.

Адель откинулась назадъ, въ самый уголъ; отъ этого движенія вуаль упалъ на ея лицо. Она отбросила его опять на свое мѣсто, причемъ почти сорвала съ шляпки этотъ голубой клочекъ легкаго газа.

«Еще подумаютъ, что я прячусь»,—подумала она, прислушиваясь къ быстро приближающемуся топоту конскихъ ногъ, къ этимъ веселымъ голосамъ, между которыми особенно отчетливо звенѣлъ бархатный контральто «архитекторши».

Съ правой стороны коляски показалась вороная конская голова, грызущая пѣнистыя удила уздечки, мелькнулъ красный лампасъ и нога со шпорою, за нею другая голова, рыжая, злобно прижавшая назадъ уши... Мелкою пылью пахнуло въ коляску, и запахло конскимъ потомъ.

— Bonsoir, monsieur! — кивнула головкою Марфа Васильевна, блеснувъ въ глаза своею красною амазонкой.

Косые лучи заходящаго солнца озарили ее съ ногъ до головы; словно въ огнѣ горѣла красивая наѣздница и горячила своего бѣлаго коня, не знавшаго положительно, на какую ногу ему ступить, чтобы только угодить своей госпожѣ, чтобы только избавиться отъ щекотливаго прикосновенія ея хлыстика, скользящаго по его потной лебединой шеѣ.

Лопатинъ неловко переложилъ возжи въ одну руку и приподнялъ свою шапочку съ павлиньимъ перомъ.

— А какимъ вы молодцомъ въ этомъ костюмѣ!—продолжала Марфа Васильевна, мелькомъ окидывая взглядомъ Адель и ея маменьку.—Помолодѣли... Прелесть! Вы меня извините,—обратилась она къ сидящимъ въ коляскѣ,—что я отвлекаю вниманіе вашего кучера отъ его настоящаго дѣла; дорога, впро-

чемъ, гладка, какъ скатерть, и опасности никакой не предвидится...

Адель сдвинула брови настолько, что уже больше было невозможно. Фридерика Казиміровна готова была обѣими пятернями вцѣпиться въ это эффектно освѣщенное лицо архитекторши, еслибъ оно было только поближе. Лопатинъ обнаруживалъ ясное намѣреніе опять пуститься вскачь.

Всадники, то и дѣло, опережали коляску, сдерживали лошадей, снова пропускали экипажъ мимо и снова обгоняли его, перешептываясь и безъ всякой застѣнчивости разсматривая незнакомыхъ дамъ, о которыхъ такъ много слышали.

Богъ-вѣсть, до какихъ поръ тянулось-бы это неловкое положеніе, если-бы случай не выручилъ катающихся.

— Это что такое?—вдругъ расхохоталась Марфа Васильевна.

— Это-съ, тотъ испанецъ! — фыркнулъ подлетѣвшій съ боку Набрюшниковъ.—Онъ самый-съ: я уже давно его видѣлъ, какъ онъ бѣгомъ, наперерѣзъ, черезъ стѣнки дулъ-съ!

Изъ-за угла обвалившагося каменнаго забора, между двухъ широкихъ фиговыхъ листьевъ, показалась голова Ледоколова, спряталась на минуту и снова показалась, только ближе, у самой дороги.

Такое большое общество, окружающее коляску, видимо, озадачило Ледоколова; онъ колебался мгновеніе: подойти или нѣтъ, и тотчасъ-же обнаружилъ свое рѣшеніе, перескочивъ канавку и направляясь наперерѣзъ прямо къ дверцамъ экипажа.

— Стойте!—произнесла Адель.

— Ада, это скандалъ! — задыхалась Фридерика Казиміровна.

— Хорошаго успѣха! — улыбнулась Марфа Васильевна, еще разъ кивнула головкою Лопатину, отсалютовала хлыстикомъ дамамъ и, обращаясь къ своимъ спутникамъ, крикнула:—Гайда, ребята!

Вся кавалькада понеслась впередъ, поднимая клубами пыль и оглашая вечерній воздухъ топотомъ конскихъ ногъ, мелькающихъ въ пыли металлическими полумѣсяцами подковъ. Коляска остановилась.

---

*

— Прогуливаетесь?..—началъ было Иванъ Илларіоновичъ и поперхнулся.

— Прогуливаюсь!—улыбнулся Ледоколовъ, и на его вспотѣвшемъ, раскраснѣвшемся лицѣ ясно промелькнуло слѣдующее выраженіе: «на-ка вотъ, съѣшь! Что, взялъ?»

— Какая случайность!—запѣла Фридерика Казиміровна.

— Давненько не видались!—снова началъ Лопатинъ.—Что не заходите?

«Ахъ, ты, свинья!»—подумалъ Ледоколовъ.—Да васъ все дома не было!—произнесъ онъ громко.

— И насъ тоже!—язвительно замѣтила Адель, въ упоръ глядя на Лопатина.

— Э-хмъ!..—смѣшался тотъ и сталъ поправлять шлею возжею.

— Я васъ такъ давно не видалъ, я такъ радъ этой случайной встрѣчѣ!—дрожащимъ отъ волненія голосомъ говорилъ Ледоколовъ и хотѣлъ было поставить ногу на ступеньку; но онъ чуть-чуть не упалъ подъ колесо, потому что коляска тронулась совершенно для него неожиданно.

— Да придержите-же лошадей!—крикнула Адель.—Вы теперь куда-же?—обратилась она къ Ледоколову.—Назадъ въ городъ или можетъ быть...

— Я не имѣю опредѣленной цѣли... я...

— И прекрасно! Садитесь съ нами и ѣдемъ домой. Этотъ вечеръ вы проведете съ нами... Что ты, мама?

— Нѣтъ, это я ничего; повернулась и толкнула нечаянно!

— Можетъ быть, господину Ледоколову это не совсѣмъ удобно...—началъ было Лопатинъ.—Вотъ Бурченко говорилъ мнѣ, что такъ много дѣла у нихъ, особенно теперь, передъ самымъ отъѣздомъ...

— Нѣтъ, я пока свободенъ!—поспѣшилъ успокоить его Ледоколовъ; только онъ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на экипажъ, на то именно мѣсто, гдѣ могла-бы находиться подставная скамеечка.

— Коляска такая просторная. Мама, двигайся! Вы сядете между нами...

— Да вотъ сюда, со мною!—выбралъ изъ двухъ золъ меньшее Иванъ Илларіоновичъ и поспѣшилъ подвинуться вправо, поближе къ фонарю.

— Я васъ, можетъ быть, стѣсню?—не замѣтилъ Ледоколовъ лопатинскаго маневра и полѣзъ въ коляску.

— Ну, вотъ я васъ, наконецъ, вижу; какъ-же вы поживаете здѣсь, разсказывайте! — потѣснилась Адель и подобрала шлейфъ своего платья.

Высокіе сапоги Ледоколова были въ грязи и грозили оставить замѣтный слѣдъ на этомъ шлейфѣ. Фридерика Казиміровна тоже позаботилась о сбереженіи своего костюма и окидывала неожиданнаго сосѣда не совсѣмъ ласковымъ взглядомъ.

— Домой!—распорядилась Адель.

Коляска повернула и полною рысью понеслась къ городу.

Всю дорогу одна только Адель поддерживала разговоръ. Она непрерывно болтала то съ Лопатинымъ, то съ своимъ сосѣдомъ, то съ маменькою, переложившей, наконецъ, относительно Ледоколова гнѣвъ на милость. Она была еще очень молодая женщина; профиль Ледоколова показался ей интересенъ, и опять это черезчуръ ужъ близкое сосѣдство (коляска вовсе не оказалась такою просторною, какъ предполагала Адель).

«Да онъ очень не дуренъ; въ немъ есть что-то такое, чего я не замѣчала прежде,—думала Фридерика Казиміровна.— А что, если?..»

Въ ея головѣ началъ созрѣвать двойной планъ. Она начала, должно быть, тоже испытывать на себѣ *вліяніе климата*.

Въ отвѣтъ на веселую болтовню Адели Иванъ Илларіоновичъ отдѣлывался односложными звуками; Ледоколовъ все извинялся, не стѣсняетъ-ли, молъ, онъ и ужъ совсѣмъ, развѣ только святымъ духомъ, держался въ сидячемъ положеніи; Фридерика Казиміровна томно и протяжно вздыхала.

Въ пыльной мглѣ вечернихъ сумерекъ, сгустившихся надъ городомъ, замелькали огоньки; окошечки крохотныхъ домиковъ городскихъ предмѣстьевъ привѣтливо освѣтились сквозь темную зелень деревьевъ. Караванъ, звеня деревянными бубенчиками, медленно ползъ съ горы, пересѣкая дорогу. Сзади гудѣлъ, догоняя, почтовый колокольчикъ; трескотня барабановъ слышалась въ той сторонѣ, гдѣ темными, правильными массами виднѣлись крѣпостныя стѣны.

«Судьба! — угрюмо думалъ Лопатинъ, осаживая лошадей у подъѣзда. — Самъ, въ своемъ собственномъ экипажѣ, такъ сказать, собственноручно приволокъ. Авось либо?» — шевель-

нулась въ немъ надежда, что Ледоколовъ откажется отъ приглашенія и не войдетъ въ домъ.

А тотъ такъ внимательно, такъ бережно высаживалъ дамъ изъ коляски; въ эту минуту особенно тщательно возился съ Фридерикою Казиміровною: та никакъ не могла поставить ногу на подножку, боялась оступиться, и, наконецъ, навалившись всѣмъ своимъ дебелымъ существомъ на Ледоколова, довѣрилась безусловно его силѣ и ловкости.

— Чай съ нами кушать! — произнесъ Лопатинъ такимъ тономъ, который гораздо болѣе шелъ-бы къ фразѣ: «а проваливай, братъ, къ чорту!»

— Съ удовольствіемъ! — раскланялся Ледоколовъ и «самоварчикомъ», съ обѣими дамами подъ-руку, поднялся на ступеньки крыльца.

XX.

Во тьмѣ ночной.

Какъ и въ тотъ разъ, тысячи ночныхъ бабочекъ и всякой мелкой крылатой твари опять налетѣли изъ темноты на привѣтливый свѣтъ лампъ, прикрытыхъ узорными абажурами, опять красиво сверкала своими гранеными боками серебряная масса самовара, отражая въ себѣ лица собесѣдниковъ.

— Съ ромкомъ балуются! — дѣлалъ свои замѣчанія Набрюшниковъ, сидя верхомъ на гребнѣ садовой стѣны и наблюдая за всѣмъ, что дѣлается на яркоосвѣщенной террасѣ.

— Ветчина привозная... А это что въ жестянкахъ — ты не знаешь? — тихонько спрашивалъ товарищъ его, хорунжій Подпругинъ, взбираясь туда-же.

Оба они могли совершенно спокойно исполнять возложенное на нихъ Марфою Васильевной порученіе. Кромѣ покровительства ночного мрака, они были скрыты развѣсистыми вѣтвями тутоваго дерева. Со стороны дороги можно было замѣтить, и то съ трудомъ, развѣ только однѣхъ ихъ лошадей, стоящихъ у самой стѣны, на длинныхъ волосяныхъ чумбурахъ.

— Рыба, должно быть! — удовлетворилъ Набрюшниковъ любознательность своего товарища.

— Тише ворочайся: чуть не сшибъ, тсъ!..

Наблюдатели затихли на своемъ посту и сосредоточились въ слухѣ.

Несмотря на всю прелесть обстановки, разговоръ за чайнымъ столомъ какъ-то не клеился. Лопатинъ пытался было разыгрывать, относительно своего непредвидѣннаго гостя, роль любезнаго и внимательнаго хозяина, но это ему положительно не удавалось. Адель, напротивъ того, внявъ, наконецъ, совѣтамъ и убѣжденіямъ своей маменьки, старалась выказать, относительно этого-же гостя, какъ можно болѣе спокойствія и равнодушія, но это ей тоже не удавалось. Фридерика Казиміровна—та уже совсѣмъ дала волю своему впечатлительному, нѣжному сердцу и томно, почти сквозь слезы, смотрѣла на *интересный профиль,* продолжительно вздыхала и подъ вліяніемъ охватившаго все ея существо, экспромтомъ налетѣвшаго чувства млѣла, млѣла и, чуть-чуть прихлебывая, пила всего только шестую чашку душистаго чаю съ тутовымъ вареньемъ. Ледоколовъ тоже былъ какъ-то, что-называется, не въ ударѣ; его такъ стѣсняло присутствіе Лопатина, онъ такъ много хотѣлъ высказать Адели, поразговориться съ нею; онъ зналъ, что подобные случаи рѣдко повторяются, можетъ быть, даже не повторятся никогда, и вотъ этотъ случай пропадетъ даромъ. «Не пускаться-же, чортъ возьми, въ откровенности, когда тутъ торчитъ этотъ барбосъ!» вспомнилъ онъ обмолвку Бурченко.

— Икры совѣтую, прислали изъ Уральска!—пододвинулъ ему жестянку Иванъ Илларіоновичъ.

— Благодарю. Вы, Адель Александровна — извините мнѣ мое откровенное замѣчаніе—перемѣнились, и даже очень, за это время!

— Паюсной ящикъ и зернистой два боченка. Представьте себѣ, зернистая икра въ этомъ году... — отвлекалъ Ледоколова совсѣмъ въ другую сторону Иванъ Илларіоновичъ.

— Боже, какъ ночь прекрасна!—вздыхала Фридерика Казиміровна.—Вы, monsieur Ледоколовъ, какъ любитель и знатокъ природы...

— Осторожнѣй! - удержала руку Ледоколова Адель.—Какой вы разсѣянный: вы чуть не проглотили попавшую въ вашъ стаканъ ночную бабочку. Бѣдная, она опалила крылья и...

— Опалила крылья, это скверно! — зафилософствовалъ Ледоколовъ. — Но я не знаю, что лучше: потерять-ли крылья совсѣмъ, или имѣть ихъ связанными и не пытаться развязать!

Онъ значительно взглянулъ на Адель; та улыбнулась. Иванъ Илларіоновичъ нахмурился. Фридерика Казиміровна поспѣшила на выручку.

— Вы — поэтъ и рыцарь, вы сейчасъ-же броситесь на помощь къ связанной бабочкѣ и освободите ее, избавивъ ее отъ труда самой распутывать свои цѣпи!

— Ничего не слышу!—шепталъ Набрюшниковъ Подпругину.

— Слѣзть-бы тихонько да по-за-кустамъ, по за-кустамъ!— совѣтовалъ тотъ.

— Влопаешься, пожалуй. А, ну!

— Да, наконецъ, вы легко можете впасть въ весьма комичную ошибку, разлетѣвшись освобождать то, что вовсе не теряло свободы!—произнесла Адель.

«Важно!—не утерпѣлъ и одобрительно крякнулъ Иванъ Илларіоновичъ и тотчасъ-же сообразилъ:—Ловко срѣзала молодца! Тамъ у меня есть булавочка съ камешкомъ, тысченки двѣ съ половиною штука... Преподнесу, завтра-же, безотлагательно, преподнесу».

И онъ съ чувствомъ самаго глубокаго благоговѣнія взглянулъ на свою Аду, прихлебывающую чай изъ плоской китайской чашечки.

— Ахъ, да, я началъ-было... я хотѣлъ сказать вамъ, что вы перемѣнились...—замялся Ледоколовъ и почувствовалъ, какъ несносная краска ударила ему въ лицо. — Вы похудѣли... въ вашихъ глазахъ... скажите, вы не скучали?

«Никакого такта! Нѣтъ, этотъ не годится,—думала въ эту минуту Адель,—надо маскировать, а онъ...»

Ей ужасно досадно стало, зачѣмъ это онъ *не годится*. Ей такъ хотѣлось, чтобы именно онъ, Ледоколовъ, *годился*.

«Попрошу маму, она его настроитъ, какъ слѣдуетъ, или сама какъ-нибудь попытаюсь при случаѣ»,—думала она и, перемѣнивъ тему разговора, попыталась прежде всего замять неумѣстные намеки Ледоколова.

— Что ваши караваны, о которыхъ вы такъ безпокоились вчера? — обратилась она къ Ивану Илларіоновичу. — Я все

слышала изъ своей комнаты. Вы, кажется, опасались чего-то? Съ кѣмъ это вы говорили? Голосъ незнакомый!

— Пріѣзжій одинъ изъ фортовъ,—встрепенулся Лопатинъ.— Да пустяки: «слухи, говоритъ, ходятъ нехорошіе». Вѣрно, вздоръ. Оно, точно, немного странно: запоздали очень... Вотъ и Катушкинъ не ѣдетъ, а давно-бы слѣдовало, судя по послѣднему письму!

— Слухи и здѣсь ходятъ между туземцами, впрочемъ...— вставилъ Ледоколовъ.

— Вздоръ-съ!—лаконически произнесъ Лопатинъ.

— Говорятъ!—пожалъ плечами Ледоколовъ.

— Мало-ли что говорятъ-съ!—скривилъ ротъ Иванъ Илларіоновичъ.

— Ай!—шарахнулась въ сторону, гдѣ сидѣлъ гость, Фридерика Казиміровна и такъ плотно прижалась къ Ледоколову, что тотъ долженъ былъ поддержать руками испуганную даму, иначе мадамъ Брозе рисковала упасть со стула.

— Что вы, маменька?

— Что такое-съ?

— Тамъ, за кустами, кто-то ходитъ, вонъ тамъ... Ай!

— Что за дьяволъ! — поднялся Лопатинъ и приподнялъ лампу надъ головою.—Кто тамъ? нѣтъ. Да гдѣ вы слышали или видѣли, что-ли, кого?

— Тамъ, тамъ!

Большая сѣрая кошка шмыгнула изъ-за куста, блеснула зелеными глазами, вильнула пушистымъ хвостомъ и исчезла.

— Ха, ха, ха!—засмѣялась Адель.—Вотъ кто надѣлалъ всю тревогу!

— Ползи опять къ стѣнѣ: чуть-было не влопался!—шепталъ Набрюшниковъ. — А все ты шумишь шашкою не могъ снять раньше! Тихонько...

— Рожу накололъ на что-то,—шепталъ Подпругинъ.—Ничего, ладно, кошка выручила, ползи впередъ!

— Сюда-съ, пожалуйте! — послышался голосъ парня въ поддевкѣ.

— Въ саду?

— Такъ точно-съ, пожалуйте-съ!

— А, Бурченко!—удивился Ледоколовъ и покраснѣлъ: его почему-то очень смутило это неожиданное явленіе.

— Милости просимъ, милости просимъ!—весело поднялся на встрѣчу новому гостю Иванъ Илларіоновичъ.—А мы здѣсь всѣ по-семейному; чай будете кушать?

— Да дѣло такое вышло, я и зашелъ; спрашивалъ, не спятъ-ли еще? Нѣтъ, говорятъ, гости есть; я и зашелъ! — говорилъ Бурченко, спускаясь со ступенекъ террасы и раскланиваясь съ дамами.

— И прекрасно сдѣлали; садитесь!

— Да что садиться-то: намъ надо о дѣлѣ потолковать... Ну, Иванъ Илларіоновичъ, раскошеливайтесь: скоро намъ уѣзжать надо, пора!

— Не ранѣе, какъ черезъ недѣлю, я думаю!—замѣтилъ Ледоколовъ.

— Чего-съ? Что намъ тутъ цѣлую недѣлю дѣлать? Раньше можно; а что, не хочется уѣзжать отсюда, а? Пригрѣлись, батюшка! — засмѣялся малороссъ, глядя на своего товарища, все еще не пришедшаго въ себя отъ смущенія.

— Ну, а какъ раньше?—полюбопытствовалъ Иванъ Илларіоновичъ.

— Да хоть завтра-же. Утромъ нельзя, а къ вечеру, на ночь, весьма удобно; я такъ и предполагаю!

— Вы вмѣстѣ и поѣдете?—спросилъ Лопатинъ, кивнувъ глазами на Ледоколова.

— А то какъ-же!

— И прекрасно, и прекрасно! Ну-съ, такъ вамъ денегъ? Идемте сейчасъ ко мнѣ, уладимъ все. Дѣло прежде всего, дѣло прежде всего! — почувствовалъ Иванъ Илларіоновичъ приливъ какой-то необыкновенной радости.—А тамъ опять сюда, если не поздно будетъ, и выпьемъ «посошокъ»; а то нѣтъ, завтра! Завтра лучше; мы сочинимъ вамъ проводы съ хлѣбомъ-солью и всякими пожеланіями. Идемъ!

Онъ подставилъ руку Бурченко и сдѣлалъ пригласительный жестъ Ледоколову, которой очутился въ самомъ неловкомъ положеніи: ему такъ хотѣлось остаться, благо убирается этотъ *барбосъ*, а тутъ и его тянутъ; отказаться—неловко.

— Вернитесь сюда, если успѣете, если не засидитесь тамъ!—тихо произнесла Адель, улучивъ мгновеніе, когда Лопатинъ пропускалъ впередъ Бурченко, обязательно придерживая дверь.

— Какъ досадно, что вы лишаете насъ общества г. Ледоколова!—запѣла Фридерика Казиміровна.

— Да онъ какъ хочетъ, я и одинъ тамъ все улажу! — говорилъ Бурченко.—Оставайтесь, если хотите!—обратился онъ къ своему товарищу.

— Нѣтъ, нѣтъ!—не выдержалъ Лопатинъ.—Дѣло общее—всѣ ужь втроемъ, сообща. Идемте-ка ко мнѣ; что вамъ тутъ съ бабами сидѣть?

— До свиданья!—протянула Адель Ледоколову свою ручку.

— До свиданья!—томно произнесла Фридерика Казиміровна и поймала его за другую руку.—Мы васъ, впрочемъ, проводимъ до самаго помѣщенія Ивана Илларіоновича!

— Э-хмъ!—закашлялся Лопатинъ.

— Какъ жаль, ахъ, какъ жаль, что вы насъ такъ скоро оставляете!—нѣжно шептала Фридерика Казиміровна, все еще не выпуская руки Ледоколова.

«Что за странность!—думалъ тотъ въ эту минуту. —Какая перемѣна съ барыней: то прежде смотрѣла на меня волкомъ... то вдругъ...»

— Во всякомъ случаѣ, приходите завтра, передъ отъѣздомъ; я позабочусь, чтобы вамъ не отказали! —успѣла-таки еще разъ шепнуть Ледоколову Адель у самыхъ дверей собственныхъ лопатинскихъ апартаментовъ.

— Порѣшимъ, всѣ сообща порѣшимъ! — весело доносился изъ-за дверей голосъ Ивана Илларіоновича,—А денегъ — сейчасъ! За деньгами дѣло не станетъ. Деньги что! Было-бы дѣло, а деньги найдутся...

— Хорошо, коли-бы всѣ богатые люди такъ думали: многобы хорошихъ дѣлъ можно было-бы надѣлать!—говорилъ Бурченко.

— Можетъ, еще и утромъ завтра соберетесь!—опять слышался голосъ Лопатина.

— Экъ, я ему сижу поперекъ горла!—ворчалъ Ледоколовъ, идя за ними.

Всѣ трое заперлись въ большомъ хозяйскомъ кабинетѣ и усѣлись на покойныхъ складныхъ креслахъ.

Адель съ своею маменькою остались однѣ на своей половинѣ. Парень въ поддевкѣ и мальчикъ-сартенокъ явились убирать со стола.

Дамы посидѣли еще съ полчаса, подождали, не вернутся-ли гости, покончивъ свои дѣла. Ожиданія ихъ не сбылись. На попытку Ледоколова, выраженную фразою: «а что, не зайти-ли намъ проститься, можетъ быть, еще не спятъ»? Лопатинъ поспѣшилъ завѣрить, что уже «навѣрное спятъ или, во всякомъ случаѣ, раздѣваются».

— Ну, чего ужь тутъ! Идемте-ка лучше домой!—поддержалъ Лопатина Бурченко.—Завтра развѣ передъ отъѣздомъ зайдемъ. Покойной ночи!

И пріятели отправились къ себѣ домой, а Иванъ Илларіоновичъ въ свой кабинетъ, гдѣ уже дожидался его парень въ поддевкѣ съ серебрянымъ умывальникомъ и чистымъ полотенцемъ въ рукахъ. Иванъ Илларіоновичъ, съ тѣхъ поръ, какъ докторъ сказалъ ему, что это поддерживаетъ свѣжесть кожи и вообще моложавость, имѣлъ привычку всегда умываться на сонъ грядущій.

Адель тоже затворилась въ своей комнатѣ и начала раздѣваться.

— Адочка!—подошла къ ней Фридерика Казиміровна и положила руку на плечо.—Дитя мое, милое, дорогое дитя!

Адель сидѣла въ креслахъ, передъ зеркаломъ своего туалета, и видѣла въ немъ только отраженіе своей маменьки. Она видѣла тамъ полное, довольно красивое лицо, значительно подрисованное, особенно около глазъ и бровей, съ эффектно загнутыми, черными, какъ пьявки, на вискахъ колечками, съ наклеенной мушкою, ловко оттѣняющей ямочки на щекахъ. Все это было ей давно знакомо, давно изучено до послѣдней мелочи. Но теперь что-то странное, особенное замѣтила она въ этомъ лицѣ—что-то такое, что заставило ее быстро обернуться и пристально посмотрѣть прямо въ заплаканные глаза своей маменьки.

— Мама, что ты, что съ тобою?!—приподнялась Адель.—Ты плачешь?

— Ада, ты очень *его* любишь?—проговорила, почти простонала, Фридерика Казиміровна.

— Кого это?—удивилась Адль.

— Его... Ледоколова?

— Послушай, мама! Ужъ ты не сама-ли изволила?—засмѣялась Адель. — Все это такъ подозрительно...

— Ахъ, Ада, люби его... А я, съ своей стороны...

— Знаешь, что, мама, я тебѣ посовѣтую: ложись спать и передъ сномъ выпей два стакана холодной воды!

— Ада, я и сама чувствую, что дѣлаю глупость... Тѣмъ болѣе, что въ мои лѣта—почти вѣдь подъ сорокъ...

— Сорокъ восемь!—поправила Адель.

— Но вѣдь ты знаешь мой впечатлительный, нѣжный, легко увлекающійся темпераментъ...

Адель сняла съ своего плеча руку Фридерики Казиміровны (она была такая горячая, влажная, а ей и безъ того было жарко) и засмѣялась ровнымъ, беззвучнымъ смѣхомъ.

— Что-же, ты мнѣ соперницею быть хочешь... да? Ха, ха, ха! Ну, хочешь, я тебѣ уступлю его добровольно, хочешь?... Слушай, ты это въ одинъ вечеръ сегодняшній или еще прежде?..

— Нѣтъ, Ада, ты меня не понимаешь. Я вижу, ты еще не знаешь совсѣмъ своей матери. Любите другъ друга,—любите, будьте счастливы, а я, съ своей стороны, буду счастлива уже тѣмъ, что буду любоваться на васъ, жить вашею жизнью. Насчетъ Ивана Илларіоновича это можно очень удобно устроить. Онъ даже не будетъ и подозрѣвать... Я это беру на себя!

— Мама, я спать хочу!—отодвинула кресло Адель.—Ступай къ себѣ! Ну, ступай-же!..

Она почти вскрикнула послѣднее: «ступай-же!» Въ эту минуту все: и Лопатинъ, и Ледоколовъ, и Фридерика Казиміровна, и даже она сама,—все показалось такъ гадко! Ея красивыя брови опять сдвинулись вмѣстѣ, образовавъ грозную складочку надъ переносьемъ.

— Ну, Господь съ тобою! — нѣжно приложилась губами къ плечу дочери Фридерика Казиміровна и плавно вышла изъ ея комнаты.

— Нѣтъ сна, нѣтъ сна!—декламировала она, остановившись на террасѣ и вдыхая полною грудью ароматный ночной воздухъ.—Ночь такъ прекрасна!

Она опустилась на ступеньки и принялась мечтать. Ярко-зеленый четырехугольникъ завѣшаннаго шторою окна спальни Адели мгновенно погасъ.

— Нѣтъ сна!—шептали губы мадамъ Брозе.

— Становись козломъ, я тебѣ на плечи, а потомъ подсоблю тебѣ уже сверху!—шушукались голоса у садовой стѣны.

Что это? Какая-то фигура мелькнула неподалеку между кустами или это стволъ дерева? Нѣтъ, это человѣкъ... Воры! Нѣтъ, нѣтъ, это Ледоколовъ, не можетъ быть и сомнѣнія! Однако, какая смѣлость, какая очаровательная отвага!

Фридерика Казиміровна быстро скользнула съ террасы и ринулась въ чащу темнаго сада.

— Это вы? — прошептала она, задыхаясь и протягивая руки.

Темная фигура шарахнулась-было назадъ, но потомъ, должно быть, перемѣнила намѣреніе. Фридерика Казиміровна внезапно почувствовала себя въ самыхъ пламенныхъ объятіяхъ...

«Онъ принимаетъ меня за Адель!—промелькнуло у ней въ головѣ.—Боже, это не онъ, нѣтъ!..»

Она приготовилась-было кричать, но по нѣкоторымъ соображеніямъ, рѣшилась лучше выдержать геройское молчаніе.

Спустя нѣсколько минутъ, она поднималась уже по ступенькамъ террасы.

— Я не виновата... я нисколько не виновата,—утѣшала она сама себя,—я была только жертвою случайности—не болѣе, какъ простой случайности...

Она тотчасъ-же сравнила свое положеніе съ положеніемъ многихъ героинь прочитанныхъ ею романовъ.

«Однако, ихъ было, кажется, двое!»—вспомнила она, уже совсѣмъ засыпая.

— А объ этомъ Марфѣ Васильевнѣ докладывать?—наивно спрашивалъ Подпругинъ, садясь на лошадь.

— Я те доложу! — припугнулъ его Набрюшниковъ, тоже влѣзая на сѣдло.

И оба всадника галопомъ понеслись по шоссе, взбудораживъ всѣхъ собакъ, до этой минуты мирно спавшихъ у заборовъ и подъ воротами.

Разнообразнѣйшій лай и тявканье преслѣдовали галопирующихъ наѣздниковъ.

XXI.

Въ горахъ.

Двѣ недѣли прошло съ тѣхъ поръ, какъ Бурченко съ Ледоколовымъ оставили Ташкентъ и уѣхали въ горы.

Дней десять тянулись они по еле-проложеннымъ горнымъ тропинкамъ. Ихъ маленькій караванъ состоялъ всего только изъ трехъ всадниковъ; они захватили съ собою въ видѣ проводника, да кстати и слуги, одного изъ шатающихся бездомныхъ байгушей, Насыра Кора, киргиза, служившаго когда-то джигитомъ еще при черняевскихъ отрядахъ. За всадниками, прыгая, скрипя на всѣ лады, тащилась двухколесная коканская арба въ одну лошадь, которая, впрочемъ, нанята была только до извѣстнаго пункта, откуда уже совсѣмъ было немыслимо пробраться на колесахъ, и гдѣ Бурченко разсчитывалъ нанять вьючнаго верблюда для доставки груза на мѣсто предполагаемыхъ работъ.

Негостепріимная горная природа представляла нашимъ путешественникамъ на каждомъ шагу тяжелыя препятствія, казавшіяся съ перваго взгляда почти непреодолимыми. Настойчивость и энергія Бурченко брали верхъ надъ этими препятствіями, и, наконецъ, измучившись до-нельзя, путники достигли-таки благополучно замѣченнаго и опредѣленнаго малороссомъ пункта и расположились маленькимъ лагеремъ.

Ужь нѣсколько дней, какъ стояли они на мѣстѣ. Временной бивуакъ началъ принимать нѣкоторый видъ осѣдлости.

Для Бурченко время летѣло почти незамѣтно. Онъ по цѣлымъ днямъ пропадалъ, рыская по окрестнымъ горнымъ кишлакамъ, добывая необходимыя рабочія руки. Ледоколовъ оставался дома, если можно назвать домомъ маленькую коническую туземную палатку, растянутую паукомъ на кольяхъ, обнесенную небольшимъ ровикомъ, за которымъ разбиты были коновязи для лошадей; онъ занимался изслѣдованіемъ горныхъ породъ и опредѣленіемъ удобнѣйшихъ пунктовъ для начала работъ, для закладки будущихъ неисчерпаемыхъ рудниковъ фирмы «Бурченко и компанія».

— Вотъ еще завтра на разсвѣтѣ надо кое-куда смахать: можетъ, удачнѣе дѣло будетъ! — говорилъ Бурченко какъ-то вечеромъ, измученный и усталый, съ наслажденіемъ протягиваясь на коврѣ во всю длину своего роста.—Вы, пожалуйста, не смущайтесь, если меня дня три дома не будетъ. Далеконько, да и дѣло, можетъ, подходящее!

— Опять за рабочими?—съ нескрываемою досадою ворчалъ Ледоколовъ.

— А за ними самыми. Буевцы надули, подлецы, не пришли. Впрочемъ, еще завтра послѣдній срокъ, да мало ихъ будетъ; а тутъ надо рукъ столько!.. Эй, тамыръ, гляди, у тебя изъ котла бѣжитъ... А вы все кончили?

— Все; по крайней мѣрѣ, все, что только можно было сдѣлать вдвоемъ съ Насыркою... Скука! Поѣхалъ-бы съ вами, если-бы было на кого все это оставить! — окинулъ взглядомъ Ледоколовъ все несложное хозяйство ихъ бивуака.

— Терпѣніе, терпѣніе! — говорилъ, зѣвая во весь ротъ, Бурченко.—Вы меня разбудите, когда ужинъ поспѣетъ!

— Разбужу, спите!

— Пѣшкомъ долго шелъ. Лошадь засѣкла ногу - съ!— зѣвалъ малороссъ, засыпая.

Крѣпкимъ сномъ заснулъ малороссъ, утомленный своею горною поѣздкою. Эхъ, скучно! Тихо такъ, только огонь вонъ потрескиваетъ легонько; Насырка скоблитъ тупымъ ножемъ какой-то лоскутъ кожи. Гулъ вѣтра въ горахъ, однообразный, томительный, то стихнетъ немного, то снова усиливается.

Пробовалъ-было Ледоколовъ приняться за свои чертежи и разсчеты, но бросилъ ихъ. Снова принялся, помѣтилъ кое-что, ни съ того, ни съ сего вывелъ на поляхъ: «Ада, Адочка» и машинально провѣрилъ длинный рядъ цифръ, изображенный по сосѣдству съ какою-то геометрическою фигурою. Наконецъ, снова все бросилъ, сложилъ этотъ ворохъ исписанной и исчерченной бумаги, сунулъ его въ кожаный портфель самыхъ внушительныхъ размѣровъ и безсознательно уставился на эти синѣющіе горные кряжи, безконечно высокіе, ушедшіе куда-то въ пространство, за эти сизыя тучи, ползущія по самымъ снѣжнымъ вершинамъ. Ручей сверкалъ и прыгалъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ лагеря; онъ вырывался оттуда, изъ той вонъ узкой щели, что видна между верхомъ палатки и согнутою, заплатанною спиною Насырки, сосредоточенно мѣшающаго въ котлѣ деревянною надколотою ложкою (кашикомъ). Собаки ихъ, куда-же это онѣ забѣжали? Ихъ что-то не слышно. А, тявкнула одна никакъ; вонъ за камнями бѣлый пушистый хвостъ мелькаетъ, это Полкашка!

И вотъ все это начало сливаться вмѣстѣ, во что-то неопредѣленное, туманное, вновь стало складываться, но уже совершенно въ иной формѣ. Иной образъ вставалъ передъ его

глазами: чудный, дорогой образъ красавицы-женщины. И припоминалъ онъ всѣ мельчайшія подробности ихъ встрѣчи, и всѣ столкновенія, каждое слово, каждый жестъ возобновлялись въ его памяти съ самою поразительною отчетливостью. Все, все, отъ сцены въ корридорѣ гостинницы въ Самарѣ до послѣдней сцены проводовъ, на поворотѣ чимкентской дороги.

«Это любовь! — припоминалъ онъ. — Не можетъ быть и тѣни сомнѣнія. Это высказывалось въ каждомъ ея словѣ, въ каждомъ пожатіи руки. Вотъ даже тогда, когда мы одни оставались на пароходѣ, или...» И вдругъ въ его голову начало прокрадываться незванное, непрошенное сомнѣніе. Онъ тотчасъ-же припоминалъ и что-нибудь такое, что сразу подкашивало всѣ его надежды,—хотя-бы даже послѣднее мгновеніе, когда онъ подошелъ къ ихъ коляскѣ.

— Когда вы нароете побольше золота, ну, тогда...—начала-было она и не договорила. Лопатинъ такъ не кстати подвернулся съ своимъ проклятымъ «посошкомъ».

«За то маменька-то ужъ что-то очень нѣжно на васъ поглядываетъ...» Тьфу!—припомнилъ онъ утѣшеніе своего товарища.

— Золота, денегъ! Ну, конечно! — находили на него минутами припадки трезвости.—А что-же я могу дать ей, кромѣ этого? Она, по всему видно, особа не изъ очень чувствительныхъ, голодать съ милымъ дружкомъ не намѣрена. Пожить любитъ! Лопатинъ можетъ доставить ей все, что нужно. Развѣ вотъ физика его ей не по нутру? Ну, да обтерпится, найдетъ себѣ, пожалуй, утѣшителей, пополняющихъ то, чего не найдетъ она въ Лопатинѣ. Въ эдакіе-то утѣшители попасть развѣ?

И холодомъ обдавало его отъ одной этой мысли. Онъ чувствовалъ, какъ ревность, мучительная, страшная ревность подступала къ самому его горлу, душила его, жгла, рисуя передъ его глазами самыя томительныя, невыносимыя картины. Онъ хватался за сердце отъ этой жгучей боли, онъ пытался отогнать отъ себя эти видѣнія—и не могъ.

— Нѣтъ, или я, или онъ, но вмѣстѣ, дѣлить добровольно, я не могу!

Вѣтромъ, холоднымъ, освѣжающимъ вѣтромъ подуло изъ глубины ущелья и освѣжило нѣсколько его пылающую голову.

«Жениться развѣ, такъ-сказать, законнымъ? Она бы, пожалуй, пошла на это, но нельзя—женатъ. Вѣнчать отъ живой жены никто не станетъ, даже самъ Громовержцевъ не рѣшится. Самое лучшее—бросить и перестать даже думать. Эхъ, хорошо-бы! Ну, положимъ, красива, очень красива, такъ, что даже духъ захватываетъ отъ одного только воображенія... Чортъ знаетъ, что дѣлается! Глупо, глупо! Вонъ и Бурченко все подсмѣивается — и правъ, съ какой стороны ни заходи — все правъ. Дѣйствительно, смѣшно,—болѣе, чѣмъ смѣшно! Вонъ онъ лежитъ въ растяжку и во снѣ ворчитъ что-то. Экъ, захрапываетъ, экъ, захрапываетъ! А у меня вотъ и сна нѣту. Э, да, что тутъ—кончено!»—Эй, Насыръ, готова шурпа, что-ли?

— Скоро готова будетъ, еще мимножка, самая мимножка, и готова будетъ!—не оглядываясь, весь погрузившись въ свое занятіе, учащенно мѣшаетъ въ котлѣ Насырка.

«Вотъ тутъ, благо, судьба послала дѣло. Въ горы подальше загнала. Все устраивается такъ, что даже легко забыть это... Легко!.. Ада! Ангелъ! Да можно-ли забыть тебя, дорогая, ненаглядная!..»

И разомъ исчезало все трезвое настроеніе, точно оно, и въ самомъ дѣлѣ, было нанесено горнымъ вѣтромъ, разомъ исчезала вся его отважная рѣшимость.

«Вотъ пойдетъ наше дѣло—это вѣрное, богатое дѣло. Бурченко такъ убѣдительно, такъ ясно доказываетъ всю колоссальную выгоду этого предпріятія. Да, наконецъ, это очевидно: менѣе, чѣмъ въ годъ-два, мы составимъ себѣ крупное состояніе, настоящія жизненныя средства, и тогда...»

— Ужинать будешь?—поднимается на ноги Бурченко.—Ого, что-то шумитъ въ горахъ, какъ-бы гроза къ ночи не собралась. Насырка, ступай-ка, крѣпи веревки, да привали камнемъ потяжелѣе нижнюю кромку, вотъ такъ...—Каковъ аппетитъ у васъ, коллега?

— Ничего что-то не хочется, а впрочемъ...

И наши пріятели сѣли ужинать, пропустивъ передъ Насыркиной стряпнею по серебряному стаканчику изъ запасного, обшитаго кошмою, боченка.

Мало-по-малу, къ ихъ бивуаку подходили разные люди, то просто пѣшкомъ, то верхомъ на лошадяхъ или ишакахъ, обор-

ванные, темно-коричневые; сразу взглянуть—ну, чисто волки одичалые, а приглядишься — совсѣмъ добродушные, наивные ягнята. Смотрятъ весело, немного глуповато, зубы свои, бѣлые, какъ слоновая кость, скалятъ, наивно улыбаясь. Все внимательно слушаютъ, что только ни говорятъ имъ Бурченко съ Ледоколовымъ, даже самъ Насыръ-бай джигитъ, и ничему не вѣрятъ.

— Что-же вы съ голыми руками пришли?—говоритъ имъ Бурченко.—Я-же вамъ говорилъ, чтобы кипмени свои захватили съ собою. Голыми руками, что-ли, рыть землю и камень ломать будете?

— А зачѣмъ мы ее рыть будемъ?

— Да я-же вамъ говорилъ, зачѣмъ!—удивился Бурченко.

— А денегъ дашь?

— Дамъ!

— И кормить будешь?

— И кормить буду!

— Ну, давай денегъ прежде и накорми!

— А этого хочешь? Экаго себѣ дурака нашли!

— Нѣтъ, этого не хотимъ, самъ ѣшь!

— То-то!

Бурченко замѣтилъ въ толпѣ шестерыхъ съ кипменями на плечахъ. Это были дюжіе ребята изъ кишлака Ташъ-Огыръ; онъ подозвалъ ихъ, указалъ отбитое шнуромъ мѣсто на полусклонѣ оврага и велѣлъ начинать. Подумали дикари, посмотрѣли на Бурченко, переглянулись между собою, поплевали на свои черныя руки, взмахнули кипменями и пріостановились.

— А какъ надуешь?

— Вотъ-же вамъ, гляди!

Бурченко отсчиталъ изъ кожанаго кошеля по кокану на человѣка и положилъ ихъ на землю.

— Это ваше; кончите — возьмете. Начинайте-же, Аллахъ вамъ въ помощь!

Цѣлый день работали ташъ-огырцы, а остальные сидѣли на корточкахъ, перешептывались, пересмѣивались. Бурченко на нихъ и вниманія не обращалъ.

— Ну, завтра и мы будемъ работать!—говорили они вечеромъ, видя, какъ ташъ-огырцы прятали деньги въ узелки своихъ поясовъ и садились ужинать. Сунулись-было и осталь-

ные къ котлу, да отогнали ихъ. «Прежде, молъ, наработайте себѣ на ужинъ».

И начались, такимъ образомъ, работы по каракольскому ущелью; за десять верстъ слышно было, какъ звякали желѣзные кипмени о твердый камень; по всѣмъ горамъ прокатывался гулъ отъ обвалившихся и сдвинутыхъ съ кручи обломковъ. Бурченко торжествовалъ.

Разъ было непріятность одна случилась—такъ, маленькое недоразумѣніе. Подошли къ палаткѣ, гдѣ жили «русскіе савдагуры» (купцы), трое изъ буевскихъ горцевъ, вызвали хозяина и говорятъ:

— Слушай, ты вотъ намъ изъ твоего кошеля каждый вечеръ по кокану даешь; давай лучше теперь все, что есть, разомъ!

— Чего вы это еще захотѣли? — нахмурилъ брови Бурченко, а самъ шепнулъ Ледоколову: — Вы револьверы приготовьте на всякій случай; я понимаю, къ чему дѣло клонится,— я еще вчера замѣтилъ, какъ переговаривались они и другихъ подбивали!

— Васъ вотъ всего двое, а насъ много; не дашь — все равно, силою возьмемъ, а будешь барахтаться, тебѣ же хуже будетъ,—понялъ?

— Понять-то понялъ... — немного поблѣднѣлъ Бурченко. Струсилъ было и Ледоколовъ, поспѣшившій на помощь товарищу съ оружіемъ.

Минута была критическая. Одни въ горахъ, ждать помощи не откуда — кругомъ все чужія лица, на которыхъ не разберешь, чего отъ нихъ ждать,—смотрятъ какъ-то тупо; работу бросили и палатку со всѣхъ сторонъ охватываютъ... Насырка къ лошадямъ было кинулся, сѣдлать на всякій случай принялся... Вотъ ташъ-огорцы стоятъ особнякомъ: развѣ они помогутъ? Да мало ихъ!

— А что у васъ въ головахъ? — рѣшительно возвысилъ голосъ Бурченко.

— Какъ что?—Что у всякаго человѣка должно быть! — заговорилъ кто-то изъ переднихъ.

— Не совсѣмъ; должно быть, что-нибудь похуже, или Аллахъ послалъ темноту на ваши мозги и залѣпилъ вамъ глаза грязью? Слушайте-же! Въ кошелѣ у меня, вотъ въ этомъ са-

момъ, что лежитъ у моей постели, столько денегъ, что придется вамъ кокановъ по десятку на брата, сами дѣлить поровну будете; да еще, чтобы до нихъ добраться, надо со мною и вотъ съ нимъ тоже покончить (онъ покосился на Ледоколова), а это не легко будетъ: человѣкъ пятнадцать околѣютъ прежде, чѣмъ моя голова вамъ достанется, — вы эту штуку знаете?

Онъ протянулъ револьверы; толпа попятилась и расширила кругъ.

— А потомъ узнаютъ въ большомъ городѣ, пришлютъ солдатъ—опять вамъ бѣда будетъ; чай, слыхивали, что тогда бываетъ, и все это изъ десяти кокановъ на брата? Хорошо разсчитали! Эхъ, вы, верблюжьи головы! А добрымъ путемъ, работою, всѣ эти коканы и безъ того вашихъ рукъ не минуютъ. Я вотъ еще въ большой городъ съѣзжу, еще привезу такой мѣшокъ, а тамъ еще,—такъ, вѣдь, послѣднее дѣло много для васъ выгоднѣе будетъ; ну, сообразили?..

Толпа молчала; ташъ-огырцы начали вслухъ подсмѣиваться.

— Ну, что-жь, подходи, кто до моего мѣшка хочетъ добраться! Что-же вы?

— Нѣтъ, мы не пойдемъ, зачѣмъ намъ? Это мы такъ только.... Вонъ эти трое насъ подбивали, а мы не хотимъ!— заговорили въ толпѣ.

И опять спокойно начались прерванныя работы. Сила простой логики взяла верхъ надъ хищнымъ инстинктомъ полудикихъ горцевъ.

Въ ту-же ночь, неподалеку отъ общаго лагеря, послышалось дикое вытье и отчетливые, сухіе удары ременныхъ концевъ по чему-то мягкому... На землѣ, ничкомъ, были растянуты трое подстрекателей; руки и ноги ихъ были крѣпко привязаны къ вбитымъ въ землю кольямъ, халаты сняты, рубашки тоже, и на ихъ избитыхъ спинахъ все прибавлялись и прибавлялись новые темно-багровые рубцы, рѣзко обозначающіеся послѣ каждаго удара...

— Это звѣрство, этого допустить невозможно!—кинулся было Ледоколовъ.

— Оставьте! — остановилъ его Бурченко. — Вы только насмѣшите ихъ своимъ непрошеннымъ вмѣшательствомъ. Понять вашихъ побужденій они не поймутъ и васъ не послу-

шаютъ — значитъ, намъ компрометировать себя неудачною попыткою не слѣдуетъ!

— Но эти вопли...

— А заткните уши, коли нервы слабы; да къ тому же неужели вы думаете, что это цѣлую ночь тянуться будетъ? Вотъ они уже, никакъ, и перестали. Эхъ, знаете-ли что: сами избитые и тѣ бы надъ вами завтра смѣялись...

— Эхъ, якши маклашка была! — прошелъ мимо Насыръ, возвращаясь съ экзекуціи.—Я и самъ раза два тронулъ... эхъ, славно!

На этомъ веселомъ, смѣющемся лицѣ не было и тѣни озлобленія. Онъ произнесъ эти слова, какъ будто бы говорилъ «эхъ, славная выпивка была, я и самъ стаканчика три выпилъ».

Наказанные на другой день, впрочемъ, не работали и отдыхали, лежа на животахъ и пересмѣиваясь съ работающими товарищами; несмотря на всѣ увѣщанія Ледоколова, Бурченко имъ не далъ за этотъ день платы...

— За что? За то, что кверху затылкомъ провалялись? Ладно! — говорилъ онъ, туго затягивая ремнемъ значительно отощавшій кошель съ коканами.

— Писалъ Лопатину давно, да что-то нѣтъ отвѣта, а деньги выходятъ. Какъ бы остановки въ дѣлѣ не было?—сказалъ разъ Бурченко, придя съ работъ завтракать.

— Въ Ташкентъ съѣздить надо!—замѣтилъ Ледоколовъ и чуть не закашлялся.

Какое-то странное волненіе сжало ему горло, и даже въ жаръ его кинуло отъ одного предложенія ѣхать туда, гдѣ... и т. д.

— Придется вамъ ѣхать!—рѣшилъ Бурченко.

— Я готовъ хоть сію минуту!

— Ничего, завтра еще успѣете. Смотрите, вы не подгадьте нашего дѣла, будьте дипломатомъ. Одно только обстоятельство смущаетъ меня немного...

— Э, полноте! — произнесъ Ледоколовъ, и произнесъ такимъ тономъ, что у Бурченко невольно промелькнула мысль: «А, должно быть, провѣтрился!»

На другой же день Ледоколовъ собрался и уѣхалъ, захвативъ съ собою Насырку-джигита и обѣщая ровно черезъ двадцать дней пріѣхать обратно.

XXII.

Тревожные слухи.

Возвратясь изъ почтовой конторы, Иванъ Илларіоновичъ отправилъ джигита-почтаря съ эстафетою. Адресъ былъ такой: «по тракту до Казалы, Ивану Демьяновичу Катушкину; справляться на каждой станціи»; изъ этого адреса видно было, что самъ Лопатинъ не зналъ, куда именно надо отправить эстафету. Не весело было на душѣ у Лопатина. Даже не порадовало его сегодня утромъ то обстоятельство, которое всегда вызывало въ немъ самую счастливую улыбку и довольное потираніе по округленно-выдающемуся изъ-подъ тонкаго бѣлья желудку, вздрагивающему отъ внутренняго довольства,—каждое утро съ «дамской половины» барышня присылала справиться, каково, молъ, почивать изволили и все-ли въ добромъ здоровьѣ? Это освѣдомленіе, редактируемое, впрочемъ, всегда отъ имени Адели самою Фридерикою Казиміровною, на этотъ разъ не вызвало улыбки на осунувшемся лицѣ Ивана Илларіоновича, всю ночь проворочавшагося съ боку на бокъ на своей постели, строившаго различныя предположенія насчетъ судьбы Катушкина и его давно ожидаемыхъ каравановъ; надо сказать, что предположенія эти не имѣли въ себѣ ничего утѣшительнаго.

Темные слухи вотъ уже скоро недѣля, какъ носятся по всему городу; начались они въ туземной части; черезъ людей Перловича дошли до лопатинскихъ приказчиковъ; даже оффиціальное было извѣщеніе отъ казалинскаго коменданта, только извѣщеніе это было какого-то неопредѣленнаго, темноватаго свойства; этого извѣщенія, впрочемъ, никто не видалъ, но всѣ его трактовали, каждый по своему, передавая новость отъ одного стола ресторана Тюльпаненфельда до другого. Дошли слухи и до Ивана Илларіоновича, позже всѣхъ, конечно; сунулся онъ къ генералу прямо за объясненіемъ.

— Bon courage, mon ami... Еще пока ничего нѣтъ особеннаго; можетъ быть, все еще вздоромъ окажется! — утѣшилъ его генералъ и предложилъ портеру съ честеромъ.

— Да что же именно, ваше превосходительство?—попытался было Лопатинъ.

— А это спросите тамъ, въ штабѣ... Что-то разграбили, кажется, перерѣзали, въ воду опрокинули... Да тамъ вамъ скажутъ; toujours à la votre!—любезно чокнулся онъ съ Лопатинымъ своимъ стаканомъ.

— Да Катушкинъ, бестія, чего же не пишетъ?—рвалъ пуговку перчатки Лопатинъ, садясь въ коляску.

Въ штабѣ ему посовѣтовали послать эстафету, если онъ не хочетъ терпѣливо дожидаться «болѣе толковыхъ, то-бишь, болѣе подробныхъ, оффиціальныхъ извѣщеній»,—поправился маленькій штабный офицерикъ Штофусъ, придерживая пальцемъ одноглазку, никакъ не хотѣвшую держаться безъ этой помощи на своемъ мѣстѣ.

Вотъ послалъ эстафету Иванъ Илларіоновичъ, вернулся домой и, не заходя даже, по обыкновенію, на дамскую половину, насупившись, усѣлся въ креслѣ въ своемъ кабинетѣ.

«Скверно, если правда! Главные разсчеты лопнутъ, капиталу чуть не двѣ трети затрачено; а этотъ-то «ляхъ», чай-поди, тамъ радуется, бестія», — думалъ Лопатинъ, воображая себѣ ликующую, веселящуюся фигуру Станислава Матвѣевича.

И на «дамскую» половину забрели эти таинственные слухи и значительно смутили спокойствіе Фридерики Казиміровны.

— Адочка, ты слышала?—позвала она свою дочь.

— Вздоръ какой-нибудь! Опять кто-нибудь во снѣ мною бредитъ или аппетитъ потерялъ по моей милости?—отозвалась она, не отрываясь отъ книги, которую пробѣгала, лежа на кушеткѣ.

— Ахъ, нѣтъ, Ада. Да пойди сюда! Ты думаешь, мнѣ легко кричать черезъ двѣ комнаты?

— Ну, говори, въ чемъ дѣло!

— Ты, Адочка, не волнуйся...

— Ну, же!

— Всѣ его караваны,—помнишь, онъ все говорилъ, что ждетъ съ такимъ нетерпѣніемъ, — ахъ, всѣ эти караваны разграблены, всѣ перебиты... Иванъ Демьяновичъ, добрый, внимательный Иванъ Демьяновичъ...

Фридерика Казиміровна поднесла платокъ къ глазамъ.

— Что же Иванъ Демьяновичъ?

— На колъ посаженъ!

— Какъ на колъ?!—удивилась и вмѣстѣ испугалась Адель мгновенно представляя себѣ все неудобство этой посадки.

— Какъ?—вздохнула madame Брозе.—Ужасно!.. А главное, что это бѣдствіе грозитъ Ивану Илларіоновичу окончательнымъ... Боже, это было бы ужасно, это было бы болѣе, чѣмъ ужасно!.. Знаешь, я даже стараюсь гнать отъ себя эту идею!..

— Ну, что-жъ такое!—задумалась Адель.

— Какъ, что же!.. Гм...—задумалась тоже Фридерика Казиміровна; помолчала, встала, подошла къ дочери и нѣжно приложилась губами къ ея головѣ.

— Я поговорю съ капитаномъ парохода «Аралъ»: онъ, говорятъ, пріѣхалъ изъ Чипаза... я съ нимъ увижусь и устрою такъ, что онъ тебѣ его представитъ!

— Кого это, маменька?—подняла голову Адель.

Фридерика Казиміровна немного замялась.

— Этого... ну, генерала; такой видный, красивый, bel homme,—еще совсѣмъ молодой человѣкъ: лѣтъ подъ-сорокъ, небольше, и какая блистательная карьера!.. Куда же это ты, Адочка?

Адель ничего не сказала, быстро встала и пошла на террассу, даже не взглянувъ на свою немного озадаченную маменьку.

— Ого!..—произнесла Фридерика Казиміровна.

— Коляску прикажете закладывать? — высунулся изъ-за дверей парень въ поддевкѣ.

— Попозднѣе немного!—распорядилась Фридерика Казиміровна.

«Кажется, я поторопилась немного»,—соображала она, принимаясь наблюдать за дочерью изъ-за той самой портьеры, откуда Адель прислушивалась къ разговору своей маменьки съ Лопатинымъ.

Быстро ходила Адель по дорожкѣ передъ террасою взадъ и впередъ и тяжело, продолжительно вздыхала, будто за одинъ разъ хотѣла захватить какъ можно больше воздуха. Ей было душно; ее давило что-то тяжелое, скверное. Ея прекрасные, влажные глаза совсѣмъ спрятались подъ нависшими дугами нахмуренныхъ бровей; тонкіе пальцы безпокойно бѣгали и дрожали, разстегивая крючки душившаго ее корсета.

— Объѣздишься, матушка, объѣздишься! — усмѣхалась Фридерика Казиміровна, закуривая папироску.

XXIII.

На дорогѣ.

Скрипучая почтовая повозка, запряженная парою худыхъ, какъ скелеты, лошадей, дребезжа и побрякивая на всевозможные лады, катилась по чимкентской дорогѣ по направленію къ Ташкенту. Въ телѣжкѣ сидѣлъ Ледоколовъ, съ нетерпѣніемъ поглядывая черезъ плечо ямщика, солдата изъ безсрочно-отпускныхъ, на зеленѣющія, зубчатыя группы фруктовыхъ садовъ и тополевыхъ питомниковъ, примыкающихъ съ этой стороны къ городскимъ предмѣстьямъ.

Тамыра Насырку съ верховыми лошадьми онъ оставилъ дожидаться на той станціи, гдѣ выходила на большую дорогу горная караванная тропа. Онъ разсчиталъ, что на перемѣнныхъ почтовыхъ онъ, по крайней мѣрѣ, цѣлымъ днемъ раньше будетъ въ Ташкентѣ.

А день, цѣлый длинный, томительный день—какъ это много, особенно при томъ нравственномъ настроеніи, когда каждый часъ, каждая минута кажутся безконечными!

— Трогай, братецъ, потрогивай! — торопилъ Ледоколовъ своего возницу.

— Поспѣемъ, ваше степенство!—подергивалъ тотъ веревочными возжами. — Эй, вы, корноухія, работай! Я-тѣ, дьяволъ, лягаться!.. А этого хочешь? Шшш! Тпру!

Повозка остановилась, подскакнувъ напослѣдокъ такъ, что сѣдокъ еле удержался на своемъ мѣстѣ. Надо было подвязать заднее колесо передъ крутымъ спускомъ въ оврагъ, на противоположномъ берегу котораго виднѣлась какая-то декорація—павильонъ въ видѣ русской избы, съ рѣзными украшеніями, такъ оригинально выглядывающій изъ массы зелени, посреди чисто-азіятской, типичной природы.

Эта изба была построена и предназначена исключительно для загородныхъ удовольствій: прогулокъ, пикниковъ, проводовъ, встрѣчъ и тому подобное. Помѣстившись какъ-разъ на перепутьѣ, на томъ пунктѣ, гдѣ кончаются красивыя городскія окрестности, и, взамѣнъ ихъ, начинается унылая, однообразная дорога на «Шарапъ - хапа», изба эта превосходно выполняла свое назначеніе, и старикъ сторожъ каждый вечеръ,

гожась спать, собиралъ у себя въ коморкѣ значительный запасъ пустыхъ бутылокъ, которыя и сбывалъ очень выгодно Алмазникову, Тюльпаненфельду и прочимъ ташкентскимъ виноделамъ.

— Эхъ, братецъ, какъ ты копаешься!—нетерпѣливо ворочался Ледоколовъ.

— Въ аккуратъ предоставимъ, ваше степенство. Сидите крѣпче! Ну, трогай!

— Стой! — выпрыгнулъ на ходу изъ повозки Ледоколовъ и бѣгомъ пустился внизъ, напрямикъ, черезъ кладки, перекинутыя для пѣшеходовъ, не желающихъ дѣлать длинный обходъ на мостъ.

Ледоколовъ замѣтилъ на другой сторонѣ, подъ густою тѣнью карагача, коляску, запряженную парою гнѣдыхъ. Откормленныя лошади стояли спокойно, отмахиваясь отъ комаровъ хвостами и грызя металлическія трубки нашильниковъ; кучеръ сидѣлъ на намешкѣ около и покуривалъ трубочку; двѣ или три верховыхъ лошади безъ всадниковъ тоже виднѣлись сквозь живую изгородь. Въ окнахъ павильона мелькали фигуры, и слышались оживленные, веселые голоса.

Ледоколовъ узналъ коляску, узналъ мелькнувшій въ окнѣ вуаль, узналъ голосокъ, только-что сію секунду крикнувшій: э-хо! и, должно быть, поджидавшій, когда оврагъ отвѣтитъ ему тѣмъ-же крикомъ, отраженнымъ и повтореннымъ нѣсколько разъ его скалистыми откосами.

Адель съ своею маменькою сегодня поѣхали кататься однѣ, безъ Ивана Илларіоновича. Болѣе «подробныя свѣдѣнія» были, наконецъ, получены въ штабѣ, и Лопатина вызвали за какими-то объясненіями къ губернатору.

— Знаешь что, оставимъ мы это; говори о чемъ-нибудь другомъ, я и такъ ужь совсѣмъ разстроена!—говорила Адель, сидя въ коляскѣ.

— Я только къ тому, чтобы всегда имѣть путь отступленія, быть, такъ-сказать, готовой ко всему...

— Ну, хорошо, хорошо, послѣ!

Адель такъ нетерпѣливо, капризно заворочалась на своемъ мѣстѣ, что маменька поспѣшила дѣйствительно перемѣнить раз-

говоръ и начала, по обыкновенію, съ природы. Она вообще очень любила природу.

— Ахъ, какіе мотыльки! Посмотри, Ада, вонъ на лопушникъ садятся!

Адель мелькомъ взглянула на мотыльковъ.

— А вонъ птичка, Ада, сама зелененькая, носикъ желтенькій!

— Къ павильону!—обратилась Адель къ кучеру, замѣтивъ, что тотъ, доѣхавъ до обычнаго пункта, началъ-было поворачивать лошадей.

— Не далеко-ли, Адочка?

— Чѣмъ дальше, тѣмъ лучше!—буркнула Адочка.—Я-бы, пожалуй, совсѣмъ отсюда уѣхала, если-бы...

Она не договорила и обратила теперь все свое вниманіе на группу всадниковъ, рысью взбиравшихся на гору по извилистой тропинкѣ, ведущей къ какому-то строенію, совершенно скрытому съ этой стороны массою самой разнообразной зелени.

— Какой видъ прекрасный! Павелъ, остановись; мы будемъ любоваться отсюда закатомъ солнца! — распорядилась Фридерика Казиміровна.

Коляска остановилась.

Одинъ изъ всадниковъ, вѣроятно, слышавшій послѣднія слова madame Брозе, задержалъ свою лошадь, повернулъ ее кругомъ почти на однихъ заднихъ ногахъ и лихо подскакалъ къ экипажу.

— Прежде всего,—началъ всадникъ, приложивъ руку къ козырьку своей бѣлой фуражки,—я прошу тысячу извиненій, что, не имѣя чести и удовольствія быть знакомымъ съ вами, позволилъ себѣ заговорить...

— Какой уродъ! Терпѣть не могу этихъ бѣлобрысыхъ!—шептала Фридерика Казиміровна.

— Баронъ Шпельклепсъ, а тѣ—мои товарищи-стрѣлки; мы прогуливаемся по окрестности; вы, если не ошибаюсь, тоже? Вы, сударыня, изволили замѣтить, что видъ хорошъ, онъ даже болѣе чѣмъ хорошъ, но оттуда, съ высоты оконъ этого павильона, видъ открывается еще лучше, и если вамъ угодно присоединить вашу прогулку къ нашей...

— Благодарю васъ! — церемонно раскланялась madame Брозе.—Павелъ, поѣзжай домой!

— Ну, мама, пойдемъ наверхъ, въ тотъ павильонъ!— рѣшила совершенно иначе Адель.

— Но, Ада, эти господа совершенно намъ незнакомы... и притомъ...

— Нашъ мундиръ, сударыня...—обидѣлся-было баронъ и, замѣтивъ, что дѣвушка хотѣла-было выйти изъ коляски, поспѣшилъ заявить, что къ павильону можно проѣхать даже въ экипажѣ.

— За мною!—скомандовалъ онъ кучеру.

Коляска свернула за всадникомъ и начала подниматься. Остальные члены кавалькады встрѣтили дамъ, въ самыхъ почтительныхъ позахъ, у входа.

Это все были офицеры вновь прибывшаго стрѣлковаго батальона. Они въ настоящую минуту знакомились съ окрестностями новаго города и собирались немного покутить. У каждаго въ сѣдельномъ кобурѣ было по бутылкѣ мѣстнаго краснаго вина и по куску швейцарскаго сыра.

— Скромно и благородно!—говорилъ рыжеватый подпоручикъ, помогая дамамъ выходить изъ коляски.

Грустное настроеніе Адели начало, мало-по-малу, проходить; Фридерика Казиміровна нашла, что формы барона Шнельклепсъ весьма недурно обрисовываются изъ-подъ кителя въ обтяжку, и если-бы только не эти льняные волосы... Поручикъ первый открылъ превосходное эхо въ оврагѣ, особенно если кричать въ окно изъ большой комнаты. Тотчасъ-же началась провѣрка этого открытія.

— Ада, Ада... смотри, это онъ!—вскрикнула на всю избу Фридерика Казиміровна и, не обращая ни на что вниманія, забывъ даже формы барона, ринулась къ подъѣзду на встрѣчу поднимавшемуся, запинавшемуся, красному, какъ ракъ, Ледоколову.

— Какими судьбами?—дружески произнесла Адель и протянула прибывшему обѣ свои руки.

— Адель Александровна, какая встрѣча! Здѣсь!.. Да вѣдь я чуть не умеръ безъ васъ. Какъ я радъ, какъ я радъ!— цѣловалъ Ледоколовъ протянутыя руки.

— А здѣсь, вы думаете, не вспоминали о васъ?—томно пропѣла madame Брозе.

Разсчеты господъ офицеровъ на дамское общество не сбылись. Адель граціозно кивнула имъ головкою и подъ руку съ Ледоко-

ловымъ начала спускаться къ коляскѣ; Фридерика Казиміровна поспѣшила за ними.

Офицеры переглянулись между собою, посмотрѣли свысока на Ледоколова, а это было такъ удобно, принимая въ разсчетъ мѣстоположеніе, и занялись своими съѣстными припасами.

Дамы усадили Ледоколова между собою. Почтовая повозка поплелась за коляскою.

Если-бъ Ледоколовъ не былъ въ такомъ лихорадочномъ, восторженномъ состояніи, онъ, вѣроятно, замѣтилъ-бы то полное спокойствіе, съ которымъ относилась къ нему его красавица-сосѣдка съ правой стороны, а нѣсколько дружески сказанныхъ словъ и легкое пожатіе руки окончательно сбили его съ толку.

Фридерика Казиміровна млѣла, кисла и не безъ тоскливой ревности посматривала на дочь; особенно смущало ее колѣно Ледоколова: «зачѣмъ оно такъ близко?»

— Да вы двигайтесь больше сюда: здѣсь еще такъ много мѣста!—дергала она своего сосѣда за рукавъ его парусинной рубахи...

— Вамъ надо сѣсть въ вашу повозку: мы сейчасъ въѣзжаемъ въ городъ!—прервала Адель интересный разсказъ о томъ, «какъ въ горахъ скучно, дико, какая тоска грызла его, и даже пребольно, и что если-бы только не надежда...»

— Такъ вы къ намъ завтра?—спросила она.

— Завтра утромъ, какъ только возможно рано; прямо изъ штаба!

— Я постараюсь, чтобъ васъ приняли... Мама, m-r Ледоколовъ протягиваетъ тебѣ руку... Мама, да что ты такъ задумалась?

— Подождите, минуту подождите... — заторопилась Фридерика Казиміровна.—Въ моей головѣ созрѣваетъ планъ. Зайдите съ этой стороны: мнѣ надо вамъ сказать...

— Мнѣ? — удивился Ледоколовъ и забѣжалъ съ другой стороны экипажа.

— Нѣтъ, не могу, не могу... У меня не хватаетъ рѣшимости. Я лучше вамъ напишу...

Фридерика Казиміровна вытащила записную книжечку и принялась что-то поспѣшно царапать карандашикомъ. Ледоколовъ терпѣливо ждалъ; Адель готова была расхохотаться

— Возьмите, но прочтите только тогда, когда мы успѣемъ подальше отъѣхать!—сунула madame Брозе бумажку въ руку Ледоколова. — До свиданья!

— До свиданья!

— Пошелъ!

Гремя полудюжиною бубенчиковъ и расколотымъ колокольчикомъ, вся окруженная облаками пыли, вынеслась изъ-за поворота почтовая тройка, обогнала коляску и приближалась уже къ остаткамъ тріумфальной арки. Проѣзжій приподнялся въ своемъ тарантасѣ, изумленными глазами посмотрѣлъ на дамъ, потомъ на Ледоколова, приподнялъ фуражку, хотѣлъ-было остановиться, но, вѣроятно, раздумалъ и понесся дальше.

— Катушкинъ!—вскрикнули разомъ обѣ дамы.

— Мама, вѣдь ты говорила...—начала-было Адель.

— Ахъ, какъ у меня бьется сердце! Ахъ, какъ бьется!—волновалась madame Брозе.

— Что это ты написала Ледоколову?

— Не спрашивай... это рѣшается моя участь... въ этихъ строкахъ... Ада, милая моя, ты вѣдь все уже знаешь! Ты молода, передъ тобою еще такъ много, а для меня вѣдь это можетъ быть ужъ послѣднее!—истерически зарыдала Фридерика Казиміровна.—Не отнимай его у меня, Ада, не отнимай!—всхлипывала она, пытаясь удержать душившія ее рыданія.—Ты, Павелъ, не говори никому то, что видѣлъ, никому... я тебѣ пять рублей дамъ за это...

— Благодарю покорно... не наше дѣло: я вотъ ежели что насчетъ сбруи или тамъ... Вправо держи тамъ!.. Долгушка!

— Я думала-было, что это такъ, ничего; но теперь, когда увидала его послѣ такой долгой разлуки, Боже! Я не знаю, что со мною дѣлается!

— Экъ тебя! Да успокойся, мама. Да ну, полно! Смотри, вонъ сюда глядятъ, пальцами показываютъ!

— Дай флаконъ!

Коляска плавно покатилась по городскимъ улицамъ.

Ледоколовъ быстро развернулъ полученную бумажку, пробѣжалъ ее и обомлѣлъ; пробѣжалъ еще разъ и покраснѣлъ до самаго ворота рубахи. Онъ, казалось, не вѣрилъ своимъ гла-

замъ и еще разъ принялся перечитывать невѣрнымъ, дрожащимъ почеркомъ нацарапанную записку.

«Сегодня ночью приходите къ намъ въ садъ. Лопатинъ не знаетъ еще о вашемъ пріѣздѣ — это отклонитъ всякое подозрѣніе съ его стороны. Садовая стѣна не такъ высока, особенно изъ переулка. Ваша...»

Больше ничего не было въ этой запискѣ.

«Садовая стѣна не такъ высока...» — бормоталъ ошеломленный Ледоколовъ.

— На станцію, что-ли? — спрашивалъ его ямщикъ, придержавъ лошадей на перекресткѣ.

«Особенно изъ переулка...»

— Чего?

— Въ федоровскіе номера! — очнулся Ледоколовъ и еще разъ принялся перечитывать курьезную записку.

XXIV.

Опять въ саду.

— Конечно, обидно-съ, и даже весьма разорительно... но чтобы, на семъ основываясь, полагать, что дѣло надо бросить,— это будетъ, какъ-есть, напротивъ. А при должномъ окончаніи слѣдствія и при открытіи виновниковъ, даже убытки всѣ вернуть можно, потому—присудятъ!—говорилъ Катушкинъ въ кабинетѣ Ивана Илларіоновича, прихлебывая съ блюдечка и поглядывая на кончикъ своей сигары.

— Вернуть убытки?! Гдѣ уже тутъ вернуть убытки!— уныло вздыхалъ Лопатинъ, совсѣмъ распустившись въ своихъ покойныхъ креслахъ.

— Какъ-есть. Теперь извольте видѣть, что здѣсь подведена механика,—это положительно извѣстно: слѣды всѣ въ нашихъ рукахъ; откуда все дѣло шло, тоже не трудно угадать!

— Онъ, онъ, несомнѣнно онъ... Ну, сторонка!—вздохнулъ еще протяжнѣе Лопатинъ.

— И ежели-бы только въ руки намъ очевидную улику, такую, чтобы, значитъ, совсѣмъ матъ, безо всякаго разговору, ну, и шабашъ...

— Ну, сторона!

— Ничего не сторона: вездѣ такъ заведено, что другъ подъ дружку подкапываются, а особливо по нашему комерческому дѣлу. Тамъ вотъ на такой манеръ, а здѣсь вотъ на эдакой. Да это еще что: случается, что и до головы добираются, не то что...

— Ну, вотъ, вотъ!—тревожно заговорилъ Иванъ Илларіоновичъ.—Я и говорю: мы вотъ тутъ сидимъ, а они...

Онъ поспѣшно всталъ, подошелъ къ окну и опустилъ тяжелую портьеру.

— Оно, конечно, осторожность не мѣшаетъ, — улыбнулся Катушкинъ, глядя на хозяйскій маневръ, — но тоже и въ уныніе приходить не приходится!

— Осторожность — не уныніе. Всякъ долженъ себя оберегать; положимъ, безъ риска нельзя. Вотъ мы попытались рискнуть—пріѣхали сюда, дѣло завели, а тутъ вотъ оно что вышло... Тсъ!.. Слышали?

— Ничего не слыхалъ. Гмъ!..

— Зачѣмъ дальше искушать судьбу, зачѣмъ.

— Такъ, значитъ, дѣло бросить?

Иванъ Демьяновичъ бросилъ въ каминъ окурокъ сигары и укорительно покачалъ головою.

— Что-же, ваше дѣло хозяйское!—произнесъ онъ, кисло улыбнувшись и передернувъ плечами.

— Какое хозяйское! Развѣ я къ тому...—заторопился Лопатинъ. — А кто мнѣ поручится, что вчера вотъ одно случилось, сегодня, бацъ, другое, завтра опять и, наконецъ, дойдетъ дѣло до того...

— Кто кого, извѣстно. Вотъ они насъ бьютъ, а намъ кто запретилъ имъ въ отместку?

— Нѣтъ, ужъ я на разбой не пойду, нѣтъ!

— Хаживали!

— Что!? — Лопатинъ озадаченно взглянулъ на Ивана Демьяновича.

— Не въ обиду будь сказано, а, по-моему, все равно... да опять-же скажу, что въ нашемъ торговомъ дѣлѣ безъ этого никакъ невозможно!

— Положимъ, я интриговалъ противъ него. Вотъ въ интендантствѣ насчетъ подрядовъ совсѣмъ дѣло ему испортилъ. Съ винокуреннымъ заводомъ опять такъ подвелъ, что онъ дол-

жекъ былъ понести значительный убытокъ. Но вѣдь это борьба законная; кто ему мѣшаетъ дѣлать то-же? Шансы равны!

— Тотъ-же разбой-съ. Вы его въ интендантствѣ придумали, а онъ въ «Кара-кумахъ» васъ подловилъ; и опять-же намъ много выгоднѣе, потому что, ежели мы его накроемъ,— а это весьма возможно, — то и убытки наши, и все прочее вернется, а его на каторгу сошлютъ, потому его разбой не облеченъ въ законную форму. Вы вотъ не ожидали ничего подобнаго, духомъ отъ этого сильно упали!

— Не упалъ, нѣтъ, а есть во мнѣ какое-то предчувствіе скверное. Фу, ты, чортъ! Это ваше пальто тамъ въ углу? А я было... — перевелъ духъ Лопатинъ.—Когда этотъ разбойникъ увидитъ, что онъ въ наши руки попасться можетъ, то мало-ли на что пойдетъ! У него, я слышалъ, такія шайки подобраны..

— Люди съ разборомъ, это точно!

— Ну, вотъ, мало-ли, на что съ отчаянія пойдетъ человѣкъ, когда увидитъ, что все потеряно... А если мы ликвидируемъ покойно дѣла...

— Да, какъ зайцы изъ-подъ выстрѣла, отсюдова ходу,— такъ, что-ли? То-то смѣху намъ въ затылокъ будетъ!.. Эхъ, Иванъ Илларіоновичъ! Конечно, мое дѣло приказчичье, но ежели, какъ потому, что мы съ малолѣтства, еще при покойномъ родителѣ нашемъ другъ другу доподлинно извѣстны, то, значитъ, поручите это дѣло мнѣ-съ; довѣренность полнѣйшую пожалуйте, потому она завсегда мнѣ потребуется. А ужъ коли робость беретъ, то на время можно и въ Петербургъ, либо въ Нижній отъѣхать... Вѣрьте мнѣ, не въ началѣ наше дѣло, а къ концу подходитъ, и то, что у насъ въ рукахъ, выпускать задаромъ не приходится!

— Все это хорошо, есть только у меня это подлѣйшее предчувствіе...

— Одни пустыя слова-съ!

— Ляхъ проклятый! Что-то его вотъ уже давно не видать нигдѣ?

— Боленъ, сказываютъ; я уже навелъ справку. Отчетъ сегодня принимать не будете?

— Да ужъ до завтра: поздно, первый часъ, никакъ?

— Второго четверть!

— Такъ, по-дорогѣ, скажи Павлу, чтобы здѣсь спать легъ, въ передней, а Дементію садовнику тоже накажи приглядывать!

— Распоряжусь! — улыбнулся Иванъ Демьяновичъ, поднимаясь со стула.—Прощенья просимъ!

— Вотъ оно какъ!—вздохнулъ Лопатинъ, оставшись одинъ.

— Ну, что, Иванъ Демьяновичъ, какъ-съ?.. — остановилъ Катушкина во дворѣ одинъ изъ приказчиковъ, поджидавшій всевр ема его возвращенія изъ хозяйскаго кабинета.

— Раскисъ!—махнулъ рукою Катушкинъ.

— Такъ-съ!—кивнулъ головою прикащикъ и пошелъ проводить Ивана Демьяновича «вплоть до самаго его флигеля».

Раздѣлся Иванъ Илларіоновичъ, долго очень крестился, покачивая головою и слезливо глядя на эти сверкающія, ежемъ торчащія во всѣ стороны иглы золоченаго вѣнчика, окружающія что-то темное, неопредѣленное; отвѣсилъ земной поклонъ, особенно продолжительный, и потому только не оставившій на его лбу знака, что полъ подъ образницею былъ покрытъ мягкимъ коврикомъ, и, наконецъ, легъ подъ одѣяло. Повернулся на другой бокъ—не спится; опять отвернулся носомъ къ стѣнѣ—не спится. Такъ вотъ и представляется Лопатину вся эта кровавая сцена посреди голыхъ песковъ: такъ вотъ и видитъ онъ, какъ съ кручи каменистаго утеса рушатся громадныя массы и засасываетъ ихъ бездонною тиною.

— Иванъ Илларіоновичъ! — легонько стучитъ въ дверь его Павелъ.

— А, что такое? Кто тамъ?—тревожно вскочилъ съ постели Лопатинъ и дрожащею рукою принялся шарить по ночному столику.

— Иванъ Илларіоновичъ! У насъ что-то въ саду неладно... Дементій прибѣгалъ сейчасъ, сказывалъ: черезъ стѣну лѣзутъ, снизу-то на свѣтъ видно было...

— Кто лѣзъ? Много народу? Да гдѣ сапоги? Куда ты, чортъ, сапоги затащилъ?—засуетился Лопатинъ.

— Тихонько, Иванъ Илларіоновичъ, огня ненадоть, зачѣмъ? Тамъ ребята пошли, снаружи-то, а мы изъ саду; можетъ, и накроемъ...

— Господи, Господи! Что-же это еще такое?

— Пожалуйте-съ... халатъ надѣнете, али пальто-съ?

— Тише!

Тихій говоръ доносился изъ сада. Это былъ шопотъ, прерываемый чѣмъ-то, весьма похожимъ на всхлипыванія.

Скверное подозрѣніе мелькнуло въ головѣ Ивана Илларіоновича. Страшные призраки гибели каравана, опасенія за свою собственную голову—все исчезло передъ другимъ, еще болѣе тяжелымъ, невыносимымъ видѣніемъ.

Подобравъ полы халата, теряя на ходу туфли, Иванъ Илларіоновичъ, какъ котъ на добычу, шмыгнулъ изъ кабинета въ пріемную, оттуда на балконъ, и его разгоряченное, потное тѣло сразу обдало холоднымъ, сырымъ предразсвѣтнымъ воздухомъ.

— Ты, Адочка, иди спать: уже пора! — произнесла Фридерика Казиміровна, вглянувъ на часы.

— А ты?—спросила Адель.

— Я еще посижу здѣсь въ саду: голова болитъ, и, я думаю, легче будетъ на свѣжемъ воздухѣ!

— Мнѣ тоже что-то спать не хочется; я посижу съ тобою!

— Ахъ, нѣтъ, Ада, зачѣмъ утомлять себя?.. Иди, мой ангелъ, иди. Ты такъ устала, глазки у тебя слипаются, ты положительно спишь, сидя...

— И не думаю!

Фридерика Казиміровна не безъ досады двинула своимъ кресломъ, да такъ, что даже одно колесцо съ ножки соскочило и зазвенѣло по усыпанной пескомъ площадкѣ сада, на которомъ вотъ уже съ часъ какъ сидѣли маменька съ дочкой, наслаждаясь ароматнымъ воздухомъ фруктоваго сада.

Помолчали минутъ десять.

— Ада, иди-же спать, дитя мое, не упрямься!—начала опять ласковымъ тономъ Фридерика Казиміровна.

— Мама, ты такъ настойчиво посылаешь меня въ постель, что я могу подумать, Богъ знаетъ что...

— Что-же такое? Ничего нѣтъ особеннаго... я безъ всякой задней мысли!

— Можетъ быть, я тебя стѣсняю... такъ? Или, по крайней мѣрѣ, могу стѣснять впослѣдствіи... да? Говори откровенно!

— Ахъ, другъ мой, какія глупости! Ахъ, да, на твоей ротондѣ, я видѣла, отпоролось кружево: знаешь, тутъ, около ворота...

— Ты что написала Ледоколову?

— Адочка!

— Хочешь, я тебѣ скажу...

— Адочка!

— Ты его ждешь теперь, и я, понятно, должна стѣснять тебя — вотъ ты меня и гонишь спать... такъ? Да, ну, сознавайся... вѣдь меня не перехитришь!

— Адочка!

— Да нечего все: Адочка да Адочка. Ну, слушай, я тебѣ скажу откровенно: Ледоколовъ не годится... то-есть, онъ мнѣ не годится... Я-было сначала думала иначе, но теперь...

— Адочка, уйди, другъ мой, ради Бога!.. Тсъ!..

Кусокъ штукатурки отвалился отъ стѣнного гребня и ясно, отчетливо защелкалъ по листьямъ гигантскаго лопушника, росшаго подъ самою стѣною.

Сердце Фридерики Казиміровны забилось такъ сильно, что эти учащенные удары должны были быть слышны, по крайней мѣрѣ, на томъ концѣ сада. Мадамъ Брозе была убѣждена въ этомъ, и пухлымъ, округленнымъ локтемъ поспѣшила заглушить это нескромное біеніе.

— Ну, прощай! Дочь твоя тебя благословляетъ и разрѣшаетъ, и прочая, и прочая, и прочая!

Адель сдѣлала театральный жестъ и, беззвучно смѣясь, шмыгнула на терассу.

«Боже, что-же я дѣлаю?! Вѣдь онъ не ко мнѣ... онъ воображаетъ... что-же я буду говорить? Я, кажется, не рѣшусь!»—пробѣгало въ головѣ Фридерики Казиміровны.

Какая-то тѣнь мелькнула шагахъ въ трехъ отъ нея.

— Боже, онъ меня не видитъ, онъ идетъ прямо! Дмитр...— прошептала она, и прошептала такъ тихо, что даже сама себя не слышала.

Тѣнь остановилась, внимательно посмотрѣла на освѣщенное окно спальни Адели, еще шагнула немного впередъ.

— Сигналъ-бы какой-нибудь подать! — соображалъ Ледоколовъ и тихо кашлянулъ.

— Courage, maman, courage!—совершенно неожиданно произнесла Адель, нагнувшись къ самому уху своей маменьки.

— Ай!—вскрикнула Фридерика Казиміровна.

Ледоколовъ бросился на крикъ.

Въ темнотѣ онъ видѣлъ два силуэта.

— Ахъ! Ахъ! Ахъ... Ха-ха-ха! — разрѣшилась Фридерика Казиміровна истерическимъ припадкомъ.

— Этого еще недоставало!—громко произнесла Адель.— Ледоколовъ, вы пришли кстати (она чуть не фыркнула): — разстегивайте платье, распустите шнурки, я сейчасъ принесу воды!

— Я умираю, я умираю, мнѣ душно!—томилась Фридерика Казиміровна, отдавшись въ полнѣйшее распоряженіе растерявшагося, озадаченнаго Ледоколова.

— Вотъ вода... подождите, я брызну въ лицо!—подбѣжала Адель съ графиномъ въ рукахъ.

— Я не виновата, я не виновата!—коснѣющимъ языкомъ лепетала Фридерика Казиміровна.—Сердцемъ повелѣвать невозможно... Я женщина съ сердцемъ... Я еще молода... О, Боже мой!

— Тутъ такъ много булавокъ! — отдернулъ руку Ледоколовъ

— Трите виски... Ай! Идутъ, сюда идутъ!

Попался!» мелькнуло въ головѣ нашего Донъ-Жуана.

— Куда? Держи его, Павлушка, держи! — кричалъ, задыхаясь, Иванъ Илларіоновичъ.—Тамъ отъ стѣны отхватывай, отъ стѣны, живо! Уйдетъ!

— Поймалъ, Иванъ Илларіоновичъ, поймалъ-съ!—навалился сзади на Ледоколова Павлушка. — Что, чего? Драться не велѣно! Поньче не тѣ времена! Ой, Дементій, держи, уйдетъ!

— Прочь... убью!

— Нѣтъ, шалишь!.. Веревку подай!..

— Бей его, подлеца, бей, сколько влѣзетъ: все беру на себя!—неистовствовалъ Лопатинъ.

— Иванъ Илларіоновичъ, не дѣлайте глупостей,—слышите, я вамъ приказываю!—кинулась Адель къ Лопатину.

— Чего-съ? Глупости?! Нѣтъ, это не глупости! Что, не любишь? А, любовниковъ заводить...

Онъ не докончилъ: звонкая пощечина такъ и врѣзалась въ его одутловатую, раскраснѣвшуюся щеку.

Фридерика Казиміровна заблагоразсудила погрузиться въ самый глубокій обморокъ.

На цвѣточныхъ клумбахъ, взрывая рыхлую землю, ломая и коверкая кусты, растенія, цвѣточныя палочки съ надписями, завязалась ожесточенная свалка. Ледоколовъ боролся одинъ противъ трехъ.

— Иванъ Илларіоновичъ, что вы дѣлаете? Бросьте, вы, эй, вы, тамъ, бросьте! Павелъ, брось! Павлушка, чортъ, лѣшій!

Катушкинъ съ фонаремъ въ рукахъ прибѣжалъ на мѣсто катастрофы.

— Вотъ оно дѣло какое... да, вотъ дѣло! — бормоталъ Иванъ Илларіоновичъ, тяжело опускаясь на ступеньки терассы.

Свѣжесть-ли ночи (Лопатинъ былъ въ одномъ бѣльѣ), пощечина-ли, такъ неожиданно полученная, внезапное-ли появленіе Катушкина повліяли на него, но только въ немъ совершилась реакція.

— Оставь, ребята: что его бить? Этимъ дѣло не поправишь! Оставь ужъ, Богъ съ нимъ!

— Вы мнѣ дорого поплатитесь!—налетѣлъ было на него Ледоколовъ.

— Уходите, батюшка, уходите... Эхъ, вы!—остановилъ его Катушкинъ.

— Помогите!—чуть слышно простонала Фридерика Казиміровна.

«По-дѣломъ вамъ, Адель Александровна», по-дѣломъ», сама себѣ говорила Адель, стоя передъ зеркаломъ въ своей комнатѣ и прислушиваясь къ затихающей, мало-по-малу, суматохѣ на садовой площадкѣ.

На другой день Лопатинъ получилъ длинное письмо отъ Ледоколова. Въ этомъ письмѣ говорилось о томъ, что личные ихъ счеты не должны смѣшиваться съ «общимъ дѣломъ», что онъ пріѣхалъ въ Ташкентъ именно по этому дѣлу, и будетъ совершенно нелогично, если то «недоразумѣніе» можетъ помѣшать успѣху ихъ предпріятія. Онъ обращался къ здравому смыслу Ивана Илларіоновича, предлагая *лично* отъ себя и даже требуя какого угодно удовлетворенія.

Въ отвѣтъ на это посланіе, Ледоколовъ въ тотъ-же вечеръ, получилъ тоже довольно подробное и обстоятельное извѣщеніе, подписанное, впрочемъ, Катушкинымъ.

Иванъ Демьяновичъ увѣдомлялъ господъ горныхъ инженеровъ, что дальнѣйшее участіе въ ихъ дѣлѣ Ивана Илларіоновича прекращается, а что насчетъ личныхъ счетовъ и предлагаемаго удовлетворенія, то чтобы они не безпокоились, ибо выданныхъ денегъ обратно требовать не будутъ; что-же до иного прочаго, то Катушкинъ лично уже отъ себя проситъ господина Ледоколова всякія претензіи прекратить, ибо сіе самое для господина Ледоколова не можетъ имѣть хорошихъ послѣдствій. Для входа и выхода предназначены собственно двери и ворота, а что ежели черезъ стѣну и, наипаче того, въ ночное время, то государственными законами сей путь весьма неодобряемъ.

— Накось, раскуси! — ухмыльнулся Иванъ Демьяновичъ, дописывая эту послѣднюю фразу

— Такъ его, мошенника, такъ!—одобрительно кивалъ Лопатинъ, глядя черезъ плечо своего старшаго приказчика.

— Скверно! — произнесъ Ледоколовъ, дочитавъ посланіе. «Вы ужъ, батюшка, смотрите тамъ, не подгадьте», невольно припоминалась ему напутственная фраза его товарища.

На другой-же день, рано утромъ, Ледоколовъ послалъ корридорнаго Максимку на почтовую станцію за лошадьми по чимкентскому тракту.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I.

Кишлакъ Ташъ-Огыръ.

Въ горномъ кишлакѣ Ташъ-Огыръ было замѣтно какое-то особенное, необыкновенное оживленіе. Тихіе, малонаселенные горные поселки казались и людны, и шумны.

Плоскія, расположенныя террасами по скатамъ горъ крыши сложенныхъ изъ дикаго камня сакель пестрѣли группами дѣтей и женщинъ; мужское населеніе тѣсною кучкою стояло у выѣзда или-же поодиночкѣ бродило по улицамъ, переговариваясь и перекликаясь съ тѣми, кто былъ на крышахъ. Все это указывало другъ другу пальцами, смотрѣло вдаль, по направленію къ западу, и поминутно прикрывало глаза руками, — такъ трудно было выносить ослѣпительный блескъ известняка и обломковъ мрамора, сверкавшихъ на солнцѣ по ярко освѣщеннымъ горнымъ скатамъ.

Тамъ змѣилась узкая конная тропа, спускаясь съ высотъ въ ущелье. Шла эта тропа зигзагами—иначе совсѣмъ невозможно было-бы спускаться и подниматься на эту гору. Собственно ничего особеннаго не было видно на этой тропѣ, кромѣ четырехъ всадниковъ-туземцевъ, чалмы которыхъ кивали вдали, то прячась за обломками скалъ, то снова показываясь, когда тропа выводила ихъ на болѣе открытое мѣсто.

Всадники эти ѣхали не въ кишлакъ Ташъ-Огыръ, а изъ него: это было замѣтно потому, что чалмы ихъ, очень большія, почтенныя чалмы, на каждую изъ которыхъ пошло по крайней мѣрѣ по тридцати аршинъ индійской кисеи, не увеличивались въ своемъ размѣрѣ, а, напротивъ того, все уменьшались и уменьшались, и въ настоящую минуту казались чуть

замѣтными точками; онѣ, наконецъ, исчезли совсѣмъ за вы двинувшеюся почти на самую дорогу, изрытою, угловатою скалою «Шайтанъ-каикомъ» (чортовой лодкою). Форма этой скалы ничѣмъ, впрочемъ, не напоминала лодку; зловѣщее-же прилагательное «шайтанъ» она получила, вѣроятно, вслѣдствіе того, что особенно какъ-то мрачно смотрѣла своею черною массою между остальными свѣтлыми горными породами.

— Уѣхали!

— Ну, и слава Аллаху!

— Пошли имъ пророкъ дорогу гладкую, какъ сама лысин почтеннаго муллы Касима'

— Это отъ насъ; а къ намъ, чтобы она была корява и изрыта, какъ его собственныя щеки!

— Все равно, доберется. Тамъ ты что хочешь дѣлай, а въ свой срокъ доберется. Жди вотъ черезъ восемь мѣсяцевъ!

— Жадные!

— Да вѣдь они не отъ себя: посылаютъ — ну, и ѣдутъ. Они, можетъ быть, сами, по своей волѣ, и не хотѣли-бы, да посылаютъ,— ну, какъ-же тутъ быть?

— Да, «не хотѣли-бы», ха-ха! Небойсь, скажи ему: мулла, что хочешь — или сиди дома и спи съ своими бабами, ѣшь шашлыкъ, пилавъ, запивай его айракомъ или даже хоть русскимъ аракомъ, и вотъ тебѣ за эту благодать, ни за что, ни про что, сто кокановъ; или поѣзжай по кишлакамъ за сборомъ, шатайся по горамъ день и ночь, спи одинъ, гдѣ попало, безъ крыши, да еще подай за это двѣсти,—такъ онъ и думать не станетъ: самъ побѣжитъ сѣдлать свою лошадь!

— Тоже свою выгоду понимаетъ!

— Мало-ли ему въ свой карманъ перепадетъ! Чай, изъ того, что наши акъ-сакалы собрали съ насъ, Акъ-пашѣ и половины не видать!

— А замѣтили, какая у того лошадь хорошая: за двѣ тысячи кокановъ не купишь! А халатъ-то—ухъ! Мнѣ-бы только хоть одинъ часикъ поносить такой. Блеститъ, какъ чешуя на рыбѣ!

— Не по ишаку сѣдло!

— Чего не по ишаку? Пошли меня сборщикомъ, — не такой заведу!

— То-то тебя и не посылаютъ!

— А все-таки хорошо, что уѣхали! Слава Аллаху!

— Еще ладно, что только два дня прожили у насъ!

Вотъ такіе разговоры и болтовня шли по всему Ташъ-Огыру, съ крыши на крышу, со двора на дворъ, изъ одного закоулка въ другой, и разносились дальше, по другимъ кишлакамъ, пестрящимъ дикіе горные скаты.

Суровый, неразговорчивый, старый Аминъ-Аллаяръ, и тотъ даже веселѣй взглянулъ изъ-подъ своихъ нависшихъ бровей, потеръ костлявыя руки и произнесъ:

— Ну, теперь мы мѣсяцевъ на восемь вздохнемъ посвободнѣй: подати сдали, ну, и да благословитъ Аллахъ наши достатки!

Слышалъ эти слова другой старшина, Джанъ-Оглы, подошелъ къ Амину и говоритъ:

— А все-таки мы теперь много меньше Акъ-пашѣ платимъ, чѣмъ платили прежде бекамъ да коканскому хану!

— Это еще посмотримъ! — пожалъ плечами Аллаяръ и покосился влѣво, къ востоку, гдѣ синѣла щель «Караколъ-лощины».

— Ну, вотъ, чего бояться! — понялъ намекъ Джанъ-оглы. — Мы вѣдь теперь не ихніе: мы подъ Акъ-пашею состоимъ. Они не смѣютъ!

— А кого они бояться будутъ? Спросятъ, что-ли?

— Пришлютъ бѣлыхъ солдатъ (акъ-сарбазъ) — небойсь испугаются! Нѣтъ, не посмѣютъ!

— А гдѣ эти акъ-сарбазы? За сто верстъ стоятъ; что случится — они насъ не прикроютъ. Ну, пожалуй, дадимъ имъ знать... Э, да что говорить: самъ понимаешь, не маленькій!

— Аллахъ многомилостивъ!

— На него больше и надѣемся... Ты, мулла, домой?

— Домой, а что?

— Заходи ко мнѣ, коли будетъ время: у моего сына бокъ вотъ какъ раздуло! (Аллаяръ показалъ на пол-аршина отъ своего бока). Посмотри, что такое: ты вѣдь ученый!

— Зайду!

На одной изъ ближайшихъ крышъ, присѣвъ на клеверные снопы, старая Ханымъ угрюмо посматривала на свой опустѣлый дворикъ, гладко-утоптаннымъ квадратикомъ растилавшійся у нея подъ ногами.

— Что, Хапымъ,—пошутилъ съ ней мимоходомъ Джанъ-Оглы,—гдѣ твои бѣлыя куры? Здоровы, что-ли? Много-ли яицъ теперь нести будутъ?

— Въ своихъ животахъ увезли, проклятые!—покосилась та опять на ту-же тропинку.—Да что ты присталъ ко мнѣ съ курами,—твои бараны цѣлы-ли? Поди, сосчитай лучше!

— О-охъ!—вздохнулъ въ отвѣтъ Джанъ-Оглы.

— Избави насъ пророкъ отъ всякаго лиха!—поддакнулъ ему Аминъ-Аллаяръ.

И оба старика медленно, сановито пошли по улицѣ, спускаясь все ниже и ниже, къ опаленнымъ кустамъ горнаго можжевельника, гдѣ расположились болѣе просторныя и почище немного на видъ сакли акъ-сакала Аллаяра Амина.

И остальные обитатели кишлака Ташъ-Огыръ, должно быть, ужъ вдоволь наглядѣлись вслѣдъ уѣхавшимъ сборщикамъ и мало-по-малу начали расходиться по домамъ.

Солнце не свой братъ, печетъ такъ, что страсть; прогрѣваетъ даже мохнатые бараньи малахаи, накаливаетъ плечи и спины сквозь верблюжье сукно халатовъ и словно кричитъ съ верху: «эй, вы, тамъ, убирайтесь-ка поскорѣе по своимъ норамъ, подъ крыши, куда кто можетъ; коли не хочешь бѣды нажить, ищи себѣ такого мѣста, куда моимъ жгучимъ лучамъ не подъ силу будетъ проложить дорогу!

И покорные этому клику люди скоро всѣ до одного попрятались по своимъ норамъ и осталось на виду только нѣсколько бродячихъ куръ-хохлатокъ да большой золотистый пѣтухъ съ красною головою, наивно поглядывающій кверху, въ эту молочно-дымчатую мглу накаленнаго воздуха.

Тамъ, распустивъ свои полутора-аршинныя крылья, плавалъ громадный ягнятникъ и зорко смотрѣлъ внизъ, словно раздумывая: какую-бы изъ этихъ вкусныхъ хохлатокъ удобнѣе ему сцапать?

Солнечный зной, разогнавшій по домамъ ташъ-огырскихъ горцевъ, должно быть, не очень пугалъ всадника, приближавшагося въ эту минуту къ кишлаку.

Всадникъ былъ весь въ бѣломъ; на немъ былъ поверхъ всего костюма накинутъ широкій парусинный плащъ съ капюшономъ, напоминающій своимъ покроемъ бурнусы бедуиновъ;

его степная, рыжая лошадь, съ тяжелою, горбоносою головою, непривыкшая къ горнымъ тропинкамъ, бѣжала лѣниво, спотыкаясь, и, то и дѣло, получала по своему откормленному крупу легкіе удары киргизской нагайки.

Старая Ханымъ, первая замѣтившая всадника, знала, что путешественникъ былъ хорошо вооруженъ. Она знала это, во-первыхъ, уже потому, что по ихъ мѣстамъ никто безъ оружія не ѣздитъ, а во-вторыхъ, она видѣла, какъ за плечами и у пояса всадника нѣсколько разъ вспыхнули на солнцѣ яркіе металлическіе отблески.

— Опять никакъ къ намъ тотъ-же «русскій кротъ» ѣдетъ!—проворчала она и тихонько, поберегая свои старческія кости, стала спускаться съ крыши.

«Русскій кротъ» остановился на минуту, откинулъ капюшонъ на спину и слѣзъ съ лошади. Закинувъ поводья на шею коня, онъ пѣшкомъ началъ взбираться на кручу, къ кишлаку, а его рыжій, легонько заржавъ и покосясь по сторонамъ, поплелся слѣдомъ за своимъ хозяиномъ. Теперь ясно была видна русая борода пріѣзжаго и чехолъ отъ револьвера, отъ котораго на шею шли красные шелковые снурки съ кисточками, двуствольный карабинъ топырился сзади изъ-подъ плаща, привязныя шпоры рѣзко звякали по камнямъ извилистой дорожки.

— Ишь, словно повымерли всѣ! — произнесъ Бурченко, пріостановившись у сухой можжевеловой жерди, перегородившей входъ въ улицу.—Эй, тамыръ, какъ тебя звать? Эй, ты, чего тамъ за угломъ прячешься?

Онъ замѣтилъ темно-коричневое, смуглое лицо съ желтоватыми бѣлками, выглянувшее было изъ-за стѣны крайней сакли, и синеватыя тряпки рваной рубахи.

— Да тебѣ кого?—хрипло окликнула его рваная рубаха.

— Аллаяръ-бай дома или уѣхалъ куда изъ аула? — спросилъ Бурченко, откидывая жердь и проводя рыжаго въ улицу.

— Никуда не уѣхалъ... Эге! Да это вотъ ты кто!—веселѣй отозвалась рваная рубаха.

— Узналъ? Куда это: кажется, сюда? Тутъ у васъ запутаешься. Я вотъ четвертый разъ пріѣзжаю, а все не приглядюсь!

-- За мной ступай!

Рваная рубаха пошла впередъ, мелькая своими голыми, мозолистыми, какъ у добраго верблюда, пятками. Бурченко шелъ за нею, расправляя на ходу усталыя отъ длиннаго горнаго переѣзда ноги.

— А у насъ это время гости были изъ «русскаго кургана», закетчи, мулла Касимъ и амлакдари (сборщики). Сегодня только уѣхали; раньше бы пришелъ—засталъ бы!—сообщалъ Бурченкѣ его провожатый.

— Жаль. Много собрали?

— Про то акъ-сакалы знаютъ... Ну, вотъ тебѣ и Аллаярова сакля; давай «силау»! (наше «на водку»!).

— Ладно, больно легко зарабатывать будешь! Чего на мои раскопки не идешь, коли деньги любишь?

— У тебя работы много, тяжело!

— Зато и зарабатываютъ акчи (денегъ) много!

— А очень они мнѣ нужны, акчи-то эти!—зѣвнула во весь ротъ рваная рубаха.—Ну, прощай! Вечеромъ чай будешь пить, меня зови: я это люблю. Позовешь, что-ли?

И оборвышъ, не дожидаясь отвѣта, пошелъ прочь, отмахиваясь отъ золотисто-зеленыхъ мухъ-навозницъ своими спущенными съ плечъ рукавами.

Мулла Аллаяръ встрѣтилъ своего гостя на порогѣ, и пока они размѣнивались обычными привѣтствіями, одна изъ трехъ женъ хозяина, сухощавая Паръ беби, приняла рыжую лошадь отъ Бурченко и, прикрываясь стыдливо халатомъ, повела ее куда-то въ уголъ, гдѣ уже махалъ какой-то бѣлый хвостъ, и слышалось тихое привѣтственное ржаніе. Сѣрый, старый, какъ самъ хозяинъ, аргамакъ Амина-Аллаяра тоже приготовился встрѣтить своего, знакомаго уже ему, гостя.

Давно еще прежде бывалъ здѣсь Бурченко; послѣдній разъ онъ пріѣзжалъ сюда почти мѣсяцъ тому назадъ: ему нужны были рабочія руки; съ большимъ трудомъ, съ помощью самыхъ краснорѣчивыхъ уговоровъ, а главное—раздачею денегъ частями впередъ ему удалось добыть десятка два работниковъ. Недовѣрчивые дикари были неподатливы и никакъ не хотѣли повѣрить, что у этого *русскаго крота* (такъ его всѣ называли по роду его занятій) не было какихъ-нибудь другихъ, враждебныхъ имъ цѣлей; а тутъ еще примѣшался и сус-

вѣрный страхъ къ гяуру-иноземцу, который осмѣливается рыскать по ихъ мѣстамъ одинъ-одинехонекъ: они такъ привыкли видѣть русскаго тюра не иначе, какъ въ сопровожденіи цѣлаго конвоя «акъсарбазовъ». «Не безъ «шайтаплыхъ» (чертовщины) дѣло обходится. Съ нимъ, пожалуй, свяжись— бѣды наживешь. Ну, его, не надо намъ его денегъ»!—думали наивные дикари. Но эти самыя деньги были такія свѣтленькія, новенькія, такъ привѣтливо звенѣли! «Что-же, не все-ли равно: деньги, какъ и вездѣ деньги. Развѣ на нихъ написано, отъ кого они въ руки наши попали?»— подшептывалъ имъ другой, болѣе убѣдительный голосъ, и находились смѣльчаки, рисковавшіе связаться съ гяуромъ и заработать у него десятка два-три этихъ бѣленькихъ, серебряныхъ кокановъ. Ничего, все обошлось благополучно. Случилось, эдакъ недѣли черезъ двѣ, вернуться въ кишлакъ одному изъ шести первыхъ, рѣшившихся идти за Бурченкомъ работниковъ. Смотрятъ всѣ на него—ничего, человѣкъ, какъ человѣкъ: не скорчило его, не покрыло его никакою болѣзнью; говоритъ, что жить хорошо, кормятъ всякій день мясомъ; хотѣлъ-было сказать, что араку даютъ каждый день тоже по два стакана, да промолчалъ: увидѣлъ въ толпѣ муллу Аллаяра и побоялся.

Побылъ въ кишлакѣ денька два мардигоръ (работникъ) и назадъ въ горы пошелъ, да еще не одинъ: четверыхъ съ собою увелъ.

Случилось одно обстоятельство, подорвавшее-было расположеніе горцевъ къ русскому «кроту». Разнесся слухъ по горамъ, что всѣ подати будутъ увеличены вдвое противъ прежняго. Это приписали извѣтамъ Бурченко. «Вотъ онъ тутъ шляется, тычется всюду со своимъ носомъ, — вѣрно, далъ знать, что мы хорошо живемъ, вотъ на насъ и набавили!»— говорили тѣ, кто по какимъ-либо причинамъ былъ недоволенъ нашимъ инженеромъ. Другіе имъ охотно вѣрили. Дѣло моглобы окончиться очень плохо; изъ одного кишлака Бурченко былъ просто-на-просто выгнанъ силою; въ одномъ изъ горныхъ проѣздовъ по немъ даже стрѣляли. Мардигоръ Джонгыръ, привязавшійся къ своему хозяину, шепнулъ ему какъ-то на ухо: «уѣзжай, тюра, лучше отсюда, пока цѣлъ! Вѣрь — дѣло тебѣ говорю». Но Бурченко не уѣхалъ, и дурное время миновало такъ-же быстро, какъ и пришло: слухъ о надбавкѣ остался

только слухомъ, а акуратно выплачиваемыя заработныя деньги своей привлекающей силы не потеряли; все шло хорошо до катастрофы съ Лопатинымъ.

Теперь, когда присылка денегъ изъ Ташкента, изъ конторы Ивана Илларіоновича, прекратилась, надо было пріискивать другія средства. Долго ломалъ голову предпріимчивый малороссъ, какъ-бы извернуться, не прибѣгая къ просьбѣ объ оффиціальномъ пособіи, и, наконецъ, додумался. Съ этимъ-то рѣшеніемъ онъ и пріѣхалъ въ кишлакъ Ташъ-Огыръ, въ самый значительный изъ горныхъ кишлаковъ; и теперь, когда чашка съ пловомъ, поставленная передъ нимъ гостепріимнымъ хозяиномъ, была покончена, выпитъ былъ и чай кирпичный, сваренный съ молокомъ и бараньимъ саломъ, онъ принялся излагать передъ Аминомъ-Аллаяромъ свой планъ, убѣдительно и толково поясняя ему всѣ обстоятельства.

Бурченко говорилъ спокойно, взвѣшивая и обдумывая каждое слово, внимательно выслушивалъ всѣ возраженія, какъ-бы ни казались они наивны съ перваго раза, подбиралъ самыя удобопонятныя и неотразимыя доказательства и съ удовольствіемъ видѣлъ, какъ на умномъ лицѣ старшины ясно выражалось пониманіе и даже согласіе съ его доводами. Часа два битыхъ говорили они. Джанъ-Оглы пришелъ въ половинѣ разговора, сѣлъ на корточки и тоже все поддакивалъ. Соглашались молчаливыми кивками головы и еще двое стоявшихъ въ дверяхъ.

— Ну, такъ какъ-же?— закончилъ Бурченко и глазами повелъ вокругъ себя въ ожиданіи отвѣта.

— Хорошо! — лаконически промолвилъ Аминъ-Аллаяръ.

— Хорошо!—попугаемъ повторилъ за нимъ Джанъ-Оглы.

Еще разъ молча кивнули чалмами гости въ дверяхъ.

— Такъ что-же, пойдутъ? — варьировалъ свой вопросъ Бурченко.

— А не знаю!—пожалъ плечами Аллаяръ.

— Какъ тутъ можно знать? — также пожалъ плечами Джанъ-Оглы.

Гости въ дверяхъ только переглянулись.

— У сына твоего бокъ ничего, скоро пройдетъ, — обратился Джанъ-Оглы къ хозяину, пододвинувшись поближе, — это его зеленая ящерица оплевала. Ты возьми чернаго

козленка, перерѣжь ему шею тѣмъ ножемъ, что послѣ человѣчьей никакой еще крови не пробовалъ,—есть такой?

— У меня нѣтъ; откуда такого взять?

— У сосѣда Искандера есть: онъ третьяго дня...—началъ было гость въ дверяхъ.

— А ты разсказывай, бей въ бубенъ по всему колодку!—шепнулъ ему другой.

— Я тебѣ принесу этотъ ножъ!—вызвался первый.

— Ну, такъ вотъ ты зарѣжь этимъ ножомъ козленка,—продолжалъ наставленіе Джанъ-Оглы, — а потомъ вымажь кровью больной бокъ и лѣвую пятку. Печень-же козлиную...

— Слушай, Аллаяръ-бай,—не безъ досады перебилъ знахаря Бурченко, — я къ тебѣ за десять ташей *) пріѣхалъ, о дѣлѣ тебя спрашивалъ, какъ къ своему лучшему другу за совѣтомъ пришелъ, а ты настоящаго отвѣта дать не хочешь!

— А что-же я тебѣ скажу? — удивился немного мулла Аллаяръ.

— Согласятся они на мое предложеніе или нѣтъ? Ты старшина ихній, ты знаешь. Коли ты мою сторону держать будешь...

— Ничьей я стороны держать не стану. Я вотъ соберу народъ къ вечеру,—всѣхъ соберу, кого найдутъ дома: ты имъ самъ и говори. А мнѣ что? Самъ я къ тебѣ въ работники не пойду, другихъ отговаривать не стану. Пойдутъ—ихъ охота!

— Всякій знаетъ, что ему лучше, такъ пускай и дѣлаетъ!—согласился тоже Джанъ-Оглы.—Такъ вотъ эту самую печень...

— Такъ сегодня вечеромъ соберешь народъ, это вѣрно?

— А я развѣ когда тебя обманывалъ?

— Ну, ладно, буду ждать вечера... Э-эхъ, замаялся я по вашимъ дорогамъ! — потянулся Бурченко и подтащилъ къ себѣ какую-то мягкую рухлядь.

— А ты отдохни до вечера. Здѣсь, въ саклѣ, прохладно!—пригласилъ его хозяинъ.

— Да ужъ больше дѣлать нечего! — произнесъ гость и, заложивъ шпору въ какую-то щель, принялся стаскивать свои тяжелые походные сапоги, подбитые крупными остроголовыми гвоздями.

---

*) Ташъ—восемь верстъ.

XXI.

Рѣчь Бурченко.

Солнце спустилось уже къ самой зубчатой окраинѣ горъ; загорѣлись, словно залитые золотомъ, далекіе ледники; вечернимъ холодомъ повѣяло снизу. Прыгая съ камня на камень, поднимая красноватыя облака пыли, наполняя воздухъ разнообразнымъ блеяніемъ и ревомъ, подходили къ ауламъ стада, пасшіяся днемъ по заросшимъ сухою травою и горькою полынью каменистымъ откосамъ.

Кучи навоза, зажженныя у входа въ кишлакъ, мимо которыхъ долженъ былъ проходить скотъ, обкуриваясь такимъ образомъ во избѣжаніе чумной заразы, распространяли на далекое разстояніе ѣдкій дымный запахъ.

Оживленный говоръ пошелъ по кишлаку; со всѣхъ сторонъ потянулся народъ къ площадкѣ передъ саклями Амина-Аллаяра.

Проснулся Бурченко и началъ одѣваться. Та-же женщина, что убрала его лошадь, принесла ему большую чашку съ кислымъ молокомъ. Жажда морила русскаго «крота», и онъ, окунувъ свои усы въ густую бѣлую массу, чуть не залпомъ вытянулъ всю чашку и отеръ ротъ рукавомъ своей рубахи.

— Собирается народъ! — оповѣстилъ его Аллаяръ, взглянувъ въ саклю.

— Сейчасъ выйду! — отозвался Бурченко, заглянувъ на всякій случай въ револьверный кобуръ: все-ли, молъ, тамъ въ порядкѣ?

Громче и громче становился говоръ вокругъ. Слышалась топотня босыхъ ногъ и сухой стукъ по камню кованныхъ, остроконечныхъ каблуковъ. Лошадь ржала и билась гдѣ-то неподалеку. Даже крыша той сакли, гдѣ одѣвался Бурченко, тряслась и вздрагивала подъ тяжестью взобравшихся на нее ташъ-огырцевъ.

«Ну, либо панъ, либо пропалъ! Чѣмъ-то окончится этотъ митингъ?» — промелькнуло въ головѣ малоросса.

И онъ рѣшительно шагнулъ черезъ порогъ прямо на яркоосвѣщенную послѣдними лучами вечерняго солнца сборную площадку.

Шумъ толпы нисколько не стихъ и не усилился при появленіи *русскаго крота*, словно его и не замѣтили. Только всѣ разомъ взглянули на него, кто прямо, кто искоса, и въ этомъ бѣгломъ взглядѣ отразилось минутное любопытство, тотчасъ-же успокоившееся, какъ скоро ташъ-огырцы убѣдились, что Бурченко—все тотъ-же самый Бурченко, котораго они видѣли въ послѣдній разъ, и въ наружности его не произошло никакихъ перемѣнъ, болѣе или менѣе могущихъ обратить ихъ вниманіе.

— Здравствуйте! Да пошлетъ вамъ пр... Что-же это они въ самомъ дѣлѣ?! — озадачился немного малороссъ этою холодностью.

— Аманъ! Аманъ! Амансызъ! Кудакъ-купакъ!—послышались въ говорѣ толпы отрывистыя привѣтствія.

— Вотъ я къ вамъ въ гости пріѣхалъ,—началъ Бурченко,—да кстати и дѣло надо сдѣлать вмѣстѣ съ вами!

— Что-жъ, отъ дѣла никто не бѣжитъ!

— Дѣла всякія бываютъ: дурныя и хорошія!—послышались голоса.

— Съ дурнымъ дѣломъ я къ вамъ не пойду: вы меня ужъ знаете!—возвысилъ голосъ Бурченко. — Говорилъ я объ этомъ съ тамырюмъ своимъ, Аллаяръ-баемъ; онъ вотъ васъ собралъ, чтобы я могъ сообщить это дѣло всѣмъ вамъ разомъ. Будете слушать—я начну, а нѣтъ—такъ что и толковать: я даромъ ломать своего языка не стану!

— Что-же, говори!

— Кричать очень громко приходится: васъ вѣдь всѣхъ не перекричишь. А вы-бы призатихли на часикъ!

— Эй! Вы, тамъ, на крышѣ, тише! Вамъ говорятъ!—прикрикнулъ Джанъ-Оглы.—Да будетъ вамъ о своей ослицѣ говорить: и послѣ наговоритесь!—обратился онъ къ двумъ «гальча», громче всѣхъ кричавшимъ и то-и-дѣло хватавшимъ другъ друга за обшивки халатовъ.

— Молча-ать! Тсъ!—выскочилъ оборвышъ съ желтыми бѣлками глазъ, тотъ самый, что провожалъ Бурченко, и, вооружившись длинною палкою, сталъ изображать изъ себя полицейскаго коваса, гордо поглядывая на толпу и мѣрно шагая изъ одного угла площадки въ другой.

— Нашъ-то дивона расходился!

— Дуракъ-то, дуракъ! Ха-ха-ха!

*

— Тсъ! Тише-же, въ самомъ дѣлѣ!

— Зачѣмъ я въ горы сюда къ вамъ пріѣхалъ и что здѣсь дѣлаю—вы уже хорошо знаете!—говорилъ Бурченко.

— Знаемъ!—рявкнулъ желтоглазый.

— Молчи!

— Теперь ты говоришь, что тавро у ней на лѣвой ляшкѣ и ухо зубцомъ надрѣзано... — дошептывалъ гальча о своей ослицѣ, да во-время замѣтилъ нахмуренныя брови самого Амина-Аллаяра и затихъ, одною мимикою дополняя окончаніе своей рѣчи.

— Много вашихъ работали у меня и теперь еще работаютъ; никто не жаловался: всѣмъ было хорошо. Все можетъ и дальше такъ-же хорошо пойти, только съ небольшою перемѣною. Вотъ объ этой-то перемѣнѣ я и пріѣхалъ говорить съ вами. Я до сихъ поръ вамъ за вашу работу платилъ деньги. Деньги эти мнѣ давалъ другой человѣкъ; давалъ онъ ихъ мнѣ взаймы, потому что вѣрилъ мнѣ и разсчитывалъ получить ихъ обратно съ хорошимъ барышомъ. Ну, дѣло наше шло хорошо, больше половины сдѣлано; осталось уже не много; барышъ былъ на носу, и мы-бы его съ тѣмъ человѣкомъ поровну-бы раздѣлили...

— А намъ что пришлось-бы изъ этого барыша?—нерѣшительно выдвинулся молодой парень въ синей длиннополой рубахѣ и въ бязевыхъ короткихъ чембарахъ, засученныхъ по колѣно.

— Вамъ-бы ничего не пришлось, потому что вы каждый день получали плату за свою работу. Вы *на кость* *) ничего не ставили; барышъ-бы остался только тому человѣку, что деньги свои тратилъ, да мнѣ, потому что я, главный *уста* (мастеръ), заправа всему дѣлу, тоже изъ одного этого барыша и хлопоталъ, и работалъ безъ жалованья!

— И много-бы вамъ пришлось этого барыша-то?—полюбопытствовалъ кто-то изъ заднихъ рядовъ.

— Полагаю, что на нашу жизнь хватило-бы съ излишкомъ. Ужъ, во всякомъ случаѣ побольше, чѣмъ вы всѣ зарабатывали вмѣстѣ!

— Ишь, вы какіе ловкіе! А вы съ вами-бы подѣлились,— замѣтилъ тотъ-же голосъ.

---

*) Не рисковали.

— Вотъ за этимъ-то я и пріѣхалъ сюда, чтобы предложить вамъ это. Только намъ надо сговориться!

— Что-жъ, это хорошо!

— Надо прибавки къ платѣ просить: онъ дастъ!

— Понимаемъ, къ чему онъ клонитъ!

— Еще по ярмъ-теньга въ сутки, и меньше чтобъ не ходить!

— Не дастъ!

— Дастъ: за тѣмъ и пріѣхалъ. Ты вѣдь слышалъ!

— Тише вы, слушайте!—перешептывалось многочисленное собраніе.

— Теперь тотъ человѣкъ мнѣ денегъ больше не даетъ, а работу кончить надо, вамъ тоже платить надо, а у меня самого денегъ нѣтъ,—значитъ, платить нечѣмъ!

— Эге! Вонъ оно что!

— Прогорѣлъ, значитъ!

Въ толпѣ послышался полусдерживаемый смѣхъ. Бурченко перевелъ духъ. Дѣло его подходило къ самой сути.

— Теперь, если вы будете по-прежнему работать у меня, то, вмѣсто платы, вы раздѣлите между собою весь тотъ барышъ, что получилъ-бы тотъ богатый человѣкъ, что отсталъ отъ нашего дѣла. И тогда на вашу долю придется гораздо больше, чѣмъ полтора кокана въ сутки. По меньшей мѣрѣ, каждый принесетъ домой свой «гамонъ» набитый деньгами, да навяжетъ, пожалуй, еще узелки на обоихъ концахъ пояса. И все за то только, что вы поработаете еще съ мѣсяцъ, не получая денегъ. Согласны на это или нѣтъ—говори прямо. Всякъ, что хочетъ сказать противъ этого, говори!

Бурченко замолчалъ и съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ выжидалъ отвѣта. Онъ не могъ разсмотрѣть выраженія лицъ своихъ слушателей, потому что сгустившіеся сумерки рисовали передъ нимъ только темные, движущіеся силуэты. Онъ замѣтилъ только, какъ нѣсколько изъ этихъ фигуръ стали мало-по-малу отходить дальше и уменьшаться въ размѣрѣ; онъ замѣтилъ даже нѣсколько концовъ отъ чалмъ, висящихъ обыкновенно сзади: ясно было, что обладатели этихъ чалмъ повернулись къ нему затылкомъ.

У *русскаго крота* заворочалось на сердцѣ что-то неловко: онъ предчувствовалъ неудачу своей миссіи, а съ этою неудачею

если не полное прекращеніе, то, по крайней мѣрѣ, длинный перерывъ такъ успѣшно начатаго дѣла.

Толпа-же, какъ нарочно, молчала. Трудно было опредѣлить, что заключало въ себѣ это гробовое молчаніе: полное-ли пренебреженіе и нежеланіе даже объясняться по поводу «такого дикаго предложенія русскаго крота», или же всякій пытался обдумать это предложеніе, и въ такомъ случаѣ...

— Ты вотъ насъ, кромѣ денегъ, еще кормилъ на свой счетъ, и—зачѣмъ неправду говорить—хорошо кормилъ; теперь же кормить будешь?

— Нѣтъ, ужъ теперь кормитесь сами, какъ знаете, за то...

— Обѣщай хоть кормить, а то пропадетъ все!—тихонько шепнулъ на ухо Бурченкѣ подошедшій сзади Аминъ-Аллаяръ.— Другой и шелъ къ тебѣ больше изъ-за плова съ бараниной, чѣмъ изъ-за денегъ!

— Ну, насчетъ корма, пожалуй, еще особо переговоримъ!— поправился Бурченко.

— А скажи ты намъ, только, смотри, правду говори!— громко возвысился рѣзкій голосъ справа.

Бурченко насторожилъ уши.

— Отчего тотъ человѣкъ деньги пересталъ давать? Можетъ, увидалъ, что изъ всего-то дѣла проку не будетъ, и порѣшилъ лучше потерять то, что уже потрачено, чѣмъ еще больше вертѣть дыру въ своемъ карманѣ?

— Что-жъ я, по-вашему, совсѣмъ дуракъ, что-ли? Вы-же меня всѣ умнымъ человѣкомъ называли прежде!—уклонился отъ прямого отвѣта Бурченко.

Онъ не хотѣлъ раскрывать настоящей причины: она была слишкомъ сложна, по его мнѣнію, чтобы ее могли усвоить себѣ слушатели, а ко всему, что только останется непонятнымъ, они, само собою, отнесутся съ сомнѣніемъ, чтобы не сказать больше— съ полнымъ недовѣріемъ.

— Нѣтъ, ты не дуракъ, этого никто не говоритъ,—дребезжалъ все тотъ-же голосъ,—ты умный...

— Такъ какъ-же это могло случиться, что я, который началъ дѣло и всѣмъ имъ орудую, не увидалъ-бы этого прежде? Я-бы прежде его бросилъ, если-бъ оно было невыгодно!

— Такъ-то такъ, такъ отчего-же?

— Умеръ тотъ человѣкъ, вотъ и все!—отрѣзалъ Бурченко.

Онъ рѣшился на этотъ категорическій отвѣтъ. Вѣдь все равно: Лопатинъ, дѣйствительно, умеръ для ихъ дѣла,—значитъ, малороссъ вовсе не уклонился отъ истины.

Снова молчаніе воцарилось въ толпѣ; кто-то даже присвистнулъ. Двѣ или три груди протяжно вздохнули, съ приличнымъ этому печальному извѣстію оттѣнкомъ во вздохѣ.

— А ну, пошлетъ ему Аллахъ на томъ свѣтѣ всего, что онъ заслужилъ хорошаго на этомъ!—пробормоталъ Джанъ-Оглы.

Только совершенно наступившая темнота не позволила Бурченкѣ замѣтить, что едва-ли только треть всѣхъ слушателей осталась на мѣстѣ; большинство разошлось по домамъ. Трудно было придумать болѣе краснорѣчивый отвѣтъ на предложеніе русскаго крота, какъ это молчаливое удаленіе.

— Такъ на чемъ-же мы порѣшимъ, говорите? Ну, говори хоть ты первый!

Бурченко обратился въ ту сторону, гдѣ слышался знакомый голосъ, задавшій послѣдній вопросъ.

— Погоди до завтра!—отвѣчалъ за того Аминъ Аллаяръ.—«Всякое дѣло яснѣе, когда на него свѣтитъ солнце»; что мы тутъ въ потьмахъ толковать будемъ? Они выслушали тебя, ну, и довольно пока. Теперь вотъ спать пойдутъ. Бабы-то ихъ по саклямъ, думаю, уже заждались. Можетъ, имъ Аллахъ во снѣ настоящій совѣтъ пошлетъ. Подожди до завтра!

— Подожди до завтра!—повторилъ за Аллаяромъ его подголосокъ Джанъ-Оглы.

— Прощай пока, спи спокойно! Завтра, можетъ, и порѣшимъ на чемъ-нибудь. Прощай!—послышались голоса.

— До завтра, такъ до завтра!—согласился Бурченко.

Толпа начала расходиться.

Не прошло и часу послѣ того, какъ разошлись по своимъ домамъ тапъ-огырцы, какъ весь кишлакъ затихъ, погруженный въ глубокій сонъ. Погасли послѣдніе огни, чуть-чуть мерцавшіе въ горномъ туманѣ, и только вершины горъ выплывали изъ этого тумана скалистыми островами да ближе виднѣлись темные, конусообразные силуэты расположенныхъ на крышахъ кучъ клевера, джугарры и рогатыя вязанки коряваго топлива.

Душно было въ саклѣ, да и не спалось къ тому-же. Бурченко выбрался на свѣжій воздухъ, влѣзъ по приставленной къ стѣнѣ

сломанной арбѣ на одну изъ крышъ и усѣлся на клеверной кучѣ.

Весь аулъ видѣнъ былъ ему, какъ на ладони, только послѣднія, крайнія сакли расплывались какъ-то въ туманѣ. Такъже пропадала и свѣтлая полоска кремнистой дороги. Съ легкимъ трескомъ вылетали изъ чернаго, закопченаго дымового отверстія искорки; должно быть, тамъ не совсѣмъ еще погасъ огонь подъ тагапомъ, и тлѣли уголья, раздуваемые струсю врывавшагося сквозь дверную щель ночного вѣтра. Вонъ его рыжій прядетъ ушами и чешетъ зубами въ подстриженной холкѣ своего сѣраго сосѣда. Вонъ какой-то старикъ съ длинною сѣдою бородою тоже взобрался на крышу, столбомъ сталъ на самомъ краю, протянулъ сухія руки къ востоку и медленно опустился на колѣна. Сѣрая кошка, не слышно ступая, крадучись, шмыгнула по самому гребню стѣны.

«Какъ далеко слышно въ горахъ тихою ночью! Разъ-два, разъ-два—вѣдь это тамъ, внизу, за Шайтанъ-Капкомъ! Нѣтъ, это только отдается, а топочутъ лошади совсѣмъ не въ той сторонѣ, а напротивъ. Это, должно быть, ѣдутъ по Караколъ-ущелью. Только кого-же это нелегкая несетъ по горамъ въ такую пору?—прислушивался Бурченко.—Что-жъ, дороги въ горахъ никому не заказаны, значитъ, имъ надо, коли ѣдутъ. А ну, какъ?..»

Чуть замѣтная полоска утренней зари скользнула по вершинамъ, и заискрились по ледникамъ серебристыя блестки. Холщевая рубаха отсырѣла на туманѣ; совсѣмъ мокрые стали снопы; утренній холодъ пробѣжалъ по всѣмъ жиламъ. Поежился малороссъ и сталъ потихоньку спускаться съ крыши.

«Что хорошаго принесетъ мнѣ день?»—подумалъ онъ и заснулъ съ этою мыслью, завернувшись съ головою въ свое байковое одѣяло-попону.

III.

Критическое положеніе.

— Вставай, тамыръ! Эй! — шепнулъ ему на ухо мулла Аллаяръ.—Вставай, да тихонько, безъ шума!

И онъ сильно потрясъ его за плечо, прикрывъ ему ротъ, на всякій случай, рукою, какъ-бы не вскрикнулъ громко спросонья.

— А, что такое? Что случилось? — приподнялся Бурченко на локтѣ и сразу догадался, что случилось что-то особенное, далеко изъ ряда вонъ выходящее.

Тревога и сильная озабоченность выражались на умномъ лицѣ Аллаяра. Тревожная бѣготня слышалась и по всему кишлаку.

Яркій разсвѣтъ сквозилъ въ дверныя щели и чертилъ полосами шероховатыя стѣны сакель. Заглянулъ Бурченко въ одну изъ этихъ щелей. Вся площадка видна была отсюда, большая улица вплоть до самаго поворота. Часть горы синѣла между двухъ сакель. Ярко-красное пятно такъ и рисовалось на этомъ синемъ фонѣ.

Всадникъ въ красномъ халатѣ, голова, шея и плечи въ стальной кольчугѣ, держа въ рукахъ длинную пику, оперся тупымъ концомъ ея въ землю и приготовлялся слѣзать съ коня. Другой всадникъ уже слѣзъ, привязывалъ коня къ концу сухой жерди и зорко глядѣлъ сюда, прямо на ихъ дверь. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось Бурченкѣ, сразу угадавшему, что такія за птицы прилетѣли! Еще нѣсколько красныхъ халатовъ высыпали верхомъ изъ-за поворота. За стѣною, словно тонкія камышины, покачивались пики съ волосяными кистями подъ остріемъ.

— На вотъ тебѣ «балту» *). Тутъ стѣна тоненькая, всего въ полтора вершка, не больше, сразу проломишь! — шепталъ ему Аллаяръ.—Въ дверь тебѣ нельзя выйти—увидятъ, а тамъ ты на женскую половину попадешь. Проползешь на крыши и въ солому забейся. Тамъ и лежи, пока я не приду. Проворнѣй!

И онъ сунулъ въ руки Бурченко короткій топоръ, а самъ всталъ около двери, положивъ руку на задвижку и нетерпѣливо поглядывая на своего гостя, скоро-ли онъ выберется изъ сакли указанной ему дорогою.

Съ одного удара топоръ просунулся насквозь. Меньше, чѣмъ въ полминуты, Бурченко выломалъ такую дыру, что въ нее могли свободно пролѣзть его широкія плечи. Захвативъ свое оружіе, онъ полѣзъ.

— Ай! — взвизгнула Акъ-Алма (бѣлое яблоко), молодая жена Аллаяра, замѣтивъ на своемъ дворѣ мужчину, да еще русскаго.

---

*) Топоръ.

Она была въ одной рубахѣ и расчесывала косы большимъ мѣднымъ гребнемъ.

— Шайтанъ, самъ шайтанъ! —закричала «Тилля» (золотая), другая жена, быстро отвернулась лицомъ къ стѣнѣ и присѣла на корточки.

Двѣ остальныя то же разинули рты, чтобы кричать, да замѣтили въ той-же дырѣ, откуда вылѣзъ *шайтанъ*, строгое лицо Аллаяра, и его кулакъ, явно грозившій крикуньямъ, и затихли, недоумѣвая, что-же такое все это значитъ?

Быстро перебѣжалъ Бурченко черезъ женскій дворикъ. Большая, желтая, какъ шафранъ, скирда соломы такъ и горѣла, освѣщенная восходящимъ надъ горами солнцемъ. «Русскій кротъ» вскарабкался къ ней и сталъ поспѣшно зарываться, оставивъ себѣ для наблюденія достаточное отверстіе.

Только-только во-время успѣлъ спрятаться Бурченко: вся площадь уже была покрыта всадниками.

— Ну, бѣда! Отъ сосѣдняго бека за сборомъ податей пріѣхали! — говорилъ, проходя мимо, Джанъ-Оглы.

— Да вѣдь мы уже русскимъ платимъ, мы уже очистились за двѣ трети! — протестовалъ кто-то другой.

— И этимъ тоже платить придется. Не заплатимъ—хуже: силой возьмутъ... безъ счету!

«Вотъ оно что! — подумалъ Бурченко и сталъ пальцемъ ощупывать револьверные стержни — всѣ-ли капсюли на своемъ мѣстѣ.—Неровенъ часъ, понадобится...»

Высокій, широкій въ плечахъ мужчина, по типу узбекъ, слѣзъ съ лошади, порасправился, не спѣша, молча указалъ однимъ кивкомъ своей чалмы мѣсто подъ навѣсомъ и расправилъ пальцами свою подстриженную бороду. Два джигита постлали коврикъ на указанное имъ мѣсто и расправили полы его халата, когда онъ грузно усѣлся, сердито поглядывая по сторонамъ, на группы растерявшихся ташъ-огырцевъ.

Это былъ самъ сборщикъ. Ему подали кожаный мѣшокъ, висѣвшій за его сѣдломъ, и онъ систематически принялся вытаскивать оттуда письменныя принадлежности и цилиндрическіе свертоочки прозрачной, мелко исписанной бумаги.

Красные джигиты, кто конный, кто пѣшій, рыскали уже по всему кишлаку, и только человѣкъ шесть осталось у навѣса, въ видѣ почетной стражи бекскаго сановника.

— Э-гмъ!—откашлялся сборщикъ.—Ну, мулла, здравствуй! Какъ тебѣ живется съ новыми сосѣдями?—обратился онъ къ Аллаяру, угрюмо стоявшему передъ нимъ и пощипывавшему концы пояса.

— Обижаютъ васъ бѣлыя рубахи, должно быть? Коли что, можете пожаловаться, я передамъ хану, и онъ накажетъ русскихъ!

— Угощеніе что-же не приготовили?—вполголоса говорилъ Аллаяру одинъ изъ пріѣзжихъ джигитовъ. — Смотри! Вотъ онъ разсердится, — бѣды наживешь!

— Не ждали, потому и не приготовили!

— Не ждали! — пропустилъ сквозь зубы сборщикъ.—Мы васъ нарочно прошедшій годъ не трогали и сбора не брали. Послѣ войны съ русскими ханъ далъ вамъ немного поправиться. Ну, а теперь вотъ пріѣхали... Все-ли у тебя готово? Ты вѣдь прежде всегда былъ такой акуратный!

— О чемъ тюра спрашиваетъ—я не знаю. Умъ у меня маленькій, не то, что у тебя. Гдѣ мнѣ понять?—говорилъ Аллаяръ.

— Сѣдая у тебя голова, а такихъ простыхъ словъ осилить не можешь. Сборы всѣ, за прошедшій годъ и за нынѣшній, готовы?

— Не то что готовы, а и уплачены сполна: у меня и записи есть съ печатями!

— Кому-же ты это платилъ? — грозно надвинулъ брови сборщикъ.—Бѣлымъ рубахамъ?

— Да, русскимъ. Подъ кѣмъ живемъ, тому и платимъ. Жили прежде подъ вашимъ ханомъ—вамъ платили, теперь подъ Акъ-пашею состоимъ—ему платимъ!

— А вотъ за то, что платили невѣрнымъ, ханъ вамъ прислалъ неласковое слово и подати за то увеличилъ. Вотъ ты и знай! На, смотри!

Онъ протянулъ Аллаяру развернутую полоску бумаги съ болтающеюся на шелковомъ шнуркѣ трехугольною печатью изъ зеленаго воска.

— Слушай, тюра!—взглянулъ на бумагу Аллаяръ. — Ну, твоя сила теперь: можешь все забрать—что видишь, то и забирай, да развѣ это будетъ по правдѣ?

— По правдѣ; зачѣмъ русскимъ передались?—усмѣхнулся сборщикъ.

— Въ прошломъ году, когда миръ держали, и отъ русскихъ, и отъ васъ высланы были люди. Вмѣстѣ, сообща, землю дѣлили. Вонъ по ту сторону горъ ваше, по эту—къ русскимъ отошло!

— А ты коранъ читаешь? Ты вѣдь грамотный?

— Гдѣ мнѣ знать столько, сколько въ твою голову входитъ!

— Развѣ такіе договоры ведутъ съ невѣрными? Эхъ, ты! А еще самъ муллою считаешься! Знаешь, гдѣ русская граница?

— Гдѣ-же, по-твоему?

— А только тамъ, куда достаютъ ихъ пушки. Только то ихнее, гдѣ они солдатъ своихъ держатъ. А сюда когда могутъ придти рускіе, по-твоему?

— А тогда,—понурилъ голову Аллаяръ, — когда отъ нашего кишлака одинъ пепелъ останется!

— Догадливъ, то-то!

— Большой поклонъ тебѣ дѣлаю!

Аллаяръ нагнулся и тронулъ землю пальцами.

— Не жми ты насъ,—началъ онъ,—мы люди бѣдные, по два раза одну и ту-же подать платить не подъ силу... Бери съ насъ, что дѣлать, только бери хоть по-меньше!

— Сколько по закону слѣдуетъ, столько и возьмемъ!

— Что законъ? Онъ вѣдь въ твоей волѣ! Что положишь, такъ и будетъ. Да ужъ за одно еще тебѣ поклонъ: уйми своихъ джигитовъ. Слышишь, на томъ краю какой крикъ? Какъ-бы худа какого не сдѣлали!

— А скорѣй сбирай, мы и уѣдемъ. Намъ здѣсь долго дѣлать нечего!

— Да что, къ полудню все будетъ готово, а пока нашимъ хлѣбомъ тебѣ кланяюсь. Не взыщи на угощеніи!

Мулла Аллаяръ посторонился и пропустилъ двухъ парней съ блюдами плова въ рукахъ и мѣшкомъ мелкихъ, желтыхъ, какъ лимоны, дынь и другихъ сластей.

— Великій жаръ Аллахъ посылаетъ! — смѣнилъ ханскій сборщикъ официальный тонъ разговора на болѣе частный.

— Я ужъ пойду хлопотать! —попятился Аллаяръ.

— Не держу!—лаконически произнесъ сборщикъ и захрипѣлъ поданнымъ ему тыквеннымъ кальяномъ.

———

Долго лежалъ Бурченко въ соломѣ. Большая половина всего происходившаго была видна ему, какъ на ладони. Близко подходили красные джигиты (кызылъ-чапанъ) къ соломенному скирду. Одинъ даже легъ поваляться немного, не болѣе какъ шагахъ въ трехъ отъ спрятавшагося. Была минута, когда малороссъ совсѣмъ уже считалъ себя погибшимъ, и чуть-чуть не пустилъ въ ходъ свое оружіе.

«Хорошо, что я въ солому залѣзъ, а не во что другое!— думалъ онъ, посматривая, какъ рядомъ разбирались для корма клеверныя кучи.—На солому-то никто не зарится... Э!..»—онъ вздрогнулъ и высвободилъ руку съ револьверомъ.

Что-то холодное прикоснулось къ его шеѣ.

— Пей, а то сомлѣешь, пожалуй! — тихо шепталъ ему женскій голосъ. — Да лежи смирно; можетъ, скоро уѣдутъ!

Бурченко узналъ Наръ-беби, ползкомъ подобравшуюся къ его скирду. Женщина протягивала ему кувшинъ съ молокомъ, заткнутый мокрою тряпкою, и сухую лепешку (чурекъ).

Минута была удобная, всѣ джигиты, какъ нарочно, собрались на площадкѣ, гдѣ сгоняли барановъ для податей, и Бурченко успѣлъ благополучно воспользоваться приношеніемъ. Ушла женщина и унесла съ собою пустую посуду.

А съ площадки несся металлическій, тихій звукъ перебираемаго серебра и мѣди,—это на разостланномъ бѣломъ войлокѣ Аллаяръ вмѣстѣ съ ханскимъ сборщикомъ считали коканы и чеки и раскладывали ихъ въ кучки по десяткамъ и сотнямъ.

Потомъ одежду сносить начали: пятьдесятъ халатовъ простыхъ, бязевыхъ двадцать, верблюжьихъ зимнихъ и двадцать адрасныхъ полосатыхъ. Чуть не со всего кишлака сбиралъ Аллаяръ податную одежду и самъ ужъ отъ себя поднесъ сборщику дорогой лисій халатъ, крытый краснымъ сукномъ и вышитый на спинѣ и полахъ шелками и мишурою.

— Якши... Алда-рас-былсыхъ *)!—кивнулъ чалмою сборщикъ и, для соблюденія этикета, накинулъ поднесенный халатъ поверхъ своего костюма.

— Носи на здоровье! — приложилъ руки къ желудку и потомъ поднесъ ихъ ко лбу и губамъ Аллаяръ, а самъ подумалъ: «чтобы тебѣ провалиться сквозь землю со всею твоею

---

*) Хорошо, благодаренъ.

шайкою, чтобы на тебя Шайтанъ какъ обвалился, когда ты погонишь мимо него нашу скотину, чтобы...»

Далеко перешло за полдень, когда окончился сборъ, и джигиты стали приготовляться къ отъѣзду.

Впередъ погнали барановъ и коровъ (кара-малъ). Джигиты тупыми концами пикъ подгоняли отсталыхъ животныхъ и сбивали ихъ въ кучи. Одинъ только молодой, черный, какъ уголь, бычекъ, не хотѣлъ, должно быть, покидать свою родину, злобно косился все на красныхъ джигитовъ и, наконецъ, нагнувъ свою широколобую голову съ кудрявымъ завиткомъ между рогъ, скачками кинулся на ближайшаго всадника.

– Э-гей-кой! — крикнулъ джигитъ и подставилъ быку остріе.

«Пикадоры! Просто Испанія, да и шабашъ!» — думалъ Бурченко, глядя изъ-подъ скирды на всю эту живую, оригинальную сцену.

Ему почему-то стало очень весело; онъ чувствовалъ, какъ отъ его сердца отваливалось мало-по-малу что-то тяжелое, скверное. Онъ чувствовалъ то, что долженъ чувствовать человѣкъ, наблюдая, какъ, шагъ за шагомъ, все дальше и дальше удаляется отъ него смертельная опасность.

«Вотъ и самъ толстый сборщикъ поднялся, наконецъ, на ноги; аргамака ему подвели, вотъ ужъ садится... Экъ, его подхватываютъ и подсаживаютъ со всѣхъ сторонъ! Сѣлъ, оправился. Аллаяра нѣтъ, онъ ушелъ куда-то. Джанъ-Оглы провожаетъ: такъ и не разгибаетъ спины, все за животъ держится и напутственныя пожеланія произноситъ. А, подозвалъ его *тотъ-то*, нагнулся, говоритъ и рукою показываетъ, никакъ сюда!? Нѣтъ, это въ другую совсѣмъ сторону, туда, гдѣ бѣлѣетъ тропа, ведущая къ русскому кургану. Суматоха! Человѣкъ шесть красныхъ дьяволовъ отдѣлились въ сторону, переговариваются о чемъ-то...

— Сюда, скорѣе, спускайся проворнѣй! — торопливо шепчетъ сзади самъ Аллаяръ и рукою тянетъ его за полу рубахи. — «Тинтянъ» (дуракъ) проговорился, искать тебя собираются!

Оглянулся Бурченко, смотритъ, на Аллаярѣ лица нѣтъ, даже пожелтѣлъ весь, самъ руками солому сзади спѣшно раскидываетъ

— Ну, ужъ живой не дамся въ руки, да и дешево тоже не обойдется имъ!—стиснулъ зубы Бурченко и спустился на женскій дворикъ.

— Уходи лучше; тамъ тебѣ баба лошадь держитъ, не твою,—твоя хороша, да къ нашимъ горамъ не привычна,—а я тебѣ даю моего сѣраго. Будешь гнать, не бей въ бока гвоздями, что къ сапогамъ у тебя прилажены, а гладь по шеѣ рукою да кричи на лѣвое ухо: «гайда, каракъ-баръ»! *) тогда тебя развѣ вѣтеръ одинъ догонитъ!

За стѣною проскакалъ всадникъ, еще и еще... Собака жалобно завыла, забившись въ канаву: задъ у ней отдавили и чѣмъ-то вдоль спины огрѣли.

— Здѣсь, должно быть, больше некуда ему спрятаться!—слышался близко хриплый голосъ желтоглазаго.

Бѣгомъ пробѣжалъ Бурченко черезъ женскій дворикъ, пролѣзъ въ калитку. Женщина, закрывъ лицо накинутымъ на голову халатомъ, «сѣраго» въ поводу держитъ.

— Ну, прощай! Скоро провѣдаю; живъ буду, дастъ Богъ увидимся!—наскоро простился малороссъ съ хозяиномъ и вскочилъ на сѣдло.

— Гэ-гэ-гей! Мона-мона (вонъ!)—завыли джигиты, едва только бѣлый плащъ «русскаго крота» мелькнулъ между сакель, быстро спускаясь къ лощинѣ по узкому, кривому переулку.

— Лови, лови! Уръ (бей)!—послышалось съ другой стороны.

Словно дикая коза, прыгая съ камня на камень, черезъ глиняныя стѣнки, сползая на заду съ такой кручи, что въ другое время и пьяному не пришла бы охота спускаться, несся сѣрый. Онъ чувствовалъ, какъ рука всадника нѣжно гладила по его тонкой, сухой шеѣ. Онъ слышалъ, какъ надъ самымъ его ухомъ хотя и незнакомый голосъ произносилъ знакомыя слова: «Гайда, гайда, каракъ-баръ!»

Да, хорошо, что Аминъ-Аллаяръ догадался дать ему своего сѣраго: на рыжемъ степнякѣ онъ давно бы сломалъ себѣ голову и ужъ навѣрное съ первой же угонки попался бы въ руки красныхъ халатовъ...

---

*) Уходи, воры.

IV.

Старая лисица.

Бржизицкій принадлежалъ къ числу тѣхъ темныхъ личностей, которыя руководствуются однимъ правиломъ: ubi bene—ibi patria. Онъ явился въ Ташкентъ въ то самое время, когда Перловичъ только что занялъ мѣсто первокласснаго торговаго дѣятеля.

Сочувственно отнесся Станиславъ Матвѣевичъ къ новоприбывшему; не трудно было сообразить, что такая личность, какъ Юлій Бржизицкій, будетъ ему не безполезна.

Изучивъ въ совершенствѣ, за послѣдніе года своего пребыванія въ Вѣрномъ и аулѣ Ата, мѣстные языки и обычаи, Бржизицкій оказался надежнымъ помощникомъ въ торговыхъ операціяхъ Перловича. Не прошло и года, какъ онъ положительно сталъ правою его рукою. Онъ работалъ не изъ-за жалованья, а изъ извѣстнаго процента въ барышѣ; значитъ, его личные интересы были тѣсно связаны съ интересами его патрона.

— Эка пройда, эка пройда! Кабы нашему такого!—говорили про него приказчики распадающейся фирмы Хмурова.

— Талейраномъ обзавелись, батенька!—заявилъ Перловичу даже самъ генералъ за завтракомъ.

— Землякъ и преданная личность!—уклончиво произнесъ Станиславъ Матвѣевичъ.

Появился Лопатинъ на ташкентскомъ торговомъ горизонтѣ. Бржизицкій первый натолкнулъ Перловича на ту идею, что новый дѣятель не можетъ не повредить ихъ дѣлу, монополизированному уже, потому, что, съ окончательнымъ паденіемъ Хмурова, остальные мелкіе торговые дѣятели не представляли Перловичу опасной конкуренціи.

Юлій Бржизицкій исчезъ.

— Куда это вы «своего» командировали?—спрашивалъ Иванъ Илларіоновичъ Станислава Матвѣевича, встрѣтившись съ нимъ на туземномъ базарѣ!

— А я его въ Ирбитъ послалъ: мѣха приторговать. Тамъ еще кое-что я затѣялъ!—отвѣчалъ Перловичъ.

Лопатинъ повѣрилъ и не справлялся, да и справки ни къ чему бы не повели, потому что въ чимкентской почтовой книгѣ

значилось, что Бржизицкій уѣхалъ именно на Вѣрный, значитъ, по сибирскому тракту.

Почтовая телѣжка-тарантасикъ только что остановилась у навѣса станціоннаго дома. Весь въ бѣлой парусинѣ, съ дорожною сумкою черезъ плечо, запыленный такъ, что невозможно было распознать цвѣта волосъ на головѣ и бородѣ, усталый и нѣсколько разбитый, впрочемъ, несмотря на эту усталость, привѣтливо кругомъ улыбающійся, Юлій Адамовичъ Бржизицкій вылѣзъ изъ повозки, произнесъ: «наконецъ-то!» и послалъ сартенка, одного изъ тѣхъ, что толпились у крыльца съ лотками винограда и абрикосовъ, за извозчикомъ-долгушкою.

— Съ пріѣздомъ имѣю честь... Долгонько изволили въ отсутствіи находиться! — показался на крыльцѣ смотритель изъ отставныхъ казачьихъ офицеровъ.

— Да, таки-повояжировалъ!—перехватилъ Юлій Адамовичъ саквояжъ въ лѣвую руку, чтобы освободить правую для рукопожатія.

— Станиславъ Матвѣевичъ пріѣзжали намедни... очень безпокоились...

— Дѣла, да и далеконько!

— До Иркутска доѣзжать изволили?

— Въ ту сторону... Тамъ никого нѣтъ?

Юлій Адамовичъ кивнулъ на окно общей пріемной комнаты.

— Офицера два изъ Чиназа: казначей съ адъютантомъ, барыня съ ними... Зайдете?

— Нѣтъ ужъ, я спѣшу... Сюда подкатывай, ближе къ крыльцу. Ребята, помогите-ка!

— Вещи накладывай на дрожки, живо!—скомандовалъ смотритель ребятамъ, дюжимъ ямщикамъ туземцамъ, дремавшимъ на припекѣ у заваленки.

— Иванъ Демьяновичъ вчера приходилъ подъ-вечеръ; справлялся, между прочимъ, не пріѣхали-ли... Прикажете?

Смотритель черкнулъ о подошву своего собственнаго сапога спичкою, замѣтивъ, что пріѣзжій вертѣлъ въ рукахъ только что обрѣзанную сигару.

Юлій Адамовичъ пристально взглянулъ на смотрителя; тотъ щурился на солнце и прикрывалъ рукою мигающее пламя спички.

— Что это онъ такъ интересуется?—произнесъ Бржизицкій, помолчавъ немного.—А онъ самъ давно пріѣхалъ?

— Съ недѣлю будетъ. У нихъ тутъ бѣда стряслась, не изволили слышать?

— Что такое?

Смотритель поспѣшилъ черкнуть другую спичку, потому что первая была потушена неловкимъ движеніемъ Бржизицкаго при закуриваніи сигары.

— Караваны Лопатинскіе, того-съ, обработали до-чиста: машины и все прочее; кто говоритъ тюркменцы, кто говоритъ адаевцы, кто думаетъ, что ни тѣ, ни другіе, а...

— Какія машины?

Бржизицкій повернулся спиною къ собесѣднику. Надо было поправить какой-то ящикъ, слишкомъ свѣсившійся съ дрожекъ.

— А ужъ не знаю доподлинно. Говорятъ, шелкомотальныя, прядильныя и разныя прочія. На большой капиталъ потеря!— За-городъ или въ караванъ-серай?

— За-городъ! Трогай братецъ!—усѣлся Бржизицкій верхомъ на дрожки, поприжавъ чемоданъ колѣномъ, прихвативъ все сверху лѣвою рукою.

— Прощенья просимъ!

Въ углу двора, въ сторонѣ, противоположной той, гдѣ находились ворота, стоялъ большой полуразобранный тарантасъ. На фордекѣ этого тарантаса сидѣлъ красный пѣтухъ, ворочалъ шеей, хохлился, расправлялъ крылья и, повидимому, приготовлялся запѣть; пониже его, на подножкѣ козелъ, сидѣла мохнатая шавка, томно склонивъ голову, высунувъ языкъ на бокъ и бросая на пѣтуха самые умильные взгляды. Эта-ли сцена, или что-нибудь другое такъ увлекло Юлія Адамовича, что тотъ сосредоточилъ все свое вниманіе въ данномъ направленіи и положительно не видѣлъ, какъ въ ворота, навстрѣчу выѣзжавшему экипажу, показалась конская голова, за нею свѣтлое пальто, такая-же свѣтлая шапка, изъ-подъ козырька которой краснѣлись полныя, одутловатыя щеки Ивана Демьяновича.

Катушкинъ нисколько не озадачился, встрѣтившись на почтовомъ дворѣ съ Бржизицкимъ; онъ зналъ уже о его пріѣздѣ—ему дали знать съ этой-же станціи, и онъ поспѣшилъ сюда только для того, чтобъ лично удостовѣриться въ этомъ.

— Отвернулся, не глядитъ, совѣсть не чиста, видимое дѣло!—улыбнулся онъ, глядя на маневры Юлія Адамовича.

— Потрогивай, братецъ! — толкнулъ тотъ въ спину кучера, все еще интересуясь сценой на сломанномъ тарантасѣ.

— Юлій Адамовичъ! Сколько лѣтъ!..

Катушкинъ всталъ въ воротахъ, такъ что дрожкамъ нельзя было миновать его лошадь. Бржизицкій видѣлъ, что избѣжать встрѣчи невозможно.

— А!—повернулся онъ въ эту сторону и изобразилъ на лицѣ что-то вродѣ улыбки.

— А тутъ васъ поджидали! Станиславъ Матвѣевичъ даже захворалъ отъ безпокойства; что это вы такъ замѣшкались? Ну, что Ирбитъ, что новенькаго? Бывалъ я тамъ, давно еще, мальчишкой... Да вы спѣшите, что-ли, куда?

— Да, да, спѣшу! Ну, здѣсь что, какъ? Все-ли благополучно? Я слышалъ, не знаю, насколько это вѣрно, но еще въ Чимкентѣ...

— Это насчетъ каравановъ нашей фирмы?—пристально поглядѣлъ Иванъ Демьяновичъ прямо въ глаза Бржизицкаго и тихонько началъ поворачивать лошадь.

— Да, говорили, что-то очень серьезное?.. Трогай-же, братецъ!

Извозчикъ почувствовалъ еще толчекъ въ спину.

— Ничего, пустяки; оно точно, что убытокъ, да супротивъ судьбы нѣшто пойдешь? А, впрочемъ, дѣло маловажное... какъ по чьему, впрочемъ, капиталу. Сегодня вечеромъ, можетъ, посвободнѣе будетъ—пріѣзжайте къ Тюльпаненфельду, поболтаемъ!

— Не знаю, будетъ-ли время; впрочемъ, меня такъ интересуютъ подробности «этого дѣла»...

— Какого это-съ?

Бржизицкій вскинулъ глазами и усиленно затянулся дымомъ сигары.

«Ишь, пытаетъ!»—подумалъ онъ.

— Да вотъ все насчетъ каравана. Вѣдь этакій, подумаешь, случай!.. Постараюсь быть, постараюсь! До свиданья!

— Прощайте!... То-то, чай, Станиславъ Матвѣевичъ обрадуется; а онъ, сердечный, сильно осунулся, сильно!

— Что такъ?.. Трогай-же!

— Отъ безпокойства душевнаго, полагаю... Такъ до вечера?

— До вечера!

Дрожки покатились по шоссе. Катушкинъ, не въѣзжая во дворъ станціи, повернулъ лошадь и рысцею поплелся къ дому Ивана Илларіоновича.

Едва онъ отъѣхалъ нѣсколько шаговъ, какъ ему навстрѣчу продребезжала еще почтовая повозочка парою; что-то похожее на узелъ выскочило изъ этой повозочки и подкатилось къ ногамъ его лошади.

— Стой, стой!—крикнулъ вслѣдъ Иванъ Демьяновичъ.

— Стой!—ревѣла басомъ шинель въ повозкѣ, собственноручно хватаясь за возжи.

— Обронили-съ!—указалъ на узелъ Катушкинъ, взявшись за козырекъ фуражки.

— Покорнѣйше благодарю! Самъ во-время замѣтилъ!—произнесла шинель, тоже раскланиваясь.

Катушкинъ поѣхалъ дальше. Шинель снова усѣлась въ повозку, втащивъ за собою узелъ, и крикнула: «пошелъ!»

Повозка въѣхала во дворъ.

— Экъ, ихъ нынче разносила нелегкая: телѣга за телѣгой!—проворчалъ смотритель, глядя въ окнона новаго пріѣзжаго.

— А гдѣ тутъ комната для пріѣзжающихъ? Покажи-ка, братецъ!.. Эй, ты, лѣшій, скуластое рыло, тащи чемоданъ! Сюда, что-ли?—озирался во всѣ стороны пріѣзжій, видимо, не узнавая мѣстности.—Фу ты, дьяволъ! Ничего не пойму! Эка городъ выстроился на пустыряхъ-то, ха-ха!..—Мое почтеніе! Вы здѣшній смотритель?

Онъ замѣтилъ въ дверяхъ форменную фуражку съ кокардою.

— Точно такъ: хорунжій Дрыгинъ! Подорожную пожалуйте!

— Сипаковъ, изъ форта Забытаго, по открытому предписанію!

— Проходите въ горницу-съ. Самоваръ потребуется?

— Не дурно-бы... Эка обстроились, эка обстроились! То-есть, ни за что-бы не узналъ... мѣста-бы не узналъ даже!.. Осторожнѣе, братецъ, что объ уголъ шаркаешь? Видишь—вещь цѣнная!.. Ухъ! Фу ты, ну и жара-же!

— Вы, вѣрно, давно не были въ Ташкентѣ?—поинтересовался хорунжій Дрыгинъ, входя вмѣстѣ съ пріѣзжимъ въ горницу.

— Съ самаго занятія... Я еще изъ черняевскихъ—изъ старыхъ... Да прошу со мною чашку чаю... что-же, право?

— Ежели съ благороднымъ человѣкомъ въ компаніи, притомъ-же по нонѣшнему жаркому времени...

— Я, знаете, съ ромомъ... изъ самаго Забытаго везу: «ромъ-головоломъ» прозывается!

— Да вы веселый! Можетъ, на крылечко столикъ вынести?

— На вольномъ воздухѣ? Важно!

Два ямщика принесли столъ, накрыли его чѣмъ-то вродѣ попонки, принесли и самоварчикъ, зеленовато-бурый, нечищенный, вѣроятно, тоже съ черняевскихъ временъ. Самоварчикъ этотъ бойко шипѣлъ, посвистывалъ и во всѣ стороны брызгалъ горячимъ паромъ. Усѣлись.

— Въ мое время вотъ и тутъ, и тутъ, и даже тамъ-съ—все это, вѣрите-ли, былъ чистѣйшій пустырь: саклишки коекакія татарскія были,—впрочемъ, самая малость, а больше все такъ—пустопорожнее мѣсто... А теперь, ишь, ты, вплоть до Салара застроилось, и важно застроилось... я проѣзжалъ, видѣлъ. Во-очію чудеса, право!

— Соборъ новый воздвигается... Позвольте, я наливать буду?

— Прошу покорно... Видалъ, видалъ, какже! Извощики, биржа!.. А это что за домики на выѣздѣ?

— Бани громовскія, а правѣе — окружный совѣтъ... Я сливокъ велю подать?

— А вотъ мы этихъ, отъ бѣшеной коровы, хе-хе!

— По казенной надобности или по своей?

— Я-то?

— Да-съ!

— По своей... а, можетъ, и по чьей другой... Еще прошу стаканчикъ, да лейте больше этого-то «головолому»!

— Можно-съ!

— Знаете вы, позвольте васъ спросить, милостивый государь, господина комерсанта Перловича?

Сипаковъ подбоченился, глотнулъ изъ стакана и вопросительно посмотрѣлъ на собесѣдника.

— Какъ не знать! Вы это къ нему?

— Къ нему, да-съ... А не изволите-ли вы, милостивый государь, знать господина Бржизицкаго?

— Юлія Адамовича! Какже, и его знаю!

— Юлія Адамовича, вы говорите?—Такъ, литера Ю дѣйствительно: «Ю. Бржизицкій», такъ, такъ.

— Да онъ сейчасъ здѣсь былъ. Вы должны были съ нимъ встрѣтиться: только-что передъ вами выѣхалъ!

— Полный такой, круглолицый, весь въ бѣломъ?

— Онъ самый!

— Какже, встрѣтились, точно, любезный господинъ: «обронили-съ!» говоритъ, а я ему: «покорнѣйше благодарю, самъ видѣлъ». Узелъ тутъ съ тряпьемъ, ящикъ въ повозкѣ дырявый.. Какже, встрѣтились. Такъ это онъ самый и есть?

— Да, Юлій Адамовичъ Бржизицкій, повѣренный и компаньонъ Станислава Матвѣевича!

— Гмъ! Будемъ знать, каковъ онъ изъ себя видомъ... Пожалуйте еще стаканчикъ!

Не лишнее-ли? Такъ у васъ къ нимъ и дѣло есть? Что-же, по комерціи или такъ, административное?

Хорунжій Дрыгинъ долго силился, чтобы отчетливо выговорить послѣднее слово, и даже крякнулъ отъ удовольствія,— знай, молъ, нашихъ!

— А какъ придется. Оно, пожалуй, что комерческое, а то и до администраціи можетъ коснуться, какъ выгоритъ... Лейте больше!

— Да вы-то что-же сами? Позвольте-съ, какое-же такое дѣло-съ?

— А такое, что секретности требуетъ,—такъ-то-съ!

— Конфиденціальное-съ! Такъ-сказать, инкогнитное... Долей, братъ, самоваръ, да подбавь угольковъ... Развѣ яичницу съ сухарями сработать?

— Не дурно-бы!

— Мы ее, знаете, съ лукомъ..

— Первый сортъ!

— Эй, позови тетку Марью!..—Да мы не переберемся-ли на мою половину? А то, знаете, ежели, знаете, вплотную...

— Да, оно здѣсь немножко людновато!

— Санъ-фасонисто очень... милости просимъ!.. Фу, ты, дьяволъ, экъ качнуло!

— Потому «головоломъ»...—Тащи все за нами!

— Пожалуйте напередъ!

— «Обронили-съ», говоритъ, хе-хе-хе! Политичный человѣкъ! Сами, молъ, знаемъ, покорнѣйше благодаримъ!

— Ты слушай, ежели проѣзжающій будетъ или тамъ что еще, такъ чтобы у меня все въ порядкѣ...

Хорунжій Дрыгинъ взглянулъ особенно строго на писарское пальто, наблюдавшее за всею сценою, сдѣлалъ внушительный жестъ и метнулся къ двери. Сипаковъ зашагалъ за нимъ, задѣвъ ногою за табуретъ и поваливъ его вмѣстѣ съ лежавшимъ на немъ саквояжемъ.

— Ухъ, чуть не забылъ! Подыми, братецъ!.. Вотъ оно тутъ, мы его для прочности черезъ плечо, рукою за ушко прихватимъ! «Обронили-съ!» Хе-хе!.. Покор...

За стѣной загудѣлъ приближающійся колокольчикъ. Сипаковъ и хорунжій Дрыгинъ скрылись за дверями.

— Ежели, паче чаянія, самъ генералъ... — высунулась было изъ окна голова Дрыгина.

— Да ужъ будьте покойны: знаемъ свое дѣло! — успокоило его писарское пальто.

V.

Грозовыя тучи уже надъ головой.

— Вы мнѣ писали объ этомъ. Въ письмѣ, какъ вы сами говорите, сообщались всѣ подробности дѣла. Этого письма здѣсь нѣтъ. Гдѣ оно? Гдѣ оно можетъ быть? Это письмо — ваша улика, — поймите вы это, Бржизицкій!

Станиславъ Матвѣевичъ остановился передъ своимъ повѣреннымъ и пристально взглянулъ ему прямо въ глаза. Въ этомъ взглядѣ выражался и страхъ, и надежда. Онъ думалъ, онъ былъ почти увѣренъ, что отвѣтъ Бржизицкаго успокоитъ его; стиснувъ зубы, затаивъ дыханіе, онъ ждалъ этого отвѣта съ такимъ точно чувствомъ, съ какимъ приговоренный, стоя уже на эшафотѣ, смотритъ, какъ вскрываютъ только-что сію минуту присланный конвертъ; въ этомъ конвертѣ, можетъ быть...

«Можетъ быть, опасность вовсе не такъ велика; можетъ, она только мнимая?» пробѣгало у него въ головѣ. — Вотъ сейчасъ Юлій Адамовичъ вынетъ изъ кармана это письмо и скажетъ: «Да вотъ оно, почтеннѣйшій Станиславъ Матвѣевичъ; бросьте его въ каминъ, если угодно, благо, онъ такъ жарко

топится. И сгорятъ на этихъ красныхъ угольяхъ всѣ эти страшныя улики, отнявшія у васъ сонъ, спокойствіе, сдѣлавшія изъ васъ въ какія-нибудь три недѣли ходячую мумію».

— Ну, что-же?

Перловичъ положилъ руку на плечо Бржизицкаго; тотъ сдѣлалъ невольное движеніе: такое непріятное чувство произвело прикосновеніе этихъ сухихъ, костлявыхъ пальцевъ, холодъ которыхъ ощущался даже сквозь парусину его пальто.

— Потеря или исчезновеніе этого письма для меня новость, и новость весьма непріятная!—произнесъ Юлій Адамовичъ.

— Ага!

Перловичъ чуть не отскочилъ назадъ и нервно зашагалъ по комнатѣ.

— Что-же намъ теперь остается дѣлать? Ждать, какъ бараны, когда придутъ къ намъ съ ножомъ? Ждать ареста, суда, потери всего? Письмо это теперь въ рукахъ...

- Оно можетъ не находиться ни въ чьихъ рукахъ. Оно, можетъ быть, потеряно на дорогѣ и уничтожено. Наконецъ, оно могло попасть и въ такія руки, которыхъ намъ опасаться нечего. Во всякомъ случаѣ отчаиваться не слѣдуетъ,— по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока мы не убѣдимся, что письмо попало именно туда, откуда намъ можетъ грозить настоящая опасность!

— Это письмо въ рукахъ Лопатина!

— Почемъ знать!

— У меня есть проклятое предчувствіе, что оно именно тамъ. Вчера я встрѣтился съ Катушкинымъ, сегодня утромъ я видѣлъ самого Лопатина: эти взгляды, эти намеки... я не могу ихъ переносить!

— Это для насъ было-бы самое худшее!

— Вы говорите такъ спокойно. Вы говорите, какъ-будто я не рискую потерять разомъ все — и средства, и...

— Рискуете? И я рискую столько-же, сколько и вы, даже больше!

Юлій Адамовичъ задумался, пошевеливая щипцами уголья въ каминѣ. Онъ даже рукою отмахнулся, когда Перловичъ опять началъ распространяться о своихъ предчувствіяхъ. Озадачило сильно его исчезновеніе этого письма. Вотъ передъ

его глазами, застилая черный силуэтъ каминной рѣшетки, стали проходить всѣ подробности дѣла, всѣ эпизоды его разнообразнаго, полнаго приключеній путешествія «съ коммерческими цѣлями». Онъ взвѣшивалъ теперь каждый шагъ, каждое положеніе. Онъ соображалъ.

Станиславъ Матвѣевичъ шагалъ изъ угла въ уголъ; проходя мимо своего повѣреннаго, онъ задерживалъ шагъ, словно хотѣлъ остановиться, пожималъ плечами и нервно ломалъ свои пальцы.

— Да, они напали на слѣдъ!—ясно и отчетливо произнесъ Бржизицкій послѣ довольно продолжительнаго молчанія.

— На слѣдъ...—машинально повторилъ Станиславъ Матвѣевичъ.

— Эта хитрая лисица гналась за мною отъ самыхъ Барсуковъ,—говорилъ ровнымъ голосомъ и, повидимому, совершенно спокойно Бржизицкій.—Онъ обнюхалъ всѣ мои слѣды, онъ рыскалъ по ауламъ и собиралъ свѣдѣнія. Мнѣ нужно было убѣдиться въ этомъ; я нарочно выждалъ его въ Большомъ фортѣ—и убѣдился. Меня не спасло-бы даже переодѣваніе. Со всѣхъ сторонъ оцѣпили дворикъ, мнѣ некуда было дѣться. Меня предупредили поздно, и я ушелъ только чудомъ!

Станиславъ Матвѣевичъ пересталъ ходить по комнатѣ, звукъ его шаговъ по ковру прекратился. Бржизицкій поднялъ голову.

— Они искали аптекаря Нигебауера,—продолжалъ онъ,—господина съ рыжею бородою, въ синихъ очкахъ. Они не тронули оборваннаго «лаучи», протащившаго мимо нихъ верблюжье сѣдло на своей спинѣ.

— Аптекаря Нигебауера, вы говорите?

— Да, такъ думали другіе, но эта старая лисица знала, за кѣмъ гонится; я обманулъ ее, я спуталъ свои слѣды такъ, что она потеряла меня изъ вида. Я пробрался на сибирскую дорогу. Катушкинъ былъ уже здѣсь, въ Ташкентѣ!

— Онъ пріѣхалъ уже давно?

— Не знаю. Онъ встрѣтилъ меня на станціи, и эта встрѣча не была случайной. Это ясно было видно по всему. Онъ ждалъ меня, ему надо было только видѣть меня, только взглянуть на меня!

— И теперь, когда вы тоже убѣждены, что Лопатинъ знаетъ настоящихъ виновниковъ этого «дѣла», когда мы уже открыты...

— Я этого не говорилъ!

— Но сейчасъ, сію минуту!

— Они могутъ догадываться, они могутъ знать даже навѣрное, но покуда нѣтъ уликъ—нѣтъ и опасности!

— Это письмо...

— Это письмо можетъ намъ только очень дорого стоить. Оно нашихъ рукъ миновать не можетъ!

— Я не понимаю васъ!

— Допустимъ, что вскрывшій это письмо сумѣлъ оцѣнить его значеніе и намѣренъ извлечь изъ него для себя пользу. Прежде всего, онъ обратится къ намъ. Кто дастъ ему дороже насъ за его молчаніе? Кто болѣе всего заинтересованъ этимъ? Мы. Это сообразить нетрудно!

— Но до сихъ поръ еще никто не являлся!

— Это меня крайне радуетъ. Можетъ быть, никто и не явится. Во всякомъ случаѣ, мы будемъ предупреждены вовремя. Нельзя-же допустить, чтобы тотъ, въ чьихъ рукахъ находится это письмо, не предпочелъ-бы скорѣе получить отъ насъ хорошія деньги, чѣмъ удовольствоваться какою-нибудь грошевою офиціальною наградою!

— «Отъ насъ», — повторилъ Перловичъ. Его почему-то покоробило отъ этихъ словъ, да и вообще фразы: «мы, наше дѣло, наши средства» — производило на него какое-то весьма непріятное чувство.

— Да, отъ насъ. Что дѣлать, придется, можетъ быть, поплатиться, а, можетъ быть, и такъ сойдетъ; но чтобы отчаяваться и считать все потеряннымъ...

— Вы мнѣ дали этотъ совѣтъ, вы, ссылаясь на свою опытность, увѣрили меня въ полномъ успѣхѣ этой интриги...— рѣзко заговорилъ Станиславъ Матвѣевичъ.

— А развѣ мы не успѣли, развѣ мы не достигли того, что намъ нужно? Если бы только не это письмо...

— Проклятое письмо!

— Сегодня вечеромъ я буду говорить съ Катушкинымъ. Мы условились видѣться съ нимъ у Тюльпаненфельда. Если бы вы могли подъ какимъ-нибудь благовиднымъ предлогомъ поѣхать къ Лопатину, это было бы тоже очень недурно. Надо постараться выпытать у нихъ все, что только возможно; надо хорошо изучить оружіе своего противника, и я начну это сегодня же вечеромъ.

— Бржизицкій!

Станиславъ Матвѣевичъ хотѣлъ что-то сказать своему повѣренному, но, должно быть, раздумалъ. Онъ потеръ себѣ лобъ, глотнулъ изъ стакана, въ которомъ, въ чемъ-то розовомъ, плавалъ кусокъ льда, и началъ закуривать сигару.

— Я слушаю!—произнесъ Юлій Адамовичъ, не поворачивая головы.

— Видите, я хочу вамъ сказать, предупредить васъ!—(Въ тонѣ голоса Перловича зазвучали нерѣшительныя ноты).—Мнѣ было бы очень грустно, если бы вы перетолковали мои слова въ другую сторону!

— Въ чемъ же дѣло?

— Вы не можете быть настолько наивны, чтобы не знать, что мы оба, то-есть, и вы, и я (Перловичъ сдѣлалъ особенное удареніе на словѣ *вы*), рискуемъ совершенно одинаково. Оба равно виноваты!

— Ну-съ?

— Вы понимаете, что я хочу сказать; я не могу подыскать настоящаго выраженія!

— Говорите прямо. Вы боитесь, чтобы я того... не продалъ васъ, просто-на-просто? Ну, хорошо-съ, откровенность за откровенность. Я пріѣхалъ сюда и сошелся съ вами года два тому назадъ; у меня не было тогда ничего, а теперь я смотрю на ваше дѣло, какъ на свое собственное, во всѣхъ отношеніяхъ, и, значитъ, поднимать руки самому на себя мнѣ не приходится!

— Я васъ понялъ!—произнесъ Станиславъ Матвѣевичъ и взглянулъ на своего собесѣдника.

Хорошо, что Бржизицкій отвернулся въ это мгновеніе и искалъ свою фуражку, иначе онъ замѣтилъ бы, сколько злости, сколько непримиримой ненависти блеснуло въ этомъ, повидимому, совершенно безжизненномъ, апатичномъ взглядѣ.

— До свиданія пока!—поднялся Юлій Адамовичъ.—А хорошо бы, если бы вы сегодня же съѣздили къ Лопатину. Вѣдь у васъ, за это время, до открытаго разрыва не доходило?

— Буду. Вы къ Тюльпаненфельду?

— Да; надо быть акуратнымъ!

И, не протягивая руки хозяину, Бржизицкій вышелъ изъ комнаты, притворилъ за собою дверь, постоялъ минутку, при-

слушался и, не спѣша, направился по галлереѣ, тянувшейся съ этой стороны вдоль всего дома Станислава Матвѣевича.

Весь день и вечеръ Перловичъ не выходилъ изъ дома. Поѣздку къ Лопатину подъ какимъ-то благовиднымъ предлогомъ онъ отложилъ до другого дня.

Запершись у себя въ кабинетѣ, онъ все время рылся въ книгахъ, считалъ что-то такое, откладывалъ въ сторону разные бумаги и документы, провѣрялъ сосчитанное и снова принимался щелкать костяжками щетовъ. Все это онъ дѣлалъ торопливо, вздрагивая и даже озираясь по сторонамъ при каждомъ неопредѣленномъ стукѣ. Со стороны его можно было бы скорѣе счесть, за что угодно, только никакъ не за хозяина, занимающагося у себя въ кабинетѣ своими собственными дѣлами.

Массивныя металлическія дверцы несгораемаго шкафа нѣсколько разъ отворялись и затворялись, безъ шума поворачиваясь на своихъ ловко прилаженныхъ, смазанныхъ петляхъ.

Съ особеннымъ вниманіемъ Станиславъ Матвѣевичъ отнесся къ довольно увѣсистой пачкѣ наличныхъ денегъ, какъ нарочно вчера только полученныхъ и непущенныхъ еще въ оборотъ; онъ пачку эту положилъ особенно, тщательно уложивъ ее предварительно въ дорожную сумку.

Далеко за полночь возился Станиславъ Матвѣевичъ у себя въ кабинетѣ, наконецъ, кончилъ. — «Если придется бѣжать, то, по крайней мѣрѣ, все будетъ готово», рѣшилъ онъ, кутаясь въ пледъ и ежась отъ несноснаго лихорадочнаго озноба.

Онъ былъ почему-то убѣжденъ, что бѣгство неизбѣжно.

VI.

Недоразумѣніе.

Въ ресторанѣ Тюльпаненфельда давно уже горѣли новые канделябры; зажжены были и матовые стеклянные шарики, развѣшанные на проволокахъ между кустами запыленнаго тутовника вдоль всей наружной рѣшетки. Официанты во фракахъ и въ кожаныхъ туземныхъ шароварахъ убирали остатки обѣда съ большого стола посреди залы и мѣняли залитыя виномъ салфетки... Гдѣ-то за стѣною наигрывала шарманка, и слышался сиплый женскій голосъ, напѣвающій «Скажите ей»; въ бильярдной щелкали шары, и кряхтѣли игроки, сытыми, переполнен-

ными желудками наваливаясь на бильярдные борта... Двое изъ посѣтителей спали въ креслахъ, замаскировавшись газетами, изъ-подъ которыхъ виднѣлись только ноги ихъ въ синихъ панталонахъ съ лампасами и сапогахъ со шпорами. Человѣка три сидѣли въ темнотѣ на балконѣ, гдѣ виднѣлись только красные огоньки ихъ сигаръ, то потухающіе, то разгорающіеся, озарявшіе на мгновеніе щетинистые усы и свѣже-выбритые подбородки... Старшій приказчикъ Тюльпаненфельда сводилъ счеты и, между прочимъ, придерживая пальцемъ то мѣсто, гдѣ останавливался, объяснялъ облокотившемуся на прилавокъ чиновнику, почему, со вчерашняго дня, рюмка обыкновенной очищенной стала не пять, какъ прежде, а десять копеекъ.

— Такъ это для контроля?—недоумѣвалъ чиновникъ.

— Да-съ, для правильности, потому какъ не у всякаго совѣсть въ должной наличности состоитъ...

— Ну, вотъ! Все народъ благородный...

— Положимъ, а все-таки... Да вотъ, сами знаете, прежнее положеніе—рюмка пять, закуска — пять, итого тѣ-же десять, только порознь... За водкою я усмотрѣть всегда могу, потому графины у меня подъ рукою; а тутъ—гдѣ же? Одинъ вилкою тычетъ, другой тычетъ—посѣтители навалятъ къ прилавку, гдѣ углядѣть?! Съ него десять слѣдуетъ, а онъ говоритъ только пять: «я, молъ, не закусывалъ», а гдѣ ужъ тутъ не закусывалъ, коли и прожевать не успѣлъ порядкомъ... Нѣтъ-съ, теперь я знать ничего не хочу. Не въ примѣръ удобнѣе!

— Такъ, такъ...

— Десять копѣекъ подай, и шабашъ! — Ивану Демьяновичу-съ!

— Здравствуй, братъ, здравствуй! Комнатка желтенькая свободна?

— Пожалуйте-съ!

— Придетъ «ляхъ»—скажи ему, гдѣ я. Да онъ не былъ еще, не показывался?

— Юлій Адамычъ-то? Слышалъ, что пріѣхать изволили, а здѣсь еще не были!

— Чайку собрать и красненькаго... — Здравствуйте, батюшка, здравствуйте!—наконецъ-то замѣтилъ Катушкинъ шестой разъ возобновлявшаго свои поклоны чиновника у прилавка.

— Иванъ Илларіоновичъ какъ-съ, въ своемъ здоровьѣ?

— А ничего—что ему дѣлается, Христосъ съ нимъ!

— Сродственницы какъ?

— Сродственницы? Хе-хе! Сродственницъ-то этихъ мы скоро того-съ—тю-тю!—Листокъ нынѣшній гдѣ? Да вонъ онъ никакъ на судкѣ лежитъ? Подай-ка его сюда!

И, захвативъ газету, у которой одинъ уголъ былъ уже оторванъ особенно любознательнымъ читателемъ, Иванъ Демьяновичъ бочкомъ поклонился и съ перевальцемъ направился въ угольную.

— Сколько съ меня?—полюбопытствовалъ какъ-то вскользь чиновникъ.

— Что кушали?

— Водки очищенной рюмка, этой вотъ, зелененькой, тоже, этой маленькая, вонъ той еще одна и одинъ бутербродъ съ языкомъ!

— Осетрину въ уксусѣ кушали?

— Нѣтъ, осетрины не ѣлъ!

— Охъ, кушали!

— Одинъ только бутербродъ... Четыре водки и одинъ бутербродъ!

— То-то вотъ оно и есть! Безъ пятачка полтина!

— Запишите тамъ...

Послѣднія слова были произнесены совсѣмъ уже на лету. Чиновничья спина, суетливо пробиравшаяся между стульями, виднѣлась уже у самой выходной двери и стушевалась во мракѣ.

— Это сукно уже было прорвано, мерзавцы! И здѣсь, и тутъ, и тутъ; вотъ еще наклеена заплата,—ишь, мошенники!..—горячился чей-то баритонъ въ бильярдной.

Недолго пришлось Ивану Демьяновичу дожидаться въ «угольной желтенькой»: не успѣлъ онъ пробѣжать и перваго столбца «Туркестанскихъ», какъ въ общей залѣ послышались привѣтственныя восклицанія, вкрадчивый, мягкій голосъ Юлія Адамовича, о чемъ-то освѣдомлявшійся, и фраза: «сюда пожалуйте; проведи барина!»—«Одинъ?»—«Одни-съ!»—«Э... гмъ!»

Бржизицкій развязно вошелъ въ комнату, произнесъ: «каюсь, опоздалъ. Добрый вечеръ, коллега!» и еще издали протянулъ обѣ руки, обнаруживая намѣреніе дружески заключить Ивана Демьяновича въ свои объятія.

— Я только-что, только-что передъ вами! — оставилъ газету Катушкинъ.—Сюда не садитесь: ножка что-то не того.. на диванчикъ лучше. Ну, что, какъ патронъ вашъ, въ добромъ-ли все порядкѣ найти изволили?

— Все, какъ должно: что хорошо, что дурно. Въ контору забѣгалъ, дѣла о подрядахъ просматривалъ... Вы намъ съ вашимъ-то немного... comme ça!

Бржизицкій наглядно изобразилъ ногою, какъ даютъ подножку.

— Дѣло торговое!

— То-то торговое! Вы-бы меня подождали, а то двое на одного рады навалиться!

— Извините-съ: Иванъ Илларіоновичъ все одинъ орудовалъ, своимъ собственно только умомъ, потому я былъ въ отлучкѣ!

— Куда-же это вы вояжировали?—крайне озадачился Юлій Адамовичъ.

«Ишь, прикидывается, наналья»!—подумалъ Иванъ Демьяновичъ.

— За мамзелью командированъ былъ, а потомъ по степи колесилъ по случаю этой оказіи!

— Да, да, слышалъ, еще на дорогѣ слышалъ. Скажите, весьма любопытно! И какъ все это вышло? Разсказывайте!

Бржизицкій даже ближе немного подвинулся, такъ ужъ ему было любопытно. Поглядѣлъ искоса Катушкинъ на своего «коллегу»: смотритъ такъ просто, ложечкой въ стаканѣ помѣшиваетъ, сахарцу подложилъ кусочекъ, бестія!

— Да что разсказывать: чай, сами все хорошо знаете!—неожиданно произнесъ онъ, да такъ и воззрился на своего собесѣдника, какъ ястребъ на закопошившуюся въ жнивѣ перепелку.

— Позвольте, у васъ муха въ стаканѣ!—качнулся къ самому столу Бржизицкій и тщательно принялся ловить ее на кончикъ своей ложечки.

— Откуда-же мнѣ знать?—спокойно произнесъ онъ, окончивъ эту операцію.

— Откуда-съ?—повторилъ Катушкинъ, сдѣлалъ значительную паузу и добавилъ:—Хоть изъ газетъ, положимъ; чай, все уже давно описано въ Листкѣ-то?

— Не читалъ!

— Да-съ, дѣла! Такой, я вамъ доложу, непредвидѣнный пассажъ, что только развѣ наша фирма и могла выдержать. Все было кругомъ спокойно, ничего худого не слышно. Четыре каравана въ Бухару передъ нами прошли благополучно, а тутъ — на-кось! Симсона знаете?

— Какого Симсона?

— Не знаете? — Гмъ! Англичанинъ, машинистъ. Да, позвольте, вѣдь вы еще съ нимъ въ Самарѣ, въ «Златокрыломъ Лебедѣ» разговаривали!

— Я?! Я васъ не понимаю. Я, въ Самарѣ!

Бржизицкій передернулъ плечами съ видомъ полнѣйшаго недоумѣнія.

— Фу-ты! Все я забываю, что вы въ Ирбитъ ѣздили. Мнѣ показалось... чортъ знаетъ, что это мнѣ показалось. А тутъ еще Симсонъ, покойникъ, говорилъ мнѣ, будто видѣлъ васъ. Да-съ, убили бѣднягу, ухлопали сердечнаго! Такъ, ни за что сгибъ парень; если-бы его въ полонъ повели, ну, еще-бы ничего: нашъ выручилъ-бы, денегъ не пожалѣлъ-бы, выкупилъ; а тутъ, безъ всякаго проку, самымъ разбойничьимъ манеромъ... Да и не одинъ Симсонъ!

— Кто-же еще? — закашлялся Бржизицкій, быстро поднялся и отошелъ въ уголъ, гдѣ стояла плевальница.

Не то посмѣиваясь, не то просто щурясь, глядѣлъ Иванъ Демьяновичъ на эту спину и плечи, вздрагивающія отъ какого-то подозрительнаго кашля.

«Покусываетъ!» — подмигнулъ онъ однимъ глазомъ, словно въ комнатѣ былъ еще кто-нибудь третій.

«Пытка, это пытка! — процѣдилъ сквозь зубы Бржизицкій. — Онъ все знаетъ. Онъ убѣжденъ теперь вполнѣ, и если-бы только улика, хотя какая-нибудь улика...»

Онъ вздрогнулъ и обернулся. Дверь пріотворилась какъ-то подозрительно, откуда выглянула незнакомая физіономія, кашлянула легонько и опять скрылась. Въ головѣ Бржизицкаго мелькнула мысль о западнѣ, объ арестѣ.

— Ну что-же? Вѣроятно, было слѣдствіе; открыли что-нибудь? — говорилъ Бржизицкій слишкомъ уже спокойнымъ голосомъ, снова подходя къ столу.

— Все открыли. Что надо было, то все открыли! — произнесъ Иванъ Демьяновичъ, потирая руки и не спуская своихъ прищуренныхъ глазъ съ лица Бржизицкаго.

Положеніе Юлія Адамовича было невыносимое. Въ его мозгу копошилось страшное подозрѣніе: неужели это письмо у него въ рукахъ? Этотъ рѣшительный тонъ, эта увѣренность...

Опять скрипнула дверь, опять мелькнуло тамъ что-то воинственное. Бржизицкій невольно покосился на открытое окно, откуда лѣзли въ комнату запыленныя вѣтви. Онъ чувствовалъ, что начинаетъ теряться, онъ чувствовалъ потребность перевести свободно духъ, оправиться. Ему предстояла схватка, а онъ былъ къ ней такъ мало подготовленъ. Противникъ оказался гораздо сильнѣе, чѣмъ предполагалось.

— То-есть, вотъ какъ!—продолжалъ въ томъ-же тонѣ Иванъ Демьяновичъ.—Все дѣло теперь, какъ на ладони. Недаромъ сорокъ восемь дней по степи рыскалъ, за то вотъ-съ...

Онъ протянулъ руку впередъ, почти къ самому лицу Бржизицкаго, и сжалъ въ кулакъ.

— Все тутъ! Такъ-то-съ!

— Дай Богъ! Дай Богъ!

— Ровно знакомый кто-то?—присмотрѣлся Иванъ Демьяновичъ черезъ плечо Бржизицкаго къ еще разъ пріотворившейся двери. — Въ большомъ фортѣ встрѣтилъ я. Куда-же это вы?

— Я сейчасъ, на одну минуту: портсигаръ въ пальто!

Бржизицкій быстро подпялся и вышелъ изъ комнаты. Сюртукъ шарахнулся отъ двери, пропустилъ мимо себя стремительно пронесшагося Юлія Адамовича, подумалъ немного, пощупалъ что-то въ грудномъ карманѣ своего суртука, откашлялся основательно и шагнулъ черезъ порогъ.

— Мое почтеніе-съ!—началъ Сипаковъ.

— Здравствуйте!—произнесъ Катушкинъ, узнавъ, наконецъ, встрѣченнаго имъ сегодня утромъ пріѣзжаго.

— Имѣя крайнюю надобность въ личномъ объясненіи, я покорнѣйше прошу удѣлить мнѣ нѣсколько времени для онаго. Сипаковъ, имѣю честь рекомендоваться; пріѣхалъ изъ форта Забытаго!

— Что прикажете-съ?

Сипаковъ стоялъ въ той позѣ, въ какой обыкновенно являются къ начальству съ докладомъ, только на физіономіи его выражалась не та изысканная, доведенная до крайнихъ предѣловъ почтительность, а какое-то «себѣ на умѣ». Его осовѣлые немного глаза, его усы, лихо закрученные помадою съ вос-

комъ, эти шевелящіяся морщинки на вискахъ такъ вотъ и говорили: «а какъ я тебя, любезный, сейчасъ передергивать стану, держись!»

— Съ господиномъ Бржизицкимъ имѣю честь говорить?

Иванъ Демьяновичъ пристально посмотрѣлъ на капитана и отвѣтилъ не сразу.

— Да вамъ что угодно?—предпочелъ онъ, немного помолчавъ, эту уклончивую форму.

— Не благоугодно-ли будетъ устроить обстановку такъ, чтобы намъ не могли помѣшать. Господинъ, что сейчасъ вышелъ, обѣщалъ скоро вернуться, а дѣло такое, что всякій посторонній...

— Подождите четверть часика въ сосѣдней горницѣ; я сейчасъ къ вашимъ услугамъ!—заинтересовался Иванъ Демьяновичъ и не безъ досады посмотрѣлъ на дверь, въ которую снова долженъ былъ войти Юлій Адамовичъ.

— Буду ожидать. Я здѣсь налѣво, сейчасъ у крайняго столика!

— Очень хорошо-съ!

Сипаковъ вышелъ.

Катушкинъ началъ соображать.

«Бржизицкій сегодня только пріѣхалъ, этотъ то же. Очевидно, они другъ друга не знаютъ. Хочетъ что-то сообщить; видимо, дѣло важное. А ну, какъ?..

Иванъ Демьяновичъ даже на диванѣ заерзалъ отъ нетерпѣнія.

Въ дверяхъ появился Павлушка-офиціантъ.

— Юлій Адамовичъ...—началъ было онъ во все горло.

— Тсъ! Говори тише.

— Юлій Адамовичъ просили извинить-съ: нездоровье какое-то приключилось; взяли дрожки и домой поѣхали...—договорилъ Павлушка совсѣмъ уже шопотомъ.

— Домой уѣхалъ, гмъ... Это вѣрно?

— Самъ видѣлъ-съ. Я имъ еще фуражечку на крыльцо вынесъ. Сѣли и поѣхали, говорятъ: поди, молъ, скажи...

— Ну, ладно, проси господина, что былъ здѣсь сейчасъ!

— Э, гмъ!..—откашлялся за дверями Сипаковъ.

— Пожалуйте-съ!

Иванъ Демьяновичъ сдѣлалъ рукою пригласительный жестъ. Сипаковъ собственноручно заперъ за офиціантомъ дверь и даже поискалъ глазами крючка или какой-нибудь задвижки.

— Къ вашимъ услугамъ!—привсталъ Катушкинъ.

— Это то же, позвольте-съ... все вѣрнѣе будетъ, а то тутъ народъ, я вамъ доложу, чуткій!

Сипаковъ направился къ окну и тоже тщательно прихлопнулъ его, хотѣлъ было притворить каминную дверцу, да, должно быть, раздумалъ.

— Видите-ли, въ чемъ дѣло-съ, — началъ онъ, присѣвъ на стулъ.—Люди вы это богатые, съ капиталомъ, я-же человѣкъ маленькій, кромѣ жалованья ничего не имѣю...

«Вотъ тебѣ разъ, никакъ, просто-на-просто, на бѣдность просить пришелъ?»—подумалъ было Катушкинъ.

— Не пріобрѣтете-ли вы у меня одинъ документикъ?

— Какой документикъ?

— Акція такая, что ни на одной биржѣ не появлялась еще, а на охотника ежели—большихъ денегъ стоитъ!

— Ну-съ?

Катушкинъ смотрѣлъ на Сипакова, Сипаковъ на Катушкина. Первый недоумѣвалъ, въ чемъ дѣло, второй, видимо, собирался, что называется, огорошить.

«Вѣдь и не сморгнетъ! — подумалъ Сипаковъ, запуская руку за пазуху. — Да что тутъ долго тянуть. Это вотъ видали-съ? Извольте прочитать!

И Сипаковъ, вытащивъ изъ кармана аккуратно сложенный большой листъ, четко и крупно исписанный, подалъ его Ивану Демьяновичу.

Молча взялъ въ руки Катушкинъ бумагу, развернулъ ее и началъ читать, подвинувши къ себѣ канделябръ поближе. Сипаковъ наблюдалъ за читавшимъ, поглядывая черезъ верхній край развернутаго листа.

Лихорадка начала трясти лопатинскаго повѣреннаго при чтеніи этого документа, пальцы впивались въ прыгающій передъ глазами листъ и оставляли на немъ потныя пятна.

— Э, гмъ!—откашлялся Катушкинъ и, не отрывая глазъ отъ строкъ, ощупалъ дрожавшею рукою стаканъ и жадно глотнулъ изъ него раза два. У него въ горлѣ все пересохло и даже въ глазахъ зарябило отъ сильнаго прилива крови.

«Разобрало!»—замѣчалъ Сипаковъ всѣ измѣненія на широкомъ, побагровѣвшемъ лицѣ читавшаго.

Катушкинъ снова принялся перечитывать.

— Это не его рука, это копія!—произнесъ онъ и самъ не узналъ своего голоса.

— Копія-съ!—улыбнулся Сипаковъ.—А вы думали, вамъ оригиналъ-то, документъ самый, такъ и вручатъ сразу? Мы тоже не ногой сморкаемся...

— Письмо это съ вами, настоящее?

— А тамъ какъ придется.. пока въ немъ не предстоитъ надобности. Вотъ мы, какъ слѣдуетъ порядочнымъ людямъ, потолкуемъ, въ цѣнѣ сойдемся, а тамъ изъ рукъ въ руки...

— Однако вы изъ ловкихъ!

— По простотѣ-съ!

— Какую цѣну желательно вамъ получить за это письмо?

— А какъ вы полагаете?

— Гдѣ вы его взяли?

— Невидимо Господь снискалъ своею милостью!

— Дѣло, знаете, вышло серьезное... Что намъ тутъ въ трактирѣ рѣшать! Не поѣдемъ-ли мы лучше къ моему хозяину: совмѣстно и порѣшимъ? Можетъ, и кончимъ сразу...—вкрадчиво началъ Катушкинъ.

— Если вы насчетъ чего такого замышляете, такъ это напрасно, потому со мною вы ничего не подѣлаете иначе, какъ по доброму согласію. Письма со мною въ наличности нѣтъ; гдѣ оно находится—вамъ не будетъ извѣстно!

— Напрасно безпокоитесь. Силой отъ васъ ничего отнимать не будутъ, а потому больше, что много удобнѣе... Угодно-съ?

— Что-же, поѣдемъ; за-городомъ живете, я слышалъ?

— Въ самомъ центрѣ-съ... пожалуйте.—Павлушка, къ счету приспособь!—кивнулъ Иванъ Демьяновичъ на столъ и, прихвативъ Сипакова подъ локоть, направился къ двери.

Ужъ очень онъ боялся выпустить изъ рукъ такъ неожиданно появившагося Сипакова. Онъ даже нарочно чернымъ ходомъ прошелъ съ нимъ, чтобы не встрѣтиться съ кѣмъ-нибудь въ залахъ ресторана.

— И притомъ позвольте предупредить... я не совсѣмъ съ пустыми руками...—уперся-было капитанъ.

— Э, батюшка!—махнулъ рукою Иванъ Демьяновичъ.—Подавай, долгушка!—крикнулъ онъ, когда имъ въ лицо пахнуло свѣжестью ночного воздуха, и тотчасъ-же попятился назадъ, на крыльцо,—такъ неистово хлынули на него со всѣхъ

сторонъ налетѣвшія изъ мрака конскія морды, подъ самыми разнообразными дугами.

— Легче вы, черти!—отмахнулся Сипаковъ.

— Садитесь, милости просимъ!—приглашалъ его Катушкинъ, поправляя рваную полосатую подушку, изъ-подъ которой торчала солома.

Сѣли и тронулись

«Что за оказія»,—думалъ хорунжій Дрыгинъ разбуженный стукомъ шаговъ и голосами въ сосѣдней комнатѣ, которую занялъ для себя пріѣзжій изъ форта Забытаго.—«Вдвоемъ пріѣхали, шепчутся о чемъ-то. А ну-ка!..»—И хорунжій, въ одномъ бѣлье, босикомъ, вылѣзъ изъ-подъ своего ватнаго одѣяла, тихонко подобрался къ двери, да такъ и впился въ свѣтящуюся сердцеобразно звѣздочкой замочную скважину.

А пріѣзжій только-что проводилъ Ивана Демьяновича и въ десятый разъ говорилъ:—«Владѣйте на здоровье. Топите ихъ, разбойниковъ, что ихъ баловать»,—на что Иванъ Демьяновичъ отвѣчалъ:—«а вы, родной, богатѣйте съ нашей легкой руки: вѣдь тысяча-то рублей большія деньги—съ ними чего-чего нельзя подѣлать умному человѣку, страсть!»

— Ишь, ты!—облизнулся за дверями хорунжій Дрыгинъ.

— Ну, бани!—глубоко вздохнулъ Сипаковъ, оставшись одинъ, и сѣлъ пересчитывать полученную отъ Ивана Демьяновича пачку.

Онъ все еще не могъ придти въ себя отъ всего, что случилось съ нимъ въ этотъ вечеръ.

«Продешевилъ, продешевилъ!—соображалъ онъ, припоминая, какъ они пріѣхали къ Лопатину, какъ его огорошило то обстоятельство, что Юлій Адамовичъ Бржизицкій оказался Иваномъ Демьяновичемъ Катушкинымъ. На попятный-было, да нельзя, судомъ припугнули, даромъ бы все пропало!—Да-съ, влопался... и какъ это я могъ ошибиться? Онъ самый, какъ хорунжій, бестія, сказывалъ намедни, такъ и есть изъ себя полный, въ бѣломъ парусинномъ пальто, только-что со станціи съѣхалъ... эка дьявольщина! Ну, куда ни шло: и тысяча — деньги. А все жаль! Много-бы больше дали, если-бы на настоящихъ покупателей напалъ, — жаль! Да и народъ-же какой аккуратный:

все на-чистоту, изъ рукъ въ руки... Ты ему письмо, онъ тебѣ деньги. Травленные волки!... Тсъ! Что за лѣшій!»

Подъ дверями послышался шорохъ и что-то вродѣ сопѣнія.

Поспѣшно собралъ свои деньги Сипаковъ, аккуратно обернулъ ихъ листомъ сахарной бумаги, обвязалъ веревочкою и уложилъ къ себѣ за пазуху. Потомъ онъ прислушался еще немного; шорохъ не повторился. Задулъ свѣчу капитанъ, раздѣлся, обернулся лицомъ въ уголъ и началъ въ потьмахъ отвѣшивать земные поклоны.

VII.

„Потому—шабашъ!“

Со дня ночной сцены въ саду прошла уже почти цѣлая недѣля. Иванъ Илларіоновичъ ни разу не показывался на дамской половинѣ. Онъ даже избѣгалъ возможности показываться на глаза кому-нибудь изъ ея обитательницъ.

Съ самаго утра онъ, обыкновенно, или уѣзжалъ на весь день въ свои караванъ-сераи, или-же запирался съ Катушкинымъ въ кабинетѣ. Даже завѣтная дверь изъ кабинета въ спальню Адели была заперта на ключъ и завѣшена массивнымъ ковромъ.

Недавно онъ получилъ записку, подписанную, впрочемъ, Фридерикою Казиміровною. Въ этой запискѣ умоляли его придти выслушать объясненія,—объясненія, которыя и для него были-бы весьма полезны. Въ этой запискѣ увѣдомляли его, что Адель очень дурно себя чувствуетъ, что она такъ разстроена, и сама Фридерика Казиміровна, какъ мать, хорошо знающая психическую натуру своей дочери, не можетъ ручаться, что болѣзнь эта не приметъ серьезныхъ размѣровъ, если положеніе дѣлъ не измѣнится. Въ заключеніе дружески пожималась почтенная рука уважаемаго Ивана Илларіоновича, и высказывались надежды, что по полученіи этой записки... и прочая, и прочая. Лопатинъ не отвѣчалъ на эту записку. Иванъ Демьяновичъ, уже отъ себя, зайдя передъ вечеромъ, сообщилъ, что напрасно, молъ, безпокоятъ Ивана Илларіоновича: «потому — шабашъ!»

— Но вѣдь онъ думаетъ... онъ убѣжденъ!—пыталась-было madame Брозе удержать раскланивающагося Катушкина и даже за рукавъ его прихватила.

— Напрасно и вы безпокоиться изволите, потому что Иванъ Илларіоновичъ, хотя и порѣшилъ, чтобы всю эту исторію кончить, однако, обиды вамъ никакой не сдѣлаютъ, и все, какъ должно: на проѣздъ обратно и прочее вознагражденіе...

— Уйдите вонъ! — ворвалась въ эту минуту Адель, слышавшая изъ своей комнаты эти переговоры.—Скажите этому старому дураку...

Но Иванъ Демьяновичъ уже не слыхалъ остальнаго. Онъ шарахнулся назадъ въ двери и нисколько не поинтересовался узнать, что такое поручали ему передать «старому дураку»?

«Хе, хе! «Старому дураку!» — посмѣивался онъ, шагая черезъ дворикъ къ себѣ во флигель — Не знаете вы этого стараго дурака! Конечно, отъ сильнаго чувства, особенно ежели не легко дается, можно въ разстройство свою сообразительность привести, но при должномъ охлажденіи, къ тому-же добрый совѣтъ со стороны... покажетъ вамъ себя этотъ «старый дуракъ» совсѣмъ въ иномъ видѣ».

— Пѣшкомъ пойду! Ни одной его тряпки, ничего изъ этой дряни не возьму съ собою!..—металась по комнатамъ Адель въ истерическомъ припадкѣ, расшвыривая разнообразные футлярчики и бездѣлушки, стоявшіе на туалетѣ и шифоньеркахъ.

— Адочка, благоразуміе! Молю тебя о благоразуміи! — бѣгала за нею со стаканомъ въ рукахъ Фридерика Казиміровна, подбирая на ходу разбросанныя вещи и припрятывая ихъ въ болѣе благонадежное мѣсто.

— Послѣ всего этого... послѣ такихъ оскорбленій, чтобы я отъ него хотя-бы одну копейку...—рыдала Адель, падая на кушетку.

— Но вѣдь согласись сама: вѣдь онъ обязанъ обезпечить!—обняла ее за талію madame Брозе.—Вѣдь это вовсе не какая-нибудь милость съ его стороны, не подаяніе: это должное... и если только онъ...

— Ничего мнѣ не надо, ничего!

— Ахъ, Адочка! Ну, положимъ, слава-Богу, что все это обошлось безъ послѣдствій, ну, а если-бы?..

И она сдѣлала округленный жестъ передъ своимъ желудкомъ.

— Я-бы тогда отравилась... повѣсилась... утопилась... я-бы тогда...

— Адочка, темнѣетъ, скоро ночь, а ты говоришь такія ужасныя слова...

— Старый, проклятый сатиръ!—нервно вздрогнула и съежилась на кушеткѣ Адель, припоминая, вѣроятно, что-нибудь ужъ очень непріятное.

Фридерика Казиміровна вздохнула очень глубоко и продолжительно, зѣвнула въ руку, подняла еще одинъ бархатный, яйцевидный футлярчикъ, попавшій ей подъ ногу, и полѣзла осторожно на стулъ, придерживаясь за шнурки драпировки.

Она нашла необходимымъ зажечь лампадку передъ образомъ и нѣжнымъ, разслабленнымъ голосомъ попросила дочь подать ей китайскую вазочку со спичками.

На другой день Адель, утомленная слезами и истерическими припадками, еще крѣпко спала у себя на постели, какъ въ дверь кто-то легонько стукнулъ, подождалъ и еще стукнулъ, нѣсколько громче.

— Кто тамъ?—прислушалась Фридерика Казиміровна.

— Письмецо отъ Ивана Илларіоновича и посылочка!—говорилъ за дверью голосъ Катушкина.

— Ахъ, Иванъ Демьяновичъ, подождите минутку, я сейчасъ!—заторопилась Фредирика Казиміровна и торопливо начала одѣваться.

— Ничего-съ, подождемъ: время имѣется!—успокоительно произнесъ лопатинскій повѣренный, и слышно было, какъ онъ задвигалъ креслами, разсчитывая, вѣроятно, на довольно продолжительное ожиданіе.

Фредерика Казиміровна хотѣла было сначала разбудить Адель, но раздумала и притворила даже плотнѣе дверь ея спальни.

«Только мѣшать будетъ своими сценами», — рѣшила она, на-скоро проводя растушкою по своимъ бровямъ и ловко изображая въ углахъ глазъ черныя, весьма эфектныя точки.

— Мнѣ такъ, право, совѣстно!—говорила она, наводя на затылокъ ручное зеркальце и невольно морщась (такъ много виднѣлось тамъ чего-то серебристаго).

— Не торопитесь! Что же, коли въ окраску пойдетъ—нельзя тоже, чтобы скоро, дѣло извѣстное!—шутливо говорилъ Иванъ Демьяновичъ.

Фридерика Казиміровна нисколько не обидѣлась этимъ замѣчаніемъ, хотя кончики ея ушей побагровѣли мгновенно.

Немедленно повѣшенное на дверную ручку полотенце закрыло отверстіе замка, и Иванъ Демьяновичъ принужденъ былъ прекратить дальнѣйшія наблюденія.

— Ну-съ, какія вѣсти вы принесли намъ? — произнесла madame Брозе, одною рукою принимая пакетъ, а другою любезно приглашая Катушкина переступить черезъ порогъ.

— Самыя прекрасныя!—Извольте прочитать, сосчитать, получить и росписаться въ полученіи онаго вотъ въ этой книжечкѣ...

— Что же это такое? — удивилась Фридерика Казиміровна.—Садитесь!

Катушкинъ оглянулся кругомъ, покосился на дверь спальни Адели, прислушался, сообразилъ, что барышня, должно быть, еще почиваютъ, и, произнеся шопотомъ: «покорнѣйше благодарю-съ», на цыпочкахъ подошелъ къ дивану и осторожно опустился.

Madame Брозе начала читать.

— Это къ дочери?—остановилась было она и взглянула на Ивана Демьяновича.

— Все единственно-съ,—привсталъ немного тотъ; — читайте!

«Милостивая государыня, Адель Александровна!»—читала madame Брозе, забѣгая глазами впередъ,—такъ ужь ее заинтересовало содержаніе полученнаго посланія.

«Года два тому назадъ я имѣлъ «несчастіе» познакомиться съ вами. Извините, что я употребилъ именно это выраженіе; могло бы быть совершенно наоборотъ, но случилось такъ, что это выраженіе для меня совершенно умѣстно».

«Ваша наружность произвела на меня такое впечатлѣніе, что я, несмотря на свои лѣта, несмотря на то громадное разстояніе (я говорю про возрастъ), которое находилось между нами, я полюбилъ васъ; я не могъ сладить съ своею страстью, я сталъ искать сближенія,—это было очень смѣшно, очень, пожалуй, гадко, но вотъ мои оправданія»:

«Предложить вамъ своей руки я не могъ, по причинамъ, вамъ хорошо извѣстнымъ; добиваться отъ васъ любви, такой, конечно, которая бы отвѣчала моей, было бы сущею нелѣпостью; нелѣпость эту я могъ себѣ представить, даже несмотря на мое ослѣпленіе. Я разсчитывалъ только на одно: вы были въ крайнемъ положеніи, вы были почти нищія (по-

ложимъ, вы лично еще не успѣли испытать тяжесть этого положенія), но у меня не хватило духу подвергнуть васъ этому, и я спасъ васъ въ послѣднюю уже, крайнюю минуту. Вы были обставлены комфортомъ, ласкою, предупредительностью, самымъ внимательнымъ попеченіемъ. Всѣ ваши капризы, прихоти исполнялись почти безпрекословно. Вамъ обѣщалась вся эта обстановка и впредь. Я полагалъ, я былъ такъ недальновиденъ, что смѣлъ разсчитывать, что вы способны, наконецъ, привязаться къ человѣку, отъ котораго все это исходило. Сперва, думаю, чувство благодарности и признательности, затѣмъ, молъ, и другое, конечно, не страстное, но спокойное чувство привязанности. Къ тому же, признаться вамъ сказать, и ваша маменька поддерживала меня именно въ томъ пріятномъ заблужденіи, увѣряя меня, что эту-то привязанность вы ко мнѣ и питаете, только высказывать сего не желаете, по причинѣ, молъ, вашего капризнаго характера...»

Фридерика Казиміровна, дочтя до этого мѣста, подумала немного и тщательно зачеркнула перомъ послѣднія строки.

Письмо Лопатина проходило, такъ сказать, черезъ ея материнскую цензуру.

«Къ несчастію,—продолжала она читать,—я имѣлъ много данныхъ,—я уже не говорю о послѣднемъ пассажѣ,—убѣдиться мало-по-малу, что о подобной привязанности не можетъ быть и рѣчи; мало того-съ: съ каждымъ разомъ, когда я былъ съ вами, я видѣлъ, что у васъ ростетъ другое чувство,—чувство крайняго ко мнѣ отвращенія и ненависти».

«Повѣрьте, я умѣлъ понять, въ какомъ ужасномъ положеніи находились вы, когда... И если я не могъ сладить съ своею страстью въ данную минуту, то въ другое время, при должномъ, хладнокровномъ взвѣшиваніи всѣхъ обстоятельствъ, при добромъ совѣтѣ со стороны...»

Фридерика Казиміровна не совсѣмъ-то ласково вскинула глазами на Ивана Демьяновича. Тотъ въ эту минуту спокойно подлавливалъ рукою какую-то зелененькую мушку, летавшую надъ его лысиною.

«Я пришелъ къ тому заключенію, результатомъ котораго явилось это письмо».

«Ну-съ, родная моя, поѣзжайте съ Богомъ обратно въ Питеръ! Будьте счастливы, если встрѣтите человѣка по душѣ, а

Иванъ Илларіоновичъ свое дѣло тоже знать будетъ. Извѣстное обезпеченіе, подробно изложенное въ приложенномъ при семъ документѣ, будетъ высылаться вамъ аккуратно... Насчетъ обратнаго пути тоже все устроено, и данъ будетъ вамъ, какъ и тотъ разъ, надежный провожатый».

«Прощайте и не поминайте лихомъ, а если что понадобится, то всегда помните, что я къ вашимъ услугамъ. Маменьку вашу мнѣ, признаться, видѣть не желательно: ужъ очень она мнѣ не по сердцу за ея ложь, двуличность и всякія пакости (насчетъ послѣдняго пассажа мнѣ тоже все, какъ слѣдуетъ, извѣстно). Съ вами-же лично проститься мнѣ бы очень хотѣлось. А впрочемъ, какъ вамъ Господь на душу положитъ».

Опять заиграло перо въ пухлой рукѣ Фридерики Казиміровны; на этотъ разъ съ несравненно большимъ ожесточеніемъ.

«За симъ остаюсь все тотъ же самый Иванъ Лопатинъ».

«P. S. Считаю долгомъ заявить вамъ, что, по случаю кончины супруги моей (я на прошлой еще недѣлѣ получилъ о семъ извѣщеніе), по прошествіи узаконеннаго траурнаго времени, намѣревался я скрѣпить все законнымъ бракомъ съ вами, но, при вашихъ чувствахъ ко мнѣ, оное счелъ немыслимымъ».

У Фридерики Казиміровны въ глазахъ позеленѣло: она даже не замѣтила, что послѣднія слова были написаны совсѣмъ другимъ почеркомъ; она даже не замѣтила легонькой улыбочки, промелькнувшей на довольномъ лицѣ Катушкина, когда тотъ замѣтилъ, какое впечатлѣніе произвела его приписка, сдѣланная, впрочемъ, безъ вѣдома Ивана Илларіоновича.

— Гдѣ же росписаться, вы говорили? — томно спросила madame Брозе, окончивъ чтеніе и прикладывая платокъ къ своимъ покраснѣвшимъ глазамъ.

— А вотъ книжечка-съ! Тутъ уже все приготовлено. Черкните только-съ званіе, имя, отчество и фамилію вашу; извольте писать: по сему... вотъ и все-съ!—окончилъ онъ диктовку, глядя черезъ плечо на еле разборчивую, волнообразную строчку, изображенную дрожащей рукою Фридерики Казиміровны.

— Прощенья просимъ-съ. День отъѣзда Иванъ Илларіоновичъ просили назначить, какъ вамъ будетъ угодно, только чтобы дня за два ихъ увѣдомить, для соотвѣтственнаго по сему распоряженія. Счастливо оставаться!

И Иванъ Демьяновичъ, захвативъ разносную книжечку, бочкомъ направился къ выходной двери.

Фридерика Казиміровна еще разъ тщательно процензуровала письмо, заперла конвертъ съ деньгами и документомъ къ себѣ въ бюро и пошла въ спальню Адели.

Красавица дочь крѣпко спала, разметавшись въ своей взбудораженной постели; ея сухія губы были раскрыты, и оттуда вылетало горячее, не совсѣмъ здоровое дыханіе; щеки сонной горѣли, какъ въ огнѣ. Свѣча на ночномъ столикѣ, видимо, не была потушена и догорѣла сама собою. На полу, у постели, валялась закрытая книга.

Madame Брозе положила письмо на столикъ, на видное мѣсто, и разбудила свою дочь самымъ нѣжнымъ, самымъ искреннимъ материнскимъ поцѣлуемъ.

VIII.

Тревога и побѣгъ.

Старый, опытный волкъ бредетъ, понуривъ голову, опустивъ до самой земли хвостъ-полѣно, прищуривъ подслѣповатые глаза, чуть поводя своими надгрызанными въ прежнихъ бояхъ и схваткахъ ушами. Бредетъ онъ, не спѣша, шагомъ, по сторонамъ не смотритъ,—не зачѣмъ! Все ему давно знакомо, все приглядѣлось: и эти пожелтѣвшіе кусты орѣшника, между которыми, уныло воя, проносится осенній вѣтеръ, и эти обгорѣлые сосновые пни, и бѣленькія черточки березовыхъ стволиковъ, и эта крикливая стая носатыхъ грачей, только что слетѣвшая съ размокшей пашни за опушкою. Даже вотъ этотъ шестъ съ метлою наверху, торчащій на поворотѣ новой межи, и тотъ не обращаетъ на себя вниманія стараго бродяги. Плетется онъ по избитой, изстари проторенной тропѣ и все ниже и ниже клонитъ свою хищную морду съ оскаленными клыками, съ краснѣющимъ между ними кончикомъ запѣнившагося языка.

Бредетъ «матерой» на выгонъ, что за оврагомъ, у самой опушки; тамъ еще, должно быть, пасутся тощіе «животишки» сосѣдней деревни «Прѣснохлебаловки», и не разъ уже пользовался тамъ сѣрый разбойникъ то курчавою ярочкою тетки Маланьи, то поросенкомъ дяди Никиты, а то такъ даже теленкомъ самого отца дьякона. Очень уже ему эти обѣды легко

достаются. Пастушонки все маленькіе, четырнадцать лѣтъ отъ роду старшему, дрыхнутъ себѣ въ шалашѣ, прикрывшись съ головою отцовскими тулупами, или на рѣчкѣ у огонька варятъ въ котелкѣ картошки, накраденныя въ огородѣ цѣловальника Парфена Карпыча; собаки тоже все дрянь дрянью, десятерыхъ на одинъ волчій зубъ мало. Лафа, да и только!

Вотъ и тащится теперь нашъ волкъ за съѣстнымъ, ни о чемъ не безпокоясь, потому безпокойства ему ни откуда не предвидится.

Вдругъ онъ сразу остановился, даже назадъ попятился и хвостъ промежь заднихъ ногъ поджалъ подъ самое брюхо, ушами повелъ, прислушался,—что за чортъ, что-то не ладно; подождалъ волкъ немного, присѣлъ, потомъ прилегъ, опять всталъ, за кустъ зашелъ, промежь двухъ кочекъ забился,—волнуется.

«Что за оказія?—думаетъ онъ.—Все, повидимому, въ порядкѣ, а что-то словно не того...»

А голодъ не свой братъ: кишки ворочаетъ, долго не даетъ раздумывать. Опять пошелъ волкъ впередъ, только много тише; дошелъ уже до самаго оврага: вонъ и дымокъ синѣетъ у воды, влѣво бубенчикъ брякаетъ близко,—знаетъ онъ даже, на чьей шеѣ это брякаетъ. Эвось, волкъ тѣ заѣшь, ягнятъ-то сколько. Котораго бы сцапать? Да нѣтъ, свою шкуру ужъ очень вдругъ жалко стало; подумалъ, подхватилъ языкомъ липкую, тягучую слюну, повернулъ назадъ да и ходу, чѣмъ дальше, тѣмъ шибче, вотъ ужъ вскачь запрыгалъ, пугливо по сторонамъ озирается, отъ всякаго шума въ сторону бросается; версты четыре продралъ, забился въ самую чащу, на глухой болотинѣ и залегъ, вздрагивая и ежась отъ совершенно неожиданнаго, Богъ-вѣсть откуда, налетѣвшаго страха.

И все, что до сихъ поръ казалось такимъ простымъ, такимъ знакомымъ, все это уже смотритъ теперь не такъ, все словно грозитъ, все предваряетъ о какой-то скрытой, неминуемой, смертельной опасности.

И вѣрно, что это не мнимая опасность: она, дѣйствительно, существуетъ, не пригрезилась она волку, а ему подсказалъ ее и предостерегъ его вѣрный таинственный инстинктъ, никогда до сихъ поръ необманывавшій опытнаго звѣря.

Вотъ въ такомъ точно положеніи струсившаго волка чувствовалъ себя Юлій Адамовичъ со дня разговора своего съ Ка-

тушкинымъ. Онъ очень хорошо понялъ, что настала пора принять оборонительное положеніе. Онъ чуялъ теперь врага, и врага могучаго, пренебрегать которымъ было-бы болѣе, чѣмъ неблагоразумно; онъ ясно сознавалъ, что опасность ростетъ все болѣе и болѣе съ каждою минутою, что скоро настанетъ та минута, когда будетъ уже поздно. Онъ рѣшилъ, во что-бы то ни стало, предупредить эту скверную минуту и зорко сталъ приглядываться и прислушиваться ко всему окружающему.

Старый волкъ насторожилъ свои воровскія уши.

И вотъ, подъ вліяніемъ этого чувства, всѣ обыденныя явленія, до сихъ поръ казавшіяся самаго невиннаго свойства, стали принимать для него совершенно иное, тревожное значеніе. Каждая встрѣча, каждый взглядъ, совершенно случайно брошенный въ его сторону, казались ему крайне подозрительными. Въ каждомъ словѣ онъ слышалъ скрытый намекъ; подчасъ ему становилось просто страшно въ присутствіи другихъ людей, особенно принадлежащихъ по мундиру къ предупредительнымъ или карательнымъ административнымъ элементамъ, а между тѣмъ его такъ и тянуло въ эту среду, такъ и подмывало во все вслушаться, вглядѣться, взвѣсить, сообразить.

— А позвольте, милостивый государь...

Юлій Адамовичъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и даже въ сторону шарахнулся: рука въ галунномъ обшлагѣ мелькнула чуть не у самаго его лица и звякнуло что-то металлическое.

— ...позаимствоваться огонькомъ вашей сигарки!—докончилъ исправляющій должность городничаго, капитанъ Широкошагаевъ, неожиданно подвернувшійся изъ-за покосившагося угла лѣтняго барака пожарной команды.

— Я-съ... я съ большимъ удовольствіемъ... Позвольте, я сначала раскурю. Ваше здоровье какъ... семейство ваше... супруга-съ?—засуетился Бржизицкій.

— Э-гмъ... супруги не имѣю еще, семьею не обзавелся, покорнѣйше благодарю. О ревуаръ-съ... я сюда!

И капитанъ солидно зашагалъ къ дверямъ барака, у котораго давно уже, вытянувшись въ струну, жилился часовой, разсчитывающій, вѣроятно, этимъ напряженнымъ жиленьемъ выразить всю свою исправность по службѣ.

«Знаемъ мы, молъ, зачѣмъ тебѣ сигару закурить потребовалось», думалъ и передумывалъ Юлій Адамовичъ и поспѣшно

свернулъ въ переулокъ,—свернулъ потому, что замѣтилъ впереди еще какіе-то два шитые воротника и кончикъ казачьей винтовки.

Сегодня утромъ въ туземномъ городѣ, около воротъ караванъ-серая Перловича, завязалась свалка между евреями и сартами,—началась съ пустяковъ, какъ обыкновенно; кончилось тѣмъ, что пришлось употребить цѣлый казачій взводъ, чтобы разогнать дерущихся. Въ другое время Юлій Адамовичъ оставался-бы самымъ равнодушнымъ, спокойнымъ зрителемъ со стороны, теперь-же, оправившись отъ перваго испуга, потому что всякій шумъ сталъ производить на него это непріятное дѣйствіе, онъ поспѣшилъ подать самую дѣятельную помощь блюстителямъ порядка и съ этою цѣлью поднялъ на ноги всѣхъ служащихъ при караванъ-сераѣ.

— Ну, батюшка, спасибо, что со своими молодцами съ энтаго фасу ихъ перехватили, а то-бы гдѣ управиться! — говорилъ ему казачій офицеръ, вытирая рукавомъ кителя потъ на своемъ краснобуромъ, загорѣломъ лицѣ.

Юлію Адамовичу было очень пріятно слышать это одобреніе.

— Я всегда за порядокъ, всегда за порядокъ... Отдохнуть заходите. Эй, отпереть ворота для господъ казаковъ! Я имъ сейчасъ, съ вашего позволенія, по стакану водки... — засуетился онъ.

И не только, что угостилъ казаковъ водкою, но, особенно расчувствовавшись, выдалъ имъ по полтиннику на человѣка, а хорунжему презентовалъ качевскій серебряный подстаканникъ, случайно подвернувшійся подъ руку.

Ѣхавши домой, онъ остановилъ лошадь у губернаторскаго подъѣзда и зашелъ съ единственною цѣлью потолкаться въ пріемной и прислушаться. Въ пріемной было очень мало народу; человѣка три стояли въ сторонѣ и о чемъ-то горячо говорили; при входѣ Бржизицкаго они разомъ замолчали и стали переглядываться; это показалось ему очень подозрительно.

— Генералъ сегодня не принимаетъ!—подошелъ къ нему дежурный адъютантъ.

— Неужели?—удивился Бржизицкій.—Ахъ, какъ жаль! А мнѣ было...

И онъ замолчалъ, потому что ему положительно не зачѣмъ было видѣть губернатора.

Быстро вошелъ въ комнату знакомый ему штабный полковникъ, взглянулъ на него какъ-то странно, — такъ, по крайней мѣрѣ, ему показалось, — вернулся, сказалъ что-то тихонько ординарцу у дверей и ураганомъ пронесся чрезъ пріемную прямо во внутренніе апартаменты.

«Попался, попался!» проступилъ у Бржизицкаго подъ бѣльемъ холодный потъ, и онъ, неловко раскланявшись, поспѣшилъ отретироваться. Весь какъ-то нравственно съежившись, не глядя никуда опредѣленно, а какъ-то въ пространство, шмыгнулъ онъ мимо ординарца, мимо часового у дверей. «Вотъ,— думалъ онъ,—сейчасъ за шиворотъ схватятъ, дорогу ружьемъ загородятъ»; однако, никто его за шиворотъ не хваталъ, никто дороги ружьемъ не загораживалъ, и онъ благополучно добрался до своей лошади.

Онъ даже нарочно проѣхалъ мимо дома Ивана Илларіоновича, хотя это было совсѣмъ ужъ не по дорогѣ.

Сунулся было онъ въ ресторанъ Тюльпаненфельда, слѣзъ съ лошади, передалъ лошадь на попеченіе мальчика-сартенка, взошелъ на крыльцо, шагнулъ черезъ порогъ, пріостановился на мгновеніе и поспѣшно вернулся назадъ,—такъ ужъ его встревожила фраза, случайно долетѣвшая до его слуха.

— Я вамъ говорю, его еще не арестовали! — горячился кто-то въ одной изъ боковыхъ комнатъ.

— Какъ не арестовали? На другой-же день и арестовали; какъ-же иначе? Вѣдь онъ въ рожу ему закатилъ; тотъ обидѣлся, подалъ рапортъ. Ну, понятное дѣло, «военное положеніе...» Эй, опять салфетки всѣ во вчерашнемъ шпинатѣ... Свиньи!

— Пожалуй, сѣрую шинель надѣнетъ?

— Какъ-бы хуже не было!

Очевидно, рѣчь шла не о Бржизицкомъ, но Юлій Адамовичъ не слышалъ уже дальнѣйшаго разговора—онъ усиленно погонялъ свою лошадь, а вмѣстѣ съ топотомъ копытъ по шоссе въ его ушахъ звенѣли и варьировались на разные лады непріятныя, роковыя слова: арестъ... арестовали... еще не арестовали...

— Ну, что нашъ Юлій скажетъ хорошаго?—въ третьемъ лицѣ отнесся къ Бржизицкому Станиславъ Матвѣевичъ, когда

тотъ вошелъ къ нему въ кабинетъ, притворилъ за собою дверь и на мгновеніе пріостановился, словно не соображая сразу: зачѣмъ онъ сюда зашелъ, что ему надо сказать?

— А что я вамъ могу сообщить? Рисъ выгрузили, съ краснымъ товаромъ нынче тихо. Вотъ еще...

Перловичъ рѣзко позвонилъ и крикнулъ шарахнувшемуся за дверями Шарипу, чтобы тотъ подалъ свѣчи.

Въ комнатѣ было довольно темно; багрово красный лучъ заходящаго солнца прорвался въ окно и, нарисовавъ на стеклахъ узорчатую, кружевную тѣнь какой-то вѣтки ближайшаго къ окну дерева, скользнулъ по выдающемуся углу массивнаго шкафа и раздѣлилъ всю комнату на двѣ почти равныя части. Въ одной, благодаря слабому свѣту этого луча, можно было разсмотрѣть находившіеся въ ней предметы, въ другой-же царствовала густая синеватая тѣнь, и тамъ-то чуть очерчивалась фигура Бржизицкаго.

Перловичъ не могъ видѣть лица своего агента, но онъ очень хорошо слышалъ звукъ его голоса, поразившій его съ самой первой ноты. Это говорилъ не Бржизицкій, — по крайней мѣрѣ, онъ никогда не говорилъ *такъ*...

Вы одни; кругомъ глухой лѣсъ, гніющія болотины, подернутыя туманомъ; фосфорическія блестки мигаютъ въ воздухѣ надъ этою массою гнили. Изъ мрака сгустившихся сумерекъ со всѣхъ сторонъ тянутся сухія вѣтви, принимая самые фантастическіе образы. Эти вѣтви, словно костлявыя руки лѣсныхъ чудищъ, пытаются сорвать васъ съ сѣдла; рогатые пни торчатъ по сторонамъ исковерканной непогодою дороги; храпитъ пугливый конь, осторожно ощупывая копытомъ невѣрную почву. Вамъ жутко; нервы ваши напряжены до послѣдней степени. Вы пытаетесь бороться съ этимъ сквернымъ чувствомъ; силою воли и разсудка вы побѣждаете его и бодрѣе вглядываетесь въ темноту. Даже вашъ конь инстинктивно чувствуетъ это и заражается бодростью вашего духа. Чу! Что это? Крикъ, раздирающій душу, тоскливый, какъ-то хрипло скрипящій, пронесся въ воздухѣ. Вздрогнулъ конь и осѣлъ на заднія ноги; разомъ исчезло все ваше завоеванное спокойствіе. Опять тоска, опять непріятное, тяжелое чувство одиночества, что-то очень близкое къ паническому, безсмысленному страху.

А между тѣмъ вы очень хорошо знаете, что за существо издало этотъ отвратительный вопль. Вы знаете, что это не продѣлки какого-нибудь фантастическаго лѣсного духа. Скромный филинъ, сверкнувъ въ темнотѣ своими желтыми глазами, стряхнулъ съ крыльевъ дождевую воду и, собираясь перелетѣть на сосѣднюю дуплистую липу, затянулъ свою негармоническую пѣсню.

И въ настоящую минуту звукъ голоса Бржизицкаго былъ для Станислава Матвѣевича чѣмъ-то вродѣ крика филина.

Быстро поднялся на ноги Перловичъ, подошелъ къ своему повѣренному, пристально взглянулъ на него и произнесъ:

— Что, плохо?

Тотъ не отвѣчалъ.

— Это письмо... Вы, вѣрно, узнали, гдѣ оно? Оно...

— А дьяволъ его возьми, гдѣ оно! Я не знаю, я только могу догадаться. Вы вотъ сидите здѣсь, вы не видите ничего, не слышите этихъ постоянныхъ намековъ, не косятся на васъ всѣ встрѣчные!

Въ первый разъ еще Бржизицкій заговорилъ такимъ раздражительнымъ голосомъ.

— Такъ, значитъ, коллега, намъ надо...—началъ Перловичъ.

— Погодите еще день, и я узнаю все... Бѣжать еще будетъ время, да, наконецъ, можетъ быть, и не отъ чего будетъ бѣжать намъ!

— Вы-же говорили, что письмо это не можетъ миновать нашихъ рукъ!

— Да, я это говорилъ, это такъ-бы и было, можетъ быть, и будетъ, но меня смущаетъ только одно обстоятельство!

— Что еще?

— Вчера вечеромъ у Тюльпанепфельда, а, можетъ быть, это было раньше, мнѣ не сказали, когда именно... конечно, я не видѣлъ его самъ, но мнѣ говорили, это все равно... мнѣ говорили, что... фразы были такъ похожи, сколько я припоминаю... проклятый листокъ переходилъ изъ рукъ въ руки!

— Какой листокъ?

— Это письмо... копія-ли это, самый-ли оригиналъ—я не знаю; его нашли въ одной изъ боковыхъ комнатъ. Его нашли въ той самой комнатѣ, гдѣ былъ недавно я. Не я-же самъ, наконецъ, его потерялъ, — значитъ, другой, а я былъ

тамъ только вдвоемъ съ Катушкинымъ, — только вдвоемъ съ Катушкинымъ. Какая-то рожа еще заглядывала,—я не встрѣчалъ ея прежде. Этотъ листокъ былъ потерянъ или забытъ въ этой комнатѣ; не я его потерялъ, — значитъ, Катушкинъ; если-же и не онъ, то эта рожа. Я заѣзжалъ послѣ на почтовую станцію и узналъ, что это былъ пріѣзжій изъ «Забытаго» форта. Онъ былъ пьянъ до потери сознанія и спалъ. Добудиться было невозможно. Проклятая свинья мычала только во снѣ и ворочалась. Завтра рано утромъ я опять подъ какимъ-нибудь предлогомъ постараюсь увидѣть этого пріѣзжаго и отъисповѣдаю его.

— Это письмо исчезло на почтѣ, на дорогѣ...—соображалъ Перловичъ.

— Я догадываюсь, въ чемъ дѣло, и завтра узнаю все. Кромѣ того, я-бы вамъ посовѣтовалъ тоже съѣздить въ городъ, а пока...

И Бржизицкій, не попрощавшись съ хозяиномъ, вышелъ изъ комнаты, оставивъ Станислава Матвѣевича на досугѣ соображать и догадываться.

А на другой день Станиславъ Матвѣевичъ, пріѣхавъ въ свой караванъ-серай, не нашелъ тамъ Бржизицкаго. Дѣла въ этотъ день почти не было, рабочіе спали въ тѣни навѣсовъ или-же бродили подъ базарными сводами. Изъ туземныхъ пріятелей (тамыровъ) Перловича мало кто навѣдывался къ «русскому баю»; только сосѣдъ, кожевенникъ, Мусса-Джанъ, зашелъ около полудня, да такъ и огорошилъ хозяина караванъ-серая возгласомъ:

— Ба! А что-же это народъ болтаетъ, что тебя русскіе въ курганъ (крѣпость) посадили?

— Кто-же это именно болталъ? — спросилъ Станиславъ Матвѣевичъ, и разомъ поблѣднѣлъ, какъ та выштукатуренная гипсомъ стѣна, около которой они сидѣли. «Ужъ если на базарѣ болтаютъ...»—промелькнуло у него въ головѣ.

— Всѣ говорятъ, хе, хе, всѣ говорятъ! — присаживался поудобнѣе на пестрый шлямъ Мусса Джанъ.—Всѣ говорятъ. И у Саида-Азима говорятъ, и въ шелковомъ ряду говорятъ, и кузнецы эти корявые въ русскомъ городѣ на «большихъ» работахъ были — пришли, всѣмъ своимъ разсказали. Пойду ду-

маю, провѣдаю; прихожу, а ты здѣсь сидишь себѣ и угощаешься. «Юлій-тюра» гдѣ?

И Мусса началъ осматриваться, не сидитъ-ли гдѣ-нибудь въ углу «Юлій-тюра», какъ обыкновенно называли всѣ туземцы повѣреннаго Станислава Матвѣевича.

Пришелъ еще одинъ сосѣдъ съ другой стороны, остановился на минуту на самомъ порогѣ, изумленно взглянулъ на Перловича, потомъ на Мусса Джана, еще разъ переглянулся и тогда уже произнесъ привѣтственное «аманъ!»

— А намъ говорили...—началъ новый гость.

— Что, вѣрно, мнѣ голову отрѣзали, на колъ посадили?— вспылилъ Перловичъ. Нервы его до такой степени были раздражены за послѣднее время, что онъ потерялъ способность удерживать порывы вспыльчивости.

— Что-же ты сердишься,—равнодушнымъ тономъ замѣтилъ гость, — мало-ли чего народъ болтаетъ; много всякаг вздора и не про тебя одного говорятъ. Всего не переловишь, что носится по вѣтру!

И онъ усердно захрипѣлъ кальяномъ, зажавъ пальцемъ дырочку въ верхнемъ тыквенномъ полушаріи.

— Ты кого это зарѣзалъ?—прямо, безъ обиняковъ, рявкнулъ басомъ мулла Кулдашъ, загородивъ всю входную дверь своею массивною фигурою.

— Ну, прощайте! Некогда мнѣ тутъ съ вами болтать: дѣло есть! — не выдержалъ Перловичъ, поднялся на ноги и пошелъ во внутренній дворъ, что-бы только избавиться отъ докучныхъ посѣтителей.

— Всѣ знаютъ, всѣ говорятъ!—тоскливо сжималось у него сердце.—А, можетъ быть, *тамъ?!*

И холодный потъ проступилъ у него отъ одного только страшнаго предположенія.

Солнце стояло еще высоко, а уже Станиславъ Матвѣевичъ прискакалъ къ себѣ на дачу. Окольною дорогою, черезъ туземные сады, пробрался онъ на чимкентскій трактъ. Онъ положительно боялся русскаго города. Даже во дворъ онъ не въѣхалъ, а привязавъ лошадь за калиткою, прошелъ черезъ виноградники, прямо къ своему балкону.

— Тюра Юліи былъ у тебя! —докладывалъ ему Шарипъ.— Тамъ записку, бумагу такую тебѣ оставилъ, вонъ на столѣ лежитъ!

— Давно онъ былъ?

— Давно. Долго сидѣлъ. Меня въ кузницу посылалъ съ лошадью, а самъ все здѣсь сидѣлъ!

— Ну, ступай. Эй! А еще никого не было?

Перловичъ значительно понизилъ тонъ голоса при этомъ вопросѣ и даже оглянулся.

— Еще никого не было, никого... Да, купецъ изъ Кокана, что верблюдовъ у насъ мѣнялъ, приходилъ... ну, тотъ только такъ былъ: справиться о здоровьѣ заходилъ. А больше никого не было!—еще разъ повторилъ Шарипъ уже за дверями.

На видномъ мѣстѣ, на темно-зеленомъ фонѣ столового сукна такъ и лѣзъ въ глаза маленькій, бѣлый четырехугольникъ. Это была записка Бржизицкаго.

«Дѣло наше безвозвратно проиграно. Я узналъ, наконецъ, все,—писалъ четкимъ, рѣшительнымъ почеркомъ Юлій Адамовичъ.—Письмо въ рукахъ Лопатина. Кажется, что уже сдѣлано распоряженіе объ арестѣ. Всѣ улики противъ насъ, и мы сдѣлаемъ самое лучшее, если позаботимся о спасеніи своей собственной шкуры. Я уже позаботился объ этомъ. Я не хотѣлъ бѣжать вмѣстѣ съ вами, по той причинѣ, что двоихъ гораздо удобнѣе ловить, чѣмъ одного. Если вамъ удастся благополучно перебраться черезъ тіаншанскіе отроги, то постарайтесь увидѣться со мною въ Кашгарѣ или же далѣе, на пути къ Кашмиру. А впрочемъ, это рѣшительно предоставляется на ваше усмотрѣніе. Но вздумайте только броситься къ Бухарѣ: тамъ васъ непремѣнно перехватятъ и выдадутъ обратно русскому правительству. Это мой совѣтъ.

Юлій Бржизицкій».

«— Такъ скоро! — прошептали губы Перловича. — Такъ скоро!» Его даже не удивилъ поступокъ Бржизицкаго: онъ находилъ это такъ естественнымъ, что самъ-бы, пожалуй, поступилъ такъ-же. Но только какъ-же горько стало у него во рту, — казалось, вся желчь подступила къ горлу,—когда въ его пораженномъ мозгу возникъ ненавистный призракъ Юлія Адамовича, спасающаго свою собственную шкуру.

Вотъ мелькаетъ въ пыли крупъ его лошади. Чуть виднѣется голова изъ-за согнутой спины; рука, вооруженная нагайкою, усердно сѣчетъ взмыленный конскій крупъ.

Перловичу почему-то казалось, что Бржизицкій въ эту минуту удираетъ именно такимъ патріархальнымъ образомъ.

IX.

Сборы.

Безпорядокъ, полнѣйшій хаосъ царствовалъ въ уютной, такъ комфортабельно устроенной квартирѣ madame Брозе и ея дочери. Вся середина общей круглой комнаты была заставлена открытыми баулами, сундуками и разными укладками; тиковыя полосатыя внутренности чемодановъ такъ и лѣзли въ глаза, и въ комнатѣ преобладалъ запахъ ремней и экипажной кожи. На спинкахъ креселъ и стульевъ эфектно драпировались роскошные шлейфы всевозможныхъ цвѣтовъ и матерій.

Фридерика Казиміровна ловко лавировала между всѣми этими предметами, соображала, распредѣляла и метала во всѣ стороны самые хозяйственные, озабоченные взгляды. Адель, у себя въ комнатѣ, щелкала замочками безчисленныхъ туалетныхъ ящичковъ.

— Утромъ, пораньше, какъ можно пораньше!—рѣшительно произнесла Фридерика Казиміровна. — Чуть свѣтъ. Я думаю, даже до восхода солнца. А ты какъ полагаешь, Адочка?

— Мнѣ рѣшительно все равно!

— Или ужъ вечеромъ, попозже, какъ стемнѣетъ? А то, знаешь, вставать надо такъ рано. Въ это время всегда такъ спать хочется... Развѣ вечеромъ?

— Отстань!..

— Ну, такъ ужъ вечеромъ! — перерѣшила madame Брозе. — Сегодня не мѣшало-бы покончить съ укладкою пораньше. Платья, тѣ вотъ, съ кружевами въ большой баулъ. А то, знаешь, что я придумала? Дѣйствительно, лучше утромъ. Здѣшніе мерзавцы всю ночь таскаются по улицамъ, и какъ-бы поздно мы ни поѣхали, намъ не избѣжать какой-нибудь демонстраціи.

— Да, проводы будутъ! — задумчиво произнесла Адель.

— Ну, вотъ, вотъ... Итакъ, утромъ! Ты, Павелъ, такъ и доложи Ивану Илларіоновичу, что, молъ, рѣшили завтра утромъ, чуть забрезжетъ свѣтъ, такъ и скажи: приказали, молъ, сообщить, что рано утромъ, чуть забрезжетъ свѣтъ!

— Слушаю-съ! Больше ничего не прикажете?—попятился Павелъ къ дверямъ.

— Ничего, или нѣтъ, постой! Я сейчасъ напишу нѣсколько словъ, а ты передай эту записку лично Ивану Илларіоновичу, такъ прямо въ руки и отдай—никому больше. При Катушкинѣ тоже не отдавай, а такъ, знаешь,—да ты понимаешь, въ чемъ дѣло, понимаешь?

— Понимаю-съ!

Фридерика Казиміровна присѣла къ бюро и торопливо принялась тыкать перомъ въ фарфоровую чернильницу.

Такъ вотъ уже третій день madame Брозе съ дочерью собирались въ обратную дорогу.

Фридерика Казиміровна совершенно уже освоилась съ мыслью объ отъѣздѣ и успокоилась. Ее нѣсколько тревожилъ только самый процессъ этого отъѣзда. Ей все казалось, что цѣлый Ташкентъ собирается смотрѣть на нихъ; изъ каждаго окна такъ вотъ и будутъ высовываться разныя физіономіи и провожать ихъ экипажъ самыми насмѣшливыми, сатирическими взглядами.

— Архитекторша, та, подлая, непремѣнно со всею своею ватагою выѣдетъ. Конечно, я ничего, мнѣ наплевать!—соображала Фридерика Казиміровна.—Но Ада съ ея нервозностью!—Адочка, ангелъ мой, ты всѣ свои вещицы: броши, серьги,—послѣднія эти съ большими камнями,—собери въ одно мѣсто. Дай, я ихъ уложу въ мой несессеръ. Вѣдь это цѣнность; все лучше, когда будетъ все въ одномъ мѣстѣ и подъ руками!

— А вотъ я ихъ всѣ отошлю сегодня къ Лопатину!—буркнула Адель, съ азартомъ захлопывая какой-то ящикъ.—Всю эту дрянь...

— Адочка, что ты это, что ты? Это будетъ капитальнѣйшею глупостью. Не смѣй и думать! Да, наконецъ, я не позволю: это капиталъ, это твои средства, и я, какъ мать... Вздоръ!—заволновалась Фридерика Казиміровна.

— Ты что это писала Лопатину?

— А чтобы онъ хоть передъ самымъ отъѣздомъ зашелъ показать свои ясныя очи, лупоглазый болванъ! Этого, нако-

нецъ, требуетъ простое чувство приличія!—кипятилась мадамъ Брозе.

— Зачѣмъ? Вотъ еще очень нужно!..

— А за тѣмъ, что ты ничего не понимаешь... Если-бъ онъ хотя нѣсколькими днями раньше могъ освободиться изъ подъ вліянія этого негодяя, то дѣла навѣрное пошли-бы совсѣмъ иначе!

— Все къ лучшему!—задумчиво говорила Адель.

— Ничего не къ лучшему. Сто разъ можно ссориться, и не изъ-за такихъ пустяковъ, и потомъ сходиться еще прочнѣе!

— Бррръ!—замотала головкою Адель.

— Нечего отфыркиваться! — со всего размаха усѣлась Фридерика Казиміровна на диванъ, такъ что даже пружины крякнули, и отлетѣла одна изъ обойныхъ пуговицъ.

Минутъ черезъ десять прерванная укладка возобновилась.

— Ну, а этотъ парюръ, я думаю, сюда не влѣзетъ!—говорила мадамъ Брозе уже совершенно успокоившимся голосомъ.

— Сегодня утромъ я справочку навелъ-съ: оказалось, что уже сдѣлано распоряженіе!—говорилъ Иванъ Демьяновичъ, присаживаясь на стулъ рядомъ съ кресломъ Ивана Илларіоновича.

— Обѣщалъ губернаторъ, обѣщалъ, самыя дѣятельныя мѣры обѣщалъ. Ну, что *тамъ?*

Лопатинъ глубоко вздохнулъ и принялся пухлыми пальцами отстегивать нижнія пуговицы своего бѣлаго жилета.

— Укладываются, слава тебѣ, Создателю!.. Ну-съ, батюшка, Иванъ Илларіоновичъ, какъ мы теперь съ обоими этими дѣлами пришли, такъ сказать, къ благополучному окончанію...

— Не совсѣмъ еще,—охъ, не совсѣмъ!

— Въ акуратъ! Молодцовъ такъ теперь подловили, что имъ ни взадъ, ни впередъ! Это вѣрно-съ, то-есть, вотъ какъ! (Катушкинъ растопырилъ правую пятерню, поигралъ въ воздухѣ пальцами чуть не передъ самымъ носомъ Лопатина и сжалъ ихъ въ кулакъ). Сегодня ночью (онъ понизилъ голосъ) облаву учинятъ и сцапаютъ... Общій обыскъ — и пошла писать. Теперь ужъ не увернутся, гдѣ ужъ!.. Такъ мнѣ и самъ господинъ полковникъ сказывалъ. Насчетъ-же иного прочаго, такъ вѣрьте вы мнѣ, Иванъ Илларіоновичъ, не стоитъ

дѣло выѣденнаго яйца, потому этого добра завсегда достаточно... И ежели у человѣка капиталъ, такъ только свистнуть...

— Тяжело!

Лопатинъ покачалъ головою и потупился.

— Попривыкнете, это скоро. И ежели при подходящемъ развлеченіи...

— У ляховъ что дѣлается?

— Все въ должномъ порядкѣ и на своихъ мѣстахъ. Плетежи въ конторѣ пріостановили; Станиславъ Матвѣевичъ будто поспокойнѣе стали, а *этотъ* что-то сильно мечется!

— Что такъ?

— Предчувствіе, надо полагать. Со мною вчера на Большой улицѣ встрѣтился—свернулъ черезъ кирпичный заводъ въ переулокъ,—хе, хе, избѣгаетъ!

— Слушай, Иванъ Демьяновичъ, ты, братъ, не сердись... что-же, это ничего, это даже слѣдуетъ... и притомъ я только на самое малое время... Минута-другая, не больше...

Иванъ Илларіоновичъ безпокойно задвигался въ креслахъ и какъ-то странно, почти просительно взглянулъ на своего собесѣдника.

— Это насчотъ чего-съ?

— Когда онѣ поѣдутъ—ты говорилъ, завтра, чуть свѣтъ,—такъ, кажется?

— Такъ-съ!

— Ну, такъ вотъ, видишь-ли, мы съ тобою тоже... Я только посмотрю на нее, пожелаю ей... Ты вѣдь понимаешь? Нельзя-же такъ сразу вырвать изъ сердца... и это...

Иванъ Илларіоновичъ нащупалъ рукою конецъ фуляроваго платка, торчавшій у него изъ кармана,и потянулъ его.

— Понимаю-съ. Что-же, какъ прикажете, мнѣ что-же!

— Ну, вотъ, вотъ, ты сейчасъ воображаешь, что я тамъ расчувствуюсь и... вовсе нѣтъ: этого, наконецъ, требуетъ простое чувство приличія!

Иванъ Илларіоновичъ никакъ ужъ не предполагалъ, что въ эту минуту, на разныхъ половинахъ дома, по одному и тому-же поводу произносилась одна и та-же фраза

— Верхомъ или шарабанъ прикажете?

— А какъ ты, братъ, думаешь?

— Я полагаю, верхомъ будетъ сподручнѣе, потому въ экипажѣ намъ по одной дорогѣ придется, а тутъ мы со стороны на дорогу выѣдемъ у русской избы. Много удобнѣе будетъ...

— Такъ ужъ ты...

— Слушаю-съ, будьте покойны!

И Иванъ Демьяновичъ поднялся со стула, почтительно и легонько сжавъ между двухъ ладоней протянутую ему руку.

X.

Арестъ.

Вечерѣло уже, когда на задворки лопатинскаго дома прискакалъ казакъ-уралецъ, оставилъ своего маштака такъ, безъ привязи, по срединѣ двора и прошелъ къ флигелю, занимаемому Катушкинымъ.

Не мало тревоги надѣлало появленіе этого всадника, и когда тотъ, въ сопровожденіи самого Ивана Демьяновича, вновь показался на крыльцѣ, уже все населеніе лопатинскаго дома высыпало на дворъ и столпилось у конюшенныхъ навѣсовъ.

— Иванъ Демьяновичъ, куда это вы-съ, на ночь-то глядя?—освѣдомился одинъ изъ прикащиковъ, услыхавъ, какъ тотъ приказалъ сѣдлать себѣ «бураго», да попроворнѣе, потому—спѣшно.

— А куда слѣдуетъ!—основательно отвѣтилъ Иванъ Демьяновичъ и, спѣшно застегиваясь на ходу, рысцою направился на хозяйскую половину.

— Куда это, землячокъ?—вкрадчиво обратился къ казаку другой прикащикъ.

— На охоту! — отвѣтилъ тотъ и сталъ копаться у подпруги своего сѣдла.

— Это чего-же-съ?

— Какая такая охота?

— Шли-бы спать; чего изъ норъ повыползли!—сплюнулъ на сторону казакъ и замолчалъ.

А тутъ и Катушкинъ вышелъ на крыльцо, сѣлъ на подведеннаго къ нему «бураго», и оба всадника выѣхали за ворота.

Страшная темнота царствовала кругомъ, такая темнота, что всякій опытный всадникъ предпочитаетъ скорѣе довѣриться пу-

теводному инстинкту своего коня, нежели своему собственному зрѣнію. Поговорка: «хоть глазъ выколи»—здѣсь какъ нельзя болѣе умѣстна: въ этомъ мракѣ органы зрѣнія совершенно безполезны. Это не тотъ бѣлесоватый мракъ нашихъ ночей, въ которомъ вы ясно различаете массы и очертанія предметовъ, когда вы ясно видите болѣе свѣтлое полотно дороги подъ ногами и можете безошибочно опредѣлить мѣсто, гдѣ находитесь. Здѣсь не то. Густой, тяжелый мракъ надвигается со всѣхъ сторонъ; онъ давитъ васъ, онъ словно отдѣляетъ васъ отъ всего остального, и вы ощущаете непріятное, жуткое чувство одиночества.

Все ваше вниманіе сосредоточивается только на одномъ звѣздообразномъ кружкѣ свѣта подъ вашимъ фонаремъ. Въ чертѣ этого свѣта каждая мелочь, камушекъ, черепокъ, слѣдъ конскаго копыта, брошенный окурокъ сигары, — все получаетъ значеніе. Внѣ-же этого ограниченнаго пространства все исчезаетъ, поглощенное мракомъ ночи. Вы не видите даже черты, отдѣляющей горизонтъ; даже самыя звѣзды, неподвижно висящія въ пространствѣ, не даютъ вокругъ себя мерцающихъ лучей, словно на черное сукно нашитыя бляхи.

Минутъ черезъ двадцать всадники выбрались изъ европейской части города; это было замѣтно уже потому, что окончились прямыя, ровныя линіи шоссе, и кони поминутно начали вязнуть въ грязи и спотыкаться, пробираясь по узкимъ, кривымъ переулкамъ «коканскаго» предмѣстья.

Несмотря на довольно позднее время, по саклямъ кое-гдѣ виднѣлись огни, и слышались голоса. Откуда-то понесло гарью, падалью потянуло отъ мясныхъ лавокъ, притаившихся у самой полуразрушенной стѣны прежней крѣпости.

Въ одной изъ сакель, болѣе обширныхъ, въ которой, вопреки туземному обычаю, были продѣланы на улицу окна, заклеенныя промасленною бумагою, собралось довольно многочисленное общество. Судя по формѣ силуэтовъ, поминутно рисовавшихся на грязно-матовомъ фонѣ бумаги, не трудно было догадаться, что большинство посѣтителей были туземцы.

Вотъ массивная чалма загородила собою почти весь четырехугольникъ окна, вотъ мелькнули рога оригинальной киргизской войлочной шапки, вотъ суетливо движутся двѣ кругленькія, словно обточенныя, верхушки столбиковъ тюбетейки. Пьяный говоръ и крикъ, унылыя ноты монотонной туземной

пѣсни, дикое завываніе совершенно опьянѣвшаго, пришедшаго въ экстазъ индійца, русская характерная брань, комично произнесенная, очевидно, не русскимъ языкомъ, и жалобное, слезливое всхлипываніе какого-то, совсѣмъ почти голаго байгуша-сарта—несутся изъ отворенныхъ настежь дверей, во всѣ дыры прорванной оконной бумаги.

Затхлый запахъ чего-то гнилого, ѣдкая, спиртуозная вонь кабака такъ и шибаютъ въ носъ. «Тамъ-тамъ-тамъ», глухо гудитъ сторожевой бубенъ больше отъ скуки развлекающагося сторожа.

Большой бумажный фонарь тусклымъ пятномъ виднѣлся подъ черною аркою воротъ «Коканъ-Дервазъ», отбрасывая на эти старые, почернѣвшіе своды растянутыя тѣни всадниковъ. Проѣхавъ ворота, казакъ тронулъ своего коня впередъ, Катушкинъ поѣхалъ за нимъ. Тотъ переулокъ-щель, по которому пришлось ѣхать, былъ слишкомъ узокъ даже для двухъ всадниковъ рядомъ. Металлическія стремена поминутно визжали, чертя по шероховатымъ поверхностямъ стѣнъ бѣдныхъ сакель «жидовскаго квартала».

Тихо было въ уснувшемъ кварталѣ мирныхъ красильщиковъ *). Только собаки, заслышавъ топотъ коней и тихій говоръ всадниковъ, вскакивали во снѣ и выли, глядя съ крышъ на ночныхъ путешественниковъ. Кучки клеверныхъ сноповъ, привезенныхъ еще съ вечера, уборка которыхъ на крыши отложена была до утра, поминутно загораживали дорогу. Грязныя струи воды, прорвавшіяся изъ какого-то внутренняго «хяуза» (пруда), бѣжали самою серединою переулка, плескаясь по камнямъ мостовой и пѣнясь въ трещинахъ. Отъ этой струи распространялся въ ночномъ воздухѣ ѣдкій запахъ кубовой краски и сандала.

— Эка дорога!—шепталъ Иванъ Демьяновичъ.

— Скоро лучше пойдетъ,—ободрялъ его казакъ,—а тамъ въ сады выѣдемъ. Ихъ высокоблагородіе, чай, ужъ на поворотѣ дожидаются!

— Погоняй, братецъ, погоняй!—торопилъ казака Катушкинъ.

Выбрались, наконецъ, на относительный просторъ; проѣхали

---

*) Главнѣйшій промыселъ мѣстныхъ евреевъ.

черезъ дворъ мечети, на которомъ, подъ окружающимъ четырехугольное зданіе мечети навѣсомъ, прямо на голыхъ циновкахъ спали сѣдобородые муллы; чуть не задавили индійца «Тэрли,» растянувшагося поперекъ улицы, и выѣхали на обрывистый берегъ Бо-су. Шумъ быстробѣгущаго арыка и глухой плескъ мельничныхъ колесъ доносились откуда-то снизу, изъ этихъ сырыхъ, бѣловатыхъ волнъ медленно поднимающагося тумана.

Прямо виднѣлось что-то черное, приземистое, безконечно расползающееся вправо и влѣво. Тамъ кое-гдѣ мигали желтоватыя и бѣлыя точки фонарей и слышны были періодическіе удары сторожевыхъ бубенъ и сухой звукъ трещотокъ. То былъ большой ташкентскій базаръ. Отсюда всадники свернули направо, спустились подъ гору, и скоро прохладный, свѣжій воздухъ, смѣнившій вонючую атмосферу города, далъ знать, что близки были сады, широкимъ кольцомъ окаймляющіе всѣ городскія предмѣстья.

Красноватая точка вдали то вспыхивала, то погасала. Весело заржалъ казачій маштакъ, изъ темноты послышалось отвѣтное ржаніе.

— Вонъ полковникъ, сигарку куритъ!—сообщилъ казакъ.

Всадники погнали лошадей полною рысью.

— Очень благодаренъ, ваше высокоблагородіе, очень премного благодаренъ, что увѣдомили!—говорилъ черезъ минуту Катушкинъ, усердно раскланиваясь по тому направленію, гдѣ мигала полковничья сигара.

— Вы просили, и притомъ генералъ приказалъ. Вы ему такихъ чудесъ наговорили объ этомъ Бржизицкомъ, что онъ боится, какъ-бы не прозѣвали его и на этотъ разъ, тѣмъ болѣе, что онъ или извѣщенъ кѣмъ-то объ арестѣ, или догадывается!—цѣдилъ сквозь зубы офицеръ.

— Оборони Господь!

— Я полагаю, весь дворъ окружить, у калитокъ поставить часовыхъ и потомъ сразу: одни во флигель, а другіе прямо къ Перловичу!—говорилъ кто-то еще въ темнотѣ.

— То-есть, вѣрите, просто сквозь пальцы нѣсколько разъ прорывался... Ну, ты, чортъ!..—чуть не оборвался вмѣстѣ съ лошадью Иванъ Демьяновичъ въ какую-то яму у самой дороги.

— Не вывернется!

— Очень ужъ прекрасно, что мы объѣздной дорогой!

— Вы находите?

— Какже-съ: таперича мы прямо отъ садовъ, а человѣкъ пятокъ со стороны большого тракта зашлемъ, — куда имъ дѣться?.. Эхъ, важно!..

Катушкинъ даже на сѣдлѣ заерзалъ отъ подступающато нетерпѣливаго волненія.

— Въ «Большомъ фортѣ» тотъ разъ...—началъ-было онъ.

— Тсъ!—предостерегъ одинъ изъ переднихъ.

Невдалекѣ показались два свѣтлыхъ четырехугольника, на которыхъ можно было различить темные переплеты оконъ. Внизу слышно было, какъ тяжело сопѣли и чавкали дремавшіе верблюды; собака рычала въ сторонѣ. Вдоль какой-то стѣны медленно двигался бумажный фонарь, то скрываясь на мгновеніе за толстыми стволами тополей, то появляясь снова.

— Это мы вотъ много выше стоимъ теперь, намъ черезъ стѣну и видно, —объяснялъ Катушкинъ.—Тѣ два окна, что свѣтятся, *его* кабинетъ и есть. Не спитъ еще, значитъ... А правѣе, вонъ чуть трубы видны, то, «приказчичья»; тутъ сейчасъ и Бржизицкаго квартира, намъ ее теперь нельзя за стѣною видѣть!

— Такъ не уйдутъ! — улыбнулся полковникъ, осторожно слѣзая съ лошади.

— Пошли Господи...—шепталъ Иванъ Демьяновичъ.

Человѣка три казаковъ остались при лошадяхъ, остальные, подхвативъ свои шашки, чтобы не звякали даромъ, потихоньку, ощупью, спотыкаясь и чуть не падая, отправились оцѣплять загородную дачу Станислава Матвѣевича.

— Стойте, ребятушки, стойте, голубчики мои, тутъ вотъ калиточка должна быть, я помню!—суетливо говорилъ Иванъ Демьяновичъ, ощупывая руками вдоль стѣны и путаясь ногами въ высокомъ, сухомъ бурьянѣ, выросшемъ у самаго фундамента.—Есть, нашелъ; заперта никакъ!

И онъ легонько потрогалъ желѣзную скобу.

— Становись, Илья, къ самой стѣнѣ, я на тебя, а тамъ черезъ стѣну махну,—шепталъ одинъ изъ казаковъ.

— Оборвешься!

— Да попереться плечомъ—и такъ отскочитъ... а ну-ка!.. Ну еще!...

— Чу!..

Чьи-то шаги послышались за калиткой и остановились.

— Тсъ!—даже присѣлъ на мѣстѣ Катушкинъ, и сердце у него забилось такъ сильно, такъ сильно, что вотъ-вотъ готово было выпрыгнуть изъ-подъ жилета; такъ, по крайней мѣрѣ, казалось самому Ивану Демьяновичу.

— Зашли-ли наши съ той-то стороны?—сомнѣвался кто-то.

— Эвось, сколько времени!

— Кто тамъ?—окликнулъ голосъ со двора.

— Ну, такъ какже?—недоумѣвали казаки.

— Отворяй!—рѣшительно произнесъ Катушкинъ.

— Да кто такіе?

— Отворяй скорѣе... дѣло есть...

— Какое такое дѣло по ночамъ; приходите завтра!

— Навались разомъ! Ну, всѣ вмѣстѣ. У-ухъ!

— Караулъ!

— Бѣгомъ, братцы, за мною бѣгомъ! — перелѣзъ Иванъ Демьяновичъ черезъ сорванную вмѣстѣ съкосяками калитку.— А, ты драться! Сюда, сюда! Вотъ крылечко; за окнами смотри, чтобы не выскочили. Полковникъ самъ гдѣ?

Разбуженные неожиданнымъ шумомъ, приказчики Перловича и служившіе у него туземные работники поднимались на ноги и положительно не понимали, что такое происходитъ передъ ихъ заспанными глазами.

А между тѣмъ Катушкинъ, хорошо зная топографію всѣхъ дачныхъ построекъ, ломился ужъ въ двери квартиры Юлія Адамовича.

Къ его крайнему удивленію, дверь оказалась незапертою и тотчасъ-же уступила усиліямъ отворявшаго. Въ комнатахъ было тихо и, какъ казалось, пусто. Непріятная догадка промелькнула въ головѣ лопатинскаго повѣреннаго. Онъ нащупалъ спички въ карманѣ, черкнулъ. И вотъ изъ мрака мало-по-малу выдѣляются различныя подробности меблировки, освѣщенныя колеблющимся синеватымъ пламенемъ. Столъ письменный съ разбросанными въ безпорядкѣ бумагами, опрокинутый стулъ посреди комнаты, углы какихъ-то шкафовъ, вотъ кровать, застланная одѣяломъ, даже не смятая, неприготовленная даже къ спанью. Ясно, что обитателя не было дома.

«Когда онъ ушелъ: сейчасъ-ли, давно-ли?..—пробѣгало въ головѣ Ивана Демьяновича.—А ну, какъ и на этотъ разъ! Да нѣтъ, не можетъ этого быть: онъ здѣсь, должно быть, у хозяина».

— Вы, ребята, пошарьте здѣсь хорошенечко, вѣдь знаете его, каковъ онъ изъ себя? А я туда... я разомъ... не можетъ быть!..

И онъ, бѣгомъ, еле переводя духъ, пустился черезъ дворъ къ балкону, у котораго все еще ярко свѣтились окна хозяйскаго кабинета.

Ярко горѣла лампа на письменномъ столѣ Станислава Матвѣевича, ярко и весело пылалъ каминъ, до-красна накаливая забытые въ угольяхъ щипцы, во весь ротъ улыбались шафранные китайцы на спущенныхъ шторахъ, мягкимъ разноцвѣтнымъ узоромъ пестрѣли ковры на полу и диванахъ; миріадами металлическихъ искръ сверкало развѣшанное по стѣнамъ туземное оружіе и сбруя, блестѣли полированные бока шкафовъ и этажерокъ. Все смотрѣло какъ-то празднично и уютно. Только самъ хозяинъ составлялъ рѣзкій контрастъ съ обстановкою своего жилища.

Блѣдный, небритый, въ смятомъ парусинномъ пальто и съ всклокоченными волосами, онъ то шагалъ изъ угла въ уголъ по комнатѣ, то садился къ столу и, подперевъ свою пылающую голову, неподвижно уставлялся взглядомъ на карту, разложенную на столѣ и занимавшую чуть не большую его половину. Иногда карандашъ, дрожа и прыгая въ худыхъ пальцахъ Станислава Матвѣевича, чертилъ на этой картѣ какія-то, ему одному понятныя замѣтки. По временамъ онъ судорожно стискивалъ себѣ обѣими руками голову, словно силясь унять этимъ движеніемъ невыносимую боль, или-же, откинувшись назадъ, на спинку креселъ, обдумывалъ что-то и соображалъ, шевеля поблекшими, сухими губами, выдѣлывая руками непонятные жесты.

— Бѣжать, бѣжать, пока еще не поздно!—произнесъ онъ, наконецъ, довольно ясно.

Къ этому рѣшенію онъ пришелъ еще вчера; онъ инстинктивно чувствовалъ, что вокругъ его творится что-то недоброе. Такъ-же, какъ и Бржизицкій, онъ уже нѣсколько дней ме-

тался по городу. Пріятель его, одинъ изъ чиновниковъ губернаторской канцеляріи, даже намекнулъ ему довольно ясно о серьезной опасности; сегодняшняя-же записка Бржизицкаго окончательно рѣшила дѣло.

Весь вечеръ былъ проведенъ надъ картою. Перловичъ изучалъ маршрутъ своего предполагаемаго бѣгства, соображалъ, обдумывалъ; пытливымъ глазомъ вглядывался онъ въ эти кривыя и ломанныя линіи, въ эти красные кружочки—города и кишлаки, въ эти лабиринты горныхъ цѣпей; ему казалось, что онъ видитъ уже новыя страны, пробирается по этимъ чуть замѣтнымъ дорожкамъ. Топотъ погони слышится за плечами... голоса!.. Уйдетъ-ли онъ, доберется-ли вотъ хоть до этого ущелья? А тамъ... А что-же тамъ?—Пустынная, неизвѣстная мѣстность, полудикій народъ.. лишенія... Хорошо еще, если онъ встрѣтится съ Бржизицкимъ, если они доберутся до англійскихъ владѣній. Ну, тогда еще, дѣйствительно, не все потеряно; а если... И у Перловича передъ глазами начали проходить всѣ страшныя сцены плѣна у этихъ дикарей и тяжелаго, безвыходнаго, безконечнаго рабства... И припомнилъ онъ, что давно, уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ слышалъ разсказъ объ этой ужасной жизни, — непосредственно отъ человѣка, лично испытавшаго слышалъ онъ это.

— Какъ холодно... какъ холодно...,—дрожалъ и стискивалъ стучащіе зубы Станиславъ Матвѣевичъ и подсаживался къ самому камину, словно думая этимъ жаромъ унять нестерпимый внутренній холодъ.

То на него находили минуты совершеннаго спокойствія, даже какого-то забытья. Его клонило ко сну, въ ушахъ стоялъ тихій, монотонный звонъ; всѣ предметы колебались передъ его глазами и застилались какимъ-то туманомъ. То вдругъ его охватывало положительное бѣшенство, онъ порывисто вскакивалъ на ноги и, сжавъ кулаки, дико оглядывался, словно искалъ глазами, на комъ-бы это ему все выместить.

Его караванъ-сераи, его склады, начатые громадные обороты, отъ которыхъ предвидятся не менѣе громадные барыши, все это устройство, положеніе,—и все это надо было бросить... Изъ-за чего?—Изъ-за глупой, безсмысленной ошибки подлеца Бржизицкаго...

Если-бы въ эту минуту «подлецъ Бржизицкій» явился въ хозяйскій кабинетъ, врядъ-ли это посѣщеніе обошлось-бы ему.

благополучно; но онъ не могъ явиться. Онъ въ это время находился, можетъ быть, уже далеко... Онъ во-время позаботился о своей личной безопасности и счелъ даже нужнымъ скрыть отъ Перловича настоящій своей слѣдъ, сообщая ему въ извѣстной намъ запискѣ, что, молъ, будетъ поджидать прибытія Станислава Матвѣевича въ Кашгаръ, если ему удастся такъ-же благополучно пробраться черезъ «тіаншанскіе отроги». Въ своемъ-же благополучномъ прибытіи въ Кашгаръ Бржизицкій не сомнѣвался.

«Сто тысячъ, только сто тысячъ»... — возникли въ мозгу Перловича новыя представленія. Это все, что онъ могъ увезти съ собою. Если-бъ зналъ раньше, если-бы онъ могъ мало-помалу обратить все это въ деньги, въ такой видъ, что вотъ, молъ, взялъ все, уложилъ въ маленькій чемоданчикъ, привязалъ за сѣдломъ. И онъ остановился передъ своимъ несгораемымъ шкафомъ, отразившимъ на металлическомъ щитѣ половину его бѣлой фигуры, — остановился и пристально сталъ вглядываться въ эти львиныя бронзовыя морды, закрывающія отверстія безчисленныхъ замковъ и засововъ.

— Ну, вотъ, не можетъ быть... вздоръ!..—произнесъ онъ довольно спокойно, хотѣлъ еще что-то сказать, да горло не пропустило звука, конвульсивно сжавшись, задерживая ускоренное дыханіе... Только похолодѣвшіе пальцы, словно машинально, протянулись къ личинкамъ и стали ощупывать ихъ, быстро перебѣгая съ одной на другую.

Вдругъ онъ засуетился, непонятная энергія охватила все существо. Хитро воткнутый ключъ завизжалъ въ первомъ замкѣ—не подается... къ болтамъ—они не заперты, они только наложены для вида. Сильно потянулъ Станиславъ Матвѣевичъ за скобы; тихо, безъ шуму отворилась тяжелая дверца, и передъ глазами Перловича, освѣщенныя свѣтомъ камина, показались пустыя металлическія полки.

Его предупредили.

Какой-то глухой шумъ несся со двора; за дверью, по голымъ плитамъ пола, зашлепали босыя ноги Шарипа... Говоръ... Звякнуло что-то. За окномъ шелестятъ кусты, лошадь заржала неподалеку.

— Ну, пусти, дуракъ!—спокойно говорилъ за дверью чей-то баритонъ.

— Погоди, нельзя такъ; тюра докладывать велѣлъ. Не ходи!—горячился Шарипъ, загораживая дорогу.

Слышится легкая возня.

— Я очень радъ, господинъ Перловичъ, что засталъ васъ еще на ногахъ и совершенно одѣтымъ—это сократитъ церемонію!—любезно раскланиваясь, говорилъ полковникъ, входя въ распахнувшуюся дверь.

Изъ-за его плечъ виднѣлись еще двѣ офиціальныя фуражки; между ними протискивалась впередъ недоумѣвающая, заспанная физіономія старика Шарипа.

— Я также очень радъ. Благодарю, отъ души благодарю!—сжималъ руку полковника Станиславъ Матвѣевичъ.

Тотъ невольно обернулся, чтобы видѣть, на кого это такъ пристально уставился Перловичъ.

— Итакъ, господа, садитесь, милости просимъ! (Перловичъ говорилъ ровнымъ, беззвучнымъ голосомъ, — говорилъ куда-то въ пространство, ни къ кому особенно не обращаясь, и все сильнѣе сжималъ руку полковника). Садитесь! Мы собрались здѣсь, чтобъ обсудить, главнымъ образомъ, цѣли нашего предпріятія... Ахъ, да... мѣсто для дамъ... я вообще немного стѣсняюсь въ дамскомъ обществѣ... дамы—женщины, онѣ испугали нашего верблюда... Только двое... посреди Кашгара... сто тысячъ за сѣдломъ... Шарипъ! Чаю и вина, и позаботься объ лошадяхъ господина губернатора!

— Вы, кажется, больны? — мягко заговорилъ офицеръ;— Успокойтесь немного. Мы должны сейчасъ ѣхать вмѣстѣ съ вами. Берите вашу фуражку, вотъ она!

— Pardon! Я, кажется, наступилъ на вашъ шлейфъ?

— Да нѣтъ, куда ему уйти? Это пустяки,—слышался все ближе и ближе голосъ Ивана Демьяновича;—пустяки... сегодня еще утромъ въ городѣ видѣли. Вѣроятно, гдѣ-нибудь спрятался. По сараямъ поискать надо, а то по хозяйскимъ комнатамъ. Пропустите-ка, ребята, раздайся! А *самъ-то* на лицо?

И Катушкинъ, запыхавшійся, взволнованный, протискался впередъ, сквозь толпу, собравшуюся у дверей кабинета Станислава Матвѣевича.

Перловичъ выпустилъ руку полковника и, заложивъ руки въ карманы своихъ панталонъ, сталъ медленно прохаживаться по комнатѣ, осторожно переступая черезъ болѣе яркія пятна

ковроваго узора. Его окаменѣвшее съ первой минуты лицо стало какъ-то странно улыбаться. Что-то идіотическое, животное начало проявляться въ этихъ искаженныхъ чертахъ.

Мозгъ его не выдержалъ и на этотъ разъ измѣнилъ своему хозяину.

Рѣшено было не употреблять силы и дать знать въ городѣ о всемъ случившемся. Къ кабинету Перловича приставили часовыхъ; изъ комнаты вынесли все, что могло-бы служить оружіемъ. Казаки ходили на цыпочкахъ, говорили шопотомъ; имъ жутко было прислушиваться къ нелѣпой, безсвязной болтовнѣ несчастнаго.

— Вы думаете, притворяется? — спрашивалъ полковникъ Катушкина, выйдя съ нимъ въ сосѣднюю комнату.

— А кто его знаетъ, «ваше высокоблагородіе», будто какъ и взаправду, а то пожалуй, что... Да вотъ доктора утромъ подъѣдутъ, тѣ порѣшатъ. А то скверно, что самаго настоящаго-то волка изъ рукъ выпустили!

И Катушкинъ подалъ «его высокоблагородію» найденную имъ на столѣ Перловича записку Бржизицкаго.

По прочтеніи этого клочка бумаги продолжать дальнѣйшіе поиски и ворочать вверхъ дномъ все на дачахъ Перловича было совершенно безполезно.

XI.

„Коляска Ивана Илларіоновича теперь свободна“.

Какъ ни хлопотала Фридерика Казиміровна, чтобы выбраться пораньше изъ города, *пока эти мерзавцы не начали таскаться по улицамъ*, но когда изъ воротъ лопатинскаго дома выѣхалъ знакомый намъ дормезъ, солнце поднялось уже надъ проснувшимся Ташкентомъ, и на его базарныхъ площадяхъ и улицахъ съ каждою минутою все разгоралось и разгоралось обыденное движеніе.

Глухо гремѣли по шоссе колеса громаднаго экипажа, навьюченнаго и нагруженнаго сундуками, баулами и чемоданами. Зеленоватыя шторки дормеза были спущены, и только съ одной стороны, съ той, гдѣ находилась Фридерика Казимі-

ровна, по временамъ сквозила небольшая щелка, и виднѣлись толстые, пухлые пальцы, унизанные кольцами и перстнями.

Появленіе на улицахъ этого экипажа, единственнаго во всемъ Ташкентѣ по своимъ размѣрамъ, выкрикиваніе ямщиковъ, особенно передового киргизенка, просто бѣсновавшагося на своемъ сѣдлѣ, не могли не возбудить любопытства всѣхъ, кто только ни встрѣчался на улицахъ. Прохожіе и проѣзжіе останавливались, переглядывались, дѣлая различныя замѣчанія и догадки. А тутъ еще, на одномъ изъ поворотовъ, дорога оказалась загороженною арбами съ клеверомъ; пришлось остановиться на нѣсколько минутъ...

- Какъ ты тамъ ни говори, Адочка, какъ ни разсуждай, а мнѣ все-таки жаль его!—съ чувствомъ говорила маменька.—Какъ-то грустно и тяжело становится на душѣ, какъ подумаешь... Ну, чего смотрятъ, чего глазѣютъ, болваны? Ишь, пальцами показываютъ! Вотъ ужъ не понимаю этого провинціальнаго любопытства!

А красавица-дочь ничего не отвѣчала на замѣчанія своей мамаши. Она была немного утомлена безсонною ночью, проведенною въ сборахъ и укладкахъ, и, откинувшись въ уголъ кареты, дремала подъ эту глухую, ровную стукотню колесъ и дробный перебой копытъ почтоваго шестерика.

Едва они выбрались изъ города, какъ имъ на встрѣчу, изъ-за тріумфальной арки, въ облакахъ пыли, пронеслась открытая коляска,—спереди казаки, съ боковъ казаки, сзади казаки. Въ этой коляскѣ сидѣлъ Станиславъ Матвѣевичъ и съ нимъ рядомъ знакомый намъ штабъ-офицеръ. На передней скамеечкѣ, придерживаясь за скобы козелъ, торчала тщедушная фигурка какого-то жидообразнаго брюнета съ докторскими погонами на плечахъ.

Перловичъ тупымъ, безжизненнымъ взглядомъ уставился въ лицо своего vis-a-vis и ощупью пересчитывалъ пуговицы на докторскомъ кителѣ; полковникъ раскинулся въ коляскѣ «à la Napoléon» и, вытянувъ безцеремонно ноги, съ сознаніемъ необыкновенной важности своего поста, поглядывалъ то искоса на арестованнаго, то вопросительно на доктора, то внушительно на трясущихся и подпрыгивающихъ казаковъ сборной сотни.

— Сто тысячъ одна, сто тысячъ другая, сто тысячъ третья,—бормоталъ Станиславъ Матвѣевичъ,—сто тысячъ четвертая, сто тысячъ пятая...

— Однако, чортъ возьми! И чаю хочется, и закусить хочется, и спать до смерти хочется. Всю ночь напролетъ провозились! — мечталъ полковникъ о предстоящемъ отдыхѣ, по исполненіи возложеннаго на него порученія.

— Кто-же мнѣ теперь за визитъ заплатитъ: изъ слѣдственной-ли комиссіи, или это уже Лопатина дѣло? Терпѣть не могу вотъ эдакихъ неопредѣленностей!— недоумѣвалъ докторъ, все крѣпче и крѣпче придерживаясь за скобы, такъ ужъ его поддавало и подкидывало на его неудобномъ сидѣньѣ.

Наши путешественницы не видѣли этого поѣзда. Едва только заслышанъ былъ вдали стукъ колесъ, Фридерика Казиміровна поспѣшила опустить шторку. Она все еще боялась «враждебной демонстраціи».

— Мнѣ, наконецъ, душно, мама! Долго ты еще будешь закупориваться?—словно проснулась Адель.

— Теперь, я думаю, можно: кажется, мы уже довольно далеко отъѣхали! — сообразила Фридерика Казиміровна.

Раскупорились.

Ярко-зеленыя стѣны садовъ потянулись по обѣимъ сторонамъ экипажа. Безконечно высокіе тополи и развѣсистые карагачи покрывали сплошною тѣнью всю дорогу, еще неуспѣвшую просохнуть отъ ночной росы; изъ-за гребней глиняныхъ стѣнъ выглядывали туземныя дѣтскія головки, смуглыя, въ красныхъ шапочкахъ, сверкающія глазенками и ярко бѣлыми зубами. Арбы и верблюды, попадающіеся на встрѣчу, сворачивали и жались къ сторонамъ; стаи розовыхъ скворцовъ съ шумомъ перелетали съ одной группы деревьевъ на другую. Дормезъ началъ потихоньку спускаться къ «Бо-су», подтормозивъ колеса, и на томъ берегу, въ массахъ темной зелени, показался знакомый уже намъ, изукрашенный мелкою рѣзьбою фасадъ «русской избы».

Два всадника, довольно тучныхъ по очертаніямъ своихъ фигуръ, распустивъ поводья, какъ-то сутуловато сидя на своихъ сѣдлахъ, виднѣлись на поворотѣ или, правильнѣе, надъ поворотомъ, потому что они находились на довольно высокомъ обрывѣ, у подошвы котораго пролегала самая дорога. Лошадь

подъ однимъ изъ всадниковъ, развѣсивъ уши, мотала головою и отфыркивалась отъ какого-то. слишкомъ ужъ назойливаго овода; подъ другимъ — спокойно обкусывала себѣ молодые, желтоватые побѣги ближайшаго куста и забиралась все дальше и дальше въ чащу, такъ что всадникъ принужденъ былъ потянуть, наконецъ, за поводъ и этимъ хотя сколько-нибудь унять расходившіеся порывы утренняго аппетита своей лошади.

— Адочка! Смотри, смотри скорѣе! — заволновалась Фридерика Казиміровна.

— Что такое? Чего ты это такъ?

— Лопатинъ! Смотри, вонъ стоитъ! И съ нимъ этотъ... Что, что, что я тебѣ говорила? Видишь теперь, какъ этотъ человѣкъ умѣетъ чувствовать. Развѣ остановиться на минуту?

— Это его дѣло, а не наше!

— Ну, отчего-же? Эй, послушай! Стой! Постой, придержи лошадей! — крикнула ямщику madame Брозе, торопясь спустить стекло передняго окна.

Дормезъ остановился: Лопатинъ и Катушкинъ начали спускаться съ обрыва.

— О, какъ вы добры, Иванъ Илларіоновичъ, какъ вы великодушны! — запѣла Фридерика Казиміровна

Иванъ Илларіоновичъ раскрылъ было ротъ, хотѣлъ было сказать что-то,—и вдругъ учащенно заморгалъ глазами и поспѣшилъ вытереть себѣ носъ перчаткою.

— Что-жъ! Такъ, значитъ, Господу Богу угодно! — поспѣшилъ ему на помощь Иванъ Демьяновичъ.—И все это къ общему благополучію. Мы, значитъ, сами по себѣ, вы тоже ни въ чемъ въ обидѣ не состоите. Всякаго вамъ счастія и благополучія во всѣхъ начинаніяхъ; главное — пошли, Господи, здоровья! Трогай, братецъ!—закончилъ онъ свою рѣчь, кивнувъ ямщику.

— Стой! Стой! Стой!—послышалось внутри дормеза, но этотъ голосъ былъ покрытъ грохотомъ экипажа, въ карьеръ подхваченнаго шестерикомъ на крутой подъемъ противоположной стороны оврага.

Когда экипажъ былъ на самомъ уже верху, то на мгновеніе еще разъ показались обѣ верховыя фигуры.

Иванъ Илларіоновичъ подсмаркивалъ носомъ,—ужъ очень щекотали тамъ бѣжавшія по его опухшему лицу слезинки,—

и махалъ своею фуражкою. Фридерика Казиміровна поспѣшила поднести платокъ къ глазамъ. Адель откинулась назадъ, въ самый уголъ дормеза, и начала отыскивать въ своемъ карманѣ коробочку съ мятными лепешками. Она вдругъ почувствовала припадокъ тошноты. Вѣроятно, опять какія-нибудь воспоминанія произвели это непріятное дѣйствіе.

въ тотъ-же день, послѣ обѣда, Иванъ Илларіоновичъ получилъ маленькую трехугольную записочку, отъ которой за нѣсколько шаговъ пахло ванилью и розами.

«Что такое?» — подумалъ онъ, понюхалъ, присмотрѣлся къ почерку и распечаталъ, но мало повозившись-таки съ хитро сложеннымъ конвертомъ.

«Добрѣйшій и любезнѣйшій
Иванъ Илларіоновичъ!»

«Мнѣ очень пріятно было-бы покататься сегодня въ вашей прелестной коляскѣ; я немножко прихворнула, и докторъ запретилъ мнѣ на нѣкоторое время прогулку верхомъ».

«Ваша коляска, кажется, *теперь свободна*, и я вполнѣ увѣрена, что вы не затруднитесь исполнить эту маленькую просьбу.

Все та-же М. Л.»

— Видишь, братецъ?—протянулъ Лопатинъ эту записочку Ивану Демьяновичу.

— Вижу-съ!—улыбнулся Иванъ Демьяновичъ.

— Понимаешь, къ чему дѣло идетъ?

— Какъ не понять!

— Послать, что-ли?

— Чего-съ?

— Коляску-то?

— Что-же, поразвлекитесь немножко, оно очень вамъ полезно будетъ въ теперешнемъ вашемъ душевномъ состояніи!

— Ну-да, да, я и самъ такъ думаю!

— Ежели ужъ нельзя обойтись, то, во всякомъ случаѣ, *эта статья*, по нашему коммерческому дѣлу, много подходящѣе будетъ!

Лопатинъ сдѣлалъ распоряженіе приготовить къ вечеру его щегольскую коляску.

XII.

Каракольскіе рудники

Дѣло Бурченко послѣ описанныхъ нами событій не клеилось. Только малороссійская настойчивость и упрямство удерживали его на мѣстѣ работъ. Не разъ уже ему приходила въ голову идея либо бросить дѣло, либо начать хлопотать объ офиціальной поддержкѣ; съ нескрываемой грустью поглядывалъ на всѣ эти груды взломаннаго камня, на эти холмы вырытой земли, на эти зіяющія отверстія шахтъ, изъ которыхъ бѣлѣли крестообразные брусья скрѣпъ и подпорокъ.

«А что, развѣ и въ самомъ дѣлѣ? думалъ онъ—и тутъ-же самъ разбивалъ въ дребезги возникшее въ его головѣ предположеніе.—Эхъ, да что толку. Ну, пришлютъ казеннаго инженера, пришлютъ роту пѣхоты, казаковъ полсотни. Укрѣпленіе, пожалуй, еще возведутъ, какое ни на есть! Этихъ-то, настоящихъ работниковъ, спугнутъ съ насиженныхъ мѣстъ, тогда изъ кишлаковъ горныхъ уже никто ни ногой, развѣ въ базарный день, разъ въ недѣлю.

Ледоколовъ изъ кожи лѣзъ, лишь-бы усердіемъ и своимъ знаніемъ хотя какъ-нибудь поддержать испорченное имъ дѣло. Онъ положительно надрывался надъ работами и рысканьемъ для вербовки вольныхъ рабочихъ.

А этихъ-то вольныхъ рабочихъ съ каждымъ днемъ становилось все менѣе и менѣе. Они уходили часто такъ, сами по себѣ, не предупредивъ «русскихъ уста» (мастеровъ), не сказавъ даже слова, и уносили съ собою свои инструменты, а подчасъ даже и хозяйскіе.

Прошла еще недѣля—и остались только тѣ, кто положительно не зналъ, гдѣ-бы ему чего-нибудь поѣсть,—остались единственно только потому, что каждый день, въ большомъ котлѣ, вдѣланномъ въ камни у самаго обрыва «Караколъ», варилось нѣсколько фунтовъ рису, и торчала какая-нибудь верблюжья или лошадиная кость,—все, чѣмъ только могъ кормить ихъ Бурченко, кошелекъ котораго тощалъ въ наводящей уныніе прогрессіи.

Къ чести «русскихъ уста» надо отнести то обстоятельство, что они не позволяли себѣ лично имѣть другой столъ, кромѣ

общаго котла; жидкій кирпичный чай по утрамъ—это вся роскошь, которую они допускали въ отношеніи своихъ желудковъ.

— Скверно!—вздыхалъ Бурченко.

— Ну, еще, можетъ быть, справимся. Придетъ неожиданный переломъ, дѣло обернется къ лучшему!—бравировалъ, впрочемъ, весьма унылымъ тономъ, Ледоколовъ. — Случается, что вотъ, думаешь, совсѣмъ плохо, а...

— Что-же, съ небесъ, что-ли, свалится? Повѣрьте, если и свалится что-нибудь сверху, такъ развѣ вонъ тотъ кряжъ. Его что-то ужъ очень подмываетъ за послѣднее время. Я вотъ ходилъ смотрѣть послѣ той бури: сомнительно, шибко сомнительно!

— Обвалъ насъ, во всякомъ случаѣ, не задѣнетъ!—и тутъ попытался сунуться съ утѣшеніемъ Ледоколовъ.

— Вчера еще четверо ушли, сегодня въ ночь двое... Осталось...

— Девять человѣкъ осталось,—цѣлыхъ девять человѣкъ. Это чего-нибудь да стоитъ!

— Ничего-таки не стоитъ!

И не могъ не согласиться Ледоколовъ, что оставшіеся девять человѣкъ лѣнивыхъ бродягъ, работающихъ только изъ-за того, чтобы ихъ подпустили къ котлу, дѣйствительно ничего не стоятъ при дѣлѣ, гдѣ еще полторы недѣли тому назадъ двѣсти кипменей и лопатъ поднимали стукотню на всю каракольскую лощину.

Сегодня рано утромъ подошелъ къ Бурченко одинъ изъ работниковъ, послѣдній ташъ-огырецъ, и, опустивъ кипмень на землю, сказалъ:

— Ты, братъ, уходи лучше!

— Что такъ?—приподнялся на локоть Бурченко.

— Видѣлъ, ночью трое нашихъ съ той стороны приходили?

— Ну?

— Такъ вотъ они сказали намъ такое слово, что вамъ уходить надо—тебѣ и тому бородатому. Куда это онъ поѣхалъ?

— Неподалеку; что-же они тебѣ сказали такого?

— Не мнѣ одному, всѣ слышали. Ты говоришь, неподалеку, — куда-же именно, въ какую сторону?

И работникъ поглядѣлъ внизъ по Караколу, гдѣ между двумя темносиними скалами виднѣлась бѣлая зубчатая полоса далекихъ ледниковъ.

— Какъ-бы онъ не попался! Если теперь онъ тамъ... гмъ!—началъ онъ соображать вслухъ и чесать своими черными, заскорузлыми пальцами широкій, потный затылокъ.

— Да ты говори толкомъ, что обиняками закидываешь?—поднялся совсѣмъ на ноги Бурченко, заинтересованный соображеніями ташъ-огырца.

— Назаръ-бараптачъ идетъ со своими шайками; человѣкъ сто будетъ, вотъ что! Можетъ, сегодня къ ночи нашими мѣстами проходить будетъ, а можетъ, еще... Гляди, вонъ ѣдетъ!

Даже поблѣднѣлъ малороссъ отъ такой неожиданности и при словѣ «ѣдетъ» схватился за оружіе.

— Не Назаръ, погоди еще! — усмѣхнулся работникъ.—Твой тамыръ ѣдетъ; вонъ онъ съ горы, за красными камнями, спускается!

И дѣйствительно, вдали, по тропѣ, вьющейся между темнокрасными грудами желѣзистой почвы, бѣлѣлъ широкій плащъ Ледоколова, во всю прыть коня спускающагося къ ручью.

Въ безопасную минуту, когда никто не гонится сзади, когда не слышно за спиною топота вражескаго коня, никтобы не рискнулъ такъ галопировать по этой опасной дорогѣ.

Бурченко невольно почуялъ близость тревоги. Даже Каримъ взялся за сѣдло и покосился въ ту сторону, гдѣ стоялъ на приколѣ сѣрый конь—подарокъ муллы Аллаяра.

— Бѣда, бѣда!—еще издали кричалъ Ледоколовъ.—Назаркины люди Ташъ-Огыръ прошли; я самъ четырехъ «казылъ-чапанъ» (красный кафтанъ) видѣлъ,—чуть-было не попался!

Взмылился конь Ледоколова, и переднія ноги дрожали отъ скачки по горнымъ дорогамъ.

— А что они намъ сдѣлаютъ: взять у насъ нечего!—пожалъ плечами Бурченко.

— Если-бы всѣ рабочіе, что прежде работали, на лицо состояли, мы-бы не побоялись назаркиной сволочи, а теперь...

— А теперь мы-то уйдемъ, а васъ заберутъ всѣхъ троихъ и погонятъ туда, откуда уже не вывернетесь!—оскалилъ зубы ташъ-огырецъ, сплюнулъ табачную жвачку и пошелъ-себѣ, не

простившись, по той самой тропинкѣ, на которой еще виднѣлись кованые слѣды ледоколовской лошади.

Не прошло и четверти часа, какъ еще гонецъ прискакалъ на каракольскіе рудники. Это былъ посланный отъ муллы Аллаяра изъ Ташъ-Огыра. Очень лаконическую вѣсть принесъ онъ—только два слова было въ этой вѣсти.

«Уходите скорѣе»,—вотъ все, что прислалъ имъ сказать Аллаяръ, и въ доказательство того, что это именно идетъ отъ ташъ-огырскаго старшины, гонецъ вынулъ изъ кожанаго гамана маленькую сердцеобразную печать, которую и оттиснулъ сейчасъ-же на холодномъ кусочкѣ бараньяго сала.

Печать оказалась знакомою, какъ Бурченкѣ, такъ и его товарищу, и сомнѣваться не представлялось никакой возможности.

— Сѣдлай, Каримъ, лошадей!—вздохнулъ, глубоко вздохнулъ малороссъ и отвернулся лицомъ на сѣверъ, чтобы не видѣть того, что ему такъ трудно, такъ тяжело было оставить.

— Мясо-то не забирай съ собою: намъ оставь! —окружили его оставшіеся рабочіе, оборванные, полуголые, съ худощавыми, скуластыми лицами какого-то буроватаго, землистаго цвѣта.

— А куда мнѣ его?— Берите, жрите на здоровье!

И Бурченко указалъ на распяленную на шестахъ красную тушу вчера только зарѣзаннаго верблюда.

Дня три тому назадъ, въ десяти верстахъ отъ рудниковъ, проходилъ караванъ изъ Андижана. Одинъ изъ верблюдовъ оступился, рухнулъ внизъ, сажень на пять высоты, и переломалъ себѣ ноги. Издыхающее животное куплено было малороссомъ за безцѣнокъ, и его мясо было послѣднимъ подаркомъ отъ «русскихъ уста» несчастнымъ, проголодавшимся горцамъ-бездомникамъ.

Скоро собрался печальный караванъ изъ трехъ всадниковъ и одного вьючнаго верблюда и потянулся къ сѣверу, уходя отъ «кызылъ-чапановъ» страшнаго «Назара-Кула».

И въ этотъ-же день, только-что солнце спустилось къ горамъ, и понизу начали темнѣть глубокія лощины, на Караколъ нагрянули «кызылъ-чапаны».

Съ любопытствомъ дикарей бродили джигиты-барантачи по рудникамъ, осматривали все, руками трогали для большей на-

глядности и никакъ не рѣшались спуститься внизъ по лѣстницамъ въ эти черные, зіяющіе провалы, откуда, казалось имъ, вотъ-вотъ, въ массахъ краснаго огня, вылетитъ разная, напущенная гяурами, чертовщина. Наивныхъ разбойниковъ особенно интересовалъ и смущалъ забытый впопыхахъ Ледоколовымъ испорченный барометръ-анероидъ.

— Не тронь!—остерегалъ одинъ кызылъ-чапанъ другого.— Какъ хватитъ во всѣ стороны—будешь тогда знать! Брось его на землю!

— Шайтанлыкъ (чертовщина), одно слово; рукъ не погань, брось!

А на другомъ концѣ, на выѣздѣ, собралась густая толпа около двухъ смѣльчаковъ-работниковъ, рискнувшихъ остаться на мѣстѣ и выжидать прибытія шайки.

— Такъ, что ты говоришь, чего *они* здѣсь искали, подъ землею-то? — спрашивала стальная кольчуга, придерживая одного изъ работниковъ за воротъ—для вѣрности, должно быть.

— Какъ же это вы, собаки поганыя, уйти имъ дали, а?..—горячилась рогатая войлочная шапка, тряся за воротъ другого.

— А поди, тронь ихъ, какъ же! — оправдывался работникъ.—Мы было сунулись къ нимъ, а они только плюнули въ нашу сторону,—мы и попадали на землю. Ну, кто-то ноги такъ и подкосилъ... Не попусти мнѣ Аллахъ никогда больше ѣсть баранины!

— Развѣ пойдешь противъ самого шайтана? А они его родныя дѣти!—собирался въ свое оправданіе врать другой.

И барантачи убѣдились, что, дѣйствительно, противъ самого шайтана ничего не подѣлаешь. Одно только удивляло ихъ: отчего эти шайтановы дѣти отъ нихъ удрали, если имъ стоитъ плюнуть, чтобы подкосились вражескія ноги?

Впрочемъ, этотъ непонятный страхъ тѣшилъ самолюбіе барантачей, и они не тревожили больше оставшихся на мѣстѣ работниковъ, изъявившихъ желаніе на другой день идти вмѣстѣ со всею шайкою.

А черезъ недѣлю послѣ этого событія тревожные слухи, съ быстротою электрической искры, разнеслись по всему Ташкенту и его окрестностямъ; говорили, что въ Манкентѣ ночью

сдѣлано нападеніе на почтовую станцію, будто-бы зарѣзанъ тамъ проѣзжавшій какой-то казачій офицеръ, уведены въ плѣнъ двое русскихъ, служившихъ при этой станціи. На Черчикѣ, во время переправы, чуть было не попался въ руки баранта-чамъ даже самъ уѣздный начальникъ. Въ другомъ кишлакѣ порѣзали русскихъ сборщиковъ податей; разбойники прошли даже дальше и появились на большомъ почтовомъ трактѣ, у станціи Апыръ. Слухи эти, мало-по-малу, оказывались справедливыми.

Высланы были немедленно небольшіе конные отряды для противодѣйствія разбойникамъ. Въ городѣ засуетились.

Новый слухъ пробѣжалъ по Ташкенту и возбудилъ еще болѣе толковъ и говору: мадамъ Брозе и ея красавица-дочь не избѣгли рукъ назаркиныхъ кызылъ-чапановъ... Передавались даже всѣ мельчайшія подробности этого ужаснаго событія. Словно кто-нибудь былъ на мѣстѣ происшествія и видѣлъ своими глазами разыгравшуюся драму.

Какъ громовымъ ударомъ, пораженъ былъ Иванъ Илларіоновичъ этою вѣстью; онъ сразу даже не понялъ, не сообразилъ, въ чемъ дѣло, и нѣсколько минутъ сидѣлъ, словно ошалѣлый, поводя во всѣ стороны безсмысленными глазами. И вотъ на этихъ глазахъ заблистало что-то, налилось въ крупныя капли, потекло по щекамъ...

— Что-же убиваться изволите, Иванъ Илларіоновичъ: развѣ это отъ васъ? Воля Божья, значитъ!—сунулся было съ утѣшеніемъ Катушкинъ.

— Загубилъ я ее, загубилъ!—зарыдалъ Лопатинъ и припалъ лицомъ на шитую шелками диванную подушку.

И—странная случайность!—Отъ этой подушки, отъ вышитаго на ней букета китайскихъ розъ и фантастическихъ лилій пахнуло на него запахомъ резеды—преимущественными духами хорошенькой архитекторши.

XIII.

„Это она“.

— Вонъ тамъ, внизу, давно-ли ѣхали, часа два не больше, тепло такъ было, славно, а здѣсь... бррр!

И Бурченко передернулъ плечами подъ своимъ плащемъ изъ верблюжьяго сукна и затискалъ плотнѣе полы между сѣд-

ломъ и колѣнями, чтобы не такъ продувалъ снизу сыроватый, пронизывающій горный вѣтеръ.

— Это только пока за тотъ уступъ переберемся, а тамъ опять будетъ затишье... Однако, чортъ возьми, дѣйствительно прохватываетъ!

И Ледоколовъ тоже началъ поправлять свой плащъ и башлыкъ, пріостановивъ лошадь и повернувъ ее спиною къ вѣтру, такъ что пушистый хвостъ его коня путался между заднихъ ногъ и хлесталъ по брюху.

— Закурили?

— Не могу сладить: все тухнутъ... Фу, ты, проклятый вѣтеръ!

— Постойте, у меня, кажется, удачнѣе дѣло идетъ. А, готово! Хотите?

— Благодарю. Ну, однако, надо погонять... Что у васъ, хромаетъ никакъ?

— Кажется, засѣкся немного. Ну, не бойсь, чего ушами прядешь!

И пріятели подбавили ходу, чтобы хотя къ ночи успѣть пройти за перевалъ, гдѣ они ожидали найти относительное затишье

Какъ ни крѣпился Бурченко, какъ ни представлялъ себѣ, что дѣло ихъ не выгорѣло, что его надо бросить, что самое лучшее—и не возвращаться болѣе «на погорѣлое мѣсто», какъ шутливо самъ-же онъ называлъ преждевременно скончавшіеся «каракольскіе рудники»,—однако, не выдержалъ и, тронувъ Ледоколова за плечо, произнесъ:

— А что, не съѣздить-ли намъ?

— Куда?

— Гмъ, куда! Провѣдать, посмотрѣть, что тамъ и какъ; можетъ, завалили ихъ эти казалы-то, а можетъ быть, и все въ порядкѣ!

— А попадемся?

— Мы осторожно: ночью, что-ли... два всадника всегда могутъ такъ пробраться, что никому и въ глаза не бросятся. Вотъ разъ мнѣ случилось тоже вотъ такъ, вдвоемъ: поѣхали мы—я да еще одинъ топографъ такой неважный...

И Бурченко для примѣра привелъ одинъ изъ безчисленныхъ эпизодовъ своего шатанья по горамъ и долинамъ.

— Да что-же, поѣдемъ!

— Знаете, можетъ быть, въ Ташъ-Огыръ проѣхать можно. Поговорю опять съ пріятелемъ Аллаяромъ,—кто знаетъ, народъ вѣдь такъ думаетъ: сегодня одно, а завтра — другое. Больше, откуда вѣтеръ дуетъ... Да вы не улыбайтесь: случаются такія неожиданныя вещи!

А Ледоколовъ еще шире улыбнулся и готовъ былъ, что-называется, фыркнуть, потому что вспомнилъ, какъ дня три тому назадъ совершенно въ томъ-же духѣ утѣшалъ своего пріятеля, увѣряя его, что всегда можетъ случиться что-нибудь такое непредвидѣнное, и прочая, и прочая.

Велѣли Каримкѣ осѣдлать своихъ лошадей, забрали у маркитанта провизіи дня на четыре, не больше, сѣли и поѣхали, никому въ укрѣпленіи не сообщивъ о цѣли своей поѣздки.

Прислалъ уѣздный начальникъ казака спросить, куда это господа частные инженеры собираются ѣхать? Онъ видѣлъ изъ окна своей квартиры, какъ Бурченко приторачивалъ къ сѣдлу походные чемоданчики.

— Такъ, прогуляться!—удовлетворилъ любопытство начальника Ледоколовъ.

— Неподалеку!—пояснилъ отъ себя Бурченко, садясь на лошадь.—Въ горы!

И вотъ теперь-то Ледоколовъ съ Бурченко ѣхали посмотрѣть на свое пепелище и попытаться еще разъ оживить совсѣмъ уже умершее на видъ дѣло.

Добрыхъ шесть часовъ ѣзды осталось имъ до караколь скаго ущелья. А уже дѣло становилось къ вечеру. Сырой, жидкій туманъ полосою сползалъ съ горъ и мелкимъ дождемъ наискось несся на встрѣчу путешественникамъ. Унылый гулъ вѣтра слышался въ далекихъ ущельяхъ. Все небо затянуло сизыми, тяжелыми тучами. Горные орлы-ягнятники забились въ свои расщелины, гдѣ чернѣлись ихъ косматыя гнѣзда, усѣянныя кругомъ бѣлѣющими костями козлятъ и горныхъ куропатокъ. Даже аркары, и тѣ не виднѣлись больше на вершинахъ торчащихъ особнякомъ скалъ, а попрятались съ своими самками и ягнятами въ болѣе безопасныя убѣжища. Все предвѣщало сердитую непогоду, собирающуюся разыграться во всемъ своемъ грозномъ величіи.

— Раньше, какъ на Караколѣ, негдѣ укрыться!—рѣшилъ

Бурченко. — Во всякомъ случаѣ, ночевать уже будемъ на мѣстѣ.

— Доѣдемъ-ли мы, какъ стемнѣетъ? — сомнѣвался Ледоколовъ.

— Хотя за полночь, но доѣдемъ: дорога знакомая.

И восемь кованыхъ конскихъ ногъ дружно работали по каменистой дорогѣ подъ глухой, монотонный акомпаниментъ усиливающагося ливня.

Два яркихъ костра пылали на самомъ берегу Каракола, и далеко разбѣгались во всѣ стороны лучеобразныя, колеблющіяся полосы краснаго свѣта. Десятка два лошадей, засѣдланныхъ, навьюченныхъ по дорожному, стояли на приколахъ, поодаль одна отъ другой. У огней толпились темныя фигуры, заслоняя ихъ своими силуэтами, слышался громкій говоръ, выкрикиванія муллы, нараспѣвъ гнусившаго какіе-то стихи изъ корана, злобно взвизгивалъ статный жеребецъ, покрытый полосатою попоною, норовящій какъ-бы половчѣй лягнуть въ бокъ своего сосѣда.

Это остановилась на ночлегъ шайка «кызылъ-чапановъ», возвращавшаяся съ своего удачнаго набѣга.

Удачнымъ ихъ набѣгъ можно считать уже потому, что, во-первыхъ, число барантачей уменьшилось только на четыре человѣка, между тѣмъ какъ частенько случалось, что изъ шайки въ сорокъ человѣкъ возвращалось только четыре, Богъ-вѣсть, какими судьбами уцѣлѣвшіе «батыря». Во-вторыхъ, еще потому, что, кромѣ ихъ верховыхъ коней, на длинныхъ чумбурахъ стояло еще съ десятокъ благопріобрѣтенныхъ лошадей и штукъ шесть верблюдовъ, навьюченныхъ почти-что по самыя уши. Что было въ этихъ вьюкахъ, накрытыхъ отъ непогоды и пыли широкими узорными войлоками, Аллахъ вѣдаетъ. Вѣрнѣе спросить: чего только тамъ не было. А главное, что составляло вѣнецъ всей добычи, это были вонъ тѣ темныя, закутанныя съ головою фигуры, неподвижно, словно не живые люди, а какіе-то камни, полулежащія на разостланномъ у огня коврѣ—гилямѣ.

Давно уже, еще съ вечера, шайка пришла на Караколъ

и теперь только выжидала разсвѣта, чтобы тронуться снова въ дорогу.

Лошади уже выкормились и отдохнули, торбы съ ячменемъ давно уже сняты были съ ихъ сухихъ, породистыхъ мордъ. Джигиты тоже все уже изъ общаго котелка вылокали, и только одинъ красный халатъ, очищая посуду, чтобы привязать ее снова къ сѣдлу, усердно сбиралъ пальцемъ съ краевъ закопченнаго котла побѣлѣвшіе остатки застывшаго сала. Кунганчики чайные тоже были убраны. Даже выспаться успѣли барантачи, а если и растягивала кое-кому рты конвульсивная зѣвота, такъ это было скорѣе вліяніе сырости и холода ночи, чѣмъ навязчивый позывъ къ сладкой, неотразимой дремотѣ.

Совершенно спокойно расположились барантачи въ каракольской лощинѣ; они и не подозрѣвали, что за ними, изъ боковой разсѣлины, зорко наблюдаютъ четыре посторонніе, враждебные глаза.

Ничкомъ, совершенно растянувшись на мокрой землѣ, притаившись за вывороченными каменными глыбами, лежали Бурченко съ Ледоколовымъ и выжидали, скоро-ли уберутся «эти бродяги» и уступятъ имъ свое мѣсто. Уже съ добрый часъ, какъ подползли они сюда. Толстые плащи не пропускали мокроты, и каменистая почва успѣла уже нагрѣться нѣсколько подъ ихъ тѣлами.

Лошадей они оставили версты на полторы сзади, тоже въ удобномъ мѣстѣ; Бурченко не рискнулъ держать ихъ ближе: онъ совершенно справедливо опасался, что онѣ своимъ ржаніемъ и фырканьемъ выдадутъ непріятелю ихъ присутствіе.

— Что-же, долго это мы созерцать ихъ будемъ?—шепталъ Ледоколовъ.

— Погодите, они скоро уйдутъ. Вонъ, уже собираются. Видите, приколы вытягиваютъ. Эка, награбили, эка, награбили сколько!

— Смотрите, смотрите, плѣнные есть!—волновался Ледоколовъ.—Вонъ совсѣмъ почти голый, вонъ связанный на брюхѣ лежитъ. Вонъ еще, кажется!

— Женщины!

— Да, да. Несчастныя, экъ, ихъ закутали! Это ихъ такъ, за сѣдлами, и поволокутъ?

— А то какъ-же?

Кое-кто изъ джигитовъ оправили уже своихъ лошадей и начали садиться. У одной вьючной лошади, только-что успѣли тронуться съ мѣста, лопнула веревка, охватывающая весь вьюкъ снаружи. Лошадь подбрыкнула; одѣяла стеганыя, полосатыя, тканыя, различная одежда, какая-то мѣдная утварь—посыпалась, на землю. Послышались крики, сумятица; наконецъ, сладились.

— Что съ вами, что съ вами?—озадачился Бурченко, взглянувъ на фигуру своего сосѣда. — Да что-же такое, говорите! Осторожнѣе, сумасшедшій!

И онъ съ силою схватилъ Ледоколова за шею и попытался пригнуть къ землѣ, чтобы спрятать эту полупомѣшанную, блѣдную, дрожащую отъ волненія фигуру, до половины поднявшуюся надъ камнями-баррикадами.

Одну изъ плѣнныхъ женщинъ въ эту минуту сажали на сѣдло. Два дюжихъ джигита подняли ее на рукахъ, усадили верхомъ на крупъ лошади, а третій джигитъ, уже сидѣвшій на этомъ-же конѣ, размоталъ чалму и приготовился припоясать несчастную къ своему поясу.

Не сопротивлялась несчастная усиліямъ разбойниковъ, хотя ея нѣжныя, бѣлыя руки были совершенно свободны. Она только, и то какимъ-то машинальнымъ движеніемъ, поправила волосы, выбившіеся изъ-подъ платка и закрывшіе ея лицо. Она открыла это лицо,—на одно только мгновеніе открыла его. Не то слеза, не то свѣтъ костра сверкнулъ въ этихъ большихъ, темныхъ глазахъ, окруженныхъ густою синевою.

— Это она... это она!—неистово, вскрикнулъ Ледоколовъ, рванулся, вскочилъ на ноги и ринулся впередъ, ничего передъ собою невидя, потерявъ всякое сознаніе.

— Несчастный!—схватился за голову Бурченко.

Не сразу понялъ онъ, что такое произошло передъ его глазами, тамъ, внизу, между двухъ разметанныхъ, полупотухшихъ костровъ разбойничьяго бивуака.

Вслѣдъ за этимъ отчаяннымъ, потрясающимъ душу воплемъ послышались тревожные, гортанные крики барантачей. Двѣ или три лошади шарахнулись съ перепугу, вырвались,

смяли державшихъ и, задравъ хвосты, трепля свои вьюки, поскакали по ущелью. Нѣсколько выстрѣловъ коротко стукнули, замолкли на мгновеніе и гулко зарокотали по горамъ, подхваченные эхомъ. Съ визгомъ защелкали по камнямъ неизвѣстно кѣмъ, неизвѣстно куда пущенныя пули.

Да и сами барантачи не сразу поняли, въ чемъ дѣло; особенно одинъ, приземистый, кривоногій «китабецъ», съ комичнымъ недоразумѣніемъ на своемъ широкоскуломъ, изуродованномъ оспою лицѣ, посматривалъ то на свою саблю (клынчъ), то на лежавшее передъ нимъ навзничь, конвульсивно вздрагивающее въ послѣдней агоніи тѣло.

— И когда это я ее изъ ноженъ выволокъ? — косился джигитъ на кривой, серпообразный клинокъ, по глубокимъ, прорѣзнымъ доламъ котораго струились и сбѣгали буроватыя, липкія капли.—Экъ, я его свиснулъ, го-го-го! А зачѣмъ?

— Да, зачѣмъ?

— Да вѣдь не я одинъ, кажется! Ловко пришлось...

И джигитъ, нагнувшись къ тѣлу Ледоколова, ощупывалъ пальцемъ кровавые рубцы его расколотаго черепа.

— Словно живымъ не могли взять! — пожалъ плечами другой. — Чего обрадовались! Насъ много, онъ одинъ—связать арканомъ, да и все тутъ...

— Самъ ножемъ пырнулъ!

— Гдѣ? У меня и ножа-то въ рукахъ не было!

— А вонъ изъ-подъ ребра торчитъ!

— И откуда это *онъ* выскочилъ?

— А чортъ его знаетъ, откуда!

— Изъ ямъ, вонъ тѣхъ, что русскіе колдуны нарыли. Вонъ оттуда и выскочилъ. Я самъ видѣлъ!—горячился бараній малахай и суетливо указывалъ на темныя отверстія шахтъ, виднѣвшіяся сквозь предразсвѣтную дымку.

— Нѣтъ, не изъ ямъ, а вонъ откуда! — тряхнулъ головою джигитъ въ кольчугѣ.

— Я тамъ еще что-то видѣлъ, да одному пойти посмотрѣть боязно!

И джигитъ покосился въ ту сторону, гдѣ теперь уже совершенно ясно были видны камни, служившіе прикрытіемъ нашимъ инженерамъ.

Началось совѣщаніе.

Осторожно, съ трехъ сторонъ зашли барантачи, осмотрѣли все мѣсто, даже камни съ мѣста своротили, переглянулись и торопливо пошли прочь, къ лошадямъ, стороною обходя окровавленное тѣло.

А Бурченко въ это время успѣлъ уже, сначала ползкомъ на брюхѣ, а потомъ бѣгомъ, согнувшись въ полъ-фигуры, уйти изъ опаснаго пункта и, едва переводя духъ отъ усталости и волненія, невольно дрожавшими пальцами распутывалъ какъ нарочно затянувшіяся въ узелъ поводья.

К О Н Е Ц Ъ

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

стр.

I. Чуть-чуть не застрѣлился 3
II. Письма издалека. 19
III. Грузъ баржи № 9, подъ литерами И. Л. 29
IV. Обитательницы 26 № гостинницы подъ фирмою „Отель Европа“ 40
V. Въ Губерляхъ 56
VI. „Энергическія мѣры“ 78
VII. Всадникъ, хорошо знающій свое дѣло 96
VIII. Вагенбургъ въ саксаулѣ, ... 106
IX. Ренегаты 119
X. Новыя лица 133
XI. Грозныя вѣсти 143
XII. Курьезный документъ. 151
XIII. Образцы самаго точнаго перевода съ киргизскаго языка на русскій 165

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I. Негоціанты 192
II. Въ пріемной у губернатора. 199
III. Розовыя мечты 205
IV. Бурченко и его предложеніе 215
V. „Бѣдный. наивный ребенокъ“. 222
VI. „Отъ скуки больше“ 232
VII. Какого рода вьюки привезены были въ Большой фортъ киргизами ауловъ Термекъ-бесъ 240
VIII. Улики накопляются. 251
IX. На базарѣ. 257
X. Купцы изъ „Кэрмине“ 274
XI. На пристани 288
XII. За дверями 304
XIII. Соперники. 312
XIV. 352
XV. . . . . —
XVI. Гроза на горизонтѣ. . . . . —

стр.
XVII. „Гидальго“ 334
XVIII. Нравственная сдѣлка 343
XIX. Случайная встрѣча 352
XX. Во тьмѣ ночной 360
XXI. Въ горахъ 371
XXII. Тревожные слухи 381
XXIII. На дорогѣ 385
XXIV. Опять въ саду. 393

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I. Кишлакъ Таръ-Огыръ 404
II. Рѣчь Бурченко 415
III. Критическое положеніе 424
IV. Старая лисица. 433
V. Грозовыя тучи уже надъ головой 443
VI. Недоразумѣніе, ... 450
VII. „Потому — шабашъ!“ 462
VIII. Тревога и побѣгъ 470
IX. Сборы 483
X. Арестъ 488
XI. „Коляска Ивана Илларіоновича теперь свободна“ . 501
XII. Каракольскіе рудники 507
XIII. „Это она“. 514

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Н. Н. КАРАЗИНА.

РОЖДЕСТВЕНСКІЕ

РАЗСКАЗЫ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе П. П. Сойкина.
КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ
Стремянная, 12, соб. домъ.
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
Невскій, 96, уг. Надежд.

ДОЗВОЛЕНО ЦЕНЗУРОЮ. СПБ., 20 ДЕКАБРЯ 1904 Г.

ТИПОГРАФІЯ П. П. СОЙКИНА, СПБ., СТРЕМЯННАЯ, 12.

СЛУЧАЙНОСТЬ.

Гамлетъ: „На свѣтѣ, другъ мой Гораціо, есть много такого, что и не снилось нашимъ мудрецамъ“. *Шекспиръ.*

I.

Собралось насъ, нѣсколько пріятелей, у нашего общаго друга, Овинова.

Хозяинъ нашъ было человѣкъ пожилой, давно за пятьдесятъ, холостякъ и добрѣйшій малый, хотя и проведшій свою молодость очень бурно, — да такъ, что изъ его похожденій можно было бы составить цѣлую эпопею. Служилъ онъ долго въ глухой Азіи, изрядно искалѣченъ въ бояхъ и въ настоящее время отдыхалъ съ помощью весьма солидной пенсіи на полной волѣ.

Собрались мы, главное, по случаю пріѣзда капитана Кара-Сакала, изъ Мэргелана, — въ Ферганской области есть такой городъ,— лѣтъ восемь не видали нашего черно-бородаго чудака и общаго любимца. Остановился онъ у Овинова, а тотъ и разослалъ всѣмъ сборныя повѣсточки.

Пришелъ я (живу по близости, всего черезъ улицу), пришелъ полковникъ Ларошъ д'Эгль, тоже сослуживецъ, прикатилъ въ своей каретѣ Терпуговъ, Иванъ Семеновичъ, съ супругою... Ну, и замѣчательная же женщина! Глядя на эту важную грандамъ, кто бы могъ подумать, что всего годъ тому назадъ она скакала черезъ бумажный обручъ въ циркѣ Чифунчели!.. Пожаловалъ и докторъ, добрѣйшій Семенъ Ивановичъ, но безъ супруги,—братья Грызуновы, просто штатскіе люди, члены общества голубиныхъ садокъ, хорошіе стрѣлки и страстные охотники... Не пришелъ только тотъ, отъ котораго никакъ

уже нельзя было ожидать подобной неаккуратности, — именно князь Чохъ-Чоховъ, при всѣхъ дружескихъ сборахъ первый, при разъѣздѣ послѣдній, удивительно пріятный тулумбашъ и устроитель шашлыковъ подъ кавказскую зурну. А дѣло было въ Петербургѣ.

Квартира Овинова помѣщалась въ нижнемъ этажѣ, на улицу—ходъ прямо изъ швейцарской, и отдѣлана была на славу дорогими персидскими коврами, отоманками, тигровыми и медвѣжьими шкурами, расшитыми золотомъ, бухарскими чепраками и такими богатыми арматурами по стѣнамъ, что одинъ даже сутки не соскучишься, разглядывая эти диковины. Въ углу ярко пылалъ большой голландскій каминъ,—и всѣ мы сидѣли полукругомъ около этого камина. На низенькихъ столикахъ стояли графины съ удивительною мадерою, а по случаю пріѣзда дамы,—могло быть и нѣсколько, — красовались вазы съ фруктами и коробки конфектъ отъ Конради... Сигарами же гостепріимный хозяинъ угощалъ только настоящими гаванскими...

Хорошо намъ было! Тепло и уютно... А на улицѣ бушевала ужаснѣйшая погода, въ окна хлесталъ дождь пополамъ со снѣгомъ, сквозь тяжелыя портьеры даже слышно было! Въ печныхъ трубахъ слышалось заунывное, зловѣщее такое завываніе, и фонари еле-еле подмигивали, подслѣповато моргая во мглѣ непогоды.

Намъ же было, какъ я уже сказалъ, очень хорошо, — и на непогоду мы не обращали ни малѣйшаго вниманія.

Разговоръ шелъ очень оживленно и весело... Сначала, конечно, мы засыпали новопріѣзжаго вопросами на перебой, — капитанъ едва успѣвалъ отвѣчать, удовлетворяя наше любопытство; потомъ онъ разсказывалъ намъ о послѣдней экспедиціи на Памиръ, мы его слушали очень внимательно: потомъ докторъ вспомнилъ необыкновенный случай въ своей практикѣ, разсмѣшилъ насъ до слезъ. Потомъ мадамъ Терпугова спѣла что-то очень веселое, по-итальянски, — я ничего не понялъ, хотя она очень выразительно поводила глазками и выгибала талію весьма тоже выразительно; потомъ одинъ изъ братьевъ-стрѣлковъ сталъ разсказывать про вчерашнюю садку и хвастать своимъ ружьемъ; потомъ сетеръ Чарли, которому другой братъ наступилъ на хвостъ, взвизгнулъ и ворча забрался подъ ди-

ванъ... И вдругъ мы всѣ сразу почему-то замолчали... Это бываетъ: говорятъ, говорятъ... весело такъ, бойко, да вдругъ смолкнутъ всѣ разомъ, и въ комнатѣ воцарится мертвая тишина,—такая, что даже слышно, какъ часы тикаютъ въ жилетномъ карманѣ...

Прошло съ минуту... Тишины этой никто не рѣшался прервать... только докторъ началъ было:

— Да...

И замолчалъ.

Овиловъ провелъ рукою по лицу и, наконецъ, заговорилъ.

— Удивительное дѣло. Вотъ также тогда... смолкли мы разомъ... Помнишь?—онъ обратился ко мнѣ.

— Еще бы не помнить!

— Такъ, вотъ сидѣли мы въ заброшенной саклюшкѣ и расшумѣлись на славу, а джигиты спали, какъ мертвые... Еще бы имъ не спать послѣ восьмидесяти-верстнаго перегона... на дворѣ чистая буря разыгралась!.. Расходились горные вѣтры да ливни, — носу не высовывай, а мы пируемъ у огонька... Шумѣли, шумѣли—да сразу и смолкли... и слышу я далекій, чуть донесшійся до уха, звукъ... Да... выстрѣлъ!.. Непремѣнно выстрѣлъ и не ружейный... тукъ... и снова все тихо...

— А вы знаете, господа, что значитъ ночью выстрѣлъ, да еще такой, котораго причину вы объяснить не можете?

Овиновъ обратился не къ намъ всѣмъ вообще, а къ братьямъ Грызуновымъ, доктору и господину Терпугову съ супругою.

— Ну, обыкновенно, выстрѣлъ—и все тутъ... кто-нибудь... зачѣмъ-нибудь... Мало-ли что!..

— Нѣтъ! По-нашему это вотъ что: мигомъ на коней и, на слухъ, всѣ туда!.. Коли стрѣляютъ — значитъ, бѣда!.. А коли бѣда—иди на выручку!.. Вотъ, что это значитъ...

Полковникъ Ларошъ-д'Эгль поднялся съ мѣста, шагнулъ къ хозяину и крѣпко стиснулъ ему руку...

— Помню и, конечно, никогда не забуду!..—сказалъ онъ, сѣлъ на свое мѣсто и, обращаясь уже ко всѣмъ, пояснилъ: — Это была послѣдняя, пятая пуля изъ моего револьвера. Затѣмъ оставалось только вынуть шашку и погибать, потому что *ихъ* было человѣкъ восемь... Не раздайся топотъ коней и голоса... не появись во-время, какъ съ неба свалившаяся, помощь—я бы, конечно, не сидѣлъ здѣсь, не пилъ бы этой ма-

деры и не любовался бы прелестными глазками нашей милой собесѣдницы!

— Merci!—протянула та полковнику свою ручку...

Терпуговъ сдѣлалъ недовольную гримасу.

— Ну, какъ вы думаете, господа?.. Почему мы смолкли?.

Хозяинъ опять обратился къ прочимъ членамъ компаніи.

— Да просто потому, что наговорились; рѣчь оборвалась, ну, и перестали!

— Нѣтъ, я не про то... А почему именно въ эту минуту?.. Вѣдь мы могли также замолчать и минутою позже!..

— Случайность!..

— Во всякомъ случаѣ, для меня лично, очень уже счастливая случайность!—добавилъ полковникъ Ларошъ-д'Эгль.

— Ну, а теперь, вотъ тоже разомъ замолчали... Это тоже что-нибудь означать должно?—спросилъ скептикъ-докторъ.

— На этотъ разъ для того, чтобы дать поводъ разсказать мнѣ тоже весьма интересную исторію, по поводу тоже кажущейся случайности!—заговорилъ одинъ изъ братьевъ Грызуновыхъ, младшій.—Дѣйствительно, какъ подумаешь, почему это, случайность, а такъ кстати?

— Разскажите!—одобрительно произнесъ хозяинъ дома.

— Да это было недѣлю всего тому назадъ. — Вы всѣ знаете, какъ я аккуратенъ относительно оружія!.. Вѣдь ужъ, кажется, осмотрительнѣе меня и спокойнѣе нѣтъ въ этомъ отношеніи ни одного охотника...

— Это вѣрно!—подтвердилъ его братъ.

— Ну, вотъ; стою я въ цѣпи, шестымъ нумеромъ... Медвѣдя поднимаютъ здоровеннаго!.. Вниманіе напряжено. Тишина въ лѣсу, въ цѣпи, то-есть, мертвая, глаза такъ и пронизываютъ чащу, а слухъ работаетъ такъ, что зайчишка за версту чихни—и то не прозѣваешь... Стою уже съ полчаса, а, можетъ, и больше... Вдругъ впереди, въ кустахъ, что-то засопѣло и затрещало... Приглядываюсь: лѣзетъ косолапый!.. Ближе, ближе... шубу его уже ясно различаю. Пора! Я — бацъ! изъ одного... бацъ! изъ другого... Что за чортъ!? Тюкъ да тюкъ и всего тутъ... Я къ замку—а патроновъ нѣту!.. Забылъ вложить! Я-то? Да такъ съ разряженнымъ ружьемъ въ цѣпи сколько времени простоялъ!.. Ну, и слава же Тебѣ Господи!..— «Полегче, баринъ! Это медвѣдь-то мой, говоритъ, — я староста

Никонъ, иду доложить, что Мишка, черезъ загонщиковъ, заднимъ ходомъ прошелъ къ Никулинскому перелѣску»...

Большинство слушающихъ невольно расхохотались.

— Чего смѣетесь!?—покачалъ головою разсказчикъ.—Не смѣялись-бы, кабы я двѣ разрывныя послалъ въ бокъ неповинному старостѣ Никону...

— Не лѣзь, какъ дуракъ, прямо на цѣпь! Обходи стороною!—вступился было братъ.

— Отъ этого, братъ, не легче бы было! Конечно, не засудили бы за убійство человѣка, а все бы тяжелый камень всю жизнь на душѣ протаскалъ бы!

— Конечно!—согласились всѣ.

— А вѣдь тоже подобная забывчивость со мною въ первый разъ и, конечно, въ послѣдній! Вѣдь не будь свидѣтелей—никто изъ знающихъ меня не повѣрилъ бы... Случайность—значитъ, и весьма рѣдкая, счастливая, тоже случайность!.. Я, вотъ, за такую случайность молебенъ служилъ въ часовнѣ Петра Великаго; своему патрону — Николѣ угоднику — свѣчу поставилъ, да и всю жизнь не забуду... Такъ-то!

Охотно согласились и всѣ мы, что молебенъ отслужить слѣдовало.

Вошелъ татаринъ, слуга Овинова. И сапоги-то у него мягкіе, и ковры мягкіе, мягкіе, взошелъ, какъ кошка, не слышною поступью, оглянулъ стаканы,—у кого пусто было—долилъ и такъ же неслышно скрылся за дверью.

— А разскажи-ка имъ про Шайтана и Орлика!—обратился хозяинъ къ капитану Кара-Сакалу.

— Да это, пожалуй, еще страннѣе будетъ! — согласился капитанъ.—Отчего же не разсказать...

— Пожалуйста!—попросилъ Терпуговъ.

Я этотъ случай зналъ, при мнѣ все дѣло было, но все-таки приготовился слушать со вниманіемъ и даже доктора подтолкнулъ, приглашая тоже къ особенному вниманію, сказавъ:

— Да, вотъ, послушайте и объясните!

— «Это было наканунѣ Зара-булакскаго боя,—началъ капитанъ...—Надо вамъ замѣтить, что мы были пріучены къ побѣдамъ легкимъ... Появились, пострѣляли, пошли въ атаку, непріятель бѣжитъ... Потери наши вздорныя!.. До штыковъ почти никогда не доходило, — ну, а на этотъ разъ можно

было ждать чего-нибудь посерьезнѣе... Видите ли, господа, насъ было немного, а передъ нами стояла вся бухарская армія, съ самимъ эмиромъ во главѣ—и стояла близко... Да что близко!.. Наканунѣ, весь день, ихъ конница насѣдала на наши аванпосты, со всѣхъ сторонъ охватили, а лазутчики-персы доносили, что и вся гвардія эмира—наемныя афганскія бригады, тысячь семь, тутъ же передъ нами и стоятъ на горахъ, на крѣпкихъ позиціяхъ...

«Бой, надо вамъ сказать, предстоялъ рѣшительный, и послѣдствія пораженія въ этомъ бою для Бухары были безусловно роковыми... Эмиръ это сознавалъ... сознавали и мы...

«Приказано было выступать передъ разсвѣтомъ, — безъ всякихъ трубныхъ и прочихъ призывовъ... Вставать, строиться и въ путь! Часу въ первомъ, сдѣлавъ всѣ нужныя распоряженія, прилегъ я отдохнуть часокъ... Только заснулъ, слышу: будитъ меня мой конюхъ, Шарипка.

— «Тюра,—говоритъ,—не знаю, что съ Орликомъ сталось... Стоитъ, повѣся голову, не ѣстъ, воды не пилъ и на заднюю ногу жалуется... Смотрѣлъ—ничего не видно, а сѣдлать не годится... Я тебѣ Шайтана осѣдлаю!

«Замѣчу, господа, слѣдующее: у меня всегда была образцовая конюшня, а въ походъ я взялъ двухъ коней—Шайтана да Орлика. Орликъ—это былъ мой любимецъ, радость душевная, а не лошадка! Не боязливъ, не спотыкливъ, вмѣсто поводьевъ хоть паутинки подвязывай, такой мягкій—подъ ногами хоть дѣтей спать клади. И шагъ удивительный: не шелохнетъ! А скакунъ добрый, угону нѣтъ, изъ бѣды выручитъ, свалишься—не уйдетъ: тутъ, у тѣла, и станетъ, какъ вкопанный... Да что! Конь—цѣны нѣтъ!.. Шайтанъ же мой былъ золъ, какъ дьяволъ, за что и кличку свою получилъ... Сѣсть, кромѣ меня, никому на себя не давалъ, да и то попоною голову закрывали. Сядешь, а онъ норовитъ зубами ухватить за колѣно... на дыбы, да задомъ, пока не уморишь его, какъ слѣдуетъ .. Ѣдешь на немъ, бывало, въ сторонѣ отъ другихъ... ни поговорить, ни покурить нельзя... а близко кто подъѣдетъ, какъ тигръ кидается... Одно было достоинство — препятствій не зналъ: стѣны и рвы бралъ съ шагу... словно крылья у него выростали, и скакать могъ верстъ тридцать, даже не запыхается. Я его, собственно, и держалъ для скачекъ, да и надежда была все-таки объѣздить

его, какъ слѣдуетъ... Такъ вотъ судите сами, каково мое положеніе: передъ рѣшительнымъ боемъ, командиръ пѣхоты, да на этакомъ сокровищѣ... Бѣда чистая!..

«Выругался я въ пространство, милаго Орлика своего почтилъ недобрымъ словомъ за болѣзнь не кстати. Ладно, говорю Шарипу, а у самого отъ непріятности сонъ прошелъ...

«Выступили передъ разсвѣтомъ, какъ сказано; тронулись... Утренница уже разгораться начала... Держусь я стороною, руки всѣ заныли дьявола моего сдерживать, а тотъ храпитъ со злости, глазами просто ѣстъ, кто хоть за десять шаговъ подъѣдетъ... и меня раздражаетъ... Какое тутъ боевое спокойствіе на этомъ чортѣ!.. Идемъ!

«Стало свѣтло. Авангардъ далеко впереди. По донесеніямъ изъ штаба, давно ему слѣдовало бы бой начать, а не слышно канонады... что за странность?! А вся степь туманомъ и пылью затянулась, только лѣвѣе — гряда невысокихъ холмовъ чуть выдѣляется легкимъ силуэтикомъ...

«Солнце стало подниматься, припекать начало... колыхнулся туманъ, сталъ вѣтеръ пыль относить... смотримъ: задымились разомъ всѣ гребни, и загрохотали бухарскія пушки... Мы-то мимо прошли, и весь флангъ растянутой колонны *ему* подставили... Генералы бухарскіе были неглупы, оплошность нашу замѣтили, да всею массою и перейди въ наступленіе, а противъ ихъ натиска всего только полтора батальона!.. Дѣло скверно!

«Недолго думая, мы повернулись къ нимъ лицомъ въ атаку сами... чего зѣвать!.. Рожки зазвонили... Стрѣлковая рота въ густую цѣпь... головные взводы на руку... ура!..

«Свалились всѣ въ общую кучу... И что тутъ только было!..

«Окружили меня со всѣхъ сторонъ... Куда ни повернись— все черныя рожи, бараньи шапки да красныя куртки... заслонили отъ меня бѣлую стѣну нашихъ, — не видать даже... И тишина настала... Вѣрите ли?—Смолкло ура, только и слышно хрипъ какой-то, тяжелое дыханіе да стукотня прикладовъ... Разстрѣлялъ я свой револьверъ чуть не въ упоръ... Чувствовалось даже, какъ стволъ, передъ выстрѣломъ, въ чью-то голову упирался... А Шайтанъ остервенился... Топчетъ, бьетъ и задомъ, и передомъ, зубами расшвыриваетъ и такую расчистилъ около меня эспланаду, — на диво! А тутъ вижу, наше

выгораетъ... Генералъ у насъ былъ малый находчивый, боевой генералъ! Онъ сразу смекнулъ положеніе и извлекъ изъ худого хорошее: части авангарда уже заходили въ тылъ; на занятомъ холмѣ загремѣли наши батарейныя... Видимъ, и пестрый букетъ генеральскихъ значковъ колышется, двигаясь къ намъ все ближе и ближе... Нѣтъ уже черномазыхъ мордъ... все спины и спины... и сплошными массами, эти красныя спины, медленно отступаютъ, не оборачиваясь, не отстрѣливаясь... остатки нашего батальона стоятъ неподвижно, опустивъ ружья къ ногѣ, словно кошмаръ какой-то нашелъ на всѣхъ... А кругомъ вся земля покрыта тѣлами, кровью залита...

— «Спасибо, молодцы!—раздался знакомый намъ генеральскій возгласъ.

— «Рады стараться! — гаркнули бѣлыя рубахи... И все ожило разомъ, встрепенулось.

— «Однако, капитанъ, васъ отдѣлали! Вы ранены?..

«Это онъ ко мнѣ обратился. Оглянулся я, осмотрѣлся: мой сѣрый Шайтанъ — весь красный, по ногамъ кровь сочится. Самъ я ничего не чувствую, а сѣдло въ крови... Боли никакой!.. Оно, вѣдь, когда раны не смертельныя, такъ — царапины, такъ никогда, сгоряча ничего не чувствуешь...

— «Нѣтъ, ничего, слава Богу, ваше превосходительство!

«Къ полудню бой на всѣхъ пунктахъ прекратился; отошли мы къ водѣ, расположились бивуакомъ... Стало мнѣ худо... Ослабѣлъ, должно-быть, отъ потери крови. Дѣйствительно, оказались не раны—царапины, да много уже очень, а все куда меньше, чѣмъ у Шайтана,—присмирѣлъ даже, бѣдняга!.. Подошли обозы, явился конюхъ Шарипъ.

— «Ну, слава Богу, живъ капитанъ!.. А мнѣ говорили, что тебя на куски изрѣзали...»

— «Нѣтъ, видишь, живъ и цѣлъ почти!—отвѣчаю.—Позаботься о конѣ, осмотри его хорошенько...

— «Видѣлъ... ничего!.. Это ему на пользу... А Орликъ-то твой поправился... какъ будто и боленъ не былъ!.. Веселый такой и въ обозѣ, на волѣ бѣгаетъ, съ собаками ротными разыгрался...

«Вотъ тогда я и задумался... И крѣпко-крѣпко задумался... Разстегнулъ воротъ рубахи, вытянулъ складень съ Николаемъ Святителемъ и прилипъ просто къ нему губами... И задумался я вотъ отчего:

«Не заболѣй Орликъ, и всего-то вѣдь на нѣсколько часовъ... болѣзней такихъ быстротечныхъ у лошадей не бываетъ,—я бы былъ на немъ, а не на этакомъ дьяволѣ злющемъ. Да отъ меня, дѣйствительно, клочья бы одни остались... Да меня бы штыками бухарцы съ сѣдла сняли, именно, что въ куски изрѣзали бы. Выручилъ Шайтанъ и самъ поплатился. Къ ночи ослабѣлъ, свалился, а къ слѣдующему утру готовъ... Не выжилъ!.. Вотъ и вся моя исторія!»

— Ахъ, какъ это интересно! — вскрикнула госпожа Терпугова ..

— Удивительный случай!.. — замѣтилъ докторъ... — А все-таки...

— Провидѣніе! – наклонилъ голову Ларошъ-д'Эгль.

— Именно, милость Божія!—добавилъ хозяинъ.—А хорошо ты разсказываешь: и сжато, и ясно, и очень ужъ картинно! Такъ вотъ передъ глазами все и представляется!..

— Ну, что ужъ... Какой я разсказчикъ!—скромно отвѣтилъ капитанъ и потянулся рукою—за яблокомъ, должно-быть.

А мадамъ Терпугова замѣтила это — и, взявъ тяжелую вазу обѣими руками, даже встала съ мѣста, чтобы прислужить Кара-Сакалу...

Самъ же Терпуговъ, откашлявшись предварительно, сталъ, видимо, обнаруживать желаніе разсказать то же что-нибудь очень интересное, и это было замѣчено зоркимъ окомъ хозяина.

— Господа!—произнесъ Овиновъ —Вотъ Семенъ Ивановичъ разскажетъ намъ что-нибудь въ этомъ же родѣ изъ своей жизни... Онъ тоже человѣкъ бывалый и виды видалый... Ну-съ, приступайте, почтеннѣйшій...

— Да нѣтъ... что же я... къ чему же... гдѣ уже мнѣ тутъ съ разсказами?!.

II.

Иванъ Семеновичъ выразилъ легкое смущеніе и даже покраснѣлъ, — но такъ какъ ему дѣйствительно хотѣлось очень что-нибудь разсказать, то, покашлявъ еще немного, перемѣнилъ сигару и началъ:

— Я, господа, совсѣмъ изъ другой оперы, какъ говорится... Тутъ въ моемъ разсказѣ — ни боя, ни крови, ни смерти — ничего такого страшнаго нѣтъ, а все-таки дѣло

крайне рискованное и серьезное... Случай не случай, но нѣчто, имѣвшее для меня роковыя—и спасительныя послѣдствія...

«Дѣло, видите ли въ чемъ... Давно это было, во времена молодости. Служилъ я по особымъ порученіямъ, при министерствѣ финансовъ, былъ въ дальней командировкѣ, жалованье получалъ не Богъ вѣсть какое и состоянія еще не имѣлъ. Дальней командировкѣ, конечно, былъ радъ... Еще бы! Отпустили мнѣ чуть не три тысячи на дорожные расходы, по аптекарскому счету, это значитъ въ пять разъ больше, чѣмъ предстояло дѣйствительныхъ расходовъ... Чувствую себя просто Ротшильдомъ—и въ первомъ же городѣ остановился отдохнуть... Представился губернатору, прочимъ властямъ, вечеромъ попалъ въ клубъ. А поиграть я любилъ! Безъ душевнаго трепета зеленаго стола видѣть не могъ... Меня ласкаютъ, ухаживаютъ. просто, какъ за Чичиковымъ, до ноздревскаго разоблаченія... Чувствую себя превосходно! Сѣли въ вистъ, выигралъ я десятка два рублей,—вижу, везетъ... Поужинали... Послѣ ужина кое-кто разъѣхались, осталось меньше народу, — попробовали перекинуться... Приглашаютъ меня,—я, отчего же! Съ большимъ удовольствіемъ!.. Сначала мнѣ повезло дѣйствительно,— я и разгорячился!.. Убили крупную карту, у меня круги заходили въ глазахъ... Пошло и пошло,—да все дочиста. Весь свой командировочный капиталъ!—Каково положеніе!..

«Отошелъ я отъ стола, выпилъ бутылку сельтерской, да и задумался. Да и было отчего задуматься! Командировка только вначалѣ, а мнѣ выѣхать не съ чѣмъ. Городъ незнакомый... Проигрался, какъ юнкеръ,—это опытный чиновникъ, облеченный довѣренностью самого министра... Писать, просить — не къ кому... А вѣдь деньги-то не мои, а даны на казенныя дѣла! Покаяться бы, подъ судъ сразу—и вся карьера испорчена... Напало на меня отчаяніе, и какой-то столбнякъ нашелъ. Сижу и молчу, уставившись глазами въ клѣтку паркета...

«Вотъ въ это самое время со мною и случилось... Да-съ!.. Озлился кто-то за столомъ, да какъ швырнетъ колоду объ полъ... Карты по всему залу разлетѣлись, а одна, ну, вотъ, словно бабочка какая, порхала, порхала, да и, тихо такъ, спустилась какъ разъ на наблюдаемую мною паркетную клѣтку... Смотрю: двойка бубенъ... И вдругъ, словно повинуясь какой-то волшебной силѣ, забылъ я все!.. Всѣ роковыя послѣдствія,—

всю пошлость и низость моего поведенія... поднялъ эту карту, да къ столу...

«— Ва-банкъ, господа!—Со входящими!

«На меня посмотрѣли,—очевидно, повѣрили... Одинъ даже кто-то «браво» крикнулъ.—Вотъ это по нашему!.. Направо—налѣво, направо—налѣво... Она!.. Двойка бубенъ!.. Дана»!..

— А если бы—бита?—прервалъ разсказчика докторъ.

Терпуговъ остановился, взглянулъ на спрашивающаго, брови у него какъ-то перекосились, и въ горлѣ захрипѣло...

— А если бы бита была моя двойка, я бы вышелъ куда-нибудь, да и повѣсился-бы—тамъ-же, у нихъ въ клубѣ. Больше мнѣ ровно ничего не оставалось сдѣлать... на это я шелъ. То-есть, и не совсѣмъ правъ,—это я послѣ, значительно послѣ обдумалъ, что именно такъ бы и должно было бы поступить, а тогда я ничего не сознавалъ...

«Подсчитали,—оказалось отыгрался, со значительною даже прибылью. Вышелъ въ сосѣдній залъ и слышу ясно,—какой-то старичекъ допиваетъ свой кофе и говоритъ сосѣду,—что они тамъ прежде говорили—не знаю, только я услышалъ одно послѣднее слово: *и не играй больше!..* Какъ зарядъ дроби влѣпилось мнѣ это слово въ ухо, а совсѣмъ не ко мнѣ оно и относилось... Да, слушайте, что дальше!.. Перехожу я въ столовую, у буфета кучка—пьютъ и смѣются, а одинъ кричитъ: *Баста! Пора и мѣру знать!* Только это я и услыхалъ изо всего ихъ разговора,—я даже вздрогнулъ слегка. Погулялъ я, для приличія больше, простился, кому-то обѣщалъ пріѣхать обѣдать завтра, выхожу въ швейцарскую,—спускаются тоже двое съ лѣстницы, разговариваютъ, поровнялись со мною, слышу: *Все дѣло, я вамъ доложу, только въ томъ, чтобы забастовать во-время!..* Фу, ты, пропасть! Сажусь въ сани, ѣду,—а черезъ улицу кто-то кричитъ: *ладно, что ушелъ въ добрый часъ.* И это я себѣ намоталъ на усъ... Пріѣзжаю, раздѣваюсь, ложусь спать, а сосѣдъ по номеру говоритъ кому-то: *шабашъ! И ни-ни!* Только это и сказалъ—и больше ни слова... ну, просто какъ для меня, нарочно!

«Волненіе страшное, спать не могу, ворочаюсь на постели... Какъ заснулъ—не помню... Просыпаюсь, взглядываюсь, а въ углу кто-то виситъ, въ шинелѣ и шапкѣ... оно, дѣйствительно, въ углу висѣла и шинель моя, и шапка на вѣ-

шалкѣ, но мнѣ показалось, что это я самъ, да такъ явственно, что холодный потъ выступилъ по всему тѣлу... Вотъ тутъ-то мнѣ и пришло въ голову: будь моя двойка бита — мнѣ бы только одно это и оставалось!

«На другой же день я дальше!.. Разослалъ, кому надо, отвѣтныя карточки, извинился, за полученіемъ яко бы экстренной телеграммы, и дальше, и дальше... Дальше отъ соблазна, отъ печальной перспективы самому лично уподобиться шинели, висящей на вѣшалкѣ, и съ тѣхъ самыхъ поръ дѣйствительно больше въ руки картъ не беру. Вотъ уже двадцать лѣтъ скоро, какъ это случилось, а твердо помню: двойка бубенъ... какъ бабочка порхаетъ и легла навзничь. «И не играй больше», «Баста! Пора и мѣру знать»! «Все дѣло, я вамъ доложу, только въ томъ, чтобы забастовать во-время», «Ладно, что ушелъ въ добрый часъ» и, наконецъ, еще разъ: «Шабашъ, и ни-ни»!.. съ шинельнымъ финаломъ и холоднымъ потомъ... Каковы-съ случайности въ какой послѣдовательности?!.»

— Хорошо, что двойка бубенъ, а не «пиковая дама»! — сострилъ одинъ изъ братьевъ Грызуновыхъ.

Но никто этой остроты не замѣтилъ. Только полковникъ Ларошъ д'Эгль произнесъ въ раздумьи:

— Да... ну, уже къ такимъ явленіямъ, какъ карточныя увлеченія, нельзя же пристегивать святое Провидѣніе. Это какъ будто бы немного кощунство...

— А уже коли пошло на разсказы въ жанрѣ легкомъ... Тонтаморесѣ, такъ сказать,—продолжалъ онъ,—то и я вамъ разскажу случай про удивительныя, непостижимыя стеченія обстоятельствъ. Вотъ послушайте-ка:

«— Ѣхали мы разъ въ довольно большой компаніи,— казачьи офицеры къ намъ присоединились, ѣхали изъ Джюзака въ Ташкентъ. Вы знаете эту дорогу, голодною степью, на Мурза-Рабатъ?.. Это совершенная равнина, говорятъ, будто дно какого-то древняго, давно исчезнувшаго моря, и дорога по ней проложена какъ по океану—безчисленныя параллельныя тропинки, мѣстами едва намѣченныя, тянутся широкою, чуть не съ версту, полосою, а растительность жалкая, сухая, мѣстами и совсѣмъ оголенныя плѣши... Жара невыносимая стояла; мы и переждали ее въ Мурза-Рабатѣ, въ тѣни его многовѣковаго купола. Какъ стало спадать, такъ часовъ въ пять

вечера, выѣхали... Ѣдемъ, не торопясь, легкимъ тротомъ, чтобы засвѣтло только попасть къ Сыръ-Дарьинской переправѣ. Такъ впереди кучкою ѣдемъ мы, офицера, а, поотставъ отъ насъ, шаговъ на сто, наши джигиты... Ѣдемъ, покуриваемъ да бесѣдуемъ... Часовъ около восьми, къ солнечному закату, уже впереди засинѣлись береговые камыши, и потянуло водою въ воздухѣ. Вздумалъ я провѣрить свои часы, потянулъ за цѣпочку,—что за оказія?.. Цѣпочка тутъ зря болтается, а часовъ какъ не бывало—крючокъ разогнулся, они и отлетѣли... Я помню очень хорошо, что дорогою, именно передъ выѣздомъ изъ Мурза-Рабата, я справлялся по нимъ насчетъ времени. Хорошо помню, что положилъ ихъ въ карманъ; значитъ, если они и выпали—то на этомъ перегонѣ, то-есть, между Мурза-Рабатомъ и тѣмъ мѣстомъ, гдѣ я замѣтилъ потерю... И такъ мнѣ стало обидно, что я невольно крикнулъ съ досады.—«Что такое?»—справляются товарищи. Говорю.—Поѣдемъ искать»,—рѣшилъ тотчасъ же одинъ.—«Поѣдемъ»,—рѣшили и остальные... Дѣло въ томъ, что мои часы всѣ знали и знали имъ настоящую цѣну. Это—роскошные старинные часы, подаренные еще моему дѣду самимъ королемъ Людовикомъ XVI. Мой дѣдъ служилъ капитаномъ въ швейцарской гвардіи короля и былъ его большимъ любимцемъ. Онъ погибъ во дворцѣ съ товарищами своими, во время этой проклятой революціи. На крышкѣ этихъ часовъ изображены три лиліи и сложенныя накрестъ шпаги, а внутри вензель королевы Маріи-Антуанеты, собственно она-то и пожаловала эти часы дѣду,—король только вручилъ ихъ капитану собственноручно. Конечно, это не то,чтобы потерять какую-нибудь дрянь,—вещь историческая!.. Отъ дѣда часы попали къ моему отцу, одному изъ немногихъ гвардейцевъ, уцѣлѣвшихъ при разгромѣ Версаля: тотъ эмигрировалъ въ Россію—и по смерти очутились у меня. Вотъ эти-то знаменитые часы и вылетѣли у меня дорогою, между Сыръ-Дарьею и Мурза-Рабатомъ.

«Какъ ни глупо было въ степи безпредѣльной искать потерянные часы, но мы разсыпались цѣпью на двѣ сажени всадникъ отъ всадника и медленно пошли назадъ, устремивъ все вниманіе на то, чтобы возвращаться по собственнымъ слѣдамъ. Джигитамъ я обѣщалъ по золотому, кто отыщетъ,—а глаза у нихъ зоркіе: не только часы—пятачокъ серебряный въ пыли да въ травѣ замѣтили бы... Ѣдемъ...

«Стало темнѣть, остановились бивакомъ на мѣстѣ, всю темноту перестояли. Стало разсвѣтать, опять тронулись и доѣхали такъ до самаго Мурза-Рабата безо всякихъ утѣшительныхъ результатовъ.

Джигиты даже всѣ окурки наши папиросные подобрали, пуговицу нашли отъ казачьяго кителя,—дѣйствительно, оторвалась на дорогѣ такая,—часовъ же моихъ, какъ не бывало. Жаль, очень жаль мнѣ стало своей священной реликвіи, однако пришлось покориться судьбѣ: что съ возу упало, значитъ, дѣйствительно, пропало! Лошадей мы поморили, нужно было выкормить, какъ слѣдуетъ, и снова тронулись мы въ путь такъ же, какъ и вчера, часу въ пятомъ. А вѣдь пока мы кормились, и каравановъ протянулось по этому пути нѣсколько, и такъ одиночные всадники ѣхали. Много народу прошло: трактъ-то, вѣдь, бойкій!

«Ѣдемъ мы опять тѣмъ же порядкомъ, куримъ, разговариваемъ, часы вспоминаемъ, жалѣемъ очень, меня товарищи утѣшаютъ. А Лавровъ, помнишь?.. Смѣется еще, говоритъ:

«— Думала-ли Марія-Антуанета, что ея часы попадутъ когда-нибудь изъ Парижа да въ самую глухую Азію, въ голодную степь?..

«Дошли мы до половины дороги, даже больше,—вдругъ изъ травы вылетаетъ матерой волчина, шарахнулся отъ насъ, оглянулся, видитъ, что его не трогаютъ и рысцею затрусилъ межъ кустами колючки. А вы знаете, что самая интересная охота, это—охота на волка въ догонку, въ захлестку. Дѣло въ томъ, чтобы поставить звѣря между двухъ коней, чтобы ему ходу не было, и гонять, пока у него языкъ не вывалится, пока онъ не сядетъ отъ устали, и тутъ уже брать въ плети... Не знаю, какъ другіе...»

Разсказчикъ покосился на братьевъ Грызуновыхъ: онъ замѣтилъ ихъ недовольную, даже нѣсколько презрительную гримасу.

«А я такъ—откровенно признаюсь—считаю такую охоту истинно царскою забавою, наслажденіемъ!.. Забылъ я и про часы, забылъ и про усталость,—какъ гикну—да за сѣрымъ... И началась у насъ скачка—да какая! Нѣсколько разъ мы заставляли волка возвращаться на старый ходъ. Вѣдь не я одинъ,—всѣ метнулись, какъ угорѣлые... Гоняли мы, гоняли,—

вотъ сейчасъ возьмемъ... Вдругъ конь мой, должно-быть, въ сурчину ногою попалъ, споткнулся и черезъ голову, на всемъ карьерѣ; я, конечно, тоже черезъ его голову и, съ размаха, оземь... Свѣту не взвидѣлъ, въ глазахъ потемнѣло... Кое-какъ опираюсь на локти, хочу приподняться и слышу: чикъ-чикъ-чикъ-чикъ... Ушамъ не вѣрю... мои часы!.. Я прямо на нихъ и свалился!..

«Ко мнѣ подскакиваютъ, слѣзаютъ съ лошадей, хотятъ поднять меня, помочь...

«— Ну, что, цѣлъ?—спрашиваютъ.

«А я только одно могъ выговорить, и то не своимъ голосомъ: «Господа!.. Часы!..

— Вотъ это такъ стеченіе обстоятельствъ!..—закричалъ докторъ и почему-то во все горло расхохотался.

Полковникъ обидѣлся, принялъ его смѣхъ за выраженіе недовѣрія—и торжественно вынулъ часы изъ бокового кармана и подставилъ ихъ чуть не къ самому носу непріятному скептику.

Дѣйствительно, часы были тѣ самые, какъ было описано: старинная золотая луковица, въ золотомъ же футлярѣ, на крышкѣ три лиліи и скрещенныя шпаги, а внутри вензель, подъ королевскою короною, самой несчастной Маріи-Антуанеты.

Сомнѣваться въ разсказѣ полковника, значитъ, было невозможно. Несносный докторъ и тутъ, кажется, не вполнѣ убѣдился. Это свойство вообще ученыхъ людей; они всѣ такіе матерьялисты!.. Нѣтъ у нихъ способности къ настоящей, теплой, животворной, всеуслаждающей вѣрѣ. Имъ же хуже отъ этого!

— А помнишь мой эпизодъ въ клѣткѣ?—обратилась мадамъ Терпугова къ своему мужу.

Она спросила это очень тихо, но мы всѣ разслышали ясно ея вопросъ и также ясно разслыхали, какъ супругъ нахмурилъ брови и проворчалъ:

— Пора бы и забыть...

Этого было довольно, чтобы поймать красавицу на словѣ и добиться, во что бы то ни стало, разсказа. Мы всѣ и приступили къ ней съ атакою, не хуже афганцевъ подъ Зара Булакомъ... Стали стыдить ея мужа: фу, молъ, какое варварство, какое стѣсненіе воли!.. Все въ этомъ родѣ. Пахнетъ, молъ, замоскворѣцкимъ Титъ-Титычемъ... Самое больное мѣсто Семена Ивановича...

— Да нѣтъ, я не запрещаю... Я только хотѣлъ замѣтить, что стоитъ ли... и вообще...

— Значитъ, можно?—поторопилась бывшая наѣздница и тотчасъ же приступила къ разсказу...

III.

— Это было года три, нѣтъ... немного больше тому назадъ...

— Тринадцать!—рѣзко поправилъ супругъ.

— Развѣ?.. Да нѣтъ же! Мнѣ тогда было уже двадцать-два года...

— Все-таки тринадцать... если не больше! — настаивалъ безпощадный Семенъ Ивановичъ.

— Я лучше не буду разсказывать... если ты будешь все время перебивать и вставлять свои замѣчанія... стоитъ ли...

Мадамъ Терпугова обидѣлась и дѣйствительно-таки замолчала. Но мы приступили снова къ убѣжденіямъ и просьбамъ; она сдалась, но поставила условіемъ, чтобы на время разсказа убрали ея медвѣдя, потому что дѣло идетъ обо львѣ.

— Ну, болтай, не буду больше! — безнадежно махнулъ рукою *медвѣдь*.

И дѣйствительно, притихъ, такъ что убирать его не понадобилось.

«— Къ намъ, господа, въ нашъ циркъ, пріѣхалъ гастролировать знаменитый капитанъ Блэкъ. Помните — громадный негръ, атлетически такъ сложенный, замѣчательный красавецъ при этомъ?.. Даже именно то, что онъ былъ, какъ чернила, черный, — всѣ типичные признаки его расы, все это удивительно шло къ нему... онъ былъ замѣчательно хорошъ и, вообще, успѣхъ имѣлъ необыкновенный... Онъ былъ женатъ на толстой такой, краснощекой голландкѣ... Ахъ, какая сварливая, неопрятная, мерзкая женщина!

— Къ чему же эти ненужныя предисловія? — заворчалъ было снова Семенъ Ивановичъ, но мы крикнули ему «тс!..» и онъ отретировался.

Красавица только покосилась въ его сторону и продолжала:

«— Блэкъ пріѣхалъ къ намъ со своими шестью дрессированными львами. Одинъ изъ нихъ, Абделькадеръ, былъ осо-

бенно страшный, угрюмый такой и большой-большой... грива косматая... онъ былъ уже старый левъ—у Блэка уже лѣтъ десять, да еще у прежняго хозяина не помню сколько—главный сюжетъ всей труппы... Я была тогда еще не «prima», а такъ выѣзжала больше на граціозныхъ па, и главный номеръ мой былъ качуча на двухъ сѣдлахъ съ кастаньетами. Ко мнѣ удивительно шла испанская куафюра и черное кружево... и всегда выходило на *бисъ*... Скоро я замѣтила, что Блэкъ передъ моимъ выходомъ сталъ накидывать на свой костюмъ (трико золотистаго цвѣта) пальто и появлялся въ партерѣ съ биноклемъ... Онъ этого почти никогда не дѣлалъ, но теперь сталъ съ каждымъ моимъ появленіемъ... Онъ особенно былъ ко мнѣ внимателенъ, чего не раздѣляла его противная голландка, шипѣвшая на меня, какъ змѣя, разъ даже пребольно меня ущипнула, — этакая злюка!.. Разъ какъ-то встрѣтилась я съ капитаномъ просто на улицѣ... Мы пошли вмѣстѣ, повернули въ скверъ и сѣли на скамейкѣ, въ глубинѣ сада. Негръ долго мялся, готовился, должно-быть, къ объясненію, и, наконецъ, бухнулъ мнѣ сразу:

«— А вѣдь эта Эмма мнѣ не жена!

«— Неужели?..—Я сдѣлала видъ, что меня очень удивило это открытіе.

«— Совсѣмъ не жена, — продолжалъ негръ... — Она моя просто кузина...

«И онъ опять засмѣялся... прямо-таки захохоталъ во все горло, скаля свои превосходные бѣлые зубы. Даже прохожіе стали оборачиваться.

«— А вы будете моею женою!—бухнулъ капитанъ и еще громче захохоталъ...—Настоящею женою, съ пасторомъ и всякими гербовыми бумагами съ печатями... ого-го!.. У меня,—продолжалъ онъ,—вы видѣли сами, сколько орденовъ и медалей; у меня даже есть орденъ съ настоящимъ брильянтомъ... у меня есть уже десять тысячъ долларовъ въ нью-іоркскомъ банкѣ, я вамъ послѣ даже книжку покажу.. и я очень знаменитый человѣкъ!.. Меня, я вамъ скажу по секрету, даже третьяго дня одна настоящая графиня къ себѣ приглашала но я не поѣхалъ... Вы, миссъ, гораздо лучше той настоящей графини и вы будете моя жена!

«Я ему отвѣчала на это, что еще подумаю, что я такъ

молода и все такое, и что я, вообще, очень боюсь всякихъ злыхъ животныхъ.

«— Мои львы совсѣмъ не злые!.. Они добрые и очень смирные...

«Бѣдный негръ не понялъ моего намека и отнесъ его къ членамъ своей труппы.

«— Но я еще не такъ знаменита, не такъ извѣстна, какъ вы,—стала я скромничать...—Мнѣ, маленькой выходной наѣздницѣ, соединить свою судьбу съ такимъ извѣстнымъ укротителемъ львовъ!..

«— Вы будете скоро такъ же знамениты! — закричалъ негръ...—Вы войдете въ клѣтку и положите свою головку прямо въ ротъ Абделькадеру, и вамъ будутъ много, очень много аплодировать... И знаете, какъ это будетъ эффектно?! На афишѣ ничего не стоитъ, обыкновенная афиша. Вывозятъ клѣтку, открываютъ доски; львы ревутъ, я кланяюсь и вхожу къ нимъ, Эмма входитъ тоже. Львы прыгаютъ, дѣлаютъ группу, я кладу голову въ пасть Абделькадеру, Эмма тоже... тутъ экспромтъ: вы выѣзжаете съ кастаньетами и говорите публикѣ: я тоже ничего не боюсь, я тоже могу входить въ клѣтку и тоже могу класть голову въ ротъ Абделькадера... Публика кричитъ: не надо, не надо! Директоръ говоритъ: я не могу пускать, самъ господинъ полиціймейстеръ не позволяетъ... Я молча открываю клѣтку, вы прыгаете съ лошади и кладете голову въ ротъ льву. Браво!.. Бисъ!.. Аплодисменты... Газеты всѣ трубятъ, печатаютъ вашъ портретъ, и вы сами дѣлаетесь большою знаменитостью... Хотите? Мы завтра же дѣлаемъ репетицію?

«Негръ такъ увлекся, что схватилъ меня за талію и чуть было даже не началъ цѣловать...

«И представьте себѣ, господа, мнѣ не на шутку вскружила голову идея негра... не то, чтобы сдѣлаться его женою, даже съ пасторомъ и бумагами, какъ онъ говорилъ, но именно продѣлать все имъ рекомендованное... Если негръ ручается, если онъ предварительно продѣлываетъ репетицію, онъ такъ вѣдь увѣренъ!.. Да, наконецъ, звѣри его такъ удивительно дрессированы!.. Отчего же не попробовать.

«— Я согласна!—прервала я свои размышленія...

«— Быть моею женою?!. Ого!.. О, какъ я радъ!.. Какой ты, Блэкъ, теперь счастливый!..

«Негръ вскочилъ и сталъ хлопать въ ладоши...

«— Нѣтъ, я согласна репетировать, а женою вашею я буду послѣ, когда уже стану такою же знаменитостью, какъ вы..

«— Мы будемъ репетировать завтра!—рѣшилъ негръ.

«— А миссъ Эмма?.. Она ничего не будетъ имѣть противъ этихъ репетицій?..

«— Эмма завтра будетъ очень пьяна: я ей нарочно забуду бутылку добраго джина, а передъ этимъ сильно побью... Она будетъ много пить джину и потомъ много спать... Она ничего знать не будетъ.

«На этомъ мы порѣшили, и завтра, по окончаніи спектакля, я не поѣду никуда, вернусь въ циркъ, въ сарай, гдѣ стоитъ клѣтка со львами, квартира капитана Блэка, и мы продѣлаемъ все по росписанію. Кстати ни на слѣдующій день, ни даже еще одинъ день представленій не предполагалось, и времени у насъ было довольно... Конечно, я вамъ скажу откровенно: связывать свою судьбу съ судьбою этого глупаго полудикаго колосса мнѣ и въ голову не приходило, но выдвинуться самой хотѣлось очень... хотѣлось, что бы обо мнѣ заговорили погромче, хотѣлось именно стать настоящею знаменитостью... Заговорило тщеславіе, и сердце мое сильно забилось при одной только мысли, какъ *все это* должно быть эффектно, какъ интересно!..

«На другой же день у Блэка съ его кузиною вышла бурная сцена: онъ ее жестоко побилъ, та нашла подставленную бутылку джина, напилась и свалилась, какъ мертвая, даже не у себѣ въ сараѣ, а въ конюшнѣ, въ стойлѣ пони Боби... Наступила ночь. Кончилось представленіе, я переодѣлась въ уборной въ мой испанскій костюмъ, какъ совѣтовалъ Блэкъ, и пошла на *репетицію*... Всѣ уже спали, даже дежурные конюха забрались куда-то; я должна была пройти черезъ всю длинную конюшню, корридоромъ, между стойлъ... въ концѣ котораго только чуть свѣтилась маленькая лампа въ фонарѣ. Мнѣ стало страшно, и я чуть было не вернулась назадъ. Самолюбіе вдругъ зашевелилось. Я чуть не бѣгомъ прошла остальную половину корридора, подняла занавѣсъ, отдѣлявшій конюшни отъ арены, несмотря на темноту перескочила барьеръ, пробѣжала черезъ весь циркъ мимо буфета, къ боковой выходной двери. Здѣсь были широкія холодныя сѣни, изъ кото-

рыхъ дверь вела въ сарай,—квартиру Блэка и его львовъ. Этотъ сарай отапливался двумя большими желѣзными печами и былъ освѣщенъ. Хозяинъ ждалъ уже меня, во всемъ блескѣ своего величія: на немъ было его золотистое кольчужное трико и даже всѣ ордена и медали были на лицо. При моемъ входѣ онъ важно раскланялся, подалъ мнѣ руку, сказавъ:

«— Это хорошо!—и заперъ дверь на ключъ.

«— Это зачѣмъ? — спросила я, немного, по правдѣ сказать, струся.

«— Такъ надо!—отвѣтилъ Блэкъ.

«Изъ угла сарая, за драпировкою изъ старой декораціи, слышался тяжелый храпъ съ присвистомъ.

«— Тамъ спитъ моя пьяница, — пояснилъ мнѣ хозяинъ эти неграціозные звуки.—Она очень крѣпко спитъ, ее можно изрѣзать на куски, и она не проснется... Я ее могу, если хотите, отдать скушать львамъ, и она очнется развѣ уже въ ихъ желудкѣ... Хотите, я это сдѣлаю?

«— Нѣтъ. Ради Бога!.. Что вы!..

«Я повѣрила, что онъ это способенъ сдѣлать, и меня охватилъ положительный ужасъ, даже отчаяніе.

«— Ха, ха!.. Нѣтъ, я этого не сдѣлаю: это можетъ испортить мою дрессировку... нарушить и подорвать дисциплину... я этого не буду дѣлать... это вредно для моихъ львовъ. Ну, начинаемъ!.. Сбросьте ваше манто!

«Я послѣдовала его приказанію и очутилась въ трико и въ короткой испанской юбочкѣ... Негръ посмотрѣлъ на меня такими глазами, что глаза Абделькадера мнѣ показались гораздо кротче въ сравненіи съ этимъ ужаснымъ взглядомъ...

«Клѣтка стояла длинною стороною къ наружной капитальной стѣнѣ и была задернута толстою суконною занавѣсью; доски были уже сняты, и, когда негръ отдернулъ занавѣсъ, я увидала темную, сбитую въ уголъ, сплошную массу звѣриныхъ тѣлъ, а въ полумракѣ искрились ихъ глаза, и слышалось глухое, недоброе такое рычаніе.

«— Ого! Го!—крикнулъ укротитель, и звѣри раздѣлились, безпокойно заметавшись по клѣткѣ.

IV.

«Засовы завизжали, маленькая дверца отодвинулась, негръ согнулся и однимъ прыжкомъ очутился въ клѣткѣ. Звѣри снова

собрались всѣ въ кучу, въ противоположномъ отъ входа углу.

«— Входите смѣло и быстро! Ни малѣйшаго колебанія!— ровнымъ голосомъ произнесъ Блэкъ, не оборачиваясь ко мнѣ и пристально глядя на своихъ питомцевъ.—Входите смѣло!

«Я вошла.

«Я не могу вамъ передать, господа, что я испытывала въ эту минуту... Я не боялась... во мнѣ была полная увѣренность въ обаятельную силу этого страшнаго негра; я не смѣла и думать, чтобы эта сила могла поколебаться, могла бы уступить побѣду надъ собою, я вѣрила и все-таки положительно не владѣла собою... болѣе казалось, что я уже не имѣю своей воли, ничего своего... я—манекенъ, игрушка въ рукахъ этого человѣка и его свирѣпой труппы... я была ноль!

«— Абэль! Сюда!—произнесъ громко Блэкъ (онъ такъ сокращалъ имя Абделькадера; полностью это имя значилось только на афишахъ).—Абэль, сюда!—повторилъ онъ.

«Косматая громадная голова стараго льва выдвинулась изъ массы. Звѣрь глухо зарычалъ, словно задохнулся отчего-то, униженно припалъ на переднія лапы и тихо поползъ къ укротителю.

«— Абэль, сюда! Гопъ!

«Левъ сдѣлалъ попытку къ прыжку и очутился у самыхъ моихъ ногъ. Мнѣ показалось, что звѣрь смотритъ на меня очень подозрительно и вовсе недружелюбно.

«— Это твоя царица!—отрекомендовалъ меня капитанъ.— Къ ногамъ!

«Левъ зарычалъ, высунулъ свой шершавый языкъ, оскалилъ зубы и лизнулъ мою туфлю.

«— Погладьте его, но смѣло!..

«Блэкъ не взглянулъ на меня ни разу: онъ не спускалъ глазъ съ своихъ звѣрей. Онъ ихъ положительно магнетизировалъ этимъ холоднымъ, безстрастнымъ, мертвымъ какимъ-то взглядомъ...

«Я положила руку на лобъ Абделькадера и погладила его по головѣ. Левъ снова зарычалъ, видимо, избѣгая моей ласки. Блэкъ вытянулъ его гутаперчевымъ хлыстомъ вдоль спины; звѣрь зарычалъ жалобно и попятился... Въ дальнемъ углу тоже раздалось хоровое грозное рычаніе... Капитанъ сдѣлалъ шагъ впередъ, львиная куча еще болѣе сжалась. Абэль воспользовался мгновеніемъ и быстро ретировался...

«— Довольно!—вырвалось у меня тихое восклицаніе.

«— Пустяки! Абель, сюда!.. Это что такое?.. Сюда, Абэль, ближе!..—и снова великолѣпное животное очутилось у самыхъ моихъ ногъ.

«Капитанъ взялъ одною рукою за носъ льва, другою за его нижнюю челюсть и раскрылъ страшную пасть... Онъ быстро наклонилъ туда свою голову, пробылъ нѣсколько секундъ въ такомъ положеніи и освободился...

«— Вы видите, какъ это просто!.. Эмма тоже боялась сначала, а теперь сама видитъ, какъ это просто,—замѣтилъ онъ мнѣ вполголоса.—Повторяйте!..

«Онъ снова раскрылъ львиную пасть... Какая-та сила потянула меня—я только помню ощущеніе остраго зуба на моемъ подбородкѣ, горячее и вонючее дыханіе звѣря... но дѣло было сдѣлано и показалось мнѣ дѣйствительно очень просто. Мы прорепетировали еще разъ. Блэкъ сказалъ:

«— Довольно! Выходите, но тихо, покойно...

«Я вышла, но едва только ступила на послѣднюю ступеньку лѣстницы—упала безъ чувствъ...

— Ого!—вскрикнулъ докторъ...—Для негра это было кстати!

— Вы дурно воспитаны,—замѣтила ему разсказчица,—негръ же былъ джентльменъ!

— Что же дальше? Разсказывайте, Бога ради. Да это прелесть что такое!—вмѣшался хозяинъ, видимо, желая замять неловкость доктора. Хорошо еще, что Семенъ Ивановичъ не сразу сообразилъ въ чемъ дѣло...

«Слѣдующій вечеръ, правильнѣе ночью, мы повторили репетицію, но уже безъ обморока, и сюрпризъ нашъ, экспромтъ этотъ самый, рѣшенъ былъ на слѣдующее представленіе. Кстати, былъ мой бенефисъ, и сборъ былъ вполнѣ обезпеченъ. Репортерамъ нарочно я, всѣмъ безъ исключенія, разослала даровые билеты, а семейнымъ даже ложи... Это лишило меня сотни рублей, но входило въ мой разсчетъ. Къ семи часамъ циркъ былъ освѣщенъ, публика собиралась—съѣздъ громадный! Особенно много было каретъ, это все шло хорошо!

«Оба мои выхода, въ первомъ и во второмъ отдѣленіи, вышли блистательны. Послѣднимъ номеромъ, передъ пантомимою,—капитанъ Блэкъ, его супруга Эмма и шесть львовъ. Я, помня заговоръ, не переодѣвалась, осталась въ трико и приказала

не разсѣдлывать моего сѣраго Гарри... Конюхъ удивился, но приказаніе исполнилъ; директоръ такъ былъ занятъ на аренѣ и доволенъ всѣмъ, что не замѣтилъ этой яко-бы неисправности и безпорядка.

«Роковая минута приближалась...

«Изъ своей уборной я слышала, какъ грохотали по доскамъ колеса громадной клѣтки, когда ее катили по корридору... я надѣла уже длинное манто и собиралась пробраться въ конюшню, вскочить на Гарри и выѣхать на арену, ожидая условнаго знака укротителя, какъ тутъ случилось одно совершенно уже неожиданное обстоятельство, разрушившее всѣ наши планы и для меня, конечно, къ лучшему—этого мало... для меня это была милость Неба, мое спасеніе!

«Мой Гарри, мой крѣпкій Гарри споткнулся какъ разъ въ ту минуту, когда я хотѣла перескочить барьеръ, чтобы неожиданно появиться на аренѣ; я упала на что-то твердое, на какую-то декорацію и сломала себѣ ребро... это случилось еще въ началѣ корридора, публика не могла видѣть, представленіе продолжалось... Меня отнесли пока въ уборную, вызвали доктора, а черезъ нѣсколько минутъ страшный крикъ пронесся по всему цирку. Публика, охваченная ужасомъ, бѣжала, и чрезъ входы, и черезъ наши конюшни... послышались выстрѣлы на аренѣ, ревъ звѣрей... Смятеніе полное!.. Мнѣ только крикнули:

«— Не безпокойтесь, все благополучно!.. Клѣтка заперта, Абделькадеръ разорвалъ капитана Блэка, миссъ Эмма спасена...

«Это нашъ директоръ называлъ «все благополучно!..»

Разсказчица остановилась и перевела духъ.

«А если бы мой Гарри не споткнулся, и я не сломала бы себѣ ребра, вѣдь я была бы въ клѣткѣ вмѣстѣ съ несчастнымъ Блэкомъ! Вы знаете, что я послѣ купила моего добраго Гарри, и онъ уже теперь совсѣмъ старый-престарый, даже слѣпой и покойно отдыхаетъ у насъ въ имѣньи. Семенъ Ивановичъ обѣщалъ даже, что когда Гарри сдохнетъ, заказать изъ его кожи чучело и поставить у себя въ кабинетѣ..

«— Ахъ, да! Кстати!—словно спохватилась мадамъ Терпугова.—Я должна добавить, что мой сѣрый старикъ никогда до того не спотыкался, даже послѣ ни разу. Я въ прошломъ году, лѣтомъ, велѣла его осѣдлать—и что же? Лошадь ничего не видитъ, а идетъ вѣрно и твердо. Удивительно, какъ у него

сохранились ноги!.. Отчего же онъ тогда именно споткнулся? Отчего? Отчего?.. Нѣтъ, вы мнѣ скажите: отчего именно это случилось?..»

Мадамъ Терпугова сильно взволновалась, повторяя намъ свой вопросъ, и успокоилась только тогда, когда къ этому вопросу присоединился и ея супругъ, повторивъ:

— Да-съ, милостивые государи, извольте вотъ отвѣтить категорично и убѣдительно: отчего съ? Случайность?.. Нѣтъ, милостивые государи, тутъ нѣчто иное, высшаго порядка... такъ-то-съ!

Конечно, насчетъ *высшаго порядка* мы согласились единогласно, даже нашъ скептикъ-докторъ не возражалъ. Онъ былъ въ очень дурномъ расположеніи духа, помня рѣзкое замѣчаніе разсказчицы, и даже дѣлалъ видъ, что его нисколько не занимаетъ продолженіе разсказа; но это онъ притворялся: я хорошо замѣтилъ, что слушалъ онъ, такъ же какъ и мы, очень внимательно.

Послышался мелодичный, точно гдѣ-то на далекой башнѣ, бой часовъ... Отсчитали мы двѣнадцать—полночь... Въ сосѣдней комнатѣ, за портьерою зазвенѣла посуда, завозились около стола... Время приближалось къ ужину, въ половинѣ перваго, по заведенному порядку... Овиновъ кликнулъ своего татарина и спросилъ:

— Принесли?

— Такъ точно!.. И поваръ самъ пришелъ, на конфоркѣ соуса подогрѣваетъ...

— Устрицы принесли тоже?

— И устрицы принесли, малчыкъ раскрываетъ...

Переговоры эти не могли, конечно, не возбудить нашего аппетита, и докторъ улыбнулся даже, смѣнивъ свое мрачное настроеніе духа на болѣе положенію соотвѣтствующее.

Какъ вдругъ за окнами, на улицѣ, послышалось дребезжаніе бубенчиковъ и грохотъ колесъ... Словно тройка лихо подкатила къ крыльцу, да не одна, а цѣлыхъ двѣ, потому что подальше слышались еще бубенцы, кони остановились, фыркая, у нашего подъѣзда...

V

Въ передней загремѣлъ голосъ князя Чохъ-Чохова, а черезъ мгновеніе и самъ онъ предсталъ передъ нами во всемъ своемъ блескѣ...

— Это что же такое!.. Господа... это уже свинство.

Но тутъ онъ, осмотрѣвшись хорошенько, замѣтилъ между господами одну госпожу и сконфузился...

— Пардонъ, мадамъ, это къ вамъ не относится, но они... они, ну, ей-Богу же такъ, поступать не по-дружески!..

— Во-первыхъ, здравствуй!—остановилъ его хозяинъ.— А во-вторыхъ... Ты-то за что на насъ въ претензіи? Мы можемъ быть недовольны тобою,—это правда! А ты чего не пріѣхалъ, когда тебя звали къ восьми? Ты чего это прямо къ ужину разлетѣлся? Это по-дружески, по-твоему?..

— Ты меня звалъ?—взглянулъ на него Чохъ-Чоховъ.

— Звалъ!

— Ты меня завтра звалъ, а не сегодня. Я получилъ сегодня утромъ твою записку, тамъ написано: завтра.. Вотъ посмотри, она у меня въ карманѣ... На, читай самъ...

Князь вынулъ измятый клочокъ бумаги и протянулъ его Овинову.

— Да ты смотрѣлъ число? Написано восьмого, девятаго, значитъ, завтра, то-есть, сегодня, такъ какъ сегодня девятое...

— Такъ ты такъ и напиши, что завтра значитъ сегодня... А со мною какая исторія!.. Удивительно!.. Вы знаете, какая со мною исторія?..

— Разсказывай, князь, въ чемъ дѣло?..

— Я сегодня нечаянно узналъ въ штабѣ, что родился я девятаго ноября, а не пятаго августа, какъ всегда праздновалъ. Въ штабѣ вѣрно въ бумагахъ показано... Это, значитъ, я на цѣлыхъ три мѣсяца сталъ моложе... Удивительное дѣло!

И князь молодцовато подбоченился и закрутилъ свой черный съ просѣдью усъ... Выстрѣлилъ, какъ изъ пистолета, взглядомъ въ сторону мадамъ Терпуговой. Такъ кокетливо погрозила ему пальцемъ.

— Ну, вотъ, по такому радостному событію, мы сейчасъ и выпьемъ, и закусимъ чѣмъ Богъ послалъ, и до холоднёнькаго доберемся,—произнесъ хозяинъ и добавилъ, указывая на дверь столовой:—милости просимъ, дорогіе товарищи!

Самъ же лихо согнулъ руку калачикомъ и подставилъ ее единственной дамѣ.

— Стой, стой, стой! Не туда поѣхали!—закричалъ во все горло князь Чохъ-Чоховъ...—Не туда совсѣмъ!

Всѣ остановились въ недоумѣніи.

— Говорю, не туда, значитъ—назадъ! По случаю своего рожденія, я заказалъ въ Зеленомъ кабачкѣ шашлыкъ, чахиртму, пилавъ и согналъ цыганъ со всѣхъ таборовъ. Тамъ уже поѣхали Мечмелѣевъ, Чучеладзе, Поль, Мишель, Пьеръ лысый... Всѣ туда поѣхали, а я взялъ двѣ тройки и васъ началъ разыскивать—пріѣзжаю къ одному, говорятъ, пошелъ къ Овинову, пріюзжаю къ другому—тоже ушелъ къ Овинову, къ третьему — тоже. Я сюда,—и застаю васъ всѣхъ въ сборѣ, какъ разъ на двѣ тройки... Одѣваться и маршъ!

— Послушай, да это неловко,—обидѣлся немного Овиновъ.—У меня уже ужинъ на столѣ, нарочно заказанъ въ Англійскомъ клубѣ... Наконецъ, поздно!

— Ничего не поздно... А ужинъ—пустяки... Ну, подари своему Шарипу свой ужинъ... Шашлыкъ лучше...

— Ѣхать въ такую даль, по такой погодѣ...—заворчалъ было докторъ.

— Не ѣзди, коли не хочешь! Не смущай, душа, кампанію!—огрызнулся князь...

— Погода-то точно...—вставили отъ себя братья Грызуновы.

— Ахъ! Я очень люблю слушать цыганъ... — заявила госпожа Терпугова.

— Мало ли мы ихъ слушали!—недовольнымъ тономъ проговорилъ ея супругъ.

— А это кто?

Князь сталъ пристально всматриваться въ капитана Кара-Сакала. Тотъ сидѣлъ въ тѣни и молчалъ, веселыми и радостными глазами глядя на Чохъ-Чохова...

— Николка, ты?.. Такъ вотъ какой сюрпризъ!.. Ты пріѣхалъ... Ну, какъ же я радъ, какъ я радъ... Нѣтъ, теперь уже баста! Не поддамся!.. Не хотятъ ѣхать, я тебя одного увезу... Здѣсь не оставлю. Ахъ, ты, другъ мой единственный!

И два друга, восемь лѣтъ не видавшіеся, заключили себя въ такія могучія объятія, что повалился даже столъ съ фруктами.

Во время этихъ объятій, мадамъ Терпугова успѣла шепнуть Овинову, что ужинъ его не пропадетъ, что она завтра пріѣдетъ къ нему къ позднему завтраку, и огорченный было хозяинъ повеселѣлъ.

— Такъ какъ же?—началъ онъ нерѣшительно.—Я право не знаю...

— Ѣхать, такъ ѣхать!—рѣшили братья Грызуновы.

— Поѣдемъ!.. Устрицы только, которыя открыты, выбросить даромъ надо!—согласился докторъ.

— Непремѣнно ѣдемъ!—энергично крикнула мадамъ Терпугова.

— Конечно ѣдемъ! — оторвался-таки отъ Кара-Сакала князь Чохъ-Чоховъ...—Мадамъ, большое мэрси... Какъ здоровье вашего почтеннѣйшаго супруга?..

— Да самъ-то я налицо, у меня и спрашивай! — замѣтилъ тотъ.

— А ты самъ знаешь? Ты почему самъ можешь знать?.. Здоровье мужа знаетъ только его жена: ласкова съ тобою была, ну, ты здоровъ. Сердита на тебя жена, ты боленъ... Ха... ха... ха!..

— Князь, вы прелестны!—заявила мадамъ Терпугова.

— Такъ одѣваться, господа, живо!—засуетился князь.—А насчетъ твоего ужина,—онъ обратился къ Овинову,—я распоряжусь самъ... Я сію минуту!

Князь исчезъ за портьерою, и мы тотчасъ же услышали его распоряженія:

— Это ты поставь въ холодное мѣсто, хотя три дни постоитъ, не бѣда! Это ты въ комнату, въ шкафъ... Это выбрось вонъ... Это ты хорошо сдѣлалъ, что еще не раскупоривалъ... Это назадъ въ боченки и на ледъ... Это къ чорту! Дичь переложи почтовою бумагою... и т. д...

Мы переглянулись, пожали плечами и стали собираться въ дальнюю дорогу, въ Зеленый кабачокъ... Капитанъ Кара-Сакалъ предложилъ мадамъ Терпуговой свою непромокаемую бурку, и, черезъ десять минутъ, двѣ тройки уже неслись по городскимъ улицамъ, направляясь къ Нарвской заставѣ...

Не буду разсказывать о томъ, что происходило въ Зеленомъ кабачкѣ. Подобныя шумныя, многолюдныя оргіи всѣ до такой степени безсодержательны и похожи одна на другую, что, описавъ одну, можно составить себѣ полное понятіе и обо всѣхъ другихъ, а такъ какъ подобныя описанія не разъ уже появлялись въ печати, то я и пропускаю подробности великаго событія и чествованія ново-открытаго дня рожденія милѣйшаго князя Чохъ-Чохова.

Дѣло только въ томъ, что когда, съ тяжелыми головами, съ безобразнымъ гуломъ и звономъ въ ушахъ, мы вновь сѣли въ экипажи, чтобы возвращаться домой—мы, не смотря на мерзѣйшую погоду, съ такимъ наслажденіемъ вдыхали свѣжій воздухъ, ну, точно какъ рыбы, побывавъ на берегу, вновь попали въ свою родную стихію...

Начинало разсвѣтать, а мы повиновались неизбѣжности ѣхать еще разъ къ Овинову, пить у него утренній кофе. Нашъ хозяинъ требовалъ реваншу, и отказать ему въ этомъ требованіи было невозможно.

Мы уже проскакали половину еще спящаго Петербурга; еще два поворота—и мы дома... Но тутъ насъ поразилъ необычайный для такого времени шумъ и движеніе именно въ той сторонѣ, гдѣ находилась квартира Овинова... Тамъ чернѣла толпа народа, и зловѣще мелькали въ этой темной волнующейся массѣ мѣдныя каски пожарныхъ... Ни пламени, ни даже дыму не было видно, а тревога все росла и росла, народъ прибывалъ...

Мы подъѣхали, пробились къ подъѣзду и остолбенѣли просто... передъ нашими глазами была картина страшнаго разрушенія... Два этажа, тотъ, который занималъ Овиновъ и подъ нимъ, были въ развалинахъ. Вмѣсто красивыхъ оконъ съ цѣльными зеркальными стеклами зіяли безобразныя дыры, и сквозь нихъ мы видѣли только груды обломковъ и мусора, въ которыхъ мѣстами виднѣлось нѣчто похожее на остатки мебели, бронзы, картинъ, вообще всего, что составляло роскошную обстановку квартиры.

Оказалось, что ровно въ часъ, въ тотъ именно часъ, когда мы всѣ должны были бы сидѣть за столомъ, наслаждаясь устрицами и дорогимъ виномъ, взорвало газометръ, устроенный какъ разъ подъ столовой Овинова, въ подвальномъ помѣщеніи... Много бы отъ насъ тогда осталось...

Овиновъ стоялъ блѣдный, какъ полотно, не слушая разспросовъ брандмейстера и еще какого-то полицейскаго офицера...

— Дѣлайте, господа, свое дѣло... Я послѣ... послѣ... не теперь!—проговорилъ онъ и направился вновь къ экипажу.

Мы тоже молча заняли свои мѣста въ экипажахъ...

Тронулись... Знаете ли куда?.. Нѣтъ?.. Ну, такъ я вамъ скажу!

Мы поѣхали... Словно сговорились, а вѣдь ни словомъ не перекинулись... Одна мысль руководила теперь всѣми нашими, окончательно уже протрезвѣвшими, просвѣтленными головами. Мы поѣхали къ Невѣ, далѣе, черезъ Троицкій мостъ, прямо, къ часовнѣ, что на томъ берегу... Мы, переѣхавъ этотъ безконечно-длинный мостъ, оставили свои тройки и дальше пошли пѣшкомъ... Неловко стало съ бубенцами да къ такому святому мѣсту, и...

— Эхъ, господа! Несчастные, право, несчастные, жалкіе даже тѣ люди—людишки просто, кто не умѣетъ жарко, всею душою и сердцемъ, забывъ всѣ земные помыслы, молиться передъ престоломъ Всевышняго...

Это—тоже случайность!..

ЗА ДРУЖЕСКОЙ ЖЖЕНКОЮ

Они собрались за свой обычный столъ, въ маленькомъ, но уютномъ ресторанѣ «Карлъ и Фрицъ» давно уже, съ часу дня, а теперь половина пятаго... По случаю отвратительной настоящей петербургской погоды, ихъ завтракъ слишкомъ уже затянулся... Да и куда же имъ пока дѣваться? Не идти-же фланировать по Морской и Невскому, подъ этимъ непрестаннымъ дождемъ, по такой скользкой и вонючей грязи? Въ такую погоду только нужда и служебныя обязанности могутъ заставить бѣгать по лужамъ тротуаровъ, перепрыгивать черезъ шаркающія метлы озлобленныхъ дворниковъ.

Всѣ трое были безукоризненно порядочные люди, т.-е. удовлетворяющіе всѣмъ принятымъ условіямъ порядочности, по крайней мѣрѣ внѣшней, въ душу вѣдь не заглянешь, душа—потемки, и кромѣ того люди совершенно независимыхъ взглядовъ, и этою независимостью они очень гордились. Всѣ трое были связаны между собою узами теплой дружбы и состояли «на ты» и всѣ были довольно извѣстны въ столицѣ и даже внѣ предѣловъ оной, на разстояніи, по крайней мѣрѣ, предѣльнаго раіона дачной жизни.

Позволю себѣ, впрочемъ, напомнить читателямъ ихъ имена:—Сержъ Костыльковъ, Жоржъ Мотыльковъ и баронъ Доппель-Плюнель. Ну, теперь, кажется, все ясно и не требуетъ дальнѣйшихъ поясненій.

Ихъ видали и по одиночкѣ, и всѣхъ группою, всегда и вездѣ, гдѣ должны появляться порядочные молодые люди, въ возрастѣ отъ тридцати до пятидесяти лѣтъ—и никто никогда не зналъ точно ни ихъ настоящаго положенія, ни ихъ средствъ къ жизни... Въ театрахъ они появлялись только на первыхъ и бенефисныхъ представленіяхъ и всегда въ первыхъ рядахъ,

на всѣхъ большихъ балахъ также, въ безукоризненныхъ фракахъ и бѣлоснѣжномъ бѣльѣ. На улицахъ они граціозно раскланивались съ пассажирами самыхъ блестящихъ экипажей, особенно съ пассажирками, и всегда при этомъ граціозно приподнятый цилиндръ и дружески сіяющая улыбка встрѣчали соотвѣтственныя движенія и выраженія... Знакомства ихъ были необыкновенно обширны, чуть не весь городъ, и они вездѣ успѣвали *попадать* — гдѣ нужно и когда нужно. Они были членами разнообразныхъ клубовъ, начиная отъ клуба велосипедистовъ и кончая морскимъ яхтъ-клубомъ, что на Морской, такъ, по крайней мѣрѣ, они говорили, не заботясь, въ силу независимости взглядовъ, о томъ, вѣрятъ-ли имъ, или не вѣрятъ, но что уже внѣ всякаго сомнѣнія,—они были почетными посѣтителями всѣхъ чисто-воспитательныхъ—музыкально вокальныхъ заведеній, куда почему-то входъ кадетамъ и гимназистамъ строго воспрещается. Почетъ свой они могли доказать даже документально, ибо нужные для сего документы были всегда съ ними и аккуратно возобновлялись при началѣ каждаго сезона. Они даже были членами одного негласнаго клуба, существовавшаго, впрочемъ, не долго—это клуба «des décaves», сборнымъ центромъ котораго былъ ресторанъ подъ фирмою «Карлъ и Фрицъ» и именно тотъ столъ, за которымъ они въ данную минуту торжественно засѣдали.

Въ силу той-же порядочности они всѣ трое обладали катаррами желудка, а потому меню ихъ завтрака было очень скромное: Сержъ Костыльковъ потребовалъ два яица въ смятку, Жоржъ Мотыльковъ—три таковыхъ-же, только баронъ Донель-Плюнель остался вѣренъ своему національному вкусу и заказалъ свиную котлету съ кислою капустою. Водку-же они пили, хотя и маленькими рюмками, но съ особеннымъ ожесточеніемъ, учащая пріемы и приговаривая передъ глоткомъ давно уже надоѣвшую прибаутку:

— И какъ это подлецы извозчики могутъ пить такую мерзость!

Сегодня наши собесѣдники были настроены мрачно, на ихъ лицахъ выражалась нестерпимая скука; лицо-же Жоржа Мотылькова, оплывшее со вчерашняго, особенно бурнаго дня и безсонной ночи, носило на себѣ даже печать легкаго отчаянія. Его даже не занялъ новый анекдотъ, очень глупый, чисто

нѣмецкій, но все-таки новый, разсказанный барономъ. Сержъ Костыльковъ успѣлъ уже написать восемь записокъ, тщательно, даже отъ друзей, прикрывая лѣвою рукою конвертъ, въ минуту надписыванія адреса, и командировалъ посыльнаго, снабжая его обстоятельной инструкціей, но прошло уже почти три часа, а посыльный еще не возвращался, признакъ ничего отраднаго не представляющій.

Раза четыре, по предложенію барона, сыграли спичками на коньякъ, кому платить за всѣхъ, но и это не помогало. Благодаря мерзкой погодѣ, посѣтителей ресторана было мало и то все больше такіе, которыхъ приближать къ своему столу не слѣдовало, между собою они уже, мимоходомъ, успѣли позондировать почву.

Жоржъ сказалъ Сержу, такъ скороговоркою и не громко, между шестой и седьмой рюмкою водки:

— Что, ты сегодня богатъ?

Сержъ на такой вопросъ только свистнулъ и добавилъ:

— А я было на тебя разсчитывалъ... дня на три, не болѣе!

А баронъ объявилъ, что онъ имѣетъ въ виду, и даже очень скоро, получить весьма солидную сумму, но добавилъ:

— Имѣть въ виду, господа, это еще не значитъ имѣть въ своемъ карманѣ. Сегодня каналья Цвибель долженъ былъ принести мнѣ, пока, триста, но обѣщалъ ровно въ два, а теперь половина пятаго... свинья!..

И на всѣхъ трехъ, именно на сегодняшній вечеръ, лежали тяжелыя обязанности:—Жоржу надо было побывать хоть на минуту въ оперѣ и зайти въ ложу № 4 бельэтажа, а оттуда къ парикмахеру Моле, гдѣ ему надо привести себя въ порядокъ и повидаться съ нужнымъ лицомъ, оттуда въ дворянскій залъ, на большой балъ французской колоніи, а оттуда... и т. д. Сержу—заѣхать въ клубъ «благородныхъ», во-первыхъ, уплатить вчерашній проигрышъ, во-вторыхъ, попытаться отыграться, а потомъ къ Аделаидѣ Григорьевнѣ, куда безъ обѣщаннаго браслета нельзя и носу показывать. Баронъ-же увѣрялъ, что сегодня «имѣетъ играть вистъ у испанскаго посланника, въ партіи съ двумя высокими иностранными особами, путешествующими по Россіи инкогнито».

— Сирѣчь, Мейерша приказала быть, подъ страхомъ жес-

точайшаго возмездія и на будущее строгаго обузданія!—проворчалъ Сержъ.

— Развяжись ты съ нею. Ну, ее, къ дьяволу!—проговорилъ Жоржъ.

— Это не такъ легко, какъ кажется!—пояснилъ баронъ, видимо, не обидѣвшись косвенно высказаннымъ недовѣріемъ по поводу виста у испанскаго посланника.

— Мерзѣйшее положеніе!—сказалъ, помолчавъ съ минуту, Костыльковъ.

— Нѣтъ, я не могу! Понимаешь ты, не могу!.. Я обязанъ, хоть чорту душу заложить, но я обязанъ!.. Отъ этого вечера многое зависитъ... Все!

Мотыльковъ вдохновился, вскочилъ и даже раза два прошелся по діагонали комнаты, задѣвая за столы и стулья.

— Но теперь, другъ мой,—спокойно замѣтилъ баронъ,—черти умнѣе стали и такой дряни, какъ человѣческія души подъ залогъ не берутъ...

— Жаль, очень жаль!

— Да что-же, каналья посыльный не приходитъ? Эй!

Разбитый дребезжащій звонокъ непріятно подѣйствовалъ на разстроенные нервы. Подошелъ кельнеръ.

— Посыльный вернулся давно уже,—доложилъ онъ.—Кого дома не засталъ, кто сказали только:—хорошо, ступай!.. Рубль восемь гривенъ получилъ отъ швейцара, за шесть концовъ; говорилъ, что еще за прежнее за вами осталось!

— Финишъ!—безнадежно опустилъ голову Сержъ Костыльковъ... вынулъ изъ кармана зеленый флаконъ и усиленно потянулъ носомъ.

Минуты на три воцарилось полное молчаніе.

Жоржъ стремительно приподнялся, уронилъ при этомъ свой стулъ и, шатаясь, пошелъ къ буфету, гдѣ сидѣла миловидная дочь хозяйки ресторана и, конечно, дремала, дѣлая видъ, будто читаетъ какую-то книжку; товарищи тупо посмотрѣли ему вслѣдъ.

А Жоржъ облокотился обѣими руками о рѣшетку буфета и что-то говорилъ дѣвицѣ. Та серьезно пожала плечами и покачала головой...

— И это вы?.. Вы, которую я люблю всѣмъ сердцемъ, которой я мечтаю посвятить всю свою жизнь...—донеслось съ той стороны.

— Ну, врите больше!

— Честное слово... скажите только: да! и я у вашихъ ногъ. А пока — ну, ей-же Богу только до завтра... и всего бездѣлицу — рублей пятьдесятъ... завтра мы обѣдаемъ у васъ, и я возвращу—съ букетомъ и тремя фунтами конфектъ. Честное слово порядочнаго человѣка. Ну, хлопочите, мой ангелъ!

— Сказала нѣтъ, и къ маменькѣ не пойду просить, и сама не могу!

— О, Маргарита! Что ты со мною дѣлаешь!

— Пустите!.. Ну, право... чуть всю посуду не повалили! Экій вы!

— Ну, Богъ съ вами! На вашей душѣ будетъ моя смерть...

— Маргарита! Давайте ему, пожалуйста, одну порцію пистолета!—хрипло разсмѣялся баронъ.

— Ну, такъ чортъ съ вами!.. Потомъ будете раскаиваться, но поздно. Сержъ, поддержи своего друга, если самъ не нуждаешься въ поддержкѣ...

— Не перейдете ли, господа, въ боковой кабинетъ?—предложилъ старшій кельнеръ. — Сейчасъ публика къ обѣду собираться станетъ,—вамъ много удобнѣе будетъ!

— Идея!—поддержалъ предложеніе баронъ.

— Обѣдать?.. Какъ обѣдать?.. Господа, гдѣ мы сегодня обѣдаемъ? По программѣ...

— Однако, — заговорилъ Сержъ, — я все-таки не теряю надежды... Со мной бывало и даже очень часто... Полное отчаяніе, полная бызвыходность и вдругъ... «Карлъ и Фрицъ», ведите меня въ отдѣльный кабинетъ!

Съ трудомъ убрали пріятелей изъ общей залы и водворили въ не особенно уютной комнатѣ, съ круглымъ столомъ посрединѣ и подозрительною мягкою мебелью по стѣнамъ. Въ «кабинетѣ» было сыро, пахло кошками и еще чѣмъ-то неопредѣленнымъ. Баронъ приказалъ затопить каминъ и подать сюда коньякъ и кофе. А время все шло и шло.

— Однако, — говорилъ баронъ, спустя уже довольно времени молчаливаго проглатыванія крохотныхъ рюмочекъ,—какъ жаль, что люди съ вѣрою въ Бога утратили и способы продаванія своей души чорту. Очень жаль! Я бы, напримѣръ, охотно вступилъ бы въ такое соглашеніе съ самимъ господиномъ Вельзевуломъ.

— Говорятъ, надо надрѣзать легонько, ну, хотя палецъ, обмакнуть въ кровь перо...

— Воронье!—добавилъ Сержъ.

— Развѣ такъ? Ну, все равно! И написать...

— Что написать?

— Какъ что? Конечно: отъ сего вышеписаннаго числа, срокомъ такого-то, повиненъ я уплатить сумму... Ну, тамъ по уговору...

— Да не сумму, а душу!—поправилъ разсказчика баронъ.

— Д-а-а-а! Конечно, душу! Ну, да все равно... Да, хорошее было доброе, старое время...

— Да и черти тогда глупѣе были,—добавилъ баронъ Донель-Плюнель.—Можно было и ихъ немножко надувать... Они были тогда очень наивны... Возьмемъ, напримѣръ, господинъ Фаустъ, отъ господина Гете... Онъ умѣлъ и капиталъ пріобрѣсти, и невинность соблюсти... Молодецъ!..

— Сатана! Самъ сатана! Приходи и получай! — завопилъ не своимъ голосомъ Жоржъ, слюняво разсмѣялся и энергичнымъ жестомъ опрокинулъ со стола бутылку...

— Человѣкъ, порцію дьявола!—подхватилъ Сержъ...

Дверь тихонько отворилась, и вошли оба кельнера,—Карлъ и Фрицъ, по счастливой случайности совпадшіе своими именами съ фирмою ресторана.

Карлъ несъ большую серебряную кострюлю, спиртовую горѣлку, рѣшетку и большую суповую ложку для размѣшиванія. Фрицъ принесъ корзину съ бутылками, вазу съ фруктами и головку сахара.

Кельнера молча поставили все принесенное на боковой столикъ и, почтительно извинившись за причиненное безпокойство, исчезли за дверью. Черезъ минуту они оба вернулись снова и принялись мѣнять столовое бѣлье, изрядно уже залитое нашими пріятелями...

Тѣ переглянулись въ полномъ недоумѣніи...

— Кто приказалъ?—приподнявъ брови, спросилъ баронъ.

— На двѣ бутылки кирша, обязательно одну бутылку мараскина! — облизнулся Жоржъ, успѣвъ ужъ опытнымъ окомъ оцѣнить содержаніе корзинки...

— Ого!—проговорилъ Сержъ, усиленно протирая глаза.

— Тутъ господинъ одинъ сейчасъ заѣзжали, спросили

господина барона и кто съ ними—я сказалъ, что, молъ, въ отдѣльномъ кабинетѣ.—Такъ они сказали—хорошо! Заказали жженку на четверыхъ и за устрицами послать къ Смурову,—мы вѣдь не держимъ,—а сами черезъ полчаса заѣдутъ. Просили обождать. Потому не время имъ, пріѣдутъ ровно въ двѣнадцать, а теперь только полчаса двѣнадцатаго... Очень просили обождать и кланяться барону!

— Ахъ! Да, да, да!—спохватился находчивый баронъ,—Я вѣдь ждалъ... Я ему самъ назначилъ... да, да, да!.. Это я вамъ, господа, готовилъ маленькій сюрпризъ!

Сержъ удивился, что такъ поздно, и попытался было провѣрить по своимъ часамъ, но вспомнилъ, что они «въ починкѣ». Жоржъ по той-же причинѣ повѣрилъ кельнеру на слово.

— Ну, теперь, пускай высокія особы играютъ вистъ безъ меня!—махнулъ рукою баронъ.

— Удивительно!—протянули дуэтомъ Сержъ и Жоржъ.

— Во всякомъ случаѣ, такъ какъ времени немного осталось, мы будемъ приступать къ грандіозному приготовленію,—говорилъ баронъ.—Я очень люблю это занятіе и хорошо всегда, даже превосходно — поступаю... Когда я былъ еще буршемъ въ Дорпатѣ, я всегда... Фрицъ, ставьте вазу на столъ и откупоривайте бутылки...

Установили все, какъ слѣдуетъ; возились долго, ибо и у барона, и у его пріятелей руки дрожали, должно быть, отъ волненія, ноги тоже слушались плохо, а въ глазахъ заходили радужные круги... Фрицъ и Карлъ предпочли лучше на время удалиться, баронъ слишкомъ уже началъ жестикулировать...

— Такъ онъ сказалъ, что будетъ ровно въ двѣнадцать... Мы его будемъ встрѣчать съ помпой! — предложилъ, помолодѣвшій душою, старый буршъ изъ Дорпата...

Но «онъ» уже былъ между ними—и когда баронъ, махая платкомъ и разнося въ дребезги предохранительныя стеклышки, погасилъ свѣчи, предоставивъ красному свѣту догорающаго камина меланхолически бороться съ голубоватымъ свѣтомъ горящаго кирша—всѣ трое замѣтили ясно этого четвертаго.

«Онъ» сидѣлъ въ глубокомъ креслѣ, заложивъ нога на ногу, скрестивъ на груди тонкія руки—и смотрѣлъ на пріятелей, хотя съ нѣсколько насмѣшливой, но чрезвычайно непріятной, болѣзненно искривленной улыбкою.

Замѣтили его присутствіе какъ-то всѣ разомъ и всѣ разомъ притихли, сохранивъ свои позы, какъ кто былъ...

— «Parbleu!»—первый прервалъ молчаніе незнакомецъ...

Онъ поднялся съ кресла и безцеремонно сбросилъ съ плечъ черный сюртукъ безукоризненно моднаго покроя, пригласивъ остальныхъ жестомъ послѣдовать его примѣру.

Сержъ такъ растерялся, что принялся снимать прежде панталоны, но его во время поправилъ Жоржъ.

«Онъ» подошелъ къ столу, сдѣлалъ какое-то кабалистическое движеніе надъ пылающею вазою, вродѣ того, какъ Фельдманъ дѣлаетъ свои пасы, — и огонь вспыхнулъ значительно ярче. Теперь можно было разсмотрѣть таинственнаго гостя болѣе внимательно.

Это былъ сильно худощавый брюнетъ, съ замѣтною просѣдью, съ рѣзко очерченными бровями, съ длиннымъ, слегка горбатымъ носомъ и сухимъ, перекошеннымъ разрѣзомъ рта. Усы и борода незнакомца были гладко обриты, что придавало ему видъ актера трагика; на его длинной, тонкой шеѣ, съ сильно выдающимся кадыкомъ, не смотря на безукоризненность всего остальнаго костюма, былъ небрежно повязанъ ярко-красный галстухъ.

— Милостивые государи! — началъ онъ. — Будемъ безъ церемоніи и дружески, братски сядемъ за братскій котелъ... Я васъ всѣхъ отлично знаю, вы меня, вѣроятно, тоже, хотя, я замѣчаю, въ данную минуту не узнаете, но останемся и мило проведемъ эту ночь, безъ взаимныхъ представленій, вродѣ какъ бы въ маскарадѣ: —я васъ интригую,—попробуйте сдѣлать со мною тоже, будемъ пить и говорить о разныхъ дѣлахъ, но, предупреждаю, только о самыхъ пріятныхъ... А что-же устрицы?!. Эй, кто тамъ?.. Сережа, позвони - ка!.. Вонъ кнопка!..

Сержъ Костыльковъ былъ слегка озадаченъ этою фамильярностью съ переходомъ на безцеремонное «ты», но, все-таки, и нѣсколько польщенъ...

Тутъ незнакомецъ далеко отшвырнулъ въ уголъ свой сюртукъ, висѣвшій на спинкѣ стула, при этомъ движеніи изъ боковаго кармана выпалъ тяжелый бумажникъ, раскрывшись на-лету, и шлепнулся у самаго камина, на то мѣсто ковра, гдѣ было особенно свѣтло... Всѣ трое успѣли разглядѣть что

бумажникъ плотно набитъ пачками радужныхъ. На опытный взглядъ барона, тутъ находилось цѣлое состояніе.

Жоржъ Мотыльковъ поспѣшилъ исправить неловкость новаго гостя, но тотъ остановилъ его, произнеся:

— Ну, брось! Пустяки... Итакъ, мои друзья, сначала начнемъ съ устрицъ, это все, что въ силахъ перенести ваши, по правдѣ сказать, никуда негодные желудки, запьемъ эти дары океана холоднымъ шабли, а потомъ и будемъ коротать длинную зимнюю ночь за чаркою пламенѣющей влаги... Баронъ, ты будь хозяиномъ. Да не стѣсняйся, я, право, тебя не узнаю!

— Я тоже не могу припоминать!..—началъ было баронъ.

— И не надо... Кстати, чтобы тебя порадовать пріятною вѣстью, я сообщу тебѣ, что сегодня обѣдалъ съ твоею мадамъ Мейеръ, она переспѣла, положимъ, но еще «ничего!» Я ее привелъ въ такое состояніе, что она врядъ-ли завтра рано очнется... Ты можешь ей сдѣлать сцену, такъ какъ застанешь ее, что называется, «съ поличнымъ»!

Допель-Плюпель не сразу сообразилъ, какъ принять такое безцеремонное извѣщеніе — за наглое оскорбленіе или за дружескую услугу...

— Ну, зачѣмъ такой разговоръ?—произнесъ онъ, брезгливо отмахнувшись рукою.—Какія такія шутки!..

— Ты, Сережа, — продолжалъ незнакомецъ, — тоже успокойся и насчетъ твоего проигрыша: онъ уже уплоченъ, и насчетъ браслета—своей шельмѣ Аделькѣ: ты вѣдь его попросту укралъ и заложилъ и теперь, конечно, волнуешься, ибо выкупить не можешь, а завтра можетъ открыться... Она сегодня получила браслетъ гораздо болѣе дорогой и письмо, написанное твоимъ почеркомъ, гдѣ, запомни, на всякій случай содержаніе, ты сообщаешь ей, что взялъ ея браслетъ, во-первыхъ—на память, а во-вторыхъ, чтобы замѣнить его другимъ, болѣе достойнымъ такой удивительно-изящной ручки...

— Ты тоже, милый Жоржъ, не волнуйся,—продолжалъ всевѣдущій собесѣдникъ. — Подвинься поближе, я тебѣ кое-что скажу по секрету!

Онъ нагнулся къ Мотылькову, обнялъ даже его за шею и началъ говорить ему на ухо. Тотъ поблѣднѣлъ и чуть не свалился со стула.

— Видишь, другъ мой, если я и такія мерзости успѣлъ поправить, такъ значитъ, чего нибудь да стою!—произнесъ незнакомецъ вслухъ и расхохотался на всю комнату.—Вотъ, какъ я васъ, друзья мои, хорошо знаю и вовсе не хочу остаться у васъ въ долгу... Я только вызываю на откровенность, на полную безцеремонность отношеній, такъ какъ мы свои люди, а всѣ люди, какъ люди, не безъ грѣха. Я и объ себѣ вамъ разскажу кое-что... презабавныя вещи... а пока будемъ пить, только не пѣть, это глупая нѣмецкая привычка... Да и вообще можно вѣдь очень весело проводить время безъ шуму, не привлекая вниманія постороннихъ, а потому и полиціи... Поднимаю бокалъ за процвѣтаніе вашего тайнаго клуба!..

Всѣ чокнулись и выпили.

Все-таки разговоръ не клеился. Собесѣдники сидѣли съ вытянутыми лицами, словно въ лицѣ своего амфитріона они видѣли, если не самого прокурора, то, по крайней мѣрѣ, судебнаго слѣдователя.

Да и какъ-же иначе? Человѣкъ, очевидно, знаетъ ихъ, что называется, насквозь, знаетъ всѣ ихъ сокровенныя дѣла, а они про него — ничего... Они у него въ рукахъ... онъ относится къ нимъ покровительственно-дружески, какъ свой человѣкъ, а кто его знаетъ?.. Пустишься въ сокровенности, а онъ—все въ протоколъ... Конечно, можно самые невинные проступки объяснить и такъ, и этакъ... Требованіе порядочности можетъ легко поставить человѣка въ необходимость совершить что-либо, не вполнѣ оправдываемое закономъ, и если начать придираться, согласовать ихъ дѣла съ требованіями сухой морали, то можно безукоризненнаго джентльмена изобразить мерзавцемъ и негодяемъ... Все вѣдь такъ условно... За кого-же онъ ихъ считаетъ? За джентльменовъ или за мерзавцевъ? Пьетъ-ли онъ съ ними дружески, какъ равный съ равными, или спаиваетъ съ какою-нибудь замаскированною цѣлью?..

При этомъ всѣ трое сошлись еще на одномъ томительномъ вопросѣ: вотъ онъ лежитъ, этотъ самый, небрежно вывернутый на полъ бумажникъ. Такъ можно-ли занять у него и когда именно, сейчасъ или послѣ?

При этомъ всѣ трое покосились другъ на друга, ревниво слѣдя:—кто сей, кто отважится начать въ этомъ направленіи?

А незнакомецъ проникъ и въ эти ихъ, пока еще не обна-

руженныя, размышленія. Онъ лукаво подмигнулъ имъ на этотъ соблазнительный предметъ, какъ-бы приглашая:

— Не стѣсняйтесь, ребята, тамъ много! Бери, сколько кому нужно... не церемоньтесь!..

— Я долженъ на-дняхъ получить очень большую сумму...— началъ баронъ.

Жоржъ и Сержъ встрепенулись.

— Ахъ, да, кстати, у меня къ тебѣ, мой невѣдомый другъ, маленькая просьба. Такъ, пустяки... Дай мнѣ рублей пятьсотъ, мнѣ надо сейчасъ послать въ одно мѣсто, а домой ѣхать что-то не хочется!—пошелъ напрямикъ Мотыльковъ.

А Костыльковъ не вытерпѣлъ и пошелъ еще прямѣе. Онъ просто нагнулся къ бумажнику и цѣпкими пальцами потянулъ оттуда нѣсколько листовъ.

— До завтра, честное слово, до завтра. Мы, надѣюсь, соберемся сюда завтра, какъ всегда, къ половинѣ перваго?

Порядочность ихъ и тутъ сказалась: всѣ трое вынули свои визитные карточки и передали ихъ великодушному незнакомцу. Тотъ даже не взглянулъ.

— Видите-ли, господа, со мною карточекъ нѣтъ. Имени у меня теперь тоже нѣтъ,—спокойно заговорилъ амфитріонъ,—я вамъ просто разскажу кое-что про свою жизнь, и думаю, что это васъ займетъ и нѣсколько разсѣетъ ваше, какъ я замѣчаю, тревожное состояніе духа. Вы позволите?

— Просимъ!—проговорилъ баронъ:

— «Итакъ — я начинаю!» Значеніе жизни я понялъ довольно рано. Уже четырнадцати лѣтъ я постигъ, что всѣ науки, которыми насъ пичкали въ школѣ, во-первыхъ, забываются сейчасъ-же послѣ экзамена, а во-вторыхъ, составляютъ лишній баластъ на жизненномъ пути. Въ эти-же счастливые годы моего отрочества — мадмуазель Клемансъ, гувернантка моей сестры, была очень изумлена моими познаніями на иномъ, болѣе пріятномъ полѣ дѣятельности, и съ удовольствіемъ дополнила въ этомъ отношеніи мое образованіе... Какъ вполнѣ порядочный молодой человѣкъ, я, какъ могъ, цѣнилъ ея заботы, даря ей разныя мелочи, а такъ какъ эти пустяки надо было пріобрѣтать за деньги, то первый дебютъ мой въ этомъ отношеніи чуть не скомпрометировалъ мое положеніе въ семействѣ... Чуть-чуть—это еще ничего не значитъ... Это случилось, пом-

нишь, Сержъ? Совсѣмъ какъ съ тобою, когда ты стащилъ серьги у своей мамаши, за что съ позоромъ выгнали изъ дома прехорошенькую горничную Полю... Затѣмъ, спустя нѣсколько времени, передъ самымъ моимъ выпускомъ изъ училища на меня обратила вниманіе одна, довольно еще сохранившаяся особа, и я убѣдилъ ее, что молодому, приличному во всѣхъ отношеніяхъ человѣку, у котораго въ головѣ цѣлый заводъ разныхъ блестящихъ плановъ и комбинацій, совсѣмъ не кстати тянуть служебную лямку, а надо сохранить свою полную независимость и свободу. Она поняла, что для этого нужны деньги — и поняла прекрасно. Я сталъ одѣваться у лучшаго портного, посѣщать лучшіе рестораны, пріобрѣлъ себѣ блестящія знакомства, расширилъ, такъ сказать, кругъ своихъ операцій, и если-бы моя вдова не надоѣдала мнѣ своею невыносимою ревностью, то я-бы, конечно, ея не бросилъ, хотя у меня теперь было уже три вдовы, три дойныя коровы, не подозрѣвавшія вовсе своего соперничества... Еще недавно, господа, вѣдь вы все это продѣлывали, да и теперь не прочь—и вамъ, конечно, понятно, что въ моемъ поведеніи не было ничего противнаго условіямъ полной порядочности. Клемансъ,—милая просвѣтительница моя Клемансъ—хохотала отъ души и даже одобряла, говоря: Бебе, ты пойдешь далеко! И я, дѣйствительно, пошелъ!

Когда кто умѣетъ съ толкомъ и блескомъ тратить деньги, тотъ никогда не будетъ затрудняться въ способахъ ихъ добыванія. Для вида я игралъ на биржѣ съ перемѣннымъ счастіемъ, и, въ минуты благородной ссоры съ моими покровительницами, какъ я ихъ называлъ, дойными коровами, я легко находилъ кредитъ даже у извѣстнаго Мишеля... у этого неблагодарнаго животнаго, поставившаго меня разъ въ необходимость поставить фальшивую подпись на векселѣ. Помнишь, милый Жоржъ, какъ ты разъ чуть не влопался? Потомъ это у меня вошло въ привычку, выработался характеръ и сила воли, презрѣніе къ разнымъ ненужнымъ формальностямъ, прописнымъ требованіямъ морали, и когда я былъ даже арестованъ и попалъ въ сильное подозрѣніе, то знаніе дѣлъ и жизненный опытъ дали мнѣ возможность выйти побѣдоносно изъ бѣды, утопивъ двухъ моихъ товарищей, Коко Брике и Костю Гульфика... Ха, ха, ха! Не будь дураками! Такъ точно, какъ ты, баронъ, помнишь, съ этой исторіей подложной духовной купца

раскольника? Было даже время, когда я чуть не надѣлалъ глупостей, это, когда я, какъ дуракъ, влюбился въ кошку Гризи, наѣздницу въ циркѣ, и попалъ подъ ея вліяніе... Я ее прекрасно обставилъ, завелъ ей лошадей и все прочее, но кончилось тѣмъ, что меня избили клоунъ и два акробата, избили жестоко, а та, подлая, при семъ «хохотала»!..

— Господа! Жоржъ, Сержъ! Что это вы сдѣлали такія кислыя гримасы? Ну, что за бѣда, что били?.. Вы еще счастливо отдѣлались, вѣдь васъ били татары у папа Бореля, а то били акробаты... что гораздо хуже... и вообще, я вамъ долженъ замѣтить, что быть битымъ не гласно, такъ сказать, не оффиціально, не бѣда! Умѣйте сохранить тайну, озаботьтесь, чтобы печальный инцидентъ не былъ разглашенъ, и гордо несите на плечахъ свою независимую благородную голову. Не правда ли, баронъ?

— Ну, я всегда приглашалъ къ барьеру, конечно, если это были люди равные по происхожденію!

— Я тоже, — но всегда умѣлъ устроить такъ, что на мѣсто поединка, одновременно съ противникомъ и его секундантами, появлялась полиція!

— Послѣ непріятнаго столкновенія съ представителями цирка—мнѣ не повезло, и я долженъ былъ временно оставить даже столицу. Къ тому же одновременно поступило взысканіе по двумъ моимъ векселямъ, — и совершенно для меня неожиданно. Одинъ изъ высокопоставленныхъ юнцевъ, жаждавшихъ познаній тайниковъ жизни, пользующійся для сей цѣли моимъ руководительствомъ, скомпрометировалъ мое имя самою дурацкою оплошностью и предалъ позорно своего наставника. Правду говорятъ, будто бѣды сваливаются всегда гуртомъ и рѣдко приходятъ въ одиночку. Такъ и на меня посыпались шишки, словно изъ мѣшка прорваннаго. Въ клубѣ меня попросили не бывать, моя, большею частью счастливая, игра, очевидно, возбуждала зависть и, наконецъ, я, всегда стоящій во главѣ, составляющій центръ кружка блестящей молодежи, принужденъ былъ очутиться въ числѣ потѣшной свиты милліонера Василискаго, этого идіота, паралитика, да и то въ силу покровительства, Нюши ай люли, изъ хора Мишки Соколова.

— Я даже сталъ падать духомъ, и въ тонѣ моего независимаго голоса стали замѣчаться собачьи нотки, якобы просящія

подачки. Мои друзья, тѣ, которые мнѣ были не разъ многимъ обязаны, стали небрежно протягивать мнѣ два пальца, а то и совсѣмъ дѣлать видъ, будто меня не замѣчаютъ и... къ довершенію всего, за мной стали слѣдить лакеи моего милліонера. Я день и ночь ломалъ голову, придумывая, какъ и чѣмъ выйти изъ этого невыносимаго положенія. Я тонулъ и хватался руками, за что ни попало, и вдругъ, совершенно неожиданно, моя счастливая звѣзда ярко загорѣлась надъ моей головой. Я былъ спасенъ! Мнѣ сдѣлали предложеніе обвѣнчаться съ одной особой, конечно, женскаго пола, которой почему-то захотѣлось или просто нужно было прикрыться моимъ громкимъ именемъ и титуломъ, и условія были подходящія: треть суммы немедленно, для приведенія моихъ дѣлъ въ порядокъ, треть въ день вѣнца и послѣднюю треть—въ вагонѣ заграничнаго поѣзда, и именно въ томъ вагонѣ, гдѣ я не могъ встрѣтиться съ своей молодой супругой.

— Снова настали золотые дни Аранжуэца. Я быстро возстановилъ свой престижъ и заблисталъ снова... но не надолго. Здоровье мое разстроилось, и воды Монако мнѣ не помогли, а скорѣе повредили. Послѣ трехлѣтняго отсутствія моего изъ предѣловъ дорогого отечества, я вернулся назадъ. Меня привезла съ собой одна испанская жидовка, не первой молодости, но эффектная красавица-авантюристка, и привезла на свой счетъ, въ качествѣ руководителя въ странѣ варваровъ, на первыхъ, по крайней мѣрѣ, шагахъ ея дѣятельности въ новой сферѣ. Конечно, мы условились, что это, будто, я самъ вывезъ изъ-за границы такой перлъ,—это должно было придать солидность положенію новой звѣзды на нашемъ горизонтѣ. Я устроилъ для нея прекрасный салонъ, рекламировалъ мою испанку превосходно, добылъ ангажементъ на двухъ лѣтнихъ сценахъ. Дѣла пошли превосходно! Но, увы!—Опять-таки не на долго! Хотя мы съ Элеонорой ди-Торидо и приняли всѣ мѣры осторожности, но жалоба обиженныхъ Фортуной достигла слуха тѣхъ слоевъ общественной администраціи, съ которыми мы тщательно избѣгали столкновеній, и полный крахъ обрушился, какъ громъ съ небесъ, на наши головы. Рулетка въ салонѣ испанки была накрыта и, конечно, сейчасъ же закрыта... кажется, вышло что-то въ родѣ каламбура?.. Рейзу Кивеке,—Донна ди-Торидо тоже, выпроводили вонъ изъ страны сѣверныхъ варваровъ, а

меня за предѣлы столицы. И это еще слава Богу!.. Мой другъ извѣстный адвокатъ Хапензонъ, говорилъ мнѣ:

— Ну, братъ, счастливо же ты отдѣлался!

— Счастливо! Какая злая ирронія! Но «годы шли, и дни текли»... Ну, что я могъ сдѣлать, что предпринять, лишенный даже права скромно и тихо жить въ порядочномъ обществѣ, въ столицѣ, куда я попадалъ только украдкою, ночуя въ номерахъ гостиницъ, гдѣ документовъ съ вечера не требовалось. Средства мои изсякли окончательно, здоровье подорвано, даже на простой физическій трудъ, ну, хоть мостовую мостить — я былъ не способенъ, да кто и приметъ на такую работу титулованнаго джентльмена!..

— Извините меня, мои друзья, я замѣчаю, что разсказъ становится для васъ не совсѣмъ пріятенъ... Но вы поймите меня, войдите въ мое положеніе, такъ какъ все это, или почти все, испытали сами. О, будь у меня снова деньги, большія деньги, свались онѣ на меня хоть съ высоты небесъ, хоть изъ подземелій самаго ада, я бы воспрянулъ вновь, какъ фениксъ изъ пепла, ибо деньги—эта такая сила, съ которой борьба не мыслима—деньги все!..

— Вы, господа, недавно въ этой комнатѣ весьма сожалѣли, что нынче черти стали умнѣе и душъ человѣческихъ въ залогъ не берутъ. Я тоже сожалѣлъ, ибо это былъ бы мой послѣдній, такъ сказать, ресурсъ, но не отчаявался, и въ одну изъ очень уже тяжелыхъ минутъ, проводя, полуголодный, ночь въ жалкомъ номерѣ гостиницы «Рига», написавши не восемь писемъ, какъ ты, милый Жоржъ, а сотни своимъ прежнимъ друзьямъ, и не получивъ ни откуда ни слова въ отвѣтъ, ни сантима, я, въ порывѣ злобы на человѣческую несправедливость, призвалъ сатану, съ сердечною готовностью уступить ему всѣ права на свою душу... «Права, — какъ выражается, адвокатъ Хапензонъ,—на владѣніе фиктивнымъ имуществомъ»... Я крикнулъ: явись самъ сатана!—и сатана предсталъ передо мною...

— Дверь тихо отворилась, въ комнату вошелъ сгорбленный, весь въ черномъ, человѣчекъ. Не снимая съ головы довольно поношеннаго цилиндра, онъ вытащилъ изъ бокового кармана драповаго пальто грязный фуляровый платокъ и, высморкавшись, сталъ протирать свои запотѣвшія очки.

— Какъ вы думаете, кого я узналъ, господа, въ этомъ гостѣ?

— Ну, конечно, чорта!—воскликнулъ баронъ.

— Сыщика!—глубокомысленно рѣшилъ Сержъ Костыльковъ.

— Я тоже думаю... — поддержалъ товарища Жоржъ Мотыльковъ.

— Ростовщика Мишеля! Этого стараго мерзавца, жестокосерднаго негодяя, моего заклятаго врага! Вотъ кто посѣтилъ меня въ минуту несчастія и скорби!

— Я былъ положительно ошеломленъ такою неожиданностью, слова вопроса застыли на моемъ языкѣ. Я ждалъ и чувствовалъ, какъ мучительный спазмъ начинаетъ сжимать мое горло, холодный потъ выступаетъ на лбу,—предчувствіе чего-то очень скверпаго овладѣваетъ моею душою. Я смотрѣлъ на ночного гостя и ждалъ.

— А тотъ покойно, не спѣша, снялъ пальто и повѣсилъ его черезъ спинку стула, поставилъ мокрый цилиндръ на полъ, еще разъ высморкался и, осмотрѣвъ предварительно сидѣнье стула, осторожно присѣлъ на его кончикъ.

— Вы меня звали, господинъ ваше сіятельство, и я пришелъ!—проговорилъ онъ.

— Я васъ не звалъ... Развѣ вы, господинъ Мишель, стали чортомъ?

— Это все равно... Вы меня звали, и я пришелъ... Вамъ очень нужны деньги? Очень? Ну, конечно, и вы ихъ будете получать... И много получать... Сколько вамъ нужно? Да! Вы вѣдь сами не знаете, сколько именно... Только побольше... Вотъ вамъ это «много», получайте!

Мишель вытащилъ изъ-за пазухи толстый бумажникъ... вотъ этотъ самый... раскрылъ его передъ моими глазами,—вотъ также, какъ онъ теперь валяется раскрытый, и осторожно положилъ его на столъ!

— Вексельныя бумаги съ вами?—сдерживая охватившее меня понятное волненіе, спросилъ я, стараясь придать моему растерянному лицу дѣловое серьезное выраженіе... И потомъ,—продолжалъ я, — я долженъ, господинъ Мишель, знать ваши предварительныя условія...

— Вся моя сырая, убогая комната наполнилась хриплымъ старческимъ хихиканьемъ, глаза у жида заискрились, плечи

даже затряслись отъ смѣха... Онъ хлопнулъ меня по колѣну своею костлявою рукой и проговорилъ:

— А вы все по прежнему, такой-же веселый шутникъ... Это я люблю.

— Однако!..—настаивалъ я на своемъ вопросѣ.

— Никакого обезпеченія, никакого векселя не надо... Вы мнѣ только оказывайте маленькую услугу... и потомъ берите все, что тутъ есть... А тутъ много — очень много!.. Тутъ столько.

— Да я съ удовольствіемъ!.. Въ чемъ дѣло?

— А вотъ сейчасъ!

— Мишель досталъ изъ кармана продолговатый футляръ и просилъ меня, пока не открывая, подержать въ рукахъ. Затѣмъ онъ сорвалъ свой грязный, безпорядочно намотанный галстухъ, заворотилъ воротникъ рубахи и обнажилъ свою толстую вытянутую шею, отвратительную шею, въ выпуклыми хрящевыми кольцами горла, точно у лежалаго гусинаго потроха...

— Теперь извольте открывать ящикъ. Ну!..

Я открылъ и вздрогнулъ. Въ ящикѣ лежала превосходно отточенная, блестящая англійская бритва.

— Ну!—повторилъ старый ростовщикъ.—Я жду... что-же это вы, господинъ ваше сіятельство?.. Развѣ здѣсь мало, и вы не согласны?.. Ну!..

— Я потерялъ всякую способность не только владѣть собою, но даже что-нибудь соображать, а этотъ страшный человѣкъ, дьяволъ, призракъ... этотъ ненасытный вампиръ продолжалъ:

— У васъ въ рукѣ очень хорошая штука, а вотъ очень поганое, больное совсѣмъ, все равно, скоро издыхающее горло. Ну... чикъ и готово!.. Развѣ это для васъ трудно?.. Можетъ, вы полиціи боитесь?.. Никто не видалъ, какъ я сюда вошелъ... Ну, смѣлѣе, господинъ, ваше сіятельство... и все это, все, что тутъ лежитъ, все ваше. Берите, запирайте свою комнату на ключъ, ключъ къ себѣ въ карманъ и утекайте... всѣ спятъ, и никто васъ не увидитъ... Ну!.. Я буду считать — разъ, два, три!.. Когда мнѣ придется сказать четыре, я возьму деньги въ карманъ и уйду самъ, а *штуку* вамъ оставлю, можетъ быть, на ваше собственное горло рука ваша будетъ рѣшительнѣе. Ну, и начинаю считать: разъ, два...

Но «три» онъ уже не успѣлъ сосчитать. Что-то горячее, липкое обдало мои руки, на грудь полились красные потоки... Моя правая рука едва держала рукоятку бритвы, а лѣвая, словно сама собою, не управляемая мною сознательно, тянулась за толстымъ бумажникомъ... Въ глазахъ заходили зеленые круги, вся комната завертѣлась съ бѣшенною быстротою, я потерялъ сознаніе.

— Какая неосторожность!—воскликнулъ баронъ.—Ай, ай!

— Нервы не выдержали...—иронически замѣтилъ Жоржъ.

— Ну, а когда вы очнулись?.. Не поздно было?—полюбопытствовалъ Сержъ Костыльковъ.

— Поздно! Когда, на другой день, вошли въ мою комнату, то никакого зарѣзаннаго жида не нашли, а я самъ, лично я, лежалъ на полу съ перерѣзаннымъ до самымъ позвонковъ горломъ... Кровью былъ залитъ весь полъ и, конечно, возвратить меня къ жизни не было уже никакой возможности!..

— Очень жаль!—замѣтилъ баронъ.

— Какая досада! — сказали въ одинъ голосъ Жоржъ и Сержъ...

— Вы вѣдь помните,— говорилъ незнакомецъ,— года три тому назадъ было даже въ хроникѣ происшествій напечатано, что въ гостиницѣ «Рига» кончилъ самоубійствомъ извѣстный Иксъ и пр., и пр.

— Ну, да!—Конечно, помню!—протянулъ баронъ.—То-то я смотрю, лицо ваше мнѣ знакомо... Очень радъ возобновить это пріятное знакомство, очень пріятно!..

Баронъ потянулся съ рукою черезъ столъ, но потерялъ равновѣсіе... Костыльковъ съ Мотыльковымъ потянулись даже цѣловаться съ разсказчикомъ, но ни жать руки, ни цѣловать было некого... Случилось нѣчто неожиданное.

Толстый бумажникъ, словно живая, жирная лягушка, зашевелился на коврѣ, прыгнулъ разъ, повторилъ прыжокъ, глухо шлепая своимъ туго набитымъ пузомъ, и очутился прямо въ широкой пасти пылающаго камина. Тамъ онъ зашипѣлъ, окутался паромъ и громко лопнулъ, обдавъ собесѣдниковъ цѣлымъ облакомъ горькаго дыма... А когда этотъ дымъ разсѣялся, то картина представлялась слѣдующая:

Баронъ лежалъ поперекъ стола и храпѣлъ съ какимъ-то присвистываніемъ и рокотаніемъ въ горлѣ,—Жоржъ подъ сто-

ломъ, стянувъ на себя залитую виномъ и какою-то мерзостью скатерть. Сержъ Костыльковъ добрался таки до провалившагося дивана и, относительно комфортабельно, свернулся калачикомъ.

Когда Карлъ и Фрицъ явились утромъ въ сіе мѣсто дружескаго уединенія, они только покачали головами и презрительно сплюнули.

Долговая книга, находящаяся въ вѣдѣніи миловидной Маргариты, обогатилась новымъ документомъ, въ которомъ значилось очень солидное количество водки, столько-же коньяку рюмками и отдѣльно бутылка, взятая въ кабинетъ, громадное, подавляющее количество шнитовъ, кофе, яйца, котлета свиная съ кислой капустой, помѣченъ былъ даже маринованный грибъ «одна штука», но ни жженки, ни устрицъ, ни высокаго шабли не оказалось вовсе,—даже Карлъ съ Фрицемъ не могли припомнить такого требованія и лукаво подсмѣивались.

НЕВѢСТА-СКЕЛЕТЪ.

(Истинное происшествіе).

Мы собираемся вмѣстѣ, въ опредѣленные дни, правильнѣе вечера, поговорить по душѣ, обмѣняться, такъ сказать, мыслями и впечатлѣніями, поужинать весело и удобоваримо и даже выпить бутылку-другую добраго вина или по нѣскольку кружекъ тоже добраго пива.

Собранія наши бываютъ всегда пріятны, искренно-дружественны, а главное полезны для ума и сердца; этими свойствами мы обязаны главное основному правилу, такъ сказать, обязательному закону нашихъ собраній,—говорить всегда только сущую правду, никогда не позволять себѣ малѣйшихъ уклоненій отъ истины и, если уже нельзя избѣжать чего-нибудь не совсѣмъ правдоподобнаго *(вѣдь на свѣтѣ есть много такого, чего не снилось нашимъ мудрецамъ)*, то, во всякомъ случаѣ, сопровождать это кажущееся неправдоподобіе — серьезными, неопровержимыми доказательствами.

Надо добавить, что кружокъ нашъ состоитъ преимущественно изъ однихъ только художниковъ, — кисти, музыки, слова — это безразлично, но званіе признаннаго артиста необходимо для появленія въ нашемъ высоко развитомъ и блистательно образованномъ обществѣ. Кстати—еще долженъ добавить, что скромность составляетъ главнѣйшее наше нравственное качество; да оно иначе и быть не можетъ: хвастливость и заносчивость—это свойства натуръ мелкихъ и безсодержательныхъ; а мы... виноватъ!.. Мы—въ данную минуту засѣдаемъ въ одной изъ самыхъ интересныхъ и роскошныхъ мастерскихъ, именно—въ мастерской самого повѣствователя.

Вы, конечно, знаете, господа, что мастерскія художниковъ, особенно знаменитыхъ художниковъ обставляются совсѣмъ не

*

такъ, какъ комнаты для работъ обыкновенныхъ смертныхъ. Въ такихъ мастерскихъ надо, чтобы все вокругъ служило для поднятія духа художника, для развитія его фантазіи, для возбужденія творческихъ силъ, для поддержанія высокаго вдохновенія. Въ этомъ отношеніи мастерская, гдѣ мы собрались, представляла положительное совершенство. Начиная съ потолка: этотъ потолокъ былъ совершенно особенный, какой-то трехъярусный: въ первой половинѣ помѣщенія до него можно было достать рукою, далѣе онъ поднимался аршина на два и переходилъ въ форму готическаго свода, далѣе—онъ улеталъ стремительно куда-то въ незримыя высоты, откуда, изъ мрака спускалась тяжелая, желѣзная цѣпь, а на цѣпи висѣлъ старинный желѣзный кованный фонарь съ рогатыми бра для толстыхъ восковыхъ свѣчей; свѣчи были изъ краснаго воска. Планъ комнаты напоминалъ собою ходы египетскихъ катакомбъ съ самыми непредвидѣнными поворотами. Полъ покрытъ коврами и звѣриными шкурами, всѣ съ головами и когтистыми лапами; ходить по такимъ коврамъ надо осмотрительно, чтобы не споткнуться на эти туго набитыя головы, сверкающія, даже въ полумракѣ, своими страшными, стеклянными глазами и оскаленными, зубастыми челюстями. Мебель... О, мебель была самая удивительная! Иногда—неопытный посѣтитель спокойно садился на круглый табуретъ, покрытый кускомъ золотой парчи или обрывкомъ узорной кордуанской кожи, и проваливался сразу,—потому что это былъ вовсе не табуретъ, а боченокъ безъ дна изъ подъ стараго рейнвейна, хранящійся здѣсь какъ реликвія далекаго прошлаго. Само собою разумѣется, что всѣ предметы, наполняющіе этотъ уголокъ великаго храма искусства, имѣли свою исторію, служили нѣмыми свидѣтелями самой отдаленной древности. Контрафакція не допускалась сюда ни въ какомъ случаѣ. Если вы видѣли здѣсь старый ботфортъ со шпорою, прибитый гвоздемъ, въ центрѣ хитро скомбинированной арматуры, и хозяинъ сообщилъ вамъ, что это сапогъ Густава Адольфа, то, конечно, сомнѣваться въ этомъ было невозможно, да и неприлично со стороны гостя бездоказательно разрушать иллюзію. Также вотъ и чучело колоссальнаго орла, парящаго на проволокѣ надъ жерломъ камина, несомнѣнно было сдѣлано изъ шкуры, если и не того самаго орла, что прилеталъ терзать внутренности Прометея, то, конечно, одного

изъ его потомковъ,—орла, а не Прометея. Надъ кушеткою въ стилѣ Помпадуръ (кажется, есть такой стиль?) висѣла заржавленная, зазубренная, но все еще увѣсистая сѣкира,—это была та самая, что отдѣлила отъ туловища благородную голову Карла-Стюарта—на ней, впрочемъ, было неопровержимое доказательство:—на лезвіи, очевидно, послѣ казни, выгравированы были слова: «Мерси! — Кромвель». Надъ этой сѣкирою висѣлъ и стальной нагрудникъ самого народнаго вождя, случайно пріобрѣтенный хозяиномъ при распродажѣ гардероба какого-то изъ обанкротившихся оперныхъ антрепренеровъ. Въ японской вазѣ, стоящей на гипсовомъ кронштейнѣ, въ видѣ слоновой головы съ клыками и хоботомъ, помѣщался раскидистый букетъ изъ сухихъ травъ и пальмовыхъ листьевъ, такъ называемый—макартовскій. Букетъ этотъ подаренъ былъ хозяину лично самимъ великимъ маэстро, въ Вѣнѣ, уже покойнымъ, но въ самый день его похоронъ. Изъ-за камина зіяло темное отверстіе чугунной мортиры,—участница осады Маріенбурга. И какъ только втащили эту грузную штуку на высоту ста двадцати двухъ ступеней!? Вѣдь должно знать, что всѣ мастерскія великихъ мастеровъ помѣщаются подъ самою крышею, даже иногда значительно выше. Чище воздухъ и больше свѣта, нѣтъ непріятныхъ для глаза рефлексовъ отъ стѣнъ противоположныхъ домовъ, и развлекающій шумъ улицы доносится сюда словно едва слышное жужжаніе пчелъ, нельзя даже разобрать,—серенаду-ли поютъ подъ окнами невидимой красавицы, или городовой водворяетъ порядокъ. Вообще — очень удобно!

Во всѣхъ углахъ студіи виднѣлись, то уходя во мракъ неясными силуэтами, то дерзко выдвигаясь на самый свѣтъ, замаскированные манекены: одинъ, напримѣръ, въ бѣлой атласной юбкѣ съ длиннымъ шлейфомъ, а сверху генеральскій мундиръ, съ красною лентою черезъ плечо и со всѣми орденами и медалями, на головѣ испанское сомбреро съ надломленнымъ перомъ; другой манекенъ совсѣмъ голый, окутанный слегка только зеленою кисеею, за то въ длинныхъ черныхъ, шелковыхъ перчаткахъ на растопыренныхъ рукахъ. Изъ-за мольберта съ чистымъ холстомъ выглядывалъ доминиканскій монахъ, весь въ бѣломъ, словно привидѣніе, два рыцаря въ латахъ и шлемахъ, но безъ ногъ, а, значитъ, и безъ панта-

лонъ,—но именно въ виду отсутствія ногъ,—недостатокъ этой необходимой части костюма не представлялъ собою ничего неприличнаго даже въ присутствіи дамъ. Самое видное мѣсто, прямо противъ входа, занималъ превосходно собранный пожелтѣлый отъ времени скелетъ, окутанный чернымъ крепомъ. На лысой головѣ этого скелета, — всѣ скелеты лысые, — красовался новенькій, на диво вылощенный цилиндръ обладателя мастерской, а въ зубахъ зажата пара свѣтло-сиреневыхъ перчатокъ.

На столѣ,—замѣчательный былъ столъ, особенно своими размѣрами! На немъ смѣло четыре пары могли танцовать кадриль, даже послѣ ужина... Такъ вотъ,—на этомъ столѣ, заваленномъ грудами этюдовъ, ломаными кистями, высохшими тюбами изъ подъ красокъ, кусками угля и мѣла, однимъ словомъ—всевозможными орудіями творчества, красовался давно потухшій самоваръ и стаканы съ остатками остывшаго чая, наполненные до верху окурками папиросъ и бывшими въ употребленіи спичками.

Хозяинъ устроилъ себѣ спальню гдѣ-то наверху, подъ потолкомъ, на хорахъ. Онъ поднимался туда по веревочной лѣстницѣ. Тамъ у него было устроено небольшое, хитро скрытое для посторонняго глаза окно, которое выходило въ корридоръ, и оттуда онъ могъ видѣть всякаго дерзкаго, неистово дергающаго за звонокъ двери,—а, значитъ, заблаговременно сообразить, можно ли его впустить. Если посѣтитель былъ желателенъ, то шнурокъ приводилъ въ дѣйствіе щеколду замка, и дверь гостепріимно отворялась, если же приходилъ кто-нибудь вродѣ кредитора или агента благотворительнаго общества, устраивающаго балъ маскарадъ, блестящій и невиданный, подъ фирмою—«Шахерезада, или чудеса венеціанской ночи при Наполеонѣ Первомъ»—о! тогда дверь была неумолима и преисполнена величайшей выносливости и долготерпѣнія.

Мастерская эта была очень древняго происхожденія: ее строили по плану самого Буанаротти, когда тотъ собирался, для разнообразія, провести осень въ Петербургѣ. Онъ тогда писалъ страшный судъ, такъ ему надо было сдѣлать нѣсколько этюдовъ для ада...

Вѣдь, вотъ подумаешь, сейчасъ найдется какой-нибудь Ѳома невѣрующій и заявитъ, что тогда еще и Петербурга въ

поминѣ не было—неугодно-ли справиться въ нашемъ участкѣ, тамъ въ книгахъ ясно все обозначено, и въ книгахъ безусловно историческихъ.

Подробнымъ описаніемъ всѣхъ чудесъ этой великолѣпной мастерской, изложеніемъ достовѣрной исторіи каждаго предмета—можно было бы наполнить сотни страницъ,—что я говорю! — цѣлые томы, но теперь я ограничусь только скромнымъ сообщеніемъ, что какъ ни блистательна была обстановка, все-таки она служила едва сносною рамою для общества, собравшагося здѣсь скоротать вечерокъ въ дружеской бесѣдѣ.

Насъ уже было ровно двѣнадцать. Теперь кто-бы ни пришелъ—былъ-бы неизбѣжно тринадцатымъ... Тяжелое сопѣніе на лѣстницѣ—и вслѣдъ затѣмъ стукъ въ дверь, возвѣстили о семъ несчастномъ.

Это былъ нашъ знаменитый... ну, а если знаменитый, значитъ, не нуждающійся въ томъ, чтобы его представляли, называя имя и фамилію,—довольно только начать:—позвольте вамъ представить нашего знаменитаго, многоуважаемаго... какъ васъ сейчасъ-же перебьютъ:

— Помилуйте... какже-съ... знаю... Кто васъ не знаетъ... Весь міръ, такъ сказать... Очень-очень польщенъ и счастливъ...

Вотъ такой именно и пришелъ, котораго весь міръ... и проч. И сейчасъ-же, не успѣлъ даже сбросить енотовую шубу, сноткнулся на голову бѣлаго медвѣдя, до такой степени изъѣденную молью, что трудно было съ увѣренностью опредѣлить, какой масти звѣрь былъ при жизни.

— Ахъ, чортъ тебя побери! — воскликнулъ тринадцатый, и, чтобы не потерять равновѣсія, схватился за первое, что попало ему подъ руку, — а подъ руку-то попала рука, костлявая, холодная, сухая—однимъ словомъ, рука скелета въ цилиндрѣ.

— Несчастный! — привѣтствовалъ его одинъ изъ присутствующихъ.—Пришелъ тринадцатымъ и съ первымъ поздоровался, съ мертвецомъ!

Въ эту минуту, гдѣ-то далеко, загудѣли мѣрные удары башенныхъ часовъ.

Пробило ровно полночь...

— Вотъ вы шутите, — началъ прибывшій.—А съ этими вещами шутить не слѣдуетъ. Вотъ вы говорите: «поздоровался

съ мертвецомъ...» Что такое этотъ мертвецъ?.. Что такое скелетъ?.. Жалкій остатокъ когда-то живого организма, проволочный остовъ разбитаго въ дребезги гипса... Но бываютъ случаи, когда въ этомъ остаткѣ, въ этомъ жалкомъ отбросѣ природы скрыты великія тайны, незримыя связи между жизнью и смертью. Да вотъ, я вамъ разскажу сейчасъ, какой со мною былъ случай!

Онъ усѣлся комфортабельно на отоманку изъ сераля хедива Измаила, вывезенную Лесепсомъ изъ Египта. Мы всѣ, въ живописныхъ позахъ, расположились вокругъ и приготовились внимательно слушать.

— Теперь я понимаю, почему именно на меня выпалъ роковой жребій быть тринадцатымъ!—меланхолически, какъ-бы про себя замѣтилъ разсказчикъ и провелъ ладонью по волосамъ, правильнѣе по тому мѣсту, гдѣ имъ надлежало рости...

— Такъ вотъ-съ...—продолжалъ онъ, повысивъ голосъ.— Давно какъ-то мечталъ я пріобрѣсти для своего ателье хорошій, безусловно правильно сложенный женскій скелетъ. Именно женскій и хорошо сложенный, не изуродованный корсетами и всякими глупыми модами... Вы, конечно, знаете, какъ это трудно, почти невозможно, но разъ я говорю «почти»—значитъ, надежды не терялъ и, наконецъ, нашелъ! Мой большой другъ, съ которымъ я съ самаго дѣтства на ты, однимъ словомъ,— нашъ геніальный Пастеръ...

— Это который умеръ недавно?—перебилъ кто-то.

— Не можетъ быть!.. Когда?..

Разсказчикъ немного смутился... Но отчего-же и не смутиться, когда вы такъ сразу, безо-всякой подготовки, вдругъ узнаете о смерти своего друга дѣтства?

— Да, да, да!—протянулъ онъ.—Конечно, умеръ!.. Экая у меня память!.. Я даже получилъ отъ него телеграмму поздрав... Тьфу! То бишь, предсмертную... Эта телеграмма кажется со мною... Я сейчасъ поищу!

Онъ сталъ искать въ карманахъ, но не нашелъ, должно быть, желаемаго.

— Все равно!—продолжалъ онъ.—Я помню наизусть эти немногія, но великія слова: «До свиданья, другъ! Я долженъ оставить этотъ міръ. . Часъ насталъ... Меня призываютъ туда, гдѣ .. Ты понимаешь?.. Прощай! Искренно жму твою честную,

талантливую руку!»...—Потомъ маленькая припиcочка:—«Обѣщанной тобою русской зернистой икры—не присылай—не надо!»... Такъ вотъ, господа, этотъ самый Пастеръ, еще бывши студентомъ, пишетъ мнѣ, что нашелъ, наконецъ, женскій скелетъ—одинъ восторгъ! Ни одно ребро не смято, спинной хребетъ безъ болѣзненнаго искривленія, смерть на романической подкладкѣ. Понимаете, — самоубійца вслѣдствіе несчастной любви, дочь арабскаго шейха, приняла христіанство, ее обманули, бросилась съ Ваграмскаго моста, вытащили изъ воды, откачать не могли... опоздали.

«Скелетъ, надо сказать, былъ сдѣланъ превосходно, шарнированъ удивительно, выбѣленъ и отполированъ на славу... Привезли мнѣ его въ роскошномъ футлярѣ... Массу хлопотъ и придирокъ надѣлали мнѣ въ таможнѣ, приравняли, мерзавцы, къ японскимъ издѣліямъ изъ слоновой кости... и содрали золотомъ чуть не цѣлое состояніе. Получилъ я, наконецъ, эту прелесть и торжественно водворилъ въ своей мастерской.

«Часто, по вечерамъ, а иногда даже далеко за полночь, я просиживалъ передъ скелетомъ, пристально вглядываясь въ эти ямы—глаза, въ эти оскаленныя челюсти... я пытался, такъ сказать, возстановить мысленно его жизненныя оболочки... То она представлялась мнѣ нѣжною блондинкою, съ кроткими, задумчивыми, голубыми, ясными, какъ небо, глазами, съ волосами, какъ шелкъ, золотисто-пепельнаго цвѣта, то передо мною, во всей красѣ, возставала смуглая брюнетка, этакъ, чортъ возьми, испано-итальянскаго образца, то воображеніе мое рисовало рыжеволосую красавицу Альбіона»...

— Позвольте!—перебилъ кто-то.—Вѣдь она была арабка!..

— Это почему?..

— Да вѣдь вы сами говорили:—«дочь арабскаго шейха»...

— Могла быть и пріемною дочерью... эти арабы добываютъ плѣнницъ съ европейскихъ береговъ, ну, тамъ и прочее... Пожалуйста, не перебивайте...—Такъ вотъ, я говорю... Какія только вереницы красавицъ, какъ въ калейдоскопѣ, не проносились передъ моими глазами—полныхъ жизни, полныхъ силъ и надеждъ!.. Даже на мои нервы это стало прескверно дѣйствовать... И вдругъ, вѣрите-ли, совершенно неожиданно, меня осѣнила мысль одѣть мой скелетъ, облечь эти чудныя кости достойнымъ ихъ одѣяніемъ... Разъ мысль родилась—немедленно

привожу въ исполненіе!.. У меня былъ прелестный костюмъ испанской гитаны:—шаль, кружева, юбочка этакая и остальное; тамбуринъ, кастаньеты... Принялся я за работу,—вышло прелестно! Устроилъ нѣчто въ родѣ куафюры, задрапировалъ голову кускомъ испанскихъ кружевъ... Ну, хорошо, думаю, пускай такъ стоитъ. Все-таки моя дура, Авдотья, не такъ будетъ пугаться, а то вѣчно: — «Ахъ, баринъ! Что это вы погань, мертвечину въ дому держите?!. Грѣшно!..»

«Уѣхалъ я на вечеръ, винтить къ посланнику, вернулся поздно. Вхожу въ мастерскую и остолбенѣлъ просто... Не отъ страха, конечно, а отъ изумленія. Скелетъ стоялъ по прежнему, обнаженный, а испанскій костюмъ въ безпорядкѣ валялся около, на полу. Спрашиваю Авдотью:

— Входилъ кто-нибудь, безъ меня?

— Ни души не было... Дверь, говоритъ, накрѣпко была заперта...

— Кто-же ее раздѣлъ?..

«Стоитъ столбомъ моя Авдотья, шепчетъ тихонько: «съ нами сила крестная». Даже нижняя губа отвисла со страху...

«Что за странность!.. Легъ спать, но, увы, спать мнѣ не пришлось. Только что я сталъ забываться, — какъ вдругъ, словно электрическая искра пронеслась у меня по всему тѣлу. Я вздрогнулъ и вскочилъ на ноги. Въ мастерской было темно, но скелетъ утопленницы обрисовывался совершенно ясно, словно кости сами испускали этотъ нѣжный, голубоватый, фосфорическій свѣтъ. Долго я наблюдалъ необыкновенное явленіе, вдумываясь, силясь объяснить себѣ, что такое творится передъ моими глазами... Зажегъ лампу,—явленіе исчезло... Попробую, думаю, заснуть при огнѣ... Удалось. Утромъ всталъ... Голова немного болѣла... но, погодите,—это еще не все!

«Пріѣзжаетъ ко мнѣ, тоже большой мой пріятель, извѣстный спиритъ профессоръ, разсказываю ему, такъ, между прочимъ, смѣюсь даже, а онъ прерываетъ меня серьезно, голосъ понизилъ даже:

— Не смѣйтесь. Вы говорили, что испанскій костюмъ былъ на полу, а передъ тѣмъ вы сами одѣли въ этотъ костюмъ ее?

«Онъ ткнулъ пальцемъ по направленію, гдѣ стоялъ скелетъ.

— Да, такъ, самъ и одѣвалъ!

— И никто въ комнату не входилъ?

— Никто!

— Кто-же ее раздѣлъ?

— Да я-то почему знаю? Вотъ въ этомъ-то и загадка!

— Она его сама сняла, потому что костюмъ ей не соотвѣтствовалъ...

«Я хотѣлъ было расхохотаться, а профессоръ еще серьезнѣе:

— Великая тайна, говоритъ.—Надо продолжать опытъ!

«Онъ подошелъ вплотную къ скелету, даже пальцами дотронулся, немного выше кисти, къ тому мѣсту, гдѣ пульсъ щупаютъ и машинально вынулъ изъ кармана часы.

— Надо продолжать опытъ!—закончилъ онъ свое изслѣдованіе.—Заклинаю васъ:—продолжайте!..

«И, не прощаясь, не говоря больше ни слова, вышелъ изъ комнаты.

«Я привыкъ уже къ его чудачествамъ и позвонилъ, чтобы Авдотья подала ему шубу и калоши.

— Вы чего?—появилась въ дверяхъ моя дура-баба.

— Гость уходитъ... Пойди, проводи!

— Какой гость?

— Иванъ Ивановичъ!. Какой! Вѣдь видѣла-чай!

— Никого не видѣла... Никакого гостя не было. Окромя вашей шинели и на вѣшалкѣ не виситъ ничего...

«Что за чепуха! Да вѣдь я самъ видѣлъ, разговаривалъ... Вотъ и окурокъ его сигары дымится въ пепельницѣ... Не двѣ-же я сигары курилъ сразу!..

«Спустился нарочно къ швейцару.

— Былъ такой-то?

— Никакъ нѣтъ... Да вотъ и человѣкъ ихній съ письмомъ!

«Смотрю,—а какой-то верзило въ ливреѣ мнѣ, дѣйствительно, подаетъ конвертъ, да еще въ черной, траурной рамкѣ.

— Отъ Ивана Ивановича?

— Никакъ нѣтъ-съ. Отъ ихъ супруги. Сами, ихъ превосходительство, Иванъ Ивановичъ, приказали долго жить!

— Не можетъ быть! Когда?

— Вчера вечеромъ. Привезли ихъ изъ клуба. Спиклистическій ударъ, сказываютъ!

«Вѣрите-ли, господа? У меня даже волосы на головѣ дыбомъ стали!

Мы невольно взглянули на голову разсказчика и тутъ только, и то на одно мгновеніе, слегка усумнились.

— «Такъ вотъ и докладываю я вамъ, господа,—продолжалъ, не смущаясь, разсказчикъ.—Послѣ этакого-то нервнаго потрясенія, засѣло у меня въ головѣ завѣщаніе Ивана Ивановича, это самое его: «Надо продолжать опытъ»... Первые дня три я, положимъ, занялся хлопотами по погребенію праха моего друга... Надо было организовать многочисленныя депутаціи, заказать вѣнки. Вѣдь двѣсти тысячъ вѣнковъ не шутка, ни въ одной оранжереѣ ни листочка лавроваго не осталось... все!.. Дорога сплошь устлана была крепомъ, на рукавахъ у всѣхъ ельники... Вы помните?.. Необыкновенно торжественно вышло, даже, можно сказать—грандіозно!.. Похоронили. Проходитъ еще дня три, — опять мой скелетъ засвѣтился... Такъ вотъ и горитъ по ночамъ, будто кто его фосфоромъ вымазалъ... Началась пригонка! Уже чего-чего я не надѣвалъ на эти проклятыя к сти!.. Всѣ костюмы, что только были у меня въ мастерской, а вѣдь вы знаете, что у меня въ этомъ отношеніи цѣлый музей—всѣ перебывали на ея плечахъ. Изо всѣхъ странъ міра выписывалъ—все не подходило... Утромъ одѣну, весь день стоитъ благополучно,—ночь пришла—къ утру—скелетъ голый, костюмъ на полу—нѣкоторые, должно быть, особенно не приходились по вкусу,—такъ даже въ тряпки изорваны.—Наконецъ, мнѣ все это надоѣло до смерти; рѣшилъ бросить и нѣсколько ночей подрядъ проводить внѣ дома... Что-же-бы вы думали?.. Только, съ вечера, надѣну шубу, запру мастерскую, спускаюсь по лѣстницѣ — она за мной. Не вижу ничего, а, знаете, этакъ слышу, какъ она костяными пятками, шагъ за шагомъ отсчитываетъ ступени лѣстницы. Выбѣгу на улицу, какъ ошалѣлый, кричу:—извозчикъ!.. Все равно! Сяду, полость застегну и чувствую, что она тутъ-же, рядомъ со мною, сидитъ и при каждомъ толчкѣ зубами щелкаетъ... Потерялъ сонъ, аппетитъ, портсигаръ, спичечницу, ну, да это пустяки!.. Провались ты, сгинь!.. Ну, Пастеръ, спасибо! Удружилъ подаркомъ!.. Панихиды служилъ за упокой арабской души, молебны о здравіи и избавленіи отъ скорбей раба Божія Петра... ничего не помогаетъ... И какъ-то разъ пришелъ я въ полное отчаяніе, ощутилъ въ себѣ приливъ въ высшей степени кощунственной храбрости... Сижу я ночью, глазъ на глазъ съ моимъ кошмаромъ,—да и говорю:

— Долго-ли ты, наконецъ, меня будешь мучить?.. Отвѣчай-же!

«Скелетъ молчалъ и стоялъ неподвижно, уставивъ на меня свои глазныя впадины.

— Я не шучу!—возвысилъ я голосъ, чувствуя, что мною овладѣваетъ неистовая злоба, даже бѣшенство.

«Молчитъ скелетъ... и ни слова.

«Вскочилъ я, да какъ схвачу его за воротникъ... Тряхнулъ разъ, тряхнулъ другой... Опомнился... Самому даже совѣстно стало... Ну, будь это мужской остовъ,—другое дѣло, а то вѣдь дама, можетъ, даже изъ очень порядочнаго общества... неловко. Смотрю, а у нея по скуламъ, точно росинки алмазныя—слезы заискрились...

«Жалко мнѣ стало—совѣстно... Я сейчасъ къ ручкѣ:

— Mille pardon... простите... Нервы... сорокъ сутокъ подъ рядъ не смыкалъ глазъ...

— Спите! — вдругъ раздался нѣжный, но повелительный голосъ — и холодный палецъ прикоснулся къ моему воспаленному лбу.

«Я, какъ подстрѣленный, упалъ навзничь на кушетку и моментально заснулъ, какъ убитый.

«Долго-ли спалъ, не помню, но когда Авдотья принесла мнѣ чай и попыталась было стащить съ меня сапоги для чистки, было уже совершенно свѣтло. Первое, что меня поразило, это то, что на двухъ стульяхъ, выдвинутыхъ на середину мастерской, стояла какая-то зеленая картонка,—громаднаго размѣра, знаете такъ въ родѣ хорошаго гроба... Подхожу, приподнимаю крышку и вижу совершенно новенькій, прелестный вѣнчальный костюмъ невѣсты:—роскошное, бѣлое, атласное платье, сильнѣйшее, умопомрачительное декольте, все отдѣлано флердоранжемъ, газовая фата, съ вышивками, головной уборъ, тоже изъ свѣтлаго флердоранжа, длинныя бѣлыя перчатки на сорокъ восемь пуговицъ, крошечныя туфельки, и даже, въ розовой бумажкѣ, двѣ подвѣнечныя свѣчи... Сверхъ всего—незапечатанный конвертъ... Вынимаю бумагу, читаю:—Счетъ отъ мадамъ Эрнестинъ... Пустой счетъ, очень даже дешевый: за матерьялъ 500 руб., работа 1,500, — принадлежности — 200, остальныя мелочи 1,300, всего... однимъ словомъ, пустяки...

«Такъ вотъ, думаю, въ чемъ дѣло... Вотъ тотъ желанный, любимый ея костюмъ... Тутъ уже нѣтъ никакого сомнѣнія!..

«И я, не откладывая ни на минуту, приступилъ къ дѣлу.

«Не такъ-то легко, господа, справиться со сложнымъ дамскимъ костюмомъ. Да еще напялить его на скелетъ... Тутъ вѣдь не живое тѣло, не погнется, не поможетъ само... Пришлось даже нѣкоторыя части просто отвинчивать. Но больше всего возни было съ этими перчатками. Съ терпѣніемъ и любовью трудъ этотъ былъ доведенъ до конца блистательно... Я отошелъ на нѣсколько шаговъ, чтобы полюбоваться общимъ эфектомъ, мнѣ даже показалось, что угловатые контуры костяка стали какъ-то округляться, сквозь спущенную на лицо вуаль стало просвѣчивать даже что-то жизненное... Подождемъ, думаю, до ночи:—сбросишь-ли ты съ себя все это, или на сей разъ останешься вполнѣ довольна. Я даже одну свѣчу вложилъ ей въ пальцы, для дополненія картины, другую-же свѣчу я положилъ около на полку мольберта... Странно:—для чего же другая свѣча?.. То есть, правильнѣе сказать, для кого?..

«Опять, что-то пренепріятное пробѣжало у меня по хребту...

«Глупости! рѣшилъ я, и, вспомнивъ, что именно сегодня я приглашенъ на парадный обѣдъ къ японскому посланнику, надѣлъ фрачную пару, повязалъ бѣлый галстукъ, сдѣлалъ граціозный поклонъ невѣстѣ и крикнулъ:

— Авдотья!—Шубу и калоши!

«Обѣдъ былъ блистателенъ и въ настоящемъ японскомъ вкусѣ:—сто сорокъ два блюда и всѣ подавались въ прелестныхъ, миніатюрныхъ чашечкахъ:—ласточкины гнѣзда, маринованные спруты, золотыя рыбки, дождевые черви подъ лимоннымъ соусомъ, стерляди-декольте, слоновый хоботъ, черепаховые вѣера, бронзовыя статуэтки... Однимъ словомъ, все, что только можно было выписать изъ этой страны бумажныхъ фонарей и восходящаго солнца... Наѣлись вотъ какъ! При всемъ этомъ—хорошо выпили, поиграли въ трикъ-тракъ... и поздно вечеромъ я вернулся домой.

«Чтобы не будить Авдотью, я отперъ дверь своимъ ключемъ и прямо пробрался въ мастерскую.—Почему-то мнѣ показалось, что лѣстница стала значительно круче и площадки—эти массивныя, плитныя площадки—съ тяжелыми желѣзными перилами, слегка покачивались—это немного мѣшало мнѣ попасть ключемъ въ скважину замка, но я справился скоро... Надо знать сноровку, захватить пальцемъ лѣвой руки саму

скважину—и тогда ключъ войдетъ самъ собою... Меня немного разсердила разсѣянность Авдотьи: — дура оставила огонь въ мастерской... долго ли до пожара. . А впрочемъ, оно довольно кстати... Только—гдѣ же это огонь?.. Ни свѣча не горитъ, ни лампа, даже въ каминѣ все потухло,—а свѣтло... Откуда-же это?.. Боже мой, что я увидѣлъ!. Моя костлявая невѣста, вся сверкающая своимъ бѣлоснѣжнымъ нарядомъ, стояла съ зажженною вѣнчальною свѣчою въ рукахъ и освѣщала всю мастерскую... Теперь это уже не былъ сухой, безобразный костякъ... нѣтъ! Это была чудная блондинка, съ полною грудью, роскошными плечами и удивительными, изящными руками; она граціозно опустила свою голову, словно вглядываясь изъ подъ густыхъ рѣсницъ на пламя свѣчи, и яркій румянецъ живѣе и живѣе разгорался на ея щекахъ... И вдругъ она заговорила... О, какой это былъ чудный, слегка грустный, умѣренно торжественный, глубоко проникающій въ душу—голосъ!.. Она заговорила:

— Какъ я давно ждала тебя, другъ мой!..

— Небесная, желанная, прелесть... Совершенство!—вырвалось у меня невольно восторженное восклицаніе. Сами собою подогнулись колѣна, я бросился къ ея ногамъ и прижалъ къ своимъ губамъ ея лѣвую, свободную отъ свѣчи ручку.

— Ты пилъ коньякъ?.. Я слышу...

— О, это пустяки... это ничего... это... мы только по рюмочкѣ... но это не мѣшаетъ мнѣ любить тебя страстно, могуче, порывисто, лихорадочно, безумно, всѣми фибрами моего существа, всею силою моего незнающаго удержу чувства...

— Давно-ли?.. Не съ тѣхъ ли поръ, какъ ты меня...

— О, не говори, не упрекай... не вспоминай этой дерзкой выходки... Прости и будь моею!..

— Да!..

«Она сказала это «да» едва слышно и томно склонила мнѣ на плечо свою головку...

— Нѣтъ... не такъ... не сейчасъ!.. Я поставила цѣлью жизни—стать съ моимъ возлюбленнымъ передъ алтаремъ, подъ вѣнцомъ... Жизнь разбила мои мечты, мои святыя надежды! Обманутая, полная отчаянія, я нашла себѣ покой на днѣ Сены. Ты знаешь, около Ваграмскаго моста, противъ второй арки... Теперь моя душа погибла, самоубійцы должны быть наказаны, и я наказана была жестоко... Безъ погребенія,—

мои кости попали въ руки грубыхъ работниковъ, ихъ просверлили проволоками, сквозь весь мой организмъ пропустили тяжелый желѣзный шпрунтъ и наглухо прикрѣпили къ неуклюжей, деревянной подставкѣ... Но часъ искупленія насталъ! Такъ повелѣно тамъ!.. Конечно, я не могу все время оставаться въ такомъ видѣ, какъ теперь; весь день я должна быть скелетомъ, стоять неподвижно на своемъ мѣстѣ, слушать всѣ глупости, которыя вы здѣсь разсказываете другъ другу; всѣ эти нѣсколько пикантные, положимъ, но за то всегда старые анекдоты, это не совсѣмъ пріятно, а главное скучно... За то ночью, когда на башнѣ пробьетъ полночь, и до разсвѣта—я буду полна жизни, любви и принадлежать только тебѣ одному... Я буду самая вѣрная, заботливая жена... Ахъ, да... Я сейчасъ просматривала счетъ отъ этой мерзкой Эстерки. Это просто грабежъ!..

— Пустяки! Стоитъ ли объ этомъ говорить...

— Я, впрочемъ, не упрекаю... Я такъ только замѣтила. Который часъ?

— Половина перваго!—пробормоталъ я, такъ больше наугадъ.

— Уже!.. Ну, хорошо, что ты уже совсѣмъ готовъ, во фракѣ. Бери же свою свѣчу и идемъ!

— Зачѣмъ свѣчу... куда?

— Вотъ эту бери—и идемъ... скорѣе, скорѣе... я просто горю отъ нетерпѣнья!

«Она протянула мнѣ другую вѣнчальную свѣчу, парную... Я машинально взялъ ее, и она, сама собою, загорѣлась въ моихъ рукахъ.

— Куда же мы идемъ?..

— Вѣнчаться!..

«Я попробовалъ было представить ей нѣкоторые, весьма, по моему мнѣнію, уважительные резоны: — что, напримѣръ, ночью не удобно вѣнчаться: — церкви заперты, духовенство спитъ, что бумаги надо предварительно представить... Пробовалъ даже сказать, что я, увы, уже женатъ, — просилъ подождать, пока я пошлю за каретою... нельзя же пѣшкомъ, въ эту ужасную погоду; но моя невѣста — ничего не слыхала, должно быть, ничего не понимала. Она все твердила:—скорѣй и скорѣй—и стремительно вышла на площадку лѣстницы... Я чувствовалъ, что я весь въ ея власти, что сопротивленіе безполезно. — Я шелъ за нею, какъ кроликъ, очарованный уда-

вомъ, а она быстро спускалась съ лѣстницы... Что скажетъ швейцаръ?—подумалъ я невольно и даже порылся въ карманѣ, чтобы приготовить ему двугривенный, но швейцаръ спалъ спокойно въ своей конурѣ.—Онъ не слыхалъ нашихъ шаговъ, не видѣлъ яркаго свѣта нашихъ вѣнчальныхъ свѣчей, даже стукъ массивной, наружной двери, распахнувшейся сама собою, не потревожилъ его безмятежнаго сна.

Мы очутились на улицѣ.

Какая была, по истинѣ, ужасная погода!.. Дождь хлесталъ пополамъ со снѣгомъ, рѣзкій вѣтеръ пронизывалъ насквозь, мостовая превратилась въ сплошныя лужи, струи грязной воды лились по тротуару изъ жерлъ домовыхъ трубъ, фонари мерцали тускло, подслѣповато... Мы неслись все впередъ и впередъ... Удивляюсь, право, до сихъ поръ, какъ это городовые насъ не остановили... Но эти городовые, даже не смотрѣли на насъ, когда мы летѣли подъ самымъ ихъ носомъ.

«Къ ужасу моему я замѣтилъ, что мы направлялись къ набережной...

«Страшное подозрѣніе промелькнуло въ моемъ воспаленномъ мозгу: «Нева—Сена. Ваграмскій мостъ—Самсоньевскій... храмъ—могила!.. Я пробовалъ перекреститься, пробовалъ проговорить слова молитвы... Все напрасно! Свободная отъ свѣчи рука моей адской невѣсты крѣпко держала меня за воротникъ фрака и влекла меня прямо на мостъ, на самую его середину.

— Здѣсь!—сказала она леденящимъ душу голосомъ и захохотала.—Здѣсь!—повторила она.—За мной!

«Что-то легкое, бѣлое перенеслось черезъ перила, словно падающая звѣздочка, мелькнулъ сверху внизъ красный огонекъ вѣнчальной свѣчи... Я всѣми силами пробовалъ удержаться за перила, оборвался и полетѣлъ въ эту черную, холодную бездну... Все было кончено!»

Разсказчикъ замолчалъ и схватился обѣими руками за голову, словно подавленный гнетомъ этихъ ужасныхъ воспоминаній.

— Ну, что-же?—спросили мы въ одинъ голосъ, замѣтивъ, что пауза стала какъ будто длинновата.

— Только черезъ три мѣсяца, черезъ три долгихъ, томительныхъ мѣсяца, мое тѣло было найдено на отмели, за Гутуевскимъ островомъ.

ЧУДЕСА ХИРУРГІИ или НОЧЬ КЛЕОПАТРЫ.

Наконецъ, у нашего паровоза не хватило болѣе силъ. Глубоко врѣзался онъ своею горячею, металлическою грудью въ скатный заносъ, зашипѣлъ, запыхтѣлъ, жалобно свистнулъ раза два и всталъ.

Забѣгали по вагонамъ озабоченные кондукторы, направляясь къ головѣ поѣзда, встревожилась и публика... На служителей «тяги» дождемъ посыпались вопросы:—это почему? Что случилось?.. Кой тамъ чортъ-дьяволъ?.. Одинъ заспавшійся пассажиръ суетился и требовалъ носильщика, думая, съ просонковъ, что пріѣхали... Большинство же относилось, или, по крайней мѣрѣ, дѣлало видъ, что относится равнодушно къ данному событію, ибо предвидѣть сіе было весьма вѣроятно.

Лило съ утра, лило весь день... На каждую станцію поѣздъ прибывалъ съ получасовымъ, и даже болѣе, опозданіемъ.. Накопилось этого опозданія уже часовъ восемь, а до города, до конечной цѣли, куда уже мы давно должны были прибыть, осталось еще верстъ до сотни...

А поѣздъ былъ предпраздничный, набитъ биткомъ пассажирами, и всѣ разсчитывали провести капунъ, великій сочельникъ въ кругу своихъ родныхъ и близкихъ у, такъ сказать, уютнаго семейнаго очага.. Вотъ тебѣ и прибыли!.. Конечно, досадно! И если, въ предвидѣніи такой непріятности, лица нашихъ пассажировъ уже съ утра стали понемногу вытягиваться, то теперь, къ ночи... Можете ли вы себѣ представить, что представляли бы изъ себя физіономіи путешественниковъ, еслибы выраженіе «вытягиваться» понималось бы въ буквальномъ смыслѣ?

Вы, если не всѣ, то, по крайней мѣрѣ, большинство, по горькому опыту знаете, что такое вагонъ второго класса, пе-

переполненный пассажирами, да еще предпраздничными, да еще зимою... Про третій классъ я и не говорю! Еслибы желѣзныя дороги были изобрѣтены во время великаго итальянскаго поэта Данте, то навѣрное къ его поэмѣ «Адъ» прибавилась-бы новая глава... Пассажиры воспользовались откидными приспособленіями для спанья, а потому расположились въ два слоя. Пассажиры, кромѣ той одежды, что на нихъ, запаслись еще, на всякій случай, шубами, шинелями, даже дубленками съ ихъ острымъ, всюду проникающимъ запахомъ, массою пуховыхъ подушекъ, стеганныхъ одѣялъ и пледовъ, у всякаго корзины по три, а то и больше съ провизіею, вѣдь дѣло передъ праздниками, и вся эта провизія тоже распространяетъ разнообразные ароматы, и все больше угрюмо-постные... А чемоданы, якобы ручной багажъ, что двоимъ изъ вагона не вытащить, картонки, узлы, домашнія собаченки, пронесенныя контрабандою въ вагонъ, подъ полою бурнуса своей владѣлицы, малолѣтнія дѣти, которымъ полагается—de jure только половина мѣста, а de facto полтора... Ну, просто--ни пройти, ни продышать... Никакого порядочнаго приспособленія для очистки воздуха... и на ходу-то скверно, а тутъ стопъ! Ни взадъ—ни впередъ—ни выйти некуда, ни повернуться!..

Паровозъ уже давно пересталъ протестовать своими унылыми свистками, кондуктора попрятались отъ праздныхъ вопросовъ, разныхъ претензій, доходящихъ даже до ругани. Остается сидѣть и ждать—а чего ждать?.. Развѣ что появленія какой-нибудь благодѣтельной феи, которая мановеніемъ жезла разнесетъ въ прахъ эти снѣжные заносы, освободитъ желѣзнаго богатыря, разчиститъ передъ нимъ путь... облегчитъ души несчастныхъ, заточенныхъ путниковъ. Но когда это свершится, когда?

А вотъ когда:—поѣздъ застрялъ, отойдя семнадцать верстъ отъ маленькой станціи «Голодайки», не доходя до слѣдующей, тоже маленькой, безъ буфетной станціи «Холодайки», а за сорокъ верстъ ходу—станція «Выпивайка»,—но это хорошая станція, большая, по шерсти и кличка...

Поѣздной телеграфный аппаратъ не дѣйствуетъ, кондукторъ «побегъ» до сторожевой будки, «чтобы, значитъ, погнать самихъ сторожей, отъ будки до будки, пѣшкомъ на Холодайку, а ужъ оттедова—телеграмму дадутъ на Выпивайку, чтобы,

значитъ, выслали паровозъ съ рабочими... Вотъ и разсчитывайте сами.

Такъ пояснилъ и растолковалъ сущность положенія самъ «оберъ» передъ тѣмъ, какъ надолго скрыться съ глазъ претендующей публики.

Когда, подъ гнетомъ неизбѣжности даннаго тяжелаго положенія, всѣми овладѣваетъ чувство унынія и тоски, воцаряется общее молчаніе, стоитъ только одному кому-нибудь не только слово промолвить, а просто вздохнуть «отъ глубины души», то сейчасъ въ отвѣтъ послышится сочувственный вздохъ, а тамъ и пошло, и пошло...

Начнетъ такъ:

— Охо—хо!.. Хо!..

А другой въ отвѣтъ:

— Да-съ!.. Это точно, что охо-хо!

А далѣе:

— Ну-съ, доложу вамъ... Вѣдь это уже того-съ... это-что, называется...

А потомъ:

— Былъ тоже разъ съ нами случай..

Вотъ и пошелъ разговоръ... спасительный, потому что объединяющій злополучную компанію, благотворно сокращающій невыносимо тягучее время. Такъ и теперь... Не успѣли повздыхать немного, какъ одинъ, такой сладенькій заприлавочный тенорокъ робко произнесъ:

— Это еще ничего, молъ, въ вагонѣ!.. Тепло, вольготно, да и ненадолго-съ, съ полъсутокъ потерпимъ, а тамъ и раскопаютъ...

Былъ такой полумракъ отъ густоты воздуха, что только туманными пятнами обозначались огни вагонныхъ фонарей, а лицъ пассажировъ различить не было никакой возможности—голосами только и разнились...

— Въ вагонѣ еще можно вытерпѣть,—согласился съ теноркомъ хрипловатый басъ.—А вотъ какъ на большомъ сибирскомъ трактѣ—замяло насъ въ саняхъ, такъ вѣдь не чаяли и живы быть, молились да къ смерти готовились...

— Въ такія метели, — поддержалъ другой басъ, въ родѣ протодьяконскаго, — много народу гибнетъ... Въ степи ежели...

— И не только простого званія,—отозвался третій теноръ съ сильнымъ насморкомъ.—Былъ даже случай съ однимъ вице-губернаторомъ... Ямщикъ поѣхалъ верхомъ искать дороги, а онъ остался въ возкѣ и, конечно, погибъ...

— У насъ подъ Красноярскомъ вице-губернатора—станового разъ занесло, такъ на шестыя сутки, безъ малаго недѣлю спустя, разыскали...

— Отрыли?

— Отрыли. Только не люди, волки отрыли и сожрали. По документамъ только и узнали, что становой... а то...

— Должно быть, съ тракту сбились... Тогда уже бѣда!.. А нѣтъ, лучше не пытайся, не ищи дороги,—отмаливайся на мѣстѣ... Да уповай на Бога!

— У насъ былъ случай такой, цѣлый поѣздъ сбился съ дороги. Машинистъ ничего не могъ видѣть, не могъ управлять. Локомотивъ незамѣтно отклонился лѣвѣе—и пошло, и пошло.

— Это съ рельсовъ то?..

— Какіе тамъ рельсы? Когда все, вы понимаете, все замело!..

— Ну, что вы врете!..

— Позвольте, позвольте. Да это на какой дорогѣ было?

— А на этой, знаете, на «Ростово-Владикавказской»!

— Ну, тамъ возможно... Тамъ все возможно...

— Тамъ, батюшка мой, былъ такой случай, въ газетахъ напечатано. Налетаетъ на станцію шайка разбойниковъ...— Что, спрашиваютъ, номеръ тридцатый не проходилъ еще? А этотъ номеръ, господа мои, былъ почтовый и большія суммы везъ. Начальникъ станціи оробѣлъ, понятное дѣло: люди въ папахахъ, въ зубахъ по кинжалу, въ каждой рукѣ по ружью,— вотъ онъ и докладываетъ: прошелъ не болѣе какъ минутъ двадцать.—«Давай, такой сякой, сейчасъ намъ экстренный! Подали... Разбойники-то взяли билеты третьяго класса, а засѣли въ первый, дуютъ въ два кнута... понятно, догнали да съ размаху такъ и врѣзались!

— Эко, парень, вретъ здорово!—раздалось изъ дальняго угла, откуда особенно тянуло запахомъ семги, и слышалось чавканье...

И это замѣчаніе, не кстати, чуть было не испортило всего

дѣла. Настало неловкое, смущенное молчаніе... Только разсказчикъ пробормоталъ въ полголоса:

— Я не знаю... я самъ не былъ... Что люди, то и я... Въ газетахъ было пропечатано!

— А тяжелое это состояніе, быть занесеннымъ въ снѣгу...—отважился даже чей-то женскій голосъ.

— Быть, такъ сказать, погребеннымъ заживо... Представить себѣ только, такъ уже будто самъ испытываешь адскія мученія... — продолжалъ другой, тоже женскій голосъ, погрубѣе...

— Въ снѣгу-то еще ничего, сударыня... А вотъ какъ васъ на три аршинчика да въ землю, да въ тѣсномъ ящичкѣ...

— Не говорите... это ужасно!

— Я, впрочемъ, сомнѣваюсь, чтобы такіе случаи дѣйствительно были.

— Бываютъ-съ... и бывали неоднократно!

— У насъ одного купца лабазника чуть не зарыли, только тѣмъ и спасся, что Богъ помиловалъ, чихъ послалъ, какъ разъ, значитъ, въ то время, какъ крышку заколачивать стали. Развели это олово, запаявать, значитъ, духъ пошелъ ѣдущій,— онъ и прорвался... Какъ чихнетъ,—всѣ такъ со страху повалились...

— Тоже и у насъ одного похоронили. Дорогою, когда везли подъ катафалкомъ, кучеръ сказывалъ, будто какъ въ гробѣ кто-то хрюкаетъ, да ему не повѣрили, похоронили, а потомъ сомнѣніе одолѣло,—какъ-бы что не такъ... Пока бумагу подавали, на разрѣшеніе, значитъ, открытія, пока что... разрыли,—а онъ къ верху спиною, и руки всѣ изгрызены...

— Господа! Нельзя-ли прекратить эти разговоры? Я женщина нервная... я не могу...

— А вы не слушайте, если нервная!—запротестовали женскіе голоса.

— Ахъ! Какъ-же не слушать, когда все это такъ интересно?

— И хочется, и колется, значитъ!—захихикали въ углу, откуда семгою пахло.

— А вѣдь это, дѣйствительно, ужасное положеніе быть заживо погребеннымъ. И все слышать, все сознавать, все чувствовать...

— А приходилось-ли кому-нибудь слышать лично такого заживо погребеннаго и спасеннаго?..

— Нѣтъ не приходилось...

— Я видѣлъ одного въ монастырѣ. Только тотъ ничего не разсказывалъ, принялъ схиму и далъ обѣтъ молчанія!

— Ахъ, какъ-бы это было интересно!

— Да коли бы не врали, а правду говорили... оно точно, что тогда бы занятно было и даже, могу сказать, поучительно!— опять донеслось вмѣстѣ съ букетомъ семги.

— Да вотъ, къ примѣру, померла, думали, купчиха Федулова, богатѣйшая старуха, дочь свою за молодого офицера выдала, съ уговоромъ, чтобы при себѣ жить, вмѣстѣ значитъ. Положили старуху въ гробъ, обрядили, какъ слѣдуетъ. День прошелъ, ничего, — завтра хоронить. Лежитъ купчиха да все слушаетъ. Дочь плачетъ, причитаетъ:—На кого, маменька, вы насъ сиротъ покидаете, а мужъ ейный утѣшаетъ, говоритъ: Не плачь, мой ангелъ, не убивайся!.. Повѣрь, лучше будетъ. Мало-ли насъ эта вѣдьма мучила... Чтобы ей на томъ свѣтѣ легче было, чѣмъ намъ съ тобой на этомъ было .. Тутъ теща и не выдержала, не стерпѣла,—злоба всю летаргію какъ рукою сняла. Выскочила изъ гроба, да и кричитъ. — Вонъ, мерзавецъ, изъ моего дома!.. То-есть, такая, я вамъ доложу, исторія вышла...

— Это уже, никакъ, юмористика пошла! — замѣтилъ кто-то.

— Комедь — одно слово...

— Да вотъ комедія, вы говорите... А вотъ вы, господинъ, побывайте въ нашей шкурѣ, когда разъ товарищъ нашъ по ленточной части въ больницѣ померъ. Дали знать, пошли наши помолиться, сами видѣли, какъ голый, подъ простыней въ мертвецкой лежалъ носомъ къ верху... А въ ту же ночь, просыпается одинъ изъ молодцовъ и видитъ: стоитъ покойникъ у шкафика, гдѣ водка хранилась, да такъ и хлопаетъ рюмку за рюмкою...

— И семгою, небось, вотъ какъ я, закусываетъ...

— Да что это вы право... Всѣ врутъ да врутъ—кушайте себѣ на здоровье и насъ не смущайте!

— Да врите, мнѣ что...

— Ахъ, господа,—томно проговорила какая-то дама.—Эти

разсказы, эти страшныя приключенія, такъ пріятно, такъ хорошо слушать... сердце замираетъ и такъ бьется при этомъ— такъ бьется странно... и такъ хочется вѣрить...

— Позвольте и мнѣ, господа, простите, что я вмѣшиваюсь въ общій разговоръ, а потому только и беру на себя эту смѣлость, что разговоръ именно общій. Позвольте-же и мнѣ въ свою очередь... начать съ небольшого вступленія, а потомъ и приступить къ самому разсказу...

Изъ мглы вагонной атмосферы выдвинулась довольно стройная фигура господина лѣтъ подъ сорокъ, онъ стоялъ теперь у самаго фонаря, и потому, по крайней мѣрѣ, ближайшимъ къ нему можно было довольно обстоятельно ознакомиться съ чертами лица этого господина.

Это былъ брюнетъ, съ горбатымъ носомъ, и необыкновенно роскошною, черною, какъ смоль, шевелюрою; такая же курчавая окладистая борода покрывала почти полъ-груди. Голосъ у него былъ обворожительный баритонъ, такой, какъ бываетъ только у плѣнительныхъ исполнителей партій «Цыганскаго барона» или «Маркиза де-Корневиль», да и манеры у него были округленно изящны и какъ-то сценически закончены.

— Онъ очень не дуренъ!—протянула вполголоса одна изъ дамъ.

— Ахъ! Я его гдѣ-то видѣла!..—скороговоркой проговорила другая...

— Я, господа, нѣсколько раздѣляю скептицизмъ нашего товарища по путешествію. Вотъ того самаго, что теперь, въ настоящую минуту, кажется, утолилъ уже свой аппетитъ и заворачиваетъ соленую рыбу въ газетную бумагу!

— Копченую, сударь, копченую...

— Да? Очень пріятно... Такъ вотъ, господа, я съ нимъ не могу не согласиться, что въ фактахъ, изображенныхъ предыдущими повѣствователями, чувствуется не то что неправда, а нѣкоторая преувеличенность, граничащая съ замѣтнымъ уклоненіемъ отъ истины!

— Ахъ, какъ говоритъ!—восторгнулся дамскій голосокъ.

— Держу пари, что адвокатъ!—шепотомъ замѣтилъ одинъ другому.

— А я думаю, что актеръ...—отвѣчалъ тотъ тоже шепотомъ.

— Ни тотъ, ни другой,—улыбнулся брюнетъ, у котораго слухъ оказался очень тонокъ. —Я просто человѣкъ, которому пришлось испытать на себѣ лично весь ужасъ положенія, о чемъ шла сейчасъ рѣчь. И вотъ я, сознавая, что только истина, безъ всякихъ прикрасъ и добавленій, одна только истина можетъ составлять настоящій трагизмъ разсказа...

Всѣ насторожили уши, а дамы такъ тѣ просто вздрогнули, словно ихъ насквозь пронизала электрическая искра. Съ поднятыхъ верхнихъ сидѣній спустилось нѣсколько паръ полуразутыхъ ногъ. Нервная дама энергично протискалась впередъ, поближе къ оратору, и окаменѣла, вперивъ глаза въ обладателя этой черной, какъ воронье крыло, курчавой, великолѣпной бороды и шевелюры... А тотъ, польщенный общимъ вниманіемъ, позировалъ...

— Да, господа,—говорилъ онъ—прекрасное обыкновеніе въ высшей степени полезное и даже поучительное, какъ вотъ они изволили выразиться, разсказывать въ такихъ случаяхъ разныя происшествія. Все интересное, что могло случиться въ жизни разсказчика, но только подъ однимъ условіемъ... Правда, правда и правда; надо избѣгать всего, что только можетъ набросить тѣнь на правдивость разсказа, всего, что можетъ заронить искру сомнѣнія... Ложь въ такихъ случаяхъ — святотатство. Да и къ чему лгать, когда правда сама по себѣ ужасна, когда она не нуждается въ прикрасахъ... когда... однимъ словомъ, когда происходитъ дѣло такъ, какъ оно произошло, напримѣръ, со мною самимъ...

— Ахъ, какъ говоритъ!..

— Душка!..

— Ну, послушаемъ...

— Извольте... Если, дѣйствительно, я могу занять васъ хотя сколько-нибудь моимъ правдивымъ разсказомъ, я начинаю...

— По-жа-луй-ста!..

— Во-первыхъ, господа, позвольте мнѣ не представляться и сохранить свое инкогнито. Къ этому меня обязываетъ моя прирожденная скромность. Непосильные труды мои на научномъ поприщѣ, усиленная творческая работа моего мозга, однимъ словомъ, разныя причины привели меня къ роковой болѣзни. Я слегъ въ постель и даже очень серьезно... Въ газетахъ стали печататься бюлетени, всѣ медицинскія знаменитости по-

свѣтили меня, предлагая свои услуги. Всѣ принялись меня лечить, и по одиночкѣ, и оптомъ, и всѣ отъ разныхъ болѣзней... Въ ежедневныхъ консиліумахъ никто ни съ кѣмъ не соглашался, всѣ упорно отстаивали свои діагнозы, наконецъ, я не выдержалъ и въ одно прекрасное утро услышалъ надъ своею головою страшное слово: «mortus». Это былъ голосъ знаменитаго «Иксъ» Тогда ко мнѣ нагнулся другой, Игрекъ, пощупалъ лобъ, приподнялъ пальцемъ вѣко лѣваго глаза, подержалъ за пульсъ и проговорилъ тоже роковое слово... Подошелъ третій, Зетъ, приподнялъ вѣко праваго глаза, приставилъ къ сердцу инструментъ, послушалъ и подтвердилъ результаты ихъ наблюденій... И всѣ шестеро, ихъ было шесть, всѣ въ одинъ голосъ, послѣ долгихъ и тщательныхъ изслѣдованій, согласились съ первыми тремя. Мнѣ самому оставалось только повѣрить... я и повѣрилъ бы. Не могъ-же я не вѣрить такимъ знаменитостямъ! Меня только удивляло странное состояніе, въ которомъ я находился... Я ничего не видѣлъ, даже въ тѣ мгновенія, когда чужой палецъ насиловалъ вѣки моихъ глазъ, я не могъ пошевелить ни однимъ своимъ членомъ, а между тѣмъ я все сознавалъ, все слышалъ, даже тиканье моихъ часовъ въ карманѣ одного изъ эскулаповъ, недоумѣвая, какъ они туда попали... Все это было такъ ново, такъ странно! Я колебался и сомнѣвался—сомнѣвался и колебался, и вдругъ меня осѣнила страшная, мучительная, неотвязная мысль... «летаргія!»... Отъ одной этой мысли вся кровь моя оледенѣла... Еще одинъ прибавился роковой признакъ, убѣждающій докторовъ въ вѣрности ихъ опредѣленія. «Свѣтила науки», забравъ свои инструменты, тщательно помывъ руки и даже попрыскавшись духами съ моего туалетнаго стола, молча и торжественно вышли... Я остался одинъ... Но не надолго. Вѣсть о моей смерти разнеслась по городу быстрѣе молніи... Первыми стали врываться дамы, я слышалъ шелестъ ихъ платьевъ, я узнавалъ ихъ по букету ихъ омоченныхъ слезами платковъ, онѣ рыдали у меня на груди, язвительно замѣчая при этомъ другъ другу безтактность такого компрометирующаго выраженія скорби... Затѣмъ стали появляться депутаціи отъ разныхъ обществъ съ траурными вѣнками... Затѣмъ меня перенесли въ большую залу, я слышалъ какъ, шумѣли широколистныя пальмы и другія экзотики, когда ихъ устанавливали вокругъ ката-

фалка, какъ говорили грубые незнакомые голоса... какъ безцеремонно хлопали двери по всему дому, какъ и что говорили обо мнѣ мои безчисленные друзья и знакомые... О, еслибы я могъ это записать и поставить на поляхъ свои отмѣтки!.. Сначала меня все это занимало и развлекало, отгоняя страшную мысль о моментѣ погребенія... Вѣдь долженъ-же наступить этотъ ужасный моментъ, когда живого, но сознающаго человѣка уложатъ въ тѣсный гробъ, въ этотъ холодный металлическій ящикъ, какъ всѣ земные звуки станутъ затихать подъ тяжелою гробовою крышкою, какъ понесутъ по лѣстницѣ, какъ установятъ на катафалкъ, какъ повезутъ, и, наконецъ, какъ этотъ проклятый гробъ. эта вѣчная тюрьма, колыхнется на холстахъ, спускаясь медленно, въ зіящую темную могилу... О, Боже мой! Когда я говорю, когда я только вспоминаю объ этихъ мгновеніяхъ!.. Посмотрите, господа, какъ холодѣютъ мои руки, посмотрите, какъ холодный потъ покрываетъ мой лобъ, какъ бьется это сердце!..

Разсказчикъ, помолчавъ съ минуту, однимъ энергичнымъ взмахомъ руки поправилъ свои волосы, тряхнулъ головою, словно отгоняя мучившіе его страшные призраки, и продолжалъ:

— Но у меня, все-таки, еле теплилась слабая надежда. Я зналъ, что роковая минута наступитъ еще не скоро, и я могу еще во время проснуться. Я вѣрилъ въ возможность своего спасенія, я вѣрилъ въ чудо, но, кажется, напрасно... На другой день я узналъ, по голосамъ, всѣхъ своихъ докторовъ; по ихъ разговорамъ оказалось, что они еще разъ собрали консиліумъ, на которомъ, во имя науки, во имя разслѣдованія тайны моей необыкновенной болѣзни, рѣшено было предварительно меня анатомировать.

— Ай... Замолчите, замолчите...—вскрикнула одна изъ дамъ.

— Извините, господа, я предупредилъ васъ, что рѣчь будетъ не о чемъ-нибудь особенно веселомъ... я могу и прекратить...

— Ахъ, разсказывайте, —простонала дама,— это уже прошло!

— Время моего вскрытія назначено было въ эту-же ночь. Послѣдній лучъ надежды моей погасъ... Кровожадные бандиты, вооруженные ножами, придутъ довершить свою роковую ошибку... О, проклятіе!.. И тутъ же меня осѣнила мысль: — А, можетъ быть, все это къ лучшему?.. Легче принять смерть отъ удара

ножомъ, во имя хотя бы науки, чѣмъ безплодно проснуться въ гробу, подъ тяжестью трехъ аршиннаго слоя песку и мокрой грязи... Я геройски рѣшилъ перенести мою печальную участь, я только думалъ объ одномъ: сразу-ли они меня прикончатъ, или будутъ рѣзать по частямъ, мало-по-малу углубляясь въ свое изслѣдованіе? Наступила ночь. Я узналъ это по тишинѣ, по тому, что даже унылое рокотаніе дежурнаго причетника прекратилось. Снова вошли люди, установили какой-то другой столъ, вынули меня изъ гроба, раздѣли и уложили!.. Я слышалъ бряцанье желѣза и стали, слышалъ предварительные разговоры и снова споры свѣтилъ науки и, наконецъ, ясно услыхалъ, какъ одинъ изъ нихъ предложилъ своему коллегѣ приступить, *пока*, къ трепанаціи черепа... «А я молъ, *пока*, займусь вскрытіемъ грудной клѣтки». Сердце мое, почки и печень предполагалось унести съ собою, для дальнѣйшихъ. уже кабинетныхъ изслѣдованій. Странное понятіе о правѣ собственности!

— Еслибы вы, господа, могли бы представить себѣ хотя бы милліонную часть того, что я пережилъ, правильнѣе, перечувствовалъ, въ эти минуты! Но этого нельзя выразить словами—это смѣсь смертельной тоски, отчаянія, злобы ко всему міру, презрѣнія къ своему безсилію, безотчетнаго, подлого страха, чувствъ человѣка, невинно осужденнаго, которому уже поздно надѣяться на возстановленіе справедливости, котораго уже связали, и палачи укладываютъ его голову подъ ножъ гильотины!..

И самое ужасное, что связали, то-есть, лишили возможности борьбы, сопротивленія...

А между тѣмъ время шло, и мои палачи не дремали,— я чувствовалъ, какъ холодный ножъ плавно скользнулъ вокругъ моего черепа, какъ прикоснулась къ нему пила, съ какимъ зловѣщимъ шорохомъ проникала она въ глубь, какъ отдѣлилась, словно крышка арбуза, вся срѣзанная часть, какъ мой бѣдный мозгъ обдала струя холоднаго воздуха... Я слышалъ, какъ подъ ножомъ другого хрустѣли мои ребра, я слышалъ, какъ меня обирали, грабили, мало-по-малу, отдѣляя съ своихъ законныхъ мѣстъ важнѣйшіе органы моего земного существованія... Вдругъ я услышалъ дикій перепуганный крикъ одного изъ моихъ палачей:

— Стойте—стойте! Онъ живъ, смотрите...

Наступило общее молчаніе... Всѣ какъ бы оцѣпенѣли, но сейчасъ же начались споры въ полголоса, и поднялась суетливая работа.

— Да, конечно живъ!... Посмотрите,—онъ посѣдѣлъ, его волоса—его борода. Скорѣе назадъ, все на мѣсто! Еще есть надежда на спасеніе... Хирургія такъ шагнула впередъ!

— Но съ этой минуты, господа, я пересталъ уже не только чувствовать, но и слышать, одна только мысль мелькнула:— убили! Теперь уже смерть настоящая!..

— Мнѣ стало такъ хорошо, такъ спокойно — я въ одно мгновеніе примирился съ людьми, съ жизнью, все и всѣхъ простилъ, и самъ, даже сознательно, потянулся, выправивъ свои, неудобно разложенныя на оперативномъ столѣ ноги!

— Настоящимъ образомъ я пришелъ въ себя уже спустя мѣсяца три послѣ всего этого происшествія. Хирургія, господа, въ наше время, дѣйствительно, дѣлаетъ чудеса... ея представителямъ ничего не стоитъ разобрать человѣка по частямъ и потомъ собрать все вмѣстѣ, словно механизмъ какой-нибудь. Я потомъ много разъ видѣлся со своими палачами-спасителями, и они мнѣ разсказывали очень обстоятельно всѣ подробности такого рѣдкаго, исключительнаго случая. Вы что на меня, господа, такъ подозрительно смотрите?

— Господинъ, а господинъ... Такъ нельзя!... Вѣдь вы сами обѣщали не врать... Сами хотѣли только правду, чтобы безъ прикрасъ и преувеличеній!

— Ахъ! Понимаю! Это васъ смущаетъ чудесный цвѣтъ моихъ волосъ!.. Ха ха ха!.. Вотъ видите, господа, милостивые государи и государыни. Вотъ, что значитъ быть человѣкомъ безупречной правды и никогда не дерзать уклоняться, хотя-бы на полъ сантиметра отъ истины. Я бы могъ объяснить вамъ метаморфозу моихъ волосъ вполнѣ научно, я бы могъ указать вамъ на такой вполнѣ логичный фактъ, что ежели — глубокая скорбь, сильное внезапное потрясеніе оказываютъ на волосы такое дѣйствіе, какъ мгновенное лишеніе красящаго вещества, то-есть, быстрое сѣдѣніе, то такая же внезапная радость и наплывъ счастья могутъ, какъ обратное явленіе, вызвать и обратные результаты, а согласитесь сами, что мнѣ было чему радоваться, если такъ удачно я отдѣлался отъ та-

кого медицинскаго недоразумѣнія... Но я этимъ не объясню дѣла, я вамъ имѣю честь представить еще лучшее, превосходное средство для возстановленія утраченной красоты вашихъ прическъ... Взгляните и судите! Это дивное, внѣ конкуренціи, изобрѣтеніе извѣстнаго профессора химіи, почетнаго совѣтника при всѣхъ иностранныхъ дворахъ и кавалера многихъ орденовъ извѣстнаго, великаго ученаго Абрама Зомеръ-Цвабеля... Взгляните и судите!

Тутъ разсказчикъ повторилъ свой красивый жестъ рукою, граціозно раскланялся и, поспѣшно раскрывъ свой портфель, очень объемистый, котораго мы всѣ какъ-то не замѣтили сначала, вынулъ оттуда пачку визитныхъ карточекъ, на другой сторонѣ которыхъ было крупно напечатано:

«*Ночь Клеопатры*» краска для волосъ Абрама Зомеръ-Цвабеля.

(Прошу остерегаться поддѣлки).

ДЕВЯТОЕ.

(Заимствовано изъ разсказа самого ювелирнаго мастера, когда его, послѣ продолжительной нервной горячки, выпустили на свободу).

На нижней площадкѣ грязной лѣстницы, на третьемъ дворѣ, остановилась женщина въ черномъ и взялась за ручку двери, чтобъ выйти на сравнительно чистый воздухъ, но задумалась... Очевидно, она только что спустилась съ верха, потому что нерѣшительно взглядывала на верхъ, въ этотъ темный пролетъ, какъ-бы раздумывая: — «да нужно-ли еще уходить... не вернуться-ли?.. Пріотворитъ женщина немного обитую клеенкою скрипучую дверь—со двора пахнетъ мокрымъ пронизывающимъ холодомъ и потянетъ кверху; забирается этотъ холодъ подъ худой шерстяной платокъ, сквозь лифъ платья, прямо къ самому сердцу пробирается, дрожь лихорадочную вызываетъ, а женщина будто и не замѣчаетъ... все стоитъ, за дверную ручку держится, раздумываетъ... Даже дворнику, въ третій разъ проходившему черезъ дворъ, показалось подозрительно...

— Все одно, ничего не будетъ!—подумалъ онъ вслухъ и безнадежно махнулъ рукою...—Да бросьте вы, сударыня! Что лѣстницу-то зря студите...

Женщина въ черномъ вздрогнула отъ этого обращенія, испуганно открыла большіе глубокіе глаза—и рѣшилась таки подняться снова.

Она медленно прошла первую площадку, шатаясь, взялась рукою за липкія желѣзныя перила,—а дальше все прибавляла шагу, идя къ четвертому этажу, чуть не бѣгомъ — одолѣвала крутыя, обтоптанныя ступени...

Лѣстница была плохо освѣщена, черезъ площадку,—а все

таки и при этомъ слабомъ свѣтѣ можно было прочесть, что написано на дверяхъ квартиры номеръ 73, а написано было вотъ что:

«Борухъ Димантъ
ювелиръ.

Покупаетъ и продаетъ брильянты и другіе драгоцѣнные камни, а также золото и серебро въ ломъ, на вѣсъ. Также даетъ деньги подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ и прочихъ цѣнностей за умѣренные и закономъ утвержденные проценты, проситъ звонить, не сильно дергая за ручку, ибо и такъ хорошо слышно».

Передъ этой дверью женщина въ черномъ остановилась, вздохнула глубоко, глубоко — скорѣе простонала и чуть-чуть коснулась звонка...

Отворять дверь начали скоро, но только процедура ожиданія тянулась долго... Незримые ключи скрипѣли, замки позванивали, что-то шипѣло, потрескивало, и, наконецъ, дверь пріотворилась немного, сдержанная на всякій случай предохранительною цѣпью. Хриплый голосъ проговорилъ:

— Это вы опять... Ну?

— Ради Самого Бога... ради...—начала было сквозь слезы женщина въ черномъ...

Дверь съ силою захлопнулась, — невидимые замки снова защелкали.

— Будь-же ты проклятъ Небомъ! — проговорила она и, странно, удивительно покойнымъ, почти равнодушнымъ тономъ, такъ, какъ будто говорила о погодѣ или отвѣчала на самый обыкновенный вопросъ—она даже не очень громко произнесла это проклятіе, а Димантъ ясно слышалъ его за дверью и почувствовалъ себя очень скверно... даже скорчило его, какъ Мефистофеля въ сценѣ заклинанія — рукоятями шпагъ. Какъ ошпаренная собака, онъ юркнулъ за вторую дверь и приложилъ руку къ своему тоскливо замирающему сердцу... а женщина въ черномъ, должно быть, ушла — ея не было видно на площадкѣ...

— Девятый разъ,—прошепталъ онъ,—за сегодняшній день девятый... Девятое проклятіе... Ой — кажется, не девятое... восьмое—восьмое... первое было... да, да... потомъ второе, по-

томъ, потомъ въ половинѣ восьмого вечера было седьмое... да, да, помню, хорошо помню, скотина въ сѣромъ пальто, оборванецъ паршивый, а тоже проклинать вздумалъ... шарлатанъ!.. Ну, конечно, это значитъ восьмое, а не девятое... а ну, какъ...

Борухъ Димантъ бросился къ двери, повернулъ какую-то задвижку, которая приспособлена была къ показателю на внѣшней сторонѣ двери: «Дома нѣтъ, пріемъ оконченъ», и началъ было слегка уже успокаиваться.

Когда ювелиръ началъ свою карьеру, ему одна цыганка въ Кишиневѣ предсказала великое богатство, силу и знатность, но подъ условіемъ, чтобы онъ остерегался накликать на свою голову проклятіе болѣе какъ восемь разъ въ одинъ день... Дѣло его, молъ, такое, что безъ проклятія обойтись невозможно, но вѣдь на все и мѣра есть, а ему, Боруху Диманту, такой предѣлъ положенъ: восемь разъ въ день—ни Боже мой—за этимъ, молъ, предѣломъ—наступятъ бѣдствія великія, срамъ, позоръ и разореніе и даже, можетъ быть, лишеніе самой жизни...

Снова ювелиръ мысленно пробѣжалъ впечатлѣнія рабочаго дня и скоро сталъ убѣждаться, что эта «паскуда въ черномъ», проклявшая его въ восьмой разъ, а не въ девятый... Въ восьмой-ли?..

— Фу, какъ мерзко стало у меня на душѣ... чортъ знаетъ, что такое... уйти куда-нибудь опасно... дома сидѣть—боязно что-то... Со мною такое бывало рѣдко... и что такое, право?.. И зачѣмъ?.. И что я худого сдѣлалъ... фуй!.. Дѣлаю людямъ добро, за воротъ никого не тяну,—сами идутъ... Все честно, по закону... пхе!..

Такъ думалъ Борухъ Димантъ, а самъ обошелъ всю свою квартиру, во всѣхъ трехъ комнатахъ поправлялъ горящія лампочки. Единственно, на что онъ не скупился, такъ это на керосинъ, потому что не переносилъ темноты: все ему казалось, что въ темнотѣ что-то подозрительное шевелится и даже вздыхаетъ...

Первая комната была его пріемная, въ которую только и попадали посторонніе посѣтители,—только два-три стула, а съ другой стороны — письменный столъ, конторка съ высокимъ табуретомъ, тяжелый несгораемый шкафъ-касса и шкафъ дру-

гой, открытый, со счетными книгами. Всѣ свободныя мѣста на стѣнахъ заняты полками, заставленными самыми разнообразными предметами, но цѣнности не высокой, не могущими очень ужъ соблазнять глазъ посѣтителя... За то вторая комната занята была шкафами и сундуками, наполненными всѣмъ тѣмъ, что накопилось за многолѣтнюю дѣятельность ювелира-закладчика и не нашло себѣ пока выгоднаго сбыта и примѣненія.

Въ третьей комнатѣ находилось самое святое святыхъ. Тамъ была спальня хозяина и сундуки съ драгоцѣнными вещами и предметами, сундукъ-же, съ массою хитрыхъ замковъ и секретовъ, хранящій въ своихъ нѣдрахъ секретные документы и вещи, превышающія своею истинною стоимостью, по крайней мѣрѣ, во сто разъ, выданныя за нихъ суммы, или-же окончательно просроченныя, или-же очень близкія къ такому освобожденію отъ всякихъ обязательствъ. Этотъ сундукъ стоялъ подъ кроватью Боруха Диманта, прикованный къ стѣнѣ и полу массивными цѣпями; у кровати — ночной столикъ, а въ столикѣ револьверъ, всегда наготовѣ, заряженный. Далѣе шла кухня, въ которой ничего не стряпалось, и плита была приспособлена къ установкѣ плавильнаго горна,—на всякій случай, — вѣдь хозяинъ былъ ювелиръ и охотно бралъ золотыя вещи въ починку и передѣлку. Кухня соединялась съ переднею узенькимъ корридорчикомъ, загроможденнымъ сплошь, такъ что, встрѣтившись въ такомъ корридорѣ вдвоемъ, разойтись было невозможно. Это тоже было устроено въ видахъ предосторожности... Въ видахъ той-же предосторожности Диманть не держалъ прислуги... Обѣдъ ему приносили изъ сосѣдняго трактира; кофе онъ варилъ самъ, самъ-же убиралъ и всю квартиру... Разъ въ недѣлю дворникъ приносилъ дрова на кухню. Къ этому моменту выходная на другую лѣстницу дверь разбаррикадировывалась, цѣпи снимались, засовы отодвигались съ самымъ свирѣпымъ визгомъ и лязгомъ, и когда тяжелодышащій рыжебородый дворникъ, внося съ своимъ приходомъ холодъ двора и запахъ овчины, громыхалъ дровами объ полъ, онъ уже не могъ замѣтить всѣ эти предосторожности, а все-таки сплевывалъ презрительно черезъ губу и потомъ, спускаясь по лѣстницѣ, все время плевался и ворчалъ:

— Ну, и чортъ-же живетъ тамъ — чисто кикимора!.. До

этого не скоро доберешься, пошалить чтобы... Тутъ самый, что ни на есть, изъ громилъ громило—обожжется!.. Тьфу!..

Осмотрѣлся Димантъ тщательно—все въ полномъ порядкѣ, а все успокоиться не можетъ. Бывало и прежде съ нимъ,—и не разъ даже,—чувство гнетущей тоски, доходящей до паники, охватывало его душу, но такъ, какъ теперь, еще ни разу... «И чего эта гадкая женщина не ругалась, не орала на всю лѣстницу, не стучала кулаками въ дверь... Это все ничего... все-бы легче... зачѣмъ она такъ холодно, покойно, равнодушно даже совсѣмъ сказала:

— Будь-же ты проклятъ Небомъ, будто къ счету доложила, что слѣдуетъ! Было, молъ, восемь, вотъ тебѣ девятое!

— Да не девятое-же, говорю, а восьмое,—вѣрно, что восьмое!.. А ну, какъ я просчиталъ... долго-ли со счету сбиться... проклятая баба!

Борухъ прошелъ на кухню, помочилъ себѣ голову у крана.

— Какъ холодно стало, бр... бр... А въ груди словно каленымъ желѣзомъ жгутъ...

Часы гдѣ-то, наконецъ, начали бить... Димантъ считалъ, внимательно прислушиваясь къ этому тихому, тоненькому бою. Отсчиталъ девять, съ размаху добавилъ даже десять, но часы остановились на первой цифрѣ.

Ювелиръ вздрогнулъ.

— Что за странность!.. И какіе это часы? Тамъ и часовъ нѣтъ никакихъ... тамъ только... А вотъ...

Отчетливые басовые часы, что висѣли у него въ первой комнатѣ, стали бить тоже... пробили девять и замолкли. А вотъ и еще часы, эти, что въ футлярѣ, у его кровати стоятъ, учащенно такъ затикали и тоже девять, а больше ничего не прибавили.

Выхватилъ свою вѣрную луковицу изъ жилетнаго кармана... Стрѣлки показываютъ половину двѣнадцатаго. — «Это вѣрно!... Это такъ и должно быть!.. А чего-же они бьютъ девять»?.. Осмотрѣлъ хозяинъ циферблаты невѣрныхъ часовъ, на всѣхъ вѣрно: половина двѣнадцатаго... что за диво?

Безнадежно спустился Борухъ на свою кровать и схватился за голову...

— Никогда со мною, никогда ничего такого не было...— бормоталъ онъ... и чувствовалъ, какъ слабѣетъ, какъ его го-

*

лова, словно сама собой, клонится къ подушкѣ. Но это былъ не сонъ, скорѣе обморокъ, съ которымъ надо бороться, не поддаваться этому болѣзненному насилію—и Борухъ боролся. Онъ чуть не разорвалъ платокъ, служившій ему галстукомъ, разстегнулъ воротъ рубахи, вскочилъ на ноги и сталъ энергично ходить по комнатамъ.

Ходитъ онъ, почти бѣгаетъ, задѣваетъ за косяки дверей, толкаетъ локтями острые углы мебели... и видитъ, и слышитъ, что вокругъ него, во всѣхъ углахъ творится что-то непонятное...

Изъ каждаго шкафа, изъ каждаго сундука и безчисленныхъ укладокъ слышится то осторожное всхлипываніе, то тихій плачъ, то разростающееся рыданіе, а пуще всего тамъ, подъ его кроватью... Тамъ даже будто слова разобрать можно, и все голоса ему знакомые...

Несчастный ювелиръ въ оцѣпѣненіи стоялъ посреди всей этой слезливой сумятицы и сознавалъ, что это галлюцинація, бредъ, что ничего нѣтъ... Но какъ же это неотвязчиво, какъ правдиво... Вотъ этотъ, напримѣръ, дѣтскій голосокъ — онъ его знаетъ, — это больной, рыжій гимназистъ, чахоточный... Его мама все на лекарства закладывала, надоѣла ему даже... Но Димантъ давалъ, все давалъ, не отказывалъ... Чего же этотъ неблагодарный мальчишка оретъ:

— И когда-же это, наконецъ, кончится?..

Ювелиръ рѣшилъ бороться изо всѣхъ силъ—онъ даже голосъ возвысилъ, хотѣлъ перекричать всѣ эти тоскливые, плачущіе голоса. Онъ грозно, во все горло крикнулъ:

— Молчать! Зачего проклинаете? Сами вы всѣ проклятые!.. Чтобъ вамъ руки, ноги, языки посводило, если кто живы, чтобы вамъ на томъ свѣтѣ черти шкуру сдирали, которые уже померли... чтобы вамъ...

Вдругъ изъ передней послышался рѣзкій, дребезжащій звонокъ.

Димантъ обрадовался этому, кажется, что на этотъ разъ дѣйствительному, реальному звуку. Онъ неслышными шагами пробрался въ переднюю и сталъ прислушиваться...

— Кто-бы могъ быть въ такое неурочное время?—подумалъ онъ и спросилъ:

— Кто тамъ?

Отвѣта не послѣдовало... Димантъ, выждавъ съ минуту, окликнулъ еще... тоже полное молчаніе...

Вдругъ онъ почувствовалъ, какъ острый холодъ потянулъ черезъ всю квартиру, словно кто-то отворилъ либо окно на улицу, либо эту прочно забаррикадированную дверь.

— Воры! — завопилъ несчастный ювелиръ и бросился въ спальню за своимъ револьверомъ.

Въ узкомъ корридорѣ что-то загремѣло, падая и разбиваясь въ дребезги; кто-то прокладывалъ тамъ себѣ дорогу и очень энергично. А посреди спальни стоялъ здоровенный дѣтина въ маскѣ, изъ подъ которой виднѣлись клочья рыжей бороды. Субъектъ былъ въ плисовомъ пиджакѣ, шея замотана бабьимъ платкомъ, на ногахъ мягкіе войлочные коги... Это все Димантъ въ одно мгновеніе успѣлъ разглядѣть и запомнить. Онъ также хорошо видѣлъ, что посѣтитель держалъ въ одной рукѣ здоровое долото, а въ другой его-же собственный, димантовскій, и, значитъ, заряженный револьверъ...

— Пикнешь,—тутъ тебѣ и конецъ!—сказалъ замаскированный.

— Пикнешь,—тутъ тебѣ и конецъ!—сказалъ другой голосъ изъ передней.

— Только пикни! — произнесъ третій за спиною несчастнаго, и Ворухъ почувствовалъ, какъ его сжали могучіе тиски, какъ его локти охватила веревочная петля и стянула крѣпко, крѣпко, такъ что даже въ плечахъ что-то хрустнуло...

— Сиди-ка тутъ смирно и не мѣшай намъ... Мы только легкую ревизію сдѣлаемъ—не бось, всего не заберемъ... у тебя столько тутъ добра припасено, что въ одинъ разъ гдѣ троимъ управиться... ты вотъ ключи подай да укажи, гдѣ что... эти, что-ли?

Громила вытянулъ связку изъ кармана арестованнаго.

— Ну, ребята, не копаться, за работу! А ты, молодецъ, около кассы орудуй пока, да за хозяиномъ поглядывай... время деньги!

И ночные посѣтители принялись за работу. Это все были люди много-опытные, умѣлые: они принялись безъ суеты, не спѣша, обнаруживая большой навыкъ къ дѣлу и опытность.

А Димантъ, скрученный въ локтяхъ, притянутый къ цѣпи собственной кассы, сидѣлъ и смотрѣлъ.

Теперь къ нему вернулось его прежнее хладнокровіе и самообладаніе... Это невыносимое состояніе духа, мучившее его до сихъ поръ, доводившее его до галлюцинаціи, исчезло предъ лицомъ одной опредѣленной опасности, онъ только внимательно всматривался въ каждую личность, могущую впослѣдствіи помочь ему въ розыскахъ этихъ замаскированныхъ посѣтителей, если только тѣ оставятъ его живымъ, а убивать имъ нечего, вѣдь онъ, Димантъ, имъ не мѣшаетъ, онъ даже помочь готовъ. И вотъ онъ, замѣтивъ, что громила, внимательно осмотрѣвъ личинки замковъ кассы, не такъ принялся за дѣло, онъ-же, Димантъ, остановилъ его и сказалъ:

— Не этотъ ключъ! Возьмите короткій съ кольцомъ, надавите прежде эту кнопку тамъ!

— Все равно, сломаютъ и вещь попортятъ даромъ!—подумалъ онъ при этомъ.

— Да хозяинъ-то у насъ умный, сообразительный! — захохоталъ громила у кассы.

— Должно, дрессированный!—отозвался другой изъ спальни.

— Это онъ до сундука, что подъ кроватью, добрался!—подумалъ Борухъ, глубоко вздохнулъ и вдругъ, самъ неожиданно для себя, заплакалъ.

Давно уже, лѣтъ сорокъ, можетъ быть, съ самаго дѣтства, этого съ нимъ не случалось!..

— Жалко, небось, награбленнаго добра стало?—усмѣхнулся тотъ, кто возился съ кассою...—Небось, оставили еще тебѣ на разживу...

— Воды... воды принеси... въ горлѣ жжетъ...—бормоталъ несчастный ювелиръ, съ трудомъ сдерживая истерическія рыданія...

— Ну, ты полегче! А то я тебя этимъ напою. Разомъ смолкнешь!

Димантъ закусилъ до крови себѣ губу и отвернулся, чтобы не видѣть разгрома.

А громилы съ полнымъ невозмутимымъ спокойствіемъ продолжали свою работу. Они выбрасывали на полъ опорожненные футляры и все связывали въ удобные для выноса узлы, запихивали себѣ за пазухи и въ карманы шароваръ, за голенища сапогъ, а все имъ попадалась на глаза все новая и новая соблазнительная добыча.

Время шло... Стрѣлки стѣнныхъ часовъ показывали половину пятаго утра. Пора и уходить по добру, по здорову...

Стоятъ надъ связаннымъ ювелиромъ громилы и думаютъ, какъ поступить: пришибить-ли для душевнаго спокойствія, или такъ оставить живого, связаннаго?..

А Диманту все равно, рѣшительно все равно — только вотъ руки скрученныя очень ломитъ, и очень холодомъ вѣетъ по полу...

. . . . . .

Очнулся Борухъ, когда въ окна его квартиры сѣрый день заглянулъ. Въ открытыхъ настежъ парадныхъ дверяхъ стоитъ рыжебородый дворникъ, а за нимъ околодочный и еще двое полицейскихъ, на площадкѣ еще постороннія лица топчутся.

— Вѣдь вотъ какое дѣло, поди-же ты!—хлопаетъ по бедрамъ дворникъ. — Я-то иду лѣстницу убирать, гляжу — дверь отворена, заглянулъ—а оно вонъ что... Оказія!..

— Начнемъ осмотръ отсюда!—говоритъ околодочный...— Не трогать! — добавилъ онъ, замѣтивъ, что двое изъ добровольцевъ хотѣли было развязывать полубезчувственнаго ограбленнаго ювелира.—Не трогать до осмотра и описи положенія...

Онъ вынулъ чернильницу, досталъ листикъ бумаги изъ своего портфеля и началъ:

— Лежитъ на боку, руки скручены веревкою въ родѣ какъ бы возжей, или на манеръ такой, что дрова носятъ... Голосъ подаетъ не особенно явственно, какъ-бы мычанію подобный...

— Не иначе, какъ черезъ окно... Они, значитъ, съ чердака спустились и вырѣзали окошко... Иначе невозможно, потому дверь на черную лѣстницу извольте видѣть... А ушли они такъ черезъ паратную... Уже это вѣрно! — разъясиялъ дворникъ, уже заглянувшій и въ другія комнаты...

— Правая нога подъ себя подогнута, лѣвая... — продолжалъ описывать положеніе околодочный...—А какъ-же это они на чердакъ попали? — прервалъ онъ размышленія дворника, строго взглянувъ въ его сторону.

— А это невозможно даже измыслить, должно полагать, съ крыши сосѣдняго дома: это случается...

— Да развяжите его вы скорѣича, несчастнаго!—завопила кухарка изъ сосѣдней квартиры...—Видите, человѣкъ, можетъ, кончается, а вы тутъ...

— И то развяжи!.. Милостивый государь, эй, господинъ! Милостивый государь... Можете вы отвѣчать?.. Можете говорить, что-ли?..

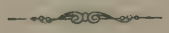
Димантъ окончательно пришелъ въ себя; развязанный, попытался было вскочить на свои отекшія ноги, но не могъ.

Онъ дико озирался вокругъ и вдругъ, рванувшись, поползъ къ выходной двери и закричалъ, завылъ, какъ волкъ:

— Караулъ!

Въ толпѣ на площадкѣ захохотали...

И началось дѣло объ ограбленіи ювелирнаго мастера Боруха Диманта, которое, наконецъ, выяснило, что вышеозначенный Димантъ былъ дѣйствительно ограбленъ посторонними лицами, какъ ему лично, такъ и предержащимъ властямъ неизвѣстными.



СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ

ПИСЬМО НА РОДИНУ.

Блудсфонтенъ, 23 декабря.

«Я думаю, дорогая Клара, что ты получила мое письмо отъ 20 іюня... Конечно, я виноватъ за такой продолжительный перерывъ въ нашей бесѣдѣ, но ты не будешь на меня сердиться и разгладишь свои чудныя, сдвинутыя бровки, когда узнаешь, какъ много пришлось пережить мнѣ тяжелаго и непріятнаго за это время.

«Ты помнишь хорошо, какъ мы провели наше дѣтство, какою кроткою любовью и заботливостью обставлены мы были въ нашемъ родительскомъ домѣ, мы, такъ сказать, выросли въ атмосферѣ любви и нѣжности, мы были избалованы и морально, да и матерьяльно тоже—насъ воспитывали въ высокихъ рыцарскихъ, истинно джентельменскихъ правилахъ—и мы пріобрѣли ясный и точный взглядъ на все, что составляетъ основы истиннаго благородства и чести...

«Когда я, повинуясь долгу благороднаго британца, отправлялся на войну, я думалъ, я имѣлъ право думать, что буду имѣть дѣло съ врагомъ храбрымъ, великодушнымъ, равнымъ съ нами по благородству души, по знанію военнаго искусства—и какъ горько пришлось намъ разочароваться въ своихъ надеждахъ.

«Мы встрѣтились съ бурами.

«Уже самое слово буръ означаетъ—мужикъ, то есть, нѣчто грубое, ничего общаго не имѣющее съ джентльменствомъ; это сбродъ дикихъ и невѣжественныхъ дикарей, не имѣющихъ понятія, что такое настоящая европейская война, со всѣми ея рыцарскими правилами и тонкостями.

«Они вообразили, что война — это просто бойня, грубое разстрѣливаніе врага изъ-за закрытія, трусливое бѣгство, когда мы хотѣли-бы ихъ настичь, полное исчезновеніе, на болѣе или

менѣе продолжительное время, а потомъ внезапное появленіе тамъ, гдѣ ихъ никто не ожидалъ вовсе... Но прибавь ко всему этому, что эти буры просто воры и грабители: они нападаютъ на наши транспорты, портятъ дороги, угоняютъ у насъ скотъ и лошадей... Вѣдь ты понимаешь, какъ все это намъ самимъ надо, а они забираютъ безъ всякой церемоніи... Вчера, напримѣръ, отрядъ этихъ жалкихъ воришекъ отнялъ у насъ фуры съ палатками и теплыми пальто,—это при непрерывномъ ливнѣ и довольно холодныхъ ночахъ... Да вотъ я тебѣ все это разскажу по порядку.

Еще десятаго августа, нашъ лихой батальонъ, съ полковникомъ Кольнеперомъ во главѣ, выступилъ въ походъ, съ цѣлью изслѣдовать всю мѣстность къ сѣверо-востоку отъ нашего главнаго лагеря. Первый день похода прошелъ довольно благополучно, мы, пройдя миль двадцать, не встрѣтили даже признака непріятеля. Мы дорогою, конечно, заглядывали въ попутныя фермы, гдѣ находили только женщинъ и черную прислугу... Они говорили, что имъ самимъ ѣсть нечего, но мы имъ не вѣрили, конечно, подвергали обыску и кое-что иногда находили съѣстного. Лейтенантъ Брэкенъ нашелъ даже не дурные золотые часы съ цѣпочкою. Тронулись далѣе. Замѣть, что на всѣ наши разспросы насъ увѣряли, что непріятеля давно уже нѣтъ по близости... Какое вѣроломство, какое гнусное предательство!

Около половины второго слѣдующаго дня мы шли спокойно, ничего не подозрѣвая, какъ вдругъ раздались выстрѣлы. Прежде чѣмъ мы могли опомниться и сообразить, въ чемъ дѣло, какъ уже нѣсколько нашихъ упали, и первымъ упалъ, не крикнувъ даже, лейтенантъ Брэкенъ... Но что за молодецъ нашъ командиръ! Съ поразительною находчивостью, моментально сообразивъ и взвѣсивъ наше положеніе, онъ выхватилъ шпагу, навязалъ на клинокъ свой бѣлый платокъ и высоко поднялъ надъ головою. Вражескіе выстрѣлы разомъ стихли, и нашъ отрядъ принялъ совершенно безопасное положеніе...

Тогда изъ-за гребня ближайшей лощины появился рыжебородый, нечесанный мужикъ и хриплымъ голосомъ предложилъ намъ немедленно положить на землю наши ружья и снять пояса съ патронными сумками, что мы и сдѣлали. Не всѣ положили охотно, но... вѣдь нельзя не повиноваться, особенно когда предложеніе рыжебородаго было тотчасъ-же строго поддержано приказаніемъ полковника, а вѣдь нашъ, ты знаешь,

шутить не любитъ... Когда мы освободились отъ лишней тяжести, намъ предложили немедленно-же повернуться налѣво кругомъ и отойти шаговъ на двѣсти подальше. Отчего не отойти,— отошли. Маневръ этотъ исполненъ былъ чисто, стройно, какъ будто наши бравые солдаты чувствовали себя не на войнѣ, не на кровавомъ полѣ сраженія, а на вульвичскомъ плацъпарадѣ.

Сейчасъ же промежутокъ между нами и нашимъ оружіемъ былъ занятъ нѣсколькими десятками буровъ... Я, признаться, въ первый разъ такъ близко видѣлъ врага и успѣлъ разсмотрѣть эту сволочь довольно обстоятельно; сбродъ! Тутъ и старики съ сгорбленными спинами, и даже совсѣмъ мальчишки, все это грязно, ободрано, представляетъ смѣшную толпу нищихъ или комическихъ бандитовъ, которыхъ—помнишь, мы видѣли въ Дрюриленскомъ театрѣ... Показались и конные. Одинъ изъ нихъ съ небольшою свитою, тоже штабомъ обзавелся, подъѣхалъ къ намъ совсѣмъ близко и просилъ господъ офицеровъ позволенія представиться... Отчего же нѣтъ. Отобравъ отъ насъ всѣхъ карточки, онъ сунулъ ихъ къ себѣ въ карманъ и предложилъ намъ дать ему честное слово, что по возвращеніи въ общій лагерь мы, до окончанія войны, не будемъ сражаться противъ войскъ союзныхъ республикъ.. ха-ха... какъ громко сказано!.. Подъ этимъ условіемъ онъ обѣщалъ намъ полную свободу... Лицемѣръ! Мы, конечно, дали охотно это слово, только одинъ мальчишка, сержантъ Дикъ крикнулъ: а я такого слова не дамъ и снова буду драться, если-бы только нами не командовали такіе трусы... Вотъ дерзкій поросенокъ! Нашъ полковникъ взглянулъ на него очень строго и сказалъ, что поговоритъ съ нимъ послѣ, а бурскій начальникъ улыбнулся, велѣлъ возвратить сержанту ружье и патронташъ и сказалъ, что охотно встрѣтится съ нимъ еще разъ на боевомъ полѣ, потому что его—именно одного его, отъ всякаго слова освобождаетъ.

Нашъ полковникъ замѣтилъ буру, что его поступокъ по меньшей мѣрѣ безтактенъ, ибо подрываетъ дисциплину, а тотъ даже не взглянулъ на насъ, повернулъ коня и шагомъ поѣхалъ на ближайшій бугоръ. Человѣкъ двадцать конныхъ охватили нашъ батальонъ, и намъ велѣно было немедленно двигаться обратно, объявивъ, что за жизнь отсталыхъ они не ручаются... Но представь себѣ, дорогая Клара, какую пизость сдѣлали эти мерзавцы: они не довольствовались только нашимъ оружіемъ и

патронами, они забрали весь обозъ и всѣхъ лошадей, не разбирая ни частной, ни казенной собственности, и даже верховыхъ лошадей офицеровъ, такъ что намъ пришлось обратный походъ дѣлать по апостольскому способу.

Вотъ тутъ и начались наши бѣдствія. Къ вечеру стало холодать; съ утра мы еще ничего не ѣли и не пили, а у насъ ни шинелей, ни продовольствія,—все осталось на повозкахъ, а повозки исчезли вмѣстѣ съ проклятыми бурами. Ночь наступила быстро. Пустыня населена волками, да и всякою другою хищною тварью; кто знаетъ, можетъ быть, и львы бродятъ по близости. Мы безоружны, кромѣ дерзкаго сержанта Дика, а тотъ идетъ далеко стороною, совсѣмъ взбунтовался и не подходитъ изъ боязни быть арестованнымъ, а какъ его арестуешь, когда тотъ съ ружьемъ и грозится, что откроетъ по насъ огонь. Говоритъ, что будетъ жаловаться самому главнокомандующему, а вѣдь онъ неправъ. Ты, милая Клара, можетъ быть, сама въ душѣ раздѣляешь его мнѣніе... Это на тебя будетъ похоже, но я тебѣ докажу — вѣдь ты не знаешь, не хочешь понять высшихъ соображеній, ты смотришь поверхностно, также какъ и глупый Дикъ. Хорошо. Слушай-же: мы попали подъ огонь буровъ, мы не могли знать, сколько ихъ, вѣдь это потомъ оказалось, что ихъ не было и двухсотъ человѣкъ противъ цѣлаго батальона королевской гвардіи. Ты знаешь, какіе стрѣлки эти полудикари? Продолжай они свой губительный огонь, нашъ батальонъ былъ-бы истребленъ, это случалось, и тогда Англія потеряла-бы не только нѣсколько сотъ ружей и боевого снаряженія, но и столько-же храбрыхъ своихъ защитниковъ. Ну, что такое составляетъ цѣнность этихъ ружей? Пустяки! Государство снабдитъ насъ новыми, еще, можетъ быть лучшими, и мы снова, какъ ни въ чемъ не бывало, готовы будемъ стать на стражу всякихъ британскихъ интересовъ, на стражу чести государства. А слово... Ну, можетъ-ли имѣть какое-нибудь значеніе слово, данное врагу, слово, очевидно, вынужденное? Вѣдь долженъ-же понимать этотъ косматый идіотъ, что англичанинъ повинуется только своимъ законамъ и властямъ. Вотъ это все и пришлось объяснять не только тебѣ письменно, но и нашъ полковникъ долженъ былъ разъяснить потомъ на походѣ солдатамъ, ибо дурной примѣръ Дика повліялъ дурно на людей, нашлись его сторонники, и дѣло

кончилось бы худо для командира и насъ, офицеровъ, еслибъ мы ихъ не убѣдили, наконецъ, что выгоднѣе остаться живыми и продолжать получать усиленное содержаніе, а подъ конецъ въ лавровомъ вѣнкѣ вернуться со славою на родину, чѣмъ валяться падалью въ пустынѣ, какъ тѣ, что были убиты на мѣстѣ роковой встрѣчи, о которыхъ мы въ суетахъ такъ и позабыли. Кстати я долженъ тебѣ сообщить, что находка покойнаго Брэкенъ, тотъ золотой хронометръ, теперь у меня. Вѣдь лейтенантъ упалъ какъ разъ къ моимъ ногамъ. и я не счелъ себя въ правѣ оставить такую цѣнную вещь въ рукахъ врага.

Наступила ночь. О, какъ долго тянулась эта проклятая ночь! Мы сидѣли кучами и боялись сомкнуть глаза... мы боялись идти, чтобы не наткнуться на какой-нибудь новый отрядъ буровъ.—Вѣдь въ темнотѣ они не могли бы разглядѣть нашего бѣлаго флага... да вдругъ бы открыли по насъ канонаду!..

А тутъ этотъ пронизывающій до костей холодъ и невыносимая рѣзь въ пустыхъ желудкахъ... Проклятая война!.. Я, право, нахожу, что правительство еще очень мало оплачиваетъ переживаемые нами рискъ и лишенія ..

Съ разсвѣтомъ мы тронулись далѣе... Не успѣли мы отойти милю отъ мѣста нашего печальнаго ночлега, какъ замѣтили признаки близости врага. Въ лощинѣ, у самаго ручья, пробиравшагося между камнями,—сидѣлъ буръ, въ широкой, нахлобученной чуть не по самыя плечи войлочной шляпѣ... А по близости щипала травку жалкая пѣгая кляченка... Кажется, онъ былъ одинъ, ибо мѣстность была открытая, и мы никого не замѣтили по близости... Первая мысль нашего полковника была немедленно атаковать.

Но, ты помнишь, мы вѣдь были безоружены, а у ногъ бура лежалъ карабинъ... Надо было дѣйствовать съ осторожностью... Врагъ словно не замѣчалъ нашего приближенія, но когда мы, переглянувшись, ринулись на него разомъ съ громкимъ крикомъ уррра!.. буръ попытался было вскочить на коня, но не могъ. Онъ только обернулся къ намъ лицомъ, схватилъ лѣвою рукою ружье, но ничего не могъ съ нимъ сдѣлать. Оказалось, что правая его рука была ранена, страшно распухла, кое-какъ была обернута грязными тряпками и засунута за перевязь патронной сумки. Лихой горнистъ нашъ Гроверъ храбро бросился на бура, отбросилъ ногою вражескій карабинъ

и схватилъ мужика за шиворотъ... Плѣнникъ былъ немедленно подвергнутъ допросу. Оказалось, что онъ раненъ уже дня три тому назадъ, пробирался къ себѣ домой... Ага! Значитъ, у него есть домъ, есть ферма гдѣ-нибудь въ этой сторонѣ. Примемъ къ свѣдѣнію.. Что идти съ нами пѣшкомъ не можетъ, очень, молъ, ослабѣлъ, но что если ему помогутъ сѣсть на свою лошадку, то попытается усидѣть въ сѣдлѣ и готовъ повиноваться нашему приказанію... Еще-бы! На лошадь его не посадили, этого нельзя было сдѣлать по многимъ причинамъ, главное уже потому, что нашъ полковникъ, по праву завладѣвъ непріятельскимъ конемъ, уже сидѣлъ на немъ, что было для него очень кстати. Полковникъ жаловался на свои мозоли и отекъ ногъ отъ непривычнаго пѣшего хожденія... Собственно говоря, слѣдовало-бы по справедливости пользоваться конемъ-призомъ по очереди, но дисциплина велитъ повиноваться даже несправедливости, если таковая исходитъ отъ начальства. Что намъ было дѣлать съ плѣнникомъ? Вотъ вопросъ. Попробуй-ка разрѣшить его своею собственною сантиментальною головкою. Ты, небось, скажешь, что надо его оставить на свободѣ, бросить, такъ сказать, гдѣ нашли, да и идти своею дорогою... Такъ-ли? Вѣдь и у насъ нашлись такіе, что тоже говорили, ссылаясь на то, что буръ больной, искалѣченный и, все равно, пропадетъ въ пустынѣ... Но вѣдь эти буры народъ живучій, да, кромѣ того, его могли-бы отыскать свои и спасти его, мало-ли всякаго сброда шляется въ окрестностяхъ, и тогда... тогда, милая моя, наивная Клара, произошло-бы слѣдующее. Скотина-бы выздоровѣла, поправилась и снова появилась-бы въ рядахъ нашего заклятаго, безчеловѣчнаго врага, новый карабинъ въ его окрѣпшихъ рукахъ заработалъ-бы снова и... сколько-бы честныхъ англійскихъ семействъ осиротѣли-бы и облеклись въ печальный трауръ... Такъ вотъ къ какимъ результатамъ привелъ-бы твоя неумѣстная сантиментальность: спасся-бы, да и то сомнительно, одинъ полудикій варваръ, а погибли бы десятки цивилизованныхъ людей, твоихъ-же соотечественниковъ... Какой молодецъ этотъ горнистъ Гроверъ! Онъ однимъ ударомъ приклада по головѣ бура уложилъ его на мѣстѣ... Когда мы отошли, я не утерпѣлъ и оглянулся; я увидѣлъ, какъ нашъ сигналистъ обшаривалъ карманы мертваго... Видя, съ какимъ хладнокровіемъ и спокойствіемъ продѣлывалъ онъ свою операцію, я просто изумился

этой силѣ воли и полному отсутствію нервности у браваго солдата... Но тутъ случилось странное обстоятельство.

Сержантъ Дикъ, все время державшійся въ сторонѣ, сложилъ руки у рта рупоромъ и заоралъ во все горло: подлецы!.. Это относилось, пойми ты, очевидно, также и къ намъ, офицерамъ... Такое оскорбленіе, да еще учиненное въ военное время, въ виду непріятеля, есть вопіющее нарушеніе дисциплины и должно быть наказанно смертью. Гроверъ понялъ это, и такъ какъ карабинъ бура былъ у него въ рукахъ, то онъ вскинулъ оружіе на прицѣлъ и готовъ былъ на мѣстѣ уложить дерзкаго преступника, но полковникъ Компенеръ остановилъ его и ласково, но строго сказалъ, что такой поступокъ будетъ уже сочтенъ не за *исполненіе долга*, а за *убійство*. Я нарочно подчеркнулъ тебѣ, дорогая Клара, эти два слова, чтобы ты могла понять, какъ трудно на войнѣ разобраться въ вопросахъ законности, долга и человѣколюбія... Вотъ изъ этой-то трудности и путаницы и вытекаютъ всѣ гнусныя нареканія въ иностранныхъ газетахъ, всѣ клеветы на нашу доблестную, самоотверженную, истинно дисциплированную британскую армію.

Страшно усталые, мы продолжали путь; общее уныніе охватило всѣхъ... Еще такой день безъ пищи, и мы погибнемъ... Какой варварскій планъ у буровъ—дать намъ свободу: конечно, имъ кормить и заботиться о плѣнныхъ невыгодно... Кровожадные каннибалы!..

Къ полудню мы увидѣли впереди густое облако пыли... Мы страшно были встревожены и поторопились принять мѣры предосторожности; всѣ, у кого только были носовые платки, принялись усиленно сигнализировать... Къ счастію, то были не буры, а отрядъ нашихъ драгунъ, высланный на всякій случай, намъ на поддержку...

Мы были спасены.

До свиданья, дорогая моя Клара, не забывай, пиши и молись обо мнѣ. Твой преданный Вили.

Вильямъ Поркъ, лейтенантъ.

Съ подлиннымъ вѣрно **Н. Каразинъ.**

ШИНЕЛЬ ДЬЯВОЛА,

Или какъ опасно быть неосновательно ревнивымъ.

(Истинное происшествіе).

А поѣздъ-то нашъ запаздываетъ порядочно!

На триста сороковой верстѣ свалился «товарный»: два вагона въ дребезги, завалило путь. Пока что, пока за домкратами ѣздили... ну, извѣстное дѣло—задержка часа на три съ половиною. Дотащились до перекрестной станціи, говорятъ: стоять надо полтора часа лишнихъ, потому что свою очередь пропустили, надо «экстренныхъ» пережидать, для возстановленія порядка движенія. Двинулись дальше въ путь, у себя что-то неисправно вышло, какія-то шайбы что-ли загорѣлись... Не везетъ «номеру тринадцатому» да и только!.. Не даромъ же поѣздъ чортово-дюжинный... И такъ все шло неладно, что набралось этого запозданія настолько, что прибыть поѣзду къ мѣсту назначенія слѣдовало въ шесть часовъ двадцать двѣ минуты вечеромъ, а въ дѣйствительности, дай Богъ, чтобы прибылъ въ четыре утра.

Окна полузамерзшія, ничего не видно, да и смотрѣть не на что, въ вагонѣ народу мало, да все какіе-то смутные пассажиры, угрюмые, не разговорчивые, не общительные, хотя и въ первомъ классѣ путешествуютъ. Газеты, какія только были, и политическія, и сатирическія съ каррикатурами, всѣ насквозь перечитаны... челюсти и виски разболѣлись отъ зѣвоты, и на языкѣ скверный осадокъ отъ буфетныхъ бутербродовъ съ дегтеобразной паюсной икрою... Скука отчаянная! И все это приходится терпѣть съ сознаніемъ восьми-часового запозданія... Конечно, всѣмъ пассажирамъ это непріятно, по крайней мѣрѣ, для этихъ, путешествующихъ въ первомъ классѣ. Во второмъ,

слѣдующемъ, тамъ пооживленнѣе, а потому и веселѣй: тамъ три юнкера со шпорами заняли купэ, а рядомъ съ ними, случайно, дѣвицы изъ труппы какого-то провинціальнаго театра, познакомились, поразговорились, имъ и весело. Заглядывали молодые люди и въ нашъ солидный скучающій вагонъ, да только мимоходомъ, потому что, какъ полагается, въ первыхъ классахъ мраморные, зеркальные умывальники, комфорта, значитъ, ради... Весь корридорчикъ, что тянется вдоль вагона, апельсинными корками засорили, ходить даже скользко, и Игнатій Ильичъ, почтенный, солидный пассажиръ, вышелъ было поразмять ноги, да плюнулъ съ досады и вернулся въ свое купэ, принялся было за давно прочитанную газету, швырнулъ скомканный листъ подъ диванъ, завернулся въ дорогой шотландскій пледъ и погрузился въ тяжелое раздумье...

И раздумье это было дѣйствительно не легкое.

Игнатію Ильичу уже подъ сорокъ, считай, значитъ, за пятьдесятъ перевалило, хотя онъ еще мужчина довольно свѣжій на видъ и женатъ всего четыре года. Общественное и служебное положеніе его основательное, жена молода и красива, и дама съ характеромъ, вышла замужъ двадцати пяти лѣтъ и его любитъ, ибо ревнуетъ, часто даже неосновательно, сама же относительно себя ревности не переноситъ и считаетъ проявленія этого чувства со стороны мужа оскорбительными, какъ бы выраженіемъ унизительнаго недовѣрія, а такъ какъ Елена Михайловна—это ея имя—по своему характеру и живому темпераменту любитъ пококетничать, то въ поводахъ къ ревности недостатка не бываетъ. Конечно, въ самыхъ неосновательныхъ поводахъ, но, тѣмъ не менѣе... И бѣдному Игнатію Ильичу очень трудно бываетъ иногда удержаться и не проявить недостойнаго чувства, хотя бы даже косымъ взглядомъ...

Случилось разъ какъ-то Еленѣ Михайловнѣ, въ обычные часы службы мужа, погулять по Гостиному. Взглянула она въ сторону и видитъ, ея Игнатій Ильичъ у часовни свѣчку ставитъ къ образу... Игнатій Ильичъ и не видалъ самъ своей супруги, и попалъ въ часовню мимоходомъ—въ банкъ, по служебному дѣлу, заходилъ напротивъ, домой вернулся въ свое время къ обѣду, а дома сцена, да какая!.. Жена не разговариваетъ, глаза заплаканы, выраженіе лица скорбное и убитое, аппетита никакого...

— Что съ тобою, моя милая?—сунулся было не на шутку встревоженный Игнатій Ильичъ.

Ничего не отвѣтила Елена Михайловна, порывисто встала, выпрямилась, окинула мужа черезъ плечо взглядомъ холоднаго презрѣнія, вышла изъ столовой и заперлась у себя, т. е. въ ихъ общей спальнѣ.

Бѣдный Игнатій Ильичъ даже вздрогнулъ, какъ она хлопнула дверью и звякнула дверною задвижкою.

Только къ вечернему чаю дѣло все разъяснилось: Елена Михайловна вообразила, что ея мужъ выслѣживалъ ее въ Гостиномъ, потому и ушелъ со службы несвоевременно, и ни за что не хотѣла вѣрить такой странной случайности.

— Меня подозрѣвать, меня ревновать! — кричала она на весь домъ.—За мною организовать цѣлое шпіонство!.. Да знаете ли вы, милостивый государь, гнусный Отелло, что только мужъ, самъ способный на всякія гадости, можетъ...

— Да убей меня Богъ! — плакался Игнатій Ильичъ. —Да пусть обойдутъ меня чиномъ, пускай со службы выгонятъ, если я хоть что-нибудь подобное подумалъ... Я такъ глубоко тебѣ вѣрю, ты моя святая, непорочная... Кажется, вотъ если бы своими собственными глазами видѣлъ, такъ не повѣрилъ бы...

Долго утѣшалъ и успокаивалъ свою супругу невинно заподозрѣнный въ ревности супругъ и, наконецъ, добился-таки, что Елена Михайловна улыбнулась, протянула ему пухлую, душистую ручку, и такъ какъ, прокапризничавъ обѣдъ, была очень голодна, то предложила Игнатію Ильичу везти ее ужинать въ модный ресторанъ, гдѣ черномазые румыны, въ шитыхъ курткахъ и бѣломъ исподнемъ, играютъ на какихъ-то странныхъ инструментахъ.

Вообще же Елена Михайловна была супруга добрая, преданная, мужу своему въ ласкахъ не отказывающая, кофе варила по утрамъ самолично и даже прочитывала въ слухъ политическія телеграммы изъ утреннихъ газетъ, чтобы кофе не простылъ... Публикаціи же о покойникахъ она особенно внимательно проглядывала, и если что встрѣчалось касающееся ихъ общихъ знакомыхъ, докладывала въ слухъ, добавляя всегда:

— Вотъ вѣдь, кто бы могъ ожидать!

Вообще же, несмотря на нѣкоторую разность въ возрастѣ, ихъ супружеская жизнь протекала тихо и пріятно, еслибъ

только не мнимая подозрительность мужа, подозрительность, которая, замѣтьте, въ дѣйствительности только подозрѣвалась, не родила бы частыя бурныя сцены, оканчивающіяся, слава Богу, всегда пріятнымъ примиреніемъ.

— Помни всегда, — говорила, успокаиваясь послѣ сцены, супруга. — Я, какъ жена цезаря, внѣ подозрѣній, внѣ грѣха, а потому никакого проявленія ревности не перенесу... Такъ и знай!..

Игнатій Ильичъ это зналъ и тщательно избѣгалъ всего, что бы могло поставить его въ сомнительное положеніе... Онъ тщательно взвѣшивалъ и обдумывалъ каждое свое слово и даже, когда находилъ въ гостиной окурокъ чужой папиросы, никогда не спрашивалъ:

— Кто это былъ у тебя, мой ангелъ?

Да и не зачѣмъ было спрашивать, потому что Елена Михайловна, замѣтивъ нѣсколько любопытный взглядъ мужа на пепельницу, язвительно улыбалась и предупреждала вопросъ докладомъ:

— Приходилъ ко мнѣ Николай Петровичъ. Онъ очень жалѣлъ, что не засталъ тебя дома...

Такъ вотъ, принимая все вышесказанное во вниманіе, какъ было не задуматься бѣдному Игнатію Ильичу въ его настоящемъ положеніи.

Во-первыхъ, ему слѣдовало вернуться домой цѣлыми тремя сутками позже; такъ было предположено и сообщено супругѣ при отъѣздѣ; счастливая случайность, правильнѣе, цѣлый рядъ удачъ сократилъ путешествіе на три дня, дѣла всѣ были улажены скорѣе, чѣмъ предполагалось, и Игнатій Ильичъ могъ обрадовать свою дорогую, любящую супругу неожиданнымъ пріѣздомъ, но вотъ въ этой-то неожиданности и таилась семейная бѣда, будущая семейная буря... Поѣздъ опоздалъ... Пріѣздъ состоится глубокою ночью; какъ разъ все складывалось именно такъ, какъ выгодно было бы ревнивымъ мужьямъ, но развѣ же это могло относиться къ кроткому Игнатію Ильичу, могла-ли быть примѣнима такая неожиданная ночная ревизія къ «супругѣ цезаря?.» И какъ это онъ не догадался телеграфировать о пріѣздѣ за сутки раньше, телеграфировать во время всего пути: вотъ, молъ, ѣду, вотъ, молъ, проѣхалъ благополучно станцію «Вылезайка», вотъ подъѣзжаемъ къ станціи «Выпи-

вайка» и такъ далѣе... Жена была бы рада, съ удовольствіемъ бы слѣдила за приближеніемъ мига трогательной встрѣчи, и въ ея головку съ золотистыми завитками на лбу, въ эту милую, дорогую головку не могла бы заскочить хоть искорка сомнѣнія въ нежеланіи ея мужа накрыть ее на мѣстѣ преступленія... Какъ было бы хорошо, если бы Игнатій Ильичъ догадался періодически телеграфировать, но теперь, когда догадался, было уже поздно, и злополучный поѣздъ хоть и черепашьимъ ходомъ, однако, все подвигался и подвигался къ конечной станціи...

— Развѣ поѣхать прямо въ гостиницу, а домой уже когда минетъ ночь, при полномъ свѣтѣ дня или, еще лучше, прожить инкогнито въ гостиницѣ до дня и часа законно предположеннаго прибытія, и тогда, съ восторгомъ, пряничными стерлядками-гостинцами и съ чемоданами вернуться домой, ровно въ шесть часовъ вечера, прямо къ домашнему супу съ клецками, цыплятамъ подъ бѣлымъ соусомъ и тетерькѣ съ грибною подливкою, любимымъ блюдамъ хозяйки, а что ласковая, привѣтливая хозяйка непремѣнно къ жданному обѣду велитъ приготовить эти любимыя блюда, Игнатій Ильичъ, конечно, не сомнѣвался.

Но едва только этотъ планъ началъ созрѣвать въ головѣ нашего путешественника, какъ его кинуло сразу и въ жаръ, и въ холодъ... Боже мой! Что бы могло потомъ случиться... Вѣдь истина можетъ открыться, Елена Михайловна могла узнать, что цѣлыхъ трое сутокъ ея мужъ тайно проживалъ въ одномъ съ нею городѣ, съ какою цѣлью? . Конечно, чтобы за ней слѣдить, выслѣдить, наконецъ, и поймать, и что весь этотъ низкій, коварный планъ, достойный какого-нибудь подлаго сыщика и шпіона, не привелъ къ искомому концу только потому, что чиста и непорочна божественная Елена Михайловна, и горе ея низкому ревнивому мужу, недостойному послѣ такой гадости даже прикоснуться къ подолу одеждъ «жены цезаря»...

А поѣздъ все-таки подходитъ и подходитъ и, наконецъ, засвисталъ пронзительно и протяжно, потомъ гукнулъ отрывистымъ тяжелымъ дыханіемъ, зашипѣлъ и сталъ, послѣдовательно натыкаясь буферами другъ на друга, по-вагонно. Это была послѣдняя станція прибытія. Игнатій Ильичъ молча указалъ носильщикамъ свой багажъ на сѣткахъ купэ, застегнулся на всѣ пуговицы, поднялъ мѣховой воротникъ и, покорный

судьбѣ, вышелъ на платформу... Холоднымъ воздухомъ пахнуло эму въ лицо. Не торгуясь, усѣлся онъ на поданнаго извозчика и велѣлъ ѣхать... куда?.. Конечно, куда же, какъ не домой... Онъ хотѣлъ обдумать дорогою всѣ мелочи предстоящей встрѣчи, предвидѣть напередъ всѣ подробности неожиданной ночной тревоги.

«Главное,—думалъ Игнатій Ильичъ,—это какъ и съ чего начать... Начать этакъ весело, радостно и даже беззаботнымъ тономъ: а вотъ и я! Ну, что—не ожидала?.. Или въ этакомъ родѣ: представь, моя дорогая, цѣлый рядъ счастливыхъ случайностей... это, вѣроятно, ты за меня молилась... Нѣтъ, не такъ, совсѣмъ въ другомъ родѣ: проклятый поѣздъ запоздалъ, дорогою разныя катастрофы... Она сейчасъ тревожно: ахъ, Боже мой! Что случилось?.. Ахъ, раскажи, не томи... А Игнатій Ильичъ поцѣлуетъ ее и успокоитъ, что это не съ ихъ поѣздомъ, что у нихъ все благополучно, только это несносное запозданіе... и самъ вотъ всю ночь промучился въ душномъ вагонѣ, и вотъ ее, дорогую, милую Леночку, потревожилъ... Ну, а тамъ и пойдетъ, какъ по маслу: чаю съ дороги, отъ котораго, конечно, онъ откажется, чтобъ не увеличивать безпокойства ночной тревоги, скорѣе въ постель, а тамъ уже все сгладится... подозрительность уляжется, время выиграно... А вдругъ какъ она сразу...

«Это что такое? Что, съ носомъ? Накрыли?.. Ахъ, вы, неисправимый Отелло-мерзавецъ!.. Да вы и все путешествіе придумали съ этою гнусною цѣлью!..»

Ну, тогда бѣда! Сутокъ на трое, а то и на всю недѣлю... Тогда вотъ клянись, увѣряй, что все это простая случайность... О, Боже мой, пронеси и помилуй! Налѣво, къ подъѣзду!..

Пріѣхали.

Фонари уже тушатъ, дворникъ шаркаетъ скребкомъ по заледенѣлой панелѣ, увидалъ «своего» жильца, шапку снялъ и неистово теребитъ ручку звонка въ «парадной». Тамъ огонь засвѣтился, и въ стеклахъ мелькаетъ фигура швейцара съ лампочкою въ рукахъ..

Сталъ Игнатій Ильичъ подниматься по лѣстницѣ, а самъ нащупываетъ у себя на цѣпочкѣ «свой» ключъ отъ входной двери.

«Войду,—думаетъ,—тихонько, чтобы никого не будить, не

тревожить, пройду въ кабинетъ и лягу на диванѣ... Вотъ бѣда-то!»

«Свой» ключъ дверь отворилъ, а трусиха Дуня — горничная цѣпь накинула, ключъ-то свой безполезенъ, все равно, звонить надо. Казалось, что чуть-чуть тронулъ Игнатій Ильичъ пуговку звонка, а вѣдь въ ночной тишинѣ всѣ звуки усиливаются, зазвонило такъ, что по всей квартирѣ раздалось... Ай-ай-ай... Тихо, однако, никто не проснулся. Нащупалъ пріѣзжій спички въ карманѣ шубы, чиркнулъ и просунулъ руку въ щель пріоткрытой двери... Вотъ видно кресло, на которое дамы садятся, когда имъ сапоги снимаютъ, вотъ фаянсовый, на манеръ японскаго, цилиндръ для зонтиковъ и палокъ, вотъ часть вѣшалки... Спичка не догорѣвъ, выпала изъ рукъ Игнатія Ильича, холодный потъ проступилъ на лбу, подъ ложечку подкатило, даже тошнить начало... Голова закружилась, и онъ чуть не лишился сознанія.

Онъ видѣлъ ясно, отчетливо, на этой вѣшалкѣ военную шинель съ золотыми пуговицами... Онъ сталъ отчаянно тыкать пальцемъ въ кнопку, не попадая, куда слѣдуетъ... Послышались торопливые босые шаги.

— Господи, Боже мой! Кто же это? Ахъ, это вы, баринъ! Да не тяните дверь, цѣпку снять нельзя! Да пустите!.. Вотъ, видите, лампу потушили... Барыня нездорова... сію минуту... вотъ сейчасъ... Да не тяните же дверь къ себѣ, имѣйте терпѣніе... ну, вотъ!

Дверь, наконецъ, отворилась, лампа вновь зажжена. Игнатій Ильичъ ворвался, какъ бомба, и прямо къ вѣшалкѣ.

— Это что?.. Это почему?..

Хорошенькая горничная Дуня, стыдливо пряча подъ платокъ свое декольте, придерживая рукою сваливающуюся юбку, смотрѣла на барина вытаращенными глазами, очевидно, не понимая, въ чемъ дѣло. Никакой шинели на вѣшалкѣ не было.

— Куда она дѣлась?.. Чья это?.. Кто это здѣсь?..

— Да что вы, баринъ! Да Господь съ вами! Что вамъ померещилось, право?

Игнатій Ильичъ оттолкнулъ съ дороги Дуню и рѣшительными шагами направился къ спальнѣ, а Дуня, на-скоро, тревожно задыхаясь, докладывала ему на ходу:

— Ахъ, не ходите!.. Ахъ, да не безпокойте!.. Барыня

очень больна, доктора даже звали. Мигрень страшенный! Опять нервы расходились. Лихорадило очень и все сердцебіеніе... Только съ часъ какъ заснула... Докторъ говоритъ, что въ покоѣ только и спасеніе... чтобы отнюдь не потревожили бы... Ради Бога, миленькій баринъ... Да что, право, съ вами?

— Чья шинель?—прохрипѣлъ Игнатій Ильичъ, уже дойдя до половины гостинной.

— Баринъ, да что же вы, въ самомъ дѣлѣ... Какая шинель? Да я васъ не пущу... Да вы, баринъ, не того-ли?..

Разсвирѣпѣвшій Отелло уже былъ около двери роковой комнаты, распахнулъ двери и...

Маленькій ночникъ горѣлъ розовымъ свѣтомъ, озаряя всю уютную, комфортабельную спальню. Елена Михайловна лежала на кровати лицемъ къ стѣнѣ и спала, какъ спятъ самые невинные младенцы... Шумъ внезапнаго наѣзда ее, очевидно, не разбудилъ... Слава Богу! Кроткая прелесть ея полуоголенныхъ ручекъ, ея мягко округленныхъ плечъ, ея ровное дыханіе, съ легкимъ прихрапываніемъ, все это успокоительно подѣйствовало на нервы Игнатія Ильича. Моментъ порывистаго пыла ревности сталъ утихать, а тутъ ласковый, вкрадчивый шопотъ Дуни надъ самымъ его ухомъ, и въ этомъ шопотѣ можно разобрать:

— Баринъ, миленькій баринъ... Какая это глупая шинель вамъ померещилась? Вѣдь вотъ, право, дьявольское навожденіе!.. Не тревожьте барыню! Я вамъ въ кабинетѣ постелю, выспитесь покойно съ дороги, чай, устали, бѣдненькій, а тамъ завтра барыня, дастъ Богъ, проснется здоровенькой—я имъ не скажу сначала, что вы пріѣхамши, а тамъ будетъ пріятный сюрпризъ къ утреннему кофею...

И не замѣтилъ укрощенный Игнатій Ильичъ, какъ это онъ очутился въ кабинетѣ, какъ его разоблачили, какъ его прикрыли по горло мягкимъ пледомъ и пожелали покойной ночи... Онъ даже не замѣтилъ, какъ это онъ быстро, сразу заснулъ, и въ головѣ его неясно мелькало: шинель, глупая шинель... чертовщина какая-то!.. И почему шинель? Пригрезится-же подобная мерзость!.. О, Господи!..

Долго-ли спалъ Игнатій Ильичъ, трудно опредѣлить, думаю, что не долго. Онъ проснулся внезапно отъ мучительнаго укола въ сердце. Онъ вскочилъ, спустилъ на коверъ ноги, откинулся къ спинкѣ ковроваго дивана и сталъ думать.

Большая ошибка! Ну, какъ можно въ такихъ случаяхъ давать волю пытливому раздумью!..

Эта проклятая шинель слишкомъ реально представлялась его глазамъ. Вотъ даже пуговица одна почти оторвана, еле держится на одной ниткѣ, сейчасъ потеряется... Спичка у него была восковая, горѣла ровно и ярко; она даже на полу горѣла, когда онъ ее уронилъ... Затѣмъ дверь захлопнули... У Дуни лампа потухла... Знаемъ мы, почему она такъ кстати потухла!.. Почему лукавая наперсница такъ долго возилась... Надо время выиграть, очевидно!.. Потомъ его впустили, шинели не было... Еще бы... она улетѣла вмѣстѣ съ тѣмъ, на чьи плечи она попала... Онъ даже припоминаетъ теперь, что очень ясно слышалъ отдаленный стукъ черной лѣстницы, что даже сквознячкомъ потянуло по длинному корридору, именно съ этой черной лѣстницы, по корридорамъ вѣдь всегда тянетъ... Запахъ кухни тоже всегда по корридору... такъ... Потомъ, жена больна, она спитъ и ничего не слышитъ, а вѣдь онъ шумѣлъ... Гм!.. И какъ это странно спитъ его Елена Михайловна... Вѣдь онъ хорошо знаетъ ея ночныя привычки: вопервыхъ, всѣ волосы гладко зачесаны, забраны въ чепецъ, и сзади завязанъ этотъ чепецъ тесемкою, на лбу четыре бумажныхъ папильотки, кофта глухо закрытая, подъ душу — какъ называется, длинные рукава и никакого намека на декольте... А тутъ, на этотъ разъ, какъ на картинѣ, полное обнаженіе, и «золотыя волны роскошныхъ волосъ раскинулись змѣями на бѣлоснѣжномъ фонѣ батиста». Игнатій Ильичъ припомнилъ такое поэтическое описаніе въ одной повѣсти, прочитанной имъ между какихъ то станцій на пути... Подозрительно!..

Тоскливое сомнѣніе съ невыносимой болью сжало сердце бѣднаго, не во время вернувшагося супруга... Онъ всталъ на ноги... Какая глупая мода нагораживать мебель посрединѣ комнатъ... Чуть не свалилъ эту неумѣстную тумбу!.. Дверь спальни осталась не притворенной, и оттуда узкая полоса свѣта тянулась по коврамъ, черезъ обѣ комнаты... Жена его спитъ и уже теперь по законному, супружескому положенію, даже папильотки на своемъ мѣстѣ... Когда же это она успѣла перекостюмироваться? Что же, и это ему померещилось? О, Боже милосердый, дай ты мнѣ познать истину!..

Босякомъ, Дуня не догадалась поставить ему туфли, въ одной рубашкѣ, онъ забылъ накинуть на плечи хотя бы свой пледъ, Игнатій Ильичъ направился по корридору, выставивъ впередъ руки, чтобы не наткнуться въ потемкахъ на шкапы и углы сундуковъ. Онъ двигался осторожно и нащупалъ, наконецъ, дверь Дуниной комнаты. Здѣсь не было розоваго фонаря, и дѣвушка, испуганная неожиданнымъ прикосновеніемъ чьихъ-то рукъ, вскочила и хотѣла было уже заорать караулъ, но во время узнала барскій голосъ и вся сжалась подъ одѣяломъ, вообразивъ себѣ, должно быть, что-нибудь недоброе...

— Дуня, милая, хорошая, добрая Дуня,—шепталъ ей на ухо Игнатій Ильичъ.—Не бойся... скажи мнѣ всю правду... Я тебя озолочу, я подарю тебѣ десять рублей... ну, двадцать, ну, пятьдесятъ... Скажи мнѣ, милая, признайся...

— Да что вы, да что, вы право... Уйдите же, ради Бога!

— Скажи мнѣ все... я...

— Вотъ кухарка проснется, услышитъ, что подумаетъ. Да полноте, баринъ, голубчикъ Игнатій Ильичъ...

— Шинель, эта чортова шинель! Кто былъ, скажи мнѣ, кто былъ у барыни? Скажи, не бойся!.. Скажи...

— Ахъ, какой вы, право... говорятъ вамъ, никого не было... На нашу барыню, да такую мораль! Это даже удивительно!

— Радужную не пожалѣю!—шепталъ Игнатій Ильичъ.— Признайся, ради Создателя!

— Уйдите!.. Барыня!..

Комната ярко освѣтилась, въ дверяхъ стояла Елена Михайловна, въ бѣломъ пеньюарѣ, съ лампою въ рукѣ, но эта лампа занимала только лѣвую руку, правая была свободна, и бѣдный Игнатій Ильичъ почувствовалъ на своей щекѣ такую пощечину, что въ глазахъ у него стало зелено, а въ ушахъ пошли перезвоны, какъ въ великій праздникъ на колокольнѣ.

— Лена!—вскрикнулъ бѣдный супругъ.

— Мерзавецъ!—холодно, сквозь зубы, произнесла Елена Михайловна и, поднявъ высоко освѣщающую путь лампу, гордою, полною величественной граціи походкою, направилась обратно, въ господскія комнаты.

Игнатій Ильичъ, еще разъ, уже во все горло, не боясь

теперь никого будить и тревожить даже кухарку Анисью, закричалъ:

— Лена, выслушай!

Онъ рванулся за нею, но чья-то грубая рука коснулась плеча, и сиплый голосъ надъ самымъ его ухомъ произнесъ.

— Извольте выходить. Станція прибытія!

Передъ самымъ носомъ Игнатія Ильича стоялъ кондукторъ, а въ вагонѣ, въ облакахъ морознаго пара, врывались суетливые люди въ полушубкахъ и холщевыхъ фартукахъ, накидываясь съ остервенѣніемъ на багажъ пассажировъ.

Поѣздъ прибылъ только на разсвѣтѣ.

ПОДЪ «БѢЛЫМЪ СЛОНОМЪ».

(Не одинъ, а нѣсколько страшныхъ разсказовъ).

И на этотъ разъ, нашъ дружескій кружокъ собрался, по обыкновенію, въ угловомъ залѣ «Бѣлаго Слона», у ярко пылающаго камина.

Часовая стрѣлка двигалась между одиннадцатью и полуночью; въ воздухѣ, пропитанномъ запахомъ настоящаго мюнхенскаго пива и характернымъ ароматомъ горячаго рома и цедры, колыхались слои табачнаго дыма, и баронъ, извѣстный всему свѣту, конечно, баронъ Гамель - Поркъ разсказалъ уже свои четыре пикантныхъ анекдота...

Эти анекдоты были замѣчательны тѣмъ, что баронъ ихъ разсказывалъ каждый вечеръ и въ одномъ и томъ же порядкѣ—и очень сердился, когда слушатели не выражали особеннаго вниманія...

Бесѣда слабо клеилась на этотъ разъ, и въ каминной трубѣ слышалось унылое завываніе. А, между прочимъ, общество было избранное, все головы интеллигентныя и содержательныя, большею частью представители интелектуальныхъ профессій—былъ, напримѣръ, трагикъ Громобоевъ, два комика—Саша и Паша, только что вернувшійся изъ заграницы знаменитый художникъ Хлестаковскій, извѣстный злобный критикъ Ядовитовъ, «благородный отецъ» — Патроновъ — и многіе другіе,—даже докторъ Брехъ, спеціально, въ данное время, занимающійся месмеризмомъ... Былъ еще отставной полковникъ Зуботычинъ, крайній либералъ и даже тайный массонъ, въ чемъ онъ открывался всѣмъ и каждому, но подъ строжайшимъ секретомъ.

И вотъ, чтобы нѣсколько оживить бесѣду, дать, такъ ска-

зать, оборотъ мыслямъ, вызвать энергію соревнованія, трагику Громобоеву пришла идея:

— А знаете что, господа? Сегодня канунъ Великаго праздника. Ночь—полная чудесъ, ночь, дорогая намъ по воспоминаніямъ дѣтства, ночь, невольно вызывающая давно пережитое, чудные образы... Вызовемъ же ихъ вновь, и пусть каждый, по очереди, разскажетъ намъ что-нибудь, непремѣнно занимательно страшное и непремѣнно при семъ—искреннюю правду!

— Прекрасно!.. Я начинаю!—вскочилъ Хлестаковскій.

— По жребію!—остановилъ его Громобоевъ...

Предложеніе было принято довольно дружно—жребій прометанъ,—первымъ оказался либералъ, полковникъ Зуботычинъ.

Онъ сдѣлалъ видъ какъ-бы захваченнаго врасплохъ, усиленно потеръ себѣ лобъ, поправилъ большимъ пальцемъ галстухъ и произнесъ:

— Такъ-то-съ!..

— Такъ, батюшко, такъ!—подтвердили радостно, улыбаясь комики Паша и Саша...

— Случилось это со мною въ Испаніи, гм!.. Здѣсь... въ дружескомъ кружкѣ, я могу, конечно, сознаться... открыть вамъ великую тайну: я принадлежу къ седьмой ложѣ вольныхъ каменщиковъ — я масонъ, и ради Бога, господа, чтобы это осталось между нами...

— Ну, конечно...—отозвалось разомъ нѣсколько голосовъ.

— Въ Испаніи,—продолжалъ разсказчикъ,—со мною случались удивительныя вещи, и если все разсказывать, такъ на это не хватитъ цѣлой жизни, а то, о чемъ я, собственно, хочу вамъ сообщить, заключалось въ слѣдующемъ:—на паперти собора, въ Севильѣ, ко мнѣ подошелъ монахъ, съ лицомъ, закрытымъ сѣрымъ капюшономъ. Онъ сунулъ мнѣ въ руку маленькій конвертъ и голосомъ, словно изъ глубины гроба проговорилъ:

— Прочти и помни брата Антоніо!

— Не успѣлъ я вглядѣться въ эту сухую, высокую фигуру, какъ монахъ словно провалился сквозь плиты собора, и я медленно, но рукою твердою распечаталъ конвертъ... Взглянулъ, и даже холодный потъ выступилъ у меня подъ сомбреро... Великій Боже! Печать самого Розенкрейцера!.. Читаю:

«Немедленно вернуться въ Петербургъ — А×Б+Х—У...»

Вы меня извините, господа, но тайны этой формулы я вамъ открыть не имѣю права...

— Этотъ приказъ повергъ меня въ полное уныніе, даже отчаяніе. Тѣмъ болѣе, что сегодня ночью мнѣ предстояло достойно увѣнчать мой романъ съ Пахитой, прелестнымъ созданіемъ, послужившимъ оригиналомъ для Карменъ, — утромъ рано—скрестить шпаги съ дономъ Алонзо и дономъ Навахомъ... которые имѣли-бы право считать меня презрѣннымъ трусомъ, если-бы я не явился на мѣсто поединка... но вѣдь въ письмѣ значилось, *немедленно*, — и я, въ силу клятвы и вѣрности, долженъ былъ пренебречь всѣмъ и отправиться по назначенію *немедленно*... Къ закату слѣдующаго дня я уже былъ по ту сторону Пиренеевъ, а черезъ три дня поѣздъ подвозилъ меня къ русской границѣ... Но тутъ явилось важное препятствіе, я узналъ, что вся граница занята сплошь жандармами, подстерегавшими именно мой проѣздъ. Они должны были меня схватить, заковать и везти—по меньшей мѣрѣ въ тартарары— а никакъ не подъ литеры А×Б+У — надо было, во что-бы то ни стало, миновать это препятствіе... Но у меня были друзья... Они у насъ — разсѣяны повсюду и мигомъ являются на помощь, по первому призыву... И вотъ, что мы придумали.

— На томъ-же поѣздѣ—въ отдѣльномъ вагонѣ—провозили гробъ съ покойникомъ, какимъ-то даже особенно важнымъ.. я теперь забылъ его фамилію... Такъ вотъ—на полномъ ходу поѣзда—подкупивъ, конечно,—багажную прислугу, гробъ былъ вскрытъ, трупъ, раздѣленный на куски, уложенъ въ маленькіе ящики и чемоданъ и разобранъ по рукамъ, а меня, снабдивъ при этомъ бутылкою добраго хереса, бисквитами и баночкою съ бульономъ Либиха, уложили на мѣсто покойника... Ящикъ былъ задѣланъ... и сдѣлано, впрочемъ, незамѣтное отверстіе для дыханія, печати всѣ возобновлены, и я благополучно миновалъ сторожевую цѣпь одураченныхъ алгвазиловъ... Все шло хорошо, и я пока чувствовалъ себя не дурно... Мы условились, что три удара въ крышку ящика,—съ равномѣрными промежутками, должны предварить меня о часѣ полнаго освобожденія... это должно было совершиться, самое позднее, черезъ двое сутокъ...

— Я все слышалъ, нѣсколько глухо, но слышалъ. Я только ничего не могъ видѣть кромѣ узенькаго свѣтлого пят-

нышка — отъ грязнаго стеклышка, вдѣланнаго въ крышку ящика. Но все-таки я могъ слѣдить за всѣмъ, что со мною продѣлываютъ... — Вотъ привезли... вотъ плавное колыханіе на рукахъ *друзей*, *родныхъ* и *близкихъ*, которыхъ я и въ глаза-то никогда не видывалъ...—вотъ мирное, унылое пѣніе, глухія,—задыхающіяся рыданія и легкій трескъ ящика подъ тяжестью навалившаго на него скорбнаго тѣла... Вотъ мертвая тишина, долгая тишина, съ еле слышнымъ, точно издали доносящимся—непонятнымъ бормотаніемъ...

— Я глубоко вѣрилъ въ бдительность друзей и терпѣливо ждалъ желанныхъ трехъ ударовъ.. Но вотъ—снова пѣніе громче, гулъ многочисленныхъ голосовъ... меня опять несутъ... затѣмъ опять везутъ, я слышу грохотъ проѣзжающихъ мимо экипажей, крикъ кучеровъ...

— Боже великій... Вѣдь это меня уже окончательно хоронятъ...

Холодный потъ покрылъ мой черепъ, смертельная тоска сжала сердце, какъ клещами... Я хотѣлъ уже крикнуть, начать колотить руками въ крышку гроба, но съ каждою секундою терялъ сознаніе...

Я задыхался... Оказалось, что проклятый гробовщикъ замѣтилъ какъ-то дырку около дна ящика—и успѣлъ тщательно замазать ее какою-то дрянью.

— Да—господа... не дай Богъ никому никогда—пережить что-либо подобное!..

Разсказчикъ остановился, тяжело дыша и вытирая лобъ салфеткою.

— Но вы, слава Богу, живы... Здѣсь между нами... значитъ, все кончилось благополучно?—не безъ ехидства замѣтилъ критикъ Ядовитовъ...

— Какъ видите! слегка поклонился въ его сторону Зуботычинъ...—Я очнулся на рукахъ друзей... Холодное звѣздное небо сверкало надъ моею головою, а подъ моими ногами зіяла свѣжеразрытая могила!

— Браво!—гаркнулъ трагикъ.

— Удивительно!—протянулъ комикъ.

— Здорово!—изрекъ благородный отецъ...

— Не совсѣмъ правдоподобно!.. — усумнился Хлестаковскій.—А, впрочемъ, бываетъ... Со мною, напримѣръ!..

Но такъ какъ разсказывать была очередь Громобоева, то его попросили подождать.

— Скажите, пожалуста—улыбаясь двусмысленно, заговорилъ Ядовитовъ...—какъ согласить ваши либеральные взгляды и даже самое дѣйствіе съ вашимъ почтеннымъ мундиромъ, хотя и отставнымъ, и вашимъ, не менѣе почетнымъ, званіемъ?..

— Какъ мундиръ, такъ и званіе—не менѣе двусмысленно улыбаясь, отпарировалъ полковникъ,—вполнѣ соотвѣтствуютъ моимъ документамъ на право жительства въ столицахъ и на выѣздъ изъ оныхъ, но документы и самая личность далеко не одно и то-же...

— Виноватъ!—преклонился критикъ, и, вспомнивъ, что, по своей профессіи, онъ тоже долженъ быть либераломъ, даже сконфузился за свою неумѣстную пытливость.

— Очередь за мною!—пробасилъ Громобоевъ, и всѣ стихли.

— Въ городѣ Верхнегорскѣ всѣ углы улицъ увѣшаны были афишами о моемъ бенефисѣ... Я ставилъ тогда Отелло—моя коронная роль!.. Сборъ полный! Дездемону играла извѣстная Румянова, по таланту вторая Рашель, по красотѣ—Лукреція.. Я любилъ ее всѣми фибрами моего сердца, всею силою моей души, и, бывало, что моя любовь, по временамъ, встрѣчала съ ея стороны полное сочувствіе... Но я былъ ревнивъ, какъ стая тигровъ а она, коварная сирена, не скупилась на поводы къ моей ревности и хо-хо-тала въ тѣ страшныя мгновенья, когда я рыдалъ, припавъ, какъ собака, къ ея чуднымъ ножкамъ...

— Сборъ, натурально, полный... Лавровыми вѣнками и корзинами были уставлены всѣ свободныя мѣста въ оркестрѣ. Мнѣ въ первомъ же антрактѣ поднесенъ былъ серебряный самоваръ съ надписью: Великому Кину, Громобоеву, отъ благодарнаго купечества,—Румяновой букетъ и дюжина дессертныхъ ложечекъ... Все ликовало!..

— Уже въ сценѣ съ платкомъ я замѣтилъ коварные взгляды Дездемоны въ сторону литерной ложи, гдѣ сидѣли два офицера, и я сверкнулъ глазами такъ, что не только въ райкѣ, но даже въ партерѣ послышалось ободряющее:

— Браво!..

Въ предпослѣднемъ антрактѣ я попытался заглянуть въ уборную Румяновой—меня не пустили, а между тѣмъ я слы-

шалъ ясно тамъ мужскіе голоса, звонъ шпоръ и сочный поцѣлуй... Въ рукомойникѣ плескала вода, значитъ, дивное тѣло моей богини было полуобнажено, а тамъ... тамъ—эти бездушные—пустые сыны Марса!.. Жалкая тварь, бездушная кокетка, душа демона въ тѣлѣ кроткаго ангела!..

Я метался по сценѣ, измѣряя ее по діагонали большими шагами, сбивая съ ногъ суетящихся плотниковъ, мѣшая имъ мѣнять декораціи.

— Вы, батенька, успокойтесь!—уговаривалъ меня режиссеръ...—Чудесно идетъ, превосходно! Только знаете, милочка, не переигрывайте!..—Особенно въ послѣдней картинѣ... Не переигрывайте...

— Несчастный... если на сценѣ меня, Громобоева, поразитъ нервный ударъ — я могу *не доиграть,* но *переиграть* — никогда ..

— Первый звонокъ... Вижу—бѣжитъ черезъ сцену Марфушка, горничная Румяновой—тащитъ ея шубу и капоръ...

— Куда?—спрашиваю—Зачѣмъ?

«А она:

— Барыня послѣ кіатру—за городъ, съ господами ужинать поѣдутъ, такъ за теплою одежею присылали...

«А, надо сказать, я здѣсь же въ театрѣ заказалъ кухмистеру Алхозову великолѣпный ужинъ, и предсѣдательствовать на томъ пиршествѣ обѣщала моя Дездемона... и вдругъ такой афронтъ—такой позоръ!..

«Занавѣсъ поднялась... Мы оба на сценѣ — я успѣлъ ей шепнуть въ минуту чтенія указа отъ совѣта десяти:

— Вы дали слово—вы никуда изъ театра не поѣдете...

А она:

— Нѣтъ поѣду... а на слово мнѣ наплевать!—Сама дала, сама и взяла...

— Это подло!—говорю я сильно, тиская ей руку.

А она:

— Пусти, дуракъ!—Закричу и сдѣлаю скандалъ...

«Смотрю за кулисы, а тамъ режиссеръ замѣтилъ нашу перебранку,—стоитъ, весь блѣдный, и руками мнѣ какіе то знаки дѣлаетъ...

«Кое какъ сдержался,—доигралъ... но съ какимъ огнемъ, съ какимъ подавляющимъ «бріо»... подошелъ послѣдній актъ.

Меня пробовали зельтерской водою отпаивать, а Румянова — не хотѣла со мной доигрывать:—онъ, говоритъ, бѣшеный. — Онъ меня и въ самомъ дѣлѣ задушитъ... Горькое предчувствіе!.. Уговорили ее кое-какъ,—меня даже приводили извиняться... Подняли занавѣсъ!..

Громобоевъ тяжело дышалъ и въ изнеможеніи, подъ гнетомъ ужаснаго воспоминанія, опустилъ голову на грудь... Наступила небольшая пауза—слушатели молчали, съ напряженнымъ вниманіемъ ждали продолженія разсказа...

— Ну!—робкимъ шопотомъ произнесли комики.

— Весь театръ дрогнулъ отъ страшнаго, вполнѣ естественнаго крика Дездемоны, отъ ея предсмертнаго хрипѣнія... Шатаясь, подошелъ я къ рампѣ и упавшимъ голосомъ проговорилъ:

— Вяжите меня... я ее убилъ!

— Что-вы, Генадій Яковлевичъ?—зашепталъ суфлеръ—Это вы изъ «*Горькой Судьбины*» жарите!

«А я:

— Нѣтъ! Не изъ «Горькой судьбины» а изъ горькой дѣйствительности!

— Да, надѣлала шума вся эта исторія!.. Румянову хоронили съ великою помпою, генералъ прислалъ военную музыку, и весь скорбный путь, вмѣсто ельника, усыпанъ былъ цвѣтами... Меня посадили въ тюрьму и судили... чуть чуть не оправдали даже, — дали снисхожденіе... И вотъ, прошло уже не менѣе двадцати лѣтъ съ тѣхъ поръ, а у меня въ ушахъ,—по ночамъ иногда,—раздается этотъ дикій вопль, это ужасное хрипѣніе... я даже вижу на яву ея вытаращенные глаза и конвульсивныя движенія рукъ, тщетно пытающихся избавиться отъ желѣзныхъ тисковъ могучей, незнающей удержу бѣшеной страсти...

Когда Громобоевъ кончилъ, комики принялись неистово аплодировать... похлопали и остальные... Разсказано было дѣйствительно мастерски, — и разсказъ произвелъ впечатлѣніе...

На сцену выступилъ теперь—Хлестаковскій.

Художникъ тряхнулъ кудрями, потерзалъ ихъ немного всею пятерней своихъ длинныхъ, цѣпкихъ пальцевъ, поднялся съ своего мѣста и почему то заблагоразсудилъ полуприсѣсть на кончикъ стола, въ позѣ Мефистофеля, поющаго о «золотомъ тельцѣ»...

— Господа!—началъ онъ.—Я долженъ вамъ сказать, что я не принадлежу къ художникамъ отжившаго міра, ко всѣмъ

этимъ Кореджіо, Рафаелямъ, Мурильо—даже Рубенсамъ и пр., и пр... ихъ пѣсня давно спѣта и ихъ произведеніямъ суждено уже во вѣки вѣковъ, пока не истлѣютъ холсты, покрываться музейною, мертвою пылью. Ихъ избитые, опошленные идеалы красоты мнѣ не говорятъ ничего. Да и что могутъ сказать... ихъ формы, условныя и банальныя? Онѣ ничего не имѣютъ общаго съ истинною, нервною, возбуждающею васъ красотою—живого женскаго тѣла, съ его задорною чувственностью... съ его натуральныхъ букетомъ... однимъ словомъ, вы меня отлично понимаете!..

Каждому изъ слушателей хотѣлось, очевидно, показать, что онъ понялъ, а потому всѣ утвердительно кивнули головами ..

— И такъ, господа,—продолжалъ разсказчикъ,—задачи, преслѣдуемыя мною, были особенныя, потому и способы ихъ разрѣшенія не имѣли ничего общаго съ условными пріемами—отжившей, такъ называемой,—академической живописи... прежде, бывало, художникъ выбираетъ натурщицу, непремѣнно подходящую по формамъ къ заученнымъ гипсовымъ антикамъ... и, конечно, въ своей жалкой копіи еще болѣе приблизитъ ее къ этимъ гипсамъ, а, значитъ, отдалитъ отъ той реальной правды, составляющее по ихъ жалкому мнѣнію, первое условіе искусства... Намъ, художникамъ, новаго порядка,—натура и натурщица не нужны для того, чтобы съ нихъ писать. Натура—живое тѣло должно дѣйствовать на наши нервы, родить иллюзію—еще вотъ родъ галюцинацій... натура должна дѣйствовать какъ гашишъ,—и грезы этого гашиша должны свободною волною—обдавать полотно картины...

— Краска!.. Что такое краска?.. Что за глупое опредѣленіе!.. Какія тамъ красная, зеленая, синяя, желтая... Все это вздоръ!—Красокъ опредѣленныхъ нѣтъ, а есть токи, есть симфоніи выраженія душевныхъ мукъ, міровыхъ скорбей и страданій... понятно, милостивые государи?..

Милостивые государи на этотъ разъ головами не кивнули, но и не возражали...

— Я задумалъ тогда картину, которая впослѣдствіи, какъ вы знаете, надѣлала шуму... произвела, такъ сказать, переворотъ... въ художественномъ мірѣ. Содержаніе этого произведенія—было не для всякаго уловимо и понятно, но этого и не надо... Да и что такое содержаніе—когда вся сила творчества въ передачѣ настроенія... вѣдь это такъ ясно!..

— Но для полученія настроенія мнѣ надо было настроиться самому лично. Шатаясь по дебрямъ Парижа, проникая во всѣ слои его нервной, ничѣмъ неудовлетворяющейся жизни, я собралъ великолѣпный матеріалъ. Въ моей мастерской сгруппировался букетъ удивительныхъ натурщицъ... Онѣ принимали самыя невозможныя позы, сплетались, какъ змѣи, одна съ другою гирляндами, повисая въ воздухѣ, пресмыкаясь у моихъ ногъ, гордо возносясь подъ самый куполъ моего ателье... Понятно, что для всѣхъ этихъ эволюцій у меня были устроены, какъ въ циркѣ, подходящія приспособленія... Вино лилось рѣкою, и дикіе вопли изступленной оргіи потрясали воздухъ... Стоя передъ громаднымъ полотномъ, еще чистымъ пока, я пронизывалъ его глазами, вызывая на немъ мое будущее твореніе... И вдругъ я почувствовалъ, что мною овладѣваетъ приступъ давно желаннаго экстаза... На бѣлой плоскости, разстилавшейся передъ моими глазами, стали появляться какіе то неопредѣленныя пятна... жадно схвативъ палитру и кисти, я принялся, быстро и нервно, очерчивать ихъ дивные, таинственные контуры... Процессъ творчества разгорался все сильнѣе и сильнѣе... Моею рукою овладѣла какая то бѣшеная сила, концы моихъ кистей пылали огнями, съ палитры лились потоки крови, а не жалкихъ красокъ... Но откуда эта кровь—откуда?.. И вдругъ я съ ужасомъ замѣтилъ, что въ моей груди зіяетъ глубокая рана, что кровь на палитрѣ это моя собственная кровь... Я увидѣлъ худую блѣдную руку съ острымъ и тонкимъ ножомъ, я услышалъ голосъ...

— За предѣлы человѣческаго творчества не переходи... дерзнувшій да погибнетъ!..

Въ глазахъ моихъ потемнѣло... я почувствовалъ смертельный холодъ въ конечностяхъ. . ноги подкосились, и я потерялъ сознаніе...

«Я очнулся только на третьи сутки. Въ мастерской никого не было, я одинъ лежалъ на коврѣ, а вокругъ повсюду сохранились отвратительные остатки недавней вакханаліи...

Первая мысль моя была о картинѣ. Она стояла на мостикѣ; кто-же это покрылъ ее черною драпировкою?... Я не помню, что бы это былъ я самъ... Съ тревожнымъ трепетомъ я приблизился къ моему творенію,—однимъ махомъ сорвалъ покрывало— и, невольно повинуясь охватившему меня чувству, благоговѣйно преклонилъ колѣна...

*

— Въ эту минуту на лѣстницѣ послышались быстрые и многочисленные веселые голоса моихъ товарищей, приближаясь къ моимъ дверямъ... Раздался рѣзкій звонокъ... Я быстро закрылъ картину, принялъ друзей и разсадилъ ихъ по мѣстамъ амфитеатромъ передъ мольбертомъ... Должно быть, я продѣлывалъ все это съ особенною торжественностью, потому что друзья стали переглядываться между собою...

— Когда всѣ усѣлись, я подошелъ къ картинѣ и отдернулъ драпировку...

— Публика снова переглянулась между собою, а потомъ десятки, надо сказать, преглупыхъ глазъ установились прямо на меня... какъ бараны на новыя ворота.

— Полотно, прорванное въ двухъ мѣстахъ, было чисто; только въ самомъ центрѣ виднѣлся отвратительный, присохшій плевокъ. Дивнаго произведенія не существовало!..

— Я зарыдалъ, какъ ребенокъ—рванулся къ окну мастерской и хотѣлъ было броситься внизъ съ высоты девятаго этажа... Мои друзья подхватили меня почти на лету...

Разскащикъ позвонилъ и велѣлъ явившемуся на зовъ татарину съ салфеткою подать сифонъ...

— Все?.. — спросили переглянувшись съ недоумѣніемъ комики...

— А этого вамъ мало?..—повелъ плечомъ Хлестаковскій... Вотъ посмотримъ, что вы разскажете? Вѣдь очередь то ваша!

— Моя-съ, это точно!—завозился неловко на мѣстѣ комикъ Паша и сталъ прокашливаться...

— Господа... Вы не очень... что-ужъ отъ меня требовать... какихъ такихъ страховъ...—сталъ заранѣе извиняться новый разсказчикъ...—Можетъ, что мнѣ страшно,—а вамъ смѣшно покажется... Къ примѣру, такой случай: Въ безсмертномъ произведеніи Николая Васильевича Гоголя, изволили слыхать, подъ титломъ Ревизоръ мы съ Сашею всегда изображали Бобчинскаго съ Добчинскимъ, и весьма удовлетворительно. И вдругъ, однажды обращается ко мнѣ самъ директоръ театра и говоритъ:

— Паша, ты сегодня вечеромъ изволишь мнѣ отжарить самого «городничаго». Ты, я знаю, роли всѣ наизустъ знаешь .. Валяй съ одной репетиціи...

Въ комнатѣ послышался легкій смѣхъ... Хотя, собственно говоря, пока еще ничего смѣшного не было, но таково уже

обаяніе присяжныхъ комиковъ: скажетъ, къ примѣру, самое что-нибудь простое: «Здравствуйте, молъ, господа! Съ добрымъ утромъ!» или: А сегодня немного холодновато! всѣ уже готовятся фыркнуть... Ужасно трудно при такихъ условіяхъ разсказывать непремѣнно что-нибудь страшное.

— Вотъ видите, государи мои! — укоризненно произнесъ Паша.—Вамъ смѣшно, а меня отъ директорскихъ словъ цыганскій потъ прохватилъ ..

— Товарищи уговариваютъ играть, подбадриваютъ, режиссеръ—тоже съ своей стороны...—Вы, говоритъ, можете!.. Нашъ директоръ знатокъ, онъ чутьемъ слышитъ... Отмѣнить, говоритъ, спектакль невозможно, а Брысникова, это нашъ первый комикъ, развѣ черезъ недѣлю успѣемъ вытрезвить...

— Чтоже, думаю, дѣлать нечего! Дерзну!.. Ну, и дерзнулъ. На репетиціи у меня хорошо сошло... Скромно, но порядочно, чувствую самъ, что порядочно... Вѣдь слова-то какія золотыя!.. Только читай ихъ съ понятіемъ, сами за себя роль сдѣлаютъ!

— Я говорилъ, что у него пойдетъ!—замѣтилъ самъ директоръ... Я и возгордился... Ну, думаю про себя, держись, Пашка!.. Взобрался на такую высоту, не сковырнись... зубами хватайся, а удерживайся... А нутко тряхну ужо вечеромъ во всю, покажу свою силу! Отъ товарищескаго одобренія столько духу набрался, что только передъ самымъ поднятіемъ занавѣса, когда насъ разсадили по мѣстамъ, и дрогнулъ звонокъ режиссера, чуть-чуть что то защипало подъ сердцемъ... Подняли занавѣсъ... начинаю... и что то будто своего голоса не узнаю... Сидитъ, черезъ одного, около меня справа «попечитель богоугодныхъ заведеній»—добрый другъ и товарищъ, шепчетъ мнѣ... «не наваливайся сразу... голосъ приберегай, слѣва сидитъ «почтмейстеръ»—ворчитъ:—не тряси, шутъ, колѣнкой, не звени шпорою... просто душа стала уходить въ пятки... режиссеръ меня изъ-за дверей подбодряетъ, суфлеръ изъ своей норы... Дотащили кое-какъ первое дѣйствіе—не особенно испортили... Дай, думаю,—оправлюсь немного, отличусь въ слѣдующихъ... А случилось со мною, государи мои, — это самое страшное, чего во вѣкъ не забуду,— въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ городничему надо купцовъ разносить... Только что я разошелся во всю:—ору во-все горло: аршинники распротоканальи... Вдругъ чувствую, что меня—хвать кто-то пальцами

за ухо да какъ клещами стиснулъ, а пальцы холодные, какъ ледъ, словно у мертваго... ушелъ это я весь въ воротникъ покосился въ лѣво—и обомлѣлъ отъ страха. Самъ Николай Васильевичъ Гоголь, покойный, изъ гроба поднялись да меня грѣшнаго къ рампѣ передъ публику тянутъ.

— Ты, говоритъ, не забывайся... Не въ балаганѣ ты, а въ театрѣ драматическомъ, не раекъ показываешь, а высокую комедію играешь. Проси, окаянный, прощенія передъ публкою...

— Прояло меня насквозь, я и плачусь: батюшка, Николай Васильевичъ, что мнѣ публика—наплевать! Ты-то самъ прости меня дерзновеннаго за то, что оскорбилъ тебя по своему невѣжеству, память твою священную потревожилъ... А онъ: за покаяніе твое прощаю! Иди съ миромъ. Только на публику тоже плевать не годится, она этого не особенно любитъ...

Отпустилъ меня Николай Васильевичъ съ миромъ, и самъ будто въ люкъ провалился; только дыму съ бенгалкою бутафоръ не пускалъ при этомъ случаѣ... Занавѣсъ опустили, отвели меня еле живого въ уборную, и слышу я голосъ гнѣвный директора:

— И кто-это, подлецъ, напоилъ эту скотину?

— А вѣрите-ли, не только съ утра, со вчерашняго вечера маковой росинки во рту не было... Вотъ вамъ и вся моя исторія...

Странное явленіе произошло въ эту минуту: — при окончаніи разсказа комика Паши, всѣ захохотали, даже другъ его, Саша, и тотъ хлопнулъ по спинѣ разсказчика, а у благороднаго отца словно слезинка блеснула на рѣсницѣ...

Пришла очередь другого комика.

Тотъ окончательно сконфузился и просилъ объ увольненіи его отъ такой непосильной обязанности, но всѣ возстали и даже очень энергично; пришлось повиноваться.

— Вотъ и сбѣжалъ отъ насъ антрепренеръ!—разомъ такъ приступилъ Саша къ разсказу и такъ поразительно произнесъ свое вступленіе, что мы всѣ поглядѣли на дверь,—не туда ли именно сбѣжалъ антрепренеръ?—И ушелъ, подлецъ, а хорошій былъ человѣкъ. Кассу, однако, оставилъ, потому что въ кассѣ хранилось всего два сантима. Случилось это въ «Свиномъ Бродѣ», городъ такой есть и очень богатый городъ, населенный именитымъ купечествомъ россійскимъ и многими просвѣщенными гражданами... Тутъ и начались наши бѣдствія!..

— Сначала насъ какъ кипяткомъ ошпарило, а тамъ оглядѣлись, рискнули, дали сами спектакль въ кредитъ, пока еще вѣрили, изъ милосердія болѣе. Полный провалъ! Сбору никакого... На бѣду нашъ городъ посѣтилъ одинъ жидъ, съ дѣвицами и лотереею алегри, и открылъ свои месмерическіе сеансы... Всѣ забыли о насъ, кромѣ содержателя гостинницы—тотъ повыгналъ насъ изъ отдѣльныхъ, занимаемыхъ нами апартаментовъ и размѣстилъ—по средствамъ: всѣхъ мужчинъ въ одинъ уголокъ, подъ лѣстницею, а женскій персоналъ въ одну комнатку подъ самымъ чердакомъ, и при семъ до минимума сократилъ раціоны, впослѣдствіи же и вовсе сократилъ оные... Выгнать на улицу однако не рѣшился, ибо стужа стояла смертная, но прошеніе, куда слѣдуетъ, о водвореніи артистовъ драматической труппы подалъ... Писали мы всѣ оптомъ и по одиночкѣ всюду, обращались къ просвѣщеннымъ покровителямъ—все напрасно... Были отвѣты, впрочемъ, и даже утѣшительные, самъ сбѣжавшій антрепренеръ откликнулся, наконецъ, пишетъ: «Сидите и находитесь въ упованіи, потому я бодрствую.—А сидѣли мы въ такомъ безъисходномъ положеніи уже достаточно—и терпѣли не просто нужду,—а уже истинное бѣдствіе... Хоть бы какой ни на есть спектакль отжарить... хошь бы взятіе Карса, что-ли, съ солдатами, по гривеннику за выходъ, да вотъ бѣда: подошелъ великій постъ, и на нашу, якобы скоморошью, дѣятельность положенъ былъ запретъ окончательный... нашъ первый теноръ, мы вѣдь и опереткой промышляли, нашелъ себѣ коекакое кормленіе у одной вдовы купчихи, а на насъ наплевалъ и носа къ намъ не показывалъ. Резонеръ и первый комикъ сначала въ полицію попали, а оттуда уже въ госпиталь. У актрисы на роли благородныхъ дамъ дѣти корью заболѣли; гонятъ ее съ дѣтьми больными изъ гостиницы. Драматическая прима уже травиться пробовала, двѣ молоденькія: Глаша Пузикова и Дуня Тузикова, одна просто дитя четырнадцатилѣтнее, тѣ крѣпились, крѣпились да потомъ плюнули и стали отъ мѣстныхъ обывателей приглашенія на гастроли принимать... А какія тамъ гастроли: съ вечера увезутъ, а на другой день къ полудни на домъ доставятъ... и послѣ первой такой гастроли Дуня Тузикова, молодая самая, пріѣзжаетъ вся въ слезахъ, рыдаетъ истерически, а сама вынула изъ подъ лифа, вѣрите-ли, при тогдашнемъ-то нашемъ положеніи цѣлый четвертной билетъ и

говоритъ: — Вы меня не судите, а это вамъ пока на прокормленіе...

Разсказчикъ замолкъ и окинулъ насъ упрашивающимъ взоромъ.

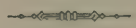
— Знаете, господа; это, я думаю, довольно разсказывать... право, вѣдь уже страшнѣе ничего не будетъ...

Но тутъ поднялся «благородный отецъ»...

— Господа,—сказалъ онъ,—къ этому простому, но глубоко потрясающему разсказу моего собрата, доскажу я самъ:

— Все это случилось давно, лѣтъ двадцать пять тому назадъ, маленькое имя—Дуни Тузиковой исчезло съ лица земли, изъ него выросло другое...

Тутъ онъ назвалъ намъ такое громкое сценическое имя, ослѣпительнымъ блескомъ сверкающее въ ореолѣ славы, что всѣ мы поднялись, какъ одинъ, и потребовали шампанскаго, чтобы выпить за здоровье великой артистки.



ВОЛШЕБНЫЙ ЛѢСЪ.

Люди вообще, особенно очень умные и образованные люди, согласны вѣрить только тому, что осязаемо, ясно провѣрено какимъ-либо изъ пяти чувствъ, а то и всѣми пятью разомъ,— все-же остальное они отрицаютъ, какъ нѣчто несуществующее. какъ плодъ праздной фантазіи... И они правы, но только насколько правъ слѣпой отъ рожденія, не вѣря въ гармоническое сочетаніе красокъ, глухой, не вѣрующій въ сочетаніе звуковъ, въ чудныя мелодіи, чарующія всѣхъ одаренныхъ нормальнымъ слухомъ. Первый не видитъ,—второй не слышитъ, а на слово вѣрить постороннимъ свидѣтелямъ они несогласны...

Установилась даже такая, будто-бы, истина, что человѣку, для яснаго пониманія всѣхъ окружающихъ его явленій, дано только пять чувствъ, что будто-бы только эти пять чувствъ собираютъ сырой матеріалъ для лабораторіи его ума, а потомъ уже изъ этой самонадѣянной лабораторіи рождаются на свѣтъ Божій, для общественнаго употребленія, разныя научныя истины— въ самомъ же дѣлѣ только жалкія клочья и обрывки истиннаго знанія — и вотъ почему получается такой плачевный результатъ!

Въ дѣйствительности человѣку дано не пять чувствъ, а шесть, и это шестое чувство наукою не признано, ибо органа его еще не отыскано, а жаль! Это шестое чувство и есть самое могучее, оно окрыляетъ творческій духъ человѣка, поднимаетъ передъ его духовными очами *) завѣсу съ иного, незримаго міра, полнаго животворной красоты, а, значитъ, и глубокой правды!

Жрецы науки, требующіе непремѣнно точныхъ доказательствъ, презрительно улыбаясь, называютъ все остальное вздо-

*) Такія очи, которыя могутъ быть и у слѣпорожденныхъ.

ромъ, отжившими силами, негодными, даже, по ихъ мнѣнію, вредными для дѣтскихъ сказокъ... Какое самонадѣянное заблужденіе!..

Нѣтъ, господа, не вздоръ! Все это гораздо ближе къ истинѣ, чѣмъ то, что вами провѣрено, взвѣшено, измѣрено по всѣмъ направленіямъ,—только оно незримо и непостижимо для васъ, лишенныхъ великаго шестого чувства, какъ мелодія звуковъ и красота красокъ непостижимы глухому и слѣпому.

Разъ какъ-то я попалъ въ большое собраніе свѣтилъ науки. За большимъ зеленымъ столомъ засѣдали самые ученые, всезнающіе лѣсоводы и ботаники. Не было на землѣ ни одной травки, ни кустика, ни деревца имъ неизвѣстнаго, неизученнаго во всѣхъ подробностяхъ... Всѣ лѣса міра были имъ вѣдомы, за исключеніемъ одного, самаго роскошнаго, который эти ученые непростительно проглядѣли... это тотъ лѣсъ, въ которомъ ни дровосѣкъ, ни столяръ, ни плотникъ, ни даже угольщикъ-смологонъ не найдутъ ничего годнаго для своего дѣла, и лѣсъ, въ которомъ не живутъ ни гусеницы, поѣдающія весеннюю листву, ни разные короѣды и прочія вредныя для растительности твари... Зато этотъ дивный лѣсъ населенъ иными существами, человѣку далеко не чуждыми, даже очень близкими... Въ томъ лѣсу, въ глухихъ трущобахъ, выстроены избушки на курьихъ ножкахъ, съ вѣтки на вѣтку перепархиваютъ ослѣпительныя жаръ птицы, бѣгаютъ сѣрые волки, говорящіе языкомъ человѣческимъ, такіе, значитъ, которые не требуютъ,—чтобы съ ними живущіе выли по-волчьи. Тамъ на полянахъ рѣзвятся чудныя созданія, не признающія никакихъ костюмовъ, а, значитъ, модъ; въ чащѣ кустовъ рыщутъ и гогочатъ шаловливые лѣсовики,—а надъ водою тихихъ лѣсныхъ озеръ и журчащихъ потоковъ, на гибкихъ вѣтвяхъ, качаются граціозныя нимфы и русалки... И вотъ еще одно, странное свойство такого интереснаго лѣса: если самый опытный и знающій свое дѣло фотографъ, вооружившись лучшимъ аппаратомъ, захочетъ погулять и поработать въ этомъ лѣсу,—на пластинкахъ его камеры равно ничего не проявится, — но, если забредетъ туда вдохновенный художникъ, то страницы его альбома быстро обогатятся чудными, а, главное, правдивыми образами, потому что художнику дано обладаніе, въ большей или меньшей степени, шестымъ чувствомъ, о которомъ я гово-

рилъ, въ силу котораго художникъ увидитъ все и все опишетъ, нарисуетъ, разскажетъ въ прозѣ, а то и въ стихахъ, съ рифмами и безъ оныхъ, смотря по силѣ вдохновенія... И вы, господа, всему должны будете повѣрить, а если не повѣрите, то художникъ ничего отъ вашего невѣрія не потеряетъ, — вы-же потеряете многое...

Вы, господа,—я обращаюсь къ ученымъ зоологамъ и антропологамъ,—глубоко убѣждены, что на свѣтѣ живутъ существа, называемыя и людьми, и козлами, но для васъ невѣдомы существа, у которыхъ верхняя половина человѣческая, а нижняя — козлиная. Изображенія таковыя вы видали на картинахъ, и въ бронзѣ, читали объ нихъ часто и знали даже, какъ ихъ зовутъ, и называли ихъ именемъ своихъ знакомыхъ и друзей, не стѣсняясь даже, что съ ихъ паспортными именами связаны были чины, даже выше статскаго совѣтника,— и все-таки, вы не признаете этихъ козлоногихъ человѣковъ только потому, что они не попали, съ подробнымъ описаніемъ, въ зоологическіе атласы...

А чтобы вы сказали, если-бы собственными своими глазами увидѣли то, что вижу я, вотъ въ эту самую, данную минуту?.. Вы бы начали тщательно протирать свои очки и стали бы припоминать, не пили-ли вы немного болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, вчера вечеромъ, или сегодня за завтракомъ, не поднялась-ли у васъ температура,—короче, разыскивать причину такой галлюцинаціи и напрасно, потому что это не галлюцинація, а дѣйствительно молодой веселый сатиръ выбѣжалъ на полянку, потянулъ носомъ воздухъ и сталъ прислушиваться. За кустами, гдѣ журчалъ незримый ручей, послышался особенный плескъ воды, и даже самые кусты зашевелились какъ-то подозрительно... Сатиръ въ нѣсколько прыжковъ перебѣжалъ поляну и присѣлъ за развѣсистымъ кустомъ. То, что видѣлъ козлоногій наблюдатель, очевидно, его заинтересовало. Отсюда были видны только его спина и короткій, торчавшій кверху хвостикъ, энергично выдававшій волненіе своего обладателя

Надо замѣтить, что классическій сатиръ—это почти тоже, что нашъ лѣшій, — только степень его духовнаго развитія и область познаній выше, а потому и поле его эстетическихъ наслажденій несравненно шире.

Грубый лѣшій, навѣрное-бы дѣло, захохоталъ, захлопалъ въ ладоши, а то бы, въ видѣ привѣтствія, запустилъ-бы комкомъ грязи, или же накинулся бы, какъ боровъ на помойное корыто,—нашъ же просвѣщенный наблюдатель, боясь обнаружить свое присутствіе, какъ истинный знатокъ красоты, внимательно созерцалъ и наслаждался чуднымъ зрѣлищемъ.

Въ прозрачной водѣ лѣсного ручья купалась юная нимфа.

Дѣвственно-чистая, прекрасная своею невинностью, она, хотя и успѣла замѣтить въ чащѣ два сверкающіе восхищеніемъ глаза, но не придала этому обстоятельству никакого значенія. Нимфа продолжала игриво плескаться, улыбалась слегка, и даже будто-бы кивнула головкою, въ видѣ привѣтствія...

Солнечный лучъ прорвался сквозь темную чащу деревьевъ и ласково скользнулъ по дивнымъ формамъ купальщицы... Сатиру стало даже завидно, и онъ почувствовалъ легкій припадокъ ревности... но тутъ милое созданіе окунулось напослѣдокъ и вышло на мягкій, песчаный берегъ... Нимфа тряхнула своими роскошными, серебристыми волосами, и, словно сверкающій, ослѣпительный ореолъ окружилъ эту чудную головку.

Сатиръ даже на минуту зажмурился отъ волненія и съ его губъ сорвалось громкое:

— Ахъ, какъ вы прекрасны!

— Я знаю!—засмѣялась нимфа.—А у васъ козьи ножки!

— Зато эти «ножки»—очень сильны и, если вы удостоите сѣсть на мою спину, я васъ съ наслажденіемъ покатаю по всему лѣсному пространству...

Сатиръ однимъ прыжкомъ перескочилъ черезъ ручей и припалъ къ самымъ ногамъ красавицы, слегка вздрогнувшей отъ такого неожиданнаго приступа.

— Нѣтъ, нѣтъ,—не надо!—продолжала она, ловко увернувшись отъ дальнѣйшихъ ласкъ проказника...

А у того уже языкъ сталъ заплетаться отъ избытка чувствъ, и онъ, задыхаясь, бормоталъ:

— Дитя мое, довѣрься мнѣ... Я всю жизнь буду твоимъ слугою, твоимъ рабомъ, а ты моею царицею...

Сатиры вообще въ данныхъ положеніяхъ на всѣхъ парахъ несутся прямо къ цѣли;—они всѣ такъ избалованы легкимъ успѣхомъ, что становятся, даже въ самыхъ юныхъ лѣтахъ, большими нахалами... Чего онъ тутъ не наговорилъ любезной

своей *царицѣ*, чего она вовсе не понимала, а у красныхъ грибовъ, выглядывавшихъ изъ моха, даже уши стали вянуть... Онъ убѣждалъ ее отдаться ему, полюбившему ее всею силою *перваго* чувства... онъ обѣщалъ ей всѣ блага лѣса, вѣчное веселье, вѣчную радость...

Она молча слушала, и ея покойное личико «*не отразило ничего*»...

— Хочешь быть моею... Хочешь?.. Скажи хоть слово!..

— Хочу,—отвѣчала она,—очень хочу кушать... Мнѣ всегда послѣ купанья ѣсть... хочется...

Бѣдный козлоногъ не ожидалъ такой прозы, онъ безнадежно взглянулъ на свою собесѣдницу, и проговорилъ:

— Что прикажете?..

— Тамъ, за большою поляною, недалеко отсюда, стоитъ домикъ на пѣтушьей ногѣ, а въ домикѣ живетъ моя тетя...— Она мнѣ всегда приготовляетъ большую тарелку превкусной малины со сливками... Ну!.. Побѣжимъ въ перегонку... Кто шибче?

Легкая нимфа понеслась по лѣсу съ необычайною быстротою, словно ныряя межъ кустовъ и не хуже куропатки, но сатиръ былъ тоже быстроногъ и отъ нея не отставалъ.

Уже, въ виду домика, онъ остановилъ свою спутницу и заявилъ, что знакомиться съ ея тетенькою не желаетъ, а что съ нею самою вновь увидѣться желаетъ пламенно.

— Вы часто купаетесь?—спросилъ онъ.

— Каждый день...

— Это очень хорошо, но мѣсто, выбранное вами для купанья, никуда не годится; я вамъ хотѣлъ предложить другое!

— Это не въ большомъ пруду, гдѣ всегда гуси полощутся? Тамъ такъ грязно: все затянуто тиною...

— О нѣтъ, не въ пруду,—улыбнулся сатиръ,—я укажу вамъ бассейнъ, достойный вашего дивнаго, божественнаго тѣла. Я васъ приведу къ берегу океана, въ лазурныхъ долинахъ котораго вы будете рѣзвиться въ обществѣ чудныхъ золотыхъ рыбокъ, обвитая жемчугами и кораллами, гдѣ вы, бѣлизною своего тѣла, затмите бѣлизну морской пѣны, гдѣ на васъ съ восторгомъ будутъ устремлены тысячи глазъ, и воздадутъ вамъ хвалу и славу, какъ, давно уже, вашей прапрабабушкѣ Кипридѣ, родившейся изъ той-же лазурной волны, изъ той-же бѣлоснѣжной пѣны...

Нимфа очень мало поняла изъ этой рѣчи, но все же немного больше, чѣмъ прежде; ее даже заинтересовало, — куда это обѣщаетъ повести ее купаться восторженный поклонникъ, а тотъ, замѣтивъ въ окнѣ домика сердитый носъ, а на немъ круглыя синія очки, торопливо проговорилъ...

— Я васъ буду ждать... *тамъ* и поведу *туда*. До завтра?..

Нимфа щелкнула его по рукѣ,—и было за что—и, скромно потупивъ глазки, пошла по направленія къ висячему крылечку...

— Какъ она еще глупа и какъ прекрасна! — думалъ сатиръ, мелкою рысцею отправляясь во свояси. — Но глупость эта пройдетъ! — Это невѣдѣніе невинности... И мнѣ суждено быть новымъ Пигмаліономъ, оживляющимъ силою своего чувства холодный мраморъ этой прелестной статуэтки!

На другой день, Сатиръ былъ очень удивленъ и, конечно, порадованъ, когда, прибѣжавъ *туда*, засталъ уже свою Нимфу *тамъ*.

Эту необыкновенную аккуратность счастливый поклонникъ красоты принялъ за нетерпѣніе пробуждающагося чувства.

— Ну, бѣжимъ смотрѣть скорѣе на золотыхъ рыбокъ! — встрѣтила его красавица...

— И купаться!—лукаво усмѣхнулся волокита...

— Насчетъ купанья, право не... знаю, что-то не расположена—да и тетя мнѣ отсовѣтовала...

— А вы все разсказали? — укоризненно кивнулъ головой Сатиръ.

— Да, тетя сказала мнѣ, что купанье въ океанахъ не безопасно, а про золотыхъ рыбокъ сказала, что это милыя и преполезныя твари... и если-бы, не рискуя купаньемъ...

— Ахъ, старая карга! — почесалъ за ухомъ Сатиръ и добавилъ вслухъ, будто-бы совсѣмъ равнодушнымъ тономъ:

— Какъ хотите!—Бѣжимъ только посмотрѣть, а тамъ на мѣстѣ видно будетъ!

Они побѣжали, но какъ не легка была на ногу прелестная спутница, дорога была не близка, и Нимфа начала уставать.

Сатиръ, конечно, замѣтилъ это, и предложилъ къ ея услугамъ свою спину.

Солнце высоко поднялось надъ волшебнымъ лѣсомъ, когда наши путешественники прибыли на мѣсто. Сатиръ былъ взволнованъ близостью чудной ноши и порядочно таки утомленъ. Глазки Нимфы тоже слегка подернуло томною поволокою... Они присѣли перевести духъ, на краю крутого обрыва— и чудная картина, развернувшаяся передъ ихъ глазами, вполнѣ вознаградила ихъ за утомленіе.

Омывая береговые скаты жемчужною пѣною «безъ конца, сливаясь съ лазоревымъ небомъ», — разстилался безбрежный океанъ. Его гладкая, темно-синяя поверхность, словно огненными искрами, сверкала миріадами золотыхъ точекъ. Это все были драгоцѣнныя рыбки, весело рѣзвящіяся въ коралловыхъ чащахъ подводныхъ лѣсовъ. По краснымъ и блѣдно-розовымъ вѣтвямъ развѣшаны были жемчужныя нити; у самаго берега, сквозь пелену воды блистали раковины, переливавшіяся на солнцѣ всѣми цвѣтами радуги...

— Ахъ, какъ это дивно... какъ красиво! —захлопала отъ восторга Нимфа и потянулась на самый край обрыва...

— А какъ хорошо тамъ купаться!..—Не то, что въ жалкомъ ручейкѣ, подъ ивовыми кустами!—прошепталъ ей на ухо Сатиръ.

— Страшно! — пробормотала красавица... Тетя говорила...

— А рыбки... рыбки...

— Страшно!..

— Смѣлѣе, дитя мое, я здѣсь! Я тебя поддержу!

— Ухъ!..

Нимфа разомъ соскользнула съ гребня, пытаясь ухватиться руками за шею Сатира.. А тотъ все шепталъ:

— Не бойся... Смѣлѣй...

А волшебная бездна океана тянула красавицу все сильнѣе, все неотразимѣе...

Вотъ уже близка водная поверхность, вотъ уже прохладная струя захватила ножки Нимфы, вотъ она погрузилась по поясъ... по горло... и вдругъ, охваченная полною рѣшимостью, окунулась съ головою и стала нырять и плавать, не слушаясь на этотъ разъ Сатира, который, не ожидая такого блестящаго успѣха своихъ уроковъ, немного даже струсилъ и, спустившись къ самой водѣ, проговорилъ:

— Однако!.. Ну, теперь и довольно!.. Для перваго дебюта совершенно достаточно...

Увлекшуюся купальщицу охватило восторженное состояніе.— Она пѣла, хохотала и въ этомъ возбужденномъ смѣхѣ слышалось даже что-то похожее на рыданіе...

Она жадно ловила руками золотыхъ рыбокъ, накидывала на ихъ рѣзвыя стаи сѣти своихъ чудныхъ, серебристыхъ волосъ, ныряя все глубже и глубже. — И вдругъ—дико вскрикнула, охваченная инымъ чувствомъ,—чувствомъ смертельнаго ужаса...

Тамъ внизу, глубоко, изъ темной бездны появились два громадныхъ тусклыхъ глаза, и въ слояхъ подоннаго ила закопошились какіе-то гигантскія змѣи... Эти змѣи, щупальцы страшнаго Спрута, тянулись къ ней, готовясь обвить смертельными, холодными кольцами ея чудное тѣло.

Нимфа сдѣлала послѣднюю, увы, безплодную попытку рвануться кверху... Сознаніе ея покинуло, и это дивное чистое существо, дѣвственное когда-то даже въ своихъ помыслахъ,— погибло въ ненасытной пасти гнуснаго чудовища...

А Сатиръ уныло свистнулъ, поскребя себя всею когтистою пятернею за ухомъ, и сталъ, цѣпляясь руками, взбираться на крутизну берегового обрыва.

Проходили года. У нашего Сатира были и еще подобныя приключенія, но память о первой Нимфѣ не изглаживалась... Съ лѣтами офиціальное положеніе Сатира въ лѣсу все поднималось и поднималось, и ему удобно было наводить справки въ глубокомъ, подонномъ мірѣ... Да и характеръ у него сталъ спокойнѣе и сдержаннѣе. Прежнія его маленькіе, серебряные рожки, такъ называемые—молочные, сначала смѣнились золотыми, значительно большей цѣнности, а теперь уже украсились алмазами и драгоцѣнными камнями, но зато въ ногахъ уже не ощущалось ни прежней силы, ни прежней рѣзвости.

Однажды, подъ вечеръ, медленно прогуливаясь по берегу, Сатиръ услышалъ пѣніе... Мотивъ веселой пѣсенки показался ему знакомымъ... Это-бы еще ничего,—старикъ отлично изучилъ весь игривый репертуаръ подобной музыки, — но голосъ, вотъ что его особенно заинтересовало... Голосъ этотъ онъ положительно слышалъ когда-то, давно, но слышалъ..

Сатиръ подошелъ поближе къ водѣ, раздвинулъ руками камыши и увидѣлъ чудную женщину, съ роскошными, ярко-зелеными волосами... Это была она! Внѣ всякаго сомнѣнія,

она!.. Окраска волосъ, хотя и измѣнилась, но вѣдь это бываетъ. Дивныя формы развились усиленно, но это ея нисколько не портило...

Старикъ смотрѣлъ съ восхищеніемъ на чудное явленіе и, наконецъ, рѣшился приступить...

— Это вы?

— Я!.. Развѣ перемѣнилась?.. А ну, подойдите-ка поближе! Не бойтесь! Прежде вы были храбрѣе...

Сатиръ приблизился.

— Фу, какъ вы постарѣли! Какой стали ощипанный, лысый!.. А все-таки подойдите.—Я васъ, такъ и быть, поцѣлую...

У Сатира забилось сердце, онъ замѣтилъ страстный, жадный взоръ красавицы, но не замѣтилъ только того, что этотъ взоръ устремленъ не на него лично, а на его лысую, ощипанную голову...

Красавица схватила его за рога, притянула къ себѣ, — что-то хрустнуло, но онъ въ пылу внезапно вспыхнувшей новой любви не замѣтилъ этого,—и почти съ прежнею, юношескою силою обнялъ свою Нимфу, но тотчасъ же въ ужасѣ отскочилъ назадъ и пустился наутекъ, стараясь подальше удрать отъ своей нечаянной встрѣчи.

Онъ убѣдился, что красавица наполовину была только женщина; остальную ея часть составлялъ холодный рыбій хвостъ, покрытый жесткою, слизистою чешуею...

Съ отчаяніемъ онъ схватилъ себя за голову и тутъ только замѣтилъ, что драгоцѣнныхъ роговъ, какъ не бывало; — они остались въ рукахъ нырнувшей на дно зеленокудрой соблазнительницы...

„ВЪ ТАЙГѢ".

— Дѣдко, а, дѣдко? Ты говоришь двадцать монетовъ дадутъ за «него»?

— Дадутъ! Такъ вотъ полностью и отсчитаютъ!

— А много это,—двадцать монетовъ?

— У тебя двѣ руки, на каждой по пяти пальцевъ, всего, значитъ, десять; клади на каждый палецъ по двѣ монеты, какъ разъ и выйдетъ...

Мальчикъ высвободилъ свои озябшія руки изъ рукавовъ дохи, растопырилъ грязные, заскорузлые пальцы, внимательно осмотрѣлъ ихъ, пошепталъ что-то про себя и добавилъ вслухъ:

— Много! Здорово—много!..

— Не то что очень, а порядочно!—проговорилъ дѣдъ не громко, тоже словно про себя.—Вотъ «казенныя» отдадимъ, печь въ хатѣ переложимъ, тебѣ валенки, матери ситцу краснаго, чаю кирпичнаго къ празднику, хоть полведра, это безпремѣнно... Такъ... И еще, пожалуй, про запасъ останется...

Помолчали.

Тихо въ лѣсу. Тамъ, гдѣ-то въ верхахъ, гудитъ глухо, а тутъ, въ увалѣ, внизу, совсѣмъ тихо... За вывороченною корягой, въ заслонѣ огонь разложенъ, пламя горитъ ровно и далеко тепло разноситъ, и дѣду съ внукомъ тепло, и мохнатымъ конямъ не зябко; стоятъ, прислонившись другъ къ дружкѣ, чумбурами волосяными перевязаны и только пофыркиваютъ по временамъ, когда ѣдкій, смолистый дымокъ доберется до ихъ заиндевѣвшихъ ноздрей... И «ему», должно быть, не зябко тоже. Тамъ между костромъ и лошадьми лежитъ что-то, несуразнымъ комомъ, не разберешь, звѣрь-ли, человѣкъ-ли... Дѣдъ съ внукомъ знаютъ, почему не разобрать: руки назадъ

закручены и тою же веревкою къ щиколоткамъ ногъ приторочены; стоять «ему» только на колѣнкахъ способно, тогда похоже, что человѣкъ молится что-ли, а завалится на бокъ, тогда комъ несуразный...

— И какъ ты его пымалъ ловко!..

— А что за трудъ! Навалился сразу, и, ну, крутить...

— А завизжалъ-то «онъ» какъ, словно заяцъ!

— Завизжишь, небось!

Опять помолчали... Мягкіе хлопья снѣгу повалили сверху, на огонь попадаютъ, шипятъ, даже и паръ тогда надъ костромъ поднимается. Догораетъ огонь, темнѣй стало...

— Подкидывай, небось, Гараська!

— Ладно!.. Дѣдко, а дѣдко! Гляди: «онъ», должно, пить хочетъ, ишь, какъ снѣгъ губами захватываетъ... ловко...

— Пущай попьетъ...

И еще разъ помолчали. И старика, и мальчонку дремота сильно одолѣваетъ... Не больно холодно; «онъ» связанъ крѣпко, не убѣжать никакъ, да и собака Жучокъ сторожитъ... Спитъ будто крѣпко, свернувшись въ клубокъ, а сама все острымъ ухомъ поводитъ, а то, нѣтъ-нѣтъ, да и сверкнетъ въ темнотѣ недреманнымъ окомъ. Какъ тутъ убѣжишь?

— Дѣдко, а дѣдко!

— Ну, что тебѣ еще?

— А что «ему» тамъ будетъ?

— Несладко!

— Голову отрубятъ?

— Нѣтъ, головы рубить не станутъ, а хуже...

— Ну!..

— Закуютъ спервоначала, потомъ сызнова пересуживать станутъ, потомъ бить плетьми... Хлестанутъ и отсчитаютъ: «разъ!» Сколько, значитъ, судъ присудитъ, потому, не бѣгай!

— А сколько всего?

— Да столько, что намъ съ тобою не сосчитать, пальцевъ не хватитъ!

— Говорятъ, до смерти тамъ забиваютъ?

— Не всѣ выдерживаютъ... «Этому» второй сотни, пожалуй, не дождаться!

— Такъ!

— Потому—заморенъ, отощалъ въ бѣгахъ... Не лѣто!

*

— «Ему» считать будутъ и намъ съ тобою тоже отсчитаютъ двадцать монетовъ, значитъ...

— Не забылъ, небось!

— Двадцать монетовъ... ишь, ты!..

Мальчикъ помоталъ головою въ громадной бараньей папахѣ и снова растопырилъ свои пальцы.

— И ему считать, и намъ считать... Это точно!..

А сильно дремлется, такъ вотъ и клонитъ голову къ колѣнямъ... Дѣдко даже сталъ похрапывать; всхраппетъ и вздрогнетъ, глаза широко такъ откроются, и снова вѣки, словно свинцовыя, сами собою смыкаются... Привалился дѣдко на бокъ, бурку потянулъ на голову... Жучокъ, главное, лежитъ спокойно, ухо на-сторожѣ держитъ... Тихо по лѣсу, тихо... А лѣсу этому и конца-просвѣту нѣту... Зимою вездѣ дорога, а лѣтомъ не пройти, не проѣхать, топи да болота, трясина непролазная, потому, тайга.

Ярче разгорался костеръ. Мальчикъ не полѣнился, еще охапку подкинулъ, да попались кедровыя вѣтки, смолистыя, одна даже съ выпростанными шишками, дюже горятъ такія

Кони шумно встряхнулись, песикъ заворчалъ слегка и приподнялъ голову. Теперь уже оба уха насторожилъ... Дѣдко храпитъ во-всю, ничего не слышитъ, да слышать-то нечего... Эко диво, что «онъ» застоналъ, забормоталъ что-то, не разберешь... Прикрыли его войлокомъ, чтобы не закоченѣлъ очень, ну, и лежи, не замерзнешь до времени.

И опять все стихло.

А мальчику не спится... Все ему представляется, какъ это поведутъ «его» и какъ хлестать будутъ... Ударятъ—разъ! и отсчитаютъ.. А спина вся синяя, вся въ рубцахъ, кровь бѣжитъ и порты вымочила...

— «Казенныя» заплатятъ, матери ситцу краснаго, ему, Гараськѣ, валенки новыя... чаю кирпичнаго капшукъ, вина полведра... Еще что?.. Да, печку переложатъ, чтобы съ трубою изба была, не курная... А тамъ, Богъ дастъ, пошлетъ счастье,— еще одного «такого» дѣдко изловчится, сцапаетъ, и опять двадцать монетъ... А «этотъ» сотни не дождется, потому, слабый, больной, некормленный, отощалъ совсѣмъ, все равно, околѣвать... Его разъ! а онъ завизжитъ, словно заяцъ, вотъ

какъ тогда, когда дѣдъ на него навалился, а потомъ и визжать перестанетъ, замретъ, закипется, захрипитъ и вытянется... Готово!.. Въ яму его зароютъ... А печь переложить надо безпремѣнно, чтобы чистая была, дымъ не ходилъ бы по дому, глаза бы не ѣлъ, важно!.. Матери ситцу краснаго, ему, Гараськѣ, валенки новыя, вина полведра, чаю кирпичнаго... Разъ!—отсчитаютъ; два! опять отсчитаютъ... Дѣдко, вонъ, говоритъ: головы рубить не станутъ, а хуже!..

И опять передъ полусонными глазами мальчика стоитъ и колышется синяя, голая спина, худая, лопатки клиньями торчатъ, ребра глазомъ пересчитать можно—и вся исполосованная, вся кровавыми рубцами на-крестъ изсѣчена...

— Ну, тебя! Чтобъ тебя язвило! Тьфу!..

Отвернулся мальченка въ сторону, сладко такъ потянулся, пахлобучилъ баранью папаху чуть не до самыхъ плечъ и зѣвнулъ, да такъ, что даже Жучокъ откликнулся, вскочилъ, отбѣжалъ немного въ сторону, приподнялъ лапку и снова свернулся комочкомъ на нагрѣтомъ мѣстѣ.

Гаснетъ костеръ, мало-по-малу, темнѣетъ совсѣмъ... Разсвѣтъ нескоро, долга сибирская зимняя ночь; кажись, конца ей не будетъ. . . . . .

Вздрогнулъ старый дѣдъ и, словно подстрѣленный, вскочилъ на ноги.

— Эко, здорово выспались!.. Эй, Гарасько, буде валяться! Ставь котелокъ къ огню поближе... Живо! Маленько поразогрѣемся чайкомъ, да и въ путь. Ну, что, сердешный, не замерзъ за ночь, что-ли?

Подошелъ старикъ къ «сердечному», сдернулъ войлокъ, что стоялъ отъ мороза коробомъ, а тамъ ничего и нѣту, словно ничего и не было...

— Убѣгъ!

Проснулся и Гараська, сталъ у огня копошиться, а самъ на дѣда не смотритъ, только вздрогнулъ, какъ дѣдъ чуть не на всю тайгу заоралъ:

— Проспалъ, волченокъ паршивый, не устерегъ!

— А ты что самъ не стерегъ? Самъ тоже дрыхалъ!..

— Вретъ! Далеко не уйдетъ! Ахъ, ты, собака каторжная!..

Поднялъ старикъ обрывки веревокъ, что, здорово скрутили плѣнника.

— Пожемъ перерѣзаны, вонъ въ сколькихъ мѣстахъ... Гарасько!...

Подошелъ дѣдъ къ внуку, тряхнулъ его за воротъ, повернулъ къ себѣ лицомъ, а самъ такъ въ него и воззрился...

— Что-же мнѣ съ тобою теперь дѣлать?

— Ничего я не знаю... спалъ я... заснулъ какъ, и помню... Ничего не знаю!

— Не знаешь?!. А ножикъ твой гдѣ?

— «Онъ» съ собою унесъ, говоритъ, ему очепно нужно.

Старикъ оглядѣлся кругомъ.

— А мѣшокъ съ хлѣбомъ, а чайникъ запасный?..—Тоже, сказалъ, небось, что нужно,—не пропадать же въ тайгѣ съ голоду!

— А то какъ же! — прошепталъ чуть слышно мальченка.

Махнулъ дѣдъ рукой и пошелъ къ конямъ снаряжаться въ дорогу; сталъ и Гарасько копошиться по своему дѣлу...

Чудно глядѣть: малышъ отъ земли полтора аршина, а шапка большущая, бурка по землѣ волочится, шашка, какъ у взрослаго, и винтовка въ чехлѣ за плечами, потому, все отцовское, все перешло отъ покойнаго родителя. Взобрался малышъ на чалаго маштака и поджидаетъ: скоро-ли, молъ, старый справится?

А старикъ копается, ворчитъ, поглядываетъ то на внука, то на пустое мѣсто, гдѣ его *двадцать монетовъ* лежали, и такую думу думаетъ:

— Эхъ! Весь въ отца! Вотъ и покойный говорилъ мнѣ передъ смертью: «брось ты, батько, твои такія дѣла, а коли бросить не можешь, не води съ собою своего внука, моего Гараську»...

Тронулись въ путь. Впереди Жучокъ съ веселымъ, лихо закрученнымъ хвостикомъ, за Жучкомъ малышъ-богатырь, а, поотставъ немного, старый дѣдъ съ своимъ раздумьемъ.

Стало свѣтать...

КНУТЪ НЕМЕЗИДЫ.

(Вполнѣ возможное происшествіе).

Христофоръ Богдановичъ Баухъ чувствовалъ себя въ превосходнѣйшемъ расположеніи духа. Почтенный, высокоуважаемый членъ, директоръ и крупный акціонеръ Общества конно-желѣзныхъ и иныхъ путей сообщеній по городу имѣлъ полное право и основаніе находиться въ такомъ прекрасномъ душевномъ настроеніи.

Сегодня, не только благополучно, а даже, сверхъ ожиданія, удивительно удачно прошло общее собраніе, и годовой отчетъ принятъ съ выраженіемъ горячей признательности со стороны акціонеровъ... Да и какъ не принять!.. Дивидендъ выросъ чуть не вдвое. Всѣ мѣры правленія одобрены и утверждены, признательные граждане утвердили даже прибавку, и очень крупную, господамъ директорамъ, кромѣ наградъ, обычно и щедро назначенныхъ къ предстоящимъ праздникамъ. Закрылось общее собраніе довольно рано, при громѣ сочувственныхъ аплодисментовъ, а послѣ трудовъ праведныхъ и общественныхъ, такъ сказать, дѣловыхъ ликованій, всѣ: и самъ Христофоръ Богдановичъ, и Карлъ Карловичъ Думеръ-Керлеръ, и Шримсъ-Кухенъ, Иванъ Ивановичъ, и Живодеровъ генералъ, и Шмуль, Шульцъ, Спинжаковъ-Мишутка... однимъ словомъ, весь цвѣтъ правленія, всѣ отправились къ Донону, гдѣ заранѣе заказанъ былъ обѣдъ по двадцать пять рублей съ куверта, безъ вина, вино особо—и какой обѣдъ!

Не даромъ его меню обдумывалось дня за три; а кое-что выписывалось даже спеціально, прямо изъ Парижа.

Да-съ, я вамъ доложу, у насъ въ городѣ пообѣдать можно, ежели со вкусомъ, да кто толкъ понимаетъ, ну, а Христофоръ Богдановичъ Баухъ на этомъ дѣлѣ не только одну собаку

съѣлъ, даже щенкомъ породистымъ закусилъ... Не даромъ говорили всѣ: по шерсти и кличка...

Кромѣ этихъ, такъ сказать, политическихъ причинъ прекраснаго состоянія духа Христофора Богдановича, были и личныя, отчасти благоустроенныя заранѣе, отчасти случайныя,— подарки судьбы въ нѣкоторомъ родѣ. Къ послѣднимъ относился, напримѣръ, совершенно неожиданный отъѣздъ супруги его, Элоизы Антоновны, дамы еще довольно видной, даже красивой, но уже слишкомъ энергичной въ отношеніи своего супруга. Элоиза Антоновна вообще не признавала въ своемъ мужѣ никакого крупнаго достоинства, а это иногда было очень обидно для главы дома и крупнаго общественнаго дѣятеля, да и какъ же иначе?—Всѣ говорятъ: «Многоуважаемый, достойный, удивительный дѣлецъ и общественный радѣтель», а она: дуракъ!.. И больше ничего! И вотъ, эта-то самая Элоиза Антоновна внезапно предприняла путешествіе въ Парижъ, недѣли на три, если не больше. Конечно, Христофоръ Богдановичъ могъ бы имѣть нѣкоторое основаніе огорчиться внезапнымъ отъѣздомъ супруги, такъ какъ могъ подозрѣвать настоящія причины путешествія, да и подозрѣвалъ въ дѣйствительности; но тутъ такъ же внезапно пріѣхала нѣкая особа, болѣе пріятная, милая, веселая вдова-докторша, Ольга Николаевна, и обѣщала навѣстить временно-покинутого супруга, даже черезъ часъ хотѣла пріѣхать, прямо изъ театра, напоить чайкомъ соломеннаго вдовца...

И вотъ Христофоръ Богдановичъ, въ ожиданіи такого пріятнаго посѣщенія, слегка дремалъ въ своемъ роскошномъ кабинетѣ, при свѣтѣ ярко освѣщеннаго камина, почему эта на диво меблированная комната освѣщалась какимъ-то таинственнымъ красноватымъ свѣтомъ... Изъ густого мрака виднѣлись неясныя очертанія округленныхъ формъ соблазнительныхъ статуй, сверкала кое-гдѣ дорогая бронза, и вся фигура хозяина, распростертаго въ покойномъ вольтеровскомъ креслѣ, была преисполнена олимпійскаго спокойствія и величія.

Христофоръ Богдановичъ дремалъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, бодрствовалъ. Онъ мечталъ и вспоминалъ, вспоминалъ и мечталъ... и всѣ эти мечты и воспоминанія складывались удивительно пріятно и жизнерадостно, текли, такъ сказать, млекомъ въ берегахъ кисельныхъ, даже еще немного слаще.

Гдѣ-то далеко, точно на башнѣ, часы торжественно такъ, дорогіе столовые часы отсчитали равно одиннадцать.

И вотъ Христофоръ Богдановичъ видитъ себя вновь на возвышеніи, граціозно опершагося на пюпитръ; передъ его глазами рядъ внимательныхъ и, очевидно, благорасположенныхъ слушателей. Онъ, видите-ли, проводитъ новыя мѣропріятія къ еще большему процвѣтанію дорогаго для нихъ общественнаго дѣла; онъ докладываетъ о томъ, что, несмотря на блестящіе результаты дѣятельности правленія, можно и даже должно еще болѣе заботиться о пріуспѣваніи. Если нельзя увеличить дивидендъ, расширяя само предпріятіе, то можно добиться того-же путемъ уменьшенія расходовъ. Напримѣръ, вполнѣ возможно сокращеніе корма для этихъ десятковъ тысячъ лошадей, безъ всякаго риска для ихъ здоровья, сокращеніе половины всѣмъ этимъ дармоѣдамъ: кучерамъ, кондукторамъ и прочимъ по нисходящей линіи, все это Христофоръ Богдановичъ доказывалъ и уяснялъ самымъ научнымъ способомъ; онъ указывалъ, напримѣръ, на обстоятельство, давно замѣченное даже лицами посторонними, стоящими, такъ сказать, внѣ курса дѣла, на то, что по рельсамъ вагонъ катится, такъ сказать, будто-бы даже безъ помощи тяговой силы, лошадей въ данномъ случаѣ, что стоитъ только дать толчекъ къ первому поступательному движенію, въ чемъ могутъ помочь даже дармоѣды-кондуктора, и лошадкамъ уже совсѣмъ легко продолжать поддерживать дальнѣйшую энергію, что легкая умѣренная рысь для четвероногихъ сочленовъ, то бишь, представителей простой, грубой, животной силы составляетъ даже не трудъ, а пріятный моціонъ, и что полагающіеся до сихъ поръ два гарнца овса могутъ быть совсѣмъ безъ вреда для ихъ здоровья сокращены на одинъ и не ежедневно, а такъ раза два въ недѣлю, или даже наканунѣ двунадесятыхъ праздниковъ, что будетъ имѣть даже нѣкоторое нравственное значеніе. Христофоръ Богдановичъ при этомъ обратился къ цифрамъ, и передъ глазами акціонеровъ нарисовалась такая круглая, соблазнительная цифра будущихъ барышей, что многіе полѣзли въ карманы за платками съ цѣлью утереть намокшія внезапно губы... Ораторъ даже слегка коснулся литературы. Онъ увѣщалъ слабыхъ духомъ не пугаться репортерскихъ громовъ и газетныхъ нападокъ. Онъ со слезами на

глазахъ совѣтовалъ претерпѣть, — ибо многіе великіе люди претерпѣвали и были поносимы, но потомъ возвеличились и тѣмъ посрамили враговъ... Да вотъ, напримѣръ, говорилъ онъ кричатъ объ истязаніяхъ, объ несчастномъ яко-бы внѣшнемъ видѣ бѣдныхъ лошадокъ, а того не понимаютъ, что ударъ кнута вдоль спины вовсе не истязаніе, а полезная гигіеническая мѣра, какъ бичующій душъ Шарко, укрѣпляющій нервную систему... Что печальный видъ знаменитой Россинанты не помѣшалъ этой лошади пріобрѣсти историческую извѣстность... Удивительно, вообще, хорошо и тепло говорилъ высокоуважаемый Христофоръ Богдановичъ, за что и былъ почтенъ дружными апплодисментами... А потомъ этотъ дружескій, задушевный обѣдъ,—эти устрицы, полныя, бѣлыя, пулярдочки просто на скотномъ полѣ, потомъ это тюрбо, нѣжное, рыхлое, распластанное во все блюдо, представляющее изъ себя даже нѣчто эротическое .. мифъ какой-то... А тутъ—пріятная записочка Ольги Николаевны. А тутъ...

Сладкая дремота стала даже переходить какъ будто въ болѣе прочный, глубокій сонъ... и вдругъ... вдругъ случилось нѣчто, совершенно неожиданное и совсѣмъ уже ничего общаго не имѣющее съ мечтами сладкими и отрадными.

Христофоръ Богдановичъ вскочилъ отъ энергичнаго до свирѣпости, свистящаго, безпощаднаго, хлесткаго такого, удара бичемъ вдоль его собственной холеной спины,—и, къ ужасу своему, замѣтилъ, что вскочилъ сразу на всѣ четыре ноги. Да-съ,—на четыре!.. вѣрнымъ счетомъ—четыре, да еще снабженныя плохо кованными, растрескавшимися копытами... Онъ даже взвизгнулъ отъ боли, зажалъ назадъ уши, крутнулъ ощипаннымъ хвостомъ и попытался было лягнуть, но его усиленно потянули за поводъ изъ стойла...

Роскошной обстановки уютнаго, комфортабельнаго кабинета какъ не было... холодная, сырая конюшня съ рѣзкимъ сквозникомъ вдоль корридора, съ прогнившимъ, занавоженнымъ, вонючимъ поломъ, еле мигающіе фонари—озлобленныя, красныя усатыя и бородатыя лица конюховъ, непечатная ругань и все тѣже хлесткіе, но полезные для нервной системы—суррогаты пресловутаго душа Шарко..

Повели на дворъ Христофора Богдановича, онъ шелъ и не упирался... онъ не протестовалъ болѣе, окончательно смирился

духомъ, только тяжело поводилъ своими отощавшими ребрами...

И, странно! Даже ощущеніе сытнаго, хотя и тонкаго обѣда въ его желудкѣ смѣнилось неблаговонной отрыжкою гнилаго сѣна...

Онъ шелъ медленно, спотыкаясь, натянувъ веревочный поводъ.

Рядомъ съ нимъ вели, въ такомъ же печальномъ видѣ, Карла Карловича Думеръ-Керлера, дальше виднѣлась сивая челка генерала Живодераго,—тотъ еще, энергично довольно, ржалъ и пофыркивалъ, тамъ дальше, въ полутьмѣ, мелькали еще знакомыя морды... Странно, что вездѣ ихъ узналъ Христіанъ Богдановичъ, хотѣлъ было хоть мимоходомъ, украдкою, сочувственно пожать имъ всѣмъ руки, но не могъ, по самой основательной причинѣ...

Довели ихъ всѣхъ до двора, гдѣ расположенъ былъ паркъ, запрягли, наградили снова душами Шарко, и медленно покатили по рельсамъ тяжелые вагоны, влекомые истощенными Россинантами.

Христофоръ Богдановичъ какъ-то отупѣлъ, всѣ его помыслы, вся ширь полета мысли съежилась въ одну машинальную потребность рысить, уткнувшись мутнымъ взоромъ въ безконечно длинную полосу между рельсами...

«День загорался на востокѣ» — какъ говорятъ поэты, и надъ нашимъ городомъ тоже стало какъ будто свѣтлѣй, движеніе по улицамъ усиливалось, звонки зазвонили чаще и нервнѣе, вагоны становились все тяжелѣе и тяжелѣе, кучера и кондукторы все злѣе и злѣе.

И наслушался-же Христофоръ Богдановичъ разговоровъ на перекресткахъ и конечныхъ станціяхъ.

— Однако позвольте! — вдругъ вспыхнулъ у него проблескъ разума и протеста.—Вѣдь это что же такое въ самомъ дѣлѣ! Вѣдь этакъ нельзя... я не скотина, а самъ директоръ!.. Я не позволю... городовой!..

Вагонъ въ эту минуту какъ разъ поровнялся съ угловымъ постомъ городового, но блюститель порядка даже не обратилъ вниманія на этотъ протестъ, а возница вытянулъ его еще чуть не сотню разъ кнутомъ, проворчавъ:

— Что ржешь—окаянный... Балуй!..

Съ непривычки-ли, или отчего другого, но только къ полудню Христофоръ Богдановичъ еле передвигалъ ноги; ревматическія боли въ колѣняхъ и бабкахъ давали себя чувствовать изрѣдка... И съ чего бы ревматизму?.. Все время въ теплѣ, въ холѣ... и помину о такой болѣзни не было, а тутъ вдругъ, да еще сразу застарѣлый...

А тутъ еще мучительный голодъ прицѣпился... такъ бы, кажется, сосѣдскій хвостъ оглодалъ бы до чиста, — да не ловко, повернуться трудно, да и сосѣдъ въ парѣ какъ будто незнакомый, должно быть, не изъ важныхъ акціонеровъ... А, можетъ быть, и не акціонеръ вовсе, а настоящая лошадь... и не всѣхъ, же лошадей теперь смѣнили директора и акціонеры... не хватитъ, пожалуй... Господи, какъ жрать хочется!.. Вотъ такъ аппетитъ нагулялъ! Нѣтъ, это уже не аппетитъ,—отрадный, желанный, нѣтъ! Это адскія муки голода, въ клочья рвущія всю внутренность!.. Въ полдень... да, въ полдень!.. Я, кажется, распорядился, чтобы въ полдень на остановкахъ навѣшивали-бы торбы съ овсомъ...

Но, подумавъ это, Христофоръ Богдановичъ,—съ отчаяніемъ въ душѣ и проклятіемъ по своему же собственному адресу—вспомнилъ, что всего третьяго дня онъ же самъ отмѣнилъ это распоряженіе, предложивъ только «попоить», не отягощая конскій желудокъ несвоевременнымъ пріемомъ пищевыхъ продуктовъ.

— Почему же это «несвоевременнымъ»... странно!..—началъ было снова философствовать «сивый меринъ». Христофоръ Богдановичъ былъ превращенъ именно въ «сиваго мерина»; какъ различны бываютъ разсужденія сытаго человѣка и голодной лошади!..

Попоили, дали передохнуть съ полчасика, снова запрягли...

Часовъ около четырехъ Христофора Богдановича нѣсколько развлекли двѣ встрѣчи: на углу Литейнаго и Фурштатской—линію рельсоваго пути пересѣкла шикарная коляска, запряженная парою сытыхъ, вычищенныхъ на славу рыжихъ рысаковъ—это были его собственныя лошади—краснощекій Ефремъ монументомъ возсѣдалъ на козлахъ, а въ коляскѣ между двухъ необычайно широко вздутыхъ рукавовъ, изъ подъ шляпки съ высокоторчащими врозь перьями, выглядывало довольное, смѣющееся личико Ольги Николаевны...

— Эхъ! —только крякнулъ отъ такой неожиданности Христофоръ Богдановичъ, но вмѣсто этого крика вышло совсѣмъ что-то другое, вызвавшее немедленное возмездіе со стороны угрюмаго возницы.

Другая встрѣча носила совсѣмъ иной характеръ: на углу Бассейной по другой линіи перекатывался вагонъ, запряженный въ одну лошадь. Вотъ эта-то лошадь заупрямилась на поворотѣ, стала даже бить и выпрыгнула изъ постромокъ. Лошадь эта поражала своею необыкновенною мастью—точно она была черная, но ее пытались выкрасить въ рыжую краску, или наоборотъ, но дождемъ пообмыло немного, и получилось что-то неопредѣленное... Двое конюховъ принялись приводить въ порядокъ строптивую клячу, даже чистильщикъ рельсовыхъ переводовъ подбѣжалъ съ метлою на подмогу... И вотъ въ этой то лошади Христофоръ Богдановичъ узналъ свою Элоизу Антоновну... Хотя его это и очень озадачило, такъ какъ онъ имѣлъ полное право думать, что она въ Парижѣ, но все-таки встрѣча на перекресткѣ значительно его утѣшила и успокоила...

Но, увы! Мимолетное утѣшеніе не могло болѣе смягчить возрастающей съ каждой минутой скорби.. Христофоръ Богдановичъ къ ужасу своему замѣтилъ, что часъ желанной и пока еще имъ самимъ не отмѣненной смѣны давно прошелъ, но этотъ блаженный часъ для него лично прошелъ безслѣдно... Всѣхъ смѣнили, на всѣхъ верхомъ сѣли синіе кафтаны и попарно потянулись домой, его, только его, оставили въ упряжкѣ, забывъ и теперь навѣсить милую, дорогую, горячо желанную торбу...

Изъ объясненій конюховъ между собою, онъ только узналъ, что молъ «этотъ пока еще гладкій—выдержитъ!.. Ничего!..» это на его счетъ, а на счетъ своего предшественника, гнѣдого мерина, что тотъ вчера поколѣлъ «два года всего побѣгалъ, третьяго не выдержалъ... отвезли на живодерню».

— Такъ обо мнѣ потомъ скажутъ, — грустно покачалъ головою скорбный директоръ.—Боже, ты мой, Боже, за что меня такъ горько испытуешь?!.

Въ глазахъ давно уже помутилось у бѣдняги, въ ногахъ послѣдняя сила изсякла, постромки еле-еле натягивались, и то какъ результатъ усиленной прогулки кнута по спинѣ и

бокамъ, съ прихватомъ даже частей болѣе нѣжныхъ... Стемнѣло небо, и замигали, одинъ за другимъ, загораясь, газовые фонари...

— Неужели же такъ и будутъ гонять до одиннадцати часовъ ночи?—подумалъ съ тоскою Христофоръ Богдановичъ.— Вѣдь этого нельзя! Это безчеловѣчно!.. Это у меня только въ проектѣ было... Неужели даже судьба за помышленія такъ жестоко наказываетъ...

И сталъ тутъ Христофоръ Богдановичъ каяться и мечтать, чтобы онъ теперь сдѣлалъ, если бы судьба вновь водворила его на директорское мѣсто,—вернула ему и прежній образъ, и прежнее значеніе...

Онъ далъ себѣ клятву распредѣлить правильно рабочіе часы, усилить кормовую дачу, улучшить помѣщеніе... Однимъ словомъ, создать не конюшни, а дворцы, не жизнь каторжную, а просто рай земной... Тутъ, среди этихъ фаустовскихъ мечтаній, неожиданно созрѣла у него рѣшимость непремѣнно воспользоваться случаемъ и продать хоть за полцѣны, хоть задаромъ, строптивую клячу неопредѣленной масти и продать куда-нибудь подальше, хотя татарамъ на шкуру... Но онъ не чаялъ еще новой бѣды, уже надвинувшейся надъ его многострадальной головою... Измученный до-нельзя, онъ все чаще и чаще началъ спотыкаться и, наконецъ, за пять минутъ до окончанія страднаго дня, всего за пять минутъ, споткнулся на полуповоротѣ, свалился на бокъ, и лѣвая задняя нога хрустнула въ бабкѣ, подъ накатившимся на нее тяжелымъ колесомъ вагона. Христофоръ Богдановичъ болѣзненно застоналъ и судорожно закрутилъ хвостомъ.

— Ишь, ты, каторжный!—не своимъ просто голосомъ завылъ возничій, и вдругъ, ни съ того, ни съ другого, принялся безъ разстановки, безъ удержа хлестать, по чему попало, бѣднаго директора... Вѣдь онъ былъ увѣренъ, что это лошадь...

Публика вышла изъ вагона, узнавъ въ чемъ дѣло, и запротестовала. Какой-то господинъ съ карманной книжкой въ рукахъ торопливо записывалъ, что-то приговаривая.

— Это безчеловѣчно! Это позоръ! Этого терпѣть нельзя! Завтра же во всѣхъ газетахъ!—Я имъ покажу, подлецамъ!..

Христофоръ Богдановичъ слышалъ эти слова, онъ глубоко

вздохнулъ и признательнымъ взоромъ привѣтствовалъ человѣка съ записною книжкою.

А человѣкъ сей, обращаясь къ публикѣ, какъ лекторъ въ аудиторіи, продолжалъ:

— Я спрашиваю васъ, господа, кто изъ нихъ выше, кто человѣчнѣе? Это ли бѣдное, замученное животное, или эти мерз...

Тутъ лекторъ громко, во всеуслышаніе произнесъ такое имя, что Христофоръ Богдановичъ отвернулся и уткнулся мордою въ грязный, вонючій снѣгъ, чтобы не быть узнаннымъ...

— Городовой!..—заоралъ во все горло кто-то изъ публики.

— Городовой!..—подхватили хоромъ другіе голоса.

— Городовой!..—неистово заоралъ и самъ Христофоръ Богдановичъ и разомъ проснулся...

Снова его кабинетъ,—передъ нимъ, вся озаренная свѣтомъ камина, стояла Ольга Николаевна и хохотала звонко, весело, не стѣсняясь не только безпорядочнымъ костюмомъ Христофора Богдановича, но даже присутствіемъ его камердинера...

— Вотъ какъ,—говорила хорошенькая, полная дамочка сквозь душившій ея смѣхъ...—Я прямо изъ театра... Я пріѣхала ужинать... Я думала, что вы меня ждете... ха-ха-ха!.. Гдѣ же устрицы, гдѣ замороженное шампанское ха-ха-ха!..

— Pardon, я... я сейчасъ...—засуетился все еще не проснувшійся, какъ слѣдуетъ, хозяинъ... Сейчасъ, сію минуту... Фома... овса!—Какъ можно больше овса и свѣжую подстилку...

Тутъ Ольга Николаевна широко открыла глаза и даже отступила шага на три...

Но, конечно, дѣло скоро все разъяснилось, и порядокъ былъ возстановленъ, не только въ мысляхъ осчастливленнаго хозяина, но даже въ сервировкѣ стола,—не въ большой, парадной столовой, а въ уютной библіотекѣ, рядомъ со спальнею.

ПРОКЛЯТЫЙ ПЕРСТЕНЬ

— Вотъ, милый Тоби, всего два года только, даже, собственно говоря, немного меньше, какъ пробылъ я въ отсутствіи, а совсѣмъ не могу понять: гдѣ мы и куда надо идти? Совсѣмъ сбился съ толку... проклятый туманъ!

— Это, Боби, тебѣ только такъ кажется, что сбился. Конечно, если бы было ясно, то было-бы гораздо яснѣе но ничего, я знаю хорошо дорогу и не ошибусь!

— Постой! Я самъ соображу: оставили мы трамвай у водокачки... такъ. Пошли прямо налѣво, мимо аптеки, — взяли по верхней набережной... Теперь надо-бы уже спускаться на нижнюю, и вотъ — я уже по запаху слышу эту нижнюю, а гдѣ же лѣстница?.. Проклятый туманъ!

— И лѣстницу найдемъ... Впередъ. Налегай на весла!.. Ты хорошо сдѣлалъ, что телеграфировалъ еще изъ Лондона— вотъ я тебя и встрѣтилъ... и вотъ я тебя веду... это хорошо! Потому что я твой другъ!

— Да, ты мой другъ... Держи меня крѣпче... Эка слякоть!

— Осторожно!.. А вотъ и лѣстница!.. Лѣвѣе держи!.. Такъ!

— Есть!

Друзья одѣты были въ непромокаемыя пальто съ остроконечными клеенчатыми капюшонами на головахъ, и всѣ тѣ, кого они встрѣчали, и тѣ, которые ихъ обгоняли и шли впередъ, всѣ были одѣты также, — всѣ, какъ одинъ, совсѣмъ одинаковыя, островерхія темныя фигуры, а тутъ еще сплошной туманъ, во мглѣ котораго тусклыми пятнами слабо свѣтили газовые фонари, ничего путемъ не освѣщая, скорѣе сбивая съ толку... Надо ближе держаться и окликаться; чуть разойдешься, — сейчасъ потеряешь другъ друга изъ вида, аукайся потомъ въ этомъ хаосѣ смѣшанныхъ звуковъ людной улицы... Нижняя

улица — самая людная улица во всемъ Фатьмутѣ; по ней во всю длину вытянулись рестораны, таверны и пивныя, а то и просто кабаки-бары. Время такое, что всѣ работы въ порту прикончены, и всѣ сидятъ уже въ теплыхъ насиженныхъ пріютахъ, кто поспѣлъ, а кто не поспѣлъ,—тѣ спѣшатъ, а пока толкаются на панели; и всѣ шумятъ, разговариваютъ, по случаю тумана особенно энергично окликаются... Запряженныя колоссальными конями—слонами тяжело тащутся громадныя телѣги, лязгая цѣпною упряжкою, шипитъ гдѣ-то по близости невидимый локомотивъ, выпуская пары, громыхаютъ трамваи, гоня передъ собою огненныя стрѣлы освѣщенныхъ рельсовъ. Изо всѣхъ почти дверей, особенно въ то мгновеніе, когда эти двери пріотворяются, впуская новыхъ посѣтителей, на улицы вырываются нестройные звуки грубой кабацкой музыки, взрыва хриплаго, уже пьянаго пѣнія...

— Держи меня, Тоби, подъ руку, такъ будетъ надежнѣе!

— Держу!

— Да скоро-ли, наконечъ, этотъ оаръ дяди Пупеля? Онъ прежде былъ гораздо ближе!

— Онъ и теперь на томъ же мѣстѣ. Смотрь

— Стопъ!—произнесъ Боби.

— Стопъ!—повторилъ и Тоби.

И оба пальцами уперлись въ матовое, слабо просвѣчивающее стекло, на которомъ крупными буквами было написано то же слово:--stop!

— Пришли!—произнесъ Тоби.—Я говорилъ что это здѣсь!

— Это здѣсь!—согласился Боби.

И они вошли.

Большая комната нижняго этажа была перегорожена длиннымъ столомъ-стойкою, заставленною холодными и горячими, правильнѣе, непрерывно подогрѣваемыми блюдами; но чтобы добраться до этихъ блюдъ, надо было или терпѣливо ждать очереди, или же попытаться пробиться силою сквозь эти ряды дюжихъ спинъ, черныхъ, сѣрыхъ, синихъ, съ пуговицами металлическими—военными и болѣе скромными—статскими, а то и безъ всякихъ пуговицъ, напрасно опоясанныхъ широкими ремнями. Тутъ, у стойки, пили и закусывали на-скоро, стоя; тѣ же, которые желали устроиться покомфортабельнѣе, пить и кушать, дружески бесѣдуя или развлекаясь игрою въ домино

и «трикъ-тракъ», тѣ должны были подняться этажемъ выше, куда съ улицы не врывались волны холоднаго, сырого тумана, гдѣ надо было, при входѣ, снять верхнее платье и принять, такъ сказать, видъ настоящихъ джентльменовъ.

Тоби и Боби прошли прямо на верхъ и не сразу, но всетаки нашли хорошее мѣсто. Тоби загнулъ, на всякій случай, третій стулъ и при этомъ, лукаво улыбаясь толкнулъ въ бокъ локтемъ своего пріятеля.

Сѣли. Два пальца, выразительно поднятые кверху, послужили совершенно яснымъ указаніемъ для «боя» въ зеленомъ фартукѣ, подошедшаго къ новымъ посѣтителямъ и принявшаго позу вопросительнаго знака.

При свѣтѣ большого электрическаго фонаря, шипящаго и нервно подмигивающаго подъ закопченнымъ, замысловато расписаннымъ потолкомъ, Боби оказался здоровый, рыжій малый, коротко остриженный, по военному, съ подстриженными, щетинистыми усами и бакенами, идущими отъ уха до разрѣза рта. Надѣта на немъ была солдатская тужурка, съ черными шнурами и тонкимъ галуномъ на воротникѣ. Онъ и былъ солдатъ, только три дня тому назадъ вернувшійся изъ южной Африки, и на его шеѣ была прилажена петлею черная тесьма, въ которую воинъ ловко продѣлъ свою лѣвую руку, какъ только та освободилась, исправно отслуживъ, совмѣстно съ своею правою товаркою, тяжелую службу вѣшанія намокшаго плаща на высоко прибитую вѣшалку, причемъ другъ его, Тоби, усмѣхнулся и снова подтолкнулъ его локтемъ.

— Такъ вотъ—я получилъ твою телеграмму изъ Лондона, но я ничего не говорилъ Кэтъ. Я сегодня написалъ ей, но ничего о твоемъ пріѣздѣ. Я даже схитрилъ:—я самъ ее спросилъ, не имѣетъ-ли она какихъ вѣстей отъ тебя. Она даже и не подозрѣваетъ, что ты вернулся... Ха-ха-ха!.. Я хотѣлъ сдѣлать ей маленькій сюрпризъ!

— Но она придетъ сюда и попадетъ прямо къ тебѣ въ охабку... Ха-ха-ха-ха!.. Будетъ трогательная, очень трогательная встрѣча. Вѣдь эта Кэтъ золото, а не дѣвка! Ей Богу!.. И если бы ты не былъ моимъ другомъ...

— Гм!..

Боби нахмурилъ строго то мѣсто, гдѣ у него предполагались брови, придавъ своему круглому, лоснящемуся лицу выраженіе кое-что подозрѣвающаго бульдога.

— Такъ какъ я тебя,—заговорилъ онъ,—дѣйствительно считаю своимъ другомъ то, надѣюсь, что ты мнѣ скажешь всю правду... Я уѣхалъ изъ Англіи нищимъ, въ карманѣ моемъ звякалъ только легкій остатокъ отъ денегъ на экипировку. Почти два года тяжелой, боевой жизни въ Африкѣ сдѣлали меня богатымъ человѣкомъ.. Мы порядочно тамъ поживились у этихъ голландскихъ свиней... Ого-го!.. Все наше! И теперь у меня насчетъ Кэтъ серьезные планы... Ты понимаешь, что дѣло идетъ о моей чести, о чести британскаго королевскаго солдата... это чего-нибудь да стоитъ. Скажи правду:— хорошо вела себя Кэтъ въ моемъ отсутствіи?

— Какъ монахиня! Удивительно даже... Невѣроятно! — А вѣдь были соблазны, да какіе!.. Помнишь напримѣръ, помощника аптекаря, съ угла площади?..

— Помню. Ухаживалъ?

— Еще какъ... и ни-ни...

— Ноги переломаю!

— Ну, братъ, такихъ вѣдь много было, всѣмъ не переломаешь... Да вѣдь они и правы. Тебя нѣтъ, гдѣ ты тамъ шляешься— ничего не извѣстно. Африка ваша велика, побольше нашего Фальмута, самъ ты ей не мужъ, а такъ только, въ родѣ жениха, или такъ, около того... Кэтъ красавица изъ красавицъ, первый номеръ всего квартала, десять шилинговъ въ день одною стиркою зарабатываетъ... Конечно, всѣ они правы. Но дѣло въ томъ, что Кэтъ, сама Кэтъ ихъ осаживала; она ждала все своего милаго друга Боби—и вотъ, наконецъ, дождалась!

— Дождалась!—улыбнулся плотоядно Боби.

— Въ девять часовъ у нихъ кончаются работы на прачешной, ну, полчаса надо ей принарядиться, ну, понимаешь тамъ, на разныя прикрасы... поприпалить завиточки на лбу и все прочее, — полчаса довольно, пятнадцать минутъ трамвай,—это не близко... Къ десяти она будетъ здѣсь какъ разъ. Теперь...

— Безъ десяти десять!—услужливо подскочилъ вопросительный знакъ въ зеленомъ фартукѣ.

Мальчикъ уже давно прислушивался; онъ многое уже сообразилъ и кое что сообщилъ кое-кому:—пріѣхалъ изъ далека, конечно, изъ Африки, съ театра войны, вѣроятно, станетъ разсказывать очень много интереснаго, особенно когда подвы-

пьетъ, а это будетъ навѣрное, судя по красному носу героя... Рука у него на перевязи, бывалъ, значитъ, въ боевыхъ передѣлкахъ, да и номеръ на воротникѣ извѣстнаго полка...

Глаза у боя разгорались, и онъ умышленно спросилъ, что нужно, у статскаго собесѣдника...

— Конечно, изъ Африки!—сильно возвысилъ голосъ Тоби.— Это нашъ извѣстный герой... Развѣ вы не слыхали, не читали?

— Это самъ Бобъ-Гукеръ!

Мальчикъ, конечно, ничего и не слыхалъ, и не читалъ про Боба Гукера. Потому что о немъ ничего нигдѣ и не писали, но это все равно,—онъ долженъ былъ знать такое громкое, извѣстное имя и, почтительно поклонившись герою, проговорилъ:

— Такъ это вы сами...

— Ну, пустяки, мой милый,—поскромничалъ Боби,—ты, конечно, узналъ меня по портрету, въ газетѣ, знаешь,—такая газета съ картинками... Ну, да это пустяки. А ты подай-ка намъ, или лучше скажи самому хозяину, чтобы отпустилъ намъ усиленный раціонъ, да не простого, солдатскаго, а штабъ-офицерскаго ранга, и приготовилъ бы на ужинъ горячій паштетъ съ ветчиною и ростбифомъ, сала чтобы побольше и изюму,—потомъ жареную утку, рыбу еще подъ какимъ-нибудь забористымъ соусомъ... и все это на трехъ. И чтобы было что-нибудь сладкое для дамы,—сейчасъ придетъ... Мармеладу что-ли, шоколаду или компоту,—а то, знаешь, я забылъ, какъ у васъ называется, такое желтое, его несутъ, оно горитъ синимъ огнемъ и пахнетъ преотлично ромомъ... Да еще... что ты дергаешь меня за рукавъ, дружище? Что ты боишься? Думаешь, дорого будетъ стоить, денегъ не хватитъ?.. Ха-ха... Смотри!

— Да я вовсе ничего тебя не дергаю, — успокоилъ его Тоби,—это тебѣ такъ показалось. А деньги убери, спрячь... не надо этого!

И онъ помогъ ему собрать золотыя монеты, которыя его пріятель успѣлъ уже высыпать на столъ.

— Да, денегъ у меня много! У меня еще что-то есть, но это для моей Кэтъ—это для нея... Эхъ! Ну, развѣ могутъ бравые королевскіе солдаты вернуться изъ Африки нищими? Никогда!..

И Боби, вставъ во весь свой богатырскій ростъ, высоко поднялъ надъ головою кружку и заоралъ:

— Да здравствуетъ наша королева!

Тутъ его другъ, Тоби, замѣтилъ, что герой, вѣроятно, еще дорогою заложилъ изрядный фундаментъ, а тутъ, въ трактирномъ теплѣ и винныхъ испареніяхъ, его стало, что называется, разбирать.

Патріотическій возгласъ не остался безъ отвѣта. Кое-гдѣ подхватили: — гипъ-гипъ! Двѣ краснощекія дамы въ яркихъ шляпкахъ, — въ верхней, чистой половинѣ ресторана такихъ было довольно много,—взвизгнули «ура!» и пересѣли поближе, а одинъ джентльменъ, очень прилично одѣтый, даже съ цилиндромъ въ рукахъ, весьма развязно подошелъ къ столу и отрекомендовался, назвавъ имя такое замысловатое и сложное, что его повторить было невозможно.

— Очень пріятно! — дружески хлопнулъ въ руку новаго знакомаго Боби.

— Пріятно!—повторилъ и Тоби, подозрительно косясь на джентльмена съ цилиндромъ, и слегка отстранилъ его, когда тотъ хотѣлъ было воспользоваться стуломъ, предназначеннымъ для Кэтъ.

Не прошло и минуты, когда всѣ посѣтители бара мистера Пунеля знали уже, что между ними находился знаменитый африканскій герой, и вокругъ стола, занятаго друзьями, стало даже немного тѣсновато.

У стола появились теперь два зеленыхъ фартука, бойко сервируя все, что слѣдуетъ, для, очевидно, исключительнаго ужина. Пришелъ еще третій фартукъ почтеннаго вида, съ сѣдыми бакенбардами, лысый во всю свою голову, и освѣдомился, какъ джентльмены прикажутъ подавать блюда: всѣ разомъ, или съ соблюденіемъ извѣстнаго порядка.

— Подавать все разомъ, когда придетъ дама!

— Онѣ уже пришли!—сообщилъ лысый фартукъ.

— А... Гдѣ?

Боби вдругъ поблѣднѣлъ и даже пошатнулся на ногахъ. Тоби бросился къ дверямъ на встрѣчу.

А въ дверяхъ, дѣйствительно, здоровенная дѣвушка, съ сильно развитымъ бюстомъ, круглолицая, грубо-красивая, уже замѣтила нашихъ друзей и энергично прочищала себѣ дорогу.

Такъ какъ почти уже всѣ посѣтители ресторана были, такъ сказать, въ курсѣ дѣла, то появленье Кэтъ встрѣчено было весьма сочувственно;—ей даже зааплодировали. Дѣвушка была очень смущена, особенно когда съ трудомъ высвободилась изъ медвѣжьихъ объятій своего жениха-героя... Она широко вытаращивъ свои круглые, темнокаріе глаза, озиралась по сторонамъ, немножко напоминая встревоженную сову, — но всѣ смотрѣли на нее такъ дружески, такъ ласково, такъ привѣтливо поднимали свои стаканы и кружки... Даже сомнительныя дѣвицы въ яркихъ шляпахъ и тѣ ей сочувственно подмигивали,— Кэтъ ободрилась и сдѣлала общій книксенъ...

Эта вѣжливость весьма всѣмъ понравилась.

Посадили невѣсту между Боби и Тоби, господинъ съ цилиндромъ сѣлъ за тотъ же столъ, дѣвицы еще пододвинулись ближе, подошло еще нѣсколько джентльменовъ, и, чтобы начать разговоръ, попросили у Кэтъ позволенія курить,—хотя курили всѣ и раньше, и надъ столами носились цѣлыя облака синяго табачнаго дыма. Разговоръ, очевидно, становился общимъ.

Вѣроятно, вѣсть о прибытіи африканскаго героя проникла и за стѣны ресторана, такъ какъ посѣтители все прибывали и прибывали, становилось душно...

Боби ѣлъ усердно, Тоби тоже, Кэтъ не заставляла себя просить, но, выпивъ почти залпомъ кружку эля, принялись сначала за пылающій сладкій пудингъ...

Интимные разговоры, конечно, отложены были до другого времени — неудобно было въ такой публикѣ, да къ тому же приходилось отвѣчать на сыпавшіеся перекрестнымъ огнемъ вопросы — и разговоръ, ставъ общимъ, захватилъ вопросы исключительно батально-политическіе...

Бобъ Гукеръ вошелъ въ свою роль энергично и беззастѣнчиво. Онъ говорилъ, возвышая голосъ. Онъ пилъ и разсказывалъ... Да нельзя же такъ много говорить и не промочить себѣ горла. Иногда онъ даже пѣлъ боевые сигналы, подражая звукамъ трубы... Онъ произносилъ—«пифъ» и «пафъ»! и даже— «бумъ»! когда приходилось намекнуть на пушки; но что у него особенно хорошо выходило,—это—«тррр...» удивительно похоже на звуки картечницы Максима.

Аудиторія сочувствовала герою, ему аплодировали: не разъ Тоби гордился своимъ другомъ, а Кэтъ разинула ротъ, зажала

руки между своихъ колѣнъ и смотрѣла на своего жениха восторженными глазами... Она, впрочемъ, очень многаго совсѣмъ не понимала. Она даже сомнѣвалась!.. Дѣйствительно, нужно ли для войны такъ уже много крови? Но вѣдь всѣ въ восторгѣ, значитъ, это хорошо... Значитъ, такъ и полагается...

— Пошли мы въ атаку!—говорилъ Боби, самъ даже задыхаясь отъ восторга.—Идемъ растянутой цѣпью все впередъ и впередъ... И трудно же было! Все въ гору, жара смертельная, буровъ, этихъ скотовъ, совсѣмъ не видно, будто и нѣтъ ихъ... Идемъ мы храбро — смѣло... Вдругъ сигналы:—«стой, стой!» Что такое? Скачутъ къ намъ два полковника, говорятъ, что тамъ, куда мы шли, непріятеля совсѣмъ нѣтъ никакого, что буры струсили и ушли совсѣмъ въ другую сторону... Посчастливилось имъ, что не дождались нашихъ штыковъ, крикнули наши молодцы ура! и расположились на отдыхъ... Тяжелое было время... А разъ попали мы подъ ихъ огонь, хорошо стрѣляютъ, собаки... Самъ генералъ подъѣхалъ къ намъ и говоритъ:

— Впередъ, мои британскіе львы! Мы и побѣжали...

— То-есть какъ—побѣжали?—усумнился кто-то изъ слушателей.

— Да очень просто. Стали маневрировать, мѣнять свою позицію, приводить наши войска въ безопасное положеніе... ушли довольно благополучно и оставили буровъ съ большимъ носомъ. Но вѣдь нельзя все впередъ и впередъ! Одна безсмысленная храбрость до добра не доведетъ, надо и искусство, умѣніе пользоваться обстоятельствами.

— Конечно, конечно...—раздались одобрительные голоса...

— А разъ мы шли въ резервѣ... намъ приказано было обезоруживать раненыхъ буровъ. Ихъ довольно-таки много валялось и корчилось въ полѣ, ловко тутъ наши поработали штыками... и нельзя было иначе; вотъ какіе были случаи:—лежитъ, словно убитый, не шелохнется, притворится мертвымъ, наши пошарятъ около него немного, оберутъ, что нужно, часы, кошелекъ, что изъ одежды, если хорошее, бросятъ и уйдутъ, а онъ, мерзавецъ, живъ, да тихонько и удеретъ... отползетъ въ сторону и поминай, какъ звали. . Выздоровѣетъ, да опять къ своимъ пристроится... развѣ такъ можно допускать?

— Ловкіе шельмы!

— Но мы-то поняли эту воровскую уловку... Пришпилишь его хорошенько штыкомъ, онъ и подастъ голосъ, завопитъ...

— Ой-ой--ой, какъ страшно!—вздохнулъ кто-то изъ слушателей...

Дѣвицы въ яркихъ шляпкахъ поблѣднѣли, и одна взялась за свою грудь, словно ее тошнить начало... Даже Кэтъ что-то нехорошее почувствовала на сердцѣ и попыталась было слегка отодвинуться отъ разсказчика.

— Куда ты? Постой!—придержалъ ее Боби Гукеръ...—Я вотъ увлекся немного и забылъ совсѣмъ о тебѣ, о моей милой, дорогой Кэточкѣ. Ха-ха... Вы позволите, господа...

Онъ обнялъ ее за шею и хотѣлъ было звучно поцѣловать въ самыя губы, да та отвернулась...

— А это видѣла?

Боби разстегнулъ свою куртку и вытащилъ изъ внутренняго, заколотаго булавкою кармана маленькій свертокъ. Солдатъ тщательно и медленно принялся его развертывать. Кэтъ снова подвинулась ближе, и глаза ея загорѣлись любопытствомъ.

— А это видѣла?—снова повторилъ Боби, и въ его толстыхъ пальцахъ сверкнула словно огненная искра...

— Ого!—первый произнесъ джентльменъ съ цилиндромъ.

— Неужели настоящій?..

— И такой величины!..—раздались голоса...

— Это что же?—произнесла Кэтъ и даже задохнулась слегла отъ волненія.

— Это, моя красавица, твое приданое. Можешь его взять и надѣть на свой пальчикъ. Только ты знаешь-ли, можешь-ли понять, моя дорогая простушка, что стоитъ эта стеклянная штучка? Ха-ха—стеклянная!..

— Большихъ денегъ стоитъ,—покачалъ головою Тоби.—Я думаю, не менѣе пятидесяти фунтовъ...

— И за сто не купишь!—тономъ знатока замѣтилъ и солидный джентельменъ...

— Позвольте взглянуть?—подошелъ самъ мистеръ Пупель.—Ого!—онъ взялъ перстень, внимательно осмотрѣлъ, подышалъ на камень, протеръ кончикомъ салфетки, попробовалъ даже на кончикъ языка и, возвращая его Кэтъ, авторитетно рѣшилъ:—Меньше какъ за двѣсти пятьдесятъ фунтовъ отдать нельзя. Я самъ дамъ охотно эту сумму!

У Кэтъ замерло сердце отъ такой колоссальной суммы. Вѣдь это цѣлое для нея состояніе... Она смотрѣла на своего жениха, какъ на какое-то сверхъестественное чудо... и не сопротивлялась теперь, когда тотъ притянулъ ее вплотную къ своей груди, сжалъ въ объятіяхъ и чмокнулъ такъ звонко, что всѣ весело расхохотались...

— Ловко!—произнесли зеленые фартуки...

— Надѣюсь, что нашъ блестящій представитель нашей геройской арміи,—обратился къ нему джентльменъ въ черномъ сюртукѣ,—намъ раскажетъ, какой побѣдѣ обязанъ онъ такимъ богатымъ пріобрѣтеніемъ.

— Охотно!—засмѣялся Боби Гукеръ...—Очень даже охотно... Садитесь, господа, поближе, да не стѣсняйтесь. Если кто желаетъ элю или чаю, не стѣсняйтесь. Я теперь въ ударѣ и плачу за все...

Всѣ кругомъ стихли и приготовились слушать. Въ дальнихъ углахъ зашумѣли было, да ихъ остановили дружныя шиканья...

— Взяли мы штурмомъ одну ферму,—началъ Бобъ.—Отрядъ нашъ былъ маленькій, всего полурота съ лейтенантомъ Морисономъ... Хорошій былъ офицеръ, очень меня любилъ... Онъ взялъ меня къ себѣ въ услуженіе, но жили мы совершенно какъ два брата, хорошій былъ офицеръ лейтенантъ Морисонъ. Такъ вотъ, взяли мы штурмомъ ферму, собрались было ломать ворота, да ихъ отперъ намъ работникъ чернокожій, но это все равно! Еслибъ чумазый дьяволъ не отперъ добровольно, все равно, мы-бы выломали... Вошли, разставили часовыхъ, приступили къ осмотру и обыску. Въ домѣ нашли двухъ дамъ: одна старая, совсѣмъ сѣдая, какъ сова, злобно такъ на насъ косилась, а другая молодая, полная, лѣтъ этакъ тридцати, а то и меньше. Аппетитная, чортъ возьми, бабенка! А больше — ни души... Пока это шелъ настоящій осмотръ, лейтенантъ все глазъ не спускалъ съ молодой, да и говоритъ, обращаясь къ ней:

— Вы-бы, сударыня, ушли вонъ въ ту комнату... это спальня, должно быть, ваша, а то солдаты мои хоть и джентльмены, но все-таки могутъ сказать какую-нибудь неприличность...

— Голландка поблагодарила за любезность, кивнула старухѣ, чтобы, значитъ, шла вмѣстѣ, но я не промахъ—понялъ

сразу планъ лейтенанта и обращаюсь къ старой вѣдьмѣ, прошу на минуту остаться на два слова, на одну только минуту... Мы тогда еще церемонились съ такими дѣлами, все-таки пріятнѣе, если эти дѣла дѣлаются почти по обоюдному согласію... Такъ мы этихъ дамъ и раздѣлили. Вывелъ я старуху на крыльцо, крикнулъ я своимъ, тѣ ее сейчасъ черезъ дворъ, да въ сарай и заперли. Вернулся къ своему лейтенанту, а уже тамъ возня такая поднялась, что страхъ. Слышу голосъ лейтенанта:

— Боби, ко мнѣ!

— Ага, думаю, одному-то не справиться, помощь потребовалась, это мы можемъ, дѣло бывалое, а что-же бы вы думали! Попалъ какъ разъ во-время. Смотрю, та вся ободранная, лицо расцарапано, у моего лейтенанта тоже кровь на лицѣ, но это бы еще ничего!.. Это что! — Кто съ бабою не дрался... Другая бѣда грозила моему другу, смертельная... Очень ужъ увлекся офицеръ,—сбираясь повторить атаку, и не замѣтилъ, какъ откуда-то, чортъ его знаетъ откуда, выползъ малышъ, лѣтъ этакъ восьми, ну, десяти не больше, и норовитъ ножомъ лейтенанта, да прямо въ животъ... Долго ли до грѣха. Только спасъ Богъ!.. Во время я поддалъ этого проклятаго волченка ногою... Нога то у меня не легкая, въ кованномъ сапогѣ со шпорою—какъ двинулъ я мальченку, куда и ножъ полетѣлъ изъ его лапокъ—взлетѣлъ онъ, какъ мячъ, перевернулся въ воздухѣ, да какъ хватится головою о чугунную печь, только мозги вылетѣли... Молодая баба завизжала, глаза у ней подъ лобъ закатились, успѣла только крикнуть: проклятые! да и грохнулась на полъ. Лейтенантъ мой ослабѣлъ должно быть, да какъ кинется вонъ на свѣжій воздухъ... Ну, а я остался...

— Зачѣмъ остался?—спросилъ кто-то.

Спросила-то Кэтъ, только голоса ея не узнали, да и лицо ея все перемѣнилось. А Боби Гукеръ продолжалъ:

— Вѣдь у ней платье было разорвано, съ одного плеча совсѣмъ вплоть до пояса сорвано, шея и грудь вся наружу, а какъ повалилась навзничь, такъ и вовсе — на вотъ тебѣ! Вотъ я и вижу, что на шеѣ у ней шнурочекъ, а на шнуркѣ мѣшочекъ подозрительный. Вотъ я этотъ мѣшочекъ сорвалъ, пошарилъ, еще нѣтъ-ли чего, на добычу въ карманъ. Послѣ, молъ, разсмотрю, что за находка?.. Вотъ въ этомъ-то мѣшечкѣ и завалялся этотъ перстенечекъ со стеклышкомъ... Это уже

твое счастье, твоими молитвами, мой ангельчикъ. Я тогда-же о тебѣ вспомнилъ, когда разсмотрѣлъ, въ чемъ дѣло... Ну, дай же, я тебя еще разъ поцѣлую, моя голубка!

Но тутъ произошло нѣчто, смыслъ чего не сразу всѣ поняли.

Кэтъ съ силою рванулась изъ объятій Боби, чуть не опрокинула столъ, заставленный бутылками и объѣдками блюдъ, швырнула прямо въ лицо своему жениху драгоцѣнный перстень и, отхаркнувшись, мѣтко плюнула ему туда-же...

— Мерзавецъ, подлецъ, воръ, проклятый помощникъ палача!..—кричала она, задыхаясь отъ бѣшенства... Потомъ зарыдала, и въ ея рыданіяхъ слышалось:

— А я, было, думала, что ты вернешься честнымъ солдатомъ!..

Дѣвушка почти бѣгомъ миновала всѣ залы ресторана, сшибла даже съ ногъ двухъ захмѣлѣвшихъ джентльменовъ и скрылась за дверью.

Съ минуту царило общее молчаніе.

— Нѣтъ, этого нельзя такъ оставить!—первый заговорилъ джентльменъ въ черномъ сюртукѣ съ цилиндромъ. — Этого нельзя такъ оставить... Это я говорю! Въ лицѣ нашего браваго войска оскорблено гордое британское знамя, поругана наша блестящая армія... Это такъ оставить нельзя. Кто эта женщина?

— А это ирландка одна—она прачкою служитъ въ домѣ Бруксъ и компанія,—сообщилъ мистеръ Пупель...—я ее знаю Необузданная дѣвка и очень дурного поведенія...

— Ирландка! — протянулъ джентльменъ.—Ну, такъ я и зналъ,—ни одна англичанка не могла бы быть способна на такую наглую неблагодарность... Ирландка—это другое дѣло... Но, во всякомъ случаѣ, надо составить актъ... Вы, милостивый государь,—онъ обратился къ Боби,—вы ничего не будете имѣть, если мы начнемъ дѣло о гнусномъ оскорбленіи публично, въ вашемъ благородномъ лицѣ, гордаго, незапятнаннаго британскаго знамени?..

— А кольцо!?—вдругъ опомнился, наконецъ, Боби.—Кольцо гдѣ? Она его швырнула, оно должно быть здѣсь... Надо искать... Помогите, господа, ради Бога!..

И всѣ бросились искать,—очень усердно искали, но ничего не нашли, принесли ручныя лампы, зажигали свѣчи, чиркали

спичками, лазали подъ столами — кольцо какъ сквозь землю провалилось.

— Вѣдь это цѣлое состояніе!—всхлипывалъ Боби, на этотъ разъ почти отрезвѣвъ отъ перенесеннаго потрясенія... И вдругъ его осѣнила мысль:

«А если Кэтъ только видъ сдѣлала, что швырнула, а сама зажала его въ рукѣ... А если...» Тутъ онъ громко рѣшилъ:

— Это кольцо унесла съ собой дѣвка... Она потеряла на него права, значитъ, она его украла! Тоби, другъ, гдѣ она живетъ?

— Конечно она его украла!—согласился и джентльменъ съ цилиндромъ и даже самъ мистеръ Пупель.

— Конечно, она его украла!—послышались и другіе болѣе увѣренные голоса...

Обвиненіе тяжкое, грозящее бѣдной Кэтъ большими непріятностями... Но тутъ поднялась на ноги и даже влѣзла съ ногами на столъ одна изъ пестрыхъ шляпокъ.

— Джентльмены!—закричала она визгливымъ голосомъ — Стыдно такъ обижать честную дѣвушку... Стыдно! Я сама видѣла, какъ этотъ перстень звякнулъ о поганый носъ этого хвастуна и враля...

— Что?!—заорали негодующіе голоса...—Что она говоритъ? Какъ смѣетъ!

— Плевать мнѣ на ваши крики! Не испугаете. Анна, дай-ка мнѣ вонъ ту пустую бутылку, на всякій случай... Слушайте, джентльмены! Я сама видѣла, какъ перстень потомъ ударился объ столъ, какъ свалился и откатился въ мою сторону и прямо къ моимъ ногамъ. Вотъ онъ!

И всѣ увидали въ ея рукахъ знакомую ярко сверкающую точку.

— Эхъ!—продолжала пестрая шляпка, все еще стоя на столѣ.—Хотѣла было я удержать эту пустяковину, думала — пожить по человѣчески, да вижу, что вы, джентльмены, собирались погубить невинную, честную работницу — совѣсть моя и заговорила...

Она соскочила со стола и подбѣжала къ Бобу...

— На тебѣ, бери въ руки... Смотрите! При всѣхъ отдаю!.. Только берегись: на этомъ кольцѣ—кровь младенца... Кто его будетъ носить, быть тому повѣшенному... Ха-ха-ха!.. Анна, пойдемъ...

— И то правда! Уйдемъ, Женни, а то еще поколотятъ... Они вѣдь всѣ храбры съ бабами... Слышала?

И дѣвушки, накинувъ легкіе плащики и забравъ свои дырявые зонтики, направились къ выходу...

Но тутъ еще не кончились всѣ злоключенія африканскаго героя. За ужинъ и все выпитое пришлось расплачиваться. Самъ мистеръ Попель стоялъ передъ джентльменами съ предлиннымъ счетомъ. Боби Гукеръ искалъ свой кошелекъ съ золотомъ, тотъ самый, что всѣ видѣли, но этого кошелька не оказалось, его, очевидно, въ общей суматохѣ укралъ кто-нибудь изъ патріотовъ. И попалъ злополучный перстень съ руки хозяина бара «стопъ» какъ залогъ до полной расплаты.

КРОВАВАЯ ЕЛКА.

Это была особенная комната, самая большая во всемъ домѣ. Дѣтей въ нее не пускали. Если имъ и приходилось бывать въ этой комнатѣ, то только случайно и то очень рѣдко.

Помѣщалась она въ нижнемъ этажѣ, около большихъ сводчатыхъ сѣней. Прямо, вверхъ вела широкая лѣстница, покрытая темно-краснымъ сукномъ, а направо—тяжелая дубовая дверь, ведущая въ завѣтную комнату, какъ разъ напротивъ той двери, изъ которой выходилъ старый швейцаръ на призывъ дверного колокольчика.

И, дѣйствтиельно, эта комната была особенная... Наверху много другихъ комнатъ, поменьше, все такія красивыя, свѣтлыя; на окнахъ цвѣты и тропическія растенія и кружевныя занавѣси, на стѣнахъ чудныя картинки въ золотыхъ рамахъ; мебель такая красивая, легкая или широкая, мягкая, крытая бархатомъ и шелкомъ... Ужъ я и не говорю про чудную, уютную дѣтскую, гдѣ все такъ мило, такъ свѣтло и привѣтливо... А ужъ про мамину спальню и говорить нечего: совсѣмъ, какъ описываютъ въ волшебныхъ сказкахъ!.. О, это какая-то страшная комната!..

Костѣ уже десять лѣтъ, онъ былъ «тамъ» чаще, онъ ничего не боится, а семилѣтняя Нина, та, какъ побывала первый разъ, такъ всю ночь спать не могла, все ей страшные звѣри мерещились... Да вотъ я сейчасъ разскажу, что это была за комната.

Потолокъ у ней былъ высокій, сводчатый. Съ него спускалась люстра, вся сдѣланная изъ оленьихъ роговъ и ножекъ съ копытцами; на каждомъ кончикѣ рога былъ придѣланъ подсвѣчникъ съ оплывшею желтою свѣчкою. По стѣнамъ и прямо посреди комнаты были разставлены неудобные, странные

такіе кресла и табуреты, тоже изъ роговъ и ножекъ съ копытами; вдоль одной стѣны стоялъ широкій, громадный диванъ, покрытый звѣриными шкурами, и на полу лежали шкуры, нѣкоторыя даже съ головами и когтистыми лапами... Головы были ужасно свирѣпыя; опасно даже ногу ставить по близости, того и гляди—въ нее вцѣпятся острые зубы... Но тѣ головы, что висѣли на стѣнахъ, тѣ были еще страшнѣе, совсѣмъ какъ живыя, особенно голова чернаго кабана, съ четырьмя торчащими врозь клыками, съ густой щетиной, вихромъ торчащей между растопыренныхъ ушей... Были головы волчьи, лисьи, еще какихъ-то невѣдомыхъ звѣрей, а то были кроткія головки козочекъ и оленей съ вѣтвистыми рогами. У этихъ головъ черные, выпуклые глазки смотрѣли кротко, даже жалостливо... Нина была увѣрена, что когда у этихъ головъ было еще и все остальное, — глазки эти глядѣли гораздо веселѣе.

Въ одномъ углу находился каминъ съ такимъ громаднымъ жерломъ, что взрослый человѣкъ могъ входить, слегка только нагнувшись... Когда этотъ каминъ топили, то въ него ставили стоймя цѣлыя бревна, а когда эти бревна пылали, то не надо было никакихъ лампъ, никакихъ свѣчей, такъ дѣлалось свѣтло въ этой комнатѣ, а все-таки страшно, потому что свѣтъ былъ красный, какъ отъ пожара, и по стѣнамъ, и по потолку двигались причудливыя, черныя тѣни... Какъ разъ противъ камина висѣла ужасная картина; она изображала бѣднаго оленя, окруженнаго собаками. Несчастное животное выбивалось уже изъ силъ, готово было упасть отъ изнеможенія, а кругомъ, яростно лая, разинувъ зубатыя пасти, стояли собаки, готовыя вотъ-вотъ растерзать бѣдное животное. Рядомъ висѣла другая картина, еще страшнѣе—она изображала битву дикаго кабана съ цѣлою собачьей стаею. Все перепуталось въ ужасной схваткѣ; на воздухъ взлетали собаки съ распоротыми животами, съ выворочеными внутренностями... Все — и кабанъ, и псы, и кусты кругомъ, и земля—все было залито кровью, а на помощь къ собакамъ бѣжали люди, тоже съ такими-же страшными, злыми глазами, какъ у собакъ, и съ острыми ножами въ рукахъ.

Кромѣ того, по стѣнамъ, всюду, гдѣ только нашлось мѣстечко, чтобы можно было что-нибудь повѣсить,—вездѣ вид-

пѣлись чучела зайцевъ, тетеревовъ съ развилистыми хвостами, съ красными бровками, дикихъ гусей и утокъ, а недалеко отъ люстры, тоже съ потолка, на тонкой желѣзной проволокѣ висѣлъ красивый, бѣлый, какъ снѣгъ, лебедь, но висѣлъ какъ-то странно, словно онъ не леталъ въ воздухѣ, а стремительно падалъ внизъ, безнадежно растопыривъ крылья, а въ него, въ плечо, подъ лѣвымъ крыломъ, вцѣпился пестрый ястребъ и рвалъ бѣдную птицу и когтями, и клювомъ, такъ что алая кровь текла и пачкала бѣлоснѣжныя перья.

По сторонамъ камина стояли на дыбахъ два громадныхъ бурыхъ медвѣдя—и оба съ подносами въ лапахъ; на одномъ подносѣ графинъ со стаканомъ, а другой съ кучею визитныхъ карточекъ. Выраженіе этихъ медвѣдей было такое свирѣпое и, вмѣстѣ съ тѣмъ, хитрое, будто они задумали: «а ну-ко, протяни кто свою лапу къ графину, такъ сейчасъ и хапну!»

Но что было самое интересное—и не только не страшное, а даже пріятное на видъ — это три большихъ стеклянныхъ ящика въ оконныхъ простѣнкахъ. Въ одномъ помѣщалась цѣлая семья зайцевъ, большихъ, взрослыхъ, и зайчатъ; милые звѣрьки, особенно молодежь, весело рѣзвились, то-есть, дѣлали только видъ, что рѣзвятся, и кушали травку и капустные листики.

Въ другомъ ящикѣ, въ болотныхъ кочкахъ, пріютилась группа долгоносиковъ, бекасовъ и куличковъ, — ну, совсѣмъ какъ живые! А въ третьемъ ящикѣ — семьи куропатокъ и пестренькихъ перепелокъ...

Костя обстоятельно разсказывалъ Нинѣ, что всѣ эти птички и звѣрьки, даже страшные медвѣди, не живые, а все-таки настоящіе, что когда они были живые, то тогда они и бѣгали, и летали, и визжали, и пищали, кусались и брыкались, а теперь они уже ничего этого не могутъ, потому что стали чучелами, и теперь можно медвѣдю съ графиномъ всю руку засунуть въ пасть,—не тронетъ, куропатокъ брать просто руками,—не улетятъ, а въ стеклянные глазки хоть пальцемъ тыкать,—не сморгнутъ и не мигнутъ даже...

Странная и, вмѣстѣ съ тѣмъ, страшная комната!.. Нина ни за что-бы на свѣтѣ, ни даже за цѣлый фунтъ сливочныхъ тянушекъ, не осталась-бы въ ней одна, не только вечеромъ, при свѣтѣ камина, а даже среди бѣлаго дня, когда подняты

шторы во всѣхъ трехъ окнахъ, почему-то защищенныхъ снаружи желѣзными рѣшетками.

Конечно, въ такую комнату незачѣмъ ходить дѣтямъ... Костя еще бѣгалъ иногда на призывъ отца или кого-нибудь изъ «дядей», а Нину никогда туда не звали.

Тамъ собирались папины пріятели охотники, громко смѣялись, говорили на перебой, много пили и даже сами жарили какое-то мясо—на угольяхъ, въ каминѣ, — они увѣряли, что такъ гораздо вкуснѣе, чѣмъ то, что подавали на блюдахъ, въ столовой... Не было счастливѣй минуты для маленькаго Кости, когда его позовутъ смотрѣть трофеи только-что поконченной охоты. Нина тоже разъ, въ окошко изъ дѣтской, видѣла крестьянскія сани, запряженныя бурою лошадкою; эти сани были полны битыми зайчиками, и виднѣлись даже двѣ лисьи морды... Хотя всѣ эти «упокойнички», какъ говорила няня, и были прикрыты рогожами, однако кровь была очень уже замѣтна и на санныхъ отводахъ, и даже на полозьяхъ, а дворовыя собаки лизали эту кровь, нюхали подъ рогожи и весело махали своими пушистыми хвостами.

Нина послѣ этого совсѣмъ не могла кушать зайчиковъ, и ей дѣлалось очень грустно, не только когда подавали этого милаго звѣрька цѣликомъ, но даже когда его кусочки совсѣмъ незамѣтны были въ рагу, гдѣ, конечно, всегда трудно разобрать, изъ чего оно составлено.

А Костя ничего!.. Онъ отъ такихъ пустяковъ не разстраивался и очень былъ радъ, когда удавалось такъ притаиться въ комнатѣ нижняго этажа, что его не сразу замѣчали, а потому и не выгоняли... Онъ тогда жадно вслушивался въ охотничьи разсказы, былъ очень внимателенъ, все запоминалъ, — и разъ, наверху, при гостяхъ и при мамѣ, сказалъ такое слово, что мама покраснѣла и укоризненно посмотрѣла на папу, а тотъ взялъ Костю за ухо и вывелъ вонъ изъ гостиной.

Надо, однако, сказать, что, какъ замѣтила даже семилѣтняя, но умненькая Нина, и сама мама этой странной комнаты не любила.

Не знаю уже почему, по какимъ соображеніямъ, случилось такъ, что, на этотъ годъ, рождественскую, обычную елку — предположено было устроить именно въ охотничьей комнатѣ нижняго этажа... Прежде елку ставили въ бѣлой залѣ, гдѣ по-

мѣщался рояль. Въ памяти малютки Нины накопились уже четыре елки, и всѣ въ той-же бѣлой залѣ; тамъ было такъ свѣтло, такъ весело, Нина была не рада этой перемѣнѣ, зато Костя былъ въ восторгѣ; онъ скакалъ на одной ножкѣ, становился на четвереньки и даже перекувыркнулся разъ черезъ голову. Онъ хвасталъ, что непремѣнно влѣзетъ медвѣдю на шею и сядетъ верхомъ, какъ онъ часто садился на шею дворецкаго Максима,—онъ увѣрялъ, что ему, навѣрное, подарятъ маленькое ружье, настоящее, которое стрѣляетъ огнемъ и даже дымомъ, и тогда онъ прицѣлится въ самый лобъ страшному, клыкастому кабану и выпалитъ громко-громко на всю комнату, а ужъ этихъ куропатокъ и перепелокъ, что сидятъ въ ящикѣ, онъ всѣхъ перестрѣляетъ. При этомъ обѣщаніи, онъ отвелъ свою сестру въ уголокъ и тихонько показалъ ей цѣлую горсть оловянной дроби, которую онъ добылъ, подпоровъ низокъ у оконной шторы. Коля говорилъ ей:—Знаешь, эту мелкую дичь нельзя стрѣлять пулею, ее надо убивать мелкою дробью. Бацъ!—И разомъ всѣ посыпятся мертвыя! Вотъ ты увидишь!

Нина заплакала.

Маленькій охотникъ посмотрѣлъ на сестру съ сожалѣніемъ и даже легкимъ презрѣніемъ и пожалъ плечами.

Гости стали съѣзжатся къ обѣду. На этотъ разъ гостей было особенно много, и весь дворъ былъ установленъ санями и крытыми возками. Много набралось разряженныхъ дѣтей,—ихъ всѣхъ усадили за столъ, накрытый особо. Было очень весело за обѣдомъ, и подавали много-много сладкаго.

— Послѣ обѣда,—говорилъ Костя своимъ сосѣдямъ,—большимъ всѣмъ будутъ подавать кофе и разныя красивые графины, намъ не дадутъ, и пить этотъ кофе будутъ «тамъ». Мы тоже всѣ пойдемъ «туда» попарно и подъ музыку!

Хотя все это устраивалось подъ большимъ секретомъ отъ дѣтей, но Костя зналъ; онъ даже ухитрился два раза, незамѣтно ни для кого, заглянуть на самое мѣсто дѣйствія и видѣлъ, что на блюдо у праваго медвѣдя, вмѣсто карточекъ, уже навалена была груда конфектъ, мармеладу и пряничковъ, кромѣ того, онъ слышалъ, еще рано, когда было на дворѣ

совсѣмъ темно, какъ шуршали вѣтви большой елки, которую протаскивали черезъ парадныя двери.

Дѣйствительно, какъ только встали изъ-за стола, одна изъ пріѣзжихъ «тетей», обѣдавшая на самомъ дальнемъ концѣ большого стола, сѣла къ роялю и заиграла маршъ; на звуки этого рояля откликнулся другой рояль, далеко внизу; всѣ встали и дѣтей начали выстраивать попарно. Тронулись и стали спускаться по лѣстницѣ, устланной мягкимъ краснымъ ковромъ.

Раздались веселые дѣтскіе крики, многіе захлопали въ ладошки. Нина даже глазки зажмурила отъ яркаго ослѣпительнаго свѣта. Страшная, всегда полумрачная охотничья комната преобразилась въ какой-то сказочный, волшебный храмъ, сверкающій всѣми огнями. Все лишнее, всѣ эти рогатки, табуретки и диванчики были куда-то вынесены, и зала стала гораздо просторнѣе. Посрединѣ возвышалась кудрявая, ароматная ель; вѣтви ея вершины спутались съ рогатыми вѣтвями большой люстры, и на всѣхъ кончикахъ искрились разноцвѣтные огоньки. Вся ель была убрана бѣлою ватою, ну, точно настоящій снѣгъ, и опутана тончайшими серебряными нитями, обсыпана мелкими блестками,—по вѣтвямъ, то выглядывая изъ глубины, то совсѣмъ выбравшись на видъ, были размѣщены чучелки бѣлочекъ, желтенькихъ и сѣренькихъ, сидѣлъ большой, черный тетеревъ косачъ съ красными бровками. Вокругъ этого великолѣпнаго дерева, весь полъ былъ устланъ бѣлою ватою, тоже обсыпанною блестками, и подъ корнями видны были группы зайчиковъ и даже двѣ лисицы, до половины вылѣзшія изъ своихъ норокъ. Большіе черные медвѣди были выдвинуты на середину, подставки ихъ, прикрытыя серебристою ватою, совсѣмъ не были видны, точно они дѣйствительно стояли на снѣгу, и на подносахъ у медвѣдей.—Костя сказалъ правду,—лежали всякія угощенія, самыя такія любимыя... Ахъ! Чего-чего только не предлагали дѣтямъ страшныя лѣсныя чудовища!

Каминъ не топили, однако, въ немъ было очень свѣтло. Громадное жерло этого камина превращено было въ роскошную гостиную, всю уставленную великолѣпною мебелью. На крохотныхъ стульяхъ, диванахъ и креслахъ,—все красивыя куколки и къ каждой куклѣ былъ приколотъ бантикъ съ би-

стикомъ, а на билетикахъ номера. Кромѣ того, стояли столы, освѣщенные канделябрами, а на столахъ разложены подарки для взрослыхъ и для мальчиковъ. Костя давно уже намѣтилъ мѣстечко, гдѣ лежали ружье, патронташъ и мѣдный охотничій рогъ!.. Онъ вполнѣ былъ увѣренъ, что это все именно для него и, набивъ предварительно карманы мятными пряниками, держался все время по близости соблазнительныхъ предметовъ. А Нина, сначала ослѣпленная яркимъ свѣтомъ, оглушенная громкими, радостными голосами ребятишекъ, побѣждавшими даже звуки рояля, пришла въ себя, оправилась и начала пристально всматриваться во все окружающее.

Прежде всего ей бросилась въ глаза семья бѣлыхъ куропатокъ съ черными глазками. Папа съ хохолкомъ взобрался на вѣточку и распустилъ хвостикъ, а мама растопырила крылышки и подобрала подъ себя прелестныхъ желтенькихъ дѣтенышей... Нина присѣла на корточки, протянула ручку, чтобы погладить маму по головкѣ. Птица не сопротивлялась, а дѣтеныши даже не испугались нисколько. Нина взяла одного на руки, то-есть, попыталась взять, но крѣпкая проволока не пускала.

— «Они будто совсѣмъ живые, они и были живые, но ихъ застрѣлили, содрали шкурки и напихали внутро ваты и проволоки. Они теперь мертвые, а сдѣланы какъ живые. Они теперь чучелки!..». Такъ ей объяснялъ кто-то изъ гостей, замѣтившихъ попытку дѣвочки.

Вѣдь и братъ Костя говорилъ ей то же самое. — «Хоть пальцемъ въ самый глазъ тычь, не моргнетъ», припомнились Нинѣ объясненія брата.

Доброй дѣвочкѣ совсѣмъ перестало быть весело. Она съ грустью смотрѣла на миловидныхъ зайчиковъ и бѣлочекъ, замершихъ въ своихъ позахъ, какъ кого пришпилили, ей жалко было и хитрыхъ лисичекъ, и всѣхъ этихъ красненькихъ птичекъ, крѣпко придѣланныхъ къ своимъ подставочкамъ... жалко стало даже злыхъ медвѣдей, особенно одного, который предлагалъ бѣлое и розовое питье, потому что у него, какъ разъ на животѣ, немного распоролся шовъ, и изъ этой «раны» дѣйствительно высовывалось что-то въ родѣ мочалы, не то соломы.

«Его убили, шкуру съ него содрали»... Опять мелькнуло въ головѣ Нины.

А эти олени съ роскошными рогами, эти кроткія козочки... все вѣдь это когда-то жило, радовалось... все это... Нинѣ стало такъ грустно, что, изъ боязни расплакаться, она отошла въ уголокъ потемнѣе и... и дѣйствительно почувствовала, что ея глазки попали на мокрое мѣсто.

Но тѣмъ временемъ пиршество и ликованіе продолжалось своимъ порядкомъ. Мальчикамъ уже роздали игрушки; послышались звуки охотничьихъ рожковъ и даже ружейные выстрѣлы. Конечно, это только щелкали безвредные пистоны, но голосъ Кости громче всѣхъ командовалъ:—Пли!.. Катай ихъ!.. Жарь!.. А какой-то другой мальчикъ, постарше, вооруженный игрушечною рогатиною и ножомъ, сталъ въ воинственной позѣ какъ разъ противъ медвѣдя и закричалъ:

— А вотъ, смотрите, какъ я пропорю брюхо этому Михайлѣ Ивановичу...

Нина закрыла личико руками и, громко рыдая, на всю комнату закричала:

— Не надо, не надо!..

Она вся дрожала, какъ въ лихорадкѣ, и навѣрное упала бы, еслибъ ее не подхватили двѣ ближайшія дамы и не передали бы въ руки испуганной мамы.

Нину отнесли наверхъ, отпоили водою, даже нѣсколько капель добавили изъ того пузыречка, что стоялъ на ночномъ маленькомъ столикѣ,—успокоили немного, раздѣли и положили въ кроватку.

А веселый шумъ, пальба, музыка и крики—хоть и глухо, благодаря затвореннымъ дверямъ, а все-таки доносились до дѣтской и заставляли вздрагивать засыпающую дѣвочку.

И снилось ей:

Кругомъ лѣсъ, серебряный, кружевной, обсыпанный густо жемчугомъ и брильянтами. Посреди лѣса просторная поляна, а посреди этой поляны отдѣльная елка, самая кудрявая, самая красивая изъ всѣхъ въ лѣсу.

Нина отлично знаетъ и помнитъ это мѣсто въ ихъ заповѣдномъ бору. Лѣтомъ они часто ѣздятъ сюда пить вечеромъ чай. Запрягаютъ длинную линейку, четверкою; раньше выѣзжаетъ телѣга съ поваромъ, самоваромъ, посудою и про-

визіей, а дворецкій Максимъ ѣдетъ съ ними, господами, рядомъ съ кучеромъ Федоромъ... Подъ этою елкою и стелятъ большой пестрый коверъ... Это мѣсто вовсе не такъ далеко отъ дома, а все-таки не ходятъ пѣшкомъ, а ѣздятъ.

У елки вѣтви до самой земли — и носила она названіе «Бабушкинъ пріютъ». Почему именно ее такъ окрестили — Нина не знала.

А вотъ теперь зима, почему «Бабушкинъ пріютъ» теперь не зеленая, а вся въ серебрѣ и брильянтахъ, на ея верхушкѣ сверкаетъ фигурка ангела съ растопыренными крылышками и съ радужнымъ вѣеромъ на головкѣ. Вмѣсто обыкновенныхъ шишекъ всѣ вѣтви елки обвѣшаны красивыми игрушками, фонариками и разными сластями, только все это сдѣлано изо льда и снѣга, даже свѣчечки въ фонарикѣ изо льда, а горятъ,—не таятъ...

Нина одна въ лѣсу ходитъ вокругъ елки, снѣгъ покрытъ морознымъ настомъ, скрипитъ подъ ея башмачками, но не проваливается... Бѣгать удобно, хоть танцовать можно... Нина и прыгаетъ, любуется чуднымъ деревомъ, и ей нисколько не страшно, хотя она и одна-одинешенька, даже няни нѣтъ съ нею.

Вотъ тишину лѣса стали нарушать чьи-то легкіе шаги и прыжки, съ дрогнувшихъ вѣточекъ посыпался иней...

На полянку стали выскакивать и выбѣгать разные звѣрки. Откуда ни возьмись, по вѣтвямъ зарѣзвились бѣлочки, зайчики собрались цѣлыми семьями, сначала они осторожно выглядывали изъ-за опушки, а потомъ пустились во всю, окружили «Бабушкинъ пріютъ» и стали уморительно-смѣшно танцовать, взявшись за лапки... Слетѣлись тетерева, куропатки и даже рябчики,—настоящіе, живые... не жареные... Воробьевъ — что налетѣло! И все это веселилось, обрывало елку и кушало съ аппетитомъ...

Нина сама стала танцовать съ зайчиками, брала на руки живыхъ, тепленькихъ такихъ птичекъ, и онѣ ея не боялись... Да и чего бояться, когда сама Нина ничего не боится. Она даже не испугалась, когда, на общій праздникъ, изъ лѣса выбѣжали волки, лисицы, и притащился полосатый, хрюкающій барсукъ... Нина хорошо знала, что рождественская елка—праздникъ любви и мира, и что тотъ ангелъ, что стоитъ на вер-

хушкѣ, никого не позволитъ обидѣть... Она даже погладила ближайшаго волка, а тотъ, какъ собачка «Мими», лизнулъ ее почти въ самыя губы...

Нина не испугалась нисколько, когда изъ лѣса, сталъ на заднія лапы, съ ревомъ выступили на поляну два медвѣдя и оба съ подносами...

Михайлы Ивановичи заняли свое мѣсто по бокамъ у елки и стали предлагать всѣмъ принесенное ими угощеніе... Несмотря на то, что они были такіе страшные на видъ и косматые, медвѣди были очень вѣжливы и даже не отказались протанцовать сами. Нину очень даже удивило, что звѣри танцовали на свободѣ, безъ палки и безъ барабана, даже безъ желѣзнаго кольца въ носу... «Значитъ,—подумала она,—это не тѣ, что на прошлой недѣлѣ приводили къ нимъ во дворъ бродячіе цыгане...»

Никогда еще Нина не была такъ весела, никогда у ней не было еще такъ радостно на душѣ, да и всѣ вокругъ елки раздѣляли ея настроеніе, и серебряный ангелъ на верху, глядя на все это веселье, самъ улыбался.

Поспорили и чуть не подрались изъ-за чего-то воробьи, то вѣдь они постоянные спорщики и задиры, но едва только Нина крикнула имъ: «кш!», какъ они отлетѣли немного въ сторону, сконфузились и тотчасъ же помирились, да и пора было, потому что стали раздавать мороженную рябину и клюкву и сверху, съ самаго неба, вмѣсто снѣга, посыпалась самая мелкая манная крупка.

Праздникъ на полянкѣ былъ въ самомъ разгарѣ — какъ вдругъ, по всей опушкѣ, загорѣлись красные огни, и загремѣли ружейные выстрѣлы.

Веселье прекратилось разомъ, послышались испуганные крики и стоны раненыхъ, — а выстрѣлы все гремѣли и гремѣли.— Зайчики и бѣлки, выпучивъ глаза, бѣгали, какъ угорѣлые, наскакивая другъ на друга, растерявшись, не зная, куда спасаться отъ нежданнаго погрома. Бѣдные звѣрки судорожно вскидывались кверху и падали мертвыми, окрашивая снѣгъ своею кровью. Шумя и хлопая крыльями съ елки сверзился черный тетеревъ, рухнулъ въ снѣгъ и забился въ судорогахъ... Волки взвыли и зарывались окровавленными мордами въ снѣгъ, лисицы хотѣли было на утекъ, да некуда!—Ихъ тоже пора-

жалъ невидимый свинецъ... Все гибло, даже въ ангела, что стоялъ на верху, попала дробинка—и онъ горько заплакалъ... Держались только крѣпкіе медвѣди и глухо, злобно ревѣли, особенно тотъ, у котораго разбился графинъ съ морсомъ... Нина стояла съ разинутымъ ротикомъ, какъ окаменѣлая, и не соображала даже, что это такое происходитъ передъ ея глазами... она только замѣтила, какъ красный клюквенный морсъ запачкалъ всего звѣря, по всему косматому тѣлу текли кровавыя струи.

...Вдругъ затрубили рога, завыли собаки, гремя цѣпными ошейниками, раздались голоса людей и громче всѣхъ голосъ папы и того рыжеусаго дяди, который разъ, даже при гостяхъ изъ города, пріѣхалъ въ кожаной курткѣ и высокихъ смазныхъ сапогахъ.

Вотъ и всѣ папины гости вышли на поляну, а впереди всѣхъ братъ Костя, съ тѣмъ высокимъ, злымъ мальчикомъ...

— А вотъ, глядите, какъ я его приму на рогатину!— крикнулъ Костя, и такимъ страшнымъ басомъ, что Нина не узнала-бы его по голосу.

— Я тоже пырну! — крикнулъ другой мальчикъ, и оба разомъ всадили свои острыя рогатины въ животъ бѣдныхъ медвѣдей... Боже! Сколько хлынуло крови, какой жалобный ревъ испустили на смерть пораженные звѣри!..

— Не надо! Не надо!..—закричала Нина и упала рядомъ съ медвѣдемъ, обнявъ и цѣлуя его окровавленную морду...

— Не надо! Не надо!..—закричалъ тоже ангелъ съ вершины елки.

Но его никто не слушалъ... Рога продолжали трубить, собаки выть и свирѣпо лаять... Даже Мимишка, глупая и злая малютка, и та зажала въ переднія лапки какого-то воробушка и грызла птичку съ остервенѣніемъ...

Въ глазахъ у Нины потемнѣло, она перестала и видѣть, и слышать...

— Маленькій компрессикъ на головку, а когда проснется, дайте ей вотъ этого пять капелекъ...—говорилъ старичокъ докторъ—и Нина узнала его голосъ. Она открыла глазки и увидѣла свою маму съ заплаканными глазами, склонившуюся надъ ея кроваткою...

ВДОВА САТАНЫ.

Странное, но, тѣмъ не менѣе, истинное происшествіе.

Когда Иренъ была дѣвочкою лѣтъ тринадцати, она была боко убѣждена, что въ день окончанія гимназическаго курса за нею явятся послы въ золотыхъ каретахъ и повезутъ ее вѣнчаться съ молодымъ, красивымъ, какъ херувимъ, владѣтельнымъ принцемъ, что она сама выберетъ этого принца изъ многочисленной толпы высокопоставленныхъ особъ, и брачные послы пожалуютъ именно отъ ея избранника.

Когда наступилъ желанный день выпускного акта,—Иренъ настолько была умна и даже опытна, что, конечно, сказочнаго принца крови не ждала, но зато не сомнѣвалась въ томъ, что едва она покажется въ свѣтъ, у нея отбоя не будетъ отъ претендентовъ на ея руку и сердце.

И, конечно, она имѣла полное право на такую увѣренность.

Иренъ была высока, стройна, красива, какъ сирена, и затмевала всѣхъ своихъ гимназическихъ подругъ блескомъ своей красоты, да и потомъ, стоило ей только появиться въ обществѣ, на нее всѣ обращали особенное вниманіе. Молодежь выпучивала глаза, какъ бараны на новыя ворота, солидные люди—холостые и женатые, болѣе развязные въ своемъ обращеніе съ дамами, выражали ей свой восторгъ и восхищеніе, старички чмокали губами и пускали легкую слюну, съ особеннымъ чувствомъ благоговѣнія цѣлуя ея ручки, обтянутыя въ длинныя перчатки на шестнадцати пуговицахъ.—и при этомъ какъ-то умѣли слегка выворачивать ладонь, отыскивая свободный отъ лайковой брони тепленькій уголокъ.

Иренъ царила повсюду; ее баловали и ласкали.—Даже недоступная баронесса фонъ-Шпекъ брала ее подъ свое особенное покровительство и украшала стройною фигурою молодой кра-

савицы самыя видныя мѣста въ витринахъ и кіоскахъ великосвѣтскихъ благотворительныхъ баловъ и базаровъ.

Иренъ обладала даже замѣчательною способностью къ сценѣ и пріятнымъ меццо-сопрано; ее приглашали на разрывъ играть въ разныхъ благородныхъ спектакляхъ, а уже про участіе въ живыхъ картинахъ и говорить нечего:—она даже позировала разъ въ роли истины съ зеркаломъ въ рукахъ, выходящей изъ глубины колодца... Вышло болѣе чѣмъ блистательно—цѣлую недѣлю на всѣхъ файфоклокахъ говорили объ этомъ героическомъ подвигѣ—«la belle Poupicoff», ставшей съ этого вечера знаменитостью.

Притворныя, по волѣ автора, объясненія въ любви на сценѣ смѣнялись еще болѣе жаркими и даже почти искренними въ уборныхъ и въ полутемныхъ уголкахъ за кулисами.

Изъ-за Иренъ было уже четыре дуэли, кончившіяся, впрочемъ, довольно благополучно, безъ вмѣшательства полиціи и прокурора, хотя одинъ изъ дуэлистовъ предсталъ передъ своею красавицею съ рукою, временно подвѣшенной на черной шелковой лентѣ.

Еслибъ Иренъ рѣшилась, уступая мольбамъ, дать хотя бы по крохотному кусочку своего сердца всѣмъ молящимъ о таковомъ счастіи, то ея сердце должно было по своей величинѣ равняться, по крайней мѣрѣ, вновь отстроенному дому «гвардейскихъ потребителей» на углу Кирочной улицы, но красавица наша твердо рѣшила отдать свое сердце только съ рукою вмѣстѣ—все-же поклонники ея, въ своихъ мольбахъ, о рукѣ конечно умолчивали.

Иренъ начинала слегка недоумѣвать, а потомъ даже не на шутку сердиться, что не могло не портить ея характера, срываемаго на «дуракѣ папа», на «глупой тумбѣ мама», чаще же всего на неловкой горничной—Марфушѣ.

А годы шли.

Когда Иренъ стукнуло двадцать пять, двадцать два по оффиціальному счету, Иренъ, въ день своего рожденія, разбираясь въ грудахъ бонбоньерокъ и дорогихъ цвѣточныхъ подношеній, произнесла:

— Какая все это дрянь!

Но замѣчаніе это не относилось ни къ цвѣтамъ, ни к бонбоньеркамъ.

— Шантропа и сволочь! — энергично поддакнула ей маменька, особа когда-то тоже замѣчательно красивая, но на порогѣ къ старости сильно ожирѣвшая, награжденная уже одышкою и легкими отеками конечностей.

И обѣ онѣ были, хотя и рѣзки въ своихъ сужденіяхъ, но правы.

Правда, было нѣсколько предложеній довольно положительныхъ, совсѣмъ, какъ слѣдуетъ, по закону, но эти предложенія исходили отъ такихъ лицъ, что у бѣдной Иренъ кровь стыла отъ мысли стать женой подобнаго субъекта—тѣ же, кто были ей по сердцу, ни разу не обмолвились желаннымъ словомъ даже въ такія минуты, когда ихъ сильно къ сему подбодряли, вызывая на рѣшительность.

А время все-таки шло, и матеріальное положеніе Иренъ со своею маменькою все ухудшалось и ухудшалось.

А тутъ скоропостижно скончался «дуракъ папа».

Покойный состоялъ на полугосударственной службѣ и, хотя занималъ незначительное по рангу мѣсто, но сопряженное съ весьма порядочнымъ окладомъ, что-то около пяти тысячъ въ годъ. Онъ былъ очень аккуратный человѣкъ и каждое двадцатое число распредѣлялъ полученное жалованье такимъ образомъ: двѣсти рублей выдавалось на руки Екатеринѣ Ивановнѣ — супругѣ, а двѣсти оставались въ его собственномъ распоряженіи. Онъ обязанъ былъ изъ своей половины оплачивать квартиру и всѣ свои личныя потребности, включая сюда изрѣдка вино и закуску. Она должна была содержать домъ, платить прислугѣ и заботиться о томъ, чтобы всѣ домашніе были приличны и сыты. Попеченія о нарядахъ и о выѣздахъ дочки лежали также на обязанности маменьки, которая никогда не роптала на недостаточность средствъ, никогда не требовала большого, но не терпѣла только вопросовъ и сомнѣній, когда ея затраты до очевидности превышали узаконенный бюджетъ.

Она была вѣдь очень видная и привлекательная дама, это только теперь время и болѣзнь такъ ее обезоружили... А когда, мало-по-малу, стали сходить съ горизонта ея прежніе покровители и поклонники, Екатерина Ивановна въ справедливомъ гнѣвѣ проклинала весь міръ, мужскую же половину его въ особенности и говорила дочери:

— Приша, вѣрь мнѣ: всѣ мужчины подлецы! Всѣ, всѣ, всѣ!..

Маменька Иренъ не воспитывалась въ фешенебельной гимназіи и потому выражалась рѣзче, чѣмъ слѣдуетъ, или, по крайней мѣрѣ, принято выражаться въ порядочномъ обществѣ.

По смерти папы дѣла приняли прескверный оборотъ. Пенсіонъ, при самыхъ усиленныхъ просьбахъ и продолжительныхъ хлопотахъ, опредѣлился въ четыреста рублей восемьдесятъ и три четверти копѣйки въ годъ. Екатерина Ивановна съ горя заболѣла; у Иренъ разомъ появились два сѣдыхъ волоса...

Началась энергичная, лихорадочная, нервная и озлобленная борьба за существованіе, въ которой, чтобы сохранить приличіе обычнаго положенія, а съ нимъ хотя-бы смутную надежду на спасительную партію, надо было пустить въ ходъ всю изворотливость женскаго ума, всю мощь запоздалаго кокетства, всю энергію духа, съ беззаботною, чарующею улыбкою на устахъ, съ глухою злобою въ сердцѣ, съ ненавистью въ душѣ.

А жизнь, живая жизнь въ созрѣломъ организмѣ красавицы Иренъ настойчиво предъявляла свои права, разжигая ея накипѣвшую злобу на все человѣчество вообще,—а ужъ про мужчинъ и говорить нечего...

И она рѣшила:—или погибнуть, высохнуть старой дѣвою, или побѣдить, но не сдаваться на позорную капитуляцію. Не разъ маменька, глубоко вздыхая, глядя съ тоскою на свою дочь, говорила, всегда при этомъ понижая голосъ до шопота:

— Ахъ, дружокъ мой, вѣдь и вправду... на какого чорта ты бережешь свое сокровище?.. Я въ твои годы...

Она никогда не договаривала, что бывало въ ея годы—и безнадежно махала рукою, боясь, какъ-бы не произошла опять такая-же бурная выходка со стороны ея дочери, какъ всегда послѣ намека въ этомъ родѣ.

А протесты со стороны Иренъ бывали черезъ-чуръ уже бурны... Да что говорить! — выносливая и ко всему привычная прислуга, живущая въ домѣ за пять рублей «одной прислугою» на всякія дѣла, не выживала болѣе мѣсяца

Хотя Иренъ рѣшила остановиться на двадцати двухъ годахъ, эти годы бунтовали и на запретъ красавицы не обращали никакого вниманія, но шли своимъ чередомъ. А все-таки въ концѣ третьяго десятка Иренъ сохранила почти всю привлекательность красоты, особенно когда обуздывала корсетомъ порывы ея прелестей на просторъ и свободу...

Многое перемѣнилось. Тамъ, гдѣ когда царила «la belle Poupicoff», давно уже забыли гордую красавицу. Маменька съ дочкою давно уже переселились въ глухой переулокъ на Выборгскую сторону, столуя у себя пятерыхъ студентовъ медиковъ, всѣхъ пятерыхъ платонически влюбленныхъ въ свою молодую хозяйку, несмотря на ея холодную недоступность и строгость въ обращеніи—и все-бы продолжалось такъ сѣро, неуютно и безотрадно, если бы однажды, наканунѣ рождественскихъ праздниковъ, съ ними не случилось совершенно неожиданно необыкновенное происшествіе.

Вы знаете, что всѣ необыкновенныя происшествія происходятъ большею частью наканунѣ Рождества и всегда ровно въ полночь. Таковъ уже законъ судьбы и, чтобы поддержать присущую писателю правдивость, вышеозначенная помѣтка времени не только не лишняя, но прямо-таки обязательна.

Въ маленькой комнатѣ, при тускломъ свѣтѣ лампы подъ зеленымъ абажуромъ, сидѣла Пренъ, передѣлывая въ двадцатый разъ свою единственную выходную шляпку. Она швырнула ножницы на полъ и свирѣпо принялась обрывать вылинявшія ленты. Маменька, закутавъ свои больныя ноги одѣяломъ, сидѣла у другого конца стола и раскладывала засаленныя карты, гадая на даму трефъ. Кухарка Лукерья, за кухонной перегородкою, звучно похрапывала. Въ печной трубѣ уныло завывалъ вѣтеръ, въ стекла хлесталъ мокрый снѣгъ, и въ ночной тишинѣ издалека доносились, со стороны гавани, глухіе удары вѣстовыхъ пушекъ...

— Ты не сердись, милая, и не волнуйся...—начала вкрадчиво маменька...—Конечно, это вздоръ, это все смѣшно, но вчера опять безъ тебя приходилъ Иванъ Спиридоновичъ...

Пренъ только бѣгло взглянула на мать и встала, чтобы поднять ножницы.

— Маіоръ пожарный, знаешь?—продолжала Катерина Ивановна, помолчавъ съ минуту.—Лукерью нашу вызывалъ... Какъ это онъ странно говорилъ!.. Да, да... «Проложи, говоритъ, мнѣ траншею—озолочу!..» полтинникъ сунулъ ей на кофій...

— Маменька...

— Да вѣдь я это такъ... чего косишься!.. Скучно вѣдь такъ сидѣть, въ молчанку играть, ну, я и разсказываю...

— А вы бы, маменька, приказали Лукерьѣ, чтобы и

маіора вашего, и Ивана Спиридоновича, и этого нѣмца Фриша, по шеѣ бы гнали къ своимъ законнымъ супругамъ... Старые развратники!

— Я и то говорю... а впрочемъ... если такъ разсуждать хладнокровно...

— Что?

Иренъ вызывающе взглянула на старуху и сдвинула брови.

— Да вотъ что... Трудно, охъ, какъ трудно составить себѣ приличную партію, особенно въ нашемъ положеніи...

— Охъ, я не хочу вовсе... Вы вѣдь знаете!

— Не хочу... О-хо-хо-хо!.. Уходитъ время, приходится пожалѣть, что тогда отказывала...

— Нисколько!

— Да что ты, право, возгордилась очень... Ну, вотъ опять... слезы! Ну, что ты плачешь, что? Вѣдь со злости плачешь... чѣмъ твоя мать хуже... Поклонники эти, «воздахторы» тоже, не «пугалы» какіе-нибудь. Благодаря поклонникамъ-то я весь домъ на большую ногу содержала, тебя въ шелку вывозила, ужины у насъ съ устрицами закатывала... Каретникъ Возжинъ когда посылалъ мѣсячное, и о деньгахъ не заикался... Что же, думаешь, все на двѣсти отъ законнаго?

— Вы меня, маменька, съ собою не сравнивайте. Вы за папенькиною спиною, какъ за ширмою были, я же дѣвица, мнѣ прятаться не за кого!

Иренъ бросила работу и стала ходить изъ угла въ уголъ.

— Да вѣдь что же дѣлать, не судьба была выйти замужъ... не съумѣла, ну, и покоряйся... жить же вѣдь надо!

— А вотъ найду мужа и поживу!

— Охъ, не найдешь!

— Маменька, не раздражайте вы меня... отъ этихъ разговоровъ, отъ этихъ попрековъ мнѣ и такъ плохо спится, а вы...

Иренъ подошла къ окну, упираясь горячимъ лбомъ въ холодное стекло, и плечи у ней начали судорожно вздрагивать.

Наступило продолжительное молчаніе. Слышенъ былъ только храпъ Лукерьи и за стѣною у сосѣда—тюкали часы съ кукушкою. Иренъ отошла отъ окна... Даже маменька испугалась, какъ она поблѣднѣла, какою злобою горѣли ея глаза.

— Охъ! Только бы выйти!—проговорила Иренъ, словно не своимъ голосомъ, Только бы нашелся дуракъ подходящій...

лойду, безъ разбора, безъ отказа... за дьявола самого, за чорта лысаго выйду...

Едва она произнесла, почти выкрикнула эти слова, какъ раздался рѣзкій звонокъ въ передней.

— Съ нами крестная сила!—простонала Екатерина Ивановна.

— Кто тамъ?—очнулась Лукерья.

Въ это мгновеніе часы на башнѣ Сенъ-Жерменъ... виноватъ, обмолвился,—часы за перегородкою стали бить, съ хрипомъ и задержками, и отсчитали ровно двѣнадцать.

— Такъ и доложи барынѣ—то-есть, обѣимъ барынямъ, и почтеннѣйшей Екатеринѣ Ивановнѣ, и прелестнѣйшей Иринѣ Яковлевнѣ, что господинъ, передай карточку, желаетъ имъ представиться!

Лукерья съ растеряннымъ видомъ появилась въ гостиной, Иренъ быстро выхватила карточку изъ ея руки.

Это былъ довольно крупный кусокъ черной бумаги, съ ободранными, будто крысами огрызенными краями, и на немъ четко написано огненно-красными чернилами:

«Агелъ-Шипъ»

Тайный совѣтникъ и явный покровитель.

— Странно!—пожала плечами Иренъ и сказала:

— Проси!

Тревожное чувство не то легкой робости не то чего-то гораздо худшаго взволновало красавицу.

Въ комнату вошелъ солидный господинъ не первой молодости, но еще очень бодрой и даже красивой наружности, на столько представительной, что даже его ничуть не портила блестящая лысина во всю голову. Иренъ замѣтила, что гость слегка прихрамываетъ на одну ногу. Одѣтъ ночной, правильное полуночной, визитеръ былъ безукоризнено, весь въ черномъ. Крупный брилліантъ сверкалъ у него въ галстухѣ.

Тайный совѣтникъ, будто добрый старый знакомый подошелъ къ ручкѣ маменьки, еще не пришедшей въ себя отъ потрясенія и вперившей въ него свои обезцвѣченные глаза, затѣмъ расшаркался съ Иренъ и, видя, что та тоже слегка растерялась, но протягиваетъ ему руки и не проситъ садиться,—улыбнулся и самъ проговорилъ:

— Садитесь, дорогая моя, будьте, какъ дома...—Садитесь и поговоримъ, какъ старые друзья... То-есть, старые друзья мы съ вашею маменькою, но надѣюсь, что скоро стану и вашимъ близкимъ другомъ и покровителемъ!

— Не припомню что-то такого между своими прежними...— усумнилась, про себя конечно, маменька.

— И не стоитъ припоминать!—улыбнулся гость, словно читая ея мысли.

— Мы дома...—проговорила Иренъ, овладѣвшая собою и приготовляясь отбрить нахала.

— Нѣтъ!—отрицательно покачалъ головою гость.—Развѣ эта гнусная дыра можетъ считаться обиталищемъ той, которая предназначена судьбою быть окруженною величайшимъ комфортомъ и сказочною роскошью? Вы, очаровательница моя, на жизненномъ пути случайно, временно попали въ эту мерзкую яму... это бываетъ, это можетъ случиться, но это не ваше настоящее мѣсто. И съ этой минуты все перемѣнится, какъ по мановенію волшебнаго жезла. Я могучъ и богатъ безгранично, понимаете? Без-гра-нич-но! Я прошу вашей руки... я просто требую этого счастія...

— Но по какому праву, кто же вы?—чуть не вскрикнула Иренъ...

Екатерина Ивановна съ испугомъ взглянула на дочь и стала ей дѣлать какіе-то знаки.

— Офиціально мое имя обозначено на карточкѣ, но такъ какъ теперь, между нами, какъ мужемъ и женою, не должно быть тайнъ, я долженъ вамъ открыться: я тотъ, чьею женою вы, громко и торжественно, обѣщали быть нѣсколько минутъ тому назадъ,—вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ!

Вы должны припомнить, уважаемые читатели, что все дѣйствіе происходило въ глухомъ переулкѣ на Выборгской сторонѣ—въ центрѣ города на большихъ людныхъ улицахъ обыватель никогда не слышитъ пѣнія пѣтуховъ, но здѣсь подобный фактъ весьма возможенъ, а потому правдоподобенъ... и никого не могло удивить, что издалека въ эту минуту донеслось хрипловатое—кукуреку!.. Ему тотчасъ же отвѣтило другое,—поближе.

Гость слегка поблѣднѣлъ, заторопился, вспомнилъ, что ему куда-то необходимо, и поспѣшно вынувъ изъ кармана два па-

кета, сунулъ одинъ въ руки Иренъ, другой положилъ на столъ, противъ Катерины Ивановны, проговоривъ:

— Pardon, mesdames, до завтра...—завтра мы поговоримъ подробно и обстоятельно. Это вамъ, а это вамъ... До свиданья, моя дорогая, моя радость, мое утѣшеніе!

Тайный совѣтникъ послалъ по адресу граціозный воздушный поцѣлуй и сразу исчезъ. Именно исчезъ, потому что Лукерья клялась, что никого не выпускала изъ двери, и что у барина была богатая соболья шуба,—тысячная; одно слово... висѣла-молъ-шуба эта вотъ на самомъ этомъ колкѣ, а какъ баринъ надѣлъ ее и когда, она не видала...

Въ пакетѣ Иренъ оказалась коробка съ дорогимъ колье изъ крупныхъ рубиновъ; опытный глазъ красавицы оцѣнилъ сразу подарокъ—это было цѣлое состояніе; кромѣ того, конвертъ со вложеннымъ въ него листомъ крупно исписанной бумаги. Екатерина Ивановна нашла въ своемъ пакетѣ, толстую пачку радужныхъ, новенькихъ, совсѣмъ не измятыхъ, подобранныхъ номеръ къ номеру, и когда подсчитала ихъ только приблизительно, ахнула и почувствовала себя дурно...

Не скоро опомнились и сообразили, въ чемъ дѣло, и маменька, и дочка, а когда къ нимъ вернулось ясное сознаніе всего происшедшаго, то маменька принялась акуратно считать, все еще дрожащими отъ волненія пальцами соблазнительные листы, а дочка читать, что написано на листѣ — опять-таки краснымъ по черному...

Маменька все сбивалась со счету, такъ и не досчитала, а дочка прочла внимательно, поняла и словно про себя произнесла:

— Что за мистификація!

Однако эта мистификація заключалась въ правильно составленномъ брачномъ контрактѣ, раздѣленномъ на двѣ половины: на первой условія брака со стороны мужа, вторая осталась чистая, дабы Иренъ, согласно припискѣ, обозначила на нихъ свои условія.

Первое условіе было лаконично.

«Обязуюсь исполнять всякое желаніе, немедленно и безотговорочно, а затѣмъ, нѣчто въ родѣ стиховъ:

Здѣсь я весь къ услугамъ вашимъ,
Но *тамъ* вы будете моя!

Долго думала Иренъ надъ этимъ двустишіемъ и вспомнила, что она слышала что-то подобное на сценѣ, въ былыя счастливыя времена, кажется, въ оперѣ Гуно. Вспомнила исторію Фауста. Это подало ей надежду тоже оставить Сатану съ носомъ—и, разыскавъ чернильницу съ перомъ, она смѣло начертала, на свободной половинѣ листа, свои контръ-условія:

«Исполнять, конечно, всѣ ея желанія и прихоти, жить на разныхъ половинахъ, не смѣть являться къ ней иначе, какъ по приглашенію, испытывать чувство ревности, сколько угодно, но не смѣть ничѣмъ—даже недовольной физіономіей — высказывать, или какимъ-бы то ни было способомъ проявлять эти чувства».

Она вновь перечла свои условія и была очень удивлена, увидавъ приписку послѣ словъ «иначе какъ по приглашенію» — «кромѣ первыхъ двадцати-четырехъ часовъ по приведеніи сего контракта въ исполненіе»...

— Я этого кажется не писала?—удивилась она, но вспомнивъ, что тайный совѣтникъ, не смотря на свою лысину, какъ мужчина, еще очень и очень интересенъ, рѣшила не исправлять приписки и опой не вычеркивать.

Тутъ опять случилось нѣчто сверхъестественное. Едва она положила на столъ перо, за ненадобностью, какъ подъ ея словами ясно и отчетливо сама собою выступила кровавыми буквами подпись:

«Согласенъ. Агелъ Шипъ».

— Знаешь, что я придумала? — обратилась къ ней маменька.—Я завтра-же пошлю одну бумажку размѣнять. Если она сатанинскаго происхожденія, значитъ, фальшивая, и ея не размѣняютъ, а если размѣняютъ, значитъ, деньги настоящія, государственныя, значитъ, чистыя... А, какъ ты думаешь?

Но Иренъ ничего ей не отвѣчала, она вошла къ себѣ въ спальню, быстро раздѣлась, хотѣла было помолиться, но вмѣсто словъ молитвы ей лѣзла въ голову, Богъ знаетъ, какая чушь. Иренъ завернулась съ головою въ одѣяло, прижалась пылающимъ лицомъ въ подушку и... Вотъ тутъ я, какъ исторіографъ даннаго чрезвычайнаго событія, не знаю, заснула она или только притворилась спящею, по крайней мѣрѣ, на призывъ своей маменьки она сохранила полное молчаніе.

На другой день пятеро, голодныхъ, какъ волки, студентовъ

явились всѣ вмѣстѣ, по обычаю, ровно въ три часа и были очень удивлены, не найдя обѣихъ хозяекъ дома. Обѣдъ, впрочемъ, былъ приготовленъ и даже особенный, съ добавкою третьяго блюда—сладкаго. На ихъ разспросы Лукерья разсказала, что ночью, молъ, пріѣзжалъ какой-то баринъ, важный такой и, должно быть, богатѣйшій, милліонеръ одно слово, что утромъ рано за господами пріѣхала ланда на парѣ вороныхъ, кучеръ рыжій и весь въ позументахъ... Барыни мои сѣли и уѣхали, а ей сказали, что когда вернутся—неизвѣстно, денегъ, молъ, на расходы оставили эво сколько, а чтобы сидѣла, студентовъ кормила и ждала, какое ей выйдетъ дальнѣйшее опредѣленіе... А больше она ничего не знаетъ.

Студенты переглянулись и стали кушать.

Одинъ вздохнулъ и сказалъ:

— Бѣдная, бѣдная! Не выдержала испытанія, не вынесла тяжести жизни и пала!

Другой произнесъ:

— Еще новая жертва нужды, жертва разврата

Третій:

— Да проститъ ей Богъ!

Четвертый:

— Я говорилъ, господа! Я говорилъ! Вотъ вамъ еще грустный примѣръ ненормальности нашего соціальнаго строя...

А пятый ничего не сказалъ, только всхлипнулъ громко, а потомъ и совсѣмъ расплакался, и, наскоро дохлебавъ супъ, отказался не только отъ битковъ съ картофелемъ, даже отъ сладкаго.

Прошло мѣсяца три, можетъ быть, немного болѣе—это не такъ важно. Въ одной изъ самыхъ дорогихъ гостинницъ получена была телеграмма съ приказомъ заготовить комнаты къ такому-то числу, даже часу. Скоро послѣ этого прибылъ поѣздъ изъ Парижа, прямого сообщенія, который привезъ, въ собственномъ комфортабельномъ вагонѣ, солиднаго господина съ красавицею, заинтересовавшей своею внѣшностью даже безстрастныхъ желѣзнодорожныхъ жандармовъ. Съ ними прибыла еще дама очень полная, достаточно преклоннаго возраста, которую въ креслахъ вынесли изъ вагона два дюжихъ ливрейныхъ лакея.

Вы знаете, что безъ предъявленія паспортовъ нельзя оста-

новиться ни въ какой гостинницѣ — паспорта были предъявлены и прописаны въ конторскихъ книгахъ такъ:

«Тайный совѣтникъ Агелъ-Шипъ съ супругою—Ириною Яковлевной, урожденной Пупиковой. Вдова коллежскаго секретаря Екатерина Ивановна Пупикова».

Скоро, очень скоро весь Петербургъ узналъ о ихъ прибытіи, да и не мудрено было узнать, а, значитъ, и заинтересоваться!

Старинный барскій домъ на одной изъ самыхъ аристократическихъ улицъ былъ купленъ тайнымъ совѣтникомъ на имя своей жены и купленъ, такъ какъ его прежній владѣлецъ не хотѣлъ даже продавать родовое жилище, за баснословную, сказочную цѣну. Въ недѣлю весь домъ былъ отдѣланъ и отполированъ заново, съ изумительною роскошью; хотя и безъ особеннаго вкуса. Знакомства заводились удивительно скоро, хотя и не совсѣмъ разборчиво, началась цѣлая серія блестящихъ баловъ и раутовъ, на которыхъ хозяйка, блистая красотою и неотразимою граціею, очаровывала всѣхъ посѣтителей и даже посѣтительницъ. Во всѣхъ гостинныхъ нашего бомонда зашипѣло самое ядовитое злословіе, очевидный признакъ колоссальнаго успѣха...

La belle Agelchip была приглашена почетнымъ членомъ самыхъ недоступныхъ для смертныхъ благотворительныхъ учрежденій и платила щедрою рукою, ея супругъ тоже не отставалъ въ дѣлахъ благотворительности, поражая величиною своихъ жертвъ и вкладовъ. Иренъ сама даже устраивала благотворительные балы и базары, собирала вокругъ себя художниковъ, писателей, весь цвѣтъ нашей интеллигенціи.

Конечно, тайному совѣтнику претило иногда, по свойству его истинной натуры, тратить на дѣла богоугодныя, но онъ зналъ, какая ничтожная часть доходитъ до рукъ нуждающихся, и подсмѣивался втихомолку, подписывая крупные чеки.

Къ концу сезона оргія необузданнаго веселья въ Петербургѣ затихла. Супруги Агелъ-Шипъ поѣхали заграницу. Говорили, что у нихъ въ каждомъ городѣ завелись собственные замки и, гдѣ бы владѣльцы ихъ ни появились, всюду они блистали гостепріимствомъ и роскошью.

Злословіе, какъ змѣя, ползло вслѣдъ за ними и не безъ

основанія. Говорили, что у нихъ устраивались даже балы съ полною обстановкою вальпургіевой ночи, молодежь, отъ двадцати до шестидесятилѣтняго возраста, даже и постарше иногда, систематически развращалась, чистыя дѣвы падали, святость семейнаго очага трещала по швамъ — охранители молчали и увлекались сами, а потому не протестовали...

Въ слѣдующій сезонъ, снова въ Петербургѣ, въ самомъ разгарѣ веселья скоропостижно скончалась Екатерина Ивановна. Ее вскрыли и нашли печень въ необыкновенно увеличенномъ размѣрѣ. Печень эту взяли доктора для дальнѣйшихъ научныхъ изслѣдованій, а футляръ отъ оной, сирѣчь, саму покойницу, погребли съ подобающимъ торжествомъ и почестями. Говорили, будто одинъ изъ молодыхъ медиковъ, нуждаясь въ папиросахъ, уступилъ эти останки кухмистеру Бутербродову,—но мало-ли какія глупости ходятъ по городу въ видѣ слуховъ...

Смерть мадамъ Пупиковой прошла бы совершенно безслѣдно и даже навѣрное была бы скоро забыта, если бы эта смерть не отразилась въ характерѣ Ирины Яковлевны.

Кончина матери, да еще такъ неожиданно, безъ напутствія и покаянія, подѣйствовала на дочь какъ «memento mori» и заставила ее въ первый разъ задуматься не на шутку.

Въ «веселомъ домѣ», не надолго впрочемъ, притихло. Подъѣзды, прислуга, экипажи и сама владѣтельница облеклись въ глубокій трауръ. Она вспомнила, что пора придумать что-нибудь въ родѣ фаустовскаго, какъ-бы это попробовать тоже приставить сатанѣ носъ, позаботиться о спасеніи своей души отъ рукъ ужаснаго и, навѣрное, безпощаднаго кредитора. Она видѣла кругомъ, что даже послѣ самой пламенной любви какъ быстро мужья надоѣдаютъ своимъ женамъ, а мужьямъ ихъ прекрасная половина, какъ эти мужья рады бываютъ отдѣлаться отъ женъ... Недавно еще одинъ изъ такихъ съ увлеченіемъ сознавался, что готовъ чорту душу продать за подобную услугу... Она давно уже хлопотала, чтобы подобное чувство испыталъ ея тайный совѣтникъ, но увы!—m-r Агель-Шипъ былъ очень доволенъ, кушалъ съ аппетитомъ и положительно молодѣлъ отъ своей счастливой семейной жизни, обставляя Иренъ самою рыцарскою предупредительностью, относясь необыкновенно любезно къ ея счастливымъ и не особенно счастливымъ, но многочисленнымъ поклонникамъ. По мановеніи

обусловленнаго въ контрактѣ срока, онъ ни разу не переступалъ порога ея спальни и велъ себя безукоризненно.

Иренъ трепетала, чувствуя, что душа ея когда-нибудь да не удержится отъ того, что ей предназначено, и это чувство, вотъ именно послѣ кончины маменьки, стало ее особенно преслѣдовать, отравляя веселье и радости привольной жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ...

Она долго, упорно думала, и, наконецъ, ее осѣнила блестящая мысль. Она рѣшила перемѣнить тактику, и вотъ, однажды, тайный совѣтникъ получилъ предписаніе находиться при своей супругѣ безотлучно и вступить во всѣ права мужа, во всемъ ихъ объемѣ.

Сначала, несмотря на свое демоническое провидѣніе, m-r Агелъ-Шипъ не понялъ, въ чемъ дѣло, но потомъ сообразилъ и задумался въ свою очередь. Вся обстановка дома рѣзко перемѣнилась, жена превратилась въ кроткую, покорную овечку, безгранично любящую своего мужа, она стала ревнива, какъ бенгальская тигрица, и понятно: она такъ дорожила прочностью своего счастья... Вѣчная боязнь потерять свое сокровище развила у ней потерю аппетита, разстроила нервы, часто стала вызывать истерическіе припадки. Наемные шпіоны слѣдили за каждымъ шагомъ тайнаго совѣтника, доносили, и достаточно было самаго ничтожнаго предлога, чтобы вызвать тяжелое объясненіе съ упреками, слезами и припадками неукротимаго бѣшенства, по всѣмъ заламъ запахло валерьяновыми каплями, а запахъ этотъ, какъ извѣстно, очень нравится кошкамъ, но неизвѣстно, раздѣляютъ ли кошачій вкусъ жители преисподней...

Тайный совѣтникъ не отпускалъ ее ни на шагъ на волю; онъ вѣдь сознавалъ, что вся эта причуда одно притворство, но обязанъ былъ вѣрить, выслушивать и выносить.

Онъ замѣтно сталъ худѣть, онъ скоро почувствовалъ, что даже онъ, безсмертный, мощный, надѣленъ проклятыми нервами... И наконецъ, въ одну прекрасную полночь, исчезъ безвозвратно... Его долго искали, повсюду искали—обращались даже къ тѣмъ людямъ, которые обязаны искать по долгу службы, но всѣ эти поиски остались безрезультатны.

Иренъ повеселѣла и даже пригласила знаменитаго адвоката, дабы справиться, конечно, въ иносказательной формѣ, о

томъ, можетъ-ли подобное исчезновеніе послужить законнымъ поводомъ къ расторженію контракта. Адвокатъ понялъ по своему, онъ ей долго объяснялъ принципы нерасторженія брака—это сначала,—потомъ сообщилъ ей всѣ поводы къ расторженію онаго,—и, въ концѣ-концовъ, предложилъ ей свои услуги, за хорошее вознагражденіе, но Иренъ была настолько умна, что, поблагодаривъ совѣтника, поняла, что тотъ ничего не понялъ и отъ предложенныхъ услугъ на отрѣзъ отказалась.

По первому снѣгу, группа петербургскихъ воскресныхъ охотниковъ общества «Немвродъ и компанія»—устроила веселую поѣздку въ окрестности столицы, чтобы «взять поле».

Но прежде чѣмъ взять это поле, они взяли повара, солидный запасъ винъ и гастрономическихъ припасовъ... Закусили, выпили, запустили собакъ и «заняли номера»... Собаки гоняли, гоняли и выгнали одного зайца, который невредимо миновалъ опасную цѣпь, ибо былъ замѣченъ поздно. Видятъ стрѣлки, что дѣло не идетъ, выпили еще...

И вдругъ слышатъ, что какой-то особенный лай собакъ огласилъ лѣсную чащу... Лай этотъ приближался, кусты зловѣще шуршали, и на опушкѣ показался громадный олень, съ необыкновенно развитыми, вѣтвистыми рогами... Животное шло прямо на стрѣлковъ, съ грустно поникшею головою, собаки окружили его со всѣхъ сторонъ, но къ хваткѣ не приступали, трусливо поднимали хвостъ и жалобно выли. Загремѣли торопливые, безпорядочные выстрѣлы... всѣ мимо! Олень шелъ впередъ и находился уже шагахъ въ десяти отъ сконфуженныхъ охотниковъ, тогда одинъ изъ нихъ, онъ самъ мнѣ объ этомъ разсказывалъ, значитъ, правда, догадался, наконецъ, въ чемъ дѣло. Онъ быстро вынулъ патронъ, черкнулъ на головкѣ пули ногтемъ знаменіе креста, зарядилъ и выстрѣлилъ.

Олень упалъ.

Всѣ бросились къ убитому звѣрю и въ ужасѣ отступили. На полянѣ, на окровавленномъ снѣгу лежалъ прилично одѣтый господинъ, въ модномъ пальто съ бобрами и въ цилиндрѣ отъ Брюно—цилиндръ этотъ, впрочемъ, откатился въ сторону, обнаруживъ блестящую лысину во всю голову, во лбу которой чернѣла глубокая рана.

Когда охотники пришли, наконецъ, въ себя, бросились осматривать убитаго. Въ карманѣ сюртука нашли бумажникъ

съ визитными карточками и запечатанный конвертъ. На карточкахъ обозначено было: «тайный совѣтникъ Агелъ-Шипъ»; когда же распечатали конвертъ, то нашли записку слѣдующаго содержанія:

«Прошу никого не винить въ моей смерти. Правъ былъ покойный Горбуновъ, произнеся свое безсмертное изреченіе:— «эту марку не всякій можетъ выдержать».

Такъ какъ въ числѣ охотниковъ состояли мѣстныя власти, всѣ тѣ лица, которымъ надлежитъ въ такихъ случаяхъ дѣйствовать по закону, то они, отдѣйствовавъ, завернули тѣло въ коверъ, уложили на подводу и повезли, куда слѣдуетъ. Но, по прибытіи, опять случилось невѣроятное происшествіе:— никакого тѣла въ опечатанномъ тюкѣ не оказалось,—найдены были только кусочки странной, черной бумаги, на которой было что-то написано красными чернилами, но что именно, разобрать было невозможно. Конечно, никто изъ нихъ не могъ догадаться, что это именно и были клочки злополучнаго брачнаго условія.

Между тѣмъ Иренъ не была увѣдомлена о кончинѣ ея мужа, по той причинѣ, что случай на охотѣ такъ былъ страненъ и мало правдоподобенъ, что рѣшено было его офиціально не констатировать. Надъ головою вдовы разразилась цѣлая буря бѣдствій и несчастія:—роскошный дворецъ въ Петербургѣ сгорѣлъ разомъ, отъ неизвѣстной причины, со всею своею богатой обстановкою. Одновременно съ этою бѣдою, телеграмма извѣстила ее о таковой же погибели всѣхъ ея замковъ и виллъ заграницею: отрывные листки ея чековыхъ книжекъ оказались не дѣйствительными, за изсякновеніемъ кредитовъ. Но странно!.. Всѣ эти бѣдствія не особенно поразили бѣдную вдову, она отнеслась къ ударамъ судьбы довольно хладнокровно. Иное чувство овладѣло теперь ея сердцемъ, ея душою, мозгомъ—однимъ словомъ, какъ часто пишутъ теперь: «всѣмъ ея я». Это чувство была пламенная, безумная любовь къ своему исчезнувшему супругу. Всѣ свои помыслы, всѣ надежды несчастной Иренъ сосредоточились на одномъ желаніи,—«найти и водворить». И она принялась искать. Она еще жива и продолжаетъ свои розыски.

Вѣроятно, не одинъ изъ читателей встрѣчалъ несчастную на площадяхъ и улицахъ Петербурга.

Высокая старуха, съ сѣдыми космами на лбу, съ горящими въ глубокихъ впадинахъ глазами, съ крючковатымъ, заостреннымъ носомъ, съ злобно сжатыми, сухими губами, на головѣ ея старомодная шляпа, съ высокимъ страусовымъ перомъ, на половину объѣденнымъ молью, на плечахъ, когда-то бархатная ротонда, вылинявшая пятнами неопредѣленнаго цвѣта. Она нервными шагами ходитъ по улицамъ, внимательно всматриваясь въ лица прохожихъ мужчинъ. Иногда она обращается съ просьбою хотя немного приподнять шляпу, и когда ея желаніе исполняется, она грустно качаетъ головою и шепчетъ:

— Лысый, но не онъ...

ПИСАНКА.

Въ эту весну Дарья вскрылась рано, да какъ-то совсѣмъ неожиданно.

Еще вчера ледъ былъ надеженъ. Большой караванъ легко переправился на эту сторону, только у самаго берега одинъ верблюдъ чуть было не провалился. Тарантасъ морозовскаго приказчика изъ Петрово-Александровска тоже благополучно перебрался; ледъ былъ толстый, крѣпкой спайки, надежный, а къ ночи потянуло тепломъ, пошелъ ливень,—въ полночь треснуло и зашипѣло по рѣкѣ, а стало свѣтать—уже вся Дарья тронулась, а съ лѣваго берега, саженъ на десять, полоса чистой воды забурлила, подмывая глинистые скаты.

Бойко тронулся ледъ, ни прохода — ни проѣзда. Такъ и прутъ льдина на льдину, трескъ и грохотъ стоятъ въ воздухѣ, людскіе голоса заглушаютъ...

Время настало свободное, праздничное, и много казалинскихъ жителей собралось на рѣку любоваться грозною картиною ледохода. Отстояли заутреню и обѣдню, разговѣлись, перехристосовались, отдохнули малость, ну, и нечего больше дѣлать, какъ только гулять.

Собрались на берегу и простой казалинскій народъ, и военные, господа даже,—изъ начальства и зажиточнаго купечества, съ своими семействами, — кто пѣшкомъ, кто въ экипажахъ, кто верхомъ, по мѣстному обычаю... и всѣ теперь внимательно на ту сторону всматриваются, — и простыми глазами, и въ бинокли.

Очень занимаетъ всѣхъ этотъ тарантасъ, что стоитъ у самой воды, отрѣзанный бушующей рѣкою отъ города и всего жилаго-уютнаго.

Надъ широкою Дарьею,—туманъ ледяной; неяснымъ пятномъ виденъ громоздкій, тяжело нагруженный экипажъ, уже

распряженный. Верблюды, привезшіе его, лежатъ около, а одинъ забрелъ въ береговые камыши, чуть виднѣется. Киргизъ-лауча пытается огонь разложить, да дѣло «плохо клеится»—дымитъ только промерзлое, сырое топливо. Кто въ тарантасѣ сидитъ, не видно, а на козлы взобрался высокій человѣкъ въ военной шинели, шапкою машетъ и, должно быть, кричитъ... Помашетъ - помашетъ, да и приставитъ руки ко рту, а ничего не слышно: — ширина такая, что и при спокойной водѣ словъ разобрать не возможно, а гдѣ же теперь, когда на рѣкѣ стоитъ стонъ - стономъ, и льдины, какъ бѣшенные звѣри, другъ на дружку лѣзутъ—сшибаются...

Всѣ, кто на этомъ—жиломъ берегу, очень жалѣютъ тѣхъ, кто на томъ—пустынномъ: этимъ и тепло, и сыто, и весело по праздничному, а тѣмъ и холодно, и голодно, и притомились, чай, за дальнюю дорогу, а когда Господь приведетъ перебраться на эту сторону—неизвѣстно.

Помощь бы тѣмъ подать, провизіи бы послать—да невозможно,—всякая переправа остановилась. На этой сторонѣ казенный, желѣзный паромъ въ неисправности, только сейчасъ къ починкѣ приступили: прозѣвали постъ и страстную недѣлю, все собирались, а тутъ вдругъ и прорвало неожиданно.

Положеніе путниковъ на томъ берегу было, дѣйствительно очень печальное.

Сообщилъ объ ихъ участи морозовскій приказчикъ изъ Петро-Александровска;—онъ доложилъ, что обогналъ тарантасъ маіора Кусова съ семействомъ, верстъ за пятьдесятъ до Дарьи, и что ихъ дѣла не важныя: верблюды, нанятые маіоромъ, оказались слабоваты, въ степи стояла гололедица, разсчитывали въ десять дней всю путину сдѣлать, а только на двадцатый до Дарьи добрались. Провіанту, по разсчету, и не хватило, съ полдороги ѣдутъ въ проголодь, только чаю и осталось съ избыткомъ, а сухари всѣ давно пріѣли. Оставилъ имъ морозовскій приказчикъ полъ-ноги бараньей прожаренной, да хлѣба фунта два, не больше, а водки или чего - нибудь въ этомъ родѣ у него самого ничего не осталось. Думали путешественники, что какъ разъ черезъ день и дома будутъ, а тутъ вдругъ бѣда—рѣку прорвало — стонъ! Хоть съ голоду помирай! — Близокъ локоть, да не укусишь! И что всего обиднѣй, всего раздражительнѣй, что несчастные путешественники ясно видятъ и го-

родъ весь сытый и празднующій, и людъ гуляющій, и дымки въ трубахъ, а ночью (они еще затемно дотащились до берега) свѣтлое зарево надъ церковью, огоньки по всѣмъ улицамъ, красныя змѣйки ракетъ; до ихъ слуха доносятся и пушечные выстрѣлы, и перезвоны церковныхъ колоколовъ, даже веселые рожки стрѣлковъ и рокотъ барабана, отбивающаго утреннюю зорю...

Сиди вотъ тутъ въ проголодь, зябни на вѣтру и зубами щелкай!

Не всякій сытый голоднаго не понимаетъ, а тутъ все собрались больше понимающіе и сердцемъ сочувствующіе, помочь очень желающіе, а какъ и чѣмъ помочь не знающіе.

Вотъ объ этомъ-то все и шли разговоры въ собравшейся на этомъ берегу — сочувствующей толпѣ казалинскихъ обитателей.

Прибылъ и самъ комендантъ, чтобы всѣмъ распорядиться самолично—и третъ себѣ голову въ недоумѣніи, а пока ищетъ свирѣпыми глазами, кого распечь, да разнести за несвоевременное вскрытіе.

— Пуще всего барыню Марью Ивановну жалко! — вздыхаетъ старушка въ ковровомъ платкѣ... — У ней, вѣдь, сердечной, грудной младенецъ на рукахъ!

— Да, дѣвочка Настя, да мальчикъ Коля — да тотъ ничего: тому шестой годокъ пошелъ! — пояснила другая, тоже въ ковровомъ платкѣ...

— И какъ это, право, Семенъ Петровичъ оплошалъ?! — удивлялось военное пальто съ барашкомъ.

— Оплошаешь—когда, слышь ты, гололедица. На десять денъ запоздали! — оправдалъ Семена Петровича чей-то голосъ въ толпѣ.

А Семенъ Петровичъ и былъ самъ маіоръ Кусовъ, что на томъ берегу напрасно горло надрываетъ...

— Ахъ, черти! Это они до завтра съ своими заклепками прокопаются! — ругался комендантъ, прислушиваясь, какъ у мастерскихъ, не смотря на праздникъ, звякаютъ молотки по желѣзу.

— Да и безполезно сегодня паромъ отправлять!—заявило другое начальство.—Видите, какъ ледъ валитъ,—все равно, не переправиться!

— Да вѣдь замерзнутъ, съ голоду помрутъ!

— Выдержатъ! Чаю осталось, а съ чаемъ все лишнія сутки продержаться можно!

— Вонъ-вонъ раздули! Эво, какъ пламя взвилось! Справились съ костромъ... Важно! А, здравствуйте! Христосъ Воскресе!

Чмокъ да чмокъ, слазили въ карманы, обмѣнялись яичками, а тамъ еще подошли: чмокъ, да чмокъ; опять Христосъ Воскресе, да Воистину!..

— А если пустить теперича ракету на ту сторону, а къ ракетѣ—этой самой либо куличъ—либо бутылку водки...

Захохотали въ толпѣ, а одна дама съ перомъ на шляпкѣ воскликнула:

— Ахъ! Это идея!..

— Это ужасно! Ѣхать такъ долго, мечтать доѣхать къ празднику домой—и такая непріятность!

— Самъ виноватъ! Старый степнякъ долженъ понимать, что ѣдешь на десять денъ, — бери запасу на двадцать... Вы говорите, совсѣмъ нѣту у нихъ провизіи?..

— Такъ точно, ваше превосходительство! — почтительно докладывалъ морозовскій приказчикъ.—Я ихъ обогналъ у сухого колодца;—они все уже давно пріѣли и очень бѣдствовали. Дѣти особенно плакали и кушать просили — я имъ ногу баранью пожертвовалъ, фунта полтора на ней мяса осталось, да сухарей, всѣ что со мной были, а больше ничего, до завтра еще вытерпятъ, а ежели что, то можетъ болѣзнь приключиться...

— Заболѣешь!

— Супруга ихняя очень огорчены, самъ маіоръ сердиты-съ, а мальчикъ Николаша ревма ревутъ... Красное яичко имъ обѣщано, а вотъ оно какое красное яйцо вышло!

— Красное яйцо... гм... Нельзя ли хоть какъ надежный спустить, деревянный? Можетъ, какъ-нибудь доберется?.. Попробовать-бы!

— И пробовать нечего! Сейчасъ его сомнетъ льдомъ, да кто идти рѣшится?!

— Послушай! — подошелъ тутъ коренастый киргизенокъ, лѣтъ шестнадцати... Онъ только что подъѣхалъ къ общей группѣ, слѣзъ съ своего косматаго монтака и сталъ дергать за рукавъ морозовскаго приказчика.

— Что тебѣ?

— Ты говоришь, больно плачетъ Миколка, краснаго яйца хочетъ... Ой! Ой!

— Отстань!

— Нѣтъ, говоришь ты, Миколка плачетъ—это онъ оттого плачетъ, что знаетъ, какое ему я яйцо сдѣлалъ—красное, ой, ой, хорошее! Я ему обѣщалъ, когда домой пріѣдетъ, будетъ ему хорошее яйцо!

Кто слышалъ — смѣяться стали, а киргизу не до смѣху, самъ чуть не плачетъ и зорко въ ту сторону всматривается... И видитъ онъ, какъ какая-то крохотная фигурка отдѣлилась отъ тарантаса и подбѣжала къ огню...

— Вонъ онъ вонъ! Миколка!—заоралъ во все горло киргизенокъ и добавилъ визгливо такъ:

— Миколка!..

Кто ближе стояли, даже шарахнулись отъ этого отчаяннаго крика.

— Это—Малайка, маіорскій джигитъ, что оставался дома. Они большіе друзья съ Колей, самыя неразлучные!—пояснилъ кто-то знающій...

— Чего орешь, дуракъ? Не услышитъ!

— Нѣтъ, ты посмотри, какое я яйцо приготовилъ! — засуетился Малайка и вынулъ изъ-за пазухи что-то, тщательно завернутое въ цвѣтную тряпку.

Онъ освободилъ свою драгоцѣнность отъ обертокъ и сталъ показывать всѣмъ, кто былъ поближе.

— Вотъ какое! Здѣсь я ножемъ джигита выскоблилъ, съ ружьемъ и саблей, здѣсь вотъ крестъ нацарапалъ, здѣсь пѣтуха... Джигитъ—это Миколка!

— А пѣтухъ это ты?

Опять смѣяться стали.

— Ну, побереги яйцо свое, молодецъ!—похвалилъ одинъ изъ офицеровъ. — Вотъ, дня черезъ два, когда переправимъ ихъ—ты и отдашь. Самъ съ своимъ другомъ похристосуешься!

— Эхъ! Да дорого яичко во Христовъ день! — замѣтилъ кто-то...

— Миколка плачетъ, яйца ждетъ отъ Малайки!—забормоталъ киргизъ и сталъ пробираться къ берегу поближе, таща за поводъ своего моштака.

— Да что, малый! Ты никакъ черезъ рѣку, на ту сторону сбираешься?..

Малайка только отмахнулся и сталъ садиться на своего чубараго.

— Эй, тамъ!—Посмотрите за этимъ дуракомъ!

— Куда лѣзешь, чортъ?!

Какой-то казакъ даже нагайкою замахнулся на киргизенка, а тотъ только отшатнулся въ сѣдлѣ и поѣхалъ шажкомъ по самому краю берега, зорко всматриваясь въ несущіяся мимо льдины.

Вдругъ раздались отчаянные крики. Всѣ замахали руками и бросились къ водѣ...

— Держи его, дурака! Лови, лови! Эй, веревокъ сюда, багровъ!

— Тащи буйки съ пристани!

Саженяхъ въ пяти отъ берега уже барахтался Малайка; его зажало между двумя льдинами и относило все дальше и дальше.

Но «чубарый» держался стойко. Степной конь фыркалъ и усиленно работалъ своими желѣзными ногами. То онъ выскакивалъ изъ воды, словно на дыбы становился, то словно нырялъ между льдами и все дальше и дальше отплывалъ отъ этого берега.

Малайка оралъ, только, видимо, ободренія коня ради—не со страха, — и вдругъ оба они, и конь, и всадникъ, исчезли подъ водою!

— Сгибъ!

— Царство ему небесное!

— Экое дикое животное!..

Съ одною дамою сдѣлалось даже дурно, и ее повели къ дрожкамъ...

— Вынырнулъ!.. Опять пошелъ! Пошелъ!..

Какая-то черная точка показалась уже почти на самой серединѣ рѣки,—только эта точка раздвоилась...

Старый казакъ-уралецъ пояснилъ это раздвоеніе.

— Онъ это правильно, ловко! Это онъ сползъ съ лошади—самой ей легче на водѣ держаться, а самъ за ейный хвостъ уцѣпился. Правильно!

— Изнемогаетъ! Затретъ его льдомъ опять.

— Окоченѣетъ ежели,—тогда судорога и шабашъ!

— Охъ, ты, Господи! Спаси и помилуй!

— И это, чтобы только яйцо свезти своему Николкѣ. Вотъ такъ шалый!..

— А вѣдь доберется! Ей-же Богу, доберется!

— Опять не видать!..

— Спаси, Боже, и помилуй душу христіанскую, то бишь — тьфу! татарскую, а все же спаси, Господи, и помилуй!—бормотала старушка и даже на колѣни стала, чтобы удобнѣе молиться было...

— Теперь уже ничего не увидишь! Потому его далеко внизъ снесло... Тамъ вѣдь чего-чего не плыветъ по рѣкѣ. Коли сгибъ—такъ сгибъ, а коли живъ—надо быть, только на томъ берегу обозначится...

Но долго еще, очень долго не расходилась толпа, а на томъ берегу ничего не обозначалось...

— Чего уже тутъ глядѣть-то! Пойдемъ домой!

— А что-жъ, и то правда; домой—такъ домой!

— Иванъ Николаевичъ, Марфа Семеновна, вы къ намъ?..

— И какъ это весеннее тепло обманчиво — я совсѣмъ окоченѣлъ!

— Ну, по домамъ!

А все-таки никто не уходилъ, все что-то держало на берегу всѣхъ въ сборѣ, и глаза не отрывались отъ этого ледяного хаоса, шумно несущагося все впередъ и впередъ...

— Ура... ра... ра!.. — раздалось вдругъ съ крыши шлюпочнаго сарая.

— Ура! — подхватила толпа, еще не зная, въ чемъ дѣло.

Сверху много виднѣе. Тамъ замѣтили, далеко ниже по теченію, черную точку, появившуюся на томъ берегу и затѣмъ быстро направлявшуюся вверхъ, по направленію къ маіорскому тарантасу...

Это былъ Малайка, чудомъ выбравшійся изъ страшной опасности. Онъ теперь во всю прыть гналъ своего моштака, везя своему маленькому другу драгоцѣнную «писанку».

МУМІЯ НЕОПТОМАХА.

Воспоминанія о путешествіи по Нилу.

I.

Послѣ заката солнца быстро наступила темная южная ночь, и во всемъ маленькомъ городкѣ Хелуанѣ повсюду загорались разноцвѣтные огоньки. При такомъ контрастѣ непроницаемой тьмы, каждый жалкій фонарикъ, каждая мизерная лампочка кажутся бенгальскимъ свѣтомъ, и даже каждая спичка, при закуриваніи сигары или папиросы, озаряетъ лицо курильщика краснымъ, костровымъ заревомъ. Надъ террасою нашего отеля-пансіона сіялъ громадный, матово-бѣлый электрическій шаръ, а черезъ крыши сосѣднихъ домовъ и вдоль по ровнымъ улицамъ города онъ посылалъ на далекое разстояніе ослѣпительные лучи, на террасу-же распространялъ мягкій, ласкающій свѣтъ, пріятный для глаза, позволяющій даже свободно заниматься не только игрою въ шахматы и трикъ-тракъ, но даже чтеніемъ новыхъ газетъ и журналовъ.

Въ такое чудное время начала ночи, какъ разъ послѣ обѣда, за чашкою ароматнаго кофе, на террасу появляется всегда все пестрое, разнородное по національности, больное и здоровое населеніе отеля-пансіона.

Сидятъ, болтаютъ, лѣниво обмѣниваются новостями, вычитанными изъ газетъ, лѣниво передвигаютъ костяныя фигурки на шахматныхъ доскахъ и болѣзненно нетерпѣливо вздрагиваютъ и подергиваютъ плечами, когда какая-нибудь изъ получахоточныхъ или діабетныхъ дѣвицъ подсядетъ къ роялю и робко возьметъ нѣсколько аккордовъ, грозящихъ перейти во что-нибудь длинное и, конечно, скучное.

Такъ почти ежедневно... Но вотъ уже нѣсколько дней, какъ появился новый обитатель отеля съ необыкновенною

способностью обращать и приковывать къ себѣ общее вниманіе—и этотъ новый джентльмэнъ ухитрился сдѣлать наши тоскливыя послѣобѣденныя собранія несравненно болѣе оживленными и потому болѣе интересными.

У него была способность — начать кому-либо что-либо говорить сначала вполголоса; къ этому началу прислушивались сосѣди и втягивались въ разговоръ. Звукъ голоса разсказчика усиливался, усиливался и интересъ слушателей, а скоро все это превращалось въ настоящую аудиторію.

По спискамъ отеля, этотъ новопріѣзжій значился: «Жоржъ Нуаръ, докторъ медицины и хирургіи, сотрудникъ всѣхъ европейскихъ газетъ и журналовъ»—это скромное заявленіе было, очевидно, вымышленно, но до этого, какъ и до какихъ-бы то ни было паспортовъ, никому не было никакого дѣла, и каждый могъ называться, чѣмъ и какъ ему угодно. Администрація-же отеля наблюдала только за аккуратностью оплаты недѣльныхъ счетовъ.

Наружность Жоржа Нуара напоминала довольно банальный гримъ маскараднаго Мефистофеля: тѣ-же изогнутыя кверху угломъ брови, тѣ-же заостренные усы и эспаньолка, та-же, будто искусственно наклеенная, горбинка посреди носа; только голова его была совершенно лысая и прикрыта шелковою черною шапочкою. Одѣтъ онъ былъ во все черное (время обѣда, нельзя-же по этикету иначе), и на его шеѣ красовался бѣлый бантъ, красиво, но скромно повязаннаго галстука.

— Конечно,—говорилъ онъ,—настоящія, подлинныя, такъ сказать, муміи, стали теперь большою рѣдкостью!

При этомъ онъ какъ-то подозрительно, внимательно посмотрѣлъ на длиннаго, пожилого господина, сухого, какъ жердь, съ лицомъ цвѣта свѣчного, помятаго въ рукахъ, воска. Посмотрѣлъ онъ—и всѣ почему-то посмотрѣли тоже...

— А, между тѣмъ, господа, наука идетъ впередъ, египтологія становится любимымъ предметомъ все большаго и большаго числа развитыхъ людей... Музеи основываются и растутъ, какъ грибы .. А все это требуетъ большого количества образцовъ, предметовъ для научныхъ демонстрацій... Какой-же будетъ египтологическій музей безъ должной коллекціи мумій?!. А гдѣ же ихъ взять?!.. Усердныя изысканія и раскопки исчерпали почти весь историческій слой почвы Египта... Всѣ

династіи фараоновъ, достаточно отдохнувъ за тысячи лѣтъ покойнаго лежанія подъ спудомъ, увидѣли снова свѣтъ Божій, узнаны великими учеными, снабжены объяснительными ярлыками, номерами для справокъ и занесены въ каталоги... Но этого мало!—Жажда научныхъ знаній, новыхъ и новыхъ тайнъ и ихъ разгадокъ неутолима, и на алчный крикъ: «Мумій сюда, побольше мумій!» — истинные любители науки должны же были, наконецъ, откликнуться и позаботиться объ удовлетвореніи этой священной жажды...

— Вы и занялись этимъ дѣломъ?—не безъ язвительности замѣтилъ кто-то изъ дальнихъ рядовъ слушателей.

— Да, я и занялся...

Жоржъ Нуаръ спокойнымъ и яснымъ взоромъ окинулъ всѣхъ слушающихъ и продолжалъ:

— Я занялся этимъ дѣломъ. Я горжусь, что я изучилъ его обстоятельно, до полнаго совершенства...

— Фабрикацію фальшивыхъ мумій?—раздался опять тотъ-же голосъ изъ заднихъ рядовъ.

— Фальшивыхъ?.. Это опредѣленіе совершенно невѣрно. Фальшивымъ называется поддѣлка, но не производство подлиннаго матеріала... Имѣете вы, господа, понятіе, что такое мумія? Конечно, да!.. Такъ вотъ, видите-ли? Мумія есть трупъ человѣка, набальзамированнаго, прочно консервированнаго, предохраненнаго, такъ сказать, отъ порчи разложенія, затѣмъ, обернутая тщательно въ безконечныя, пропитанныя разными дезинфекціонными веществами ткани и, въ концѣ-концовъ, подверженная вліянію нѣсколькихъ тысячелѣтій, дабы пріобрѣсти настоящую свою историческую цѣнность и значеніе... Не такъ-ли, господа?

— Ну, конечно!

— Прекрасно! Если я беру дѣйствительно трупъ человѣка, продѣлываю съ нимъ все вышесказанное, а потомъ мною спеціально открытыми химическими способами привожу въ такое точно состояніе и видъ, какъ бы сей трупъ, сохранялся въ землѣ тысячи вѣковъ... Будетъ-ли это поддѣлка, или это настоящая мумія,—годная для самаго серьезнаго музея, для самыхъ серьезныхъ научныхъ демонстрацій?..

Тутъ вмѣшался одинъ джентльмэнъ, который еще вчера только былъ приглашенъ въ музей Гизе и присутствовалъ при

полномъ развертываніи найденной муміи того самаго фараона, который гнался съ войскомъ за бѣжавшими евреями...

— Вчера,—замѣтилъ онъ,—мы послѣдовательно и обстоятельно разоблачали драгоцѣнный прахъ; мы развертывали ткани по строгому методу, мы снимали вѣками просохшіе листки папируса и съ благоговѣніемъ прочитали священныя надписи, мы, наконецъ, добрались и до самаго тѣла, до этихъ, высохшихъ, но сохранившихъ строеніе мышцъ, вглядывались въ строгія черты почившаго властелина, мы узнали и кто онъ, и что онъ—и отдали честь останкамъ великаго Неоптомаха... Что же будетъ съ вашею муміею?—осмѣлюсь спросить.

— Тоже самое!—возвысилъ голосъ Жоржъ Нуаръ.—Вы, получивъ мой экземпляръ, также точно повѣстками соберете ученыхъ со всего конца міра въ операціонный залъ музея,—также точно отыщете основной узелъ (вы объ немъ забыли), также точно станете развертывать безконечныя ленты тонкихъ тканей, осторожно отдѣляя скальпелемъ тамъ, гдѣ онѣ ссохлись отъ вѣкового лежанія, вы также отдѣлите вѣковые листья папируса и прочтете на нихъ все, что слѣдуетъ по наукѣ,—вы, наконецъ, доберетесь и до самыхъ останковъ,—вглядитесь въ древнія черты и, конечно, не узнаете въ нихъ кого нибудь изъ своихъ родныхъ и знакомыхъ, или скажу—шире, кого-либо изъ современныхъ соотечественниковъ, а убѣдитесь, что передъ вами, на экспериментальномъ столѣ, лежитъ тѣло Радамеса перваго, погибшаго такъ трагически въ подземельяхъ храма Изиды. Да, господа! Согласитесь, что такая мумія не можетъ считаться фальшивой... Приведу вамъ одинъ, довольно вульгарный примѣръ:—если въ Болоньѣ дѣлаютъ превосходную, такъ и называемую болонскую колбасу изъ сильно прокопченаго свиного мяса, то почему-же считать такую-же точно колбасу, приготовленную въ Падуѣ, за фальшивую...

— Конечно,—согласился голосъ изъ болѣе темнаго угла,—вкусовыя ощущенія будутъ одинаковы...

— Да, вы правы. И я вполнѣ увѣренъ, если-бы у египтологовъ, изслѣдователей мумій, явилось мужество отрѣзать ломтикъ отъ муміи Неоптомаха и отъ моей муміи Радамеса—вкусовое ощущеніе было-бы тоже совершенно одинаково!

Это поясненіе не всѣми принято было равнодушно; много рукъ потянулось къ чашкамъ съ остывшимъ кофе... Двѣ

барышни, нѣмки, поблѣднѣли и быстро встали со своихъ мѣстъ. А какая-то очень полная дама по русски пробормотала:

— Свинья!

Къ счастью, она произнесла это на языкѣ, мало кому-либо изъ здѣшнихъ знакомомъ, хотя Жоржъ Нуаръ улыбнулся, взглянувъ по ея направленію, и прибавилъ:

— Вотъ изъ этой особы приготовленіе муміи было-бы очень затруднительно...

— А гдѣ-же вы достанете матеріалъ для вашего производства?

— Трупы?.. Да, скажу вамъ откровенно, что это вовсе не такъ легко, какъ кажется съ перваго взгляда... Положимъ, что здѣсь, при такомъ стеченіи тяжелыхъ больныхъ, смертность довольно велика... но все это матеріалъ не особенно пригодный къ дѣлу... Тѣла старыхъ феллаховъ и арабовъ,— негры никуда не годятся,—и гораздо лучше, и по тону больше подходятъ, но добываніе ихъ съ кладбищъ довольно трудно и сопряжено съ большою опасностью...

— Еще-бы!.. Законы страны не шутятъ...

— Законы, вы говорите? — Нѣтъ, законы въ такой свободолюбивой странѣ, какъ Египетъ, не такъ опасны; — вознагражденіе, гонораръ за изображеніе и трудъ, — настолько солидны, что это дѣло со стороны закона легко улаживается, но серьезныя опасности предстоятъ со стороны родственниковъ и соотечественниковъ погребеннаго; можно очень легко самому стать матеріаломъ для муміи, да еще попасть не въ артистическія руки, какъ мои, а въ лапы жалкаго кустаря, промышляющаго дѣйствительно грубыми и жалкими поддѣлками. Но, во всякомъ случаѣ, я вамъ скажу откровенно, господа, что лучшимъ матеріаломъ для изготовленія муміи я считаю живого человѣка... Я послѣднее время только и имѣлъ дѣло съ живыми субъектами, по желанію близкихъ имъ людей и по ихъ собственному, письменному согласію подвергнутыми моей операціи...

— Ну, это очень похоже на сказку!.. Что вы говорите?.. Чтобы нашлись охотники до подобныхъ... Странная форма самоубійства!—послышались недовѣрчивые голоса.

— Да вотъ, господа, я вамъ разскажу послѣдній случай.

Это было года четыре тому назадъ. Я уже давно не практиковалъ на этомъ поприщѣ. Случилось это именно здѣсь, въ Хелуанѣ. Я тогда жилъ въ отдѣльномъ арабскомъ домѣ, на самомъ краю города, у сѣрныхъ источниковъ. Угодно прослушать, господа?

Конечно, всѣ изъявили самое живое, самое полное желаніе слушать внимательно. Жоржа Нуара тѣснымъ кольцомъ окружили преимущественно дамы, сближаясь все тѣснѣе и тѣснѣе, досадно шумя и шелестя шелковыми подкладками своихъ костюмовъ.

— Въ Хелуанъ пріѣхала изъ Саксоніи, или тамъ изъ Галиціи, не помню точно, польская графиня Бреховецкая, необыкновенно, поразительно, очаровательно красивая женщина!.. Она была совершенно здорова, лечиться ей было не отъ чего, но она привезла сюда, на обычный курсъ, своего мужа, страдающаго хроническимъ недугомъ почекъ, нефритомъ. Графинѣ едва-ли было около тридцати, и находилась она въ періодѣ самаго полнаго и роскошнаго развитія красоты, энергіи и силы. Мужу было лѣтъ не особенно много, но все-таки около пятидесяти. Онъ былъ лицомъ желтъ, какъ воскъ, худъ до такой степени, что, когда онъ двигался, казалось, будто кто-то танцуетъ съ кастаньетами. Съ этою четою прибылъ и третій спутникъ, неразлучно сопровождавшій супруговъ,—лицо очень полное, краснощекое. Особа, очевидно, духовнаго званія,—это было замѣтно по его длинной одеждѣ и по его полнымъ, выхоленнымъ рукамъ, сложеннымъ какъ разъ на границѣ груди и живота—и пальцамъ, постоянно находящимся въ движеніи, будто бы они перебирали четки. Спутникъ этотъ былъ записанъ въ отелѣ, гдѣ они жили, подъ именемъ отца Іозефа Тромпетовича. Судя по обстановкѣ, по тратамъ графини, графъ сидѣлъ только на одномъ подогрѣтомъ молокѣ—люди эти были болѣе чѣмъ состоятельные, а по слухамъ, хотя слухамъ, въ такихъ случаяхъ, вѣрить никогда не слѣдуетъ, даже очень богатыми.

«Я познакомился съ ними очень скоро и скоро же сдѣлался имъ необходимымъ, особенно самому господину графу. Вѣдь, я тогда былъ очень знаменитымъ докторомъ, спеціалистомъ по болѣзнямъ почекъ. Но главное, на чемъ мы сошлись, это на египтологіи. Графъ былъ страстный египтологъ, я

также. Графиня тоже очень интересовалась и любила, когда я бойко прочитывалъ всѣ эти іероглифы и переводилъ не только на французскій языкъ, но и на ея родной, польскій, что доставляло ей, какъ пылкой патріоткѣ, громадное удовольствіе, отцу Іозефу тоже.

«Говорили также и о муміяхъ, о способахъ ихъ приготовленія, о возможности и въ настоящее время прибѣгать къ подобнымъ же способамъ консервированія драгоцѣнныхъ, милыхъ сердцу праховъ.

«Надо замѣтить, что графиня, какъ вѣрная католичка, горячо любила своего мужа, была ему безусловно вѣрна и, какъ всякая полька, почтительно относилась къ сопровождавшему ихъ духовнику. О, эта семья представляла истинный образецъ нравственности и семейнаго, христіанскаго долга!

«Вотъ уже четыре года подъ рядъ, какъ супруги пріѣзжали въ Хелуанъ, проводили тутъ четыре, по-европейски, зимнихъ мѣсяца, и это пребываніе въ теплѣ благодатнаго юга приносило графу видимое облегченіе. Однако, вся польза Египта быстро истощалась подъ вліяніемъ губительнаго пребыванія въ Европѣ, и больному съ каждымъ годомъ становилось все хуже и хуже.

«Графиня стала грустна и задумчива — отцемъ Іозефомъ овладѣло очевидное безпокойство —и если бы не мои ободряющія бесѣды съ графомъ, то онъ навѣрное замѣтилъ бы эту перемѣну въ настроеніи духа его окружающихъ. Я, конечно, отлично зналъ, въ чемъ дѣло... Я изучилъ уже всѣ подробности, всѣ тонкости ихъ отношеній... Кромѣ того, навелъ справки и въ Дрезденѣ, и въ Лембергѣ, и въ Краковѣ и получилъ уже оттуда всѣ необходимыя для меня свѣдѣнія... Графъ женился противъ желанія своихъ многочисленныхъ родственниковъ; всѣ эти родственники отъ души ненавидѣли графиню. Въ случаѣ смерти мужа — бѣдная красавица лишилась бы всего, еслибъ эта смерть постигла графа прежде, чѣмъ онъ успѣетъ сдѣлать должное духовное завѣщаніе, а графъ медлилъ, потому что надѣялся жить очень долго, несмотря на свой тяжелый недугъ. Надо было, значитъ, подвинуть графа поспѣшить исполненіемъ этого долга любящаго мужа и добраго христіанина; за это дѣло взялся отецъ Іозефъ, и я обѣщалъ графинѣ помогать во всемъ своимъ умомъ и вліяніемъ... И вотъ хлопоты наши увѣнча-

лись полнымъ успѣхомъ. Разъ, послѣ тяжелой ночи, проведенной больнымъ, послѣ неудачно прописанной мною ванны (всякій врачъ можетъ иногда ошибаться), всѣ мы поѣхали въ Каиръ и тамъ, въ австрійскомъ консульствѣ, привели все дѣло къ желанному окончанію. Графъ оставлялъ единственною наслѣдницею своихъ капиталовъ свою дорогую, вѣрную обожаемую жену Ядвигу — графиню Бреховецкую, урожденную дѣвицу Амалію Кедингъ, но къ завѣщанію былъ прибавленъ еще одинъ пунктъ, о которомъ я сообщу послѣ.

«Когда мы вернулись въ Хелуанъ, и графъ, утомленный поѣздкою, хлопотами и естественнымъ въ такихъ случаяхъ волненіемъ, покойно расположился въ креслахъ, въ своихъ апартаментахъ, надо было видѣть трогательную сцену любви и преданности, происшедшую передъ моими глазами. Графиня на колѣняхъ стояла около кресла графа, она прижимала свое чудное лицо къ впалой, тяжело-дышащей груди супруга, цѣловала его липкія руки и говорила:

— О, мой дорогой, мой любимый Янекъ... живи, живи долго, на счастіе твоей горячо-любящей Ядвиги!.. Мы съ отцомъ Іозефомъ будемъ молиться, мы молимся, чтобы Господь сохранилъ твою драгоцѣнную жизнь, и Господь услышитъ наши моленія... не правда ли, панъ отецъ Тромпетовичъ?..

— О, да, это истинная, святая правда,—подтвердило духовное лицо.—Господь сохранитъ и услышитъ... Господь можетъ все!..

. . . . . .

. . . . . .

«На другой день мы втроемъ, рѣшили что графъ находится именно въ такомъ положеніи, что изъ него должна выйти превосходная мумія.

Это заключеніе до такой степени было неожиданно для всѣхъ слушателей, что многіе вздрогнули, а нѣсколько дамъ даже вскрикнули:

— Ахъ!

— Что же дѣлать, господа, — пожалъ плечами разсказчикъ.—Кто могъ предвидѣть, что въ Хелуанъ изъ Петербурга, пріѣхала такая медицинская знаменитость, да еще, вдобавокъ, знавшая графа съ молодости, подвергла паціента самому подробному осмотру и постановила, что больному вовсе нельзя возвращаться въ Европу, а нанять, даже купить, простую виллу въ

окрестностяхъ Капра или Александріи, и жить тамъ безвыѣздно, по крайней мѣрѣ, лѣтъ десять... что отъ такой перемѣны жизни знаменитость вполнѣ ручается за этотъ продолжительный срокъ, да еще обѣщаетъ прибавить еще столѣтіе впослѣдствіи, даже съ правомъ возвращенія черезъ десять лѣтъ на родину...

— Графъ повѣрилъ, да это и похоже было на правду,— сразу ожилъ, повеселѣлъ; даже румянецъ появился на его впалыхъ, мертвенныхъ щекахъ... Съ графиней даже дурно сдѣлалось, конечно, отъ радости,—Тромпетовичъ многозначительно посмотрѣлъ на меня и приподнялъ брови.—Ну... что же тутъ удивительнаго, что мы всѣ трое пришли, наконецъ, къ вышесказанному рѣшенію.

— Однако, въ сборахъ и приготовленіяхъ прошло почти двѣ недѣли; знаменитость изъ Петербурга продолжала посѣщать *нашего* больного. Я, какъ докторъ, конечно, согласился вполнѣ съ его діагнозомъ и предсказаніями... Наконецъ, время пришло. Была чудная, темная ночь, вотъ какъ эта... Графъ въ тотъ вечеръ сдѣлалъ мнѣ честь посѣтить мое скромное, уединенное жилище. Онъ былъ настолько силенъ, что даже сдѣлалъ эту прогулку пѣшкомъ, опираясь съ лѣвой стороны на руку отца Іозефа, съ справой—на плечо своей кроткой и милой графини; я, какъ любезный хозяинъ, шелъ впереди, запасшись букетомъ дивныхъ бѣлыхъ розъ.

— Мы пришли. Улицы были пусты, и никто насъ не могъ видѣть, кромѣ нѣсколькихъ черномазыхъ индивидуумовъ, которымъ до насъ не было никакого дѣла.

«Я усадилъ слегка уставшаго паціента въ покойное, раскидное кресло, показалъ ему нѣсколько удивительныхъ свидѣтелей глубокой древности, лично добытыхъ мною изъ раскопокъ въ Луксурѣ, и, замѣтивъ, что графъ нѣсколько волнуется, больше чѣмъ слѣдуетъ, далъ ему понюхать изъ крохотнаго пузыречка, случайно очутившагося подъ моей рукою. Графъ вздрогнулъ, сдѣлалъ, было, попытку приподняться, безпокойно посмотрѣлъ въ ту сторону, гдѣ только что за тяжелой ковровой драпировкой скрылись его жена съ духовникомъ, и умоляющимъ, дѣтскимъ взоромъ уставился мнѣ прямо въ глаза. Странное явленіе!.. Я много разъ замѣчалъ этотъ послѣдній взглядъ у своихъ паціентовъ.

. . . . . .

Я на минуту взглянулъ въ окно, выходящее въ садъ; дальше была высокая стѣна, окружавшая мое жилище. Тамъ, у самой пальмы, украшавшей среднюю площадку, освѣщенные слабымъ свѣтомъ, проникавшимъ въ садъ изъ моего окна, стояли на колѣняхъ патеръ Іозефъ и графиня Ядвига, они оба представляли трогательную группу: — Тромпетовичъ билъ себя въ грудь, и губы его произносили:

— Mea culpa, mea culpa!..

— Глаза графини были въ молитвенномъ экстазѣ обращены къ нему, и изъ этихъ чудныхъ глазъ ангела, глазъ Мадонны, катились тихо слезы любви и покаянія.

«Да, эта группа была достойна кисти Мурильо, рѣзца Кановы, достойна была, чтобы ее увѣковѣчили, въ назиданіе и въ поученіе потомству.

. . . . . .

— Первая половина операціи тянулась часа два, и, представьте себѣ, когда я убралъ все, что составляло нѣкоторую неопрятность, привелъ матеріалъ для муміи въ состояніе вполнѣ приличное, покрылъ бывшаго графа покровомъ, пропитаннымъ тимоломъ и креозотомъ, и вышелъ въ садъ освѣжиться немного и выкурить сигару, представьте себѣ: графиня и ея духовникъ остались все въ той же глубоко молитвенной позѣ.

— Готово?—тихонько спросилъ меня Тромпетовичъ.

— Что вы? Готово все окончательно будетъ только недѣли черезъ двѣ, не ранѣе. Пока только подготовлено!—отвѣчалъ я.

— Онъ не страдалъ?—томно, съ глубокимъ вздохомъ полюбопытствовала графиня Ядвига.

— Нисколько, графиня. Онъ перешелъ въ лучшій міръ съ улыбкою на устахъ, успѣвшихъ прошептать ваше прелестное имя!

— Миръ его душѣ!—возгласилъ отецъ Іозефъ...

— «Amen!—склонила голову графиня Ядвига.

— Скажу вамъ откровенно, господа, я былъ всѣмъ этимъ глубоко тронутъ!

— Здѣсь, господа, въ странѣ полной свободы для тѣхъ, конечно, кто можетъ за эту свободу хорошо платить, никому и ни до кого нѣтъ никакого дѣла, какъ я уже разъ имѣлъ честь вамъ заявить. Все дѣло въ оплатѣ, а разъ стоимость пансіона, по высшему окладу, оплачивается аккуратно да еще

впередъ, никто не любопытствуетъ—гдѣ обрѣтаются исправные плательщики? Такъ и теперь. Петербургскій докторъ, навѣстивъ своего паціента на другой день, былъ очень удивленъ, узнавъ, что графъ съ графинею уѣхали, какъ думаютъ, вверхъ по Нилу, на небольшую, очень полезную въ гигіеническомъ отношеніи, прогулку... Знаменитый докторъ заподозрилъ только, не попытка-ли это со стороны графа уклониться отъ платежа гонорара, и, на всякій случай, сунулъ въ руку раззолоченаго каваса-негра маленькую золотую монетку, чтобы тотъ немедленно далъ ему знать, когда графъ вернется въ отель.

— Не прошло и недѣли, какъ разнесся слухъ о необычайной катастрофѣ на Нилѣ, по близости развалинъ Карнакскаго храма. Во всѣхъ газетахъ были напечатаны подробности происшествія. Во всѣхъ отеляхъ, и большихъ, и малыхъ, пошли разговоры и толки, коментирующіе эти газетныя свѣдѣнія.

— Графа Бреховецкаго сожрали крокодилы, съѣли безъ слѣда, безъ малѣйшаго остатка. Случилось это такимъ образомъ: какъ разъ противъ отмели, что тянется отъ развалинъ бань Клеопатры, остановилась на ночлегъ «дахабія», нанятая графомъ. Лодка стала на якорь, арабы-матросы, съ ихъ рулевымъ, отправились въ береговую деревню за своею надобностью... Ночь была дивная, лунное отраженіе, словно каскадъ огненныхъ золотистыхъ искръ, прорѣзало всю лагуну, въ воздухѣ ни малѣйшаго движенія... Графъ чувствовалъ себя превосходно, и вдругъ ему пришла охота выкупаться въ священныхъ нильскихъ водахъ въ эту чудную египетскую ночь. Опасности никакой не было; о крокодилахъ уже лѣтъ десять никто не слыхалъ; не только этихъ зубастыхъ чудовищъ, но даже всю мирную рыбу разогнали безпокойныя колеса пароходовъ «Кука» и «Гозе»... Вечеромъ, становясь на якорь, путешественники видѣли множество черненькихъ и коричневыхъ дѣтскихъ тѣлъ, весело барахтающихся въ водахъ лагуны... Графиня зашла въ свою каюту, а графъ, съ помощью матера, раздѣлся и спустился съ борта «дахабіи». Но едва онъ отошелъ шаговъ на десять, едва только попытался окунуться съ головою, какъ вдругъ вскрикнулъ и скрылся подъ водою. Увы, скрылся на вѣки!.. Выбѣжавшая на крикъ мужа графиня видѣла только легкое волненіе, произведенное борьбою; затѣмъ на поверхности появилось большое кровавое пятно, и звонко

щелкнули невидимыя челюсти... Отчаяніе несчастной графини было неописуемо; если бы ее не удержали силою докторъ и духовникъ, то она навѣрное сама бы бросилась въ воду, чтобы раздѣлить суровую участь горячо любимаго супруга... Кромѣ доктора, то-есть, меня, Эразмуса...

— Какъ Эразмуса?—послышались вопросы...—Вѣдь вы...

— Да, я теперь археологъ Жоржъ Нуаръ; тогда я былъ докторъ Эразмусъ... Вѣдь съ того времени прошло около четырехъ лѣтъ, а люди съ лѣтами мѣняются — это такъ нормально... Такъ вотъ, я продолжаю. Кромѣ меня—Эразмуса и патера Тромпетовича, не говоря уже о самой несчастной графинѣ Бреховецкой, свидѣтелями этого страшнаго событія были два неизвѣстныхъ сомалійца, Магометъ и Гафизъ, впослѣдствіи нигдѣ не разысканные. Но это неразысканіе не помѣшало составленію протокола, удостовѣряющаго дѣйствительную кончину графа Бреховецкаго. Безпрепятственному и скорому составленію протокола въ желанномъ духѣ помогло еще и то обстоятельство, что графиня дала подписку не взыскивать дипломатическимъ путемъ съ египетскаго правительства за смерть ея мужа, совершившуюся въ водахъ, находящихся во владѣніяхъ хедива. Это былъ первый случай подобнаго безкорыстія со стороны европейцевъ и ихъ дипломатіи, съ тѣхъ поръ, какъ страна фараоновъ осчастливлена была просвѣщенными просвѣтителями... Я кончилъ, господа!

— Позвольте, позвольте! —раздались голоса.—Вѣдь вы не договорили самаго главнаго, а именно: что же вы сдѣлали съ муміей графа Бреховецкаго? Вѣдь вы только начали ея приготовленіе!..

— Я и кончилъ все дѣло добросовѣстно и вполнѣ аккуратно,—отвѣчалъ докторъ Эразмусъ.—За двѣ недѣли нашего отсутствія главная масса провяливалась и, слегка спресованная, находилась подъ дѣйствіемъ соли и разныхъ ароматическихъ приправъ; затѣмъ она, окончательно упроченная, была послѣдовательно обернута, во что слѣдуетъ и, наконецъ, приняла видъ, вполнѣ достойный своего назначенія. Скажу откровенно,—это былъ лучшій экземпляръ самой достовѣрной муміи, который только выходилъ изъ моей мастерской!

— Какое же вы дали назначеніе этому экземпляру?

Разсказчикъ пристально посмотрѣлъ на спрашивающаго;

это былъ тотъ самый ученый египтологъ, который участвовалъ въ раскупориваніи знаменитой муміи въ музеѣ «Гиза».

— Этотъ экземпляръ попалъ въ самое надлежащее мѣсто. Вы вчера даже участвовали въ его разоблаченіи въ экспериментальномъ залѣ музея, вмѣстѣ съ вашими товарищами по наукѣ. Тѣло графа Бреховецкаго, подъ волшебнымъ жезломъ науки, превратилось въ мумію великаго Неоптомаха, фараона, такъ неудачно преслѣдовавшаго моихъ предковъ во время бѣгства ихъ изъ Египта... Ну, и что же тутъ особеннаго?

— Это ложь, милостивый государь!

— Не надо горячиться, — пожалъ плечами производитель достовѣрныхъ мумій.—У меня на это есть самое убѣдительное доказательство!

— Какое?

— А вотъ: вы припомните, что, разворачивая седьмой слой желтой ткани и снявъ первый листъ папируса, вы нашли плотный кусокъ чего-то, похожаго на тоненькую дѣтскую школьную тетрадку, по величинѣ собственно. Это нѣчто было покрыто темнымъ густымъ лакомъ, совершенно несмываемымъ и ничѣмъ не очищаемымъ... Вы признали это за таблетку гиппопотамовой кожи, на которой тоже должна бы быть надпись, но она сгладилась отъ времени. Вотъ я вамъ предлагаю химическій рецептъ; по этому рецепту вы получите медикаментъ, такой составъ, растворивъ который въ горячей водѣ, вы получите возможность легко смыть то, что скрываетъ отъ васъ истину. Вотъ, извольте получить!—И докторъ Жоржъ Нуаръ передалъ египтологу маленькій клочекъ бумаги, на которомъ начертана была такая химическая формула:

$$Vz + Q^{0} + R.$$

— Когда вы, милостивый государь,—продолжалъ онъ побѣдоносно,—продѣлаете эту операцію, то вмѣсто предполагаемаго куска кожи гиппопотама, вы найдете свернутый номеръ парижскаго журнала «Фигаро», отъ 7 марта 1898 года, гдѣ найдете подробное описаніе всего разсказаннаго мною событія...

— Теперь, господа, благодарю васъ сердечно за вниманіе къ моему разсказу. Желаю вамъ покойной ночи!

ЗАГРОБНАЯ МЕСТЬ.

Когда именно перешелъ въ вѣчность баронъ фонъ-Пудельвурстъ—опредѣлить съ особенной точностью было невозможно. Камердинеръ покойнаго, зайдя взглянуть на своего больного барина, нашелъ его совершенно остывшимъ и не сразу сообразилъ—въ чемъ дѣло; вызванный звонкомъ, другой лакей, помоложе, посмотрѣлъ на безжизненное тѣло и рѣшилъ, что надо послать за докторомъ... Пришла и старая няня, Прокофьевна, давно уже живущая въ домѣ, въ родѣ какъ-бы на почетномъ отдыхѣ, ахнула, набожно перекрестилась—и посовѣтовала «пока что», а дать знать, оповѣстить, то-есть, барыню Агнесу Карловну и прочихъ членовъ семейства барона фонъ-Пудельвурста.

Побѣжали оповѣщать.

Барыня находилась у себя въ будуарѣ съ домашнимъ докторомъ—будущею знаменитостью, господиномъ Топорковымъ,—барышня, Нина Ивановна, какъ уѣхали въ консерваторію на репетицію, такъ и по сихъ поръ не возвращались, а сыновья, братцы, Пьеръ и Поль, одинъ лицеистъ, а другой конной школы,—тоже находились гдѣ то въ отлучкѣ... Прочіе-же ростственники, болѣе отдаленные, хотя по случаю тяжелой и продолжительной болѣзни—господина барона и частенько послѣднее время почти ежедневно, навѣщавшіе больнаго, въ данную минуту отсутствовали.

Сначала всѣ въ домѣ немного растерялись—пока баринъ былъ только больной, все было хорошо налажено, а тутъ вдругъ взялъ да и померъ, что теперь дѣлать съ мертвымъ тѣломъ... у кого спросить? Агнеса Карловна, какъ застонала при первомъ извѣстіи, такъ и теперь все еще стонетъ, и докторъ ей сердце слушаетъ, а горничныя обѣ икры одеколономъ растираютъ... проговорила бѣдная и то въ полъ голоса, чуть не на ухо горничной:

— Пошли Настя за модисткою... Эстеръ. Знаешь?—И опять застонала да такъ жалобно, что даже ея Фиделька, забившаяся подъ кушетку, выставила свою умную головку и завыла...

Первая нашлась няня Прокофьевна. Властнымъ голосомъ она повелѣла разостлать на полу простыни, снять тѣло барона съ постели, обмыть и облечь во фрачную пару, «что-бы со звѣздою и лентою непремѣнно». Затѣмъ она же распорядилась послать въ «Конкордію»—эта такое учрежденіе, которое въ минуту общей скорбной суматохи и печали беретъ на себя всѣ матерьяльныя заботы и хлопоты и все это исполняетъ въ точности и совершенствѣ настоящихъ мастеровъ и спеціалистовъ.

«Конкордія» въ лицѣ двухъ джентльменовъ, въ черныхъ сюртукахъ и цилиндрахъ, явилась, какъ по мановенію волшебнаго жезла—и все пошло, какъ по рельсамъ.

А между тѣмъ душа покойнаго барона Іоганна фонъ-Пудельвурста, хотя и отдѣлилась отъ плоти, отошла на нѣкоторое разстояніе отъ своего земного футляра, но находилась по близости и потому могла все слышать и видѣть, правильнѣе сознавать, ибо душа, какъ всякій духъ, хотя и безплотенъ, но сознателенъ и въ жизни живущихъ принимаетъ нѣкоторое участіе. Такъ и теперь.

Баронъ, будемъ такъ называть его блуждающую душу, ибо существенное видимое, не болѣе какъ безчувственный кадавръ, полная и безотвѣтная собственность «Конкордіи». Такъ вотъ—баронъ сначала наблюдалъ все, происходящее вокругъ—какъ въ туманѣ, но потомъ все болѣе и болѣе становился внимательнѣе и скоро заинтересовался настолько, что во всемъ домѣ, во всѣхъ его укромныхъ уголкахъ, даже почти въ глубинѣ душъ и сердецъ дѣйствующихъ лицъ, ничто не ускользало отъ его вниманія. А тутъ баронъ еще избавился отъ всѣхъ безпокоящихъ его страданій: не ощущалось ни вздутости печени, ни подреберныхъ коликъ, даже его заклятый врагъ—геморрой молчалъ, ибо всѣ эти непріятности остались при кадаврѣ...

Пробило полночь. Пасторъ, сообщивъ, что это не смерть—нѣтъ! это только временный сонъ, для того чтобы проснуться въ другой, вѣчной жизни, уѣхалъ; чай съ легкимъ ужиномъ, сервированнымъ въ столовой, убранъ, гробъ на возвышеніи, декорированномъ тропическою растительностью, величественно помѣстился въ центрѣ залы. Обойщики страшно пылили, разво-

рачивая черную фланель, бывшую уже не разъ въ употребленіи, и драпировали ею стѣны и даже потолокъ, невыносимо навонявъ нафталиномъ. Въ залѣ дѣлать было нечего, и душа барона стала бродить по аппартаментамъ.

Вотъ бывшая его спальня, гдѣ онъ, такъ еще недавно, испустилъ духъ; форточки у оконъ отворены, и отъ нихъ клубится паръ, осѣдая легкимъ инеемъ на тяжелыхъ штофныхъ гардинахъ; топится каминъ для усиленія тяги... Камердинеръ Готлибъ, оглядываясь на запертую дверь, орудуетъ что-то около ящиковъ письменнаго стола, но, кажется, неудачно.

Отъ двери тянется узкій корридоръ, расширяясь, поворачиваетъ направо, гдѣ стоятъ шкафы съ запасною буфетною посудою, здѣсь маленькая замаскированная дверь ведетъ въ голубую гостиную. Тамъ горитъ дежурный электрическій огонекъ, подъ розовымъ колпачкомъ; далѣе будуаръ—кабинетъ баронессы, тамъ слышны сдержанные голоса. Дверь притворена, но зачѣмъ духу замки, когда онъ свободно проникаетъ сквозь самый матерьялъ преграды.

Полусвѣтъ... У Агнесы Карловны, конечно, разстроены нервы, присутствіе доктора необходимо... Онъ и сидитъ здѣсь на мягкомъ пуфѣ и, кажется, собирается закурить. Этого еще не доставало!..

Баронесса стоитъ сюда спиною и примѣриваетъ длинную креповую вуаль; она подняла обѣ руки высоко, движеніе, удивительно обрисовывающее ея полную, но не черезчуръ, фигуру. Въ трюмо отражается ея лицо, банально красивое, очень еще моложавое, особенно въ контрастѣ съ чернымъ крепомъ, ея высокій бюстъ, волнообразно колыхающійся при каждомъ вздохѣ. Она блѣдна, глаза ея слегка влажны...

Докторъ плотоядно смотритъ и говоритъ:

— Ани, ты, положительно, обворожительна!

— Ты, Борисъ, находишь? Я очень рада!

Баронесса круто повернулась и почти упала на ковровую отоманку, будто нечаянно сдѣлавъ своему собесѣднику пригласительный жестъ.

— А ты меня не будешь бояться?

— Это почему?

— Я теперь свободна, а мужчины боятся свободныхъ женщинъ... вѣдь теперь я могу...

— Ну, что объ этомъ говорить...—докторъ взялъ ее за руку и, по привычкѣ, тамъ, гдѣ ищутъ пульсъ.

— Видишь, я тебѣ должна сказать, что съ этого печальнаго момента мои средства значительно сокращаются!

— Ну! Это почему?

— Изъ состоянія моего мужа мнѣ придется получить только седьмую часть—это составитъ пустяки,— тысячъ триста—четыреста, не больше... это такъ мало!..

— Ну-нѣтъ, довольно!—радостнымъ голосомъ встрепенулся докторъ...—Да наконецъ, причемъ тутъ деньги, когда я люблю тебя все сильнѣе и сильнѣе, когда я...

— Милый!

Они потянулись другъ къ другу... близко, близко... душа барона не выдержала и крикнула: пфуй!.. но, конечно—этотъ вопль души не былъ услышанъ...

— Только, дорогая моя,—говорилъ послѣ докторъ,—я, какъ хочешь, этого кирасира, этого откормленнаго борова, прости за выраженіе, я его не переношу!..

— Ахъ, милый мой мальчикъ, вѣдь съ нимъ я не тебѣ ставила рога, а мужу... съ тѣхъ поръ какъ ты...

— Ну, а грекъ Штаны-штопало?

— Да вѣдь это милліонеръ!.. Вѣдь, ты знаешь, баронъ былъ страшно скупъ, особенно послѣднее время...

— А румынъ—первая скрипка?..

— Ну, какія все мелочи и притомъ это такъ давно... Ты бы припомнилъ еще мое пансіонское увлеченіе, о которомъ я тебѣ разсказывала... но теперь...

— Теперь...—шопотомъ прошамкалъ докторъ, такъ какъ его ротъ былъ прикрытъ чѣмъ-то душистымъ и влажнымъ...

— Фуй-фуй-какія свиньи!—простонала бѣдная душа наблюдателя, искренно пожалѣвъ, что лишена матерьяльной силы, возможности запустить въ этихъ свиней, чѣмъ ни попало...

Опять длинная анфилада комнатъ. Тамъ за небольшимъ зимнимъ садомъ комнаты дочери, тамъ уютный кабинетъ и спальня доброй Нины... Она всегда была такая ласковая, такая милая кошечка.

У Нины гости: двѣ ея пріятельницы остались ночевать—Нина такъ боится покойниковъ—эта отвратительная привычка держать цѣлыхъ трое сутокъ.. дома!

Передъ словомъ—дома—дѣвушка сдѣлала легкую паузу, она не произнесла—именно—что держать, но баронская душа ясно разслышала слово—«падаль».

— Вообще,—ораторствовала Нина—папа умеръ такъ некстати, такъ глупо!.. И совершенно спуталъ всѣ наши... расчеты... представьте—доктора увѣрили, что протянутъ его до марта... конецъ сезона. Они обѣщали даже, что у папы хватитъ силъ выдержать поѣздку на Ривьеру. Тамъ онъ и могъ бы умирать, сколько угодно. Мы бы его тамъ похоронили и остались бы на весь сезонъ въ Парижѣ... хоть цѣлый годъ и, конечно, могли бы вовсе не стѣсняться трауромъ... А теперь! Передъ самымъ началомъ сезона! Всѣ планы на смарку. Спектакли наши пропали, мнѣ ни въ чемъ, ни въ чемъ нельзя участвовать, отъ всего отказаться... цѣлую зиму! Это ужасно! И потомъ этотъ безобразный трауръ, черный цвѣтъ, который мнѣ совсѣмъ не къ лицу—маменькѣ хорошо! Ей очень даже идетъ черное, ее на десять лѣтъ молодитъ трауръ, ей не нужны выѣзды, она будетъ себѣ утѣшаться съ грекомъ и румынскими скрипачами, она теперь еще доктора завела... ей хорошо... А я... Господи, какъ я несчастна!..

Фу! Мерзкая дѣвчонка!—тоже сплюнула (мысленно конечно) душа барона и поплелась въ еще болѣе отдаленные апартаменты, занимаемые многообѣщающими юношами—сыновьями.

Тамъ было довольно шумно; какъ кажется, у бѣдныхъ сиротъ шло что-то въ родѣ легкой пирушки. Оповѣщенные по телефону, къ молодымъ баронамъ пріѣхали трое товарищей, во-первыхъ, выразить свое соболѣзнованіе, а во-вторыхъ, съ добрымъ намѣреніемъ непремѣнно чѣмъ нибудь развлечь, утѣшить бѣдныхъ друзей, а потому пригласить на какой-то особенный пикникъ, устроенный экспромптомъ очаровательной Жоржетою-Фликъ... Пикникъ этотъ устраивался по случаю... ну, по какому случаю?.. Рѣшили сообща, что по случаю ускоренной, сверхъ скучнаго ожидаемаго срока, кончины незабвеннаго ихъ родителя.

— Конечно,—философствовалъ Коко Пальчиковъ,—кончина явленіе весьма печальное... такъ, по крайней мѣрѣ, принято считать въ порядочномъ обществѣ, но съ настоящимъ случаемъ совпадаютъ и большія личныя и даже общественныя выгоды, напримѣръ...

Примѣръ такой сейчасъ же привелъ баронъ Пьеръ:

— Мнѣ надоѣли,—говорилъ онъ,—эти вѣчныя и скучныя исторіи... Папа, одолжи сто рублей... Шеръ папахенъ, мнѣ непремѣнно нужно полтораста... и всегда при этомъ строгіе взгляды, упреки и пренепріятныя замѣчанія!

— Канитель!

— Просто изводъ!.. Безцѣльный, глупый изводъ! Злоупотребленіе отеческимъ правомъ!..

— И почему это право?—сомнѣвался Поль.—Въ чемъ его основанія? Просто самодурство, злоупотребленіе власти..

Братья умалчивали при этомъ, что ихъ очень безпокоили подходящіе сроки ихъ векселей да еще съ папашиными бланками домашняго, такъ сказать, кустарнаго производства... Громадныя могли-бы быть непріятности!.. А тутъ померъ, преставился, и все на смарку!..

Дѣти барона, какъ видно, очень любили это выраженіе.

Конечно, надо все-таки соблюсти нѣкоторое уваженіе къ печальному факту—они выйдутъ по черной лѣстницѣ и вернутся, часамъ такъ къ восьми утра, когда еще чуть свѣтаетъ... Завтра на панихидѣ будутъ стоять съ блѣдными изнуренными горемъ лицами.

— Partons!—возвысилъ голосъ одинъ изъ юнцовъ. Онъ уже былъ пьянъ и со вниманіемъ присматривался, какъ это Поль отбиваетъ у шампанокъ горлышки, ловко ударяя о шпору.

— Для скорости?—хохоталъ другой юнецъ.

— Ну! Еще по стакану, за упокой родительской души, и маршъ!

— Partons, Partons... Тс! Не шумите!.. Знаете — какъ опереточные заговорщики:—Тихо, тихо, тихо, тихо...

— Мерзавцы!—заныла родительская душа и, глядя въ слѣдъ послѣднему, грустно покачала головою, то-есть, хотѣла бы покачать, если-бы таковая при ней оказалась...

Но реальная баронская голова лежала на своемъ законномъ мѣстѣ неподвижно, покрытая восковою, мертвою блѣдностью и ничего не могла ни слышать, ни видѣть, ни обращать даже вниманія на то, что въ глухую ночь, у ступеньки катафалка, вся съежившись отъ внутренняго холода, стояла на колѣняхъ старушка няня и тихо, безвучно, но горько пла-

кала, осѣняя и себя, и въ гробѣ лежащаго крестнымъ знаменіемъ...

«И самого умершаго знала она еще молодымъ бариномъ, и дочку его няньчила, и обоихъ юнцовъ, поочередно, выкормила. Къ дому, какъ кошка, привязалась... злая барышня, своекровная, вертопрахи разнузданные молодые баронята, а уже про саму и говорить нечего — просто шалая, гулящая баба... Только и держался домъ покойникомъ, — все распадется теперь, все пойдетъ прахомъ... Выгонятъ ее, не пожалѣютъ!..

Такія мысли бродили въ головѣ старушки, а ея сухія губы ушептали:

— Помяни, Господи, душу усопшаго, хоть и нѣмецкую душу, а всежъ христіанскую... Пошли ей миръ и вѣчное успокоеніе!

И баронская блуждающая душа эту скорбную молитву слышала и, какъ оказалось впослѣдствіи, приняла къ свѣдѣнію.

Наступилъ, наконецъ, день торжественнаго погребенія.

Несмотря на то, что большая зала была переполнена скорбными посѣтителями, было тихо. Шелъ только легонькій шопотъ, напоминающій шелестъ въ лѣсу осеннихъ листьевъ. Голосъ пастора раздавался отчетливо, хотя драпированный сукномъ потолокъ и стѣны мѣшали нѣсколько должному резонансу.

Но вотъ послышались сначала сдержанныя, глухія рыданія, постепенно все усиливаясь: у самаго гроба, въ глубоко скорбныхъ, колѣнопреклоненныхъ позахъ, находилась и жена, и дочь. Онѣ молились, жарко, увлеченно молились, молились, молча, пока торжественно и плавно лилась рѣчь пастора, но тотъ кончилъ, надо было приступить уже къ болѣе явному выраженію печали.

Съ баронессой сдѣлалось даже что-то въ родѣ истерики, ближайшіе друзья и знакомые поспѣшили съ медицинскою помощью. Поль и Пьеръ стояли неподвижно, словно на часахъ, по обѣимъ сторонамъ гроба родителя; они оба были тоже очень блѣдны и, конечно, какъ мужчины твердой воли и характера, не плакали, но чувствовали себя не въ своей тарелкѣ незамѣтно отъ посторонняго взгляда пропихивать въ ротъ мятныя лепешки, чтобы унять несвойственный печальной минутѣ запахъ вакхическаго угара.

Въ амбразурѣ окна сгрупировались ближайшіе пріятели и сослуживцы покойнаго, все люди чиновные и солидные... обмѣнивались мыслями и поминали усопшаго!

— Говорятъ, много больше милліона осталось!—говорилъ одинъ.

— Полтора!—подтвердилъ другой.

— Ну, нѣтъ, побольше!—подмигивалъ третій.

— Здорово накралъ!—чуть не вслухъ подумалъ четвертый.

Бѣдная душа барона незримо носилась въ кольцахъ синеватаго дыма надъ головами присутствующихъ и, при взглядѣ на этотъ кадавръ, въ черномъ фракѣ, съ руками сложенными на бѣломъ жилетѣ и даже перевязанными ленточкою, ей стало такъ невыносимо тяжко, такъ грустно за свою земную оболочку, что она приблизилась вплотную къ тѣлу, охвативъ его своими сочувственными объятіями; она, словно, захотѣла вновь войти въ свое прежнее обиталище, вновь перестрадать, съ нимъ вмѣстѣ, всѣ свои уже миновавшія страданія.

Тутъ случилось нѣчто невѣроятное, то-есть, если хотите, возможное, но въ самыхъ исключительныхъ, рѣдкихъ случаяхъ.

Окостенѣвшія руки барона распались и судорожно вцѣпились въ борты гроба, грудь глубоко вздохнула, глаза, стеклянные, холодные, они и при жизни, впрочемъ, были такіе, раскрылись, и баронъ Іоганнъ фонъ Пудельвурстъ поднялся, посмотрѣлъ направо и налѣво, чихнулъ и обнаружилъ очевидное намѣреніе выйти изъ своего пышнаго гроба.

Въ залѣ произошла неописуемая суматоха. Всѣ не сразу поняли, что такое происходитъ передъ ихъ глазами. Не растерялась старуха няня, Прокофьевна, да два ко всему привыкшихъ солидныхъ представителя «Конкордіи». Первая радостно крикнула:

— Голубчикъ, отецъ родной! Ожилъ!

А представители «Конкордіи» ловко подхватили барона подъ руки и помогли спуститься со ступеней катафалка. И вотъ, въ залѣ раздался хотя ослабѣвшій, но хорошо знакомый, привычный, властный голосъ:

— Прокофьевна!

— Здѣсь, батюшка, здѣсь!

— Веди меня въ спальню! Посылайте за докторомъ Миллеромъ. Сдѣлать сейчасъ ванну, въ 26 — реомюръ... Легкое

слабительное—и чашку теплаго бульона съ ложкою вина. Въ постель! А вы всѣ...

Тутъ баронъ сдѣлалъ соотвѣтствующій жестъ и, возвысивъ голосъ, произнесъ:

— Вонъ!

Никто изъ членовъ семейства фонъ Пудельвурстъ не могъ видѣть ожившаго:—не приказано было принимать. Черезъ часъ послѣ происшествія прибылъ докторъ Миллеръ и одобрилъ всѣ гигіеническія мѣры Прокофьевны, не отходившей отъ постели «больного». Еще черезъ часъ пріѣхалъ извѣстный всему Петербургу старичокъ нотаріусъ съ двумя статскими совѣтниками и двумя клерками изъ своей конторы; писали что-то и подписывали, разъѣхались только къ 11 часамъ вечера, а ровно въ полночь—баронъ скончался уже окончательно и безповоротно.

Ровно черезъ шесть недѣль тайна дѣлового засѣданія въ спальнѣ покойнаго обнаружилась: по безспорному нотаріальному завѣщанію, составленному по всѣмъ указаніямъ закона, наслѣдницею многихъ благопріобрѣтенныхъ милліоновъ барона оказалась пороховская мѣщанка, Матрена Прокофьевна Прокофьева.

ЧЕРНЫЙ НАѢЗДНИКЪ.

Былина Средне-Азіатскихъ кочевниковъ.

Пѣснь первая.

Давно это было—давно!

Много воды съ тѣхъ поръ ушло въ «Иргизѣ» и «Ори», много песку нанесло на мертвую «Бекъ-пакдалы», много сочной, зеленой травы вольными табунами потоптано, много разъ птица перелетная, съ холодныхъ сторонъ, за Аралъ тянула и назадъ по веснамъ возвращалась, много дѣтей грудныхъ стариками стали, много кладбищъ курганами—мертвыми аулами—степь изукрасили...

Это было тогда, когда кочевой народъ одну власть зналъ, одну силу: дѣдовъ своихъ родовыхъ, сѣдобородыхъ; о другой какой власти и не слыхивалъ, тогда, когда никто не считалъ кибитокъ нашихъ, никто податей не сбиралъ, никто никого не боялся...

Страшенъ, по слухамъ, былъ коканскій ханъ, грозенъ эмиръ, бухарскій владыка, лютъ и могучъ ханъ хивинскій,—да всѣ они трое далеко отъ нашихъ вольныхъ степей сидѣли и сюда не ходили къ намъ. Не ходилъ сюда и урусъ, человѣкъ стороны холодной, а, если и заглядывалъ когда такой, такъ больше съ ласкою, дружбою... Сила царя бѣлаго насъ миновала тогда... Ни одно колесо телѣжное гулевую землю нашу не рѣзало.

Давно это было—давно!

Хорошо, привольно жилось въ тѣ времена человѣку кочевому. Біи богатые всѣхъ около себя кормили, всякому жить въ волю давали... Дѣла-работы не знали, не дѣло то было—забава! Гуляй съ табунами по зеленымъ лугамъ, спи хоть съ

утра до ночи съ овечьей атарою, гоняйся съ борзыми за волкомъ вороватымъ, лови лисицъ по скалистымъ балкамъ, съ соколомъ зоркимъ по окраинамъ степныхъ озеръ рыскай, лебедя бѣлаго, гуся хохлатаго, цаплю длинноногую выглядывай... Біи поссорятся—всякій свой народъ скликаютъ, набѣги чинятъ другъ на друга;—тѣ насъ, мы ихъ,—кто кого осилитъ; своя сабля—судъ, своя стрѣла—расправа.—Лихіе джигиты, не то, что теперь—наперечетъ, а безъ счету, безъ имени были: грудной ребенокъ и тотъ за гриву цѣплялся, сидѣлъ, не падалъ... А кони были какіе!.. Вѣтеръ, не кони!..

Весна проходила. Таялъ снѣгъ на равнинахъ, ручьями по балкамъ сбѣгая, пробивала травка пригрѣтую землю, цвѣты изъ-подъ снѣга желтѣли... Безъ конца, безъ счета тянулись наши караваны съ зимовокъ, на привольныя мѣста, кормовыя; глазомъ не окинешь, все верблюды да верблюды идутъ, бубенцами позваниваютъ, ковровыми юламейками на спинахъ горбатыхъ покачиваютъ... Стонъ стономъ по степи во всѣ концы несется: и кони ржутъ, и бугаи вопятъ, овцы блѣютъ—все живое, молодой, зеленой листвѣ радуется..

Дѣвки красивыя, толстыя, въ теплѣ холеныя, мясомъ кормленныя, въ запуски съ джигитами на коняхъ носятся, межъ верблюдовъ увиваются, другъ отъ дружки хоронятся, другъ дружку гоняютъ, выслѣживаютъ... Старые дѣды, сѣдобородые, шагомъ ѣдутъ, важно, сановито, на молодость любуются, свои былые годы поминаютъ.

День другой идетъ, недѣли проходятъ въ пути... Что ни утро—новыя утѣхи, что ни ночь...

А на мѣсто стали, просторно кибитки поставили... Мѣста-то вволю!.. Не мѣренное, не топтанное, не травленное!.. А въ запасѣ такихъ благодатныхъ мѣстъ—сколько хочешь! Хоть все круглое лѣто всѣмъ кочевьемъ слоняйся!...

Жилось сыто, тепло, раскидисто, весело, радостно, вольно, приплодно... Умирать никому отъ такой жизни не хотѣлось,—да и смерть-то сама нашихъ не долюбливала, не больно охотно къ намъ жаловала; по сту лѣтъ старики не въ диковинку были—джигитами еще считались... Попадались нерѣдко и такіе, что и годы свои считать перестали.. Попрочнѣе народъ-то былъ нынѣшняго!..

И вотъ въ это-то самое время,—волею-ли Аллаха, чѣмъ разгнѣваннаго, темною-ли силою шайтана, людскому счастію завистника,—пришла бѣда тяжкая, обидная, легла ярмомъ тяжелымъ на вольныя плечи, камнемъ на сердце, хмурою думою въ голову забилась, и какъ мятель хвостомъ холоднымъ смела и веселье, и радость, и забавы всѣ наши охотничьи.

А пришла бѣда эта безъ грому, безъ шуму, безъ похвальбы, безъ пословъ-задиръ, на бой подбивающихъ, пришла нежданно, невидимо... Не сразу еще и поняли всѣ то въ чемъ дѣло; потомъ уже досужіе люди додумались, другимъ указали...

Пѣснь вторая.

Чуденъ джигитъ въ нашихъ степяхъ проявился.

Когда, въ какой несчастный день онъ сюда впервые пришелъ и откуда, гдѣ кибитку свою поставилъ, какого рода и племени самъ былъ? Никто того не зналъ, никому въ томъ чуденъ джигитъ не давалъ отвѣта. Многіе его уже видѣли, а кто увидалъ первый, того не знали.

Страненъ видомъ приблудный джигитъ. Холодъ на сердца ложится отъ его вида, дѣти съ крикомъ по ночамъ просыпаются, дѣвки-красавицы въ истомѣ мечутся, молодежь зубами скрипитъ, старики грозно хмурятся.

И не видали до тѣхъ поръ такихъ богатырей и не слыхивали...

Черный малахай бараній на головѣ, гривою косматой по плечамъ треплется, черный халатъ, черная рубаха даже, черные чимбары, черенъ и конь подъ сѣдломъ, безъ пятна, безъ отмѣтины. Лицо только бѣло у джигита, снѣга горнаго бѣлѣе... Стоитъ ли на мѣстѣ джигитъ, скачетъ ли по степи, вѣтру на встрѣчу, гнѣвенъ-ли, радостенъ—ни кровинки въ этомъ мертвомъ лицѣ не появится... Брови надъ носомъ орлинымъ срослись, тонкія губы улыбки не знаютъ, очи, что уголья, искрятся, какъ у волка по ночамъ... Не носитъ джигитъ при себѣ никакого оружія, не по нашему поступалъ обычаю: ни ножа у него на поясѣ не было, ни садака за сѣдломъ со стрѣлами, ни клынча сбоку криволуннаго, ни копья гибкаго, конскимъ хвостомъ опушеннаго... Не было даже на-

гайки ременной въ рукѣ—да такому коню нагайка и не требовалась!..

Стоитъ диво черный конь—не шелохнется, идетъ—топота легкихъ ногъ не слыхать, скачетъ—угона за нимъ нѣту; отъ первыхъ скакуновъ нашихъ, какъ отъ столба стоячаго, въ землю зарытаго, уходитъ.

Сегодня, слухъ идетъ, его на солонцахъ за Иргизомъ видѣли, а завтра, слышь, за шесть дней пути, на Ори, а то и дальше гдѣ, на русской границѣ—кочевой народъ дивнымъ батыремъ дивуется, горя себѣ наживаетъ...

Скажетъ слово черный джигитъ,—слово не изъ груди его, не изъ глотки проклятой отголосокъ идетъ, а подъ землею глубоко-глубоко слышится... И каждое словно его бѣдою отзывается.

Взглянетъ, покосится на дѣвку «черный», промолвитъ: «Ишь, красавица гладкая!» — недѣли не пройдетъ, узнать нельзя эту «гладкую»: кожа да кости, лицо изъ краснаго, румянаго желтое станетъ, морщинистое, словно не шестнадцать ей лѣтъ, а ужъ за семьдесятъ стукнуло, ходитъ, бѣдная, горбится, на палку, клюку опирается, кашляетъ, словно овца запаленная, кровь изо рта сочится... Ребятъ гдѣ похвалитъ—будто громомъ всѣхъ перебьетъ, коню какому позавидуетъ—конь съ ногъ валится...

Сгинетъ, дастъ людямъ вздохнуть съ недѣлю, тамъ опять появится, по ауламъ день и ночь рыщетъ, печаль, зло своимъ языкомъ, «глазомъ» проклятымъ сѣетъ.

Говорили ему, молили:—«Оставь ты насъ, кто бы ты ни былъ, уходи добромъ!..»—Онъ въ отвѣтъ: «Степь про всѣхъ широка, не вамъ однимъ жить дана!..»

Засмѣется—и смѣхъ его невеселый страхъ на людей наводитъ, коней дрожать заставляетъ, псы и тѣ взвоютъ жалобно...

Сговорились удальцы наши спровадить незваннаго, непрошеннаго, не добромъ, такъ похуже чѣмъ: сговорились изловить его, избить, до смерти захлестать нагайками, живого въ землю зарыть, на кострѣ спалить... Чего чего не сбирались съ нимъ сдѣлать!..

Только сговоры эти не ладно, не добромъ всегда выходили, худо кончались: поймать, не поймали, сгубить, не сгубили, а сами то всѣ захирѣли, отъ болѣзни тяжкой перемерли!.. Поколѣли и кони тѣ, что за «чернымъ» гонялись.

Пѣснь третья.

Бій Хакимъ Берды богатый, батырь знаменитый, по тысячѣ джигитовъ въ доспѣхахъ къ русскимъ границамъ на разбои важивалъ, этотъ самый бій—головою своею, семьею всею, тѣнью дѣдовъ и прадѣдовъ, что на высокихъ курганахъ вѣчнымъ сномъ спали, поклялся, всѣмъ добромъ своимъ, всѣмъ, что у него дорогаго было: «не вернуться домой, не переступить порога кибитки своей, дымомъ своего домашняго огня не дохнуть, на мягкій коверъ спать не ложиться, женъ, сыновей не ласкать, сокола съ руки не спускать любимаго, пока не приведетъ Аллахъ изловить джигита приблуднаго «чернаго», связать по рукамъ и ногамъ, въ торокахъ за вьюкомъ привезти домой, на потѣху, на выместку общую»...

Много удалаго народу тогда съ Хакимомъ-Біемъ уѣхало.

Говорилъ ему Аблай-Ханъ, владыка нагорныхъ зимовокъ и кочевій всѣхъ, что отъ самыхъ Кары-Кумъ, по Иргизу, до лѣсной стороны протянулись—говорилъ ему старый:

— Эй, оставь, не вяжись! Не берись не за свое дѣло... Не человѣкъ „*тотъ*“... самъ «Албасты-басу» *) принялъ образъ человѣческій... Не мечемъ биться съ нимъ надо, не батырскою силою, чѣмъ нибудь другимъ, не твоего ума дѣло, поважнѣе!..

Обозвалъ Хакимъ-Берды «бабою» стараго бія почтеннаго, «изъ ума, говоритъ, отъ старости выжилъ»—не послушался. И начались тогда для него, для семьи его, рода всего и дома—страшные дни тяжкаго горя и раззоренія.

Двухъ разъ солнце не закатывалось, какъ уѣхалъ Хакимъ съ джигитами, а ужъ пришла вѣсть съ Кара-Кумъ, отъ песчаныхъ бугровъ, гдѣ атары его отъ парши на тузлукахъ **) гонялись: погибли, числомъ несмѣтныя, всѣ овцы Хакимовы,—подхватило ихъ ураганомъ свирѣпымъ, горячимъ, безъ признака обычнаго, безъ времени, пивѣсть съ чего середь тихаго дня налетѣвшаго, и погналъ ураганъ овецъ сплошною кучею, какъ баба соръ гонитъ съ ковра метлою, гналъ до самаго моря Арала и, съ крутого берега скалистаго, потопилъ ихъ всѣхъ въ водѣ морской, соленой...

---

*) Злой духъ.

**) Тузлукъ—солончаковые затоны.

Чуть живые, пришли пастухи, добрели еле-еле домой, говорятъ: «Самого его» видѣли, какъ онъ, этотъ «черный» на конѣ своемъ, среди песчанаго вихря крутящагося несся, какъ съ разгона остановился, осадилъ коня надъ самою кручею, какъ отъ посвиста его сразу буранъ улегся, какъ онъ прочь, назадъ, шагомъ поѣхалъ, только зубы свои острые оскалилъ, завидя пастуховъ на пути, какъ тѣ за кочками припали, со страху головой въ колючій джингилъ и въ сухой саксаулъ забивались...

Потомъ слышатъ: на табуны Хакимовы болѣзнь пошла и моръ безпощадный за нею. Другъ отъ дружки кони заражались, а принесла болѣзнь ту паршивая лошаденка дикая; лошаденка то не приблудная была, не сама забѣжала, пригналъ ее сюда тотъ же кара-джигитъ... Самъ зять Хакимовъ видѣлъ, стрѣлу даже успѣлъ пустить разбойнику въ догонку, да тетива лопнула, стрѣла тутъ же на землю упала и ногу сыну его родному, маленькому искалѣчила.

А Хакимъ-Берды все по степямъ за своимъ обидчикомъ, всякихъ кочевій мучителемъ, гоняется... Съ каждою угонкою по зрячему и бѣда творится. Три раза уже видѣли «чернаго», три раза окружали его, да всѣ три раза, словно чудомъ какимъ, тотъ черезъ крѣпкій кругъ пробивался. Три и бѣды уже надъ Хакимовымъ домомъ случились.

На четвертый разъ—ѣдетъ полемъ Хакимъ-Берды съ джигитами, широко цѣпью растянулись, зорко по краю неба выглядываютъ, видятъ: юркнулъ, словно лиса хвостомъ, вершникъ какой-то въ балочку, да тамъ и засѣлъ, спрягался.

Загикали наши, завыли, заскакали справа, заскакали слѣва, сзаду, спереди кругъ обрѣзали. Самъ Хакимъ на своемъ скакунѣ лихомъ, рыжемъ—съ размаху въ овражекъ скакнулъ... Опять прорвался «черный джигитъ», опять лови его въ угонку—а поймать его такъ развѣ можно?!

Только на этотъ разъ какое-то чудо свершилось: всѣ то прочіе кони далеко отстали, изъ вида назади попрятались, а Хакимовъ рыжій все не слабѣетъ, все ближе да ближе на чернаго насѣдаетъ, совсѣмъ вотъ, вотъ достать копьемъ можно...

Радуется сердце Хакимово: вотъ, думаетъ, теперь, насажу

тебя, какъ шашлыкъ на стержень... А ну, родной, ну, рыжакъ, ну, наддай еще немножко!.. Гей!

То вправо копье клонится, то влѣво, то вверхъ выше головы тычетъ, словно вотъ отводитъ его сила какая-то!.. Въ землю на всемъ скаку ткнулось концемъ, какъ стекло, на мелкіе куски гибкое древко разломилось... Хватился за стрѣлы Хакимъ, глядь, а саадакъ-то со всѣмъ снарядомъ оборвался на скачкѣ, назади гдѣ-то далеко остался... Хватился за саблю Берды, засѣла въ ножнахъ туго, не вынимается, а до той поры легко ходила, какъ по салу сама вылетала, сверкая на солнцѣ кривымъ, золотомъ сѣченнымъ, чеканомъ убраннымъ, безцѣннымъ клинкомъ, что покойный Хаджи-Измаилъ еще отцу Хакимову изъ Мекки въ подарокъ привезъ.

Обернулся тутъ «кара-джигитъ», сталъ; остановился самъ собою и рыжій конь Хакима-Бія.

Сухъ вороной, ни пылинки на немъ, ни пятнышка мыльнаго; боками не поводитъ, ноздрями тонкими не пышетъ, словно и не скакалъ сейчасъ, а только, что съ долгой выстойки, сѣдло на него накинули...

У рыжаго коня колѣни дрожатъ, подгибаются, глаза потускнѣли, раздуло бока бурдюкомъ, кровь изъ ноздрей рѣкою хлещетъ, струями потъ грязный льется, у копытъ лужи отъ этого пота подѣлались...

— Когда же ты, глупый, за мною гонять перестанешь, какъ ошалѣлый песъ по степи за птицею?—спрашиваетъ Хакима-Бія съ усмѣшкою «черный джигитъ».

— А тогда,—отвѣтилъ тотъ,—пока или самъ костьми лягу, или тебя на куски живаго изрѣжу, и мясомъ твоимъ поганымъ собакъ накормлю...

— Перваго ты бы скорѣе дождался, да рано еще: ты мнѣ, другъ, пока нуженъ!

Сказалъ это «кара-джигитъ» да только его и видѣли, а уже на другой день нашли люди Хакимовы своего бія, безъ языка, безъ памяти, безъ силы, совсѣмъ полумертваго, а рядомъ съ нимъ и коня его рыжаго околѣвшаго.

Задумались тогда наши удальцы, бросили свои неразумные поиски, вернулись домой и Хакима-Берды привезли несчастнаго.

А дома ждала ихъ еще бѣда, четвертая: сгорѣли до тла

кибитки всѣ почью, нанесло на нихъ палъ камышевый, этимъ паломъ, какъ кольцомъ огневымъ, охватило кочевье.

Сколько дѣтей погорѣло, добра всякаго!

Мать, старуха слѣпая, Хакимова, сгорѣла, изъ семи женъ его только одна осталась въ живыхъ, самая злая, рябая, некрасивая.

Обнищалъ, ослабъ, захирѣлъ когда-то славный, сильный бій Хакимъ-Берды, собралъ послѣдніе остатки добра своего, только и хватило, что на одного верблюда бѣлаго, тонкорунного, и поѣхалъ Хакимъ на этомъ верблюдѣ, черезъ рѣки Сыръ и Аму, черезъ царство Иранское, черезъ горы каменистыя, пески сыпучіе, въ Мекку на поклоненіе...

Отъучилъ каждаго примѣръ несчастнаго бія на силу свою надѣяться, за «проклятымъ» гоняться. Стали тогда другія средства пробовать, къ колдунамъ, да къ знающимъ людямъ, къ мулламъ обратились...

Распродали тѣ народу страсть что «тумаровъ» *) всякихъ, всю кору съ «аулье-агачь», со святаго дерева, что на Орп росло и теперь середь степи красуется, ободрали—человѣка не было, у кого чего бы такого въ запасѣ не было; и на себя, и на коней своихъ надѣли; филиновъ, совъ всѣхъ переловили и на кибиточныхъ тендюкахъ поразвѣсили—ничего не помогало да и только!

Рыскаетъ себѣ по степямъ «кара-джигитъ», языкомъ своимъ и глазомъ зло сѣетъ, на «тумары» эти глядя, посмѣивается: муллъ святыхъ, людей-знахарей одобряетъ...

Покорностью, мольбою взять его хотѣли, на корысть поднялись, подарки многоцѣнные предлагали: сотнями отборныхъ головъ скота, бойкими иноходцами, коврами, золотомъ, всѣмъ клапялись...

Ничего не беретъ, надо всѣми поклонами да посулами только потѣшается...

— Чѣмъ вы, говоритъ, меня задарить хотите, чѣмъ ублажить можете, когда и всѣ то вы сами, съ добромъ своимъ и, степи всѣ, и воды, и лѣса, и горы—все мое!

---

*) Талисманъ.

Повѣсилъ головы весь людъ кочевой, призадумался—кончились дни вольные, веселые, настало время иное...

Чумовое, поморное, засушное, голодное время,—всякое горевое—того легче бы было!

И небо-то перестало яснѣть, словно дымомъ его застлало, и солнце тускло въ дыму такъ свѣтило, и воды въ рѣкахъ лѣниво струились, и трава не такъ, какъ прежде, цвѣтами пестрѣла, и дичь-то вся стала осторожнѣе, пугливѣе...

Только въ кочевьяхъ стараго хана Аблая, словно какъ будто полегчало, словно на тѣ мѣста сила «джигита черпаго» слабѣе налегла.

Пѣснь четвертая.

Годы идутъ, а съ годами все живое растетъ, равняется. Выросла, выравнялась на диво всей степи, дѣвкамъ на завистъ, молодымъ батырямъ на разгаръ «Узунъ-Чашь» *) красавица. любимая внука хана Аблая, отъ сына его младшаго, что на Яикѣ десять лѣтъ назадъ убитъ былъ пулею вражьею...

Росту высокаго, костью широкая, тѣломъ дородная, а прозвали ее «Узунъ-Чашь» за то, что и взаправду такіе волосы длинные, черные были, что, стоя, косы до земли достигали...

Сядетъ, бывало, красавица коня своего купать въ озерѣ, голая, волосами только, словно халатомъ, вся покрывается...

Косы ея плести двѣ подруги прійдутъ, съ утра, съ восхода солнечнаго весь удой кобылій утренній сидятъ за работою...

А наѣздница какая была Узунъ-Чашь! Въ «кызъ-бырры» **) игрѣ—джигита ей не было равнаго, не говоря уже про другихъ изъ той-же бабьей породы. Что ни игра, бывало—всѣхъ парней и своихъ, и пріѣзжихъ плетью перехлещетъ, и ничей молодецкій поцѣлуй до ея красныхъ, жирныхъ губъ до сихъ поръ не касался.

Второй десятокъ лѣтъ внучкѣ Аблаевой уже былъ на исходѣ... не корыстенъ былъ старый дѣдъ, не запрашивалъ калыму, «джаксы» ***) несмѣтнаго, непосильнаго, а разборчива была сама очень, не хотѣла идти въ домъ къ слабосильному, все

---

*) Длинноволосая—собственное имя.
**) Волкъ-дѣвка, игра—описаніе дальше.
***) Добро.

по плечу своему пріискивала такого, чтобы ее осилилъ, съ коня сорвалъ, заласкалъ, затрепалъ на скаку, силкомъ до полусмерти.

Много тогда со всѣхъ концевъ земли и своихъ, и чужихъ молодцовъ сюда пріѣзжало. Такіе бывали батыри, что и не видывали прежде...

Пріѣзжалъ и монголъ съ китайскаго царства, и иранъ-человѣкъ, купецъ богатый, и узбекъ, и тюркменъ на конѣ цыбатомъ, наѣзжалъ женихомъ-гостемъ, и урусъ-казакъ, — всѣ ни съ чѣмъ назадъ, по домамъ разъѣхались.

Думали всѣ тогда, печалились, что совсѣмъ всю жизнь дѣвка яловою останется, не замужнею, не будетъ отъ нея приплода молодецкаго, да судьба помогла...

Пришло время и смирилась гордая и сама полюбила всей душой одного парня тихаго, добраго, пастуха бѣдняка сосѣдняго...

Донялъ ее пастухъ не силою богатырскою, не удалью джигитскою, не конемъ огневымъ, не осанкою гордою, не разбоемъ добычливымъ, не охотой удачливой, донялъ ее Аллаяръ глазами своими ясными, пѣснями своими сладкими, что, бывало, всѣмъ ауломъ слушаешь, не наслушаешься...

Радъ былъ самъ дѣдъ Аблай-ханъ хоть такому выбору, внучкѣ своей не перечилъ, къ свадьбѣ, къ загулу готовился, съ жениха калыму не взялъ, для порядку только свое же добро за его считалъ...

Одарилъ старикъ на радостяхъ Аллаяра того пѣсенника халатами цвѣтными, пестро-шитыми, лихими конями по выбору, подарками всякими цѣнными.

Одарила его красавица Узунъ-Чашь взглядами своими огневыми, до сердца прожигающими, поцѣлуями звонкими, что далеко кругомъ слышались. А тотъ, знай, поетъ, у порога кибитки ся сидючи, балалаечки струны перебираючи, да и пѣсни-то у него пошли теперь все новыя: и про солнце на небѣ, и про горы дальнія, синія, про лѣса темные, дремучіе, про туманъ утренній, марево лживое, чудное, про цвѣты въ степи, про орла въ поднебесьи, про всю тварь живую въ тѣхъ пѣсняхъ говорилося.

Говорилось въ тѣхъ пѣсняхъ Аллаяровыхъ и про душу человѣческую, говорилось, какъ шайтанъ съ добрымъ духомъ тамъ весь вѣкъ борется, говорилось и про нынѣшнее, и про

старину давнюю, и про то, что впередъ будетъ... Сладки были тѣ пѣсни пророческія...

Народъ слушалъ, стоялъ молча, въ землю потупившись, старый дѣдъ Аблай головой качалъ бѣловолосою, Узунъ-Чашь вся въ лицѣ мѣнялась, широко, весело ротъ ея улыбался, зубы ровные бѣлые сверкали, глаза черные ея тихо плакали!...

А давно уже, въ добрый часъ сказать, не слыхать было по близости—проклятаго «Албасты-басу»—джигита чернаго...

Свѣтлы, радостны пришли пировые дни, свадебные. Со всѣхъ концовъ степи съѣзжались гости несмѣтные и званные, и незванные, по край неба все кибитками заставили... Самъ Тимуръ въ годы древніе такого стана не собиралъ, такой силы людской не видывалъ.

Узунъ-Чашь въ кибиткѣ своей по обычаю затворилась, съ матерью и подругами, а межъ тѣми подругами одна была самая ея любимая, самая обласканная, изъ «чужихъ»,—«раба-полуумная»...

Чудная была эта дѣвочка, малая, слабая, ребенокъ ребенкомъ, волосы свѣтлые, серебристѣе ковыля степнаго въ жаркую пору высохшаго, глаза голубые, какъ небо весною, бѣлое личико, бѣлое тѣло...

Привезъ ея мать батырь одинъ, изъ нашихъ, привезъ изъ-подъ «Орска, съ сѣвера», забарантовалъ въ набѣгѣ,—мать-то скончалась, да и безъ призора, безъ ухода обычнаго... Родила она живую дѣвочку,—крохотную, взялъ ребенка Аблай-Ханъ къ себѣ, изъ жалости, да и держалъ все время при своей кибиткѣ.

Сверстницы были—и эта пріемная, и Узунъ-Чашь красавица, а какая межъ ними была разница? На одной рукѣ Узунъ-Чашь ту носила, какъ мячъ подкидывала, на землю слуститъ,—та до пояса рукой не дотянется—малаго бурдюка не могла съ мѣста двинуть; никто ее за ея слабость и работой никакой не неволилъ...

Гдѣ ей работу нести, когда отъ вѣтра легкаго, какъ травка клонится... Такъ, для забавы больше служила...

У всѣхъ дѣвокъ въ аулахъ свои скакуны завелись излюбленные; какъ пригонятъ домой табуны—всякая своего коня посвистомъ вызоветъ... Нашлась и для—«Акъ-джанъ» *) лошадка подходящая...

---

*) Добрая душа.

Была одна малорослая кобылка, совсѣмъ жеребенокъ по виду, чуть ноги переставляла, чуть бѣгала, а шерстью вся безъ отмѣтинки бѣлая... Чудно было глядѣть—какъ лошаденка эта сама подбѣжитъ къ своей наѣздницѣ, какъ та съ помощью Узунъ-Чашь влѣзетъ ей на спину, да за гриву крѣпко рученками держится...

Всѣ подруги—по степи носятся, гикаютъ, другъ дружку обгоняютъ, а наша «Акъ-джанъ» шажкомъ сзади плетется, весело всѣмъ улыбается, а то и засмѣется,—словно колокольчикъ серебряный, смѣхъ ея въ воздухѣ прокатится... Думу черную смѣхомъ тамъ разгоняетъ, злую руку на взмахѣ останавливаетъ.

И любили Акъ-Джанъ крѣпко въ кочевьяхъ за то, что силу она имѣла дивную, миротворную...

На что былъ нравомъ крутъ старшій сынъ Аблая, Нурекъ-батырь, много горя, много крови отъ его руки лилось...

Гнѣвенъ и лютъ, расходясь, не зналъ въ сердцахъ удержу, а и тотъ по взгляду Акъ-Джанъ смирялся и, волей неволею, прощалъ, миловалъ виноватаго.

Дѣвка Акъ-Джанъ, хоть и малая, и надиво красивая, а никто изъ парней на нее не зарился, никто и близко съ ласкою мужскою не подступался...

Пастухъ Аллаяръ, женихъ, когда пѣлъ, всегда около себя сажалъ «душу бѣлую»—и не ревновала ее Узунъ-Чашь, а любила крѣпче прежняго.

Вотъ какова была Акъ-Джанъ, пріемная, аульная дѣвочка!

Шумитъ, гремитъ, веселится кочевой, вольной народъ, вторую недѣлю сговоры да сватовство празднуютъ...

Безъ умолку поетъ Аллаяръ, безъ конца все прибываютъ и прибываютъ новые гости, гонятъ скотъ, верблюдовъ, караваны съ товарами тянутся.

Всѣ проѣзжіе, заслыша про свадьбу, съ пути сворачиваютъ, да здѣсь станомъ становятся..

Уже и у сватовъ подставныхъ, для порядку, бабы выкупъ собрали, уже и «Джаксы» *) все по обычаю, пересчитано, игры разныя переиграны, бѣги, скачки перескаканы, насталъ по-

---

*) Приданое добро.

слѣдній день пировой, день обряда вѣнчальнаго, день послѣдняго, разливаннаго пированія...

Шлютъ мольбы Аллаху всякъ и старъ, и младъ,—благодарятъ всѣ его могучаго: отклонилъ, не привелъ сюда своею немилостью шатуна проклятаго, «джигита чернаго».

Пѣснь пятая.

До разсвѣта костры развели, не костры—курганы огненные. Косяками жеребятъ молодыхъ, безъ счету барановъ жирнохвостыхъ порѣзали... Кипятъ, бурлятъ котлы казаны чугунные, даже крышки на нихъ дрожатъ, подскакиваютъ...

Высоко къ небу черный дымъ отъ огней несется, далеко по вѣтру стелется, къ спящимъ батырямъ, гостямъ въ носы забирается, будитъ, тревожитъ животы ихъ голодные...

До разсвѣта дѣвки мыломъ моются, косы лентами, стекломъ цвѣтнымъ убираютъ.

Всю ночь передъ тѣмъ не спала Узунъ-Чашь, на кошмѣ своей бѣлой все металась, померещилось ей, знать, недоброе, что-то злое чуяло сердце ея...

Вотъ и солнце взошло, словно золото обвело куполы, зубцы стѣнъ могилъ дѣдовскихъ на высокомъ курганѣ «Аулье-мазаръ»...

Копошится старый Ханъ-Аблай, свадьбѣ радуется, не печалится, къ себѣ въ домъ беретъ жениха, не невѣсту сдаетъ ему въ отвозъ, въ сторону дальнюю...

Вышелъ Ханъ-Аблай,—халатъ на немъ солнца ярче утренняго, краснымъ золотомъ переливается, тюбетей высокій, острый, камнями дорогими унизанъ, галуномъ обложенъ, чернымъ соболемъ отороченъ...

Вышли съ нимъ старики, отцы сановитые и въ кружокъ, на большомъ коврѣ хивинскомъ, словно степь весною узорчатомъ, размѣстились...

Размѣстились кругомъ гости званные и незванные, какъ подковою конскою, обогнули... Впереди кто—на землѣ сидятъ, а за ними другіе во весь ростъ стоятъ, а за тѣми на коняхъ, по одному, а то по двое, а за тѣми послѣдніе на верблюдахъ высокихъ, горбатыхъ, чтобы было всѣмъ видно, не заслонисто...

Лугъ зеленый передъ нимъ разстилается, далеко на лугу томъ столбъ, цвѣтными платками увѣшанный, виднѣется; ѣздятъ

по лугу джигиты нарядные, коней горячатъ, подзадориваютъ, другъ дружку словомъ колкимъ задѣваютъ, глазами мѣряютъ...

Ныньче съ дѣвками въ «Кызъ Бырры» наиграются, натѣшатся, завтра, можетъ, пойдутъ по отцамъ сваты новые...

Узунъ-Чашь сегодня не выѣдетъ, не до смѣху ей и позорить своею непобѣдимою удалью молодежь не хочетъ... Пусть ихъ поскачутъ, поборятся съ ровными...

Часъ проходитъ, другой... Солнце на полдень поднимается...

Уже и кони-то всѣ позамылились, и джигиты-то поразмаялись, нахлестались дѣвки плетьми до сыта, наласкались до пьяна...

Словно вѣтромъ пахнуло со степи, вѣтромъ злымъ холоднымъ, что зимою только въ буранъ вьетъ мягкую, снѣжную пыль, столбомъ крутитъ... что за диво такое случилось?!

У столба стоитъ черный конь «проклятаго», на конѣ сидитъ «самъ», перегнулся въ сѣдлѣ, оперся на крупъ рукою правою—и надъ нашими удальцами зло подсмѣивается...

— «Ну, ужъ батыри,—зайцы куцехвостые, да и дѣвокъ по себѣ нашли,—козъ доить, такъ и съ тѣми не справятся... Говорятъ, завелась тутъ у васъ наѣздница да все вѣрно люди хвастаютъ языкомъ своимъ, похвальбу одну пустую по вѣтру пускаютъ... Гдѣ же она это непобѣдимая? Что же спряталась... Не показывается, хоть бы взглянуть на такую!..

Говоритъ кара-джигитъ, хохочетъ, въ сѣдлѣ гнется, переваливается, а глазами своими такъ на кибитку и уставился ту самую, гдѣ Узунъ-Чашь сидитъ, да на игры молодецкія, глядя, тѣшится.

Поблѣднѣла вся длинноволосая, огнемъ гнѣвнымъ глаза разгорѣлися, заскрипѣли у нея зубы бѣлые, ровные, капли крови на губахъ выступили...

— Не слушай *его*, оставь,—шепчутъ ей люди на ухо,—слово нечистое не порочитъ тебя, не ложится позоромъ, грязью... Потерпи, пусть его вволю издѣвается...

— Что?.. Молчитъ, не откликнется?—снова голосъ Чернаго слышится...—Вѣрно, и вправду слава-то про нее лживая, нахваленная... Что-жъ, можетъ, по батырямъ и наѣздница,—по ягнятамъ прутъ, по рукѣ и плетка... А вотъ какъ нагрянулъ настоящій батырь, такъ и поджала хвостъ, какъ собака паршивая, чуя волка, въ жилье прячется...

Поднялась съ ковра Узунъ-Чашь, выпрямилась... Старый дѣдъ Аблай ей навстрѣчу идетъ...

— Не пущу,—говоритъ,—что за дѣло такое, внучка затѣяла?! Не бороться тебѣ съ тѣмъ, кого и молитва не беретъ, и тумаръ святой, не то уже сила человѣческая... Посильнѣе тебя былъ Хакимъ крутоправный, а и того въ дугу скрючило... Не пущу!..

Бабы, дѣти въ ноги валятся...

За подолъ Узунъ-Чашь хватаютъ, землю цалуютъ около.

— Не ходи! Не ходи!—ревутъ, вой на все кочевье подняли.

Молодые женихи тѣснымъ кругомъ ее охватили, даже и гости чужіе, наѣзжіе и тѣ поперегъ дороги толпою стали плотною...

— Не ходи, оставь!—только и слышится... А джигитъ Абласты проклятый смѣхомъ своимъ бахвальнымъ всѣ голоса покрываетъ.

— Берегите ее,—кричитъ,—сторожите овцу слабосильную... Горе-наѣздницу...

— Тамъ вонъ козелъ старый сорвался, не ушибъ-бы, гляди, чего добраго...

— Опять, слышно, мышь бродитъ по степи,—какъ бы тоже, не ровенъ часъ, не обидѣла!..

За ножи взялись наши молодцы, да какъ вспомнили про Хакима несчастнаго, только въ землю глазами потупились.

Разметала толпу Узунъ-Чашь, вздохнуть разъ не успѣлъ народъ, уже сидитъ она на конѣ своемъ, и не знаетъ конь какъ ступить ему, грозно фыркаетъ, звѣремъ топчется...

Не успѣлъ народъ другой разъ вздохнуть...

Понеслась къ столбу Узунъ-Чашь руку съ плетью высоко подняла... Отскочилъ джигитъ, началась гоньба.

. . . . . .

Не гоньба-то была—горе великое!

Какъ безумная, злою немощью одержимая, безъ споровки, какъ шальная, Узунъ-Чашь по степи мечется... Ужъ и плеть ея изъ рукъ выпала, и поводья конскіе вольно треплются... Замирая, за гриву она хватается, съ сѣдла скользитъ, на земь клонится...

Третій разъ не вздохнулъ народъ...

Чалый конь Узунъ-Чашь одинъ въ полѣ бѣгаетъ. Под-

хватилъ поперегъ сѣдла Албасты нашу красавицу и унесся въ даль, словно волкъ матерой съ овцею краденною...

А народъ стоитъ, молчитъ и глядѣть не смѣетъ.

У Аблая-Хана слезы изъ глазъ катятся. Аллаяръ женихъ разбилъ балалай свой въ дребезги и, какъ громомъ убитый, на земь грянулся...

Тишина кругомъ—все какъ вымерло...

И случилось тутъ диво дивное, небывалое и нежданное...

Акъ-Джанымъ—душа чистая, на лошадкѣ своей смиренной изъ-за ставки тихо выѣхала.

Улыбаются ея губы добрыя —ясный теплый день въ очахъ свѣтится...

Подхватило ее, словно вѣтромъ перышко, и помчалась она вслѣдъ за похитителемъ.

Крылья... Крылья бѣлыя, лебединыя у Акъ-Джанъ за плечами выросли... Это видѣли...

Это видѣлъ всякъ—видѣлъ старъ и младъ... Байгуши слѣпые, нищіе, а и тѣ крылья эти видѣли и народу въ пѣсняхъ о нихъ повѣдали...

Обогнала Акъ-Джанъ Албасты-басу, поперегъ стала,—прочь откинулся, заметался въ страхѣ дьяволъ проклятый, на утекъ пошелъ, самъ къ сѣдлу припалъ; пронимаетъ дрожь джигита чернаго, какъ сухую кору смолистую на огнѣ, крутитъ его, корежитъ...

Въ мылѣ конь, не знавшій устали, злобно уши жметъ, спотыкается.

Насѣдаетъ Акъ-Джанымъ на него, бьетъ копытомъ лошадь, крутитъ пыль столбомъ черную, и мелькаютъ въ тѣни той только крылья бѣлыя, лебединыя...

Смрадъ и дымъ валитъ, пламя красное языкомъ въ томъ дыму пробивается, во всѣ стороны земля треснула, и пропалъ, сгибъ въ огнѣ Кара Джигитъ проклятый, душою чистою осиленный...

Не видали съ той поры въ степи джигита чернаго, не мутилъ онъ народъ, не показывался...

Не видали больше и Акъ-Джанъ, доброй дѣвочки... Высоко на мигъ мелькнула она бѣлой чайкою, голубкомъ въ синевѣ небесъ она сгинула...

СКАЗКА О ЖЕНСКОМЪ ХАНСТВѢ.

Это было давно...

Это было тогда, когда и земля, и небо, и люди, и обычаи, и все было не такое, какъ нынче.

Большое ханство на землѣ было... Только одно и было такое, и никогда оно уже болѣе не повторится, потому, что разъ погибло волею судебъ, то больше народиться на свѣтъ не можетъ.

Въ этомъ ханствѣ ханомъ сидѣла женщина, и сановники всѣ были женщины; самъ «Диванъ-Беги» были женщины, и джигиты-воины были женщины, и судьи женщины, даже «казы» со своими муллами были женщины... Такое это уже было бабье царство.

Хана женщину звали Занай, и сидѣлъ этотъ ханъ-женщина въ городѣ Самирамѣ.

Чудный это былъ городъ, совсѣмъ не такой, какъ нынѣшніе города.

Стоялъ онъ не на землѣ, а высоко надъ нею, на тридцати семи тысячахъ столбовъ; и никто не могъ войти въ него своею волею. Никакой врагъ не могъ достать до него съ самаго высокаго коня, самою длинною пикою, самымъ длиннымъ арканомъ.

Потому и держался такъ долго этотъ женскій городъ.

Въ городѣ Самирамѣ были и мужчины (нельзя же, чтобы совсѣмъ уже безъ нихъ), только этихъ мужчинъ было немного.

Женщины все дѣлали: и совѣтъ держали, и народъ судили, и на войну ходили, и на охоту... Мужчины-же сидѣли дома, взаперти, и только сакли убирали, пищу варили, скотъ доили чистили да малыхъ дѣтей нянчили.

И не всѣхъ дѣтей, а только мальчиковъ; дѣвочки-же всѣ были въ одно мѣсто собраны, а жили онѣ во дворцѣ хана Занаи, подъ присмотромъ ханскимъ, пока не выростутъ.

Новорожденныхъ дѣвочекъ всѣхъ оставляли, а мальчиковъ собирали вмѣстѣ, клали въ рядъ, оставляли только одного живого со ста, а остальныхъ внизъ сбрасывали волкамъ, тиграмъ, львамъ и птицамъ хищнымъ на растерзаніе.

А выбирала того мальчика счастливаго, одного изъ ста, кому жить — выростать можно было, слѣпая старуха. Затѣмъ слѣпая, чтобы сама судьба, безъ ея воли, руками ея правила.

Вотъ пришло время родить самому хану-женщинѣ Занаю...

Когда осенью небо сниметъ съ себя свои синія одежды и надѣнетъ сѣрыя, оно начинаетъ плакать надъ землею, и много слезъ-воды падаетъ сверху...

Вздуваются тогда сильно глубокія и широкія рѣки, наполняются до краевъ озера, а все на небѣ слезъ-воды не убываетъ.

Такъ начала плакать слѣпая старуха, когда пришло время родить хану Занаю.

Собрался народъ вокругъ плачущей; стали спрашивать:

— Что вызвало у тебя, вѣщая, эти обильныя, горькія слезы?

— Горе великое собирается надъ нашими головами,—отвѣчала старуха, — и это горе сидитъ теперь во чревѣ нашего хана Занаи. Родитъ ханъ не дѣвочку, а мальчика и погубитъ этотъ новорожденный наше женское царство!

Только сказала эти слова старуха, пуще заплакала, слезами разошлась, растаяла, и на солнцѣ мѣсто сырое безъ слѣда и знака высохло.

Задумалась ханъ Занай, и народъ весь женскій задумался еще того болѣе.

Собрали великій совѣтъ изъ самыхъ старыхъ... Думалъ этотъ совѣтъ тридцать семь дней, тридцать семь ночей и ничего не выдумалъ.

Тогда собрали молодыхъ—думали эти тридцать семь дней, тридцать семь ночей и ничего не выдумали.

Собрали тогда однихъ малолѣтокъ, дѣтей только, и самая изъ нихъ маленькая дѣвочка, отъ земли двѣ ладони, говоритъ хану Занаю и всему народу самирамскому:

— О чемъ вы грустите и задумались такъ? Когда ханъ Занай родитъ мальчика, возьмите его и сбросьте внизъ—вол-

камъ, львамъ, тиграмъ и птицамъ хищнымъ на растерзаніе, а не кладите въ рядъ, чтобы судьба его въ живыхъ, на горе наше, не оставила.

Сказала это дѣвочка, и во всемъ Самирамѣ вдругъ стало совсѣмъ весело.

Узнали тогда, догадались, какъ легко отъ злой бѣды-погибели отдѣлаться.

Только ханъ Занай, мать злополучная, еще больше прежняго задумалась, сидитъ на коврѣ золотомъ и глазъ на народъ поднять не хочетъ.

Догадались тогда, какой змѣй грызетъ ханское сердце, отобрали двухъ приставницъ самыхъ злыхъ, хитрыхъ, да зоркихъ и къ хану Занаю сторожить роды приставили.

Заперли хана Заная въ его женскомъ дворѣ вмѣстѣ съ злыми, зоркими приставницами, наказали этимъ приставницамъ глядѣть въ оба, — какъ бы ханъ Занай, ради сердца своего материнскаго, погибели ханству своему не утаилъ, не сберегъ-бы.

Долго мучилась, крѣпилась Занай, а пришло время, до родовъ только два раза солнце должно было подняться, два раза за горы спрятаться...

Заговорила тогда ханъ Занай—мать злополучная, со своими слугами, злыми, зоркими приставницами.

Говоритъ имъ она:

— Дамъ вамъ золота столько, сколько съ собою унести сможете, халатовъ цвѣтныхъ столько, сколько до вашихъ домовъ по землѣ уложится... Спасите, сберегите мое дѣтище!

— *Нѣтъ!*—отвѣчали злыя, зоркія приставницы.

— Позволю вамъ мужей выбирать по себѣ, не по жребію, позволю даже отъ другихъ женъ мужей отбирать... Спасите, сберегите мнѣ мое дѣтище!

— *Нѣтъ!*—отвѣчали злыя, зоркія приставницы.

Поникла головой ханъ Занай...

Задумались, однако, и обѣ злыя, зоркія приставницы. Только три часа хану до родовъ осталось, подошли тѣ сами, заговариваютъ. .

Заиграло у Занай сердце радостью, стали межъ собою злыя стражи перешептываться.

— Не хотимъ мы себѣ мужей изъ здѣшнихъ, а дай намъ

изъ тѣхъ, что внизу ѣздятъ, кому въ городъ нашъ дорога запретная, кому къ постелямъ нашимъ закономъ тропа не проложена!

Долго крѣпилась Занай, не давала этого позволенія, а въ послѣднихъ мукахъ, когда голосъ новорожденнаго услыхала, говоритъ злымъ, зоркимъ приставницамъ:

— Берите себѣ мужей изъ тѣхъ, что внизу ѣздятъ, только скорѣе спасайте, укройте вы мое дѣтище!

Тогда взяли новорожденнаго злыя, зоркія приставницы, спрятали, а хану Занаю дѣвочку подкинули.

Трубы громко трубятъ, мелкую дробь литавры выбиваютъ. Радостный гулъ и говоръ волною надъ Самирамомъ носится... И колоколъ гулкій свѣтлую вѣсть несетъ по всему ханству женскому.

Вышли къ народу злыя, зоркія приставницы и говорятъ:

— Обманула васъ слѣпая старуха, отъ того и умерла, слезами растаяла, что позволила языку своему на старости лѣтъ неправдою ворочаться...

— Родила ханъ Занай дѣвочку, а не мальчика. Вотъ она, эта новорожденная...

— Идите теперь всѣ поздравлять хана, несите подарки родильные!

И пошли радость и веселье по всему городу, понесли со всѣхъ сторонъ хану подарки родильные: адрассы, шали индѣйскія, золото, сахаръ и нанъ...

Погнали на ханскій дворъ лошадей, овецъ и верблюдовъ, каждаго скота по тысячи...

А сами злыя, зоркія приставницы давно себѣ мужей по сердцу высмотрѣли.

Два тюркмена тамъ внизу ѣздили...

Шапки на нихъ были черныя, глаза изъ-подъ шапокъ тѣхъ горѣли какъ звѣзды изъ-за тучъ ночныхъ, халаты красные, золотомъ шитые, а кони всѣ съ головы до копытъ дорогими камнями обвѣшаны.

Спустили имъ лѣстницы злыя, зоркія приставницы и подняли потайно ихъ въ городъ Самирамъ, вмѣстѣ съ конями ихъ, на диво разукрашенными.

Каждый день солнце поднималось на небо, каждый день спускалось оно за землю.

Шло чередомъ время, за днями недѣли, за недѣлями мѣсяца, за мѣсяцами годы...

Растетъ и вырастаетъ ханскій сынъ у чужой матери, подрастаетъ и ханская дочь-подкидышъ...

Всласть утѣшается ханъ Занай, издали на своего сына глядючи, всласть утѣшаются злыя, зоркія приставницы со своими мужьями, снизу взятыми...

Десять лѣтъ прошло... никакой бѣды не было надъ ханствомъ, ни откуда ея и не чуяли...

Стали тогда ханъ Занай и злыя приставницы межъ собою пересмѣиваться, надъ старухою вѣщею подшучивать.

Выросъ ханскій сынъ, краше всѣхъ мужчинъ въ Самирамѣ сталъ и назвали его «Искандеръ»; только онъ одинъ и носилъ это имя во всемъ городѣ.

А на небѣ скопились тучи черныя, грозныя, и нависли эти тучи какъ разъ надъ дворцомъ и площадью Самирамскими.

И недобрымъ духомъ отъ этихъ тучъ вѣяло... Большіе бѣды, великое горе въ степномъ вѣтрѣ чуялись...

Стали мужчины межъ собою переглядываться, стали они межъ собою перешептываться, стали на женщинъ косо посматривать.

А послѣ собрались всѣ по срединѣ города, на большой площади, стали въ тѣсный кругъ и посреди того круга сына ханскаго, утаеннаго, Искандера-красавца поставили.

И заговорили тогда мужчины...

Всѣ говорили, а только одинъ голосъ слышался, всѣ головы думали, а будто одна изо всѣхъ, голова Искандера этими думами правила.

Говорятъ мужчины:

— Не хотимъ мы больше вашего порядка стараго бабьяго, не хотимъ больше вашего хана-женщины!..

— Выбрали мы себѣ хана новаго Искандера, а съ новымъ ханомъ и время для насъ пришло новое!

— Сами мы будемъ и народомъ править, и на войну ходить, и на охоту, сами будемъ женъ себѣ выбирать, а вы, бабье, на наши мѣста, во дворы, да сакли ступайте, ребятъ нянчить, варить намъ пловъ, шить да чинить халаты и шубы наши!

— Не позволимъ больше сыновей нашихъ, дѣтей малыхъ внизъ бросать, волкамъ, львамъ, тиграмъ и птицамъ хищнымъ на растерзаніе...

— Отдайте намъ шлемы и броню вашу желѣзную, себѣ возьмите котлы и кунганы мѣдные, чугунные...

— Отдайте намъ сабли острыя, пики длинныя, арканы тягучіе, луки крѣпкіе и стрѣлы, волосомъ оперенныя, а сами берите метлы да лопаты, кочерги и ложки, утварь всю кухонную...

— Не хотите волею отдать все—возьмемъ силою.. Выходите вы, женщины, всѣ на бой съ нами, чья сила возьметъ, того и верхъ будетъ!.

Собралось на призывъ все войско женское, сама ханъ Занай мечемъ опоясалась...

Бились тогда онѣ съ мужчинами тридцать семь дней и тридцать семь ночей, залили кровью всѣ улицы, всѣ площади Самиранскія...

И взяли верхъ надъ мужчинами женщины, потому взяли, что мужчинъ былъ по одному на сто, и бились они кулаками, да руками голыми, а женщины мечами, пиками и стрѣлами острыми, калеными...

Окружили мужчинъ тройною желѣзною цѣпью, а хана ихъ самозваннаго—Искандера съ головы до ногъ волосяными арканами опутали...

Собрался судъ-совѣтъ судить непокорныхъ, судить того, кто всему злу, горю причиною былъ, кто посреди круга стоялъ, сильнѣе всѣхъ съ женщинами-воинами бился.

Присудили Искандера къ смерти злой, лютой, присудили вырѣзать его сердце кривымъ, острымъ ножомъ и на длинной пикѣ надъ городомъ выставить.

И казнить его Искандера, хана самозваннаго, рукою ханскою, самою Занаиною.

Вывели осужденнаго на высокое мѣсто лобное... чтобы всѣмъ въ городѣ видно было, чтобы всѣ, глядя на казнь эту лютую, радовались.

...Подошла Занай къ Искандеру—смотритъ на него, а сама ничего не видитъ... Не видитъ она ни сына своего злополучнаго, ни народа, что вокругъ толпится, ни города своего, ни дворца ханскаго... И неба не видитъ она и солнце яркое

глазъ не слѣпитъ ей, — все затянуло передъ нею слезами-туманомъ.

И текутъ эти слезы двумя рѣками широкими, обѣ на западъ, къ морю далекому, песками окруженному...

Тяжело, не подъ силу, матери поднять ножъ кривой, острый, и рука у ней повисла, словно желѣзомъ скованная.

И заговорила ханъ Занай къ своему народу женскому, стала во всемъ признаваться, каяться:

— Обманула я васъ, погубила и себя, и ханство все наше славное, женское, и помогли мнѣ въ томъ мои слуги вѣрныя, злыя, зоркія приставницы!

— Родила я сына, а не дѣвочку и отъ васъ его скрыла, спрятала...

— Вотъ онъ сынъ мой, вотъ тотъ, кто во истину рожденъ былъ мною...

— Правду сказала слѣпая вѣщунья-старуха и надъ правдою тою мы же надсмѣялися!

— Легче мнѣ теперь все ханство погубить, легче на себя поднять ножъ острый, жертвенный, чѣмъ ударить имъ сына моего, мое родное дѣтище...

— Я виновата—пусть и погибну я первая!

Ударила себя ханъ Занай ножомъ этимъ прямо въ грудь, въ самую середину сердца и упала мертвая на свой коверъ, золотомъ вышитый...

Дрогнуло небо... черною тучею растянулось, пошатнулись столбы Самирама, города женскаго.

Страхъ на женщинъ и дѣвъ напалъ, разбѣжались онѣ по своимъ домамъ съ того страха, волю и разумъ у нихъ отнявшаго, и оружіе все, доспѣхи боевые, на площади покинули.

Подняли мужчины оружіе это, наложили замки на двери тѣхъ сакель и стали съ тѣхъ поръ городомъ по своему править...

Раздѣлили они женщинъ межъ собою поровну... Мало было мужчинъ, женщинъ много, каждому по сту женъ на долю досталось.

И прошло то время свободное, золотое ханства женскаго, настало другое, тяжелое, злое, униженное.

Замки тяжелые, стѣны высокія, горы великія, слезы горю-

чія... Тридцать семь тысячъ лѣтъ началось такъ и еще тридцать семь тысячъ лѣтъ продолжаться будетъ.

А собьетъ тѣ замки, повалитъ гаремныя стѣны, развѣетъ горе женское, вытретъ слезы обидныя... одна женщина.

Придетъ, прилетитъ эта чудная съ далекаго сѣвера, волосы у ней будутъ, какъ снѣгъ, бѣлые, глаза, какъ море синее, груди, какъ горы, вѣчнымъ льдомъ покрытыя—и польется изъ тѣхъ грудей молоко-благодать на наши бѣдныя головы женскія!..

КОНЕЦЪ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Случайность	3
За дружеской жженкою	32
Невѣста-скелетъ	51
Чудеса хирургіи, или ночь Клеопатры	66
Девятое	79
Съ театра военныхъ дѣйствій	89
Шинель дьявола	96
Подъ „Бѣлымъ Слономъ“	107
Волшебный лѣсъ	121
„Въ тайгѣ“	130
Кнутъ Немезиды	135
Проклятый перстень	144
Кровавая елка	158
Вдова сатаны	169
Писанка	186
Мумія Неоптомаха	193
Загробная месть	206
Черный наѣздникъ	215
Сказка о женскомъ ханствѣ	236

12

No 8

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PG
3467
K33
1904
t.1

Karazin, Nikolai Nikolaevich
Polnoe sobranie sochinenii

Oxford Library